This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

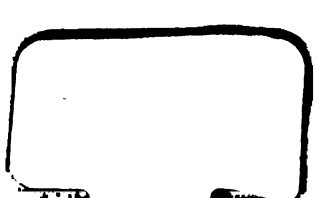
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4353.50.2

Harvard College
Library

FROM THE BEQUEST OF

SUSAN GREENE DEXTER



ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

подъ редакціею и съ критико-біографическимъ очеркомъ А. М. Скабичевскаго и съ приложеніемъ портрета Шеллера.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905.

Slav 4353.50.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
DEANE FUND
JAN 7 1931

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

СЕМЬЯ МУРАТОВЫХЪ.

БЕЗПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ.—И МОЛОТОМЪ, И ЗОЛОТОМЪ.—СОВѢСТЬ.

БЕЗПЕЧАЛЬНОЕ ЖИТЬЕ

РОМАНЪ.

I.

— Наши здѣсь?

Эти слова были торопливо произнесены молодымъ человѣкомъ лѣтъ двадцати двухъ. Онъ только-что вошелъ въ коридоръ театра Берга и около лѣстницы, ведущей въ ложи съ правой стороны, сбрасывалъ на руки сторожа свое пальто.

— Никакъ нѣтъ,—отвѣтилъ сторожъ, отставной солдатъ въ форменномъ сюртукѣ, съ гладко выбритымъ лицомъ и небольшой лысиной.

Молодой человѣкъ развинченной походкой направился въ буфетъ.

Онъ былъ средняго роста, очень худощавъ, съ плоскою, какъ доска, спиною, съ длинными тонкими ногами, съ испитымъ лицомъ, съ желтовато-сѣрымъ цвѣтомъ кожи, съ крайне длинной шеей, съ сильно очерченнымъ кадыкомъ. Его темные, почти черные волосы были причесаны по-англійски, съ проборомъ посрединѣ, и немного спускались вычурными завитками на плоскій, низенькій лобъ, изъ-подъ котораго тупо и безсмысленно смотрѣли тусклые глаза. Его лѣтняя, несмотря на зимнюю пору, шляпа «горшечкомъ» была надѣта нѣсколько на затылокъ, такъ что спереди изъ-подъ нея были видны два завитка волосъ. Сброшенное имъ пальто было тоже легко и могло согрѣвать только осенью, а не въ ноябрьскіе морозы. Его платье было сшито изъ дешеваго пледа. Но вся эта жалкая по матеріалу, не соотвѣтствовавшая времени года одежда была сшита по послѣдней модѣ и даже бросалась въ глаза утрировкою модныхъ безобразій: въ то время носили довольно длинныя пальто, и потому пальто юноши доходило чуть не до пятокъ; модные пиджаки дѣлались короткими, и потому пиджакъ юноши походилъ на фуфайку; модные панталоны носились узенькіе, и потому

юноша, повидимому, ежеминутно подвергался опасности, что на немъ лопнутъ его панталоны по всѣмъ швамъ; модные, прямые, стоячіе воротнички, не сходившіеся спереди, были у юноши непомѣрно высоки и, едва доходя до ушей, оставляли спереди открытою всю шею; его манжеты были выставлены вершка на два и поражали какъ вычурными вырѣзками, такъ и громадными бронзовыми запонками съ какими-то болтающимися кольцами. Въ западно-европейскихъ столицахъ такъ одѣваются портными люди-вывѣски, люди-рекламы. Иногда встрѣчается тамъ подобная утрировка моды у теряющихъ свою привлекательность кокотокъ, желающихъ привлечь къ себѣ вниманіе, если не красотою и богатствомъ, то эксцентричностью наряда. За людьми, одѣтыми такимъ образомъ, въ Парижѣ нерѣдко бѣгаютъ съ гиканьемъ и свистомъ «гамэны» по улицамъ; въ театрѣ на нихъ съ хохотомъ указываютъ пальцами посѣтители парадиза.

Молодой человѣкъ прошелъ въ буфетъ, закурилъ папиросу и, кивнувъ головою раскланивавшемуся съ нимъ плотному, черноволосому буфетчику, направился въ длинную боковую галлерею. Здѣсь тянулся рядъ простыхъ столовъ, какъ въ портерной лавкѣ, и стояли двѣ неуклюжія желѣзныя печки, какія ставятся въ сырыхъ и холодныхъ подвальныхъ жилищахъ. Молодой человѣкъ подошелъ къ одной изъ этихъ печей и сталъ грѣться. Вѣроятно, вслѣдствіе легкости одежды его руки съ тонкими и длинными пальцами и его тощее лицо съ длиннымъ носомъ посинѣли и приняли тотъ видъ, который встрѣчается у сильно продрогнувшихъ людей.

Прошло минутъ десять. До галлереи стали долетать визгливые звуки настраиваемыхъ дрянныхъ музыкальныхъ инструментомъ. Мимо окна, выходившаго въ коридоръ, мелькали фигуры снимавшихъ теплую одежду посѣтителей. Хлопанье входныхъ дверей почти не прекращалось.

— Вашъ извозчикъ спрашиваетъ деньги,—доложилъ молодому человѣку низенькій некрасивый лакей, въ засаленномъ фракѣ, съ грязной салфеткой подъ мышкой.

Молодой человѣкъ посмотрѣлъ на лакея своимъ тупымъ, растеряннымъ взглядомъ, поспѣшно сунулъ руки въ карманы пиджака и, словно вспомнивъ что-то, пробормоталъ въ замѣшательствѣ:

— Скажи, чтобъ ждалъ; я опять поѣду.

— Слушаю-съ,—отвѣтилъ лакей и направился къ выходу на улицу.

Молодой человѣкъ поднялъ кверху брови, уставилъ глаза

въ грязный съ сѣрыми потеками потолокъ и началъ что-то насвистывать.

Прошло минутъ пять. Къ юношѣ подошелъ какой-то старикъ-нѣмецъ съ руками, засунутыми въ карманы потертаго, сѣраго лѣтняго пальто, съ испорченнымъ оспою, краснымъ лицомъ, съ лысой головой, съ прядью бѣлобрысыхъ волосъ, зачесанныхъ черезъ всю голову отъ одного виска къ другому, съ широкимъ и беззубымъ улыбающимся ртомъ, съ низкими и заискивающими поклонами.

— Мое поштеніе,—произнесъ ломанымъ русскимъ языкомъ нѣмецъ, улыбаясь и низко кланяясь.—Сигаръ вамъ не надо ли еще?

— Нѣтъ... теперь не надо,—отвѣтилъ молодой человѣкъ, почти не взглянувъ на нѣмца.

— Отлишные сортъ теперь есть, и здѣшніе, и иностранные. Съ бандероль втрое будете платить, — приставалъ старикъ.

— Не надо, не надо, еще старыя есть.

— А за вами еще должокъ есть,—съ сладкой улыбкой напомнилъ нѣмецъ.

— Ахъ, да... послѣ зайдите ко мнѣ за деньгами,—проговорилъ юноша, глядя ужъ совсѣмъ въ сторону.

— Да, пожальста... Мнѣ деньги нушны... Нынче такъ трудно, такъ трудно... Если тоше кому изъ господъ что понадобится, прошу рекомендовать пожальста,—закончилъ онъ сильно пониженнымъ тономъ.

— Хорошо, хорошо...

— Вы знайте, я всегда готовъ слушить... я двадцать лѣтъ все между артистокъ...

— Хорошо, хорошо,—нетерпѣливо повторилъ юноша, котораго сильно стѣснялъ этотъ собесѣдникъ-кредиторъ.

Нѣмецъ, слащаво улыбаясь и кланяясь, отошелъ прочь.

Въ оркестрѣ начали играть увертюру изъ «Фенеллы», немилосердно перевирая оберовскую музыку. Молодой человѣкъ, заслышавъ эти раздирательные диссонансы, называвшіеся въ театрѣ Берга музыкой, бросилъ докуренную папиросу и пошелъ черезъ коридоръ въ зрительную залу, пробормотавъ сквозь зубы:

— Чортъ дернулъ меня связаться съ этою сволочью!

— Билетикъ отъ кресла,—спросилъ его человѣкъ въ потертомъ и полиняломъ коричневомъ сюртукѣ, стоявшій у входа въ кресла.

— Мы въ ложѣ,—небрежно отвѣтилъ молодой человѣкъ.

Лакей отворилъ дверь и пропустилъ его въ зрительную залу. Молодой человѣкъ направился въ первый рядъ креселъ, пожалъ на ходу нѣсколько рукъ и всталъ у барьера оркестра, спиной къ сценѣ, съ засунутыми въ карманы пиджака руками. Онъ началъ обводить глазами публику. Въ этихъ потускнѣвшихъ, безцвѣтныхъ глазахъ не было никакого осмысленнаго выраженія. Такъ смотрятъ идіоты и спившіеся съ круга люди, не радуясь, не удивляясь, не печалясь ни отъ чего. Невозмутимость его физіономіи можно было сравнить развѣ только съ невозмутимостью физіономіи длиннаго и тощаго бѣлобрысаго дирижера оркестра, хладнокровно махавшаго въ воздухѣ своимъ жезломъ, несмотря на ужасающіе диссонансы разбитыхъ, дрянныхъ скрипокъ и воющихъ, подобно голоднымъ псамъ, кларнетовъ и флейтъ. Молодой человѣкъ, наслаждавшійся съ дѣтства гармоническими звуками оркестровъ русской и итальянской оперъ, слышавшій игру Берліоза, Венявскаго, Контскаго, Рубинштейна, не возмущался тѣмъ, что около его спины воютъ и визжатъ разбитые инструменты набранныхъ съ улицы бродячихъ музыкантовъ. Выросшій среди безумной роскоши, въ кружевахъ и бархатѣ, онъ не задумывался о томъ, что на дворѣ крѣпчаетъ морозъ и что ему придется возвращаться домой по этому морозу почти въ лѣтнемъ платьѣ. Привыкшій на школьной скамьѣ сорить деньгами и удовлетворять всѣ свои прихоти, онъ не пугался того, что ему не только нечѣмъ заплатить ожидавшему его извозчику, но даже не на что утолить свой голодъ на завтрашній день. Онъ только осматривалъ ложи и думалъ: «не пріѣдутъ ли наши?» «Наши»—это были его пріятели: Аносовъ, графъ Риво, Сухаревъ, Броницынъ, однимъ словомъ, вся тогдашняя золотая молодежь, на счетъ которой онъ въ послѣднее время пилъ, ѣлъ, кутилъ. Много нужно было пережить, чтобы дойти до этого идіотскаго состоянія, когда человѣкъ начинаетъ, подобно низшему животному, жить только сегодняшнимъ днемъ, а этому юношѣ едва пошелъ двадцать второй годъ.

Музыканты допилили до конца увертюру; прорванный, потрескавшійся и мѣстами облупившійся занавѣсъ началъ, словно нехотя, не вдругъ подниматься, зацѣпившись за что-то и производя какой-то глухой шумъ; въ креслахъ послышалось движеніе садившихся на мѣста зрителей, въ райкѣ кто-то зычно и протяжно крикнулъ: «браво». Молодой человѣкъ тоже опустился на первое попавшееся кресло

въ первомъ ряду. На сцену вышла какая-то «выходная» пѣвица-француженка безъ голоса, безъ знанія музыки, въ плохонькомъ туалетѣ, съ неловкими манерами, въ перчаткахъ подозрительной чистоты, разорванныхъ на ладоняхъ. Она начала что-то пѣть несмѣлымъ, разбитымъ и хриплымъ голосомъ, точно моля о пощадѣ и дозволеніи скорѣе уйти за кулисы. Это была одна изъ тѣхъ несчастныхъ артистокъ-нищихъ, которыя добываютъ скудный кусокъ хлѣба пѣніемъ двухъ-трехъ жалкихъ пѣсенокъ и которымъ не шикаютъ, не свищутъ, не аплодируютъ, потому что онѣ пробуждаютъ чувство жалости и состраданія. При видѣ такой артистки зрителю дѣлается совѣстно, точно онъ виноватъ въ томъ, что она должна выходить на всеобщее публичное осмѣяніе, точно онъ ежеминутно ожидаетъ, что вотъ-вотъ эта пѣвица, не кончивъ куплета, разрыдается самыми искренними слезами. Молодой человѣкъ не смотрѣлъ на пѣвицу. Закинувъ одну руку за спинку кресла, онъ все пристальнѣе и пристальнѣе слѣдилъ за публикой, входившей въ ложи, гдѣ то и дѣло появлялись нарумяненныя и набѣленныя женщины въ соболяхъ, въ бархатѣ, въ кружевныхъ косынкахъ на головахъ, въ золотыхъ крупныхъ цѣпяхъ на шеяхъ, съ брильянтовыми звѣздами въ волосахъ, въ брильянтовыхъ кольцахъ сверхъ перчатокъ. Едва ли наряды этихъ женщинъ останавливали вниманіе юноши, едва ли отвернулся онъ отъ сцены, чтобы не видать жалкую пѣвицу, едва ли не смотрѣлъ онъ на оркестръ, чтобы не видать какъ разъ передъ собою возбуждавшую омерзѣніе фигуру совершенно лысаго музыканта съ искусственнымъ, придѣланнымъ къ очкамъ носомъ, которымъ плохо прикрывалось темное отверстіе посреди этого испитого лица, напоминавшаго голый черепъ: онъ просто тревожно ждалъ «нашихъ».

— Позвольте, это мое мѣсто!—обратился къ молодому человѣку шамкающимъ голосомъ какой-то лысенькій и сѣденькій старичокъ съ ввалившимися въ беззубый ротъ губами, въ высокомъ галстукѣ, поддерживающемъ его дряблую головку на морщинистой и желтой шеѣ.

Молодой человѣкъ, не разслышавъ фразы, отодвинулъ свои длинныя, протянутыя къ барьеру ноги, чтобъ пропустить старика. Старичокъ остановился въ недоумѣніи и нѣсколько минутъ пережевывалъ и обсасывалъ свои собственныя губы, приготовляясь явственнѣе заявить свою претензію. Наконецъ, онъ наловчился и, поправивъ съ важнымъ видомъ большой орденъ, висѣвшій почти во всю

его грудь на бѣлой манишкѣ, болѣе твердо и внятно произнесъ:

— Это-съ мое мѣсто!

— А!—равнодушно отвѣтилъ молодой человѣкъ и, пересдернувъ плечами, пересѣлъ на другое кресло.

Старичокъ съ важнымъ видомъ нахохлившагося индѣйскаго пѣтуха сѣлъ въ свое кресло, снова поправилъ крестъ, какъ видимый знакъ своего достоинства, и, послюнивъ плоскіе, морщинистые пальцы, началъ заботливо заглаживать впередъ рѣденькіе, сѣдые волосики на вискахъ, переживывая съ неудовольствіемъ свои вялыя, сморщенныя губы, точно какое-то скверное и отвратительное кушанье.

— Позвольте, это мѣсто занято,—обратился, между тѣмъ, къ молодому человѣку его новый сосѣдъ.—Сюда сейчасъ придетъ мой товарищъ.

Молодой человѣкъ молча всталъ, оглядѣлъ первый рядъ креселъ, что-то подумалъ и, взглянувъ на одну изъ ложъ, быстро пошелъ изъ партера, довольно сильно скрипя сапогами и твердо ступая по гулкому полу, прикрытому дешевенькой и вытертой «дорожкой». Черезъ минуту его фигура показалась въ одной изъ нижнихъ ложъ съ лѣвой стороны, гдѣ сидѣли двѣ женщины,—одна молоденькая, набѣленная и нарумяненная, хорошо одѣтая и поминутно смѣявшаяся, чтобы показать свои бѣлые зубы; другая старая, очень некрасивая, сухая и одѣтая плохо, напоминавшая собою бѣдную приживалку богатой особы. Молоденькая женщина протянула руку юношѣ и засмѣялась безъ всякой видимой причины.

— Здравствуйте!—по-французски проговорилъ молодой человѣкъ, садясь на свободный стулъ сзади молодой женщины.

— Какъ это вы здѣсь одни?—спросила она.

— Папа еще не пріѣхали,—озабоченно отвѣтилъ онъ.

— Кто будетъ?

— Не знаю... Я сегодня былъ у всѣхъ и никого не засталъ дома...

Молодая женщина засмѣялась.

— Можетъ-быть, они въ циркѣ?

— Ну, вотъ еще!—тревожно произнесъ молодой человѣкъ и закусилъ губы.

— Вы для Маріонъ де-Норманди подписку на подарокъ устраиваете?—спросила молодая женщина.

— Да,—разсѣянно отвѣтилъ молодой человѣкъ.

— Это съ вашей стороны очень хорошо... Признательность!..

Онъ промолчалъ, не слушая ее. Онъ уже не безъ страха думалъ въ это время, что его пріятели дѣйствительно могутъ не пріѣхать, что они точно могли поѣхать въ циркъ.

— Много собрали?..

Отвѣта не послѣдовало.

— Что это вы такъ разсѣяны?.. Влюблены?—заговорила молодая женщина, смѣясь и ударяя его вѣеромъ.

— А? Что?—очнулся юноша.

— Я васъ спрашиваю: много ли собрали для Маріонъ?..

— Нѣтъ еще,—отрывисто отвѣтилъ онъ, глядя въ сторону.

Съ минуту онъ молчалъ, сдвинувъ брови и кусая губы, потомъ вдругъ всталъ и пробормоталъ:

— А вотъ я сейчасъ узнаю!

Молоденькая женщина посмотрѣла на него съ недоумѣніемъ, не понимая, о чемъ онъ хотѣлъ узнать.

Онъ направился къ кассѣ, узнавать, брали ли на сегодняшній вечеръ ложу его пріятели.

— Pauvre jeune homme!—съ состраданіемъ вздохнула спутница молодой женщины.

— Ah, il est bien bête!—отвѣтила молодая женщина и расхохоталась.

Молодой человѣкъ, между тѣмъ, подошелъ къ кассѣ и столкнулся лицомъ къ лицу съ своимъ двойникомъ. У кассы стоялъ другой юноша, похожій, какъ двѣ капли воды, на перваго: та же одежда, та же прическа, то же выраженіе лица, тотъ же цвѣтъ кожи, только второй юноша былъ выше ростомъ, имѣлъ русые, а не темные волосы, и его воротнички и манжеты были не изъ бѣлаго полотна, а изъ темно-синяго съ бѣлыми клѣтками. Испитое лицо этого юноши ежеминутно подергивалось: онъ моргалъ глазами и конвульсивно передергивалъ ротъ. Онъ уже нѣсколько лѣтъ страдалъ пляскою св. Витта. Это служило предметомъ потѣхи для его богатыхъ пріятелей, а ему помогало отчасти существовать на ихъ счетъ: онъ былъ для нихъ интересенъ хоть своими гримасами.

— Наши здѣсь, Флери?—спросилъ первый изъ юношей.

— Не знаю, я самъ пришелъ справиться. Ты, Винтеръ, давно здѣсь?—произнесъ второй, подергивая ртомъ и подмигивая глазами.

— До начала пріѣхалъ... Никого знакомыхъ... въ первомъ ряду, кажется, все занято...

— Скажите, пожалуйста, Аносовъ какую ложу взялъ?— обратился Флери къ кассиру, подмигивая глазами.

— Онъ еще не бралъ ложи,—отвѣтилъ въ форточку кассиръ.

— Ну, такъ графъ Риво бралъ?

— И они не присылали за ложей. Я для нихъ удержалъ тридцатый и двадцать девятый нумера.

Молодые люди пожали плечами и отошли отъ кассы. Ихъ начинала серьезно безпокоить мысль, что въ театръ не явится ни Аносовъ, ни графъ Риво.

— Не поѣхали ли они въ циркъ?—проговорилъ озабоченно Флери.

— Ну, вотъ еще!—тупо произнесъ Винтеръ и вдругъ оживился, вспомнивъ про что-то.—А у меня ждетъ Никита. Весь день гонялъ сегодня,—проговорилъ онъ.

— Такъ поѣдемъ туда,—живо сказалъ Флери, передергивая ротъ.

— Ну да, не найдешь еще и тамъ... Га-га-га! — вдругъ расхохотался Винтеръ глуповатымъ смѣхомъ.

— Что ты?

— Представь: пріѣхалъ сюда, закурилъ папироску, а Никита, подлецъ, присылаетъ лакея спросить денегъ.

— Ну?

— Я даже руку въ карманъ сунулъ.

— Ну?

— Ничего... Ничего... Га-га-га!

— Нѣтъ, это вѣдь подлость.

— Что?

— Ты понимаешь, я сегодня разсчитывалъ...

Въ эту минуту съ шумомъ распахнулась входная дверь, и въ нее быстро вошелъ Петръ Павловичъ Муратовъ, весь занесенный морозною пылью.

— А, какими судьбами! Здравствуй!—въ одинъ голосъ крикнули Флери и Винтеръ.—Ты въ ложѣ?

— Нигдѣ еще покуда,—отвѣтилъ Муратовъ, холодно и небрежно пожимая протянутыя ему руки.

— Бери ложу. Двадцать девятый нумеръ бери. Наши въ тридцатомъ. Веселѣе будетъ.

— Аносовъ будетъ?

— Какъ же, какъ же, всѣ наши!

— Ложу... двадцать девятый нумеръ, — небрежно сказалъ Муратовъ кассиру, бросая въ открытую форточку деньги.

Онъ взялъ билетъ и пошелъ. Винтеръ и Флери пошли

за нимъ. Они вдругъ оживились. Ихъ тусклые глаза теперь нѣсколько освѣтились выраженіемъ удовольствія.

Низенькій, сморщенный, похожій на обезьяну отставной музыкантъ изъ военныхъ, занимавшій мѣсто капельдинера при ложахъ, снялъ съ Муратова пальто. Муратовъ усѣлся въ свою ложу, Флери и Винтеръ прошли въ сосѣднюю.

— Развѣ Аносова еще нѣтъ?—спросилъ Муратовъ.

— Нѣтъ. Онъ, вѣроятно, ко второму отдѣленію пріѣдетъ,—отвѣтилъ Винтеръ.

Муратовъ немного сдвинулъ брови и лѣниво и небрежно сталъ осматривать театръ, не обращая вниманія на сцену.

Сарай, превращенный въ театръ, выглядѣлъ неприглядно и походилъ на длинный звѣринецъ съ рядомъ стойлъ, въ которыхъ помѣщались самыя разнообразныя животныя. Пыль замѣчалась на всемъ, покрывала масляную краску, которою были слегка вымазаны доски, раздѣлявшія стойла, лежала на жалкихъ и безвкусныхъ украшеніяхъ крайнихъ литерныхъ ложъ, затемняла драпировку этихъ ложъ. Сама публика выглядѣла при довольно тусклому освѣщеніи грязною и непривлекательною и, повидимому, томилась тоскою. Оживленіе, но оживленіе пьяное, требовавшее ежеминутнаго вмѣшательства полиціи и составленія протоколовъ, замѣчалось главнымъ образомъ въ совершенно темной части театра, въ райкѣ, гдѣ масса оборванцевъ, мелкихъ ремесленниковъ, уличныхъ мальчишекъ, коломенскаго отребья неистово гоготала при какой-нибудь циничной выходкѣ артистовъ, набранныхъ въ самыхъ трущобныхъ кафе-шантанахъ Западной Европы и давно утратившихъ свои микроскопическіе таланты, а потому удвоивавшихъ свое умѣнье кривляться.

Среди этой развратной и буйной черни, затиснутой, подобно арестантамъ, въ тѣсную клѣтку райка, высились угрюмыя фигуры полицейскихъ солдатъ, готовыхъ каждую минуту схватить за шиворотъ слишкомъ буйнаго гуляку. Изъ креселъ то и дѣло оборачивался назадъ дежурный полицейскій офицеръ, заслышавъ сзади шумъ и неумѣренные крики. Онъ сидѣлъ точно на горячей сковородѣ, поминутно вертясь и двигаясь. Обязанность довольно трудная... Въ партерѣ было болѣе тихо, болѣе скучно. Здѣсь, среди массы мелкихъ приказчиковъ иностранныхъ магазиновъ, среди молодыхъ гулякъ и старыхъ ловеласовъ средней руки, мелькали мундиры гвардейцевъ, флотскихъ офицеровъ, инженеръ-механиковъ. Нѣкоторые изъ зрителей, наугощав-

шись въ теченіе дня, спали сномъ праведниковъ, сидя въ креслахъ. Одинъ какой-то гуляка почти лежалъ, закинувъ голову на спинку своего кресла и протянувъ ноги на кресло передняго ряда. Атмосфера въ театрѣ напоминала атмосферу переполненнаго народомъ ночлежнаго пріюта, и только отъ времени до времени въ этомъ тяжеломъ воздухѣ проходила струя не то уксуса, не то выдохшагося о-де-лавандъ: это въ коридорахъ проносили горячія канфорки, на которыя наливалась какая-то пахучая жидкость. Здѣсь трудно было встрѣтить красивое лицо: испитыя физіономіи молодыхъ и старыхъ мужчинъ, съ землистымъ, поблекшимъ цвѣтомъ кожи, напоминавшимъ о золотухѣ, чахоткѣ и геморроѣ; нарумяненныя и напудренныя лица молодыхъ женщинъ съ наглыми взглядами, съ беззастѣнчиво-открытыми грудями; огрубѣвшія лица нѣсколькихъ плотныхъ старухъ, сидѣвшихъ въ креслахъ и устремлявшихъ ястребиные взгляды на молодежь, точно ища добычи,— все это было не привлекательно. Если и встрѣчались женщины красивыя или, по крайней мѣрѣ, умѣвшія казаться красивыми, то можно было безошибочно сказать, что это француженки. Но и эти женщины были по большей части не первой молодости. Онѣ пріѣзжали въ Россію добывать хлѣбъ уже въ то время, когда имъ становилось трудно промышлять своимъ тѣломъ даже во Франціи, заявлявшей въ дѣлѣ разгула спросъ на всякую дрянь. Смотря на эту публику, можно было смѣло утверждать, что большинство пріѣхало сюда вовсе не ради спектакля, что тутъ обдѣлывались, какъ на биржѣ, темныя денежныя сдѣлки: одинъ хотѣлъ повыгоднѣе продать, другой желалъ повыгоднѣе купить, третій разсчитывалъ заработать грошъ посредничествомъ между продавцами и покупателями, а тусклое освѣщеніе театра словно говорило, что всѣ сдѣлки на этой биржѣ скандала требуютъ полумрака, боясь болѣе яркаго освѣщенія.

Муратовъ окинулъ все это усталыми глазами и тоскливо перевелъ ихъ на сцену.

На сценѣ ломался какой-то старый, тощій и жалкій нѣмецъ въ свѣтло-коричневомъ фракѣ, съ фалдами до пятъ и въ панталонахъ, сшитыхъ изъ бѣлой бумажной скатерти съ крупными синими узорами. Голодъ, нищета, бездарность — все это вспоминалось при взглядѣ на него. Прибавьте къ этому старость, дряхлость—и вы поймете трагическое положеніе этого человѣка, который когда-то существовалъ потому, что онъ былъ красивъ, молодъ, умѣлъ

пѣть скабрезныя пѣсни. Теперь за него самого никто не далъ бы и гроша; теперь у него не было голоса; теперь у него не было даже зубовъ, позволявшихъ хотя порядочно фразировать куплеты. У старика остался одинъ шансъ добывать скудный хлѣбъ: цинизмъ. Онъ прибѣгалъ къ этому средству съ усердіемъ отчаянія. Онъ пѣлъ нѣмецкіе куплеты такого содержанія, которое не только заставляло краснѣть, но которое было омерзительно. Онъ издавалъ такія звукоподражанія, отъ которыхъ становилось не только стыдно, но отъ которыхъ дѣлалось тошно. Партеръ, слушая его, хранилъ гробовое молчаніе или шикалъ, но раекъ, поощряемый стоявшею у входа въ мѣста за креслами буфетною прислугою, гоготалъ и кричалъ неистовыми голосами: bis. Полупьяной мастеровщинѣ, жителямъ общихъ подваловъ и чердаковъ, отребью столичнаго населенія были понятны не иностранныя слова, но космополитическіе жесты, не тонкіе намеки фразъ, но грубые звуки. Чтобы хладнокровно выносить все это, нужно долго жить въ вертепахъ столицы, долго падать нравственно, долго извращать свой вкусъ. Но тутъ были и дѣти, тутъ были и дѣвочки, кромѣ неизмѣнно присутствовавшихъ на этихъ спектакляхъ дочерей содержателя театра. Этимъ дѣтямъ, быть-можетъ, въ будущемъ покажутся недостаточно пикантными, недостаточно возбуждающими и подобные жесты, и подобныя звукоподражанія; имъ будетъ нужно что-нибудь еще болѣе голое.

Старикъ кончилъ свои кривлянья, раекъ неистово зааплодировалъ. Муратовъ зѣвнулъ, пожалъ нетерпѣливо плечами и сталъ, чисто по инстинкту, шикать. Винтеръ и Флери взглянули на него вопросительно.

— Пошло!—проговорилъ онъ, снова зѣвая.

Молодые люди тупового усмѣхнулись и тоже стали шикать.

— Дѣйствительно, онъ, знаешь, надоѣлъ, пріѣлся... Вообще, зачѣмъ это Бергъ держитъ подобную сволочь!—проговорилъ Винтеръ.

Муратовъ сразу пересталъ шикать и посмотрѣлъ на молодыхъ людей съ какимъ-то презрѣніемъ, какъ на излишне угодливыхъ лакеевъ. Въ его головѣ промелькнула мысль, что они сами такая же сволочь, какъ этотъ артистъ.

— Неужели Аносовъ не будетъ?—вопросительно произнесъ Флери, моргая глазами и подергивая ртомъ.

— Что?—въ недоумѣніи спросилъ Муратовъ и снова нахмурился.—Вы же сказали, что онъ взялъ ложу.

— Нѣтъ... знаешь,—началъ растерянно Винтеръ:—для него оставлена только эта ложа.

Муратовъ слегка поблѣднѣлъ и закусилъ нижнюю губу.

— Глупо было говорить, что онъ здѣсь,—пробормоталъ онъ раздражительнымъ тономъ.—Вы оба вѣчно что-нибудь соврете.

— Нѣтъ... это странно... мы, знаешь, думали, что онъ непремѣнно будетъ,—продолжалъ оправдываться Винтеръ.—Ты заѣзжалъ къ нему сегодня?

— Нѣтъ,—отрывисто отвѣтилъ Муратовъ.

Онъ лгалъ: онъ былъ у Аносова передъ самымъ началомъ спектакля и не засталъ его дома. Ему было досадно, что онъ, подобно этимъ двумъ «пошлякамъ», какъ онъ мысленно называлъ Флери и Винтера, тоже ждетъ Аносова и боится, что тотъ не пріѣдетъ. Онъ негодовалъ на этихъ «пошляковъ» за то, что они заставили его взять ложу, обманувъ его.

— Ты куда отсюда?—спросилъ Винтеръ.

— Домой,—отрывисто отвѣтилъ Муратовъ.

— Ну-у! — какъ-то растерянно проговорилъ Винтеръ, теряя надежду поужинать хотя на счетъ Муратова.—Сегодня, знаешь, отлично бы съѣздить куда-нибудь на тройкѣ... первый снѣгъ.

— Что-жъ, и прокатайтесь,—съ ироніей замѣтилъ Муратовъ и всталъ.

Первое отдѣленіе спектакля кончилось.

Муратовъ прошелъ въ буфетъ, закурилъ папиросу, бросилъ ее черезъ минуту и снова лѣниво побрелъ въ ложу. Винтеръ и Флери уже стояли въ одной изъ противоположныхъ ложъ и, сильно жестикулируя и смѣясь, бойко разговаривали съ какими-то только-что пріѣхавшими мальчиками. Это были гимназисты первой гимназіи, одѣтые не въ форменное платье. Винтеръ, повидимому, въ чемъ-то убѣждалъ мальчугановъ, то прижимая кулакъ къ своей груди, то поднося кончики пальцевъ къ своимъ губамъ. Онъ былъ необыкновенно оживленъ и походилъ на комиссіонера, на фактора, которые осаждаютъ новопріѣзжихъ иностранцевъ на станціяхъ желѣзныхъ дорогъ и въ отеляхъ большихъ заграничныхъ городовъ. У мальчугановъ физіономіи дѣлались все болѣе и болѣе глуповато-умильными, какъ у дѣтей, передъ которыми взрослые разставляютъ одно за другимъ различныя лакомства, обѣщая имъ дать этихъ лакомствъ. Флери, тупо слушая, стоялъ около Винтера и его передергивало болѣе обыкновеннаго.

Минутъ черезъ пять, Винтеръ и Флери явились въ ложѣ возлѣ Муратова. Винтеръ торопливо вытащилъ записную книжку, вырвалъ листокъ бумаги и началъ писать. Черезъ минуту онъ свернулъ бумажку и позвалъ обезьяно-подобнаго старика, находившагося при ложахъ.

— Отнеси это къ Леа Пиронъ. Отвѣтъ нуженъ.

Старикъ молча взялъ записку и пошелъ.

— Что это, вы угостить Пироншу хотите?—насмѣшливо спросилъ Муратовъ.

— Нѣтъ... представь, случай: знакомая молодежь, знаешь, пріѣхала... просить познакомить,—проговорилъ Винтеръ, засовывая записную книжку въ карманъ.

— Это вонъ тѣ?—спросилъ Муратовъ, указывая глазами на противоположную ложу.

— Да.

— Драть бы еще ихъ надо, а не съ разными Пиронъ знакомить.

— Ну-у!.. Мы, знаешь, приглашаемъ Леа Пиронъ собственно потому, что она съ горничной всегда ѣздитъ... Ахъ, что за дѣвчонка—прелесть!.. Да, вотъ мы сейчасъ уѣдемъ, такъ пришли тебя спросить: ты подписался на подарокъ Маріонъ де-Нормандя?.. Ее, знаешь, надо поощрить...

— Нѣтъ, не подписался,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Ну-у!.. Вѣдь ты съ ней знакомъ! Она послѣзавтра будетъ пѣть у Сакса въ бенефисѣ... Всѣ наши будутъ... Весь demi-monde соберется.

— Я не буду, вѣроятно, на бенефисѣ Сакса.

— Это почему? это почему?

— Потому что не буду!

— Что это съ тобой?.. Всѣ наши, знаешь, будутъ... Послѣ поѣдемъ кутить... Маріонъ обѣщалась ѣхать... Аносовъ на свой счетъ хотѣлъ устроить весь пиръ.

— Ну, и наслаждайтесь!

Винтеръ и Флери какъ-то глупо посмотрѣли на Муратова, не понимая, какъ можетъ онъ пропускать добровольно случай покутить на чужой счетъ. Въ эту минуту сторожъ принесъ отвѣтъ отъ Леа Пиронъ.

— Ѣдетъ, ѣдетъ! Отлично! обрадовался Винтеръ и замахалъ записочкой, показывая ее мальчуганамъ, сидѣвшимъ на другой сторонѣ театра. Мальчуганы оживились и вскарабкались на своихъ стульяхъ въ ложѣ.

— Ну, прощай, мы тамъ будемъ ее ждать,—сказалъ

Винтеръ, протягивая руку Муратову.—Да ты не хочешь ли съ нами ѣхать?..

— Я?!—съ изумленіемъ спросилъ Муратовъ, и въ его глазахъ блеснулъ огонекъ гнѣва.

— Да. Они будутъ рады... Это, знаешь, добрые малые, имъ все равно... Вонъ тотъ, долговязый, съ краснымъ лицомъ и длинной шеей, сынъ бывшаго откупщика Сидорова, а этотъ, маленькій, что на дѣвочку похожъ, сынъ милліонера-грека графа Вангелова... не имѣетъ ни отца, ни матери...

— Да какое мнѣ дѣло, кто они?—нетерпѣливо произнесъ Муратовъ, пожимая плечами...

— Да вѣдь все равно, наши ужъ не пріѣдутъ...

Муратовъ стиснулъ отъ злобы зубы. Онъ понималъ, что эти «идіоты» намекаютъ на пустоту его кармановъ совершенно безсознательно, но не злиться на нихъ не могъ.

— И очень хорошо сдѣлаютъ, такъ какъ здѣсь по обыкновенію тоска,—отвѣтилъ онъ холодно и сдержанно.

— Ну-у!.. А какъ же ты?—съ недоумѣніемъ спросилъ Винтеръ, не понимая, что будетъ дѣлать Муратовъ, не встрѣтивъ Аносова и его пріятелей.

Муратовъ терялъ терпѣнье.

— Я тебя не понимаю,—отвѣтилъ онъ, пожимая плечами.

— Ну да, какъ же ты одинъ... куда поѣдешь?—путаясь, говорилъ Винтеръ.

Флери только подмигивалъ лѣвымъ глазомъ, точно приглашая Муратова не упрямиться и ѣхать съ ними.

— Вѣроятно, домой поѣду,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Ну-у!—почти съ сожалѣніемъ произнесъ Винтеръ.—Впрочемъ, какъ знаешь... Намъ, знаешь, пора... Прощай!

Онъ и Флери пожали руку Муратову и шумно стали пробираться на другую сторону театра. Обезьяно-подобный сторожъ, не получивъ ни гроша за обычные комиссіонерскіе труды, составлявшіе главную его доходную статью, ворчливо началъ разставлять въ ложѣ стулья. Винтеръ и Флери были уже на противоположной сторонѣ и оживленно говорили съ мальчуганами. Черезъ пять минутъ въ ихъ ложѣ появилась Леа Пиронъ. Мальчики сбились сконфуженно въ кучу при видѣ въ своей ложѣ перезрѣлой, некрасивой, безголосой и потому очень снисходительной и покладистой артистки. Имъ приходилось впервые имѣть дѣло съ «артисткой», съ «кокоткой». До сихъ поръ они посылали записочки только горничнымъ. Она, улыбаясь глуповатой

улыбкой, развязно усѣлась къ барьеру ложи. Подлѣ нея помѣстился Винтеръ. Остальная молодежь осталась позади.

— Сволочь! — пробормоталъ Муратовъ и поднялся съ мѣста, проговоривъ:—пальто!

Сторожъ засуетился, подавая ему пальто. Муратовъ сунулъ ему въ руку пару серебряныхъ монетъ и пошелъ изъ ложи, зазвенѣвъ саблею и обративъ на себя всеобщее вниманіе.

— А, здравствуйте!—окликнулъ его кто-то и протянулъ ему руку.

Муратовъ взглянулъ на встрѣтившагося и сухо поздоровался съ нимъ. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати шести, въ поношенномъ фракѣ, съ складной шляпой подъ мышкой. Слѣды гульбы, безсонныхъ ночей, попоекъ ярко врѣзались въ черты его лица. Его глаза походили на глаза пьянаго, вѣки были припухлы, щеки одутловаты и дряблы, цвѣтъ лица былъ изжелта-блѣденъ, какъ у больного водянкой.

— А вы, Вощиновъ, здѣсь неизмѣнно!—насмѣшливо усмѣхнулся Муратовъ.

— Дѣла! дѣла!—развелъ руками молодой человѣкъ.—Вы знаете, нашъ братъ теперь вездѣ нуженъ. У однихъ артистовъ съ содержателемъ театра столько дѣлъ, что на двоихъ аблакатовъ хватитъ.

— И все по мировымъ?

— Да. На-дняхъ было дѣло въ мировомъ съѣздѣ. Препитересное... Вы помните, тутъ подрались Пиронъ и Догазонъ.

— Знаю, знаю!.. До свиданья!

Муратовъ небрежно кивнулъ головой и, не протягивая руки, не дослушавъ разсказа, пошелъ изъ театра. Вощиновъ повернулся на каблукахъ, ухватилъ кого-то за руку и проговорилъ:

— А вы знаете, кто это?

— Нѣтъ!

— Муратовъ, извѣстность въ своемъ родѣ! Хлыщъ страшнѣйшій. Грошъ цѣнъ за душой, а живетъ припѣваючи и задираетъ носъ. Ему то купчиха богатая, то старушка благочестивая покровительствуютъ—глядишь, опъ, какъ говорится, и сытъ, и пьянъ. Въ карты тоже счастливо играетъ. На-дняхъ, говорятъ, потерялъ расположеніе купчихи Вахромеевой и теперь груститъ, вѣроятно. Да ему что! Пристроится какъ-нибудь. Красивъ, дюжъ, здоровъ—что же еще нужно? А тутъ еще, къ довершенію всѣхъ благъ, мундиръ.

Вощиновъ говорилъ быстро, точно куда-то спѣша, и сильно жестикулировалъ руками, какъ человѣкъ, привыкшій говорить передъ публикой.

— Что же это онъ такъ рано изъ театра уѣхалъ?

— Вѣрно, Аносова нѣтъ, такъ поѣхалъ его разыскивать, или на свиданіе спѣшитъ. Вѣдь всѣ они только разными Аносовыми и живутъ въ трудныя времена. Аносовы ихъ и поятъ, и кормятъ, и амурами услаждаютъ. Вы видали его, Аносова-то?

— Нѣтъ.

— Олухъ царя небеснаго. Нѣсколько лѣтъ все юнкеромъ служитъ. Длинный-предлинный такой, розово-молочное такое лицо, глаза точно у теленка черные, баконбарды мягкія, рѣденькія—совсѣмъ, знаете, телятиной выглядитъ. Кокотка по призванію, только въ юнкерскомъ мундирѣ. И ужъ что за дура, что за дура, такъ это и представить себѣ трудно... Да пойдемте, я посмотрю, нѣтъ ли его въ театрѣ. Покажу вамъ.

Вощиновъ насильно и торопливо повлекъ своего случайнаго слушателя въ театръ, но, сдѣлавъ десять шаговъ, остановился и обратился къ одному изъ сторожей, стоявшихъ группою въ коридорѣ и обсуждавшихъ свои денежныя сдѣлки:

— Если Друмъ будетъ меня спрашивать—позови меня. Я буду сидѣть во второмъ ряду креселъ съ правой стороны. Друмъ—это самый безпокойный артистъ,—снова обратился Вощиновъ къ своему случайному слушателю.—Вѣчно съ кѣмъ-нибудь судится. Вотъ и теперь побилъ въ трактирѣ маркера. Приходится защищать. Вы не повѣрите, сколько здѣсь дѣлъ. Это вѣдь настоящій вертепъ скандаловъ...

Они вошли въ зрительный залъ.

Вощиновъ уже раскланивался съ нѣкоторыми изъ дамъ полусвѣта, съ падшими женщинами низшаго сорта, съ Флери и Винтеромъ.

— Вы знаете этихъ господъ?—спросилъ Вощиновъ у своего спутника, указывая глазами на Флери и Винтера.

— Нѣтъ.

— Это тоже прихлебатели Аносова, Броницына, графа Риво, Сухарева, однимъ словомъ, всѣхъ, у кого есть деньги... Такъ по цѣлымъ днямъ и рыщутъ, чтобы гдѣ-нибудь попить, да поѣсть на чужой счетъ. Бездомники... Недавно тоже чуть не влопались въ хорошую исторію. Обѣдали у Дюссо съ однимъ армейскимъ юнкеромъ; денегъ ни у кого; юнкеръ возьми, да и сцапай серебро, вышелъ изъ ресто-

рана, заложилъ серебро и, какъ ни въ чемъ не бывало, воротился съ деньгами, заплатилъ за обѣдъ и бросилъ еще какую десять рублей на водку...

— Ну, и что же?

— Поймали! Дуракъ: билетъ ссудн. кассы не бросилъ на улицѣ... Я удивляюсь, какъ они это глупо все дѣлаютъ. Концовъ спрятать не умѣютъ... Впрочемъ, потушили дѣло. Во-первыхъ, у юнкера были родные извѣстные богачи, а во-вторыхъ, для Дюссо не выгодно тягаться съ этою молодежью, лучше смотрѣть на все сквозь пальцы... А ужъ когда-нибудь эти Флери да Винтеры попадутъ на скамью подсудимыхъ!

— Служащіе или учащіеся еще?

— Нигдѣ не доучились. Перебывали въ десяти учебныхъ заведеніяхъ и отовсюду выгонялись за скандалы. Теперь, говорятъ, Флери поступаетъ въ одно злачное мѣстечко. Онъ будетъ тамъ не безполезенъ. У него полъ-Петербурга знакомыхъ, а это-то и нужно будетъ ему на новомъ поприщѣ. Можно будетъ дѣлишки обдѣлывать, Винтеръ же просто матушкинъ сынокъ. Мать—вдова, кутитъ напропалую, все промотала; дядя у нихъ есть, аптекарь или зубной врачъ, онъ ихъ дѣлишки ведетъ теперь, да поправить нельзя. И вѣдь, что за мѣдный лобъ у этого птенца: ему чуть въ глаза не плюютъ, а онъ ничего, смѣется, и живетъ на счетъ богачей и кокотокъ. Можете себѣ представить, не брезгаетъ даже подачками отъ этихъ женщинъ, ѣздитъ въ ихъ экипажахъ, когда онѣ сами не хотятъ кататься... Bonjour, bonjour!—закивалъ головой Вощиновъ одной изъ проходившихъ сзади нижнихъ ложъ кокотокъ, дѣлая ей любезный жестъ рукою.—Тоже моя кліентка: недавно описали у нея имущество, нужно выручать...

— Вощиновъ, на пару словъ,—тихо окликнулъ Вощинова какой-то немолодой господинъ съ нафабренными усами и дѣловымъ видомъ.—Познакомьте меня съ этой... какъ ее...

— Съ Камиллой Ге?—быстро скороговоркой спросилъ Вощиновъ.—Сейчасъ, сейчасъ! Вотъ случай!

Онъ быстрыми шагами съ озабоченнымъ видомъ пошелъ изъ зрительной залы въ коридоръ, гдѣ скрылась Камилла Ге.

— Хорошія дѣла у господина Вощинова,—съ серьезно-важнымъ видомъ проговорилъ господинъ съ нафабренными усами, обращаясь къ господину, котораго только-что посвящалъ Вощиновъ въ тайны этой жизни.—Даровитый человѣкъ, очень даровитый; краснорѣчіе, знаете, у него, ну, и

законы знаетъ... Теперь это главное. Намъ дѣльцы нужны. Да-съ, замѣтный будетъ присяжный повѣренный.

А на сценѣ уже пѣла какая-то декольтированная снизу и сверху женщина не первой молодости, вздергивая ногу выше своей головы и крича безшабашнымъ тономъ:

— Voilà comme on tourne la tête au jeune homme!

II.

Петръ Павловичъ Муратовъ вышелъ изъ театра и въ раздумьи остановился на подъѣздѣ.

— Прикажете подавать, ваше сіятельство!—обратился къ нему разбитнымъ тономъ молодой ухарскій извозчикъ.

— Давай!—машинально отвѣтилъ Муратовъ.

Къ подъѣзду театра подкатили новенькія сани. Муратовъ сѣлъ.

— Куда прикажете!—спросилъ извозчикъ.

— Домой!—сквозь зубы проговорилъ Муратовъ, думая совсѣмъ о другомъ.

— Куда-съ?—обернулся къ нему извозчикъ.

Муратовъ какъ бы очнулся.

— Ахъ да, ты вѣрно не знаешь меня,—пробормоталъ онъ.—На уголъ Большой Морской, въ Гороховую.

— Слушаю-съ,—отвѣтилъ извозчикъ.

Сани понеслись. Муратовъ опять задумался. Ему было не весело. Онъ не разсчитывалъ, что ему придется такъ рано забраться домой. Было еще не болѣе девяти часовъ вечера. Онъ обыкновенно пріѣзжалъ домой не ранѣе второго часа ночи. Ему вообще съ нѣкоторыхъ поръ «не везло», какъ онъ выражался.

Съ того времени, какъ онъ сталъ помнить себя, онъ былъ баловнемъ мужчинъ и женщинъ. Его счастіе, или, вѣрнѣе сказать, его несчастіе, состояло въ томъ, что онъ былъ когда-то хорошенькимъ кадетикомъ. Заброшенный изъ провинціи въ петербургскій корпусъ, попавшій въ среду богатой и важной родни, онъ сразу сталъ въ положеніе «хорошенькаго мальчика», «красавчика», «купидончика», «милаго шалунишки», «ребенка-игрушки». Его было пріятно приласкать, его было пріятно прокатать на гуляньи, его было пріятно видѣть танцующимъ на дѣтскомъ балу. Пухленькія щечки, казалось, сами напрашивались, чтобы ихъ приласкали, мягкіе, курчавые волосы невольно заставляли провести по нимъ ласковой рукой; полненькія, полуоткрытыя губенки требовали поцѣлуевъ. Его ласкали, гладили, цѣло-

вали. Кругомъ него были дѣти-аристократы, дѣти-богачи; но если они пользовались всѣми удобствами, всѣми благами жизни, то онъ пользовался всѣмъ этимъ вдвойнѣ. Тѣ дѣти брали всего столько, сколько имъ хотѣлось; ему давали всего болѣе, чѣмъ ему было нужно. Тѣ дѣти веселились въ своей семьѣ; онъ веселился во всѣхъ семьяхъ своихъ многочисленныхъ дальнихъ родственниковъ. Тѣхъ дѣтей ласкали ихъ бабушки, матери, тетки: его ласкали всѣ почти чужія женщины. Уже на двѣнадцатомъ году, прижимаясь къ ласкавшимъ его женщинамъ, онъ сталъ засматриваться на ихъ декольтированныя шеи и плечи, потому что въ этихъ добрыхъ созданіяхъ онъ видѣлъ не своихъ тетокъ, не своихъ бабокъ, не своихъ кузинъ, а просто красивыхъ или некрасивыхъ женщинъ. Не мудрено, что эти женщины говорили:

— Посмотрите, какая разница между нашими дѣтьми и Пьеромъ. Наши дѣти такъ равнодушны и холодны, а Пьеръ такъ нѣженъ, такъ ласковъ.

И онѣ ласкали его еще искреннѣе, еще чаще, не замѣчая, что въ ласкахъ мальчика чувствуются уже ласки мужчины. Когда мальчикъ оставался съ своими сверстниками-родными, онъ передавалъ этимъ дѣтямъ свои недѣтскія наблюденія, свои недѣтскія впечатлѣнія. Мальчики, выросшіе въ одной дѣтской съ своими сестрами, игравшіе потомъ съ этими сестрами, какъ съ товарищами, вовсе не замѣчали въ этихъ сестрахъ того, что замѣчалъ въ нихъ этотъ ребенокъ, и широко открывали глаза, когда онъ таинственно говорилъ имъ, что онъ тихонько поцѣловалъ въ плечико ту или другую дѣвочку. Для нихъ эта дѣвочка была сестрою или кузиною и имъ приходилось столько разъ цѣловать ее и въ губы, и въ плечи, не придавая этому никакого значенія. Они вслушивались въ его рѣчи и передъ ними открывался новый міръ еще не испытанныхъ ими чувствъ, стремленій и наслажденій. На пятнадцатомъ году онъ влюбился въ двадцатидвухлѣтнюю женщину, называвшую его «mon petit cousin», но приходившуюся ему такою же родственницей, какъ и китайскому императору; онъ объяснился въ любви этой кузинѣ, она шутливо выдрала его за ухо, засмѣялась, но, видя, что онъ сдвинулъ брови и стиснулъ зубы, чтобы скрыть слезы, взяла его ладонями за обѣ щеки и поцѣловала въ губы. Этого было довольно: мальчикъ сжалъ ея талію и такъ страстно отвѣтилъ долгимъ поцѣлуемъ на ея поцѣлуй, что кузина струсила, поблѣднѣла и тихо прошептала:

— Ради Бога, Пьеръ.. кто-нибудь можетъ войти!

Она увидала въ немъ уже мужчину. Онъ уже могъ скомпрометировать ее, могъ возбудить ревность въ ея мужѣ, флигель-адъютантѣ. Это была первая любовь Пьера, первое его посвященіе въ число «рыцарей любви». Съ той поры женщины осторожнѣе ласкали Пьера, но, можетъ-быть, заглядывались на него болѣе прежняго; съ этой поры Пьеръ менѣе разсказывалъ своимъ сверстникамъ, но чаще подвергался ихъ допросамъ. Разговаривая съ женщинами, онъ началъ немножко басить, пощипывать кожу на верхней губѣ, дѣлая видъ, что у него уже растутъ усики; разговаривая съ товарищами, онъ сталъ смотрѣть на нихъ съ ироніей стараго курильщика-студента, смотрящаго на поблѣднѣвшихъ отъ первой папиросы школяровъ. Прошло еще съ годъ, съ два: молоденькія горничныя стали стыдливо краснѣть и потуплять глаза, встрѣчая по утру нѣсколько нахальные взгляды и насмѣшливыя улыбки «барина-красавчика». Пьеръ сталъ чаще ходить изъ гимназіи, въ которую переименовался корпусъ, въ отпускъ, къ дальней родственницѣ, вдовѣ-аристократкѣ возраста бальзаковскихъ женщинъ; у него появился дорогой портсигаръ сазиковской работы, дорогіе часы отъ Мозера, шелковый бурсъ съ турецкими букетами, наполненный деньгами; онъ сталъ небрежно говорить своимъ сверстникамъ-богачамъ:

— Что это вы все киснете дома? Хоть бы въ циркъ съѣздили!

— А ты поѣдешь?—спрашивали они.

— Отчего же нѣтъ? У меня есть статское платье!—отвѣчалъ онъ.

Дорожка къ кутежамъ проторилась.

Такъ шли годы. О поэзіи первой любви къ двадцатидвухлѣтней кузинѣ не было и помину; проза разгула дѣлалась все грязнѣе, все пошлѣе, все болѣе и болѣе захватывающею. Юноша, если не по натурѣ, то вслѣдствіе бѣдности и скупости помѣщицы-матери, пребыванія въ чужихъ домахъ, завистливаго смотрѣнія на чужую роскошь, на чужое богатство, былъ скупъ, алченъ, но не умѣлъ еще быть расчетливымъ. Ему хотѣлось денегъ и денегъ, но не для того, чтобы скопить, спрятать, сберечь эти деньги, а для того, чтобы сорить ими такъ же, какъ сорили ими тѣ изъ его близкихъ, которые никогда не задумывались о значеніи денегъ. Юноша смотрѣлъ на добываніе денегъ легко: онъ зналъ, что онъ не принужденъ добывать ихъ потомъ и

кровью; онъ зналъ, что онъ можетъ ихъ добыть безъ тяжелаго труда при помощи хорошенькаго личика, веселаго нрава, ловкости и беззастѣнчивости. Эти качества были его недвижимою собственностью, дававшею довольно большіе доходы. Во всякомъ случаѣ, эти доходы были болѣе, чѣмъ доходы отъ службы въ полку. Если эта служба и была почему-нибудь нужна для него, такъ только потому, что она давала право носить блестящій мундиръ: въ этомъ плотно стягивавшемъ его молодое тѣло мундирѣ онъ выглядѣлъ красивѣе, стройнѣе, привлекательнѣе, чѣмъ въ статскомъ платьѣ. Такимъ образомъ, его жизнь была тою развеселою, безпечальною жизнью, которою могутъ пользоваться только очень богатые люди.

Но красота, молодость, сила, здоровье, веселость, все это исчезаетъ довольно быстро, особенно въ томъ случаѣ, когда расходуется опрометчиво. Катанья на тройкахъ въ морозныя ночи, ежедневное пребываніе въ душной атмосферѣ театровъ, развратъ тѣла и мысли, все это не могло пройти даромъ. Природа безпощадно наказываетъ ослушниковъ ея вѣчныхъ законовъ и тѣхъ, которые, ради разгула или ради труда, превращаютъ день въ ночь, а ночь въ день, и тѣхъ, которые, по капризу или по необходимости, переживаютъ въ годъ то, что слѣдовало бы пережить только въ десятки лѣтъ. Муратовъ въ послѣднее время сталъ замѣчать, что онъ начинаетъ полнѣть болѣзненною полнотою, что его щеки теряютъ свѣжій румянецъ и здоровую упругость, что у него тяжелѣетъ голова и чувствуется усталость послѣ каждой бессонной ночи, что онъ начинаетъ лѣниво зѣвать въ то время, когда еще нужно пѣть, смѣяться и смѣшить другихъ. Но самымъ дурнымъ признакомъ было то, что онъ началъ впервые «думать».

До сихъ поръ онъ не замѣчалъ этого за собою: онъ жилъ, дѣйствовалъ, отдавался увлекающему его вихрю бѣшенаго разгула, но не думалъ. Начать думать—значило начать прощаться съ безпечальнымъ житьемъ. Безпечальное житье только тогда и можетъ продолжаться, когда человѣкъ не думаетъ, когда человѣкъ ѣдетъ на обѣдъ съ шампанскимъ потому, что его пригласили на этотъ обѣдъ, когда онъ заѣзжаетъ въ театръ Берга только потому, что тамъ соберутся всѣ его пріятели, когда онъ скачетъ изъ театра Берга на ночную оргію исключительно потому, что его извѣстили объ этой оргіи. Муратовъ до сихъ поръ такъ и дѣлалъ: онъ не задумывался, куда можно дойти по этой дорожкѣ,

почему онъ считаетъ эту жизнь лучше болѣе правильной жизни, что онъ находитъ интереснаго въ однообразныхъ бездарныхъ и глупыхъ спектакляхъ въ театрѣ Берга, надолго ли хватитъ его силъ на оргіи, какія впечатлѣнія, кромѣ усталости, тошноты, скуки, оставляютъ въ немъ всѣ эти кутежи золотой молодежи? Теперь онъ началъ думать обо всемъ, не безъ горечи сознавая, что эти думы являются вѣрнымъ признакомъ наступленія преждевременной старости. Думы явились слѣдствіемъ боязни за будущее; боязнь за будущее явилась слѣдствіемъ начинавшагося упадка силъ, энергіи, красоты, однимъ словомъ, упадка молодости. Онъ даже началъ нѣсколько эгрироваться: его стала задѣвать за живое каждая глупо-оскорбительная фраза Аносова, одного изъ самыхъ щедрыхъ его родственниковъ-богачей; онъ началъ раздражительно сравнивать свое положеніе съ положеніемъ такихъ «прихлебателей» и «прихвостней» золотой молодежи, какъ «мальчишка» Флери и «мальчишка» Винтеръ; онъ скрежеталъ зубами, когда его впервые бросила его пріятельница вдова-купчиха Вахромеева, тогда какъ до сихъ поръ онъ самъ бросалъ своихъ пріятельницъ; онъ, ходя по своей гостиной, иногда желчно говорилъ себѣ, что онъ до сихъ поръ поступалъ, какъ мальчишка, какъ вѣтреникъ, не умѣвъ ничего скопить на черный день, тогда какъ скопить было можно и нужно. Вмѣсто сбереженій онъ видѣлъ у себя только долги. Покуда долги были ничтожны, но онъ не могъ уплатить и ихъ изъ скуднаго жалованья. Но эти долги должны будутъ возрасти до громадной цифры, если онъ будетъ продолжать ту же жизнь, какую велъ до сихъ поръ. Онъ видѣлъ въ перспективѣ «долговое отдѣленіе», и у него пробѣгала по тѣлу дрожь отъ страха, отъ стыда.

Возвращаясь изъ театра Берга домой, онъ чувствовалъ себя особенно скверно. Пережитый имъ день былъ днемъ неудачъ: днемъ онъ не засталъ дома ни одного изъ своихъ богатыхъ пріятелей; вечеромъ онъ разсчитывалъ навѣрное встрѣтить кого-нибудь изъ нихъ въ театрѣ Берга и обманулся въ расчетѣ. Увѣреніе Винтера и Флери, что Аносовъ будетъ въ тридцатой ложѣ, заставило его бросить на выручку кассы послѣднія пять рублей. Когда онъ пришелъ въ свою ложу, онъ увидѣлъ, что Винтеръ и Флери соврали: противъ обыкновенія, ни Аносова, ни графа Риво, ни Сухарева не было въ театрѣ. Его смутило это обстоятельство, его взбѣсило, что Флери и Винтеръ обманули его. Ему было

досадно, когда эти «мальчишки», эти «пошляки» въ угоду ему шикали. Ему было скверно, когда эти «идіоты» взглянули на него чуть не состраданіемъ, слыша, что онъ поѣдетъ домой, а не на кутежъ, когда они предложили ему ѣхать покутить съ какими-то «мальчуганами».

До сихъ поръ онъ относился къ Винтеру и Флери такъ же, какъ относились къ нимъ его богатые пріятели, — небрежно, иронически, презрительно Онъ видѣлъ въ этихъ «шалопаяхъ» шутовъ, блюдолизовъ, гаеровъ и бездомниковъ. Теперь онъ увидалъ, что эти «прихлебатели» золотой молодежи ставятъ его на одну доску съ собою. Онъ ихъ ненавидѣлъ, и если бы у него въ эту минуту было пятьдесятъ, сто рублей, онъ позвалъ бы ихъ ужинать съ собою куда-нибудь въ загородный ресторанъ, чтобы показать имъ, что онъ не то, что они,—не нищій, который можетъ веселиться только на чужой счетъ. Онъ выкинулъ бы на этомъ ужинѣ какую-нибудь штуку, чтобы посмѣяться надъ ними, чтобы унизить ихъ, какъ унижала ихъ вся «золотая молодежь», доходившая въ этомъ отношеніи до невообразимыхъ мерзостей во время своихъ оргій. Но онъ не только не могъ угостить ихъ ужиномъ, онъ не могъ бы дать имъ взаймы рубля, если бы они обратились къ нему съ просьбою объ этомъ. Онъ поспѣшилъ отдѣлаться отъ нихъ и, отдавъ сторожу, снимавшему съ него пальто, послѣднюю мелочь, поѣхалъ домой безъ гроша въ карманѣ. Онъ могъ бы дойти домой пѣшкомъ, но онъ такъ привыкъ ѣздить, что сѣлъ въ сани прежде, чѣмъ вспомнилъ, что у него нѣтъ денегъ. Его взбѣсило даже это обстоятельство, и почти всю дорогу онъ думалъ о томъ, какъ сильно пріучила его жизнь поступать нерасчетливо, не размышляя, не думая.

Въ этихъ думахъ онъ едва не проѣхалъ мимо дома, гдѣ онъ жилъ.

Остановившись у подъѣзда, онъ выскочилъ изъ саней, вошелъ въ двери подъѣзда и на ходу отрывисто сказалъ швейцару:

— Заплати ему!

— Слушаю-съ!—отвѣтилъ швейцаръ.

Въ головѣ Муратова мелькнула мысль, что швейцаръ, по обыкновенію, отдастъ извозчику рубль, тогда какъ обыкновенный смертный, не Муратовъ, не другъ Апосовыхъ, могъ бы заплатить за проѣздъ отъ театра Берга до Гороховой копеекъ двадцать или тридцать. Но нельзя же было вернуться и сказать швейцару, что на этотъ разъ нужно за-

платить извозчику меньше, чѣмъ платилось всегда. Или ужъ такъ и заявить всѣмъ лакеямъ и швейцарамъ, что онъ, Муратовъ, начинаетъ бѣднѣть, заявить то, догадка о чемъ со стороны Винтера и Флери оскорбила его, Петра Павловича Муратова. Да и возможно ли именно теперь дать поводъ думать, что онъ нищій, теперь, когда онъ твердо рѣшился жениться на богачихѣ, на молоденькой сестрѣ Сухарева, теперь, когда онъ только-что задумалъ закинуть крючокъ этой золотой рыбкѣ? Она была послѣднею его надеждою.

Муратовъ молча прошелъ въ свою квартиру, задумавшись о томъ, что безпечальное житье сдѣлало его и мотомъ, и расточителемъ. Но какъ же иначе могло быть? Могъ ли онъ разсчитывать гроши, вращаясь въ томъ кругу, гдѣ бросалось на водку борелевскому лакею по десяткамъ рублей, гдѣ не платилось извозчику менѣе рубля за одинъ конецъ, гдѣ подносились французскимъ кокоткамъ подарки въ тысячи рублей и букеты въ сотни рублей? Въ этомъ кругу ставилась послѣдняя копейка ребромъ, ставилась безъ расчета, безъ думъ, безъ заглядыванія въ будущее и, главное, безъ всякой опредѣленной, осмысленной цѣли. Кто разсчитывалъ гроши, тотъ не могъ быть въ этомъ кругу или долженъ былъ играть въ немъ ту роль, которую играли Винтеръ и Флери—Троцкіе нашего времени. Золотая молодежь двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ платила Троцкому по гривеннику за пощечину, по рублю за его проѣздъ на лошади лицомъ къ хвосту, но держала Троцкаго на «благородной дистанціи», держала его «въ черномъ тѣлѣ»; золотая молодежь семидесятыхъ годовъ за право издѣваться надъ Винтерами и Флери кормила ихъ ужинами и позволяла имъ обращаться съ собою на «ты». Муратовъ понималъ, что такъ жить ему нельзя, что онъ стоитъ на краю пропасти.

До сихъ поръ онъ былъ алченъ до денегъ, служившихъ источникомъ безпечальнаго житья; теперь въ немъ пробуждалось чувство скупца, видящаго всю прелесть въ сбереженіи денегъ на черный день. До сихъ поръ онъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ среды, подъ вліяніемъ обстоятельствъ; теперь въ немъ пробуждалась его собственная природа, его наслѣдственныя качества. Недаромъ же онъ былъ сыномъ расчетливой, скупой, хотя и неумѣлой мелкопомѣстной «матушки-барыни»; недаромъ же его идіотъ-отецъ собиралъ всю жизнь гвозди, бичевки, газетную бумагу, все, что попадалось ему подъ руку на дорогѣ, на дворѣ, на полу; но-

даромъ же онъ самъ съ дѣтства слышалъ только разсужденія о пропавшемъ яйцѣ, о недостающемъ кускѣ холста, принесеннаго крестьянками, объ увеличеніи на рубль подушнаго оброка съ крестьянъ. Онъ былъ кулакъ по натурѣ, по воспоминанію, по положенію въ обществѣ, и до сихъ поръ являлся мотомъ только вслѣдствіе разнузданности и увлеченія разгуломъ. Такъ сорятъ деньгами купеческіе сынки, будущіе герои наживы, вырвавшись впервые изъ желѣзныхъ лапъ родителей-кулаковъ.

Онъ поднялся по лѣстницѣ и вошелъ въ свою квартиру. Онъ нанималъ двѣ хорошо меблированныя комнаты за шестьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Одна комната служила спальней, другая—гостиной. Его жалованье все уходило на эту квартиру. На всѣ остальныя потребности приходилось добывать деньги изъ другихъ источниковъ. Теперь, можетъ-быть, временно, всѣ эти источники стали изсякать. Это было первое предостереженіе судьбы. Второе могло выразиться въ какой-нибудь продолжительной болѣзни, которая могла бы лишить Муратова возможности увернуться отъ третьяго—отъ смерти. Петръ Павловичъ трусилъ не на шутку.

«Жениться бы поскорѣй на Сухаревой и конецъ»,—думалъ онъ.

Но женитьба на богатой — этотъ вѣчный исходъ всѣхъ голяковъ, промотавшихъ свое состояніе и неспособныхъ къ труду,—была исходомъ въ будущемъ—въ близкомъ, или далекомъ, но все же въ будущемъ. А что дѣлать теперь, сегодня, завтра, когда нѣтъ ни гроша въ карманѣ, когда есть мелкіе долги, когда нѣтъ средствъ пережить время сватовства? Прежде, чѣмъ жениться, нужно было попрежнему являться въ свѣтъ въ качествѣ если не богатаго, то не нуждающагося человѣка, нужно было передъ свадьбою нанять и отдѣлать квартиру, дѣлать мелкіе подарки невѣстѣ, стоять въ положеніи независимаго человѣка. Правда, у Муратова остался еще одинъ источникъ пріобрѣтенія денегъ, но этотъ источникъ, если и не былъ мелокъ, то былъ ненадеженъ, не давалъ покуда многаго.

Случайно Муратовъ познакомился съ глуповатою, какъ онъ мысленно выражался о ней, женою извѣстнаго ростовщика Зимина. Эта женщина, по его же выраженію, полюбила его, «какъ кошка». Отъ нея въ минуты жизни трудныя онъ добывалъ занмообразно немного денегъ. Но ея мужъ былъ деспотъ, скряга, она боялась мужа, она съ трудомъ добывала деньги или, лучше сказать, не деньги, а вещи,

подаренныя ей мужемъ. Эти вещи она тайкомъ передавала Муратову: онъ закладывалъ ихъ. Этотъ источникъ походилъ на соломинку, за которую хватается утопающій. Надѣяться на него было трудно, не хвататься за него было уже нельзя, хотя Муратова каждый разъ коробило, когда ему приходилось хвататься за это средство спасенія.

Петръ Павловичъ тотчасъ же по возвращеніи домой написалъ нѣсколько строкъ, позвонилъ и отдалъ молоденькой горничной записку.

— Относите служанкѣ Зиминыхъ,—сказалъ онъ, отдавая дѣвушкѣ письмо.

Горничная ушла. Онъ заходилъ по комнатѣ.

«Да, братъ Аркадій лучше меня устроилъ свои дѣла,— думалъ онъ.—Адель—ловкая женщина. Глупо, что я ее прозѣвалъ. Мы вмѣстѣ устроили бы свои дѣла лучше. Аркадій глупъ и только мѣшаетъ ей. Моя самонадѣянность меня погубила: жилъ не думая, не разсчитывая. И то сказать: къ чему меня готовили? Бросили въ корпусъ, научили шагистикѣ, тогда какъ нужно было учить чему-нибудь другому, ну, хоть бы сельскому хозяйству или юридическимъ наукамъ, или медицинѣ научили бы, что ли. Знали вѣдь, что безъ денегъ, безъ крестьянъ останусь. Теперь нужно или къ землѣ прикрѣпиться, или быть адвокатомъ тяжущихся дураковъ, или лѣчить больное человѣчество. Эти профессіи даютъ деньги. Инженеры тоже зашибаютъ копейку. А мы, военные, что мы можемъ добыть? Блестящій мундиръ и жизнь впроголодь—отличная карьера для человѣка, не имѣющаго ни земли, ни крестьянъ, ни денегъ. И что за насмѣшка судьбы: росъ среди роскоши и блеска, росъ въ то время, когда кругомъ шла разгульная жизнь хлыщей и кокотокъ, росъ, когда доматывались послѣднія деньги молодыми барчуками и бросались на вѣтеръ легко пріобрѣтаемыя тысячи адвокатовъ и желѣзнодорожниковъ, а теперь, когда привыкъ къ этой жизни, когда отучаться отъ нея поздно, дѣлаюсь нищимъ!»

По лицу Муратова скользнула горькая усмѣшка.

«И вѣдь изъ всей семьи только мнѣ такъ не повезло,— продолжалъ онъ думать, ходя по комнатѣ.—Дядя Александръ получилъ наслѣдство, Аркадій и Адель выбиваются изъ затруднительнаго положенія, Данила женился на золотомъ мѣшкѣ, сестра Серафима начинаетъ дѣлаться извѣстною личностью, Максимъ... Да, гдѣ-то теперь братъ Максимъ?»

Петръ Павловичъ задумался. Передъ нимъ, какъ живой,

воскресъ образъ худощаваго, серьезнаго, плохо одѣтаго юноши. Петръ Павловичъ не разъ встрѣчалъ на улицахъ Петербурга подобныхъ учащихся юношей въ высокихъ сапогахъ, въ клеенчатыхъ фуражкахъ, въ поношенной одеждѣ, въ пледахъ на плечахъ въ трескучіе морозы. Не разъ онъ читалъ въ газетахъ, какъ кончали свою жизнь эти юноши, и въ его головѣ промелькнула мысль:

«Не умеръ ли онъ? Его нигдѣ не видать, о немъ ничего не слышно».

Онъ задумался, но черезъ минуту по его лицу скользнула опять горькая усмѣшка.

«Да гдѣ же мнѣ о немъ и слышать! — подумалъ онъ. — Кто изъ нашихъ якшается съ такими людьми, къ кому изъ нашихъ пойдутъ они? Нѣтъ, Максимъ тоже, вѣрно, не погибъ, устроился по-своему и счастливо. Эти узколобые для себя многаго не требуютъ. Это только я»...

Онъ сдвинулъ брови и подошелъ къ окну.

«У Зиминыхъ еще нѣтъ свѣчи на окнѣ, вѣрно, самъ еще дома,—подумалъ онъ. — А если не уйдетъ сегодня? Чѣмъ завтра за квартиру заплатить? Изъ чего отдать швейцару? На что нанять извозчика? И если опять выдастся такой денекъ, какъ сегодня? Этакъ съ голода поколѣешь, прежде чѣмъ женишься».

Онъ остановился у окна и сталъ барабанить пальцами по подоконнику.

«А сколько денегъ прошло черезъ мои руки!—опять думалъ онъ.—И куда ушли? Въ карманы Берга, Гинне, лакеевъ, извозчиковъ! Сколько осталось на рулеткѣ Салаева».

При этомъ воспоминаніи онъ закусилъ чуть не до крови нижнюю губу. Въ его воспоминаніи ясно воскресла эта большая зала съ длиннымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, съ грудами золота, съ возбужденными физіономіями игроковъ, съ отрывистыми возгласами: «Messieurs, faites votre jeu», «Rien ne va plus», «Le jeu est fait». Сколько денегъ оставилъ онъ въ этой залѣ, надѣясь выиграть, надѣясь сдѣлаться богачомъ!

«И какъ все это было глупо, пошло, безцѣльно! — продолжалъ онъ думать. — Безцѣльно? Да гдѣ же было взять сознаніе цѣли? Кто говорилъ мнѣ о ней? Дома поститься мать и отецъ учили, въ корпусѣ маршировать учили, у родныхъ наслаждаться жизнью учили. Ну, вотъ и донаслаждался до нищеты. И зачѣмъ я такъ рано уѣхалъ сегодня отъ Берга? Аносовъ, можетъ-быть, еще пріѣхалъ бы. Маль-

чишки эти мнѣ надоѣли, противно смотрѣть. Гроша нѣтъ за душой, никакого положенія въ свѣтѣ, никакого будущаго, а ничего—веселы, смѣются. Подличать готовы передъ каждымъ, ну, и счастливы. Неужели придется жить, какъ они, безъ гроша, быть лишнимъ и непрошеннымъ гостемъ вездѣ, залѣзать по уши въ мелкіе долги? Да, женитьба—единственное спасенье. Сухарева восторженна, какъ всѣ институтки. Ее увлечь не трудно. У Сухаревыхъ милліонное состояніе. Такая невѣста—кладъ. Но надо торопиться; въ женихахъ у нея не будетъ недостатка».

Онъ вперилъ глаза въ темноту, охватывавшую городъ. Внизу ярко горѣли газовые фонари, свѣтились окна магазиновъ, то тутъ, то тамъ виднѣлись въ окнахъ огни, порой мелькали фонари каретъ. Онъ завидовалъ всѣмъ этимъ людямъ, которые живутъ, какъ ему казалось, счастливѣе его.

«А у Зиминыхъ все еще нѣтъ на окнѣ огня,—подумалъ Муратовъ и сталъ еще усиленнѣе барабанить по подоконнику.—Нельзя ли у Зиминой захватить болѣе крупный кушъ? Вексель, что ли, съ нея взять. Потомъ учесть можно. Она влюблена, какъ кошка. Она на все готова. И то сказать, что значитъ ей дать мнѣ вексель? Мужа боится? Но мужъ скоро умретъ. Едва ли протянетъ зиму, чахотка въ полномъ развитіи. Тогда ей будетъ чѣмъ платить. Не подождать ли его смерти, да и жениться на ней? Хороша была бы она въ нашихъ салонахъ! Глупа, плохо воспитана, наивна»...

Онъ отошелъ отъ окна и зашагалъ снова по комнатѣ. Что-то скверное поднималось у него на душѣ.

«Вывернуться бы на-время, обставиться и начать атаку противъ Сухаревой,—продолжалъ онъ думать. — На первое время добыть бы денегъ, потомъ, когда все пойдетъ хорошо, можно будетъ прихватить денегъ у Адели. Она дастъ, когда будетъ увѣрена въ отдачѣ денегъ. Ея Гельфрейхъ не откажетъ, узнавъ, что я женюсь на Сухаревой. Еще бы! Ну, а если не удастся увлечь Сухареву? Что тогда? Жить на офицерское жалованье? Глядѣть, какъ веселятся другіе? Стушеваться? Нѣтъ, ужъ лучше покончить съ собой разомъ».

Онъ остановился и снова сталъ смотрѣть въ окно. Въ противоположномъ домѣ бель-этажъ былъ ярко освѣщенъ, тамъ мелькали фигуры нарядно одѣтыхъ людей, при свѣтѣ свѣчей и лампъ можно было разсмотрѣть богатую обстановку комнатъ. По улицѣ мчались кареты, останавливались у подъѣзда этого дома. Муратову стало опять завидно, что

люди веселятся въ то время, когда онъ находится одинъ въ своемъ углу, безъ гроша въ карманѣ, и ждетъ нетерпѣливо, мучительно ждетъ, не поставятъ ли на одно изъ темныхъ оконъ въ третьемъ этажѣ противоположнаго дома свѣчу—условный знакъ, извѣщавшій его о возможности пробраться въ эту квартиру за тѣмъ, чтобы выпросить нѣсколько рублей.

У него билось сердце отъ зависти, злости и нетерпѣнія. Онъ думалъ отрывками, перескакивая отъ одной темы къ другой, какъ человѣкъ, волнуемый множествомъ самыхъ разнообразныхъ чувствъ. Среди этихъ думъ особенно ярко выдѣлялась одна мысль: «скоро ли поставятъ свѣчу на окно въ третьемъ этажѣ противоположнаго дома». Передъ этою мыслью смолкали упреки за глупо растраченныя силы, передъ нею блѣднѣли опасенія за далекое будущее. Онъ походилъ на дошедшаго до нищенства человѣка, у котораго горько прошлое и страшно будущее, но который исключительно думаетъ о томъ, подадутъ ли ему въ послѣднемъ изъ всѣхъ обойденныхъ имъ домовъ Христа ради хоть грошъ—можетъ-быть, на кусокъ хлѣба, можетъ-быть, на выпивку.

— Нѣтъ, я окончательно старѣю, — вслухъ проговорилъ онъ.—Прежде я весело переносилъ эти кризисы...

Онъ позвонилъ. Вошла горничная.

— Вы отдали письмо?—спросилъ онъ.

— Отдала-съ,—отвѣтила она.

— Какой же отвѣтъ?

— Вы знаете, какая грубая у нихъ прислуга. «Ну, васъ, говоритъ, и съ записками!»

— Дура!

— Да ужъ точно, что дура.

— Ступайте. Приготовьте мнѣ чай.

Горничная вышла. Муратовъ опять зашагалъ по комнатѣ. За стѣной послышался смутный говоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ. Говоръ дѣлался все оживленнѣе и оживленнѣе. Вотъ пронесся взрывъ хохота, вотъ кто-то заигралъ на фортепіано «Pif-paf». Муратовъ нервно и нетерпѣливо сталъ барабанить по подоконнику, остановившись снова у окна. Его мысли унеслись куда-то далеко-далеко, кровь прилила къ головѣ.

«Дюпонъ пѣла эту пѣсню»,—мелькало у него въ головѣ, и онъ, помимо своей воли, мысленно повторялъ припѣвъ шансонетки.

«Говорятъ, и она теперь богата! — вдругъ промелькнуло

у него въ головѣ.—И то сказать, кому же и жить теперь, какъ не имъ?.. Но что же это тамъ не выставляютъ свѣчи?»—съ досадой топнулъ онъ ногой.

— Самоваръ поданъ,—послышался голосъ горничной.

— Заварите чай,—отвѣтилъ онъ.

Въ противоположномъ домѣ въ третьемъ этажѣ вдругъ стало совсѣмъ темно.

У него замерло сердце.

«Неужели они ложатся уже спать? — подумалъ онъ и взглянулъ на часы. Было еще десять часовъ: — неужели я не болѣе получаса, какъ пробылъ дома?»

Онъ поднесъ къ уху часы—они вѣрно отчеканивали свое неизмѣнное, торопливое «тикъ-такъ». Онъ опять взглянулъ на противоположный домъ. Тамъ въ третьемъ этажѣ мелькнула мимо трехъ оконъ свѣча и скрылась. Черезъ нѣсколько минутъ свѣча появилась снова, ее поднесли къ одному изъ оконъ и поставили на подоконникъ.

— Катя, Катя, вы оставьте чай, я скоро вернусь,—торопливо проговорилъ Муратовъ горничной, направляясь къ выходу.

Онъ быстро захватилъ свою фуражку. Его лицо оживилось. Его глаза свѣтились радостью. Онъ надѣялся добыть средства на день, на два, для продолженія безпечальнаго житья. Темное, далекое будущее было опять на-время забыто.

III.

— Серьги съ двумя брильянтами, обсыпанными розами, шестьдесятъ рублей, — монотонно вычитывалъ изъ длинной и узенькой шнуровой книги нѣсколько рѣзкій, надтреснутый мужской голосъ, непріятно звучавшій въ невозмутимой тишинѣ полутемной комнаты, загроможденной разнымъ хламомъ. — Покажи-ка ихъ!.. Гмъ, брильянты не велики, не чистой воды... желтоваты... Много дала... Брильянты нынче падаютъ въ цѣнѣ... всѣ вещи падаютъ въ цѣнѣ... а деньги дорожаютъ...

— Эти серьги выкупятъ, — несмѣло отвѣтилъ молодой женскій голосъ.

— Выкупятъ! Говоришь, точно какая-нибудь дѣвочка наивная!.. Когда приносятъ, всегда надѣются выкупить, а потомъ... Знаемъ мы ихъ, какъ онѣ выкупаютъ... брошенныя любовницы, замотавшіяся барыни... «Шелковое платье, отдѣланное бахромой, десять рублей», — снова читалъ мужской голосъ.—Какъ вписываешь: «шелковое платье,

отдѣланное бахромой», и только! Зачѣмъ не прибавлено: «поношенное?» Сколько разъ нужно повторять тебѣ это? Пиши: поношенное, съ пятнами, а то долго ли до непріятностей.

— Оно совсѣмъ новое,—робко замѣтилъ женскій голосъ.

— При тебѣ шили, что ли?.. Не прямо же отъ модистки принесли? Надѣвали, вѣрно... Проститутка какая-нибудь сшила для бала, для театра, для пикника... Платье не привыкло любовника, ну, и стащила его въ закладъ... Онѣ въ одинъ день хуже отмызгаютъ платье, чѣмъ иная барыня въ мѣсяцъ... хвостотрепки!.. «Ковровый платокъ, попорченный молью, три рубля», — продолжалъ чтеніе мужской голосъ. — Это что! Это зачѣмъ? А?.. Я говорилъ, что этой дряни не нужно принимать!.. Опять какая-нибудь нищая притащила, разжалобила слезами... Семья, дѣти, ѣсть нечего!.. Знаемъ ихъ... Тунеядцы... Туда же, дѣтей рожаютъ... Голь!.. Намъ нечего мягкосердечничать! У самихъ не сотни тысячъ... Все трудомъ, безсонными ночами добыто, все мной добыто, все мной добыто!.. Тебѣ это только все легко досталось, за рожицу смазливую, такъ ты и не знаешь цѣны деньгамъ... Погибала безъ крова, въ лохмотьяхъ, и вдругъ въ теплый уголъ попала, въ шелкъ нарядилась, такъ тебѣ и кажется, что деньги всѣмъ съ неба падаютъ, что ими сорить можно... А ты бы спросила, что я теряю каждый день на акціяхъ, на векселяхъ?.. Кругомъ всѣ компаніи лопаются, всѣ купцы банкротятся... Мы сами скоро по-міру пойдемъ... Тогда узнаешь, что значитъ нищета... Три рубля за поѣденный молью ковровый платокъ!.. Куда его дѣнешь, если не выкупять?.. Сама носить будешь, что ли?.. Дура, дура!

Мужчина закашлялъ. Женщина стояла, опустивъ глаза въ землю, едва смѣя дышать.

— Въ могилу... въ могилу свести меня хочешь... Только началъ жить... всю жизнь бился, какъ рыба объ ледъ... страдалъ... Началъ жить, женился на красавицѣ, и вотъ... въ могилу она же сводитъ...

Эти упреки звучали рѣзко и отчетливо въ тишинѣ полутемной комнаты, чередуясь съ звуками сухого кашля, исходившаго точно изъ пустой груди.

Молодой женщинѣ становилось страшно. Ей казалось, что она, молодая, полная силъ, страстно желающая пожить, и этотъ исхудалый человѣкъ, истощенный невзгодами, пожираемый чахоткою, приближающійся къ могилѣ, заперты, замуравлены вдвоемъ въ полутемный склепъ, на-

полненный истлѣвающими трупами и скелетами. Ее давила эта низенькая комната, едва озаренная слабымъ свѣтомъ одинокой, догоравшей свѣчи. Кругомъ стола, за которымъ сидѣлъ мужчина и у котораго стояла эта женщина, тѣснились стеклянныя этажерки, несгораемые шкапы, вѣшалки съ шубами, платьями, мантильями, сюртуками, панталонами. Тутъ медвѣжья шуба смотрѣла, какъ злобный ощетинившійся звѣрь, тамъ пара брюкъ, сверхъ которыхъ висѣлъ узелокъ, напоминала висѣльника съ поникшей головой; порою изъ-за стеколъ шкаповъ, какъ глаза, наполненные крупными слезами, загорались бриллиантовыя искры дамскихъ украшеній,—и все это словно надвигалось все ближе и ближе къ столу въ этой полутьмѣ, въ этой мертвой тишинѣ.

Кашель мужчины немного утихъ. Надтреснутый голосъ дочитывалъ послѣднія строки записной книги.

— Мнѣ надо идти... по векселю завтра срокъ... надо предупредить должника... Ты останешься одна съ Дарьей... Не отворяйте никому... Касса закрыта... Если очень настойчиво будутъ звонить, надѣньте цѣпь и тогда отворите дверь... Сама не отпирай, пусть отпираетъ Дарья... Нѣтъ, ты опять о чемъ-то другомъ думаешь... Что у тебя въ головѣ? Скажи ты мнѣ, ради Бога, не терзай ты меня... скажи все откровенно, добей разомъ...

— Я слушаю...

— Слушаю, а глаза смотрятъ Богъ знаетъ куда, за тысячу верстъ смотрятъ! Бѣжать, что ли, хочешь?.. Нѣтъ, не убѣжишь... отъ мужа не убѣжишь... Зиѣя!.. Позови Дарью...

Мужчина отвернулся. Женщина пошла изъ комнаты, пробираясь среди вѣшалокъ, платья, узловъ, шкаповъ, исчезая въ этомъ лабиринтѣ развѣшанныхъ лохмотьевъ человѣческой суетности, нищеты и роскоши, задѣвая за эти предметы и вздрагивая отъ ихъ прикосновенія. Черезъ пять минутъ ея фигура снова появилась среди навѣшаннаго тряпья. Сзади нея шла другая женщина, не молодая, сухая, хмурая, въ грязномъ, измятомъ ситцевомъ платьѣ.

— Дарья, я ухожу, не впускай безъ меня никого... Будутъ сильно звонить, цѣпь надѣнь на дверь и тогда пріотвори... Сама стой въ сторонѣ... Мало ли, что можетъ случиться... Береги барыню... Я приду черезъ часъ, черезъ полтора...

Мужчина всталъ, болѣзненно расправилъ грудь, выпятилъ ее впередъ, и взялъ теплую фуражку.

— Смотри же, никого не впускай!

— Да знаю!—сурово и отрывисто отвѣтила служанка.—Каждый день одно и то же.

— Посвѣти!

Служанка взяла свѣчку и пошла изъ комнаты по направленію къ прихожей. Мужчина пошелъ за ней. Молодая женщина, казалось, хотѣла остаться одна, но ее пугала эта темная комната, и она поспѣшно пошла за мужчиной.

— Нѣжности какія, провожаетъ!—пробормоталъ онъ сквозь зубы.—Лицемѣрка!

Онъ надѣлъ въ передней чуйку на мѣху, высокія калоши тоже на мѣху, обмоталъ вокругъ шеи красный вязаный шарфъ и пошелъ.

— Смотри же, не отворяй никому!—еще разъ обернулся онъ къ служанкѣ, когда она щелкнула звонкимъ предохранительнымъ замкомъ выходныхъ дверей.

Черезъ минуту замокъ снова щелкнулъ; женщины остались однѣ.

— Письмо къ вамъ принесли давеча,—отрывисто проговорила служанка.

— Кто?—съ живостью спросила молодая женщина.

— Извѣстно кто, не двадцать человѣкъ письма къ вамъ носятъ, а одинъ.

— Онъ самъ былъ?

— Сорока его на хвостѣ принесла.

— Давай же скорѣе!

Служанка подала письмо.

— Давать бы вамъ этихъ писемъ не слѣдовало, только бѣды съ ними наживешь,—ворчала она.

Но молодая женщина не слушала ее и жадно перечитывала лаконическую записку.

«Если одна сегодня вечеромъ, поставь свѣчу на окно. Есть нѣсколько свободныхъ минутъ».

— Свѣчу надо на окно поставить, скорѣе. Сейчасъ придетъ... Ты черезъ кухню, Дарьюшка, впусти,—заторопилась молодая женщина и направилась со свѣчою къ окну.

— Допущать-то его не слѣдовало бы... все бы барину надо разсказать,—ворчала служанка.

— Ну, полно, полно, родная! — уговаривала ее ребяческимъ голосомъ молодая женщина. — Ты знаешь, я тебя отблагодарю за все, за все...

— Что благодарность! Въ бѣду съ вами попадешь! Еще убьетъ, звѣрь-то нашъ...

— Видишь, ты сама его звѣремъ называешь... а каково же мнѣ...

— Кабы не знала, каково вамъ, такъ развѣ стала бы брать экій грѣхъ на душу... Ужъ больно жаль, такъ и попущаю... А то бы...

Служанка махнула рукой.

— Ну, я въ кухню пойду ждать,—проворчала она.

— Я тоже туда пойду посидѣть,—торопливо сказала молодая женщина и, какъ ребенокъ, боящійся, что изъ его темной спальни уйдетъ нянька, торопливо пошла за служанкой.

— Что это вы все въ кухнѣ норовите сидѣть безъ Леонида Григорьевича, — замѣтила служанка: — точно комнатъ нѣтъ.

— Боюсь я, боюсь,—отвѣтила молодая женщина.

— Чего? Дверь заперта...

— Да я не воровъ... а знаешь... тутъ эти вещи, точно привидѣнія... темно такъ, тихо, — пояснила молодая женщина, входя съ служанкой въ кухню. — Я и въ дѣтствѣ была трусихой, когда у бабеньки жила... Бабенька была такая старая, старая, все крестилась, все «да воскреснетъ Богъ» читала... мерещилось ей что-то... Няня, гувернантка и кухарка наши тоже старыя были, про домовыхъ, бывало, говорятъ, а я вся дрожу, дрожу... Потомъ, когда бабенька умерла, и я одна осталась въ домѣ, мнѣ такъ страшно, страшно стало, что я была даже рада въ первую минуту, когда дядя пріѣхалъ и выгналъ меня изъ дома бабеньки...

— Хорошъ дядюшка, на улицу племянницу родную выгналъ,—проворчала служанка.

— Да онъ вѣдь не виноватъ: оказалось, что я незаконная внучка бабеньки была и по закону мнѣ ничего не слѣдовало получить послѣ нея,—простодушно пояснила молодая женщина.

— По закону!—пренебрежительно произнесла служанка.— А онъ бы не по закону, а по-божески поступилъ... Тогда не пришлось бы и за Леонида Григорьевича выходить, тиранства терпѣть отъ злодѣя...

— Да... Леня больной, раздражительный... только я ему обязана... Я вѣдь совсѣмъ съ голоду померла бы, если бы не онъ... я какъ осталась на улицѣ, такъ и умерла бы... Куда бы я пошла?.. Бабенька меня при себѣ держала, ничему не научила, только умѣла я читать и писать по-русски, да по-французски, да играть на фортепіано; бабенька

все говорила, что для порядочной дѣвушки больше ничего не надо... Если бы Леня не проходилъ тогда по Александровскому парку, когда я сидѣла, да плакала, не зная, куда идти, я такъ бы и умерла, а онъ сжалился...

— Ну, да, сжалился!.. Будь-ка вы уродъ, да перестарокъ, не сжалился бы, а то жалостью-то своею вѣкъ вашъ заѣлъ... Васъ бы и не такой лядащій взялъ въ жены...

Въ эту минуту раздался стукъ въ двери.

— О, чтобъ васъ не было!—проворчала испуганная стукомъ служанка и пошла къ дверямъ.

Но молодая женщина уже вскочила съ мѣста и быстро отворила двери.

— Петя, Петя!—воскликнула она и обвила руками шею молодого человѣка, переступившаго порогъ въ кухню.

Это былъ Петръ Павловичъ Муратовъ.

— Соня, задушишь, задушишь! — небрежно усмѣхнулся онъ и отвелъ ея руки.—Дай снять пальто.

Онъ ловко сбросилъ пальто на руки служанки и небрежно проговорилъ носовымъ голосомъ:

— Завтра, Церберъ, получишь вознагражденіе!

— Надѣюсь, что вы, Софья Дмитріевна, проведете меня въ свои внутренніе покои изъ этой пріемной,—усмѣхнулся онъ, обращаясь къ молодой женщинѣ.

— Пойдемъ, пойдемъ, Петя!—засуетилась молодая женщина.

Она взяла свѣчу и почти побѣжала изъ кухни. Она теперь ничего не боялась: ни навѣшаннаго хлама, ни полутьмы, ни тишины. Ея маленькое, кругленькое, румяное, какъ крымское яблоко, личико все свѣтилось чисто дѣтскою радостью и счастіемъ. Вся ея физіономія напоминала неосмыслившуюся, несформировавшуюся физіономію ребенка, безъ опредѣлившихся, рѣзкихъ очертаній. Вздернутый носикъ, пухленькій розовый подбородокъ съ ямкой, толстыя румяныя губки, нѣсколько свѣтлые голубые глаза, отдувшіяся щечки, не особенно правильныя брови,—все это напоминало скорѣе дѣвочку, чѣмъ женщину. Небольшой ростъ дополнялъ иллюзію.

— А что Рауль Синяя Борода скоро явится въ свой замокъ? — небрежно спросилъ Петръ Павловичъ Муратовъ, опускаясь на кушетку.

— Леня?.. Нѣтъ, онъ черезъ часъ придетъ, не ранѣе,— отвѣтила молодая женщина, останавливаясь передъ нимъ.—

Идти далеко, а онъ ни за что извозчика не возьметъ... Вотъ-то онъ скупой!

— Значитъ, можно побесѣдовать...

— Ты даже не поцѣловалъ еще меня, — упрекнула его молодая женщина, по-дѣтски капризно надувая губки.

— Приблизьтесь, и я васъ расцѣлую, прелестная царевна! — засмѣялся Муратовъ и, взявъ за талью молодую женщину, посадилъ ее къ себѣ на колѣни. — Сперва подставьте ваши добрые глазки, потомъ ваши надувшіяся губки.

Онъ поцѣловалъ ея глаза, ея губы, онъ обращался съ нею, какъ съ игрушкой, какъ съ вещью, изъ которой онъ могъ дѣлать все, что ему вздумается. Что-то глубоко-развратное, безконечно-циничное было въ его ласкахъ. Отъ этихъ ласкъ у нея кровь приливала къ головѣ, темнѣло въ глазахъ, захватывало дыханье въ горлѣ.

— Ну, теперь мы перестали дуться и, надѣюсь, остались довольны?—спросилъ онъ черезъ нѣсколько минутъ слегка насмѣшливымъ тономъ.

Молодая женщина, вся раскраснѣвшаяся, молча наклонилась и прильнула къ его выхоленной, почти женской рукѣ губами. Въ этомъ поцѣлуѣ сказывалась какая-то смиренная, покорная благодарность рабыни.

— А время идетъ и вмѣстѣ съ нимъ идетъ и Рауль Синяя Борода, — проговорилъ Петръ Павловичъ, не отнимая руки отъ губъ молодой женщины.—Теперь мнѣ остается еще сдѣлать одинъ вопросъ: какъ наши дѣла?

Молодая женщина быстро подняла голову и какъ-то растерянно и пугливо взглянула на Муратова.

— Петя, еще немного побудь,—молящимъ голосомъ проговорила она.—Посиди...

— Нельзя... ты сама знаешь, что надо уйти во-время...—произнесъ онъ, пожимая плечами.—Не должно портить водевиль трагическимъ концомъ... А вы, Софья Дмитріевна, о дѣлахъ, вѣрно, и забыли!

— Петя, какой ты недобрый!—упрекнула его молодая женщина.—Вотъ брошь... за нее дадутъ сто рублей.

— Сто-о?— спросилъ протяжно Муратовъ, взглянувъ на брошь, вынутую Софьею Дмитріевною изъ кармана.

— Да, это покуда... послѣ я постараюсь еще,—въ смущеніи начала Софья Дмитріевна.

— Немного... немного...—задумчиво произнесъ Петръ Павловичъ.—И вѣчная возня съ этими вещами, съ оборотами... это тяжело!.. Я не знаю, какъ я перебьюсь... жизнь

такъ дорога въ Петербургѣ. Право, лучше мнѣ перевестись въ армію, въ провинцію... Тамъ дешевле жить... Здѣсь мнѣ приходится только обирать тебя, мучиться самому и мучить тебя...

— А я?—испугалась молодая женщина.

— Что-жъ... ты покуда останешься съ своимъ Раулемъ... не вѣчно же будетъ онъ жить...

— Не вѣчно... но мнѣ годъ безъ тебя покажется вѣчностью...

— А мнѣ, ты думаешь, будетъ весело гдѣ-нибудь въ трущобѣ? Но вѣдь безъ денегъ жить здѣсь нельзя, служа въ Петербургѣ...

— Петя!..

Молодая женщина съ мольбой взглянула на Муратова, и въ ея глазахъ блеснули слезы.

— Придумай что-нибудь.

— Что же придумать?—небрежно пожалъ плечами Муратовъ и поднялъ глаза къ потолку, обдумывая что-то.— Вексель, что ли, напиши... можетъ-быть, кто-нибудь учтетъ...

— А изъ чего же заплатить?—испугалась молодая женщина.

— Помретъ мужъ—заплатишь, не помретъ до срока—отсрочить можно.

— Да?.. Ну, что же, дѣлай, какъ знаешь... Только ради Бога не уѣзжай... Нѣтъ, это совсѣмъ невозможно... Остаться безъ тебя здѣсь съ нимъ... нѣтъ, нѣтъ!.. Милый мой, красавчикъ!..

Она опять припала губами къ его рукѣ.

— Эхъ, Соня, Соня, мы только затягиваемъ на себѣ петлю...

— Милый!—жалующимъ тономъ произнесла она.

Онъ молча махнулъ рукою.

— Такъ я зайду на-дняхъ,—проговорилъ онъ, поднимая ее съ своихъ колѣнъ и поднимаясь съ мѣста.—А вексель ты можешь прислать мнѣ завтра утромъ... Вѣдь вексельная бумага у васъ всегда есть...

— Ты поскорѣй приходи!.. Завтра или послѣзавтра Леня опять уйдетъ въ девять, въ десять часовъ... ему нужно будетъ опять идти по дѣлу... засѣданіе у нихъ какое-то будетъ по дѣламъ норѣченской желѣзной дороги... Я поставлю на окно свѣчу...

— Хорошо, хорошо!.. Прощай!

Молодая женщина еще разъ обвила его шею своими руками и прильнула губами къ его лицу.

— Никогда бы я не разстались съ тобой!—воскликнула она, прижимаясь къ нему всѣмъ тѣломъ.

— Нужно покориться судьбѣ!

— У, какой ты жестокій!

— Да развѣ я могу отвѣчать за распоряженія судьбы?

— Нѣтъ, но ты не напоминай о судьбѣ... это тяжело...

— Ты совсѣмъ дѣвочка!

Они вышли въ кухню. Служанка, положивъ голову на столъ, спала крѣпкимъ сномъ усталаго рабочаго человѣка.

— Вѣрный Церберъ плохо сторожитъ,—усмѣхнулся Петръ Павловичъ.

— Не буди ее, я сама подамъ тебѣ пальто,—сказала молодая женщина.

— Зачѣмъ же? Я и самъ надѣну,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я подамъ! Если бы ты зналъ, какъ я тебя люблю. Я все, все готова для тебя сдѣлать,—горячо проговорила молодая женщина, вся полная любовью.

— Даже пальто подать?—усмѣхнулся Муратовъ.

— Ахъ, нѣтъ! Ты все шутишь! Я не умѣю этого высказать, я такая глупенькая!

Она подала ему пальто и снова обвила его руками. Онъ поцѣловалъ ее крѣпко, прижавъ къ груди, почти приподнявъ на воздухъ, и потомъ отворилъ дверь.

— Прощай, приходи же!—проговорила она.

Дверь заперлась за Петромъ Павловичемъ. Молодая женщина осталась въ кухнѣ. Она присѣла въ уголокъ и задумалась. Въ ней проснулось сожалѣніе, что она не встрѣтилась съ Петромъ Павловичемъ Муратовымъ до своего замужества. Если бы она встрѣтилась съ нимъ раньше замужества, ей не пришлось бы обманывать своего мужа. Мало-по-малу, ей вспомнилась вся ея прошлая жизнь.

Она росла у бабки, старой, полупомѣшанной генеральши, разсердившейся на весь міръ въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, бросившей свое крошечное имѣніе и поселившейся въ Петербургѣ, на Петербургской сторонѣ, съ старою служанкою, съ старою нянькою Сони, съ старой гувернанткою ребенка. «Матушка-генеральша», высокая, прямая, какъ палка, набѣленная и нарумяненная, въ черномъ сырцевомъ парикѣ съ буклями, въ пестрыхъ и яркихъ старомодныхъ платьяхъ, въ широчайшихъ кринолинахъ, жила затворницею и являлась только въ казначейство для полученія пенсіи, и въ церкви для распеканія сторожей за плохо вставленныя свѣчи, для распеканія дѣтей за неусердное моленіе, для распеканія нищихъ за то, что они не работаютъ. Когда она являлась на улицѣ, въ своемъ красномъ платьѣ, въ своемъ

вытертомъ бархатномъ салопѣ съ широкими полосами и клѣтками, въ своей старомодной шляпкѣ съ длиннымъ и и обдерганнымъ страусовымъ перомъ,—прохожіе оглядывали ее, какъ какое-то чудо, съ удивленіемъ, а мальчишки безъ церемоніи бѣжали вприскочку за «барыней чудихой», бормотавшей имъ какія-то угрозы. Дѣвочка росла невесело въ домѣ этой старухи, среди запаха ладана и деревяннаго масла, среди суевѣрныхъ страховъ и суевѣрныхъ обрядовъ, въ родѣ крестовъ, дѣлаемыхъ мѣломъ на дверяхъ наканунѣ крещенія, въ родѣ выставленія башмаковъ подошвами къ стеклу во время вытья собаки, въ родѣ обматыванія руки красной шерстинкой, когда «разовьется» рука, въ родѣ бросанія соли черезъ плечо того, кто просыпалъ соль, и т. п. Ни родныхъ, ни знакомыхъ не появлялось въ домѣ. «Матушка-генеральша» по цѣлымъ днямъ или раскладывала пасьянсы, или ворчала на старыхъ служанокъ, или, подпершн граціозно нарумяненную щеку костлявою рукою, сидѣла у окна и безцѣльно по часамъ смотрѣла на пустынную улицу, точно купеческая невѣста, поджидающая жениха. Вспоминалась ли ей въ эти часы старая жизнь съ покорными «Глашками» и «Прошками»; грезились ли ей былые романы ея молодости съ стройными гвардейцами; накоплялась ли въ ней желчь на новые порядки, выбившіе ее изъ старой колеи,—неизвѣстно. Она не дѣлилась ни съ кѣмъ своими мыслями, потому что была «горда, горда», какъ она однажды заявила сама на исповѣди попу. Подъ вліяніемъ этого выжившаго изъ ума существа протекли лучшіе годы маленькой Сони,—протекли скучно, однообразно, безцѣльно. Ученіе дѣвочки ограничивалось русской и французской грамотностью, музыкой, изученіемъ молитвъ, акаѳистовъ, заповѣдей. Свободное время посвящалось вышивкѣ по канвѣ. Пить, ѣсть, спать, слушать разсказы о чудесахъ знахарства, смотрѣть на раскладываніе гранъ-пасьянсовъ, няньчить во время болѣзней заплывшую жиромъ моську, вышивать, играть на фортепіано, говорить по-французски, молиться, читая по молитвеннику знакомыя молитвы,—вотъ все, чѣмъ наполнялись дни дѣвочки въ этомъ мрачномъ домѣ съ старомодною мебелью. Никакихъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ, никакихъ вопросовъ о нравственности и обязанностяхъ человѣка не поднималось въ этомъ маленькомъ міркѣ полупомѣшанныхъ старухъ. Если можно было назвать кого-нибудь «невиннымъ созданіемъ», такъ именно эту дѣвочку. Она не знала въ сущности ничего изъ жизни человѣчества. Ея

мозгъ на семнадцатомъ году былъ въ такомъ же младенческомъ состояніи, какъ и на пятомъ году, съ тою только разницею, что на пятомъ году жизни она не была такою трусихою, какою сдѣлалась на семнадцатомъ. Теперь она боялась и темной комнаты, и покойниковъ, и грозы, и сердитыхъ людей, и гнѣвнаго Бога, о Которомъ она только и знала одно то, что Онъ можетъ наказать и наказываетъ людей. Можетъ-быть, она прожила бы такъ и долго, если бы у нея внезапно не умерла бабка. Тотчасъ послѣ похоронъ «матушки-генеральши» пріѣхалъ сынъ покойницы, отпустилъ старыхъ слугъ, а потомъ выгналъ и молоденькую дѣвочку. Когда ее выгоняли, ей сказали, что она незаконная дочь старшаго сына покойницы, убитаго на войнѣ, и потому не имѣетъ права на наслѣдство. Ей было такъ страшно въ томъ домѣ, гдѣ недавно еще была покойница, что она была почти рада, вырвавшись послѣ похоронъ на улицу изъ мрачнаго дома бабки. Такъ вырывается изъ клѣтки птица, не думая, что на свободѣ она, можетъ-быть, не найдетъ корму. Но эта радость быстро прошла, когда дѣвушка увидала, что ей приходится остаться на мостовой на ночь, что у нея нѣтъ ни денегъ, ни знакомыхъ, ни родныхъ. Она зашла въ Александровскій паркъ, сѣла на скамью и заплакала. Каждый встрѣчный могъ въ эту минуту сдѣлать съ нею, что угодно. Въ это же время на скамью присѣлъ Леонидъ Григорьевичъ Зимнинъ. Онъ пѣшкомъ ходилъ къ какому-то должнику на Аптекарскій островъ и, возвращаясь домой, присѣлъ усталый отдохнуть въ паркѣ. Онъ былъ одѣтъ въ поношенное, длинное пальто на ватѣ, несмотря на теплую весеннюю погоду, на немъ была нахлобучена теплая фуражка и намотанъ вокругъ шеи вязанный шарфъ. Онъ былъ занятъ своими расчетами процентовъ, неустоекъ, учета, пониженія и повышенія процентныхъ бумагъ. Онъ не могъ привлечь на себя вниманія молодой дѣвушки и не могъ заинтересоваться ею. Но она плакала все неутѣшнѣе и неутѣшнѣе. У него были больные нервы чахоточнаго человѣка. Его раздражали эти рыданія.

— Чего вы?—грубо спросилъ онъ.—Потеряли что-нибудь?

Онъ не могъ себѣ представить, чтобы человѣкъ плакалъ о чемъ-нибудь, кромѣ потери.

— Бабушка у меня умерла,—всхлипывая, отвѣтила она.

— Не Аридовы же вѣки жить,—пробормоталъ онъ.—Чего же вы-то здѣсь сидите: плакали бы дома.

— Меня выгнали оттуда... я незаконная внучка...—рыдала молодая дѣвушка.

— Выгнали? Куда?
— На улицу.
— Что-жъ, у васъ есть деньги?
— Нѣтъ!
— А знакомые?
— Никого!
— Куда же вы пойдете
— Мнѣ некуда идти!

Зиминъ искоса осмотрѣлъ ее. Она была похожа на пухленькаго ребенка. Ему показалось, что онъ когда-то и гдѣ-то видѣлъ это личико.

— Да кто была ваша бабушка?—спросилъ онъ.
— Генеральша Трощинская,—отвѣтила дѣвушка.
— А! такъ я васъ у нея видѣлъ!

Онъ теперь ясно вспомнилъ, что онъ видѣлъ эту дѣвушку, приходя нѣсколько разъ на зовъ генеральши Трощинской, закладывавшей у него свои послѣднія золотыя вещи. Онъ помнилъ даже, какъ генеральша хвастала своею любовью къ внучкѣ, «которую она могла бы бросить», и какъ старуха прибавляла къ этому, что она, «впрочемъ, не можетъ жаловаться на неблагодарность дѣвочки». Можетъ-быть, ему стало жаль эту дѣвочку, судьба которой походила на его судьбу; можетъ-быть, онъ сообразилъ, что она можетъ сдѣлаться даровой его работницей; можетъ-быть, онъ вспомнилъ, что у него недавно умеръ отъ чахотки старый конторщикъ и что этого конторщика можно замѣнить ею,—это трудно опредѣлить.

— Хотите идти ко мнѣ жить?—спросилъ онъ ее.
— Если вы возьмете меня.
— Вы не боитесь, что я васъ обижу?
— Чѣмъ же?
— Мало ли чѣмъ можно обидѣть такую молодую дѣвушку.

Она подняла на него дѣтски-недоумѣвающій взглядъ. Онъ понялъ, что она вовсе не сознаетъ, что ее можно чѣмъ-нибудь обидѣть.

Съ этого дня она поселилась у Зимина въ качествѣ конторщицы при его гласной кассѣ ссудъ. Онъ относился сначала къ ней просто, грубо, сухо, раздражительно, какъ онъ относился къ своей Дарьѣ, какъ относился когда-то къ прежнему своему конторщику, сердясь, что новая конторщица не могла сразу понять своихъ обязанностей. Въ седьмомъ часу онъ самъ будилъ молодую дѣвушку, толкая ее костлявою рукою въ плечо и говоря ей грубымъ голосомъ:

— Вѣчно васъ будить надо, сами проснуться не можете.

Вечеромъ онъ провѣрялъ съ нею кассовую книгу до двѣнадцати часовъ, не обращая никакого вниманія на ея утомленіе, не смотря на ея лицо. Онъ являлся передъ нею въ халатѣ, въ туфляхъ, почти въ той одеждѣ, въ которой спалъ, и не находилъ въ этомъ ничего неприличнаго. Онъ видѣлъ въ ней конторщицу, что-то въ родѣ машины, нѣчто въ родѣ механическихъ счетовъ. Но природа взяла свое.

Леонидъ Григорьевичъ Зиминъ, отставной поручикъ одного изъ гвардейскихъ полковъ, былъ человѣкъ лѣтъ тридцати девяти, сорока. Онъ, какъ онъ самъ выражался, воспитывался въ кружевныхъ и атласныхъ пеленкахъ. Восемнадцати лѣтъ онъ былъ выпущенъ въ офицеры, въ гвардію. Въ это время внезапно умеръ его отецъ, а за отцомъ скоро умерла и мать. Онъ сдѣлался наслѣдникомъ неоплатныхъ долговъ, оставленныхъ ему вмѣсто богатства мотами-родителями. Это такъ на него подѣйствовало, что онъ сдѣлался постепенно мизантропомъ, скрягой, ростовщикомъ. Сначала онъ затворился отъ своихъ старыхъ друзей, съ которыми онъ кутилъ напропалую съ шестнадцати лѣтъ и которые бросили его во время его бѣдности, потомъ онъ началъ копить деньги на черный день съ твердымъ намѣреніемъ еще пожить въ свое удовольствіе; далѣе онъ сталъ отдавать эти деньги подъ залогъ, наконецъ, долженъ былъ вслѣдствіе этого выйти изъ полка, открылъ гласную кассу ссудъ и сдѣлался однимъ изъ самыхъ алчныхъ ростовщиковъ. Его характеръ портился, черствѣлъ, омрачался постепенно: ударъ, нанесенный ему его покойными отцомъ и матерью, необходимость рѣзко перемѣнить образъ жизни, холодность друзей, еще наканунѣ ухаживавшихъ за нимъ, какъ за наслѣдникомъ богатыхъ людей, разрывъ со всѣми родными, которые не протянули ему руки помощи, горечь при сознаніи, что онъ долженъ отказывать себѣ во всѣхъ удобствахъ и удовольствіяхъ, къ которымъ онъ привыкъ съ дѣтства и которыми еще пользовались его вчерашніе друзья,—все это раздражало, бѣсило, доводило до болѣзненности молодого человѣка. Ему хотѣлось кому-то отомстить, кого-то затоптать въ грязь, и онъ, зная по опыту, какое значеніе имѣютъ деньги, добивался только ихъ, добивался всѣми путями. Деньги уже стали скапливаться въ его рукахъ, но ему все казалось, что ихъ еще мало, что, начавъ ихъ тратить, онъ легко можетъ впасть въ нищету, и онъ продолжалъ дрожать надъ каждымъ грошемъ, отказывать себѣ во всемъ. Когда ему удалось ско-

нить порядочный капиталецъ, онъ былъ уже не особенно молодъ, страдалъ чахоткою, видѣлъ близость смерти. Въ это время судьба столкнула его съ Софьею Дмитріевной. Сначала онъ ее какъ будто не замѣчалъ, не считалъ за дѣвушку. Но разъ какъ-то онъ пришелъ домой и засталъ ее за піанино, которое только-что заложили къ нему. Она играла попури изъ «Лючіи». Онъ вошелъ въ комнату и остановился. Чѣмъ-то прошлымъ, давно забытымъ, пахнуло на него. На минуту передъ нимъ пронеслись какія-то нѣкогда дорогія ему картины театра, музыки, нарядной толпы, аплодисментовъ, веселаго движенія. Онъ испугался и рѣзко обратился къ молодой дѣвушкѣ:

— Прошу у меня не играть!.. Лучше занимайтесь дѣломъ... Книги надо привести въ порядокъ, свести итоги... а вы...

Онъ оборвалъ фразу на полусловѣ и подошелъ къ конторкѣ.

Молодая дѣвушка подняла на него удивленные и добрые глаза и отошла отъ піанино. Ее удивило, что его сердитъ музыка. Она не знала, что онъ раздражился отъ нахлынувшихъ воспоминаній, что онъ испугался ихъ, какъ узникъ пугается веселаго шума свободы послѣ мрачнаго затишья тюрьмы. На слѣдующій день поутру, онъ, страдавшій вѣчной безсонницей и особенно тревожно проведшій эту ночь, по обыкновенію разбудилъ служанку и пошелъ будить молодую дѣвушку, жившуюся на кушеткѣ. Подойдя къ ней, онъ невольно остановился и впервые взглянулъ на нее во время ея сна. Ея лицо горѣло молодымъ румянцемъ, ея полуобнаженныя руки и грудь были полненькія, какъ у здоровенькаго ребенка. Она производила впечатлѣніе и малютки, и выхоленной дѣвушки-невѣсты. Впервые Зимину стало жаль будить ее, и онъ, посмотрѣвъ еще немного на ея раскраснѣвшееся личико съ полуоткрытымъ ртомъ, махнулъ рукою, отошелъ прочь и сѣлъ въ другой комнатѣ у окна, опустивъ голову на обѣ руки. Прошлое, его свѣтлое прошлое, снова воскресло передъ нимъ, но онъ уже не отгонялъ этихъ воспоминаній, не сердился на нихъ. Онъ просто плакалъ. Въ его надломленной, нервной натурѣ проснулась снова жажда жизни, и онъ боялся теперь одного, что начинать жить было уже поздно.

— Я проспала сегодня,—замѣтила дѣвушка, проснувшись и одѣвшись черезъ часъ.

— Ничего! Когда же и спать, какъ не въ ваши лѣта. Это намъ, старикамъ, не спится,—грустнымъ тономъ сказалъ Зиминъ.

— Развѣ вы старикъ?—проговорила она.

— А вы думаете, молодъ?—горько усмѣхнулся онъ.

— Разумѣется! Вамъ лѣтъ сорокъ...

— Тридцать восемь...

— Ну, вотъ видите, мужчина сорокъ лѣтъ—молодой. Бабенька всегда говорила: сорокъ лѣтъ—бабій вѣкъ; а для мужчины—пора жениться.

— Вотъ какъ!

Онъ задумался.

Для чего онъ живетъ? Для чего онъ добываетъ деньги? Для кого копитъ богатство? Когда онъ начиналъ копить, онъ думалъ скопить деньги для веселой, безпечной жизни въ будущемъ, потомъ копить деньги вошло въ привычку, въ потребность, сдѣлалось цѣлью, а не средствомъ; годы уходили, а онъ все еще не жилъ, а только собиралъ средства для жизни. Когда послѣ безсонной ночи онъ снова пришелъ будить молоденькую дѣвушку, онъ уже былъ самъ не свой, онъ уже сладострастно впивался въ нее глазами; онъ хотѣлъ дотронуться до ея плеча, чтобы разбудить ее, и безсознательно нагнулся и поцѣловалъ ее въ губы.

— Ахъ, это вы?—открыла она глаза и, кажется, удивилась только тому, что его лицо наклонилось такъ близко къ ея лицу.

— Софья Дмитріевна, Соня,—прошепталъ онъ:—полюбите меня...

У него захватило дыханіе. Онъ любилъ, онъ признавался въ любви впервые на тридцать восьмомъ году жизни, какъ школьникъ, неумѣло, несмѣло, смѣшно, стоя у постели той кого любилъ.

— Да развѣ я васъ не люблю?—простодушно отвѣтила она.—Какъ же мнѣ васъ не любить, вы меня спасли...

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Что спасенье!—пробормоталъ онъ.

— Любите меня не за это, а такъ... какъ мужа...

Она смотрѣла въ недоумѣніи.

— Я не знаю... какъ же...—говорила она.—Какъ мужа любятъ... я не знаю...

— Будьте моею... выйдите за меня замужъ... живите вѣчно, вѣчно со мной,—шепталъ онъ.

— Куда же мнѣ больше идти? У меня никого нѣтъ, кромѣ васъ,—отвѣтила она.

— Такъ вы согласны?.. Соня, милая!

Онъ обнялъ, онъ цѣловалъ ее страстно, мучительно. Она

испугалась этихъ непривычныхъ, дикихъ для нея порывовъ страсти.

Они обвѣнчались, они сдѣлались мужемъ и женою. Онъ обожалъ ее и тиранилъ; онъ тиранилъ ее ласками, тиранилъ ревностью, тиранилъ подозрѣніями, тиранилъ упреками. Почему? Потому, что онъ былъ боленъ, а она здорова; потому, что онъ обожалъ ее, а она только позволяла дѣлать съ собой, что угодно; потому, что онъ увядалъ, а она расцвѣтала; потому, что иногда въ тѣ минуты, когда ему хотѣлось ласкать и ласкать ее, онъ падалъ, задыхаясь отъ кашля, почти безъ чувствъ, къ ея ногамъ, и сознавалъ, что онъ самъ добиваетъ себя, разрушаетъ свое здоровье этою любовью. Она, съ своей стороны, играла роль жены такъ же, какъ она играла роль бухгалтера; ее можно было заставить написать какой угодно длинный счетъ, и она исполнила это въ точности, но безъ приказанія она не вписала бы въ книгу и двухъ цифръ; ее можно было заставить поцѣловать мужа десять разъ въ день, но сама по себѣ она не дала бы мужу и одного поцѣлуя въ годъ. Лично для нея ни эти счеты, ни эти поцѣлуи не имѣли никакого интереса: они не составляли для нея потребности, они были ей не нужны, они были для нея работою, а не наслажденіемъ.

— Скажи ты мнѣ, кого ты любишь? Кого?—кричалъ иногда мужъ, выходя изъ себя при видѣ ея равнодушной покорности, при видѣ отсутствія въ ней страсти.

— Я, право, не знаю, что ты говоришь?—съ недоумѣніемъ говорила она.

— Ну да, кто твой любовникъ?

— Любовникъ?

— Не притворяйся! Не притворяйся! Вѣдь ты ненавидишь меня!

— Тебя? За что же? Я тебѣ такъ благодарна! Ты добрый...

— Да развѣ такъ любятъ?

— А какъ же надо любить? Ты скажи, я готова все сдѣлать...—наивно произносила она, смотря на него испуганными и ребяческими глазами.

Онъ хватался за голову и рыдалъ, крича:

— Уйди! уйди отъ меня!

Потомъ онъ плакалъ и вымаливалъ себѣ прощеніе, называя ее «чистымъ ребенкомъ», «невиннымъ созданіемъ», «женщиной-дѣвственницей». Онъ былъ правъ: это была

дѣвственница въ нравственномъ отношеніи; она еще не понимала возможности стремиться къ наслажденіямъ любовью.

Такъ прошло два года, когда однажды въ ихъ гласную кассу ссудъ зашелъ молодой гвардейскій офицеръ. Она сидѣла за піанино и играла вальсъ изъ «Фауста» Гуно. Услышавъ звонокъ отворившейся двери, она встала и зашла за конторку. Она увидѣла передъ собою красиваго, ловкаго, развязнаго молодого человѣка въ блестящемъ гвардейскомъ мундирѣ. Онъ, гремя саблею, небрежно и развязно подошелъ къ конторкѣ и подалъ молодой женщинѣ часы.

— Пожал-ста, поскорѣе,—небрежно проговорилъ онъ носовымъ акцентомъ.—Потерялъ сейчасъ деньги и нечѣмъ даже за ка-ету заплатить...

Онъ красиво облокотился на выручку и безцеремонно разсматривалъ молодую женщину. Покуда она оцѣняла часы, онъ, кажется, оцѣнялъ ее, эту вещь, называемую «молоденькой женщиной».

— Вы по цѣлымъ днямъ здѣсь?—спросилъ онъ.

— Да,—отвѣтила она.

— Это очень скучно, должно-быть,—сказалъ онъ.

— Отчего же?—спросила она и объявила ему цѣну.

— Какъ отчего?.. Вы такъ мо-оды, такъ хо-оши собою, вамъ надо бы жить, веселиться... Здѣсь такъ неуютно...

Онъ проболталъ еще десять минутъ и ушелъ, получивъ деньги. Ей было странно, что онъ объяснялся съ нею такъ просто, такъ развязно, какъ старый знакомый. Ее поразило его красивое лицо, его развязная ловкость. Дня черезъ два онъ опять зашелъ къ ней заложить портсигаръ и кольцо.

— Я къ вамъ скоро перетаскаю все свое имущество, чтобы только видѣть васъ,—сказалъ онъ, протягивая ей руку.

— Чтобы видѣть меня?—простодушно удивилась она.

— Да... меня такъ и тянетъ къ вамъ взглянуть на васъ. Сколько вамъ дать за вещи?

— Ахъ, мнѣ все равно!..

Въ это время его бросила молодая вдова-купчиха, которую прельстилъ больше, чѣмъ онъ, ея молодой рослый приказчикъ.

— Вы не можете себѣ представить, какое впечатлѣніе вы произвели на меня,—продолжалъ онъ.

— Я вамъ не могу дать болѣе двадцати рублей,—сказала она.

— Вы все говорите о деньгахъ!.. Что деньги, когда мнѣ хочется смотрѣть на васъ, смотрѣть безъ конца.

— Мой мужъ...

— Я знаю вашего мужа: это сухой, суровый человѣкъ безъ сердца.

— Вотъ деньги...

— Богъ съ вами, вы совсѣмъ не хотите меня слушать.

Онъ опять протянулъ руку, и когда она подала ему свою руку, онъ быстро прильнулъ къ ней губами. Она даже не вскрикнула, не отдернула руки. Ея лицо только вспыхнуло еще болѣе.

— Ради Бога уйдите,—прошептала она.

Онъ ушелъ, она опустилась на стулъ и словно замерла. Въ ея воображеніи стоялъ его образъ, она еще чувствовала на своей рукѣ прикосновеніе этихъ пышныхъ, горячихъ губъ съ мягкими вьющимися усиками, она еще ощущала пожатіе этой нѣжной, красивой руки. Впервые она понимала, что любовь можетъ дать наслажденіе, любовь къ такому красивому, здоровому молодому человѣку. Когда дня черезъ три онъ опять принесъ что-то въ залогъ, она и испугалась, и обрадовалась. Когда онъ протянулъ ей руку, когда онъ поцѣловалъ ея руку, она тихо прошептала:

— Что вы со мной дѣлаете!

Они сошлись. Она отдалась ему безъ думъ, безъ размышленій, отдалась вполнѣ, не думая, что она измѣняетъ мужу, что она грѣшитъ, что она падаетъ. Такъ сходятся самки съ самцами у животныхъ. Она любила его и не понимала, что она не имѣетъ права любить его. Ея нравственныя понятія были такъ же узки, какъ ея кругозоръ, какъ ея опытность, какъ ея умъ. Когда-то ея бабка и гувернантка выучили ее молитвамъ и заповѣдямъ, и этимъ ограничивались всѣ ея понятія о нравственности. Она знала заповѣдь: «не прелюбы сотвори», но она совершенно не знала, что значатъ эти слова: маленькой дѣвочкѣ считали неприличнымъ объяснять значеніе этихъ словъ; когда она выросла, ей забыли ихъ объяснить. Она не говорила своему мужу о своей связи, но только потому, что инстинктивно боялась его. Она сдѣлалась холоднѣе къ мужу, не перестала любить его по-своему, то-есть отдаваться его ласкамъ и говорить: «онъ добрый, онъ такъ много для меня сдѣлалъ, онъ спасъ меня».

Петръ Павловичъ Муратовъ—это былъ онъ—подкупилъ служанку Зиминыхъ и устраивалъ частыя свиданія съ Софьей Дмитріевной. Онъ почти всегда уносилъ ея вещи, такъ какъ ему нужны были деньги, деньги и деньги; онъ

взялъ даже ея билеты и заложилъ ихъ, а не продалъ, чтобы имѣть возможность отрѣзать въ срокъ купоны, которые мѣнялъ самъ Зиминъ. Софья Дмитріевна, трусиха по натурѣ и по воспитанію, сильно боялась, что въ одинъ прекрасный день мужъ спроситъ у нея и эти вещи, и эти билеты, подаренные ей имъ же, но отказать Муратову она не могла ни въ чемъ. Ему достаточно было сказать, что онъ долженъ по неимѣнію средствъ уѣхать изъ Петербурга, и она отдавала все. Впрочемъ, онъ утѣшалъ ее тѣмъ, что мужъ ея не проживетъ долго, и тогда некому будетъ спрашивать у нея отчета, тогда они соединятся.

Но отчего же не соединиться бы теперь? Этого вопроса она не задавала себѣ. Она боялась даже мысли объясниться съ мужемъ, она была убѣждена, что его не слѣдуетъ огорчать; она не видѣла ничего страннаго въ томъ, что она живетъ съ Муратовымъ, какъ не видѣла ничего страннаго въ томъ, что съ нею живетъ ея мужъ. Только когда Муратовъ уходилъ, она нерѣдко плакала,—плакала о томъ, что онъ ушелъ, какъ дѣти плачутъ, когда у нихъ для нихъ же пользы отнимаютъ излишнія лакомства.

Теперь, сидя въ кухнѣ, она тоже плакала, всхлипывая и оттопыривая губы, какъ ребенокъ. Рѣзкій звонокъ заставилъ ее очнуться. Она начала поспѣшно отирать слезы.

— О, чтобъ его не было! Вѣчно напугаетъ!—проворчала проснувшаяся Дарья и пошла отворять двери.

— Опять плакала?

Это были первыя слова, которыми встрѣтилъ мужъ жену.

— О чемъ?.. Скучно?.. Мужъ надоѣлъ?..

— Ты все сердишься,—проговорила робко жена.

— Сержусь!.. Очень тебя заботитъ это!.. Не все равно тебѣ, огорчаюсь я или нѣтъ.

— Полно, Леня... Зачѣмъ же браниться... Скажи лучше просто, въ чемъ я виновата...

— Во всемъ, во всемъ,—проговорилъ онъ, закашлявъ.

Онъ говорилъ теперь менѣе сердито, какъ человѣкъ, ворчавшій по привычкѣ, безъ цѣли, безъ сознанія.

Онъ присѣлъ на стулъ, вынулъ бумажникъ и молча началъ считать деньги, потомъ онъ сложилъ ихъ пачками, перевязалъ бечевками, щелкнулъ замкомъ несгораемаго шкапа, уложилъ туда деньги и снова сѣлъ у стола. Прошло около четверти часа. Онъ мелькомъ взглянулъ на жену. Она сидѣла поодаль, опустивъ на колѣни руки, какъ провинившійся ребенокъ.

— Соня!—позвалъ онъ ее.

— А?—очнулась она.

— Ты сердишься?

— За что же, Леня?

— Я тебя все обижаю!

Онъ подошелъ къ ней и взялъ ея руки.

— Ты прости меня. Я больной, измученный, изломанный человѣкъ! Я не на тебя сержусь. Я сержусь на людей, на судьбу, на себя! Я сержусь на то, что моя жизнь изломана, что я приближаюсь къ могилѣ, а между тѣмъ, именно теперь мнѣ хотѣлось бы жить и жить, когда у меня есть и деньги, и ты, моя ненаглядная, дорогая!.. Я знаю, что ты мученица, но что же мнѣ съ собою дѣлать, когда я самъ исковеркалъ свой характеръ, когда люди исковеркали меня.

Онъ опустился передъ нею на колѣни.

— Вѣдь ты все же любишь меня?

— Люблю... ты добрый,—отвѣтила она.

— Нѣтъ, нѣтъ, я злой, злой!.. Ты брани, упрекай меня... Мнѣ будетъ легче... веселѣе...

— За что же?

— Ахъ, если бы ты знала, какъ я люблю тебя, какъ хочу жить для тебя, съ тобою!

Онъ цѣловалъ ея руки, ея платье, припадая головой къ ея колѣнямъ. Онъ опять и опять спрашивалъ ее:

— Вѣдь ты любишь меня? Да?

— Люблю,—отвѣчала она.

— Да, да... Если бы ты сказала мнѣ, что ты не любишь меня, я не знаю, что я сдѣлалъ бы... Я сошелъ бы съ ума я убилъ бы и тебя, и себя!.. Да, убилъ бы тебя!..

Ей становилось жутко отъ этихъ словъ. Но онъ не замѣчалъ ничего. Онъ снова порывисто, лихорадочно обнималъ жену. Это была нервная, безумная, болѣзненная страсть. Потомъ онъ немного успокоился и въ сотый разъ говорилъ ей:

— До встрѣчи съ тобой я не зналъ, что значитъ любовь. Мальчишкой я кутилъ, развратничалъ, потомъ жилъ только для денегъ; я собиралъ ихъ сначала, чтобы поправить дѣла, потомъ это вошло въ привычку, въ страсть. Ради нихъ я забылъ людей, жизнь, самого себя. Ты заставила меня очнуться, сдѣлала снова человѣкомъ. Теперь я хочу жить для себя и для тебя. Какъ только приведу я въ порядокъ наши дѣла, мы уѣдемъ за границу, я буду лѣчиться, я еще воскресну, и тогда... тогда ты увидишь, какъ мы

весело заживемъ. Я понимаю, что тебѣ скучно, что тебѣ нужна другая жизнь...

Она боялась его мечтаній о путешествіи еще болѣе, чѣмъ его угрозъ убить и ее, и себя, если она его разлюбитъ.

— Нѣтъ, мнѣ хорошо и такъ, я привыкла,—пробормотала она дрожащимъ голосомъ.

— Привыкла? Это страшное слово, Соня! — перебилъ онъ.—Не произноси его... Привыкнуть ко всему можно, привычкой можно убить въ себѣ всѣ человѣческія чувства, всѣ человѣческія стремленія. Нѣтъ, я не хочу, чтобы ты погубила себя, очерствѣла, замерла, привыкнувъ къ нашей жизни. Я самъ теперь начинаю ненавидѣть эту жизнь, къ которой я привыкъ... Мы должны зажить иначе, шумнѣе, веселѣе... Я былъ до сихъ поръ кротомъ, меня занималъ процессъ нарастанія капитала... Теперь кротъ вырвется на свѣтъ Божій, сдѣлается опять человѣкомъ... И какъ оживешь ты, какъ расцвѣтешь ты за границей... Можетъ-быть, у насъ будутъ еще дѣти...

И снова онъ цѣловалъ и обнималъ свою жену, свою «терпѣливую мученицу». Ее не смущала эта любовь, ее не тяготили эти ласки, ей не казалось страннымъ, что ее любятъ въ одно и то же время два человѣка, какъ не смущало ее когда-то и то, что ее въ одно и то же время любили и бабенька, и няня, и гувернантка. Она только боялась, чтобъ мужъ какъ-нибудь не узналъ о Муратовѣ; она только боялась, чтобъ мужъ дѣйствительно не увезъ ее за границу.

IV.

Проснувшись рано утромъ, Муратовъ нашелъ на своемъ мѣстѣ около постели записку отъ Софьи Дмитріевны. Онъ торопливо разорвалъ конвертъ и увидалъ письмо и вексель на пятьсотъ рублей. Его лицо оживилось. Онъ едва пробѣжалъ глазами страстное посланіе молодой женщины и сталъ торопливо разсматривать вексель. Онъ былъ написанъ по формѣ, какъ слѣдуетъ. Муратовъ ожилъ. Этотъ вексель обѣщалъ ему въ близкомъ будущемъ еще нѣсколько болѣе крупныхъ векселей отъ Зиминой. Нужно было только узнать цѣнность этого перваго векселя на денѣжномъ рынкѣ. Муратовъ торопливо одѣлся, чтобы ѣхать къ знакомому еврею Исааку Кречмеру, который уже не разъ принималъ отъ Муратова въ учетъ различные векселя тѣхъ или другихъ

мужчинъ и женщинъ. Но прежде чѣмъ ѣхать къ этому господину, Петру Павловичу нужно было заложить брошь, такъ какъ у него не было ни копейки въ карманѣ даже на извозчика. Онъ вышелъ изъ дома, сѣлъ въ первыя попавшіяся сани и отправился закладывать брошь. Получивъ за нее сто рублей, онъ направился къ Кречмеру.

Старый еврей жилъ скромно. Отъ его небольшой квартиры двѣ комнаты были отведены подъ контору. Въ этихъ комнатахъ не было ничего лишняго, ничего говорившаго о личныхъ вкусахъ хозяина. Отъ голыхъ стѣнъ, оклеенныхъ обоями подъ дубъ, отъ прочныхъ нѣмецкихъ стульевъ изъ свѣжаго бука съ плетеными сидѣньями, отъ дубовыхъ, блестѣвшихъ лакомъ письменныхъ столовъ съ скромными чернильницами безъ всякихъ украшеній, отъ блестящихъ лакомъ свѣтлыхъ конторокъ конторы вѣяло чѣмъ-то нежилымъ, чѣмъ-то строгимъ и холоднымъ. Въ первой комнатѣ сидѣли два молодые конторщика, длинные, худые, изжелта-блѣдные евреи съ горбатыми, заостренными носами, всегда безмолвные, всегда согнувшіеся надъ своими конторками, похожіе скорѣе на восковыхъ куколъ, чѣмъ на живыхъ людей. Во второй комнатѣ занимался самъ Кречмеръ за письменнымъ столомъ, отдѣлявшимъ его отъ посѣтителей подобно крѣпкой баррикадѣ. Въ глубинѣ комнаты за столомъ хозяина была дверь, за которою, вѣроятно, былъ другой міръ, шла другая жизнь, но въ эту дверь не проникалъ никто изъ приходившихъ сюда «по дѣламъ». Самъ Кречмеръ какъ нельзя болѣе гармонировалъ съ этой официальной обстановкой. Плотный, серьезный старикъ съ холоднымъ выраженіемъ лица, съ горбатымъ носомъ, съ проницательными безстрастными глазами, смотрѣвшими на бумаги сквозь очки и на людей сверхъ очковъ, былъ, казалось, недоступенъ никакимъ другимъ интересамъ, кромѣ своихъ дѣлъ.

Петръ Павловичъ давно зналъ эту контору, давно обдѣлывалъ въ ней свои «дѣла» по учету векселей, но каждый разъ онъ терялъ бодрость духа, свою выработанную долголѣтней свѣтской жизнью развязность при входѣ въ эту контору. Онъ, не стѣсняясь, разсказывалъ своимъ друзьямъ свои довольно пошленькія и грязненькія похожденія, онъ беззастѣнчиво бралъ отъ любившихъ его женщинъ деньги и подарки, онъ дерзко и нахально относился ко всѣмъ торгашамъ, купцамъ, людямъ, живущимъ трудомъ, но при входѣ въ эту контору, гдѣ всѣ, казалось, были глухи и нѣмы, гдѣ его принимали съ холодной вѣжливостью, гдѣ

онъ доставлялъ хозяину извѣстные барыши, онъ испытывалъ какое-то странное чувство неловкости, смущенія. Онъ, кажется, чутьемъ угадывалъ, что Кречмеръ, всегда предупредительный и готовый къ услугамъ, смотритъ на него съ презрѣніемъ, какъ на мелкаго плута, и зорко слѣдитъ, чтобы не попасть ему на мошенническую удочку. Его конфузилъ пристальный осмотръ Кречмеромъ каждаго векселя, каждой подписи. Онъ, вертѣвшійся въ томъ кругу, гдѣ деньги не считались, гдѣ никто не обращалъ вниманія, какую бумажку ему даютъ, фальшивую или настоящую, не могъ понять самой обыкновенной осмотрительности дѣлового человѣка и приписывалъ ее недовѣрію, подозрительности, принимая это за личную обиду. На этотъ разъ онъ чувствовалъ себя еще болѣе неловко, не зная навѣрное, согласится ли Кречмеръ учесть вексель Зиминой. Онъ, кусая губы, дотронулся до пуговки электрическаго звонка. Дверь безъ шума отворилась въ ту же минуту. Онъ сбросилъ съ себя пальто и спросилъ у безмолвно стоявшаго передъ нимъ мальчика-еврея:

— Господинъ Кречмеръ у себя?

Мальчикъ молча указалъ на дверь, ведущую въ контору. Муратову оставалось только войти, потому что Кречмеръ по обыкновенію былъ по-утру дома. Петръ Павловичъ оправилъ сюртукъ и вошелъ въ первую комнату. Молодые конторщики-евреи сидѣли на своихъ мѣстахъ и даже не пошевелились при его появленіи, продолжая писать. Они, казалось, срослись съ своими стульями. Муратовъ замѣтилъ только, что ихъ зоркіе глаза на мгновеніе скользнули по его фигурѣ, хотя ихъ головы продолжали оставаться въ прежнемъ положеніи, сильно пригнувшись къ конторкамъ.

Онъ неловкою походкою, подобравъ саблю, прошелъ во вторую комнату.

Старикъ Кречмеръ тоже сидѣлъ на своемъ мѣстѣ, придерживая одною широкою и плоскою рукою въ перстняхъ раскрытую шнуровую книгу и положивъ другую руку на счеты. Не поднимая головы, но поднявъ глаза и брови, онъ сверхъ очковъ окинулъ своимъ пытливымъ взглядомъ вошедшаго, неторопливо закрылъ книгу и, указавъ на стулъ, стоявшій около стола противъ его кресла, вѣжливо проговорилъ:

— Прошу! Чѣмъ могу служить?

— У меня есть дѣло, — началъ Муратовъ, бросивъ на столъ фуражку и садясь на стулъ.

Еврей молчалъ и ждалъ объясненія дѣла. Муратовъ чувствовалъ, что ему слѣдуетъ вынуть векселъ и спросить, согласится ли Кречмеръ его учесть, но, несмотря на все желаніе поскорѣе выбраться отсюда, онъ не могъ сразу сдѣлать это и вмѣсто векселя вытащилъ портсигаръ, проговоривъ:

— Вы позволите?

Кречмеръ молча подвинулъ ему спички. Старикъ долголѣтнимъ опытомъ убѣдился, что лучше всего дѣлать наблюденія надъ людьми молча, вызывая молчаніемъ ихъ болтливость. Муратовъ зналъ неразговорчивость Кречмера, и все-таки въ его головѣ промелькнула мысль, что Кречмеръ слѣдитъ за нимъ, какъ за мошенникомъ. Онъ былъ отчасти правъ, потому что Кречмеръ считалъ всѣхъ людей мошенниками. Это обстоятельство вовсе не огорчало, не озлобляло старика, но только дѣлало осторожнѣе. Онъ заботился только о томъ, чтобы не сдѣлаться жертвою людского мошенничества, которое онъ считалъ такимъ же неизбѣжнымъ явленіемъ, какъ потребность людей ѣсть и пить.

— У меня есть векселъ, — началъ Муратовъ, затянувшись папиросой и выпуская клубъ дыма.

Кречмеръ молчалъ.

— Я хотѣлъ бы его учесть. Вы можете это сдѣлать? — спросилъ Петръ Павловичъ.

— Я, какъ вы знаете, учитываю векселя, — отвѣтилъ Кречмеръ.

— Такъ пожалуйста,—оживленно заговорилъ Петръ Павловичъ.—У меня немного запутались дѣла вслѣдствіе приготовленій къ женитьбѣ; всѣ эти расходы требуютъ столько денегъ. Конечно, было бы лучше не учитывать всѣ эти векселя и не переплачивать за учетъ, но что станете дѣлать! Мы не умѣемъ изворачиваться такъ, какъ вы, дѣловые люди!

Онъ старался быть развязнымъ, старался придти въ свое обыкновенное состояніе духа. Онъ досталъ бумажникъ, развернулъ его такъ, чтобы Кречмеръ увидалъ тамъ пачку кредитныхъ билетовъ, и, вытащивъ векселъ, передалъ его Кречмеру. Кречмеръ неторопливо развернулъ векселъ, положилъ его на столъ, разгладилъ широкою ладонью и, опустивъ брови и глаза, неторопливо прочелъ его отъ начала до конца, разсматривая его сквозь очки. Петръ Павловичъ чувствовалъ, что у него замерло сердце, что въ эту минуту онъ не могъ бы отвѣтить безъ запинки, безъ заиканій, если

бы кто-нибудь посторонній заговорилъ съ нимъ. Дочитавъ вексель, Кречмеръ перевернулъ его на лѣвую чистую сторону, посмотрѣлъ на нее, снова сложилъ вексель и передалъ его Муратову.

— Этого векселя я не приму къ учету! — ровнымъ, безстрастнымъ голосомъ проговорилъ онъ.

Муратовъ поблѣднѣлъ.

— Позвольте... вы же учитывали мнѣ столько разъ векселя,—началъ онъ оборвавшимся отъ волненія голосомъ.

Кречмеръ, видя, что Муратовъ не беретъ обратно векселя, положилъ его около фуражки посѣтителя.

— Эта бумажка не имѣетъ никакой цѣнности,—пояснилъ Кречмеръ.

— Я васъ не понимаю!—волновался Муратовъ.—Что же, вы сомнѣваетесь въ дѣйствительности этого векселя, въ подлинности его подписи, въ томъ, что госпожа Зимина пожелаетъ уплатить деньги въ срокъ?

— Госпожа Зимина не имѣетъ ровно ничего, и ей нечѣмъ будетъ уплатить по этому векселю,—равнодушно отвѣтилъ Кречмеръ, снова раскрывая шнуровую книгу и какъ бы желая этимъ выразить, что разговоръ конченъ.

— Но вы забываете, что это жена человѣка, который можетъ во всякое время уплатить десятки такихъ векселей,—загорячился Муратовъ, чувствуя, что послѣднія его надежды лопаются.

— И вы думаете, что онъ уплатитъ по *этому* векселю?—съ удареніемъ произнесъ Кречмеръ и взглянулъ черезъ очки испытующимъ взглядомъ на Муратова.

Муратовъ пожалъ плечами, чтобы скрыть свое смущеніе, и проговорилъ, стараясь придать своему голосу ироническій оттѣнокъ:

— Я думаю, никто не пожелаетъ компрометировать свою жену и себя.

— Въ такомъ случаѣ позвольте оставить вексель до завтра и справиться у господина Зимина или попросите его поставить бланковую надпись, — сказалъ Кречмеръ, зорко слѣдя за выраженіемъ лица Муратова.

Муратовъ растерялся окончательно. Онъ чувствовалъ, что старикъ видитъ въ его предложеніи мошенническую продѣлку.

— Я этого не могу допустить, — прошепталъ онъ упавшимъ голосомъ. — Госпожа Зимина не желаетъ, то-есть ей теперь надо...

Онъ совершенно спутался и замолчалъ. Ему впервые

приходилось находиться въ такомъ скверномъ положеніи. Во всѣ прежніе визиты къ Кречмеру онъ чувствовалъ себя неловко просто потому, что старикъ имѣлъ привычку слишкомъ подробно разсматривать векселя, слишкомъ односложно предлагать свои условія, слишкомъ холодно встрѣчать его. Теперь онъ чувствовалъ, что старикъ поймалъ его, какъ мошенника, желавшаго залѣзть въ его карманъ, и убиваетъ его своей презрительной холодностью, не считая даже нужнымъ прямо высказать ему своего мнѣнія насчетъ его поступка.

— Такъ, значитъ, мнѣ придется принести госпожѣ Зиминой очень неутѣшительный отвѣтъ,—началъ Петръ Павловичъ, стараясь какъ-нибудь выпутаться.—Я собственно хлопоталъ тутъ не о себѣ, если сказать правду. Очень жаль, потому что она сильно разсчитывала на эти деньги, необходимыя ей на короткое время...

Кречмеръ молчалъ, слегка перелистывая шнуровую книгу. Муратовъ готовъ былъ провалиться сквозь землю. Онъ чувствовалъ, что ему слѣдуетъ встать, что лучше всего сдѣлать это поскорѣе, а между тѣмъ, ему было трудно подняться съ мѣста, точно онъ боялся оступиться, свалить стулъ или сдѣлать что-нибудь такое, что вызоветъ насмѣшливую улыбку старика. Онъ сидѣлъ, неловко натягивая снятую перчатку, точно приросшій къ стулу. Наконецъ, онъ собрался съ силами и поднялся.

— Ну, значитъ, я такъ и скажу госпожѣ Зиминой, что вы ея векселей не станете принимать,— проговорилъ онъ, взявъ фуражку и вексель.

— Да, если на нихъ не будетъ бланка ея мужа или какого-нибудь богатаго человѣка,— проговорилъ старикъ.— Вѣдь сама госпожа Зимина не можетъ разсчитывать даже на большое наслѣдство, покуда господинъ Зиминъ не сдѣлалъ духовной въ ея пользу. Впрочемъ, вы легко можете ей помочь: у васъ такъ много знакомой богатой молодежи; кто-нибудь изъ этихъ господъ можетъ поставить на векселѣ бланкъ, тогда другое дѣло.

Муратовъ поклонился. Старикъ уже тихо и ровно передвигалъ костяшки на счетахъ, даже не взглянувъ, какъ удалялся изъ комнаты его посѣтитель. Ему приходилось не впервые видѣть въ своей конторѣ подобныхъ господъ, не впервые онъ велъ подобные переговоры. Его они не удивляли, не волновали, не возмущали; онъ забывалъ ихъ, какъ мы забываемъ лѣтомъ о комарѣ, который хотѣлъ по-

пользоваться нашею кровью и котораго намъ удалось вовремя смахнуть съ нашего тѣла: отогнанный комаръ въ этихъ случаяхъ, конечно, волнуется гораздо болѣе насъ самихъ. Муратовъ былъ тоже взволнованъ гораздо болѣе, чѣмъ Кречмеръ. Онъ шелъ неловкою и смущенною походкою черезъ первую комнату конторы, стараясь не глядѣть на молодыхъ конторщиковъ, которые попрежнему, не разгибаясь, сидѣли у своихъ конторокъ. Муратову казалось, что Кречмеръ сейчасъ же передастъ имъ происшедшую сцену и велитъ мальчику-слугѣ не принимать болѣе его, Петра Павловича Муратова. Онъ поспѣшно вышелъ изъ конторы и на лѣстницѣ отеръ съ лица потъ. Стыдъ, бѣшенство, безнадежность,—всѣ эти чувства перемѣшивались въ его душѣ. Впервые онъ чувствовалъ, что посторонній человѣкъ сказалъ ему своимъ взглядомъ: «ты подлецъ»,—сказалъ это въ такую минуту, когда нельзя было даже отвѣтить ему браннымъ словомъ, пощечиной, вызовомъ на дуэль, когда приходилось молчаливо снести эту обиду, безъ оправданія, безъ отплаты за нее. Впервые онъ чувствовалъ, что у него нѣтъ болѣе исхода, нѣтъ надежды на поправленіе денежныхъ затрудненій тѣмъ обыкновеннымъ для него способомъ, къ которому онъ прибѣгалъ сотни разъ. Впервые онъ не зналъ, куда ему идти, куда ѣхать, чувствуя, что онъ не въ состояніи теперь болтать о разныхъ попойкахъ, Антуанетахъ, татерсаляхъ съ своими пріятелями и сознавая въ то же время, что ему тяжело будетъ сидѣть одному дома. Выбравшись на улицу, онъ расплатился съ извозчикомъ и пошелъ безъ цѣли по Невскому проспекту, сжимая рукою въ карманѣ пальто вексель, который онъ даже забылъ сунуть въ бумажникъ. Этотъ вексель, какъ что-то живое, какъ что-то одушевленное, тревожилъ и безпокоилъ его: ему хотѣлось скомкать, разорвать, растоптать эту бумажку. Онъ дошелъ до Караванной, когда кто-то его окликнулъ. Онъ поднялъ глаза и увидалъ выскакивавшаго изъ саней молодого Аносова.

— О чемъ это ты такъ задумался? Кричалъ, кричалъ тебѣ, а ты и ухомъ не ведешь!—проговорилъ Аносовъ.

Это былъ очень стройный, довольно плотный юнкеръ, съ нѣжнымъ молочно-бѣлымъ лицомъ, съ полными розовыми щеками, съ блѣдными, «бараньими» глазами, съ полными сладострастными губами, съ мягкими, какъ пухъ, вьющимися черными бакенбардами. Смотря на его физіономію, можно было сразу сказать, что онъ сильно холитъ свое

тѣю, что онъ былъ «человѣкъ съ лѣнцой», что онъ не отличался особенно сильнымъ умомъ. Въ то же время въ немъ была замѣтна извѣстная свѣтская выправка, его движенія были плавны, его взглядъ былъ сосредоточенно-серьезенъ и холоденъ.

— Гдѣ ты вчера пропадалъ? — спросилъ Муратовъ, не отвѣчая на вопросъ.

— Зѣвалъ на семейномъ вечерѣ у моего портмонэ, — серьезно отвѣтилъ Аносовъ, называвшій во время денежныхъ кризисовъ своего отца своимъ портмонэ.

— Значитъ, опять промотался?

— Пустяки, проигралъ у Салаева... Не люблю я только этихъ хлопотъ съ векселями.

Муратовъ невольно стиснулъ рукою вексель, лежавшій у него въ карманѣ.

— Какъ, развѣ ужъ и до того дошло? — проговорилъ Муратовъ.

— Да, это время... Мой портмонэ не въ духѣ...

— Ну, братъ, не очень-то тебѣ и повѣрятъ...

— Мнѣ? Не повѣрятъ? Вотъ глупости!

— Да вѣдь ты несовершеннолѣтній?

— Ну, такъ что же? Мальчикъ ты, что ли, что не знаешь, какъ эти дѣла дѣлаются! Приходится только много переплачивать.

Муратовъ молча что-то соображалъ.

— А кто беретъ къ учету твои векселя?—спросилъ онъ.

— Да всѣ эти жиды,—отвѣтилъ Аносовъ.

— Ты не знаешь, Кречмеръ взялъ бы къ учету твой вексель или вексель съ твоею бланковою надписью?

— Еще бы! У него есть мои векселя. Да это ты къ чему спрашиваешь?

— Такъ, у меня есть тамъ векселя, на которыхъ нужно бы поставить кому-нибудь бланкъ, такъ я, можетъ-быть, попрошу тебя, — отвѣтилъ въ раздумьи Муратовъ. — Впрочемъ, это не къ спѣху...

— Я готовъ. А ты будешь у брата? Тамъ тебя ждутъ, наши барыни пріѣхали изъ-за границы...

— Пріѣхали?—съ живостью спросилъ Муратовъ и даже покраснѣлъ.—Какъ же... буду, буду, сегодня же...

— Кстати, Julie о тебѣ тоже спрашивала.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да. Скучаетъ она, какъ видно, въ домѣ моего брата хуже, чѣмъ въ институтѣ. Вѣчныя наставленія, вѣчные

совѣты—это хоть кого сведетъ съ ума. Однако, я тороплюсь. До свиданья!

Аносовъ пошелъ къ санямъ, но тотчасъ же воротился.

— А ты знаешь: я отбилъ у Броницына «Воина»,—указалъ онъ на лошадь.—Броницынъ просто на стѣну лѣзетъ отъ злости. Ты вѣдь знаешь, какъ онъ добивался купить «Воина»...

— А тебѣ на что «Воинъ»? Вѣдь ты ѣздишь на извозчичьихъ?—замѣтилъ Муратовъ.

— Да я «Воина» сегодня же подарю Маріонъ де-Нормандн. Просто купилъ потому, что этотъ дуракъ взбѣсилъ меня... И подарю затѣмъ, чтобы показать ему, что если я чего не захочу уступить, такъ ужъ не уступлю... У насъ дѣло чуть не дошло до очень серьезныхъ послѣдствій...

— Пьяны, что ли, были?—усмѣхнулся Муратовъ.

— Нѣтъ, вѣдь Броницынъ становится просто нестерпимымъ въ послѣднее время...

— Наслѣдство вскружило голову...

— Это мѣщанство, неотесанность! Вѣдь онъ тоже не съ нищими имѣетъ дѣло.

Аносовъ говорилъ какимъ-то не то апатичнымъ, не то дѣловымъ тономъ даже самыя глупыя фразы. Его добродушные телячьи глаза старались смотрѣть серьезно и сосредоточенно. Посторонній человѣкъ, смотря на него со стороны, не сразу понялъ бы, что передъ нимъ стоитъ записной кутила, крайне ограниченный человѣкъ, очень тупо учащійся и очень мало знающій юноша.

Муратовъ хотѣлъ еще что-то сказать ему, какъ вдругъ розовое лицо Аносова покраснѣло еще болѣе, и его глаза, нѣсколько сощурившись, тревожно устремились вдаль.

— Прощай! — торопливо проговорилъ онъ Муратову и быстро сѣлъ въ сани, пробормотавъ кучеру: — сворачивай на Караванную.

Муратовъ усмѣхнулся и, обернувшись назадъ, взглянулъ по направленію, куда смотрѣлъ за минуту передъ тѣмъ Аносовъ: тамъ вдали стояла коляска, въ которой сидѣлъ отецъ Аносова, разговаривавшій съ какимъ-то подошедшимъ къ коляскѣ господиномъ.

Назвавъ мысленно своего пріятеля идіотомъ и трусомъ, Муратовъ не безъ зависти проводилъ глазами его быстро уносившіяся сани и пошелъ далѣе. Слова Аносова о томъ, что Юлія Николаевна Сухарева спрашивала о немъ, о Муратовѣ, заставили Петра Павловича задуматься еще силь-

нѣе. Она вспомнила о немъ,—это былъ хорошій знакъ; это подавало надежду увлечь ее, жениться на ней. Но какъ жениться, если не будетъ денегъ, если придется черезъ нѣсколько времени отказаться отъ свѣтской жизни, можетъ-быть, попасть въ долговое отдѣленіе? Неужели же эта золотая рыбка выскользнетъ изъ рукъ? Петръ Павловичъ совсѣмъ сталъ грустенъ и серьезенъ. Онъ подошелъ къ дому Аносовыхъ въ самомъ скверномъ настроеніи духа, точно онъ шелъ не на свиданіе съ тою, которую онъ надѣялся привязать къ себѣ, а на какую-то тяжелую пытку. Онъ позвонилъ у подъѣзда и справился у швейцара: «дома ли господа?» Швейцаръ отвѣчалъ, что барыня и барышня дома. Муратовъ сбросилъ пальто и велѣлъ доложить о себѣ. Черезъ нѣсколько минутъ лакей попросилъ его въ одну изъ гостиныхъ, гдѣ сидѣла стройная молодая женщина, жена старшаго Аносова, урожденная Сухарева.

— Это мило съ вашей стороны, что вы сегодня же зашли къ намъ,—дружески сказала она ему по-французски, протягивая руку.

— Я такъ соскучился о васъ, что тотчасъ полетѣлъ сюда, какъ только узналъ о вашемъ пріѣздѣ отъ Жоржа,— отвѣчалъ Петръ Павловичъ, пожимая протянутую ему руку.

Марья Николаевна Аносова, несмотря на свои тридцать лѣтъ, была еще довольно свѣжа и хороша собою. Высокая и стройная, она смотрѣла нѣсколько холодно и гордо, немного прищуривая свои большіе каріе глаза. Она умѣла владѣть своею физіономіею, умѣла быть въ мѣру любезною, безъ заискивающихъ улыбокъ, и строгою, безъ повышенія голоса, безъ нервнаго сдвиганія бровей и стискиванія губъ. Видно было, что она прошла суровую школу свѣтской жизни, салоннаго обращенія и, можетъ-быть, убила всѣ свои душевныя силы на изученіе всѣхъ тонкостей умѣнья держать себя. Съ Петромъ Павловичемъ она обращалась съ искусственною простотою, какъ съ дальнимъ родственникомъ, какъ съ пріятелемъ своего мужа и его брата, но эта простота никогда не доходила ни до фамильярности, ни до откровенности. Это дѣлалось вовсе не потому, чтобъ Марья Николаевна не любила Муратова, но потому, что Муратовъ слылъ опаснымъ сердцеѣдомъ, и съ нимъ нужно было держать себя въ извѣстныхъ границахъ.

— А Юлія Николаевна? Надѣюсь, здорова? — спросилъ Муратовъ, садясь въ кресло.

— Она сейчасъ придетъ. Здорова. Скучала немного за границей. Мы вѣдь все въ Швейцаріи больше жили.

— Въ царствѣ мѣщанской экономіи и семейныхъ радостей?

— Да. Тамъ именно съ семейнымъ кружкомъ хорошо жить. А мы были однѣ.

— Но вы поправились.

— О, да, я отдохнула. Меня утомляетъ наша зимняя жизнь. Мнѣ нравится въ Швейцаріи. Жизнь идетъ просто, ровно...

— И скучно, скучно до одурѣнія,—докончилъ Муратовъ.

— О, нѣтъ, не говорите этого. Тамъ есть семейные патріархальные кружки, наслаждающіеся дѣйствительными, серьезными радостями, а не пустыми свѣтскими развлеченіями.

— То-есть всѣмъ, что достается за дешевую цѣну?

— А развѣ удовольствіе только тогда удовольствіе, когда оно дорого стоитъ?

— О, нѣтъ. Но я думаю, что швейцарцы были бы рады промѣнять свои серьезныя радости на наши пустыя свѣтскія развлеченія, если бы можно было достать послѣднія по дешевой цѣнѣ.

Въ эту минуту въ сосѣдней комнатѣ послышались легкіе, торопливые шаги, шуршанье платья, и чрезъ минуту въ гостиную вошла или, лучше сказать, вбѣжала, впорхнула молоденькая дѣвушка, съ разгорѣвшимися щеками, съ веселыми черными глазами, съ смѣющимся лицомъ. Она весело подошла къ поднявшемуся съ мѣста Петру Павловичу и протянула ему обѣ руки. Онъ не успѣлъ еще схватить ихъ, какъ она спросила серебристымъ голосомъ:

— Вы узнали бы меня, кузенъ Пьеръ, гдѣ-нибудь на улицѣ?

— Еще бы!— проговорилъ онъ и нѣсколько смутился отъ этой слишкомъ родственной встрѣчи. — Развѣ ваше лицо можно забыть, кузина?

Марья Николаевна бросила едва замѣтный серьезный взглядъ на сестру, какъ бы дѣлая ей выговоръ за излишнюю развязность, и перемѣнила разговоръ:

— Вы еще не въ академіи?—спросила она у Муратова.

— Нѣтъ еще. Нынѣшній годъ не удалось,—отвѣтилъ онъ.

— И всему виною лѣность? Но вѣдь это необходимо. Николай говоритъ, что безъ академіи теперь невозможна дальнѣйшая карьера. Теперь такъ смотритъ на дѣло вся наша гвардія. Что же вы медлите? Вѣдь годы уходятъ...

— Да, это правда. Но я нѣсколько затянулъ свое поступленіе въ академію, и теперь трудно собраться съ духомъ, чтобы снова приняться за книги.

— Журить васъ некому.

— Ахъ, если бы вы знали, кузенъ, какъ она умѣетъ журить! — съ комически-серьезнымъ вздохомъ проговорила молодая дѣвушка, указывая глазами на сестру.—Она, право, строже нашихъ классныхъ дамъ. А вы помните ихъ, кузенъ? Вы еще одну называли померанцевою коркою въ сахарѣ...

Молодая дѣвушка залилась искреннимъ смѣхомъ.

— Ахъ, это Иванову? Кажется, ее такъ звали? Такая длинная-предлинная, съ шафраннымъ цвѣтомъ лица? — засмѣялся Петръ Павловичъ.

— Да, да, она ужасно насъ притѣсняла, такъ что ее звали всѣ злючкой.

— Жюли!—тихо проговорила Марья Николаевна, слегка пожимая плечами.

Молодая дѣвушка сконфуженно смолкла. Марья Николаевна снова перемѣнила разговоръ, спросивъ Муратова о городскихъ новостяхъ. Но онъ еще не успѣлъ ей отвѣтить, какъ въ комнату довольно грузной походкой, переваливаясь съ-боку-на-бокъ, какъ жирная утица, вошла немолодая женщина, рыхлая, какъ тѣсто, одѣтая по послѣдней модѣ, но довольно пестро. Это была мать Аносовой и Сухаревой, вдова генерала Сухарева, дочь милліонера-купца Протопопова. Дочери встали навстрѣчу матери. Она поцѣловала ихъ и обратилась къ Муратову.

— Сердита, сердита на тебя, сорванецъ!—погрозила она ему пальцемъ. — Совсѣмъ пропалъ. Ушонки нужно бы надрать!

— Каюсь въ грѣхахъ своихъ, а повинную голову и мечъ не сѣчетъ,—шутливо отвѣтилъ онъ, цѣлуя ея руку.

Она слегла потрясла его за ухо, опять погрозила ему пальцемъ и обратилась къ старшей дочери:

— Не могла утерпѣть,—пріѣхала,—заговорила она нѣсколько нараспѣвъ и въ носъ.—Багажъ получили?

— Да, — отвѣтила коротко Марья Николаевна, смотря еще холоднѣе и строже, чѣмъ всегда.

— Покажи, покажи, пожалуйста! Это интересно! — проговорила старуха, немного закатывая глаза. — Вѣдь ты у Ворта заказывала платья? Ну, я воображаю, что это за платья. Я была сейчасъ у нашей портнихи, говорю: «Да гдѣ же вамъ такъ сшить, какъ шьетъ Ворть? Моя дочь,

говорю, у него заказывала платья для зимняго сезона, такъ ужъ я знаю, какъ шьетъ Ворть»... Ахъ, нѣтъ, ты покажи мнѣ.

— Хорошо, maman,—сухо отвѣтила Марья Николаевна, не трогаясь съ мѣста.

— Пойдемъ же, пойдемъ!.. Я не могу ждать. Я вѣдь на полчаса заѣхала... Визиты, визиты, запустила въ послѣднее время... Надо у всѣхъ побывать...

Марья Николаевна не знала, что дѣлать: ей не хотѣлось оставлять сестру съ-глазу-на-глазъ съ такимъ извѣстнымъ сердцеѣдомъ, какъ Муратовъ, и въ то же время она знала, что мать не отстанетъ отъ нея и не пойметъ никакихъ ея мимическихъ объясненій насчетъ неловкости ея положенія.

— Жюли, проводи maman въ гардеробную,—проговорила она сестрѣ.

— Ну, ну, ну, стрекоза, тебя-то мнѣ не нужно!—отстранила Сухарева рукою младшую дочь.—Ты ничего не понимаешь и все перепутаешь. Нѣтъ, Мари, ты ужъ сама все мнѣ покажи.

Марья Николаевна еще колебалась и, повидимому, ждала, что Петръ Павловичъ самъ пойметъ, что ему необходимо удалиться. Но Муратовъ не трогался съ мѣста, ожидая именно той минуты, когда онъ останется одинъ съ молодой дѣвушкой. Марья Николаевна встала съ мѣста.

— Вы меня извините,—проговорила она сухимъ тономъ, недовольная и матерью, и Петромъ Павловичемъ.

— О, пожалуйста, не стѣсняйтесь! — произнесъ Петръ Павловичъ.

— Да онъ радехонекъ, что поболтаетъ съ нашей стрекозой безъ насъ, — шутя проговорила старуха Сухарева, грозя ему толстымъ пальцемъ, затянутымъ въ свѣжую перчатку. — Вѣдь онъ чего-чего не болталъ ей въ институтѣ, смѣшитъ, бывало, такъ, что я сама еле удерживалась отъ смѣха... всѣмъ класснымъ дамамъ кички далъ...

Марья Николаевна молча пошла изъ гостиной.

— Кузина, дайте вашу руку,—тихо проговорилъ Муратовъ, оставшись наединѣ съ Юліей Николаевной:—я даже не успѣлъ ее хорошенько пожать.

— Вотъ вамъ обѣ,—проговорила молодая дѣвушка, весело протягивая ему обѣ руки.

Онъ съ чувствомъ пожалъ ихъ и тихо поцѣловалъ ея правую руку.

— Вы похорошѣли, выросли,—проговорилъ онъ.

— Выросла? Не говорите мнѣ этого! Это слово всегда напоминаетъ мнѣ, что будто я еще ребенокъ. Такъ и кажется, что вотъ-вотъ сейчасъ велятъ учить урокъ и оставятъ безъ третьяго блюда или снимутъ пелеринку.

— А вы хотите быть поскорѣе взрослой и самостоятельной?—улыбнулся онъ, всматриваясь въ нее.

— Кто же этого не хочетъ? Вы помните, какъ я рвалась за границу? И что же? Насъ заперли въ отдѣльное купэ. Nicolas былъ серьезно боленъ и раздраженъ. Мари устала отъ зимняго сезона и все дремала, а миссъ Дальтонъ, которую взяли мнѣ для практики въ англійскомъ языкѣ, только таращила глаза и отвѣчала протяжнымъ басомъ: «Yes». Наконецъ, мы пріѣхали въ Вильдбадъ. Что за общество! Кто въ подагрѣ, кто на костыляхъ, кто въ чахоткѣ, одни едва ходятъ, другихъ возятъ въ коляскахъ, какъ дѣтей, точно въ лазаретѣ. Даже смѣяться было неловко. Вотъ-то я скучала! Потомъ поѣхали въ Швейцарію, въ Интерлакенъ, — тамъ та же скука. Мнѣ даже природа надоѣла. И вездѣ наставленія, вездѣ замѣчанія! Поѣхали мы разъ смотрѣть на восходъ солнца на Юнгфрау. Рядомъ съ нами былъ какой-то длинный-предлинный англичанинъ въ клѣтчатомъ костюмѣ и такая же длинная англичанка, тоже въ клѣтчатомъ костюмѣ. Онъ держалъ въ рукахъ часы, провѣряя по нимъ восходъ солнца, а она читала какой-то гидъ, сверяя описаніе природы въ гидѣ и самую природу. Когда солнце взошло, они оба съ серьезнымъ и строгимъ видомъ проворчали: «совершенно вѣрно». Ну, я и расхохоталась. Если бы вы видѣли, какъ посмотрѣла на меня Мари! И потомъ всю дорогу она читала мнѣ наставленіе насчетъ того, что смѣяться неприлично... А я не могу не смѣяться, когда мнѣ смѣшно!.. Потомъ мы въ Парижъ заѣзжали и видѣли только какія-то колонны да умирали со скуки въ «Comédie française», смотря Мольера. Нѣтъ, я не такою воображала себѣ жизнь внѣ института.

— И такая жизнь, кузина, будетъ продолжаться вплоть до вашего замужества, — тихо проговорилъ Муратовъ, искренно любуясь наивной молодой дѣвушкой, походившей на милаго ребенка.

Онъ не ожидалъ встрѣтить этого ребенка такимъ прекраснымъ.

Въ эту минуту въ гостиную вернулась Марья Николаевна и еще разъ извинилась передъ Муратовымъ, зорко взгля-

нувъ на разгорѣвшееся лицо сестры. Минутъ черезъ десять Муратовъ откланялся.

— Я надѣюсь, Жюли, что ты вела себя прилично?—проговорила Аносова, обращаясь къ сестрѣ.

Юлія Николаевна вся вспыхнула, какъ оскорбленный ребенокъ, но не отвѣтила ничего.

— Ты должна быть осторожна съ посторонними мужчинами,—проговорила Марья Николаевна.

— Пьеръ не посторонній, — тихо отвѣтила Юлія Николаевна.

— Совершенно посторонній, и мнѣ очень непріятно, что ты продолжаешь называть его кузеномъ. Это остатокъ вашихъ ребяческихъ отношеній; но что было хорошо для дѣвочки, то не идетъ къ взрослой.

— Ахъ, какая я взрослая, если всѣ третируютъ меня, какъ ребенка,—огорченнымъ тономъ замѣтила молодая дѣвушка.

— Не какъ ребенка, а какъ дѣвушку, еще незнакомую съ свѣтомъ, — съ особеннымъ удареніемъ замѣтила Марья Николаевна. — Ты должна быть осторожна съ мужчинами вообще, а съ Петромъ Павловичемъ въ особенности. Онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ мужчинъ, которые всего опаснѣе для женщинъ.

— Онъ? Я тебя не понимаю,—отвѣчала молодая дѣвушка, вопросительно смотря на сестру.

— Онъ молодъ, хорошъ собою, уменъ, ловокъ, легко увлекаетъ женщинъ, и близость съ нимъ можетъ тебя компрометировать,—сухо сказала Марья Николаевна.

— Неужели же мнѣ нужно искать только общества стариковъ, идіотовъ и уродовъ, чтобы не компрометировать себя?—надула губки Юлія Николаевна.

— Совсѣмъ нѣтъ. Нужно вовсе ни съ кѣмъ не фамильярничать. Ты уже невѣста, и тебѣ нужно быть осторожною и осмотрительною въ своихъ симпатіяхъ. Такіе господа, какъ Петръ Павловичъ, не могутъ быть претендентами на твою руку.

Юлія Николаевна опять посмотрѣла вопросительно на сестру.

— Онъ бѣденъ,—пояснила сестра.

— Да развѣ я за деньги должна полюбить жениха?

— Вовсе нѣтъ. Но плохо, если тебя полюбитъ женихъ за деньги. А такіе люди, какъ Петръ Павловичъ, скорѣе всего полюбятъ только за деньги. Онъ жалкій человѣкъ, который очень скоро погибнетъ...

— Погибнетъ?—почти съ испугомъ спросила Юлія Николаевна и съ тревогой взглянула на сестру широко раскрывшимися глазами.

У нея вдругъ защемило сердце, и слезы готовы были навернуться на глаза.

— Ну да. Ты еще такъ молода, что тебѣ многое трудно объяснить. Петръ Павловичъ попалъ въ такое общество дурныхъ молодыхъ людей и дурныхъ женщинъ, которое доведетъ его до гибели, испортитъ его будущность, лишитъ его возможности сдѣлаться хорошимъ семьяниномъ. Теперь онъ отказывается отъ академіи и портитъ свою карьеру, потомъ онъ запутается въ денежныхъ дѣлахъ и долженъ будетъ выйти изъ службы, изъ нашего круга.

— Вотъ-то я никакъ не думала, что онъ такой несчастный!—вздохнула Юлія Николаевна и задумалась.

Она качала своей хорошенькой головкой, тяжело переводя духъ.

— Что это съ тобою, стрекоза? Чѣмъ опечалили?—проговорила старуха Сухарева, возвратившись въ гостиную и увидавъ задумчиво стоявшую Юлію Николаевну.

— Такъ! мы наставленій не любимъ,—холодно отвѣтила за сестру Марья Николаевна.

— А гдѣ этотъ головорѣзъ нашъ?—спросила старуха, оглядывая комнату.

— Муратовъ? Ушелъ,—отвѣтила Марья Николаевна.

— Онъ мнѣ удивительно напоминаетъ моего генерала,—проговорила старуха, закатывая глаза подъ лобъ.—Адонисъ!

— Развѣ онъ похожъ на папа?—быстро спросила Юлія Николаевна съ засверкавшими радостью глазами.

— О, удивительно! Твой покойный папа былъ такой же сорви-голова и сердцеѣдъ!—съ чувствомъ вздохнула генеральша.

Марья Николаевна строго взглянула на мать, слегка пожавъ плечами.

— Но вѣдь папа былъ очень добрый?—вопросительно произнесла Юлія Николаевна и съ любопытствомъ взглянула на мать.

— Да они всѣ добрые, эти вѣтрогоны!—махнула рукой генеральша.

Марья Николаевна не вытерпѣла и проговорила:

— Жюли, ты пошла бы почитать съ миссъ Дальтонъ.

Юлія Николаевна нетерпѣливо вздернула плечиками и со вздохомъ, отрывисто проговорила:

— Adieu, mam.

— Прощай, прощай, стрекоза!

Юлія Николаевна поцѣловала старуху и нѣжно, какъ шаловливое, балованное дитя, шепнула ей:

— Голубчикъ, возьмите меня къ себѣ погостить!

Старуха утвердительно мигнула ей глазами и таинственно пожала ея руку. Генеральша была всегда въ восторгѣ, когда ей удавалось въ чемъ-нибудь обмануть и провести старшую дочь, которой она не на шутку побаивалась въ душѣ.

— Maman, какъ вы неосторожны!—съ упрекомъ, почти строго произнесла Марья Николаевна, когда ея сестра удалилась изъ гостиной.

— А что?—спросила съ удивленіемъ старуха.

— Вы хвалите при Жюли Муратова! Долго ли вскружить голову бѣдной дѣвочкѣ?

— Что-жъ изъ этого?.. Она уже невѣста. Чѣмъ раньше выйдетъ замужъ, тѣмъ лучше!.. Молодость дважды не приходитъ,—вздохнула Сухарева, словно сожалѣя, что и къ ней не вернется ея молодость.

— Но не за Муратова же вы думаете ее выдать?

— Я ни за кого не думаю ее выдавать. Кто ей понравится, за того и выйдетъ. Это старыя традиціи выдавать дочерей по волѣ родителей.

При словѣ «традиціи» Марья Николаевна немного покраснѣла, точно боялась, что кто-нибудь посторонній слышалъ это выраженіе матери.

— Да, но нельзя же выдать Жюли за перваго встрѣчнаго бѣдняка безъ карьеры, безъ будущности,—проговорила она сухимъ тономъ.

— Ахъ, мой генералъ тоже былъ санкюлотомъ, когда женился на мнѣ,—засмѣялась искреннимъ смѣхомъ старуха.—Однако, дослужился же до генеральскаго чина! Съ деньгами, матушка, все можно. Ты знаешь, что твой дѣдъ и изъ мужиковъ вышелъ, а посланники у него обѣдывали. Разъ прусскій посланникъ...

Марья Николаевна еще болѣе нахмурилась и перебила воспоминанія матери.

— Что-жъ, если хотите, выдавайте Жюли за кого угодно, хоть за этого кутилу. Мнѣ все равно,—проговорила она сухо.—Я считаю только необходимымъ предупредить васъ...

— Да я тебѣ говорю, что я ни за кого не выдамъ ее насильно,—перебила ее мать.—А захочетъ она идти за Муратова—и пусть идетъ. Ты называешь его кутилой, но тѣмъ

лучше, если онъ до женитьбы перебѣсится; хуже, если она выйдетъ за такого, который начнетъ кутить послѣ свадьбы. А вѣдь мужчина когда-нибудь да долженъ кутить. Это ужъ такъ опредѣлено. Это въ физіологіи мужчинъ. А ты лучше скажи; когда ты пришлешь ко мнѣ погостить Жюли? Я вѣдь одна соскучилась. Пусто такъ въ домѣ.

— Но у васъ же Жакъ живетъ? — холодно замѣтила Марья Николаевна.

— Яша рыщетъ Богъ знаетъ гдѣ, его я и не вижу по цѣлымъ днямъ,—отвѣтила старуха.—Да къ тому же у него своя отдѣльная половина въ домѣ...

— Вы ему воли много дали. Онъ сдѣлался сказкой города.

— Ахъ, матушка, да про кого же не говорятъ! Яшу зовутъ мотомъ, твоего мужа—скрягой. Это въ порядкѣ вещей. Кто богатъ, о томъ и говорятъ. Перебѣсится Яша—и молодецъ будетъ.

— Но онъ тратитъ чудовищныя суммы денегъ.

— Всего не промотаетъ. Промотаетъ свое—отъ меня останется. Да и своего-то не промотаетъ. Шестьдесятъ тысячъ въ годъ ему теперь приходится при готовой квартирѣ и готовомъ столѣ, такъ этого на его кутежи хватитъ. А ты взгляни на него, что за молодецъ! Мой генералъ и не думалъ, что его Яшка такимъ героемъ вырастетъ...

— Сидящимъ четыре года въ юнкерахъ,—съ презрѣніемъ проговорила Марья Николаевна.

— Да куда-жъ ему спѣшить? Ему еще и всего-то двадцать первый годъ. Ахъ, ворчунья, ты все преувеличиваешь, все видишь въ дурномъ свѣтѣ!—пошутила Сухарева, поднимаясь съ мѣста.

Марья Николаевна промолчала и сухо простилась съ матерью. Она негодовала на мать за ея «глупые взгляды», за ея «необразованность», за ея «вульгарность», за ея «поблажки» Юліи Николаевнѣ и Якову Николаевичу. Въ душѣ Марья Николаевна давала себѣ слово не отпускать по возможности сестру къ матери, гдѣ молодая дѣвушка могла набраться дурныхъ манеръ, гдѣ она могла встрѣчаться съ кутящимъ вѣтрениковъ-братомъ, гдѣ Муратовъ могъ овладѣть сердцемъ молодой дѣвушки. Марья Николаевна и ея мужъ были опекунами и попечителями молодыхъ Сухаревыхъ и часто разсчитывали, что для нихъ не безвыгодно подольше продержать въ дѣвушкахъ Юлію Николаевну или выдать ее за человѣка, для котораго приданое

будетъ играть второстепенную роль, чего нельзя было ожидать отъ Муратова.

Муратовъ, возвращаясь домой, никакъ не думалъ, что его визитъ къ Аносовымъ возбудилъ столько толковъ о немъ. Онъ шелъ въ странномъ настроеніи. Онъ почти не думалъ теперь о богатствѣ Юліи Николаевны и только вспоминалъ о томъ, какъ она похорошѣла, какъ она свѣжа, какъ она привѣтлива. До сихъ поръ онъ сходился съ женщинами пожившими, съ женщинами испорченными; теперь впервые его манило сближеніе съ дѣвушкой свѣжей и чистой, какъ ребенокъ. Въ немъ проснулось что-то въ родѣ боязни прикоснуться нечистыми помыслами къ этому дѣвственному существу, въ его головѣ зароились картины семейнаго счастья съ порхающею и поющею птичкой-женой, съ отдыхомъ отъ безсонныхъ оргій холостой жизни. Чѣмъ шире разрастались его мечты объ этомъ счастьѣ, тѣмъ ненавистнѣе становилась ему его теперешняя жизнь съ вѣчными поисками денегъ, денегъ и денегъ, добываемыхъ лживыми увѣреніями въ любви, любезничаньемъ съ перезрѣлыми и испорченными женщинами, жизнь съ постоянными хлопотами по учету векселей, по залогу вещей, съ неизбѣжными столкновеніями съ ростовщиками, комиссіонерами, темными героями легкой наживы, жизнь съ пьяными оргіями, съ усиліями подладиться подъ вкусъ богатыхъ кутилъ, съ панибратскимъ обращеніемъ со стороны такихъ же бѣдныхъ, какъ онъ, приживалокъ и прихлебателей богачей,—прихлебателей, противныхъ ему по своему тупоумію, цинизму, наглости. Онъ мысленно говорилъ себѣ теперь, что Юлія Николаевна могла сдѣлаться для него ангеломъ-хранителемъ, который спасетъ его отъ капризовъ разныхъ молодыхъ самодуровъ Аносовыхъ, разныхъ сластолюбивыхъ купчихъ Вахромеевыхъ, разныхъ циничныхъ Альфонсинъ, разныхъ грязненькихъ тунеядцевъ и идіотовъ Винтеровъ и Флери. Онъ говорилъ себѣ, что, вырвавшись изъ этого омута, онъ начнетъ новую жизнь...

V.

Софья Дмитріевна сильно трусила, выдавъ Муратову вексель. Она очень хорошо знала, что выдача ею векселя можетъ открыться только черезъ полгода, но все же трусила. Ей хотѣлось поскорѣе увидать Муратова, чтобы узнать, въ надежныя ли руки онъ передалъ этотъ вексель, не покажутъ ли ея мужу этотъ предательскій клочокъ бу-

шаги. Мужъ, между тѣмъ, какъ нарочно никуда не уходилъ въ теченіе двухъ дней. Онъ былъ нездоровъ и придирался болѣе обыкновеннаго. Бѣдная женщина страдала и за себя, и за своего «Петю». Она представляла себѣ, въ какомъ тревожномъ состояніи долженъ былъ находиться Муратовъ, не имѣя возможности видѣться и переговорить съ нею о дѣлахъ.

Она отчасти была права. Муратовъ хотя и не печалился о томъ, что не могъ обнять ее, но сильно волновался оттого, что не могъ сообщить ей извѣстій о неудачѣ по дѣлу учета ея векселя. Онъ просидѣлъ два вечера дома, ожидая, что у Зиминыхъ поставятъ на окно свѣчи. Но свѣчи на окно не ставили, и ему приходилось ложиться спать въ самомъ скверномъ настроеніи духа.

На третій день, часу въ девятомъ, когда у Зиминыхъ кончился пріемъ залоговъ, Зимину нужно было непремѣнно идти по дѣлу. До своего ухода онъ сталъ, по обыкновенію, провѣрять шнуровую книгу и просматривать принятыя подъ залогъ вещи. Среди этого занятія онъ столкнулъ локтемъ принятую въ залогъ брошь, положенную въ темный футляръ. Онъ, съ подсвѣчникомъ въ рукахъ, сталъ ее искать на полу и раскашлялся. Стоя на колѣняхъ, задыхаясь отъ кашля, онъ поставилъ свѣчу на подоконникъ.

— Что ты дѣлаешь!—вскрикнула Софья Дмитріевна и быстро схватила свѣчу съ подоконника.

— Что съ тобой? Чего ты?—спросилъ мужъ, продолжая кашлять.

Софья Дмитріевна совсѣмъ растерялась. Она была блѣдна и дрожала всѣмъ тѣломъ.

— Я испугалась... мнѣ показалось... занавѣси могутъ вспыхнуть,—пробормотала она, вся блѣдная и трепещущая.

Она не умѣла ни лгать, ни притворяться.

— Дура... дура... испугала,—ворчалъ мужъ.—Подними... подними меня...

Она подняла его съ полу. Мало-по-малу, его кашель началъ утихать.

— Пора идти,—проговорилъ онъ.

Она не отговаривала его, хотя ей было его жаль. Но ей было необходимо скорѣе увидать Петра Павловича. Ее слишкомъ сильно мучилъ вопросъ о векселѣ; притомъ ей хотѣлось поскорѣе узнать, можетъ ли она сама добыть деньги для выкупа вещей, заложенныхъ ею для Муратова. Въ послѣдніе дни ея мужъ все чаще и чаще говорилъ, что

имъ необходимо съѣздить въ театръ, въ гости къ ея родственникамъ, разсѣяться. Она боялась этихъ предложеній, потому что мужъ могъ заставить ее надѣть брильянты и браслеты, которыхъ у нея уже не было.

— Ты потеплѣй закутайся!—проговорила она мужу.

— Какія нѣжности!—проворчалъ онъ.—Ужъ не боишься ли за мое здоровье!

— Ты знаешь, мнѣ жаль тебя,—тихо и покорно сказала она.

— Жаль?

Онъ пристально посмотрѣлъ на нее.

— Чего жалѣть? Умру—богатой вдовой останешься,—желчно проговорилъ онъ.

Она вздохнула. Ее все болѣе и болѣе терзали эти желчныя выходки больного человѣка.

— Выйдешь замужъ за какого-нибудь хлыща, вѣтрогона, вмѣстѣ мотать начнете, что я, дуракъ, накопилъ для другихъ...

— Для чего ты это мнѣ говоришь?—болѣзненно сказала она.

— А затѣмъ, чтобы сказать, что этого можетъ и не быть,—рѣзко отвѣтилъ онъ.—Умру безъ духовной—мои родственники, вся эта подлая сволочь, не знавшая меня во дни моей бѣдности, все отнимутъ. Останешься съ жалкими грошами, тогда будешь вспоминать, какъ жила при мужѣ, какъ мужъ обо всемъ заботился. Тогда вспомнишь, въ какія погоды приходилось ему, больному, бѣгать для тебя, для твоего спокойствія, будешь жалѣть, что не умѣла удержать его...

Она не выдержала и заплакала, но не останавливала его. Онъ нахмурился и замолчалъ.

— Полно,—тихо сказалъ онъ черезъ минуту.—Ты видишь, я боленъ, я раздраженъ... Ну, прости меня!

Онъ поднесъ къ своимъ сухимъ и горячимъ губамъ ея руку. Онъ самъ сознавалъ, что онъ терзаетъ, мучитъ ее, и все-таки не могъ не терзать ее. Онъ раздражался, потому что она была молода, здорова, свѣжа, а онъ былъ боленъ, безсиленъ, слабъ. Онъ чутьемъ угадывалъ, что она не можетъ любить его, что она испытываетъ чувство неудовлетворенности, и это бѣсило его.

— Не сердись!.. Я тиранъ, я деспотъ, какъ всѣ люди, бывшіе долго сухими, старыми холостяками... Мнѣ не слѣдовало жениться... Но ты пойми, что я люблю, люблю тебя больше жизни, больше всего... О, если бы я былъ здоровъ!.. Вотъ теперь, мнѣ нужно, необходимо нужно идти по дѣлу,

а это меня бѣситъ, я хотѣлъ бы сидѣть здѣсь, въ теплѣ, съ тобою, около тебя, у твоихъ ногъ...

Ей стоило сказать: «останься!» и онъ остался бы, забывъ о всѣхъ выгодахъ.

Но она молчала, она боялась заговорить.

— Но я долженъ идти, въ наказаніе за то, что огорчилъ тебя,—бормоталъ онъ.—Да, да, потомъ отдохнешь, успокоишься и простишь меня... Ты вѣдь простишь? Да?

— Я... я не сержусь... Мнѣ больны твои упреки,—тихо прошептала она.

Ей хотѣлось сказать что-то болѣе теплое, ласковое, но въ ея головѣ промелькнула пугливая мысль: «что если онъ останется?»

— Ну, я пойду!—вздохнулъ онъ, опять цѣлуя ея руки.

Софья Дмитріевна переносила страшную пытку.

Онъ намоталъ на шею шарфъ, надѣлъ шубу и теплую шапку и пошелъ, отдавъ приказаніе Дарѣ «беречь барыню». Минуты черезъ двѣ свѣча появилась на окнѣ. Софья Дмитріевна поставила свѣчу и почувствовала, что у нея сжалось сердце. Почему-то ей казалось, что мужъ когда-нибудь, можетъ-быть, сегодня, подсмотритъ этотъ условный сигналъ. Что будетъ тогда? Наконецъ, онъ можетъ во время ея отсутствія изъ комнаты поставить свѣчу на подоконникъ и тогда... Она дрожала отъ одной этой мысли.

Прошло минутъ десять. Въ дверь кухни послышался знакомый стукъ. Софья Дмитріевна сама бросилась отпирать двери и уже обнимала Муратова.

— Наконецъ-то ушелъ твой самодуръ. Я цѣлые три дня почти не отходилъ отъ своего окна,—нѣсколько раздражительно проговорилъ Муратовъ.

Она смутилась и посмотрѣла на него испуганнымъ взглядомъ. Онъ былъ, очевидно, въ самомъ дурномъ расположеніи духа.

— Ты сердишься?—спросила она.

— Я полагаю, что мы будемъ говорить не въ кухнѣ?—сухо сказалъ онъ вмѣсто отвѣта, пожимая плечами.

— Ахъ, да, да!.. Пойдемъ!—заторопилась она.

Они вошли въ комнату. Муратовъ сѣлъ. Она стояла передъ нимъ. Она ждала, что онъ, по обыкновенію, посадитъ ее къ себѣ на колѣни, приласкаетъ, какъ ребенка.

— Я долженъ буду, наконецъ, уѣхать изъ Петербурга,—проговорилъ онъ, подавая ей ея вексель.

Она растерянно взяла въ руки этотъ клокъ тонкой бумаги и повертѣла его, точно это было что-то неизвѣстное ей.

— Твои векселя не имѣютъ никакой цѣны,—сухо продолжалъ онъ.—Ихъ не учитаютъ и за десять процентовъ въ мѣсяцъ. Оно и понятно. У твоего мужа есть много родныхъ, все достанется имъ, тебѣ выдастся самая незначительная часть. Кто же станетъ учитать векселя нищихъ! Очень жаль, что я не понялъ всего этого раньше и поступилъ не какъ дѣлецъ, а какъ мальчишка.

Она стояла, опустивъ руки, потупивъ глаза, какъ преступница, обличенная въ преступленіи.

— Мнѣ пришлось, впрочемъ, пережить за это прескверныя минуты,—продолжалъ онъ.—Жидъ Кречмеръ такъ посмотрѣлъ на меня, такъ отвѣтилъ мнѣ, когда я принесъ ему этотъ проклятый вексель къ учету, что было отъ чего растеряться. Это былъ хорошій урокъ.

Она стояла, какъ статуя, съ растереннымъ видомъ. Муратовъ былъ непривычно сухъ, рѣзокъ и грубъ. Испытанное имъ оскорбленіе, неудача, полное отсутствіе надежды на будущее,—все это бѣсило, раздражало его. Онъ поднялся съ мѣста. Софья Дмитріевна очнулась и схватила его за рукавъ.

— Ради Бога, ради Бога, не уходи!—воскликнула она.— Подумаемъ, что можно сдѣлать... Останься!.. У меня есть еще брильянтовыя серьги. Завтра достану ключи отъ шкапа... выну ихъ... передамъ тебѣ...

— Пожалуйста, не уговаривай меня!—проговорилъ Муратовъ.—Это только ухудшаетъ мое положеніе, запутываетъ дѣла... Ну, я останусь... Добудемъ мы еще сотню, двѣ сотни рублей, а потомъ?.. Вѣдь на эти деньги долго не проживешь!.. Я надѣялся, что твои векселя что-нибудь значатъ, и потому остался... Но я ошибся и только даромъ прожилъ здѣсь лишнее время, тогда какъ каждый день здѣсь требуетъ денегъ, денегъ и денегъ... Да, другъ мой, мы плохіе счетчики и дѣльцы... Мы думали, что вексель бѣдной жены богатаго мужа что-нибудь значитъ, и ошиблись... «Вотъ если бы это былъ вексель самого господина Зимина,—сказалъ Кречмеръ:—тогда другое дѣло»... Жидъ не дуракъ... «Если бы, говоритъ, тоже было духовное завѣщаніе въ пользу г-жи Зиминой, я учелъ бы ея векселя»... Все если бы, да если бы, а теперь—прощай.

— Постой!—снова вскрикнула она и обвила его шею руками.—Постой! Я дамъ тебѣ завтра серьги, потомъ подумаемъ, обсудимъ. О, милый, дорогой, не уѣзжай отсюда, не уходи.

Она прильнула къ нему. Онъ сѣлъ и посадилъ ее къ себѣ на колѣни. Она приклонилась къ его рукамъ своимъ лицомъ, прильнула къ нимъ губами. Она была жалка въ эту минуту, вымаливая ласковаго слова, привѣтливаго взгляда. Сжалился ли надъ ней Муратовъ, разсчиталъ ли онъ, что лучше получить отъ нея брильянтовыя серьги, чѣмъ не получить ихъ, но только онъ остался у нея. Это было для него тѣмъ легче исполнить, что онъ, во всякомъ случаѣ, не могъ уѣхать изъ Петербурга отъ своихъ кредиторовъ и долженъ былъ какъ-нибудь перебиться до того времени, когда судьба пошлетъ ему новую, болѣе выгодную связь. Онъ приласкалъ бѣдную женщину.

— Но ты должна подумать о себѣ,—говорилъ онъ ей.— Постарайся, чтобы мужъ сдѣлалъ духовное завѣщаніе въ твою пользу. Конечно, можно бы обойтись и безъ духовной, если бы онъ выдалъ тебѣ векселя. Но это труднѣе. Тебѣ надо очень и очень позаботиться о себѣ. Что будетъ, если ты останешься безъ денегъ послѣ его смерти?

— Тогда вмѣстѣ уѣдемъ въ провинцію,—робко прошептала она.—Тамъ, ты говоришь, дешевле жить.

— Одному—да, но съ женою, съ семьей и тамъ жить дорого. Поступать опрометчиво нельзя. Теперь не такое время, чтобы съ милымъ былъ рай и въ шалашѣ. У насъ могутъ быть дѣти. Надо подумать о нихъ. Почему и я, и ты несчастны? Потому, что наши родные не думали о насъ, не дали намъ порядочнаго образованія, оставили нищими на произволъ судьбы. Да, намъ придется разстаться, если у насъ не будетъ ничего: этого требуетъ честность.

— Не говори, не говори такъ! Не думай о томъ, что будетъ послѣ; покуда мы вмѣстѣ, покуда мы счастливы!

Она зажала рукою его ротъ и прижалась къ нему.

Черезъ полчаса, когда онъ долженъ былъ снова уйти, она и смѣялась, и плакала, надѣясь, что онъ останется въ городѣ хотя нѣсколько времени. Когда онъ ушелъ, она усѣлась въ кухнѣ и задумалась. Какъ остановить его отъ перехода въ армію? Гдѣ достать денегъ? Деньги были нужны не только для него, но и для нея, для выкупа вещей. Что, если мужъ опять вздумаетъ везти ее въ театръ и велитъ ей надѣть что-нибудь изъ подаренныхъ ей золотыхъ безделушекъ? Можетъ ли она долго скрывать, что этихъ вещей у нея нѣтъ? Среди этихъ думъ въ ея головѣ ни разу не промелькнула мысль, что лучше всего отказаться отъ Му-

ратова. Онъ ей былъ нуженъ, какъ воздухъ и вода. Въ немъ была теперь вся цѣль ея жизни.

Она вздрогнула и поблѣднѣла, услышавъ звонокъ мужа. Дарья отворила двери, вошелъ Зиминъ. Онъ былъ блѣденъ и, казалось, продрогъ. Его лицо походило на лицо покойника. Софьѣ Дмитріевнѣ вспомнилось лицо ея бабки, и она сильно испугалась.

— Что съ тобой?—тревожно спросила она.

— Прозябъ,—тихо отвѣтилъ онъ и глухо закашлялъ.— Чаю сдѣлай. Я прилягу.

Онъ въ изнеможеніи легъ на диванъ. Его била лихорадка. Софья Дмитріевна начала хлопотать надъ приготовленіемъ чая. Наконецъ, чай былъ готовъ. Она налила стаканъ и подала его мужу. Онъ лежалъ въ забытьѣ, съ полуоткрытыми глазами, уставленными на одну точку.

«Что, если онъ умретъ?»—промелькнуло въ ея головѣ, и ее охватилъ ужасъ. Она боялась его живого, она еще болѣе боялась увидать его мертвымъ среди этой обстановки. Она назвала его по имени, онъ очнулся.

— Да, да, дай чаю!—пробормоталъ онъ, взявъ стаканъ. Его руки дрожали.

— Закрой меня чѣмъ-нибудь теплымъ,—сказалъ онъ, допивъ чай.

Она накрыла его пледомъ. Онъ снова впалъ въ забытье. Она присѣла около него и задумалась. Эта комната, походившая на склепъ съ высохшими трупами, этотъ полумертвый человѣкъ, эта тишина, царившая кругомъ, пугали ея трусливую, запуганную душу. Ей представлялось, что онъ умретъ, какъ ея бабка, и станетъ такимъ синимъ, похожимъ на скелетъ. Его начнутъ обмывать, и у него руки и ноги будутъ висѣть, какъ плети. Когда обмывали трупъ ея бабки, одна рука старухи стукнулась объ полъ. Какой страшный былъ этотъ стукъ! Потомъ его положатъ на столъ, и дьячокъ станетъ протяжно, заунывно читать по ночамъ. Она закроетъ глаза и уши, какъ она закрывала ихъ во время смерти бабки. Но онъ все же будетъ мерещиться ей. Нѣтъ, она уйдетъ къ своему Петѣ. Она уже никогда не вернется сюда. Она будетъ жить съ Петей.

«Жить съ Петей... А что, если Леня умретъ безъ духовной?—вдругъ мелькнуло въ ея головѣ.—У него есть родные; они ненавидятъ меня; они все оберутъ; они выгонятъ меня, какъ выгналъ дядя изъ дома бабеньки... Что же я буду дѣлать? Уѣду съ Петей въ провинцію?.. Но развѣ

у насъ хватитъ средствъ для жизни?.. Онъ говорилъ, что жить съ семьей и тамъ дорого... Сколько мнѣ достанется?.. Я не знаю, что есть у Лени. Нѣтъ, такъ нельзя... Надо что-нибудь сдѣлать».

Она уставила глаза въ полъ и сидѣла, не двигаясь, не шевелясь. Теперь уже ее пугала не картина смерти ея мужа, а картина ея будущей жизни.

— Что же, чай-то будете пить?—спросила Дарья.

Софья Дмитріевна вздрогнула.

— Нѣтъ, Дарьюшка!—отвѣтила она.

— Что это съ бариномъ-то?—тихо спросила Дарья.

— Умираетъ,—такъ же тихо прошептала Софья Дмитріевна.

— Ну-у!—недовѣрчиво проговорила служанка.—За священникомъ или за докторомъ не послать ли?

— Я не смѣю!

— А можетъ, и такъ отлежится, сномъ, значитъ, пройдетъ. Это бываетъ.

Служанка вышла. Софья Дмитріевна осталась сидѣть одна.

«Вотъ и бабенька умерла безъ духовной, по-міру меня пустила,—думала она.—И онъ такъ умретъ. Мнѣ такъ на роду написано... Написать бы духовную и попросить его подписать ее... Но какъ же попросить? Подпишетъ ли?.. Нѣтъ, я не рѣшусь попросить, ни за что не рѣшусь!.. А если я сама? Говорятъ, это часто дѣлается... Вотъ онъ разсказывалъ про такой случай... Онъ вѣдь все равно хотѣлъ бы мнѣ все оставить, а не своимъ роднымъ. Онъ ихъ ненавидитъ. Да это и не ихъ имущество. Это его и мое. Я жена... Но гдѣ же взять свидѣтелей?»

Она опять впала въ оцѣпенѣніе. Ей стали вспоминаться всѣ знакомые мужа,—ростовщики, биржевые дѣльцы, комиссіонеры, темныя личности. Въ ея воспоминаніи воскресли всѣ ихъ разговоры о поддѣлкѣ духовныхъ завѣщаній, о поддѣлкѣ векселей, о всей той массѣ мошенническихъ сдѣлокъ, которыми жилъ этотъ людъ. Весь этотъ людъ, спокойно говорившій о разныхъ мошенничествахъ, охотно согласился бы за деньги составить вмѣстѣ съ нею подложное духовное завѣщаніе. Но ей страшно было войти съ ними въ переговоры. Они могли выдать ее. Она боялась ихъ.

«Если векселя отъ его имени написать,—снова мелькнуло въ ея головѣ.—Это легче. Подписать, какъ онъ подписываетъ. Это я одна могу сдѣлать. Но учтутъ ли ихъ? Учтутъ! Леня самъ принималъ поддѣльные векселя. По поддѣльнымъ скорѣе выплатятъ, говорилъ онъ. Не захотятъ подвергнуться

уголовной отвѣтственности. Но вѣдь это онъ учиталъ векселя, поддѣланные дѣтьми вліятельныхъ особъ, извѣстныхъ лицъ. А кто учтетъ поддѣланные мною векселя?.. Развѣ попросить Петю, чтобы онъ уговорилъ своихъ друзей поставить на векселяхъ бланки... Мнѣ только бы теперь вывернуться съ Петей, а тамъ... Умретъ Леня... я все возьму и безъ духовной... Я одна здѣсь... Вѣдь это все мое, мое... Да, учесть векселя теперь, тогда будутъ деньги на выкупъ вещей... А если онъ не умретъ? Что онъ скажетъ тогда, узнавъ о векселяхъ? Онъ убьетъ меня... Убьетъ!»

Она съ ужасомъ взглянула на мужа. Онъ казался мертвымъ.

«Нѣтъ, онъ не встанетъ,—подумала она.—Нужно торопиться. Не то все оберутъ его родные. Этотъ проклятый двоюродный его братъ... эта гнусная его тетка... они ненавидятъ меня. Я ихъ мало знаю, но знаю, что они злые, гадкіе... Да, они, какъ мой дядя, пріѣдутъ и выгонятъ меня на улицу, въ одномъ платьѣ... Господи, какъ я была тогда несчастна... хорошо еще, что я тогда не вполнѣ понимала это... А теперь... Нѣтъ, нѣтъ, я должна что-нибудь сдѣлать».

Она думала и дѣйствовала точно во снѣ, въ бреду, наобумъ. Она знала дѣйствительную жизнь по наслышкѣ, она не умѣла мошенничать; она только сознавала, что она можетъ теперь спастись однимъ мошенничествомъ. Она осторожно встала и, крадучись, пошла между шкаповъ, этажерокъ и вѣшалокъ съ платьемъ къ письменному столу, на которомъ стояла свѣча. Она открыла одну изъ шнуровыхъ книгъ, взяла листъ лежавшей тамъ бумаги и начала копировать подпись мужа. Это была затѣйливая подпись, состоявшая изъ длинныхъ, узкихъ буквъ, составлявшихъ треугольникъ, начинавшійся большимъ *З* и кончавшійся едва замѣтнымъ *з* съ росчеркомъ, образовавшимъ почти кольцо, охватывавшее весь треугольникъ. Эта подпись была пріобрѣтена долгой практикой еще въ тѣ времена, когда молоденькій пажъ Зиминъ пріучалъ себя подписывать «подпоручикъ Зиминъ». Она хорошо знала эту подпись, знала характеръ каждой изъ этихъ шести буквъ, и все-таки ея рука выводила совсѣмъ иныя буквы. Повидимому, что могло быть легче этого росчерка, представлявшаго тонкое, правильное кольцо, а между тѣмъ у нея не выходило это кольцо такимъ ровнымъ, такимъ правильнымъ. Она попробовала наложить на подпись мужа тонкую бумагу и прорисовать эту подпись. Но этотъ опытъ вышелъ еще неудачнѣе: всѣ буквы

обличали дрожаніе въ рукѣ, росчеркъ былъ мѣстами толще, мѣстами тоньше.

— Кто это? Кто?—послышался ей голосъ мужа.

Она замерла, быстро закрывъ рукою бумажку съ пробными подписями.

— Это я,—отозвалась она.

— Не спишь?—спросилъ онъ слабо.

— Нѣтъ.

— Что дѣлаешь?

Онъ пошевелился. Она еще плотнѣе зажала рукой бумажку. «Что, если онъ встанетъ, увидитъ?»—мелькнуло въ ея головѣ. Она словно замерла.

— Просматриваю книги отъ нечего дѣлать,—глухо отвѣтила она.

— Пить дай!

Она скомкала исписанную ею бумажку и спрятала ее въ карманъ. Черезъ минуту она приближалась къ мужу со стаканомъ воды.

— Тебѣ лучше?—спросила она.

— Нѣтъ... тутъ горитъ... душитъ,—отвѣтилъ онъ, показывая на грудь.

— Не послать ли за докторомъ?—заботливо спросила она.

Онъ отрицательно махнулъ рукою и снова забылся.

Она опять сѣла писать эти роковыя шесть буквъ. Иногда она останавливалась на первой же буквѣ, написавъ вмѣсто з знакъ, обозначавшій унцію; иногда ей удавалось написать всѣ шесть буквъ и испортить все росчеркомъ; ни разу она не могла сказать, что она хотя на шагъ приблизилась къ желанной цѣли. Въ ея головѣ не было теперь никакихъ думъ, вопросовъ, сомнѣній; ея мозгъ былъ направленъ въ одну сторону; онъ видѣлъ только эти шесть буквъ съ круглымъ росчеркомъ; онъ стремился только уловить эту подпись. Ея душевное настроеніе дѣлалось все болѣе и болѣе болѣзненнымъ, лихорадочнымъ; она была больна серьезнѣе, чѣмъ ея мужъ; ея психическое состояніе могло быть названо, безъ всякой натяжки, помѣшательствомъ.

— Не надо... не надо... спи!—опять послышался голосъ больного.

— Ничего!—отвѣтила Софья Дмитріевна, снова вздрогнувъ и пряча бумажки, исписанныя ею.

— Мы поѣдемъ... ну, и хорошо... довольно такъ жить... Возьми билеты... Ты думаешь, денегъ нѣтъ... глупости!.. Деньги есть... Потеряна только честь... Бери билеты.

Больной бредилъ ровнымъ, однообразнымъ, гробовымъ голосомъ.

Софья Дмитріевна вся съежилась отъ ужаса. Она боялась подняться съ мѣста, боялась позвать служанку. Мутное зимнее утро начинало уже заниматься. Она сама не вѣрила своимъ глазамъ, видя, что ночь уже прошла. Она не могла даже дать себѣ яснаго отчета, какъ она провела эту ночь—писала ли она безъ перерыва, забывалась ли на нѣсколько минутъ сномъ.

VI.

Рѣзкій звонокъ у парадная входа въ квартиру Зиминыхъ заставилъ Софью Дмитріевну очнуться вполнѣ. Онъ напомнилъ ей, что начался день и что ей пора приняться за свои обычныя обязанности.

Она торопливо, испуганно спрятала исписанные ею листы бумаги, кое-какъ поправила свой туалетъ и пошла отворить дверь для пріема посѣтителей. Принявъ въ залогъ вещи и выдавъ ссуду, она осталась одна и начала опять смутно припоминать, что было съ нею въ прошлую ночь. Поддѣлываніе подписи мужа казалось ей теперь какимъ-то тяжелымъ сномъ, страшнымъ кошмаромъ: если бы въ ея карманѣ не было этихъ предательскихъ, исписанныхъ ею, бумажекъ, она не повѣрила бы, что она провела эту ночь безъ сна въ такой работѣ; она даже не понимала теперь, для чего она старалась поддѣлать подпись мужа. Выдать векселя отъ его имени она, какъ ей казалось теперь, не посмѣла бы, покуда онъ еще живъ. Написать въ свою пользу завѣщаніе отъ его имени было невозможно, такъ какъ у нея не было надежныхъ свидѣтелей. Теперь она понимала все это, и ей самой казалось, что она дѣйствовала ночью въ бреду, въ припадкѣ умопомѣшательства. Она никакъ не могла вспомнить, какъ она додумалась ночью до необходимости поддѣлать подпись мужа. Но что же ей дѣлать теперь, чтобы обезпечить себя въ будущемъ, въ случаѣ смерти мужа? Да дѣйствительно ли онъ такъ опасно боленъ? Нужно позвать доктора, нужно спросить его о состояніи больного. Она прошла къ мужу. Онъ лежалъ, попрежнему, безъ движенія, но не спалъ.

— Тебѣ, Леня, очень худо?—спросила несмѣло Софья Дмитріевна.

— Доктора пригласи,—проговорилъ больной слабымъ голосомъ.

— Фроста или кого-нибудь другого?—спросила жена.

— Фроста.

Софья Дмитріевна торопливо направилась въ кухню, послала кухарку за докторомъ, велѣла ей вернуться черезъ парадную лѣстницу и заперла за нею дверь на черный ходъ.

— Ты, Леня, не хочешь ли чаю?—спросила она, возвращаясь къ мужу.

— Пожалуй, съ лимономъ,—отвѣтилъ больной.

Онъ лежалъ, обкусывая кожу на пересохшихъ губахъ и разсматривая съ какимъ-то тупымъ выраженіемъ свои исхудалыя желтыя руки.

— Хорошо ли тебѣ съ лимономъ?—спросила она.

— Ничего...

Она пошла снова въ кухню заварить чай. Она дѣйствовала теперь бодро, энергично, точно въ лихорадкѣ. По временамъ ей казалось, что ей нужно именно теперь собрать всѣ свои силы, такъ какъ, пожалуй, сегодня къ вечеру все кончится. Она не говорила даже мысленно, что именно кончится; она не давала себѣ отчета, почему она думаетъ, что все должно кончиться именно сегодня; она была просто сильно возбуждена и ждала какой-то катастрофы. Среди хлопотъ съ чаемъ она два раза слышала рѣзкіе звонки у парадная входа, два раза отрывалась отъ самовара, чтобы выдать ссуды посѣтителямъ.

— Соня,—позвалъ ее больной.

— Что?—отозвалась она.

— Вывѣси на двери объявленіе, что сегодня касса закрыта,—проговорилъ больной.—Я не могу слышать этого звонка.

Она поспѣшила исполнить его желаніе. Она сама была рада, что ее не будутъ тревожить въ этотъ день посѣтители. Черезъ полчаса вернулась служанка. Слѣдомъ за нею пріѣхалъ и докторъ Фростъ—полный, серьезный мужчина, съ просѣдью, съ подстриженными бакенбардами, съ холодными глазами, съ большими перстнями на толстыхъ пальцахъ, походившій скорѣе на озабоченнаго дѣльца изъ биржевыхъ игроковъ, на разжирѣвшаго ростовщика, чѣмъ на друга больныхъ.

— Я такъ и думалъ, что вчерашнее собраніе не пройдетъ вамъ даромъ,—проговорилъ онъ, щупая пульсъ больного.

— Да... да... Это чортъ знаетъ что такое... Грабежъ чистѣйшій,—взволновался больной.

— И какъ насъ-то поддѣли!.. Оказывается, и директора,

и наблюдательный совѣтъ, всѣ были заодно... Вѣдь у меня до тридцати тысячъ гибнетъ... Ну, а языкъ какъ?

Больной съ трудомъ высунулъ языкъ.

— Мы, впрочемъ, можетъ-быть, еще успѣемъ сбыть наши акціи, пока дѣло не гласно,—проговорилъ докторъ, разсѣянно смотря на языкъ больного.

— Пожалуйста, похлопочите... Эта проклятая болѣзнь мнѣ мѣшаетъ самому позаботиться.

Больной говорилъ съ трудомъ.

— Непремѣнно... непремѣнно... Ознобъ сейчасъ же начался, какъ вернулись домой?

— Да... Нѣтъ, а каковы же директора? Сами сухи изъ воды выйдутъ, а акціонеры поплатятся своими боками... А?

— Да я вѣдь предсказывалъ, что это будетъ. Мы съ вами рискнули...

Докторъ торопливо кончилъ изслѣдованіе больного, почти не выслушалъ отвѣтовъ на свои вопросы, поспѣшно нацарапалъ рецептъ и, аккуратно спрятавъ въ бумажникъ полученныя за визитъ деньги, пожалъ руку больного.

— Что, докторъ, какъ вы его нашли?—спросила Софья Дмитріевна, провожая его въ переднюю.

— Простудился. При его обыкновенной болѣзни опасно было выходить вечеромъ изъ дому, — отвѣтилъ онъ, надѣвая шубу.

— Я это говорила, да онъ такой упрямый.

— Что-жъ, если дѣла были, такъ нельзя же было сидѣть дома. Дѣла общества крутогорско-порѣченской желѣзной дороги совсѣмъ разстроились... Открылся цѣлый рядъ плутней, мошенничествъ... Мы вчера и собирались en petit comité обсудить свое положеніе. Онъ сильно погорячился.

— Но вы не опасаетесь?

— Помилуйте, какъ не опасаться! У меня на тридцать тысячъ акцій! Онъ кажется, менѣе поплатится,—горячо воскликнулъ докторъ.

— А относительно его болѣзни? Она не опасна?

Докторъ пожалъ плечами.

— Онъ уже давно опасно боленъ. При спокойствіи можетъ еще проскрипѣть. Въ его лѣта съ этой болѣзнью тянуть долго... Очень можетъ-быть, что мнѣ удастся во-время сбыть наши акціи, это подѣйствуетъ на него хорошо въ моральномъ отношеніи.

— Такъ вы думаете, что онъ можетъ еще прожить?

— Отчего же нѣтъ, если все пойдетъ хорошо! ручаться

ни за что нельзя. Конечно, мы спохватились во-время; на биржѣ, положимъ, слухи о дѣлахъ распространятся тоже скоро, но еще найдутся дураки, которые купятъ акціи. Теперь надо только торопиться, ловко обдѣлать дѣло.

— Лѣкарство давать черезъ часъ?

— Да, да, черезъ часъ... Я тамъ ему прописалъ микстурку. Но это все пустяки всѣ эти микстурки. Поправятся наши дѣла—и онъ ободрится опять... Лѣкарство это такъ, для успокоенія совѣсти... Когда дѣла плохи, никакія лѣкарства не помогутъ.

Докторъ кивнулъ головой Софьѣ Дмитріевнѣ и торопливо скрылся. Его сильно тревожили акціи крутогорско-порѣченской желѣзной дороги, на которыя онъ убилъ значительную часть своего капитала и которыя должны были сильно упасть въ цѣнѣ вслѣдствіе мошенничества желѣзнодорожнаго правленія.

Софья Дмитріевна, отославъ кухарку въ аптеку, осталась въ самомъ тяжеломъ настроеніи духа. Ей было бы гораздо легче, если бы докторъ прямо сказалъ, что ея мужъ долженъ умереть, и умереть скоро, завтра, сегодня. Это придало бы ей энергіи, заставило бы ее сообразить, что дѣлать. Теперь же она рѣшительно не знала, за что приняться. Ея ненормальное возбужденіе прошло; силы снова упали. Когда больной немного забылся, она вышла въ кухню и расплакалась. Она даже не замѣтила возвращенія Дарьи изъ аптеки.

— Что баринъ-то? Помираетъ?—спросила кухарка.

— Худо ему, Дарьюшка, очень худо!—проговорила, всхлипывая, Софья Дмитріевна.

— Экой грѣхъ какой случился!—вздохнула кухарка.

— Ты дай знать Петру Павловичу, чтобы вечеромъ зашелъ.

— А самъ-то какъ же?

— Что же Леня—Леня теперь не увидитъ.

— Оно, конечно, если ужъ помираетъ... Дворникъ вотъ спрашивалъ. Гробовщикъ, говоритъ, если понадобится, такъ у него есть знакомый.

— Ахъ, что ты, что ты!

Софья Дмитріевна замахала рукой.

— Что-жъ, въ смерти и животѣ Богъ воленъ!

Софья Дмитріевна снова заплакала.

— Ты сходи, Дарьюшка, къ Петру Павловичу, сходи!—всхлипывала она.

Кухарка покачала головой и вышла изъ кухни. Черезъ четверть часа весь домъ уже зналъ, что Зиминъ «помираетъ». Дарья успѣла передать всѣмъ своимъ знакомымъ тревожную новость. Толки о безнадежномъ положеніи «ростовщика» интересовали всѣхъ. Всѣ представляли себѣ, какъ обрадуется молодая жена, оставшись богатой вдовой. Дворникъ далъ знать гробовщику и сбѣгалъ къ родственникамъ Зимина, которые, уже давно видя, какъ расхварывается Леонидъ Григорьевичъ, подговорили дворника дать имъ знать, если что-нибудь случится съ ихъ родственникомъ. Они ожидали его смерти, какъ хищныя птицы ждутъ падали.

Въ полдень, по черной лѣстницѣ, къ квартирѣ Зиминыхъ уже поднималась немолодая женщина, въ полиняломъ и вытертомъ лисьемъ салопѣ, съ обдерганнымъ собольимъ воротникомъ и въ смятой старомодной шляпкѣ съ выгорѣвшимъ на солнцѣ краснымъ цвѣткомъ, сдвинувшейся на затылокъ. Лицо этой женщины, измятое, сморщенное и обрюзгшее, нѣсколько раскраснѣлось отъ усиленной ходьбы. Ея бѣлокурые, сухіе и мѣстами посѣдѣвшіе волосы выбивались нѣсколькими коротенькими прядями на лицо. Она на ходу передергивала свои синеватыя, некрасивыя губы, какъ бы обкусывая беззубымъ ртомъ ихъ запекшуюся кожу. Судя по росту, по довольно прямому стану, по полнотѣ, можно было предполагать, что эта женщина была когда-то «belle femme». Теперь это была руина въ полномъ смыслѣ этого слова,— руина отталкивающая, некрасивая, сломанная не столько годами, сколько житейскими бурями и ураганами. Но, несмотря на все это, сразу можно было сказать, что это руина зданія, когда-то блестѣвшаго, когда-то удивлявшаго своимъ величіемъ. При всей своей изношенности, при всей своей нищенской одеждѣ, эта женщина сохранила твердость походки, суровое, повелительное выраженіе глазъ, что-то неуловимое, что сразу говорило, что это «барыня». Она торопливо вошла въ кухню Зиминыхъ и, увидавъ Софью Дмитріевну, вдругъ сдѣлала привѣтливую физіономію, хотя улыбка искривила только ея ротъ, въ темной пропасти котораго торчалъ одинъ желтый и большой клыкъ, но не озарила ея тусклыхъ и холодныхъ, сѣрыхъ, какъ свинецъ, глазъ, хранившихъ какое-то суровое, почти жестокое выраженіе.

— Ma chère, что случилось? Вы въ слезахъ?—проговорила она, пожимая руку Софьи Дмитріевны грубою, широкою, почти мужскою рукою..

— Леня захворалъ,—проговорила растерянно Софья Дми-

тріевна, не ожидавшая встрѣтить у себя Марью Ивановну Шустову, тетку своего мужа.

Софья Дмитріевна боялась этой женщины. Она знала отъ мужа грязное прошлое этой барыни-аристократки, оставившей въ Баденъ-Баденѣ и Гамбургѣ на рулеткѣ все свое состояніе, и инстинктивно угадывала, что Шустова не остановится ни передъ чѣмъ, чтобы поправить хотя сколько-нибудь свое матеріальное положеніе.

— Mon Dieu! mon Dieu! Я такъ и думала, такъ и думала!—воскликнула старуха. — Какъ же вы не дали мнѣ знать? Кто же за нимъ ходитъ?

Старуха говорила развязно, скоро, вставляя французскія слова въ русскую рѣчь, какъ женщина, привыкшая съ молодости больше болтать въ салонахъ, чѣмъ слушать. Она небрежно сбросила свой салопъ на руки служанкѣ, сняла шляпку и, бросивъ ее куда попало, какъ вещь, не имѣвшую для нея никакого значенія, направилась въ комнату больного.

— Леня спитъ,—несмѣло замѣтила Софья Дмитріевна.

— Все равно. Я думаю, со мной нечего церемониться. Люди говорятъ, что довожусь теткой! — съ сухой ироніей отвѣчала старуха.—Ахъ, Боже мой, онъ даже не на постели лежитъ, а на диванѣ. Это неудобно! Его надо перенести!

Зиминъ открылъ глаза и тупо посмотрѣлъ на тетку.

— Ай, ай, ай, какой нехорошій ты! Фи! — проговорила старуха, стараясь придать своему сиплому голосу мягкость.— Не стыдно ли хворать?

— Умирать собираюсь,—пробормоталъ больной, скрививъ насмѣшливо ротъ.

— Ну, полно, полно! Очень нужно думать о смерти! Еще такимъ молодцомъ будешь, что завидно смотрѣть будетъ.

Больной опять сдѣлалъ насмѣшливую гримасу.

— Докторъ былъ?—обратилась старуха къ Софьѣ Дмитріевнѣ.

— Былъ.

— Кто?

— Фростъ его постоянно лѣчитъ.

— Фростъ? Фростъ?—протяжно повторяла старуха, какъ бы что-то припоминая.—Это какая-то неизвѣстность! Вы бы пригласили кого-нибудь другого.

— Не надо,—слабо махнулъ рукой Зиминъ.

— Ну, какъ хочешь, какъ хочешь!—успокоительно сказала она.—Но за нимъ уходъ нуженъ. Вамъ однѣмъ тяжело.

Я готова побыть съ нимъ, чтобы вы отдохнули. Я все равно бью покуда баклуши, да слоновъ продаю.

Въ тонѣ, которымъ была сказана послѣдняя фраза, снова зазвучала сухая, холодная иронія. Старуха часто прибѣгала къ подобнымъ вульгарнымъ фразамъ, иногда переходившимъ отъ вульгарности къ цинизму.

— Я не устала,—тихо проговорила Софья Дмитріевна.

— Не устали теперь, но устанете потомъ,—наставительно отвѣтила старуха. — За больнымъ нужно походить, чтобы знать, какъ это утомляетъ. Лучше двоимъ ходить, чѣмъ одной.

Софья Дмитріевна обратила молящій взоръ къ мужу. Она боялась, что его тетка останется у нихъ. Старуха могла помѣшать ея свиданіямъ съ Муратовымъ. Она могла помѣшать составленію духовнаго завѣщанія.

— Ты устала, Соня?—спросилъ больной, стараясь прямо взглянуть на нее.

— Нѣтъ, Леня,—поспѣшно отвѣтила она.

— Ну, и прекрасно, и ходи одна. Тебѣ же лучше будетъ.

Въ его голосѣ послышалось не то ласка, не то иронія.

— Ну, какъ хотите,—пробормотала старуха, передергивая синеватыми губами.—Но я надѣюсь, что вы тотчасъ же пригласите меня, какъ только понадобится моя помощь.

Она присѣла около дивана. Софьѣ Дмитріевнѣ нужно было выйти по хозяйству, но она боялась оставить тетку съ-глазу на-глазъ съ больнымъ. Наконецъ, ее позвала Дарья, спросить насчетъ кофе и завтрака. Она вышла изъ комнаты. Старуха устремила на больного ястребиный взоръ и, казалось, мысленно разсчитывала, долго ли ему осталось жить. Что-то холодное, безсердечное было въ этихъ глазахъ старой развратницы, дошедшей до нищеты и жаждавшей только денегъ и денегъ, чтобы не умереть на мостовой. Больной неожиданно открылъ глаза и встрѣтилъ этотъ взглядъ. Старуха поспѣшила улыбнуться, но опять улыбался только ея беззубый, темный, какъ бездонная пропасть, ротъ, изъ котораго выдвигался наружу только одинъ пожелтѣлый, крупный клыкъ.

— Вотъ какъ свернулся! И недѣли не протяну,—усмѣхнулся больной, словно отвѣчая на ея затаенныя мысли.

— Ne dites pas des bêtises. Въ болѣзни всегда разстраивается воображеніе,—торопливо и развязно произнесла старуха.—И не думай о смерти! Tu es hors d'affaire. Ты совсѣмъ не опасенъ. Я знаю это; много видѣла больныхъ на

своемъ вѣку; и выздоравливали, и умирали на моихъ рукахъ. Тоже пожила, слава Богу!

— Нѣтъ, ужъ мнѣ не встать. Духовную надо сдѣлать,— произнесъ больной.

— Ахъ, забудь обо всемъ этомъ, не волнуйся—и будешь здоровъ.

Старуха чувствовала, что нужно какъ можно болѣе стараться о томъ, чтобы больной не дѣлалъ духовнаго завѣщанія. Его слова даже обрадовали ее, давъ ей понять, что онъ еще не сдѣлалъ завѣщанія.

— Въ твоей болѣзни главное—спокойствіе. Не думай о деньгахъ, о противныхъ расчетахъ, тогда и будешь спокоенъ. Бери съ меня примѣръ: жила, много жила, а никогда ничего не считала.

— Зато много и прожили.

— Много или мало, не знаю, оттого и не тужу. Хуже было бы, если бы считала, да проживала, давно въ могилу сошла бы съ горя о прожитомъ. Всѣ эти soucis de la vie только убиваютъ, а пользы, право, никакой не приносятъ. Ну, что вотъ ты? Ну, разсчитывалъ, копилъ, а развѣ ты жилъ?

— Гдѣ ужъ мнѣ! Это вы умѣли только пожить!—усмѣхнулся больной.

— Да, пожила, пожила! Есть чѣмъ прошлое вспомнить!— почти хвастливо отвѣтила старуха.

— А много тѣ-то стоили, съ кѣмъ пожили?—презрительно спросилъ больной, какъ бы желая съ умысломъ оскорбить ненавистную ему женщину.

— Ну, mon cher, никогда не продавала, никогда не покупала,—отвѣтила она съ холоднымъ цинизмомъ.

Въ эту минуту въ комнату вошла Софья Дмитріевна, чтобы пригласить старуху къ кофе.

— Бѣдный Леонидъ! Sa bile s'émeut aisément, какъ только онъ вспомнитъ о дѣлахъ, о деньгахъ. А онъ только и толкуетъ, что о духовной,—заговорила тетка, обращаясь къ Софьѣ Дмитріевнѣ.—Ему эти волненія вредны. Вы должны уговорить его, чтобы онъ не думалъ ни о какихъ дѣлахъ. Поправится, тогда другое дѣло. Теперь же позволить ему толковать о нихъ—значитъ желать ухудшенія его здоровья. Это ваша прямая обязанность заботиться о его спокойствіи.

Софья Дмитріевна взглянула вопросительно на тетку и мужа.

— Да вѣдь ей нельзя не заботиться о духовномъ завѣ-

щаніи, такъ какъ безъ духовной она останется нищей,— проговорилъ больной, и опять по его лицу скользнула насмѣшливая гримаса.

— Ну, мой другъ, никто не станетъ обирать Софью Дмитріевну, — произнесла тетка, презрительно пожимая плечами.—Да, я думаю, ей теперь и не до того, чтобы размышлять, что съ нею будетъ послѣ. Теперь мысль о твоемъ здоровьѣ должна быть у нея на первомъ планѣ.

Софья Дмитріевна была смущена.

— Почему же мысль о моемъ здоровьѣ, а не о моей смерти?— усмѣхнулся больной.—Живые о живомъ и думаютъ. Вѣдь меня всѣ милліонеромъ считаютъ. Какъ же не думать о такомъ богатствѣ!

— Фи, ты оскорбляешь жену свою подозрительностью!— съ упрекомъ покачала головой тетка.—Хорошо, что я не наслѣдница послѣ тебя, а то, право, и я оскорбилась бы. Впрочемъ, можетъ-быть, ты мнѣ и вздумаешь оставить какую-нибудь старую шубу, а то моя хламида просится въ отставку,—усмѣхнулась она и, быстро перемѣнивъ тонъ, прибавила:—полно, ты еще насъ переживешь, только не волнуйся.

Софья Дмитріевна пригласила тетку мужа въ другую комнату. Обѣ женщины вошли въ комнату, раздѣленную драпировкой на двѣ половины, и сѣли у круглаго стола пить кофе.

— Бѣдный Леонидъ, какъ онъ волнуется! — вздохнула тетка. — Ахъ, ужъ эти дѣльцы! Деньги для нихъ дороже собственной жизни. Вамъ надо стараться успокоить его и ободрять. Я надѣюсь, что вы, ma chère, не говорили ему о завѣщаніи? Денежные вопросы — это его больное мѣсто. Его можно убить ими. Будьте осторожны. Этого требуетъ благоразуміе. Вы можете его окончательно убить, напоминая ему о завѣщаніи, и тогда для васъ же будетъ хуже. Онъ не сдѣлаетъ завѣщанія, если вы его станете просить объ этомъ теперь. Вы видите, какъ онъ относится къ этому дѣлу. А между тѣмъ, это взволнуетъ его и ускоритъ его смерть.

Софья Дмитріевна молчала. Она все болѣе и болѣе понимала безвыходность своего положенія.

— Какъ жаль, что вы не поддержали моего предложенія ходить за больнымъ,—продолжала тетка.—Я, можетъ-быть, скорѣе, чѣмъ кто-нибудь другой, могла бы довести Леонида до составленія духовнаго завѣщанія. Меня вѣдь онъ не

можетъ подозрѣвать ни въ чемъ. Я не наслѣдница. Съ своими дѣтьми я, какъ вы знаете, не въ ладахъ. Наконецъ, заботясь о духовной, я могла бы дѣйствовать только въ вашу пользу. Вѣдь ваше положеніе дѣйствительно очень тяжелое. Правда, про Леонида говорятъ, qu'il est cousu d'argent, но я думаю, что онъ вовсе не такъ богатъ, чтобы ваша законная часть наслѣдства могла быть значительною. Вамъ достанутся какія-нибудь семь-восемь тысячъ, вотъ и все. Съ этими средствами on ne peut pas faire bonne vie. Pauvre enfant! Вы еще не знаете, что значитъ нищета! Ахъ, я все знаю по опыту: и богата была, и голодала. Всего было... Ну, да что объ этомъ толковать! Дай Богъ вамъ не пройти той дороги, которую прошла я. Можетъ-быть, Леонидъ еще поправится, хотя, конечно, надежды мало. Я насмотрѣлась на своемъ вѣку на больныхъ. Онъ можетъ умереть совершенно неожиданно: припадокъ сильнаго кашля, недостатокъ воздуха—и конецъ. Cela peut ne pas arriver, но все же вы должны быть къ этому готовы: эти удары переносятся не легко, когда ихъ не ждешь.

Софья Дмитріевна чувствовала, что у нея замираетъ отъ ужаса сердце. Ей опять представлялся этотъ исхудалый трупъ среди ихъ мрачной обстановки, приходъ полиціи, опечатываніе имущества, раздѣлъ денегъ, грабежъ со стороны алчныхъ родственниковъ мужа, ея бѣдность и необходимость отречься отъ Муратова. Она сознавала, что ее можетъ спасти только духовное завѣщаніе; но какъ же сказать мужу о духовномъ завѣщаніи? Это его раздражитъ. Онъ взволнуется, упрекнетъ жену за желаніе его смерти и, конечно, не напишетъ духовнаго завѣщанія. Можетъ-быть, это даже ускоритъ его смерть. Но если не говорить ему объ этомъ предметѣ, то онъ самъ и не подумаетъ о духовномъ завѣщаніи, а умереть онъ можетъ каждую минуту.

— Ну, я пойду, дитя мое! — проговорила тетка, зорко слѣдившая за Софьей Дмитріевной своими холодными глазами. — Мужайтесь и надѣйтесь, если вы еще можете надѣяться.

Старуха встала и простилась съ Зиминой. Софья Дмитріевна осталась одна и задумалась. Шустова поставила ее въ безвыходное положеніе: она отрѣзала ей возможность намекнуть больному о духовномъ завѣщаніи и въ то же время указала бѣдной женщинѣ, что ждетъ ее въ будущемъ, если духовнаго завѣщанія не будетъ сдѣлано. Теперь Софьѣ Дмитріевнѣ, не знавшей размѣровъ денежныхъ

средствъ мужа, становилось еще страшнѣе, когда она вспомнила о словахъ Фроста, говорившаго о значительныхъ потеряхъ Зимина на акціяхъ крутогорско-порѣченской желѣзной дороги. Не потерялъ ли Зиминъ на нихъ бо́льшую часть своего состоянія? Не разорился ли онъ совсѣмъ? Что тогда? Что достанется ей?

Въ это время отчетливо пробили часы. Молодая женщина вспомнила, что пора дать больному лѣкарство. Она торопливо поднялась съ мѣста, и въ ея головѣ мелькнула мысль, что нужно какъ можно аккуратнѣе лѣчить больного, чтобы поднять его. Теперь она, кажется, много отдала бы, чтобы видѣть его здоровымъ. Она вошла въ комнату къ мужу и предложила ему лѣкарство.

— Ворона улетѣла?—глухо спросилъ онъ.

— Кто?

— Про тетку спрашиваю...

— Да, она ушла.

— Почуяла падаль! Это первая застрѣльщица. Погоди, прилетятъ и другія хищныя птицы. Сыну дастъ знать.

— Они въ ссорѣ, Леня...

— Ну да, въ ссорѣ, потому что у нея денегъ нѣтъ... Теперь помирятся. Нѣтъ, воронъ ворона не заклюетъ... Всѣ вмѣстѣ дѣйствовать станутъ.

Больной взглянулъ на жену.

— Ты боишься ихъ, Соня?—спросилъ онъ мягко.

— Чего же мнѣ ихъ бояться?—тихо отвѣтила она.

— А помнишь своего дядю, какъ онъ тебя выгналъ на улицу? И они выгонятъ тебя, если не будетъ духовнаго завѣщанія. Денегъ, денегъ всѣмъ надо! Изъ-за денегъ убить ближняго всѣ готовы. Теперь вѣкъ такой; съ деньгами ты—царь, безъ денегъ—отщепенецъ, прокаженный... Не будь у меня денегъ, издыхалъ бы, какъ собака. Никто не пришелъ бы навѣстить...

Больной встревожился и закашлялъ. Софья Дмитріевна поблѣднѣла.

— Леня, милый, не тревожься! — начала она умолять его.—Береги себя, береги ради меня!

Въ ея голосѣ послышались слезы.

— Ничего, ничего... пройдетъ! — отрывисто махалъ онъ рукою, продолжая кашлять.

Она машинально провела рукою по его впалой груди. Она боялась, что онъ умретъ, оставивъ ее нищей. Онъ съ благодарностью взглянулъ на нее за это ласковое движеніе.

— Бѣдная моя... тяжело тебѣ со мною... Ну, да я еще поднимусь... поправлюсь... заживемъ иначе... уѣдемъ сейчасъ же въ Ментонъ, какъ только немного полегчаетъ... Ты вѣдь рада будешь попутешествовать? Да?..

— Да, — отвѣтила Софья Дмитріевна, чувствуя, что ее снова охватилъ ужасъ при мысли о путешествіи, о разлукѣ съ Муратовымъ, объ открытіи мужемъ недостатка ея золотыхъ вещей.

Она окончательно переставала понимать, что она желаетъ, и что ей нужно дѣлать. Желать скорой смерти мужа и остаться, быть-можетъ, съ такими маленькими средствами, что Петръ Павловичъ откажется на ней жениться. Желать выздоровленія мужа и при отъѣздѣ его за границу открыть ему пропажу ея золотыхъ вещей, разстаться съ Муратовымъ. Попросить мужа сдѣлать въ ея пользу духовное завѣщаніе и тѣмъ самымъ показать мужу, что она надѣется на его смерть, раздражить его еще болѣе, заставить его лишить ее всего. Не говорить ему о духовномъ завѣщаніи и терпѣливо ждать, когда онъ самъ напишетъ это завѣщаніе, зная навѣрное, что онъ его не напишетъ никогда по своему собственному почину. Она теряла голову и бродила весь день, какъ помѣшанная. Казалось, ее заперли въ затхлый и темный подвалъ, откуда не было никакого выхода, гдѣ ей приходилось стоять у постели умирающаго, у котораго были спрятаны въ неизвѣстномъ для нея мѣстѣ ключи отъ этого подвала,—она боялась и продолженія жизни этого умирающаго, и его смерти. Она вся холодѣла отъ сознанія безвыходности своего положенія, и въ то же время ей вспоминался Муратовъ, вспоминались восторги любви, рисовалась возможность счастливой жизни съ нимъ. Она сознавала, что она не можетъ отказаться отъ Муратова, что онъ ей дороже всего на свѣтѣ, что онъ — цѣль ея жизни. Ей вспоминалось его еще красивое выхоленное тѣло, и она сравнивала его съ истощенной, костлявой и желтой фигурой мужа; ей вспоминались мужественныя ласки Муратова, и она видѣла въ его цинизмѣ, въ его развращенности силу и страстность; ей представлялось, что она могла бы безраздѣльно, постоянно обладать этимъ человѣкомъ, если бы не мужъ, если бы не бѣдность. Ей въ душу начинало впервые закрадываться чувство, близкое къ ненависти къ мужу, — ненависти за то, что онъ живетъ, что онъ не отказываетъ ей по духовному завѣщанію всего своего состоянія. Это чувство не было чувствомъ простой раз-

вратницы, чувствомъ обыкновенной безнравственной женщины; это было просто чувство женщины, не знавшей никакихъ другихъ законовъ, кромѣ законовъ чисто-животной жизни, не имѣвшей никакого понятія о нравственности. Дикарь убиваетъ дикаря, чтобы не быть самому убитымъ; онъ съѣдаетъ убитаго врага, потому что онъ хочетъ ѣсть, а человѣческое мясо кажется ему питательнымъ. Тутъ нѣтъ преступленія, потому что тутъ нѣтъ сознанія о нравственности и безнравственности, а есть простые животные инстинкты, простыя потребности утробной жизни. Этою жизнью жила Софья Дмитріевна. Она спокойно выносила присутствіе и ласки мужа, покуда это присутствіе и эти ласки не мѣшали ей почти ежедневно хоть часъ удовлетворять свои собственныя животныя потребности съ другимъ; теперь больной мужъ дѣлался преградою для ея свиданій, онъ могъ помѣшать въ будущемъ ея наслажденіямъ, — и она начинала ненавидѣть этого мужа.

Въ девять часовъ вечера явился Петръ Павловичъ. Его пришлось принять въ кухнѣ, откуда была выслана Дарья въ спальню сторожить, не проснется ли баринъ.

— Ты знаешь, Леня захворалъ, — проговорила Софья Дмитріевна, обнимая Муратова.

— Опасно?—спросилъ Петръ Павловичъ.

— Да... кажется, не встанетъ... Я не знаю, что мнѣ дѣлать.

Муратовъ нахмурился.

— Надо поторопиться заполучить духовное завѣщаніе.

— Онъ никогда его не напишетъ самъ, просить же я не смѣю. Онъ подумаетъ, что я желаю его смерти.

— Да, но вѣдь въ противномъ случаѣ ты останешься, быть-можетъ, нищею.

— Милый, дорогой мой, мнѣ лично ничего не нужно... Но тебѣ было бы трудно жить со мною безъ средствъ.

— Объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, — пробормоталъ Муратовъ, пораженный мыслью, что Зимина не сегодня, такъ завтра можетъ сдѣлаться вдовою, свободною.

— Ты меня совсѣмъ не любишь!

— Ты удивительная женщина... Впрочемъ, нѣтъ, вы всѣ, женщины, таковы. Ты думаешь, что любовь выражается въ томъ, чтобы очертя голову сходиться двумъ любящимъ сердцамъ. Въ любви есть нѣчто высшее: тутъ есть забота о будущности любимаго человѣка, о дѣтяхъ... Ты неопытна и тебѣ кажется, что мы будемъ счастливы и нищими, а я

знаю, что нищета убиваетъ любовь, что мы не имѣемъ права играть участью нашихъ дѣтей, что меня будетъ убивать, если ты будешь нуждаться въ чемъ-нибудь, да и ты не вынесешь, если буду нуждаться я...

Она не слушала его и только страстно любовалась имъ. Ей нравилось, какъ онъ говорилъ, какъ онъ убѣждалъ.

— Красавецъ мой, дорогой! — страстно шептала она, не спуская съ него глазъ. — Я тебя не отдамъ, никому не отдамъ.

Она прижалась къ его груди, поднесла къ губамъ его руки. Онъ сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Ты все свое толкуешь, когда надо говорить о дѣлѣ! — пробормоталъ онъ, угадывая, что она вовсе не слушала его.

— Говори, говори, я слушаю! — нѣжно улыбнулась она, какъ взрослый человѣкъ, увѣряющій ребенка, что онъ слушаетъ лепетъ послѣдняго.

— Мы оба теперь стоимъ въ скверномъ и ложномъ положеніи. Мы зашли слишкомъ далеко. Намъ надо извернуться. Нужно выкупить твои вещи, мнѣ нужны деньги. Не попробовать ли еще разъ прибѣгнуть къ помощи твоихъ векселей...

— Ты говорилъ, что за нихъ ничего не даютъ, — замѣтила Зимина.

— Да, безъ поручительства... Но, въ крайнемъ случаѣ, я могу прибѣгнуть къ поручительству Аносова. Я думалъ обойтись безъ этого, но нельзя: деньги уходятъ, а мнѣ онѣ нужны до зарѣзу. Конечно, учетъ векселя будетъ сдѣланъ за варварскіе проценты. Если бы это былъ вексель твоего мужа, то учетъ обошелся бы дешевле. Но что же дѣлать, надо покориться необходимости.

Зимина на минуту задумалась. Въ ея душѣ происходила какая-то борьба.

— Петя, послушай, — начала она несмѣло. — Если бы я дала вексель Лени...

— Да развѣ онъ подпишетъ?—изумился Муратовъ.

— Нѣтъ... но видишь ли... вѣдь это на-время... Онъ умретъ... тогда мы заплатимъ... Я за него подпишу...

Она совсѣмъ спуталась и замолчала.

— Что ты выдумала?—воскликнулъ Муратовъ, блѣднѣя.— Преступленіе? Въ какую пропасть ты тянешь меня! Мало того, что мы гибнемъ отъ недостатка средствъ, такъ нѣтъ, еще нужно затянуть на шеѣ новую петлю...

Онъ хотѣлъ встать. Зимина пугливо удержала его.

— Прости, прости меня. Я совсѣмъ потеряла голову. Я брежу,—начала она, ловя и цѣлуя его руки.

— Это возмутительно! — бормоталъ онъ въ волненіи. — Поддѣлывать векселя! Идти подъ уголовный судъ!..

— Ну, не сердись, милый! Я завтра утромъ пришлю тебѣ два своихъ векселя,—робко проговорила Зимина.

— Да нужно ли и это! Вѣдь и эти векселя вотъ гдѣ будутъ сидѣть у меня.

Муратовъ провелъ рукою по шеѣ.

Онъ вдругъ начиналъ сознавать, что онъ падаетъ въ какую-то пропасть, что онъ становится преступникомъ.

— Ну, полно, полно!—прошептала Зимина, снова прижимаясь къ нему. — Такъ бы я и не разсталась съ тобой, никогда, никогда! Знаешь, я, кажется, все, все сдѣлала бы для тебя. Ты боишься преступленія, а я — я боюсь только разлуки съ тобой... Только ты нехорошій, мало ласкаешь меня, мало любишь!

Она обняла его и поцѣловала, но его ласки были холоднѣе обыкновеннаго. Ему начинало дѣлаться какъ-то неловко, какъ-то тяжело, какъ-то страшно въ присутствіи этой женщины.

Впервые онъ сошелся съ женщиной, которая ему говорила только о любви и о любви, и которой онъ говорилъ только о деньгахъ и о деньгахъ. До сихъ поръ деньги въ его любовныхъ интрижкахъ вовсе не составляли никакого вопроса ни для него, ни для любившихъ его женщинъ. Эти деньги попадали ему въ карманъ такъ же случайно, незамѣтно и просто, какъ попадали въ его желудокъ конфеты, фрукты, вино. Онъ, получая иногда эти деньги, не считалъ, что онъ продается, что ему платятъ за какія-нибудь услуги; женщины, даря ему эти деньги, не думали, что онѣ платятъ ему за любовь. Это были дружескія одолженія, подарки на память, займы безъ отдачи. И дающія, и берущій не придавали этимъ деньгамъ никакого значенія, привыкли не считать ихъ, сорить ими, бросать ихъ направо и налѣво и возмутились бы, если бы кто-нибудь сказалъ, что тутъ идетъ продажа и покупка любви. Теперь было не то. Онъ начиналъ сознавать, что онъ продаетъ свои ласки. И кому же онъ продаетъ эти ласки? Прежде женщины дарили его изъ своихъ денегъ; теперь онъ беретъ деньги у женщины, не имѣющей ничего своего, обманывающей и обкрадывающей своего мужа. Она дѣлаетъ преступленіе, и онъ является ея соучастникомъ, ея

подстрекателемъ. Но этого мало. Прежде онъ сходился съ женщинами съ полнымъ сознаніемъ, что онъ завязываетъ мимолетную интрижку, рѣшается на любовную шалость, какъ каждый молодой холостякъ, вѣтреникъ, кутила, Донъ-Жуанъ. Это зналъ и онъ, и онѣ. Въ этомъ была поэзія мимолетной любви; этимъ любовники спасали себя отъ страха за будущее, отъ серьезныхъ думъ. «Ловить минуты наслажденья», «любить безъ думъ, безъ размышленій» — вотъ что было имъ нужно. Теперь онъ, наоборотъ, долженъ былъ обманывать эту женщину, придавая интригѣ серьезное значеніе, давая клятвы жениться на этой женщинѣ съ полнымъ сознаніемъ, что онъ лжетъ. Онъ дошелъ до этой лжи не умышленно, постепенно, но все же дошелъ. Клялся въ вѣчной любви онъ нерѣдко и прежде, но тѣ женщины знали хорошо цѣну этихъ клятвъ, а эта женщина, неопытная, несвѣтская, простоватая, приняла каждое его увѣреніе за чистую монету, запомнила каждое его обѣщаніе, построила на его словахъ все свое будущее. До сихъ поръ онъ былъ «шалунъ», «повѣса», «гуляка», теперь онъ дѣлался «обманщикомъ», «преступникомъ», «соучастникомъ воровки». Въ немъ могла дремать совѣсть, въ немъ могло не возмущаться нравственное чувство, но въ немъ не могъ не пробудиться стыдъ, не могъ не пробудиться страхъ. До сихъ поръ онъ гордился ролью Донъ-Жуана и готовъ бы былъ, какъ Казанова, написать свои скандалезные мемуары; теперь онъ стыдился роли сообщника воровки, принимающаго отъ нея краденыя вещи съ полнымъ сознаніемъ, что онѣ краденыя. Всеобщій любимецъ, всеобщій баловень, онъ держалъ себя гордо, небрежно, развязно; теперь онъ чувствовалъ, что онъ не перенесетъ позора, а позоръ могъ покрыть его каждую минуту. Предложеніе Зиминой поддѣлать векселя напомнило ему о возможности попасть на скамью подсудимыхъ—попасть не за эти векселя, а за принятіе отъ Зиминой краденыхъ вещей. Онъ испытывалъ уже не одно чувство гадливости, которое проснулось въ немъ, когда онъ увидалъ, что Винтеръ и Флери равняютъ его съ собой; въ немъ пробудилось чувство, близкое къ отчаянію.

— Не тужи, все еще какъ-нибудь уладится. Нужно подумать, что дѣлать,—ласковымъ голосомъ прошептала Софья Дмитріевна, тревожно слѣдя за выраженіемъ его лица.

Эти слова заставили Муратова очнуться. Онъ осмотрѣлся, и его точно что-то кольнуло въ самое сердце. Ему стало

обидно и больно, что онъ сидитъ съ этою женщиною въ кухнѣ. Это была мелочь въ сравненіи со всѣмъ, что грозило ему, но именно эта мелочь теперь болѣе всего оскорбляла его. Онъ походилъ на смертельно больного человѣка, который забываетъ на минуту всѣ свои страшныя страданія и мучится болѣе всего оттого, что не можетъ согнать медленно ползающей по его лицу мухи, точно она-то и дѣлаетъ главнымъ образомъ невыносимымъ его положеніе.

Муратовъ всталъ.

— Посиди еще, милый, дорогой мой!—обвила его руками Софья Дмитріевна.—Ты недобрый, даже не хочешь приласкать меня.

— Не до ласкъ теперь!—раздражительно произнесъ онъ.—Я удивляюсь вамъ, женщинамъ. Вы только и думаете о наслажденіяхъ, хоть бы кругомъ все погибало. Стыдись, Соня, думать теперь о ласкахъ, о наслажденіяхъ. Вѣдь худъ ли, хорошъ ли твой мужъ, но все-таки ты многимъ ему обязана, во многомъ передъ нимъ виновата, а онъ теперь умираетъ, здѣсь, возлѣ насъ...

Ему стала противна въ эту минуту Софья Дмитріевна, какъ навязчивое существо, живущее только своими животными инстинктами, своими сладострастными побужденіями. Насколько была она сама виновата въ этомъ, насколько былъ въ этомъ виноватъ онъ—этого онъ не спрашивалъ, не сознавалъ. Ему просто было противно смотрѣть на женщину, которая безучастно смотритъ на все—на положеніе своего мужа, на свое положеніе, на положеніе любимаго человѣка, и только требуетъ ласкъ и ласкъ.

Онъ поспѣшно всталъ, наскоро простился съ нею и вышелъ изъ квартиры Зиминыхъ. На душѣ у него было тяжело, скверно; въ немъ начинало шевелиться что-то въ родѣ угрызеній совѣсти, раскаянія. Если бы въ эту минуту у него былъ подъ рукою другъ, добрая сестра, чье-нибудь любящее чистое сердце, онъ расплакался бы самыми искренними слезами.

VII.

Возвратившись домой отъ Зиминыхъ, Муратовъ нашелъ на столѣ въ своей спальнѣ письмо отъ старухи Сухаревой. Она приглашала его къ себѣ на балъ. Это было одно изъ тѣхъ обыкновенныхъ приглашеній, какія Муратову приходилось получать чуть не каждую недѣлю въ теченіе зимняго сезона, но онъ взволновался. Онъ зналъ, что на этомъ

балу онъ встрѣтитъ Юлію Николаевну Сухареву, что ему представится первый случай въ эту зиму поговорить съ молодой дѣвушкой, въ которой онъ видѣлъ единственное свое спасеніе.

До сихъ поръ Юлія Сухарева не играла въ жизни Петра Павловича Муратова никакой особенной роли. Онъ, въ качествѣ ея дальняго родственника и пріятеля ея брата, ѣздилъ къ ней въ институтъ вмѣстѣ съ старшимъ Сухаревымъ, чтобы посмотрѣть на институтокъ, чтобы пошкольничать. Въ омутѣ безпечальнаго житья онъ никогда не задумывался о томъ, какое впечатлѣніе онъ производилъ на молоденькую институтку, встрѣчаясь съ нею изрѣдка въ пріемные дни въ институтѣ и видя ее лѣтомъ на дачѣ у ея матери или у ея сестры Аносовой. Теперь его мучилъ вопросъ: какъ она смотритъ на него, какъ она приметъ его предложеніе, какъ дойти до этого предложенія? Этотъ вопросъ его занималъ тѣмъ болѣе, что онъ боялся встрѣтить отпоръ своимъ намѣреніямъ въ семьѣ Аносовыхъ, имѣвшихъ сильное вліяніе на Сухаревыхъ.

Онъ зналъ хорошо семью Аносовыхъ, приходившихся ему тоже сродни. Мужская часть этой семьи состояла изъ отца и двухъ сыновей. Старикъ Петръ Ивановичъ Аносовъ и его старшій сынъ Николай Петровичъ Аносовъ, женатый на Маріѣ Николаевнѣ Сухаревой, давно захватили въ свои руки и de jure, и de facto опеку надъ Сухаревыми. Старикъ Аносовъ, добившійся весьма значительнаго поста въ административной сферѣ при помощи своихъ родственныхъ связей съ графами Баскаковыми, при помощи своей ловкости и красоты, при помощи своего серьезнаго характера и блестящаго воспитанія, былъ сначала далеко не такимъ богатымъ человѣкомъ, чтобы жить сообразно съ своимъ замѣтнымъ положеніемъ въ свѣтѣ. Вслѣдствіе этого ему приходилось, съ одной стороны, быть сильно расчетливымъ, а съ другой—искать выгодныхъ сдѣлокъ. Онъ былъ членомъ различныхъ правленій въ банкахъ и въ акціонерныхъ обществахъ, гдѣ за каждое засѣданіе получалось по пятидесяти и болѣе рублей; онъ сильно работалъ по доставленію разныхъ концессій желѣзнодорожнымъ строителямъ; онъ игралъ на биржѣ своими и казенными деньгами. Но всѣ добываемыя имъ деньги почти безъ остатковъ уходили на ту широкую жизнь, къ которой его обязывало его положеніе въ свѣтѣ, и на воспитаніе дѣтей, которыя должны были въ будущемъ занять такое же блестящее положеніе въ свѣтѣ.

какое занималъ онъ. Вслѣдствіе этого въ домѣ Аносовыхъ шла довольно своеобразная, хотя и нерѣдко повторяющаяся у подобныхъ людей жизнь. Повидимому, этотъ домъ былъ источникомъ неизсякаемыхъ богатствъ: множество просторныхъ комнатъ, блескъ бронзы, бархата и художественныхъ произведеній, обиліе тропическихъ растеній, большое число парадной прислуги, бонны, гувернантки и гувернеры у дѣтей, экипажи и лошади, абонированныя ложи въ оперѣ и во французскомъ театрѣ, ежегодные офиціальные балы и обѣды,—все это говорило о богатствѣ. Но рядомъ съ этимъ шли заботы о томъ, чтобы послѣ бала прислуга не украла огарковъ стеариновыхъ свѣчей, чтобы послѣ обѣда не исчезли оставшіяся отъ стола грушн-дюшесъ или несъѣденные трюфели, чтобы обойщикъ при передѣлкѣ мебели не укралъ лишняго аршина матеріи. Старикъ Аносовъ и его жена заходили еще далѣе: оттянуть два урока у учителя, не заплатить за полмѣсяца прогнанному лакею, затянуть уплату разнымъ ремесленникамъ,—все это было въ ихъ нравахъ, хотя въ то же время они жертвовали или, вѣрнѣе сказать, должны были жертвовать тысячи на разныя благотворительныя учрежденія, поддерживая этими жертвами слухи о своемъ богатствѣ, упрочивая свой кредитъ и свое положеніе въ обществѣ. Посторонніе люди и прислуга считали разныя утягиванія денегъ Аносовыми у той или другой трудящейся мелкоты слѣдствіемъ скупости. Въ сущности все это было сначала слѣдствіемъ бѣдности,—бѣдности, имѣющей десятокъ тысячъ годового дохода и обязанной прожить ежегодно одиннадцать тысячъ. Потомъ это усчитываніе и утягиваніе грошей вошло въ привычку, да сверхъ того, когда у старика было уже столько денегъ, сколько было нужно для прожитія, онъ увидалъ необходимость сберегать лишнія копейки на приданое дочерямъ и сыновьямъ. Находясь въ такомъ положеніи, онъ, гордый и неприступный всегда и вездѣ, являлся довольно смирнымъ и ручнымъ передъ служащими тѣхъ правленій, гдѣ онъ былъ членомъ, когда отъ этихъ служащихъ зависѣло лишній разъ замѣнить имъ того или другого очередного члена правленія, не явившагося на засѣданіе, и, такимъ образомъ, дать ему право получить лишніе пятьдесятъ рублей за лишнее засѣданіе. Но то, что было у старика слѣдствіемъ привычки сводить концы съ концами, выродилось у старшаго сына въ положительную скупость, въ скряжничество, въ алчность. Старшій сынъ Аносова, выросшій въ то время, когда его

отецъ положительно долженъ былъ утягивать у гувернантокъ, учителей и прислуги гроши, привыкъ съ дѣтства дорожить каждою копейкою. Онъ съ колыбели слышалъ, какъ его отецъ и мать говорили въ тѣсномъ семейномъ кругу: «эти люди настоящіе мошенники», «насъ грабятъ со всѣхъ сторонъ», «мы не можемъ сорить деньгами направо и налѣво», «насъ совершенно разорятъ всѣ эти расходы». Онъ сталъ чувствовать какой-то невольный, инстинктивный страхъ, ежедневно ожидая, что они обѣднѣютъ. Онъ помнилъ, какое сильное впечатлѣніе произвела въ его домѣ вѣсть объ освобожденіи крестьянъ. Его отецъ волновался, говоря, что «хорошо отпускать крестьянъ тѣмъ, кому имѣнія съ неба упали, у кого они родовыя, но каково тѣмъ, кто купилъ крестьянъ на кровныя деньги, кто вошелъ въ долги при покупкѣ имѣнія». Онъ, старикъ Аносовъ, былъ однимъ изъ такихъ несчастливцевъ: онъ незадолго передъ освобожденіемъ крестьянъ, въ первый годъ крымской кампаніи, когда онъ занимался въ комиссаріатѣ, прикупилъ къ своему небольшому имѣнію большое помѣстье, на которое затратилъ всѣ наличныя деньги и ради котораго вошелъ еще въ долги. Онъ говорилъ объ эмансипаціи со скрежетомъ зубовнымъ, потерявъ даже свою обыкновенную способность уклоняться въ сторону при каждомъ щекотливомъ вопросѣ, и чуть-чуть не испортилъ этимъ всей своей карьеры. Въ теченіе извѣстнаго промежутка времени ему пришлось быть «не у дѣлъ». Это печальное обстоятельство въ его служебной карьерѣ, вызванное представленнымъ имъ письменнымъ мнѣніемъ относительно вопроса объ эмансипаціи, заставило его сильнѣе сблизиться съ людьми биржи, а сына его заставило сдѣлаться еще болѣе трусливымъ скрягой. Въ эту пору судьба уже послала Аносовымъ кладъ въ видѣ опеки надъ Сухаревыми. Оберегать милліоны Сухаревыхъ было не безвыгодно и тѣмъ болѣе удобно, что сама мать семейства, старуха Сухарева, была женщина недалекая по уму, мало образованная, помѣшанная на нарядахъ, на балахъ, и вовсе не занималась ни воспитаніемъ дѣтей, ни денежными дѣлами. Она знала только одно, что ей и ввѣкъ не прожить того богатства, которое ей оставилъ ея отецъ, одинъ изъ крупныхъ откупщиковъ и подрядчиковъ былого времени. У нея было четверо дѣтей: двѣ дочери и два сына. Старшая дочь очень скоро вышла замужъ за Николая Петровича Аносова. Это случилось въ то время, когда карьера Петра Ивановича Аносова снова стала дѣлаться завидной.

Уже въ 1863 году его имя снова появилось въ числѣ другихъ замѣтныхъ именъ, и его «дипломатическая физіономія» сдѣлалась серьезнѣе, важнѣе и сосредоточеннѣе прежняго. Онъ сталъ все чаще при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ повторять свою любимую фразу: «я предвидѣлъ то-то и то-то еще въ такомъ-то году и представлялъ записку по такому-то и такому-то вопросу». Писаніе «записокъ» и произнесеніе рѣчей было его конькомъ. Онъ писалъ и говорилъ витіевато, многословно и плавно, и потому очень скоро прослылъ за «человѣка съ головой», за «глубокомысленнаго государственнаго дѣятеля», за «дипломата». Этому много помогалъ его способъ выражаться: онъ избѣгалъ рѣзкихъ словъ, возбуждающихъ страсти, и всегда находилъ тѣ смягчающія выраженія, при которыхъ самыя горькія явленія дѣлаются менѣе страшными. Онъ первый замѣнилъ слова «мошенничество желѣзнодорожнаго правленія» словами «недостаточная исполнительность въ администраціи желѣзной дороги», слово «голодъ» словами «продовольственныя затрудненія, временно посѣтившія такую-то губернію», слова «французская революція» словами «умственное броженіе общественныхъ массъ во Франціи», слово «бунтъ» словами «прискорбное недоразумѣніе между частными лицами и представителями власти», слово «конституція» словами «организованное общественное мнѣніе» и т. д. Такихъ оборотовъ рѣчи у него было въ запасѣ неисчерпаемое множество. Нужно было быть, конечно, далеко не глупымъ человѣкъ, чтобы удачно придумывать эти смягчающія выраженія для грубыхъ истинъ. Уклончивость была самою главною чертою характера. Самая его физіономія, самая его фигура служили какъ бы выраженіемъ этой способности. Мягкое, круглое, слегка розоватое лицо отличалось отсутствіемъ рѣзкихъ чертъ. Отсутствіе усовъ и бороды давало возможность видѣть его круглый и красивый подбородокъ, его довольно правильныя губы. Въ то же время его ровные, заботливо подстриженные бакенбарды прикрывали его вульгарныя скулы, его нѣсколько широкія щеки. Его глаза были зорки, но сѣровато-голубой цвѣтъ скрывалъ отъ наблюдателя ихъ зоркость, смягчая рѣзкость ихъ взгляда. Онъ не былъ ни высокъ, ни низокъ и потому не останавливалъ на себѣ вниманія, стоя въ толпѣ. Онъ былъ не толстъ, но круглъ, такъ что его движенія были мягки, граціозны, не угловаты. Онъ ходилъ легкой, едва слышной поступью, какъ человѣкъ, привыкшій къ паркету,

къ тишинѣ женскихъ будуаровъ. Такъ же мягокъ, спокоенъ былъ его голосъ. Онъ умѣлъ говорить такъ, что избѣгалъ слова «нѣтъ». Онъ во всякомъ поднятомъ въ обществѣ вопросѣ горячо развивалъ сначала ту мысль, что этотъ вопросъ самый насущный, самый животрепещущій, и, доказавъ такимъ образомъ современность своихъ взглядовъ и возвышенность своихъ чувствъ, съ глубокимъ прискорбіемъ произносилъ «но» и затѣмъ начиналъ осторожно и мягко, опять-таки съ глубокимъ прискорбіемъ, доказывать, что при современномъ умственномъ уровнѣ развитія общественныхъ классовъ и при временныхъ экономическихъ затрудненіяхъ страны было бы невозможно приняться за разрѣшеніе этого вопроса, не убивъ его въ зародышѣ излишнимъ усердіемъ въ примѣненіи его къ жизни. Такимъ образомъ, онъ спасалъ каждый животрепещущій вопросъ отъ гибели тѣмъ, что предлагалъ его оставить покуда подъ сукномъ. Временныя затрудненія у него являлись при обсужденіи каждой реформы, и каждую реформу онъ встрѣчалъ восторженнымъ, почти юношескимъ привѣтомъ, обѣщая ей полный успѣхъ, какъ только пройдутъ временныя затрудненія, при которыхъ не слѣдуетъ и упоминать о ней. Старшій его сынъ былъ его портретомъ во всѣхъ отношеніяхъ, только расчетливость отца сдѣлалась у сына скупостью, а осторожность отца превратилась у сына въ трусость. Отецъ былъ похожъ на человѣка, выросшаго среди паркетной знати, привыкшаго носить въ пріемныхъ и будуарахъ улыбающуюся маску; сынъ напоминалъ военнаго, привыкшаго въ лагерѣ къ извѣстной рѣзкости выраженій и движеній. Какъ старикъ Аносовъ подчинилъ себѣ свою жену мягкой настойчивостью, такъ сынъ подчинилъ себѣ свою жену своею рѣзкою твердостью. Молодая Аносова смотрѣла глазами мужа, говорила его фразами, думала его умомъ. Онъ не долюбливалъ ея мать за мотовство, она тоже охладѣла къ матери; онъ говорилъ, что ея сестру не слѣдуетъ торопиться выдавать замужъ, она тоже подозрительно посмотрѣла бы на каждаго, кто началъ бы ухаживать за ея сестрой; онъ говорилъ, что такихъ людей, какъ ея братъ, юнкеръ, нужно бы лишать имущества, она тоже съ негодованіемъ говорила о мотовствѣ брата. Но, можетъ-быть, она даже и не подозрѣвала, почему ея мужъ не любитъ ея матери, почему онъ не хотѣлъ бы выдать замужъ ея сестру, почему онъ браниттъ ея брата. Мужъ никогда не говорилъ ей, что онъ завидуетъ ихъ богатству, что онъ былъ бы радъ отнять у нихъ это богатство.

Такова была семья, отъ которой въ значительной степени зависѣла судьба Юліи Николаевны Сухаревой.

Муратовъ понималъ, что и Николай Петровичъ Аносовъ, и его жена не будутъ особенно довольны, если онъ посватается за молодую Сухареву. Мужъ и жена, конечно, употребятъ всѣ усилія, чтобы этотъ бракъ не состоялся. Чтобы успѣшно бороться съ этими людьми, нужно было имѣть сильнаго союзника. Этимъ союзникомъ могла быть только сама Юлія Николаевна Сухарева. Ея мать была женщина слабая, безъ силы воли, безъ твердаго характера. Она не могла помѣшать ему, но она не могла и помочь ему. Но какъ смотритъ на него Юлія Николаевна Сухарева? Молодая дѣвушка встрѣтила его послѣ долгой разлуки какъ близкаго родственника, привѣтливо, съ добродушной институтской наивностью. Но этого мало. Подобная любовь не можетъ заставить ее бороться съ сестрой, съ мужемъ сестры, если они станутъ противиться ея браку съ нимъ, Муратовымъ, если они не пощадятъ его и станутъ его чернить въ ея глазахъ. Чтобы бороться за него, она должна полюбить его страстно, слѣпо. Удастся ли ему пробудить въ ней эту страсть, когда родные дѣвушки постараются не допускать ихъ свиданій, ихъ tête-à-tête? Онъ чувствовалъ, что онъ впервые совсѣмъ падаетъ духомъ. За нимъ было столько грѣховъ, что было не трудно вооружить противъ него эту дѣвушку, въ которой онъ видѣлъ теперь все свое спасеніе, которая дѣлалась для него чѣмъ-то болѣе дорогимъ, чѣмъ обыкновенная «выгодная невѣста». Передъ его глазами носился этотъ прекрасный, вполнѣ непорочный, вполнѣ дѣвственный образъ, и въ его душѣ пробуждалось какое-то свѣтлое чувство давно забытой любви. Въ его душѣ при этомъ шевельнулось что-то въ родѣ проклятій прошлой жизни: это было еще не искреннее и безкорыстное раскаяніе за свою безнравственность, но злоба на горькіе плоды, которые могла принести ему теперь эта безнравственность. Эта жизнь не только поглотила всѣ деньги, перебывавшія въ его рукахъ, но грозила въ близкомъ будущемъ вырвать у него изъ-подъ рукъ и счастье, и деньги, за которыя онъ намѣревался теперь воевать на жизнь и смерть.

Вспомнивъ о деньгахъ, онъ вспомнилъ о векселяхъ Зиминой: ихъ нужно будетъ учесть, безъ этого онъ не могъ обойтись. Онъ рѣшился на слѣдующій же день попросить младшаго Аносова поставить на нихъ бланковую подпись.

Рано утромъ, получивъ векселя отъ Зиминой, онъ отправился къ младшему Аносову.

— Баринъ еще почиваютъ,—сказалъ ему лакей, отворяя дверь.

— Ничего, я его разбужу, — отвѣтилъ Муратовъ, сбрасывая пальто.

Онъ прошелъ черезъ двѣ роскошно убранныя комнаты и вошелъ въ спальню Юрія Петровича Аносова. Эта комната, съ мягкими коврами, съ большимъ зеркаломъ, съ мраморнымъ подзеркальнымъ столикомъ, со множествомъ флаконовъ, баночекъ, щеточекъ, съ затѣйливыми умывальными приборами, напоминала скорѣе спальню женщины-кокотки, чѣмъ спальню военнаго человѣка. Аносовъ, еще болѣе розовый, чѣмъ обыкновенно, уже не спалъ, но нѣжился въ постели, заложивъ руки подъ голову, глубоко дыша бѣлою, широкою грудью, видневшеюся изъ-подъ разстегнутаго ворота тонкой рубашки. Что-то женоподобное, что-то изнѣженное было во всей его фигурѣ, во всѣхъ его движеніяхъ. Его глаза выражали лѣнь, сладострастіе, глуповатость. Его нѣсколько вздернутый и довольно пухленькій носъ, его оттопыренная кверху верхняя губа, опушенная мягкими и вьющимися, темными, какъ мягкій лень, усиками, придавали его лицу дѣтски-капризное выраженіе. При бѣловатомъ свѣтѣ, пробивавшемся сквозь опущенныя шторы, его тѣло казалось еще болѣе бѣлымъ, еще болѣе выхоленнымъ.

— Какъ не стыдно валяться до полудня, а еще будущій воинъ!—шутливо замѣтилъ Муратовъ, подходя къ его постели и похлопавъ его по мягкому плечу, сквозившему сквозь тонкую сорочку.

— Усталъ вчера!—лѣниво отвѣтилъ Аносовъ, медленно зѣвая.

— Опять какая-нибудь попойка? — съ пренебреженіемъ спросилъ Муратовъ.

— Да вѣдь вчера пикникъ въ честь Маріонъ де-Норманди устраивали. Кстати, отчего ты не былъ ни у Берга, ни на пикникѣ? Мы тебя ждали.

— Надоѣло все это!

— А-а, ты старѣешь!—зѣвнулъ Аносовъ.

— Я думаю, что не я постарѣлъ, а ваши удовольствія постарѣли и пріѣлись. Дайте мнѣ чего-нибудь новаго и тогда...

— Ахъ, кстати, о новомъ: что вчера выдѣлывалъ Винтеръ, ты и представить себѣ не можешь,—вдругъ нѣсколько

оживился Аносовъ.—Мы всѣ перепились и потомъ заставили его при себѣ...

— Я удивляюсь, какъ ты можешь говорить хладнокровно о разныхъ негодяяхъ,— перебилъ его Муратовъ, все болѣе и болѣе начинавшій ненавидѣть Винтера и Флери.—Они обираютъ, объѣдаютъ васъ, матушкиныхъ сынковъ, а вы еще унижаетесь до того, что тѣшитесь ихъ безобразіями.

— Ты сегодня не въ своей тарелкѣ!—лѣниво проговорилъ Аносовъ.

— Да ты не валяйся, а лучше вставай, да проѣдемся. Тебѣ освѣжиться надо, погода отличная...

— А, хорошо, хорошо!.. Ты извини, что я при тебѣ буду одѣваться.

— Не нагишомъ же ѣхать!

Аносовъ позвонилъ. Вошелъ камердинеръ. Аносовъ всталъ съ постели и прошелъ къ умывальному шкапу. Онъ умылъ лицо, потомъ сбросилъ съ себя бѣлье, и слуга началъ вытирать его тѣло смоченною въ водѣ и одеколонѣ губкой. Эта операція вытиранія душистой водой продолжалась, по обыкновенію, довольно долго. Наконецъ, Аносовъ надѣлъ свѣжее бѣлье, накинулъ на нѣсколько минутъ шелковый халатъ и присѣлъ къ топившемуся камину въ большое кресло. Слуга началъ приготовлять принадлежности для причесыванья и подвиванья волосъ.

— Ты что будешь пить: чай, кофе или шоколадъ?—спросилъ Аносовъ у Муратова.

— Мнѣ все равно; пожалуй, кофе,—отвѣтилъ Муратовъ, полулежа въ качалкѣ у камина.

— Подавай,—приказалъ Аносовъ слугѣ.

Камердинеръ ушелъ за кофе. Аносовъ лѣниво протянулъ руку, взялъ съ маленькаго столика разныя принадлежности для чищенья ногтей и, при помощи маленькаго напилка, щеточки и батистоваго платка, сталъ ровнять и подчищать ногти на своихъ выхоленныхъ рукахъ.

— Что ты нынче экзамены будешь держать?—спросилъ Муратовъ по-французски.

Онъ чувствовалъ себя не особенно ловко и не зналъ, о чемъ говорить, прежде чѣмъ приступить къ главной цѣли своего визита къ Аносову.

— Ахъ, они мнѣ надоѣли! Они меня раздражаютъ. Учишь, учишь эту белиберду и только скуку нагоняешь! На что это все?—раздражительно пожалъ плечами Аносовъ.—Учителя эти ѣздятъ, читаютъ всякую дребедень, только даромъ деньги

приходится платить. Я говорю папа, пусть подаритъ экзаменаторовъ, а иначе я никогда не сдамъ экзаменовъ. У меня отъ природы отвращеніе ко всему этому, потому я рано началъ сознавать ненужность всего этого. Мой дѣдъ еще говорилъ: побѣждаютъ не семинаристы, а кулаки и женщины. Я самъ въ этомъ вполнѣ убѣжденъ. Не могу же я тодочь воду въ ступѣ.

Слуга подалъ кофе и сталъ причесывать волосы Аносова, слегка подвивая ихъ. Окончивъ это дѣло, онъ расчесалъ, подравнялъ и подвилъ его бакенбарды.

— Одѣваться!—лаконически сказалъ Аносовъ, допивая кофе.

Слуга сталъ приготовлять принадлежности туалета. Онъ надѣлъ на молодого барина сапоги, панталоны, галстукъ, жилетъ и сюртукъ.

Аносовъ походилъ на избалованную кокотку, которая не умѣетъ застегнуть сама ни одной пуговицы на платьѣ. Когда сюртукъ былъ застегнутъ, Аносовъ повелъ кверху правою рукою и съ досадливой гримасой замѣтилъ камердинеру:

— Я говорилъ тебѣ, что мнѣ рѣжетъ этотъ сюртукъ—тутъ подъ мышкой рѣжетъ. Это надо передѣлать. Не могу же я такъ ходить. Этакъ вѣчно будешь дергать рукою, точно въ конвульсіяхъ... Дай другой сюртукъ.

Слуга снялъ съ него сюртукъ и пошелъ за другимъ.

— Эти портные просто уродами насъ сдѣлаютъ,—обратился Аносовъ къ Муратову ребячески-недовольнымъ тономъ.—Сошьютъ такое платье, что станешь, какъ Флери, рожи выдѣлывать.

Камердинеръ надѣлъ на него другой сюртукъ. Онъ повернулся раза два передъ зеркаломъ, попробовалъ, ловко ли поднимаются въ этомъ сюртукѣ его руки, передернулъ ногами, чтобы болѣе удобно сидѣли панталоны, приподнялъ снизу ладонями бакенбарды, чтобы сдѣлать ихъ ровнѣе, посмотрѣлъ еще разъ на ногти и, взявъ со стола перчатки, сказалъ:

— Я, кажется, готовъ.

— Да, покуда ты одѣвался, иной полководецъ успѣлъ бы сраженіе выиграть,—сухо замѣтилъ Муратовъ.

— А развѣ я долго одѣвался?—серьезно удивился Аносовъ.

— Нѣтъ, всего только часъ,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Да?—какъ-то глупо проговорилъ Аносовъ.

Они вышли изъ дома и усѣлись на узенькія сани. Кров-

ный рысакъ понесъ ихъ по Большой Морской, по направленію къ Невскому.

Они проѣхали очень немного и увидали передъ собою парныя сани съ затѣйливыми вензелями на спинкѣ. Въ этихъ саняхъ сидѣлъ въ своемъ легкомъ пальто, въ лѣтней шляпѣ, сдвинутой на затылокъ, Винтеръ.

— Ты видишь,—съ иронической улыбкой замѣтилъ Муратовъ, указывая глазами на Винтера.—Изволятъ кататься въ экипажѣ Маріонъ де-Норманди. Вымолилъ у нея экипажъ за то, что хлопоталъ о подпискѣ на подарокъ ей въ бенефисъ Сакса!

— Это, въ сущности, просто подло!—серьезнымъ тономъ проговорилъ Аносовъ.

— Я, право, удивляюсь, какъ ты можешь кланяться этой сволочи.

— Нѣтъ, что же, онъ забавенъ. Кстати, я тебѣ не досказалъ, что мы заставили его продѣлать. Это вѣдь невѣроятно. Я не могъ бы этого сдѣлать.

Аносовъ началъ по-французски передавать Муратову какую-то пикантную исторію.

— Да не можетъ быть!—съ отвращеніемъ пожалъ плечами Муратовъ.

— Parole d'honneur! Ей-Богу! Я самъ удивился, какъ онъ могъ. Мы всѣ тутъ были: я, Риво, Сухаревъ.

— Вѣдь это просто омерзительно!

— Ну... мы, знаешь, были въ состояніи невмѣняемости. Посмѣялись, по крайней мѣрѣ... а то скука такая!.. Но если бы ты видѣлъ, что дѣлалось въ это время съ Флери. Вотъ рожи-то строилъ!

— Завидно, вѣрно, было, что не онъ услужилъ господамъ,—съ презрѣніемъ проговорилъ Муратовъ.

Они поровнялись съ санями Маріонъ де-Норманди. Винтеръ торопливо раскланялся съ своими знакомыми и быстро спросилъ Аносова:

— Ты куда?

— Къ Борелю!—сказалъ Аносовъ.

— Ага!—отвѣтилъ Винтеръ.—Значитъ, встрѣтимся. Я туда же. Мнѣ нужно съ тобой переговорить.

— Хорошо. Я только проѣду по Невскому и сейчасъ вернусь.

Сани Аносова понеслись впередъ.

— Проѣдемъ послѣ къ Дюссо,—проговорилъ Муратовъ.—

Мнѣ нужно съ тобой переговорить, и я вовсе не желаю быть въ обществѣ съ этимъ марзавцемъ.

— Что-жъ, и отлично,—согласился Аносовъ.—Пусть подождетъ у Бореля. Безъ денегъ, вѣрно. Штука отличная выйдетъ! скандалъ!

Аносовъ вдругъ смолкъ и весь покраснѣлъ, какъ ракъ, закусивъ нижнюю губу.

— Въ Кирпичный переулокъ, — поспѣшно проговорилъ онъ кучеру.

— Это зачѣмъ?—спросилъ Муратовъ.

— Т-ссъ! — едва слышно прошепталъ Аносовъ и прибавилъ по-французски:—Папа впереди ѣдетъ! У меня сегодня лекція утромъ... Онъ не долженъ знать, что я...

Рысакъ круто завернулъ въ Кирпичный переулокъ.

— Это чортъ знаетъ, что такое!—снова заговорилъ Аносовъ по-французски съ необычайнымъ для него раздраженіемъ.—Вездѣ онъ и онъ, куда ни поѣдешь. Третьяго дня я случайно не замѣтилъ, что онъ идетъ, и обогналъ его. Что-жъ ты думаешь: велѣлъ мнѣ выйти изъ саней и идти за нимъ. Нечего дѣлать—пошелъ, а онъ безъ церемоніи на улицѣ читаетъ наставленія. Третируетъ, какъ школьника. Конечно, я безъ предубѣжденій, и онъ для меня самъ по себѣ ничего не значитъ. Mais il tient les cordons de ma bourse.

— Я, право, не понимаю, какъ ты не сумѣешь жить на тѣ средства, которыя онъ доставляетъ тебѣ. Ты бросаешь деньги на вѣтеръ, на сволочь, въ родѣ Винтеровъ и Флери, безъ всякой цѣли. Я на твоемъ мѣстѣ постарался бы скорѣе сдать экзамены, и тогда, я увѣренъ, отецъ увеличилъ бы тебѣ ежемѣсячное содержаніе...

— Ахъ, не говори мнѣ объ экзаменахъ! Не могу я учиться, все это мнѣ надоѣло. Я не ребенокъ, чтобы зубрить всякую дрянь. Кто же виноватъ, что я рано началъ жить? Я знаю, какъ жилъ самъ папа. Онъ въ свое время былъ первымъ Донъ-Жуаномъ въ Петербургѣ.

— Только не тратилъ на это денегъ, — усмѣхнулся Муратовъ.

— Ну, да... Да деньги тутъ ни при чемъ. Я говорю только, что въ мои лѣта нельзя сидѣть за книжкой, когда на умѣ женщины. Нельзя быть старикомъ въ мои лѣта.

— Да вѣдь дѣлалъ же твой отецъ дѣло, несмотря на свои любовныя интриги.

— Ну, онъ дѣло дѣлалъ, а развѣ приготовленіе къ экза-

мену—дѣло? Это формальность, которую можно обойти. Кто же виноватъ, что я это понимаю?

Они проѣхались по Невскому до Аничкова моста, вернулись назадъ въ Морскую и, выскочивъ изъ саней, вошли къ Дюссо. Прислуга съ низкими поклонами встрѣтила ихъ, на ходу снимая съ нихъ верхнюю одежду. Они прошли въ отдѣльную комнату. Аносовъ заказалъ завтракъ.

— Теперь поговоримъ о дѣлѣ,—нѣсколько нерѣшительно проговорилъ Муратовъ, закуривая папироску и стараясь казаться спокойнымъ. — Ты помнишь, на-дняхъ я тебѣ говорилъ о томъ, что мнѣ, можетъ-быть, понадобится твоя услуга по части поручительства по векселю...

Муратовъ чувствовалъ себя скверно. Ему впервые приходилось просить подобной услуги у своего юнаго родственника и друга. До сихъ поръ, если онъ и прибѣгалъ къ займамъ, то не ради крайней нужды, а ради удовлетворенія какой-нибудь прихоти, съ сознаніемъ, что онъ возвратитъ деньги. Теперь онъ до-зарѣзу нуждался въ поручительствѣ Аносова и въ то же время сознавалъ, что онъ можетъ запутать своего друга въ грязное дѣло.

— А, да!—отвѣтилъ Аносовъ и нѣсколько покраснѣлъ.

— Теперь приходится просить тебя поставить бланкъ,— продолжалъ Муратовъ.—Конечно, это пустяки, но мнѣ понадобились деньги, и я не могу ждать, когда настанетъ срокъ векселю. Мнѣ нужно его учесть.

Аносовъ сильно смутился. Отказать своему пріятелю въ такой ничтожной услугѣ онъ не могъ. Такой отказъ былъ въ его глазахъ подлостью. Но въ то же время были причины, по которымъ онъ затруднялся поставить свой бланкъ на векселѣ.

— Я надѣюсь, что ты вѣришь, что я не допущу тебя до уплаты по этимъ векселямъ, — проговорилъ Муратовъ, дожидаясь отвѣта и немного удивляясь молчанію Аносова.

Это молчаніе задѣвало его за живое, нѣсколько оскорбляло его.

— Помилуй, можетъ ли быть тутъ сомнѣніе!—торопливо проговорилъ Аносовъ.—Но вотъ видишь ли... Я, право, не знаю, учтутъ ли векселя съ моимъ бланкомъ.

— Твои же векселя учитаютъ? — произнесъ Муратовъ, пристально взглянувъ на Аносова...

— Да... но...

Аносовъ не кончилъ фразы, всталъ и заходилъ по комнатѣ. Муратовъ изумился, видя его, вѣчно безстрастнаго,

вѣчно спокойнаго, вѣчно холоднаго, смущеннымъ и встревоженнымъ, какимъ онъ являлся только при встрѣчахъ съ отцомъ.

— Что съ тобой?—спросилъ въ недоумѣніи Петръ Павловичъ.

Аносовъ отвѣтилъ не вдругъ. Въ немъ происходила внутренняя борьба.

— Я долженъ тебѣ сказать правду, иначе ты будешь меня считать за подлеца, который отказывается услужить другу,—наконецъ, проговорилъ онъ отъ волненія. — Ты на это будешь имѣть полное право. Не въ нашихъ правилахъ отказывать въ этихъ денежныхъ услугахъ друзьямъ. Наконецъ, ты для меня болѣе, чѣмъ другъ. Я привыкъ съ дѣтства видѣть въ тебѣ брата. Видишь ли, дѣло въ томъ, что мои векселя, мои бланковыя подписи ничего не значатъ въ глазахъ ростовщиковъ.

Муратовъ широко открылъ глаза: онъ не могъ себѣ представить, чтобы Аносовъ могъ кутить на деньги, получаемыя отъ отца, чтобы онъ обходился безъ выдачи векселей, чтобы онъ, наконецъ, совралъ ему при ихъ послѣдней встрѣчѣ, говоря, что его векселя учитаются ростовщиками, и вдругъ теперь Аносовъ говоритъ, что его векселя ничего не значатъ въ глазахъ ростовщиковъ.

— Но ты же говорилъ, что Кречмеръ...—началъ онъ нерѣшительно.

— Ни Кречмеръ, ни кто-нибудь другой не придастъ никакой цѣны моимъ подписямъ, — перебилъ онъ съ необычайнымъ раздраженіемъ въ голосѣ.—Во всѣхъ дѣлахъ эти ростовщики всѣ дѣйствуютъ заодно. Ils s'entendent comme larrons en foire.

Муратовъ недоумѣвалъ. Онъ понималъ, что Аносовъ не лжетъ, но онъ не могъ постигнуть, какимъ же образомъ вывертывался Аносовъ во время преходящихъ денежныхъ затрудненій.

— Однако, ты занималъ же, когда у тебя не хватало денегъ,—началъ онъ.

Аносовъ, весь красный, сконфуженный, смущенный, какъ школьникъ, пойманный въ шалости, подошелъ къ Муратову.

— Ну, да, я занималъ на векселя,—заговорилъ онъ въ ребяческомъ волненіи.—Но если бы ты зналъ, какимъ способомъ...

Онъ на минуту закусилъ губы. Онъ начиналъ походить

на школьника, на мальчугана, котораго поймали на мѣстѣ преступленія.

— Ты мой другъ, мы родные. Я знаю, что ты меня не выдашь, не обвинишь, — началъ онъ какъ-то растерянно, протягивая руку Муратову и пожимая его руку:—и потому я долженъ сказать тебѣ все. Я долженъ сказать, чтобы ты меня не считалъ подлецомъ за отказъ... Было бы подло, если бы я отказалъ вслѣдствіе каприза... Я выдавалъ векселя—это правда. Но я выдавалъ ихъ съ бланковыми надписями отца и матери.

— Какъ, они ручались за тебя? — въ недоумѣніи спросилъ Муратовъ, знавшій очень хорошо стариковъ Аносовыхъ.

— Они не ручались, но ихъ бланковыя надписи стояли и стоятъ на моихъ векселяхъ! — глухо отвѣтилъ Аносовъ, совсѣмъ растерявшійся и смотрѣвшій куда-то въ сторону.

— Ты?..—воскликнулъ Муратовъ и не кончилъ фразы.

Муратовъ не вѣрилъ своимъ ушамъ. Онъ не могъ себѣ представить, что онъ, Аносовъ, сынъ извѣстнаго въ Петербургѣ лица, блестящій кутила, рѣшился поддѣлывать чужія подписи.

— Ну, да, я поддѣлывалъ ихъ подписи, — проговорилъ почти со слезами Аносовъ, выглядѣвшій въ эту минуту совсѣмъ жалкимъ.—Но что же мнѣ было дѣлать, когда меня обыгрывали у Салова на рулеткѣ, когда Камилла Ге обирала меня въ прошломъ году? Не могъ же я показать, что я нищій! Не могъ же я занимать деньги у такого нахала, какъ Сухаревъ, не могъ же я выйти изъ того кружка, гдѣ я жилъ и долженъ жить постоянно! Я двадцать разъ просилъ денегъ у папа, но онъ не давалъ. Братъ Николай совѣтовалъ ему проучить меня. Ну, и пришлось...

Муратовъ былъ смущенъ не менѣе Аносова.

— Напрасно ты не сказалъ откровенно отцу, что ты вошелъ въ долги, что ты выдалъ векселя,—замѣтилъ онъ. — Вѣдь я надѣюсь, что первые векселя были не фальшивые?

Аносовъ махнулъ рукою.

— Говорилъ!—пробормоталъ онъ.

— Ну, и что же?

— Отецъ заплатилъ...

— Вотъ видишь ли, значитъ и теперь...

Аносовъ остановилъ Муратова на полусловѣ.

— Позволь! Ты лучше спроси, какъ заплатились эти деньги, — проговорилъ онъ, уже глотая по-дѣтски свои слезы. — Передъ тобой мнѣ нечего теперь скрываться. Ты

знаешь, что я еще мальчикомъ полюбилъ тебя болѣе, чѣмъ простого родственника. Ты былъ мнѣ дороже брата... Я тебѣ не передавалъ этой исторіи прежде потому, что не въ моемъ характерѣ жаловаться на семью... Это мѣщанство... Но теперь мнѣ было бы обидно, если бы ты думалъ, что я не желаю сдѣлать тебѣ первую услугу, которую ты потребовалъ отъ меня, за всю любовь, которую ты оказывалъ мнѣ...

Онъ путался и обрывался; онъ не привыкъ долго говорить въ серьезномъ тонѣ...

— Когда я впервые задолжалъ,—продолжалъ онъ послѣ минутнаго молчанія: — это было тотчасъ по выходѣ изъ пансіона Павловскаго. Ты помнишь, мы тамъ уже начали кутить, и насъ завлекъ въ свой кружокъ Саловъ.

— То-есть завлекли тебя туда Винтеръ и Флери, жившіе на счетъ васъ, матушкиныхъ сынковъ,—вставилъ Муратовъ.

— Ну, да, вѣдь эти штафирки — полковыя собаки, какъ ихъ называетъ братъ Николай... У Салова я проигрался въ рулеткѣ и потратился сильно на Камиллу Ге, съ которою онъ меня свелъ...

— Да, ты вѣдь отбивалъ ее тогда у Сухарева, подзадоренный разною сволочью...

— Да. Она надула насъ обоихъ... Я выдалъ тогда векселя. Они, конечно, не имѣли значенія, какъ векселя мальчишки, но я считалъ долгомъ честнаго человѣка уплатить по нимъ. Я все разсказалъ отцу. Онъ прочелъ мнѣ, по обыкновенію, длинное наставленіе и сказалъ, что онъ не можетъ въ данную минуту уплатить моихъ долговъ, но что онъ поручитъ это брату. Ты знаешь папа, онъ всегда такъ мягко стелетъ, что его не за что упрекнуть. Братъ—другое дѣло. Папа хорошо это зналъ. Николай призвалъ меня къ себѣ...

Аносовъ перевелъ духъ и закусилъ на минуту нижнюю губу. Ему было, повидимому, трудно признаться даже передъ Муратовымъ въ томъ, что онъ перенесъ.

— Братъ меня встрѣтилъ, какъ перваго негодяя, какъ перваго мерзавца,—продолжалъ онъ черезъ минуту.—Я не знаю, какихъ ругательствъ я не выслушалъ отъ него. Tu sais, comme il est brutal. Онъ былъ хуже мужика, ругающагося на площади. Я не вынесъ этого, вспылилъ, сказалъ ему, что я не позволю ему ругаться...

— Ну?

— Тогда онъ подошелъ ко мнѣ и, прежде, чѣмъ я опомнился, далъ мнѣ нѣсколько пощечинъ...

У Аносова опять навернулись на глаза слезы. Онъ подошелъ къ окну и, ставъ спиною къ Муратову, началъ смотрѣть безцѣльно въ окно, чтобы успокоить свое волненіе.

Муратовъ заходилъ по комнатѣ. Они не дотрогивались до завтрака, принесеннаго слугой-татариномъ. Только Аносовъ отпивалъ по нѣсколько глотковъ вина.

— Такъ вотъ гдѣ начало вашихъ холодныхъ отношеній съ братомъ,—задумчиво сказалъ Муратовъ.

— Ты понимаешь, Пьеръ, что если я это вынесъ тогда, будучи мальчишкой, то я не вынесу этого теперь, — проговорилъ, не оборачиваясь, Аносовъ. — Я понимаю, что они могли бы на меня сердиться, если бы я тратилъ ихъ деньги, — продолжалъ онъ черезъ нѣсколько минутъ, тоже заходивъ по комнатѣ. — Но вѣдь у меня есть свои деньги, оставленныя мнѣ дѣдомъ. Правда, я не имѣю права, согласно духовному завѣщанію, распоряжаться этими деньгами до двадцати одного года, но все же эти деньги мои. Я буду богатъ, я буду богаче ихъ. Если отецъ и братъ заплатили за меня, то они заплатили не изъ своего кармана. Они вычтутъ эти деньги изъ моего капитала, вычтутъ съ процентами.

Наступило короткое молчаніе.

— Но какъ же ты рѣшился выдать фальшивые векселя?—спросилъ Муратовъ.

— Иначе не давали. Я задолжалъ слишкомъ много, и, вѣроятно, ростовщики боялись, что я, получивъ наслѣдство, откажусь отъ уплаты долговъ, сдѣланныхъ до совершеннолѣтія... Ils nous mesurent à leur aune. Они и прибѣгнули къ помощи фальшивыхъ векселей. Теперь я въ ихъ рукахъ. Отъ этихъ векселей не откажешься.

Наступило опять неловкое и тяжелое молчаніе.

— Да, такъ вотъ источникъ твоихъ кутежей,—наконецъ проговорилъ Муратовъ въ раздумьи. — Я никакъ этого не думалъ! Чортъ знаетъ, до чего доводитъ эта проклятая жизнь. Вѣдь ты петлю на себѣ затягиваешь. Тебѣ надо остепениться...

— Да вѣдь это невольно, я и самъ не знаю, куда уходятъ деньги... У меня характера нѣтъ. Братъ—скряга, онъ привыкъ разсчитывать. Я росъ у дѣда, былъ избалованъ, привыкъ не считать денегъ. Да, наконецъ, и для чего мнѣ считать? Вѣдь черезъ полтора года я буду имѣть достаточно средствъ...

— Полно, пожалуйста! Въ эти полтора года твои ростов-

щики такъ увеличатъ твои фальшивые векселя, что тебѣ придется отдать имъ все, что ты получишь. Тебѣ надо уплатить всѣ долги теперь, пока еще они не наросли до огромныхъ цифръ...

— Гдѣ же взять денегъ?..

— Объясни отцу. Ну, переживешь скверный день—два, и конецъ.

— Ни за что! Отецъ опять заставитъ объясняться съ братомъ, а братъ... Ты знаешь ли, я сильно подозрѣваю, что ему извѣстно отчасти мое положеніе, и онъ... Впрочемъ, это такъ гнусно, такъ гнусно, что не хочется и говорить...

Аносовъ нахмурился и взглянулъ куда-то въ сторону.

— Ты думаешь, что онъ былъ бы радъ, если бы ты попался и очистилъ ему путь ко всему наслѣдству отца? — спросилъ Муратовъ.

— Ну да! — сквозь зубы проговорилъ Аносовъ. — Вѣдь Броницынъ добился же того, что его брата лишили наслѣдства. Мой братъ мнѣ никогда не проститъ того, что мнѣ, а не ему отказалъ дѣдъ весь свой капиталъ.

Муратовъ задумался. Ему было какъ-то жутко, точно онъ стоялъ надъ какою-то бездонною пропастью. Теперь каждый день приносилъ ему зловѣщія открытія изъ области безпечальной жизни, въ которую онъ самъ окунулся съ головой. Прежде вся эта закулисная сторона этой жизни ускользала отъ его вниманія, не занимала его; теперь онъ, стоя надъ пропастью, жадно слѣдилъ за этими мрачными сторонами окружавшей его жизни, точно изъ желанія все сильнѣе и сильнѣе убѣдить себя въ невозможности продолжать эту жизнь, въ необходимости вырваться изъ ея когтей.

— Такъ вотъ оно, наше безпечальное житье, къ чему приводитъ, — покачалъ онъ головой, обдумывая свое положеніе и положеніе Аносова.—Десятки, сотни, тысячи рублей вылетаютъ куда-то въ трубу, и мы идемъ къ разоренію, къ преступленію, не умѣя остановиться во-время, не умѣя разсчитывать. И хоть бы дѣйствительно на веселье тратили, а то...

Въ эту минуту дверь отворилась, и на порогѣ совершенно неожиданно, безъ обыкновеннаго предупредительнаго стука въ дверь, показался Винтеръ.

— Вообрази, заѣзжаю, знаешь, къ Борелю, спрашиваю: «наши здѣсь?», говорятъ «нѣтъ». Я подождалъ, подождалъ, гляжу, знаешь, а твои сани стоятъ у Дюссо, — я сюда! — проговорилъ онъ, входя въ комнату.

Муратовъ весь поблѣднѣлъ отъ злости.

— Какое вы имѣли право входить безъ позволенія? — подошелъ онъ къ Винтеру, едва переводя духъ отъ волненія.

— Ну-у! — засмѣялся Винтеръ глуповатымъ смѣхомъ, полагая, что надъ нимъ, по обыкновенію, «изволятъ потѣшаться».

— Извольте выйти вонъ! — еще болѣе рѣзко произнесъ Муратовъ.

— Что за шутки!—проговорилъ Винтеръ, не зная, продолжать ли ему смѣяться или обидѣться.

— Съ вами не шутятъ! Надъ вами можно шутить только въ пьяномъ видѣ, а въ трезвомъ видѣ васъ можно только выбрасывать за дверь.

— Но, однако... Аносовъ, я къ тебѣ,—началъ Винтеръ, обращаясь къ Аносову.

Но Муратовъ не далъ ему договорить, взялъ его за плечи и грубо вытолкалъ вонъ.

— Скотина! — проворчалъ со злобой Петръ Павловичъ, запирая дверь.—Вотъ кто тебя погубилъ! — обратился онъ къ Аносову. — Всѣхъ насъ эти мерзавцы погубили... Они ѣли и пили на твой счетъ и заставляли тебя втрое переплачивать любовницамъ, которыя платили имъ услугами за услуги. Они подзадоривали тебя, разсказывая о щедрости Сухарева, какъ ему разсказывали о твоихъ кутежахъ. Это agents provocateurs золотой молодежи, это факторы развратницъ и комиссіонеры ростовщиковъ.

— Но, послушай, ты такъ обошелся съ нимъ...—началъ Аносовъ, чувствовавшій себя неловко при всякой грубой выходкѣ.

— Мнѣ все равно, я съ этими людьми уже порвалъ связь и теперь едва ли когда-нибудь встрѣчусь съ ними... Довольно я пожилъ этою жизнью, теперь дай Богъ только выбраться цѣлымъ на другую дорогу...

— Что ты хочешь начать? — съ недоумѣніемъ спросилъ Аносовъ.

— Я женюсь,—коротко отвѣтилъ Муратовъ.

— Женишься?

— Да... Удастся ли—не знаю, но я хочу жениться... Не удастся—пулю въ лобъ и конецъ...

— Развѣ ты такъ влюбленъ?

— Тутъ вопросъ не объ одной любви... тутъ цѣлый гордіевъ узелъ, который нужно разрубить разомъ, или онъ затянется на шеѣ въ мертвую петлю... Я посовѣтовалъ бы и

тебѣ приняться за дѣло, бросить эту компанію и начать другую жизнь... Въ противномъ случаѣ ты въ одинъ прекрасный день очутишься нищимъ, да это еще будетъ не самый худой конецъ...

Аносовъ сидѣлъ, опустивъ голову на руки. Ему было не весело.

— Отсутствіе грѣющаго семейнаго кружка, вотъ что губитъ тебя, да и всѣхъ насъ это погубило,—горячо говорилъ Муратовъ. — Старый Тартюфъ-отецъ, содержащій танцовщицъ и проповѣдующій юношѣ-сыну воздержаніе, биготка-мать, размѣнявшая крупные капиталы материнской любви на мѣдную мелочь свѣтскихъ приличій и нравственныхъ сентенцій, скряга-братъ, ненавидящій брата за то, что тотъ тоже долженъ получить свою долю изъ отцовскаго имѣнія,— вотъ тотъ кружокъ, изъ котораго ты бѣжалъ къ Бергамъ, къ Камилламъ, къ Саловымъ, къ Винтерамъ. Тамъ хоть не стѣсняли тебя, тамъ хоть смѣшили тебя, тамъ хоть ласкали тебя за деньги. Я вѣдь теперь понимаю все это, потому что я самъ прожилъ не лучше. Только понялъ я это поздно, понялъ тогда, когда меня начала душить за горло эта жизнь. Когда-нибудь она задушитъ и тебя, если ты вовремя не отрезвишься.

— Но какъ же ты выйдешь изъ затруднительнаго положенія?—спросилъ Аносовъ.

— Я не знаю, — мрачно и отрывисто отвѣтилъ Муратовъ.—Я сдѣлаю все, что могу... Я знаю только одно, что я пережилъ свой Sturm und Drang-Periode, подло прожилъ его, и теперь долженъ или выйти на другой путь, или погибнуть... Поѣдемъ!

Они поднялись съ мѣста, расплатились за завтракъ, до котораго они почти не дотронулись, и вышли отъ Дюссо. Аносовъ—этотъ мальчикъ, высокій ростомъ, игравшій роль взрослаго, дѣлавшій всегда серьезный видъ, — былъ какъ будто растерянъ, подавленъ, испуганъ: его ребяческій и туповатый мозгъ не могъ ничего сообразить; ему было только страшно, какъ бывало страшно при видѣ строгаго лица отца, какъ дѣлалось страшно при видѣ экзаменаторовъ. Муратовъ былъ сильно возбужденъ; онъ говорилъ горячо, онъ искренно проклиналъ свое прошлое. Это не было раскаянье честнаго человѣка; это было отчаянье припертаго къ стѣнѣ преступника, чувствующаго, что его затравили.

Когда они разстались, Муратовъ прошелъ прямо домой. Прежде всего, переступивъ порогъ своего жилища, онъ разо-

рвалъ векселя Зиминой. Онъ дѣлалъ это съ какой-то злобой, точно ему хотѣлось, чтобы эта бездушная бумага почувствовала боль. Онъ говорилъ теперь себѣ, что нужно покончить съ Софьею Дмитріевною, покончить со всѣмъ прошлымъ.

«Только бы жениться, и тогда я спасенъ,—говорилъ онъ себѣ. — Начну новую жизнь, спокойную, строгую семейную жизнь. Но какъ жениться безъ денегъ? Не пойти ли напроломъ? Посвататься на этихъ же дняхъ за Юлію. Если согласится она и старуха Сухарева — я спасенъ. Довольно ихъ согласія, чтобы мнѣ открылся кредитъ. Тогда заплачу срочные долги, выкуплю вещи Зиминой. О, если бы мнѣ раздѣлаться съ этой женщиной. Отношенія къ ней начинаютъ меня пугать. Я погружаюсь въ какую-то пропасть вмѣстѣ съ нею. Надо порвать эту связь, порвать скорѣе».

Ходя въ тяжелыхъ думахъ по своей гостиной, Муратовъ случайно подошелъ къ столу у дивана и увидалъ визитную карточку. Онъ взялъ ее и поблѣднѣлъ, взглянувъ на надпись. Это была карточка одного изъ его кредиторовъ.

«Зачѣмъ онъ былъ?—мелькнуло въ головѣ Муратова. — Развѣ ему срокъ платить?»

Онъ досталъ изъ кармана записную книжку и сжалъ съ досадой кулакъ. Оказывалось, что черезъ два дня приходилось уплатить по векселю въ пятьсотъ рублей. Муратовъ упалъ духомъ. У него не было этихъ денегъ. Достать ихъ было негдѣ. Попросить отсрочить вексель, но отсрочатъ ли? Надо попытаться.

Муратовъ торопливо одѣлся и вышелъ снова изъ дома. Онъ взялъ извозчика и помчался къ своему кредитору. Кредиторъ оказывался неумолимымъ. Убѣжденія Муратова не послужили ни къ чему.

Онъ воротился домой въ полномъ отчаяніи. Впервые послѣ долгихъ лѣтъ онъ плакалъ, плакалъ, какъ мальчикъ. Если бы кто-нибудь увидалъ его въ эту минуту — тотъ не узналъ бы въ немъ невозмутимаго фата, какимъ привыкли всѣ видѣть его въ обществѣ. Онъ сознавалъ, что всѣ его надежды рушатся ради этого векселя: вексель протестуютъ, его удалятъ со службы, имущество опишутъ, явятся другіе кредиторы... Сколько ихъ? Онъ самъ хорошо не зналъ этого... Впереди была уже не женитьба, а долговое отдѣленіе, гибель всей карьеры, всего будущаго. Занять было не у кого. Не къ Сухареву же идти за деньгами! Какъ занимать у брата невѣсты въ то время, когда хочешь сдѣ-

лать ей предложеніе! Да притомъ же взять у Сухарева деньги—это значило огласить на всѣхъ перекресткахъ о пустотѣ своихъ кармановъ. Сухаревъ походилъ на свою мать въ дѣлѣ болтливости и вульгарной безтактности. А между тѣмъ ему, Муратову, теперь нужно было болѣе, чѣмъ когда-нибудь, казаться ненуждающимся человѣкомъ. Попросить Аносова подписать фальшивый вексель? Но какъ же рѣшиться на это послѣ того, какъ Аносовъ самъ сознался, какъ его мучатъ эти фальшивые векселя? Наконецъ, не низко ли еще болѣе запутывать сѣть, въ которую попался юноша? Идти къ Зиминой...

«Опять она, опять она! — мысленно воскликнулъ Муратовъ.—Да вѣдь другого исхода въ настоящую минуту нѣтъ. Надо взять у нея вексель съ надписью ея мужа, попросить Аносова поставить бланкъ, не говоря ему, какой это вексель. Учесть его. Потомъ торопиться женитьбой. Я не допущу, чтобы вексель былъ протестованъ, чтобы Аносова притянули къ суду. Я женюсь, во что бы то ни стало. Тогда я отдамъ все Зиминой, уплачу долги Аносова и все, все будетъ поправлено. О, проклятый омутъ, когда я изъ тебя вырвусь, когда?!. А если не удастся жениться?..»

Муратовъ опять рыдалъ, какъ ребенокъ. Въ этихъ рыданіяхъ было все—и злоба, и отчаянье, и горе. Онъ чувствовалъ, что онъ гибнетъ, что въ его головѣ все путается, все мѣшается.

Впервые онъ сознавалъ вполнѣ ясно, что онъ безпомощенъ, неумѣлъ, безсиленъ, что онъ не обладаетъ ни изворотливостью, ни умѣньемъ обдѣлывать дѣла, ни знаніями. Онъ могъ только играть въ азартную игру, гдѣ выигрышъ и проигрышъ зависѣли не отъ умѣнья, а отъ слѣпого, глупаго случая. Теперь онъ понималъ, что вся его жизнь, все его будущее ставились на одну карту.

VIII.

На слѣдующій день у Муратова въ рукахъ были уже векселя на три тысячи.

Эти векселя были подписаны Зиминымъ. Человѣкъ, хорошо знавшій подпись Зимина, могъ бы очень легко угадать, что эта подпись поддѣлана на векселяхъ и притомъ поддѣлана рукою довольно неумѣлою. Муратовъ это смутно угадывалъ, хотя онъ и не зналъ подписи Зимина. Онъ боялся, что его могутъ поймать съ этими векселями, но все-таки онъ отправился съ ними къ Аносову просить по-

ручительства послѣдняго. Онъ сознавалъ, что онъ ставитъ на карту не только свою честь, но и честь своего юнаго друга. Но другого исхода, какъ ему казалось въ данную минуту, не было. Ему былъ теперь дорогъ каждый день, нужно было ловить удобный случай, чтобы отдѣлаться отъ кредиторовъ, жениться и потомъ загладить всѣ грѣхи прошлаго. Его теперь въ сущности не столько тревожилъ самый фактъ учета подложныхъ векселей, столько то обстоятельство, что онъ долженъ лгать передъ Аносовымъ, выдавая ему эти векселя за настоящіе. Но, дѣлая это, онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что тотчасъ послѣ женитьбы онъ уплатитъ не только эти векселя, но даже и тѣ векселя Аносова, которые могли довести послѣдняго до скамьи подсудимыхъ и которые, во всякомъ случаѣ, все болѣе и болѣе подрывали будущее благосостояніе Аносова. Ему не приходилъ теперь въ голову вопросъ, что женитьба можетъ не удаться, что онъ можетъ умереть раньше оплаты этихъ векселей.

Онъ былъ въ лихорадочномъ состояніи, отправляясь съ этими векселями, носившими уже на себѣ бланковыя надписи Аносова, къ Кречмеру.

Что если Кречмеръ задержитъ его, Муратова? Нужно будетъ употребить силу, чтобы вырваться отъ него и вырвать эти векселя. Была минута, когда онъ пожалѣлъ даже, что не захватилъ съ собою револьвера. Но положимъ, что онъ справится съ Кречмеромъ и безъ револьвера. А если Кречмеръ учтетъ векселя, и потомъ представитъ ихъ въ судъ? Что тогда? Зимина, Аносовъ, онъ, Муратовъ, всѣ попадутъ на скамью подсудимыхъ. Нѣтъ, не остановиться ли, покуда есть время? Ну, а тогда что? Завтра срокъ векселю въ пятьсотъ рублей. Если этотъ векселъ представится ко взысканію, другіе кредиторы не будутъ молчать, они выползутъ изъ своихъ норъ, какъ выползаютъ впотьмахъ тараканы изъ щелей. А сколько ихъ! Много ли, мало ли,— не все ли равно? Уплатить имъ онъ, Муратовъ, теперь не можетъ. Объ этомъ нечего и думать. Они его засадятъ въ долговое отдѣленіе, они ославятъ его, какъ разореннаго человѣка, они окончательно отрѣжутъ ему путь къ женитьбѣ, а въ ней все его спасенье. Хуже всего то, что за предъявленіемъ векселей, по закону, неизбѣжно должна послѣдовать отставка. Нѣтъ, рѣшено, нужно скорѣе, скорѣе ковать желѣзо.

Муратовъ сильно торопился къ Кречмеру, но все-таки онъ шелъ пѣшкомъ, не бралъ извозчика, словно забывъ,

что на свѣтѣ существуютъ извозчики. Въ этомъ было какое-то инстинктивное сознаніе того, что ходьба ослабляла слишкомъ сильное нервное, мозговое напряженіе; въ этомъ было безсознательное стремленіе еще хоть на минуту отсрочить пугавшее его свиданіе съ ростовщикомъ. Среди размышленій о векселѣ въ его головѣ вдругъ возникъ вопросъ: «на что были заняты эти деньги?» На пикникъ? На новый мундиръ? На отдачу карточнаго долга? На подарокъ какой-нибудь актрисѣ? Онъ никакъ не могъ этого вспомнить, и это мелочное обстоятельство мучило его: ему хотѣлось припомнить, куда ушли эти деньги, а припомнить этого онъ не могъ. Но эти размышленія нѣсколько ослабили его страхъ передъ встрѣчей съ Кречмеромъ. Наконецъ, онъ дошелъ, почти безсознательно, почти машинально до конторы Кречмера и остановился. Ему показалось теперь, что онъ не можетъ войти въ эту контору въ такомъ взволнованномъ состояніи духа, что ему нужно отдохнуть, собраться съ силами. Онъ спустился по лѣстницѣ и присѣлъ на подоконникъ на ея площадкѣ. Вдругъ гдѣ-то скрипнула дверь. Онъ быстро поднялъ глаза къ дверямъ конторы. Въ его головѣ промелькнула мысль, что кто-нибудь изъ служащихъ въ конторѣ можетъ выйти и замѣтить его. Что они подумаютъ? Не возбудитъ ли онъ подозрѣнія? Не лучше ли подняться въ верхній этажъ и посидѣть тамъ? Онъ поднялся по лѣстницѣ и сѣлъ на подоконникъ на верхней площадкѣ. Ему въ то же время было стыдно, что кто-нибудь можетъ увидѣть его, офицера, сидящимъ на лѣстницѣ. Эти мелочныя чувства копошились въ немъ рядомъ съ серьезнымъ страхомъ. Онъ просидѣлъ минутъ пять, а между тѣмъ ему казалось, что прошло уже полчаса, часъ.

— Нѣтъ, это хуже всякой пытки!—пробормоталъ онъ.— Лучше кончить все разомъ.

Онъ спустился къ конторѣ, дотронулся дрогнувшей рукой до электрическаго звонка. Передъ нимъ отперли дверь.

— Господинъ Кречмеръ у себя?—послышался его вопросъ, прозвучавшій какъ-то странно, точно кто-то душилъ спрашивавшаго за горло.

Мальчикъ-еврей указалъ на дверь въ контору. Муратовъ вошелъ. Въ первой комнатѣ сидѣли тѣ же два длинноносые, тощіе конторщика. Муратовъ миновалъ ихъ, подобно тѣни, и вошелъ во вторую комнату. Невозмутимый Кречмеръ, по обыкновенію, сидѣлъ за столомъ надъ шнуровой книгой. Онъ взглянулъ черезъ очки на Муратова, закрылъ книгу,

пригласилъ посѣтителя сѣсть. Все это дѣлалось машинально, по привычкѣ. Муратову же казалось, что всѣ смотрятъ на него съ особеннымъ вниманіемъ.

Муратовъ заговорилъ не вдругъ.

— Нужно учесть векселя, — коротко произнесъ онъ, точно тяжело вздохнулъ, и положилъ векселя на столъ.

Онъ боялся много говорить, боялся, что его голосъ, глухой и срывавшійся, выдастъ его.

Кречмеръ неторопливо взялъ векселя, взглянулъ на нихъ и въ ту же минуту, какъ бы инстинктивно, перевелъ глаза на Муратова. Въ этомъ взглядѣ не было ни удивленія, ни угрозы, ни гнѣва,—въ немъ былъ простой вопросъ. Муратовъ понялъ этотъ вопросъ и, весь блѣдный, глянулъ куда-то въ сторону. Въ его головѣ промелькнула, какъ молнія, мысль:

«Зачѣмъ я показалъ ему всѣ векселя вдругъ, ихъ будетъ труднѣе вырвать, если представится надобность».

Кречмеръ уже разсматривалъ подписи Аносова, перевернувъ векселя на другую сторону.

— За эти векселя я могу предложить вамъ не болѣе тысячи рублей,—проговорилъ Кречмеръ.

Муратовъ вздохнулъ свободнѣе, такъ что его вздохъ рѣзко прозвучалъ въ мертвой тишинѣ этой дѣловой комнаты.

— Помилуйте, мнѣ нужно, по крайней мѣрѣ, двѣ тысячи,— проговорилъ онъ.

— Вы можете занять еще у меня подъ свои векселя съ поручительствомъ господина Аносова, если вамъ необходимо,—отвѣтилъ Кречмеръ.—Я только говорю, что подъ эти векселя я больше тысячи не дамъ.

Муратовъ взглянулъ на Кречмера недоумѣвающимъ взглядомъ. Кречмеръ предлагалъ ему учесть его векселя съ поручительствомъ Аносова — это было спасеніе, это было полное спасеніе и для него, и для Аносова. Стоитъ только написать векселя, учесть ихъ, уплатить свои долги и долги Аносова—и конецъ. Эти мысли молніей промелькнули въ головѣ Муратова. Онъ быстрымъ движеніемъ руки взялъ со стола векселя Зимина и проговорилъ взволнованнымъ, но радостнымъ тономъ:

— Въ такомъ случаѣ я завезу вамъ свои векселя, вмѣсто этихъ...

— Вы меня не поняли,—не спѣша пояснилъ ему Кречмеръ.—Вы говорите, что вамъ нужно, по крайней мѣрѣ, двѣ тысячи. Я предлагаю вамъ за эти векселя тысячу.

Если же завтра или послѣзавтра вамъ понадобится еще тысяча, двѣ или три, то я дамъ вамъ подъ ваши векселя съ поручительствомъ господина Аносова.

Муратовъ понялъ все. Онъ опять сталъ блѣденъ, опять почувствовалъ, что у него замираетъ дыханіе.

— Эти векселя написаны на шесть мѣсяцевъ,—продолжалъ Кречмеръ.—Если вамъ нужны будутъ еще деньги, то напишите свои векселя на менѣе продолжительный срокъ. Этотъ срокъ слишкомъ великъ.

— На какой же?—спросилъ Муратовъ.

— Все равно, на пять, на пять съ половиною мѣсяцевъ, но шесть мѣсяцевъ—это слишкомъ много,—проговорилъ спокойно и равнодушно старикъ.

— То-есть вы хотите, чтобъ по моимъ векселямъ я уплатилъ раньше, чѣмъ настанетъ срокъ этимъ?—произнесъ Муратовъ.

— Да,—лаконически отвѣтилъ Кречмеръ.

Муратовъ былъ готовъ провалиться сквозь землю. Никакихъ недоразумѣній болѣе не оставалось. Кречмеръ готовъ былъ теперь давать ему деньги за поручительствомъ Аносова, держа ихъ обоихъ въ рукахъ при помощи этихъ векселей. Конечно, самъ Муратовъ не имѣлъ въ глазахъ Кречмера никакого значенія. Но Аносовъ—Аносовъ дѣло другое: онъ еще могъ откупиться крупными суммами денегъ отъ непріятности сидѣть на скамьѣ подсудимыхъ. Муратовъ сдѣлалъ усиліе надъ собою и замѣтилъ холоднымъ тономъ:

— Впрочемъ, мнѣ все равно. Мнѣ деньги нужны на два, на три мѣсяца, не болѣе.

— Это ваше дѣло,—отвѣтилъ Кречмеръ.—Значитъ, вы согласны?

— Да,—отвѣтилъ Муратовъ.

Старикъ всталъ и взялъ со стола векселя. Муратовъ забылся и тоже быстро поднялся съ мѣста. Онъ готовъ былъ вырвать эти векселя у Кречмера, точно боялся, что старикъ ихъ унесетъ въ другую комнату и призоветъ полицію.

— Я сейчасъ принесу деньги, — обернулся къ нему Кречмеръ, крайне удивленный его неожиданнымъ движеніемъ.

Муратовъ плохо зналъ душу старика.

Кречмеръ въ эти минуты не думалъ ни о полиціи, ни о преслѣдованіи преступника, а только разсчитывалъ, что ему удалось сдѣлать очень выгодную сдѣлку. Онъ очень хорошо зналъ подпись Аносова и еще лучше зналъ что Аносовъ

черезъ годъ, черезъ полтора получитъ очень и очень значительный капиталъ, который отчасти перейдетъ къ нему, Кречмеру, владѣвшему старыми фальшивыми векселями Аносова и заручившемуся теперь еще новыми векселями съ фальшивыми подписями.

Минутъ черезъ десять Муратовъ выходилъ отъ Кречмера съ тысячею рублей въ карманѣ. Онъ сознавалъ, что теперь онъ можетъ отдать по векселю, которому наступалъ срокъ, что онъ завтра можетъ получить двѣ, три, четыре тысячи, что онъ можетъ просуществовать до женитьбы, но настроеніе его духа было страшно. Ему казалось, что вотъ-вотъ его предадутъ въ руки полиціи. Кречмеръ могъ теперь погубить его. Смерть Зимина могла открыть поддѣлку векселей. Неудачное сватовство могло довести его до скамьи подсудимыхъ. Но мало того, что тысячи случайностей могли выдать его;—эти случайности могли погубить и Зимину, и Аносова, по милости его, Муратова. Его опять-таки терзала не столько мысль о преступленіи, о гибели этихъ лицъ, сколько мысль о томъ, какъ взглянетъ на него Аносовъ, если откроется это дѣло. Аносовъ можетъ бросить тогда ему въ лицо словомъ «подлецъ!» Нравственные принципы его были ничто въ сравненіи съ его понятіями о свѣтскихъ приличіяхъ, о свѣтской чести, о пріятельскихъ обязанностяхъ. Это была такая нравственная пытка, которая вполнѣ отплачивала за всѣ годы безпечальнаго житья.

Муратовъ то ходилъ до изнеможенія изъ угла въ уголъ по своей квартирѣ, то плакалъ, то молился. До сихъ поръ онъ думалъ, что онъ человѣкъ съ твердымъ характеромъ. Это же думали о немъ и другіе. Онъ умѣлъ казаться въ обществѣ сдержаннымъ, равнодушнымъ, серьезнымъ. Но это была та маска, которую онъ надѣлъ на себя потому, что въ такой маскѣ ходили и другіе его свѣтскіе пріятели, считавшіе необходимостью казаться сдержанными, ничему не удивляющимися, никогда не выходящими изъ себя и, по большей части, скучающими людьми. Но эта маска вовсе не выражала его личнаго характера, а была такимъ же модньмъ украшеніемъ, какъ бѣлокурые шиньоны у кокотокъ, какъ короткіе волосы у учащихся дѣвушекъ, какъ длинные шлейфы у модницъ. Ношеніе этой маски вошло въ привычку—и только. Теперь эта маска душила его, и онъ сбросилъ ее, по крайней мѣрѣ, передъ самимъ собою, являясь просто тѣмъ избалованнымъ удачами и не привыкшимъ къ борьбѣ человѣкомъ, какимъ онъ былъ съ дѣт-

ства и какимъ онъ остался до сихъ поръ. Онъ проклиналъ теперь опять мелочность, невыносливость и тряпичность своей натуры, пошлость своего прошлаго, свою неумѣлость, въ качествѣ дѣльца. Онъ сознавалъ, что онъ фатъ, развратникъ, кутила, былъ безпомощенъ и неопытенъ, какъ мальчикъ, тамъ, гдѣ нужно было явиться дѣльцомъ. Какъ многое множество русскихъ людей, онъ бичевалъ теперь себя, топталъ въ грязь, давалъ себѣ нравственныя пощечины. Но это вовсе не значило, что въ немъ уже совершился переворотъ, что онъ всталъ уже на новый путь. Нѣтъ, тутъ просто надъ головой человѣка грянулъ громъ, при раскатахъ котораго крестятся русскіе люди,—и только. Это онъ сознавалъ самъ и начиналъ бояться за свое будущее.

— Что съ тобой, Петя?—воскликнула Софья Дмитріевна, увидавъ его вечеромъ.—Ты нездоровъ?

Ее изумило выраженіе его лица.

— Не нездоровъ, а хуже,—отвѣтилъ онъ серьезно.— Мы сдѣлали съ тобой дѣло, которое можетъ довести насъ до скамьи подсудимыхъ. Что твой мужъ?

— Ему очень худо!—отвѣтила она.

Муратовъ вздрогнулъ.

— Неужели нѣтъ надежды?—быстро спросилъ онъ.

— Я, право, не знаю...

— Это будетъ ужасно, если онъ умретъ теперь. Нужно созвать докторовъ, нужно хлопотать, нужно спасти его!.. Если мнѣ удастся до его смерти добыть денегъ, чтобы распутать наши дѣла, то, конечно, все обойдется отлично. Но вѣдь онъ можетъ умереть раньше... Вызовъ кредиторовъ заставитъ выплыть на свѣтъ Божій и эти проклятые векселя... Духовнаго завѣщанія онъ не дѣлалъ?

— Нѣтъ еще!

— Ужасное положеніе...

— Я не смѣю, Петя, и сказать ему о духовной, а онъ самъ никогда не напишетъ ее. Да, впрочемъ, Богъ съ ними и съ деньгами!

— Э, Боже мой, что ты говоришь! Теперь-то и нужно думать о будущемъ!

— Что мнѣ будущее! Былъ бы ты со мною—и мнѣ больше ничего не нужно!—обвила она руками его шею.

— Ты все свое!—невольно отстранился онъ отъ объятій.— Мы не дѣти, мы должны серьезнѣе смотрѣть на жизнь! Не все же жить одной любовью.

— Мнѣ больше ничего не нужно!

Она опять хотѣла обнять его.

— Полно, Соня!—проговорилъ Муратовъ, и на его языкъ снова навернулись тѣ же слова, которыя онъ уже говорилъ ей:—я удивляюсь, какъ можетъ приходить тебѣ въ голову мысль только о ласкахъ и поцѣлуяхъ, когда мы сами стоимъ надъ пропастью, когда твой мужъ умираетъ! Повторяю тебѣ, что я иногда думаю, что у тебя нѣтъ сердца. Вѣдь должно же тебя тревожить наше положеніе, должна же ты жалѣть своего мужа, который все-таки спасъ тебя и передъ которымъ ты виновата.

Софья Дмитріевна въ недоумѣніи широко открыла глаза. Она слышала этотъ упрекъ уже во второй разъ, и теперь онъ кольнулъ ее въ сердце. Она вся вспыхнула.

— Петя, да я страдаю, страшно страдаю, но вѣдь твоя любовь — одно мое утѣшенье, — съ горечью проговорила она.—Только твои ласки меня и поддерживаютъ. Когда ты со мной, я ни о чемъ не думаю, ничего не помню, ничего не боюсь. Ты говоришь, что намъ грозитъ опасность, но пусть будетъ, что будетъ, лишь бы ты былъ со мною. Я всюду пойду за тобой, что бы ни случилось. Ты говоришь о мужѣ, но вѣдь мой мужъ—ты, только ты; Леня женился на мнѣ, когда я не знала, что значитъ любовь, женитьба, отношенія жены къ мужу. Мнѣ было все равно, какъ называться — дѣвушкой или женщиной, конторщицей или женой, а тебя никто у меня не отниметъ. Слышишь, я тебя никому не отдамъ!

Она прижалась къ нему. По его тѣлу пробѣжала дрожь. Онъ опять начиналъ испытывать страхъ передъ этой женщиной.

— А если намъ нужно будетъ разстаться? — проговорилъ онъ.

— Нужно?—спросила она, смотря на него съ недоумѣніемъ.—Полно, полно, не говори этого?.. Я не хочу слышать этого!.. Ты все думаешь о деньгахъ, боишься нужды... Но что значитъ нужда, когда люди любятъ другъ друга?

— Но...

— Перестань, перестань!—остановила она его. — Ну, и нужды не будетъ: достанемъ деньги, устроимъ дѣла... Для тебя я все сдѣлаю...

— Ради Бога не дѣлай болѣе ничего!—проговорилъ онъ, боясь, что она сдѣлаетъ еще какой-нибудь подлогъ и запутаетъ его еще болѣе. — Мы и такъ запутались съ тобою, зашли слишкомъ далеко... я дорого бы далъ теперь, чтобы не было ничего этого...

— Чего?—спросила Софья Дмитріевна съ испугомъ.

— Всего, Соня: и нашей любви, и нашихъ кражъ у твоего мужа, и этихъ векселей,—отвѣтилъ онъ.—За одни эти обманы намъ придется упрекать себя всю жизнь.

— Да вѣдь Леня же не пострадалъ отъ этого. Онъ не подозрѣвалъ ничего,—отвѣтила она.

— А наша собственная совѣсть? Развѣ ты не слышишь ея упрековъ?

— Я, кажется, не сдѣлала Ленѣ никакого зла,—отвѣтила Софья Дмитріевна, смотря на Муратова ясными, дѣтскими глазами.—Онъ не слыхалъ отъ меня ни одного дурного слова, ни одного упрека. Я хожу теперь за нимъ...

Муратовъ начиналъ понимать, что говорить объ этомъ предметѣ съ Софьей Дмитріевной невозможно.

Она дѣйствительно не понимала, въ чемъ она виновата передъ мужемъ, она была совершенно спокойна насчетъ своихъ отношеній къ мужу и Муратову, она если и волновалась чѣмъ-нибудь, такъ только возможностью открытія ея денежныхъ дѣлъ со стороны мужа, да существовавшими еще препятствіями для полнаго соединенія съ Муратовымъ. Муратовъ чувствовалъ теперь, что его и эту женщину раздѣляетъ цѣлая пропасть: онъ былъ испорченъ, искаверканъ, но онъ всегда сумѣлъ бы отличить добро отъ зла; она не была испорчена, но не имѣла никакихъ понятій о той нравственности, во имя которой человѣчество порицаетъ или наказываетъ тѣ или другіе проступки. Говоря теперь съ этой женщиной, онъ сознавалъ, что для нея все сводится на ея чисто-животные инстинкты, что она не задается никакими вопросами для удовлетворенія этихъ инстинктовъ, что ей все равно, быть ли женой или любовницей любимаго человѣка, жить ли съ нимъ въ нищетѣ или въ богатствѣ, ласкать ли его при живомъ мужѣ или только послѣ смерти этого мужа. Въ этой любви была вся цѣль ея существованія: для этой цѣли она поднималась утромъ съ постели, объ этой цѣли она думала весь день, ради этой цѣли она хитрила, работала, рѣшалась на все.

Въ головѣ Муратова вертѣлась мысль, что онъ долженъ скорѣе, скорѣе разстаться съ этой женщиной.

— Нѣтъ, Соня,—проговорилъ онъ:—и ты, и я сдѣлали твоему мужу много зла уже тѣмъ, что обманывали его, что этотъ обманъ когда-нибудь можетъ дойти до него и отравить его и безъ того не веселую жизнь. Еще слава Богу, что у насъ нѣтъ дѣтей... Ну, да того, что сдѣлано, не во-

ротишь. Теперь намъ нужно только загладить прошлое, остановиться, пока мы не зашли слишкомъ далеко.

Софья Дмитріевна вздрогнула и съ ужасомъ взглянула на Муратова.

— Что ты говоришь? Какъ загладить прошлое, какъ остановиться?—воскликнула она.

— Нужно выкупить твои вещи, уплатить векселя, и... Муратовъ на мгновеніе перевелъ духъ.

— Разстаться, наконецъ, нужно,—кончилъ онъ коротко и тихо.

— Разстаться!—снова воскликнула она.—Никогда, никогда!..

— Соня, Соня, подумай, что ты говоришь! — ласково произнесъ онъ.—Ты хочешь еще обманывать бѣднаго больного человѣка, ты, можетъ-быть, доведешь дѣло до того, что у насъ будетъ дитя... Что же будетъ тогда?.. Онъ не признаетъ этого ребенка своимъ, а я... Вѣдь я не могу на тебѣ жениться при живомъ мужѣ, не могу усыновить это дитя... Да, повторяю, мы дѣлаемъ съ тобой скверное дѣло... Въ прошломъ у насъ есть еще какое-нибудь оправданье: мы увлеклись, забылись, поступили легкомысленно, а теперь... Вѣдь теперь и я, и ты, мы оба понимаемъ, должны понимать гнусность своего поведенія; теперь мы не можемъ оттовариваться увлеченіемъ... За одно за то, что вотъ теперь мы сидимъ здѣсь и толкуемъ о любви, когда рядомъ лежитъ твой больной мужъ, мы заслуживаемъ презрѣнія...

Лицо Софьи Дмитріевны сдѣлалось мрачнымъ, и въ ея глазахъ сверкнулъ какой-то зловѣщій огонекъ.

— О, если бы онъ скорѣе умеръ!—глухо прошептала она.

Муратовъ былъ пораженъ и выраженіемъ ея лица, и ея голосомъ. Ему становилось жутко не на шутку. Онъ поспѣшилъ прекратить разговоръ и выбраться изъ кухни Зиминыхъ, гдѣ ему становилось и противно, и страшно.

Еще ни разу въ жизни не приходилось ему такъ серьезно задумываться о своемъ положеніи, какъ теперь. Нѣсколько времени тому назадъ, проклиная свою судьбу, онъ видѣлъ причину своей гибели въ томъ, что его не подготовили ни къ чему, кромѣ военной карьеры. Теперь ему пришло въ голову, что живутъ же честно и скромно сотни, тысячи военныхъ, не знающихъ, подобно ему, ничего, кромѣ военной службы. Они строго относятся къ своимъ обязанностямъ, они добросовѣстно изучаютъ свое дѣло, они стойко переносятъ всѣ трудности своей службы, они представляютъ

ту силу, на которую можетъ разсчитывать общество, можетъ положиться правительство, когда понадобится помощь или содѣйствіе этой силы. Отчего же онъ не жилъ подобно имъ? Нѣтъ, онъ погибъ не потому, что его научили только военному ремеслу. Онъ погибъ бы и тогда, если бы его сдѣлали юристомъ, дипломатомъ, чѣмъ угодно. Онъ и тогда остался бы тѣмъ же бездомникомъ, какимъ онъ былъ теперь, какими были Винтеръ, Флери и сотни подобныхъ хлыщей и кутилъ. Ему вспомнились его же слова, сказанныя имъ недавно Аносову насчетъ отсутствія честной семьи. Тогда онъ сказалъ эти слова почти безсознательно, теперь онъ серьезно задумался надъ ними. Дѣйствительно, и онъ, и Аносовы, и Сухаревы, и даже Винтеры и Флери были какіе-то бездомники. Почему они бѣжали на молодые пиры, на оргіи, въ игорные дома, къ кокоткамъ? Не потому ли, что имъ хотѣлось жить и любить, а дома, въ ихъ семьяхъ, не было ни жизни, ни любви. Ихъ или распекали дома за каждую мелочь, или старались освободиться отъ нихъ, какъ отъ лишняго бремени, или томили скучными наставленіями, упорностью, мелочами приличій. У одного былъ развратникъ отецъ, у другого была кутящая мать, у третьяго—Тартюфы и биготки родные навѣвали скуку и вѣяли холодомъ на молодую душу. Веселаго, откровеннаго, привѣтливаго и простого семейнаго кружка не было ни у кого изъ нихъ. Вотъ почему, какъ казалось теперь Муратову, они летѣли, какъ мотыльки на огонь, на первый ласковый зовъ пріятелей, на первый привѣтъ продажныхъ женщинъ. Но этотъ путь всегда ведетъ въ пропасть: сначала, мальчики, они украдкой, вырвавшись изъ-подъ надзора холодныхъ и сухихъ менторовъ, кутили довольно невинно, считая верхомъ счастья какой-нибудь шумный ужинъ гдѣ-нибудь въ модномъ кафе послѣ цирка или театра Берга; потомъ въ одинъ изъ этихъ ужиновъ кто-то постарше ихъ замѣтилъ, что ужины безъ женщинъ не веселы, и они пригласили женщинъ, но какихъ женщинъ—падшихъ, алчныхъ, торгующихъ собою; далѣе эти женщины завели ихъ въ игорные дома, пріучили пить, развратили ихъ. И всѣ эти вечера были обставлены блескомъ, пѣніемъ, музыкой, веселымъ смѣхомъ, танцами, ласками, а вино довершало то, чего не могли сдѣлать ни пѣсни, ни музыка, ни ласки. Когда шампанское ударяло въ голову, когда рейнвейнъ точно сковывалъ ноги, когда нельзя было отрезвиться отъ одного вечера до другого,—нечего было и думать о счет

денегъ, о размышленіи насчетъ своего образа жизни, о заботахъ и тревогахъ за будущее, о серьезныхъ цѣляхъ и задачахъ жизни. У нихъ не было ни семьи, ни отечества, ни идеала. Ихъ выгнала непріютность семейнаго очага на улицу, и они помчались туда, гдѣ, какъ имъ казалось, было веселѣе. Цѣли у нихъ не было, не могло быть никакой. Кто имъ говорилъ объ этихъ цѣляхъ? Ему вспомнился вдругъ одинъ изъ его прежнихъ, рано умершихъ, друзей, нѣкто графъ Талановъ, богатый юноша, оставшійся рано сиротою на рукахъ биготки, горбатой дѣвственницы-тетки, проведшей далеко не красиво молодость, и промотавшагося старика-дяди, убившаго на француженокъ, да на попойки все свое состояніе. Онъ вспомнилъ, какъ бѣдный Талановъ томился въ гостиной своей тетки, вѣчно толковавшей на старости лѣтъ о спасеніи души, какъ онъ презиралъ стараго мота-дядю, старавшагося нагрѣть руки около опеки племянника, какъ онъ вырвался въ кружокъ друзей, увлекавшихъ его съ корыстными цѣлями все дальше на путь разврата. Онъ видѣлъ, какъ сгорѣлъ этотъ юноша въ два, въ три года, а между тѣмъ онъ, Талановъ, кончилъ курсъ гимназіи съ медалью, на семнадцатомъ году уже изумлялъ общество своими музыкальными способностями, слылъ въ своемъ кругу острякомъ, талантливой натурой, юношей, подающимъ надежды. Чего ему недоставало? У него было все: богатство, умъ, талантъ, молодость,—у него не было только честной, любящей, простой и откровенно-радушной семьи; потому-то онъ послѣ похоронныхъ раутовъ тетки и бѣжалъ изъ дома, какъ изъ омута, на оргіи пріятелей, потому-то онъ послѣ пустыхъ, но чопорныхъ и скучныхъ бесѣдъ съ выдрессированными кузинами и стремился къ такимъ же пустымъ, но, по крайней мѣрѣ, веселымъ и безцеремоннымъ женщинамъ-кокоткамъ. А сколько стоило это здоровья и денегъ! Вспомнивъ о деньгахъ, Муратовъ нахмурился. Передъ нимъ мелькнули тѣ вечера, на которыхъ онъ разсорилъ свои деньги. Сколько ихъ прошло черезъ его руки: наслѣдство, доставшееся отъ матери, подарки нѣсколькихъ женщинъ, занятыя имъ деньги, деньги юныхъ родственниковъ-богачей, открывавшихъ ему нерѣдко свои кошельки, деньги покойнаго Виктора Сухарева, старшаго брата Юліи Николаевны, съ которымъ росъ Муратовъ съ десяти лѣтъ,—все, все ушло въ цирки, къ Бергу, на рулетку Салова, на тройки, въ руки трактирныхъ слугъ. Но мало того, что ушли деньги,—у него явились долги, ради которыхъ онъ

случайно, незамѣтно, безсознательно сошелся съ Зминой. Онъ принесъ къ ней въ закладъ вещи и началъ съ нею любезничать только для того, чтобы скрыть свое смущеніе при закладываніи вещей. При второй и третьей встрѣчѣ онъ позволилъ себѣ поцѣловать ея руку и былъ не прочь завязать интрижку съ хорошенькой ростовщицей. Интрижка съ хорошенькой замужней женщиной, да еще притомъ съ женой «гнуснаго ростовщика»,—это такъ заманчиво! Тутъ есть своего рода ухарство; это своего рода побѣда. Кто же изъ свѣтской молодежи откажется отъ такого приза? Тутъ нѣтъ ничего позорнаго, ничего подлаго, ничего непозволительнаго въ глазахъ свѣтскаго человѣка. Такъ поступаютъ всѣ безъ исключенія, объ этомъ говорятъ въ каждомъ пріятельскомъ кружкѣ. Такой-то пріударилъ за женой такого-то и добился своей цѣли—молодецъ! Ему рукоплещутъ, ему завидуютъ, у него отбиваютъ ее. Интрижка дѣйствительно завязалась и тутъ, но какъ?—Ростовщица влюбилась въ Муратова, придала серьезное значеніе его клятвамъ, насильно,—да, это онъ помнитъ совершенно ясно,—дала ему первую дорогую вещь, услыхавъ, что онъ временно нуждается въ деньгахъ, и этимъ какъ бы закрѣпостила его. Онъ считалъ уже постыднымъ бросить ее именно въ то время, когда онъ принялъ отъ нея помощь. Эта помощь была въ его глазахъ пустяками: ему дали какую-то вещь, чтобы онъ заложилъ ее на-время. Потомъ онъ думалъ выкупить эту вещь и возвратить по принадлежности. Вотъ и все. Но дѣла его отъ этой помощи не поправились, и онъ уже самъ попросилъ Зминну дать ему еще какую-нибудь вещь на-время для поправленія разстроенныхъ обстоятельствъ, а потомъ... Ему было теперь стыдно вспомнить, что было потомъ...

«Я ее погубилъ!»—впервые мелькнуло въ его головѣ.

До сихъ поръ онъ думалъ только о себѣ, до сихъ поръ онъ нерѣдко проклиналъ ее въ душѣ, до сихъ поръ онъ ни разу не задумывался о томъ, насколько онъ виноватъ передъ Зминой. Теперь онъ говорилъ, что онъ погубилъ ее, но это сознаніе пришло къ нему именно тогда, когда Зминна уже начинала пугать, отталкивать его, когда онъ понялъ, что съ этой женщиной онъ не могъ бы жить, какъ мужъ.

«Но что будетъ, если я разойдусь съ ней?»—мелькнуло въ головѣ, и ему вспомнились слова Софьи Дмитріевны о томъ, что она не уступитъ его никому. Ему стало страшно.

Что если она дѣйствительно не уступитъ его Юліи Николаевнѣ Сухаревой? Что если она узнаетъ о его намѣреніи жениться и явится къ Юліи Николаевнѣ? Что если она разстроитъ его свадьбу? Не жениться ли на ней, если умретъ ея мужъ? Нѣтъ, онъ чувствуетъ теперь, что онъ ея не любитъ, что у него нѣтъ ничего общаго съ нею, что она истерзаетъ, загубитъ его своею любовью, своею ревностью, своею неразвитостью, своею ограниченностью. И развѣ она можетъ создать семейный кружокъ, развѣ она можетъ быть матерью семейства, развѣ она не заставитъ его бѣжать опять изъ дома въ дома разврата, на оргіи, въ омуты столичнаго разгула? Да, наконецъ, развѣ онъ можетъ промѣнять на нее ту, которая теперь дѣлалась ему все дороже и дороже?

Но почему она была ему дорога? Потому, что она была богата? Потому, что она могла создать для него семью? Потому, что она была хороша собою, чиста и молода? Человѣческія побужденія вообще такъ сложны, а побужденія искалѣченнаго столичнымъ омутомъ человѣка еще сложнѣе, и иногда трудно бываетъ опредѣлить, которое изъ сотни этихъ переплетающихся въ душѣ побужденій беретъ верхъ надъ другими. Самъ себѣ Муратовъ не давалъ яснаго отчета, почему стала ему такъ дорога Юлія Николаевна Сухарева. Онъ просто говорилъ, что онъ ее «любитъ».

А она?

IX.

Юлія Николаевна Сухарева съ нетерпѣніемъ ждала бала у матери. Она ждала его вовсе не потому, что это былъ первый балъ, на которомъ она должна была явиться послѣ выхода изъ института. Ее радовалъ этотъ балъ, какъ предлогъ остаться на нѣсколько времени у матери. Кромѣ того, она надѣялась на этомъ балу поговорить съ кузеномъ Пьеромъ. Поговорить съ нимъ казалось ей необходимымъ теперь, когда она услыхала отъ сестры, что ему грозитъ какая-то опасность, что онъ можетъ погибнуть.

Эти неосторожныя слова сестры глубоко запали ей въ душу и не на шутку мучили ее. Услышавъ ихъ, она почувствовала, какъ сжалось ея сердце. Почему? Развѣ кузенъ Пьеръ былъ ей такъ дорогъ, такъ близокъ? Да. Она любила его, любила давно, не смѣя сказать объ этомъ никому, храня эту любовь въ своемъ сердцѣ, какъ нѣчто драгоцѣнное, завѣтное.

Какъ она полюбила его? Это была простая исторія.

Ее отдали въ институтъ тотчасъ послѣ смерти ея добраго и безхарактернаго отца,—отдали вопреки желаніямъ матери. Мать хотѣла воспитывать ее дома, считала даже неприличнымъ воспитывать въ институтѣ такую богатую дѣвушку, но Аносовы и покорная имъ Марья Николаевна рѣшили на своемъ семейномъ совѣтѣ, что дѣвочку нужно удалить отъ вліянія «легкомысленной и пустой старухи Сухаревой», что «эта необразованная женщина — cette femme mal élevée—можетъ сдѣлать Богъ знаетъ что изъ дѣвочки», что дѣвочку нужно выдрессировать въ закрытомъ заведеніи, что ее нужно подчинить ихъ вліянію—вліянію Аносовыхъ.

— Ты, Marie, знаешь, какъ многому тебѣ пришлось учиться, вырвавшись изъ дома твоей maman,—говорили Марьѣ Николаевнѣ.

Марья Николаевна, несмотря на все умѣнье владѣть собою, краснѣла и потупляла глаза. Она сознавала, что дѣйствительно здѣсь научили ее многому и многое заставили забыть. Аносовы непремѣнно хотѣли быть барами, знатью, аристократами, тогда какъ они были просто чиновными людьми и воротилами въ извѣстныхъ сферахъ.

Старуха Сухарева протестовала противъ рѣшенія Аносовыхъ, даже посердилась, даже поплакала, хотя это было не въ ея натурѣ, но Аносовы все-таки сдѣлали по-своему. Но, помѣщая дѣвочку въ институтъ, они не предвидѣли одного: они не могли запретить старухѣ Сухаревой посѣщать дочь. Эти-то посѣщенія дочери и сдѣлались для старой модницы новымъ источникомъ развлеченія и средствомъ ослѣплять людей блескомъ своихъ нарядовъ. У нея открылось новое мѣсто, куда она могла ѣздить показывать себя. Она являлась въ институтъ неизмѣнно въ каждый пріемный день, въ своихъ блестящихъ экипажахъ, на своихъ кровныхъ лошадяхъ, въ своихъ пышныхъ туалетахъ, соря деньгами направо и налѣво, швейцарамъ, горничнымъ, класснымъ дамамъ, изумляя институтскихъ посѣтителей своею роскошью, развязно заговаривая съ совершенно незнакомыми ей матерями другихъ институтокъ, изыскивая случай показать даже здѣсь свою щедрость и великодушіе. Покуда ея дочь была въ институтѣ, старуха Сухарева ухитрилась даже выдать замужъ шестерыхъ дѣвушекъ, вышедшихъ въ это время изъ института. Старуха особенно любила выдавать замужъ и женить молодыхъ людей, при чемъ она, конечно, играла первую роль на ихъ свадьбахъ. Смотря на нее, когда

она, полная, румяная, разбитная, являлась въ пріемной залѣ, можно было подумать, что это самая популярная личность въ Петербургѣ, что это начальница всѣхъ присутствующихъ въ залѣ лицъ, что это покровительница всѣхъ, кому нужно или не нужно покровительство. Но мало того, что генеральша Сухарева сама не пропускала пріемныхъ дней въ институтѣ, — она захватывала съ собою и своихъ сыновей, и молодого Аносова, и кузена Пьера, очень часто гостившаго у ея старшаго, недавно умершаго сына, и готова была захватить всѣхъ находящихся въ Петербургѣ гвардейскихъ офицеровъ и юнкеровъ, чтобы только увеличить свою свиту и сдѣлать изъ пріемной институтской залы что-то въ родѣ блестящаго салона, гдѣ царила и шумѣла больше всѣхъ она сама, не признавая ни институтскихъ властей, ни институтскихъ правилъ. Петръ Павловичъ ѣздилъ въ институтъ потому же, почему онъ ѣздилъ на балы, въ театры, на пикники: ему было скучно, его приглашали, онъ надѣялся развлечься, онъ любилъ кататься на такихъ лошадяхъ, какъ лошади Сухаревой, — вотъ и все. Тутъ не было ни расчета, ни цѣли, ни внутренней потребности; тутъ все дѣлалось потому, что вѣтеръ въ данную минуту гналъ въ эту сторону, а не въ другую. Иногда онъ пропускалъ эти пріемные часы въ пріютѣ непорочности и дѣвственности, потому что въ это время онъ только-что возвращался домой съ безобразной оргіи отъ представительницъ разврата и разнузданности. Въ такіе дни ему становилось только досадно, что онъ не успѣлъ возвратиться съ оргіи раньше, чтобы отправиться и проѣхать на свиданіе съ чистой милой дѣвочкой, смѣявшейся такимъ веселымъ и задушевнымъ смѣхомъ при его остротахъ. Онъ, въ сущности, очень мало думалъ объ этой дѣвочкѣ, онъ, можетъ-быть, никогда не поѣхалъ бы къ ней, если бы генеральша Сухарева не захватывала его съ собой. Но, встрѣтившись съ этой дѣвочкой, онъ не могъ быть не любезнымъ, не веселымъ, не милымъ: онъ былъ и здѣсь, какъ вездѣ, самъ собою. Онъ былъ такъ же привѣтливъ, нѣженъ, родственъ и съ этой дѣвочкой, какъ за два-три часа передъ тѣмъ онъ былъ привѣтливъ, нѣженъ и родственъ съ послѣднею циничною продавщицею своего тѣла, разыгрывавшею передъ толпой молодежи сцену изъ жизни Фрины. Эта мягкость, это добродушіе, эта нѣжность была слѣдствіемъ избалованности красавчика, слѣдствіемъ привычки быть въ будуарахъ и салонахъ, слѣдствіемъ полнаго отсутствія идеаловъ

и цѣлей въ жизни, которые всегда дѣлаютъ человѣка мягкимъ въ одну сторону и суровымъ въ другую. Но дѣвочка этого не знала: она видѣла, какъ ласковъ, какъ милъ, какъ веселъ этотъ кузенъ, и привязалась къ нему, какъ къ родственнику, какъ къ другу покойнаго брата, какъ къ брату, привязалась уже потому, что ей хотѣлось съ кѣмъ-нибудь поболтать въ пріемные часы, а между тѣмъ ея мать проводила эти часы въ болтовнѣ съ посторонними дамами, а не съ дочерью. Вслѣдствіе этого дѣвочка нетерпѣливо ждала пріѣзда кузена и скучала, когда онъ не являлся. Но этого мало. Всѣ ея подруги называли его «душкой», «амкой», «киской», однимъ словомъ, всѣми ласкательными именами институтокъ, и завидовали «Сушкѣ», какъ они называли Юлію Сухареву,—завидовали въ томъ, что она можетъ говорить съ «нимъ». Институтки говорили, что онъ «первый красавецъ въ мірѣ». Дѣвочка стала не только «обожать» своего дальняго родственника, но начала имъ гордиться. Старуха Сухарева, съ свойственнымъ ей легкомысліемъ, подлила масла въ этотъ огонекъ, говоря, что «гдѣ нашъ повѣса, тамъ и веселье», что «безъ этого пострѣла ужъ ни одинъ балъ не обойдется», что «онъ вѣдь вездѣ предводитель», и неопытной дѣвочкѣ представлялось, что ея кузенъ является какимъ-то божкомъ и царькомъ въ еще неизвѣстномъ ей обществѣ, что вокругъ него группируется это общество. Два-три прочитанные тайкомъ отъ классныхъ дамъ французскіе романа докончили дѣло: въ благородныхъ герояхъ этихъ романовъ дѣвочка узнала своего кузена. Ея подруги были правы, называя Петра Павловича ея «кумиромъ». Но она поклонялась своему кумиру робко, безмолвно, съ сознаніемъ, что онъ можетъ только позволить себя обожать, но что едва ли онъ отвѣтитъ на это обожаніе. Она краснѣла отъ удовольствія, когда въ недолгіе отпуски къ матери и сестрѣ въ лѣтнее время Петръ Павловичъ, пріѣхавъ изъ лагеря, удостоивалъ ее тѣмъ, что игралъ съ нею на дачѣ въ серсо или въ воланы. Она даже связала ему какой-то бисерный кошелекъ, который, впрочемъ, не рѣшилась ему отдать и хранила у себя, какъ сокровище, дорогое ей уже потому, что оно предназначалось въ даръ ея кумиру. Замѣчалъ ли это обожаніе Петръ Павловичъ, разсчитывалъ ли онъ съ давнихъ поръ жениться на ней,—этого онъ не могъ бы сказать съ полною увѣренностью и самъ, хотя, по всей вѣроятности, онъ смутно угадывалъ и любовь этой дѣвочки, и мимолетно мечталъ о выгодности женитьбы

на ней когда-нибудь послѣ, когда понадобится отдыхъ, когда надоѣсть донжуанство. Среди его разсѣянной жизни ему было трудно сосредоточиться на какой-нибудь одной мысли, на какой-нибудь опредѣленной цѣли; онъ несся по волѣ вѣтра, безъ руля, безъ опредѣленнаго плана, съ толпой другихъ участниковъ безумныхъ вакханалій. Вотъ почему теперь, когда въ Юліи Николаевнѣ онъ видѣлъ все свое спасенье, его тревожилъ и мучилъ вопросъ: «любитъ ли она его?»

Въ день бала у матери, Юлія Николаевна была въ крайне возбужденномъ состояніи. Она, выслушавъ длинный рядъ наставленій отъ сестры, съ утра пріѣхала къ матери и нетерпѣливо ждала бала, хотя приготовлялась къ нему очень невнимательно, вовсе не думая о томъ, идетъ ли къ ней ея бальное платье, къ лицу ли причесывалъ ее кауферъ. Она, казалось, вовсе не думала о томъ, что въ красивомъ нарядѣ она можетъ произвести сильное впечатлѣніе на кузена Пьера. Ей только хотѣлось поскорѣе узнать отъ него, счастливъ ли онъ, и предупредить его, что ему грозитъ опасность. Какая опасность?—этого она сама не знала и потому еще болѣе боялась этой опасности.

Наконецъ, насталъ и вечеръ; большая часть гостей съѣхалась, Юлію Николаевну окружила молодежь. Одинъ изъ представленныхъ ей молодыхъ кавалергардовъ ангажировалъ ее.

— На вторую кадриль,—отвѣтила она, краснѣя.—Первую я танцую.

Послѣдовало еще одно приглашеніе. Юлія Николаевна предложила четвертую кадриль, говоря, что она приглашена на третью. Она сидѣла рядомъ съ Марьей Николаевной. Какъ только молодежь отхлынула отъ нихъ на минуту, Марья Николаевна нагнулась къ ней и вполголоса спросила ее:

— Кто же тебя ангажировалъ на первую кадриль?

— Я съ кузеномъ Пьеромъ танцую,—отвѣтила Юлія Николаевна, и по ея лицу снова разлился яркій румянецъ.

— Развѣ онъ уже здѣсь?—проговорила Марья Николаевна, обводя прищуренными глазами залъ.

— Нѣтъ... я уже давно обѣщала ему,—въ смущеніи проговорила Юлія Николаевна.

— Какъ ты неосторожна!.. Что подумаютъ, видя, что ты танцуешь съ нимъ!—воскликнула старшая сестра.

— Что же могутъ подумать? Развѣ я не могу съ нимъ танцовать?

— Тебѣ никто не запрещаетъ... но вѣдь всѣ увидятъ, что его не было еще здѣсь, когда тебя приглашали на первую кадриль... Наконецъ, онъ просто можетъ не пріѣхать... Тогда... да нѣтъ, это невозможно... Надо позвать хоть брата Жака, пусть онъ танцуетъ съ тобой первую кадриль... Это непростительная опрометчивость...

Марья Николаевна сдѣлала животрепещущій вопросъ изъ этого обстоятельства, какъ она обыкновенно дѣлала животрепещущіе вопросы изъ всѣхъ мелочей, и Юлія Николаевна чувствовала, что у нея сжимается сердце и отъ этихъ наставленій, и отъ мысли, что она станетъ танцовать съ братомъ и не успѣетъ поговорить съ кузеномъ Пьеромъ. Марья Николаевна поднялась съ мѣста и пошла, чтобы позвать брата. Въ эту минуту Юлія Николаевна чуть не вскрикнула отъ радости: черезъ залу пробирался къ ней Муратовъ. Она даже приподнялась съ мѣста, точно боясь, что онъ ее не замѣтитъ, что онъ подойдетъ не къ ней. Не обращая вниманія на сидѣвшихъ и стоявшихъ около нея молодыхъ мужчинъ и дѣвушекъ, она быстро протянула руку Муратову и прошептала ему, глубоко дыша отъ волненія:

— Я должна танцовать съ вами первую кадриль, кузенъ.

— Я затѣмъ и пробирался къ вамъ, кузина, чтобы ангажировать васъ,—отвѣтилъ онъ, наклоняя голову.

Марья Николаевна, только-что отыскавшая брата, шла уже обратно къ сестрѣ и закусила губы, видя, что сестра и Муратовъ стоятъ другъ передъ другомъ, выдѣляясь среди группы сидящихъ и ходящихъ гостей. Она сразу почувствовала, что ея сестра опять сдѣлала неловкость, вставъ навстрѣчу къ кузену, не давъ ему времени подойти къ ней самому.

— Здравствуй, очень радъ, что ты пріѣхалъ,—проговорилъ молодой Сухаревъ, подходя со старшею сестрою къ Муратову: —а то меня хотѣли запрячь вмѣсто тебя первую кадриль отплясывать съ сестрой.

— Вмѣсто меня?—въ недоумѣніи спросилъ Муратовъ, поздоровавшійся съ Аносовой.

— Да, Julie сдѣлала неловкость,—пояснила Марья Николаевна.—Обѣщала вамъ когда-то танцовать съ вами первую кадриль на первомъ балу и отказала приглашавшимъ, хотя васъ здѣсь и не было...

Муратовъ недоумѣвалъ. Юлія Николаевна, вся раскраснѣвшаяся, смотрѣла на него умоляющимъ взглядомъ, точно боялась, что онъ ее выдастъ.

— Но Юлія Николаевна очень хорошо знала, что я не опоздаю на первую кадриль и сдержу свое слово,—отвѣтилъ онъ, понимая, что ему нужно поддержать смущенную дѣвушку.

— Не въ этомъ дѣло... я, во всякомъ случаѣ, думаю, что ей неловко танцовать съ вами... это можетъ обидѣть тѣхъ, кто приглашалъ ее до вашего пріѣзда... Наконецъ, это обратитъ вниманіе...

— О, гораздо менѣе, чѣмъ наша бесѣда посреди залы,— иронически улыбнулся Муратовъ.

Марья Николаевна только теперь вспомнила, что они неловко стояли посреди залы, составляя какую-то группу семейнаго совѣщанія.

Она закусила губу и отошла съ сестрою къ группѣ дамъ.

— Ну, свалилъ обузу съ плечъ,—вздохнулъ Сухаревъ.— Ненавижу я этихъ дѣвчонокъ, особенно родственницъ! Ужъ и безъ того точно въ тискахъ себя чувствуешь на этихъ балахъ. Кстати: ты отъ насъ куда?

— Домой.

— Да что за чортъ насѣлъ на тебя? Все домой, да домой, а когда же къ потомкамъ Мамая?

Потомками Мамая Сухаревъ называлъ татаръ, прислуживающихъ въ ресторанахъ.

— Вѣроятно, никогда или, по крайней мѣрѣ, не скоро,— отвѣтилъ Муратовъ.

— Причины?

— Надоѣло.

— Ну, потолкуй вечеръ съ Julie, да съ Marie, главное съ Marie, тогда къ самому послѣднему изъ мамаевскихъ потомковъ, какъ къ отцу родному, въ объятія бросишься. А ты слышалъ, что я вчера сотворилъ?

— Нѣтъ.

— Пригласилъ въ тройку на Невскомъ какихъ-то трехъ ночныхъ бабочекъ Сѣверной Пальмиры къ мамаевскимъ потомкамъ, довезъ ихъ туда, высадилъ и направо кругомъ— маршъ: укатилъ обратно въ городъ. Вотъ-то, я думаю, ругались! Морозище вѣдь былъ сильный.

— Какъ тебѣ это не надоѣстъ!

Въ это время послышались звуки музыки. Въ залѣ усплилось движеніе. Муратовъ поспѣшилъ къ Юліи Николаевнѣ.

— Вы на меня не сердитесь, кузенъ? — спросила она, когда они остались одни, приготовляясь къ кадрили.

— За что?—удивился онъ.

— За то, что я сама васъ ангажировала... Вы, можетъ-быть, хотѣли съ кѣмъ-нибудь другимъ танцовать...

— Напротивъ...

— Но, право, мнѣ очень, очень нужно поговорить съ вами...

Кадриль началась.

— Вы хотѣли о чемъ-то говорить со мною, — сказалъ Муратовъ, когда Юлія Николаевна опять сѣла.

— Да; вотъ видите ли...—сказала она въ смущеніи, не зная, какъ начать.—Вы мнѣ все откровенно скажете?

— Отчего же нѣтъ?

— Вы счастливы, кузенъ?—спросила она совершенно неожиданно, смотря прямо ему въ глаза.

— Вы хотите знать правду?—спросилъ, въ свою очередь, нѣсколько озадаченный Муратовъ.

— Да, правду.

— Нѣтъ, кузина, несчастливъ, — отвѣтилъ онъ со вздохомъ.

Она бросила на него испуганный, тревожный взглядъ. Начиналась вторая фигура. Юлія Николаевна путалась и въ сущности не понимала, что она дѣлаетъ; ея голова была занята одною мыслью о томъ, что Магіе не лгала, что кузенъ Пьеръ несчастливъ, что ему грозитъ опасность.

— Такъ, значитъ, вы все знаете, — проговорила она, опять садясь.

— То-есть, что?—съ недоумѣніемъ спросилъ онъ.

— Что вамъ грозитъ опасность.

— Опасность?

— Ну, да!

— Какая, кузина? Я васъ не понимаю.

— Ахъ, Боже мой, да вѣдь вы же, вѣроятно, оттого и несчастливы!

— Объясните, ради Бога, кузина, что все это значитъ? Во-первыхъ, какая опасность? — встревоженно спросилъ Петръ Павловичъ.

— Я... я не знаю, кузенъ, — чуть не плача отвѣтила Юлія Николаевна.—О, если бы я знала, я все, все разсказала бы вамъ!..

Послышалась музыка третьей фигуры. Опять насталъ неспокойный перерывъ разговора. Теперь уже не одна Юлія Николаевна путалась въ танцахъ; путался и Муратовъ, обыкновенно бывшій руководителемъ въ танцахъ. Въ его головѣ вертѣлись мысли о связи съ Зинаидой, о векселяхъ.

— Вы меня совсѣмъ смутили, кузина, своими загадочными словами,—началъ онъ, когда Юлія Николаевна сѣла.— Вы говорите, что мнѣ угрожаетъ опасность, и въ то же время говорите, что не знаете сами, какая это опасность... Но почему же...

— Вотъ видите ли, кузенъ,—перебила его Юлія Николаевна.—Я ничего не знаю... Но мнѣ говорила сестра...

— Ваша сестра говорила съ вами обо мнѣ? — быстро проговорилъ Муратовъ, угадывая что-то очень недоброе.

— Да, чему вы такъ удивились? — спросила Юлія Николаевна, съ изумленіемъ поднявъ на него глаза.

— Я никогда не думалъ, что я сколько-нибудь интересую вашу сестру,—холодно и нѣсколько грустно отвѣтилъ онъ.

— О, напротивъ, напротивъ! Она, должно-быть, очень жалѣетъ васъ, потому что она-то мнѣ и сказала о томъ, что вамъ угрожаетъ опасность.

Новый перерывъ прервалъ на минуту разговоръ. Кончивъ четвертую фигуру, Муратовъ обратился къ Юліи Николаевнѣ.

— Итакъ, ваша сестра сказала, что мнѣ грозитъ опасность, но не говорила ли она, какого рода эта опасность?

— Она говорила, что васъ кто-то хочетъ погубить, что вы попали въ такое общество, гдѣ васъ... я, право, не поняла... Вы, вѣрно, попали къ какимъ-нибудь врагамъ...

Юлія Николаевна совсѣмъ спуталась; ей въ эту минуту кузенъ Пьеръ казался чѣмъ-то въ родѣ Генриха IV, окруженнаго католиками, которые готовятся убить его въ Варѳоломеевскую ночь.

— А какъ вы думаете, кузина, зачѣмъ ваша сестра говорила вамъ это? Затѣмъ, чтобы вы предупредили меня?— спросилъ Муратовъ, зорко взглянувъ на Юлію Николаевну.

— Я, право, не знаю,—смутилась Юлія Николаевна.

— Нѣтъ, кузина, не затѣмъ,—твердо проговорилъ онъ:— а затѣмъ, чтобы вы не говорили болѣе со мной, чтобы вы избѣгали меня, какъ человѣка, который гибнетъ и можетъ погубить другихъ.

Юлія Николаевна въ недоумѣніи взглянула на него.

— Ваша сестра меня не любитъ,—продолжалъ онъ.— Она считаетъ меня очень дурнымъ, очень испорченнымъ человѣкомъ.

— О, кузенъ!—почти воскликнула Юлія Николаевна.

Пятая фигура остановила продолженіе разговора.

— Да, кузина, ваша сестра считаетъ меня дурнымъ и

испорченнымъ,—повторилъ Муратовъ, окончивъ пятую фигуру: — и она права. Мы всѣ, люди, пожившіе въ свѣтѣ, люди, давно сошедшіе со школьной скамьи, — дурные и испорченные люди. Хорошими и непорочными могутъ быть люди только въ ваши годы, кузина, когда только-что начинается жизнь. Но какъ бы ни были дурны и испорчены люди, ихъ не слѣдуетъ отталкивать, презирать, губить еще болѣе,—ихъ нужно спасать, имъ нужно помогать. Вы еще не испорчены, вы еще любите весь міръ и потому вы не можете не согласиться со мною, что несчастныхъ, погибающихъ, падающихъ нужно спасать.

— О, да, да!—горячо проговорила Юлія Николаевна.

— Ваша сестра это угадала и хотѣла поскорѣе запугать васъ моею окончательною испорченностью, моею неминуемою близостью къ гибели, чтобы помѣшать вамъ даже попытаться спасти меня... сдѣлать другимъ человѣкомъ... вывести на другой путь...

Грянули звуки шестой фигуры.

— Кузенъ, я съ вами танцую третью кадриль! — торопливо шепнула Юлія Николаевна Муратову, когда онъ отводилъ ее на мѣсто.

— Julie, ты вся раскраснѣлась,—проговорила ей Марья Николаевна.

— Здѣсь жарко,—отрывисто отвѣтила Юлія Николаевна.

— О чемъ это ты такъ горячо разсуждала съ Муратовымъ?

— Я не знала, что мнѣ будетъ нужно передавать все то, о чемъ я буду говорить сегодня вечеромъ, — недовольнымъ тономъ проговорила Юлія Николаевна.

— Я вовсе этого и не требую, — сухо замѣтила Марья Николаевна.—Я только хотѣла тебѣ замѣтить, что неловко во время танцевъ разсуждать съ такимъ серьезнымъ видомъ, какой приняла ты во время всей кадрили.

— Marie, я никакъ не думала, что сегодня вечеромъ будетъ для меня не балъ, а урокъ приличій, и...

— Напрасно. — перебила ее холоднымъ тономъ Марья Николаевна.—Первый балъ—это всегда первый урокъ свѣтской жизни. Нельзя же до перваго бала предвидѣть всѣ тѣ безтактности и неловкости, на которыя способна такая неопытная дѣвочка, какъ ты.

Вторую кадриль Юлія Николаевна танцовала съ кавалергардомъ, представленнымъ ей въ началѣ бала. Она уже успѣла забыть его фамилію и очень мало интересовалась

имъ, вся занятая мыслью о Муратовѣ. Кавалергардъ сдѣлалъ ей нѣсколько банальныхъ комплиментовъ, она выслушала его молча; онъ заговорилъ о театрѣ, она отвѣчала, что ее еще не вывозили въ театры; онъ спросилъ ее, понравилось ли ей за границей, она отвѣтила, что она почти ничего не видала тамъ; онъ выразилъ свое мнѣніе о томъ, что она, вѣроятно, давно уже ждала свободы и надѣется на удовольствія настоящей зимы, она отвѣтила односложнымъ: «да». Разговоръ, плохо вязавшійся съ самаго начала, оборвался. Кавалергардъ внутренно сердился на свою даму, сердился на всѣхъ институтокъ, съ которыми не о чемъ говорить; Юлія Николаевна вовсе ничего не думала о немъ и только ждала конца кадрили, разсѣянно смотря по сторонамъ и не находя въ числѣ танцующихъ Муратова. Муратову было не до танцевъ. Наконецъ, кончилась и эта кадриль, наконецъ, началась и третья.

— Вы не танцовали, кузенъ? — спросила Юлія Николаевна, садясь на свое мѣсто и поднимая глаза на Муратова.

— Нѣтъ, кузина. Мнѣ не до танцевъ послѣ нашего разговора,—отвѣтилъ онъ.

— Ахъ, я бы вамъ ничего не сказала, если бы я знала, что это васъ такъ огорчитъ! Вы не сердитесь на меня?

— И вы еще спрашиваете! Развѣ можно сердиться за то, что люди принимаютъ въ насъ участіе? Мнѣ только стало грустно, когда я вполнѣ убѣдился, что ваша сестра постарается прервать наши родственныя отношенія и вооружить васъ противъ меня.

— Никогда, никогда! — почти воскликнула Юлія Николаевна, съ разгорѣвшимся лицомъ.

— Не говорите этого; вы не знаете еще, что могутъ придумать люди, чтобы очернить, унизить своихъ ближнихъ.

— Я не буду слушать ничего... зажму уши и не буду слушать... ничего... ничего!..

Муратовъ ласково улыбнулся при этой дѣтской выходкѣ.

— Это не поможетъ. Вамъ все-таки будутъ говорить про меня. Будутъ упрекать васъ за вниманіе ко мнѣ, за разговоръ со мною...

— Ахъ, знаете, кузенъ, меня уже распекали и теперь за то, что я говорила слишкомъ серьезно съ вами во время танцевъ.

— Это только начало... Много еще придется вамъ выслушать за меня.

— Кузенъ, скажите, отчего васъ не любитъ Магіе?— ласково спросила Юлія Николаевна.

Муратовъ нахмурился.

— Вѣроятно, потому, что я не богатъ, а вы богаты,— проговорилъ онъ.

— Я васъ не понимаю.

— Когда-нибудь поймете, когда вамъ скажутъ о моей бѣдности... Однако, мы ведемъ вовсе не бальный разговоръ,—замѣтилъ онъ, улыбаясь.

— Ахъ, Богъ съ нимъ, съ баломъ! — проговорила Юлія Николаевна. — Я рада, что вижусь съ вами, и мнѣ нѣтъ дѣла ни до чего.

— Но скоро мы, быть-можетъ, не будемъ и видѣться.

— Кузенъ!—испуганно прошептала молодая дѣвушка.

— Да, меня или перестанутъ принимать у вашей сестры, или будутъ постоянно наблюдать, когда вы и я сойдемся вмѣстѣ.

— А я буду васъ видѣть у maman!

— Вы знаете, что ваша сестра неохотно отпускаетъ васъ сюда.

— Да... я, право, не понимаю, почему...

— Потому, что ваша мать добрая женщина...

Юлія Николаевна вопросительно посмотрѣла на Муратова.

— Ваша мать никогда не скажетъ вамъ: такой-то бѣденъ, и потому не говори съ нимъ, а такой-то богатъ, и потому слушай его.

Юлія Николаевна задумалась.

— Я еще очень глупенькая, — тихо проговорила она.— Я совсѣмъ не знаю жизни и не могу понять никакихъ соображеній и расчетовъ сестры, не могу выяснить ея отношеній къ maman...

— Дай Богъ, чтобы вамъ и не пришлось распутывать эти сѣти семейныхъ интригъ и корыстныхъ расчетовъ, а вырваться изъ нихъ какъ можно раньше, — проговорилъ Муратовъ, нѣжно взглянувъ на Сухареву.

Когда кадриль кончилась, Муратовъ отвелъ Юлію Николаевну на мѣсто и простился съ нею и съ Марьей Николаевной.

— Вы уже уѣзжаете?—сухо спросила Аносова.

— Мнѣ какъ-то не по себѣ,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Много повѣсничаете,—шутливо замѣтила она.

— Я?—удивленнымъ тономъ спросилъ Муратовъ.—Я по недѣлямъ не выхожу изъ дома никуда, кромѣ службы.

— Вотъ какъ! Это что-то новое!—усмѣхнулась она.

— Да, новое, и потому не слѣдуетъ смѣшивать съ нимъ то, что давно устарѣло и должно забыться,—съ удареніемъ произнесъ онъ, отклоняясь.

Марья Николаевна сдѣлала презрительную гримаску и проговорила какъ бы про себя:

— Я никогда не подозрѣвала въ немъ способностей актера.

Юлія Николаевна бросила на сестру негодующій взглядъ.

Поздно ночью, когда разъѣхались гости, Юлія Николаевна осталась одна въ будуарѣ съ матерью. Она бросилась къ матери на шею.

— Мама, голубчикъ, милая, не отпускай меня отъ себя!—говорила она, покрывая поцѣлуями лицо и руки матери.

— Что съ тобой, что съ тобой, коза?—твердила изумленная генеральша, очень любившая, когда ее цѣловали ея дѣти, что случалось не часто.

— Я не хочу нигдѣ жить, кромѣ какъ здѣсь, у тебя, дома.

— Ты, вѣрно, думаешь, что у меня каждый день балы?—пошутила старуха, ущипнувъ ее за щеку.

— Что мнѣ балы! Мнѣ ничего, ничего не надо! Я только хочу жить здѣсь... и... и... больше ничего.

— Ну, хорошо, хорошо! Ты знаешь, я сама рада видѣть тебя здѣсь. А то я все одна. И выѣзжаю, и дома сижу, всегда и вездѣ одна.

Генеральша вздохнула: дѣйствительно, у нея не было семейнаго кружка. Ея младшій сынъ былъ на полномъ пансіонѣ въ модномъ училищѣ; ея старшій сынъ почти постоянно проводилъ время у кокотокъ, на пикникахъ, въ циркѣ, у Берга, въ театрѣ Буффъ; ея старшая дочь, видимо, отдалялась отъ нея; ея младшую дочь хотѣли тоже отдалить отъ нея. Ей было тяжело или, лучше сказать, скучно, но у нея недоставало характера передѣлать свою жизнь.

X.

Петръ Павловичъ Муратовъ возвратился домой въ странномъ настроеніи духа. Онъ ясно увидалъ, что Юлія Николаевна любитъ его, любитъ страстно; это должно было бы сильно обрадовать, ободрить его. Но онъ былъ грустенъ.

Впервые въ жизни онъ стыдился теперь своего недавняго прошлаго. До сихъ поръ онъ негодовалъ на это прошлое

за то, что оно поглотило всѣ перебывавшія въ его рукахъ деньги; иногда онъ боялся этого прошлаго, думая, что не сегодня, такъ завтра могутъ открыться всѣ его вольные и невольные грѣхи и проступки. Но никогда еще онъ не стыдился этого прошлаго. Онъ хвасталъ этимъ прошлымъ повѣсы, волокиты, сердцѣда, Донъ-Жуана, циника въ дѣлахъ любви. Теперь было не то. Онъ краснѣлъ при мысли, что этой чистой и наивной дѣвушкѣ ея сестра можетъ открыть всѣ его похожденія, что эту дѣвушку посвятятъ во всю закулисную грязь петербургской жизни, что она узнаетъ, насколько онъ забрызгалъ себя этой грязью. Ему хотѣлось бы сойтись съ нею, не потупляя передъ нею глазъ, не боясь ея молчаливыхъ упрековъ, не вызывая въ ней и тѣни подозрѣній, не имѣя надобности лгать передъ нею, подыскивая себѣ оправданія. Можетъ ли она вѣрить его клятвамъ, если ей разскажутъ, сколько разъ онъ клялся другимъ женщинамъ? Можетъ ли она вѣрить его безкорыстной любви, если ей разскажутъ, что онъ завязъ по уши въ долгахъ? Можетъ ли она выйти за него замужъ такою же чистою нравственно, какою является она теперь, если ей передадутъ всю грязь его прошлой жизни? Ее просвѣтятъ въ дурномъ смыслѣ этого слова, и просвѣтятъ только потому, что ея женихъ—онъ, личность падшая, личность испорченная. Эти мысли приходили ему теперь въ голову, и онъ не могъ, не хотѣлъ отогнать ихъ. У него не хватало теперь цинизма, чтобы сказать: «да не все ли мнѣ равно, что ей будутъ говорить, лишь бы добиться своей цѣли». Онъ не былъ еще извращенъ настолько, чтобы въ его головѣ явились циничныя мысли при взглядѣ на ребенка, при думахъ о ребенкѣ, а Юлія Николаевна являлась въ его глазахъ именно ребенкомъ, чистымъ, непорочнымъ, любящимъ ребенкомъ.

Онъ уѣхалъ съ бала, потому что онъ чувствовалъ, что еще нѣсколько словъ — и онъ объяснится ей въ любви. Онъ сознавалъ, что на балу, на первомъ балу, гдѣ явилась эта дѣвочка,—не мѣсто для подобныхъ объясненій.

Но что же было дѣлать дальше? Какъ предупредить интриги Маріи Николаевны? Какъ увидать съ-глазу на-глазъ Юлію Николаевну? Она, должно-быть, осталась у матери. Нужно поѣхать туда. Медлить нельзя. Ее увезутъ скоро.

На слѣдующій же день послѣ бала, противъ всѣхъ обычаевъ и приличій, онъ поѣхалъ къ старухѣ Сухаревой. Онъ даже разсчитывалъ, что это никого не удивитъ, такъ

какъ онъ былъ «своимъ человѣкомъ» въ этомъ домѣ, да и старуха Сухарева не придавала никакого значенія свѣтскимъ обычаямъ и приличіямъ. Она, несмотря на свое положеніе въ свѣтѣ, осталась до старости отчасти простоватою дочерью богатой купеческой семьи, отчасти свободолюбивою матерью-командиршею, полковою барыней.

— Господа дома? — спросилъ Муратовъ у швейцара Сухаревыхъ.

— У себя, Петръ Павловичъ,—отвѣтилъ швейцаръ, снимая съ него пальто.

— Никого нѣтъ изъ постороннихъ?

— Одни-съ.

Муратовъ поднялся по широкой, уставленной цвѣтами лѣстницѣ. Лакей доложилъ о немъ генеральшѣ.

— Такъ и знала, такъ и знала, что безъ тебя не обойдется, — засмѣялась Сухарева, принимая его въ маленькой синей гостиной.

— Отчего же вы знали?—спросилъ Петръ Павловичъ, цѣлуя ея пухлую руку, украшенную кольцами и браслетами.

— Провѣдалъ, что Юля здѣсь. Вѣдь ужъ я знаю, гдѣ молоденькая дѣвочка есть, тамъ и ты. А у Юли сегодня голова разболѣлась.

— Она нездорова?—встревоженно спросилъ Муратовъ.

Генеральша плутовато улыбнулась.

— Для тебя она здорова, я думаю. Это у насъ, знаешь, косныя хитрости,—понизила она голосъ:—боимся, что Маша за нами пріѣдетъ, ну, вотъ мы и страдаемъ головною болью.

Генеральша засмѣялась и вдругъ приняла серьезный тонъ.

— Нѣтъ, точно, Маша не права,—заговорила она.—Она слишкомъ строга къ дѣвочкѣ. Требуетъ отъ нея, чтобы она вела себя, какъ схимница. Слыханное ли это дѣло! Дѣвочка жить хочетъ, а ее держатъ взаперти и учатъ, учатъ... ахъ, Боже мой, чему только ее не учатъ!.. Точно въ гувернантки или бабки готовятъ. Такъ нельзя. Ну, выучилась, чему тамъ нужно, подросла и нужно ее потѣшить. Я сама всѣ книги выбросила за окно, какъ только мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ. Ужъ до книгъ ли въ эти годы! У насъ батюшка даже сердился, когда мы читали много... «Съ тѣла, говоритъ, бывало, только спадешь да сонъ отобьешь»...

— Но я удивляюсь, почему вы не вырвете Юлію Николаевну изъ дома Аносовыхъ,—замѣтилъ Муратовъ.

— Ахъ, не говорите мнѣ этого! — воскликнула генеральша.—Не люблю я этихъ дрязгъ. Это не въ моемъ духѣ. Начнутъ тамъ говорить, что мой повѣса подаетъ Юлѣ дурной примѣръ, что онъ Богъ знаетъ что внушитъ ей, что я не могу вездѣ вывозить Юлю, что мнѣ не усмотрѣть за нею по моей излишней добротѣ... Вѣдь ты знаешь, меня всѣ за доброту упрекаютъ. Совсѣмъ преступницей сдѣлали... Да вотъ погоди, тебя здѣсь увидятъ — и это въ преступленіе мнѣ поставятъ. Право!

— Меня Марья Николаевна, какъ кажется, очень не долюбливаетъ,—усмѣхнулся Муратовъ.

— Ну, да, батюшка, самъ виноватъ, самъ виноватъ!— замахала рукой генеральша.—Бѣсился, бѣсился, пора бы и остепениться, такъ нѣтъ, все еще кутишь и съ моимъ повѣсой, и съ Жоржемъ Аносовымъ. Вѣдь ты ужъ солиднымъ долженъ бы быть, некстати съ мальчишками водиться. Ты посмотри на себя, тоже солидный видъ пріобрѣлъ.

— Ну, я уже почти отсталъ отъ ихъ общества,—проговорилъ Муратовъ: — но, чтобы остепениться вполнѣ, жениться нужно.

— Что-жъ, и женись! Кто мѣшаетъ?..

Муратовъ хотѣлъ что-то отвѣтить, какъ вдругъ въ сосѣдней комнатѣ послышались женскіе легкіе шаги. Муратовъ встрепенулся и просіялъ. Онъ ожидалъ увидѣть Юлію Николаевну, но въ гостиную вошла Марья Николаевна. Муратовъ не ожидалъ встрѣтить ее и смутился. Она бросила на него мимолетный подозрительный взглядъ, поздоровалась съ нимъ и съ матерью и скороговоркой проговорила:

— А я заѣхала на минуту за Julie...

— Ахъ, бѣдная Юля слегла,—печальнымъ голосомъ отвѣтила генеральша.

— Больна?—изумилась Марья Николаевна.

— Да, мигрень, должно-быть,—отвѣтила старуха. — Ей нельзя будетъ ѣхать сегодня къ тебѣ.

Марья Николаевна слегка сдвинула брови.

— Но, можетъ-быть, ей теперь лучше,—проговорила она.

— Нѣтъ, нѣтъ, я сейчасъ была у нея. Она только-что уснуть хотѣла,—торопливо замѣтила мать.

— Я взгляну на нее.

— Постой,—удержала ее мать.

Явился лакей.

— Пройди къ Настѣ и спроси, проснулась ли барышня.

Скажи, что Марья Николаевна пріѣхала, — сказала старуха.—Слышишь?

— Слушаю съ!—отвѣтилъ лакей и вышелъ.

Черезъ двѣ-три минуты онъ вошелъ снова и доложилъ, что «барышня почиваютъ».

— Ну, слава Богу, значитъ немного легче стало,—проговорила генеральша.—А я ужъ испугалась: на завтра я взяла ложу въ русскій театръ и боялась, что Юля не можетъ со мной ѣхать.

— Вы хотите везти ее въ русскій театръ?—чуть не съ испугомъ спросила Марья Николаевна.

— Да, надо же развлекать дѣвочку.

— Именно потому, что она дѣвочка, ее и не нужно особенно много развлекать. Успѣетъ пожить. И притомъ везти въ русскій театръ... Я, право, не понимаю, какъ это намъ пришло въ голову!.. Ужъ не Островскаго ли смотрѣть?.. Этого только недоставало!..

Марья Николаевна была недовольна и говорила своимъ холоднымъ, дидактическимъ тономъ. Муратовъ посидѣлъ нѣсколько минутъ и всталъ. Сухарева взглянула на него, и ей стало жаль, что онъ уходитъ такимъ печальнымъ. Ей было жаль и свою Юлю, что она пропустила случай поболтать съ нимъ. Она встала и проводила его до двери гостиной, проговоривъ ему едва слышно: «обѣдай у насъ».

Муратовъ ожилъ. Онъ зналъ, что старуха любила его всегда, какъ она любила всю молодежь съ нѣсколько вольными манерами, съ умѣньемъ разсказывать двусмысленные анекдоты, съ способностью попѣть и посмѣшить. Но онъ, зная богатство Сухаревыхъ, никогда не думалъ, что она явится его помощницей даже въ томъ случаѣ, когда онъ приволокнется за ея дочерью. Онъ, впрочемъ, не вполнѣ зналъ старуху, думая, что она угадываетъ его тайныя намѣренія. Сухарева не угадывала ничего, а просто хотѣла доставить удовольствіе и себѣ, и Юлѣ, пригласивъ на обѣдъ лишняго веселаго собесѣдника.

— Скажите, пожалуйста, зачѣмъ онъ приходилъ?—спросила Марья Николаевна, какъ только затихли шаги Муратова.

— Какъ зачѣмъ?—удивилась мать.—Затѣмъ же, зачѣмъ и всѣ другіе ко мнѣ ходятъ. Слава Богу, онъ не чужой.

— Чужой, совершенно чужой, и было бы очень печально, если бы онъ когда-нибудь сдѣлался нашимъ родственникомъ,—отвѣтила Марья Николаевна.—Онъ начинаетъ ухаживать за Julie.

— Ну, полно! Онъ съ нею друженъ, какъ братъ. Вѣдь и ты росла съ нимъ...

Марья Николаевна покраснѣла и закусила нижнюю губу.

— Я вамъ говорю, что онъ ухаживаетъ за ней. Конечно, его привлекаетъ не она, глупенькая дѣвочка, а ея богатство,—проговорила она.—Любить онъ не умѣетъ и никогда не умѣлъ... Онъ нищій, онъ запутался въ долгахъ, ему нужно поправить свое состояніе... Вотъ его цѣли!..

— Ну, на это у Юли хватитъ денегъ,—наивно замѣтила генеральша.

— Maman, вы начинаете выводить меня изъ терпѣнія!— не выдержала Марья Николаевна. — Ни я, ни мой мужъ никогда не согласимся на бракъ Julie съ этимъ негодяемъ! Мы уже говорили вчера объ этомъ...

— Позволь, позволь!—взволновалась старуха.—Какое вы имѣете право соглашаться или не соглашаться на бракъ Юли? Что вы ей? Ты забываешь, что у нея есть мать, что она сама не дитя!

Марья Николаевна слегка поблѣднѣла, понявъ, что она задѣла за живое самолюбіе старухи.

— Я говорю въ томъ смыслѣ, что мы употребимъ все свое вліяніе, чтобы открыть глаза Julie,—проговорила она.— Вы, maman, всегда были слишкомъ довѣрчивы, снисходительны, добры...

— Ахъ, пошелъ счетъ моихъ семи смертныхъ грѣховъ!— нетерпѣливо воскликнула генеральша. — Ну, я знаю, знаю ихъ! Вѣдь только ради этихъ смертныхъ грѣховъ меня опекаютъ, какъ несовершеннолѣтнюю, ради нихъ у меня отняли дочь, чтобы помѣстить въ казенное заведеніе, въ сиротскій пріютъ какой-то, гдѣ всякія нищія учатся, ради этихъ смертныхъ грѣховъ я позволяю тебѣ такъ говорить со мною. Впрочемъ, нынче это въ принципахъ—не уважать матерей. Какъ это называется?.. Нигилизмъ!.. Да, да, нигилизмъ!.. Вотъ у Тургенева этотъ... какъ его... тоже не уважалъ отца и мать и въ Бога не вѣрилъ... Мать его малиной тамъ со сливками угощаетъ, а онъ... Знаю я, знаю нынѣшніе принципы...

Старуха расходилась не на шутку. Марья Николаевна кусала губы, думая, что теперь старуха способна будетъ нарочно, на зло ей, поставить на своемъ, и если не выдастъ замужъ Юлію Николаевну, то, во всякомъ случаѣ, станетъ настойчивѣе заступаться за нее.

— Я удивляюсь, maman, какъ вы стали нынче раздра-

жительны,—нѣсколько мягче замѣтила она.—Я, какъ и мой мужъ, желаю Julie добра, и потому мнѣ простительна моя горячность.

— Ну, конечно, конечно!—съ иронією сказала старуха.—Вѣдь это я только не могу горячиться въ этомъ вопросѣ, такъ какъ гдѣ же мнѣ сумѣть желать добра своей дочери!.. Что я такое?.. Я вѣдь только мать и не болѣе того...

— Я не то хотѣла сказать, но вы... — начала Аносова.

— Ахъ, знаю, знаю! Я довѣрчива, добра, снисходительна и потому ничего не понимаю!—горячо перебила ее мать.—Я только скажу тебѣ одно: сегодня утромъ болѣла голова у одной Юли, теперь будетъ мигрень и у нея, и у меня!..

Генеральша встала и, переваливаясь, утомленной походкой подошла къ этажеркѣ, на которой, среди массы другихъ бездѣлушекъ, стоялъ едва замѣтный флаконъ съ туалетной солью. Она открыла золотую крышечку флакона, вынула хрустальную пробку и поднесла ее къ носу.

— Вы сердитесь?—проговорила Марья Николаевна, вставъ и подходя къ матери.

— Помилуй, какое я имѣю право сердиться? Я сама виновата: я была такъ добра, снисходительна и довѣрчива, что позволила, наконецъ, своимъ дѣтямъ говорить со мною такъ, какъ ты говоришь со мною...

Генеральша была недовольна и старалась какъ можно болѣе усилить свое недовольство, зная, что въ эти рѣдкія минуты она является непобѣдимою. Она даже боялась, что Марья Николаевна обниметъ ее или поцѣлуетъ у нея руку, зная, что тогда все будетъ потеряно, и вмѣсто бурной сцены выйдетъ идиллія. Генеральша хорошо изучила свой собственный характеръ и помнила до сихъ поръ, что въ былые годы, въ минуты гнѣва на дѣтей, она, браня ихъ, едва удерживалась отъ смѣха, что, впрочемъ, не ускользало отъ ихъ вниманія и они начинали хохотать въ отвѣтъ на строгія распеканія матери, которая, въ свою очередь, въ концѣ-концовъ, разражалась смѣхомъ, крича имъ: «отстаньте, отстаньте отъ меня, дрянные ребятишки!»

— Когда Юля выздоровѣетъ, я ее привезу сама, — проговорила она.—А теперь, извини, я совсѣмъ нездорова.

Она холодно кивнула головой дочери и, даже не протянувъ ей руки, вышла изъ гостиной. Марья Николаевна, несмотря на свое самообладаніе, растерялась и смутилась. Она видѣла, что она своею безтактностью не только не отстранила опасности отъ сестры, но даже потеряла возможность

на нѣкоторое время вернуть сестру въ свой домъ. Она уѣхала раздосадованная, съ твердой рѣшимостью такъ или иначе поправить дѣло. Ее, эту строгую и суровую барыню, пугала теперь всего болѣе мысль о томъ, что скажетъ ея мужъ. Она его боялась, какъ дѣти боятся строгаго учителя. Онъ читалъ ей наставленія, сухо, внушительно, не допуская возраженій, не принимая оправданій. Вчера, во время возвращенія съ бала, когда она разсказала ему о своихъ подозрѣніяхъ насчетъ цѣлей Муратова, онъ нахмурился и рѣзко сказалъ ей:

— Ты не должна этого допускать!

Черезъ нѣсколько минутъ онъ прибавилъ:

— Вообще нужно повременить ея замужествомъ. Ты завтра же поѣдешь къ матери и привезешь дѣвочку домой. Не слѣдовало ее вывозить на балъ. Она должна быть еще дѣвочкой, а не невѣстой въ глазахъ свѣта.

Онъ говорилъ все это своимъ грубоватымъ, нетерпящимъ противорѣчій голосомъ. Что же скажетъ она ему теперь? Какъ онъ раскричится, какъ разсердится! Да, она сознавала сама, что она боится мужа, какъ школьница, и ей было тяжело.

Генеральша, между тѣмъ, прошла уже въ комнату Юліи Николаевны.

— Мама, ты одна?—спросила Юлія Николаевна, лежа на маленькомъ диванчикѣ и крѣпко зажмуривъ глаза, какъ ребенокъ, воображающій, что его не увидятъ, если онъ закроетъ глаза.

— Одна!—недовольнымъ тономъ сказала генеральша.

— Мама, ты на что-то сердишься? — вскочила съ мѣста Юлія Николаевна, услышавшая въ голосѣ матери раздраженіе.

— Ну, да, изъ-за тебя пришлось вынести цѣлую бурю,— отвѣтила старуха Сухарева, представлявшая себѣ бурю именно въ такомъ видѣ, въ какомъ произошла ея ничтожная размолвка съ дочерью.

— И ты очень бушевала? «Не подходи ко мнѣ! Я тебя отвергаю! Неблагодарная дочь!» — съ трагическимъ пафосомъ проговорила Юлія Николаевна и, заливаясь задушевнымъ, звонкимъ смѣхомъ, обвила мать обѣими руками и завертѣла ее по комнатѣ.

— Отстань, отстань, гадкая дѣвчонка!—уже хохотала генеральша, отталкивая дочь.—Ради Бога, только въ шею не цѣлуй, знаешь, что я этого боюсь!

Но Юлія Николаевна цѣловала мать и въ щеки, и въ шею и въ то же время закидывала ее вопросами:

— Надолго оставили?.. Въ театръ завтра поѣдемъ?.. А какъ же сегодня никого не будетъ?.. Мама, голубчикъ, у насъ еще кто-то былъ, кромѣ Маруси?.. Мама, ты чего такъ хитро улыбаешься?..

— А то, что поѣдемъ кататься,—отвѣтила старуха.

— А мигрень?—спросила, смѣясь, дочь.

— Это помогаетъ отъ мигрени,—серьезно отвѣтила старуха.

— Я, мама, совсѣмъ упаду въ коляскѣ, если встрѣчу Марусю или ея мужа.

— Ахъ, перестань, никого изъ нихъ мы не встрѣтимъ. Они лошадей берегутъ.

Черезъ четверть часа старуха Сухарева и Юлія Николаевна неслись уже по Морской, потомъ по Невскому, потомъ по Дворцовой набережной. Старуха, по обыкновенію, не удержалась отъ того, чтобы не заѣхать въ пять-шесть магазиновъ, не перерыть всякія модныя ненужности и не накупить разныхъ вещей, отъ которыхъ и безъ того ломились шкапы въ ея гардеробной и которыя, въ концѣ-концовъ, исчезали безъ ея вѣдома въ рукахъ горничныхъ. Всѣ эти посѣщенія магазиновъ, толки съ модистками затянули прогулку. Мать и дочь вернулись домой къ самому обѣду. Юлія Николаевна, раскраснѣвшаяся отъ катанья на морозѣ, торопливо сбрасывала верхнюю одежду, говоря горничной, что она страшно проголодалась.

— Да гости ужъ давно васъ поджидаютъ къ обѣду у молодого барина,—замѣтила горничная.

— Гости? Кто?

— Графъ Риво, Георгій Петровичъ Аносовъ, Петръ Павловичъ Муратовъ.

— Петръ Павловичъ?.. Они всѣ здѣсь?—воскликнула Юлія Николаевна.

— Юля, ты готова къ обѣду?—послышался голосъ генеральши.

— Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, мама, за все, за все!—проговорила Юлія Николаевна, цѣлуя мать звонкими поцѣлуями.

Она угадывала, что Муратовъ остался у нихъ по приглашенію матери.

— Нѣтъ, ты невыносима!—засмѣялась старуха, чувствуя, что она давно не была такъ счастлива, какъ въ этотъ день пребыванія у нея младшей дочери.

Муратовъ дѣйствительно остался по приглашенію старухи

Сухаревой. Онъ прошелъ на половину молодого Сухарева и засталъ тамъ Аносова и Риво. Молодежь сидѣла въ разстегнутыхъ сюртукахъ и пила сельтерскую воду.

— Ба! Кого я вижу!—воскликнулъ Сухаревъ.—Изъ какихъ странъ ко мнѣ явился?

— Спасаюсь отъ Марьи Николаевны, съ половины твоей матери,—отвѣтилъ Муратовъ, пожимая руки пріятелей.

— А, восчувствовалъ, что значитъ быть съ лисой-проповѣдницей,—захохоталъ Сухаревъ.

— А вы что же это водицу пьете? — улыбнулся Муратовъ, закуривая папиросу.

— Омываемся отъ прегрѣшеній нашихъ,—смѣялся Сухаревъ.—Я-то вчера... Маman тебѣ ничего не говорила?

— Нѣтъ.

— Скандалъ произвелъ! Скучища у насъ, какъ ты самъ знаешь, была вчера смертельная. Ну, я и посѣщалъ все буфетъ для возбужденія пріятнаго настроенія.

— И въ концѣ-концовъ?..

— Растянулся на полу! Конечно, маman приказала убрать мое мертвое тѣло. Но, по счастью, меня уже ждала тройка, и меня повезли провѣтривать, да такъ до десяти часовъ утра и провѣтривали.

— Ты тоже былъ?—спросилъ Муратовъ у Аносова.

— Всѣ были,—отвѣтилъ Аносовъ.—Ничего, весело было.

— Однимъ словомъ, была ночь въ лѣсу или драма въ пяти дѣйствіяхъ, какъ говоритъ мой адвокатъ Игольниковъ,—проговорилъ Риво.

— А ты все по-старому его словами говоришь,—усмѣхнулся ироническою улыбкой Муратовъ.

— Да ты послушай, какія это слова,—обратился къ нему Сухаревъ. — Мы до колотья здѣсь передъ тобой хохотали. Зеіопъ у Игольникова значитъ кучеръ; халдей — значитъ попъ; вѣникъ — значитъ букетъ; на заднемъ дворѣ быть — значитъ въ послѣднихъ рядахъ кресель сидѣть; другой рисунокъ—значитъ другая тема разговора...

— Да онъ, знаешь, говоритъ, что ему наскучилъ нашъ будничный языкъ, что надо изобрѣсти новый, — лѣниво пояснилъ Риво: — ну, и изобрѣлъ. Да вѣдь и точно, скука вездѣ такая, что не знаешь, куда себя дѣвать.

— Такъ вы бы по-татарски научились говорить, можетъ-быть, веселѣе бы стало,—улыбнулся Муратовъ.

— Ну да, еще бы не скучать, когда на каждомъ шагу только и встрѣчаешь людей въ родѣ моихъ сестрицъ; одна

ханжа, другая непорочность небесная, — замѣтилъ Сухаревъ.—Впрочемъ, я свою младшую сестренку просвѣщу непремѣнно. Уговорю maman свезти ее къ Бергу на первыхъ порахъ, а потомъ...

— Ты съ ума сошелъ!—горячо прервалъ его Муратовъ.

Сухаревъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на него.

— Что съ тобой? Крикнулъ, точно тебя ударилъ кто.

— Да какъ же возможно говорить такія пошлости! — въ волненіи проговорилъ Муратовъ. — Возить порядочную дѣвушку въ этомъ домъ... Тьфу, говорить даже гадко!

— Позволь, позволь! Maman уши тебѣ выдрала бы за это,—захохоталъ Сухаревъ.—Она ни одного театра не любитъ такъ, какъ театръ Берга, и Бланшъ Гандонъ она не называетъ иначе, какъ Гандошкой, и чуть не до истерики хохочетъ, когда Антуанета дѣлаетъ на караулъ ногой.

— Твоя мать—женщина старая, къ ней ничего не пристанетъ, — холодно отвѣтилъ Муратовъ. — Но Юлія Николаевна почти ребенокъ...

— Вотъ потому-то ее и нужно просвѣтить! Очень пріятно видѣть этихъ болванчиковъ, которые ничего не понимаютъ. Я воображаю положеніе мужа, который женится на такой невинности, вѣчно повторяющей: «что такое любовь?» Объясняй ей потомъ!

— Ну, братъ, тоже не особенная радость, если жена въ первые дни свадьбы явится учительницей мужа въ дѣлахъ любви. Твою сестру нужно беречь, да и беречь отъ тебя, отъ твоей среды... Знаю я, какъ нашъ братъ просвѣщаетъ этихъ невинныхъ созданій!

— Да ты что такъ горячишься за нее? Ты, что ли, хочешь жениться на ней?

— Я вовсе не за нее горячусь, а вообще за подобныхъ дѣвушекъ, — сдержанно отвѣтилъ Муратовъ и перемѣнилъ разговоръ.

Часовъ въ пять молодежь пригласили къ столу. Кромѣ ихъ, хозяйки дома и Юліи Николаевны, въ столовой была еще одна пожилая женщина, двоюродная сестра хозяйки, жившая въ домѣ и извѣстная подъ именемъ tante Catiche. Бѣлая, полная, съ заплывшими маленькими глазками, она походила на апатичнаго и добродушнаго кота, разжирѣвшаго въ лабазѣ. Она была настолько невозмутима и флегматична, что была даже неспособна и на такія вспышки неудовольствія, на какія была способна добродушная генеральша, и потому въ минуты жизни трудныя молодой ку-

тила Сухаревъ всегда обращался къ tante Catiche, чтобы умаслить генеральшу и выпросить у послѣдней денегъ для оплаты его долговъ, которые онъ ухитрялся дѣлать, несмотря на десятки тысячъ своего годового дохода. Tante Catiche очень любила его, потому что, по ея словамъ, онъ былъ весь въ нее, хотя это сходство ограничивалось круглой формой и замѣчательной бѣлизной его нѣсколько женственнаго лица. Обѣдъ прошелъ очень весело, какъ всѣ будничные обѣды у генеральши Сухаревой, которые она обыкновенно называла «юнкерскими», говоря своимъ собесѣдникамъ, что и въ то время, когда ея мужъ командовалъ эскадрономъ, она постоянно предпочитала общество юнкеровъ всякому другому обществу, потому что юнкера хотя и самый безпутный, но зато и самый добродушный народъ. Муратовъ замѣтилъ шутя, что онъ одинъ нарушаетъ «юнкерскую» гармонію обѣда, но генеральша засмѣялась и сказала, что онъ вѣчно былъ и, кажется, вѣчно останется юнкеромъ въ душѣ.

— Да, кромѣ того, тебя надо вознаградить за утреннее пораженіе,—прибавила она.

— А что, развѣ была какая-нибудь баталія?—спросилъ своимъ вульгарнымъ тономъ молодой Сухаревъ.

— Это ужъ наша тайна,—лукаво засмѣялась старуха.—А что твоя мигрень?—обратилась она къ Юліи Николаевнѣ.

— Какъ, ужъ начались и мигрени, и истерики?—воскликнулъ Сухаревъ.—Я такъ и зналъ, что ты, Сушка, выйдешь пюней.

Юлія Николаевна засмѣялась.

— Эта мигрень была ради того, чтобы завтра ѣхать въ русскій театръ,—проговорила она.

— А, вотъ оно что! Притворяться ужъ научилась! А вы, maman, ее проучите и не берите въ театръ.

Генеральша хохотала.

— Да вѣдь это средство мы съ нею вмѣстѣ придумали, чтобы ей не ѣхать къ Машѣ,—отвѣтила она.

— Да, кстати,—серьезно замѣтилъ Сухаревъ.—Для чего она тамъ живетъ?

— Чтобы не видать тебя,—отвѣтила генеральша.

Начался общій разговоръ съ намеками на то, что Юліи Николаевнѣ, должно-быть, будетъ очень скучно въ домѣ сестры. Молодой Аносовъ выразилъ мысль, что онъ не прожилъ бы и недѣли въ домѣ брата.

— Это просто монастырь, состоящій изъ двухъ отдѣленій.

Одно женское, гдѣ монашествуетъ одна Marie, другое мужское, гдѣ спасается одинъ братъ. Они сходятся за трапезой и потомъ снова замыкаются въ своихъ кельяхъ,—смѣялся Аносовъ.

— А когда прибыла ты, пришлось создать, конечно, и третье отдѣленіе?—захохоталъ Сухаревъ.

— Нѣтъ, для меня устроили не третье отдѣленіе, а просто основали отдѣленіе школы на дѣтской половинѣ,—засмѣялась сестра.

— Да ты, я думаю, ужъ всему научилась, больше меня знаешь.

— Вотъ удивилъ-то!—воскликнула генеральша.—Точно ты что-нибудь знаешь!

— Нѣтъ, ей-Богу, Сушку нужно вырвать оттуда,—проговорилъ Сухаревъ.—Это ни на что не похоже: ее биготкой сдѣлаютъ. Кстати, я сегодня проектировалъ свезти Сушку къ Берту.

— Что ты, что ты! съ ума сошелъ!—воскликнула генеральша, махая рукой.—Еще кто-нибудь ее тамъ увидитъ!

— Ну, вотъ! Въ литерной ложѣ за занавѣску посадимъ.

— Вопросъ не въ томъ, что кто-нибудь увидитъ тамъ Юлію Николаевну, а въ томъ, что она увидитъ тамъ,—горячо проговорилъ Муратовъ, и его лицо вспыхнуло отъ негодованія.—Я понимаю, что можно не желать, чтобы изъ Юліи Николаевны сдѣлали биготку, ханжу, но я, право, еще менѣе понимаю, какъ возможно грязнить ея еще чистое воображеніе бергонскими представленіями.

Юлія Николаевна подняла на него свои глаза, и онъ показался ей въ эту минуту еще прекраснѣе, чѣмъ обыкновенно.

— Бойтесь наставленій Маріи Николаевны, отнеситесь къ нимъ осторожно и критически, — проговорилъ онъ ей теплымъ тономъ:—но ради Бога не слушайте вовсе того, что будетъ говорить вамъ братъ.

— Ты что же это, вооружать ее противъ меня вздумалъ?—захохоталъ Сухаревъ.—Ну, да погоди, я ее вышлифую.

Въ эту минуту вошелъ лакей и доложилъ:

— Госпожа Левина.

— Проси въ красную гостиную, — сказала генеральша.—Мы перейдемъ пить кофе туда, если хотите,—обратилась она къ гостямъ.

— А послушаемъ, что разскажетъ намъ старая грѣховодница,—сказалъ Сухаревъ, поднимаясь съ мѣста.

— Ея бенефисъ завтра: билетъ, вѣрно, привезла,—замѣтилъ Аносовъ.

Обѣдъ кончился. Сухаревъ уже успѣлъ настолько выпить, что его бѣлое лицо пылало теперь румянцемъ и покрывалось потомъ, а языкъ, и безъ того вольный и вульгарный, дѣлался все свободнѣе и свободнѣе. Всѣ встали изъ-за стола. Сухаревъ подошелъ къ матери нѣсколько невѣрною походкой и поцѣловалъ руку.

— Ну, у тебя уже въ глазахъ мальчики!—ударила она его слегка по лбу.

— Нѣтъ, maman, у меня всегда дѣвочки въ глазахъ,—засмѣялся онъ.

Генеральша сдѣлала строгіе глаза и погрозила пальцемъ.

Общество перешло въ сосѣднюю съ столовой комнату, убранную въ восточномъ вкусѣ, съ мебелью, покрытой красною шелковою матеріею съ яркими узорами, съ потолкомъ, блестѣвшимъ золотомъ и красными арабесками, съ турецкимъ ковромъ во весь полъ.

— Извините,—я помѣшала вашему обѣду,—проговорила хозяйкѣ гостья, ожидавшая въ этой комнатѣ.

Это была актриса Левина, женщина лѣтъ пятидесяти пяти, полная, обрюзгшая, съ просѣдью, съ бойкими манерами, съ бѣгавшими черными глазками и съ громкимъ голосомъ. При взглядѣ на нее трудно было опредѣлить ея положеніе въ обществѣ: ея безвкусный яркій нарядъ напоминалъ героиню изъ пьесы «Ворона въ павлиньихъ перьяхъ»; размашистые жесты и звонкій, нѣсколько надтреснутый голосъ приводилъ на память Амаранту изъ «Дочери рынка»; бѣгающіе хитрые глаза говорили, что это была «баба на всѣ руки», «комиссіонеръ въ юбкѣ». Трудно было только въ этомъ сальномъ, жирномъ лицѣ, въ этой угловатости движеній, въ этой топорности фигуры провидѣть артистку.

— Нѣтъ, мы кончили обѣдъ,—отвѣтила хозяйка.—Я очень рада, что вы пріѣхали. Я васъ завербую на вечеръ.

Молодежь развязно поздоровалась съ Левиной, какъ съ слишкомъ хорошо знакомымъ человѣкомъ. Всѣ усѣлись пить кофе.

— Благодарю васъ,—отвѣтила Левина Сухаревой. — Я рада отдохнуть у васъ отъ нашихъ закулисныхъ дрязгъ. Вы не можете себѣ представить, что у насъ дѣлается. Я просто безъ ногъ отъ хлопотъ о своемъ бенефисѣ. Хотѣла поставить большую оперетку... Все для васъ,—мелькомъ бросила она лукавый взглядъ на Сухарева:—чтобы дать роль Ком-

ковой... Но вообразите, Загулинъ пропилъ свой голосъ и не хочетъ болѣе являться въ опереткахъ, переходитъ на роли благородныхъ отцовъ...

— Какъ, сердцеѣдъ Александринки хочетъ сдѣлаться благороднымъ отцомъ?—захохоталъ Сухаревъ.—Ну, и освищутъ! Риво, поѣдемъ свистать?

— Что-жъ, мнѣ все равно! Я поѣду,—лѣниво отвѣтилъ Риво.

— Весь раекъ откуплю, а ужъ освищу!—рѣшилъ Сухаревъ.—Этакъ изъ-за него Комкова безъ ролей останется. Мерзавецъ, право, мерзавецъ!

— Нечего дѣлать, рѣшилась ставить драму,—продолжала Левина.—Представила три пьесы, ни одна не можетъ идти. Кромѣ того, Сѣмечкинъ, по обыкновенію, со всѣми въ ссорѣ.

— Да вѣдь это grand intrigant Александринки!—небрежно вставилъ Риво.

— Да, да, а вѣдь какимъ тихоней выглядитъ. Богу все молится. Свѣчки въ часовнѣ Спасителя ставитъ при изученіи новой роли, а интригуетъ противъ всѣхъ такъ, что вы и представить не можете! Нѣтъ, но вы войдите въ мое положеніе. Я стара...

— Полноте, что вы говорите! — перебилъ ее Сухаревъ, лукаво подмигивая.

— Да, да, стара, что дѣлать, надо сознаться!—вздохнула Левина, бросивъ на него нѣжный взглядъ.—На мой бенефисъ для меня одной не поѣдутъ! Надо чѣмъ-нибудь этакимъ особеннымъ привлечь. Ну, рѣшилась, наконецъ, поставить старую пьесу Островскаго, выписавъ для нея изъ Москвы Ѳедорову. Это вѣдь знаменитость,—съ гримасой добавила она:—пусть бѣгутъ смотрѣть. Актриса реальная, знаете. Нынче это въ модѣ. Вотъ когда дебютировала Сохонская и въ лаптяхъ, въ настоящихъ лаптяхъ, и въ крашенинномъ сарафанѣ вышла, весь театръ дрогнулъ отъ рукоплесканій. Теперь вѣдь все такое, что мужикомъ сиволапымъ пахнетъ, въ ходу, въ модѣ. Высморкается актриса въ народной пьесѣ пальцами, сейчасъ десять разъ вызовутъ. Геніально, изъ дѣйствительной жизни черту подмѣтила! Впрочемъ, и для васъ есть приманка,—опять обратилась Левина къ Сухареву:—Комкова играетъ въ маленькой опереткѣ и будетъ пѣть вставной романсъ: «Ты скоро меня позабудешь». Вы понимаете?

— Ну, ее-то не скоро позабыть,—холодно засмѣялся Риво.—Потрошить гусей, какъ говоритъ мой адвокатъ Игольниковъ, умѣетъ,—обратился онъ къ Аносову.

Аносовъ засмѣялся своимъ глуповатымъ смѣхомъ.

— А признайтесь, она вамъ очень дорога? — спросила Левина у Сухарева.

— Тридцать тысячъ векселями, да двадцать наличными,— съ гримасой отвѣтилъ Риво за Сухарева.

— Ахъ, только-то еще!—проговорила Левина.

Муратовъ сидѣлъ, какъ на иголкахъ. Его теперь оскорбляли эти разговоры, которые всегда слышались въ гостиной генеральши Сухаревой, любившей и юнкеровъ, и артистовъ, и весь тотъ сбродъ, который могъ развлечь ее въ часы ея безконечнаго бездѣлья. Онъ наклонился къ Юліи Николаевнѣ и спросилъ ее:

— А вы все попрежнему любите музыку?

— О, да!—отвѣтила она, какъ бы очнувшись отъ забытья.

— Сыграйте что-нибудь.

— А ты спой,—медькомъ сказала Сухарева:—услышавъ разговоръ дочери и Муратова.

— Хорошо, но прежде послушаю игру,—отвѣтилъ онъ, поднимаясь съ мѣста.

Онъ и Юлія Николаевна перешли въ залъ, отдѣленный отъ турецкой гостиной аркой съ замѣчательной лѣпной золоченой работой. Въ гостиной разговоръ принялъ еще болѣе фолишонный характеръ. Двусмысленныя остроты, юнкерскіе анекдоты, прозрачные намеки посыпались неудержимымъ потокомъ. На всѣхъ этихъ разсказахъ и остротахъ лежала печать пошлости, вульгарности, глуповатости, но общество было вполнѣ довольно своимъ времяпрепровожденіемъ. Генеральша была въ самомъ превосходномъ настроеніи духа и только иногда говорила своему черезчуръ пересаливавшему сыну:

— Молчи, молчи!

Левина хохотала громкимъ и рѣзкимъ смѣхомъ и даже раза два ударила Сухарева по рукѣ и обозвала его чѣмъ-то въ родѣ «поганца».

Въ залѣ, между тѣмъ, слышались звуки одной изъ мендельсоновскихъ «пѣсенъ безъ словъ». Муратовъ стоялъ, облокотившись на рояль, и любовался Юліей Николаевной.

— Какъ я радъ, что мы вырвались оттуда,—проговорилъ онъ тихо, указывая глазами на гостиную, откуда слышался громкій смѣхъ Левиной и юнкеровъ.

— Вы не любите общество брата?—спросила Юлія Николаевна.

— Да, не люблю, потому что именно это общество вело

меня до сихъ поръ къ гибели, грозило мнѣ тою опасностью, о которой говорила вамъ ваша сестра.

— Грозило опасностью? А теперь?

— Теперь я не боюсь за себя. Я встрѣтилъ одно существо, которое мнѣ указало опасность, указало на возможность другой жизни...

Муратовъ чувствовалъ, что онъ долженъ воспользоваться удобной минутой, что онъ долженъ высказать теперь все.

— Но я боюсь, что это чистое, прекрасное существо само стоитъ покуда въ этомъ обществѣ, гдѣ не безопасно пробыть лишній день, лишній часъ,—проговорилъ онъ.

Она съ недоумѣніемъ подняла на него глаза.

— Кузина, вы не знаете, сколько пошлости, сколько грязи, сколько пороковъ таится въ этомъ кружкѣ, живущемъ безпечальною жизнью, тратящемъ безцѣльно и безплодно лучшіе годы жизни. Вамъ тяжело жить у сестры, вамъ скучно у нея, но повѣрьте мнѣ, что здѣсь вамъ будетъ еще хуже. Тамъ вы будете испытывать только скуку, здѣсь вы можете утратить свою душевную чистоту. Я самъ былъ когда-то чистымъ и наивнымъ мальчикомъ, когда попалъ въ эту среду, и она затянула, закружила меня въ своихъ сѣтяхъ...

— Да, но гдѣ же мнѣ жить, что дѣлать?—тихо проговорила она.

— На свѣтѣ есть, кузина, другая жизнь,—продолжалъ онъ.—Жизнь спокойная, мирная, честная, жизнь въ любящей семьѣ, среди строго избранныхъ друзей. Въ такой жизни нѣтъ скуки, нѣтъ опасностей загрязнить свою душу. Въ хорошей семейной жизни есть цѣль—это счастіе мужа, дѣтей, ближнихъ.

Юлія Николаевна нерѣдко мечтала съ подругами о *немъ*, то-есть объ избранникѣ своего сердца, о своемъ героѣ, о своемъ кумирѣ, который придетъ къ ней и скажетъ ей: «я—твой, ты—моя». Давно ей казался чѣмъ-то заманчивымъ, чѣмъ-то таинственно-прекраснымъ этотъ союзъ двухъ сердецъ, вырывающихся изъ среды окружающихъ ихъ враговъ, козней и интригъ. Она въ своей жизни еще не видѣла ни враговъ, ни козней, ни интригъ, но все это казалось ей необходимыми принадлежностями, всегда окружающими два любящія сердца. Это она находила во всѣхъ романахъ, а жизнь она считала тоже романомъ, который люди не перечитываютъ, а переживаютъ. Теперь ея сердце билось сильнѣе. Слова Муратова открыли ей, что и домъ сестры, и кружокъ матери—враждебные ей лагери, что замужество должно ее

спасти изъ этихъ латерей и окружить какою-то новою, свѣжею атмосферою любви, мира и счастія. Она волновалась, какъ дѣвочка, чувствовавшая, что она начинаетъ являться героиней романа.

— Начать эту свѣжую, полную чистыхъ наслажденій жизнь зависитъ вполнѣ отъ васъ,—продолжалъ Муратовъ, ближе наклоняясь къ ней.

Она опять подняла на него свои глаза. У него захватывало духъ. Онъ сознавалъ, что отъ одного ея слова зависитъ его будущее.

— Я... я васъ люблю,—тихо прошепталъ онъ взволнованнымъ голосомъ.

Изъ ея груди вырвалось что-то похожее на слабый, едва слышный крикъ. Муратовъ взглянулъ на нее и нашелъ отвѣтъ. Ея лицо озарилось счастіемъ, любовью. На глазахъ видѣлись слезы. Онъ приникъ губами къ ея рукѣ. Въ сосѣдней комнатѣ смѣхъ раздавался еще громче, еще безшабашнѣе.

— Ты любишь меня?—шепталъ онъ.—Да?

— Я давно, давно люблю васъ,—застѣнчиво прошептала она.

— Добрая, милая моя!—въ восторгѣ говорилъ онъ.—И ты не перестала любить меня даже тогда, когда меня старались очернить передъ тобою... Я боюсь только одного, что твоя сестра начнетъ еще сильнѣе клеветать на меня, узнавъ о моихъ намѣреніяхъ...

— Я ничего, ничего не буду слушать!—горячо проговорила она.

— Нѣтъ, мой другъ, слушай, слушай все! — произнесъ онъ.—Да, ты должна знать, что мое прошлое грустно, дурно, позорно, какъ прошлое всѣхъ подобныхъ мнѣ людей, твоего брата, Аносова, Риво... Но чѣмъ печальнѣе оно, тѣмъ болѣе должна ты гордиться, что ты отрѣзала мнѣ возвратъ къ этому прошлому. Ты сдѣлаешь меня другимъ человѣкомъ... Я отрекусь навсегда отъ этого прошлаго...

Въ сосѣдней комнатѣ внезапно пронесся новый взрывъ хохота, заставившій вздрогнуть задумавшуюся Юлію Николаевну. Муратовъ хотѣлъ продолжать разговоръ, но она его остановила.

— Тс-съ, сюда идутъ,—прошептала она и снова начала играть, но пальцы не слушались ее.

— Что же ты не поешь?—послышался голосъ генеральши Сухаревой, подошедшей къ Муратову.

— А, да... спѣть? Хорошо...—отвѣтилъ онъ и сѣлъ къ роялю.

Онъ запѣлъ: «Помолись за меня». Юлія Николаевна, какъ-то безсильно прислонившись къ стѣнѣ, ловила каждый звукъ этого задушевнаго, еще довольно сильнаго и чистаго баритона. Каждое слово, каждый звукъ романса, казалось, былъ обращенъ лично къ ней. Послѣднія ноты пѣсни уже замирали, а она все еще слушала и слушала, какъ вдругъ раздался грубый и вульгарный голосъ ея брата:

— Ну, отмолилась и пусть идетъ спать! — захохоталъ онъ.—А ты спой лучше что-нибудь изъ нашего репертуара.

Муратовъ быстро поднялся съ мѣста и проговорилъ:

— Довольно.

— Ты, братъ, совсѣмъ раскисъ!—проворчалъ Сухаревъ и обратился къ Левиной:—Дарья Трофимовна, спойте что-нибудь.

— Христосъ съ вами! У меня теперь и голосу ужъ нѣтъ! Все пропѣла!—отвѣтила Левина, махая жирными руками, на которыхъ блестѣло безчисленное множество колецъ съ брильянтами и рубинами.

— Ну, толкуйте! Изъ «Дочери рынка», — приставалъ Сухаревъ.

— А ну васъ!—засмѣялась она и сѣла къ роялю.

Раздалась пѣсня Амаранты изъ перваго акта «Дочери рынка». Левина пѣла какимъ-то сиповатымъ и надтреснутымъ голосомъ, но фразировала не безъ ухарства, сильно подчеркивая двусмысленные намеки.

— А вы знаете другія слова на этотъ же мотивъ?—спросилъ Сухаревъ.

— Ужъ не хотите ли вы, чтобы я ихъ спѣла?—спросила Левина.

— А что же?

— А то же, что вамъ за это надо бы уши надрать! Выдумалъ что!

Сухаревъ хохоталъ. Левина стала шопотомъ передавать генеральшѣ содержаніе этихъ «другихъ словъ» пѣсни. Генеральша только руками махала.

Муратовъ и Юлія Николаевна отошли отъ рояля и начали ходить по залѣ въ сторонѣ отъ развеселаго кружка, гдѣ ужъ вплоть до чаю не смолкали каскадные куплеты.

Когда всѣ разъѣхались, Юлія Николаевна крѣпко обняла мать и покрыла ея лицо и руки горячими поцѣлуями.

— Что ты, дѣвочка?—спросила Сухарева, удивленная ея ласками.

— Ничего, ничего!—отвѣтила Юлія Николаевна и, скрывшись въ свою спальню, юркнула въ постель.

Ей не хотѣлось разсказывать теперь матери того, что случилось. Ей хотѣлось насладиться своею «тайною». Она сама почти не вѣрила тому, что онъ, ея кумиръ, ея идолъ, снизошелъ до того, что полюбилъ ее.

XI.

Юлія Николаевна проснулась по-утру вся сіяющая, вся свѣтившаяся счастіемъ. Ей хотѣлось рѣзвиться и прыгать, какъ ребенку, которому наканунѣ вечеромъ подарили игрушку. Она не могла уже болѣе молчать; ей теперь хотѣлось кому-нибудь передать свою радость, кого-нибудь обнять, расцѣловать. Улучивъ первую удобную минуту, она, оставшись наединѣ съ матерью, бросилась къ генеральшѣ на шею.

— Мама, у меня есть большая, большая тайна!—проговорила она.

— Вотъ такая?—развела генеральша съ улыбкой руками.

— Больше, больше, гораздо больше!—воскликнула съ хохотомъ дочь.—Я выхожу замужъ!

— Ты?—изумилась генеральша.—Выходишь замужъ? За кого это?

— За кузена Пьера!—съ торжествующимъ видомъ произнесла дочь.—Онъ мнѣ сдѣлалъ предложеніе!

— Ужъ успѣлъ!—воскликнула генеральша, нѣсколько не то смутившись, не то оробѣвъ.

— Какъ онъ меня любитъ! Какъ любитъ!—говорила Юлія Николаевна, обнимая мать.—О, если бы ты знала, мама... Я боялась и думать объ этомъ... А онъ...

— Постой, постой!—отбивалась отъ нея генеральша.—Вотъ не ожидала я, чтобы такъ скоро...

— Мама, развѣ ты недовольна?—съ изумленіемъ спросила дочь, пристально взглянувъ на мать.

Генеральша сама не могла объяснить, довольна она или недовольна.

— Вѣдь ты же сама любишь его? Вѣдь правда, любишь, любишь?—допрашивала дочь.—Ты всегда съ нимъ обращалась, какъ съ роднымъ, не такъ, какъ Мари...

— Да, да, вотъ ты о Мари говоришь,—проговорила торопливо генеральша, словно вдругъ понявъ причину своего смущенія.—Что скажетъ Мари? Скажи мнѣ, что скажетъ объ этомъ Мари?

жизни? Да развѣ они могутъ быть у богатыхъ? Мужъ будетъ измѣнять женѣ? Да какой же мужъ не измѣняетъ женѣ? Онъ будетъ мотать? Да развѣ можно промотать все состояніе Юліи Николаевны? Она разлюбитъ сама мужа? Но какой же свѣтскій мужъ не смотритъ сквозь пальцы на мимолетныя измѣны богатой жены? Нѣтъ, нѣтъ, думать серьезно о бракѣ нечего! Но Мари, Мари что скажетъ? Упреки, сцены, волненія! Генеральша боялась всего этого, какъ огня.

«Хоть бы онъ ее похитилъ, что ли! И сама бы имъ помогла!»—промелькнуло у нея въ головѣ, и ея лицо вдругъ озарилось улыбкой при этой мысли.

— Мама, чему ты улыбаешься?—спросила Юлія Николаевна, наблюдавшая за матерью.

— Нѣтъ, нѣтъ, это я такъ!—проговорила генеральша и не безъ горечи вспомнила, что теперь былъ постъ.—Знаешь, что, Юля,—проговорила она.—Ты ничего не говори Мари... Пусть покуда она ничего не знаетъ... Мы все это устроимъ потомъ... экспромптомъ... Оно лучше...

— Хорошо, мамочка! Мнѣ все равно! Ты, значитъ, согласна?

Юлія Николаевна опять обнимала мать.

— Ахъ, ты, дитя, дитя!—бормотала генеральша.—Рада, что хорошенькій мужъ подвернулся!

— Онъ, мама, лучше всѣхъ, лучше всѣхъ! Правда?—восторженно говорила Юлія Николаевна.

— Ну, да, да!—говорила уже весело генеральша, которая отчасти успокоилась при мысли, что Мари не скоро узнаетъ всю эту исторію, и передъ которой уже мелькнула теперь заманчивая картина приготовленія приданаго.

— Надо вотъ серьезно подумать о приданомъ,—сказала она глубокомысленно дочери.

— Да, да... Дѣлай все, какъ знаешь!—разсѣянно отвѣтила дочь.

— Нѣтъ, мы вмѣстѣ будемъ ѣздить, выбирать... Я думаю, вы можете на первое время помѣститься въ моемъ домѣ... Я вамъ отдѣлаю половину бель-этажа... Надо будетъ меблировать все заново... Мы пригласимъ художника Перро: у него есть вкусъ, французскій шикъ въ составленіи проектовъ для отдѣлки комнатъ... Когда я отдѣлывала эту половину для себя—онъ составлялъ мнѣ всѣ рисунки... Я просто ахнула, когда онъ мнѣ привезъ эскизъ восточной гостиной... знаешь, той, что подлѣ столовой... Это вѣдь игрушка,

игрушка, а не комната... Ты знаешь, онъ ѣздилъ изучать этотъ стиль... какъ его?.. ну, вотъ еще въ Альгамбрѣ такой... Да мавританскій... Тамъ вотъ, что эти узоры золотомъ на потолкѣ сдѣланы, это все надписи... въ Альгамбрѣ все такое съ надписями... А тебѣ будуаръ я въ русскомъ вкусѣ совѣтую сдѣлать, это теперь въ моду входитъ и очень красиво... Бѣлый фонъ и узоры—коньки и пѣтушки, пѣтушки и коньки—синимъ и краснымъ шелкомъ вышиты.

Генеральша попала на своего конька и была вполнѣ довольна. День почти весь прошелъ въ разъѣздахъ, такъ какъ генеральша уже считала нужнымъ кое-что присмотрѣть и разболтать по магазинамъ, что она присматриваетъ вещи, чтобы заранѣе приготовить кое-что изъ приданаго.

— Конечно, моя дочь еще не выходитъ замужъ, но все же нужно эти вещи заранѣе обдумать,—разъясняла она модисткамъ въ модныхъ магазинахъ и приказчикамъ въ англійскомъ магазинѣ, гдѣ она была своимъ человѣкомъ и даже знала семейную жизнь всѣхъ приказчиковъ.

Вечеромъ Петръ Павловичъ явился къ Сухаревымъ.

— Я все сказала maman,—шепнула ему Юлія Николаевна.

— И что же?—такъ же тихо спросилъ онъ, немного робѣя.

— Maman согласна, но не хочетъ, чтобы Мари знала объ этомъ теперь... покуда постъ...

Муратовъ не успѣлъ еще отвѣтить, когда вышли tante Catiche и генеральша. Онѣ были уже совсѣмъ одѣты, чтобы ѣхать въ театръ.

— Уши драть нужно бы тебѣ!—пригрозила генеральша Сухарева Муратову пальцемъ.

Онъ поклонился и молча поцѣловалъ ея руку.

— Вы куда-то ѣдете?—спросилъ онъ, очень хорошо зная, куда онѣ ѣдутъ.

— Въ русскій театръ. Надѣюсь, ты съ нами? Мы безъ мужчинъ,—отвѣтила генеральша.—Яшка въ креслахъ будетъ безчинствовать...

— О, съ удовольствіемъ.

Они поѣхали.

Въ первомъ же антрактѣ въ ихъ ложу явился старшій Аносовъ. Это посѣщеніе было совершенною неожиданностью для всѣхъ: Аносовъ вообще ѣздилъ рѣдко въ театръ, ѣздилъ туда только съ дѣловыми цѣлями, русскій же театръ онъ, какъ и вся его семья, не посѣщалъ никогда, считая его пошлымъ и вульгарнымъ. Очевидно, что на этотъ разъ онъ сдѣлалъ исключеніе изъ правила ради высшихъ сообра-

женій, ради наблюденія за старухой Сухаревой и Юліей Николаевной. Войдя въ ложу, онъ раскланялся съ дамами и холодно пожалъ руку Муратова. Ему было, видимо, непріятно, что Муратовъ сидѣлъ въ ложѣ Сухаревыхъ, какъ родственникъ, какъ спутникъ и обожатель молоденькой дѣвушки.

— Что твоя мигрень прошла?—спросилъ онъ у Юліи Николаевны.

— Да вѣдь это не долго бываетъ!—отвѣтила она.

— Значитъ завтра домой?—спросилъ онъ.

— Я, право, не знаю... Это будетъ зависѣть отъ папаши,— сухо отвѣтила Юлія Николаевна.

Генеральша поспѣшила перемѣнить разговоръ и быстро начала разспрашивать Николая Аносова о какой-то будто бы заинтересовавшей ее личности. Она боялась, что Аносовъ спроситъ ее, отпуститъ ли она завтра Юлію Николаевну къ сестрѣ. Къ счастію, въ оркестрѣ заиграла музыка передъ поднятіемъ занавѣса, и Аносовъ вышелъ. Онъ заходилъ въ теченіе спектакля еще разъ, и еще разъ генеральша такъ заговорила его, такъ засыпала разспросами, что онъ не могъ сдѣлать ей главнаго вопроса о Юліи Николаевнѣ. Юлія Николаевна смѣялась въ душѣ надъ ловкостью матери и надъ подавленнымъ неудовольствіемъ Аносова. Аносовъ былъ дѣйствительно въ свирѣпѣйшемъ расположеніи духа. Онъ говорилъ рѣзко и желчно и между прочимъ замѣтилъ:

— Что это выдѣлываетъ Жакъ? Его, въ концѣ-концовъ, выведутъ! Онъ не только вызываетъ Комкову по десяти разъ, но онъ не дастъ никого слушать, крича и стуча ногами. Онъ пьянъ, кажется!

— Ахъ, Комкова—его слабость!—отвѣтила генеральша.

— Да, но онъ неприличенъ!.. Мнѣ уже указывалъ на него нашъ почтенный Ѳедоръ Петровичъ Торбинъ... Вѣдь всѣ знаютъ, что мы родня, къ несчастію...

— Ну, такъ пусть на гауптвахту посадятъ, вотъ и конецъ,—рѣшила генеральша.—Мало ли какъ мальчишки шалятъ!

Аносовъ передернулъ плечами. Прощаясь съ Сухаревыми, онъ успѣлъ-таки сказать, что его жена пріѣдетъ завтра за Юліей Николаевной, но его слова заглушились музыкой и пропустились мимо ушей генеральши и Юліей Николаевной.

Tante Catiche очень мирно продремала въ теченіе всего спектакля.

Выходя изъ кареты у своего дома, Сухаревы и Муратовъ замѣтили стоявшія у подъѣзда двѣ тройки. Они вошли въ двери подъѣзда и увидѣли цѣлую компанію молодежи, надѣвавшей свои военныя шинели и статскія пальто. Среди этой группы были Винтеръ и Флери.

— А, Ноевъ ковчегъ пріѣхалъ изъ экспедиціи на Арарать!—закричалъ Сухаревъ, уже успѣвшій со всей компаніей заѣхать изъ театра на нѣсколько минутъ домой.

Его широкое лицо было красно; отъ него пахло шампанскимъ. Въ отвѣтъ на его слова раздалось безцеремонное гоготанье Винтера и Флери. Генеральшу нѣсколько смутилъ этотъ безцеремонный смѣхъ, встрѣтившій ея появленіе.

— Вотъ бы съ нами поѣхали, такъ не то бы увидали, что въ Александринкѣ! Хочешь, Сушка?—обратился Сухаревъ къ сестрѣ.—У насъ пикникъ съ дамами! Какія дамы!

— Ха-ха-ха! Съ дамами!—опять загоготали Винтеръ и Флери, считавшіе долгомъ смѣяться при каждой остротѣ Сухарева.

— Ты опять пьянъ,—проговорила генеральша, стараясь придать своему голосу строгій тонъ.

— Mamam, я не пьянъ, но веселъ безконечно,—отвѣтилъ развязно сынъ.—Tante Catiche, поѣдемте съ нами!

— Ну, ну, ужъ поѣзжай скорѣе самъ!—шопотомъ отвѣтила тетка, видя, что генеральша недовольна.

Дамы спѣшили подняться по лѣстницѣ.

— А тебя не отпустимъ, тебя похитимъ!—кричалъ Сухаревъ Муратову.

— Благодарю, я не поѣду!—сухо отвѣтилъ Муратовъ.

— Онъ нынче въ монахи готовится!—проговорилъ Винтеръ.

— Ха-ха-ха!—захохоталъ Флери, дѣлая гримасы.—Въ монахи!

Муратовъ кусалъ губы.

— По тебѣ Армансъ соскучилась! Ты знаешь, что ты былъ всегда ея слабостью! Это влеченіе сердецъ!—хохоталъ Сухаревъ.

— Она всегда говоритъ: я только Муратова люблю не за деньги,—прибавилъ Винтеръ.

— Отстань ты съ своими Арансами,—проговорилъ Муратовъ Сухареву.—Поѣзжай, а то еще опоздаешь! Да, я думаю, вонъ эти уже проголодались со вчерашняго дня.

Онъ презрительно указалъ глазами на Винтера и Флери и тоже поднялся по лѣстницѣ, съ недовольнымъ видомъ, направляясь въ столовую.

— Нѣтъ, Яшка дѣйствительно становится невыносимымъ,—говорила въ это время генеральша. — Хоть бы ты его образумилъ и сказалъ ему, что онъ обращаетъ мой домъ въ кабакъ,—обратилась она къ входившему въ столовую Муратову.—И что это за два санкюлота были съ нимъ, въ длинныхъ легкихъ халатахъ и лѣтнихъ шляпахъ?

— Это два негодяя, Винтеръ и Флери, обирающіе золотую молодежь,—сказалъ Муратовъ.

— Шумятъ и хохочутъ, точно на постояломъ дворѣ!

Генеральша была недовольна неожиданной встрѣчею съ пьяной компаніей, смутившей ее своимъ безцеремоннымъ смѣхомъ. Юлія Николаевна сидѣла тоже съ задумчивымъ лицомъ. Ей вспоминались слова Муратова о томъ, что если ей и плохо жить у сестры, то жить у матери еще опаснѣе.

— Неужели Жакъ всегда ведетъ такую жизнь? — тихо спросила она.

— Ахъ, всѣ они такую жизнь ведутъ, — отвѣтила генеральша.—Вонъ и онъ не лучше живетъ, — указала она на Муратова.

Онъ хотѣлъ что-то возразить, но она продолжала:

— Это очень естественно, но зачѣмъ онъ наводитъ этихъ пьяныхъ санкюлотовъ сюда... Хохочутъ, точно какихъ-то чудовищъ увидали. Ты слышала, Catiche, что онъ это о ковчегѣ говорилъ?.. Ноевъ, говоритъ, ковчегъ прибылъ изъ экспедиціи на Араратъ... Очень остроумно!.. Я свою карету изъ Вѣны выписала; такихъ каретъ во всемъ Петербургѣ двѣ: у меня и у княгини Елены Павловны...

— Я ничего не слыхала,—скромно отвѣтила tante Catiche, потупляя глаза.

— Дуракъ, совсѣмъ дуракъ!—пробормотала генеральша.— Да и какъ не поглупѣть! Ему бы «дурака» на его слова сказать надо, а эти голодные санкюлоты хохочутъ, ну, онъ и думаетъ, что онъ уменъ... Ноевъ ковчегъ изъ экспедиціи на Араратъ... Нѣтъ, знаешь, Catiche, я теперь не стану ѣздить въ этой каретѣ. Ей-Богу! Она агасировать мои нервы будетъ. Вѣдь эти санкюлоты вездѣ разскажутъ это, и люди начнутъ пальцами указывать: «вонъ генеральша Сухарева въ Ноевомъ ковчегѣ изъ экспедиціи на Араратъ ѣдетъ». Просто сказкой города сдѣлаешься изъ-за милѣйшаго сынка...

Муратовъ поспѣшилъ кое-какъ перемѣнить разговоръ и минутъ черезъ пять успѣлъ разсѣять недоброе настроеніе генеральши, не умѣвшей долго сердиться. Когда онъ ухо-

дилъ, общество было уже попрежнему весело, только Юлія Николаевна продолжала размышлять о недавней сценѣ. Ей было непріятно, что она два дня сряду видѣла своего брата полупьянымъ, что два дня сряду онъ обращался къ ней съ какими-то предложеніями «просвѣтить ее», что два дня сряду она не понимала сущности его рѣчей, угадывая чутьемъ, что въ этихъ рѣчахъ кроется что-то пошлое и грязное. Ей теперь хотѣлось выйти поскорѣе замужъ, чтобъ вырваться и изъ общества сестры, и изъ общества брата.

XII.

Николай Петровичъ Аносовъ пріѣхалъ домой изъ русскаго театра въ самомъ скверномъ настроеніи духа. Онъ всегда не долюбливалъ Муратова, какъ пустого кутилу, какъ человѣка опаснаго для мужей, какъ очень небогатаго господина, вертѣвшагося около богатыхъ, какъ лучшаго друга покойнаго Виктора Сухарева, имѣвшаго не малое вліяніе на свою семью. Теперь же онъ начиналъ ненавидѣть этого человѣка, подозрѣвая, что онъ надѣется жениться на Юліи Николаевнѣ. Аносовъ зналъ, что Муратовъ росъ съ покойнымъ братомъ Юліи Николаевны, что старуха Сухарева говорила ему «ты», что Юлія Николаевна называла его «кузеномъ», что ему легко было вскружить голову этой дѣвочкѣ. Аносовъ боялся этого брака: онъ вообще готовъ былъ засадить Юлію Николаевну въ дѣвушкахъ, чтобы опекать ее, но менѣе всего желалъ онъ отдать ее замужъ за бѣдняка, который можетъ потребовать и потребуетъ подробныхъ отчетовъ по имѣнію. Этихъ отчетовъ не провѣряли ни тринадцатилѣтній Александръ Сухаревъ, учившійся въ модномъ пансіонѣ, ни восемнадцатилѣтній Яковъ Сухаревъ, не научившійся вообще ни русской грамотѣ, ни счетной части, ни Юлія Николаевна Сухарева, не знавшая размѣровъ своего состоянія, ни сама генеральша Сухарева, говорившая, что она готова всѣмъ переплатить сотни и тысячи за то, чтобы только не заниматься «этою математикою». А между тѣмъ эти счеты были довольно интересны: взявъ за женою тысячъ сорокъ или сорокъ пять ежегоднаго дохода, Аносовъ, такъ же, какъ и его отецъ, не считалъ безполезнымъ прибавить къ этимъ доходамъ еще десятокъ тысячъ изъ доходовъ опекаемыхъ, въ сущности, и имъ, и его отцомъ Сухаревыхъ. Аносовъ предчувствовалъ, что такой человѣкъ, какъ Муратовъ, женившись на Юліи Николаевнѣ, постарается освѣтить всѣ эти мелочи опеки и

попечительства и открыть глаза Сухаревымъ. Аносовъ, какъ дѣлецъ и практикъ, очень хорошо понималъ, что чѣмъ презрительнѣе онъ относился прежде къ Муратову, тѣмъ язвительнѣе постарается послѣ Муратовъ отплатить ему. Если бы онъ и желалъ мужа для Юліи Николаевны, то желалъ какого-нибудь кутилу въ родѣ своего брата Жоржа или графа Риво, которые не знали счета даже своимъ собственнымъ деньгамъ. Вслѣдствіе этого его не могло не раздражать то обстоятельство, что на балу у Сухаревой Муратовъ слишкомъ горячо бесѣдовалъ съ Юліей Николаевной и что онъ явился съ семьею Сухаревыхъ въ ложѣ въ театрѣ. Онъ вошелъ домой хмурый и раздраженный.

— Представь себѣ, какую новую безтактность совершила твоя мать,—проговорилъ онъ женѣ, раздражительно срывая перчатки и садясь къ чайному столу.—Мало того, что она была съ Жюли въ русскомъ театрѣ, такъ еще явилась въ ложѣ въ сопровожденіи этого развратника!

— Какого?—спросила струсившая Марья Николаевна.

— Конечно, Муратова, вашего милаго кузена,—съ грубой ироніей произнесъ мужъ.—Что подумаютъ въ обществѣ? Прославятъ женихомъ! Вѣдь ни для кого же не тайна, что онъ вамъ седьмая вода на киселѣ и что онъ не можетъ сопровождать вашу семью въ качествѣ родственника по баламъ и въ театры.

Марья Николаевна сидѣла, потупившись, какъ виноватая. Она вообще стушевывалась при мужѣ, помня очень хорошо, какъ въ первые годы ея замужества онъ останавливалъ ее на каждомъ шагу, говоря ей одну и ту же фразу: «это вы не у своей ли матери учитесь такъ поступать?» Къ несчастью, онъ всегда былъ правъ, и Марьѣ Николаевнѣ оставалось только покоряться, сознавая, что она не умѣетъ говорить, не умѣетъ вести себя, не знаетъ приличій общества. Развѣ въ домѣ ея матери можно было научиться всему этому?

— Да, глубокое несчастіе запастись подобною матерью!—проговорилъ Аносовъ, точно дѣло шло о какой-нибудь взятой по найму ключницѣ.—Мало того, что она сама не умѣетъ себя держать, она портитъ и дѣтей. Прекрасные результаты выйдутъ для Юліи Николаевны изъ сближенія съ этимъ негодяемъ. Онъ ее, конечно, увлечетъ. Вы, кажется, тоже когда-то очень нѣжно называли его кузеномъ?—язвительно усмѣхнулся Аносовъ.—И то сказать, какъ же не

увлечься имъ! Молодъ, красавчикъ, болтать умѣетъ,—чего же еще нужно для какой-нибудь дуры въ родѣ Жюли.

— Я ее предостерегала,— нерѣшительно начала Марья Николаевна.

— Э, Боже мой, что значатъ ваши предостереженія!— разсердился Аносовъ.—Нужно было подчинить ее своему вліянію. У тебя инициативы, энергіи нѣтъ. Ты что дѣлала? Наставляла, проповѣдовала и только? Это скучно, сухо, ординарно. Нужно было заставить ее полюбить себя, привязать къ себѣ, сдѣлаться твоею ученицею. Правда, на это нуженъ природный умъ, на это нуженъ тактъ. Сухаревы этимъ, кажется, не отличаются.

Марья Николаевна сидѣла, какъ убитая. Теперь она не походила на ту выдрессированную, холодную и сдержанную свѣтскую женщину, какою являлась она въ салонахъ. Но вліяніе суровой домашней школы, въ которой ее выдрессировали въ послѣдніе годы, имѣло свою силу даже въ эти горькія минуты. Сознавая, что ее оскорбляютъ и унижаютъ, Марія Николаевна умѣла не плакать и не волноваться, по крайней мѣрѣ, внѣшнимъ образомъ. Она сидѣла молча и слушала, старалась уловить указаніе, какъ нужно ей дѣйствовать дальше.

— Недоставъ только, чтобы этого мерзавца дѣйствительно объявили женихомъ вашей сестры,—продолжалъ Аносовъ.—Это будетъ прекрасно! Нищій, развратникъ, мотъ захватитъ ея капиталъ, чтобы убить его на какихъ-нибудь Каминокъ и потомъ пустить по-міру жену! Это все нужно разсказать, разъяснить ей. Нужно вырвать ее изъ дому ея матушки. Вѣдь этотъ домъ сдѣлался давно сказкой города. Это какой-то притонъ развратниковъ и проходимцевъ, какихъ-то кутящихъ юнкеровъ и лизоблюдовъ-художниковъ, пѣвцовъ и актрисъ. Я ни за что не поручусь, чего бы не могло сдѣлаться съ твоей сестрой въ этомъ домѣ, особенно если она попадетъ въ руки Муратову. Онъ и не такихъ дуръ губилъ. Нужно отдалить его хоть на-время. Онъ долго ждать не можетъ, у него запутаны дѣла, и онъ не просуществуетъ и этой зимы.

Марья Николаевна продолжала соображать.

— Я кое-что мелькомъ слышалъ о его векселяхъ, онъ вездѣ долженъ. Черезъ годъ онъ будетъ, вѣроятно, уже не опасенъ, потому что его раньше выгонятъ въ отставку, запрячутъ въ долговое, и хорошо еще, если только туда. Недаромъ онъ пересталъ въ послѣднее время кутить. Отъ этой

жизни не отрезвляются такъ вдругъ безъ серьезной причины. Я полагаю, что его дни сочтены, и когда настанетъ день расплаты за прошлое, можетъ-быть, онъ отвертится не легко. Такіе господа способны на все—и на поддѣлку векселей, и на всякія мошенничества...

— Ты слышалъ что-нибудь?—спросила Марья Николаевна.

— Я не сыщикъ, чтобы выслѣживать этихъ господъ. Но я думаю, что, зная ихъ вообще; можно впередъ сказать, на что они способны...

Аносовъ допилъ чай и шумно всталъ изъ-за стола.

— Я надѣюсь, что завтра же ваша сестра будетъ здѣсь,— отчетливо проговорилъ онъ, уходя изъ столовой.

Марья Николаевна промолчала. Она напрягала теперь всѣ свои умственныя силы, чтобы сумѣть вырвать сестру изъ дома матери. Ей вспомнилось теперь, что черезъ два дня назначенъ балъ у графа Баскакова, куда давно уже были приглашены и она, съ мужемъ и сестрою. Это былъ отличный предлогъ увезти сестру.

На другой день по-утру она была уже у матери.

— А я за тобой, Julie, пріѣхала,—сказала она сестрѣ, здороваясь съ нею и съ матерью.—Завтра балъ у Баскаковыхъ, и мы должны ѣхать.

— Я не хотѣла бы,—сказала Юлія Николаевна.

— Нельзя, душа моя! Ты знаешь, что графъ твой grand-oncle, и ты его обидѣла бы, если бы не была на ихъ первомъ балу. Онъ, кажется, и балъ-то устраиваетъ ради тебя, и мнѣ было очень досадно, что maman сдѣлала балъ у себя. Тебѣ было бы удобнѣе показаться впервые свѣту на балу у Баскаковыхъ. У нихъ собирается такое избранное общество... Намъ нужно будетъ заѣхать съ тобой въ магазины за различными мелочами. Платье для этого бала уже, я думаю, готово. Его надо только примѣрить.

Отказаться отъ бала Юліи Николаевнѣ было нельзя. Старуха Сухарева тоже уговаривала ее ѣхать. Она сама очень рѣдко бывала у Баскаковыхъ, гдѣ ей казалось слишкомъ скучно, и ея посѣщенія къ нимъ были визитами въ будни, утромъ, когда Баскаковы были одни. Старуха чувствовала себя не на своемъ мѣстѣ въ ихъ кругу, хотя и не высказывала этого, говоря просто, что она не любитъ этихъ «чопорныхъ аристократовъ».

— Наши боевые генералы не такъ выглядѣли, какъ эти паркетные дипломаты,—говорила она не безъ гордости.— Мой генералъ такъ и по-французски не зналъ. Разъ, когда

покойный государь обратился къ нему на французскомъ языкѣ, онъ только и могъ отвѣтить: «не конпранъ па, государь!» Его такъ потомъ и звалъ государь «генераломъ не конпранъ па».

Но, гордясь простотой «боевыхъ генераловъ», генеральша считала необходимымъ, чтобы Юлія Николаевна поддерживала связи со всѣми домами высшаго круга въ Петербургѣ, куда можно было попасть черезъ Аносова и графовъ Баскаковыхъ. Собираясь ѣхать къ сестрѣ, Юлія Николаевна шепнула матери, чтобы та поскорѣе прислала за нею. Черезъ полчаса она уже сидѣла въ каретѣ сестры.

— Какъ я рада, Julie, что ты опять ѣдешь ко мнѣ,— замѣтила Марья Николаевна ласковымъ тономъ.—Я не говорю о томъ, что я привыкла къ твоему присутствію у насъ, что мнѣ безъ тебя скучно. Я не настолько эгоистка, чтобы держать тебя при себѣ ради своего удовольствія. Но я, право, боюсь, когда ты гостишь у maman.

— Боишься?—спросила Юлія Николаевна.

— Да. Ты еще дитя, милое, наивное дитя, а тамъ... Скажи откровенно... Jacques былъ всѣ эти дни, по обыкновенію, пьянъ?

Юлія Николаевна промолчала. Послышался вздохъ Марьи Николаевны.

— Бѣдная maman, она совсѣмъ не умѣетъ справляться съ нимъ! Что его ждетъ—я и подумать боюсь... И, вѣрно, опять натащилъ съ собою этихъ негодныхъ кутилъ—Риво, Жоржа, Броницына... Знаешь, я разъ слышала ихъ бесѣды—мнѣ противно стало. Все это пошло, глупо, безнравственно, цинично. Ни одного умнаго слова, ни одной дѣльной фразы. И то сказать: эти люди едва писать умѣютъ!.. Вѣдь про Жака анекдотъ ходитъ, что онъ въ словѣ изъ трехъ буквъ четыре ошибки дѣлаетъ и пишетъ *ьсчо*, вмѣсто *еще*... Если это и неправда, то это вполнѣ возможно... Это вѣдь совсѣмъ оглупѣвшіе, отупѣвшіе люди... Вотъ почему я боюсь оставлять тебя въ этой средѣ... Ты молода, ты неопытна и легко можешь совершенно погибнуть тамъ.

Юліи Николаевнѣ вспомнились слова Муратова. Онъ говорилъ то же, что говоритъ ея сестра.

— Вѣдь эта среда погубила и Муратова, — продолжала Марья Николаевна.—Онъ запутался, опошлился, погибъ среди этой молодежи, и теперь для него нѣтъ выхода, хотя онъ былъ и не глупъ, и не тупъ...

Юлія Николаевна вспыхнула.

— Пожалуйста, не говори такъ о кузенѣ Пьерѣ!—воскликнула она.—Ты его совсѣмъ не знаешь! Онъ ненавидитъ этихъ людей, онъ стремится вырваться изъ этого пошлаго круга.

— Это онъ самъ тебѣ говорилъ?—спросила Марья Николаевна.

— Да!

— И ты повѣрила? Онъ это готовъ повторить каждой неопытной дѣвушкѣ, чтобы разжалобить ее. Я вѣдь его давно знаю и знаю всѣ его пріемы. Сперва пробудитъ къ себѣ участіе, состраданіе, жалость, а тамъ одинъ шагъ до любви. Это старая, старая пѣсня. У него просто денегъ нѣтъ, и ему нужна богатая невѣста, чтобы забрать въ руки ея состояніе и потомъ продолжать ту же самую разгульную жизнь...

— Не говори, не говори мнѣ о немъ!—горячо перебила Юлія Николаевна.—Ты его ненавидишь, потому ты такъ и говоришь...

— Совсѣмъ не потому, а потому, что я знаю, сколько женщинъ онъ погубилъ,—холодно возразила Марья Николаевна.—Ему ничего не стоитъ увлечь дѣвушку или женщину, чтобы потомъ ее бросить. Этимъ людямъ ничего не стоитъ поклясться въ любви и послѣ насмѣяться надъ тѣми, которыя имъ вѣрятъ.

— Ты такъ говоришь, точно онъ самой тебѣ признавался когда-то въ любви и обманулъ тебя,—замѣтила Юлія Николаевна.

— Я никогда не принадлежала къ числу тѣхъ женщинъ, съ которыми смѣютъ играть въ любовь подобные люди,—сухо отвѣтила Марья Николаевна.

— И ты за это сердишься на него?—спросила Юлія Николаевна.

— Ты забываешься! Что за тонъ у тебя явился? Это, наконецъ, становится невыносимымъ! Съ тобой нельзя говорить, не напрашиваясь на дерзости!

Марья Николаевна была внѣ себя отъ негодованія. До этой минуты ей ни разу не приходило въ голову, что она когда-нибудь любила Муратова, что ей было бы лестно услышать отъ него признаніе въ любви, что ей было обидно его невниманіе къ ней, и все-таки слова сестры задѣли ее за живое, глубоко оскорбили ее, точно сестра угадала какую-то тайну, о которой не знала и сама Марья Николаевна. Ей даже вспомнилось, что и ея мужъ сдѣлалъ ей вчера та-

кой же намекъ. Съ чего это они выдумали? Развѣ она имъ признавалась въ своихъ сердечныхъ тайнахъ? Развѣ она не была всегда одинаково холодна съ Муратовымъ? Она пробовала увѣрить себя, что дѣйствительно она всегда считала кузена Пьера не кузеномъ, а чужимъ. Ужъ не хвасталъ ли онъ ея неравнодушіемъ къ нему? Вѣдь отъ него всего можно ожидать. Она еще долго не могла успокоиться и бранила Муратова. Но Юлія Николаевна уже отвернулась отъ сестры. Она не хотѣла ее слушать. Карета, между тѣмъ, подъѣхала къ дому. Юлія Николаевна печально входила въ этотъ домъ, гдѣ все было какъ-то чинно, парадно, неуютно. Молодая дѣвушка уже заранѣе чувствовала, что ее ожидаетъ здѣсь скука. Но кромѣ этой скуки ей грозили еще большія непріятности: она готовилась выслушивать постоянныя нападенія на Муратова. Она впередъ знала сущность этихъ нападеній: Муратовъ бѣденъ и потому гонится за ея богатствомъ, Муратовъ велъ безпутную жизнь и потому онъ долженъ погибнуть, Муратовъ обманывалъ женщинъ и потому обманетъ и ее. Все это она знала впередъ, потому что самъ Муратовъ сказалъ ей, что ей будутъ говорить это про него. Говоря ей это, онъ и не думалъ отрицать, что онъ бѣденъ, что онъ стоитъ на краю пропасти, что онъ провелъ безпутно жизнь,—но онъ теперь каялся и просилъ состраданія. Мари говоритъ, что это ложь. Но какъ же узнать правду, кому вѣрить послѣ того? Если бы онъ лгалъ, онъ не сталъ бы высказывать откровенно своихъ недостатковъ. Юлія Николаевна думала и передумывала и постоянно приходила къ одному и тому же заключенію, что Мари возненавидѣла Муратова и потому бранитъ его.

Николай Аносовъ былъ правъ, говоря женѣ, что она не сумѣла подчинить себѣ сестру, и что въ этомъ было главное несчастіе. Дѣйствительно, Юліи Николаевнѣ досаждали наставленія Марьи Николаевны, ее томила скука въ этомъ домѣ, ей недоставало здѣсь грѣющей ласки, и она не могла быть откровенною съ сестрою, не могла вѣрить искренности сестры. Она относилась къ сестрѣ, какъ къ сухой и строгой классной дамѣ, которую хотѣлось обмануть, отъ которой хотѣлось ускользнуть, которой хотѣлось сдѣлать что-нибудь на зло. При такихъ отношеніяхъ каждое нападеніе Марьи Николаевны на Муратова подливало только масла въ огонь.

Первое время въ этомъ домѣ прошло для Юліи Николаевны еще сносно. Приготовленія къ балу и самый балъ у Баскаковыхъ наполнили время. На этомъ балу Юлія Николаевна

даже была очень весела и счастлива, увидавъ въ числѣ гостей кузена Пьера. Среди танцевъ онъ много говорилъ съ нею. Зашла, между прочимъ, рѣчь о томъ, что она опять гоститъ у сестры.

— Во враждебномъ лагерѣ,—замѣтилъ онъ.

— Да; скажите, кузенъ, почему она васъ такъ не любитъ?—еще разъ спросила Юлія Николаевна.

— Марья Николаевна любитъ всѣхъ тѣхъ, кого любитъ ея мужъ,—замѣтилъ Муратовъ.

— А онъ васъ почему не любитъ?

— Потому, что онъ не любитъ всѣхъ тѣхъ, кто можетъ полюбить васъ.

— Меня? Я васъ не понимаю.

— Онъ боится вашего замужества, потому что ему выгодно быть вашимъ опекуномъ.

Она подняла на него глаза.

— Деньги, деньги и вездѣ деньги на первомъ планѣ,— проговорилъ онъ.—Васъ называютъ дѣвочкой, васъ держатъ какъ дѣвочку, васъ рѣдко вывозятъ, чтобы вы не вздумали выйти замужъ. Вамъ бранятъ меня, потому что вы, вѣроятно, имѣли неосторожность похвалить меня. Скажите, что вы влюбились въ кого-нибудь другого,—начнутъ бранить и его... Впрочемъ, что толковать объ этомъ: будемъ терпѣливо ждать и надѣяться, пропуская мимо ушей всѣ толки, всѣ слухи, всѣ интриги. Знайте только одно, кузина: если вамъ будутъ рисовать черными красками мое прошлое, — представляйте его себѣ еще черпѣе; если вамъ будутъ рисовать черными красками мое будущее,—не забывайте, что и свѣтъ, и тьма этого будущаго зависятъ отъ васъ и только отъ васъ.

Онъ съ грустнымъ видомъ дружески пожалъ ей руку.

Она совсѣмъ повеселѣла,—она была вполнѣ убѣждена, что нельзя лгать такимъ искреннимъ тономъ. Она была въ этотъ вечеръ счастлива и весела, видя, что и ея кузенъ теперь болѣе оживленъ, чѣмъ на балѣ у ея матери, и зная, что онъ обязанъ этимъ оживленіемъ ей, одной ей.

Но балъ кончился, впереди стояли дни скуки, одиночества, холодныхъ встрѣчъ, упорныхъ разговоровъ. Ей теперь было опять жаль дома ея матери: тамъ шла глупая, безалаберная, безпутная и пошлая жизнь, но тамъ можно было, не стѣсняясь, пѣть, смѣяться, бѣгать, дѣлать все, чего требуетъ настоятельно организмъ ребенка, какимъ въ сущности была еще Юлія Николаевна; тамъ можно было обнимать и цѣловать и кружить по комнатѣ и всеслую генеральшу-мать, и

добродушно-сентиментальную tante Catiche, и даже толстяка-брата, безпутнаго, кутящаго, недалекаго по уму, испорченнаго, но, въ сущности, простого и добраго малаго, не безъ удовольствія готоваго подурачиться съ «сестренкой»; тамъ, наконецъ, можно было видѣть его, кузена Пьера. Юлія Николаевна переживала именно ту пору, когда человѣку нужно все это—и дѣтскія шалости, и сердечныя ласки родныхъ, и первый лепетъ любви гдѣ-нибудь въ уголку, украдкой, на одно мгновенье, съ легкимъ пожатіемъ руки, можетъ-быть, съ пугливымъ поцѣлуемъ, а здѣсь... Здѣсь вѣчно торчитъ передъ ея глазами высохшая и неприступная миссъ Дальтонъ съ своими однозвучными «yes», «no» и «so», однозвучными, какъ біеніе ея сердца, засохшаго среди невольной дѣвственности, составлявшей и предметъ озлобленія, и предметъ гордости безобразной англичанки. Здѣсь вѣчно слышатся сухія, холодныя и педантическія замѣчанія сестры о «неприличіяхъ», о томъ, «что не принято», о томъ, что «безтактно», какъ будто люди живутъ въ свѣтѣ именно для того, чтобы носить какія-то тяжелыя вериги, безъ всякаго разумнаго сознанія пользы и необходимости этихъ веригъ. Здѣсь является на минуты сдержанный, отрывисто-говорящій, не терпящій возраженій хозяинъ дома съ внѣшнимъ лоскомъ завзятаго богатаго столичнаго офицера и съ душой азіатскаго деспота, считающаго всѣхъ живущихъ въ его домѣ своими рабами. Здѣсь приводятся къ матери и къ отцу въ урочные часы, въ урочныя минуты нарядныя, накрахмаленныя, выглаженныя, какъ куклы, дѣти, чтобы сказать: сегодня: «Bonjour, maman! Bonjour, papa!» чтобы повторить завтра то же самое по-нѣмецки, а послѣзавтра по-англійски, повторить вовсе не потому, что имъ такъ хочется, а потому, что имъ такъ велятъ, у нихъ же нѣтъ ни своей воли, ни своихъ желаній, ни своихъ мыслей, такъ какъ все для нихъ давно уже сдѣлано, приготовлено, пригнано, портными, модистками, сапожниками, гувернантками, боннами, учителями и всѣмъ другимъ людомъ, получившимъ подрядъ отъ ихъ родителей поставлять все необходимое для этихъ «порядочныхъ дѣтей».

— Прочтите этотъ романъ, это произведеніе знаменитаго нашего Фильдинга,—говоритъ миссъ Дальтонъ Юліи Николаевнѣ, и Юлія Николаевна начинаетъ читать «Томъ Джонсъ».

Романъ длиненъ, онъ говоритъ о чуждыхъ ей людяхъ, о давно прошедшей жизни, а въ ея головѣ вертятся мысли: «Какая-то жизнь начнется для меня, если я выйду замужъ?

Кузенъ Пьеръ говоритъ, что онъ жилъ дурно. Я понимаю, что и мама живетъ дурно. Я ненавижу и жизнь Мари. Но какъ же лучше жить?» Томъ Джонсъ не даетъ на это отвѣтовъ.

— Вамъ нравится нашъ чудный Фильдингъ?—спрашиваетъ миссъ Дальтонъ.

— Онъ скученъ,—коротко отвѣчаетъ Юлія Николаевна.

Миссъ Дальтонъ сдвигаетъ брови.

— Имъ восхищалось нѣсколько поколѣній лучшихъ людей Европы,—замѣчаетъ она не безъ ядовитости.

— Я, вѣроятно, принадлежу къ худшимъ людямъ,—грустно улыбается Юлія Николаевна, смотря на величественное выраженіе безобразнаго лица старой дѣвы.

Она уходитъ въ другую комнату, подходитъ къ окну и присаживается на бѣлый мраморный подоконникъ, смотря на улицу, гдѣ снуетъ народъ, гдѣ происходитъ какая-то сцена съ жалкой клячей, не имѣющей силы сдвинуть съ мѣста возъ.

— Julie!—окликаетъ ее сестра.—Что ты дѣлаешь?

— Я? Ничего! Смотрю вотъ на улицу, несчастная лошадь тамъ,—разсѣянно отвѣчаетъ дѣвушка.

— Сойди, пожалуйста, съ окна. Я удивляюсь, что у тебя за привычки!

— А развѣ на окнѣ нельзя сидѣть?—улыбается Юлія Николаевна.

— Я думаю!—отвѣчаетъ Марья Николаевна.

— Отчего, Маша?

— Это не принято

— Да? Но отчего же не принято, Маша?

Марья Николаевна пожимаетъ плечами. Въ сущности, она и сама не знаетъ, почему это не принято, ей даже никто и не говорилъ, что это не принято, но она чувствуетъ, что это не принято, и не можетъ допустить этого въ своемъ домѣ.

— Маша, есть такая книга, гдѣ было бы написано все, все, что прилично и что не прилично, что принято и что не принято?—спрашиваетъ веселымъ тономъ Юлія Николаевна.

— Я думаю, въ насъ самихъ долженъ быть тотъ тактъ, который подсказываетъ, что слѣдуетъ дѣлать и чего не слѣдуетъ дѣлать,—сухо замѣчаетъ Марья Николаевна.

— Маша, когда-нибудь, хоть въ мои годы, являлось ли у тебя желаніе поступить такъ, какъ не принято, сдѣлать то, что другіе считаютъ неприличнымъ?..

— Ты говоришь глупости!—пожимаетъ плечами Марья

Николаевна.—Мало ли, что дѣлаютъ дѣти, дѣвочки, но чтобы останавливать ихъ—существуютъ бонны, гувернантки...

Но Юлія Николаевна уже не слушаетъ ее.

Солнечные лучи, упавшіе на молодую дѣвушку, или воспоминаніе о первомъ шопотѣ Муратова: «я васъ люблю» согрѣваютъ молодое сердце, и Юлія Николаевна начинаетъ пѣть, ходя по комнатѣ.

— Ты бы сѣла за рояль и спѣла что-нибудь,—замѣчаетъ Марья Николаевна сестрѣ.

— Не хочется, Маша, пѣть!—отзывается Юлія Николаевна.

— Но ты же поешь,—говоритъ сестра.

— Я? Развѣ я пѣла?—удивляется Юлія Николаевна, даже не подозрѣвавшая, что она пѣла вслухъ.

— Ну да, конечно, пѣла,—говоритъ сестра.—Гораздо же лучше сѣсть за рояль и пѣть, если хочется, чѣмъ пѣть ходя...

Юлія Николаевна, вся сіяющая, улыбается и, остановясь передъ сестрой, плутоватымъ тономъ говоритъ:

— Это, вѣрно, опять-таки не принято, Маша?

— Ну да!—разсѣянно отвѣчаетъ сестра.—Это напоминаетъ «дѣвичью»...

Юлія Николаевна хохочетъ.

— Маша, Маша, ты все, точно монахиня съ монастырскимъ уставомъ, съ свѣтскими приличіями возишься! Брось ихъ, забудь ихъ, Маша, когда мы однѣ... Мнѣ жить хочется... всѣмъ жить хочется... Вѣдь и тебѣ хочется жить?.. Да?.. Да?..

Она тормошитъ сестру за плечи.

— Ахъ, оставь меня, пожалуйста!—раздражительно отвѣчаетъ та.—У тебя все еще остались эти институтскія привычки... наивности...

Юлія Николаевна утихаетъ, садится и задумчиво глядитъ на сестру, продолжающую вышивать по канвѣ полосу для церковной лампады.

— Маша, счастлива ты?—спрашиваетъ она вдругъ теплымъ, задушевнымъ тономъ.

— Я? Что за вопросъ!—удивляется Марья Николаевна и пожимаетъ плечами.

— Нѣтъ; ты не счастлива!—уже утвердительно замѣчаетъ Юлія Николаевна.—Счастливыя такъ не могутъ жить!

— Какъ такъ жить?—спрашиваетъ съ удивленіемъ Марья Николаевна.

— Да вотъ такъ, какъ ты!.. Ты вотъ вышиваешь... Почему? Потому что тебѣ скучно... Ты всегда одна, потому что

ты не смѣешь пойти къ мужу, который занятъ дѣломъ, и къ дѣтямъ, потому что у нихъ вѣчно тоже идутъ занятія... Тебѣ не съ кѣмъ говорить, некого любить.

— Что ты выдумываешь?—восклицаетъ Марья Николаевна, опять подергивая плечами.

— Да, да, тебѣ некого любить!—настаиваетъ на своемъ сестра.—Мужъ не любитъ лишнихъ ласкъ, дѣтей ты боишься избаловать ласками, ласкать меня—не прилично, потому что это сентиментальности... мѣщанскія нѣжности... Ахъ, Маша, Маша, я умерла бы отъ такой жизни!.. Да, умерла бы!.. Вотъ мнѣ стало весело—я запѣла, а ты—ты вѣдь не смѣешь запѣть въ своемъ собственномъ домѣ...

Марья Николаевна усмѣхнулась, какъ усмѣхаются въ отвѣтъ на глупость, сказанную ребенкомъ.

— Ты двадцать разъ слышала, какъ я пою,—замѣтила она.

— Да, за роялемъ!.. Нѣтъ, а такъ, безъ рояля, ходя, вѣдь ты не смѣешь запѣть!

— Ахъ, ты начинаешь мнѣ надоѣдать!—немного раздражилась Марья Николаевна.

— Да, не смѣешь!—настойчиво повторила сестра.—Не смѣешь вотъ встать и пойти къ дѣтямъ, обнять, расцѣловать ихъ, потому что миссъ Дальтонъ скажетъ, что это оторветъ ихъ отъ правильныхъ занятій, развлечетъ ихъ, нарушитъ ихъ внимательность... А вѣдь ты тоже мать, Маша!

Марья Николаевна опустила на колѣни вышивку и устремила на сестру сверкнувшіе гнѣвомъ глаза.

— Ты, кажется, намѣренно дразнишь меня,—сдержанно проговорила она.—Ты думаешь, что имѣешь дѣло съ одной изъ своихъ институтскихъ подругъ, которую можно «встравить», какъ вы выражаетесь на вашемъ институтскомъ жаргонѣ! Но ты ошибаешься! Я на тебя смотрю, какъ на глупую и настойчивую дѣвочку.

Марья Николаевна поднялась съ мѣста и хотѣла выйти изъ комнаты.

— Маша, прости, я тебя огорчила!—проговорила Юлія Николаевна съ навернувшимися на глаза слезами и подошла къ сестрѣ.—Я давно замѣчаю, какъ тебѣ тяжело жить!

Марья Николаевна остановилась при первыхъ словахъ сестры, но конецъ фразы словно обжегъ ее. Она отвела отъ себя сестру движеніемъ руки и проговорила:

— Да, я стала несчастлива съ тѣхъ поръ, какъ ты поселилась у меня.

Она вышла.

Она говорила правду. До сихъ поръ ей не приходила въ голову мысль, что ее задѣла когда-то за живое невнимательность къ ней Муратова, теперь сестра ей сказала: «ты его ненавидишь за то, что онъ никогда не обращалъ на тебя вниманія». До сихъ поръ она никогда не подозрѣвала, что она раба и узница въ своемъ домѣ; теперь сестра ей сказала: «ты несчастна, потому что ты не смѣешь сдѣлать шагу по своей волѣ». До сихъ поръ она не задумывалась о своемъ положеніи, теперь сестра навела ее на эти мысли, и ей было досадно, обидно, больно именно то, что она не могла найти въ себѣ сознанія своего счастія.

Она не имѣла привычки «дуться», потому что, по словамъ ея мужа, это было «мѣщанство», но все-таки за обѣдомъ она не могла говорить съ сестрою. Ее взволновало до глубины души, что сестра, эта дѣвочка, угадала то, чего она старалась не чувствовать, о чемъ она не хотѣла думать, чего она стремилась не замѣчать. Обѣдъ шелъ скучно и вяло, говорилъ только Аносовъ, браня, по обыкновенію, Якова Сухарева, своего брата Жоржа, графа Ривo, Муратова и всю золотую молодежь, передавая ея новыя продѣлки. По обыкновенію, онъ ушелъ изъ-за стола ранѣе другихъ.

— Маша, тебѣ пріятно слушать, какъ каждый день бранятъ брата?—спросила Юлія Николаевна.

— Ты опять хочешь вывести меня изъ терпѣнія?—спросила Марья Николаевна, сдерживая свой гнѣвъ.

— Нѣтъ, но я тебѣ хотѣла сказать, что вотъ и мнѣ такъ же непріятно, когда ты бранишь кузена Пьера,—спокойно замѣтила Юлія Николаевна.

— Ужъ не влюблена ли ты въ него?—съ ироніей спросила Аносова.

— Можетъ-быть. Во всякомъ случаѣ, я люблю его, какъ родного.

— Это не дѣлаетъ чести твоему вкусу,—усмѣхнулась Марья Николаевна.

— Да вѣдь и ты, вѣроятно, любила его прежде,—просто отвѣтила Сухарева.

— Я?—съ горячностью спросила Аносова, и по ея лицу разлилась краска.

— Да! Для чего ты отрекаешься отъ этого? Онъ росъ съ тобой, ты звала его кузеномъ. Твой мужъ, вѣрно, разссорилъ васъ. Я, право, не удивилась бы, если бы ты была теперь его женой. Онъ хорошъ, ласковъ, мягокъ, онъ берегъ бы тебя и не третировалъ бы, какъ служанку...

Марья Николаевна не выдержала. Ея лицо сдѣлалось блѣдно, глаза сверкали, грудь дышала тяжело.

— Я тебѣ запрещаю говорить подобныя вещи мнѣ!— почти крикнула она, забывая всѣ приличія. — Я тебѣ запрещаю... не твое дѣло... счастлива ли я... съ кѣмъ бы я была счастлива...

Она судорожно сжала въ рукахъ батистовый платокъ и стиснула зубы. Юлія Николаевна замѣтила на ея глазахъ слезы. Она опустила голову и тихо прошептала:

— Бѣдная Маша!

XIII.

Эта сцена открывала теперь Юліи Николаевнѣ глаза. По крайней мѣрѣ, ей самой такъ казалось. Молодая дѣвушка угадывала причину ненависти сестры къ Муратову. Сестра любила его, сестра была несчастлива тѣмъ, что вышла замужъ не за него, а за Аносова. Молодой дѣвушкѣ вспомнились теперь сцены давно прошедшаго дѣтства, когда молоденькая Маруся и такой же молоденькій кузенъ Пьеръ вмѣстѣ танцовали, вмѣстѣ играли и иногда убѣгали слишкомъ далеко въ глубину сада на дачѣ Сухаревыхъ. Ей вспомнилось, какъ Маруся вышла замужъ за Аносова по предложенію покойнаго отца, грустно говоря, что она боится своего жениха. Ей вспомнилось потомъ, какъ ея и безъ того робкая сестра стала еще пугливѣе послѣ замужества, какъ она стала сторониться отъ кузена Пьера, отъ своего старшаго брата, отъ матери, какъ она говорила ей, Юліи Николаевнѣ, своей двѣнадцатилѣтней сестрѣ, что та ведетъ себя неприлично, что у нихъ, у Сухаревыхъ, въ домѣ ведется глупая и пошлая жизнь, что въ свѣтѣ такъ не принято жить, что ее, дѣвочку, нужно отдать въ институтъ. Далѣе Юлія Николаевна ничего не знала, что дѣлалось въ ихъ домѣ, поселившись въ институтѣ. Когда она вышла изъ института, ее увезли за границу, потомъ... потомъ она встрѣтила кузена Пьера въ домѣ сестры и услыхала отъ сестры, что его не слѣдуетъ звать кузеномъ, что онъ погибшій человѣкъ, что сестра его ненавидитъ.

— Ненавидитъ! Она его любитъ! Она ненавидитъ теперь своего мужа!— рѣшила теперь молодая дѣвушка.

Она шла впотьмахъ, ощупью, дѣлая разные выводы безъ чужой помощи. Насколько она заблуждалась, насколько она была права, — этого не могъ ей сказать никто: одни были такъ же недальновидны и неопытны, несмотря на

свои годы, какъ она; другимъ она не вѣрила; третьи видѣли свою выгоду въ извращеніи передъ нею истины. Добравшись, какъ ей казалось самой, до истинной причины ненависти Марьи Николаевны къ Муратову, Юлія Николаевна отрѣзала сестрѣ возможность освѣтить передъ нею Муратова истиннымъ свѣтомъ. Съ одной стороны, сама Марья Николаевна боялась теперь говорить о немъ, чтобы не услышать отъ сестры: «Ты его еще любишь! ты ревнуешь!» Съ другой стороны, Юлія Николаевна стала бы пропускать мимо ушей все, что могла сказать о немъ ея сестра, «которая его любила сама». Да и что могла ей сказать новаго про Муратова ея сестра? Что онъ кутила, что онъ Донъ-Жуанъ, что онъ губилъ своей любовью женщинъ, что онъ бѣденъ? Но развѣ не грезились уже Юліи Николаевнѣ въ дѣвическихъ снахъ, какъ чудные герои, Онѣгинъ, Печоринъ, Демонъ, Донъ-Жуанъ? И они губили женщинъ, и они вели разсѣянную, бурную жизнь, и ихъ ненавидѣли и проклинали. Но развѣ ихъ образы не обольстительны, развѣ поэты не окружили ихъ сіяніемъ? «Онъ первый коноводъ вездѣ»; «гдѣ онъ, тамъ и веселье»; «его на части рвутъ въ обществѣ»,—вспоминались ей слова матери, слышанныя ею еще въ институтѣ, и она еще болѣе убѣждалась, что онъ принадлежитъ къ числу этихъ натуръ, которыя проносятся надъ обществомъ, какъ кометы. Марья Николаевна могла бы, можетъ-быть, сказать ей, что онъ просто пошлъ и пустъ. Но развѣ она повѣрила бы этому? Не онъ ли откровенно бранилъ пустоту своей жизни, не онъ ли съ грустью замѣчалъ о мелочности жизни Марьи Николаевны и ея мужа? Юлія Николаевна еще не жила, не видѣла людей и не знала, что въ нашъ вѣкъ самый пошлый изъ пошлыхъ людей можетъ сыпать какія угодно фразы, драпироваться въ какую угодно одежду, играть какую угодно роль.

Но, раздумывая о Муратовѣ, Юлія Николаевна все болѣе и болѣе тяготилась тѣмъ, что она его не видитъ, что она о немъ не слышитъ. Ее все болѣе и болѣе тянуло въ домъ матери. Къ несчастію, ея мать уже была у Аносовыхъ два раза и оба раза не застала дочерей дома. Наконецъ, она пріѣхала, когда обѣ дочери были дома. Юлія Николаевна чуть не заплакала отъ радости, увидавъ мать.

— Я поѣду къ тебѣ,—сказала она рѣшительнымъ тономъ.

Марья Николаевна изумилась.

— Помилуй, Julie, пельзя же тебѣ жить то у насъ, то у maman,—возразила она.—Это неудобно и неловко.

Юлія Николаевна взглянула на нее съ улыбкой.

— И неприлично?—добавила.—Но я для тебя же хочу уѣхать къ maman, чтобы ты была нѣсколько счастливѣе.

Марья Николаевна сдвинула брови.

— Ты все глупости говоришь!—проговорила она.

— Нѣтъ, вѣдь ты сама сказала, что ты стала несчастна съ того дня, когда я поселилась у тебя, — отвѣтила Юлія Николаевна.

Генеральша была какъ на горячихъ угольяхъ, чувствуя, что начинается семейная сцена. Но Юлія Николаевна быстро вышла, чтобы одѣться.

— Maman, неужели вы ее возьмете? — спросила Марья Николаевна.

— Ты видишь, ей хочется,—замялась генеральша.

— Она страшно испорчена, капризна и своенравна.

— Юля-то!—воскликнула генеральша.—Что ты, что ты!

— Ахъ, вы ничего не замѣчаете по своей добротѣ,— сказала Марья Николаевна недовольнымъ тономъ.—Ее нужно выправить. Я ей же желаю добра. Съ своимъ характеромъ она не уживется ни съ какимъ мужемъ.

Въ эту минуту явилась Юлія Николаевна, уже совсѣмъ готовая къ отъѣзду.

— Такъ ты все-таки ѣдешь? — спросила Марья Николаевна.

— Да,—отвѣтила Юлія Николаевна.

Марья Николаевна закусила губу: ей представилась сцена, которую сдѣлаетъ ей мужъ, когда узнаетъ объ отъѣздѣ сестры. Въ ея головѣ промелькнула мысль, что она и удерживаетъ сестру у себя не ради своего собственнаго желанія, а изъ страха передъ гнѣвомъ мужа. Эта мысль раздражала ее теперь.

— Я надѣюсь, maman, что вы завтра же завезете ее опять къ намъ, — обратилась она къ матери. — Ей нужно учиться, нужна практика англійскаго языка...

— Хорошо, хорошо!—обрадовалась генеральша мирному окончанію семейной бесѣды и встала.

Черезъ двѣ-три минуты экипажъ старухи Сухаревой уносилъ ся дочь отъ дома Аносовыхъ.

— Я, мама, не поѣду болѣе къ нимъ,—рѣшительно сказала Юлія Николаевна.

— Какъ же такъ? — смутилась и въ то же время обрадовалась мать.

— Просто не поѣду, вотъ и все! Я твоя дочь, я должна

жить у тебя, а не у чужихъ. Что они не довѣряютъ тебѣ, что ли? Я не хочу этого! Всѣхъ только бранятъ... и Жака, и... кузена Пьера...

Юлія Николаевна вдругъ любовно взглянула на мать.

— Мама, онъ былъ? у насъ?—спросила она, улыбаясь.

— Былъ...

— Я ничего о немъ не знала болѣе двухъ недѣль...

— Онъ три раза былъ у Маши и никого не заставалъ дома...

— Гадкіе, гадкіе, они отказывали ему! Они хотятъ, чтобы я не видала его, потому что имъ нужно распоряжаться нашимъ имѣніемъ.

— Юля! — упрекнула ее мать, не любившая толковъ о деньгахъ.

— Да, да, имъ наши деньги нужны,—я это знаю!.. То-есть не имъ, мама, не Машѣ, а ея... медвѣдю!—закончила Юлія Николаевна и захохотала.—Ахъ, мама, какой онъ ворчунъ! Придетъ это къ столу и начинаетъ: «хорошъ нашъ братецъ, опять выдалъ векселей на десять тысячъ и еще устроилъ скандалъ!.. Разбилъ зеркала въ какомъ-то ресторанѣ!.. Точно купеческіе сынки на нижегородской ярмаркѣ!.. Хоть бы фамилію не маралъ...» А самъ, мама, брови этакъ нахмуритъ и надувается, какъ индѣйскій пѣтухъ...

Генеральша уже хохотала. Ей опять было весело слушать болтовню веселаго молоденькаго существа. Она такъ скучала въ эти двѣ недѣли, какъ никогда. Ее даже не смѣшили въ эти дни выходки сына и болтовня заѣзжавшей къ ней Левиной. Но Юлія Николаевна была еще счастливѣе матери: она чувствовала, что она вырвалась на свободу, на настоящую свободу, гдѣ ожидали ее свиданія «съ нимъ».

Муратовъ явился въ тотъ же вечеръ. Юлія Николаевна чуть не бросилась къ нему на шею.

Начались для нея лучшіе дни ея жизни послѣ выхода изъ института: устраивалась ли у матери импровизированная вечеринка съ смѣшаннымъ обществомъ, въ которомъ присутствовали и Левина съ дочерью, и двѣ-три небогатыя подруги Юліи Николаевны, которыхъ отыскала ея мать, и графъ Риво, и младшій Аносовъ, и Сухаревъ, и Муратовъ, оставались ли всѣ члены семьи въ своемъ кругу, при чемъ мать и тетка играли въ пикетъ, а она съ нимъ, съ кузеномъ Пьеромъ, садилась за рояль, играла и пѣла, смѣялась

или читала какой-нибудь новый французскій романъ; бралась ли ложа во французскомъ театрѣ или русской оперѣ и они ѣхали всѣ вмѣстѣ въ театръ, а потомъ за чаемъ толковали о видѣнномъ и слышанномъ; наставалъ ли понедѣльникъ, ихъ абонементный день въ итальянской оперѣ, и она опять сидѣла въ ложѣ, постоянно оборачиваясь къ нему, слыша сзади себя его шопотъ, его дыханіе,—вездѣ и всегда ей было хорошо, хорошо и хорошо, потому что онъ былъ съ нею. Что нравилось ей въ Муратовѣ? Его стройная фигура и красивое лицо съ страстными глазами, съ вьющимися волосами? Его умѣнье задушевно пѣть или умѣнье ловко танцовать? Его оживленная, нѣсколько насмѣшливая свѣтская болтовня или его грустныя, прочувствованныя, искреннія жалобы на свое убитое прошлое? Его умѣнье, вмѣсто благодарности, пожать руку, вмѣсто словъ объясниться глазами, вмѣсто выраженія сожалѣнья вздохнуть? Или, можетъ-быть, ей нравилось въ немъ и то, чего въ немъ не было и что навязывало ему ея воображеніе? Какъ бы то ни было, она любила его съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе и уже въ ея воображеніи нерѣдко рисовались картины ихъ свѣтлой супружеской жизни.

Но что же это за жизнь? Она этого не знала и передъ ней носился какой-то розовый туманъ, какая-то область свѣта, гдѣ будетъ жить и наслаждаться она любовью своего мужа. Но что такое любовь мужа? Вѣдь и теперь онъ ее любитъ, для чего же онъ стремится поскорѣе жениться на ней, для чего ей самой хочется выйти поскорѣе за него замужъ? Почему въ романахъ всѣ любовники стремятся соединиться узами брака, и, когда соединятся, авторъ обрываетъ романъ? Должно-быть, въ этомъ есть что-то таинственное, что-то непередаваемо-свѣтлое, лучезарное? О, когда онъ скажетъ ей «ты моя жена»,—какъ сильно, сильно забьется у нея сердце, предчувствуя начало новаго блаженства любви. Когда она думала обо всемъ этомъ, въ ней пробуждался и непорочный ребенокъ, и институтка, наслушавшаяся полубезсмысленныхъ толковъ подругъ о любви, и дѣвушка, уже испытавшая какой-то сладкій трепетъ при чтеніи всѣхъ этихъ поэмъ, повѣстей, романовъ, гдѣ любовь ставилась на первый планъ, точно въ ней была вся цѣль жизни, точно ею исчерпывался весь смыслъ общественныхъ отношеній.

Въ обществѣ, между тѣмъ, уже громко начинали говорить, что Муратовъ женихъ Сухаревой. Ихъ видѣли по-

стоянно вмѣстѣ въ ложѣ, ихъ видѣли катающимися въ сопровожденіи старухи Сухаревой по Невскому — этого было довольно для возбужденія толковъ. Всѣ завидовали Муратову и потому всѣ порицали эту партію. Старшій Аносовъ выходилъ изъ себя и дѣлалъ сцены женѣ, хотя изъ этого не выходило никакой пользы. Марья Николаевна не могла ничего подѣлать и сознавала только все яснѣе и яснѣе, что сестра права, называя ее «несчастной». Мало того, въ душу Марьи Николаевны начинало закрадываться сознаніе, что она, Марья Николаевна, дѣйствительно была бы въ тысячу разъ счастливѣе, если бы она была женою Муратова, а не Аносова. Ее начинали больно колоть упреки и выговоры мужа, его вѣчныя и грубыя выходки насчетъ того, что «немудрено, если Жакъ Сухаревъ ведетъ себя безобразно, если старуха Сухарева поступаетъ безтактно, если Жюли начинаетъ открыто нѣтреничать, такъ какъ чего же и ждать отъ семьи людей, играющихъ въ свѣтѣ роль parvenus, чуть не вчера вышедшихъ изъ мужицкаго дома господина Распопова, Протопопова или какъ его тамъ звали вашего дѣдушку».

«Зачѣмъ же онъ на мнѣ женился? — думалось ей. — Онъ говоритъ, что Муратовъ женится на Юліи ради денегъ. А онъ? Развѣ онъ любитъ меня? Развѣ онъ когда-нибудь любилъ меня? Да, сестра права, что я несчастна. Но что же мнѣ дѣлать? Теперь тужить поздно, надо покориться, надо дѣлать то, что ему хочется. Но какъ же исполнить его требованія насчетъ Жюли? Всѣ говорятъ о ея свадьбѣ, и я не могу этого передѣлать, не могу помѣшать свадьбѣ».

А толки все росли и росли. Предметъ былъ интересный: Сухаревыхъ въ столицѣ немного и не толковать о такой невѣстѣ было невозможно! Муратовъ не поддерживалъ ходившихъ толковъ, но и не опровергалъ ихъ: онъ старался рѣже являться въ обществѣ, чтобы дотянуть кое-какъ до свадьбы. Его денежныя средства были плохи, занимать еще у Кречмера онъ боялся, а свадьба была еще далеко: рождественскій постъ еще не кончился.

XIV.

Муратовъ никому не говорилъ о своей приближавшейся женитьбѣ, но онъ думалъ, мечталъ о ней ежедневно.

Мысль о ней сдѣлалась его idée fixe, отъ которой онъ не могъ оторваться, ради которой онъ позабывалъ все остальное. Ему казалось, что эта женитьба должна сразу

его поставить на новый путь, загладить всѣ слѣды его прошлаго. Изъ денегъ жены онъ уплатитъ всѣ свои долги, выкупитъ у Кремчера векселя, даже ссудитъ молодому Аносову деньги на выкупъ векселей этого юноши, могущихъ надѣлать много непріятностей молодому богачу прежде полученія имъ дѣдовскаго наслѣдства. Будущее рисовалось передъ Муратовымъ въ заманчивыхъ краскахъ: мирная семейная жизнь съ молодой женой-красавицей; роскошная обстановка ихъ семейнаго очага; богатство, дающее возможность играть видную роль въ свѣтѣ и сдѣлать карьеру,— вотъ тѣ идеалы, къ которымъ онъ теперь стремился. Онъ, какъ мальчикъ, мечталъ, что онъ будетъ счастливъ и что будутъ счастливы всѣ окружающіе его, что онъ будетъ жить весело, но безъ кутежей, безъ попоекъ, безъ разврата, что онъ не будетъ отказывать себѣ въ комфортѣ, но не будетъ мотомъ, расточителемъ. Ему казалось, что именно такая жизнь и должна быть цѣлью каждаго человѣка, что, достигнувъ ея, человѣкъ достигаетъ высшаго блаженства на землѣ.

Онъ уже теперь предвкушалъ сладость этого блаженства, сидя въ роскошныхъ гостиныхъ сухаревскаго дома, разъѣзжая въ модныхъ экипажахъ своей будущей тещи, сидя въ ея ложѣ около своей будущей жены, сіявшей молодостью, красотою и счастьемъ. Онъ уже теперь говорилъ себѣ, что онъ всталъ на новый путь, не имѣющій ничего общаго со старымъ: онъ говорилъ это потому, что теперь ужиналъ въ обществѣ старухи Сухаревой, своей невѣсты, tante Catiche и тому подобныхъ личностей, а не въ обществѣ Альфонсинъ, Антуанетъ, Камилъ и Пепитъ; онъ говорилъ это потому, что онъ выпивалъ теперь за ужиномъ или за обѣдомъ двѣ-три рюмки столоваго вина въ сухаревскомъ домѣ, а не двѣ-три бутылки шампанскаго въ загородномъ ресторанѣ; онъ говорилъ это потому, что онъ теперь ѣхалъ кататься на тройкѣ съ приличными дамами въ восьмомъ часу вечера, чтобы возвратиться въ одиннадцатомъ часу домой, а не отправлялся изъ берговскаго театра на гульбу въ полночь съ полупьяными юнкерами и кокотками, чтобы быть привезеннымъ домой въ полу-безчувственномъ состояніи на зарѣ. Онъ говорилъ себѣ о новой жизни и вовсе не замѣчалъ, что эта новая жизнь опьяняетъ его точно такъ же, какъ и старая, что по его тѣлу пробѣгаетъ тотъ же знакомый трепетъ животной страсти, когда онъ украдкою сжимаетъ и цѣлуетъ руку своей невѣсты, когда онъ тайкомъ

срываетъ съ ея губъ пугливый поцѣлуй, когда онъ сидитъ въ ложѣ за нею и не спускаетъ разгорающихся отъ сластолюбія глазъ съ ея словно выточенной изъ мрамора шеи и стройныхъ дѣвственныхъ плечъ и груди.

Когда молодой Яковъ Сухаревъ впервые предложилъ своей семьѣ прокатиться по обыкновенію на тройкѣ за городъ на горы, захвативъ и «Сушку», Петръ Павловичъ выразилъ неодобреніе, но когда Сухаревъ сталъ убѣждать, что они поѣдутъ рано и воротятся прежде, чѣмъ соберется на горы другое общество, что они, то-есть онъ, Яковъ Сухаревъ, его мать, tante Catiche, Левина ѣзжали и прежде на подобныя катанья,—Муратовъ согласился, чувствуя сильную потребность катанья за городъ—удовольствія, котораго онъ уже не испытывалъ давно. Впрочемъ, ему казалось, что онъ согласился на предложеніе вовсе не потому, что оно доставляло удовольствіе ему. Нѣтъ, онъ согласился на это потому, что видѣлъ восторгъ Юліи Николаевны, желавшей прокатиться на тройкѣ, представлявшей себѣ это катанье чѣмъ-то особенно интереснымъ, заманчивымъ. Они поѣхали. Онъ сидѣлъ противъ своей невѣсты, онъ любовался ея оживленіемъ, онъ каталъ ее съ горъ; онъ наслаждался, ощущая, какъ крѣпко обвиваютъ его шею ея руки, какъ близко прижалась она къ его спинѣ, какъ она слабо вскрикнула, когда сани начали спускаться. Когда они ѣхали обратно, онъ сидѣлъ рядомъ съ нею, и она, немного озябшая, близко, близко прижалась къ нему; въ темнотѣ онъ обнялъ одною рукою ея станъ, и ему было такъ хорошо.

— Если бы Мари увидала насъ теперь,—шепнула она ему.

Онъ ничего не отвѣтилъ и только крѣпче прижался къ ней.

— Что, Сушка, сомлѣла отъ восторга?—хохоталъ грубымъ смѣхомъ Яковъ Сухаревъ.—Погоди еще, поживешь—погуляешь! У Мари теперь ужъ почивала бы сномъ праведницы послѣ проповѣди кислой настоятельницы семейнаго монастыря.

Ни Муратовъ, ни Юлія Николаевна ничего не отвѣчали. Они подъ полостью саней пожимали другъ другъ руки.

— Поѣдемъ прокатиться вдвоемъ,—приглашалъ Муратовъ Юлію Николаевну въ одинъ изъ звѣздныхъ, ясныхъ зимнихъ вечеровъ.

— На чемъ же? Какъ?—спрашивала она.

— Возьмемъ у брата одного изъ его рысаковъ.

— А мама?

— Что-жъ, ты думаешь, что она не позволитъ?

Рысакъ былъ отданъ въ распоряженіе молодыхъ людей, мать ничего не имѣла противъ ихъ затѣи, такъ какъ Мари и ея мужъ узнать объ этомъ не могутъ, а все остальное очень мало заботило генеральшу. Генеральша въ молодости столько разъ въ жизни сама каталась по вечерамъ съ своимъ женихомъ! Да и съ кѣмъ она не каталась! Она, можетъ-быть, даже жалѣла, что дѣло происходило въ посту и что, вслѣдствіе этого, Муратовъ не могъ «похитить» Юліи Николаевны и обвѣнчаться съ ней тайно во время этой прогулки. Для Юліи Николаевны открывалось новое наслажденіе мчаться въ морозномъ воздухѣ, въ звѣздный вечеръ вдвоемъ «съ нимъ», болтать о чемъ попало, чувствовать, какъ захватываетъ духъ отъ быстрой ѣзды, какъ его рука придерживаетъ ее за талію, какъ близко сидитъ онъ къ ней на узенькихъ санкахъ, какъ онъ порой заглядываетъ съ улыбкой въ ея глаза, наслаждаясь ея счастьемъ. Петръ Павловичъ тоже испытывалъ тѣ ощущенія, которыхъ онъ уже не испытывалъ давно, къ которымъ онъ привыкъ съ дѣтства, безъ которыхъ въ послѣднее время ему было иногда какъ-то не по себѣ. Близость молодого женскаго существа, возможность обвивать рукою этотъ станъ, придерживая свою спутницу, страстный шопотъ любви,—все это волновало, опьяняло, отуманивало его. Возвратившись въ свою квартиру послѣ этой прогулки, онъ бросился на постель и страстно мечталъ о томъ, какъ онъ обожаетъ, какъ онъ любитъ свою невѣсту, какъ хороша она съ разгорѣвшимися отъ морознаго воздуха и страсти щеками, какъ строенъ ея молодой дѣвственный станъ, какъ много наслажденій и счастія обѣщаетъ она ему въ будущемъ. Передъ нимъ мелькали заманчивыя и обольстительныя картины, которыми онъ упивался, какъ давно голодающій обжора, представляющій себѣ тонкій гастрономическій обѣдъ. Онъ не могъ теперь прожить дня, не видавъ ея; онъ искалъ случая побыть съ нею подольше вдвоемъ и долго, долго цѣловать ея руки, мягкія ладони этихъ рукъ, розовые пальчики этихъ рукъ. Разъ какъ-то онъ нагнулся за упавшею книгою, сталъ на колѣни, припалъ къ рукѣ Юліи Николаевны и долго не могъ подняться съ пола, долго не могъ оторвать губъ отъ этой руки. Она сіяла счастьемъ, она чувствовала, что онъ обожаетъ ее, и довѣрчиво отдавалась его ласкамъ, которыя будили въ ней какія-то новыя ощущенія, вызывали радужныя улыбки на ея лицо, заставляли ее улыбаться во снѣ, мечтать по цѣлымъ часамъ по утру въ постели,

откуда ей теперь иногда не хотѣлось подняться, гдѣ хотѣлось ей понѣжиться, полѣниться среди туманныхъ, полуфантастическихъ грезъ. Она уже искала, подобно ему, случая остаться съ нимъ безъ свидѣтелей, читая книгу, обрывать ее на полусловѣ увѣреніями въ любви, разговаривая съ нимъ, припасть головкой къ его плечу.

— Кузенъ, сегодня мы поѣдемъ кататься?—спрашивала она его уже сама.

И они ѣхали на тройкѣ съ обществомъ родныхъ и знакомыхъ или на узенькихъ санкахъ вдвоемъ. Она не сдерживала себя съ нимъ, она была смѣла съ нимъ, какъ бываютъ смѣлы дѣти, играющія въ шаткомъ челнокѣ, срывая въ рѣчонкѣ красивыя головки кувшинокъ; онъ не сдерживался съ нею, потому что вовсе не сознавалъ необходимости сдерживать и скрывать свою любовь, какъ онъ называлъ свое чувство къ ней.

Такъ проходили дни за днями среди театровъ, катаній, пѣнія романсовъ, чтенія романовъ. Это было что-то одуряющее понемногу, что-то наркотическое, глотаемое по каплѣ, безъ перерыва, безъ устали, безъ оглядки. Однажды среди этой жизни, послѣ цѣлаго дня, проведеннаго вмѣстѣ съ Юліей Николаевной, Петръ Павловичъ пригласилъ ее вечеромъ кататься. Это было 14 декабря. Въ прежніе годы Петръ Павловичъ устраивалъ у себя въ этотъ день пиръ, празднуя годовщину своего рожденія. Теперь онъ даже не напомнилъ никому объ этомъ днѣ. Но Яковъ Сухаревъ вспомнилъ объ этомъ во время обѣда и, придравшись къ случаю, приказалъ подать шампанскаго. Всѣ поздравили Петра Павловича.

— Хорошъ, хорошъ, даже и не намекнулъ, что у него сегодня праздникъ,—говорила генеральша.—Я бы хоть гостей позвала, вечеринку устроила бы...

— Для чего напоминать о томъ, что хочется позабыть,— проговорилъ Муратовъ.—Этотъ день я проводилъ прежде такъ глупо, такъ пошло, что мнѣ не хотѣлось и вспоминать о немъ нынче.

— Да, глупо!—воскликнулъ Сухаревъ. — Вѣрьте ему! Прошлаго года мы такой кутежъ въ этотъ день задали, что просто любо-дорого!

— Эти-то кутежи я и называю глупыми и пошлыми,— отвѣтилъ Муратовъ.—Слава Богу, что нынче удалось обойтись безъ всего этого.

— Ну, братъ, ты нынче что-то на Николая Аносова на-

чинаешь смахивать,—засмѣялся Сухаревъ.—Тебѣ бы только жениться; какъ разъ время сдѣлаться благочестивымъ отцомъ семейства.

— Я этого только и хочу,—отвѣтилъ Муратовъ, бросая съ улыбкою взглядъ на Юлію Николаевну.

— Ну, такъ выпьемъ за твое будущее супружеское счастье,—предложилъ тостъ Сухаревъ.

— Да, да, за твое будущее счастье!—повторила весело генеральша.

Бокалы снова наполнились и осушились. Тотчасъ послѣ обѣда пріѣхала Левина. Сухаревъ велѣлъ подать еще шампанскаго, началась оживленная болтовня, и только часовъ въ девять Сухаревъ вспомнилъ, что ему нужно ѣхать. Левина, генеральша Сухарева и tante Catiche усѣлись играть въ ералашъ съ болваномъ. Муратовъ и Юлія Николаевна остались вдвоемъ.

— Я радъ, что я кончаю день моего рожденія вдвоемъ съ тобою,—страстно шепталъ раскраснѣвшійся Муратовъ Юліи Николаевнѣ.—Это, можетъ-быть, предвѣщаетъ, что мы отнынѣ всегда будемъ вмѣстѣ, вдвоемъ...

Онъ нѣжно заглядывалъ ей отуманеннымъ взоромъ въ глаза и цѣловалъ ея руки.

— Поѣдемъ прокатиться!—предложилъ онъ.

— Хорошо,—отвѣтила она.

Черезъ полчаса они уже неслись на узенькихъ санкахъ въ темнотѣ зимняго вечера.

— Да, никогда не проводилъ я этого дня такъ мирно и никогда не былъ такъ счастливъ, какъ теперь,—шепталъ Муратовъ, крѣпко обвивая станъ своей спутницы.—Ты, и только ты виновница этого счастья. Въ былыя времена у меня собиралась въ этотъ день наша кутящая молодежь, ей задавалъ я пиръ, а сегодня я если бы и хотѣлъ имѣть кого-нибудь въ своемъ углѣ, такъ это тебя. Если бы ты была тамъ, мнѣ хоть на минуту показалось бы, что ты уже моя жена, моя хозяйка.

Они ѣхали мимо Гороховой.

— Вотъ и мой домъ, моя убогая холостая квартира,—тихо проговорилъ Муратовъ.—Если бы... Да нѣтъ, я не смѣю и просить тебя взглянуть хоть на минуту на мой уголокъ... Тамъ не мало пережито горя, но счастья—нѣтъ, счастья тамъ никогда не было...

Онъ грустно вздохнулъ и заглянулъ ей въ лицо такимъ нѣжнымъ, такимъ молящимъ взглядомъ.

— Ты хочешь, чтобы я побывала у тебя въ гостяхъ?— шепнула Юлія Николаевна, взглянувъ на него ясными, довѣрчивыми глазами.—Отчего же нѣтъ?... Мы на минутку, на одну минутку... Мы не опоздаемъ домой?..

— Нѣтъ!.. Долго ли заѣхать!—отвѣтилъ онъ.

Ей хотѣлось сдѣлать ему это удовольствіе, подарить ему этотъ подарокъ; ей было даже любопытно взглянуть на его уголокъ. Она вѣдь никогда не видала, какъ онъ живетъ. Онъ быстро приказалъ кучеру вернуться назадъ и пожалъ ей съ благодарностью руку. Сани остановились у подъѣзда. Молодые люди быстро поднялись по лѣстницѣ и подошли къ квартирѣ, гдѣ жилъ Муратовъ.

— А тамъ никого нѣтъ?—спросила Юлія Николаевна, прежде чѣмъ Муратовъ позвонилъ.

— Кому же у меня быть?—отвѣтилъ онъ.

Горничная отворила дверь, и Юлія Николаевна вошла съ Петромъ Павловичемъ въ его гостиную. Онъ торопливо зажегъ свѣчи.

— Ну, здравствуй, моя невѣста, моя жена, моя хозяйка,— проговорилъ онъ ей, цѣлуя ея руки и снимая съ нея теплое, ловко охватывавшее ея талію бархатное пальто.— Теперь у меня праздникъ вполнѣ, первый хорошій праздникъ въ жизни...

Онъ снова цѣловалъ ея руки.

— А у тебя здѣсь мило,—съ дѣтскимъ любопытствомъ осматривала она комнату.—А тутъ что? Это твой кабинетъ?

— Да, и кабинетъ, и спальня... Присядь же, не уноси покоя,—сказалъ онъ, усаживая ее на маленькую оттоманку.

Онъ присѣлъ возлѣ нея и любовался ею. Въ его глазахъ стоялъ какой-то свѣтлый туманъ.

— Хорошая, ненаглядная моя, если бы ты знала, какъ я люблю тебя!—шепталъ онъ, страстно сжимая ее въ объятіяхъ.—Я до сихъ поръ не зналъ, что значитъ любовь, что значитъ счастье. Ты мнѣ дала все, все... А ты? Хорошо тебѣ со мною, вдвоемъ, вдали отъ всѣхъ?

— Да,—тихо прошептала она, склонившись къ нему на плечо.

Она о чемъ-то размечталась, она думала, что вотъ такъ они будутъ сидѣть вдвоемъ, когда они обвѣнчаются, тихо и хорошо будетъ имъ, никто не придетъ помѣшать ихъ счастью, некого имъ будетъ бояться, не нужно имъ будетъ обманывать другихъ, что они принадлежатъ другъ другу. А онъ все болѣе и болѣе горячо цѣловалъ ее, шепталъ

какія-то рѣчи, полныя любви и счастья. Какія-то новыя ощущенія проснулись въ ней. Она забылась, она забыла, что пора ѣхать домой, пригрѣтая послѣ мороза его объятіями, его ласками.

— Жена моя, чудная моя жена, теперь никому не уступлю я тебя!—страстно шепталъ онъ и крѣпко прижалъ ее къ себѣ.

Въ эту минуту послышались голоса въ сосѣдней комнатѣ.

— Сюда идутъ?—съ испугомъ прошептала, очнувшись отъ забытья, Юлія Николаевна и широко открыла глаза, точно спросонокъ.

— Нѣтъ, это сосѣди, Богъ съ ними,—разсѣянно проговорилъ онъ и еще болѣе страстно сжалъ ее, покрывая поцѣлуями ея шею.

Говоръ въ сосѣдней комнатѣ не умолкалъ.

— Поѣдемъ!—шептала она.

— О, погоди! Я не могу оторваться отъ тебя!—воскликнулъ онъ, и она почувствовала, что она не можетъ подняться. освободиться отъ его объятій.—Что намъ за дѣло до людей, до всего міра! Развѣ мы не мужъ и жена передъ Богомъ?.. Чего намъ стыдиться? Кого намъ бояться? Теперь уже ничто и никто не разлучитъ насъ, и мы имѣемъ право не на одни робкіе поцѣлуи, данные тайкомъ, украдкою... Мы можемъ любить другъ друга открыто, передъ всѣмъ міромъ... Если бы ты знала, какъ мнѣ тяжело сдерживать себя съ тобою, подавляя свою страсть... И для чего эта сдержанность? Любовь приходитъ только разъ въ жизни и нужно ловить эти свѣтлыя мгновенія...

Въ сосѣдней комнатѣ вдругъ раздался громкій смѣхъ.

— Они слышатъ... слышатъ... они надъ нами!—прошептала дрожащимъ отъ стыда и слезъ голосомъ Юлія Николаевна и вдругъ взглянула въ лицо Муратова: оно было совершенно не такимъ, какимъ она привыкла его видѣть; чисто-животная страсть преобразила выраженіе этихъ глазъ; въ этомъ лицѣ и въ этихъ глазахъ выражалась теперь не млѣющая нѣжность, но что-то дикое, деспотическое, необузданное; его губы не слагались въ мягкую улыбку, но были полуоткрыты и изъ нихъ вылетало тяжелое дыханіе.

— Я не отпущу тебя, не отдамъ тебя!—задыхающимся голосомъ говорилъ онъ.

Юлія Николаевна почувствовала, что онъ обвилъ ее, какъ желѣзнымъ кольцомъ, своими руками, прижался къ ней своимъ тѣломъ...

А въ сосѣдней комнатѣ смѣялись еще громче.

— Не надо... не надо... пусти!—быстро рванувшись, освободилась отъ Муратова Юлія Николаевна и, шатаясь, бросилась къ окну, чтобы скрыть свои слезы.

Муратовъ очнулся отъ сильнаго движенія, сдѣланнаго дѣвушкою, и смутился. Онъ чувствовалъ, что онъ дѣйствовалъ въ опьянѣніи, что онъ поступилъ гнусно, что въ немъ проснулся опять прежній развратникъ. Онъ не сразу собрался съ духомъ, чтобы подойти къ Юліи Николаевнѣ, и стоялъ съ опущенной головой, смотря исподлобья на молодую Сухареву, стоявшую лицомъ къ окну. Онъ видѣлъ, какъ нервно вздрагивали ея плечи, какъ торопливо отирала она платкомъ свои глаза; онъ слышалъ, какъ она тихо всхлипывала, стараясь подавить свои слезы. Наконецъ, онъ рѣшился подойти къ ней. Она очнулась при звукѣ его шаговъ и, быстро обернувшись, испуганно прошептала:

— Домой!.. Ради Бога домой!..

Она не смѣла теперь поднять на него глаза, она стыдилась теперь его.

Черезъ двѣ-три минуты они выходили изъ его квартиры; Юлія Николаевна шла, опустивъ глаза въ землю, стыдясь и горничной, отворявшей дверь, и швейцара, стоявшаго на подъѣздѣ, и кучера, подъѣхавшаго къ подъѣзду. Молодые люди молча сѣли въ сани. Муратовъ не рѣшался даже придержать, по обыкновенію, ее за талію, не рѣшался заговорить съ ней. Они быстро доѣхали до дома Сухаревыхъ. Юлія Николаевна прошла въ свою спальню.

— Барышня, чай уже поданъ,—сказала ей горничная.

— Я не пойду къ чаю... Я озябла... напьюсь здѣсь и лягу,—отвѣтила Юлія Николаевна.

Горничная сообщила объ этомъ генеральшѣ.

— Еще бы не озябнуть, столько времени ѣздила,—отвѣтила генеральша.—А это ты все, поди-ка, чуть не до Ташкента продралъ,—замѣтила генеральша Муратову.—Уши бы тебѣ надрать слѣдовало...

— Ахъ, ужъ ихъ не исправить,—захохотала Левина.—Повадился кувшинъ по воду ходить, тамъ ему и голову сломить...

Муратовъ молчалъ и былъ пасмуренъ. Онъ злился на себя. Тотчасъ послѣ чаю онъ уѣхалъ домой.

Юлія Николаевна не спала почти всю ночь. Ей вспомнились всѣ мелочи этого вечера. Хорошо ли она дѣлала, что рѣшилась кататься съ кузеномъ Пьеромъ вдвоемъ? Мари

вѣрно не поѣхала бы вдвоемъ съ своимъ женихомъ, не пустила бы и ее на подобныя катанья. Только здѣсь, въ домѣ ея матери, и сама мать, и братъ Яковъ, и всѣ остальные смотрѣли легко на эти отношенія! Но она, Юлія Николаевна, должна бы смотрѣть посерьезнѣе на эти отношенія, ее столько разъ предостерегали противъ кузена Пьера, она въ сущности мало его знаетъ и должна бы держать себя съ нимъ покуда иначе. Она увлеклась любовью къ нему, она слишкомъ довѣрилась ему. И какъ она рѣшилась зайти къ нему, къ жениху, къ холостому человѣку, на квартиру? Что скажутъ объ этомъ кучеръ, горничная, швейцаръ, за кого сочтутъ ее? Какъ она прежде не подумала объ этомъ? Онъ такъ нѣжно просилъ ее посѣтить его. Съ какою цѣлью? Ну да, онъ любитъ ее и ему хотѣлось видѣть ее у себя. Но зачѣмъ же онъ такъ воспользовался ея легкомысліемъ? Она вздрогнула, вспомнивъ выраженіе его лица, его глазъ, когда онъ обнялъ ее, и ей стало жутко и страшно. Неужели это было выраженіе любви? Развѣ она глядѣла на него когда-нибудь такъ, а вѣдь она его любитъ. Нѣтъ, это не выраженіе любви, это что-то другое. Но что же? Неужели ей придется еще когда-нибудь увидѣть его въ такомъ видѣ? Онъ смотрѣлъ на нее такъ, точно онъ готовъ былъ силой приковать ее къ мѣсту, точно онъ хотѣлъ ей приказать не шевелиться, не возражать, не говорить. О, какъ ей страшно, какъ скверно! Но она поступила, какъ вѣтреная и неопытная дѣвочка, поѣхавъ къ нему, а онъ— вѣдь онъ опытенъ, онъ могъ все предвидѣть, онъ предвидѣлъ все это... Зачѣмъ же онъ везъ ее къ себѣ?.. Ей вспомнился внезапно смѣхъ въ сосѣдней комнатѣ. Они все слышали, они смѣялись надъ ней, они считаютъ, что у Муратова была одна изъ тѣхъ женщинъ, о которыхъ такъ часто говорятъ ея братъ, Аносовъ, Риво, Броницынъ. Можетъ-быть, онъ и ей говорилъ все то же, что говорилъ этимъ женщинамъ, можетъ-быть, онъ обнималъ ее на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ обнималъ ихъ, можетъ-быть, онъ и любитъ ее тою же любовью, какою любилъ ихъ? А смѣхъ все звенѣлъ и звенѣлъ въ ея ушахъ. И кто были эти люди? Можетъ-быть, они знаютъ ее? Они могли ее узнать по рысаку и кучеру ея брата. Они, можетъ-быть, потому такъ и смѣялись. Они могутъ разсказать объ этомъ вездѣ... Господи, зачѣмъ онъ это сдѣлалъ! Какъ она взглянетъ завтра на него? Нѣтъ, она не рѣшится поднять на него глазъ... Вотъ теперь бы уѣхать къ Мари на нѣкоторое время, чтобы позабыть все!..

Ея думамъ не было конца, не было исхода. Она и плакала, и краснѣла, и блѣднѣла, припоминая поразившее ее обстоятельство. На слѣдующій день она выглядѣла утомленною и печальною.

XV.

— Что ты, дѣвочка, нездорова?—спросила мать за завтракомъ.

— Нѣтъ, простудилась, должно-быть, немного... Пустяки!—отвѣтила дочь.

— Не попросить ли доктора?—замѣтила генеральша.

— Ахъ, нѣтъ, не надо... Для чего лѣчиться изъ-за пустяковъ...

— У меня есть отъ простуды гомеопатическія лѣкарства,—замѣтила tante Catiche.—Алопатамъ не слѣдуетъ довѣрять. Они готовы вливать лѣкарство бочками и только вредятъ. Это я уже сколько разъ испытала.

— Нѣтъ, тетя, я обойдусь и безъ алопатовъ, и безъ гомеопатовъ.

Въ эту минуту семейнаго совѣта пріѣхала Марья Николаевна.

— Что это у васъ за разсужденія о докторахъ? — спросила она, здороваясь со всѣми.—Нездоровъ кто-нибудь?

— Да, Юля немного простудилась,—отвѣтила генеральша.

— Да, ты смотришь блѣдною и утомленною,—сказала Марья Николаевна, бросивъ взглядъ на сестру.—Гдѣ же простудилась?

— Каталась, вотъ и простудилась,—замѣтила генеральша.

— Да, кстати, о катаньѣ,—замѣтила Марья Николаевна.—Что это, maman, вы наняли Муратова, чтобы онъ всюду сопровождалъ васъ?

Генеральша не сразу нашла отвѣтъ.

— Васъ вездѣ видятъ съ нимъ и какіе-то злые языки говорятъ, что видѣли даже разъ вечеромъ Julie съ нимъ вдвоемъ,—продолжала Марья Николаевна.—Я васъ должна предупредить, что все это компрометируетъ Julie. Или онъ уже объявленный ея женихъ? Впрочемъ, и въ такомъ случаѣ прогулки вдвоемъ болѣе чѣмъ странны...

Генеральша сидѣла, какъ на горячихъ угольяхъ.

— Ты, Маша, угадала, — отвѣтила тихо Юлія Николаевна.—Я выхожу за него замужъ...

— Какъ?—воскликнула Марья Николаевна.—Выходишь

за него замужъ, не посовѣтовавшись ни съ кѣмъ, не объявивъ никому объ этомъ?

— Да это никого и не касается кромѣ меня и его,— отвѣтила Юлія Николаевна.

— Это касается чести нашей фамиліи!—горячо возразила Марья Николаевна.—Теперь ходятъ Богъ знаетъ какіе слухи и предположенія, потому что никто не знаетъ ничего опредѣленнаго. Мнѣ приходится краснѣть и смущаться, когда меня спрашиваютъ объ отношеніяхъ Муратова къ тебѣ, такъ какъ я не могу ничего отвѣтить положительнаго.

— Теперь ты можешь не краснѣть и не смущаться, такъ какъ я тебѣ сказала свое рѣшеніе,—отвѣтила Юлія Николаевна.

— Ахъ, пожалуйста, не думай, что этимъ и кончается вопросъ о тебѣ!—воскликнула Марья Николаевна.—Мнѣ все равно придется краснѣть за тебя, когда мнѣ будутъ разсказывать, какъ ты ведешь себя въ отношеніи жениха. Невѣста, разъѣзжающая вдвоемъ съ женихомъ по вечерамъ— это мило! Я удивляюсь вамъ, maman, какъ вы допустили все это, какъ вы позволили ей такъ сблизиться, какъ вы согласились на ея бракъ съ нимъ, какъ вы могли все это скрыть отъ меня, отъ моего мужа.

— Мама ни на что не соглашалась,—быстро замѣтила Юлія Николаевна, прежде чѣмъ генеральша собралась съ духомъ отвѣтить.—Мама только разъ и навсегда сказала мнѣ, что я могу выйти замужъ за того, кто мнѣ понравится. Мнѣ понравился кузенъ Пьеръ и я выхожу за него, о чемъ и говорю теперь и тебѣ, и maman.

Марья Николаевна взглянула на мать, желая узнать, знала ли та обо всемъ этомъ прежде. Но генеральша, растерянная и смущенная, выглядѣла такъ, какъ будто и ее ошеломила эта новость.

— Julie, ты еще ребенокъ и тебя не трудно увлечь какому-нибудь Муратову,—горячо заговорила Марья Николаевна. — Онъ обманывалъ и болѣе опытныхъ женщинъ. Ему ничего не стоитъ сказать, что онъ никогда еще не любилъ никого до встрѣчи съ тобою, что только ты открыла ему, что значитъ чувство святой любви, что твой отказъ будетъ для него смертнымъ приговоромъ, что въ твоихъ рукахъ его жизнь и его смерть. Ложь ему ничего не стоитъ.

— Я не имѣю покуда, Маша, никакого права подозрѣвать его во лжи,—тихо отвѣтила Юлія Николаевна, сму-

щенная тѣмъ, что сестра угадала все то, что дѣйствительно говорилъ ей Муратовъ.

— Не имѣешь права?—воскликнула Марья Николаевна.— Да развѣ такъ любятъ? Развѣ любящій человѣкъ не охраняетъ дѣвушку отъ злословія, отъ разныхъ faux pas, отъ невольныхъ промаховъ неопытности? Развѣ любящій человѣкъ, знающій хорошо свѣтъ и условія свѣтской жизни, сталъ бы компрометировать дѣвушку до гласнаго объявленія о ея бракѣ съ нимъ? Развѣ онъ позволилъ бы себѣ пригласить ее кататься съ нимъ вдвоемъ, зная, что это не укроется отъ чужихъ глазъ и наброситъ на нее тѣнь, возбудитъ подозрѣнія? Нѣтъ, нѣтъ, такъ не любятъ! Но ему это нужно, чтобы добыча не выскользнула изъ рукъ, чтобы отступленіе для нея стало невозможнымъ. Чтобы сдѣлать это, онъ не отступитъ ни передъ чѣмъ! Берегись, Julie, онъ еще добьется не того, онъ отыщетъ случай, чтобы погубить тебя окончательно. Тогда, конечно, ты будешь вполнѣ въ его рукахъ, ты волей-неволей будешь должна выйти за него замужъ...

Юлія Николаевна, вся блѣдная и дрожащая, слушала слова Марьи Николаевны безмолвно; эти слова напомнили ей о томъ, что она передумала ночью послѣ вчерашней сцены. Марью Николаевну испугали и смутили блѣдность и смущеніе сестры; какія-то зловѣщія, чисто женскія подозрѣнія и предчувствія пробудились въ ея душѣ.

— Нѣтъ, Julie, ты должна подумать, отказаться отъ него, покуда еще не поздно, покуда еще возможно,—сказала она.— Ты знаешь, что я желаю тебѣ добра, что я говорю это изъ любви къ тебѣ.

— Этого нельзя,—отрицательно покачала головой Юлія Николаевна.

— Нельзя? — вырвался изъ груди Марьи Николаевны вопросъ, походившій на слабый крикъ испуга.

Юлія Николаевна встала.

— Ты, Маша, слишкомъ поздно начала говорить мнѣ о своей любви ко мнѣ,—съ горькой ироніей отвѣтила Юлія Николаевна.—Можетъ-быть, если бы я прежде знала, что ты любишь меня, я не искала бы любви перваго встрѣчнаго ласковаго человѣка. А ты вѣдь всегда говорила только, что я капризная дѣвчонка, что я дѣлаю тебя несчастною, что я... Нѣтъ, Маша, ты опоздала со своими признаніями въ любви... Теперь я выхожу за Муратова и не могу не выйти за него...

— Не можешь? Почему? Ради Бога, скажи, что случилось?—взволновалась Марья Николаевна.

Юлія Николаевна бросила на нее ироническій и грустный взглядъ.

— Ничего особеннаго... Только ты же сама сказала, что всѣ уже говорятъ о моихъ вечернихъ катаньяхъ съ нимъ,—отвѣтила она.—Можетъ-быть, скоро будутъ говорить о моихъ визитахъ къ нему... мало ли о чемъ могутъ говорить... могутъ назвать падшей дѣвушкой... вѣдь у васъ тамъ, въ свѣтѣ, такіе зоркіе глаза, такіе злые языки...

Юлія Николаевна, едва сдерживая рыданія, вышла изъ столовой. Марья Николаевна стояла, какъ пораженная громомъ. Ея женское воображеніе быстро создало самую мрачную картину паденія сестры. Она почти не сомнѣвалась теперь въ томъ, что Муратовъ привелъ въ исполненіе хитро задуманный имъ планъ. Ей стало страшно.

— Что это все значитъ? Я рѣшительно ничего не понимаю!—наконецъ проговорила она, обращаясь къ матери.—Объясните мнѣ, что тутъ у васъ дѣлается.

— Я не знаю, что тебѣ объяснять,—замѣтила растерявшаяся отъ всей предшествовавшей сцены генеральша.—Ты слышала, кажется, что она полюбила Муратова и хочетъ выйти за него замужъ...

— Но вѣдь это невозможно! этого нельзя допустить!—съ волненіемъ проговорила Марья Николаевна.—Неопытная дѣвочка увлеклась первымъ встрѣчнымъ, но ей нужно разъяснить, что это за человѣкъ, что ее ждетъ въ будущемъ... Ахъ, Богъ мой, этого ничего не случилось бы, если бы она жила у меня, а не у васъ... Да нѣтъ, это все надо поправить, надо разстроить эту свадьбу!..

— Не поздно ли?—простодушно замѣтила Сухарева.

Марья Николаевна бросила на мать испуганный взглядъ.

— Развѣ и вы что-нибудь подозрѣваете?—торопливо спросила она.—Меня поразило выраженіе лица Julie, ея слова такъ странны, она въ такомъ возбужденномъ состояніи... Я просто теряюсь, неужели онъ успѣлъ настолько завлечь ее, что отступленіе уже невозможно?.. Скажите, вы отпускали ее съ нимъ когда-нибудь одну?..

Генеральша, совсѣмъ смутившаяся, не знала, что отвѣтить.

— Я, право, не понимаю, изъ-за чего ты такъ волнуешься,—проговорила она, не отвѣчая на вопросъ дочери.—Муратовъ нисколько не хуже другихъ, и если Юля любитъ его, то и пусть выходитъ за него. Съ кѣмъ она будетъ

счастлива или несчастлива—впередъ трудно сказать. Я мѣшать ея свободѣ не буду. Не мѣшала же я тебѣ выйти за Nicolas, хотя особеннаго расположенія я сама не чувствовала къ нему, да и онъ едва ли хоть сколько-нибудь привязанъ ко мнѣ...

— Вы сравниваете Nicolas съ какимъ-то негодяемъ!— запальчиво воскликнула Марья Николаевна.

— Ну, это еще вопросъ, негодяй ли Муратовъ. Онъ просто кутила, какъ и вся нынѣшняя молодежь... Впрочемъ, что говорить о томъ, что уже сдѣлано.

Генеральша поднялась съ мѣста.

— Ты меня извини, мнѣ сегодня непремѣнно нужно выѣхать утромъ,—сухо сказала она дочери и простилась съ ней.

Генеральшѣ хотѣлось поскорѣй отдѣлаться отъ Марьи Николаевны, потому что она не знала, что говорить, какъ отстаивать Юлію Николаевну, какъ оправдывать себя. Но если генеральша чувствовала себя въ самомъ скверномъ положеніи, то Марья Николаевна чувствовала себя еще хуже. Она рѣшительно не знала, какъ она объяснитъ своему мужу всю эту исторію, что онъ прикажетъ ей дѣлать, какъ станетъ ее упрекать и бранить. Она пріѣхала домой разстроенная и блѣдная. Мужъ явился къ обѣду.

— Ты была у своей матери?—спросилъ онъ.

— Была,—отвѣтила она.

— Сестру не привезла?

— Нѣтъ.

— Но ты говорила имъ о слухахъ, которые ходятъ въ городѣ?.. Я сегодня опять слышалъ чортъ знаетъ что...

— Говорила...

— Ну, и что же?

Марья Николаевна едва переводила духъ. Наконецъ, она собралась съ силами и сказала:

— Julie рѣшилась выйти замужъ за Муратова...

— Что-о?—проговорилъ Аносовъ, сдвигая брови.—Выйти замужъ за этого шалопая? Да кто ей позволитъ? Этого никогда не будетъ. Ты завтра же поѣдешь къ матери и привезешь сюда сестру.

— Она не поѣдетъ.

— Я тебѣ говорю, что ты должна ее привезти сюда! Или и ты желаешь этого брака? Этого только недоставало! Впрочемъ, именно тебѣ я и обязанъ тѣмъ, что твоя сестра выходитъ замужъ за этого мерзавца. Ты не умѣла повліять на нее, подчинить ее себѣ. Но теперь ты должна разстроить

этотъ бракъ. Мы должны помѣшать ему,—слышишь: должны!

Марья Николаевна пугливо взглянула на мужа.

— Я думаю, не поздно ли теперь,—тихо замѣтила она.—Дѣло, кажется, зашло слишкомъ далеко...

— Что-о?—хмуро спросилъ Аносовъ, зорко взглянувъ на жену.—Дѣло зашло слишкомъ далеко? Милая семейка, гдѣ сынъ-молокососъ наводитъ въ домъ своей матери всякую сволочь изъ мужчинъ и женщинъ, гдѣ дочь-дѣвчонка заводитъ шашни съ первымъ попавшимся мерзавцемъ! Это отлично, это превосходно! Сухаревы и безъ того сдѣлались уже сказкой города... Но я вамъ долженъ замѣтить одно: если бы дѣло зашло даже дальше, чѣмъ вы предполагаете, то и тогда этотъ бракъ надо разстроить. Пусть лучше она всю жизнь просидитъ въ дѣвкахъ, чѣмъ выйдетъ замужъ за Муратова. Я этого не хочу, я этого не могу допустить. Я знаю его цѣли и планы: ему хочется посчитаться со мною, только это ему не удастся... никогда не удастся...

Аносовъ въ волненіи бросилъ на столъ салфетку, всталъ изъ-за стола и зашагалъ по комнатѣ, потирая руки.

— Да, но что же дѣлать?—спросила Марья Николаевна.

— Надо затянуть, отсрочить свадьбу, и тогда ея не будетъ вовсе,—отвѣтилъ мужъ.—Муратовъ виситъ на волоскѣ, онъ не проживетъ и полугода, у него долговъ больше, чѣмъ волосъ на головѣ; я увѣренъ, что есть фальшивые векселя... Затянуть свадьбу—и конецъ весь, тогда бояться нечего. Надо только привезти сестру сюда, не оставлять ее у вашей почтенной матушки... Чѣмъ скорѣе это будетъ сдѣлано, тѣмъ лучше... Слышите?

Аносовъ вышелъ изъ столовой. Марья Николаевна опустила голову: ей предстояло исполнить такую трудную задачу, что она совсѣмъ упала духомъ. Она знала впередъ, что сестра теперь не поѣдетъ къ ней.

Не менѣе Марьи Николаевны были встревожены и всѣ остальныя дѣйствующія лица этой семейной исторіи, и въ особенности Юлія Николаевна. Она упрекала себя за вѣтреность, ей стыдно было встрѣтиться съ Муратовымъ, она стала бояться его, она вдругъ перестала представлять себѣ въ розовомъ свѣтѣ ту таинственную жизнь, которая должна начаться для нея послѣ брака: ее теперь даже пугала мысль о томъ, что она послѣ брака останется вдвоемъ съ нимъ, съ Муратовымъ, какъ она осталась съ нимъ вдвоемъ вчера, и что онъ будетъ выглядѣть такимъ же, какимъ онъ былъ вчера въ ту минуту, когда она убѣжала

отъ него, испугавшись выраженія его глазъ, его тяжелаго дыханія, его насильно и больно сжимавшихъ ее желѣзныхъ объятій. Вечеромъ Муратовъ зашелъ къ Сухаревымъ. Юлія Николаевна едва отвѣтила на его пожатіе руки, она не поднимала на него глазъ, она старалась не быть съ нимъ съ глазу на глазъ. Но въ концѣ вечера генеральша, ничего не замѣчая, сказала Муратову:

— Нездоровится мнѣ сегодня... Все изъ-за тебя. Мари была тутъ и сцену сдѣлала, узнавъ о твоемъ предложеніи... Я пойду къ себѣ... болтайте одни...

Она вышла изъ комнаты, оставивъ молодыхъ людей вдвоемъ. Муратовъ наклонился къ Юліи Николаевнѣ.

— Вы сердитесь на меня?—спросилъ онъ тихо.

— Нѣтъ,—отвѣтила она, глянувъ въ сторону.

— Нѣтъ, я вижу, что вы сердитесь! Я, дѣйствительно, виноватъ передъ вами. Вчерашняя исторія не даетъ мнѣ покоя. Всему виною это шампанское... моя страсть...

Юлія Николаевна, покраснѣвшая и смущенная, чуть не заплакала.

— Зачѣмъ... зачѣмъ,—прошептала она:—вы напоминаете объ этомъ...

— Я долженъ оправдать себя въ вашихъ глазахъ... Если бы вы знали, какъ я люблю васъ, какъ мнѣ тяжело быть сдержаннымъ съ вами...

Юлія Николаевна уже плакала.

— Если я пережила этотъ вечеръ,—съ горечью и упрекомъ въ голосѣ проговорила она:—то зачѣмъ же еще разъ унижать меня, напоминая о немъ!..

Муратовъ только тутъ понялъ свою оплошность.

— Это жестоко... Это надо было забыть... Объ этомъ не надо было вспоминать никогда, а вы...

Юлія Николаевна не кончила фразы и въ смущеніи поднялась съ мѣста.

— Простите мою мужскую безтактность, — проговорилъ Муратовъ.

Но Юлія Николаевна уже не слушала его: она тихо вышла изъ комнаты. Ей теперь среди слезъ вспомнились слова сестры, что онъ не любитъ ее, что онъ не умѣетъ любить, что любящій человѣкъ охраняетъ репутацію дѣвушки, что любящій человѣкъ не заставитъ дѣвушку краснѣть отъ стыда. Слово «развратникъ», часто слышанное Юліей Николаевной отъ сестры, вертѣлось теперь въ ея головѣ и она никакъ не могла понять вполнѣ его смысла,

но смутно угадывала, что, должно-быть, именно такъ любятъ развратники, какъ любитъ Муратовъ, что они готовы на все, только бы увлечь, покорить избранную ими женщину, хотя бы это губило ея репутацію, хотя бы это доставляло ей непріятность, хотя бы это заставляло ее краснѣть отъ стыда. Тяжелѣе всего для Юліи Николаевны было то, что ей не съ кѣмъ было посовѣтоваться, некому было передать свои тревоги и сомнѣнія и нужно было идти ощупью, наугадъ къ тѣмъ или другимъ выводамъ и заключеніямъ, сомнѣваясь въ ихъ правдѣ. Она ощущала что-то въ родѣ того, что у нея ускользаетъ изъ-подъ ногъ почва.

XVI.

Другая жизнь шла въ это время въ квартирѣ Зиминыхъ. Зиминъ все еще не вставалъ, не поправлялся, медленно угасая. Софья Дмитріевна, можетъ-быть, и свыклась бы съ его болѣзнью, какъ свыкаются въ теченіе времени со всѣмъ на свѣтѣ, и съ горемъ, и съ радостью, если бы она могла почаще видѣть своего «Петю». Но онъ теперь не являлся по цѣлымъ недѣлямъ и, являясь, говорилъ ей все одно и то же, о томъ, что стыдно и грѣшно имъ думать о любви, когда за стѣной умираетъ ея мужъ. Мало того, Зиминъ, несмотря на болѣзнь, не забывалъ о денежныхъ дѣлахъ: онъ не только держалъ подъ подушкой ключи, не только толковалъ съ докторомъ Фростомъ объ акціяхъ, но и помнилъ, что онъ ежедневно несетъ убытки, закрывъ свою кассу ссудъ.

— Ma tante, вы предлагали ходить за мной, — сказалъ онъ однажды, когда къ нему по обыкновенію зашла старуха-тетка.—Тогда я отказался... Но это было сдѣлано въ надеждѣ, что я скоро встану... Теперь болѣзнь затянулась...

Софья Дмитріевна едва переводила духъ.

— Соня одна не можетъ справиться,—окончилъ больной.

— Я, кажется, не жаловалась, — робко начала Софья Дмитріевна.

— Не то! — раздражительно замѣтилъ онъ. — Развѣ ты можешь жаловаться!.. Но у насъ закрыта касса... Мы терпимъ убытки...

— Ты самъ же велѣлъ ее закрыть,—опять начала жена.

— Ну да, велѣлъ, потому что одной нельзя и за больнымъ ходить, и въ кассѣ сидѣть,—опять раздражался онъ.—Но нельзя же ради моей болѣзни отвадить кліентовъ... Вы, ma tante, можете ей помочь... Приходите днемъ къ намъ...

— Ты знаешь, я готова всегда, — отвѣтила радостно тетка.—Я уже походила на своемъ вѣку за больными...

— Да, да... А ты будешь заниматься попрежнему въ кассѣ,—обратился больной къ женѣ.

— Но тебя будутъ безпокоить звонки,—замѣтила она.

— Другой колокольчикъ повѣсь... Да я и плохо слышу... заложило что-то уши... говорятъ, это передъ выздоровленіемъ...

Съ этого дня тетка безвыходно проводила дни у Зимнихъ, уходя домой только на ночь. Иногда она оставалась у нихъ и ночевать. Софья Дмитріевна теряла почти всякую возможность видѣть Петра Павловича. Она начинала теперь чувствовать все бо́льшую и бо́льшую ненависть къ мужу. До сихъ поръ ее смягчали еще и примиряли съ мужемъ его страданія, его стоны, его кашель, надрывавшіе душу, пробуждавшіе сожалѣніе. Теперь же она сидѣла по цѣлымъ днямъ за конторкой, не видя этой страшной, долгой и упорной борьбы жизни со смертью, и только негодовала на него, раздумывая по цѣлымъ часамъ о томъ, что онъ служитъ препятствіемъ къ ея счастью. Онъ начиналъ дѣлаться ей противнымъ. Она не могла ѣсть, когда онъ приказывалъ накрыть столъ у его постели, говоря, что у него явится аппетитъ при видѣ, какъ ѣдятъ другіе. Ей было противно и постоянное хрипѣніе мокроты въ его горлѣ, и харканье больного, и то, какъ онъ чавкалъ, съ трудомъ раздвигая челюсти при разжевываніи пищи. По ней пробѣгала дрожь, какъ онъ, желая ее приласкать, прикасался къ ней постоянно влажнымъ отъ сильнаго пота, желтымъ и исхудалымъ лицомъ. Иногда она, точно умышленно стараясь усилить это отвращеніе, всматривалась въ него подолгу, слѣдила за безсознательными гримасами его запекшихся губъ, за конвульсивнымъ движеніемъ его желтыхъ, морщинистыхъ и костлявыхъ рукъ съ длинными пальцами, съ грязными ногтями, за каплями пота, сливавшимися въ струйки на его желтомъ лбу, на его ввалившихся вискахъ. Все, что было некрасиваго, неприглядnаго, противнаго въ этомъ больномъ человѣкѣ, не ускользало теперь отъ ея вниманія, бросалось ей въ глаза, возбуждало въ ней отвращеніе къ нему. Теперь ей казалось, что ея мужъ былъ всегда не лучше, что она всегда чувствовала къ нему отвращеніе не въ одномъ нравственномъ, а и въ чисто-физическомъ отношеніи, и по ея тѣлу пробѣгала дрожь при воспоминаніи о его супружескихъ ласкахъ, о его изнеможеніи въ минуты

страстныхъ признаній, о его безсильныхъ слезахъ у ея ногъ послѣ имъ же нанесенныхъ ей обидъ.

«И Петя хочетъ, чтобы я любила, чтобы я жалѣла его!» — мысленно восклицала она.

Порой, когда тетка уходила на ночь, она посылала къ Петру Павловичу, но отвѣтъ получался одинъ и тотъ же:

— Нѣтъ дома.

«Гдѣ онъ бываетъ? У какихъ-то Сухаревыхъ? Кто эти Сухаревы? Нѣтъ ли тамъ молодой женщины? Не измѣняетъ ли онъ ей, Софьѣ Дмитріевнѣ? Что-жъ, онъ молодъ, онъ почти не видится съ нею, онъ видитъ другихъ женщинъ... О, это все ради него, ради ея мужа дѣлается! Онъ своею болѣзнью разлучилъ ее съ ея Петей!»

Ненависть къ мужу опять поднималась въ ея груди.

«Хоть бы онъ скорѣе умеръ!.. Но что онъ ей оставитъ? На-дняхъ онъ говорилъ Фросту, что онъ разоренъ потерею на акціяхъ... Что если онъ оставитъ ее бѣдной?.. У ея Пети тоже ничего нѣтъ... Они выдали фальшивый вексель, по которому нужно будетъ уплатить или попасть подъ судъ... Ну, что-жъ, ихъ вмѣстѣ осудятъ... Ей все равно, только бы быть съ нимъ, съ Петей... Но, Боже мой, какъ рѣдко она его видитъ! Вмѣсто него ей приходится видѣть лица закладывающихъ свой скарбъ людей, слушать раздражительную брань мужа, просиживать часы съ ненавистной ей старухой, теткой мужа».

— Тяжело вамъ, mon enfant! — говорила старуха. — Я вполнѣ понимаю ваше положеніе. Мужъ больной, брюзга, старый—это ужасно въ ваши лѣта! Il sent le sapin, а вы еще только расцвѣтаете,—это невыносимо... Я это испытала: я сама была первый разъ замужемъ за старикомъ-подагрикомъ... Дядя Леонида, мой первый мужъ, выглядѣлъ не лучше его и сверхъ того былъ старъ... Когда я вырвалась на волю послѣ его смерти — я ожила... Я была свободна, какъ птица,—и пожила!.. Могу сказать, что пожила!..

Старуха вздохнула и пожевала свою синюю нижнюю губу.

— Правда, у меня были средства, большія средства! Безъ денегъ жизнь не въ жизнь! L'argent est le nerf de la vie,—продолжала она.—Безъ денегъ что!

— Вы все за границей жили?—спросила Софья Дмитріевна.

— Да развѣ здѣсь живутъ?—съ ироніей усмѣхнулась старуха. — Здѣсь прозябаютъ и питаются, а живутъ тамъ, на водахъ, въ Дрезденѣ, въ Парижѣ... Это широкая жизнь, чувствуешь, точно въ морѣ, что живешь каждымъ нервомъ,

каждымъ суставомъ... Я тамъ и замужъ вышла, и овдовѣла во второй разъ... Мой второй мужъ тоже любилъ пожить...

— Да, но такъ жить дорого.

— Дорого? Не знаю, не думаю... Я никогда не считала, что это стоило...

— Да, но вы...

Софья Дмитріевна сконфузилась и замолчала.

— Вы хотите сказать, что я прожилась?—усмѣхнулась презрительною усмѣшкою тетка, показавъ свой желтый клыкъ.— А! это случайности... я проигралась на рулеткѣ... въ это время подошло освобожденіе крестьянъ и мнѣ не выслали во-время оброку и не могли продать мои крѣпостныя души... Съ этого и началось... имѣніе взяли за долги... пришлось долучить гроши... Я просто случайно подвернулась подъ колесо фортуны. Впрочемъ, я никогда не жалѣю о прошломъ... Я жила и живу au jour le jour... Да что и думать о прошломъ и будущемъ?.. Прошлаго не вернешь, будущаго не предусмотришь... Пойдешь гдѣ-нибудь по улицѣ, камень съ крыши упадетъ—и конецъ... Да, о будущемъ нечего думать... Да теперь я и стара—дотяну кое-какъ вѣкъ...

Она задумалась на минуту.

— Правда, бывали трудные дни,—снова заговорила она.— Приходилось даже романы переводить для этихъ книгопродавцевъ... Я вѣдь вполнѣ владѣю разговорнымъ языкомъ. Въ наше время мы много говорили, много переписывались... Это теперь только въ обществѣ люди или молча дуются другъ на друга, или спорятъ съ пѣной у рта... Въ наше время *говорили* и что за остряки были!.. Мы умѣли быть остроумными даже тогда, когда приходилось causer chiffons et théatre... И то сказать, мы воспитывались не такъ, какъ теперешніе выводки городскихъ парниковъ... Мы знали и деревню, и городъ, и дѣвичью, и парижскіе салоны... Для насъ не было тайнъ ни въ великорусскомъ языкѣ, ни въ парижскомъ жаргонѣ... Это вотъ теперь только слышишь, какъ ваши петербуржцы говорятъ: «текетъ», «сѣкетъ», да затрудняются, какъ выговорить: «кладбище» или «кладбище»... Я вотъ разъ употребила слово «жальникъ», такъ всѣ рты разинули, а въ какой-нибудь Новгородской губерніи каждый мужикъ знаетъ, что жальникъ тотъ же погостъ.

— Вы, значитъ, много работали? — перебила ее Софья Дмитріевна, знавшая, что старуха никогда не кончитъ панегирика своему знанію языковъ. Это знаніе было одною изъ ея тысячи слабостей...

— Да, нужно было дождаться, пока найдутъ мѣсто,— отвѣтила старуха. — У меня вѣдь протекцій много... всѣ высшія лица были когда-то свои люди, бывшіе друзья дома. Потомъ бросила переводную работу, получивъ мѣсто начальницы пріюта.

— Какъ, вы были начальницей пріюта и оставили это мѣсто?—удивилась Зимина.

— Да, вы, дитя, ничего не понимаете!.. Вы знаете, что должна дѣлать начальница пріюта?.. Или морить дѣвчонокъ съ голоду и наказывать ихъ, или тратить на нихъ свои деньги и распустить ихъ до того, что у нихъ амуры начнутся... Ну, а я ни морить голодомъ ихъ не могла, ни тиранить ихъ не умѣла... Имъ тоже жить хочется, вѣдь инымъ было по семнадцати лѣтъ... А я семнадцати лѣтъ уже двоихъ дѣтей имѣла... Меня на пятнадцатомъ году выдали замужъ за Зимина. Я въ этомъ пріютѣ только запуталась въ долгахъ: мнѣ отпускали на каждую дѣвчонку сколько-то тамъ копеекъ, а я ихъ кормила телятиной и балы имъ дѣлала!.. Около двухъ тысячъ рублей задолжала... Если бы не мой Иннокентій, пріѣзжавшій въ то время засѣдать въ синодѣ такъ въ долговое посадили бы эти мясники и лавочники.. Иннокентій только и выручилъ по старой памяти... Мы вѣдь съ нимъ сосѣди были по имѣнію... Къ несчастію, онъ по томъ вскорѣ умеръ...

Старуха вздохнула.

— Правда, тутъ подвернулась опять работа, — проговорила она.—Я вѣдь музыкантша... Ну, и стала учить музыкѣ знаете, этихъ несчастныхъ падшихъ женщинъ...

Софья Дмитріевна не совсѣмъ понимала старуху.

— Тутъ, знаете, дома такіе есть, гдѣ живутъ эти несчастныя жертвы общественнаго темперамента, — пояснила Ш стова.—Онѣ большею частью необразованы, серьезно учить музыкѣ или чему-нибудь другому онѣ не имѣютъ ни возмо ности, ни времени, но музыка имъ иногда нужна, какъ пр манка для мужчинъ... Вотъ я и учила ихъ играть отдѣл ныя пьески, романсы, не съ нотъ, а съ пальцевъ, какъ говорила... Не правда ли, это вѣдь удачный оборотъ: пальцевъ учиться на фортепіано играть?.. Вотъ этимъ добывала кусокъ хлѣба... Что-жъ, я старуха, теперь ко м уже ничего не пристанетъ... Я даже хотѣла поближе ози комиться съ ихъ бытомъ. Это интересно... Можно бы оп сать потомъ гдѣ-нибудь въ журналѣ... У насъ этотъ вопр совсѣмъ не разработанъ... Но мой сынъ, его position soci

не позволяло этого, и онъ попросилъ меня бросить это занятіе... Правда, мы съ нимъ не въ хорошихъ отношеніяхъ, но все же мнѣ не хотѣлось компрометировать его... А я могла нажиться, право! Дѣвушки стали входить во вкусъ, у нихъ это сдѣлалось модой: одна выучится аккомпанировать одинъ романсъ, другая хочетъ выучить два, всѣ наперебой выучили гейневскую пѣсню: «Du hast Diamanten und Perlen»... И кромѣ того j'étais largement payée!

Старуха опять умолкла и пожевала нижнюю губу.

— Да, не легко достаются деньги! — вздохнула она. — Вамъ было бы особенно трудно остаться безъ денегъ. У васъ нѣтъ ни знакомыхъ, ни подготовки, ни опытности... Я вѣдь была не то, что вы: я ни передъ чѣмъ не остановилась бы для достиженія своей цѣли... И кромѣ того у меня половина Петербурга знакомыхъ... Я вамъ когда-нибудь поразскажу хронику нашего высшаго свѣта, я вѣдь тамъ всѣхъ и все знаю... Это интересно... Вы думаете, что этотъ высшій свѣтъ состоитъ изъ однихъ недосягаемыхъ аристократовъ, потомковъ нашего родовитаго барства? Глупости! Кто такой графъ Ильмъ-Колычевъ? Сынъ одной аристократки-дѣвицы и ея камердинера. Его вывели въ люди, женили на графинѣ Колычевой, и онъ сталъ графомъ. А маркизъ Шевалье? Вѣдь это бывшій парикмахеръ графини Долгиной. А кто такіе князья Фалины? Дѣти цыганки Варьки, на которой женился въ пьяномъ видѣ ихъ отецъ. Я когда-нибудь передамъ вамъ все это подробно... А вы не знаете, сколько у Леонида капитала?—вдругъ спросила Шустова у Софьи Дмитріевны. — Я слышала, онъ что-то потерялъ гдѣ-то... на биржѣ тамъ или на концессіи... я это все путаю... въ наше время вѣдь ничего этого не было... У насъ, у дворянъ, оброкъ былъ, у купцовъ тамъ и евреевъ—откупъ и только.

— Я, право, не знаю,—отвѣтила Софья Дмитріевна. — Леня держитъ ключи у себя.

— Ахъ, такъ неужели вы никогда не ходите въ его шкапъ сами?

— Нѣтъ, онъ даетъ мнѣ ключи на минуту и то не отъ главнаго отдѣленія.

Старуха пристально смотрѣла на молодую женщину, какъ бы стараясь угадать, не лжетъ ли та, и по ея лицу проскользнула не то сострадательная, не то насмѣшливая улыбка.

— Да, вамъ будетъ тяжело, если онъ не такъ богатъ.

какъ всѣ думаютъ! — вздохнула она. — Вѣдь безъ духовной вы получите какую-то тамъ часть его капитала, а не все его имущество... у насъ тамъ законъ какой-то есть на этотъ счетъ... Наконецъ, это еще затянется, будутъ вызывать наслѣдниковъ...

Софья Дмитріевна сидѣла молча, какъ приговоренная къ смерти.

Этотъ разговоръ и десятки подобныхъ разговоровъ тяжело отзывались въ душѣ молодой женщины. Она боялась, что за всѣ терзанія она еще останется, въ концѣ концовъ, нищею. Она теперь желала только одного, чтобъ ея мужъ скорѣе умеръ, прекратилъ бы ея сомнѣнія, развязалъ бы ей руки.

О духовномъ завѣщаніи она боялась и думать, такъ какъ больной сердился все чаще и чаще, сжимая иногда въ безсильномъ бѣшенствѣ кулаки или хватаясь за воротъ своей рубашки, точно онъ хотѣлъ разорвать ее на себѣ. Чахотка его была въ послѣднемъ періодѣ и дѣлала его и безъ того тяжелый характеръ невыносимымъ. Ладить съ нимъ умѣла только тетка, всегда хладнокровная, всегда расторопная, всегда находчивая. Она выносила на своемъ вѣку и не такія бури и не смущалась ни отъ какой брани, ни отъ какихъ угрозъ больного, которыя, какъ она знала, должны были кончиться и кончались кашлемъ, упадкомъ силъ и тяжелымъ сномъ. Къ несчастію, Софья Дмитріевна не могла такъ спокойно выносить капризовъ и придирокъ больного мужа, которые все болѣе и болѣе возмущали ее съ тѣхъ поръ, какъ она начала чувствовать къ нему ненависть, и уже нерѣдко плакала, жалуясь на свою судьбу.

— Неужели вы когда-нибудь любили Леонида?—спросила старуха въ одну изъ горькихъ минутъ, когда молодая женщина вышла въ слезахъ отъ мужа.

— Онъ меня взялъ съ улицы... спасъ отъ голодной смерти...—отвѣтила, всхлипывая, молодая женщина.

— Да, вы могли быть ему благодарны, — замѣтила старуха.—Но благодарность не любовь... Вы не могли любить его: онъ былъ всегда некрасивъ, онъ былъ болѣзненнымъ, сухимъ и грубымъ человѣкомъ. Наконецъ, онъ уже не молодъ... Такихъ любить нельзя въ ваши годы...

— Я тогда ничего не понимала...

— А потомъ?.. Неужели вы и послѣ не любили никого другого?

Софья Дмитріевна плакала и не отвѣчала. Старуха зорко смотрѣла на нее своими свинцовыми, холодными глазами.

— Да, я такъ и думала, что вы кого-нибудь любили, можетъ-быть, любите,—утвердительнымъ тономъ сказала она черезъ минуту.

Софья Дмитріевна рыдала еще сильнѣе, она не находила силы отрицать предположеніе тетки.

— Pauvre enfant, вѣроятно, эта любовь несчастна? Леонидъ васъ держалъ взаперти, ревновалъ, не давалъ вамъ воли... Я понимаю, какъ страстно вы должны желать конца этимъ мученіямъ! Я ужъ испытала это! Я молилась, чтобы мой мужъ умеръ. Онъ былъ еще хуже Леонида... Отчего вы теперь не видитесь съ *нимъ?* — вдругъ рѣзко спросила Шустова.

— Съ кѣмъ?—спросила Софья Дмитріевна, не сразу поняв тетку.

— Съ тѣмъ, кого вы любите? — рѣшительно пояснила старуха.—Я кое-что знаю. Это тотъ офицеръ, который заходилъ иногда къ вамъ?

Софья Дмитріевна испуганно-растерянным взглядомъ взглянула на тетку.

— Я не знаю... я...—начала она въ смущеніи.

— Полноте, дитя мое!—усмѣхнулась старуха.—Чего вы боитесь? Чего вы скрываетесь?.. Неужели вы думаете, что я разскажу все Леониду?.. Фи!.. Я никогда не выдавала сердечныхъ тайнъ... Я сама женщина, пережившая все это... Если бы я хотѣла это сдѣлать, я сдѣлала бы это раньше... Вѣдь я не сегодня же узнала, что къ вамъ ходитъ этотъ господинъ... Объ этомъ знаетъ весь домъ...

Софья Дмитріевна едва переводила духъ. Она никакъ не думала, что кого-нибудь интересуютъ ея свиданія съ Муратовымъ, что объ этихъ свиданіяхъ знаютъ въ домѣ. Теперь у нея замирало сердце при мысли, что ея тайну могутъ выдать ея мужу. Что она скажетъ ему тогда? Онъ лишитъ ее всего, всего! Она останется нищею. Она теперь боялась тетки, которая могла пустить ее по-міру, разсказавъ все Леониду.

«О, если бы онъ скорѣе умеръ, — умеръ раньше, чѣмъ узнаетъ ея тайну!»

Она выбрала первую удобную минуту, чтобы передать этотъ разговоръ Петру Павловичу, говоря ему со слезами, что она теперь не можетъ быть покойною ни одной минуты, дрожа при мысли, что тетка разскажетъ все ея мужу. Просить его о духовномъ завѣщаніи не было уже никакой возможности; если бы онъ даже вздумалъ самъ написать

это духовное завѣщаніе, то ей пришлось бы оттоворить его въ угоду теткѣ, которая, въ противномъ случаѣ, воспользовалась бы орудіемъ, находящимся у нея въ рукахъ.

— Эхъ, скорѣе бы все это кончилось! — проговорилъ хмуро Петръ Павловичъ. — Мы такъ запутались, что я иногда готовъ размозжить себѣ голову, чтобы не думать обо всемъ этомъ.

— Петя!—молящимъ тономъ обратилась къ нему Софья Дмитріевна.

— Вѣдь ты подумай только, что у насъ есть этотъ проклятый вексель. Ну, вдругъ твой мужъ умретъ завтра, — ты останешься безо всего, вексель представятъ,—чѣмъ мы заплатимъ?.. Это будетъ отплата намъ за прошлое.

— Да чѣмъ же мы виноваты, что полюбили другъ друга?—опять говорила Софья Дмитріевна, не понимавшая, въ чемъ она была виновата и передъ кѣмъ.—Да забудемъ это!.. Все какъ-нибудь уладится, только ты не бросай меня... будь со мною...

Она хотѣла снова приласкаться къ нему, но онъ отстранилъ ее.

— Полно, Соня, — сказалъ онъ. — Я тебѣ еще разъ повторяю, что не до ласкъ мнѣ теперь...

— Ты меня разлюбилъ?.. Ты рѣдко ходишь ко мнѣ... Ты все у какихъ-то Сухаревыхъ...

— А! тебѣ докладываютъ, куда я ѣзжу!..

— Да... Ужъ нѣтъ ли тамъ женщины, которую ты любишь?

— Пожалуйста, безъ допросовъ!—сухо сказалъ онъ, вставая. — Если бы тамъ и была женщина, если бы я полюбилъ кого, если бы я женился, такъ ты должна знать, что прежде всего мнѣ нужно подумать, какъ спасти тебя и себя. Для этого я готовъ на все и прежде всего на женитьбу на богатой, такъ какъ въ этомъ единственное наше спасеніе...

Софья Дмитріевна взглянула на него со страхомъ.

— Петя! — прошептала она. — А я... какъ же я тогда... Нѣтъ, нѣтъ... не надо... лучше пусть насъ судятъ, чѣмъ... Нѣтъ, вѣдь ты не женишься? не женишься?

Она бросилась къ нему и обвила его руками съ ужасомъ во взглядѣ. Она теперь забыла все на свѣтѣ, и въ ея ушахъ раздавалась только фраза Муратова о необходимости жениться на богатой.

— Я тебѣ не позволю... я пойду и скажу...—прошептала она въ отчаяніи.

— Что? что ты скажешь?—спросилъ онъ, блѣднѣя.

— Я не знаю... я все, все разскажу... — растерянно шептала она.

— Ты съ ума сходишь!—почти грубо произнесъ онъ.

— Ну, да, да, я съ ума схожу!.. Но развѣ я виновата, что ты мнѣ дороже всего... Сдѣлай изъ меня, что хочешь, но не гони меня... не женись...

Она зарыдала.

Ему опять становилось страшно за себя. Онъ теперь уже не жалѣлъ ее, она становилась ему противна, онъ въ ней уже видѣлъ не страдающую женщину, а чисто-животную натуру. Кое-какъ успокоивъ ее, онъ поспѣшилъ выбраться изъ кухни Зиминыхъ. Теперь ему еще тяжелѣе были эти свиданія, потому что эта женщина составляла въ его глазахъ яркій контрастъ съ Юліей Николаевной, а эта кухня казалась еще непригляднѣе послѣ роскошныхъ залъ сухаревскаго дома.

XVII.

«Петя женится!—твердила Зимина, оставшись одна послѣ ухода Муратова.—Женится!..»

Это была послѣдняя капля, переполнившая чашу терпѣнія. Софья Дмитріевна совершенно обезумѣла. Она просидѣла съ полчаса въ кухнѣ, ни о чемъ не думая, безцѣльно глядя въ полъ, не шевельнувшись, какъ окаменѣлая. Наконецъ, пришла Дарья.

— Барыня, можно, чай, и спать ложиться?—спросила она.

Софья Дмитріевна вздрогнула и очнулась.

— А, да!.. Спать?.. Ложись!..—отвѣтила она, поднимаясь съ мѣста.

— Вы меня покличьте, если что ночью нужно будетъ,— сказала Дарья.

— Да, да... покличу...

Софья Дмитріевна говорила какъ во снѣ. Она машинально, безсознательно направилась въ комнату, гдѣ лежалъ мужъ, и сѣла у его постели. Мало-по-малу, въ ея головѣ зароились мысли, воспоминанія, слова послѣдняго свиданія съ Муратовымъ.

Муратовъ не можетъ жениться на ней, покуда живъ ея мужъ; Муратову и ей грозитъ опасность попасть на скамью подсудимыхъ за поддѣльный векселъ, если ея мужъ встанетъ; Муратовъ долженъ жениться на богатой, чтобы вы-

купить этотъ вексель. А что же тогда будетъ съ нею? Она останется прикованной къ этому ненавистному ей теперь человѣку, она навсегда потеряетъ его, Муратова. Поддѣлать завѣщаніе? Но кто согласится вступить въ союзъ съ нею для этого дѣла? Развѣ это дѣло не откроется? Что тогда? Ее будутъ судить, осудятъ, сошлютъ. Осудятъ одну, безъ Пети. Онъ останется здѣсь, сдѣлается свободнымъ, женится... Иначе ему не выбиться изъ долговъ, онъ непремѣнно женится на богатой... А она? Она такъ и останется навсегда брошенная, забытая, одна... Украсть у мужа деньги, выкупить вексель, дать деньги Муратову, чтобы онъ могъ прожить, не нуждаясь, до смерти ея мужа? Вѣдь мужъ умретъ, непремѣнно умретъ! Развѣ можетъ этотъ скелетъ еще жить, еще терзать ее? Какъ онъ страшенъ, какъ онъ противенъ ей! Онъ вѣдь знаетъ, что послѣ его смерти ее ограбятъ его ненавистные ему самому родные, и все-таки не дѣлаетъ духовнаго завѣщанія. Онъ умышленно терзаетъ ее, онъ, можетъ-быть, злобно наслаждается мыслью о томъ, каково будетъ ей послѣ его смерти. Или онъ вовсе не думаетъ о смерти? Да развѣ можно думать о жизни въ такомъ положеніи? О, если-бъ онъ умеръ скорѣе! Она бросила взглядъ, полный ненависти, на этого человѣка, на этотъ полутрупъ, на эту колоду, лежавшую на ея пути къ счастію. Теперь она была неузнаваема. Всегда похожая на дѣвочку, теперь она, сильно похудѣвшая и поблѣднѣвшая, съ тупо-сосредоточеннымъ и тусклымъ взглядомъ, выглядѣла мрачной, полупомѣшанной преступницей. Да, украсть, украсть деньги! Это единственный исходъ. И кто можетъ узнать объ этомъ? Родные не знаютъ, сколько у него денегъ, имъ нельзя будетъ догадаться о кражѣ. Ужъ не онъ ли, не умирающій ли мужъ узнаетъ все это? Да если бы онъ потомъ и узналъ объ этомъ, такъ что же? Гдѣ доказательство воровства? Гдѣ искать деньги? Нѣтъ, нѣтъ, ей надо обезпечить себя скорѣе. Если она не украдетъ — все достанется сыну Шустовой, а не ей, не Софьѣ Дмитріевнѣ. Ей дадутъ какую-то часть, и то не сейчасъ, а послѣ, черезъ сколько-то мѣсяцевъ, а ей деньги нужны теперь... теперь...

Она стала чутко прислушиваться къ дыханію мужа. Онъ, кажется, спалъ. Она загасила лампу и на цыпочкахъ, озираясь, подошла къ дивану. Трусиха, боявшаяся темноты, теперь она не боялась ничего и вся отдалась одной подавлявшей ея мозгъ мысли: украсть деньги, спасти себя и

своего Петю и сдѣлать ненужною его женитьбу на богатой. Послѣднее было важнѣе всего.

Прошла минута. Она раза два окликнула мужа. Онъ молчалъ. Она постояла еще немного и осторожно протянула руку подъ подушку. Ключи были тамъ, но она не сразу ощупала ихъ. Наконецъ, эта проклятая связка попалась ей въ руки, и она, забывшись отъ радости, быстро потянула ее къ себѣ.

— Стой!.. стой! Воры!.. Соня, Соня, сюда!—дикимъ, задыхающимся голосомъ прохрипѣлъ больной и вцѣпился въ руку жены мокрою отъ пота рукою.

У Софьи Дмитріевны помутилось въ глазахъ, чувство яростной злобы охватило ее, какъ человѣка, котораго хотятъ оторвать отъ завѣтной цѣли, до которой онъ достигъ съ такимъ трудомъ, съ такими усиліями, и она, схвативъ подушку, зажала ею лицо мужа. Онъ отпустилъ ея правую руку, поднялъ свои безсильныя, мокрыя руки къ подушкѣ, попытался сорвать ее отъ своего лица, но подушка была придавлена къ лицу словно свинцовою тяжестью, по его тѣлу пробѣжало конвульсивное движеніе, послышалась какая-то страшная хрипота. Онъ не то задыхался отъ кашля, не то изнемогалъ отъ недостатка воздуха. Но сорвать съ лица подушку онъ не могъ, у него не было силъ, съ нимъ начиналось что-то въ родѣ обморока. Софья Дмитріевна застыла, окаменѣла съ широко-раскрытыми, ничего не видѣвшими во мракѣ глазами. Нѣсколько минутъ она сама не сознавала, что она дѣлаетъ, гдѣ она находится, и только все сильнѣе, все отчаяннѣе нажимала подушку...

Наконецъ, она очнулась. Что ее вывело изъ оцѣпенѣнія—она сама не знала: можетъ-быть, на улицѣ крикнулъ какой-нибудь пьяный, можетъ-быть, еще не уснувшая Дарья неосторожно хлопнула дверями, можетъ-быть, какой-нибудь экипажъ съ шумомъ подъѣхалъ къ подъѣзду. Она не могла отдать себѣ ни въ чемъ отчета, ни въ томъ, что она дѣлала, ни въ томъ, что происходило вокругъ нея. Очнувшись, она быстро оттолкнула подушку, бывшую въ ея рукахъ, и дотронулась до мужа. Онъ не двигался и начиналъ остывать. Она, кажется, только въ эту минуту съ ужасомъ поняла все и отшатнулась отъ него, пошла куда-то и наткнулась на одну изъ вѣшалокъ; она свернула въ сторону и снова на что-то наткнулась. Казалось, изъ этой комнаты не было выхода. Ее охватывалъ теперь давно знакомый ей страхъ: она боялась этой тьмы, этой тишины, этого

убитаго ею человѣка. Въ ея головѣ былъ какой-то хаосъ мыслей: она хотѣла бѣжать, она хотѣла достать ключи, она хотѣла убѣдиться еще разъ, живъ ли ея мужъ. Она уже теперь ступала наобумъ, ничего не видя, ничего не понимая; наконецъ, ей попалось подъ руку что-то холодное. Она широко открыла глаза: передъ нею была полная тьма, но ей казалось, что она видитъ чьи-то страшные открытые глаза; ей казалось, что холодное тѣло снова начинаетъ шевелиться подъ ея рукою. Она безъ крика, какъ камень, упала на этотъ трупъ.

Часа черезъ два Дарья, зашедшая, по обыкновенію, въ минуту просонокъ заглянуть, что дѣлается въ комнатѣ барина, уже собрала всѣхъ, кого могла, въ квартиру Зиминыхъ. Какая-то женщина приводила въ чувство Софью Дмитріевну; кто-то хлопоталъ около трупа: наконецъ, вся эта суетня и тревога прекратилась разомъ, и чей-то повелительный голосъ громко кричалъ:

— Какъ смѣли сюда набраться? Растащатъ еще вещи! Вонъ отсюда! Дворникъ, гони всѣхъ! Дать знать въ полицію, чтобы все опечатали.

Это распоряжался сынъ госпожи Шустовой, Ѳедоръ Семеновичъ Зиминъ. Сразу можно было сказать, что это «наслѣдникъ», то-есть настоящій хозяинъ всѣхъ богатствъ, оставленныхъ покойнымъ ростовщикомъ.

— Ma chère, какой съ вами сдѣлался обморокъ!.. Этой смерти надо было ожидать! Теперь вы хотя свободны! Вѣдь Леонидъ все равно не могъ встать! — развязно говорила тетка, стоя надъ приведенной въ чувство Софьей Дмитріевной.

Софья Дмитріевна сидѣла, какъ статуя, ничего не слыша, ничего не понимая.

— Онъ сильно мучился? Вы однѣ были при немъ? Я воображаю, какъ вы испугались! Да, смерть—страшное дѣло,— продолжала старуха. — Я, впрочемъ, думала, что вы вынесете эту потерю бодрѣе.

Она была теперь говорлива, довольна, счастлива, и даже ея физіономія не имѣла своего обычнаго отталкивающаго выраженія. Ея сынъ, при ея помощи, былъ теперь главнымъ наслѣдникомъ ростовщика, не сдѣлавшаго духовнаго завѣщанія. Жизнь снова улыбнулась ей, снова приголубила ее, такъ какъ она ждала отъ сына хорошей награды за услугу. Правда, сынъ былъ съ нею до сихъ поръ въ дурныхъ отношеніяхъ, попрекалъ ее все за то, что она «жила»

и лишила его возможности «жить», то-есть мотать деньги; но они, сынъ и мать, были благородные люди; она хлопотала въ его интересахъ, старалась вознаградить его за прошлое, и онъ счелъ бы себя негодяемъ, если бы не отплатилъ ей за это благодарностью. Онъ былъ теперь даже любезенъ и предупредителенъ съ матерью, что очень шло къ его красивой и развязной фигурѣ ловкаго джентльмена-чиновника изъ лицеистовъ, вѣчно числившагося при комъ-то, по какимъ-то особымъ порученіямъ и вѣчно юнаго и бодраго душою, несмотря ни на годы, ни на финансовые удары судьбы, вѣчно старающейся бить по карману своихъ нелюбимцевъ.

— Я эти дни пробуду съ вами, — продолжала по-утру любезничать старуха Шустова съ молодой неутѣшной вдовой. — Надо будетъ поѣхать заказать трауръ. Я надѣюсь, вы плерезами не будете обшивать пелеринъ и платье? Это вульгарно, вышло изъ моды, да и бросается въ глаза. Просто сдѣлать креповыя обшивки плиссе и конецъ!.. Кстати, у васъ есть деньги на расходы?—закончила старуха, и ея зоркіе глаза впились въ лицо молодой женщины.

— Деньги?—тупо переспросила Софья Дмитріевна.

Она, казалось, до сихъ поръ не понимала, что ей говорятъ, что дѣлается вокругъ нея, и вздрогнула только при вопросѣ о деньгахъ.

— Ну да, нужно на расходы, — подтвердила тетка, не спуская съ нея глазъ.

— Ничего... ничего у меня нѣтъ! — вырвался вопль изъ груди Софьи Дмитріевны, и она закрыла лицо руками.

Въ ея сознаніи вдругъ мелькнула мысль, что она не спасла ничего, что она сдѣлала только преступленіе. И картина событій, пережитыхъ ею ночью, воскресла передъ ея глазами. Она не зарыдала, но безпомощно поникла головой, точно всѣ ея члены были разбиты параличомъ.

— Ну, не печальтесь! Мой Теодоръ дастъ на расходы. Потомъ отдадите. Ваша доля вѣдь тутъ есть. Вы не чужая!—ласково утѣшала ее тетка.—Поѣдемте лучше за покупками, вамъ надо провѣтриться... вы совсѣмъ ослабѣли...

— Нѣтъ, поѣзжайте однѣ... ради Бога...

Софья Дмитріевна говорила опять какъ во снѣ.

— Ну, хорошо, хорошо! значитъ, я сюда приглашу модистку. Но вы должны ободриться, собраться съ духомъ. Ахъ, вы, молодое петербургское поколѣніе, отъ такого простого явленія, какъ смерть безнадежно больного, сами чуть

не умираете! Нѣтъ, мы и не такіе случаи въ жизни переносили съ веселымъ и бодрымъ видомъ... Вотъ ужъ я никакъ не думала, что васъ поразитъ его смерть. Правда, въ эти минуты вспоминается все—загубленные годы, прошлыя страданія. Я это испытала! Но я была бодра. Впрочемъ, вы говорили мнѣ, что вы боитесь покойниковъ. О, дитя, дитя, нашли кого бояться! Насъ, живыхъ, нужно бояться, а эти... эти уже не встанутъ!.. Однако, надо ѣхать... Теодоръ, Теодоръ!—позвала тетка своего сына. — Мы хотимъ тебя грабить. Представь себѣ, у бѣдной Софи нѣтъ ни гроша! Надо на трауръ.

— А, хорошо, хорошо! Располагайте моимъ кошелькомъ,— развязно отвѣтилъ Ѳедоръ Семеновичъ, передавая матери пачку кредитныхъ билетовъ.

Она отвела его въ сторону.

— Ты еще не знаешь, много ли осталось? — спросила она тихо.

— Нѣтъ,—отрывисто отвѣтилъ онъ.—Массу вещей приходится опечатать, записать. Хотѣли отложить это до похоронъ, я настоялъ, чтобы все сдѣлали теперь. Еще растащатъ.

— Я могу только тебѣ сказать одно, что капиталы всѣ цѣлы,—проговорила мать.—Она—вообрази себѣ—не сумѣла ни гроша припрятать на черный день. Я всегда тебѣ говорила, что она очень недалекая женщина и что ты напрасно боялся ея интригъ, но, признаюсь, я никогда не считала ее глупой въ такой степени...

— Ѳедоръ Семеновичъ, Ѳедоръ Семеновичъ, мы васъ ждемъ!—крикнулъ кто-то.

— Pardon, maman! Меня тамъ ждутъ,—проговорилъ сынъ Шустовой.—У меня просто голова кругомъ идетъ...

— Погоди, погоди, что еще скажешь послѣ!—ласково потрепала его по плечу мать.

Онъ понесся туда, гдѣ его звали. Онъ былъ весь погруженъ въ отрадныя дѣловыя занятія при описи имущества. Покойника всѣ забыли, всѣ бросили.

Кто-то его вымылъ, кто-то отыскалъ для него сорочку, кто-то подвязалъ ему нижнюю челюсть, кто-то съ величайшимъ усиліемъ подогнулъ у него на правой рукѣ два скрючившіеся пальца и скрестилъ его руки. Даже докторъ Фростъ, пріѣхавъ съ визитомъ, не полюбопытствовалъ взглянуть на своего бывшаго товарища и паціента, торопясь уѣхать и говоря, что онъ вчера «такъ и былъ увѣренъ, что Зиминъ

умретъ вечеромъ или ночью», и прибавляя, что у него «столько больныхъ, столько больныхъ...» И то сказать: долго оставаться здѣсь было нечего, такъ какъ это былъ даровой и безполезный визитъ; за посѣщеніе докторомъ паціента-покойника родные обыкновенно не платятъ, не ожидая болѣе, что медикъ облегчитъ, наконецъ, навсегда страданія дорогого имъ существа и успокоитъ ихъ. Даже Дарья не присутствовала «при баринѣ» и бѣгала оповѣщать всѣхъ, что «самъ-то померъ»: для нея былъ чистый праздникъ.

Въ числѣ оповѣщенныхъ о смерти Зимина была и горничная, прислуживавшая Петру Павловичу. Горничная выслушала новость довольно равнодушно, такъ какъ она давно видѣла, что ея баринъ находится съ Зиминой въ «контрахъ». Тѣмъ не менѣе, она сочла нужнымъ передать эту новость Муратову.

Онъ только-что возвратился домой съ обѣда отъ Сухаревыхъ, когда она вошла къ нему въ комнату спросить, будетъ ли онъ пить чай дома.

— Нѣтъ, я ѣду сейчасъ въ театръ,—отвѣтилъ онъ мимоходомъ и спѣша переодѣться.

Это было уже на третій день рождественскихъ праздниковъ.

— А знаете, сударь, вѣдь Зиминъ-то померъ позавчера,— замѣтила горничная.

Петръ Павловичъ опустилъ руки и присѣлъ, точно его ударили обухомъ по головѣ.

— Умеръ?—прошепталъ онъ.—Не можетъ быть!

— Ей-Богу-съ! Панафиды уже служили! Все это уже опечатали у нихъ... Сама-то, говорятъ, точно тѣнь стала, ровно убитая ходитъ...

Петръ Павловичъ уже не слышалъ. Въ его головѣ мелькали страшныя мысли.

«Вексель нужно вырвать изъ рукъ Кречмера... Теперь она свободна... Что я буду говорить, что буду дѣлать! Надо идти къ ней!»

Въ его головѣ былъ какой-то хаосъ; онъ не могъ остановиться на какой-нибудь опредѣленной мысли, не могъ обсудить своего положенія; онъ сознавалъ только, что онъ стоитъ на краю пропасти.

Онъ торопливо, порывисто одѣвался, хватаясь не за то, за что нужно было взяться. Минутъ черезъ десять онъ уже былъ у Зиминыхъ на черной лѣстницѣ. Онъ вызвалъ Дарью.

— Барыня дома... одна?—спросилъ онъ.

— Однѣ-съ... швейка у нихъ какая-то... да это такъ-съ, не гостья, работаетъ что-то,—отвѣтила Дарья.

— Вызови Софью Дмитріевну.

Онъ ждалъ Софью Дмитріевну въ кухнѣ. Здѣсь сильно пахло ладаномъ. Изъ комнатъ въ тишинѣ доносились какіе-то однообразные, скорбные звуки—это читалъ псаломщикъ. Муратову было жутко. Наконецъ, появилась и Софья Дмитріевна. Она вышла, блѣдная, осунувшаяся, кое-какъ причесанная, неприглядная, съ потупленными глазами, и не бросилась къ нему, но остановилась почти у самой двери, у стѣны, чтобы не упасть, такъ какъ у нея подкашивались ноги. Муратова поразилъ ея видъ. Онъ ожидалъ, что и теперь она бросится къ нему на шею, что и теперь она станетъ осаждать его своими клятвами. Онъ вѣдь хорошо зналъ ее. Что значила для нея смерть ненавистнаго мужа? И вдругъ передъ нимъ является убитая, едва двигающаяся, не смѣющая поднять глазъ, нуждающаяся въ опорѣ женщина. Что же это значитъ? Неужели въ ней проснулась совѣсть? Неужели она теперь поняла, какъ она была виновата передъ мужемъ? Или она, подобно ему, поражена мыслью о грозящей имъ гибели?

— Я слышалъ... — началъ неловко Муратовъ и не кончилъ фразы.

— Да... умеръ,—едва слышно, коротко прошептала она.

— Я знаю всю неловкость моего присутствія здѣсь теперь...—началъ въ смущеніи Муратовъ:—но...

Онъ перевелъ духъ. Ему было стыдно говорить теперь, въ эту минуту, этой убитой женщинѣ о векселяхъ, о деньгахъ. Но вѣдь отлагать было нельзя. Кречмеръ тотчасъ же можетъ предъявить эти векселя, узнавъ о смерти Зимина. Ему нужно заплатить, и заплатить много: онъ не выпуститъ изъ рукъ этихъ векселей, не получивъ по другимъ векселямъ Муратова.

— У насъ есть векселя, компрометирующіе насъ обоихъ,— проговорилъ онъ, собравшись съ силами.

Она молчала, подавленная сознаніемъ, что ей нечѣмъ заплатить по этимъ векселямъ.

— Нельзя ли уплатить по нимъ... Я все отдамъ черезъ нѣсколько недѣль,—въ смущеніи заговорилъ онъ.

Она еще ниже опустила голову. Она ждала и боялась этихъ словъ.

— Я ничего... ничего не спасла! — отвѣтила она надо-

рваннымъ голосомъ, какъ женщина, кающаяся въ преступленіи.

Муратовъ вздрогнулъ. Онъ начиналъ терять голову

— Боже мой, что же мы будемъ дѣлать! — воскликнулъ онъ въ ужасѣ.—Кречмеръ потребуетъ уплаты или раскроетъ все... тогда мы погибли.

— Я... я... во всемъ виновата!.. Я одна... — вдругъ болѣзненно воскликнула Софья Дмитріевна и дрожащими руками схватила его руки.—Прости меня, прости!..

У нея подогнулись колѣни, и она безсильно опустилась на полъ.

— Полноте, — тихо сказалъ онъ, поднимая ее. — Я не обвинять пришелъ... Надо спастись... Господи, что же это будетъ!..

Онъ въ отчаяніи схватился за голову.

— Гдѣ-жъ спастись?.. Пусть наказываютъ... я стою... заслужила... всего стою... Не надо спасаться!.. Пусть судятъ вмѣстѣ... сошлютъ... не оставляй меня!

Она безъ силъ припала къ его рукѣ губами.

— Вѣдь и тамъ живутъ же люди... Если ты простишь меня... если ты будешь со мною, я все вынесу,—шептала она.

По тѣлу Муратова пробѣжала дрожь.

— Что вы говорите! Не вмѣстѣ насъ сошлютъ... не къ одному наказанію присудятъ... Мы не мужъ и жена... Мы чужіе,—проговорилъ онъ отрывисто.

Онъ торопливо поднялъ, посадилъ ее на табуретъ и быстро, не простившись съ нею, вышелъ изъ кухни. Она сидѣла съ опущенной головой, съ опущенными руками, и тупо смотрѣла въ полъ. Ея голова работала плохо. Она ничего не могла сообразить. Въ ея умѣ вертѣлись какія-то отдѣльныя слова, а не мысли.

— Убила... не спасла ничего... Судить будутъ... Чужіе!..

Все это вертѣлось, путалось въ ея умѣ, шепталось ею, произносилось вслухъ. Въ эту минуту любой, самый неумѣлый слѣдователь могъ бы получить отъ нея вполнѣ откровенные отвѣты насчетъ всего сдѣланнаго ею: она не владѣла собою.

XVIII.

Муратовъ уже мчался къ Кречмеру. Онъ зналъ, что контора Кречмера была уже закрыта, онъ зналъ, что его самого ждутъ въ театрѣ, но отложить посѣщеніе къ Кречмеру, ждать до утра, у него не было силъ. Ему казалось, что онъ

и теперь опоздаетъ предупредить Кречмера относительно предъявленія фальшиваго векселя, что Кречмеръ тотчасъ же предъявитъ этотъ векселъ, какъ только узнаетъ о смерти Зимина, что онъ уже узналъ объ этомъ событіи. Нужно было спѣшить и спѣшить, вотъ все, что онъ сознавалъ теперь. Онъ почти взбѣжалъ по лѣстницѣ до дверей конторы и сильно нажалъ пуговку электрическаго звонка. Черезъ минуту передъ нимъ открылась дверь.

— Господинъ Кречмеръ! — отрывисто сказалъ онъ мальчику-еврею.

— Контора закрыта,—лаконично отвѣтилъ тотъ.

— Я знаю. Мнѣ нужно видѣть господина Кречмера, — проговорилъ Муратовъ.

— Они ѣдутъ въ театръ,—проговорилъ мальчикъ.

— Все равно, все равно! Доложите скорѣе,—настаивалъ Муратовъ.

Мальчикъ нерѣшительно пошелъ докладывать.

— Пожалуйте,—проговорилъ онъ, возвратившись минутъ черезъ пять назадъ.

Муратовъ торопливо сбросилъ пальто. Мальчикъ со свѣчою въ рукахъ проводилъ его черезъ пустую комнату конторы въ слѣдующую комнату, гдѣ обыкновенно принималъ посѣтителей Кречмеръ. Теперь обѣ комнаты конторы выглядѣли еще строже, еще холоднѣе. Въ нихъ не было никого. Все было прибрано, все было какъ-то безжизненно и пустынно. Прошло минутъ пять прежде, чѣмъ появился самъ Кречмеръ. Онъ былъ щегольски одѣтъ, красиво причесанъ; на его рукахъ блестѣли брильянтовыя и крупныя бирюзовыя кольца, на груди сверкала дорогая булавка съ рубиномъ и брильянтами, его обыкновенно суровое и холодное лицо нѣсколько раскраснѣлось, вѣроятно, отъ вина, и приняло самодовольное, немного сальное и плотоядное выраженіе, нерѣдко встрѣчающееся на лицахъ старыхъ, богатыхъ евреевъ. Кречмеръ теперь не походилъ на того сухого дѣльца, какимъ онъ выглядѣлъ по утрамъ, но напоминалъ собою любящаго пожить, довольнаго собою и своею судьбой мѣщанина во дворянствѣ, какимъ онъ являлся обыкновенно въ театрѣ Берга, въ Буффѣ, въ балетѣ, на пикникахъ и попойкахъ среди кутящихъ тузовъ ростовщичества, биржи и желѣзныхъ дорогъ.

— А, это вы! — проговорилъ онъ, подходя къ Муратову съ довольнымъ видомъ, и, фамильярно коснувшись его плеча

рукою, добавилъ съ улыбкою:—ужъ очень деньжонки понадобились?

Онъ теперь не помѣстился за барикадою своего письменнаго стола, а стоялъ рядомъ съ Муратовымъ.

— Только вы скорѣе! Мнѣ нужно ѣхать,—добавилъ онъ, вытаскивая изъ жилетнаго кармана тяжеловѣсные золотые часы съ толстой цѣпочкой и смотря, который часъ. — Мы сегодня, знаете, собрались кутнуть, — засмѣялся онъ. — Мы вѣдь рѣдко, да мѣтко...

Повидимому, винные пары ходили у него въ головѣ и заставляли его ежеминутно улыбаться и потирать руки, сверкавшія въ брильянтахъ. Онъ былъ крайне комиченъ.

— Вечеръ, кажется, великолѣпный, только на тройкахъ и кататься въ такіе вечера,—замѣтилъ онъ.

Муратовъ хотѣлъ заговорить о дѣлѣ.

— А, знаете, здѣсь холодновато,—сказалъ Кречмеръ, потирая руки.—Перейдемте ко мнѣ...

Онъ взялъ подъ руку Муратова и провелъ его за письменный столъ въ свою квартиру. Они очутились въ роскошно, хотя и безвкусно-убранномъ кабинетѣ, гдѣ было слишкомъ много мягкихъ диванов, разнохарактерной бронзы, малахита, медвѣжьихъ шкуръ на полу. Видно было, что всѣ эти дорогія вещи купились не сразу, а постепенно, въ разныя эпохи, по случаю; хозяинъ хорошо зналъ ихъ цѣнность, но вовсе не понималъ, насколько гармонировали между собою всѣ предметы; съ него было довольно и того, что они дороги и поражаютъ глаза своимъ великолѣпіемъ. Въ кабинетѣ было сильно накурено, точно въ немъ сейчасъ еще пировало нѣсколько мужчинъ. Впрочемъ, вѣроятно, это такъ и было: около камина и въ пепельницахъ валялись еще окурки папиросъ и сигаръ. Войдя въ комнату, Муратовъ услышалъ громкій смѣхъ трехъ-четырехъ мужскихъ голосовъ и смутился. Онъ инстинктивно обвелъ глазами комнату: она была пуста, двери въ нее были заперты, закрыты тяжелыми портьерами, и за этими дверями слышались голоса.

— Тамъ у меня пріятели, — проговорилъ Кречмеръ, замѣтивъ смущеніе Муратова.

Они подошли къ камину.

— Ну-съ, теперь говорите, сколько вамъ надо?—проговорилъ Кречмеръ, усаживаясь съ Муратовымъ въ высокія готическія кресла у камина, гдѣ еще тлѣли уголья.

— Я не за деньгами,—произнесъ Муратовъ.—Я пришелъ вамъ сказать, что Зиминъ умеръ...

— Ага!—съ улыбкой протянулъ Кречмеръ такимъ тономъ, точно хотѣлъ сказать Муратову: «значитъ, ты попался, голубчикъ».

Муратова передернуло. Онъ не зналъ, какъ бы удачнѣе высказать свое желаніе.

— У васъ есть вексель Зимина, переданный вамъ мною,— продолжалъ Муратовъ.— Вы, конечно, должны будете его представить, такъ какъ начнется вызовъ кредиторовъ и должниковъ покойнаго...

Кречмеръ, откинувшись въ креслѣ, молчалъ и улыбался, смотря въ огонь. Муратову казалось, что онъ смѣется надъ нимъ. Онъ жестоко ошибался, потому-что Кречмеру въ эту минуту вспомнились совсѣмъ не дѣловые разговоры, а иныя бесѣды, смѣшившія его за только что конченнымъ обѣдомъ. Эти бесѣды вспоминались ему еще ярче подъ звуки несмолкавшаго въ сосѣдней комнатѣ смѣха.

— Я попросилъ бы васъ не представлять этого векселя, такъ какъ...—началъ Муратовъ и на минуту остановился:— такъ какъ этотъ вексель можетъ компрометировать жену Зимина...

Кречмеръ бросилъ на него лукавый взглядъ и, подмигнувъ ему, ударилъ его слегка по колѣнкѣ.

— Хорошенькая бабенка?—проговорилъ онъ.

Муратовъ постарался небрежно усмѣхнуться. Но его улыбка вышла какою-то плачевною и кислою.

— Такъ какъ же мы это сдѣлаемъ?—добродушно спросилъ Кречмеръ.—Надо, надо помочь ей! Что-жъ напрасно губить бабенку.

Муратовъ начиналъ оживать.

— Я дамъ вамъ вексель отъ себя, а этотъ вы уничтожите,—проговорилъ онъ.

— Ахъ, вы, фантазеры! — отвѣтилъ Кречмеръ, шутливо дотрогиваясь до его руки.—Такъ дѣла не дѣлаются... Свой вексель вы дадите?.. Что значитъ вашъ вексель?..

Муратовъ хотѣлъ что-то сказать, но Кречмеръ повторилъ снова:

— Нѣтъ, вы мнѣ скажите, что значитъ вашъ вексель?

Кречмеръ опять добродушно засмѣялся.

— Позвольте, вы же имѣете дѣло съ благороднымъ человѣкомъ,—проговорилъ Муратовъ въ смущеніи.

— О!—поднялъ руку Кречмеръ съ серьезнымъ выраженіемъ лица. — Я никогда не сомнѣвался въ этомъ, никогда!

Онъ протянулъ руку Муратову и пожалъ его руку, точно увѣряя его въ своей преданности и въ своемъ уваженіи.

— Но у васъ нѣтъ средствъ, — продолжалъ онъ наставительнымъ тономъ.—Вы плохо распоряжаетесь деньгами... Знаете, въ чемъ главное различіе между вами и нами, дѣловыми людьми? Скажите мнѣ, знаете ли вы это?

Муратовъ затруднялся отвѣтомъ.

— Ну, я вамъ скажу,—пояснилъ Кречмеръ.—Мы наживаемъ рубли и тратимъ полтинники; вы же не наживаете и полтинниковъ, а тратите рубли! Вотъ и вся разница!.. Право!.. Другого различія между нами нѣтъ, всѣ мы люди...

Кречмеръ былъ доволенъ придуманнымъ имъ сравненіемъ, и вся его физіономія озарилась широкою улыбкою.

— Я женюсь,—проговорилъ Муратовъ: — женюсь на-дняхъ на очень богатой особѣ...

— А! На-дняхъ?.. на-дняхъ?.. Ну, у васъ, кажется, теперь еще не вѣнчаютъ, — произнесъ, что-то соображая, Кречмеръ.

— Я говорю: на-дняхъ, потому что постъ уже кончился, пройдутъ праздники, и въ первыхъ числахъ января будетъ моя свадьба.

— Могу спросить, на комъ? — вѣжливо освѣдомился Кречмеръ.

Муратовъ отвѣтилъ не вдругъ, точно ему было тяжело произнести здѣсь фамилію своей невѣсты.

— На Сухаревой,—отвѣтилъ онъ, наконецъ, собравшись съ силами.

— А-а! Прекрасная партія! Прекрасная партія! Поздравляю, поздравляю отъ души!—проговорилъ Кречмеръ, снова пожимая ему руку. — Значитъ, городскіе слухи вѣрны. Я, признаюсь вамъ, не совсѣмъ довѣрялъ имъ... но я очень радъ, очень радъ за васъ...

— Вы понимаете, что я заплачу все тотчасъ послѣ женитьбы,—сказалъ Петръ Павловичъ.

— Да, да, большое состояніе, очень большое! Говорятъ, у дѣвушки сорокъ или пятьдесятъ тысячъ годового дохода, не считая того, что ей оставитъ послѣ своей смерти мать.

— Кажется, что около того... Итакъ, вы видите, что вы ничѣмъ не рискуете, взявъ отъ меня вексель взамѣнъ векселя Зимина,—произнесъ Муратовъ.

Кречмеръ покачалъ головою.

— А если вдругъ... — Кречмеръ остановился и потомъ окончилъ:—если вы умрете до свадьбы?

Муратовъ смутно угадалъ, что Кречмеръ хотѣлъ сказать вовсе не то, что сказалъ: «а если вы лжете?» «а если вы не женитесь?» «а если вамъ откажутъ?»

— Ну, я постараюсь дожить какъ-нибудь до этого времени, — усмѣхнулся Петръ Павловичъ. — Женитьба моя — дѣло рѣшенное, помѣшать ей ничто не можетъ.

— Отчего же бы вамъ не взять у невѣсты теперь тысячъ десять-пятнадцать, чтобы расплатиться со мною вообще?—задумчиво произнесъ Кречмеръ.—Это было бы всего проще.

— Брать у невѣсты деньги наканунѣ свадьбы!—воскликнулъ Муратовъ.—Это было бы уже слишкомъ!

— Да, да. Неловко!..—согласился съ серьезнымъ видомъ старикъ. — Но вѣдь вы же хотите выгородить Зимину въ этомъ дѣлѣ... Надо такъ или иначе это уладить... Обмѣнить векселя Зимина на ваши векселя я положительно не могу... Теперь рисковать нельзя, тѣмъ болѣе, что за одинъ этотъ вексель, между нами будь сказано, мнѣ дадутъ родственники Зиминой съ удовольствіемъ десять тысячъ... Я васъ увѣряю... Кромѣ того...

Кречмеръ облокотился на ручку кресла и съ таинственнымъ видомъ нагнулся къ Муратову.

— Кромѣ того, я сильно подозрѣваю, что мнѣ былъ бы очень благодаренъ старшій Аносовъ, если бы я представилъ этотъ вексель Зимина, выданный на ваше имя, съ бланковой надписью его брата. Вы вѣдь, конечно, знаете, какіе слухи ходятъ объ отношеніяхъ этихъ двухъ братьевъ?..

Муратовъ поблѣднѣлъ, какъ полотно. Теперь онъ сообразилъ, что Кречмеръ дѣйствительно могъ разсчитывать на крупныя благодарности со стороны родственниковъ Зимина и со стороны старшаго брата молодого Аносова. Онъ теперь уже боялся, что Кречмеръ потребуетъ за этотъ вексель десятки тысячъ. Его била лихорадка. Въ эту минуту дверь въ кабинетъ отворилась, и въ нее просунулось длинное лицо одного изъ тощихъ конторщиковъ, племянника и наслѣдника бездѣтнаго вдовца Кречмера. Носъ этого конторщика походилъ теперь на тоненькій кончикъ свеклы; его совсѣмъ сузившіеся черные глазки блистали масломъ, широкій ротъ осклаблялся глуповатой улыбкой подгулявшаго человѣка; длинныя руки его игриво и весело болтались въ воздухѣ, выдѣлывая какіе-то жесты. Въ другое время Муратовъ разразился бы неудержимымъ смѣхомъ при видѣ развеселившагося смиренника, напоминавшаго теперь брыкающагося

и задирающаго хвостъ теленка, впервые попавшаго въ открытое поле.

— Прикажете ждать васъ или ѣхать? — спросилъ онъ, подмигивая дядѣ. — Ахъ, мое почтеніе, господинъ Муратовъ!—обратился онъ развязно къ Муратову, который и не подозрѣвалъ, что тотъ знаетъ его фамилію. — Вы тоже съ нами-съ поѣдете?.. Мы сегодня совсѣмъ того... кутнули... А что еще будетъ!

Длинныя руки замахали въ воздухѣ.

— А-а!—ударилъ себя по лбу Кречмеръ.—Я и забылъ! заболтался съ вами!.. Сейчасъ, сейчасъ иду!—отвѣтилъ онъ племяннику.

— Хорошо-съ! — отвѣтилъ племянникъ и обратился къ Муратову:—Прощайте-съ, господинъ Муратовъ!.. Пожелайте намъ хорошо веселиться!..

Молодой конторщикъ шаркнулъ ногой.

Казалось, онъ вознаграждалъ себя за вѣчное молчаніе и вѣчную неподвижность во время занятій въ конторѣ. Черезъ минуту его длинноносая фигура скрылась за дверью.

— Да, такъ мы кончимъ этотъ разговоръ завтра,—сказалъ Кречмеръ Муратову.—Я готовъ сдѣлать вамъ услугу; признаюсь, бабенку мнѣ эту жаль компрометировать... тысячъ десять, вѣроятно, покроютъ мои счеты съ вами... Но... но я попрошу васъ расплатиться наличными деньгами... ваши векселя тутъ не могутъ помочь... Теперь рисковать нельзя, такія времена... Но до суда, конечно, я не желалъ бы доводить дѣла... Тутъ и безъ того одно такое дѣло начинается... Вы вѣдь знаете Винтера, глупый такой мальчишка изъ прихвостней...

— Да, знаю...

— Ну, вотъ тоже, кажется, попался... Поддѣлалъ чеки отъ имени дяди... Дядя у него почтенный человѣкъ, съ деньгами... Дѣло будетъ скверное... Ужъ теперь такія времена... Всѣ хотятъ жить, а наживать умѣютъ немногіе. .

Муратовъ всталъ и пошелъ, провожаемый Кречмеромъ. Онъ совершенно упалъ духомъ, его лицо было страшно блѣдно. Онъ машинально надѣлъ пальто, спустился съ лѣстницы. У подъѣзда, гремя мелкими бубенчиками, стояли двѣ бойкія тройки, взрывавшія копытами снѣгъ.

«Мы наживаемъ рубли и проживаемъ полтинники, а вы не наживаете и полтинниковъ, а проживаете рубли»,— раздавалась въ головѣ Муратова фраза Кречмера.

«Куда теперь ѣхать?» думалось ему. Въ театръ въ ложу

Сухаревыхъ? Но возможно ли въ его положеніи явиться въ ярко-освѣщенный театральный залъ? Онъ сознавалъ, что онъ выглядитъ, должно-быть, страшно. Домой? Но онъ сознавалъ, что нигдѣ не найдетъ теперь себѣ покоя. Онъ взглянулъ на часы: было половина девятаго. Черезъ полтора, черезъ два часа кончится спектакль. Нужно убить это время и потомъ идти къ Сухаревымъ. Нужно рѣшиться на послѣдній шагъ: открыть все Юліи Николаевнѣ. Что она подумаетъ о немъ? Не сочтетъ ли она его негодяемъ, который нарочно устраивалъ дѣло такъ, чтобы она не имѣла возможности отказать ему въ деньгахъ, отказаться отъ него? Продолжаетъ ли она любить его попрежнему? Не пробудилъ ли въ ея душѣ его проступокъ отвращенія къ нему? И зачѣмъ это онъ такъ безтактно извинялся передъ нею? Это еще болѣе возбудило ее противъ него. Онъ переживалъ теперь тяжелую пытку, онъ расплачивался за долгіе годы безпечальнаго житья. Нельзя ли обратиться къ кому-нибудь изъ богатыхъ пріятелей? Да, хороши эти богачи! Они тратятъ десятки тысячъ на подарки кокоткамъ и актрисамъ, но у нихъ почти никогда нѣтъ наличныхъ денегъ. Ни у одного изъ нихъ не найдется десяти тысячъ рублей для спасенія пріятеля. Да и повѣрятъ ли они ему? Не лучше ли спросить деньги у старухи Сухаревой? Но вѣдь она разболтаетъ все и сыну, и Юліи Николаевнѣ; сынъ разскажетъ это всему городу, а Юлія Николаевна — о, она еще болѣе станетъ подозрѣвать его, Муратова, въ грязныхъ цѣляхъ, въ безчестныхъ планахъ. Нѣтъ, нужно испить до конца чашу этой горечи, нужно покаяться съ глазу на глазъ передъ Юліей Николаевной.

«Бѣдная дѣвушка, за что я заставляю тебя страдать!» — почти вслухъ съ глубокимъ чувствомъ проговорилъ онъ.

Онъ торопился домой, блѣдный, смущенный, и заперся въ своей квартирѣ. Онъ боялся, что къ нему кто-нибудь войдетъ. Передъ нимъ теперь встало все его прошлое, ему представлялось близкое объясненіе съ невѣстой, и его бросало въ жаръ и въ холодъ. Что онъ будетъ говорить? Какъ онъ будетъ объясняться? Онъ ничего не могъ придумать. Онъ чувствовалъ, что слезы подступаютъ къ его горлу, душатъ его. Его губы невольно шептали какія-то мольбы. Случайно его взглядъ упалъ на небольшой образокъ, висѣвшій высоко въ углу его спальни. Въ его головѣ промелькнула мысль, что онъ украшалъ стѣны своей квартиры пошлыми изображеніями голыхъ Фринъ и Психей и поста-

рался запрятать повыше этотъ едва замѣтный образокъ, которымъ когда-то благословила его мать. Лучше бы ужъ совсѣмъ не вѣшать его, совсѣмъ изгнать изъ комнаты, чѣмъ стыдливо прятать его подъ потолокъ отъ взоровъ посторонних посѣтителей. Да, лучше бы, но онъ боялся сдѣлать это, потому что хотя онъ и глумился часто надъ многими вопросами вѣры, а все-таки суевѣрно молился тайкомъ отъ всѣхъ въ трудныя минуты жизни. Теперь въ его головѣ мелькала мысль, что Богъ наказываетъ его за его глумленія, за его стремленіе казаться невѣрующимъ, за его молитвы, совершаемыя, какъ преступленіе, тайкомъ отъ всѣхъ. Онъ вспомнилъ, какъ разъ Аносовъ, смѣясь, замѣтилъ ему: «ого, ты и образа у себя повѣсилъ», а онъ отвѣтилъ ему, краснѣя: «да, это хозяйскіе, никакъ не желаютъ убрать ихъ!» На его глаза навернулись слезы. Онъ опустился на колѣни, склонилъ къ полу свою голову и молился уже со слезами, шепча, какъ нервная женщина, вмѣсто молитвъ отрывистыя фразы: «Не попусти! не погуби! спаси меня!.. Прости мнѣ мои грѣхи!.. Обрати меня на путь истины!.. Грѣшенъ я, много грѣшенъ передъ Тобою, но помилуй меня... помилуй!..»

Онъ былъ пришибленъ, униженъ, жалокъ.

XIX.

Около одиннадцатаго часа онъ вышелъ изъ дому.

— Пріѣхали господа изъ театра?—спросилъ онъ у швейцара Сухаревыхъ.

— Нѣтъ-съ, еще не пріѣзжали,—отвѣтилъ швейцаръ.

— Я подожду!

Петръ Павловичъ сбросилъ пальто и прошелъ въ залъ. Заложивъ руки за спину, опустивъ голову, онъ тихо ходилъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ, слабо освѣщенной сверху лампой. Иногда онъ останавливался, не то обдумывая что-то, не то прислушивался къ чему-то. Наконецъ, на улицѣ послышался шумъ подъѣзжавшаго экипажа. Раздались голоса. Онъ узналъ въ нихъ голоса генеральши Сухаревой, tante Catiche и Юліи Николаевны. У него замерло сердце; онъ готовъ былъ убѣжать; въ его головѣ мелькнула мысль: «достаточно приставить къ виску револьверъ, спустить курокъ, и всѣ испытанія кончатся».

— Хорошъ, хорошъ, батюшка!—встрѣтила его старуха.— Юлія чуть не захворала, поджидая тебя.

— Не могъ... задержали,—запинаясь, проговорилъ Петръ Павловичъ.

— Я ужъ думала, не захворали ли вы вдругъ,—заговорила tante Catiche.

— Нѣтъ... ничего...

Муратовъ едва переводилъ духъ. Юлія Николаевна молча поздоровалась съ нимъ и смутилась при видѣ выраженія его лица: онъ былъ не похожъ на себя.

— Чай подавайте!—обратилась генеральша къ лакею.— Мы сейчасъ придемъ въ столовую.

— Все готово-съ,—отвѣтилъ лакей.

Муратовъ тихо, запинаясь, прошепталъ Юліи Николаевнѣ:

— Мнѣ надо будетъ поговорить съ вами...

Юлія Николаевна вопросительно подняла на него глаза и въ смущеніи спросила:

— Сейчасъ?

— Послѣ чаю,—послышался отвѣтъ.

Чай прошелъ вяло. Болтала одна генеральша. Наконецъ, Юлія Николаевна поднялась и проговорила:

— Кузенъ, пройдемтесь по залѣ... Я устала сегодня сидѣть...

Они вышли.

Они вошли въ залу, прошли оттуда въ синюю гостиную. Юлія Николаевна, предчувствуя что-то недоброе, съ замирающимъ сердцемъ ждала, что онъ скажетъ.

— Жюли, вѣришь ли ты, что я тебя люблю?—наконецъ, проговорилъ онъ.

— Что за вопросъ?—прошептала она. — Ты знаешь... я выхожу за тебя замужъ...

Она была встревожена, смущена.

— Да, ты идешь за меня замужъ, ты дала мнѣ слово, но ты не знала вполнѣ моей прошлой жизни...

Она остановила его движеніемъ руки.

— Не говори мнѣ о ней... Забудь о ней самъ... Ты самъ замѣтилъ мнѣ, что это дурная жизнь...

— Да, дурная, проклятая жизнь, но я не могу забыть о ней, отдѣлаться отъ нея, покуда остаются ея слѣды,— горячо проговорилъ онъ.

Она сдвинула брови и удвоила вниманіе.

— Слѣды? Какіе? О чемъ ты говоришь?

— Я запуталъ свои денежныя дѣла...

Она опустила руки: ей вдругъ вспомнились слова сестры: «онъ женится на тебѣ потому, что запуталъ свои денеж-

ныя дѣла». Да, онъ слово въ слово повторилъ фразу ея сестры. Вообще онъ говорилъ все то, что говорила ея сестра. Можетъ-быть, онъ и точно женится на ней только ради поправленія своихъ денежныхъ дѣлъ.

— Я это знаю,—тихо отвѣтила Юлія Николаевна.

— Знаешь?

— Да. Сестра мнѣ говорила уже объ этомъ.

Онъ весь вспыхнулъ.

— А! Она говорила тебѣ?—воскликнулъ онъ.—Она говорила, что я женюсь на тебѣ, потому что мнѣ нужны деньги, что имѣй я деньги, и я никогда не женился бы на тебѣ?

— Да, — коротко и твердо отвѣтила Юлія Николаевна, взглянувъ прямо ему въ лицо своими ясными глазами.

Онъ смутился: дѣйствительно, онъ сначала хотѣлъ присвататься за нее ради денегъ, онъ хотѣлъ сдѣлать неизбѣжною эту свадьбу, чтобы выпутаться изъ денежныхъ затрудненій. Но развѣ теперь онъ не любилъ ея? Развѣ онъ промѣнялъ бы ее теперь на болѣе богатую невѣсту?

— И ты вѣришь ей?—спросилъ онъ.

Она взглянула куда-то въ сторону.

— Въ послѣднее время я сама не знаю, чему я вѣрю и чему не вѣрю,—болѣзненнымъ тономъ отвѣтила она.

— Жюли! — воскликнулъ онъ и припалъ къ ея рукѣ. — Ты права! Ты права! Ты имѣешь право не вѣрить мнѣ, считать меня негодяемъ! Это самое страшное наказаніе за все мое прошлое! Послѣ, черезъ долгіе годы, я заслужу твое прощеніе, я завоюю твою любовь, твою вѣру въ мою искренность. Теперь же...

Онъ остановился, взволнованный, со слезами на глазахъ. Онъ былъ жалокъ въ эту минуту. До сихъ поръ такимъ жалкимъ, плачущимъ, слабымъ онъ являлся только въ своей спальнѣ, когда его никто не видѣлъ. Теперь онъ являлся такимъ передъ другимъ лицомъ. Юлія Николаевна стояла, опустивъ голову, ждала, что онъ скажетъ. А у него все сильнѣе и сильнѣе подступали слезы; наконецъ, онъ не выдержалъ и зарыдалъ, опустившись на диванъ и закрывъ лицо руками.

— Я не могу, не могу!—прошепталъ онъ.—Это свыше моихъ силъ... Нѣтъ, пусть лучше дѣлаютъ, что хотятъ... Пусть лучше судятъ...

Юлія Николаевна продолжала стоять. Ея брови были сдвинуты, выраженіе лица было серьезно, даже строго. Она походила теперь уже не на дѣвочку, а на женщину, пере-

живающую тяжелую внутреннюю борьбу. Прошло минуты двѣ, наконецъ, она подняла голову, подошла къ нему и провела рукою по его волосамъ. Въ этомъ жестѣ было что-то материнское.

— Полно, Пьеръ,—тихо сказала она.—Говори мнѣ все... Я выслушаю все спокойно...

Онъ, не поднимая головы, не глядя на нее, прильнулъ къ ея рукѣ.

— Я... я... выдалъ фальшивые векселя,—тихо сказалъ онъ.—Ты, конечно, не знаешь, что это значитъ. Меня могутъ за это судить, сослать въ Сибирь... Но мало того, что я запуталъ себя, я запуталъ и Жоржа Аносова... Онъ пострадаетъ также... Это было подло... гнусно...

Юлія Николаевна, не шевелясь, слушала его.

— Завтра, послѣзавтра я долженъ заплатить по этимъ векселямъ или... У меня нѣтъ денегъ... Мнѣ негдѣ достать...

— Сколько нужно?—отрывисто спросила она.

— Десять, двѣнадцать тысячъ...

— Хорошо,—сухо отвѣтила она.

Онъ снова прильнулъ къ ея рукѣ губами. Ему было стыдно глядѣть на нее. У него не хватило силъ увѣрять ее теперь въ своей любви. Онъ сознавалъ, что и ей въ эту минуту было тяжело его присутствіе. Онъ поднялся съ мѣста, сжалъ ея руку и пошелъ. Она не останавливала его, не шла его провожать, оставшись стоять у стола. Минуты черезъ двѣ она какъ бы опомнилась и прошла въ свою спальню. Къ ней вошла горничная.

— Не надо, я сама раздѣнусь,—отрывисто проговорила Юлія Николаевна.

Горничная вышла. Юлія Николаевна опять впала въ раздумье. Она теперь уже совсѣмъ не походила на ту дѣвочку, какою она была такъ недавно. Теперь ее не манило уже замужество, какъ что-то таинственно-прекрасное, какъ что-то неизвѣданно-обольстительное. Оно уже потеряло для нея всю свою поэтическую прелесть съ того дня, когда она побывала у Муратова. Тогда онъ своими животно-страстными ласками разбилъ ея дѣвическія смутныя мечты о поэзіи любви, теперь онъ пошатнулъ въ ней вѣру въ его любовь къ ней вообще. Что если онъ дѣйствительно ищетъ только ея денегъ? Что если онъ любитъ другую? Что, если его раскаяніе, его отвращеніе къ прежней разгульной жизни обусловливается только безденежьемъ? Вѣдь ея супружеская жизнь съ нимъ, утратившая въ ея глазахъ всю таинственную пре-

лесть и заманчивость, сдѣлается мрачнымъ адомъ. Но какъ же отказать ему теперь, когда кромѣ него она, какъ ей казалось теперь, ни за кого не рѣшится выйти замужъ? Не разсчитывалъ ли онъ именно на это, дѣлая умышленно невозможнымъ для нея отступленіе? Не лгалъ ли онъ ей, когда говорилъ, что онъ любитъ ее и только ее одну? У кого спросить совѣта, гдѣ искать поддержки? Она была одна, одна и одна, не знающая жизни, неопытная и безсильная. Если бы ее иначе воспитали, если бы у нея была разумная, любящая семья, она не сбилась бы съ пути, она не сдѣлала бы ошибокъ, она не мучилась бы теперь...

Часы шли за часами, а она не ложилась спать. Она то плакала, то молилась, то какъ-то стихала и серьезно задумывалась, но эти думы были тяжелы, такъ какъ онѣ состояли изъ однихъ вопросовъ, на которые она не умѣла дать отвѣтовъ, и сознавала, что этихъ отвѣтовъ ей не дадутъ ни мать, ни сестра, ни братъ, ни tante Catiche. Они или не понимаютъ ничего, или изолгались, или ни о чемъ не задумывались. Ей теперь дѣлались всѣ эти люди или противны, или жалки; она понимала, что они не могутъ ей служить руководителями... Но на что же она можетъ надѣяться? На время, на опытъ? Не подождать ли выходить замужъ, не присмотрѣться ли поближе къ людямъ и къ жизни? Не испытать ли любви Муратова отсрочкою свадьбы?..

Когда на другой день она проснулась, ея лицо сильно измѣнилось. Мать заботливо спросила ее:

— Здорова ли ты?

— Я? Ничего!—отвѣтила она.

Во время чаю она спросила мать:

— Мама, когда же мнѣ будутъ дѣлать приданое?

Генеральша оживилась, видя въ перспективѣ возможность разъѣзжать по магазинамъ.

— Да, надо будетъ поскорѣе начать,—отвѣтила она.

— Ты изъ своихъ денегъ будешь все дѣлать?

— Ну да, и изъ своихъ, и изъ твоихъ! Надо будетъ взять твои деньги у мужа Мари.

— Да, ты возьми. Я хотѣла бы имѣть и у себя лично деньги, чтобы распоряжаться по своему усмотрѣнію.

— Ахъ, разумѣется, нельзя же предоставить все другимъ, нужно все дѣлать по своему вкусу. Замѣтила ты вчера, какъ красивы были брильянты на Адели Муратовой?

— Да, очень хороши,—отвѣтила Юлія Николаевна, ничего не замѣтившая во время спектакля вслѣдствіе тревоги объ

отсутствіи Петра Павловича.—Я хотѣла бы купить себѣ что-нибудь подобное.

— Да, да, это будетъ хорошо! Мы съ тобой поѣдемъ. Я увѣрена, что эти брильянты куплены у Болэна или у Зефтигена. Надо будетъ сегодня же объѣздить. Впрочемъ, самое лучшее будетъ заказать все по своему вкусу. Я на-дняхъ видѣла розу для волосъ—это просто прелесть! Вся сдѣлана изъ бѣлыхъ брильянтовъ и только въ серединѣ нѣсколько розовыхъ брильянтовъ и самыхъ свѣтлыхъ рубиновъ; нѣжность цвѣтовъ изумительная и при малѣйшемъ колебаніи она просто горитъ, горитъ... Хорошо бы тебѣ заказать такую для поддержки подвѣнечнаго вуаля сзади. Это было бы эффектно: точно упавшая и запутавшаяся въ блондахъ роза...

— Да, да, это будетъ хорошо, — безсознательно согласилась Юлія Николаевна.

Генеральша напала на своего конька: она уже впередъ предвкушала всѣ наслажденія разъѣздовъ по магазинамъ, перерываніе товаровъ, примѣряніе вещей. Она говорила объ этомъ предметѣ съ тѣмъ захлебываніемъ, съ какимъ проголодавшійся обжора говоритъ о вкусныхъ блюдахъ.

— Но я все-таки попрошу дать мнѣ лично на руки часть денегъ,—проговорила Юлія Николаевна.

— Хорошо, хорошо!

— Мнѣ, мама, много, много нужно... Тысячъ пятнадцать... Я буду тогда знать, что и я богата...

У Юліи Николаевны замирало сердце: она боялась отказа.

— Ха-ха-ха! — захохотала генеральша. — Дать ей пятнадцать тысячъ, чтобы она знала, что и она богата! Дурочка моя! Ты думаешь, что пятнадцать тысячъ—богатство! Нашъ Яшка въ прошломъ году въ одинъ день поднесъ танцовщицѣ Неспѣловой однихъ брильянтовъ на двадцать тысячъ! И это такъ, ни за что, ни про что! А она будетъ считать себя богатой, имѣя въ рукахъ пятнадцать тысячъ! Посмотрю я, много ли ты на нихъ сдѣлаешь!

— Я, можетъ-быть, ничего не буду на нихъ дѣлать, а положу въ шкатулку и буду знать, что у меня есть свои деньги,—замѣтила Юлія Николаевна.

— У тебя и есть свои деньги, но не пятнадцать, не двадцать тысячъ, а сорокъ пять тысячъ ежегоднаго дохода, кромѣ того, что ты получишь послѣ меня, — проговорила генеральша, взявъ дочь за подбородокъ и цѣлуя ее въ лобъ.

Онѣ встали изъ-за стола.

— Такъ ты мнѣ дашь, мама, деньги?—спросила Юлія Николаевна.

— Хорошо, хорошо!—отвѣтила генеральша.—А мы, въ самомъ дѣлѣ, сегодня же поѣдемъ смотрѣть нѣкоторыя вещи для приданаго. Погода, кажется, отличная... Ахъ, я совсѣмъ забыла!—вдругъ нахмурилась старуха.—Мари вѣдь хотѣла сегодня пріѣхать, вѣроятно, за тобою... Она, должно-быть, сейчасъ будетъ сюда!

— Я не поѣду болѣе къ ней!—рѣзко отвѣтила Юлія Николаевна.

— То-есть какъ же это?—въ недоумѣніи спросила мать, считавшая невозможнымъ серьезно возражать требованіямъ Марьи Николаевны.

— Да такъ: просто не поѣду—вотъ и все,—холодно отвѣтила Юлія Николаевна.

Старуха съ недовѣріемъ покачала головой. Она и радовалась тому, что ея дочь хочетъ остаться жить у нея, и не вѣрила въ возможность этого счастья.

Черезъ полчаса, дѣйствительно, пріѣхала Марья Николаевна. Бросивъ пристальный взглядъ на нее, можно было замѣтить въ ней сильную перемѣну. Она словно похудѣла и была блѣднѣе, чѣмъ обыкновенно. Только при помощи довольно большихъ усилій она сохраняла равнодушный и спокойный видъ, стараясь скрыть свое внутреннее волненіе. Дѣло въ томъ, что послѣдніе дни были самыми тяжелыми днями въ ея жизни: ея мужъ, раздражаемый свѣтскими толками и предположеніями насчетъ близкой женитьбы Муратова на Юліи Николаевнѣ, пріѣзжалъ каждый день домой въ такомъ настроеніи, что не церемонился уже вовсе съ женою даже при слугахъ. Оскорбленія, упреки, угрозы, все это обрушивалось на нее, и, въ концѣ концовъ, слышалось одно и то же приказаніе привезти немедленно сестру въ ихъ домъ. Иногда можно было подумать, что онъ начинаетъ сходить съ ума отъ безсильной злобы, отъ сознанія, что не сегодня, такъ завтра «негодяй» Муратовъ, въ качествѣ мужа Юліи Николаевны, получитъ право потребовать у него, у Николая Аносова, отчетъ по опекѣ. Эта мысль приводила Аносова въ ярость, и онъ нападалъ на жену. Несмотря на всю свою выдержку, на всю привычку къ подобнымъ сценамъ, Марья Николаевна, говорившая словами мужа, одѣвавшаяся по вкусу мужа, любившая и ненавидѣвшая по волѣ мужа, падала духомъ и не знала, какъ помочь дѣлу. Взять съ собой сестру отъ матери она не надѣялась и от-

тягивала, по возможности, попытку сдѣлать это. Но, наконецъ, настоянія мужа сдѣлались настолько невыносимыми, что она рѣшилась ѣхать къ матери за сестрой, мало вѣря въ успѣхъ своей попытки. Она поздоровалась съ матерью, съ теткою и сестрой, перекинулась съ ними нѣсколькими фразами и, наконецъ, проговорила:

— Я за тобой пріѣхала, Julie.

— Я останусь здѣсь,—твердо проговорила Юлія Николаевна.

— Ахъ, ты совсѣмъ, какъ дѣвочка, хочешь улизнуть отъ уроковъ, — улыбнулась небрежною улыбкою Марья Николаевна.—Твоя англичанка соскучилась уже о тебѣ.

— Англичанка можетъ такъ же жить при мнѣ здѣсь, какъ и у тебя, если мнѣ вздумается продолжать занятіе англійскимъ языкомъ,—сухо отвѣтила Юлія Николаевна.

Генеральша и tante Catiche сидѣли, какъ на иголкахъ, уже предчувствуя бурю. Имъ, кажется, очень хотѣлось спрятать свои головы и заткнуть свои уши, чтобы не видѣть и не слышать предстоявшаго сраженія. Марья Николаевна нахмурилась.

— Я тебя не понимаю,—проговорила она.

— Мнѣ кажется, дѣло такъ просто, что его не трудно понять,—отвѣтила Юлія Николаевна.—Я хочу жить у матери, а не въ чужомъ домѣ—вотъ и все!

— Ахъ, я не знала, что ты считаешь мой домъ чужимъ домомъ!—обидчиво проговорила Марья Николаевна.

— Не твой домъ, а домъ твоего beau père, домъ твоего мужа, — пояснила Юлія Николаевна. — Ты сама въ немъ чужой человѣкъ...

Марья Николаевна взглянула на мать, какъ бы требуя поддержки, но генеральша торопливо встала и начала усердно отыскивать что-то на этажеркѣ. Марья Николаевна не выдержала и вспылила.

— Это кто же тебѣ присовѣтовалъ остаться здѣсь? Твой женихъ, monsieur Mouratoff, конечно? Ему здѣсь удобнѣе вскружить тебѣ окончательно глупую головку.

— Напротивъ того, ему было бы удобнѣе, если бы я была у тебя,—усмѣхнулась Юлія Николаевна.—Напоминая мнѣ постоянно о немъ, браня его постоянно при мнѣ, ты только пробудила бы во мнѣ еще бо́льшую любовь къ кузену. Здѣсь же я могу видѣть его самого, могу узнать сама всѣ его дурныя стороны.

— О, Боже мой, какое самомнѣніе!—съ проніей воскликъ-

нула Марья Николаевна. — Какъ это ты разсмотришь его дурныя стороны, вѣшаясь ему на шею и только дожидаясь первой возможности выйти замужъ за этого...

— Пожалуйста, не доканчивай,—перебила ее Юлія Николаевна.—Никто не вѣшается здѣсь на шею кузену Пьеру, никто не торопится выйти за него замужъ. Выйду ли я за него—это еще вопросъ, но что я не выйду за него раньше, чѣмъ черезъ годъ—это несомнѣнно.

Марья Николаевна съ недоумѣніемъ посмотрѣла на сестру и потомъ, словно что-то сообразивъ, съ иронією передернула плечами:

— Ахъ, вѣроятно, институтская размолвка! — проговорила она.

— Ты ошибаешься, Marie, считая меня ребенкомъ,— отвѣтила Юлія Николаевна.—Можетъ-быть, ты и была права прежде, но я за эти дни много выросла,—съ горечью прибавила она.

Марья Николаевна нѣсколько смутилась. Въ ея душѣ опять мелькнуло подозрѣніе насчетъ дѣйствительныхъ отношеній Муратова къ ея сестрѣ.

— Я, право, ровно ничего не понимаю, — проговорила она въ замѣшательствѣ.

— Ты мнѣ говорила, что кузенъ Пьеръ любитъ не меня, а мои деньги,—сказала Юлія Николаевна.—Но вѣдь это же можно будетъ сказать о каждомъ женихѣ, который присватается за меня. Мое богатство ни для кого не тайна. Я люблю кузена Пьера и хотѣла бы думать, что онъ любитъ меня не за однѣ деньги! Для того, чтобы убѣдиться въ этомъ, я рѣшилась подождать годъ, присмотрѣться къ нему, провѣрить его...

У Марьи Николаевны промелькнула въ головѣ мысль о томъ, что въ продолженіе года Муратовъ можетъ совсѣмъ запутаться въ долгахъ.

— Ну, а если онъ черезъ годъ будетъ не въ состояніи жениться на тебѣ?—проговорила она, глядя испытующимъ взглядомъ на сестру и вспоминая ея слова о томъ, что теперь она *должна* выйти замужъ за Муратова.

— Тогда я не выйду ни за кого,—твердо отвѣтила Юлія Николаевна.

Марья Николаевна опять смутилась. Опять подозрѣнія сильнѣе закопошились въ ея головѣ. Если сестра не выйдетъ замужъ—это не бѣда; они, Аносовы, дольше могутъ играть ея деньгами, дольше могутъ опекать ее. Да, она и

не выйдетъ замужъ, потому что Муратовъ въ годъ успѣетъ окончательно запутаться въ долгахъ, и еще въ какихъ долгахъ! Но для чего же сестра хочетъ жить у матери? Не лучше ли, не выгоднѣе ли переманить ее къ себѣ?

— Я, Julie, не имѣю ничего противъ твоего рѣшенія, дѣлающаго честь твоей разсудительности,—довольно ласково сказала Марья Николаевна. — Но я надѣюсь, что ты не останешься здѣсь. Maman уже мало выѣзжаетъ въ свѣтъ, она...

— Мнѣ не для чего теперь выѣзжать въ свѣтъ,—перебила ее Юлія Николаевна.—Вѣдь туда невѣстъ на смотръ женихамъ вывозятъ, а мнѣ уже не нужны женихи. Да, кромѣ того, Маша, ты меня всегда учила приличіямъ,—не безъ ироніи замѣтила она:—и я теперь вполнѣ понимаю, какъ неприлично мнѣ жить въ домѣ сестры, когда у меня есть домъ моей матери, мой домъ. Я компрометировала бы мать, живя не съ нею, точно она недостойна, чтобы ея дѣти жили подъ ея надзоромъ и защитой.

Генеральша быстро обернулась отъ этажерки и бросила не то благодарный, не то торжествующій взглядъ на младшую дочь. Марья Николаевна въ смущеніи старалась найти въ своемъ умѣ возраженія, но его не являлось.

— Ты... ты не такъ смотришь,—начала она.

— Нѣтъ, Маша, я именно такъ смотрю на дѣло, какъ слѣдуетъ,—перебила ее Юлія Николаевна.—Ты могла оправдывать мое пребываніе въ твоемъ домѣ, а не здѣсь, только необходимостью вывозить меня въ свѣтъ или пренебреженіемъ, недовѣріемъ къ нашей матери. Но первое теперь не нужно, а второе... Я надѣюсь, что ты не станешь утверждать, что наша мать не имѣетъ права требовать, чтобы ея дочь жила у нея?

Марья Николаевна снова вспылила.

— Ты дѣлаешь мнѣ дерзости, ты хочешь поссорить со мною maman!—нервно воскликнула она.

— Ты напрасно сердишься, — отвѣтила Юлія Николаевна.—Ты вообще нынче слишкомъ много волнуешься... Я ничего не хочу; я просто рѣшилась остаться здѣсь и останусь, покуда мама не выгонитъ меня.

— О, Юля! — воскликнула генеральша и протянула ей руку.

Юлія Николаевна поцѣловала ея руку и, улыбаясь, обратилась къ Марьѣ Николаевнѣ.

— И за что ты сердишься, зачѣмъ ты такъ гонишься за дрянной, за глупой дѣвчонкой, какъ ты всегда назы-

ваешь меня? — проговорила она. — Развѣ ты меня любила? Развѣ ты заботилась обо мнѣ? Развѣ ты меня научила чему-нибудь? Нѣтъ, ты только говорила мнѣ, что не прилично, что не принято, что безтактно. Больше я ничего не слышала отъ тебя. Ты даже не могла дать мнѣ объясненій, когда я тебя спрашивала: почему же то или другое не принято, не прилично, безтактно? Ты, вѣроятно, и сама этого не знала, а говорила потому, что такъ тебѣ сказали Аносовы... Ты вѣдь только у нихъ и научилась всему этому, а не въ нашей вульгарной семьѣ... Если бы ты давала мнѣ болѣе серьезные совѣты, мнѣ не пришлось бы передумать, перечувствовать, пережить того, что я испытала въ послѣдніе дни...

— Что за мѣщанство! Попреки! — воскликнула съ презрѣніемъ Марья Николаевна, плохо скрывая свое все возраставшее волненіе.

Юлія Николаевна бросила на нее холодный взглядъ и съ ироніей вопросительнымъ тономъ сказала:

— Это, вѣрно, тоже не принято въ свѣтѣ?

— Maman, я, кажется, становлюсь лишнею въ вашемъ домѣ, гдѣ меня можетъ оскорблять каждая дѣвчонка,—проговорила задыхающимся голосомъ Марья Николаевна, поднимаясь съ мѣста.

— Она мнѣ такая же дочь, какъ ты,—отвѣтила генеральша.

— Да, но она еще слишкомъ молода, чтобы...

— Ну, полно, полно,—перебила ее генеральша.—Я очень рада, что теперь я буду не одна...

— Я вѣрю, что вамъ весело съ нею, но я хлопочу о ней, о ея счастьи, — замѣтила Марья Николаевна. — Она сама говоритъ, что она ни за кого не выйдетъ замужъ, кромѣ Муратова, и что свадьбу съ нимъ она откладываетъ на годъ... Въ этотъ годъ она окончательно скомпрометируетъ себя въ глазахъ общества, а за Муратова, между тѣмъ, не выйдетъ... Что же будетъ послѣ?

— Ты увѣрена, что я не выйду за него? — спросила Юлія Николаевна.

— О, конечно! Вѣдь ему нужна ты именно теперь, а не черезъ годъ! Онъ сдѣлаетъ все, чтобы принудить тебя выйти за него теперь, потому что черезъ годъ эта милая личность будетъ уже сидѣть гдѣ-нибудь въ долговомъ или даже на скамьѣ подсудимыхъ...

Въ лицѣ Марьи Николаевны мелькнуло какое-то злорадное выраженіе, котораго она не могла скрыть.

— И ты этому радуешься?—спросила Юлія Николаевна.— Ахъ, Маша, Маша, какую сухую и черствую женщину сдѣлали изъ тебя Аносовы...

Марья Николаевна вспыхнула и хотѣла что-то возразить, но у нея захватило духъ: ей стало вдругъ невыносимо тяжело.

— Пожалуйста, не возражай,—остановила ее сестра.— Я не знаю, чего бы я ни сдѣлала, чтобы спасти отъ гибели не только друга моего дѣтства, но просто совсѣмъ постороняго человѣка, близкаго къ гибели, а ты радуешься этому... А вѣдь было время, Маша, когда ты была такъ же добродушна, какъ вся наша семья... И странно бы намъ не быть добрыми, когда у насъ только птичьяго молока недостаетъ... А теперь... Нѣтъ, Маша, ужъ лучше быть женой Муратова, чѣмъ женой такого мужа, который сдѣлаетъ изъ жены такую сухую и черствую женщину, какую сдѣлали изъ тебя.

Марья Николаевна чувствовала, что сестра унижаетъ, разбиваетъ, топчетъ ее въ грязь, и потеряла всякое самообладаніе. Она уже не горячилась, но готова была расплакаться: слезы такъ и душили ее...

— Да, я, дѣйствительно, вижу, что твое присутствіе въ моемъ домѣ было бы величайшимъ моимъ несчастіемъ,— сказала она, черезъ силу сдерживая слезы.

— И все-таки ты дорого бы дала за то, чтобы я переѣхала снова къ тебѣ,—тихо и грустно замѣтила Юлія Николаевна:—потому что ты уже теперь дрожишь при мысли, какъ ты воротишься домой безъ меня, какъ объяснишь мужу мое нежеланіе переѣхать къ тебѣ...

Это былъ послѣдній мѣткій ударъ. Марья Николаевна вздрогнула, сдѣлала шагъ впередъ и вдругъ истерически зарыдала.

— Господи!.. За что, за что ты меня топчешь въ грязь... разбиваешь во мнѣ все, все! — тихо, болѣзненно прошептала она, закрывая лицо руками и опускаясь на стулъ.

— Бѣдная Маша, ты очень, очень несчастлива!—проговорила со вздохомъ Юлія Николаевна.

— И это радуетъ тебя... доставляетъ тебѣ торжество!— рыдала Марья Николаевна.

— Полно, Маша, не говори того, во что ты сама не вѣришь, — съ чувствомъ замѣтила Юлія Николаевна. — Лучше подумаемъ вмѣстѣ, какъ отвратить отъ тебя семейную бурю... Я тебѣ сказала, что я на годъ откладываю

свою свадьбу... Чтобы прекратить толки о себѣ и Муратовѣ, я поѣду за границу... Вѣдь ты, мама, свезешь меня, покажешь мнѣ Европу? — обратилась она къ матери. — Кстати, мы въ Парижѣ у Ворта нѣсколько платьевъ для приданаго закажемъ...

— Да, да, это отлично!—согласилась генеральша.—Мнѣ давно хотѣлось самой побывать у него...

— А какъ же я?—спросила робко tante Catiche.

— Тетя, развѣ мы можемъ уѣхать безъ васъ? А вѣдь вамъ все равно, гдѣ дремать? Въ купэ вагоновъ еще лучше дремлется, чѣмъ дома,—съ улыбкой сказала Юлія Николаевна.

— Да, мнѣ все равно,—согласилась успокоенная tante Catiche.

— Вотъ ты и скажи, Маша, мужу, что ты уговорила меня и на отсрочку брака, и на поѣздку за границу для прекращенія сплетенъ и моихъ безтактностей,—говорила Юлія Николаевна сестрѣ.—И твой мужъ будетъ доволенъ тобою...

Марья Николаевна уже не плакала, но она сидѣла съ низко опущенной головой, съ видомъ униженной, опозоренной женщины. Впервые въ жизни ее довели до того, что она созналась передъ другими въ своемъ несчастьи; впервые въ жизни ей протягивали руку помощи, чтобы спасти ее отъ семейныхъ бурныхъ сценъ. Она не сознавала, что ей нужно сказать, что ей нужно сдѣлать. Какъ-то машинально она поднялась съ мѣста, разсѣянно протянула руку матери и проговорила:

— Мнѣ пора!

Когда она сѣла въ карету, она не помнила, простилась ли она съ сестрою и tante Catiche или нѣтъ, сказали ли ей о днѣ отъѣзда за границу или нѣтъ. Но чѣмъ ближе она подъѣзжала къ своему дому, тѣмъ сильнѣе въ хаосѣ ея мыслей начинала выдѣляться мысль о томъ, что надо приготовиться къ разговору съ мужемъ. Испытанное ею униженіе, сознаніе своего несчастнаго положенія, все это подавлялось теперь чувствомъ привычнаго страха передъ мужемъ и соображеніями о томъ, какъ лучше, какъ искуснѣе предотвратить его гнѣвъ.

— А, пріѣхала! Одна?—встрѣтилъ ее вопросомъ мужъ.

— Да,—отвѣтила Марья Николаевна.—Случились такія интересныя перемѣны... Вообрази себѣ, что я добилась отсрочки брака Julie на годъ... Кромѣ того, Julie съ maman и tante Catiche уѣдутъ на-время за границу...

— Да-а?—удивился Аносовъ.

— Это мнѣ не легко далось,—сказала Марья Николаевна.

— На колѣняхъ просила и плакала,—съ грубой ироніей замѣтилъ онъ.—У тебя глаза, какъ у кролика.

— Да, немного поплакала,—отвѣтила Марья Николаевна.—Все же жаль разстаться со всѣми близкими, хотя я и знаю, что это необходимо... Вѣдь ты самъ же говорилъ, что хоть бы на годъ отсрочить этотъ бракъ, и тогда его не будетъ вовсе...

— Ну-да, ну-да. Теперь бы мнѣ только узнать, кому долженъ Муратовъ,—задумчиво сказалъ Аносовъ.—Я бы нашелъ человѣка, который скупилъ бы его векселя... Ну, да теперь это можно обдѣлать исподволь...

Тотчасъ по отъѣздѣ Марьи Николаевны, Юлія Николаевна обратилась къ матери:

— Мама, теперь денегъ, денегъ на приданое въ награду за побѣду!—проговорила она и постаралась разсмѣяться, обнимая мать.

— Хорошо, хорошо, милая, умная моя дѣвочка!—съ горячимъ чувствомъ говорила генеральша, цѣлуя припавшую къ ея плечу дочь.

Черезъ нѣсколько минутъ Юлія Николаевна прятала уже въ карманъ большую пачку облигацій городского кредитнаго общества и говорила:

— О, какая я теперь богачиха!

Генеральша хохотала отъ души надъ ея восторгомъ, не замѣчая, что ея лицо покрывается пятнами, что ея движенія какъ-то лихорадочны.

XX.

Рано утромъ проснулся Петръ Павловичъ Муратовъ, блѣдный, похудѣвшій, встревоженный. Ему опять и опять вспоминались всѣ давно и недавно пережитыя имъ событія, и онъ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ за нихъ. Отдѣлаться отъ этихъ воспоминаній, отдаться другимъ мыслямъ у него не было силъ; эти воспоминанія, какъ страшный кошмаръ наяву, давили, угнетали его мозгъ. Онъ не вѣрилъ въ свое спасеніе, ему все казалось, что случится еще что-нибудь такое, что помѣшаетъ его спасенію, и ему представлялась картина суда—суда гласнаго, съ присяжными засѣдателями, съ прокуроромъ и защитникомъ, съ знакомой великосвѣтской публикой, съ нимъ, Муратовымъ, на скамьѣ подсудимыхъ. По

его тѣлу пробѣжала дрожь, когда ему представлялось, какъ будетъ безпощадно топтать его въ грязь прокуроръ, какъ унизительно станетъ его оправдывать адвокатъ, ссылаясь на его легкомысліе, на его недоразвитость, на его неумѣлость. Съ одной стороны онъ явится какимъ-то закоснѣлымъ въ развратѣ негодяемъ, не имѣющимъ ничего святого, представителемъ кутежа, лишеннымъ всякаго понятія о нравственности преступникомъ; съ другой стороны, онъ предстанетъ передъ обществомъ какимъ-то безхарактернымъ, недалекимъ по уму, легкомысленнымъ и глуповатымъ человѣкомъ, который былъ увлеченъ средою на путь ошибокъ и заблужденій. Эти два человѣка—прокуроръ и адвокатъ—станутъ рыться въ его душѣ и одинаково, обвиняя и защищая его, унизятъ его и стащутъ съ того пьедестала, на которомъ онъ стоялъ до сихъ поръ въ глазахъ своего муравейника. Нѣтъ, если онъ не достанетъ денегъ, онъ пуститъ себѣ пулю въ лобъ. А что же тогда будетъ съ Жоржемъ Аносовымъ, съ Зиминою? Вѣдь только онъ еще можетъ кое-какъ выгородить ихъ на судѣ. Безъ него они погибнутъ. Это будетъ послѣдняя его подлость, самая крупная подлость въ жизни. Нѣтъ, нѣтъ, онъ не имѣетъ права губить ихъ, онъ долженъ испить чашу униженія до дна и тогда, когда ихъ оправдаютъ, а его осудятъ, онъ можетъ покончить съ собою. Судъ будетъ его послѣднею попыткою, послѣднею казнью.

Ходя по комнатѣ, онъ часто подходилъ къ окну; наконецъ, его вниманіе остановили запряженныя четвернею дроги, подъѣхавшія къ противоположному дому. Онъ вспомнилъ о Зиминѣ, вспомнилъ, что онъ былъ глубоко виноватъ передъ этимъ человѣкомъ, передъ его женою. Онъ не зналъ, что онъ былъ подстрекателемъ къ убійству этого человѣка, но онъ зналъ, что онъ заставлялъ жену этого человѣка обманывать мужа, что онъ разбилъ ея жизнь. Остановившись у окна, онъ смотрѣлъ, какъ разсыпали по дорогѣ ельникъ, какъ одѣвались факельщики, какъ оправлялись траурные лакеи, какъ собирались похоронные гости, какъ прошли пѣвчіе. Наконецъ, пріѣхало духовенство. Толпа праздныхъ зѣвакъ, сильно возраставшая съ каждою минутою, заволновалась и плотнѣе сдвинулась у подъѣзда. Минутъ черезъ десять, черезъ пятнадцать, показались въ дверяхъ подъѣзда пѣвчіе, одѣтые въ красивые кафтаны; за ними шли дьяконъ и священники; вотъ показался и гробъ. Муратовъ тревожно искалъ глазами кого-то въ этой густой

и пестрой толпѣ празднаго народа, сошедшагося посмотрѣть на чужія похороны... А вотъ и она! Софья Дмитріевна, маленькая, похудѣвшая, похожая на умирающаго ребенка, почти не шла, а волочилась за гробомъ, распустивъ длинный шлейфъ, таща его по снѣгу и по грязи. Опустившись на чьи-то руки, поддерживавшія ее съ обѣихъ сторонъ, свѣсивъ безпомощно на грудь свою головку, она сама походила на блѣдный, бездыханный трупъ, который насильно волокли за гробомъ... У Муратова сжалось сердце: вѣдь это онъ, одинъ онъ, разбилъ эту жизнь... А если бы онъ зналъ, что онъ не только разбилъ ея надежды, но и отравилъ все ея будущее угрызеніями совѣсти! Дроги тронулись,—молодую, безпомощную женщину поволокли за ними, какъ какой-то мѣшокъ, по снѣгу. Онъ не могъ болѣе смотрѣть на нее, онъ опустился на стулъ и закрылъ лицо руками.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ очнулся и всталъ съ мѣста.

«Недостаетъ еще, чтобы ее повели на скамью подсудимыхъ за меня!» — воскликнулъ онъ и быстро взглянулъ на часы.

Было еще половина одиннадцатаго, и идти къ Сухаревымъ было рано. Ему казалось, что время тянется убійственно медленно. Въ эти минуты у него все сильнѣе и сильнѣе росъ страхъ, что Юлія Николаевна можетъ не достать денегъ. Ему казалось даже, что она навѣрное не достанетъ денегъ: своихъ денегъ у нея не было на рукахъ, у матери она посовѣстится спросить, мать, наконецъ, можетъ не дать... Ему хотѣлось поскорѣе узнать результатъ ея попытки. Но когда настала минута идти къ ней, у него проснулся стыдъ. Ему было совѣстно идти къ ней, совѣстно глядѣть на нее. Онъ сознавалъ, что она можетъ взглянуть на него, какъ на негодяя, какъ на мерзавца, пользующагося выгодами своего положенія, чтобы эксплуатировать ее. Вѣдь она, навѣрное, не спала эту ночь и много думала о немъ, о его поступкѣ: Къ какимъ выводамъ пришла она? Могли ли быть эти выводы въ его пользу? Была ли хоть одна черта въ его поведеніи, говорящая за него? Нѣтъ, нѣтъ, его можно было обвинить во всемъ, но оправдывать его было не за что.

Когда онъ входилъ въ домъ Сухаревыхъ, онъ чувствовалъ дрожь во всемъ тѣлѣ. Ему было легче говорить съ Зиминой, ему было легче говорить съ Кречмеромъ, чѣмъ

смотрѣть теперь на Юлію Николаевну. Юлія Николаевна уже ждала его. Она была блѣдна послѣ безсонно проведенной ночи, но казалась спокойною, сдержанною, какъ человѣкъ, порѣшившій мучившіе его сомнѣнія и вопросы. Взглянувъ на Муратова, она сразу поняла, что онъ испытываетъ страшныя мѵки.

— Кузенъ, вотъ деньги, — тихо сказала она, торопливо передавая ему бумаги.—Тутъ пятнадцать тысячъ. Можетъ-быть, у васъ еще есть долги. Заплатите ихъ всѣ.

Она говорила ему теперь «вы», а не «ты» безъ умысла, безсознательно, просто потому, что на ея языкъ не подвертывалось слово «ты».

— Вы меня презираете, — тихо сказалъ онъ, опустивъ голову.

Она не могла ничего отвѣтить — ни да, ни нѣтъ. У нея стѣснялось дыханіе.

— Я заслуживаю вполнѣ всего, всего, что вы должны теперь чувствовать ко мнѣ,—съ глубокимъ чувствомъ проговорилъ онъ. — Я размозжилъ бы себѣ голову, если бы въ этомъ несчастномъ дѣлѣ былъ замѣшанъ только я, а не другія, ни въ чемъ не виновныя личности...

Она тяжело вздохнула. Ей было жаль его, она сознавала, что его нужно бы ободрить, утѣшить, но она чувствовала, что теперь она не въ силахъ говорить съ нимъ, утѣшать его. Ей было тяжело даже и слушать его. Она старалась не смотрѣть на него, не встрѣчаться съ нимъ глазами. Ей хотѣлось только одного, чтобы онъ скорѣе ушелъ.

— Я боюсь, что вся эта исторія никогда, никогда не изгладится изъ вашей памяти, и вы никогда не будете попрежнему любить меня, — прошепталъ онъ со слезами на глазахъ.

— Любить!—вырвалось у нея восклицаніе, и она, словно испугавшись чего-то, проговорила:—Ступайте, кузенъ... Мы теперь не женихъ и не невѣста... мы просто, по-старому, родные...

— Вы мнѣ отказываете?—воскликнулъ онъ, съ испугомъ поднимая на нее глаза.

— Нѣтъ... но теперь... теперь я не могу выйти за васъ... Я такъ рѣшила... Я думала объ этомъ... много думала и рѣшила... Это и для васъ лучше... Черезъ годъ, черезъ полтора... Но теперь—теперь вы не можете быть моимъ мужемъ...

У нея на каждомъ словѣ обрывался голосъ. Онъ хотѣлъ сказать что-то, но она перебила его:

— О, кузенъ, забудьте обо всемъ, что было между нами... забудьте, что вы сватались за меня, что я дала вамъ слово... Вы свободны...

Онъ опять хотѣлъ что-то сказать, но она быстро проговорила:

— Идите, идите!..

Онъ безмолвно повиновался ей, онъ пошелъ и услышалъ за собою глухія рыданія. Онъ быстро вернулся къ ней, но она махнула рукой и, прошептавъ: «Не надо... не надо!» — скрылась изъ комнаты.

Онъ былъ уничтоженъ. Теперь его грызло раскаяніе за его поведеніе съ этой дѣвушкой, ему жгли руки деньги, находившіяся у него въ карманѣ. Ему казалось, что болѣе унизить его было невозможно: отъ него точно откупались, только бы избавиться отъ его сватовства, отъ его ухаживаній. Но вѣдь онъ стоитъ этого, она не могла теперь смотрѣть на него иначе, какъ на негодяя. Она не могла не бояться брака съ нимъ, потому что все—его недавнее поведеніе, ея сестра, его послѣдняя просьба о деньгахъ,— все говорило противъ него. Но поправить сдѣланнаго было нельзя. Онъ не могъ даже отдать назадъ эти проклятыя деньги, потому что отъ нихъ зависѣло теперь спасеніе Аносова и Зминой.

Минутъ черезъ десять онъ былъ уже у Кречмера. Кречмеръ принялъ его, по обыкновенію, съ официальною сухостью. На лицѣ стараго жида не осталось и слѣда отъ того настроенія, въ которомъ видѣлъ его Муратовъ послѣдній разъ. Дѣлецъ былъ снова холоднымъ и сухимъ дѣльцомъ, съ зоркими глазами и односложными отвѣтами.

— Я вамъ принесъ деньги, чтобы получить обратно свои векселя,—сказалъ коротко Муратовъ.

— Очень радъ,—отвѣтилъ Кречмеръ.—Мы, кажется, уговорились за десять тысячъ?

— Да,—отвѣтилъ Муратовъ, вынимая деньги.

— Вы сейчасъ получите векселя.

Кречмеръ всталъ и удалился въ свой кабинетъ, затворивъ за собою двери. Минутъ черезъ десять онъ вынесъ векселя и положилъ ихъ около себя. Муратовъ подалъ ему деньги. Кречмеръ пересчиталъ ихъ два раза и подвинулъ векселя къ Муратову.

— Кажется, всѣ,—проговорилъ старикъ.

— Да, всѣ! — отрывисто сказалъ Муратовъ, торопливо собирая векселя.

Онъ даже не простился съ старикомъ, торопясь домой.

Онъ сознавалъ теперь, что онъ спасенъ, что ему уже не грозятъ никакія опасности. Онъ дышалъ теперь свободнѣе, но не былъ ни спокоенъ, ни веселъ. Онъ выглядѣлъ какимъ-то подавленнымъ, униженнымъ. Иногда по его тѣлу пробѣгала дрожь, когда онъ опять вспоминалъ, какая участь грозила ему, ясно представляя себѣ, какимъ жалкимъ предсталъ бы на судъ онъ, блестящій петербургскій фатъ, державшійся такъ надменно, смотрѣвшій съ такимъ презрѣніемъ на толпу, выказывавшій всегда бретерскія наклонности. Порой ему становилось до боли стыдно, когда онъ вспоминалъ послѣднее свое свиданіе съ Юліей Николаевной, которая, какъ казалось ему, должна теперь презирать, ненавидѣть его. Среди этихъ думъ ему вдругъ пришло въ голову, что его испытанія еще не кончены, что онъ еще не покончилъ съ Софьей Дмитріевной, что ее нужно извѣстить о выкупѣ векселя, что она можетъ разсказать объ этомъ векселѣ. Ея видъ, ея слова во время ихъ послѣдняго свиданія поразили его, заронили въ немъ мысль, что она какъ будто помѣшалась, что она можетъ выдать всѣмъ и каждому ихъ тайну. Онъ рѣшился написать ей коротенькое письмо, чтобы извѣстить ее объ уничтоженіи векселя и сказать о своемъ намѣреніи уѣхать изъ Петербурга. Онъ сѣлъ къ письменному столу и сталъ писать:

«Милостивая Государыня
Софья Дмитріевна!

«Вексель находится въ моихъ рукахъ, и я его уничтожаю...»

Онъ остановился, зачеркнулъ написанное и задумался. Черезъ минуту онъ писалъ снова:

«Не бойтесь теперь ничего, мнѣ удалось устранить всякую опасность...»

Эти слова снова были зачеркнуты, и на мѣсто ихъ появилась фраза:

«Всѣ дѣла улажены благополучно...»

Наконецъ, онъ бросилъ перо, всталъ и сталъ ходить по комнатѣ.

— Развѣ возможно писать о такихъ вещахъ! Это просто безуміе! Я точно мальчикъ поступаю!—пробормоталъ онъ въ волненіи и, скомкавъ бумажки, бросилъ ихъ въ каминъ.

Вѣдь эта бумажка могла попасть кому-нибудь въ руки. Кто могъ поручиться, что Софья Дмитріевна прочтетъ его письмо и тотчасъ же его уничтожитъ? Она совсѣмъ расте-

рялась, она, быть-можетъ, больна, и его письмо можетъ попасться въ чужія руки. Мало ли преступленій открывалось по самой ничтожной неосторожности преступниковъ. Такія объясненія должны дѣлаться съ глазу на глазъ. Онъ долженъ еще разъ видѣть эту женщину, переговорить съ нею. Что, если она упадетъ къ его ногамъ и будетъ просить его не покидать ее? Неужели онъ долженъ будетъ добивать ее, и безъ того убитую, говоря ей, что онъ не любитъ уже ее, что онъ и не любилъ ее никогда, а просто игралъ ея любовью по легкомыслію, по вѣтрености, по привычкѣ къ любовнымъ интрижкамъ? Но если онъ не порветъ разомъ своей связи съ нею, то онъ только запутаетъ еще болѣе свои отношенія. Онъ былъ какъ на горячихъ угольяхъ.

Ему было и страшно идти къ Зиминой, и хотѣлось скорѣе разрубить этотъ послѣдній узелъ. Но идти къ Зиминой раньше вечера было невозможно: у нея, вѣроятно, были теперь гости и родные, оставшіеся послѣ похороннаго обѣда. Надо было ждать вечера. Кстати онъ вспомнилъ о вещахъ Зиминой, перебранныхъ имъ у нея и заложенныхъ у ростовщиковъ. Эти вещи нужно сейчасъ же выкупить и отдать ей, чтобы послѣ не встрѣтить необходимости еще разъ видѣться съ нею. Онъ сходилъ за вещами и вечеромъ направился къ квартирѣ Зиминыхъ. На его стукъ въ дверь кухни Зиминыхъ вышла Дарья.

— Могу ли я видѣть Софью Дмитріевну?—спросилъ Муратовъ.

— Барыни нѣтъ. Ихъ увезли-съ,—отвѣтила Дарья.

— Увезли? Кто? Куда? — быстро спросилъ Муратовъ, испугавшись чего-то.

— Тетенька покойнаго Леонида Григорьевича увезли-съ къ себѣ. Барыня никакъ здѣсь оставаться не могли и захворали... совсѣмъ ровно не въ своемъ умѣ стали... А тетенька покойнаго Леонида Григорьевича у мадамы номеръ снимаетъ, такъ тамъ у нихъ комнатка была свободная, ну, онѣ и увезли Софью Дмитріевну...

Муратовъ молчалъ и не трогался съ мѣста, хотя ему и не для чего было здѣсь оставаться.

— Ужъ такъ-то убивались онѣ, такъ-то убивались, что я и сказать не могу, — продолжала Дарья въ сотый разъ разсказывать жалостную исторію своей барыни.—Какъ это только панафиду служить начнутъ, станутъ онѣ въ уголокъ, не шевельнутся, да вдругъ взглянутъ это на покойника-то, крикнутъ: «не могу, не могу!» и начнутъ это на полу

биться, биться, ровно въ падучей. Поднимутъ это ихъ, отнесутъ въ другую комнату, посадятъ въ кресло, въ чувствія начнутъ приводить, ну и стихнутъ онѣ немного. Священникъ кончитъ эту панафиду, разоблачится, тоже къ нимъ придетъ, говоритъ: «Не убивайтесь, сударыня, это великій грѣхъ убиваться. Богъ все къ лучшему дѣлаетъ. Все въ Его волѣ. Вашъ супругъ былъ человѣкъ болѣзненный и жить никакъ не могъ, а только мучился. Богъ прекратилъ его страданія и успокоилъ его. Вамъ нужно покориться Его святой волѣ и молиться объ упокоеніи души усопшаго, почтить добрыми дѣлами его память. На поминовеніе его души въ церковь вкладъ сдѣлать или тамъ бѣднымъ помочь». Говоритъ это священникъ таково жалостно, а барыня сидитъ, ручки висятъ какъ плети, голова на грудь свалилась, и нѣтъ отъ нея ни гласу, ни послушанія...

Муратовъ стоялъ, опустивъ голову, и молча, забывшись, слушалъ Дарью.

— Барыня-то это сидитъ, ровно окаменѣлая, а священникъ все свое, все свое, — продолжала словоохотливая Дарья. — «Богъ, говоритъ, всякія испытанія на пользу и спасеніе человѣка посылаетъ. Забываемъ мы Бога въ счастіи, покуда громъ не грянетъ, только въ несчастіи познаемъ мы Его святой промыселъ и обращаемся къ нему. Вотъ и вы, сударыня, воспользуйтесь своимъ положеніемъ для добрыхъ дѣлъ». А барыня все сидитъ и не шелохнется, какъ въ столбнякѣ. Такъ ее и за гробомъ повели безъ всякаго чувствія, а въ церкви, какъ стали всѣ съ покойнымъ бариномъ прощаться, хотѣли ее подвести къ гробу, а она забилась, забилась, да, ровно мертвая, такъ и рухнулась на полъ. Такъ ее тетенька покойнаго Леонида Григорьевича и увезли къ себѣ въ безчувствіи. Сейчасъ сюда заѣзжали, все это разсказывали... Теперь, говорятъ, горячка, кажется, открывается... боюсь, какъ бы тоже не померла... сидѣлку къ ней изъ «Общины» хотимъ взять... священникъ рекомендовалъ...

Дарья еще что-то разсказывала о томъ, что ей поручили квартиру сторожить, что все опечатано и что она товарку ночевать пригласила, потому что все же одной боязно, душа человѣка сорокъ дней все бродитъ тамъ, гдѣ жилъ человѣкъ, грѣхи свои оплакиваетъ,—но Муратовъ ничего уже не слыхалъ. Онъ постоялъ, постоялъ на площадкѣ лѣстницы и началъ медленно, усталой походкой, спускаться внизъ.

Кое-какъ дотащился онъ до своей квартиры, сбросилъ пальто и бросился на постель. Теперь онъ ощущалъ чисто физическую боль во всемъ тѣлѣ, во всѣхъ членахъ. Въ послѣдніе дни онъ все торопился, все спѣшилъ, точно боялся, что вотъ-вотъ онъ опоздаетъ и извѣстить Кречмера о смерти Зимина, и переговорить съ Зиминой, и добыть деньги, и отдать ихъ Кречмеру, и передать Зиминой вѣсть о спасеніи и ея вещей. Эта излишняя, вызванная охватившимъ его страхомъ, торопливость, это совсѣмъ ненужное метаніе изъ одного конца города въ другой, эти безпрерывныя тяжелыя встрѣчи и сцены, то унижавшія, то пугавшія его,—все это истощило его физическія силы, и, упавъ теперь на свою постель, онъ забылся тяжелымъ сномъ.

Когда онъ проснулся утромъ, было уже довольно поздно. Онъ съ удивленіемъ замѣтилъ, что онъ проспалъ ночь, не раздѣваясь. Въ его усталомъ мозгу прежде всего смутно промелькнула мысль, что онъ теперь спасенъ, что теперь ему нечего бояться. Онъ машинально, безсознательно перекрестился и широко вздохнулъ. Ему вспомнилась та, кому онъ былъ обязанъ спасеніемъ. Идти ли къ ней? О, онъ теперь въ слезахъ бросился бы къ ея ногамъ. Но будетъ ли пріятно теперь ей это посѣщеніе? Она не вѣритъ ему, не вѣритъ его словамъ, ей нужно доказать теперь, что онъ вступилъ на новый путь, что онъ любитъ ее и только ее одну. Онъ всталъ и началъ серьезно обдумывать свое будущее. Въ его головѣ начали возникать планы новой жизни, новой дѣятельности. До сихъ поръ онъ небрежно относился къ службѣ, теперь онъ хотѣлъ посвятить себя этой службѣ, подготовиться въ академію. Его лицо уже начинало проясняться, ему уже становилось все легче и легче, какъ вдругъ онъ увидалъ на кушеткѣ брошенный имъ свертокъ: это были футляры съ вещами Зиминой, завернутые въ бумагу. Эти вещи, какъ грозное memento mori, напомнили ему, что съ прошлымъ сведены еще далеко не всѣ счеты, что покуда у него будутъ эти вещи—онъ долженъ ждать свиданія съ Зиминой, объясненія съ ней. Нельзя же переслать ей эти вещи, нельзя же извѣстить ее письмомъ объ уничтоженіи векселя. Но какъ приметъ его эта женщина, какъ отнесется она къ нему, когда пройдутъ первые порывы ея горя, когда пройдетъ ея болѣзнь. Онъ, точно боясь смотрѣть на эти вещи, поспѣшно спряталъ ихъ въ письменный столъ. Но не прошло и десяти минутъ, какъ онъ всталъ изъ-за поданнаго ему чаю, чтобы достать мел-

ихъ денегъ, открылъ ящикъ письменнаго стола и снова наткнулся на эти вещи; онъ нахмурился и переложилъ ихъ въ другое мѣсто, подальше. Онѣ внушали ему какой-то суевѣрный страхъ.

— Нѣтъ, мое прошлое не кончено, покуда онѣ здѣсь,— прошепталъ онъ.

Муратовъ раздумывалъ, за что ему приняться, что дѣлать, когда въ передней послышался знакомый ему голосъ Якова Сухарева.

— Дома? Всталъ?—спрашивалъ Сухаревъ.

— Встали-съ, пьютъ чай,—отвѣтила горничная и слабо вскрикнула.

— Что, не любишь, когда щиплютъ? — захохоталъ Сухаревъ.

Онъ вошелъ къ Муратову.

— Здравствуй, ты что это такъ поздно изволилъ подняться? — спросилъ онъ, здороваясь съ Петромъ Павловичемъ. — А у тебя славная дѣвчонка прислуживаетъ. Оно хорошо въ домашнемъ обиходѣ. Только щипковъ не любитъ, кричитъ!

— Хочешь чаю?—спросилъ Муратовъ.

— Вотъ выдумалъ!—пожалъ плечами Сухаревъ, доставъ изъ портсигара и закуривъ папиросу. — Я къ тебѣ на минуту. Сестра просила заѣхать...

— Юлія Николаевна?—торопливо спросилъ Муратовъ.

— А ты думалъ Марья Николаевна? Очень ты ей нуженъ!.. Скажи, пожалуйста, какія тамъ у тебя дѣла завелись?..

— Дѣла? Какія же у меня дѣла?—въ недоумѣніи и смущеніи проговорилъ Муратовъ.

— Да ты же самъ говорилъ Сушкѣ, что у тебя эту недѣлю есть какія-то дѣла, которыя задержатъ тебя и помѣшаютъ быть у насъ,—сказалъ Сухаревъ.

— А да... да, это мои личныя дѣла... да, точно я говорилъ, что я не могу быть у васъ на этой недѣлѣ,—подтвердилъ ничего не понимающій Муратовъ.

— Ну, вотъ она и просила меня заѣхать къ тебѣ,—сказалъ Сухаревъ. — Ты вѣдь, вѣроятно, слышалъ, что наши барыни вдругъ собрались за границу ѣхать и такъ торопятся, что maman изъ коляски не выходитъ, закупая какіе-то сакъ-вояжи, баулы, чемоданчики и чортъ знаетъ еще что. Сушка и просила меня заѣхать къ тебѣ и сказать, чтобы ты хоть на желѣзную дорогу пріѣхалъ проводить ихъ, если ужъ не можешь побывать у насъ...

— Да, да, я заѣду проводить ихъ, — печально отвѣтилъ Муратовъ.

Онъ понялъ, что Юлія Николаевна не хочетъ видѣть его у себя до отъѣзда.

— Да ты еще, можетъ-быть, и у насъ побываешь, дѣла не убѣгутъ,—сказалъ Сухаревъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не могу заѣхать къ вамъ... Я даже на нѣсколько дней уѣду изъ Петербурга... Мнѣ надо,—говорилъ Муратовъ.—Но ты дай мнѣ знать о днѣ ихъ отъѣзда... я долженъ быть на дебаркадерѣ... проститься...

Муратовъ замолчалъ. Прошло съ минуту молчанія. Сухаревъ докурилъ папиросу и поднялся съ мѣста.

— Ты куда-нибудь собираешься?—спросилъ онъ у Муратова.

— Да, мнѣ надо, — отвѣтилъ тотъ, тоже поднимаясь съ мѣста.

Онъ до этой минуты никуда не думалъ выходить, но теперь ему хотѣлось отдѣлаться отъ Сухарева, провѣтриться.

— Въ какую сторону? Я подвезу..

— А ты куда?

— Въ наши казармы...

— Нѣтъ, мнѣ въ другую сторону...

Муратовъ пріодѣлся и оба пріятеля вышли вмѣстѣ.

Сухаревъ сѣлъ въ свои сани. Муратовъ пошелъ пѣшкомъ, по направленію къ Невскому. Онъ шелъ безъ цѣли, свернулъ съ Морской на Невскій, дошелъ до Гостинаго двора. Ему бросилась въ глаза освѣщенная часовня съ молящимся людомъ, онъ набожно перекрестился и еще болѣе задумался.

— Прикажете подавать?—обратился къ нему стоявшій у тротуара извозчикъ.

— Къ часовнѣ Спасителя, на Петербургскую,—отвѣтилъ Муратовъ, садясь въ сани.

Онъ поѣхалъ.

«Не хочетъ меня видѣть... Правда, ей тяжело меня видѣть, если она меня презираетъ, не любитъ болѣе... Но зачѣмъ же она проситъ пріѣхать на дебаркадеръ, проститься?.. Для того, чтобы не навлечь подозрѣнія на нашъ разрывъ, чтобы всѣ думали, что наши отношенія не измѣнились?.. У нея есть тактъ... Она щадитъ меня...»

Онъ тяжело вздохнулъ.

«Не написать ли ей, не объяснить ли ей все?.. Но что же я буду объяснять?.. Она и такъ все знаетъ... Негодяй,

негодяй и негодяй, вотъ все, что можетъ она думать обо мнѣ теперь, что можетъ вычитать изъ моей исповѣди... Нѣтъ, тутъ не словами нужно оправдываться, а жизнью... Тутъ нужно время, можетъ-быть, цѣлые годы для поправленія своей репутаціи...»

Онъ еще болѣе задумался.

«Ну, что-жъ, годы, такъ годы! Жизнь еще не ушла, жизнь еще впереди... Неужели же не хватитъ ни умѣнія, ни силъ, ни мужества для борьбы съ самимъ собою?.. Вѣдь эта борьба не безъ надежды, не безъ цѣли... Призъ впереди, и какой призъ!.. О, чего я не сдѣлаю, чтобы завоевать ее... Она даромъ, безъ боя, безъ усилій отдавалась мнѣ, но я тогда не зналъ цѣны ей... А теперь,—теперь я понимаю, что я теряю въ ней... Изъ нея выйдетъ не такая женщина, какъ ея мать, какъ ея сестра... Что-жъ, посмотримъ, можетъ-быть, удастся...»

Онъ подъѣхалъ къ часовнѣ Спасителя, вышелъ изъ саней и направился къ историческому домику, гдѣ проливалось не мало слезъ, гдѣ возносилось не мало молитвъ скорбящимъ и вѣрующимъ людомъ. Онъ тихо вошелъ въ небольшую комнату, съ темными стѣнами, съ низенькимъ потолкомъ, заставленную образами, озаренную трепетнымъ свѣтомъ горящихъ восковыхъ свѣчей, сильно наполненную тяжелымъ запахомъ ладана и воска. Здѣсь царствовала полнѣйшая тишина: сторожъ, наблюдавшій за свѣчами, ходилъ на цыпочкахъ, словно боясь кого-то разбудить, нарушить чьи-то молитвенныя грезы; два-три богомольца стояли въ сторонѣ, у стѣнъ, склонивъ головы, набожно крестясь и шевеля губами, шепчущими молитвы; казалось, люди не замѣчали здѣсь другъ друга и забывались въ своихъ благоговѣйныхъ сновидѣніяхъ. Муратовъ тоже машинально склонилъ свои колѣни и словно застылъ, смотря на темный, матовый ликъ Спасителя съ строгими большими глазами, какъ будто смотрящими въ душу. Минуты летѣли за минутами, а Муратовъ все молился, и все свѣтлѣе, все спокойнѣе становилось у него на душѣ. Онъ не замѣчалъ, какъ входили и уходили молившіеся здѣсь люди, не замѣчалъ, какъ текли по его лицу и падали на грудь его пальто крупныя слезы. Когда онъ поднялся, онъ былъ совершенно спокоенъ, онъ приложился къ образу, далъ сторожу деньги на свѣчку, положилъ какую-то мелочь въ кружку и вышелъ изъ часовни. Ему показалось послѣ полумрака часовни какъ-то особенно свѣтло на улицѣ; ему, послѣ душной наркотической атмо-

сферы часовни, дышалось особенно свободно на свѣжемъ воздухѣ...

«О, если бы всегда было такъ легко на душѣ»,—подумалъ онъ, возвращаясь домой.

XXI.

Дни шли за днями, насталъ день отъѣзда Сухаревыхъ за границу. Муратовъ явился на дебаркадеръ. Сухаревы пріѣхали довольно поздно, ихъ провожалъ Яковъ Сухаревъ, Марья Николаевна Аносова, Николай Аносовъ, Левинъ и еще какія-то двѣ-три личности. Муратовъ не могъ перекинуться съ отъѣзжающими и двумя словами безъ свидѣтелей. Онъ только замѣтилъ, что Юлія Николаевна похудѣла, поблѣднѣла и была грустна. Она пожала его руку, спросила о здоровьи, но къ нимъ тотчасъ же торопливо присоединилась Марья Николаевна съ какими-то вопросами. Наконецъ, раздался второй звонокъ, нужно было садиться въ вагонъ. Всѣ стали прощаться.

— Кузенъ, я жду вашихъ писемъ, — проговорила Юлія Николаевна, пожимая руку Муратова.

— Они вамъ нужны?—тихо спросилъ онъ.

Она вопросительно взглянула на него.

— Отъ кого же я узнаю о васъ, если не отъ васъ самихъ?—сказала она.

Онъ еще разъ крѣпко сжалъ ея руку. У него повернулись на глазахъ слезы. Черезъ нѣсколько минутъ раздался еще звонокъ, пронесся рѣзкій звукъ свистка, поѣздъ тронулся. Всѣ провожавшіе, вполнѣ довольные, что обрядъ чопорнаго и холоднаго прощанія кончился, стали расходиться.

— Ты со мной?—спросилъ Сухаревъ у Муратова.

— Пожалуй,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Ну, теперь совсѣмъ на свободѣ остался, — замѣтилъ Николай Аносовъ, обращаясь къ Сухареву.

— Я, кажется, и прежде не былъ на привязи, — отвѣтилъ Сухаревъ.

Аносовъ презрительно улыбнулся и посмотрѣлъ на Сухарева какъ-то свысока, какъ на глупаго мальчишку и пошляка.

— Все же при матери и сестрѣ нельзя было обратить свой домъ въ кабакъ для друзей-пріятелей,—замѣтилъ онъ своимъ обычнымъ грубымъ тономъ.—Да, кстати о друзьяхъ-пріятеляхъ! Ты слышалъ, что одинъ изъ твоихъ прихлебателей уже попался въ мошенничествѣ?.. Какъ его зовутъ?

Винтеръ, кажется... Ты будь осторожнѣе, можно и самому попасть въ скверную исторію съ этими господами.

Сухаревъ пожалъ плечами.

— Эти господа не довольствуются тѣмъ, что обираютъ васъ, расточителей, но еще постараются забрызгать васъ своею грязью,—продолжалъ Аносовъ. — Имъ вѣдь терять нечего, это вѣдь, какъ выражается твоя мать, настоящіе «санкюлоты», они и ставятъ все на карту, только бы какъ нажиться на чужой счетъ.

Общество вышло на подъѣздъ. Аносовымъ былъ поданъ экипажъ, за нимъ поѣхали сани Сухарева. Аносовы холодно простились съ Сухаревымъ и Муратовымъ, не протянувъ послѣднему даже руки. Николай Аносовъ третировалъ Якова Сухарева съ нескрываемымъ презрѣніемъ, къ Муратову же онъ не чувствовалъ теперь ничего, кромѣ ненависти.

— Козелъ-проповѣдникъ, — сердито проворчалъ Яковъ Сухаревъ, садясь съ Муратовымъ въ сани.—Туда же проповѣди мнѣ читаетъ, чтобы остерегался воровъ, а самъ первый воръ, обкрадывающій насъ...

— Ты бы ему это и замѣтилъ,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Э, связываться не хочется!—махнулъ рукой Сухаревъ.

— Да, но кто послушаетъ его проповѣдей, тому не особенно пріятно будетъ сближаться съ тобою,—замѣтилъ Муратовъ.—Аносовъ будетъ указывать на того пальцами, какъ на грабителя, обирающаго тебя...

— Такъ ему и повѣрятъ! Да и какое ему дѣло?

— Дѣла-то ему тутъ нѣтъ никакого, а трезвонить на всѣхъ перекресткахъ о томъ, что тебя грабятъ, онъ все-таки будетъ... Впрочемъ, пусть его дѣлаетъ, что хочетъ,—меня это не касается... Я теперь порвалъ старыя связи, засяду за книги и успокоюсь и отъ нежеланныхъ встрѣчъ, и отъ пошлыхъ сплетенъ...

— Да ты серьезно думаешь объ академіи? — удивился Сухаревъ.

— Серьезно... Немного трудно будетъ, запустилъ я время, ну, да авось припомню забытое...

— Ты сильно измѣнился за послѣднее время...

— Да? Даже и ты замѣтилъ, — усмѣхнулся съ горечью Муратовъ.—Надо же было когда-нибудь измѣниться... Ты вотъ, пожалуй, никогда не измѣнишься, пока не хватитъ параличъ...

Они подъѣхали къ Сухаревскому дому.

— Ты ко мнѣ? У меня сегодня всѣ наши, поминки по

черной лѣстницѣ, постучался въ двери кухни, его впустили.

— Пожалуйте въ комнату, барыня одна, сидѣлка ихняя у нихъ тутъ, да она не помѣшаетъ,—сказала Дарья.

Муратовъ вошелъ въ комнату. Здѣсь все было безпорядочно сдвинуто въ одинъ уголъ, точно передъ переѣздомъ съ квартиры. Шкапы съ печатями, пустыя вѣшалки, письменный столъ, конторка, все это стояло въ одномъ углу; только знакомый Муратову диванъ стоялъ одиноко на прежнемъ мѣстѣ. Стѣны, теперь открытыя для глазъ, ничѣмъ не заставленныя, выглядѣли неприглядно и говорили о небрежности жильцовъ сотнями пятенъ, порванныхъ клочьевъ и нелѣпо, безъ толку, всколоченныхъ гвоздей, на которыхъ еще недавно висѣлъ разный заложенный хламъ... Въ комнатѣ еще остался какой-то странный, затхлый запахъ не то отъ лѣкарствъ, не то отъ ладана. Въ этой атмосферѣ было что-то тяжелое, говорившее о недавней катастрофѣ, о заброшенности жилища. Черезъ минуту къ Муратову вышла Софья Дмитріевна. Она была худа, блѣдна, слаба; она вышла тихой походкой, съ опущенной головой, съ выраженіемъ смиренія и покорности на исхудаломъ лицѣ. Отъ прежней Софьи Дмитріевны не было и слѣда. Кругленькое личико удлинилось, пухленькія розовыя щеки поблѣднѣли и впали, ребяческое выраженіе бойкихъ глазъ смѣнилось выраженіемъ запуганной тупости. Муратовъ сразу понялъ, что ему уже не угрожаютъ ни объятія, ни поцѣлуи. Это лицо даже на мгновеніе не озарилось выраженіемъ радости при встрѣчѣ съ нимъ.

— А, это вы,—тихо сказала она, не поднимая глазъ.

— Я давно хотѣлъ видѣть васъ, чтобы сказать вамъ, что мы внѣ опасности, что вексель выкупленъ мною,—произнесъ Муратовъ.

— Что-жъ, мнѣ все равно... Я суда не боюсь,—покорно отвѣтила она.—Мнѣ было только страшно, что это помѣшаетъ мнѣ въ монастырь ѣхать...

— Вы поступаете въ монастырь?—удивился Муратовъ.

— Гдѣ ужъ мнѣ, грѣшной!—тяжело вздохнула Зимина.—Просто помолиться хочу... Мнѣ надо молиться... Отецъ Іона говоритъ, что всякіе грѣхи Богъ прощаетъ за молитвы и добрыя дѣла... Только не вѣрится какъ-то...

Ея голосъ совершенно упалъ на послѣднихъ словахъ. Муратовъ не вѣрилъ своимъ ушамъ, онъ всматривался въ лицо Зиминой, оно дышало кротостью, смиреніемъ и тупой покорностью.

— Я принесъ вамъ ваши вещи,—замѣтилъ онъ.

— На что мнѣ онѣ!.. Я и забыла о нихъ,—сказала она, не протягивая руки за вещами.

— Вы можете ихъ употребить на доброе дѣло, — сказалъ онъ.

— Да... это правда!

Она взяла вещи и машинально открыла одинъ футляръ.

— Брильянты!.. Все онъ дарилъ!—съ замѣтнымъ волненіемъ прошептала она и опять тяжело вздохнула.—Мученикъ несчастный! Мученикъ!.. Какъ любилъ!..

По ея лицу потекли слезы. Она ихъ не отирала и, кажется, не замѣчала.

— Отецъ Іона говоритъ, что Богъ дѣлаетъ все къ лучшему, успокаиваетъ страдальцевъ, обращаетъ на путь истины заблудшихъ, доводитъ до раскаянья грѣшниковъ,—шептала она, волнуясь.—Только не знаю я, замолю ли я-то свои грѣхи!.. Такіе грѣхи трудно замолить!.. Слушаешь отца Іону—будто легче станетъ, а потомъ... потомъ опять что-то посожметъ, сожметъ такъ сердце, что вздохнуть тяжело и, кажется, что вотъ-вотъ умрешь безъ покаянія... А грѣхи тутъ смотрятъ на тебя, пугаютъ тебя...

— Полноте, Софья Дмитріевна, зачѣмъ отчаиваться; вы, такъ же, какъ и я, увлеклись, сдѣлали ошибку,—началъ задушевнымъ голосомъ Муратовъ.

Она тихо махнула рукой.

— Моихъ грѣховъ никто не знаетъ,—сурово и тревожно прошептала она.—Никто!.. На исповѣди не рѣшусь ихъ сказать, умирать буду—не получу за нихъ отпущенія...

Выраженіе ея лица сдѣлалось совсѣмъ тревожно, ея грудь начала дышать тяжелѣе, прерывистѣе.

— Вы что? Вы поиграли любовью, потѣшились и конецъ,—сурово заговорила она.—А я—я великая грѣшница, проклятая, молиться не могу... Стану молиться, а онъ смотритъ, тутъ стоитъ, и руки у самой холодныя, холодныя, какъ его руки, въ горлѣ не слова молитвы, а хрипота, какъ онъ хрипѣлъ... Вѣдь тутъ все было, тутъ...

Она уже едва переводила духъ, ея зрачки расширились, на лицѣ выражался ужасъ. Она смотрѣла на пустой, просиженный диванъ, одиноко стоявшій у стѣны, противоположной окнамъ.

— Одна не смѣю остаться, ночью долженъ при мнѣ кто-нибудь быть, а то онъ приходитъ,—точно въ бреду говорила она.—Прежде темной комнаты боялась, тишины боя-

лась. Глупая! Не темныя комнаты,—грѣхи страшны! Не понимала этого тогда. Совсѣмъ дѣвчонкой была. А теперь... Вѣдь вотъ здѣсь, никого не было, я была одна, когда онъ умеръ... «Мучился онъ?» спрашиваютъ... А что я скажу?.. Мучился, да мучился!.. Еще бы не мучиться. Господи!.. Не могу я, не могу я...

Софья Дмитріевна истерически зарыдала и упала на полъ. Изъ сосѣдней комнаты выбѣжала какая-то молодая женщина въ черной одеждѣ и Дарья.

— Ахъ, опять, опять припадокъ! — взволновалась женщина въ черномъ.—Вотъ каждый день такъ, начнетъ говорить о покойномъ, говоритъ, говоритъ и забьется... Только отецъ Іона и умѣетъ успокоить ее здѣсь... Ужъ хоть бы скорѣе къ намъ въ святую обитель увезти... Тамъ ее сестра Серафима на умъ наставитъ, а то мученье одно... Точно порченая!..

Софью Дмитріевну подняли, посадили въ кресло, опять, какъ разсказывала и Дарья, повисли у нея руки, опустилась ея голова и вся она точно обезсилѣла, лишилась способности двигаться.

— Первый разъ въ жизни такія мýки вижу,—говорила женщина въ черномъ, хлопоча около Софьи Дмитріевны.—Знала бы, ни за что не пошла бы къ ней. Сама съ ней измучилась. Говорили, къ больной сидѣть зовутъ, а это не болѣзнь, это отъ злыхъ людей, отъ наговора, тутъ отчитывать нужно...

— Какая же она у насъ порченая!—вступилась за свою барыню Дарья.—Извѣстно, мужъ померъ, испугалась... Она и до прежде того покойниковъ боялась, а тутъ одна была... ну, и замучилась...

— Ну, да, есть чего бояться! Мало ли людей-то помираетъ!—недовольнымъ тономъ ворчала женщина въ черномъ.—Все отъ Бога.

Муратовъ постоялъ нѣсколько минутъ, пока больную приводили въ чувство заспорившія женщины, и, наконецъ, незамѣтно вышелъ.

Ему было тяжело, онъ терялся въ догадкахъ, вслѣдствіе какихъ причинъ потрясала Софью Дмитріевну смерть мужа, почему она вдругъ перестала думать о немъ, о Муратовѣ, о своей любви къ нему. Но какъ ни тяжело было ему это свиданіе, онъ все-таки не могъ не сознавать, что теперь онъ навсегда порвалъ эту послѣднюю связь съ прошлымъ, что теперь уже никто и ничто не напомнитъ ему объ этомъ

прошломъ. Онъ былъ свободенъ вполнѣ и могъ начать новую жизнь, не боясь ничего. Эгоистическое чувство радости охватило его и заглушило въ немъ воспоминанія о страданіяхъ женщины, которую онъ никогда не любилъ, но которой онъ невольно, случайно испортилъ всю жизнь. Онъ отдыхалъ теперь и успокаивался постепенно, какъ пловецъ, послѣ страшной бури попавшій на твердый берегъ и видящій, какъ, мало-по-малу, проясняется надъ нимъ небо и утихаютъ въ немъ самомъ и пугливыя опасенія, и злыя предчувствія, и горькія воспоминанія о прошлыхъ ошибкахъ и грѣхахъ. Онъ принялся усерднѣе за службу, онъ сталъ много читать, онъ началъ упорно подготовляться къ экзамену, хотя все это давалось ему съ трудомъ, хотя нужно было каждый разъ дѣлать усиліе, чтобы углубиться въ занятія, сосредоточить на нихъ свою мысль. Иногда онъ встрѣчался съ прежними товарищами, иногда онъ бесѣдовалъ съ сослуживцами, но онъ былъ неузнаваемъ въ ихъ кругу. Самые недальновидные люди, въ родѣ Сухарева, видѣли, что въ немъ совершается какой-то переворотъ, что изъ него формируется какой-то другой человѣкъ, не похожій на прежняго Муратова. Яснѣе всего сказался этотъ внутренній переворотъ въ его письмахъ къ Юліи Николаевнѣ. Онъ писалъ къ ней много и часто, писалъ откровенно и подробно обо всемъ, что онъ передумывалъ, что онъ переживалъ, и она, по этимъ письмамъ, могла себѣ составить ясное понятіе о томъ, чѣмъ сталъ, къ чему стремился теперь онъ. Я рѣшаюсь сдѣлать нѣсколько выписокъ изъ этихъ, лежащихъ въ настоящую минуту передо мною, писемъ, такъ какъ они довольно полно обрисовываютъ всего этого человѣка, который еще недавно слылъ однимъ изъ первыхъ кутилъ, однимъ изъ первыхъ сердцеѣдовъ и надъ которымъ только-что успѣла пронестись страшная гроза.

Онъ писалъ Юліи Николаевнѣ:

30-го января 18... года.

...«Вы уѣхали и я остался одинъ со своими тяжелыми воспоминаніями, со своими горькими сомнѣніями, со своими робкими надеждами. Среди моихъ долгихъ размышленій мнѣ чаще всего вспоминалось то утро, когда Вы дали мнѣ деньги и сказали, что я свободенъ, что мы не женихъ и невѣста, а снова просто дальніе родственники и только. Это была тяжелая, мучительная минута. Если бы деньги,

взятыя мною отъ Васъ, были нужны только для спасенія моей жизни,—я возвратилъ бы ихъ Вамъ и разбилъ бы эту жизнь, которая была мнѣ не нужна безъ Вашей любви, безъ Вашего уваженія. Но эти деньги были нужны мнѣ для спасенія чести людей, которые были ни въ чемъ не виноваты и должны были вынести позоръ изъ-за меня. Колебаться было нельзя, и я долженъ былъ взять деньги, хотя мнѣ казалось, что Вы презирали меня въ эту минуту. Да, Вы спасли мнѣ жизнь и честь, Вы сказали, что я свободенъ, и въ этомъ было страшное наказаніе за все мое прошлое. Я понялъ, что Вы не вѣрите мнѣ, что Вы смотрите на меня съ состраданіемъ, какъ на падшую личность, что Вы, быть-можетъ, презираете меня, и хуже всего было то, что я сознавалъ, что Вы имѣете на это полное право. Въ первую минуту я сказалъ себѣ: «нѣтъ, она меня болѣе не любитъ, любящая женщина пощадила бы»... Потомъ настали другіе дни,—дни затишья, дни одинокихъ размышленій, дни болѣе трезваго отношенія ко всему происшедшему, и я оправдалъ Васъ, я благодарилъ Васъ въ душѣ за то, что Вы сразу разсѣкли гордіевъ узелъ, давъ мнѣ свободу. Это могла сдѣлать только такая чистая, чуткая и любящая душа, какъ Ваша, прежде всего желающая счастья любимому человѣку. Да, тотъ Муратовъ, который чуть не погубилъ Васъ, который со слезами вымаливалъ у Васъ деньги до свадьбы для спасенія себя, не могъ сдѣлаться счастливымъ мужемъ и не могъ сдѣлать Васъ счастливою женою. Если бы Вы, давъ мнѣ деньги, сказали мнѣ: «ну, значитъ, теперь нѣтъ препятствій къ нашей свадьбѣ»,—я долженъ бы былъ низко склонить передъ Вами свою голову, сознавая, что Вы только исполняете данное Вами прежде слово, но что вѣрить мнѣ попрежнему, любить меня попрежнему Вы не можете. У васъ, у жены, стали бы на каждомъ шагу возникать все новыя и новыя подозрѣнія насчетъ меня; у меня, у мужа, явилась бы необходимость принижаться передъ Вами, заглаживать свое прошлое, вымаливать въ слезахъ забвеніе этому прошлому. Нѣтъ, при такихъ условіяхъ не можетъ сложиться хорошая семья: любовь возможна только тогда, когда люди могутъ смѣло смотрѣть другъ другу въ глаза, не отыскивая въ другой душѣ какихъ-то темныхъ уголковъ, не скрывая въ своей душѣ какихъ-то роковыхъ тайнъ. Вы избавили меня отъ этой пытки быть мужемъ, который долженъ искупать долгими годами смиренія и покорности свое прошлое въ глазахъ

жены, и въ то же время спасли себя отъ роли жены, слѣдящей за медленнымъ исправленіемъ испорченнаго мужа. Нечего ждать любви, счастья и равноправности отъ той семьи, которая является исправительною тюрьмою для мужа и въ которой жена должна играть роль наблюдательницы за исправленіемъ арестанта-мужа. Теперь я свободенъ и могу пасть или подняться не потому только, что меня умѣло или неумѣло поддерживаютъ, наставляютъ или спасаютъ,—нѣтъ, мое паденіе или спасеніе будетъ зависѣть лично отъ меня и служить доказательствомъ того, насколько у меня еще сохранилось нравственности—да проститъ мнѣ Богъ, если я еще смѣю произносить это слово!—и физическихъ силъ стряхнуть съ себя вехтаго человѣка и стать новымъ человѣкомъ. Я пишу и буду писать къ Вамъ—Вы этого хотѣли—откровенно обо всемъ, что случится со мною, что я передумаю; Вы будете, вѣроятно, слышать обо мнѣ отъ другихъ, отъ сестры, отъ Николая Аносова; Вы, въ концѣ концовъ, составите обо мнѣ какое-нибудь опредѣленное понятіе и тогда... Я не знаю, какъ Вы рѣшите тогда, но, во всякомъ случаѣ, я хотѣлъ бы услышать Ваше «да» только тогда, когда Вы вполнѣ убѣдитесь, что Вы можете любить и уважать меня безъ подозрѣній, безъ сомнѣній, безъ боязни за будущее, безъ воспоминаній о прошломъ. Мы можемъ сойтись только тогда, когда оно, это прошлое, умретъ для насъ обоихъ. Согласія на бракъ изъ состраданія ко мнѣ, согласія на бракъ во имя того, что я «кажется» исправился, согласія на бракъ ради какихъ бы то ни было постороннихъ мотивовъ и соображеній я не прошу и не желаю: я имѣю право губить свою жизнь, но губить и разбивать Вашу жизнь—нѣтъ, довольно и того, что я прежде игралъ слишкомъ опрометчиво любовью. Вотъ почему въ моихъ письмахъ я Вамъ ни слова не скажу, какъ я продолжаю любить Васъ, какъ страстно я желаю назвать Васъ своею, какъ тяжело мнѣ будетъ обмануться въ своихъ надеждахъ. Встрѣтите вы другого, лучшаго, полюбите его, отдадитесь ему—да благословитъ Васъ Богъ, и вѣрьте, что я въ этомъ случаѣ сумѣю не попасться Вамъ на глаза на Вашемъ пути, сумѣю не напомнить ни Вамъ, ни Вашему мужу, ни о себѣ, ни о своихъ прежнихъ отношеніяхъ къ Вамъ, ни о тѣхъ сплетняхъ, которыми почтилъ и насъ нашъ муравейникъ... «Легко такъ говорить, когда заплатили долги»... Не думайте, что я приписываю эту фразу Вамъ, но Вамъ ее можетъ сказать ваша сестра, если ей

когда-нибудь станутъ извѣстны наши отношенія. Вы, конечно, не повѣрите ей и поймете, что мнѣ тяжелѣе всего въ настоящемъ случаѣ именно то, что я пишу все это Вамъ послѣ того, какъ вы заплатили мои долги. Я долженъ былъ относиться къ Вамъ такъ, какъ я отношусь теперь, гораздо раньше, но Вы знаете, что переломъ въ моей жизни и въ моихъ взглядахъ произошелъ именно въ тѣ дни, когда надо мной грянулъ громъ. Безъ этого грома я, можетъ-быть, и теперь былъ бы попрежнему тѣмъ милымъ кузеномъ Пьеромъ, которымъ восхищались на балахъ, какъ ловкимъ танцоромъ, бойкимъ говоруномъ и смѣлымъ сердцеѣдомъ»...

12-го февраля 18... года.

...«Сегодня я провелъ день въ судѣ. Не бойтесь: судили не меня; я былъ въ числѣ «зрителей», но я перечувствовалъ все, что перечувствовалъ подсудимый. Мнѣ нужно было это испытаніе, и я пошелъ въ судъ, чтобы пережить то, отъ чего спасся, чего боялся я. Я былъ даже радъ этому процессу,—не тому, что попался мой ближній, но тому, что я могъ увидать, какую роль долженъ бы былъ разыграть я, если бы меня не спасла случайность или, лучше сказать, если бы меня не спасли Вы. Я пошелъ въ судъ, чтобы еще полнѣе возненавидѣть свое прошлое, чтобы почувствовать еще бо́льшій ужасъ передъ нимъ.

«Вы, можетъ-быть, забыли хорошенькаго, бѣлокуренькаго семнадцатилѣтняго Мишеля Арнольда, танцовавшаго съ Вами, когда Вамъ было лѣтъ восемь, на дѣтскихъ балахъ, но Вы, вѣроятно, еще помните сѣдого, высохшаго и пожелтѣвшаго генерала съ деревянной ногой, засѣдавшаго по вечерамъ за игорнымъ столомъ въ кабинетѣ Вашего отца, куда мы, дѣти и юноши, тайкомъ заглядывали изъ-за зеленой бархатной портьеры, чтобы увидать, какъ сердито стучитъ своей деревяжкой старый пергаментный генералъ, проигрывая послѣднія тысячи, полученныя имъ передъ освобожденіемъ крестьянъ изъ опекунскаго совѣта за заложенныя туда крѣпостныя души. Старый игрокъ отгонялъ отъ себя своего Мишку, отвлекавшаго его отъ игры и заставлявшаго его дѣлать ремизы въ то время, когда его молодая красавица-жена тоже старалась удалить отъ себя своего Мишеля, предпочитая шептаться съ молодымъ секретаремъ французскаго посольства наединѣ, а не въ присутствіи своего сына. Старый игрокъ и молодая великосвѣтская

развратница умерли какъ разъ въ то время, когда у нихъ не осталось, въ сущности, ничего, кромѣ долговъ, и когда Мишель сознался, что и онъ хочетъ жить подобно имъ. Они оставили сыну въ наслѣдство великосвѣтскія связи, стремленіе къ широкой жизни и нищету, прикрытую блестящимъ мундиромъ гвардейца. Мишель запутался въ долгахъ быстро, неумѣло, нелѣпо, и сегодня я видѣлъ его на скамьѣ подсудимыхъ, обвиняемаго за поддѣлку векселей. Годъ тому назадъ мы еще знали Мишеля гордымъ и высокомѣрнымъ фатомъ, нѣсколько бретеромъ, нѣсколько наглецомъ. Годъ тому назадъ онъ смѣло поколотилъ на гуляньѣ какого-то «рябчика», то-есть статскаго, за то, что тотъ толкнулъ его и не извинился. Годъ тому назадъ Мишель задавалъ еще пиры такимъ лицамъ, которыя не удостоивали своимъ посѣщеніемъ ни Вашего салона, ни салоновъ Аносовыхъ, Баскаковыхъ и тому подобныхъ лицъ, занимающихъ видныя мѣста. Годъ тому назадъ Мишель вступилъ въ борьбу съ Вашимъ братомъ изъ-за одной кокотки и бросилъ сумасшедшія деньги, чтобы отбить ее у Жака. Теперь его третируютъ en canaille всѣ большія и мелкія газеты, забрызгивая его грязью, лягая въ него съ злорадствомъ плебеевъ, видящихъ позоръ патриція, а онъ самъ сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ за поддѣльные векселя, выданные имъ ради этого желанія отбить кокотку у другого мота,—сидитъ, потупившись, едва слышно давая отвѣты, стараясь подавить слезы, подступающія ему къ горлу, навертывающіяся ему на глаза. Все напускное бретерство, все условное фатовство, вся заученная надменность, все искусственное равнодушіе,—все это спало съ него, и я видѣлъ передъ собою жалкаго, глуповатаго, безхарактернаго, неразвитого молодого человѣка, которому стыдно сознаваться въ своихъ проступкахъ и который очень, очень боится, что его «накажутъ». Спросъ свидѣтелей и спросъ самого подсудимаго открыли передо мною старую, давно знакомую мнѣ исторію жизни золотой молодежи, но прежде я не вдумывался, не могъ вдумываться въ эту жизнь, потому что я самъ жилъ ею, а теперь она меня ужаснула. «Что заставило поддѣлывать векселя подсудимаго?»—«Ему было неловко отстать отъ богатыхъ товарищей и выйти сразу изъ ихъ кружка, гдѣ, разумѣется, онъ не могъ бы оставаться, если бы товарищи узнали, что онъ нищій». (Хороша товарищеская связь! Хороши товарищи!)—«Знали его кредиторы, что его дѣла непоправимо разстроены?»—«Вѣроятно, нѣтъ, потому что онъ былъ

родным племянникомъ и единственнымъ наслѣдникомъ одного изъ крупныхъ богачей, потому что онъ старался не доводить до продажи свои заложенныя и перезаложенныя имѣнія, потому что онъ жилъ широко и слылъ богачомъ, потому что дядя разъ уплатилъ за него до двадцати тысячъ и тѣмъ поднялъ еще болѣе его кредитъ».—«Въ чемъ заключалась его широкая жизнь, куда онъ тратилъ деньги?»—«Онъ держалъ своихъ лошадей, онъ появлялся въ театрахъ и на пикникахъ съ золотою молодежью, онъ бросалъ деньги на женщинъ. Въ одинъ вечеръ онъ поднесъ одной актрисѣ на пять тысячъ брильянтовъ; одной изъ француженокъ легкаго поведенія онъ купилъ коляску и лошадей; онъ бросалъ прислугѣ на водку по пятидесяти и по сто рублей; разъ онъ побилъ полицейскаго и потушилъ это дѣло, бросивъ до пятисотъ рублей; всѣ видѣли его постоянно въ новыхъ кольцахъ съ брильянтами; всѣ знали, что онъ часто мѣняетъ лошадей».—«Но долженъ же онъ былъ задумываться надъ вопросомъ, чѣмъ это должно кончиться?»—«Онъ не думалъ объ этомъ, потому что ему некогда было задумываться: съ одной стороны, кутежи и пиры продолжались изо дня въ день, съ другой, онъ только старался выпутаться изъ однихъ долговъ, дѣлая для этого другіе, болѣе крупные долги; онъ, въ сущности, не зналъ, сколько онъ былъ долженъ и когда и какъ онъ остановится отъ дѣланія долговъ». Когда кончились допросы свидѣтелей и самого обвиняемаго, началось обвиненіе, началась потомъ защита. Я прислушивался къ рѣчамъ товарища прокурора и защитника. Я не знаю, что было легче выслушать Мишелю,—обвиненіе ли, полное презрѣнія къ нему, или защиту, полную унижающаго состраданія къ нему. Въ рѣчи прокурора онъ являлся человѣкомъ, у котораго нѣтъ ni foi, ni loi, который сотканъ изъ однихъ пороковъ, который является какою-то язвой и заразой въ современномъ обществѣ; въ рѣчи защитника онъ являлся жалкимъ идіотикомъ, безхарактернымъ флюгеромъ, полуграмотнымъ дикаремъ, чуть-чуть не маніакомъ. Они раскопали всю его подноготную, они рылись своими руками въ его душѣ, они острили и шутили, замѣчая, что, въ сущности, онъ и не могъ поддѣлывать векселей, потому что онъ безграмотенъ. «Вѣдь нельзя же назвать грамотнымъ человѣка, который пишетъ «день» черезъ ѣ и въ слово «лучше» ухитряется вставить букву т», острилъ адвокатъ и вызвалъ въ публикѣ смѣхъ. Подсудимый, очевидно, служилъ только осколкомъ для ихъ

краснорѣчія и остроумія, потому что, въ сущности, имъ нечего было обвинять или защищать его: фактъ былъ налицо, отрицать этотъ фактъ было невозможно, просить снисхожденія было излишне, такъ какъ поддѣлка была сдѣлана совершеннолѣтнимъ, съ полнымъ сознаніемъ того, что онъ дѣлаетъ, безъ всякой насущной необходимости спастись преступленіемъ отъ голода, отъ гибели, отъ смерти. Преступленіе было сдѣлано потому, что человѣкъ привыкъ развратничать и хотѣлъ развратничать. Кромѣ того, какъ защищать человѣка, противъ котораго возбуждено общественное мнѣніе? Мишель Арнольдъ пользовался въ Петербургѣ своего рода популярностью: его знали всѣ, его бретерскихъ выходокъ могъ опасаться каждый, его бросающаяся въ глаза расточительность возбуждала зависть, его надменное отношеніе къ людямъ заставляло уступать ему дорогу, ненавидя его. Чѣмъ болѣе наглымъ и нахальнымъ былъ онъ прежде, тѣмъ сильнѣе было теперь желаніе раздавить его въ грязи. Да, адвокатъ долженъ былъ понимать и понималъ, что защитою подобныхъ личностей не пріобрѣтется популярность, и что тутъ нужно не столько заботиться о защитѣ кліента, сколько о томъ, чтобъ воспользоваться удобнымъ случаемъ поговорить о «язвахъ общества», «о нравственной порчѣ нашего обезпеченнаго юношества», «объ отсутствіи порядочной семьи», однимъ словомъ, поднять «современный вопросъ» и бросить камнемъ въ чужой огородъ.

«Когда послѣднее слово было предоставлено подсудимому, онъ поднялся, блѣдный, понуривъ голову, потупивъ глаза, и что-то пробормоталъ. Его попросили говорить громче. Онъ вмѣсто отвѣта заплакалъ, и я явственно разслышалъ, какъ онъ какимъ-то дѣтски-наивнымъ тономъ прошепталъ: «Извините меня, господа судьи!» Я покраснѣлъ за него... Нѣтъ, я краснѣлъ не за него, а за себя, потому что и я былъ еще недавно такимъ же человѣкомъ,—можетъ-быть, нѣсколько болѣе умнымъ, нѣсколько болѣе образованнымъ, но все-таки такимъ же ничтожнымъ человѣкомъ, который можетъ высоко поднимать свою голову только до той поры, пока у него есть деньги и мундиръ,—человѣкомъ, въ которомъ нѣтъ никакихъ личныхъ достоинствъ, никакой личной силы, никакого личнаго значенія. Такіе люди сегодня могутъ давить ближнихъ, глумиться надо всѣми, бросать грязью въ каждаго, но отнимите отъ нихъ богатство, снимите съ нихъ мундиръ, лишите ихъ важныхъ связей, произведите какую-нибудь перемѣну въ общественномъ

строѣ жизни, и они будутъ лежать въ грязи, у ногъ ближнихъ, безпомощные, неумѣлые, никому не нужные, ни на что не годные. Но какой же характеръ, какъ не это нравственное ничтожество, могъ выработаться въ мальчикѣ, котораго отгоняли отъ себя промотавшій имѣніе старый игрокъ-отецъ и кутящая молодая развратница-мать и который бѣжалъ отъ нихъ на оргіи къ искусившимся уже въ разгулѣ и развратѣ пріятелямъ? Только честная семья можетъ спасти отъ этого пути къ гибели юношу и указать ему другую дорогу. Въ этомъ отношеніи я согласенъ съ защитникомъ Мишеля Арнольда. Если когда-нибудь я сдѣлаюсь отцомъ, то первою моей задачей будетъ стремленіе стать другомъ своего сына и избавить его отъ горькой необходимости искать на сторонѣ участія и ласкъ, радушія и веселья, друзей и руководителей, однимъ словомъ, всего того, чего такъ часто недостаетъ нашей свѣтской молодежи въ родномъ гнѣздѣ, у родителей-дѣльцовъ, занятыхъ канцеляріями, банками или биржею, а не семьею, у матерей-модницъ и благотворительницъ, рыскающихъ по магазинамъ, комитетамъ и базарамъ филантропическихъ обществъ и почти не видящихъ своихъ дѣтей, или у отцовъ и матерей, отдавшихся разгулу, разврату, картежной игрѣ и забывшихъ, что у нихъ есть святыя обязанности воспитывать дѣтей. Могутъ ли подобные отцы и матери привязать своихъ дѣтей къ родному гнѣзду? Это недовольство роднымъ гнѣздомъ является, по моему мнѣнію, первою причиною нравственнаго ничтожества нашей богатой молодежи, а я лучше бы хотѣлъ видѣть своего сына мертвымъ, чѣмъ идущимъ по той дорогѣ, которую прошелъ я самъ...»

15-го марта 18... года.

...«Я рѣшился перемѣнить свою квартиру, гдѣ все напоминаетъ мнѣ о моей прошлой жизни, и сталъ разбирать свои вещи, чтобы упаковать то, что мнѣ необходимо нужно, и продать то, что излишне и не нужно... Перебирая эти вещи, я увидѣлъ, что нужнаго, необходимаго у меня ничего нѣтъ и что все, что у меня есть, состоитъ изъ ненужностей, изъ ни на что не пригодныхъ бездѣлушекъ. Эти вещи— яркое свидѣтельство моего прежняго образа жизни, моего прежняго характера. Для чего онѣ куплены, что побуждало меня пріобрѣтать ихъ—это трудно бы было понять свѣжему человѣку, это трудно понять теперь даже мнѣ самому. Въ

сущности, эти вещи покупались потому, что я стремился только «убивать деньги». Мы, моты, сильнѣе всего отличаемся отъ пріобрѣтателей именно тѣмъ, какъ мы пріобрѣтаемъ вещи. Пріобрѣтатель покупаетъ вещь потому, что у него уже есть лишнія деньги; мы покупаемъ вещи потому, что у насъ еще замотались въ карманѣ не до конца прокученныя деньги. Онъ, пріобрѣтатель, идетъ покупать вещь, которая ему кажется въ данную минуту необходимой для хозяйства, для комфорта, для украшенія своего гнѣзда; онъ идетъ покупать ее, вполнѣ намѣтивъ себѣ, что ему нужно и въ какую цѣну онъ хочетъ пріобрѣсти вещь; мы, моты, выходя изъ дома, вовсе не думаемъ о томъ, что мы что-нибудь купимъ, но намъ попадается случайно на глаза какая-нибудь бездѣлушка, и мы, словно тяготясь тѣмъ, что у насъ прокучены еще не всѣ деньги, входимъ въ магазинъ за этой, бросившейся намъ въ глаза, бездѣлушкой, велимъ подать ее себѣ, просматриваемъ и другія вещи и покупаемъ—что?—о, это совершенно все равно: портсигаръ съ модной карикатурной картинкой, сотую, ни на что не нужную, пепельницу затѣйливой формы, десятый, совершенно лишній для насъ, альбомъ съ скабрезной картинкой на крышкѣ, новую французскую гравюру непозволительнаго содержанія или что-нибудь подобное, хотя мы точно не можемъ опредѣлить, достаточно ли у насъ бѣлья, есть ли у насъ порядочные носовые платки, не нужно ли намъ обновить свое платье,—мы убиваемъ послѣднія деньги на эти ненужныя вещи и, можетъ-быть, въ этотъ же вечеръ намъ придется убѣдиться въ необходимости подновить свой гардеробъ, что мы и дѣлаемъ, заказывая необходимыя вещи портному въ долгъ. Вотъ Вамъ опредѣленіе того, какъ украшаютъ свое гнѣздо люди наживы и какъ наполняютъ свое гнѣздо ненужнымъ хламомъ расточители. У однихъ на первомъ планѣ—скопить деньги для извѣстной цѣли, у другихъ на первомъ планѣ—убить деньги безъ всякой цѣли. Передо мной лежитъ теперь цѣлая груда кабинетныхъ портретовъ—чьи это портреты?—о, если бы я помнилъ хоть имена тѣхъ, съ кого сняты эти портреты! Вотъ портретъ некрасивой, изношенной, немолодой женщины въ одеждѣ французскаго collègien—я съ трудомъ припомнилъ фамилію этой женщины: ее звали Дюранъ, она была плохая актриса, она была безголосая, осипшая пѣвица, она была крайне циничная женщина; я никогда не любовался ею, я никогда не былъ близко знакомъ съ нею. Зачѣмъ же попалъ ко мнѣ

ея кабинетный портретъ? Ужъ не потому ли, что она была очень стройна въ мужскомъ платьѣ? Нѣтъ, нѣтъ, вовсе не потому, что я хоть на минуту залюбовался ею, а потому, что я попалъ какъ-то въ эстампный магазинъ и въ числѣ другихъ портретовъ увидалъ портретъ этой Дюранъ, игравшей у Берга, гдѣ я бывалъ тогда чуть не каждый день.—«Это портретъ mademoiselle Durand отъ Берга»,—сказалъ мнѣ приказчикъ.—«Да! Положите въ мои картины и его»,—небрежно отвѣтилъ я.—Такимъ образомъ былъ купленъ этотъ портретъ, такимъ образомъ купились сотни другихъ портретовъ... Въ то же время я шилъ себѣ платье въ кредитъ и иногда не зналъ, какъ раздѣлаться съ портнымъ... Такъ накопились у меня сотни и тысячи рублей долга, изъ котораго мнѣ пришлось выпутываться—какъ?—не спрашивайте объ этомъ. Довольно и того, что Вы знаете, какимъ способомъ я раздѣлался съ моими послѣдними долгами...»

9-го апрѣля 18... года.

...«Въ своемъ послѣднемъ письмѣ Вы пишете, что Васъ поражаетъ за границею отношеніе русскихъ къ Россіи: одни тайно будируютъ противъ нея, другіе открыто бранятъ ее. Это явленіе поразило не Васъ однѣхъ, оно бросалось въ глаза многимъ наблюдателямъ. Дѣйствительно, мы, русскіе, странные люди. Мы бранимъ и не уважаемъ все свое и за границею, и у себя дома. Я въ послѣднее время много читаю, во многое вдумываюсь и меня, какъ и Васъ, поражаетъ болѣе всего то, что мы не находимъ у себя ничего хорошаго, что мы относимся съ бранью и неуваженіемъ ко всему своему. Прочтите всѣ наши обзоры театровъ и Вы увидите, что къ французскимъ и нѣмецкимъ артистамъ рецензенты относятся съ нѣкоторымъ уваженіемъ и сдержанностью, тогда какъ къ русскимъ актерамъ относятся просто съ бранью. Русскія литературныя произведенія забрасываются грязью, а объ иностранныхъ говорится вѣжливо и мягко. Во всѣхъ явленіяхъ русской жизни отыскиваются только темныя стороны, а въ иностранной жизни указываются все больше свѣтлыя явленія. Прислушиваясь къ толкамъ о русской жизни и перечитывая, что о ней пишется, невольно приходишь къ убѣжденію, что у насъ все гадко, что мы всѣ полныя бездарности, что у насъ нѣтъ талантливаго человѣка, который не былъ бы подлецомъ, и нѣтъ честнаго человѣка, который не былъ бы бездарностью.

Въ этомъ отношеніи просто завидно смотрѣть на французовъ, которые иначе не называютъ свою націю, какъ la grande nation, или на нѣмцевъ, которые только и кричатъ: wir Deutschen! или на поляковъ, у которыхъ и Крашевскій, и Андріолли, и Мальчевскій, и Матейко все геніи первой величины уже потому, что они поляки. Недовольство окружающимъ, говорятъ, есть признакъ стремленія къ лучшему. Полно, такъ ли это? Вѣдь бранятъ у насъ всѣхъ и все не однѣ мыслящія личности, бранятъ и Николай Аносовъ, и графъ Риво, который только и затвердилъ въ жизни два слова: «скука и мерзость». Не приписать ли скорѣе это равнодушіе къ отчизнѣ тому, что мы ея вовсе не знаемъ, что никто не научилъ насъ любить ее, какъ не научили насъ любить свою семью? Нашихъ отцовъ занимали ихъ департаменты, ихъ полки, ихъ дѣлишки, но вовсе не отчизна. Наши матери хлопотали по хозяйству, заботились о модахъ Парижа, мечтали о балахъ и театрахъ, но ужъ, конечно, отчизна была тутъ ни при чемъ. Наши няньки знали не отчизну, а свою родную деревню Самодуровку, а наши бонны говорили объ отчизнѣ, но о своей, а не о нашей отчизнѣ. Наши учителя были призваны начальствомъ преподавать намъ математику, грамматику, географію, но вовсе не для внушенія любви къ отчизнѣ. Къ несчастью, и сама наша отчизна была извѣстна намъ въ видѣ того вороньяго гнѣзда, гдѣ мы родились, и это воронье гнѣздо ничего не говорило намъ о прошломъ, объ исторіи нашей отчизны. Передъ нѣмцемъ, передъ французомъ, передъ итальянцемъ прошлое его отчизны живетъ и дышитъ въ тысячахъ архитектурныхъ и литературныхъ памятниковъ, у насъ же—гдѣ наши Кельнскіе соборы, храмы св. Петра, соборы парижской Богоматери, Колизеи, замки Штольценфельсы, Шильонскіе замки, дворцы Дожей, Венеры Медицейскія, картины Рафаэлей, статуи Микель-Анджело, памятники эпохи Возрожденія, стили рококо и имперіи, пѣсни Нибелунговъ, творенія Шекспировъ, Рабле, Дантовъ, Боккачіо? Я, напримѣръ, родился въ городѣ, который долго боролся со старою Москвою, но что уцѣлѣло въ этомъ городѣ на память о прошломъ—ничего, потому что этотъ деревянный и соломенный городъ съ той поры успѣлъ пять разъ выгорѣть до тла да десять разъ наполовину. У насъ есть, правда, народныя пѣсни, сказки и былины, но въ то время, когда я росъ, ихъ еще даже не собрали въ печатный сборникъ, а нянька моя знала только какія-то двѣ жалкія колыбельныя

пѣсни, да пару сказокъ «о жаръ-птицѣ», да «о бабѣ-ягѣ»— вотъ и все, что я зналъ изъ того, что «Русью пахнетъ», и уже съ восьмилѣтняго возраста, вмѣсто русскихъ пѣсенъ, былинъ и сказокъ, я занимался чтеніемъ разсказа для благовоспитанныхъ дѣтей о какомъ-то непослушномъ Жакѣ и добродѣтельной Жюльетѣ,—разсказа, бездарно написаннаго по-французски и еще болѣе бездарно переведеннаго по-русски. Потомъ меня заперли въ корпусъ и начали учить наукамъ и маршировкѣ. Гдѣ же мнѣ было узнать отчизну, какъ могъ я полюбить ее за ея прошлыя страданія, за ея настоящія стремленія, за ея широкія надежды на будущее? Когда же я столкнулся лицомъ къ лицу съ русскимъ обществомъ, какъ членъ этого общества, я натолкнулся на сотни разныхъ непріятностей, неудобствъ, дурныхъ сторонъ, присущихъ каждому человѣческому обществу, и сталъ вмѣстѣ съ другими ругать нашу жизнь за эти неудобства. Такъ случается почти со всѣми русскими, и если имъ удастся побывать за границей, гдѣ ихъ принимаютъ съ распростертыми объятіями, какъ «гостей», гдѣ имъ показываютъ казовые концы, какъ «любознательнымъ посѣтителямъ», гдѣ они сами являются не служащими, а «гуляющими людьми», то они начинаютъ еще больше ругать свою отчизну, говоря, что за границей и лучше, и удобнѣе, и веселѣе. Еще бы! Извините меня, что я распространяюсь объ этомъ предметѣ, но онъ мнѣ теперь становится близокъ самому. Когда я очнулся, когда я сталъ вглядываться въ свою жизнь, я увидалъ не одно то, что я былъ кутилой и мотомъ,—кутилы и моты есть во всѣхъ странахъ и, можетъ-быть, одинъ мотъ-англичанинъ заткнетъ за поясъ всѣхъ нашихъ мизерныхъ кутилъ, вмѣстѣ взятыхъ,—но я увидалъ, что я въ то же время былъ человѣкомъ безъ почвы, безъ родины, безъ сословія, если можно такъ выразиться. Дѣйствительно, были ли у меня какіе-нибудь интересы внѣ кутежа и мотовства? Зналъ ли я свою родину и ея потребности? Принадлежалъ ли я по своимъ интересамъ и стремленіямъ къ какому-нибудь сословію? Нѣтъ, я служилъ для того, чтобы носить мундиръ, вовсе не думая ни объ интересахъ службы, ни о своихъ обязанностяхъ, ни о своихъ цѣляхъ. Что дѣлалось на родинѣ и почему такъ дѣлалось, я узнавалъ это иногда изъ газетъ, которыя читалъ разъ или два въ недѣлю, въ часы скуки, или изъ великосвѣтскихъ сплетенъ и анекдотовъ о томъ или другомъ высокопоставленномъ лицѣ. Сословныхъ интересовъ у меня не могло быть, потому что я

по рожденію былъ безземельный дворянинъ дальней, вовсе неизвѣстной мнѣ губерніи, а по мѣсту жительства я былъ петербуржецъ, принадлежавшій къ той средѣ, которую трудно и опредѣлить: она состояла изъ членовъ высшей петербургской аристократіи, изъ милліонеровъ-сынковъ вчерашняго кабатчика-еврея, изъ великосвѣтскихъ женщинъ легкаго поведенія, изъ французскихъ кокотокъ, которыя на вопросъ о происхожденіи могли бы отвѣтить только словами Периколы: «obscure, obscure, obscure!» Что общаго могло быть у этихъ людей? Ихъ связывалъ развратъ, но не какіе-нибудь серьезные интересы, и потому о серьезныхъ интересахъ здѣсь никто и не говорилъ, и не думалъ. Да, какой-нибудь кутящій сынъ лорда такъ и остается въ самый разгаръ разврата и кутежей сыномъ лорда, британцемъ, будущимъ членомъ палаты, а мы—мы были кутилами и только. Въ будущемъ, подобные люди дѣлаются или жалкими бѣдняками, или безцвѣтными лежебоками, или вредными общественными дѣятелями, добившимися видныхъ мѣстъ безъ всякаго пониманія интересовъ страны, только ради своихъ родственныхъ связей и своего случайно уцѣлѣвшаго богатства»...

1-го мая 18... года.

...«Теперь я сижу по цѣлымъ днямъ дома, приготовляюсь къ академіи. Боже мой, какъ мало я знаю, какъ много я забылъ! Иногда на меня нападаетъ отчаянье и мнѣ кажется, что я оборвусь на экзаменахъ. Мнѣ становится совѣстно при этой мысли, становится досадно, что я рѣшился приготовляться къ экзаменамъ, потому что я знаю, какъ обрадуются нѣкоторыя личности моей неудачѣ и какъ посмотрятъ на меня экзаменаторы. Вѣдь я долго былъ сказкой города и самое мое появленіе на экзаменъ вызоветъ не одну двусмысленную улыбку. Я знаю, что ко мнѣ будутъ даже относиться придирчивѣе, строже, безпощаднѣе. Я, впрочемъ, рѣшилъ заранѣе: если я буду сомнѣваться въ успѣхѣ—я перейду въ армію и навсегда скроюсь изъ Петербурга. Я не хочу, чтобы къ моей скандалезной хроникѣ прибавились еще ядовитыя замѣчанія о томъ, что я вообще былъ человѣкъ малограмотный, недалекій и неспособный. Я могу довольно спокойно выслушивать разсказы о томъ, что Николай Аносовъ трубитъ вездѣ о моихъ прошлыхъ похожденіяхъ, о моихъ мнимыхъ долгахъ, о моей близкой гибели.

и утѣшаю себя тѣмъ, что я никогда не былъ воромъ и не расхищалъ изъ года въ годъ чужого имущества, но я не вынесу спокойно, когда тотъ же Николай Аносовъ будетъ имѣть право сказать: «Я всегда считалъ его очень малосвѣдущимъ офицеромъ и крайне неспособною личностью!» О, если бы Вы знали, какъ упорно и настойчиво, даже теперь, когда я замкнулся отъ всѣхъ, чернитъ меня этотъ человѣкъ, видящій во мнѣ своего врага, боящійся, что я когда-нибудь буду держать въ своихъ рукахъ его счеты по Вашей опекѣ. И признаюсь Вамъ, именно ради этого человѣка я боюсь сорваться на экзаменахъ. Это, быть-можетъ, мелочность характера, но что же Вы подѣлаете съ собою, если моя ненависть къ этому человѣку не имѣетъ границъ, если я хотѣлъ бы пережить въ жизни только одну минуту— минуту, когда я по праву могъ бы сказать ему въ глаза: «воръ!» Да, онъ не былъ кутилой, какъ его братъ, какъ Вашъ братъ, какъ я; онъ не выдавалъ поддѣльныхъ векселей, онъ не проматывалъ родовыхъ имѣній; онъ имѣлъ всегда право смотрѣть на насъ съ презрѣніемъ, бросать въ насъ грязью, чернить насъ. Но, вѣрьте мнѣ, онъ хуже насъ, его дѣятельность позорнѣе нашей жизни... Впрочемъ, да не будетъ онъ помянутъ въ моихъ письмахъ къ Вамъ, чтобы Вы не сочли меня клеветникомъ, который чернитъ человѣка, не представляя фактическихъ уликъ противъ врага»...

22-го мая 18... года.

«Въ своемъ отвѣтѣ на мое послѣднее письмо Вы упрекаете меня за малодушіе, по поводу мысли, высказанной мною насчетъ того, что я сдѣлаю въ случаѣ неудачи на академическомъ экзаменѣ. Вы говорите: «Развѣ вы приготовляетесь къ поступленію въ академію для Николая Аносова? Развѣ вы уважаете его настолько, что признаете его судъ надъ собою?» Да, Вы правы, тысячу разъ правы. Я чувствую себя малодушнымъ, какъ только вопросъ касается Николая Аносова. Ничто не смущаетъ меня такъ, какъ слухи о томъ, что говоритъ этотъ человѣкъ обо мнѣ, и у меня нѣтъ силъ стать выше этихъ толковъ. Еще недавно я сдѣлалъ одну изъ глупостей подъ вліяніемъ раздраженія, вызваннаго этими толками. Николай Аносовъ, какъ я говорилъ, вездѣ и всюду распространяетъ про меня слухи, что я окончательно промотался, что мнѣ грозитъ долговое отдѣленіе, что я прячусь отъ общества, боясь встрѣчи съ

своими кредиторами. Я знаю, что эти слухи теперь нелѣпы, что я не прячусь отъ кредиторовъ, что Николай Аносовъ сталъ бы еще болѣе чернить меня, если бы я продолжалъ прежнюю жизнь, и все-таки я не могу спокойно относиться къ его выдумкамъ, не могу спокойно выносить подозрительные и испытующіе взгляды нашихъ общихъ знакомыхъ. На-дняхъ ко мнѣ заѣхалъ Жоржъ Аносовъ и пригласилъ меня въ Павловскъ, гдѣ въ тотъ вечеръ былъ назначенъ концертъ съ лотереею въ пользу населенія одной изъ сѣверо-восточныхъ губерній, страдающаго, какъ выражается старикъ Аносовъ, отъ «временныхъ продовольственныхъ нуждъ» или просто отъ голода. Я зналъ, что въ числѣ распорядителей этимъ вечеромъ были Ваша сестра и ея мужъ, предупредительно принявшіе на себя эти хлопоты вслѣдствіе того, что «продовольственными нуждами» пострадавшей отъ неурожая губерніи сильно заинтересована одна изъ очень и очень высокопоставленныхъ личностей, устроившая этотъ вечеръ. Я обрадовался случаю, чтобы показать, что я ни отъ кого не прячусь, и поѣхалъ въ Павловскъ. Я захватилъ съ собою до пятисотъ рублей денегъ—для чего?—я самъ не знаю, но мнѣ не хотѣлось ѣхать туда безъ денегъ, точно я предполагалъ, что Николай Аносовъ будетъ осматривать не только меня, но и мой бумажникъ. Мое появленіе произвело извѣстный эффектъ.

— Какъ, и вы рѣшились выйти изъ своего затворничества?—спросила меня своимъ холоднымъ тономъ Ваша сестра, увидавъ меня въ залѣ, гдѣ она продавала въ одномъ изъ кіосковъ билеты аллегри.

— Ужъ если даже вы рѣшились встать во главѣ благотворительнаго дѣла, то, значитъ, оно стоитъ сочувствія,—отвѣтилъ я.

Въ эту минуту подошелъ къ кіоску Николай Аносовъ. Онъ не безъ удивленія взглянулъ на меня и сухо поздоровался со мною.

— Что же вамъ нужны билеты?—спросила Марья Николаевна.

— Пожалуй, позвольте нѣсколько,—отвѣтилъ я, разсѣянно глядя на двигающуюся по залѣ толпу великосвѣтскихъ барынь и мужчинъ.

— Сколько?—спросила она.

Я положилъ двадцать пять рублей.

— На всѣ?—послышался вопросъ.

— О, все равно!—отвѣтилъ я.

Николай Аносовъ въ эту минуту разговаривалъ со старикомъ сенаторомъ Тюменьковымъ. Вы, конечно, помните Тюменькова, этого старичка съ сѣденькими и рѣденькими волосами, съ слезящимися красными глазами, съ шамкающими губами, въ затрапезномъ сюртукѣ и вѣчно закапанномъ чѣмъ-то галстукѣ, прикрывающемъ неопрятную грудь сорочки? Тюменьковъ—этотъ Плюшкинъ большого свѣта—серьезнѣйшимъ тономъ доказывалъ, что онъ никогда не выигрываетъ и потому никогда, никогда не беретъ билетовъ на лотереи.

— Это вѣдь одно увлеченіе,—пояснилъ, немного шамкая, старикъ:—азартная игра! Вотъ я увѣренъ, что они,—онъ указалъ на меня:—не выиграютъ ничего, а вѣдь взяли пятьдесятъ билетовъ... Извините, не имѣю удовольствія васъ знать лично,—обратился онъ ко мнѣ.

Я назвалъ свою фамилію.

— Я вотъ хотѣлъ бы полюбопытствовать, выиграли ли вы что-нибудь?—спросилъ онъ, моргая выцвѣтшими и слезящимися глазками.

— Право, не знаю,—отвѣтилъ я.—Мнѣ было бы скучно развертывать всѣ эти билеты.

— Да, но вѣдь вы на двадцать пять рублей взяли!—воскликнулъ старичокъ.—Это не шутка! Какъ же такъ не развертывать? Все же надо полюбопытствовать. Можетъ-быть, на счастье...

— Вѣдь это на голодающихъ,—замѣтилъ я съ улыбкой.

— Такъ вы жертвуете просто деньги?—спросила Марья Николаевна.—Я васъ ловлю на словѣ и возьму билеты обратно.

— О, можете вполнѣ распоряжаться ими,—улыбнулся я.

Николай Аносовъ сдѣлалъ презрительную мину. Старичокъ покачалъ съ соболѣзнованіемъ головой и тяжело вздохнулъ. Въ это время къ намъ подошла устроительница вечера, и мы всѣ почтительно раскланялись съ ней. Она передала Марьѣ Николаевнѣ листъ бумаги, на которомъ значились имена жертвователей и цифры пожертвованныхъ денегъ.

— Нашъ вечеръ не особенно удаченъ,—замѣтила устроительница.

— Погода помѣшала,—почтительно замѣтилъ Николай Аносовъ.

— Предложите кому-нибудь еще этотъ подписной листъ,—замѣтила она Марьѣ Николаевнѣ.

— Вы, monsieur Mouratoff, еще не подписывали?—спросила меня Марья Николаевна.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я.

Она молча подвинула мнѣ листъ бумаги и подала карандашъ. Я записалъ свою фамилію и выставилъ цифру въ 400 рублей. Николай Аносовъ и Марья Николаевна многозначительно переглянулись между собою.

— Mercі!—благосклонно кивнула мнѣ головой устроительница вечера.—Это первый крупный взносъ въ сегодняшній вечеръ и онъ, конечно, заставитъ и другихъ жертвовать больше. Начало всего важнѣе.

Она удостоила меня нѣсколькими любезными фразами, пригласила къ себѣ на чай послѣ окончанія вечера и, милостиво отвѣтивъ на наши поклоны, пошла къ другому кіоску. Мнѣ было неизъяснимо весело смотрѣть на злобное выраженіе лица Николая Аносова, на растерянное выраженіе лица Марьи Николаевны, которые никакъ не ожидали, что имъ придется просидѣть нѣсколько минутъ за чаемъ въ томъ салонѣ, куда я и самъ никакъ не думалъ попасть въ этотъ вечеръ.

Только по возвращеніи домой я понялъ, что я опять поступилъ безразсудно, что я увлекся желаніемъ показать Николаю Аносову, что я еще не дошелъ до нищеты, что ради этого желанія я бросилъ на вѣтеръ чужія деньги, такъ-какъ эти деньги были Ваши деньги,—деньги, оставшіяся у меня за уплатою долговъ. Да, это былъ малодушный поступокъ, но, признаюсь Вамъ откровенно, я, кажется, долго еще не буду застрахованъ отъ такихъ поступковъ, покуда я буду видѣть презрительные взгляды Николая Аносова, покуда до меня будутъ долетать слухи о его толкахъ обо мнѣ, покуда я не завоюю себѣ такого положенія, когда невольно смолкнетъ этотъ ненавистный для меня человѣкъ. Теперь же мнѣ хочется только бѣжать куда-нибудь подальше отъ него, отъ его знакомыхъ, и я радостно мечтаю объ отпускѣ, который получу на-дняхъ для приготовленія къ академическимъ экзаменамъ»...

1-го іюня 18.,. года.

...«Хаболази»... Странно звучитъ для Васъ, конечно, эта помѣтка на моемъ письмѣ, замѣнившая обычную помѣтку «С.-Петербургъ». Хаболази—это деревушка, гдѣ живу теперь я, окруженный полу-русскимъ, полу-чухонскимъ крестьян-

скимъ населеніемъ. Почему я выбралъ именно эту деревню? Случайно я попалъ однажды въ это захолустье, посѣтивъ своего товарища, жившаго здѣсь во время съемки, и меня поразила тишина этой деревушки, поразила живописность мѣстности. Обдумывая, куда бы удалиться, я вспомнилъ про эту глушь и уѣхалъ сюда. Занимаемый мною домикъ стоитъ на возвышенномъ мѣстѣ, отъ него идетъ заросшій сочною травою скатъ въ длинный и широкій оврагъ; въ оврагѣ гнется густой, темный лѣсъ; за лѣсомъ снова поднимается отлогая возвышенность, поросшая травой; далѣе идутъ холмы и шунгоровскія высоты съ едва виднѣющимися селами, деревнями, мельницами, разбросанными на пространствѣ нѣсколькихъ верстъ и вправо, и влѣво; на самомъ краю горизонта, влѣво отъ моего жилища, виднѣются вершины Дудергофа, вправо Ропша. Сюда едва можно добраться по песчанымъ и узкимъ извилистымъ дорогамъ; здѣсь можно заблудиться въ густыхъ лѣсахъ, поросшихъ мелкимъ кустарникомъ; здѣсь можно утонуть въ свѣжей зелени сочной травы; здѣсь населеніе окрестныхъ деревень, разныхъ Химози, Ямалази, Иннолова, Кавигонтовъ, Разбѣгаевъ, непривычное къ постороннимъ людямъ, неразговорчиво, несообщительно, и среди него можно быть одинокимъ въ теченіе цѣлаго лѣта, если не встрѣтится случайно кто-нибудь изъ офицеровъ, пребывающихъ на съемкѣ въ этихъ мѣстностяхъ. Мнѣ была нужна такая глушь, и я радъ, что мнѣ не пришлось искать гдѣ-нибудь далеко, что она нашлась чуть-чуть что не подъ самымъ Петербургомъ. Нужно побывать здѣсь, чтобы понять и всю прелесть развертывающейся передъ моими глазами широкой картины, и всю дикость здѣшняго населенія. Когда я пріѣхалъ сюда въ колескѣ, женщины, старухи и молодыя, бросились къ ней, какъ дикарки, начали ее осматривать, повалѣзли въ нее и стали раскачивать ее, наслаждаясь, подобно дѣтямъ; въ субботніе дни Вы могли бы подумать, что Вы попали въ страну дикихъ, потому что около крошечныхъ закопченыхъ бань Вы встрѣтили бы обнаженныхъ людей, моющихся не въ баняхъ, а на открытомъ воздухѣ безъ всякаго стѣсненія, на виду у всей деревни, при чемъ женщины не снимаютъ только своихъ головныхъ уборовъ, своихъ «кичекъ»; о городѣ, о столицѣ напоминаютъ только изрѣдка появляющіеся сюда въ теченіе всего лѣта скупщики ягодъ, масла, яицъ, грибовъ; тутъ есть люди, которые никогда не бывали въ городѣ. Въ этой глуши я забуду все, кромѣ того, что мнѣ нужно во что бы то ни

стало приготовиться къ экзамену и начать иную жизнь. Если Вы еще хоть сколько-нибудь сохранили ко мнѣ чувство привязанности, если Вамъ еще хоть сколько-нибудь дорогъ тотъ, кто былъ такъ много виноватъ передъ Вами и кто такъ горячо любитъ Васъ, то помолитесь за меня, пожелайте мнѣ успѣха. О, если бы Вы знали, какъ тяжело бываетъ мнѣ иногда. Порою, сидя здѣсь, одинокій, забытый, ненужный никому, я плачу, какъ ребенокъ, плачу не потому только, что мнѣ скучно, что я завидую другимъ, болѣе счастливымъ людямъ, но и потому, что я все яснѣе и яснѣе сознаю, что я загубилъ много силъ, много лѣтъ, много нравственной чистоты на безпутную, безпечальную жизнь, которой я посылаю теперь одни проклятія»...

15-го іюля 18... года.

...«Я свелъ случайно знакомство съ личностью, поразившею меня своею нравственною силой. Бродя въ часы отдыха отъ занятій по полямъ и лѣсамъ, я столкнулся съ незнакомымъ мнѣ офицеромъ, живущимъ верстахъ въ трехъ отъ меня на съемкѣ. Онъ удивился, увидавъ незнакомую ему личность, раскланялся со мною, мы разговорились. Такъ какъ я находился около его жилища, то онъ любезно пригласилъ меня зайти къ себѣ. Я зашелъ къ нему, мы познакомились поближе, и въ нѣсколько недѣль среди разговоровъ я узналъ и его исторію, и его планы на будущее. Мутавкинъ—такъ зовутъ моего новаго знакомаго—сынъ бѣднаго армейскаго офицера, онъ рано остался сиротою, поступилъ въ корпусъ, кончилъ курсъ первымъ, прожилъ нѣкоторое время въ Ташкентѣ, поступилъ потомъ въ академію, гдѣ надѣется кончить въ нынѣшнемъ году курсъ тоже первымъ. Вотъ голый формулярный списокъ Мутавкина, но рядомъ съ этимъ идутъ факты, которые не заносятся обыкновенно въ формулярные списки. Вся жизнь этого человѣка была тяжелою борьбою: въ дѣтствѣ ему приходилось и дрова таскать, и босикомъ ходить, и самоучкой выучиться грамотѣ; въ корпусъ онъ опредѣлилъ себя самъ, пропутешествовавъ то пѣшкомъ, то съ обозами до столицы, потому что за него некому было хлопотать; учась въ корпусѣ, онъ заинтересовался статистикой, политической экономіей и этнографіей Россіи и успѣлъ настолько ознакомиться въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ съ этими предметами, что могъ бы теперь сдать изъ нихъ самый обширный экза-

менъ; понимая необходимость сравнительной статистики, онъ изучилъ самоучкой три иностранные языка, которыми почти вовсе не занимались въ корпусѣ; все это стоило безсонныхъ ночей, громадныхъ усилій, но онъ поборолъ всѣ препятствія и остался добрымъ и веселымъ, иногда дѣтски-наивнымъ человѣкомъ.

— Это глупости-съ, когда люди говорятъ: «я не могу этого сдѣлать»,—пояснилъ онъ мнѣ съ добродушною улыбкою, постоянно смягчающею строгое выраженіе его загорѣлаго и нѣсколько сухого и грубаго лица.—«Я не хочу попробовать сдѣлать это», а это другое дѣло, это я понимаю-съ!

— Ну, вы немного преувеличиваете,—шутливо замѣтилъ я.—Есть вещи, про которыя человѣкъ впередъ можетъ сказать, что онъ ихъ не достигнетъ...

— То-есть вы хотите сказать, что онъ птичьяго молока достать не можетъ, потому что у птицъ молока нѣтъ, или башни вавилонской до тверди небесной построить не сумѣетъ, потому что этой тверди не существуетъ?—отвѣтилъ въ томъ же тонѣ Мутавкинъ и серьезнымъ тономъ убѣжденія прибавилъ:—Нѣтъ-съ, въ томъ-то и бѣда человѣка, если онъ сразу, встрѣтивъ препятствіе или грандіозность плана, скажетъ себѣ впередъ: «Я этого не могу сдѣлать!» А ты попробуй, ты добивайся, ну, не добьешься, что-жъ изъ этого? Помрешь только, какъ и безъ того бы умеръ, такъ какъ всѣ мы смертны и всѣ мы помремъ. Хуже вѣдь ничего не можетъ быть. Разница вся въ томъ, что у того, кто ничего не добивается, жизнь полна отчаянья, а у того, кто чего-нибудь добивается, жизнь полна надеждъ. Послѣднее все же лучше.

— Хоть призраками да утѣшаться,—вскользь замѣтилъ я.

— Да какъ вамъ сказать-съ,—задумчиво отвѣтилъ онъ.—Если смотрѣть съ вашей точки зрѣнія, съ точки призрачности надеждъ, такъ ужъ лучше на первой осинѣ повѣситься, чтобы не обманывать ни себя, ни другихъ. Вѣдь съ этой точки зрѣнія все призрачно: вонъ муравьиная куча; строятъ, собираютъ, хлопочутъ муравьи,—разройте ихъ кучу, растопчите ихъ, и всѣ ихъ долгія усилія пропадутъ вмигъ. Смотря съ вашей точки зрѣнія, муравьямъ не для чего бы и строить свою кучу. Ну, а я думаю, что будетъ лучше, если они ее будутъ строить: одну, двѣ, десять, тысячу кучъ вы разорите, а сотни все-таки уцѣлѣютъ и дойдутъ до извѣстнаго совершенства въ устройствѣ, котораго, можетъ-быть, не знали муравьи давно прошедшихъ столѣтій. Муравьи же,

которые смотрѣли бы съ вашей точки зрѣнія, не дошли бы вовсе ни до чего.

Я коснулся его будущихъ плановъ и замѣтилъ, что онъ, въ качествѣ перваго по академіи, вѣроятно, поѣдетъ на казенный счетъ за границу.

— Да, до Берлина поѣду, а тамъ пущусь въ путь по образу пѣшаго хожденія,—отвѣтилъ онъ.—Мнѣ хочется не изъ вагона желѣзной дороги посмотрѣть на жизнь, а стать съ ней лицомъ къ лицу, пожить этой жизнью, пожить съ рабочимъ людомъ, съ фабричнымъ населеніемъ, поработать самому...

Я удивился и спросилъ, для какой цѣли хочетъ онъ это сдѣлать.

— Для какой цѣли?—задумчиво повторилъ Мутавкинъ.—Какъ вамъ это объяснить? Цѣль у меня покуда одна: изучить и по книгамъ, и на практикѣ жизнь народа, не одного нашего народа, а народа вообще и въ Германіи, и во Франціи, и въ Англіи. Покуда меня занимаетъ научная сторона этого вопроса, и я сдѣлаю все для того, чтобы разсмотрѣть этотъ вопросъ всесторонне, а потомъ...

По его лицу проскользнула его добродушная, простая улыбка.

— Потомъ какую-нибудь систему для постройки муравьиной кучи изобрѣтать буду или что-нибудь въ этомъ родѣ—почему я знаю!—проговорилъ онъ.—Нельзя же сказать впередъ, что будетъ дальше, въ то время, когда дойдешь до своей намѣченной цѣли; моя же цѣль покуда состоитъ въ изученіи народнаго быта и его условій. Можетъ-быть, я такъ и останусь вѣчно кропотливымъ изслѣдователемъ, вѣчно воображая, что я все еще недостаточно изучилъ свое дѣло, недостаточно подготовился, а, можетъ-быть, черезъ годъ, черезъ два воображу себѣ, что достигъ цѣли вполнѣ и что надо идти куда-нибудь дальше, къ другой цѣли...

Чѣмъ ближе я схожусь съ этимъ человѣкомъ, тѣмъ болѣе начинаю уважать его и удивляться его энергіи, его готовности пожертвовать всѣмъ для достиженія тѣхъ задачъ, къ разрѣшенію которыхъ онъ стремится. Смотря на него, я самъ дѣлаюсь бодрѣе, работаю лучше, стыжусь сказать себѣ, что мнѣ трудно учиться, что я не могу учиться. Но, конечно, мнѣ далеко до него: онъ привыкъ къ работѣ, онъ втянулся въ нее и, что важнѣе всего, онъ увѣренъ постоянно въ самомъ себѣ. Въ этомъ отношеніи онъ является полнѣйшею противоположностью Гамлета. Сомнѣній у него нѣтъ.

Онъ, напримѣръ, говоритъ, что онъ кончитъ академію первымъ, и говоритъ это такимъ тономъ, какъ будто это обстоятельство уже рѣшенное и другого исхода быть не можетъ.

— Ну, а что если вы не кончите курса первымъ?—спросилъ я его на-дняхъ.

— Тогда,—отвѣтилъ онъ, дѣлая мрачное лицо:—тогда я кончу курсъ вторымъ, третьимъ, четвертымъ...

Онъ засмѣялся добродушнымъ смѣхомъ надъ своею шуткою и прибавилъ:

— Вѣдь другого ничего не можетъ случиться!

— Такъ, значитъ, вы признаете возможность того, что вы выйдете не первымъ?—замѣтилъ я.

— Какъ вамъ сказать? Я признаю даже возможность того, что вотъ сейчасъ отъ нашихъ папиросъ загорится эта изба, я побѣгу тушить пожаръ и меня прихлопнетъ свалившейся головней. Я только не разсчитываю на эти возможности. Я задался цѣлью кончить курсъ первымъ, чтобы получить деньги и отпускъ на заграничное путешествіе, и стремлюсь къ этой цѣли. Расчеты на разныя случайности только усложнили бы мои планы и отняли бы у меня даромъ много времени, поколебали бы мою твердую увѣренность. Явятся эти случайности бревнами на моемъ пути, тогда явится и планъ устраненія этихъ бревенъ, а покуда ихъ нѣтъ,—что же я могу придумать для ихъ устраненія? Вотъ я прошлый разъ говорилъ вамъ о муравьяхъ: повѣрьте, что и при ихъ работѣ не входитъ никогда въ расчетъ мысль о томъ, что будетъ съ ними, если господинъ Муратовъ придетъ къ ихъ кучѣ и разворотитъ ее своею палкою. Представляя себѣ возможность этой случайности, они весь вѣкъ все думали бы о средствахъ оградить себя отъ палки господина Муратова, а не занимались бы своею постройкою. А господину Муратову, можетъ-быть, во всю жизнь и въ голову не пришло бы разворачивать муравьиныя гнѣзда...

Мнѣ просто становится завидно смотрѣть на трезвость этого человѣка, на его желѣзную волю, на его безмятежное настроеніе духа, и я увѣренъ, что онъ никогда не остановится на половинѣ дороги.

На-дняхъ я встрѣтилъ у него нѣсколько офицеровъ—его товарищей по академіи—и понялъ, какую роль играетъ въ ихъ кружкѣ этотъ невзрачный на видъ, некрасивый лицомъ, немного простоватый по обращенію человѣкъ, напоминающій своею внѣшностью грубоватаго армейскаго служаку,

съ потемнѣвшимъ лицемъ, съ загрубѣвшею сухою кожею, съ мозолистыми руками и съ небрежнымъ костюмомъ. Офицеры явились къ нему съ разными вопросами, за разными совѣтами, они уже видятъ въ немъ будущаго профессора, наставника и вожака, и онъ просто и ясно высказывалъ имъ свои соображенія, приправляя, по своему обыкновенію, эти соображенія мѣткими примѣрами и юмористическими замѣчаніями.

— Славный народъ,—замѣтилъ онъ мнѣ про товарищей, когда мы остались одни.—Хорошо, если бы было побольше дѣльныхъ и хорошихъ офицеровъ. Легіоны, батенька, что бы ни толковали люди,—великая и страшная сила и не дурно знать, какія головы будутъ управлять ими.

Я крайне радъ, что столкнулся съ этимъ человѣкомъ. Онъ дѣйствуетъ на меня благотворно, при немъ стыдно не работать, стыдно хандрить. Послѣ бесѣдъ съ нимъ, я все рѣже и рѣже боюсь своей собственной неудачи. Неужели же и я не сумѣю сдѣлать усиліе, которое дастъ мнѣ побѣду?..»

10-го сентября 18... года.

...«Я у берега, у берега. О, какъ я счастливъ, какъ веселъ, какъ спокоенъ! Я не могу отъ волненія связно писать. Экзамены кончены, кончены отлично, несмотря на то, что ко мнѣ относились строго, придирчиво. Всѣ экзаменаторы знали, кто я и что я. Всерьёзъ моего желанія поступить въ академію никто не принималъ; всѣ думали, кажется, что я просто хотѣлъ погулять въ лагерное время и выбралъ для этого предлогомъ поступленіе въ академію, чтобы получить отпускъ. Но скоро пришлось убѣдиться въ противномъ. Своимъ успѣхомъ я много обязанъ Мутавкину: онъ помогъ мнѣ въ занятіяхъ, подбодрилъ меня, разогналъ мою хандру, отучилъ меня отъ нытья. Я могъ бы теперь сказать, что я счастливъ вполнѣ, если бы я зналъ, что мое прошлое, умершее для меня, умерло и для Васъ, и что въ Вашемъ сердцѣ сохранилось хоть немного любви ко мнѣ. Одно Ваше слово, одинъ Вашъ намекъ на то, что я могу еще надѣяться на Вашу любовь, и я воскресну, оживу вполнѣ. Простите мнѣ, что я говорю Вамъ объ этомъ, но молчать долѣе о моей любви къ Вамъ я не въ силахъ. Я сдѣлалъ все, что могъ, чтобы стать другимъ человѣкомъ, я сдѣлалъ это ради Васъ, ради того, чтобы доказать Вамъ, что во мнѣ еще остались силы для лучшей жизни, что Вы не совсѣмъ оши-

бались во мнѣ, когда заступались въ былыя времена за меня и, вѣрьте мнѣ, Вы никогда не будете краснѣть за меня. Велите мнѣ ждать сколько угодно того счастливаго дня, когда я буду имѣть право назвать Васъ своею, и ради всего святого дайте мнѣ хоть слово надежды, хоть слово ободренія. Мнѣ нужно знать, что ждетъ меня впереди: одинокая ли трудовая жизнь съ горькимъ сознаніемъ, что я самъ когда-то убилъ свое счастіе, или свѣтлыя радости семейной жизни съ той, которая съ каждымъ днемъ становится для меня все дороже и дороже...»

Это было послѣднее письмо Муратова къ Юліи Николаевнѣ. Въ концѣ сентября онъ получилъ коротенькую записку отъ молодой Сухаревой. Въ ней было написано: «Отвѣтъ на ваше послѣднее письмо, кузенъ, Вы услышите отъ меня лично въ Петербургѣ».

Черезъ нѣсколько дней послѣ полученія этой записки Муратову далъ знать Яковъ Сухаревъ, что его мать, тетка и сестра возвратились въ Петербургъ и ждутъ Муратова на слѣдующій день къ завтраку. Муратовъ смутился; въ немъ точно что-то оборвалось; онъ боялся думать о слѣдующемъ днѣ, о встрѣчѣ съ Юліей Николаевной, которую въ то же время ему страстно хотѣлось видѣть. Онъ не зналъ, что скажетъ она ему. До поздняго вечера въ его спальнѣ горѣла свѣчка, и онъ долго и усердно молился, стоя на колѣняхъ. Въ послѣднее время онъ нерѣдко прибѣгалъ къ помощи молитвы, чтобы успокоить свои душевныя тревоги. Послѣ молитвы ему обыкновенно становилось легче, его волненіе утихало, въ немъ воскресали надежды. И теперь онъ немного успокоился, хотя и не былъ веселъ. Ложась въ постель, онъ долго не гасилъ свѣчи и не могъ уснуть. Порой ему представлялось, что Юлія Николаевна подастъ ему надежду, порой онъ сомнѣвался въ этомъ и мысленно говорилъ себѣ, что тогда онъ кончитъ курсъ въ академіи, уѣдетъ въ Ташкентъ и отдастся весь службѣ, постарается забыться въ трудѣ. Онъ проснулся рано утромъ и уже въ часъ пополудни поднимался по знакомой лѣстницѣ въ домѣ Сухаревыхъ, гдѣ все попрежнему было роскошно, сіяло мраморомъ и позолотой, утопало въ зелени тропическихъ растеній.

— Есть кто-нибудь у господъ?—спросилъ онъ швейцара.

— Марья Николаевна съ супругомъ,—отвѣтилъ швейцаръ.

Это немного смутило Муратова. Ему было непріятно встрѣтиться съ Юліей Николаевной при ея сестрѣ и Аносовѣ.

Онъ поднялся по лѣстницѣ, вошелъ въ залъ, прошелъ въ синюю гостиную. Вся семья была здѣсь въ сборѣ за исключеніемъ самой Юліи Николаевны. Старуха Сухарева обрадовалась Муратову и даже поднялась съ мѣста навстрѣчу ему. Онъ поцѣловалъ ея руку, и она поцѣловала его въ лобъ.

— Похудѣлъ, похудѣлъ! — проговорила она, разглядывая его.

— Это вамъ идетъ,—замѣтила tante Catiche, здороваясь съ нимъ.

Марья Николаевна и ея мужъ обмѣнялись сухими поклонами съ Петромъ Павловичемъ. Онъ не сказалъ еще ни слова, у него словно сжималось горло. Въ эту минуту послышалось, какъ гдѣ-то отворилась дверь и Муратовъ, быстро обернувшись, увидѣлъ за двѣ комнаты шедшую по направленію къ синей гостиной Юлію Николаевну. Онъ впился въ нее глазами. Она какъ будто выросла немного; формы ея стана, груди и плечъ нѣсколько округлились и окончательно потеряли угловатость, всегда напоминающую о вчерашнемъ дѣтствѣ, о недавно снятомъ короткомъ платьицѣ; ея лицо потеряло полу-дѣтское выраженіе молоденькой дѣвушки, едва вышедшей изъ ребяческаго возраста, и было полно сосредоточенной серьезности и строгой, вполнѣ опредѣлившейся красоты; ея просто причесанные съ проборомъ по серединѣ волосы, ея совершенно гладкое шелковое платье, ея простые батистовые воротникъ и нарукавники, охватывавшіе плотно ея шею и руки,—все это какъ бы говорило, что она не нуждается ни въ какихъ украшеніяхъ, чтобы властвовать надъ сердцами людей. Муратовъ сразу и вполнѣ замѣтилъ все: и ея нарядъ, и выраженіе ея лица, и ея неторопливую и твердую походку.

— Здравствуйте, кузенъ,—мягко и задушевно произнесла она, протянувъ ему обѣ руки.

Онъ невольно нагнулся и поцѣловалъ ея руку. У него помутилось въ глазахъ. Онъ готовъ былъ сжать ее въ своихъ объятіяхъ.

— Maman, завтракъ уже поданъ,—обратилась Юлія Николаевна къ матери.—Кстати,—продолжала она, ровнымъ и спокойнымъ тономъ, обращаясь къ Николаю Аносову:—вы нѣсколько минутъ тому назадъ говорили мнѣ и maman о разныхъ счетахъ по опекѣ. Ваши счеты относительно опеки надо мною намъ нечего торопиться просматривать. Ихъ просмотритъ когда-нибудь мой мужъ...

— Вашъ мужъ?—спросилъ въ недоумѣніи Аносовъ.

Муратовъ весь похолодѣлъ. Ея мужъ! Какой мужъ? Развѣ она вышла замужъ?

— Да, вѣдь мы же потому и поторопились пріѣхать, что Пьеру хотѣлось поскорѣе сдѣлать нашу свадьбу,—пояснила тѣмъ же спокойнымъ тономъ Юлія Николаевна, указывая глазами на Муратова.

Аносовъ поднялся съ мѣста съ выраженіемъ ярости на лицѣ и сдѣлалъ шагъ впередъ, точно желая броситься на Муратова.

— А!.. Такъ вы... такъ вы хотите,—началъ и не кончилъ онъ, задыхаясь отъ волненія и не помня себя, какъ помѣшанный.

Муратовъ, и обрадованный, и взволнованный, съ глубокой благодарностью сжалъ руку Юліи Николаевны и, мелькомъ холодно взглянувъ на Аносова, проговорилъ насколько могъ спокойно:

— Повѣрьте, что эти счеты меня интересуютъ гораздо менѣе, чѣмъ васъ интересовала моя прошлая жизнь...

И трудно сказать, что болѣе обрадовало въ эту минуту Муратова: вѣсть ли о возможности назвать своею горячо любимую женщину, или это торжество надъ врагомъ, долго топтавшимъ его въ грязь. Все затмевающее, все подавляющее самолюбіе такихъ людей, какъ Муратовъ, не имѣетъ границъ и не умолкаетъ въ нихъ даже въ минуты самыхъ страстныхъ порывовъ, самыхъ свѣтлыхъ наслажденій, самыхъ чистыхъ радостей. Эти люди способны на замѣчательныя усилія, на геройскіе подвиги, на упорную борьбу, но рѣшаются на все это только для удовлетворенія своего самолюбія, для того, чтобы получить призъ—первую красавицу и богачиху въ жены, первый крестъ за безумную отвагу въ битвѣ, видное мѣсто за усердную службу. Ихъ девизъ: «со щитомъ или на щитѣ», а что выйдетъ изъ этого для общества, кому это окажетъ пользу въ обществѣ—это нисколько не интересуетъ ихъ ни въ эпоху ихъ безпечальнаго житья, ни въ эпоху ихъ отрезвленія и серьезной дѣятельности...

Тѣмъ не менѣе и Муратовъ, и всѣ окружающіе его были убѣждены, что, вступивъ на новый путь, начавъ новый періодъ своей жизни, отрекшись отъ безпутнаго прожиганья жизни, онъ сталъ другимъ человѣкомъ...

И МОЛОТОМЪ, И ЗОЛОТОМЪ.

РОМАНЪ.

I.

Дома, сады и улицы Чистополья были залиты полуденными лучами знойнаго, лѣтняго солнца. Почти на краю города, въ Старой Господской улицѣ, среди ряда заборовъ и полузаброшенныхъ строеній, особенно рѣзко выдѣлялся небольшой, заново отдѣланный въ русскомъ вкусѣ домикъ, изящный, какъ парижская игрушка. Это былъ домъ Даніилы Павловича Муратова. На его заставленномъ цвѣтами, украшенномъ маркизами изъ небѣленаго полотна съ красными кумачными фестонами, рѣзномъ балконѣ покоилась хозяйка дома, Олимпіада Пахомовна Муратова. Ея лоснящіеся волосы были зачесаны просто и гладко, тяжелая коса два раза обвивала ея голову, какъ немного сдвинутый назадъ вѣнецъ. Полубатистовое платье цвѣта небѣленаго полотна гладко охватывало ея фигуру вплоть до шеи, заканчиваясь гладкимъ бѣлымъ воротничкомъ. Широкіе съ разрѣзомъ рукава оставляли открытыми круглыя, здоровыя, ослѣпительно бѣлыя руки почти до локтей. Здоровое, бѣлое, упругое тѣло, полныя, румяныя щеки съ маленькими ямочками, невозмутимо спокойное выраженіе лица, напоминавшаго здоровыя лица русскихъ деревенскихъ красавицъ, все въ этой женщинѣ говорило, что она счастлива,—счастлива вполнѣ, то-есть здорова, богата, любима мужемъ. Она сидѣла въ покойномъ креслѣ передъ рабочимъ столикомъ у рѣзныхъ перилъ балкона, среди зелени и цвѣтовъ, защищенная отъ горячихъ лучей солнца полуспущенными маркизами, и неторопливо шила. Кончивъ шитье, она слегка улыбнулась и на минуту залюбовалась своею работою. Это былъ крошечный чепчикъ изъ тончайшаго полотна съ прошивками и кружевами. Повертывая его передъ собою на рукѣ и осматривая со всѣхъ сторонъ, она, казалось, заранѣе восхищалась крошечной, прелестной головкой того, для кого предназначался въ близ-

комъ будущемъ этотъ чепчикъ. Кончивъ осмотръ, она положила работу на столъ и встала, обративъ лицо по направленію къ дорогѣ за городъ. Солнце блеснуло ей прямо въ глаза, и она немного сощурила ихъ. Въ ту же минуту она услышала воркованіе и съ улыбкой взглянула черезъ перила внизъ. Подъ балкономъ на улицѣ расхаживали голуби, подбирая сѣмечки, выбрасываемыя имъ обыкновенно съ балкона послѣ чищенья клѣтки попугая.

— А, уже собрались!—проговорила она веселымъ и ласковымъ тономъ.—Погодите, погодите, сейчасъ накормлю васъ, голодные!

Она на минуту скрылась съ балкона и потомъ вернулась снова къ его периламъ съ бумажнымъ картузомъ, въ какіе насыпаются мука, крупа и тому подобные припасы.

— Ну, ѣшьте!—произнесла она, бросая на улицу горсть конопляного сѣмени.

Голуби на мгновеніе вспорхнули въ испугѣ, но даже не отлетѣли и на пять шаговъ и тотчасъ же зашумѣли еще сильнѣе подъ балкономъ, воюя другъ съ другомъ изъ-за корма. Видно было, что ихъ испугала только неожиданность и что они давно привыкли получать здѣсь подачки.

— Пошелъ, пошелъ ты, хохлунъ! Зачѣмъ обижаешь хромоножку? Кшъ!

Олимпіада Пахомовна махнула рукой на одного изъ самыхъ задорныхъ голубей, точно голуби вполнѣ понимали ея рѣчи.

— Ну, вотъ вамъ еще! На всѣхъ хватитъ. Чего деретесь? Ахъ, гадкіе, гадкіе, все хромоножку обижаютъ! Дурачокъ, уйди отъ нихъ вотъ сюда, сюда, смотри!..

Она бросила хромоногому голубю горсть сѣмянъ отдѣльно, но другіе голуби тотчасъ же обступили его и начался снова бой изъ-за корма. Олимпіада Пахомовна была, повидимому, готова сама сойти внизъ, чтобы только защитить хромоногаго голубя, и такъ увлеклась своимъ занятіемъ, что, кажется, забыла все на свѣтѣ. А солнце такъ и сверкало, такъ и играло и на муратовскомъ домѣ, и на сочной зелени балкона, и на самой Олимпіадѣ Пахомовнѣ, лаская и пригрѣвая ее, безмятежную, счастливую, сіяющую.

— Мамася, мамася, мы песку плинесли попкѣ!—раздался около нея дѣтскій лепетъ, и раскраснѣвшійся, пухленькій и курчавый, какъ амуръ, трехлѣтній мальчуганъ въ бѣлой рубашонкѣ бросился къ молодой женщинѣ.

— А няня гдѣ?—спросила мать, нагибаясь къ нему и цѣлуя его.

— Няня съ Шулой идетъ... Шула у нея на лукахъ... ходить совсѣмъ не умѣетъ,—болталъ мальчуганъ.—Я умѣю ходить, а онъ не умѣетъ. Совсѣмъ глупый! Мы песочекъ попкѣ собилали... далеко, далеко ходили къ зелѣзной дологѣ...

Мать опустилась на колѣни и, любуясь сыномъ, оправляла на немъ рубашонку и приглаживала его растрепавшіеся кудри.

— Ты поди и вели Дарьѣ вымыть тебѣ руки и перемѣнить рубашечку. Ты весь въ пескѣ,—говорила она.

Въ эту минуту на балконъ вошла чисто одѣтая, красивая и молодая женщина съ ребенкомъ на рукахъ. Второй мальчикъ былъ портретомъ перваго.

— Няня, скажи Дарьѣ, чтобы она вымыла руки Данѣ и переодѣла его,—сказала Олимпіада Пахомовна, не безъ труда поднимаясь съ пола.

Она наклонилась къ малюткѣ, сидѣвшему на рукахъ у няньки, и поцѣловала его.

— Усталъ?—спросила она сынишку.

— Усталъ,—прокартавилъ мальчуганъ и началъ что-то быстро и бойко разсказывать на своемъ дѣтскомъ, еще совсѣмъ неразборчивомъ языкѣ.

— Говорунъ у насъ такой Шуринька, что страсть!—улыбаясь, сказала нянька.

— Ты, няня, вели и на столъ накрывать. Ужъ пора обѣдать,—замѣтила Олимпіада Пахомовна.

— Баринъ съ рабочими возится въ конторѣ Пахома Семеновича,—отвѣтила нянька.—Сердиться изволятъ. Народъ такой несуразный. Опять на пищу пришли жаловаться Пахому Семеновичу, а гдѣ же наготовишься на этакую ораву. Поди, ихъ тамъ тысячи на чугункѣ у Пахома Семеновича работаютъ.

— Ахъ, скорѣй бы эти работы кончались!—со вздохомъ сказала Олимпіада Пахомовна.—Только возмущаютъ Даню... Такъ ты, няня, распорядись насчетъ обѣда.

Нянька вышла съ дѣтьми. Олимпіада Пахомовна встала опять у перилъ балкона и задумчиво устремила глаза вдаль, гдѣ тянулось полотно желѣзной дороги. Прошло минутъ съ пять. Жадные голуби уже съѣли весь кормъ и снова шумѣли внизу, словно выпрашивая еще подачки. Болѣе смѣлые изъ нихъ пробовали даже взлетѣть на перила балкона, ни-

сколько не обращая вниманія на попугая, отрывисто кричавшаго имъ:

— Пшли вонъ! Кшъ!

Но молодая женщина уже не обращала вниманія ни на нихъ, ни на крики попугая, погрузившись въ тревожныя думы о томъ, когда тамъ, на этой змѣившейся въ отдаленіи насыпи будутъ кончены *всѣ* работы. Она иногда просто начинала ненавидѣть эту страшную змѣю, называемую полотномъ желѣзной дороги, потому что только эта, кормившая ихъ и упрочившая ихъ благосостояніе, змѣя и отрывала отъ дома ея мужа, только она и вносила непріятности и тревоги въ ихъ безмятежную семейную жизнь.

Муратову вывели изъ раздумья грубые голоса громко разговаривавшихъ на улицѣ людей. Она взглянула внизъ: изъ воротъ дома выходили кучками и поодиночкѣ рабочіе, молодые и старики, съ большими бородами и съ давно небритыми подбородками, въ грязныхъ пестрыхъ рубахахъ, въ рваныхъ шерстяныхъ фуфайкахъ, въ ветхихъ кафтанахъ, въ дырявыхъ сюртукахъ и куртках отставныхъ солдатъ, въ грязныхъ сапогахъ, въ стоптанныхъ башмакахъ и въ непригляднихъ опоркахъ. Нѣкоторые были чуть не голіе, многіе были босы. Ихъ вышло изъ воротъ уже много, а между тѣмъ ихъ вереницѣ все еще не было конца, и изъ калитки появлялись все новыя и новыя фигуры, хмуро почесывавшія въ затылкахъ или озабоченно догонявшія товарищей. Всѣ эти люди шли по направленію къ полотну желѣзной дороги, какъ какое-то образцовое полчище самой разнохарактерной голи. Разнообразіе ихъ фигуръ, одѣяній, возрастовъ и типовъ было полное. Казалось, сюда сошлась горемычная бѣднота со всѣхъ концовъ пространной Россіи, чтобы добыть кусокъ хлѣба. Нѣкоторые изъ нихъ смотрѣли пришибленными, замореными и понурыми; у другихъ физіономіи были угрюмы, грубы и свирѣпы; лица третьихъ напоминали о близкомъ знакомствѣ съ портерными лавками, съ трактирами, съ кабаками. Весь этотъ людъ тащилъ свои собственные незатѣйливые инструменты, заступы, топоры, долотья, можетъ-быть, изъ боязни оставить эту собственность въ своихъ конурахъ, лачугахъ, землянкахъ. Одинъ молодой парень съ лихой физіономіей несъ даже, вмѣсто всякаго орудія труда, гармонику и беззаботно насвистывалъ какой-то плясовой городской мотивъ. Всѣ эти группы рабочаго люда наперебой говорили между собою какими-то отрывочными, недосказанными, но тѣмъ не менѣе понятными

для нихъ фразами, волнуясь, споря, перебраниваясь. Проходя мимо балкона муратовскаго дома, они не замѣчали Олимпіады Пахомовны, и только двое, трое изъ нихъ сняли передъ нею шапки.

— Семенъ, Семенъ, баринъ кончилъ расчеты?—окликнула она одного изъ нихъ.

Это былъ изможденный, исхудалый старикъ, почтительно и подобострастно поклонившійся ей, какъ кланяются господамъ старые слуги. Онъ вышелъ изъ воротъ почти послѣднимъ.

— Сейчасъ кончитъ,—отвѣтилъ старикъ, приблизившись къ балкону, и совсѣмъ пониженнымъ голосомъ прибавилъ:— Съ Тимоѳеемъ Шестипаловымъ споръ опять вышелъ у Пахома Семеновича... все насчетъ ѣды... Извѣстно, такой ужъ баламутъ—человѣкъ...

— Удивляюсь я, какъ его держатъ, разсчитали бы и конецъ,—сказала Олимпіада Пахомовна.

— Чего, матушка разсчитывать-то!.. Все, почитай, забралъ по самый конецъ... Люди вторые задатки только получили, а онъ все забралъ...

Старикъ тревожно и боязливо обернулся назадъ и потомъ еще болѣе тихо прибавилъ:

— Кажись, только для того этотъ самый Тимоѳейка промежду народомъ и трется, чтобы баламутить... Того и гляди, на линіи опять бунтовать станутъ... и такъ три дня не работали... взбунтоваться не долго, а извѣстно, чѣмъ кончится... Тоже по головкѣ не погладятъ... И вотъ вѣдь нищъ человѣкъ, дома семья голодаетъ, тутъ бы тише воды, ниже травы быть, такъ нѣтъ, лѣзетъ самъ въ петлю... Свобода все, воля...

Старикъ вздохнулъ, махнувъ рукою, и, низко поклонившись Олимпіадѣ Пахомовнѣ, осторожной походкой комнатнаго лакея пошелъ дальше, качая головой и ворча что-то себѣ подъ носъ. Двое молодыхъ рабочихъ, проходя въ это время мимо Семена, сурово поглядѣли на него исподлобья, какъ смотрятъ на своего врага.

Въ это время къ дому подъѣхала старомодная барская коляска рыжаго цвѣта, запряженная тройкой сытыхъ, деревенскихъ лошадей. Въ коляскѣ, среди разныхъ корзинъ, узелковъ, завернутыхъ въ бумагу вещей, сидѣла довольно пожилая, но здоровая и плотная дама. На ней было шестрое шерстяное платье, полосатая бархатная мантилья, старомодная шляпка съ яркими клѣтчатыми лентами. Это была Матрена Кузьминична Баскакова, когда-то крѣпостная

дѣвка, а теперь жена дяди Муратова, Александра Николаевича Баскакова. Коляска пріостановилась подъ самымъ балкономъ.

— Липа, Липа, ты тутъ?—крикнула Матрена Кузьминична громкимъ голосомъ.

— Здѣсь, тетушка,—отозвалась Олимпіада Пахомовна.

— Я ужъ не зайду къ вамъ. Тороплюсь въ Ольховатое. Мои цыплята и такъ, я думаю, что-нибудь набѣдокурили безъ меня. Скажи Данилѣ-то Павловичу, не забудь, чтобы завернулъ завтра ко мнѣ безпремѣнно. Смаялась я у васъ въ городѣ. Со всѣми купцами-мошенниками переругалась. Ни къ чему приступу нѣтъ. Денегъ страсть что обобрали.

— Да вы, тетушка, отдохнули бы съ часокъ. Мы сейчасъ обѣдать будемъ...

— Нѣтъ, нѣтъ!—махая рукой, отказалась Баскакова.— Я ужъ поѣла. Зашла къ Сидорову въ магазинъ, часъ битый пришлось торговаться, ну, тамъ и позакусила. Къ Крестоносцеву завернула тоже, къ отцу Петру тоже. Матушка-попадья выдаетъ дочку замужъ. Такъ себѣ женихъ-то, не видный, попъ города захудалаго, прихода голодалаго,—позавидовать нечему. Конечно, лишній ротъ имъ какъ-никакъ, а сбыть съ рукъ надо... Ну, прощай, голубка, мужу-то не забудь напомнить обо мнѣ. Поѣдетъ въ Питеръ послѣзавтра, такъ и деньги отъ меня нашему безпутному-то, Александру-то Николаевичу, свезетъ, и наставленье мое передастъ. Пусть отпоетъ, пусть отпоетъ дяденькѣ-то своему отъ моего имени, что семью-то не слѣдъ бросать да въ разоръ разорять. Охъ, ужъ жаль, что мнѣ-то не рука самой туда ѣхать, а то я привела бы домой нашего бычка да на веревочкѣ... Ты-то безъ мужа соберись ко мнѣ, у насъ воздухъ вольнѣе... Ну, Христосъ съ тобой!.. Трогай, Иванъ, трогай!

Все это говорилось скоро, безъ передышки, тѣмъ тономъ, какимъ говорятъ простыя мѣщанки, торговки. При послѣднихъ словахъ Баскаковой, коляска снова загромыхала и покатилась по пыльной дорогѣ за городъ. Олимпіада Пахомовна смотрѣла ей вслѣдъ. Въ ея головѣ бродили мысли о томъ, что бы стала дѣлать она, если бы ее такъ же бросилъ ея Данила Павловичъ, какъ бросилъ жену и дѣтей Александръ Николаевичъ Баскаковъ. Она бы не пережила этого, она отыскала бы мужа на днѣ морскомъ, а вотъ Матрена Кузьминична не то, — она преспокойно живетъ съ дѣтьми въ своемъ имѣніи «Ольховатомъ», хозяйничаетъ и

посылаетъ въ Петербургъ деньги мужу, уже три года занимающемуся тамъ какими-то домостроительными аферами. Или съ годами остываетъ всякая любовь, всякая страсть? Нѣтъ, у нея, у Олимпіады Пахомовны, никогда не остынетъ ея страстная любовь къ мужу!

Эти думы были прерваны звономъ ножей и вилокъ. Въ столовой уже накрывали на столъ. Олимпіада Пахомовна вошла туда и осмотрѣла, хорошо ли накрыто на столъ.

— Ты не знаешь, Дарья, всю ли землянику обобрали вчера?—спросила она, поправляя приборъ мужа.

— Не знаю-съ, Олимпіада Пахомовна,—отвѣтила краснощекая дѣвушка, накрывавшая на столъ.—Должно-быть, что всю обобрали... Кухарка говорила, что надо будетъ сегодня чистить. Завтра, говоритъ, съ утра варенье заваримъ...

— Я чистить немного помогу,—замѣтила Муратова.—Варить-то только мнѣ нельзя... а ужъ такъ я люблю варенье варить...

— Гдѣ ужъ вамъ, барыня, въ такомъ положеніи,—сказала Дарья, бросивъ взглядъ на довольно пополнѣвшую талью Олимпіады Пахомовны.

Въ сосѣдней комнатѣ послышались твердые и скорые шаги.

— Баринъ!—шопотомъ сказала Дарья, точно испугавшись.

— Ну, скорѣй обѣдать!—такъ же тихо отвѣтила Олимпіада Пахомовна.

Дверь отворилась, и въ комнату вошелъ Данила Павловичъ Муратовъ. Коренастый, приземистый, загорѣлый, онъ, казалось, былъ вылитъ изъ бронзы. Его движенія, сохранившія нѣкоторые слѣды выправки армейскаго пѣхотинца, были порывисты и угловаты, его парусинный костюмъ былъ небреженъ и смятъ, а вьющіеся черные волосы унадали въ безпорядкѣ на узкій лобъ. Что-то нервное, страстное, нетерпѣливое было въ каждомъ его взглядѣ, въ каждомъ жестѣ. Но складкѣ его сжатаго рта съ стиснутыми зубами, по выраженію его проницательныхъ глазъ, по его сдвинутымъ бровямъ можно было сразу угадать, что это настойчивая, безпощадная и закаленная натура.

— Усталъ?—спросила его Олимпіада Пахомовна, и ея глаза точно покрылись масломъ: въ нихъ выражалась любовь, близкая къ обожанію.

— Ничего! Тамъ устану, здѣсь отдохну!—бодро отвѣтилъ Муратовъ и обнялъ прижавшуюся къ нему всѣмъ тѣломъ жену.

Послѣ пятилѣтняго супружества они еще нѣжничали, какъ въ медовый мѣсяцъ.

— Ну, а теперь обѣдать и потомъ на боковую!—проговорилъ мужъ, садясь за столъ.

Жена сѣла напротивъ него.

— Да, ты совсѣмъ мало спишь. Сегодня опять въ пять часовъ поднялся,—сказала она со вздохомъ.

— Время горячее у Пахома Семеновича,—отвѣтилъ онъ, выпивъ рюмку водки и принимаясь за супъ.—Приходится помогать ему. Не быть на работѣ—потерять нѣсколько рабочихъ часовъ. Народъ—подлецъ: не присмотришь за нимъ самъ—ничего не сдѣлаетъ, а за день все равно деньги возьметъ. Тутъ нуженъ глазъ да глазъ, если хочешь что-нибудь нажить. Лишній часъ проработаетъ вся ватага—глядишь, сотня рублей сбережена, а изъ этихъ-то сотенъ все и составляется. Не слѣдить бы за всѣмъ самимъ, ничего бы и не было.

— Да трудъ-то ничего самъ по себѣ, если бы непріятностей не было, а то...—со вздохомъ сказала Олимпіада Пахомовна и спросила:—У отца опять тамъ что-то вышло, тебѣ пришлось разбирать...

— Пустяки! — отвѣтилъ Данила Павловичъ. — Сволочь народъ!

Онъ говорилъ быстро, отрывисто и громко.

— Тебѣ съ кровью дать бифштексъ?—спросила она.

— Да, съ кровью,—отвѣтилъ мужъ.—Сперва, видишь, поднялся на линіи шумъ изъ-за прогульныхъ дней и изъ-за лишнихъ часовъ работы. Имъ деньги-то хоть даромъ давай, такъ они не разсердятся, ну, а Пахомъ Семеновичъ не разсердится, если они часикъ-другой лишній проработаютъ. Каждому изъ нихъ часъ-то ничего не значитъ, а для насъ это составляетъ въ лѣто десятки тысячъ часовъ, цѣлое состояніе. Потомъ Тимоѳей Шестипалый заявилъ опять претензію на плохую пищу. Его такъ баламутомъ и зовутъ, подлеца. У него все неудовольствія, и то дурно, и другое плохо...

— Какое яйцо, въ-крутую или всмятку положить тебѣ къ бобамъ?—спросила жена.

— А ты и то, и другое положи, я сегодня проголодался,—отвѣтилъ Данила Павловичъ.

— Да ты завтракалъ гдѣ-нибудь?

— Да, немного перекусилъ съ Семеновымъ въ трактирѣ.

— Это съ новымъ инженеромъ?

— Да... Ну, я и заявилъ Тимоѳею Шестипалову отъ имени Пахома Семеновича, что если его милости не угодно

будетъ угомониться, такъ чтобы онъ убирался по добру, по здорову. Насильно мы никого не держимъ, а удовлетворять требованія каждаго мы не можемъ: одинъ телятины захочетъ, а другой черкасской говядины потребуетъ,—ну, такъ вѣдь у насъ работа, а не званый обѣдъ на полотнѣ-то желѣзной дороги.

— А они опять, пожалуй, бунтовать станутъ,—замѣтила жена.

Данила Павловичъ шумно разсмѣлся.

— Да, да, сперва сѣкуція будетъ, а тамъ, пожалуй, опять ревизія медицинская изъ Петербурга нагрянетъ для освидѣтельствованія пищи,—проговорилъ онъ безпечно.—Помнишь, какъ докторъ Фризенъ сказалъ у Пахома Семеновича на обѣдѣ: «И кто это выдумалъ, что вы дурно кормите? Вы на убой кормите!» А молодецъ онъ пить, даромъ что нѣмецъ!

Онъ захохоталъ отъ души, вспоминая, какъ напился у его тестя на обѣдѣ докторъ Фризенъ.

— Ну, тоже не дешево обошлось это угощеніе,—замѣтила жена.

— Да какъ тебѣ сказать, не дешево и не дорого!—замѣтилъ мужъ.—Если бы угощать такими обѣдами ежедневно всѣхъ Тимофеевъ Шестипаловыхъ, то обошлось бы дороже. Тутъ первое правило, Липа, такое: съ міру по ниткѣ—голому рубашка, и если отъ этой рубашки приходится уступить какому-нибудь Фризену одинъ или два рукава, то особенно тужить нечего; пусть только оставятъ эти Фризены въ моихъ рукахъ міръ, тѣхъ, съ кого можно получать и въ будущемъ по ниткѣ, а ужъ сшить себѣ вторую рубашку—мое дѣло...

Данила Павловичъ кончилъ послѣднее блюдо и, отодвинувъ отъ себя приборъ, сказалъ:

— Довольно!

Онъ допилъ широкими глотками изъ стакана остатки лафита и, поднявшись изъ-за стола, обнялъ жену.

— А теперь надѣюсь, что вы, моя королева, проводите своего короля въ опочивальню?—шутливо сказалъ онъ, цѣлуя ее и просовывая лѣвую руку подъ ея широкій рукавъ повыше локтя.

— Да, я тебя уложу и укрою,—проговорила она, томно склонясь головой къ его плечу.

— Липа, когда же мы перестанемъ любить другъ друга?—спросилъ онъ ее, глядя на нее заблестѣвшими глазами.

— Никогда, никогда, никогда! — проговорила она. — Да развѣ это можно! Если бы ты не работалъ, если бы ты могъ не работать, мы были бы такъ вмѣстѣ, какъ теперь, вѣчно, вѣчно!

— Ну, тебѣ-то это хорошо говорить, а я...

Онъ наклонился къ ней и сказалъ ей что-то на ухо. Она зажала ему ротъ и засмѣялась.

— Глупый!—пробормотала она, вспыхнувъ.

Они вошли въ спальню. Олимпіада Пахомовна спустила шторы, отвернула легкое одѣяло и простыню, спустила кисейный пологъ надъ постелью. Данила Павловичъ сбросилъ съ себя верхнюю одежду, снялъ сапоги, затянулся послѣдній разъ папиросой и легъ.

— Ну, спи теперь,—проговорила она, наклоняясь къ нему и цѣлуя его въ лицо и въ раскрытую волосатую грудь.

— Славная ты у меня бабенка!—сказалъ онъ, потрепавъ ее по пухленькой щекѣ рукою.

— Ну, спи, спи! Черезъ два часа я разбужу тебя,—проговорила она, поцѣловавъ на лету его руку въ ладонь и, вся сіяющая, вся розовая, неслышной поступью по мягкому ковру вышла изъ спальни.

«Да, славная она у меня бабенка,—уже мысленно повторилъ Муратовъ, лежа на спинѣ и закинувъ руки подъ голову.—Всѣхъ женщинъ мнѣ замѣнила, къ себѣ никого кромѣ меня не подпуститъ, да ужъ и любить умѣетъ!»

По его скуластому лицу скользнула самодовольная, сладострастная улыбка, и она еще не успѣла исчезнуть съ его лица, какъ въ комнатѣ послышалось сильное, здоровое и ровное дыханіе съ легкимъ всхрапываніемъ. Данила Павловичъ спалъ крѣпкимъ и сладкимъ сномъ здороваго, наработавшагося до усталости и плотно поѣвшаго человѣка.

Когда черезъ два часа Олимпіада Пахомовна, накормивъ дѣтей, возвратилась къ мужу, она нашла его спящимъ въ томъ же положеніи, въ какомъ онъ уснулъ. Ей было жаль будить его, и она простояла около него нѣсколько минутъ, любуясь его мускулистой, мужественной фигурой, его широкой грудью съ пучкомъ вьющихся черныхъ волосъ на серединѣ.

Наконецъ, она дотронулась до него и нагнулась, чтобы поцѣловать его.

— А, что? Ты еще здѣсь?—спросилъ онъ, очнувшись отъ сна.

— Пора вставать, Даня,—сказала она.

— Неужели? Вотъ-то сладко выспался!

Онъ потянулся, расправилъ затекшія руки, притянулъ къ себѣ жену, опять поцѣловалъ ее и проговорилъ:

— Ну, однако, валяться нечего! Пойдемъ пить чай!

Онъ быстро одѣлся, и они вышли на балконъ, гдѣ ихъ уже ожидалъ самоваръ. Мужъ усѣлся около перилъ, жена, стоя, разливала чай.

— А я тебѣ и забыла сказать,—начала Олимпіада Пахомовна.—Тетушка Матрена Кузьминична очень просила тебя не забыть заѣхать завтра къ ней. Она все-таки, кажется, рѣшилась послать деньги дядѣ Александру Николаевичу...

— Дура! Надо ее отговорить,—проговорилъ Муратовъ.— Ему сколько ни посылай, все просадитъ. Вотъ ужъ связалъ Богъ парочку: ей бы огородницей, либо скотницей быть, а ему... чортъ знаетъ, чѣмъ бы ему слѣдовало быть... развѣ сказки «не любо не слушай, а лгать не мѣшай» сочинять. До старости дожилъ, а ума не нажилъ. Тоже поѣхалъ въ Петербургъ на мѣсяцъ, а вотъ ужъ три года хороводится тамъ съ постройкой какихъ-то домовъ. Въ Парижъ ѣздилъ какія-то нововведенія изучать. У него всегда бывало такъ. Вдругъ вообразитъ, что онъ призванъ табакъ разводить,— трахъ, глядишь, у него уже цѣлыя плантаціи табаку. Пріѣдетъ въ это время къ нему кто-нибудь и скажетъ, что самое современное дѣло—это заведеніе театра въ Чухломѣ для распространенія цивилизаціи,—и дядюшка уже летитъ въ Чухлому театръ строить. Пока крестьяне были — безобразничать было легко. А вотъ теперь обуяла его горячка домостроительства, и строитъ онъ дома въ Питерѣ безъ толку, безъ знанія дѣла, а глядишь, еще черезъ годъ, черезъ два и семью по-міру пуститъ.

— Что ты, Даня!—воскликнула Олимпіада Пахомовна.— Ты говорилъ это Матренѣ Кузьминичнѣ?

— Говорилъ! Да что же она подѣлаетъ? Имѣнье его, деньги его. Конечно, она баба себѣ на умѣ, кое-что припрячетъ, а все же многаго не спасетъ.

— Ты бы при свиданіи съ нимъ въ Петербургѣ поговорилъ съ нимъ... урезонилъ бы его...

— Говорилъ я ему и еще буду говорить. Да развѣ онъ что понимаетъ, когда у него великія мысли въ головѣ.

Олимпіада Пахомовна грустно задумалась. Она была очень близка съ Матреной Кузьминичной. Обѣихъ женщинъ, несмотря на сильную разницу лѣтъ, связывали почти

— Ну, ужъ нѣтъ! Хоть бы всѣмъ поколѣтъ пришлось на линіи, а кончена она осенью будетъ!—рѣшительнымъ тономъ отвѣтилъ Данила Павловичъ, сдвинувъ брови.—Это нужно по условію, этого требуютъ мои интересы, да, наконецъ, и довольно по грошамъ собирать капиталъ! Побился я надъ этимъ дѣломъ, пора и за другое взяться...

Онъ прошелся по балкону, о чемъ-то задумавшись, и потомъ поднялъ голову и весело проговорилъ:

— Да, какъ оглянешься назадъ,—видишь, что много прошелъ. Недаромъ и натеръ мозоли, какъ мужикъ, и загорѣлъ, какъ негръ. Никто не попрекнетъ, что, лежа на боку, сколотилъ копейку. Нѣтъ, все потомъ да кровью досталось. Тамъ нужно было поработать, тутъ мозгами пошевелить, въ третьемъ мѣстѣ извернуться, да выкрутиться,—всего было, всего! И молотомъ, и золотомъ своего добивался. Да, почти ни съ чего началъ! Изъ наслѣдственнаго вѣдь едва три тысчонки осталось, да съ твоего отца сорвалъ десять тысячъ за то, что тогда устроилъ ему покупку дяднаго лѣса, а ничего—выбился. И трудно же было. Отецъ твой тоже за эти десять тысячъ посамодурствовалъ надо мною. «Ты, говоритъ, Липу въ одной рубашкѣ хотѣлъ взять, баринъ, ну, и бери ее, какъ она есть». Ну, и взялъ тебя, королева, съ бою, безъ придачи. А потомъ говоритъ: «Я тебя, зятекъ, въ черномъ тѣлѣ продержу, ты норовистый у меня». И продержалъ...

Данила Павловичъ видимо наслаждался этими воспоминаніями. Онъ возвращался къ нимъ часто, какъ заслуженный воинъ возвращается къ воспоминаніямъ о выигранныхъ имъ сраженіяхъ. Онъ припоминалъ всѣ мелочныя непріятности и преграды прошлаго. При этихъ воспоминаніяхъ онъ росъ въ своихъ собственныхъ глазахъ. Онъ въ этихъ случаяхъ еще тверже вѣрилъ въ свой геній. По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, передъ нимъ въ яркихъ краскахъ воскресало его недавнее прошлое. Онъ вспомнилъ, какъ онъ женился на дочери подрядчика Пахома Семеновича Гущина, какъ онъ нажился при помощи тестя. Пахомъ Семеновичъ Гущинъ былъ когда-то крѣпостнымъ человѣкомъ Платона Николаевича Баскакова, родного дяди братьевъ Муратовыхъ. Гущинъ былъ уже ворочавшимъ десятками тысячъ подрядчикомъ, когда съ нимъ встрѣтился Данила Павловичъ Муратовъ, пріѣхавшій дѣлить оставшееся послѣ матери имущество. Сначала Данила Павловичъ уладилъ для Гущина продажу своего родного, «стараго гнѣзда», потомъ

онъ сорвалъ съ Гущина десятокъ тысячъ за то, что далъ старику возможность купить за безцѣнокъ у Аркадія Павловича Муратова, старшаго брата самого Данилы Павловича, родовой баскаковскій лѣсъ, далѣе онъ посватался за дочь Гущина. Гущинъ какъ-то мелькомъ замѣтилъ Данилѣ Павловичу: «ну, братъ, меня моченникомъ звали, а ты почище будешь», и былъ не прочь назвать зятемъ молодого человѣка, понимая, что этотъ человѣкъ, хотя онъ и баринъ, хоть онъ и отставной армейскій офицеръ, слывшій въ юности чуть ли не «забулдыгой», сумѣлъ нажить деньгу. Но Гущинъ былъ не изъ числа людей, охотно разстающихся съ нажитыми капиталами, и потому онъ, услыхавъ отъ Данилы Павловича, что тотъ готовъ взять его дочь хоть въ одной рубашкѣ, сказалъ жениху: «ну, такъ и бери ее, какъ она есть, или жди, когда у самого будутъ сотни тысячъ, а для тебя мнѣ не рука вынимать деньги изъ дѣла». Данила Павловичъ обрадовался: во-первыхъ, онъ зналъ, что гущинскіе капиталы все равно перейдутъ когда-нибудь по наслѣдству къ дочери Гущина, а во-вторыхъ, онъ былъ безъ ума влюбленъ въ дочь Гущина и откладывать женитьбу въ дальній ящикъ не могъ. «Мнѣ нужна баба,—говорилъ онъ:—безъ бабы мнѣ и недѣли не прожить», а тутъ подвертывалась такая «баба», что у него при видѣ ея въ глазахъ мутилось. Здоровая, крѣпкая, плотная, Липочка была чисто русской красавицей, не заморенной науками, не думавшей о какихъ-нибудь матеріяхъ важныхъ, выкормленной хорошо и словно умышленно приготовленной къ тому, чтобы быть настоящею женою, матерью и хозяйкой. Данилѣ Павловичу удалось раза два побыть съ Липочкой наединѣ, и послѣ этого онъ уже говорилъ мысленно, что если бы Гущинъ даже лишилъ свою дочь наслѣдства, то и тогда онъ, Данила Павловичъ, былъ бы не въ силахъ отказаться отъ нея, такою силою, здоровьемъ и сладострастіемъ вѣяло отъ этой дѣвушки, выкормленной къ замужеству на хорошихъ кормахъ и въ безмятежномъ покоѣ. Съ первыхъ же дней свадьбы онъ увидалъ, что Липа замѣнила ему всѣхъ женщинъ, заставила его забыть всѣ любовныя похожденія, хорошо знакомыя ему, отставному армейскому офицеру, не мало поколесившему по провинціальнымъ городишкамъ. Онъ не видалъ, чтобы его жена когда-нибудь хмурилась; онъ не помнилъ минуты, когда она не отвѣтила бы на его ласки; онъ не могъ представить себѣ, какой его прихоти не исполнила бы она. Она была крайне строга и

сдержана съ посторонними мужчинами; она не допускала съ ихъ стороны ни малѣйшей легкой шутки; она старалась одѣваться скромно, выѣзжая въ гости или принимая гостей, и чуть не плакала, когда ей пришлось идти къ вѣнцу въ открытомъ лифѣ, съ голыми плечами и руками; но съ мужемъ, какъ бы онъ ни былъ циниченъ, какихъ бы скабрезныхъ исторій ни разсказывалъ онъ, какъ бы онъ ни былъ подкутивши, она была сладострастна, необуздана и бойка, какъ вакханка, и только опьяняла его своею страстностью. Малѣйшую свободу въ отношеніяхъ къ ней постороннихъ людей она считала стремленіемъ къ разврату; самая крайняя разнузданность въ супружескихъ отношеніяхъ казалась ей только самымъ сильнымъ выраженіемъ любви, и ей все казалось, что эта любовь выражается еще недостаточно сильно. Вотъ почему послѣ нѣсколькихъ недѣль супружеской жизни Данила Павловичъ только разсмѣялся, когда тесть сказалъ ему, что онъ будетъ держать его, Муратова, въ черномъ тѣлѣ: Данилѣ Павловичу было легко перенести всякіе труды, всякія непріятности, такъ какъ онъ постоянно зналъ, что дома его ждутъ всѣ радости и наслажденія, какими можетъ пользоваться и степенный мужъ, и завзятый развратникъ, и страстный любовникъ. Олимпіада Пахомовна, какъ часто повторялъ онъ, «замѣнила ему всѣхъ женщинъ». Въ то же время она была хорошей хозяйкой, хорошей матерью: она была вся поглощена въ отсутствіи мужа заботами о порядкѣ, о сытномъ обѣдѣ, о хорошихъ булкахъ, о чистотѣ и здоровьи дѣтей. Когда Данилы Павловича не было дома, Олимпіада Пахомовна неустанно работала: она двадцать разъ заглядывала въ кухню, чтобы услѣдить за стряпней и чѣмъ-нибудь распорядиться; она осматривала каждый уголокъ, чтобы въ немъ не было пыли; она перебирала бѣлье, шила дѣтскія рубашечки и панталончики; она сама мыла дѣтей. Иногда Данила Павловичъ любилъ приходить въ дѣтскую, когда его Липа мыла ребенка. Засучивъ до плечъ рукава, она стояла около ванны и пробовала приносимую нянькой воду. Когда вода казалась ей достаточно теплою, она раздѣвала ребенка и, полюбовавшись имъ, расцѣловавъ нѣсколько разъ все его голенькое тѣльце, показавъ отцу его пухленькіе члены, отвѣчая смѣхомъ на двусмысленныя и сальныя замѣчанія мужа, сажала мальчика въ воду, гдѣ уже плавалъ какой-нибудь корабликъ или купалась гуттаперчевая кукла, чтобы ребенокъ занялся игрушкою и не плакалъ. Потомъ она сама начинала обмы-

вать ребенка, играя съ нимъ и не давая ему ни на минуту нахмурить личико. Въ эти минуты она совершенно забывалась и вся поглощалась своимъ дѣломъ. Она мыла ребенка, какъ моютъ бѣлье, усердно, со всѣхъ сторонъ, до-бѣла. Когда купанье ребенка кончалось, когда онъ уже былъ одѣтъ въ чистое бѣлье, она обтирала доверху свои бѣлыя и здоровыя руки чистымъ полотенцемъ, и Данила Павловичъ съ умиленіемъ цѣловалъ эти руки и съ глубокимъ чувствомъ говорилъ ей: «Ты всѣмъ намъ мама!» Только это сытое, животное счастье въ своей семьѣ дало силы ему не озлобиться, не сдѣлаться сварливымъ среди заботъ и работъ внѣ дома. Въ самыя тяжелыя минуты онъ былъ бодръ и веселъ и даже находилъ въ себѣ силы къ шуткамъ и балагурству. Тяжелыхъ же минутъ было не мало. Гущинъ сдержалъ слово и проморилъ зятя довольно долго въ черномъ тѣлѣ. Сначала Данила Павловичъ былъ чѣмъ-то въ родѣ приказчика Гущина на строящейся линіи желѣзной дороги, гдѣ Гущинъ былъ однимъ изъ крупныхъ подрядчиковъ. Рано приходилось вставать, поздно приходилось ложиться Данилѣ Павловичу. Не мало грубостей выслушалъ онъ отъ суроваго и безпощаднаго старика-тестя. Не разъ сталкивался онъ съ сотнями рабочихъ такъ рѣзко, что на него подавали жалобы за дурную пищу, при чемъ дѣло тушили только взятки. Какъ-то разъ его сговорились даже убить за его бѣшеныя выходки съ рабочими, при чемъ его спасла только его неустрашимая находчивость. Онъ богатѣлъ въ это время очень быстро, собирая съ міру по ниткѣ и добиваясь до своей цѣли, то-есть до богатства, и молотомъ, и золотомъ. Иногда онъ долженъ былъ работать до поту въ лицѣ, чтобы добыть лишній грошъ; порой онъ долженъ былъ давать взятки, чтобы скрыть въ дѣлѣ прорѣхи, выгодныя для Гущина и для него; подчасъ онъ сколачивалъ грошъ по грошу, покупая подешевле ѣду для рабочихъ, не додавая рабочимъ гривенниковъ и полтинниковъ, накидывая на нихъ лишніе часы на работы и составляя изъ этихъ часовъ цѣлые рабочіе дни въ свою пользу. Бывали времена, когда самъ Гущинъ шутливо замѣчалъ ему: «ужъ не очень ли ты натягиваешь вожжи, какъ бы не лопнули». Случалось, что самъ Гущинъ робѣлъ, когда Данилѣ Павловичу приходилось выходить изъ себя отъ гнѣва, и шепталъ: «ишь ты, бѣшеный, въ родню уродился». Уже послѣ двухлѣтней службы у Гущина Данила Павловичъ заслужилъ полное довѣріе и уваженіе тестя. Старикъ понялъ и оцѣ-

нилъ зятя вполнѣ. «Я опытнѣе тебя, а ты хитрѣе меня.— говорилъ старикъ. — Шустрости ужъ у меня этой нѣтъ». Данила Павловичъ уже пересталъ быть приказчикомъ и сдѣлался въ сущности компаньономъ старика, хотя онъ и предпочиталъ продолжать скрываться за его спиной; старикъ не предпринималъ ничего безъ совѣта зятя, и все рабочее, торговое и чиновное населеніе Чистополья привыкло видѣть неразлучными эти двѣ фигуры: коренастаго старика съ сѣдыми волосами и бородой въ долгополомъ сюртукѣ, въ высокихъ сапогахъ, въ шляпѣ съ широкими полями, напоминавшей не то цилиндръ, не то поповскую шляпу, съ такою же коренастою фигурою молодого человѣка съ черными вьющимися волосами, съ загорѣлымъ лицомъ, въ смятой фуражкѣ, въ длинномъ и широкомъ пальто стариннаго фасона съ какими-то крыльями вмѣсто рукавовъ. Эти двѣ фигуры представляли строгій контрастъ по внѣшности: старикъ ходилъ плавно, ровно, степенно, опираясь на толстую палку; молодой человѣкъ двигался, размахивая руками, дѣлая угловатыя движенія, волнуясь, горячась и постоянно махая въ воздухѣ тонкою тросточкой; но неизвѣстно, что было крѣпче и страшнѣе, толстая ли деревянная дубинка старика, или тонкая тросточка молодого человѣка съ пропущеннымъ въ ея сердцевину желѣзнымъ прутомъ и съ тяжелой желѣзной головкой на концѣ. Старикъ сознавалъ, что онъ уже дошелъ до своей цѣли и работалъ изъ-за того, чтобы «не гноить даромъ капиталовъ»; молодой человѣкъ еще несся скачками и порывисто къ своей цѣли, чтобы нажить капиталы, и покуда не могъ еще сказать, гдѣ лежитъ предѣлъ его желаній и стремленій. Старикъ, несмотря на свое богатство оставшійся мужикомъ, стремился къ наживѣ ради наживы; молодой человѣкъ, выросшій среди барской роскоши и покутившій на своемъ вѣку, видѣлъ въ деньгахъ средство взять у жизни все, что можетъ дать жизнь. Что-то лихорадочное, что-то алчное, что-то опьяняющее было въ его планахъ, и они съ каждымъ днемъ становились все шире и шире и все полнѣе охватывали его страстную душу.

— Да, Липа, намозолилъ я руки, и теперь пора развернуть пошире свои крылья,—проговорилъ Данила Павловичъ, останавливаясь у перилъ балкона и смотря на желѣзную дорогу.—Довольно чернаго труда, довольно возни съ живымъ мясомъ, теперь надо на денежную биржу нести свой капиталъ. обращать каждый рубль въ сотню рублей. Когда я

гляжу на эту змѣю, извивающуюся на сотни верстъ, у меня духъ замираетъ, и кажется мнѣ, что проложили мы ее для того только, чтобы она манила насъ туда, въ эту безконечную даль; кажется мнѣ, что извивается она и сверкаетъ на солнцѣ своими желѣзными боками, говоря мнѣ: иди, иди скорѣе туда, куда тянусь я, куда скоро понесутся свистящіе локомотивы, увлекая и золото, и хлѣбъ, и людей, изъ этой глуши на просторный рынокъ, гдѣ можно все купить и все продать, гдѣ однимъ почеркомъ пера составляются милліонныя состоянія въ два, въ три дня, гдѣ за нѣсколько засѣданій въ какомъ-нибудь правленіи люди получаютъ тысячи рублей жалованья, гдѣ одна ловкая спекуляція на биржѣ превращаетъ десятки тысячъ рублей въ сотни тысячъ, гдѣ можно испытать все, что испытываетъ азартный игрокъ, ставя послѣдніе гроши на карту.

— Даня, такъ ты непремѣнно рѣшился ѣхать въ Петербургъ?—спросила жена.

— Еще бы! У меня все подготовлено! Кончу постройку, сдамъ счеты и отчеты и туда! Здѣсь, Липа, безъ ничего можно достигнуть до извѣстнаго довольства, а тамъ съ деньгами можно сдѣлаться Крезомъ. Здѣсь нужно молотомъ заложить фундаментъ для своего благосостоянія, а тамъ золотомъ открываются двери къ наживѣ милліоновъ.

— А ты вотъ осуждаешь дядю Александра Николаевича, что онъ тамъ принялся дома строить...

— Дядя дуракъ!—коротко отвѣтилъ Муратовъ.—У дяди вѣчно въ головѣ безумныя фантазіи, неосуществимые планы. Съ этимъ многаго не наживешь. Я же поѣду туда не голыми руками жаръ загребать и явлюсь не въ лѣсъ съ завязанными глазами. Мнѣ тамъ нужно будетъ сначала какое-нибудь мѣсто въ банкѣ, въ желѣзнодорожномъ правленіи, гдѣ-нибудь, гдѣ можно пройти школу финансовыхъ оборотовъ. Мнѣ мѣсто достать не трудно, у меня тамъ есть знакомые, есть протекціи. Одна Адель много можетъ сдѣлать. На нее я, какъ на каменную стѣну, опереться могу, благо и я ей могу пригодиться... Дядя очень глупо сдѣлалъ, что порвалъ всякія сношенія съ нею. Она могла бы и ему пригодиться...

— Да неужели у Аделаиды Александровны точно есть такія важныя связи?—спросила Олимпіада Пахомовна.

— Еще бы! Одинъ Гельфрейхъ чего стоитъ. Этотъ жидъ для нея все сдѣлаетъ, а онъ сила!

— Неужели она въ самомъ дѣломъ живетъ съ нимъ?

— Да, гулящая бабенка вышла...

— И братъ твой, Аркадій Павловичъ, знаетъ это?

— Знаетъ, да что ему-то! Они никогда не любили другъ друга, и имъ все равно, кто изъ нихъ съ кѣмъ живетъ, были бы только деньги, ну, а Гельфрейхъ можетъ и денегъ дать, и мѣсто доставить. Черезъ него и я оборудую дѣла. Мнѣ только бы твердо встать тамъ на первое время, а ужъ дальше я пробьюсь, только бы осмотрѣться, ознакомиться съ дѣломъ. Тогда...

Въ эту минуту на балконъ тяжелой поступью, неторопливо вошелъ Пахомъ Семеновичъ. Поздоровавшись съ дочерью, онъ дотронулся до плеча зятя и шутливо спросилъ:

— Что же тогда будетъ?

Онъ слышалъ частицу разговора, проходя по столовой, и теперь съ добродушной улыбкой старика, любующагося пылкой молодостью, глядѣлъ на зятя.

— Тогда, Пахомъ Семеновичъ,—отвѣтилъ ему страстнымъ тономъ Данила Павловичъ:—тогда исполнится то, что пророчилъ я вамъ когда-то. Помните, какъ я говорилъ вамъ: «Теперь вы нашъ домъ при моей помощи купили, да лѣсъ, «Вавиловскую рощу» Баскаковыхъ, у моего брата за безцѣнокъ при моемъ посредствѣ пріобрѣли, а будетъ время, если дружно пойдемъ вмѣстѣ, что не только вонъ та полоска,—и Данила Павловичъ, снова, какъ нѣсколько лѣтъ назадъ, указалъ тестю съ балкона на змѣившуюся насыпь желѣзной дороги:—будетъ ваша, но и то все, что за нею тянется, не ускользнетъ отъ вашихъ рукъ. Будетъ время, что вы не почетнымъ гражданиномъ, а чиновнымъ лицомъ будете, въ орденахъ ходить станете, а вотъ тутъ, въ этомъ домѣ, можетъ-быть, школа вашего имени будетъ и портретъ вашъ вотъ тамъ въ золотой рамѣ противъ царскаго портрета висѣть будетъ». Вотъ что я говорилъ вамъ тогда, вотъ что я повторяю вамъ и теперь, и я или сдохну, какъ собака, или добьюсь своего, по какой бы дорогѣ мнѣ ни пришлось дойти до цѣли!

Пахомъ Семеновичъ задумчиво смотрѣлъ въ даль, залитую, точно кровью, багровыми лучами заходящаго солнца, и его зоркіе, ястребиные глаза, смотря изъ-подъ густыхъ, нависшихъ бровей, казалось, съ внезапно пробудившейся жадностью хотѣли охватить какъ можно больше пространства, проникнуть куда-то въ безконечную ширь и глубь, точно старику было мало владѣть тѣмъ только, что можно было окинуть простымъ взглядомъ, а хотѣлось захватить и

все то, что находилось гдѣ-то тамъ, за этою видимою далью. Наконецъ, онъ очнулся, потеръ рукою лобъ и, усмѣхаясь, проговорилъ:

— Ну, ну, орудуй, не для меня, такъ для своихъ ребятишекъ!

II.

Свѣтлое настроеніе, полное великихъ надеждъ на будущность, охватившее семейный кружокъ, было нарушено приходомъ горничной.

— Баринъ, васъ тамъ рабочій спрашиваетъ,—доложила она Данилѣ Павловичу.

— Какой такой рабочій?—раздражительно спросилъ Муратовъ, поворачиваясь къ ней съ выраженіемъ недоумѣнія на лицѣ.

Онъ точно очнулся отъ какого-то волшебнаго сна и упалъ сразу съ неба на землю.

— Не знаю-съ! «Доложи, говоритъ, только, что Семенъ... Семенъ Нефедовъ пришелъ... а ужъ баринъ выйдетъ». Я не хотѣла докладывать, такъ настаиваетъ, говоритъ...

Но уже Муратовъ не слушалъ ее. Его лицо сдѣлалось хмурымъ, брови сдвинулись.

— Я сейчасъ выйду... Впрочемъ, позови его сюда, все равно,—отрывисто проговорилъ онъ и мелькомъ горячо замѣтилъ тестю:—Что-нибудь недоброе! Семенъ такъ не придетъ...

Тесть усмѣхнулся добродушной улыбкой.

— Ну, ну, опять запѣтушился,—сказалъ онъ.—Не бойся, ничего не случилось. Я велѣлъ Семену зайти, писалъ я давеча на линію, ему отвѣтъ приказалъ принести..

Въ дверяхъ балкона показался въ это время старикъ, разговаривавшій утромъ съ Олимпіадой Пахомовной. Онъ подошелъ къ двери на цыпочкахъ, трусливой поступью и съ пугливымъ видомъ остановился въ дверяхъ. Приземистый, исхудалый, въ рваной одежонкѣ, онъ походилъ скорѣе на нищаго, чѣмъ на рабочаго. Трудно было даже повѣрить, что онъ можетъ еще работать. Онъ, въ сущности, почти и не работалъ. Про него и не говорили, что онъ нанялся на работы, а говорили, что онъ такъ тутъ «примазался». Но зарабатывалъ онъ едва ли не болѣе всѣхъ остальныхъ рабочихъ. Ему всѣ и каждый говорили: «и за что тебя только кормятъ, старую клячу». А между тѣмъ его кормили. Всѣ окружающіе относились къ нему съ не-

нависть. Самъ Данила Павловичъ если и не чувствовалъ къ нему ненависти, то презиралъ его. Онъ не могъ самъ сказать, зачѣмъ держалъ Семена Нефедова, но въ то же время онъ чувствовалъ, что Семенъ Нефедовъ можетъ пригодиться ему и его тестю. Это былъ глазъ, все видящій, это было ухо, все слышащее, если только дѣло шло о чемъ-нибудь дурномъ. Хорошихъ вѣстей Семенъ Нефедовъ не приносилъ, но дурныхъ у него всегда было въ запасѣ многое множество. Остановившись въ дверяхъ, онъ раскланялся съ присутствующими съ лакейскимъ подобострастіемъ, передалъ Пахому Семеновичу письмо и стоялъ молча, ожидая вопросовъ.

— Что скажешь, Семенъ?—спросилъ Данила Павловичъ.

— Не ладно у насъ, батюшка-баринъ, не ладно,—проговорилъ Семенъ:—Тимоѳей Шестипалый мутитъ народъ. Зашли отсюда сперва это въ кабакъ, потомъ на линію прошли, слышу я недоброе что-то толкуютъ. Завтра, кажись, на работу не выйдутъ. Извѣстно, какой у насъ народъ,—совсѣмъ оглашенный, право, какъ есть оглашенный, страху никакого и подобострастія передъ господами нѣтъ. Нынче, извѣстно, воля пошла, такъ господъ въ грошъ не ставятъ...

— А вотъ я имъ покажу, какъ нѣтъ страху!—воскликнулъ Данила Павловичъ, уже шагая въ волненіи по балкону.—Они думаютъ, что они вольнонаемные, такъ и розогъ на нихъ не растетъ.

— Какъ не расти, какъ не расти! Статочное ли это дѣло, чтобъ не росло. Не господа тоже, чай, а мужичье сиволапое,—разсуждалъ тѣмъ же минорнымъ и подобострастнымъ тономъ крѣпостного дворового Семенъ. — Не учены только, такъ и горланятъ. Теперь почитай что всѣ взбаламутились. Я ужъ сторонкою, сторонкою сюда прибрелъ, тоже вашу-то милость, батюшка-баринъ, хотѣлъ оповѣстить. Впотьмахъ-то, въ сумеречкахъ-то не замѣтили, а то тоже и мнѣ боязно. И съ ними боязно, и сюда-то идти боязно... Не извѣстишь вашу милость — съ ними заодно бѣды натерпишься, а провѣдаютъ они—тоже головы не сносишь. Народъ-то нынѣ отпѣтый...

Семенъ понурилъ голову и молча перебиралъ въ рукахъ засаленный картузъ.

— Вѣдь этакіе подлецы, этакіе подлецы! — въ волненіи говорилъ Данила Павловичъ.—Ни одинъ гроша не стоитъ въ работѣ, а бунтовать всѣ готовы. Пользуются тѣмъ, что

горячее время, что новыхъ рабочихъ не добудешь, когда на носу гдѣ сѣнокосъ, гдѣ уборка хлѣба... Ну, да я ихъ усмирю!

— Какъ не усмирить, батюшка-баринъ, какъ не усмирить!—проговорилъ Семенъ. — На что же и законъ, если ужъ и мужика усмирить нельзя. Только я такъ разсуждаю, что все это усмиреніе не надолго будетъ, пока въ стадѣ паршивая овца будетъ. Сегодня смирятся, завтра опять ихъ взбаламутитъ онъ, Тимоѳей-то Шестипалый, баламутъ-то нашъ.

— Даня, что ты его въ самомъ дѣлѣ не прогонишь? — проговорила Олимпіада Пахомовна, вмѣшиваясь въ разговоръ.

Семенъ обратился къ ней и, прежде чѣмъ Муратовъ успѣлъ что-нибудь отвѣтить,—замѣтилъ почтительнымъ тономъ:

— Прогнать-то, матушка-барыня, не трудно, совсѣмъ не трудно. Плевое это, не здѣсь будь сказано, не при вашей милости, дѣло. Да толку-то что? Вѣдь это такой человѣкъ, что онъ, если его и прогонятъ, тутъ же будетъ тереться, пристроится гдѣ-нибудь поблизости и будетъ мутить. Ему вѣдь не до себя дѣло, а только бы другихъ на грѣхъ поднять. Охъ, грѣхи, грѣхи! Я такого-то человѣка въ жизнь первый разъ вижу. Онъ вѣдь вотъ какой: не потому баламутитъ, что ему худо, а потому, что не баламутить онъ не можетъ. Ты его озолоти самого, ты его ублаготвори самого, а онъ все другихъ поджигать будетъ; вездѣ носъ свой совать будетъ. Онъ развѣ у насъ только мутитъ? Вонъ намеднись въ кабакѣ съ фабричными, съ носовскими фабричными сошелся, ну, извѣстно, тары, да бары, красные товары, почемъ табачокъ, стали разводы разводить и говорятъ это ему фабричные-то, какъ ихъ обиждаютъ насчетъ вычетовъ за прогулы, а онъ сичасъ и ну поджигать, и ну поджигать, чего вы, молъ, хозяину-то въ зубы смотрите, васъ-то сколько тамъ, а онъ одинъ, нешто не справитесь. А вѣдь онъ носовскимъ-то фабричнымъ не сватъ, не братъ. Хорошо ли имъ, худо ли—ему ни тепло, ни холодно. А ужъ такъ поджигаетъ, лишь бы баламутить. А у самого въ деревнѣ семья голодаетъ: мать-старуха, да дѣточки махонькія; жена-то у него померши, и отецъ также. Такъ это ему и ничего, что онъ и себя погубить можетъ, и ихъ по-міру пуститъ ради своего озорства. Вотъ каковъ онъ человѣкъ.

— Ну, да на такихъ и остроги есть у насъ,—замѣтилъ Пахомъ Семеновичъ, окончивъ чтеніе письма.

Семенъ почтительно повернулся лицомъ къ нему.

— Это точно, ваше степенство, остроги есть, только Тимоѳея изловить трудно,—смиренно возразилъ онъ.—Его міръ

не выдастъ. Ни, ни! Коноводъ, коноводъ, а начни разспрашивать всѣхъ, кто зачалъ, кто подстрекалъ—его не выдадутъ ни въ жизть, да и самъ онъ увернется. А я вотъ что смекаю, батюшка-баринъ,—продолжалъ Семенъ еще смиреннѣе, принимая видъ паршивой овцы, сознающей свою паршивость, и снова обращаясь къ Данилѣ Павловичу.—Вамъ, можетъ-быть, невдомекъ, что у самого этого Тимоѳея Шестипалова пачпортъ просроченный...

— Ну?—проговорилъ Данила Павловичъ.

— Такъ вѣдь думаю я своимъ глупымъ умомъ, что его на родину отправить можно по этапу... ради опаски, чтобъ человѣкъ съ просроченнымъ пачпортомъ не бродяжничалъ... Тоже въ нонѣшнія времена съ просроченнымъ пачпортомъ держать человѣка опасливо и отпустить его такъ зря никакъ невозможно... никакъ...

Данила Павловичъ усмѣхнулся.

— Не дурно придумалъ, старина, — проговорилъ онъ. — Простъ, а дѣла знаешь...

Семенъ продолжалъ стоять въ той же смиренной позѣ, съ тѣмъ же смиреннымъ видомъ, понуривъ облѣзлую голову.

— Очень ужъ этотъ человѣкъ измаялъ меня, — продолжалъ старикъ, и въ его голосѣ, всегда искусственно мягкомъ и подобострастномъ, прозвучала нотка искренней тоски.—Покою нѣтъ при немъ. Кажиный день того и жди, что съ нимъ народъ забунтуетъ. Въ сторону отъ нихъ отойдешь—проходу не даютъ, житья нѣтъ; съ ними заодно стоять—старъ я, косточки болятъ, довольно и прежняго...

Онъ обернулся къ Олимпіадѣ Пахомовнѣ, и его лицо приняло какое-то плачевное выраженіе.

— Вотъ и нашъ батюшка-баринъ, супругъ вашъ, слышалъ, что мнѣ старику-то за жизть была... Тоже сначала въ тіатральные музыканты, потомъ въ лакеи комнатные готовили, а затѣмъ ужъ всѣ новыя розги на мнѣ, кажись, перепробовали... Способностями, значитъ, Богъ обошелъ, а люди на мнѣ вымещали... И кто не билъ-то!

Старикъ слегка махнулъ рукою.

— Лѣнивый только не билъ... Своя законная жена изъ дому выгнала... сынъ чуть не убилъ... А вотъ теперь его же дѣточки малыя на моихъ рукахъ... Самъ кормлюсь, имъ помогаю... Тоже подаяніе собираютъ, да что нонче соберешь и по этимъ нашимъ мѣстамъ... Нищихъ и безъ нихъ много, а они махонькіе, ихъ заклюютъ... Гдѣ же мнѣ бунтовать-то?

Олимпіада Пахомовна была тронута разсказомъ старика и проговорила ему:

— Ты, Семенъ, ступай на кухню, тамъ тебя напоятъ чаемъ...

— Благодаримъ покорно, матушка-барыня, только мнѣ спѣшить надо,—тревожно отозвался Семенъ.—А то, храни Господи, еще замѣтятъ, головы не сносишь... Я и безъ чаю... Гдѣ ужъ!..

— Да, да, ступай!.. Вотъ тебѣ...

Данила Павловичъ сунулъ въ руки старику какую-то мелочь, какъ даютъ на чай лакеямъ. Тотъ низко поклонился, благодаря Муратова и попробовавъ на лету поцѣловать ему руку.

— А Тимоѳея Шестипалова мы такъ и спровадимъ со свитою, съ почетнымъ конвоемъ,—сказалъ Муратовъ, смѣясь.

Семенъ захихикалъ искусственнымъ смѣхомъ.

— Хе-хе-хе! истинно съ почетнымъ конвоемъ! — произнесъ онъ и съ простодушнымъ видомъ обратился къ Пахому Семеновичу. — Вотъ это тоже въ нашихъ краяхъ такъ-то одного мужичонку, паршиваго такого мужичонку спровадили съ почетнымъ конвоемъ, изъ витебскихъ онъ былъ, а паспортъ-то просроченный по ошибкѣ и вложили въ пакетъ съ надписью въ Астрахань...

Данила Павловичъ остановился передъ старикомъ и, зорко взглянувъ ему въ лицо, рѣзко спросилъ:

— Ну?

— Такъ его, батюшка-баринъ, въ Астрахань и препроводили,—отвѣтилъ смиренно Семенъ.—Въ Астрахань! Ну, тамъ вскрыли пакетъ, посмотрѣли, видятъ, что онъ витебскій, а не изъ Астрахани, въ Витебскую губернію тогда и послали его... Безъ малаго годокъ такъ-то онъ проходилъ, съ почетнымъ конвоемъ-то...

Данила Павловичъ громко расхохотался.

— Старики-то видно недаромъ на свѣтѣ живутъ,—съ презрительной усмѣшкой замѣтилъ Пахомъ Семеновичъ.—Нѣтъ-нѣтъ, а глядишь, что-нибудь умное и разскажутъ...

— Всего на свѣтѣ насмотришься, всего, какъ поживешь,— сказалъ Семенъ и сталъ низко откланиваться.

Той же осторожной, боязливой походкой прошелъ онъ по залѣ, по гостиной, выбрался черезъ кухню на дворъ, выпросивъ у прислуги «ломотокъ хлѣба», потомъ вышелъ на улицу, не надѣвая шапки, прошелъ мимо балкона и исчезъ во мглѣ теплой лѣтней ночи.

— Ну, ужъ и бестія же мужикъ, — сказалъ Пахомъ Семеновичъ.

— Какая бестія! Просто трусъ! Изъ трусости, какъ бы ему не досталось, отца родного продастъ, — мелькомъ сказалъ Данила Павловичъ и продолжалъ болѣе горячимъ тономъ:—Нѣтъ, а приказчики, а десятники хороши. У нихъ подъ носомъ стачку затѣваютъ, а они ничего не знаютъ. Вѣдь хорошо еще, что этотъ кротъ во-время извѣстилъ. Теперь во-время успѣете дать знать, казаковъ потребуете. А то лишній день бы только потеряли...

Олимпіада Пахомовна вся превратилась въ слухъ. Ея глаза были тревожно устремлены на мужа. Ей уже грезились страшныя картины.

— Ты думаешь, въ самомъ дѣлѣ, Даня, что бунтовать станутъ?—спросила она.

— Ну, какой это бунтъ! Такъ себѣ погорланятъ-погорланятъ, да и примутся за работу, — спокойно сказалъ Пахомъ Семеновичъ. — Тутъ и рабочихъ-то у насъ теперь одинъ-другой и обчелся. Работы къ концу идутъ. Нѣтъ, вотъ какъ у насъ на касьяновской линіи на людей моръ пошелъ. Помнишь? — обратился онъ къ зятю. — Вотъ бѣда была! Семьсотъ человѣкъ примерло изъ двухъ тысячъ, остальные, кто еле ноги волочилъ, кто такъ себѣ забастовалъ, да и конецъ; тогда пришлось повозиться. А что станешь дѣлать: осень суровая, дожди недѣль пять не переставали, грязь по колѣно. Какъ тутъ мору не быть. Тоже мы не боги, погоды не перемѣнишь, землянокъ не высушишь. Конечно, народъ глупъ, понять этого не хочетъ; видитъ, что мрутъ, ну, и бунтуетъ. Сколько тогда разбѣжалось, что и съ задатками пришлось проститься.

Тесть и зять говорили, повидимому, довольно спокойно, но, въ сущности, обоихъ тревожилъ вопросъ о томъ, какіе размѣры приметъ забастовка. Они отлично знали, какъ быстро иногда разрастаются эти стачки и сколько приходится терять въ этихъ случаяхъ времени и денегъ. Данила Павловичъ рѣшилъ, что ему нужно чѣмъ-свѣтъ дать знать куда слѣдуетъ о присылкѣ къ нему на подкрѣпленіе казаковъ, потомъ самому проѣхать по линіи и убѣдиться, насколько серьезно волненіе. Ѣхать на линію онъ и безъ того собирался передъ отъѣздомъ въ Петербургъ. Съ линіи онъ намѣревался завернуть и къ Матренѣ Кузьминичнѣ.

Вспомнивъ о ней, онъ заговорилъ съ тестемъ о Баскаковѣ. Александръ Николаевичъ Баскаковъ «зарвался» въ

своихъ постройкахъ домовъ въ Петербургѣ и требуетъ изъ дома денегъ. Надо посовѣтовать Матренѣ Кузьминичнѣ не посылать денегъ. Онъ ихъ все равно «просадитъ», а она можетъ нищею остаться. Положимъ, она баба не такая, чтобы бояться бѣдности. Но у нея на рукахъ дѣти. Да и зачѣмъ же добровольно идти навстрѣчу нищетѣ, если можно этого избѣжать? Самъ же дядя Александръ Николаевичъ, когда все продадутъ съ молотка, будетъ благодаренъ женѣ, что она кое-что спасла на черный день. Къ ней же онъ придетъ.

— И зачѣмъ этакіе шалаганы еще дѣтей плодятъ! — замѣтилъ Данила Павловичъ.—Вѣдь вотъ прогоритъ—новыхъ нищихъ прибавится...

Разговоръ перешелъ на дѣтей Баскакова. Странныя они вышли. Не господа, не мужики. Жили они съ матерью, когда она была еще не замужемъ, въ бѣдности, росли почти на улицѣ, учились урывками подъ руководствомъ случайныхъ учителей, «заржавленнаго» преподавателя математики Крестоносцева, отъявленнаго бурсака Воздвиженскаго, простоватаго попа Петра Архангельскаго; потомъ попали въ барскія палаты, когда ихъ отецъ и мать повѣнчались, и вдругъ увидали около себя гувернантокъ и даже гувернера. Перемѣна такъ повліяла на нихъ, что они взбунтовались и вырвались изъ-подъ ферулы новыхъ наставниковъ и теперь живутъ «безъ узды, безъ палки», какъ замѣтилъ Пахомъ Семеновичъ.

— Да, да, что-то выйдетъ изъ этихъ дворянскихъ прегрѣшеній!—проговорилъ Данила Павловичъ.—Хорошаго ждать трудно.

— Можетъ, мужицкая-то порода верхъ возьметъ,—замѣтилъ Гущинъ.

Въ это время нянька привела дѣтей прощаться передъ сномъ. Дѣдъ, отецъ и мать крѣпко расцѣловали малютокъ. Гущинъ сталъ собираться домой.

Когда Пахомъ Семеновичъ ушелъ, Данила Павловичъ обратился къ женѣ.

— Ну, сегодня надо залечь пораньше, чтобы пораньше подняться,—замѣтилъ онъ.

— Даня, ты не горячись завтра, — пугливо молящимъ тономъ сказала она.

— Ахъ, ты, трусиха! — шутливо проговорилъ онъ, взявъ ее за подбородокъ и цѣлуя въ губы.—Что мнѣ могутъ сдѣ-

лать? Я съ кѣмъ хочешь справлюсь, а не то что съ этой сволочью...

Онъ обнялъ жену и отправился съ нею въ спальню. Постель была уже приготовлена, и не прошло пяти минутъ, какъ Данила Павловичъ уже лежалъ на ней, широко и сладко зѣвая. Олимпіада Пахомовна поправила теплившуюся въ углу передъ дорогими образами лампаду и опустилась на колѣни. Она усердно молилась, широко крестясь, дѣлая земные поклоны. Данила Павловичъ уже давно храпѣлъ, когда она тяжело поднялась съ пола и стала раздѣваться. Раздѣвшись, она легла рядомъ съ мужемъ и съ любовью взглянула на его лицо. Ни на одну минуту она не переставала думать о немъ. Всѣ ея молитвы были о немъ, всѣ ея желанія сводились къ желанію всѣхъ благъ ему. Ей страстно хотѣлось поцѣловать его, но мысль, что ему нуженъ отдыхъ, что его не слѣдуетъ тревожить, заставила ее удержаться отъ поцѣлуя. «И когда это кончится постройка этой проклятой дороги»,—думала молодая женщина, засыпая.

Проклятая дорога... Можетъ-быть, не одна Олимпіада Пахомовна въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ называла такъ эту дорогу, претерпѣвшую не мало злоключеній со дня своего зарожденія, совершившагося какъ будто въ недобрый часъ. Ея постройка затянулась сильно; не мало акціонеровъ разорилось прежде ея окончанія. Думали даже, что она никогда не будетъ окончена. Но, несмотря на всѣ толки и слухи, она продолжала строиться. На многіе десятки верстъ растянулась эта страшная линія, какъ сплошная могильная насыпь. Сотни землянокъ и шалашей группировались то тутъ, то тамъ по обѣимъ сторонамъ этой насыпи среди болотъ, лѣсовъ и полей. Эти землянки были не что иное, какъ мрачныя ямы, вырытыя въ землѣ, подобно обширнымъ могиламъ; въ ямахъ по обѣимъ сторонамъ тянулись нары; на нарахъ по большей части не было ни рогожъ, ни сѣна, ни соломы; люди спали здѣсь на голыхъ доскахъ, и благо было тѣмъ, кто могъ подложить подъ головы хоть полушубокъ, хоть какую-нибудь одежонку. Промозглый воздухъ, тѣснота, грязь и пыль были здѣсь невообразимые. Это были какіе-то клоповники, гдѣ люди, выносливые, грубые, простые люди, быстро хирѣли, быстро заболѣвали. Больныхъ переводили въ деревянные бараки. Но едва ли лучше были и эти дощатые шалаши, низкіе и тѣсные, безъ отдушинъ, безъ постелей, безъ подстилокъ, набитые десятками людей. Но хорошо еще, если тутъ находилось мѣсто для этихъ людей.

Иногда же больнымъ приходилось лежать на землѣ и ждать, когда для нихъ построятъ новые шалаши. Ѣли рабочіе на открытомъ воздухѣ, гдѣ просто сидя на землѣ, гдѣ на дощатыхъ, наскоро сдѣланныхъ скамьяхъ за такими же столами. Ѣда была убійственно плоха, особенно въ первое время постройки. Кажется, все негодное въ пищу, все подгнившее, подмоченное, испортившееся свозили сюда. Плохой хлѣбъ, прогорклое конопляное масло, почернѣвшій горохъ, наполненная грязью и соромъ гречневая крупа, попортившаяся солонина, говядина съ невыносимымъ запахомъ, все сходило здѣсь съ рукъ. И чѣмъ жарче бывали дни, тѣмъ скорѣе портилась вся эта провизія, привозимая издалека, за десятки верстъ. Одинъ полководецъ замѣтилъ, что, формируя дѣйствующую армію, «надо начинать съ брюха», то-есть съ запаса провіанта. Именно объ этомъ правилѣ, казалось, не вспомнили здѣсь, формируя рабочее войско. Нерѣдко бывали случаи, что здѣсь царствовалъ настоящій голодъ. Но едва ли было лучше рабочимъ, когда они не голодали, а должны были ѣсть гнилую пищу. Даже нетребовательный людъ, много работавшій и проголодавшійся, не всегда принимался за эту ѣду, но голодъ не свой братъ, и волей-неволей приходилось ѣсть и этотъ заплѣснѣвшій хлѣбъ, и это мясо съ червями. Результатомъ являлись болѣзни, холерные припадки, развитіе тифа. Здоровые не успѣвали иногда подбирать и относить больныхъ въ шалаши, больные теряли счетъ выбывающимъ изъ нихъ среды на вѣчный покой. Ропотъ кругомъ все росъ и росъ, и порой казалось, что довольно искры, чтобы вспыхнуло волненіе. Но это только такъ казалось: утомленные работой, полуголодные бѣдняки, больные, страдальцы — плохіе бунтовщики. Изъ нихъ является много бѣглыхъ, много томящихся тоской по родинѣ, но бунтовщиковъ находится мало, и тѣ поддаются только подстрекательству нѣсколькихъ смѣльчаковъ. Тяжелая работа притупляетъ человѣка, дѣлаетъ его апатичнымъ, превращаетъ въ машину. Съ другой стороны и вѣчная нищета дѣлаетъ человѣка робкимъ, боящимся потерять мѣсто, заработокъ, послѣдній кусокъ хлѣба. Наконецъ, большинство простыхъ людей знаетъ по опыту, что всѣ стачки не ведутъ ни къ чему доброму, кончаются не въ пользу стакнувшихся и хорошо еще, если не вызываютъ «экзекуціи». Вслѣдствіе всего этого, несмотря на вѣчный ропотъ, въ рѣшительныя минуты масса всегда отдѣляется въ сторону отъ горсти смѣльчаковъ и ждетъ, что будетъ. Выгорить дѣло смѣльча-

ковъ — выиграетъ и она; покорятъ ихъ силою — она, эта робкая и молчаливая масса, не потеряетъ ничего. Муратовъ зналъ все это и не особенно волновался въ ожиданіи разныхъ стачекъ. Его каждый разъ бѣсило только одно, что стачка можетъ похитить у его тестя нѣсколько рабочихъ часовъ и вытянуть изъ кармана нѣсколько дѣсятковъ и сотенъ рублей на разные побочные расходы. Вотъ почему онъ и теперь собирался ѣхать на работы утромъ въ довольно хорошемъ расположеніи духа. На всякій случай онъ думалъ предупредить кого слѣдуетъ о томъ, что на работахъ готовится опять стачка, и могутъ понадобиться на помощь казаки. Но прежде чѣмъ онъ успѣлъ допить чай, къ нему явились два приказчика съ тревожными извѣстіями, что рабочіе не хотятъ работать.

— А! Началось!—воскликнулъ Данила Павловичъ, услыхавъ донесенія приказчиковъ.—Чего же вы зѣвали, чего же раньше не предупредили меня?

— Мы-съ не знали ничего, Данила Павловичъ, съ зари это началось,—отвѣтили въ одинъ голосъ приказчики.

— Съ зари! А я еще вчера зналъ! Вы тамъ сидите и ничего не знаете, а я здѣсь знаю! Семенъ Нефедовъ еще вчера предупреждалъ меня! Теперь вотъ покуда удастся образумить ихъ, сколько времени пропадетъ! Ваше дѣло только зѣвать!

Онъ быстро одѣвался, собираясь ѣхать.

— Будьте на мѣстахъ, я самъ пріѣду!—продолжалъ онъ, обращаясь къ приказчикамъ.—По всей линіи не работаютъ, или только здѣсь?

— Здѣсь только... Можетъ, такъ только, поартачатся, поартачатся, да и возьмутся за дѣло... На седьмой верстѣ у моста работаютъ, только тамъ не ладно: двадцать человѣкъ сбѣжало...

— Сбѣжали? Это почему?

— Хворость опять напала тамъ на народъ... Одни лежатъ, а изъ здоровыхъ двадцать сбѣжало... Извѣстно, теперь скоро сѣнокосы начнутся, въ деревнѣ работы, ну, народъ и тянетъ домой... Это ужъ завсегда одна пѣсня... Опять же и страхъ, что люди мрутъ...

— А въ лазаретѣ есть мѣста?

— Лазаретъ полонъ... Пристраиваютъ еще шалашки...

— Хорошо, я туда заверну тоже...

Приказчики ушли, а Данила Павловичъ, наскоро простившись съ Олимпіадой Пахомовной, поѣхалъ къ мѣстному на-

чальству. Ему нужно было попросить казаковъ. Не прошло и часу, какъ онъ уже былъ на линіи. Рабочіе не работали и сгруппировались въ кучки, громко разговаривая и шумя. Данила Павловичъ подъѣхалъ къ одной кучкѣ и остановился, зорко окинувъ ее глазами.

— Что же это никто не работаетъ? — спросилъ онъ у приказчика, точно онъ ничего не зналъ.

— Отказывается народъ работать,—отвѣтилъ почтительно приказчикъ.

— Какъ, отказывается? Деньги брать не отказывается, ѣсть не отказывается, а работать отказывается?

Онъ говорилъ громко, обращаясь къ приказчику, а не къ рабочимъ. Его голосъ былъ ровенъ и спокоенъ, точно рѣчь шла о самомъ обыкновенномъ дѣлѣ, не вызывающемъ ни тревогъ, ни волненій. Въ кучкѣ рабочихъ послышался смутный ропотъ:

— Гдѣ тутъ работать, какъ животы подвело... Тоже у Калистинскаго-то моста ужъ и мереть сталъ народъ... Помирать-то никому не охота... Тоже сласть!..

Всѣ говорили вдругъ, наперебой, но безъ раздраженія и безъ злобы.

— У Калистинскаго моста, у Калистинскаго моста!—передразнилъ рабочихъ Данила Павловичъ. —Такъ вѣдь это не здѣсь! Тамъ болото, тамъ ничего не подѣлаешь, если люди хворать! Это не отъ пищи, а отъ болота. Съ Богомъ-то тоже спорить не станешь... Вы бы вонъ помолились, чтобъ оно высохло, тогда и хворь всякая тамъ прошла бы... А я бы вамъ вотъ какое спасибо за это сказалъ... Свѣчку бы пудовую за васъ поставилъ...

— Ишь, какой добрый,—шутливо вставилъ кто-то.

Гдѣ-то послышался легкій смѣхъ.

— Да тоже, какъ тухлой говядиной кормятъ, такъ животы-то подведетъ и безъ болота... Вонъ, намеднись, опять съ червями говядину привезли,—раздались голоса.

— А вы Бога бы умолили, чтобы жарища-то спала, такъ тогда бы говядина и не портилась,—отвѣтилъ Данила Павловичъ. — Или думаете, что легко на васъ все запасти. Дома лучше ѣли, что ли?.. Хотите, вѣрно, чтобы и того не давали?.. Ну, что-жъ, не работайте, получайте половину найма, пока не разберутъ дѣла...

— Такъ что-жъ это, значитъ, совсѣмъ уморить съ голоду хочешь?—спросилъ кто-то изъ толпы.

— А вы думаете, что вы работать не будете, а я весь

паекъ давать буду?.. По закону-то вамъ больше не полагается, если не работаете...

— Законъ!.. Какой такой нонче законъ!—послышался голосъ одного рабочаго. — Вонъ меня по закону вѣнчали, а жена теперь третій годъ въ бѣгахъ, и закона никакого на нее нѣтъ... А ты говоришь, законъ...

Въ толпѣ послышался снова легкій смѣхъ.

— Ай да, молодецъ, рѣшилъ!—шутливо замѣтилъ кто-то.

Вдругъ посыпались остроты и шутки. Толпа развеселилась.

— А ты, Данила Павловичъ, покажи намъ, есть ли у тебя такая бумага отъ царя, чтобы народъ голодомъ морить? — серьезно обратился къ Муратову молодой, красивый парень, выступивъ впередъ и какъ бы стараясь подавить взрывъ веселости въ толпѣ. — Если велѣно народъ православный морить голодомъ — мори, а нѣтъ, такъ выдавай все, что слѣдуетъ...

Это былъ Тимоѳей Шестипалый.

— Ты вотъ ступай работать, тогда тебѣ и выдадутъ, что тебѣ слѣдуетъ,—сказалъ Данила Павловичъ, взглянувъ на него не безъ злобы.

— Червей-то вмѣсто говядины! Спасибо! Помирать-то еще не охота. Мы сюда на работу, а не на изморъ пришли ..

— Тоже горохъ хорошъ вчерась выдали, ровно дерево гнилое жуешь...

— Объ хлѣбъ-то зубы обломаешь, да и тотъ плѣсенью поросъ...—заговорили опять всѣ вдругъ серьезнымъ тономъ.

— Да русскимъ вамъ языкомъ еще вчера говорили, что вотъ завтра подвезутъ все свѣжее,—сказалъ приказчикъ.— Тоже на васъ не мало нужно...

— Что тамъ толковать,—сказалъ Муратовъ:—или всѣ сейчасъ будутъ работать, или половину пайка выдавать тому, кто не работаетъ, а тамъ начальство заставитъ уже работать... Тоже управа на васъ есть...

— Управа на всѣхъ есть, не на насъ однихъ,—послышался угрожающій голосъ Шестипалова.—Судъ-то не на одного мужика царемъ данъ...

Но Муратовъ не обратилъ никакого вниманія на эти замѣчанія и отошелъ отъ кучки рабочихъ съ приказчикомъ. Онъ смотрѣлъ бодро и весело, какъ опытный главнокомандующій, сразу окинувшій глазомъ поле сраженія и понявшій, въ чемъ дѣло. Стачка была пустая, ничтожная, вызванная нѣсколькими горячими зачинщиками. Большинство не работало просто потому, что отчего же и не отдохнуть

немного; раздраженія не замѣчалось нигдѣ; съ первыхъ же словъ было видно, что и безъ всякой военной силы рабочіе примутся снова за работу, даже несмотря на такихъ горлановъ, какъ Шестипалый. Все это опытный въ дѣлѣ человѣкъ могъ сразу опредѣлить по отдѣльнымъ шутливымъ фразамъ, по спокойному тону говорящихъ, по выраженію ихъ скорѣе насмѣшливыхъ, чѣмъ злобныхъ физіономій. Данила Павловичъ сказалъ приказчикамъ, что нужно пообѣщать и раздать рабочимъ водки, когда они примутся за работу, а что онъ на обратномъ пути все-таки заѣдетъ на мѣсто съ нѣсколькими казаками на всякій случай.

Минутъ черезъ десять онъ уже ѣхалъ дальше вдоль линіи. На пятой верстѣ онъ обогналъ двѣ открытыя телѣги. Въ телѣгахъ лежало по четверо мужиковъ, облѣпленныхъ оводами, большими мухами и мошками, какъ мертвецы. Муратовъ окликнулъ возницъ. Оказалось, что это везутъ больныхъ въ лазаретъ. Исхудалые, ничѣмъ не покрытые, блѣдноликіе бѣдняки лежали въ грязныхъ рубищахъ неподвижно въ телѣгахъ подъ палящими лучами солнца. День стоялъ невыносимо знойный, въ небѣ не было ни облачка. Больныхъ потряхивало на кочковатой дорогѣ, но по ихъ лицамъ не проскальзывало ничего, что говорило бы объ испытываемыхъ ими мученіяхъ, съ ихъ губъ не срывалось ни жалобы, ни стона. Казалось, они застыли, ожидая смерти. Они смотрѣли страшно. Обогнавъ ихъ, Муратовъ направился прямо къ лазарету, находившемуся близъ Калистинскаго моста. Здѣсь, у дощатыхъ шалашей, лежали и сидѣли на землѣ больные мужики, припекаемые солнцемъ.

— Что, братцы, плохо?—спросилъ ихъ Муратовъ, добродушнымъ тономъ добраго пріятеля.—Ишь Богъ дождя не даетъ, смаялъ совсѣмъ жарою... И болотина тутъ еще эта проклятая... На грѣхъ только въ этомъ направленіи путь повели... Что же бараки-то строятъ для нихъ?—обратился онъ къ приказчику.—Торопитесь, не лежать же народу такъ на открытомъ воздухѣ... Говорилъ я, чтобъ, молъ, построили лазаретъ... Тоже не сладко сердечнымъ... А докторъ гдѣ?..

Докторъ оказался въ лазаретѣ.

— Ну, какъ, докторъ? Что больные? Не надо ли имъ чего?—спрашивалъ Данила Павловичъ у доктора, нѣмца, осматривая больныхъ.—Есть ли чай? Водки не надо ли? Пожалуйста, поберегите народъ!

Онъ, громко говоря съ докторомъ, подошелъ къ нѣкоторымъ изъ больныхъ и заботливо говорилъ съ ними. Одинъ

изъ больныхъ, уже говорившій съ трудомъ, скорѣе напоминавшій исхудалый трупъ, чѣмъ живого человѣка, сталъ просить Даниду Павловича отписать въ деревню его семьѣ, если онъ умретъ.

— Хорошо, братъ, хорошо! Не забуду! Пошлю письмо, деньжонокъ пошлю. Слава Богу, вмѣстѣ маялись на работахъ!—проговорилъ Муратовъ.—Самъ тоже помучился. Да еще, можетъ, Богъ дастъ, и поправишься!

— Гдѣ ужъ... смерть моя...—прошепталъ больной.

— Не всѣ болѣзни къ смерти... Вотъ докторъ поможетъ... А я твоей семьи не забуду, ты не безпокойся!..

— Спасибо,—тихо и покорно отвѣтилъ больной.—Жена... дѣтки малыя...

Онъ не договорилъ и смолкъ, смотря неподвижными глазами впередъ.

Въ шалашѣ было душно и жарко, промозглый воздухъ стѣснялъ дыханіе.

— Соломы, докторъ, надо добыть или сѣна... Тоже невозможно больнымъ такъ лежать на доскахъ,—озабоченно говорилъ Муратовъ.—Право, тутъ голову потеряешь, все выписано и ничего не подвозятъ... И то сказать, пора горячая, всѣ руки заняты... Мы вѣдь первые піонеры, прокладывающіе пути въ этихъ дебряхъ...

Онъ простился съ больными и вышелъ изъ шалаша. У него слегка кружилась голова.

— Великій народъ, поистинѣ великій!—проговорилъ онъ доктору.—Ни жалобы, ни стона! Вонъ она, наша Русь-матушка.

Онъ вздохнулъ.

— А что подѣлаете? Если бы желѣзныя дороги не по степямъ и пустынямъ проводились—все бы было, а тутъ и не предусмотришь всего... Вотъ-съ вѣдь съ мясомъ не можемъ справиться. Солонины навезли—попортилась, бойню устроили—гніетъ чуть не на другой же день мясо, навезли масла—прогоркло... Тутъ Богомъ, а не человѣкомъ нужно быть, чтобы все шло хорошо... Да теперь еще что! Прежде-то каково было... Теперь всякія бѣды только въ этомъ участкѣ и происходятъ, а прежде-то вездѣ не лучше было...

Онъ распростился съ докторомъ, проѣхалъ на бойню, разспросилъ, сколько пригнали скота, приказалъ распорядиться насчетъ того, чтобы мясо покрывали чѣмъ-нибудь при развозкѣ, и снова вернулся назадъ. Кое-гдѣ по линіи уже начинали работать, но большинство народа сидѣло и лежало

безъ дѣла. День былъ до крайности знойный, и все голое пространство желѣзно-дорожной линіи было залито палящими лучами солнца. Данила Павловичъ, проѣзжая мимо сидѣвшихъ въ праздности рабочихъ, сдѣлалъ видъ, что онъ ничего не замѣчаетъ, и проѣхалъ въ городъ. Онъ все-таки не оставилъ намѣренія попросить себѣ на помощь нѣсколькихъ казаковъ, хотя уже и былъ вполнѣ убѣжденъ въ благополучномъ исходѣ стачки. Ему просто хотѣлось доказать рабочимъ, что онъ всегда можетъ найти поддержку.

— Мы можемъ вамъ дать нѣсколькихъ казаковъ, но вѣдь это не поможетъ,—говорило ему любезно одно изъ начальствующихъ лицъ.—Вы знаете, что значитъ привести къ работѣ...

— Да, да, дать тачку, лопату, ломъ рабочему и поставить его на мѣсто работы,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Но это и все! Рабочій все-таки не будетъ работать, если не захочетъ... Болѣе же крутыя мѣры...

— Не надо мнѣ никакихъ болѣе крутыхъ мѣръ,—перебилъ его Муратовъ.—Вы только приведите ихъ къ работѣ и оставьте мнѣ на часъ нѣсколько казаковъ.

— Хорошо, это можно...

— Только, пожалуйста, не говорите казакамъ, что ихъ оставляютъ не надолго... Предоставьте все мнѣ...

Не прошло и часу, какъ Данила Павловичъ съ властями и казаками привели нѣкоторыхъ рабочихъ къ работѣ. Сцена была нѣсколько комичная: рабочимъ положили лопаты и ломы въ тачки, ихъ заставили взять эти тачки и идти къ мѣсту работы; эти рабочіе оказались вдругъ разслабленными, хилыми и больными и едва плелись со своими тачками, говоря, что они не въ силахъ работать. Другіе рабочіе стояли въ сторонѣ и пересмѣивались, старики сомнительно покачивали головами, не видя никакого толка въ неудавшейся стачкѣ, принявшей съ самаго начала шутливый характеръ. Приводъ къ работѣ совершился, и власти уѣхали, оставивъ на мѣстѣ трехъ-четырехъ казаковъ.

— Вы должны здѣсь дежурить, пока они не начнутъ работать,—сказалъ Данила Павловичъ казакамъ и тоже ушелъ въ контору, находившуюся шагахъ въ двухстахъ отъ мѣста работы.

Въ конторѣ онъ принялся пересматривать счеты и бумаги, разговаривая съ приказчиками и попивая чай. Онъ былъ въ веселомъ настроеніи. Наконецъ, въ комнату вошли двое рабочихъ.

— Вели казакамъ-то уходить, Данила Павловичъ,—проговорили они, хмуро исподлобья смотря на него.

— Какъ уходить? Ихъ начальство приставило дежурить, пока народъ работать не будетъ,—отвѣтилъ онъ.

— Да ужъ будемъ работать,—отвѣтили мужики, почесываясь.—Нѣпто мы это не хотѣли... Извѣстно, смутьяны разные...

— Ну, да вотъ изъ-за нихъ казаки и будутъ стоять...

— Да всѣ будутъ работать, говорятъ тебѣ...

— Ой ли?

— Самъ поди, спроси...

— Ну, посмотримъ!

Данила Павловичъ поднялся съ мѣста и пошелъ на линію. Толпа народа была теперь неузнаваема. Угрюмая и молчаливая, сдержанная и недовѣрчивая утромъ, она теперь оживилась. Вездѣ шелъ говоръ, въ нѣкоторыхъ группахъ слышались смѣхъ и шутки.

— Что же, братцы, надумались работать?—спросилъ Данила Павловичъ.

— Чего бы не работать, только вотъ корма-то плохи,—послышались голоса.

— Все, братцы, будетъ! День на день и у Бога не приходится, сегодня солнце жаритъ, а завтра, глядишь, дождикъ вымочитъ. Такъ это у Бога, а мы люди, тоже всего не запасешь сразу, всего глазомъ не окинешь.

— Казаковъ-то убрать прикажи!—послышались другіе голоса.

— Да что они вамъ мѣшаютъ?

— Да вонъ поспроси Тимошку Шестипалова, да Васютку Головастаго, что мѣшаютъ... Что-жъ не говорите? Ишь, еще и теперь почесываются... Отчехвостили тоже...

Данила Павловичъ усмѣхнулся, но тотчасъ же обратился къ казакамъ:

— Можете идти! Вы больше не нужны!

Онъ подмигнулъ приказчику, чтобы тотъ далъ казакамъ денегъ. Когда они удалились, говоръ сдѣлался еще громче, шутки посыпались градомъ. Всѣ точно вздохнули свободно. Данила Павловичъ объявилъ, что рабочимъ на ночь выдадутъ водки. Онъ шутливо разспрашивалъ съ невиннымъ выраженіемъ лица, почему произошла такая перемѣна. Оказалось, что, оставшись стоять при рабочихъ, казаки обозлились и начали ругать «лежебоковъ», такъ какъ изъ-за нихъ имъ, казакамъ, приходилось стоять на воздухѣ, подъ

знойнымъ солнцемъ. А развѣ они, казаки, для того царю служатъ, чтобы стоять на часахъ около какого-нибудь сисволанаго мужика, если онъ работать не хочетъ? Онъ на боку будетъ лежать, а они дежурь ради него въ полѣ. Брань скоро дошла до того, что казаки пустили въ ходъ нагайки и порядкомъ поколотили лежавшихъ около тачекъ рабочихъ. Толпа, уже соскучившаяся среди бездѣйствія, и не подумала вступиться за своихъ собратьевъ, а увидала во всей этой сценѣ только ея комическую сторону. Дѣйствительно, эти лежащіе у тачекъ рабочіе, эти казаки, дежурящіе около лежащихъ праздно мужиковъ, этотъ взрывъ самолюбія въ оскорбленныхъ своею вовсе не солдатскою обязанностью воинахъ, это полосованіе нагайками удальцовъ-коноводовъ имѣли для толпы своеобразную смѣшную подкладку, какъ легкая драка гдѣ-нибудь у кабака; особенно смѣшно стало толпѣ, когда лежавшіе у тачекъ мужики начинали кричать, что они станутъ работать. Данила Павловичъ, какъ человѣкъ опытный въ своемъ дѣлѣ, зналъ впередъ, что все должно кончиться именно этимъ, такъ какъ онъ уже не разъ прибѣгалъ къ подобнымъ затѣямъ и только улыбался, слушая разсказы уже принявшихся за работу мужиковъ. Но онъ помнилъ и то, что у него пропала половина рабочаго дня по милости такихъ людей, какъ Тимоѳей Шестипалый, и не безъ ненависти взглянулъ на этого «баламута»...

«Въ самомъ дѣлѣ надо съ нимъ покончить», — мысленно рѣшилъ онъ.

Часа два-три спустя, Тимоѳея Шестипалова потребовали въ контору, а оттуда проводили въ городъ. Данила Павловичъ уже заявилъ кому слѣдуетъ, что у Тимоѳея Шестипалова просроченный билетъ. Муратову приходилось заплатить за это штрафъ, а Тимоѳея Шестипалова рѣшено было отправить по этапу на родину, чтобы онъ не бродяжничалъ съ просроченнымъ видомъ. Муратовъ о чемъ-то долго шептался съ какимъ писцомъ и возвратился потомъ домой, потирая руки...

III.

На слѣдующій день Муратовъ долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ, но онъ не забылъ своего обѣщанія побывать у Матрены Кузьминичны.

Довольно рано онъ поѣхалъ въ Ольховатое, куда въ годы дѣтства его такъ часто возили въ торжественные праздники на поклонъ къ его покойному дядѣ Платону Николаевичу

Баскакову. Самодуръ-старикъ, озлобившійся на весь свѣтъ, жилъ въ своемъ помѣстьѣ царькомъ, пріютивъ у себя дочерей своего вдоваго брата Александра Николаевича Баскакова, вѣчно носившагося съ какими-то неисполнимыми проектами. Торжественно, чинно и скучно, какъ какой-то всѣмъ надоѣвшій обрядъ, шла здѣсь однообразная жизнь. Казалось, этой жизни не будетъ и конца, какъ вдругъ все измѣнилось разомъ. Старикъ умеръ скоропостижно, и во владѣніе Ольховатымъ вступилъ Александръ Николаевичъ Баскаковъ. Его дочерей, жившихъ здѣсь прежде, уже не было: одна умерла, другая вышла замужъ за Аркадія Павловича Муратова. Александру Николаевичу приходилось поселиться въ Ольховатомъ одиноко. Но у него была на сторонѣ другая семья, любовница, побочныя дѣти! Эта любовница, Матрена Кузьминична Васильева, была изъ числа его крѣпостныхъ слугъ; не мало горя и радостей пережилъ онъ съ нею, не мало дѣтей прижили они вмѣстѣ. Не долго думая, Александръ Николаевичъ сочетался законнымъ бракомъ съ этой простой, искренно-преданной ему женщиной, и въ Ольховатое перебралась уже цѣлая семья: мужъ, жена, трое дѣтей. Въ барскомъ домѣ началась новая жизнь. Александръ Николаевичъ тотчасъ же рѣшилъ, что наши старые «примитивные» способы сельскаго хозяйства «немыслимы» и «абсурдны» въ нашъ вѣкъ, и сталъ «изучать» и вводить «англійскіе способы» обработки земли. Матрена Кузьминична тоже довольно быстро рѣшила, что комнаты въ Ольховатовомъ точно сараи, что дворъ точно пустырь, а садъ точно кладбище, и стала передѣлывать все на свой ладъ, не дѣлая, впрочемъ, никакихъ затратъ на свои нововведенія; такъ на окнахъ парадныхъ комнатъ появились бутылки съ настойками и маринованными грибками, на дворѣ появились курятники, въ саду на островкѣ, гдѣ былъ «храмъ любви», свидѣтель самыхъ циничныхъ сценъ во времена крѣпостничества, развелись утки; разныя клумбы, украшавшіяся когда-то цвѣтами, были превращены въ гряды моркови, петрушки, картофеля. Дѣти Александра Николаевича, дѣвочка и два мальчугана, выросшіе на волѣ, здоровые, крѣпкіе, какъ крестьянскіе ребятишки, тоже по-своему передѣлали доставшіяся имъ помѣщенія, внесли въ эти помѣщенія слѣды своихъ вкусовъ и наклонностей, навели въ нихъ своихъ пріятелей изъ деревни, наслѣдили и насорили тамъ, гдѣ прежде царствовали аккуратность и чистота нежилыхъ покоевъ. Вмѣстѣ съ семьею Баскакова пе-

ребрался въ Ольховатое и гувернеръ дѣтей Александра Николаевича, бывшій семинаристъ Воздвиженскій, добрый и честный малый, безъ особенныхъ стѣсненій плевавшій прямо на паркетъ и въ горячихъ спорахъ сыпавшій довольно точными опредѣленіями людей и характеровъ въ родѣ «прохвостъ», «мерзавецъ», «подхалима»; перебралась и гувернантка Анна Ивановна Цвѣткова, прозванная Александромъ Николаевичемъ «дѣвицей въ сапогахъ», особа не особенно юныхъ лѣтъ, не особенно высокаго образованія, но чрезвычайно понравившаяся съ перваго взгляда Матренѣ Кузьминичнѣ своими демократическими вкусами, привычками и рѣчами, всѣмъ тѣмъ, что привилось къ ней въ теченіе долгихъ лѣтъ горемычныхъ странствованій по чужимъ домамъ разныхъ россійскихъ губерній и уѣздовъ и въ чемъ уже не прорывалось ровно ничего институтскаго, наивнаго, слащаваго. Эти люди тоже устроили себѣ въ Ольховатомъ свои уголки по-своему и если у Воздвиженскаго появились во всѣхъ углахъ окурки папиросъ, на всѣхъ столахъ Дарвины и Молешоты, а на всѣхъ стульяхъ подтяжки, панталоны и бѣлье, то у Цвѣтковой комната была полна обрѣзковъ разныхъ ситцевъ и шерстяныхъ матерій, такъ какъ она не только учила дѣтей, но и шила, и перешивала все, что ей подвертывалось подъ руку—платье для Матрены Кузьминичны, сорочку для Воздвиженскаго, шаровары для мальчугановъ семьи Баскакова. Заглянувъ однажды въ барскіе хоромы, одинъ изъ старыхъ слугъ Платона Николаевича только вздохнулъ и проговорилъ: «ишь, какъ загадили да запакостили все!» Но — странное дѣло—только теперь въ эти хоромы стало тянуть людей. Прежде сюда ѣздили только по обязанности, по необходимости, теперь сюда стремились отдохнуть простые люди въ родѣ чистопольскаго священника отца Петра Архангельскаго и его семьи, наѣзжавшихъ сюда на недѣли изъ Чистополья,—въ родѣ учителя математики Крестоносцева, «заржавѣвшаго, по его собственнымъ словамъ, въ городѣ за своею цифирью»,—въ родѣ Олимпіады Пахомовны, наѣзжавшей отъ времени до времени съ мужемъ и ребятишками къ тетушкѣ Матренѣ Кузьминичнѣ отдохнуть на вольномъ воздухѣ отъ хозяйства. Самъ Данила Павловичъ, чувствовавшій себя не въ духѣ въ былые дни въ Ольховатомъ, охотно пріѣзжалъ сюда теперь. Не ужился здѣсь только самъ хозяинъ, Александръ Николаевичъ Баскаковъ: англійское сельское хозяйство не удовлетворяло его; ему нужно было болѣе дѣятельное бездѣлье; ему нужно было составлять

какіе-то планы, приводить ихъ въ исполненіе, вѣчно двигаться и вѣчно, въ сущности, ничего не дѣлать. Разъ онъ поѣхалъ въ Петербургъ покупать какія-то машины, и вмѣсто машинъ купилъ совершенно случайно и неожиданно для себя съ торговъ домъ. Онъ тотчасъ же написалъ женѣ, что онъ сбился съ ногъ, подыскивая себѣ домъ въ Петербургѣ, что, наконецъ, ему удалось найти подходящій, что онъ его купилъ, что онъ его передѣлаетъ, что семьѣ нужно жить по зимамъ въ Петербургѣ, такъ какъ этого требуетъ образованіе дѣтей. «Положимъ, они у насъ растутъ американцами, на свободѣ, въ черномъ трудѣ, но все же нужны и умственное развитіе, и дипломы»,—заканчивалъ онъ свое письмо. Онъ былъ уже самъ вполнѣ убѣжденъ, что онъ поѣхалъ въ Петербургъ не за машинами, а для покупки подходящаго дома. Онъ тутъ, по обыкновенію, не лгалъ передъ другими; онъ даже не обманывалъ себя; онъ въ подобныхъ случаяхъ при своемъ пылкомъ воображеніи всегда бывалъ твердо убѣжденъ, что случайно подвернувшееся ему подъ руку дѣло было не случайностью, а завѣтною цѣлью, манившею его къ себѣ издавна. Такихъ завѣтныхъ цѣлей у него въ жизни было не мало: онъ по призванію и табакъ разводилъ, и антрепренеромъ провинціальнаго театра былъ, и гдѣ-то слушалъ лекціи химіи, надѣясь сдѣлаться и мыловаромъ, и производителемъ какихъ-то «химическихъ матеріаловъ», и «изобрѣтателемъ новыхъ способовъ окрашиванія матерій». Къ однѣмъ завѣтнымъ цѣлямъ онъ стремился годъ или два, къ другимъ—его стремленіе охладѣвало въ нѣсколько мѣсяцевъ. Во всякомъ случаѣ горячности и рвенія на первыхъ порахъ онъ выказывалъ въ каждомъ дѣлѣ не мало. То же случилось и теперь. Онъ принялся усердно за перестройку дома и уже не думалъ о возвращеніи къ сельскому хозяйству. Возня съ каменщиками, съ плотниками, съ подрядчиками и архитекторами такъ заняла его, что онъ чувствовалъ себя, какъ рыба въ водѣ. Это все были новые для него люди и каждому изъ нихъ онъ могъ разсказывать безконечное число анекдотовъ изъ своей жизни, каждаго изъ нихъ могъ удивлять своими разнообразными талантами, знаніями, занятіями. Но по мѣрѣ окончанія работъ онъ все чаще и чаще сталъ разсуждать съ архитекторомъ о томъ, что этотъ домъ все-таки старый домъ и потому его нельзя сдѣлать такимъ, чтобы примѣнить къ его постройкѣ всѣ новѣйшія усовершенствованія. Архитекторъ говорилъ, что этотъ домъ можно бы съ выгодой продать, а на вырученныя отъ продажи деньги по-

строить новый, съ разными новѣйшими удобствами. Эта мысль улыбнулась Александру Николаевичу, тѣмъ болѣе, что кругомъ него шла начавшаяся въ то время въ Петербургѣ горячка домостроительства, вездѣ возникали зданія, поражавшія блескомъ внѣшнихъ украшеній, затѣйливостью архитектуры. На счастье Баскакова, навернулся выгодный покупщикъ на купленный имъ домъ, и онъ, не долго думая, продалъ домъ и уговорился съ архитекторомъ съѣздить за границу, чтобы посмотрѣть тамъ на лучшія постройки. Сказано — сдѣлано. Александръ Николаевичъ уже проникся мыслью о постройкѣ не одного дома, а нѣсколькихъ домовъ со всѣми новѣйшими усовершенствованіями. Онъ уже говорилъ о томъ, что Петербургъ нуждается именно въ такихъ постройкахъ, что Петербургу совѣстно отставать отъ другихъ столицъ въ этомъ отношеніи. А переселеніе семьи для окончанія образованія дѣтей въ Петербургѣ? Онъ теперь уже не думалъ объ этомъ и говорилъ, что даже лучше оставить дѣтей расти въ деревнѣ на свободѣ «американцами». Почему-то онъ былъ убѣжденъ, что его дѣти воспитываются по-американски, такъ какъ они растутъ на вольной волѣ, работаютъ по-мужицки, столярничаютъ, занимаются кузнечнымъ дѣломъ, пашутъ, однимъ словомъ, «непринужденно развиваютъ свои естественныя наклонности».

— Это величайшій принципъ педагогики,—съ пафосомъ утверждалъ онъ и клялся торжественно, что онъ никогда не станетъ насиловать вкусовъ дѣтей.—Я изучалъ серьезно этотъ предметъ и никогда не измѣню своихъ взглядовъ на это дѣло!

При такихъ твердыхъ убѣжденіяхъ онъ съ легкимъ сердцемъ укатилъ въ Парижъ для изученія архитектурныхъ стилей и провелъ недурно зиму въ столицѣ Франціи. Къ веснѣ начались и его постройки въ Петербургѣ, при чемъ заложено было въ банкѣ Ольховатое. Теперь Александръ Николаевичъ былъ уже весь погруженъ въ финансовые расчеты съ одной стороны, а съ другой—въ разъѣзды по заводамъ и фабрикамъ, въ разсматриванье разныхъ образцовъ паркетовъ, мраморовъ, кирпичей, изразцовъ. Какое отопленіе устроить въ домахъ? Какія печи практичнѣе? Нужны ли камины по нашему климату и какіе камины? Всѣ эти вопросы были для него вопросами государственной важности. Ихъ обсуждалъ онъ съ компаніей архитекторовъ и заводчиковъ и у Бореля, и у Дюссо, и у Доротта. Онъ былъ вѣчно озабоченъ, вѣчно въ движеніи, и когда онъ появлялся съ

пріятелями въ модныхъ ресторанахъ, то казалось, что онъ и пьетъ, и ѣстъ на ходу. Среди самыхъ оживленныхъ бесѣдъ о театрѣ, о кокоткахъ, о политикѣ, онъ вдругъ дѣлалъ серьезное лицо, отходилъ въ уголъ, съ глубокомысленнымъ видомъ ощупывалъ печь, щелкая по ней пальцами, и замѣчалъ:

— А что вы ни говорите, а наши старыя изразцовыя печи лучшій способъ отопленія!

Или обращался озабоченно къ архитектору и говорилъ:

— Батенька, къ Бѣляеву-то мы и не съѣздили посмотрѣть паркеты; надо вѣдь все десять разъ переговорить, прежде чѣмъ что-нибудь выбрать.

Иногда, проѣзжая по какимъ-нибудь захолустнымъ улицамъ Петербурга, онъ глубокомысленно и сосредоточенно обозрѣвалъ разные пустыри, лачуги и заборы, и замѣчалъ:

— Все это надо уничтожить! Этотъ домъ срыть! Здѣсь улицу провести, тамъ разбить скверъ!

По его лицу пробѣгала улыбка полнаго счастія и душевнаго благодушія при мысли о томъ, какъ удивятся его «Матрона» и его «американцы», пріѣхавъ въ Петербургъ и узнавъ, что тутъ цѣлыя улицы, что тутъ скверы носятъ названіе «баскаковскихъ».

— Простота деревенская! Имъ все въ диво!..

Казалось, онъ рѣшился перестроить и пересоздать весь Петербургъ. Проходя гдѣ-нибудь по набережной Фонтанки и видя выгружаемый съ барокъ кирпичъ, онъ останавливался съ видомъ знатока, бралъ въ руки одинъ изъ кирпичей, щелкалъ по немъ пальцами, поднося его поближе къ уху, и тотчасъ же сообщалъ:

— Стоитъ столько-то, съ завода такого-то. Я не беру подобнаго кирпича, у меня съ такимъ кирпичомъ заводчикъ обратно бы домой прогулялся.

Этотъ апломбъ поражалъ даже спеціалистовъ. Всѣ говорили про Баскакова:

— Знаетъ человѣкъ дѣло! Его не проведешь!

Его уважали за его практичность еще болѣе, потому что онъ могъ также съ видомъ спеціалиста говорить о театрѣ, о разведеніи табака, о мореплаваніи, объ Америкѣ.

— Гдѣ-гдѣ не бывалъ этотъ человѣкъ и все-то онъ знаетъ,— говорили про него.

Особенно любилъ онъ огорошивать молодежь и новичковъ разсужденіями о томъ, что вся наша бѣда въ недостаткахъ спеціальныхъ знаній и практической подготовки.

— Мы все латынь какую-то учимъ и витаемъ въ облакахъ, когда нужно умѣть квасъ дѣлать, да хлѣбъ печь, да черную работу справлять.

А Матрена Кузьминична то-и дѣло получала письма съ требованіями денегъ и денегъ. Она безропотно высылала все, что получалось съ имѣнія, а имѣніе давало не мало, хотя хозяйство и велось теперь не на англійскій ладъ, а на русское «какъ Богъ на душу положитъ».

Матрена Кузьминична была своеобразнымъ человѣкомъ. Ея любовь къ Александру Николаевичу была безпредѣльна, хотя, повидимому, эта любовь и прошла цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ измѣненій. Сначала Матрена Кузьминична была просто любовницей изъ крѣпостныхъ, рядилась и «фыркала» на дворню; потомъ, когда Баскаковъ пересталъ быть для нея бариномъ, и когда онъ все-таки продолжалъ поддерживать съ нею связь, она превратилась въ мать семейства, и среди этой семьи любимымъ баловнемъ-ребенкомъ сдѣлался онъ; въ немъ для нея все было хорошо, и его не по лѣтамъ молодыя увлеченія, и его краснорѣчіе, и его ласки. Она его и журила, какъ мать, и баловала, какъ мать. Когда онъ на ней женился, она вовсе не возгордилась; она даже какъ будто не сознавала, насколько она стала богата. Она вступила въ Ольховатое скорѣе какъ ключница, какъ управительница, какъ опекунша, чѣмъ какъ барыня. Ни разу она не возразила Александру Николаевичу на его желанія купить тѣ или другія машины, возвести ту или другую постройку. И то сказать, она всѣмъ и каждому только о томъ и твердила:

— И всего у насъ теперь вволю, только птичьяго молока недостаетъ, такъ что и желать нечего.

Чего же ей было задумываться о томъ, что мужъ бросаетъ деньги на вѣтеръ? Ихъ «такая прорва», что только успѣвай обирать.

— Тамъ хлѣбъ продашь, тутъ овесъ купятъ, здѣсь масло, творогъ и сметана требуются въ городъ,—говорила она.— Да однихъ яицъ ѣдимъ, ѣдимъ, а все продавать еще приходится. Что-жъ не дурить Александру Николаевичу! Пусть его тѣшится.

Но залогъ имѣнія немного смутилъ ее. Она помчалась къ Даніилѣ Павловичу разспрашивать, какъ и что будетъ: явятся ли въ имѣніе люди, взявшіе въ залогъ имѣніе? не помѣшаютъ ли они ей хозяйничать? можетъ ли она распоряжаться доходами? Даніила Павловичъ успокоилъ ее, сказавъ,

что она попрежнему остается полной хозяйкой и что никто въ ея дѣла вмѣшиваться не можетъ. Она успокоилась снова. Только когда Александръ Николаевичъ потребовалъ, чтобы хлѣбъ былъ проданъ на корню—она уже совсѣмъ растерялась. Начались переговоры съ Данилой Павловичемъ, и онъ отчасти открылъ глаза Матренѣ Кузьминичнѣ на положеніе дѣла...

Онъ теперь ѣхалъ съ цѣлью еще болѣе просвѣтить ее. «Жаль, если баба по-міру пойдетъ изъ-за затѣй своего дурака-мужа»,—думалъ онъ, и гдѣ-то въ далекомъ уголкѣ мозга у него промелькнула мысль: «да еще и на шею намъ потомъ съ дѣтьми сядетъ». Эта мысль все серьезнѣе и серьезнѣе начала озабочивать Данилу Павловича, и онъ рѣшился твердо «настроить бабу, какъ слѣдуетъ, и спасти ей хоть что-нибудь, если дѣло дойдетъ до разоренія». Онъ вдругъ даже проникся совсѣмъ родственными чувствами къ Матренѣ Кузьминичнѣ и ея дѣтямъ, и мысленно называлъ ихъ «простыми малыми», «хорошими людьми». Никогда еще въ жизни не проявлялъ онъ такой готовности помочь ближнимъ, какъ теперь. Правда, это ему ничего не стоило, и даже могло въ будущемъ избавить его отъ непріятныхъ попрошайствъ со стороны обнищавшей семьи. Но сознанія этого у Даниды Павловича не было: онъ теперь просто благодушествовалъ, какъ человѣкъ, сознающій, что онъ поспѣетъ какъ разъ во-время на помощь ближнему, и что всѣ его усилія на эту очень существенную помощь могутъ ограничиться простыми разговорами, разъясненіями, совѣтами. Это сознаніе совсѣмъ развеселило Муратова, и онъ пріѣхалъ въ Ольховатое въ отличномъ настроеніи духа. Всю семью онъ засталъ за обѣдомъ.

— Данила Павловичъ, милости просимъ! ужъ я думала, что не пріѣдешь!—воскликнула радушно Матрена Кузьминична, увидавъ его и идя ему навстрѣчу.—Мы вотъ обѣдать собрались.

Данила Павловичъ поздоровался съ нею, съ ея дѣтьми, съ Воздвиженскимъ и съ Анной Ивановной Цвѣтковой.

— Обѣщалъ, такъ не обману,—отвѣтилъ онъ.

— Ну, да вѣдь ты, батюшка, тоже крѣпостной человѣкъ своего дѣла,—сказала Матрена Кузьминична.—Иной разъ и радъ бы въ рай, да грѣхи не пускаютъ... Ну, садись съ нами за столъ...

Данила Павловичъ сѣлъ къ столу между двумя плотными, загорѣлыми, одѣтыми по-русски юношами лѣтъ пятнадцати и шестнадцати, сыновьями Матрены Кузьминичны.

— Да, дѣла много, вчера особенно уморился. Съ работниками возился. Бѣда, что за народъ, — сказалъ Данила Павловичъ.—Упарился совсѣмъ.

— Ну, а у насъ ботвинья, вотъ и выйдетъ, что вчера упарился, а сегодня отойдешь немного,—пошутила Матрена Кузьминична.—Знаю я, каково тоже на жарѣ съ рабочимъ народомъ возиться. Спасибо, у меня еще мои молодцы, да Андрей Степановичъ меня въ полѣ замѣняютъ...

Данила Павловичъ обратился къ своимъ двоюроднымъ братьямъ:

— Сами присматриваете?

— Да мы, почитай, все время въ полѣ. Работы много,— отвѣтили разомъ юноши.

— Они, знаешь, на что другое лѣнивы, а въ полѣ ни одинъ батракъ не угоняется за ними въ косьбѣ, либо въ какой другой работѣ,—сказала мать.

— Такъ и надо, черный-то трудъ нужнѣе всего,—сказалъ Данила Павловичъ.

Онъ выпилъ водки и принялся съ аппетитомъ за сытный обѣдъ.

Взглянувъ на собравшихся здѣсь людей, трудно было повѣрить, что это семья одного изъ Баскаковыхъ. Семья напоминала скорѣе семью какого-нибудь подрядчика изъ крестьянъ, чѣмъ семью родовитаго барина. Здѣсь все было просто, начиная съ сытныхъ блюдъ и кончая одеждами, красными рубахами молодыхъ людей, русскимъ платьемъ семнадцатилѣтней дочери хозяйки, ситцевыми платьями гувернантки и Матрены Кузьминичны, не снявшей съ себя даже передника.

— Имъ, батюшка, безъ чернаго труда не обойтись, самъ знаешь,—сказала Матрена Кузьминична и съ горечью добавила: — особливо, какъ начнемъ хлѣбъ на корню продавать...

— Ну, это-то пустяки!—проговорилъ рѣзко и грубовато старшій сынъ Николай.—Кулаковъ-то, да міроѣдовъ нечего обогащать.

— А вы имъ сообщали объ этомъ? — спросилъ Данила Павловичъ.

— Да вѣдь они и письмо-то мнѣ читали,—отвѣтила Матрена Кузьминична.—Тоже онъ тамъ нацарапаетъ, такъ не скоро я разберу его маранье. На мѣдныя деньги обучена-то. Да потомъ, съ кѣмъ же мнѣ и посовѣтоваться, какъ не съ своими ребятами? Вотъ къ тебѣ они послали, да не удалось

толкомъ переговорить. А дѣло-то это такое, что просто подъ ребро меня поддѣло.

Матрена Кузьминична опустила вилку и ножъ, и съ выразительными жестами простой женщины, стуча пальцами въ грудь и разводя руками, заговорила:

— Ты самъ посуди, я баба простая, у меня на рукахъ и хозяйство, и куры, и свиньи, и тоже семья; я одна, я и туда, я и сюда, я и въ третье мѣсто, а онъ только знай что денегъ, денегъ, да денегъ требуетъ. Конечно, все его. Мнѣ не жаль. Мнѣ его денегъ не нужно...

— Какъ не нужно? — отрывисто замѣтилъ Данила Павловичъ.

— Да Богъ съ ними, кабы онѣ были. А только гдѣ я ему возьму денегъ лѣтомъ? Свиныхъ сыновъ мнѣ, что ли, не поеннымъ на базаръ, за грошъ везти? Или хлѣбъ, какъ онъ отписываетъ, на корню продать за полцѣны, курамъ на смѣхъ, подлецамъ на разживу?

Матрена Кузьминична перемѣнила тонъ и нѣжнымъ голосомъ проговорила:

— А хлѣба-то какіе здѣсь, Данила Павловичъ! Самъ лучше меня знаешь! Въ ростъ человѣка солома-то, а колосъ—говорить нечего—смотрѣлъ бы, не насмотрѣлся бы! Одно слово благодать, благодать Божія! И экій-то хлѣбъ на корню какому-нибудь кровопійцѣ продать. Да отсохни мои руки, если я возьму за такой хлѣбъ на корню деньги.

— Тоже бились, бились и по осени, и по веснѣ съ землею-то, а тутъ, на, поди, продавай, все за грошъ,—сказалъ старшій сынъ.

— Я очень радъ, что и вы такъ на это дѣло смотрите,— замѣтилъ Данила Павловичъ.—А я ужъ думалъ, что опять поблажка дядѣ будетъ. Дѣло-то теперь идетъ серьезное, Матрена Кузьминична. Вы, можетъ-быть, даже и не подозрѣваете, что вамъ грозитъ. Дядя, кажется, зарвался со своими постройками, и никакія продажи хлѣба на корню не выручатъ его изъ бѣды.

— Какъ изъ бѣды? Изъ какой бѣды?—всполошилась Матрена Кузьминична и испуганными глазами взглянула на Муратова.

— Да я думаю, что онъ надѣлалъ неоплатныхъ долговъ.

Матрена Кузьминична еще шире открыла глаза.

— Да какъ же такъ? Вѣдь я же ему посылала?

— Да и имѣніе онъ заложилъ.

— Ну!

— Ну, и всего этого мало.

— Да куда же онъ могъ этакую прорву денегъ истратить?

— А постройка домовъ?

— Ну да, такъ, значитъ, теперь дома есть...

— Да, есть они, а доходу покуда съ нихъ нѣтъ...

— Да вѣдь денегъ-то они стоятъ. Продать-то ихъ можно.

— Можно. Ихъ и продадутъ, можетъ-быть, съ молотка за полцѣны. И имѣніе продадутъ.

— Господи, такъ что же это будетъ! — воскликнула, всплеснувъ руками, Матрена Кузьминична.

Она совсѣмъ растерялась и смотрѣла съ недоумѣніемъ то на того, то на другого изъ присутствующихъ.

— А то, что безъ угла останемся,—замѣтилъ старшій сынъ.

Данила Павловичъ серьезно проговорилъ:

— Очень можетъ быть. Но потому-то и надо теперь что можно приберечь да припрятать на черный день.

— А Александра Николаевича въ тюрьму-то, въ яму-то за долги не могутъ посадить? — спросила Марья Кузьминична испуганнымъ тономъ.

— Ну, до этого еще далеко,—отвѣтилъ Муратовъ.—Да я и не знаю его дѣлъ, я только высказываю свои предположенія. Можетъ-быть, дѣла вовсе не такъ дурны, какъ я думаю...

— Ну да! Дѣла—какъ сажа бѣла!—проворчалъ старшій сынъ.

— Да молчи ты, Николка!—прикрикнула Матрена Кузьминична.—Пусть Данила Павловичъ все намъ объяснитъ. Тоже темные мы люди. Ничего-то мы не знаемъ. Что же дѣлать-то намъ?

— Беречь деньги—вотъ все, что могу я посовѣтовать покуда,—сказалъ Муратовъ.—Не посылайте больше ни гроша Александру Николаевичу.

— Батюшка, да если онъ въ такой бѣдѣ...

— Грошами вы дѣла теперь не поправите, а каждая копейка нужна на черный день для него же. Вы вотъ это-то помните, а то я вѣдь васъ знаю, вы все готовы ему отдать.

— Да вѣдь все его и есть. У насъ нашего-то что? Ничего своего ни за нами, ни передъ нами.

Она обернулась къ гувернанткѣ:

— Вотъ карты-то и правду сказали. Вчера прикинула на него: большія хлопоты и душевная тревога вышли, такъ оно и есть дѣло-то.

— У васъ ужъ всегда такъ выходитъ, какъ только на Александра Николаевича загадаете, — отрывисто сказала гувернантка.

— Да, всегда такъ, потому что у него большія хлопоты и душевная тревога. Человѣкъ ужъ такой.

Обѣдъ, между тѣмъ, пришелъ къ концу. Матрена Кузьминична перецѣловалась со всѣми и проговорила Даніилѣ Павловичу:

— Ну, ужъ теперь я вплоть до твоего пріѣзда изъ Петербурга въ одурѣніи, ровно потерянная, ходить буду... Такъ вотъ мнѣ все и будетъ мерещиться, что его въ яму сажаютъ...

— Ну, объ этомъ и не думайте!—отвѣтилъ Муратовъ.— Думайте объ одномъ, какъ бы денегъ прикопить, да припрятать побольше. И вамъ, и ему онѣ пригодятся.

— У меня ужъ кое-что и есть. Больше полтыщи, должно-быть, есть,—сказала Матрена Кузьминична таинственно.— Откладывала тоже...

— Какъ? Только?—удивился Данила Павловичъ.

— Да на что же намъ было? Слава Тебѣ, Господи, жили на всемъ на готовомъ, что выручала, то ему и отсылала.

— Ну, не думалъ я, что вы такая,—сердито проговорилъ Данила Павловичъ и запнулся, чуть не сказавъ: «дура».—Нужно было и о черномъ днѣ подумать.

— Да какъ же о немъ было думать, когда въ экій рай попали,—сказала Матрена Кузьминична.—Вѣдь ты взгляни, чего у насъ нѣтъ: и птица, и скотина, и лѣса, и поля, и огороды...

Она вдругъ что-то вспомнила и дотронулась до руки Данилы Павловича съ сладкою и таинственною улыбкой на лицѣ.

— А помнишь бычка-то холмогорскаго, что запрошлымъ лѣтомъ выписали! Племя вѣдь пошло. Телочки, ну, вотъ точка въ точку въ него вышли! А-ахъ, и что это за красота, такъ я тебѣ и описать словами не умѣю... Вотъ пойдемъ ужо на скотный дворъ; кстати на птичникѣ покажу, какихъ я индюшекъ завела. По осени вотъ Липѣ пришлю на жаркое своихъ вскормленныхъ...

Матрена Кузьминична задумалась.

— Всего-то этого лишиться, всего!—задумчиво проговорила она, качая головой.

По ея мясистымъ щекамъ медленно потекли слезы.

— Полноте, Матрена Кузьминична, — сказалъ Данила Павловичъ.—Все будетъ, только постучайте осмотрительно

и разсчетливо. Безъ моего вѣдома копейки не посылайте дядѣ. Я завтра же ѣду въ Петербургъ и все разузнаю. Тогда и сообразимъ, какъ поступать и что спасти можно. Всего, конечно, не спасете, а все же нищими не останетесь.

— Да я, голубчикъ, бѣдности да труда не боюсь, они тоже,—проговорила Матрена Кузьминична, указывая на дѣтей:—а такъ взгрустнулось, что вотъ все это теперь есть, и телки, и индюшки...

Она вдругъ оборвала рѣчь и совсѣмъ бодро проговорила:

— Ну, да съ Богомъ спорить не станешь! Сегодня далъ, завтра взялъ, можетъ, это даже и во спасеніе наше! Тоже зазнается человѣкъ въ изобиліи-то.

Она усмѣхнулась.

— Глядишь, тогда и соколъ нашъ вернется во-свояси, какъ крылья-то пообшибутъ въ столицѣ-то, въ Питерѣ-то... Ужъ вѣдь онъ этакъ-то не разъ леталъ-леталъ, а потомъ хроменькимъ да тощенькимъ къ той же Матренѣ Кузьминичнѣ подъ крылышко возвращался...

Она покачала головой.

— И когда это онъ у насъ на свою жердочку навсегда усядется? Вѣдь ужъ пора бы угомониться! Такъ нѣтъ, прыти этой самой ему одному на трехъ человѣкъ отпущено. За то только и полюбила съ самаго первоначалу...

Затѣмъ Матрена Кузьминична повела Данилу Павловича на скотный дворъ и въ птичникъ. Она не могла удержаться, чтобы не показать своихъ сокровищъ. Осматривая все это, Муратовъ понялъ, что дѣйствительно можно всплакнуть, теряя такое хозяйство. Это была въ полномъ смыслѣ слова полная чаша и, нужно прибавить, чаша замѣчательно чистая. На всемъ лежали слѣды того, что за всѣмъ этимъ смотритъ хозяйскій опытный глазъ, что всего этого касается простая, рабочая и притомъ замѣчательно чистоплотная хозяйская рука. Данила Павловичъ впервые съ интересомъ всмотрѣлся въ это хозяйство. Прежде онъ не обращалъ на это вниманія, бывая у тетки. Его поразилъ не только здоровый и веселый видъ животныхъ, но и видъ работницъ и работниковъ. Всѣ эти люди были плотные, здоровые, бодрые, и сама Матрена Кузьминична среди этихъ бабъ съ подоткнутыми подъ пояса юбками, съ здоровыми и бѣлыми обнаженными руками, среди этихъ молодыхъ работниковъ въ чистыхъ ситцевыхъ рубахахъ, и съ бойкимъ видомъ, казалась старшей между равными, а не хозяйкой. Ея сыновья, ея дочь среди этихъ людей были тоже своими людьми, ни-

чѣмъ не отличались отъ нихъ. Данилу Павловича поразилъ даже тотъ тонъ, какимъ говорили всѣ эти люди о животныхъ. Матрена Кузьминична, поглаживая какую-нибудь корову, заявляла: «это вѣдь моя вскормленница, при мнѣ и родилась отъ Рыжухи». Сыновья Матрены Кузьминичны съ блестящими отъ восторга глазами и ласковыми улыбками похлопывали какого нибудь жеребчика и заявляли, что это «такой конь, что и цѣны ему нѣтъ». Они всѣ говорили объ этихъ животныхъ, точно о своей роднѣ, о своихъ питомцахъ. Оказалось, что у Маши, дочери Матрены Кузьминичны, на-днях горе случилось—ея телочка захворала.

— Ужъ Маша плакала, плакала, спасибо, Никанорка запрягъ въ бѣгунцы своего «Стрѣльца» да привезъ ветеринара, тотъ и помогъ телкѣ...

Данилѣ Павловичу даже смѣшно стало: никогда въ жизни не испытывалъ онъ этихъ чувствъ. Онъ былъ бы страшно пораженъ потерею благосостоянія, но, теряя благосостояніе, онъ даже и не задумался бы о томъ, продадутъ или не продадутъ его лошадей и коровъ. Тутъ же люди очень равнодушно смотрѣли на то, что отецъ семьи броситъ на вѣтеръ всѣ доставшіеся по наслѣдству капиталы и вырученныя отъ хозяйства деньги, и готовы были плакать о томъ, что у нихъ отнимутъ ихъ «Рыжухъ» и «Стрѣльцовъ». Сыновья Матрены Кузьминичны такъ же относились и къ хлѣбу: имъ было жаль продать его на корню, потому что они какъ бы сами вырастили его; ихъ мучило бы сознаніе, что этотъ дозрѣвающій хлѣбъ уже не нихъ, что онъ уже чужой. «Глупый народъ,—мысленно рѣшилъ Данила Павловичъ.—И то сказать, они деньгамъ и цѣны не знаютъ». Отчасти онъ былъ правъ, по крайней мѣрѣ, относительно Матрены Кузьминичны; въ ея головѣ большія цифры укладывались плохо, и она, какъ это ни было странно, готова была скорѣе торговаться изъ-за пяти или десяти рублей при той или другой покупкѣ и продажѣ, чѣмъ размышлять о томъ, сто или двѣсти тысячъ ухлопалъ на домъ ея мужъ.

Находившись до усталости по конюшнямъ и хлѣвамъ, по птичникамъ и огородамъ, Данила Павловичъ сталъ собираться ѣхать. Но Матрена Кузьминична ни за что не отпускала его безъ чаю, говоря, что чай мигомъ приготовятъ, что это ужъ расчета ему во времени не составитъ. Онъ остался. Пока хозяйка хлопотала о чаѣ, Муратовъ заговорилъ съ двоюродными братьями и Воздвиженскимъ.

— Вы ужь, господа, не давайте Матренѣ Кузьминичнѣ размягчаться. Она, пожалуй, получитъ отъ дяди еще слезное письмо и растаетъ,—говорилъ онъ:—а тутъ нужна твердость.

— Ужь чего тутъ потакать, коли дѣло-то такъ пошло,—сказалъ старшій сынъ Баскакова.—Точно малолѣтокъ нашъ Александръ Николаевичъ, самъ въ петлю лѣзетъ. Набаловала его мать тоже!

— Онъ, Данила Павловичъ, письма-то уже такія пронзительныя пишетъ, что мать, какъ станутъ ей читать ихъ, такъ сейчасъ подопретъ щеку рукой и сама въ слезы,—замѣтилъ младшій братъ, Александръ.

— Да, соловьемъ заливается нашъ Александръ Николаевичъ, вотъ какъ ты, когда «Вороного» купить хотѣлъ,—замѣтилъ ему Воздвиженскій.

— Такъ я «Вороного» на племя просилъ купить, я не въ трубу деньги пустить хотѣлъ,—запальчиво загорячился Александръ и тотчасъ же обратился къ Муратову:—За такого коня, Данила Павловичъ, отдай все и то мало. Видѣли? Вѣдь правду я говорилъ, что упустить изъ рукъ такого коня, такъ лучше и не жить.

— Ну, и настоялъ-таки на своемъ, значитъ?—спросилъ Данила Павловичъ.

— Еще бы?—шутливо сказалъ Воздвиженскій.—У него отъ этихъ просьбъ-то даже животъ къ ночи подвело! Ну, Матрена Кузьминична сейчасъ липоваго цвѣту ему и утѣшенія: «куплю, куплю, только не стони».

Александръ покраснѣлъ, насупился, но тотчасъ же засмѣялся:

— Это я не съ горя, а квасу много въ тотъ день на работѣ выцѣдилъ; на споръ дѣло шло, кто больше наработаетъ, я или Никитка Ивановъ; ну, наработалъ я больше да упарился знатно, напился квасу, животъ и схватило...

— А Ольховатое-то продавать не сейчасъ будуть?—спросилъ братъ Николай.

— Можетъ-быть, и совсѣмъ не будутъ продавать,—сказалъ Данила Павловичъ.—Во всякомъ случаѣ дѣло протянется долго.

— Мы лошадей и коровъ не дадимъ,—рѣшилъ братъ Александръ.—Это наша скотина.

— Какая же ваша, тутъ все Александру Николаевичу принадлежитъ,—замѣтилъ Данила Павловичъ.—Если что и можно будетъ спасти, то надо будетъ тайкомъ сдѣлать. Ну, да это еще можно будетъ обсудить. Теперь же только хло-

почите, чтобы мать ничего не давала отцу да приберегала деньги. А то съ ея пятьюстами рублями далеко не уѣдете.

— Ну, это-то пустяки! — коротко сказалъ Николай. — Вонъ другіе мужики-то на полтысячи какое хозяйство заводятъ, коли работники въ домѣ есть. А, конечно, больше будетъ, лучше будетъ...

— Да къ тому же намъ только землю нужно, а скотину мы не дадимъ,—опять замѣтилъ братъ Александръ.—Да я лучше застрѣлю «Вороного», а не отдамъ...

Въ его глазахъ сверкнулъ огонекъ, напоминавшій выраженіе, появлявшееся въ глазахъ самого Данилы Павловича и въ глазахъ покойнаго Платона Николаевича Баскакова.

Въ это время подали чай.

Снова начались разговоры, и Данилу Павловича опять удивило, что семья, повидимому, все-таки не понимала размѣровъ грозящей ей бѣды. Всѣ были снова бодры и веселы. Всѣ начали даже подшучивать надъ тѣмъ, какъ это къ нимъ вернется ихъ «строитель» на палочкѣ верхомъ, какъ онъ будетъ «бобы разводить». Вообще отношенія здѣсь всѣхъ къ отсутствующему Баскакову походили на отношенія къ избалованному, любимому ребенку: его и пугнуть, и головомойку ему зададутъ за шалости, но это такъ только, ради приличія, а не изъ потребности быть строгими. Муратову даже досадно стало, что они всѣ такіе «глупые». Ему хотѣлось сказать, что это потому, что они «горя еще не видали». Но тотчасъ же ему вспомнилась былая жизнь этой семьи, и онъ пожалъ плечами:

— Нѣтъ, горя-то они видѣли много... Обтерпѣлись, что ли?.. Или это просто тупость?—задавалъ онъ себѣ вопросы.

IV.

Пріѣхавъ въ Петербургъ и нанявъ у дебаркадера перваго попавшагося извозчика, Данила Павловичъ не безъ удивленія сталъ вглядываться въ физіономію столицы. Залитый яркими лучами лѣтняго утренняго солнца, городъ имѣлъ странный видъ: казалось, онъ весь перестраивался, передѣлывался, обновлялся. Признаки домостроительной горячки бросались въ глаза повсюду. Лѣса около домовъ встрѣчались въ каждой улицѣ, въ каждомъ переулкѣ. Въ то же время шла дѣятельная перестилка мостовыхъ. Рабочіе попадались на каждомъ шагу. Вездѣ пахло известью, асфальтомъ. Добравшись до дома Александра Николаевича

Баскакова, Муратовъ соскочилъ съ дрожекъ, взялъ свой ручной чемоданчикъ и направился къ подъѣзду.

Домъ Баскакова былъ, что называется, съ иголочки, новенькій, изящный и красивый, какъ роскошный кондитерскій пирогъ. Масса лѣпныхъ украшеній, свѣжая масляная краска стѣнъ, подъѣзды съ зеркальными стеклами въ дверяхъ, съ бронзовыми украшеніями, все блестѣло и сверкало на солнцѣ. На подъѣздѣ пріѣзжаго встрѣтилъ швейцаръ въ длинномъ сюртукѣ съ металлическими пуговицами, съ позументомъ на фуражкѣ. Широкая лѣстница поразила Данилу Павловича своимъ изяществомъ и просторомъ. Тутъ было свѣтло, какъ въ фонарѣ: свѣтъ лился сверху изъ стеклянной крыши, съ боковъ сквозь зеркальныя окна и изъ зеркальныхъ дверей подъѣзда. Каминъ съ каріатидами, бѣлыя съ сѣрымъ мраморныя ступени, лѣпныя бѣлыя стѣны, легкія бѣлыя перила съ затѣйливыми узорами, цвѣты на площадкахъ у оконъ, все это было замѣчательно роскошно. На лѣстницѣ не было въ настоящую минуту ковра, но подъ каждой ступенькой были мѣдныя кольца съ продѣтыми въ нихъ мѣдными же прутьями, предназначавшимися для укрѣпленія ковра. Данила Павловичъ спросилъ, у себя ли хозяинъ дома. Швейцаръ отвѣтилъ утвердительно. Муратовъ пошелъ наверхъ, оставивъ чемоданъ у швейцара. Онъ поднялся до бель-этажа и не успѣлъ дотронуться до пуговки электрическаго звонка, какъ тяжелая краснаго дерева дверь отворилась. Швейцаръ снизу далъ знать о посѣтителѣ. Муратовъ сказалъ лакею, въ черномъ фракѣ и бѣломъ жилетѣ, свою фамилію. Черезъ минуту его пригласили въ кабинетъ. Гостиная, залъ и кабинетъ, всѣ комнаты были просторны, высоки, обременены лѣпною работою. Паркетъ половъ вездѣ состоялъ изъ затѣйливыхъ узоровъ. Надъ мраморными каминами были гирлянды лѣпныхъ цвѣтовъ, амуры, каріатиды. Обои на стѣнахъ были охвачены узорчатыми рамками изъ золоченыхъ багетовъ. Несмотря на всю эту роскошь, въ комнатахъ былъ безпорядокъ: образцы обоевъ, багетовъ, лѣпныхъ украшеній, изразцовъ лежали повсюду, и вездѣ, и на лѣстницѣ, и въ комнатахъ, пахло известью, штукатуркой, не было еще жилого запаха. Данила Павловичъ на ходу окидывалъ глазами всѣ мелочи этой обстановки и въ его глазахъ ясно читалось выраженіе иронiи и презрѣнія. Пройдя торопливо нѣсколько комнатъ, онъ вошелъ въ кабинетъ хозяина и засталъ Александра Николаевича среди хаоса всякихъ образцовъ строи-

тельныхъ принадлежностей, окруженнаго нѣсколькими посторонними лицами. Баскаковъ, сильно потолстѣвшій, значительно облысѣвшій, съ серебристой просѣдью, но все еще подвижной и оживленный, бросился къ племяннику съ распростертыми объятіями.

— Данила, какими судьбами? Надолго ли?—воскликнулъ онъ, широко обнимая и крѣпко цѣлуя племянника.

— По дѣламъ, дней на пять, на шесть, прямо съ желѣзной дороги,—отвѣтилъ Данила Павловичъ.

— А вещи гдѣ?

— Я на лѣстницѣ чемоданчикъ оставилъ, внизу; къ вамъ завернулъ только для того, чтобы обнять васъ, а потомъ въ гостиницу куда-нибудь...

— Сумасшедшій! сумасшедшій! Да развѣ я пущу? У меня тутъ полкъ помѣстить можно, а онъ въ гостиницу! Иванъ! Возьми у швейцара чемоданъ барина и принеси сюда!

Лакей вышелъ.

— Но я васъ стѣсню,—началъ Данила Павловичъ.

— Молчи, молчи! Вотъ чудачина-то! Онъ меня стѣснитъ! Ха-ха-ха! Что выдумалъ!

Баскаковъ еще разъ обнялъ племянника и шепнулъ ему:

— А ужъ какъ же мы кутнемъ, mon bon!

И онъ чмокнулъ кончики пальцевъ.

— Здѣсь, братъ, все это тонко можно устроить! Если бы не дѣла, право, заметался бы совсѣмъ тутъ! Но ахъ, дѣла, дѣла! Ты взгляни, чего тутъ нѣтъ. Все это надо пересмотрѣть, попробовать! Вѣдь у меня цѣлое домостроительное министерство!.. Нѣтъ, каковъ домъ-то я воздвигъ? А? видѣлъ? Да это что! Другіе дома во сто разъ лучше будутъ. Ты знаешь, я планъ одного дома три раза передѣлывалъ и каждый разъ мнѣ возвращали его назадъ. Почему! Какъ думаешь?

— Право, не знаю.

— Роскошенъ слишкомъ показался! Лучше дворцовъ бы вышелъ. Такъ и помѣтка была сдѣлана: «упростить». А? Упростить! Золотые купола хотѣлъ я пустить. Въѣздъ къ дому подъ колоннадой хотѣлъ сдѣлать. Лучше, чѣмъ у Эрмитажа. Право! Архитекторъ нарочно для моего дома въ Италію ѣздилъ. Изучалъ стиль лучшихъ палаццо въ Венеціи. Талантливъ, бестія. Посмотрѣть —обезьяна, а увидишь работы его—геній, геній!

Послышалось легкое покашливанье, точно кто-то хотѣлъ заявить о своемъ существованіи.

— Такъ какъ же Александръ Николаевичъ, камины-то сѣрые пустимъ аль бѣлаго мрамора? — вдругъ раздался голосъ одного изъ присутствующихъ не то купцовъ, не то мѣщанъ.

— Ахъ, да, камины... Забылъ совсѣмъ, братецъ, что не кончилъ... Ты меня извини, mon cher, я сейчасъ... Вотъ сигары...

Александръ Николаевичъ засуетился, порылся на столѣ и подалъ племяннику ящикъ съ дорогими сигарами съ золочеными кончиками.

— Мы сейчасъ будемъ завтракать, я въ минуту раздѣлаюсь... Да, такъ насчетъ каминовъ... Я думаю, братецъ, что для гостиныхъ сѣрые лучше, а для залъ непремѣнно бѣлые. Мы такъ и уговаривались съ Карломъ Карловичемъ. Ты къ нему заверни и рѣшайте безъ меня...

— Тоже подоконники, значитъ, изъ одного матерьяла пущать съ каминами?

— Да, да, непремѣнно! Ахъ, ты, чудакъ! Какъ же иначе? Все должно гармонировать одно съ другимъ. Я уже говорилъ объ этомъ съ Карломъ Карловичемъ. Онъ тебѣ объяснитъ.

Мѣщанинъ усмѣхнулся.

— Пальцами все больше; на языкъ-то тоже не боекъ... Только ругаться по-русски насобачился, а то ничего не поймешь...

Александръ Николаевичъ расхохотался.

— Ахъ, шерочка,—обратился онъ къ Муратову.—Ты не повѣришь, что за умора, когда они объясняются съ Карломъ Карловичемъ. Это ума помраченіе. Онъ, Карлъ Карловичъ, только и твердитъ «понимай, понимай!» на всѣ объясненія, а они, — Баскаковъ указалъ на бородатыхъ мѣщанъ и купцовъ:—на всѣ его рѣчи отвѣчаютъ ему: «ферште, ферште!» Это, изволишь ли видѣть, онъ по-русски, а они по-нѣмецки объясняются. Потѣха!

Онъ быстро обернулся къ подрядчикамъ и проговорилъ:

— Однако, вы ужъ идите къ нему сегодня, а меня освободите, братцы! Я сегодня отпускъ беру у васъ! Да-съ, нужно же и Александру Николаевичу отдохнуть!..

— А счетъ-то, Александръ Николаевичъ,—замѣтилъ одинъ изъ мѣщанъ, переминаясь съ ноги на ногу.

— Да, да, счетъ! Ну да, счетъ я просмотрю...

— Нужно бы деньжонокъ-то... Времена-то тугія...

— Лазарь! Лазарь!..

— Будешь Лазаремъ, если до зарѣзу нужно!..

— Знаю, знаю, что нужно... Ужъ просижу ночь. Тоже, братецъ, такъ я зря платить не стану, не просмотрѣвъ счетовъ... Денежка, братъ, счетъ любитъ, а Александръ Николаевичъ на вѣтеръ денегъ не бросаетъ!..

— Это извѣстно, только ужъ нужно больно...

— Знаю, знаю и тороплюсь. Дѣла-то тоже у меня выше головы. Я вѣдь одинъ, а васъ много. Вы-то вотъ каждый по одному счетцу принесете, а я одинъ сотни ихъ долженъ провѣрить... Мнѣ не легко!.. Ну, такъ прощайте!

Бородачи, вздыхая, откланялись и кто стуча ногами, кто осторожно на цыпочкахъ неловкой походкой выбрались вонъ.

— Уфъ!—вздохнулъ, отдуваясь, Баскаковъ.—Умаютъ за утро-то! Вѣдь это съ девяти часовъ каждый Божій день я такъ-то съ ними вожусь. То тотъ, то другой, тутъ образцы, тамъ планы, тутъ на строенье надо идти, тамъ на фабрику ѣхать... Голова кругомъ идетъ!

— Извините, дорогой мой Александръ Николаевичъ, что я васъ обезпокою еще одной справочкой,—осторожно, вкрадчивымъ голоскомъ перебилъ его какой-то невзрачно одѣтый пожилой и толстенькій господинъ съ скромно зачесанными впередъ жиденькими волосами, съ гладко выбритыми щеками вербнаго херувима, съ смиреннымъ видомъ скромника, въ довольно потертомъ, застегнутомъ на всѣ пуговицы сюртукѣ.

Баскаковъ точно испугался: онъ забылъ, что въ комнатѣ есть еще постороннее лицо.

— Чѣмъ могу служить, почтеннѣйшій Иванъ Дмитріевичъ?—спросилъ онъ его.

— Это залъ, должно-быть, обозначаетъ?

— Да, залъ.

— Такъ-съ! Очень большой залъ. А нельзя ли его раздѣлить на двѣ комнаты?

— Да, но тогда придется потолокъ передѣлывать. Тамъ лѣпныя украшенія. Ихъ надо тогда уничтожить и сдѣлать новыя.

— Скажите, жалость какая!

— Да что же вамъ залъ мѣшаетъ?

— Помилуйте; много ли найдется жильцовъ, которымъ нуженъ такой залъ? Неразсчетливо вы это сдѣлали...

— Ну, вы не скажите этого. Богатые люди переѣдутъ.

— Гдѣ нынче богатые люди?—со вздохомъ сказалъ посѣтитель. — Нѣтъ нынче богатыхъ людей, а если и есть, такъ тѣ поприжались. На что имъ такіе залы?

— Но вѣдь это можно и передѣлать.

— Да, да, и надо будетъ передѣлать, а то какъ можно квартиру съ такимъ заломъ оставить... Вотъ осмотрѣть еще бы все это...

— Да, только ужъ не сегодня... Вы меня и такъ дѣлами завалили...

— Нѣтъ, зачѣмъ же,— подобострастно произнесъ старикъ.— Я завтра зайду... Часовъ такъ въ девять заверну... Завтра... Извините за безпокойство... Честь имѣю кланяться.

Посѣтитель неторопливо поднялъ со стула шляпу, бережно отряхнулъ ее рукавомъ, раскланялся и неспѣшной, осторожной походкой вышелъ.

— Уморитъ онъ меня, уморитъ, бестія! — воскликнулъ Баскаковъ, бросаясь въ кресло.

— Кто же это?

— Хвостовъ... кое-какія дѣлишки мнѣ обдѣлывалъ... въ конторѣ у меня занимается...

— Да кто онъ такой?

— А чортъ его знаетъ! Знаю, что онъ обожаетъ меня, какъ института, а кто онъ, право же, чортъ знаетъ!

— Какъ чортъ знаетъ! Зачѣмъ же онъ ходитъ?

— Говорю тебѣ, служитъ у меня. Но это не бѣда бы, а вотъ бѣда, что домъ у меня онъ теперь торгуетъ, помочь мнѣ хочетъ...

Данила Павловичъ расхохотался.

— Да это нищій какой-то!

— Ну да, нищій!.. Плюшкинъ и хуже его одѣвался... Да, можетъ-быть, онъ и не отъ себя... Кто-нибудь подсылаетъ... Вѣдь каждый день говоритъ, всѣ планы осмотрѣлъ, всѣ дома обходилъ, даже по недостроеннымъ, по лѣсамъ лазаетъ... Даромъ тоже мучить себя не сталъ бы человѣкъ... старикъ вѣдь...

— Да, можетъ-быть, онъ просто сумасшедшій...

— Ну-у!—недовѣрчиво проговорилъ Баскаковъ и нахмурился.—Ну, да чортъ съ нимъ. Я, впрочемъ, къ нему привыкъ. День, два не вижу, такъ чего-то недостаетъ...

Потомъ онъ опять нахмурился, мрачно почесалъ у себя въ затылкѣ, крякнулъ и махнулъ рукою.

— Штука-то скверная, зарвался я немного, такъ поневолѣ за все хватаешься, чтобы извернуться... Тоже вѣдь стоитъ прекратить платежи—и все рухнетъ, а вѣдь я уже почти у берега...

Онъ прошелся по комнатѣ.

— Да развѣ у васъ запутаны дѣла? — спросилъ простодушнымъ тономъ Муратовъ, точно ничего не зная и не понимая.

— А? — откликнулся Баскаковъ. — Дѣла? Три милліона долгу и одинъ построенный домъ, гдѣ покуда единственный жилецъ я.

Данила Павловичъ широко открылъ глаза. На его лицѣ изобразилось просто выраженіе ужаса. Онъ ожидалъ, что услышитъ нѣчто неутѣшительное, но такихъ цифръ не ждалъ. Баскаковъ взглянулъ на него и громко расхохотался.

— О, провинція, провинція, я узнаю тебя! Три милліона,—тебѣ уже такъ и кажется, что меня волокутъ въ долговое, назначаютъ конкурсъ, признаютъ злостнымъ банкротомъ, ссылаютъ... Нѣтъ, простота, нѣтъ. Шесть милліоновъ, девять милліоновъ задолжаю и выйду изъ дѣла богачомъ. Съ предпріимчивостью все возможно. Это только вы тамъ въ провинціи на одномъ дѣлѣ, какъ курица на яйцахъ, сидите, и боитесь расширить свое дѣло. Такъ нельзя. Non, non, mon bon! Чтобы нажиться, нужно быть американцемъ. Да!

Лакей вошелъ доложить, что поданъ завтракъ.

— Вотъ и отлично!—сказалъ Баскаковъ.—Соловья баснями не кормятъ, да и за бутылкой добраго вина говорится весельѣ.

Дядя и племянникъ прошли въ столовую, отдѣланную подъ дубъ, съ массивной дубовой мебелью, съ дубовымъ буфетомъ, похожимъ на готическую церковь, съ рельефными медальонами на стѣнахъ, изображавшими дичь. На полу лежали цѣлыя груды изразцовъ, очевидно представлявшихъ образцы. Родственники усѣлись за столъ и принялись завтракать. Баскаковъ ѣлъ и пилъ съ аппетитомъ наработавшагося за двоихъ человѣка. Это не мѣшало ему ораторствовать съ сильнымъ одушевленіемъ убѣжденнаго человѣка, обращающаго въ свою вѣру новичка.

— У насъ, въ Россіи, все въ застоѣ. А знаешь ли почему? — заговорилъ онъ. — Потому что мы старовѣры-рутинеры, потому что въ насъ нѣтъ духа предпріимчивости, потому что мы на печи лежимъ! «Россія страна земледѣльческая», натвердили намъ съ дѣтства. Вотъ мы и воздѣлываемъ землю по системѣ, господствовавшей при царѣ Горохѣ. Изъ Россіи идетъ за границу сырье. Вотъ мы и готовимъ только сырье... Наши дѣды пускали капиталы въ торговлю. Вотъ и мы торгуемъ, сидя на своемъ базарѣ.

Что-нибудь новое изобрѣсти,—какъ это можно! Отцы наши такъ жили, такъ и мы живемъ. А ты взгляни на американцевъ. Что такое американцы? Люди, родившіеся въ Америкѣ, скажешь ты. Нѣтъ, нѣтъ, шерочка, не то! Я вотъ тебѣ объясню. Вчера сапожникъ, сегодня домостроитель, завтра газетчикъ, послѣзавтра президентъ республики! Ты видишь милліонера, ты думаешь: онъ и вчера былъ милліонеромъ и завтра будетъ милліонеромъ? Нѣтъ, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Онъ двадцать разъ прогоралъ, можетъ-быть, и еще прогоритъ, и еще, но за одно ты можешь поручиться, за то, что онъ не сложитъ рукъ и вынырнетъ изъ всякой пучины. Вотъ что такое американецъ!

Потомъ, сильно жестикулируя, онъ заговорилъ о себѣ. Онъ всегда былъ по натурѣ предпринимателемъ. У него кровь кожанина. Онъ не могъ сидѣть на одномъ мѣстѣ. Онъ много ѣздилъ, много видѣлъ. Онъ былъ актеромъ и содержателемъ театра, и думалъ издавать газету. При покойномъ братѣ Платонѣ онъ не имѣлъ средствъ, но послѣ смерти Платона у него въ рукахъ очутилось имѣніе. Онъ думалъ заняться сельскимъ хозяйствомъ, но это не то, что теперь нужно. О, нѣтъ, совсѣмъ не то! Теперь время развитія промышленности. Попавъ въ Петербургъ, чтобы пріискать квартиру для семьи, такъ какъ дѣтей пора воспитывать въ столицѣ, онъ случайно натолкнулся на животрепещущій вопросъ — на вопросъ о квартирахъ. Петербургъ растетъ, а квартиръ мало. Петербургъ вопіетъ о квартирахъ! Постройка домовъ теперь самое насущное и прибыльное дѣло. Онъ не сталъ искать себѣ квартиры, рѣшившись года на два оставить семью въ деревнѣ, и самъ занялся изученіемъ приглянувшагося ему дѣла.

— Ты понимаешь: тутъ пустырь, тамъ среди города деревянныя лачуги, въ третьемъ мѣстѣ цѣлую улицу можно застроить—это вѣдь золотыя розсыпи для предпріимчиваго человѣка! Я сошелся съ архитекторами, началъ ощупывать почву, вникать въ дѣло. Зря я ничего не дѣлаю! Я увидалъ, что Петербургу не только недостаетъ домовъ, но что ему недостаетъ европейски устроенныхъ домовъ. Развѣ это столица? Это скверный курятникъ! Да! Я поѣхалъ съ однимъ архитекторомъ за границу изучать дѣло. Я, знаешь, немного педантъ въ этомъ случаѣ. Я люблю все изучить, за что берусь, чтобы стоять на высотѣ своего положенія. Такъ брать съ налету—нѣтъ, это не мой жанръ!

Затѣмъ полились изліянія восторговъ, вызванныхъ воспо-

минаніями о Парижѣ—о наполеоновскомъ Парижѣ, созданномъ Османомъ. Въ Парижѣ онъ увидалъ еще яснѣе, какъ мы отстали отъ Европы, какъ намъ надо подтянуться. У него зародились въ головѣ гигантскіе планы новыхъ палаццо. Чтобы ихъ построить, нужны были милліоны. Но стоило ли думать о деньгахъ? Деньги всегда найдутся, лишь бы была предпріимчивость. Тутъ, наконецъ, возможны обороты, закладывать можно землю, первый этажъ, второй этажъ, два раза, три раза можно закладывать домъ. Это, конечно, немного не по-старому, не по-русски, но у насъ, въ Америкѣ...

Данила Павловичъ не выдержалъ и осторожно чуть не со страхомъ прервалъ Баскакова.

— Вы, дядя, посѣтили и Америку?

— А?—откликнулся Баскаковъ, точно падая съ облаковъ на землю.—Америку?.. Америку?..

Онъ перевелъ духъ и совсѣмъ небрежно, безъ всякаго смущенія отвѣтилъ:

— Да я же, mon cher, бывалъ прежде въ Америкѣ... тебя тогда еще и на свѣтѣ не было!

Потомъ онъ быстро перешелъ къ другимъ предметамъ, какъ бы торопясь устранить всѣ дальнѣйшія разсужденія о посѣщеніи Америки. Ему самому было какъ-то странно, что онъ не былъ въ ней; ему даже не хотѣлось вѣрить, что онъ точно не былъ тамъ, потому что былъ убѣжденъ, что дѣйствуетъ именно такъ, какъ тамъ, у насъ въ Америкѣ. Въ эту минуту лакей доложилъ о приходѣ господина Цвѣнтеховскаго.

— Проси, проси!—торопливо проговорилъ Баскаковъ и обратился къ Муратову:

— Это комиссіонеръ, продаетъ мнѣ домъ. Торгуется только бестія изъ-за десяти тысячъ, говоритъ, что его довѣритель непремѣнно требуетъ этой уступки.

— А онъ отъ кого?—спросилъ Муратовъ.

— Такъ онъ тебѣ и скажетъ! Тогда бы я поѣхалъ прямо къ его довѣрителю, и онъ вмѣсто двухъ-трехъ тысячъ комиссіонныхъ получилъ бы шишъ.

Въ комнату вошелъ длинный, худой господинъ съ сильно выраженнымъ еврейскимъ типомъ.

— Прошу извинить, я помѣшалъ, быть-можетъ, но мнѣ съ вами еще надо поговорить,—проговорилъ онъ, здороваясь съ хозяиномъ. — Третьяго дня перестудился и потому не могъ визитовать васъ...

— Ничего, ничего, милости просимъ. Это мой племянникъ Данила Павловичъ Муратовъ. Не угодно ли закусить?

— Благодарю!

Посѣтитель усѣлся къ столу и съ аппетитомъ принялся за завтракъ.

— И скажите, зачѣмъ опять былъ у васъ этотъ господинъ Хвостовъ? Я его встрѣтилъ на лѣстницѣ,—проговорилъ посѣтитель.

— Сами знаете, онъ у меня служитъ, ну, и тоже домъ мой торгуетъ,—сказалъ Баскаковъ.

— Это глупство одно! У него же ничего нѣтъ.

— Ну, не говорите, мы къ нему въ карманъ не заглядывали.

— Да я же знаю. Вамъ съ моимъ довѣрителемъ гораздо-таки выгоднѣе обдѣлать дѣло.

— Да вашъ довѣритель меня вотъ цѣлый мѣсяцъ за носъ водитъ.

— А, домъ пріобрѣсти — не булку купить! Мой довѣритель долженъ подумать объ этимъ дѣломъ. Конечно, это очень прекрасный домъ, но вѣдь и денегъ нужно много. Деньги это такая вещь, что съ нею не легко разстаться. Возьмите немножко терпѣнія. Мой довѣритель человѣкъ вѣрный. Я отъ кого-нибудь объ вѣтру не пришелъ бы съ вами говорить, потому тутъ моя выгода.

— Да я все это понимаю, только ждать-то мнѣ не приходится,—нетерпѣливо отвѣтилъ Баскаковъ.

— Что дѣлать, что дѣлать! Вотъ еще послѣднія справки мнѣ надо взять и тогда сейчасъ кончимъ. Могу я взять у васъ полчаса времени?

— Съ удовольствіемъ, хотя, кажется, мы все обговорили.

— Нѣтъ, еще кое-что нужно...

Данила Павловичъ поднялся съ мѣста.

— Я, дядя, переодѣнусь и поѣду по дѣламъ.

— Хорошо, mon cher. Но обѣдаемъ вмѣстѣ?

— Нѣтъ, сегодня придется много рыскать.

Данила Павловичъ откланялся и вышелъ. Его чемоданчикъ перенесли уже въ одну изъ свободныхъ комнатъ. Муратовъ прошелъ туда, наскоро переодѣлся и вышелъ изъ дома. Едва онъ успѣлъ спуститься по лѣстницѣ, какъ къ нему подошелъ господинъ Хвостовъ. Смотря на Муратова искоса своими растерянными голубыми глазами, онъ приподнялъ шляпу и мягко проговорилъ:

— Извините, не имѣю чести быть знакомымъ съ вами, но долженъ васъ обезпокоить.

— Чѣмъ могу служить?—спросилъ Муратовъ, удивленный этой встрѣчей.

— Вы племянникъ господина Баскакова, нашего дорогого и уважаемаго Александра Николаевича, и потому, конечно, желаете ему добра. Его нужно предупредить, его могутъ надуть. Онъ вѣдь геній и притомъ ангелъ! Да-съ, я такъ на него смотрю! Дѣло, изволите ли видѣть, вотъ въ чемъ... Впрочемъ, извините, я, можетъ-быть, васъ задерживаю? Вы въ какую сторону отправляетесь?

— Мнѣ нужно на Невскій...

— И прекрасно, потому мнѣ все равно, въ какую сторону идти. Значитъ, я дорогой и объясню...

Хвостовъ тяжело вздохнулъ и пошелъ съ Муратовымъ. Онъ начиналъ интересовать Данилу Павловича.

— Изволите ли видѣть, къ вашему дядюшкѣ прошелъ Цвѣнтеховскій,—осторожно началъ Хвостовъ. — Это комиссіонеръ. У него на карточкахъ начертано: «ходатай по судебнымъ дѣламъ», но онъ просто комиссіонеръ. Онъ себя поляком называетъ, но вы не вѣрьте, онъ просто жидъ, польскій-съ жидъ, пархатый. Польскіе жиды всегда себя поляками называютъ, а они-съ не поляки, а жиды. Ахъ, что это за люди, что за люди, вы и вообразить не можете! Я былъ-съ въ западномъ краю, я на нихъ насмотрѣлся. Съ отца и съ матери шкуру готовы содрать, съ живыхъ-съ!

— Но я не понимаю, зачѣмъ...

Хвостовъ не далъ Муратову кончить фразы.

— Позвольте-съ,—горячо заговорилъ онъ.—Этотъ Цвѣнтеховскій ходитъ къ вашему дядюшкѣ торговать домъ, якобы отъ какого-то довѣрителя. Но фамиліи этого довѣрителя не говоритъ. Это, видите ли, потому, что иначе вашъ дядюшка самъ обратился бы къ его довѣрителю. Это все-съ одинъ пуфъ.

Муратовъ вопросительно взглянулъ на своего собесѣдника.

— Да-съ, одинъ пуфъ!—повторилъ тотъ серьезно.—Это у нихъ, у комиссіонеровъ, всегда такъ. Никакихъ такихъ довѣрителей у нихъ нѣтъ, а бѣгаютъ они сами и создаютъ себѣ дѣла. Къ одному бѣгутъ и говорятъ, что имъ поручено купить, къ другому бѣгутъ и говорятъ, что имъ поручено продать. Бываетъ, что иногда дѣло и выгоритъ, то-есть найдется или продавецъ, или покупатель, а большею частью ничего изъ этого не выходитъ, такъ-таки равно ничего.

— Но чѣмъ же дядя-то тутъ рискуетъ?

— Какъ чѣмъ-съ? Именемъ-съ, реноме своимъ! Вѣдь этотъ Цвѣнтеховскій весь Петербургъ обѣгаетъ и вездѣ сообщитъ, что господинъ Баскаковъ нуждается, что онъ радъ даже на уступки идти, только бы продать домъ. Это-съ кредитъ подрываетъ. Да, наконецъ, если бы даже и нашелъ комиссіонеръ покупщика, то для чего терять деньги за комиссію! Безъ посредства комиссіонеровъ куда выгоднѣе.

— Да, а если нѣтъ покупщиковъ?

— Но я же покупаю. Мнѣ только нужно время, чтобы сообразить всякіе обороты, и тогда дѣло въ шляпѣ. Вѣдь при соображеніи все можно... Я вѣдь не торговался, я не сбавлялъ цѣны, я не изъ-за комиссіонныхъ процентовъ хлопочу, я беру домъ за себя.

Онъ дотронулся до руки Даниды Павловича.

— Я-съ душу бы свою заложилъ, чтобы оказать услугу Александру Николаевичу, потому это геній и притомъ ангелъ. Мнѣ его жаль, его спасти хочется... Я и спасу-съ...

Муратовъ взглянулъ на своего собесѣдника. Онъ былъ въ поношенной шляпѣ, въ потертомъ пальто.

— Да у васъ есть деньги?—рѣзко спросилъ онъ.

— Нѣтъ-съ, но онѣ будутъ. Теперь деньги легко добыть въ Петербургѣ коммерческимъ способомъ и банковскими оборотами. Это просто теперь дѣлается. Записываетесь вы въ члены общества взаимнаго кредита или другого какого-нибудь банка и вамъ открывается кредитъ въ десять разъ противъ вашего взноса. Въ двухъ, въ трехъ обществахъ можно быть разомъ членомъ и большія суммы получить.

— Вы членъ какого-нибудь банка?

— Ахъ, если бы я былъ членомъ, развѣ я сталъ бы медлить воспользоваться кредитомъ? Мнѣ вѣдь тоже домъ нуженъ, чтобы обезпечить семью. Я человѣкъ не богатый.

— Но позвольте, какъ же вы думаете купить домъ?

— Ахъ, мы живемъ въ такое время, когда каждому, даже бѣдному человѣку открыты дороги къ обезпеченію семьи. Я-съ это все обдумалъ и разсчиталъ. Я не на фу-фу дѣйствую. У меня, видите ли, двѣ дочери. Ихъ жизнь можно застраховать. Въ хорошія деньги можно застраховать. Потомъ-съ эти самые полисы принимаются въ банкъ въ залогъ. Такимъ образомъ сразу реализуется извѣстная сумма денегъ. Эту сумму вносишь въ банкъ и получаешь кредитъ ровно въ десять разъ больше этой суммы. Такъ-съ. Если не торопиться, не спѣшить, то можно полученныя деньги

внести въ другой банкъ и получить еще въ десять разъ больше.

Муратовъ смотрѣлъ недоумѣвающими и почти испуганными глазами на своего собесѣдника, не понимая, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, съ дуракомъ или съ маніакомъ. Но Хвостовъ продолжалъ съ одушевленіемъ.

— Одинъ мой знакомый-съ такимъ образомъ шестьсотъ тысячъ долговъ надѣлалъ. Шестьсотъ тысячъ! Это вѣдь больше полумилліона. А съ такими деньгами не одинъ домъ купить можно, а построить—да построить на такія деньги чуть не весь Невскій проспектъ можно. Вѣдь дома-съ теперь какъ строятся? Покупаешь землю—закладываешь, возведешь первый этажъ—закладываешь, второй достроишь—закладываешь. А выстроилъ весь домъ—подъ первую закладную берешь, подъ вторую закладную берешь. Конца, я вамъ скажу, этимъ оборотамъ нѣтъ. Да-съ, оборотливый человѣкъ теперь съ голоду не умретъ. Вотъ мой знакомый, о которомъ я вамъ говорилъ, что шестьсотъ тысячъ долгу надѣлалъ, такъ у того дѣтей не было, самъ ужъ былъ не молодъ, своей жизни не могъ застраховать, такъ онъ что сдѣлалъ—взялъ да всѣхъ своихъ знакомыхъ изъ молодежи и застраховалъ да полисы и заложилъ. Одного писателя даже заложилъ. Съ этого и началъ карьеру. Ей Богу-съ! И такимъ образомъ шестьсотъ тысячъ долговъ надѣлалъ.

Старичокъ говорилъ смиреннымъ и жалобнымъ тономъ. Муратовъ не выдержалъ и захохоталъ.

— Чудакъ вы этакій! Нашли чему завидовать: громадному долгу!

— А то какъ же?—съ удивленіемъ спросилъ собесѣдникъ.—Да при такомъ долгѣ вѣрныхъ пятьдесятъ-шестьдесятъ тысячъ можетъ остаться въ карманѣ, если даже и обанкротишься. Но вѣдь тутъ банкротство ужъ послѣднее дѣло, а прежде всего на шестьсотъ тысячъ какіе обороты можно дѣлать! Я все это высчиталъ. Я-съ математикъ хорошій, постоянно выкладки въ свободное время дѣлаю, на какія суммы что можно пріобрѣсти...

Онъ началъ пространно говорить о результатахъ своихъ выкладокъ. Муратову начинало надоѣдать говорить съ этимъ безумцемъ. Онъ рѣзко замѣтилъ ему:

— Ну, пока вы выкладки дѣлаете, у дяди, вѣроятно, найдется настоящій богатый покупщикъ на домъ.

— Нѣтъ-съ, богатый скоро не найдется,—съ увѣренностью отвѣтилъ старикъ.—Богатые не пойдутъ теперь покупать.

— Это отчего?

— Выжидать будутъ.

— Чего?

— Разоренія.

Муратовъ взглянулъ на старика.

— Да-съ. Какой же расчетъ богатымъ торопиться? Вашъ дядюшка непремѣнно разорится, и тогда дома его съ молотка пойдутъ. Тогда богатые и явятся. Я ихъ знаю-съ. Это коршуны, они сидятъ и выжидаютъ добычу. Кто богатъ, тотъ разсчетливъ и осмотрителенъ.

— Но дядя далеко не въ такомъ безвыходномъ положеніи, чтобы его имущество продалось съ молотка.

— Не говорите-съ этого! Александръ Николаевичъ увлекся. Онъ, что называется, зарвался. Онъ думалъ, что всѣ его дома такъ по щучьему велѣнью и вырастутъ, какъ грибы, и началъ ихъ строить разомъ, наполовину въ долгъ. Не это было бы еще ничего, а то онъ обязался долги-то въ срокъ заплатить и принялъ условія неустоекъ. Теперь случись, что онъ не отдастъ одного долга, глядишь, этотъ долгъ чуть не вдвое увеличится ради неустойки, а тамъ подойдетъ срокъ другого платежа и опять неустойка! Очень ужъ онъ отважный человѣкъ... одно слово, геній и притомъ ангелъ!

— Да вы его дѣла, кажется, лучше его самого знаете.

— Интересуюсь всѣми этими оборотами,—скромно замѣтилъ старикъ. — Потомъ-съ, въ чемъ могу помогаю... Я у нихъ счетной частью занимаюсь... И тоже вникаю во все... Для моихъ соображеній всѣ эти дѣла нужно знать, чтобы умѣть дѣйствовать осмотрительно самому. Вотъ тоже этотъ способъ построекъ на широкую ногу. Я одобряю разныя нововведенія, но нужно быть практичнымъ и не бросать денегъ на ненужныя украшенія.

Онъ сталъ распространяться о новыхъ постройкахъ. Но Муратовъ былъ уже у цѣли своего путешествія и долженъ былъ распрощаться со старикомъ.

V.

Даніилѣ Павловичу казалось, что онъ провелъ нѣсколько часовъ въ обществѣ сумасшедшихъ. Дядя, надѣлавшій безъ оглядки три милліона долговъ, Цвѣнтеховскій, толкующій о покупкѣ дома и торгующійся изъ-за десяти тысячъ, не имѣя еще покупщика, нищій Хвостовъ, желающій купить домъ безъ гроша денегъ, чтобы выручить Баскакова, всѣ

эти люди, очевидно, были не въ своемъ умѣ, это были жертвы обуявшаго всѣхъ духа аферъ. Муратовъ былъ слишкомъ практиченъ для того, чтобы задумываться объ этихъ людяхъ, объ ихъ умственныхъ способностяхъ, когда у него на рукахъ было сложное дѣло — спасеніе семьи дяди отъ нищеты. Онъ уже ясно сознавалъ, что дядя летитъ въ пропасть разоренія, что нужно ковать желѣзо скорѣе. Въ головѣ молодого человѣка быстро вырабатывались планы того, что и какъ нужно сдѣлать. Прежде всего онъ рѣшился отправиться на дачу къ Аделаидѣ Александровнѣ, жившей на Каменномъ островѣ. Направляясь къ ней, онъ всю дорогу думалъ о своихъ планахъ, не обращая вниманія ни на что, и по его лицу скользила самодовольная усмѣшка. Онъ былъ, видимо, доволенъ, состоявшимися въ его головѣ комбинаціями.

Данила Павловичъ давно не встрѣчался съ Аделаидой Александровной Муратовой,—не встрѣчался съ нею съ того самаго времени, когда она выскользнула изъ его рукъ и вышла замужъ за его старшаго брата Аркадія. Молодые мужъ и жена уѣхали въ Петербургъ, и всякія сношенія между ними и Данилой Павловичемъ были прерваны на долго. Возобновились отношенія между ними только по поводу женитьбы отца Аделаиды Александровны, Александра Николаевича Баскакова, на Матренѣ Кузьминичнѣ, когда Аделаида Александровна обратилась къ Даніилѣ Павловичу въ письмѣ съ вопросомъ, нельзя ли помѣшать этой свадьбѣ. Хотя свадьбѣ помѣшать было невозможно, но можно было оказать нѣкоторое вліяніе на Александра Николаевича въ томъ отношеніи, чтобы онъ не передалъ своего имѣнія въ руки своей второй жены и прижитыхъ съ нею дѣтей. Послѣ этой переписки между Данилой Павловичемъ и Аделаидой Александровной завязалась новая переписка по поводу просьбы Данилы Павловича похлопотать о немъ въ Петербургѣ по какому-то дѣлу, касавшемуся постройки желѣзной дороги. Эта переписка, мало-по-малу, уяснила Даніилѣ Павловичу, и Аделаидѣ Александровнѣ то, что они могутъ при случаѣ быть полезными другъ другу, и Данила Павловичъ съ свойственнымъ ему страстнымъ увлеченіемъ и съ полною откровенностью написалъ: «работай ты для меня въ Питерѣ, а я для тебя здѣсь поработаю, и оба не будемъ въ накладѣ». Это письмо пришло къ Аделаидѣ Александровнѣ какъ разъ въ то время, когда она уже изумляла и возмущала весь петербургскій «свѣтъ» своею роскошью,

купленною дорогою цѣною, сближеніемъ съ богатымъ евреемъ Гельфрейхомъ,—и она улыбнулась, прочитавъ предложеніе «наивнаго провинціала». Онъ говоритъ, что онъ будетъ полезенъ ей. Но развѣ теперь ей нужна чья-нибудь помощь? И чѣмъ можетъ помочь ей какой-то мелкій провинціальный «подрядчикъ»? Она пожала плечами, еще разъ просмотрѣла письмо, замѣтила даже съ улыбкой, что оно испещрено грамматическими ошибками, какъ счетъ какого-нибудь лавочника, и бросила его въ каминъ. Но, тѣмъ не менѣе, въ ея головѣ промелькнула мысль о томъ, что «Данила все-таки добрый». Ей вспомнилось все прошлое, вспомнилось, какъ оригинально сватался за нее Данила Павловичъ, какъ онъ стиснулъ ее въ саду въ своихъ здоровыхъ объятіяхъ, какъ она тогда была готова и смѣяться, и плакать, и ей захотѣлось снова увидать этого «наивнаго дикаря», этого «смѣшного провинціала», этого «добродушнаго простяка». Она написала ему милое, ласковое письмо, говоря, что онъ всегда найдетъ въ ней друга, готоваго помочь ему во всѣхъ трудныхъ случаяхъ жизни. Нѣсколько мелкихъ «трудныхъ случаевъ жизни» дѣйствительно явилось у Данилы Павловича, и онъ нашелъ въ Петербургѣ «руку». Эта «рука» была Аделаида Александровна или, лучше сказать, баронъ Гельфрейхъ, плясавшій подъ ея дудку. Но, находясь въ самыхъ тѣсныхъ, въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ, родственники все-таки давно не видали другъ друга: Данила Павловичъ пріѣзжалъ нѣсколько разъ въ Петербургъ по дѣламъ на два, на три дня, но Аделаида Александровна была въ это время за границей. Только теперь представлялся Данилѣ Павловичу случай встрѣтиться съ женой брата, съ своей бывшей невѣстой. Онъ уже былъ ей многимъ обязанъ, онъ зналъ, что она была теперь «человѣкомъ случайнымъ», онъ понималъ изъ ея писемъ, что она относится къ нему покровительственно, но онъ ѣхалъ теперь далеко не съ тѣмъ чувствомъ, съ какимъ идутъ бѣдные родственники къ богатымъ родственникамъ-покровителямъ. Въ его горячей, вѣчно создававшей новые планы обогащенія головѣ были соображенія, которыя, какъ онъ былъ увѣренъ, покажутъ Аделаидѣ Александровнѣ, что и онъ, Данила Павловичъ, можетъ быть ей полезенъ. Доѣхавъ до ея дачи, онъ сильно позвонилъ у входныхъ дверей.

— Какъ прикажете о васъ доложить? — спросилъ его отворившій дверь лакей.

— Скажи, что братъ Данила Павловичъ пріѣхалъ,—отвѣтилъ Муратовъ, сбрасывая пальто и проходя въ залъ.

Лакей пошелъ докладывать и черезъ минуту крѣпкія и здоровыя объятія Данилы Павловича уже смяли роскошный туалетъ Аделаиды Александровны. Она и обрадовалась, и засмѣялась, и почувствовала легкую боль отъ этой родственной встрѣчи.

— О, да ты по-царски живешь!—воскликнулъ Данила Павловичъ, осматриваясь кругомъ живыми и подвижными глазами.—Молодецъ, молодецъ, Адель! Впрочемъ, мнѣ всегда казалось, что ты не пропадешь, не изъ кислыхъ была...

Онъ закидалъ ее вопросами и разсказами. Что дѣлаетъ ея мужъ, Аркадій? Пыхтитъ все и спитъ, когда надо ковать желѣзо, пока оно горячо? Много ли у нея петербургскихъ тузовъ бываетъ, которыхъ умная женщина всегда приручить можетъ? Знаетъ ли она, что дорога имъ почти уже достроена и что онъ черезъ какіе-нибудь полгода переселится въ Петербургъ? Довольно ему чернорабочимъ быть, пора и пошире развернуть свои крылья. Она еще можетъ быть ему полезна, и если они вмѣстѣ будутъ работать въ Петербургѣ, то имъ обоимъ будетъ выгодно. Теперь такое время, что только лѣнивый да глупый не сумѣетъ нажиться; перестройка Россіи идетъ, а при перестройкѣ всегда можетъ зашибить грошъ ловкій рабочій... Все это говорилось быстро, горячо, развивалось въ широкіе планы. Смотря на Данилу Павловича, Аделаида Александровна была изумлена происшедшей въ немъ перемѣной: это былъ уже не забулдыга армейскій офицеръ, а смѣлый дѣлецъ, самоувѣренно шедшій по пути къ обогащенію. На нее произвела какое-то странное впечатлѣніе чего-то новаго, чего-то незнакомаго его манера говорить: никто изъ ея петербургскихъ друзей не говорилъ такъ, какъ онъ. Онъ говорилъ быстро, горячо, громко, вскакивая съ мѣста, жестикулируя, дотрогиваясь до ея рукъ, до ея колѣней. Это ее и смѣшило, и увлекало, и возбуждало. Его нельзя было не слушать, подъ его рѣчь нельзя было думать о посторонникъ предметахъ, при слушаніи его рѣчей немного кружилась голова, ощущалось легкое опьянѣніе. Трудно было сказать, походилъ ли онъ на азартнаго игрока, лихорадочно мечтающаго о громадномъ выигрышѣ на послѣднюю поставленную имъ карту, или на алчнаго шуллера, страстно создающаго цѣлую ловкую систему обыгрыванія людей. Но болѣе всего поражала и смущала Аделаиду Александровну манера Данилы Павловича называть

вещи своими именами, говорить безъ обиняковъ и намековъ, ставить точки на і. Разговаривая съ Муратовой, онъ, съ свойственною ему откровенностью, совершенно неожиданно замѣтилъ ей, что ея положеніе не прочно, что «ея жидъ» можетъ ее бросить. Она немного покраснѣла отъ этого рѣзкаго замѣчанія и серьезно возразила своему собесѣднику:

— Ты, кажется, ошибаешься насчетъ моихъ отношеній къ этому человѣку. Это не мимолетная интрига, но серьезная привязанность, которой я нисколько не стыжусь. Я ошиблась въ выборѣ мужа, я была несчастна, и не я виновата, если я тоже хочу быть счастливой...

— Да кто же тебя обвиняетъ?—съ удивленіемъ отвѣтилъ Данила Павловичъ.—Ты говоришь, что ты любишь этого... кто онъ? ростовщикъ?—что ли?

— Банкиръ,—поправила его Аделаида Александровна.

— Ну, это все равно, ростовщикъ, закладчикъ, банкиръ или что-нибудь другое—это все равно,—махнулъ рукою Данила Павловичъ.—Ты говоришь, что онъ тебя любитъ. Онъ богатъ. Ну, и наслаждайся благами жизни. Я вонъ въ жизни кого-кого не любилъ и никогда не краснѣлъ. Это пустяки! А вотъ ты должна о томъ подумать, что этотъ Гельфрейхъ можетъ если не разлюбить тебя, то отправиться къ праотцамъ. Тогда что? Денегъ онъ тебѣ не оставитъ по духовному завѣщанію; что у тебя есть, то ты проживешь; привычка къ широкой жизни у тебя сдѣлана, а надѣяться безъ него не на что. Твой Аркадій—слякоть непроходимая вышелъ.

— Фи! что за выраженія!—засмѣялась Аделаида Александровна.

— Ну, мы одни, такъ можно не стѣсняться. Я вѣдь больше все попросту объясняюсь. Помнишь, какъ я тебѣ объяснялся въ любви въ саду у дяди Платона Николаевича? Снять въ своихъ лапахъ хотѣлъ.

Онъ шумно засмѣялся. Она тихо вздохнула.

— Я плохо знала тогда тебя,—проговорила она въ раздумьи.

— Да, мы съ тобой не ударили бы лицомъ въ грязь. Ты бабенка умная, да и я не промахъ. Ну, да что объ этомъ говорить. А вотъ возвратимся къ жиду-то.

— Не смѣй его жидомъ называть,—засмѣялась она, ударивъ его слегка по рукѣ.

— Ну, возвратимся къ этому сыну Авраама, Исаака и

Іакова,—весело произнесъ Данила Павловичъ, словивъ ея выхоленную руку и ласково поглаживая ее.—Ты должна добиться отъ него какого-нибудь прочнаго обезпеченія. Присмотри какой-нибудь домъ или имѣніе и заставь его купить на твое имя эту недвижимость. Вотъ Ольховатое купить бы у твоего отца; имѣнье хорошее да и этому Израилю ловко бы предложить его купить; мрачно сказать, что ты тоскуешь по родномъ гнѣздѣ, что ты умрешь, если твоя колыбель перейдетъ въ чужія руки. Ну, да вы, женщины, знаете, какъ эти сентименты надо разводить, когда нужно что-нибудь выпросить... истерики тамъ, обмороки въ ходъ пустите...

Аделаида Александровна смѣялась.

— Нѣтъ, право, я жалѣю, что я тебѣ тогда отказала,— шутила она.—Я хоть бы не скучала...

— Ну, да, толкуй!.. Ты вонъ лучше объ Ольховатомъ-то подумай,—сказалъ Данила Павловичъ.—Я вѣдь серьезно говорю. Я затѣмъ и ѣхалъ къ тебѣ...

— Да развѣ отецъ продаетъ Ольховатое? — мелькомъ спросила она, отыскивая что-то въ своемъ нессесерѣ.

— Не продаетъ и не вздумаетъ продавать,—отвѣтилъ Данила Павловичъ.

Аделаида Александровна какъ будто смутилась.

— Не продаетъ? Такъ съ чего же ты выдумалъ завести эту рѣчь объ Ольховатомъ? — сказала она въ недоумѣніи.

Въ ея головѣ промелькнула мысль, что онъ посмѣялся надъ нею. Она еще не могла понять вполнѣ, что это за человѣкъ, когда онъ шутитъ, когда говоритъ серьезно.

— Да потому, что другое имѣніе неловко просить купить твоего старика,—отвѣтилъ Муратовъ.

— Кто тебѣ сказалъ, что онъ старикъ? Онъ...—начала Аделаида Александровна.

— Ну, положимъ, что онъ молокососъ,—согласился Данила Павловичъ.—Такъ вотъ я и думаю, что твоего молокососа неловко просить о покупкѣ какого-нибудь другого имѣнія, подумаетъ еще, что ты его эксплоатируешь, а просить о покупкѣ Ольховатаго — дѣло другое. Тутъ даже и всплакнуть можно...

— Даже и всплакнуть!—съ презрительной гримасой сказала Муратова и пожала плечами.

— Я бы всплакнулъ на твоемъ мѣстѣ,—серьезно подтвердилъ Данила Павловичъ.—Сказала бы, что отецъ разорился, что отецъ не чтитъ святыни, родной колыбели, что

онъ ее продастъ жидамъ... Нѣтъ, жидамъ неловко сказать... Лучше сказать, что онъ продастъ родное гнѣздо мужикамъ, сермяжникамъ, что это надрываетъ твое чувствительное сердце, что оно обливается кровью... Да, я всплакнулъ бы непремѣнно.

Аделаида Александровна зорко взглянула на Данилу Павловича. Онъ смотрѣлъ на нее серьезно.

— Ты мнѣ скажи, Адель, что тебѣ нужно? Быть богатой, блестѣть въ свѣтѣ, обезпечить себя на всю жизнь? Да? Я, по крайней мѣрѣ, только къ этому и стремлюсь, да и всѣ къ этому стремятся, хоть и поютъ: «намъ ничего не надо»... Я давно понялъ, что бѣдный человѣкъ—пѣшка. Я не хочу быть пѣшкой, а хочу быть королемъ.

Муратова вздохнула.

— Не будемъ говорить объ этомъ; отецъ не продаетъ, говоришь ты, Ольховатаго, значитъ, и думать объ этомъ нечего...

— Для Александръ Николаевичъ себя продастъ, если его навести на эту грандіозную мысль,—рѣзко и твердо сказалъ Данила Павловичъ и сдѣлался совершенно серьезнымъ.—Стоитъ только доказать ему, что для его славы и для блага отечества нужно ему продать себя, заложить его Матрену Кузьминичну и отправить къ турецкому султану его дѣтей, и при этомъ убѣдить его, что геніальныя мысли о подобной сдѣлкѣ пришли ему самому въ голову, и онъ исполнитъ все это съ жаромъ, свойственнымъ его юнымъ лѣтамъ.

Въ тонѣ его рѣчей слышалось презрѣніе къ Баскакову.

— Ахъ, не смѣйся надъ моимъ отцомъ!—погрозила пальчикомъ Аделаида Александровна.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ!—сказалъ Муратовъ.—И что мнѣ надъ нимъ смѣяться, когда я самъ въ него уродился, только онъ все больше въ облакахъ летаетъ, а я все больше по землѣ хожу. Я могъ бы, если бы ты пожелала, поговорить съ дядей о необходимости продать Ольховатое,—закончилъ Данила Павловичъ.

— Да?—спросила Аделаида Александровна, прищуривъ глаза.—Ты не шутишь?

— Зачѣмъ же шутить? Я радъ услужить тебѣ... конечно, не даромъ... потребую отплаты за услугу...—шутливо закончилъ онъ.

— Дорогой?—спросила Аделаида Александровна, лукаво улыбаясь.

— А ты сколько бы дала?—спросилъ Данила Павловичъ, подмигнувъ ей и снова взявъ ея мягкія и бѣлыя руки.

— Боюсь сама назначить плату... передамъ, пожалуй, лишнее,—засмѣялась она, показавъ два ряда бѣлыхъ блестящихъ зубовъ.

Данила Павловичъ смотрѣлъ на нее не безъ игривыхъ мыслей.

— Ну, многаго не потребую... когда-нибудь послѣ сторгуемся...—замѣтилъ онъ.

— А не теперь?—спросила она.

— Рано еще,—отвѣтилъ онъ, дружески пожавъ ея руки.

Съ минуту они сидѣли молча. Аделаида Александровна задумалась; она теперь почти серьезно сожалѣла, что не вышла за него замужъ. Онъ не безъ сластолюбиваго волненья думалъ, что она—только заиграй съ ней—сейчасъ и отдастся ему. Какъ пришли имъ въ голову эти мысли среди дѣлового разговора—они и сами не понимали. Впрочемъ, онъ никогда еще не смотрѣлъ на женщинъ иначе, какъ на самокъ, съ которыми можно поиграть; она никогда еще не встрѣчала мужчины, который не попробовалъ бы поволочиться за нею; они, сходясь съ женщинами, не могъ не заигрывать съ ними; она не могла сойтись съ мужчиной, не кокетничая съ нимъ.

— Ну, а что твоя жена?—вдругъ спросила Аделаида Александровна.

— Ничего, здорова,—отвѣтилъ Данила Павловичъ, очнувшись отъ своихъ «холостыхъ» думъ при напоминанiи о женѣ.—Славная она у меня бабенка!

— Вотъ какъ! Ужъ ты не влюбленъ ли въ нее до сихъ поръ?—засмѣялась Аделаида Александровна.

— Влюбленъ, да еще какъ!—проговорилъ онъ серьезно.

— А до нея сколько разъ влюблялся?—спросила Муратова.

— Десятки разъ, но послѣ нея ни въ кого не влюблялся.

— Ну, такъ еще влюбишься...

— Ну, нѣтъ... Мнѣ никого послѣ нея не надо... Она мнѣ всѣхъ женщинъ замѣнила...

— До поры, до времени?

— Нѣтъ, навсегда!

— Ты отлично играешь роль вѣрнаго супруга!

— Да я въ самомъ дѣлѣ вѣрный мужъ.

Она посмотрѣла на него недоумѣвающимъ взглядомъ; онъ былъ теперь серьезенъ. Ей стало вдругъ не по себѣ.

— Счастливица,—проговорила со вздохомъ Муратова и

опять задумалась.—Должно-быть, хорошо сознавать, что мужчина любитъ тебя безъ памяти, любитъ тебя одну, сознавать это и не бояться, что это кончится.

Она съ минуту помолчала, потомъ вдругъ нетерпѣливо, почти раздражительно пожала плечами.

— Да нѣтъ, это невозможно!—проговорила она, словно продолжая думать вслухъ.—Это все призраки: сегодня клянется, увѣряетъ, а завтра... стоитъ только подвернуться новой красавицѣ или ловкой кокеткѣ, и вся эта вѣчная любовь разлетится прахомъ... Вѣчная любовь—вотъ глупости!.. Нѣтъ, ужъ лучше не вѣрить любви, не считать ее вѣчной и... не переживать разочарованій и стыда обманутой женщины.

Она нервно засмѣялась и какъ-то свысока взглянула на Данилу Павловича.

— Вотъ погоди, я тебя заставлю стоять передъ собою на колѣняхъ,—насмѣшливо сказала она:—и отобью у жены.

— Да я, Адель, хоть сейчасъ готовъ стать на колѣни,—засмѣялся Данила Павловичъ, дѣлая видъ, что онъ готовъ опуститься на колѣни.

— Рано еще! Когда-нибудь послѣ!—остановила она его шутливо и вдругъ перемѣнила тонъ.—Нѣтъ, Даня, оставимъ въ сторонѣ всѣ эти глупости,—сказала она родственнымъ и серьезнымъ тономъ.—Мы съ тобой братъ и сестра и друзья дѣтства, и ты, обдѣлавъ дѣло съ Ольховатымъ, окажешь мнѣ большую, большую услугу... Вотъ такую!..

Она, какъ шаловливый ребенокъ, развела руками въ обѣ стороны.

— А я тебя за это поцѣлую, помнишь, какъ мы цѣловали другъ друга прежде...

Она нагнулась къ нему и поцѣловала его въ лобъ. На него пахнуло нѣжнымъ запахомъ пармскихъ фіалокъ. На мгновеніе ему прихлынула въ голову кровь, но прежде чѣмъ онъ опомнился, она уже зазвонила. Явился лакей.

— Обѣдъ поданъ?—спросила она.

— Подаютъ,—отвѣтилъ лакей.

— Даня, пойдемъ!

Она взяла подъ руку Данилу Павловича и повела его въ столовую. За обѣдомъ разговоръ коснулся воспоминаній дѣтства, и на Данилу Павловича словно пахнуло весной, тепломъ, ароматомъ полей. У него были съ Аделаидой Александровной общія воспоминанія о былыхъ шалостяхъ, радостяхъ, играхъ и пирахъ. Онъ на минуту позабылъ о дѣ-

лахъ и перенесся въ эту свѣтлую даль давно прошедшихъ дней. Часы пробили шесть, когда онъ вспомнилъ, что ему нужно было еще ѣхать по дѣламъ. Онъ поднялся съ мѣста неохотно. Аделаида Александровна крѣпко сжала ему руку.

— Пріѣзжай, Даня,—сказала она.—Я хочу какъ можно больше видѣть тебя, покуда ты здѣсь... Я здѣсь въ Петербургѣ одна среди чужихъ... Съ ними не станешь говорить о томъ, что дорого и близко намъ...

Выходя изъ дома брата, Данила Павловичъ былъ въ странномъ настроеніи: онъ все думалъ не о дѣлахъ, но объ Аделаидѣ Александровнѣ, о ея красотѣ, о ея ловкости, о ея кошачьихъ, мягкихъ манерахъ.

«Да, да, не мудрено, что она свела съ ума этого жида,—думалъ онъ.—Если бы я попалъ въ Питеръ съ такою женою, я бы сдѣлался... Да, нѣтъ, я бы убилъ и ее, и того, кто сталъ бы отбивать ее у меня... Нѣтъ, мнѣ бы такая жена не годилась. Я не умѣю ревновать молча. У меня при первомъ подозрѣніи чортъ знаетъ что вышло бы... съ моей Липой, по крайней мѣрѣ, я спокоенъ за себя... Съ Аделью мнѣ не сдоброваль бы. Хорошо, что Богъ избавилъ отъ бѣды... А помогать ей я буду, и она мнѣ поможетъ. Теперь, когда мы не мужъ и жена, не любовникъ и любовница, мы можемъ быть полезными другъ другу. Я ей устрою дѣло съ Ольховатымъ. Ну, а она мнѣ при пріемкѣ желѣзной дороги поможетъ, а потомъ мѣстечко, когда нужно будетъ, теплое черезъ жида своего доставитъ... А знаетъ этотъ жидъ, кого выбрать!»

Аделаида Александровна въ свою очередь думала о предложеніи Даниды Павловича и внутренне посмѣялась надъ собою, надъ тѣмъ, что она вздумала пококетничать съ братомъ мужа.

«И съ чего это я?—думала она.—Ужъ не потому ли, что мнѣ завидно счастье его Липы? А, Богъ мой, что мнѣ до нея за дѣло! Ну, счастлива она и слава Богу! Я очень рада, что онъ еще расположенъ ко мнѣ по-братски. Онъ былъ всегда добрымъ малымъ... И какъ это ему пришла въ голову счастливая мысль о покупкѣ Ольховатаго. Добрый, онъ думалъ обо мнѣ, не то, что другіе»...

Она задумалась; ей было тяжело сознавать, что о ней никто не заботится, никто не думаетъ, и снова она называла добрымъ Данилу Павловича.

Дѣла Даниды Павловича сложились такъ, что онъ не могъ зайти къ Аделаидѣ Александровнѣ на другой день.

На третій день утромъ онъ заѣзжалъ къ ней на минуту, но видѣлъ только брата Аркадія. На слѣдующій день ему нужно было ѣхать обратно, и потому онъ заѣхалъ въ Аделаидѣ Александровнѣ еще разъ въ этотъ день вечеромъ. Онъ засталъ ее во время приготовленій къ какому-то вечернему собранію. Она была вся въ черномъ бархатѣ, съ открытыми плечами, грудью и руками. Въ ея черныхъ волосахъ бѣлѣлась одна камелія, такая же камелія была на груди. Когда Данила Павловичъ вошелъ въ ея будуаръ, она вынимала изъ футляровъ бриллианты.

— А, это ты, милый!—проговорила она и протянула ему обѣ руки.

— Ты ѣдешь куда-то?—спросилъ онъ, пожимая ея руки и любуясь ея красотой, не поблекшей еще, несмотря на годы.

— А ты пріѣхалъ посидѣть или на минуту?—спросила она.

— Посидѣть, но...

Она не дала ему кончить и обратилась къ горничной.

— Скажите барину, чтобы онъ ѣхалъ одинъ... Я больна и никого не принимаю.

— Адель!—началъ Данила Павловичъ.

— Ты вѣдь ѣдешь завтра? Ты пріѣхалъ ко мнѣ и думаешь, что я уѣду отъ тебя на вечеръ? Вотъ глупость! Вечеровъ много, а ты одинъ...

Она отложила въ сторону бриллианты и опустилась на кушетку.

— Сядь вотъ тутъ, поближе ко мнѣ,—сказала она, подвигая кресло.—Мы здѣсь будемъ пить чай.

Она дотронулась до пуговки электрическаго звонка и сказала вошедшей горничной:

— Чай подать сюда... Да брось въ каминъ дровъ... Вотъ ужъ и сырые вечера начинаются здѣсь на островахъ. Быстро летитъ петербургское лѣто...

Данила Павловичъ не сводилъ съ нея глазъ. Онъ никогда не видалъ такихъ бѣломраморныхъ плечъ, такихъ роскошныхъ рукъ.

— Что же ты не куришь?— спросила она.

— А ты позволишь?—въ замѣшательствѣ проговорилъ онъ.

Она улыбнулась.

— Вѣдь ты же курилъ у меня третьяго дня...

— Да, но тутъ... теперь...

Онъ самъ не понималъ, чего онъ стѣсняется. Никогда и ни въ чемъ до этой поры онъ не стѣснялся при другихъ женщинахъ, у которыхъ онъ бывалъ. Еще менѣе онъ стѣс-

нялся передъ своею женою. Но здѣсь ему вдругъ стало какъ-то неловко, душно.

Воздухъ будуара былъ пропитанъ запахомъ цвѣтовъ и духовъ; мягкая шелковая мебель, мягкіе ковры, таинственныя драпировки, все это наводило его на какія-то странныя мысли; открытыя плечи, руки и шея Муратовой волновали его кровь и въ то же время какъ будто стѣсняли его.

Аделаида Александровна подвинула къ нему спички и пепельницу.

— Ты, пожалуйста, будь, какъ дома. Я хочу, чтобы ты видѣлъ во мнѣ свою сестру, подругу дѣтства, — говорила она.—Третьяго дня, когда ты ушелъ, я долго думала о тебѣ. Ты, добрый мой, одинъ вспомнилъ обо мнѣ. Братъ Петя почти не бываетъ у насъ, Максимъ... Ахъ, я даже не знаю, гдѣ Максимъ находится. Да что они! самъ Аркадій, мой мужъ, вспоминаетъ обо мнѣ только тогда, когда ему нужны деньги... Я не жалуюсь, я не плачу, Даня, но мнѣ тяжело это одиночество, мнѣ тяжела эта отчужденность. Я знаю, что я сдѣлала проступокъ, что я... ну, да, я пала. Но кто же виноватъ? Развѣ Аркадій любитъ меня? Развѣ онъ не прожилъ моего состоянія? Мнѣ пришлось спасти его, но какою цѣною. Этого никто не хочетъ знать.

Она быстро поднесла платокъ къ глазамъ и вздохнула.

— Полно, Адель! — ласково сказалъ Данила Павловичъ и, взявъ ея руку, погладилъ ее, какъ гладятъ иногда руку ребенка.

Это была прекрасная бѣлая рука. Данилѣ Павловичу хотѣлось поцѣловать ее, но онъ, противъ своего обыкновенія, стѣснялся теперь наклониться къ ней. Наконецъ, его губы прильнули къ этой свѣжей, душистой рукѣ, и онъ почувствовалъ, что у него кровь опять прилила къ головѣ.

— Не сердись, что я цѣлую твои руки,—сказалъ онъ въ замѣтномъ смущеніи.

— Полно, Даня, не смотри на меня, какъ на хорошенькую женщину, какъ на свою бывшую невѣсту, а смотри на меня, какъ на свою бѣдную сестренку, которой тяжело живется на свѣтѣ, несмотря на всѣ эти дорогія безділушки.

Она сжала его руку, и онъ, самъ не зная какъ, опустился передъ нею на скамеечку, стоявшую у кушетки.

— Да, я думала вчера о тебѣ, — говорила она: — и увидала, что у меня только и есть на свѣтѣ родныхъ, что ты. Помоги мнѣ и вѣрь, что я никогда не откажусь помочь тебѣ. Ты мнѣ говорилъ о своихъ планахъ. У меня есть

много знакомыхъ, много поклонниковъ, которымъ стоитъ приказать и они сдѣлаютъ все. Я добуду тебѣ мѣсто здѣсь. Ты переѣдешь сюда съ женой, съ дѣтьми, и у меня будетъ домъ, гдѣ я буду отдыхать отъ пустой свѣтской жизни. Вѣдь твоя жена простая, добрая женщина? Да?

— Да, она добрая,—отвѣтилъ Данила Павловичъ, плохо сознавая, что онъ говоритъ.

— Ну, значитъ, мы сойдемся, мы полюбимъ другъ друга, — продолжала Муратова, и ея рука ласково гладила волосы Данилы Павловича.—А ты.... ты не будешь ухаживать за мной? А? Я этого не хочу! Слышишь? Ты долженъ быть мнѣ братомъ и только! Меня оскорбляютъ, унижаютъ эти ухаживанья. Я хочу имѣть друзей, родныхъ, знакомыхъ, а не кандидатовъ въ любовники, не любовниковъ. Пусть любятъ мою душу, мое сердце, но не мое тѣло. И изъ-за чего бьются люди? Развѣ я хороша? Я совсѣмъ дурнушка, толстая, уже не первой молодости... Нѣтъ, нѣтъ, я не хочу ухаживаній... Да? такъ ты будешь моимъ братишкой, моимъ милымъ братишкой?

Она взяла его голову обѣими руками и повернула къ себѣ лицомъ: онъ видѣлъ ея ласковые, бархатные глаза, онъ видѣлъ ея привѣтливо улыбающійся ротикъ, онъ видѣлъ ея бѣлую, полную грудь, ровно дышавшую почти у самыхъ его губъ, и не понималъ, что дѣлается съ нимъ. Обѣдъ ли «съ дѣловыми людьми» у Бореля повліялъ на него такъ возбудительно, или опьянялъ его этотъ наркотическій воздухъ будуара свѣтской женщины, или просто не могъ онъ вообще видѣть спокойно женщину въ такомъ нарядѣ, на такомъ близкомъ разстояніи отъ себя.

— Добрый мой, — еще разъ прошептала она и, поцѣловавъ его въ лобъ, поднялась съ мѣста.

Данила Павловичъ тоже поднялся.

— Вотъ и чай намъ несутъ,—проговорила она.—Поставь столъ къ камину,—обратилась она къ лакею.

Лакей поставилъ около камина между двухъ креселъ складной, чернаго дерева, столикъ, принесъ чайный сервизъ, поставилъ небольшой серебряный самоваръ на высокихъ ножкахъ съ серебряной лампочкой внизу и удалился. Аделаида Александровна начала разливать чай.

— Ну, садись сюда въ кресло, — сказала она Данилѣ Павловичу: — и поговоримъ о дѣлѣ... Не правда ли, здѣсь хорошо? А я воображаю, какіе разспросы идутъ обо мнѣ на балу... какъ, отчего, почему? Досадно, что я велѣла ска-

зать Аркадію, что я поздорова... Пусть бы сказалъ, что у меня пріѣзжій братъ. Пусть бы знали всѣ, что я не одна, съ братомъ!.. О, какое это сладкое чувство, сознавать, что я не одна!.. Но какія гримасы строитъ, должно-быть, тамъ Аркадій... Онъ вѣдь не любитъ баловъ, онъ охотнѣе проводитъ время въ какихъ-то трущобахъ, гдѣ можно быть въ разстегнутомъ жилетѣ... со мной этого нельзя...

Она болтала весело и живо съ той граціозной непринужденностью, которая пріобрѣтается въ столичныхъ салонахъ. Данила Павловичъ, угловатый армейскій гуляка, превратившійся въ провинціальнаго работника-дѣльца, испытывалъ какое-то новое чувство въ этой ароматной атмосферѣ столичнаго будуара, передъ этой граціозной женщиной, легко переходившей въ разговорѣ отъ одного предмета къ другому. То ему думалось, что «съ такой бабенкой хорошо бы интрижку завести», то закрадывалось въ его душу какое-то незнакомое ему смущеніе, заставлявшее его быть сдержаннымъ съ этою женщиною изъ боязни чѣмъ-нибудь оскорбить или огорчить ее. До сихъ поръ онъ никогда не разговаривалъ съ женщинами: онъ или балясничалъ съ ними, или любезничалъ. Даже съ женою онъ, въ сущности, не разговаривалъ, а сообщалъ ей свои впечатлѣнія и планы, она же выслушивала ихъ и только иногда дѣлала ему вопросы. Тутъ же сама женщина вызывала его на разговоры, затрогивала въ немъ тѣ или другія струны. Она пробудила въ немъ воспоминанія о ихъ дѣтствѣ, проведенномъ вмѣстѣ; она подробно разспросила его о его планахъ на будущее и быстро нарисовала картину этого будущаго, сразу сообразивъ, къ чему онъ стремится, какъ онъ долженъ идти къ своей цѣли; въ ея замѣчаніяхъ былъ практическій смыслъ, было знаніе людей и обстоятельствъ; съ ней можно было говорить, какъ съ мужчиной. Была минута, когда онъ опять подумалъ, зачѣмъ онъ не женился на ней, но онъ тотчасъ же повторилъ: «нѣтъ, я ее убилъ бы при первомъ ея любовномъ проступкѣ». Онъ самъ не зналъ, сколько времени онъ просидѣлъ у нея, и ему еще не хотѣлось уходить отъ нея, когда онъ случайно увидалъ, что часы на каминѣ показывали два часа ночи.

— Я тебѣ надоѣлъ?—спросилъ онъ ее.

Она сидѣла, задумавшись, въ креслѣ, накинувъ себѣ на плечи черный кружевной платокъ и положивъ крошечныя ноги на остывшую рѣшетку камина. Она очнулась и ласково взглянула на него.

— Нѣтъ, я замечталась о прошломъ, — отвѣтила она со вздохомъ и протянула ему руку.—Если бы можно было воротить прошлое—моя жизнь сложилась бы иначе... Ну, да прошлаго не вернешь! Ты собираешься ѣхать?

— Да, пора.

— Когда-то увидимся опять!

— Я какъ-нибудь соберусь въ Петербургъ... Теперь дѣла нужно обдѣлывать здѣсь, чтобы сдать дорогу безъ скучка, безъ задоринки... Ты мнѣ вѣдь поможешь?

— О, ты еще спрашиваешь!

— Да кромѣ того и ты къ намъ завернешь... Вотъ купишь Ольховатое, пріѣдешь въ наши края.

— Да, можетъ-быть...

— Отлично бы было, если бы пріѣхала, когда прибудутъ инженеры принимать дорогу... Они, вмѣсто осмотра линіи, у тебя бы на пирахъ плясали...

— Что-жъ, можно... Ну, прощай!

Она лѣниво встала и протянула ему обѣ руки, кружевной платокъ распустился и открылъ ея грудь. Данила Павловичъ нагнулся поцѣловать ея руку.

— А меня не хочешь развѣ поцѣловать?—сказала она.—Теперь, Богъ знаетъ, когда увидимся.

Онъ крѣпко сжалъ ее въ объятіяхъ и горячо поцѣловалъ въ губы...

«Чортъ знаетъ, что это со мной дѣлается», — бормоталъ онъ, выходя изъ ея дома и невольно взглянулъ на ея окна, свѣтившіяся сквозь сочную зелень сада, точно ему хотѣлось еще разъ увидать ее. Такихъ желаній въ былое время у него не являлось ни разу. «Нѣтъ, съ нею надо быть осторожнымъ, а то еще огорчишь ее своими любезностями. Она смотритъ на меня, какъ на брата, ну, а мнѣ не такъ-то легко смотрѣть на нее, какъ на сестру. И что въ ней такое, что опьяняетъ, мутитъ голову?» Онъ задумался и незамѣтно доѣхалъ до дома дяди, весь охваченный какими-то новыми для него ощущеніями. До сихъ поръ онъ всегда былъ убѣжденъ, что онъ можетъ только осчастливить женщину своими ласками, теперь онъ, напротивъ, былъ бы самъ осчастливленъ, если бы эта женщина позволила ему приласкать ее. Уже ложась на постель, онъ потянулся и подумалъ: «А ужъ Ольховатое будетъ у меня въ рукахъ!» Эта мысль твердо засѣла въ головѣ Данилы Павловича, и рядомъ съ нею все шире и шире развивались и его планы насчетъ своего собственнаго обогащенія. Онъ ясно понималъ, что, помогая

Аделаидѣ Александровнѣ пріобрѣсти Ольховатое, идя съ нею рука объ руку, онъ можетъ добиться многаго. Купить она Ольховатое, пріѣдетъ туда, когда у него будутъ принимать желѣзную дорогу. Инженеры будутъ изъ ея знакомыхъ, можетъ-быть, изъ горячихъ поклонниковъ. Начнутся пиры, за которыми забудется, просмотрится сквозь пальцы многое. Аделаида Александровна сумѣетъ заговорить всякаго! Данила Павловичъ опять задумался о характерѣ Аделаиды Александровны. Онъ видѣлъ, что Аделаида Александровна не то, что его жена: его жена можетъ восхищаться его мечтами и планами, Аделаида Александровна можетъ наткнуться на эти планы, развить ихъ; первая можетъ только не мѣшать исполненію, вторая можетъ помочь въ ихъ осуществленіи. Его теперь сильно озабочивала мысль о томъ, какъ довести дядю до мысли о продажѣ Ольховатаго и какъ бы устроить поскорѣе это дѣло; онъ чувствовалъ, что отъ этой сдѣлки будетъ въ значительной степени зависѣть его сближеніе съ Аделаидой Александровной и его право на ея услуги. Въ его головѣ страннымъ образомъ, помимо его воли, мысли о дѣлахъ перемѣшивались съ мыслями о достоинствахъ Аделаиды Александровны; желанія воспользоваться ея услугами мѣнялись желаніями сблизиться съ нею чисто по-родственному. Онъ долго не могъ уснуть. Наконецъ, онъ повернулся къ стѣнѣ лицомъ и тяжело вздохнулъ, проговоривъ вслухъ:

— Ахъ, Адель, Адель!..

Въ ту же минуту въ его головѣ мелькнула злобная мысль:

— Уже не влюбился ли? Вотъ глупости!..

VI.

— Дядя, вы сколько времени думаете еще продержаться? — спросилъ Данила Павловичъ Александра Николаевича, сидя съ нимъ за утреннимъ кофе.

Баскаковъ сидѣлъ въ удобномъ мягкомъ креслѣ и пересматривалъ счеты; Данила Павловичъ полулежалъ въ качалкѣ и слегка покачивался. Его вопросъ былъ сдѣланъ неожиданно, но спокойно, почти небрежно, какъ говорятъ о пустякахъ, вскользь, мимоходомъ. Александръ Николаевичъ поднялъ на племянника съ недоумѣніемъ глаза. Казалось, ему задали вопросъ, котораго онъ даже не можетъ сообразить.

— Я тебя не понимаю, шерочка? — сказалъ онъ. — Ты это о чемъ?

— То-есть доколева ваши старые кредиторы будутъ терпѣть, а новые дураки будутъ ссужать деньгами?

Баскаковъ отодвинулъ листы счетовъ, повернулся вмѣстѣ съ кресломъ лицомъ къ племяннику и разразился громкимъ некреннимъ смѣхомъ.

— Нѣтъ, ты неподражаемъ, ты неподражаемъ!—говорилъ онъ, захлебываясь сквозь смѣхъ. — «Долго ли думаете продержаться»! «Доколева будутъ вѣрить»!.. Да я, mon bon, въ блестящемъ положеніи! Вотъ продамъ одинъ домъ, другой еще можно заложить... третій...

Данила Павловичъ всталъ, потягиваясь всласть, и не далъ ему кончить.

— Вы, дядя, банкротъ, давно банкротъ, и только не знаете, какъ устроить это дѣло, чтобы сохранить хотя что-нибудь,—коротко сказалъ онъ твердымъ, не терпящимъ возраженій тономъ. — Намъ стѣсняться нечего, маскироваться не слѣдуетъ! Мы свои, и я готовъ вамъ помочь...

Баскаковъ хотѣлъ что-то возражать, поднялся съ мѣста и вдругъ, точно его пришибли, снова опустился и развелъ безнадежно руками. Его лицо точно осунулось, принявъ плачевное выраженіе. Но это было только на минуту, подъ вліяніемъ неожиданно нанесеннаго удара. Онъ тотчасъ же нашелся, оправился, молодцовато поднялся съ мѣста, всталъ передъ племянникомъ и уже своимъ обычнымъ дѣловымъ и докторальнымъ тономъ заговорилъ:

— Ты понимаешь, мои расчеты были вѣрны, но стеченіе враждебныхъ случайностей, проклятый курсъ нашего рубля, постройка разными спекуляторами сотенъ домовъ, пустыя квартиры, затянувшаяся постройка двухъ моихъ лучшихъ домовъ...

Муратовъ сдѣлалъ досадливый жестъ рукою, и его ротъ передернулся гримасой.

— Эхъ, да это все пустая философія!—нетерпѣливо прервалъ онъ дядю. — Остановимся на фактѣ. Ты разоренъ? Да? Сколько всего долгу?

— До трехъ милліоновъ.

Муратовъ изумился: еще наканунѣ онъ думалъ, что дядя шутитъ, что онъ по обыкновенію «преувеличиваетъ немного»! Это такъ естественно!

— Да не можетъ быть!

— Увѣряю тебя!

— Ну, а если все продать?..

— Копеекъ по тридцати кредиторы получатъ.

— То-есть, значитъ, дома заложены?

— И перезаложены...

— А денегъ?

— Ни гроша...

Отрывистый разговоръ вдругъ оборвался. Все было ясно, какъ день. Голая, грубая правда была налицо. Муратовъ прошелся скорыми шагами по комнатѣ. Баскаковъ началъ опять что-то объяснять о вѣрности своихъ расчетовъ, о несчастно сложившихся случайностяхъ, о возможности еще обернуться. Муратовъ уже не слушалъ и размышлялъ. Соображенія дяди его вовсе не интересовали, когда онъ зналъ факты. Спустя нѣсколько минутъ, онъ спросилъ:

— Какъ ты думаешь, протянешь ли ты до глубокой осени?

— Ну, конечно, конечно! Покуда все строится, протянуть можно. Это пустое дѣло, но къ зимѣ, пожалуй, не вывернуться. Если и теперь одинъ изъ домовъ не продастся, что, впрочемъ, нельзя и предположить.

Муратовъ зорко слѣдилъ за дядей.

— А если не продастся?

Баскаковъ уклонился отъ прямого отвѣта.

— Видишь ли, у меня есть еще планъ. Это очень сложное дѣло, его нужно обдумать строго.

Муратовъ снова перебилъ его уже рѣшительнымъ тономъ:

— Ты совсѣмъ въ петлѣ!..

Онъ точно къ стѣнѣ, въ уголъ старался прижать Баскакова, чтобы узнать правду. Баскаковъ не выдержалъ. Муратовъ мало того, что угадалъ и выяснилъ себѣ его положеніе, — онъ громко сказалъ Баскакову то, что вполнѣ замаскировалъ Баскаковъ самъ отъ себя. До этой минуты онъ ни разу не отчаивался, — даже больше, онъ ни разу не взглянулъ на свое положеніе съ мрачной точки зрѣнія и продолжалъ строить планы, одинъ грандіознѣе другого. Онъ нерѣдко засыпалъ въ такихъ мечтахъ. Онъ построитъ десять, двадцать, сто каменныхъ домовъ въ Петербургѣ. Его единогласно выберутъ городскимъ головою. Министръ попробуетъ не утвердить его и не посмѣетъ, боясь общественнаго мнѣнія. Тогда онъ начнетъ перестраивать весь Петербургъ. Вездѣ будутъ бульвары и скверы, скверы и бульвары, черезъ весь Петербургъ пройдетъ новый проспектъ—«Баскаковскій проспектъ». Правительство пойметъ, какой онъ финансовый геній. Что-жъ, если его не сдѣлаютъ министромъ финансовъ — для нихъ же хуже. Онъ твердо рѣшилъ, что если его не скоро призовутъ на такой

пость, то онъ приметъ предложеніе не вдругъ, не сразу, поставитъ свои условія, предъявитъ свою программу. «Государь, я понимаю, что я вамъ нуженъ, но у меня свои идеи, свои взгляды, свои убѣжденія! Я, Государь, не выскочка, я изъ Баскаковыхъ! Я признаю русскій народъ не менѣе способнымъ и предпріимчивымъ, чѣмъ американская нація. Но русскій геній нуждается въ широкой аренѣ, въ свободѣ для развитія своихъ силъ. Намъ нужна покровительственная система. Вотъ мои взгляды, вотъ моя программа». Конечно, это можетъ ихъ испугать, но вѣдь для него-то свѣтъ не клиномъ сошелся; онъ-то можетъ стать во главѣ цѣлой партіи, когда въ его рукахъ будетъ чуть не весь Петербургъ. Эти размышленія, планы, программы вошли уже въ плоть и кровь Баскакова, онъ ими жилъ, бросаясь въ самыя чудовищныя аферы. И вдругъ его прижимаютъ къ стѣнѣ и говорятъ: «ты несостоятельный должникъ, ты банкротъ, у тебя все продадутъ съ молотка». Муратовъ, между тѣмъ, продолжалъ говорить, тѣмъ же настойчивымъ, убивающимъ всякія иллюзіи тономъ:

— Вы не можете дотянуть до поздней осени. Но дотянуть до поздней осени надо. Покуда же слѣдуетъ продать Ольховатое. Это для дѣтей, для Матрены Кузьминичны. Потомъ вы дадите мнѣ тысячъ на двѣсти, на триста векселей, на мое имя и на имя Пахома Семеновича. При конкурсѣ все что-нибудь перепадетъ.

Баскаковъ ничего не понималъ. Ему было теперь ясно одно, что онъ разоренъ. Иллюзіи, мечты, планы, все это исчезло вдругъ, моментально, какъ это съ нимъ происходило всегда въ подобныхъ случаяхъ. У него немного шумѣло въ ушахъ, темнѣло въ глазахъ, кружилась голова. Онъ вскочилъ съ мѣста и воскликнулъ:

— Нѣтъ, я этого не вынесу! Пулю въ лобъ, пулю въ лобъ, и конецъ!

Онъ схватился за голову, потомъ началъ стучать по лбу кулаками:

— Опозоренный старикъ!.. Банкротъ!.. Посмѣшище всего города! Старый дуракъ!.. ду-ракъ!..

Муратовъ былъ холоденъ и спокоенъ. Онъ зналъ, что въ минуты отчаянія дядя иногда катался по полу, билъ себя головою объ стѣну. Но это все проходило такъ же скоро, какъ приходило. Надо было только перемѣнить тактику.

— Насколько у васъ неустоекъ въ числѣ долга?—спросилъ онъ.

— На четыреста съ чѣмъ-то тысячъ!.. Понимаешь: на че-ты-ре-ста съ чѣмъ-то ты-сячъ!..

— И проценты, поди, брали съ васъ жидовскіе?

— Двадцать, тридцать, сорокъ давалъ... Двой-ны-е векселя давалъ!..

— Ну, такъ такихъ подлецовъ проучить надо. Надо не на двѣсти, не на триста, а на четыреста тысячъ выдать мнѣ векселей. Главное, тотчасъ же продать Ольховатое. Пусть тогда получаютъ по гривеннику за рубль. У вашей семьи все же что-нибудь да останется изъ клюковъ этихъ коршуновъ...

Баскаковъ вдругъ расцвѣлъ.

— Истинно коршуновъ, истинно коршуновъ!—заговорилъ онъ. — О, если бы ты зналъ, шерочка, какъ они налетали, какъ они рвали клочокъ по клочку все, что попадало имъ подъ руку! Вѣдь на мои деньги эти бестіи заводы завели, фабрики устроили, я имъ сотни и сотни тысячъ... да что я говорю... милліоны переплатилъ! Нѣкоторыхъ я изъ грязи вытащилъ, до благосостоянія довелъ, осчастливилъ на всю жизнь, а теперь эти же люди заклевать меня готовы!..

Баскаковъ дотронулся до руки Муратова и интимнымъ тономъ проговорилъ ему:

— Признаюсь тебѣ откровенно: нужно было имѣть мое терпѣніе, мою глубокую вѣру въ свою звѣзду, чтобы не пасть давно духомъ въ моемъ положеніи. Я вѣдь, ты понимаешь, чувствовалъ, чутьемъ угадывалъ, какъ подо мною, подъ моимъ помостомъ подламываютъ столбъ за столбомъ, сваю за сваей, доску за доской, а тамъ внизу зіяетъ темная бездна! И не за что ухватиться, не на кого надѣяться!.. Ужасно, ужасно!

Муратовъ молчалъ и обдумывалъ дѣло, предоставляя дядѣ полную свободу войти въ роль.

— Да вотъ тебѣ примѣръ, до чего довело это даже меня,—продолжалъ Александръ Николаевичъ.—Я съ Цвѣнтеховскимъ велъ переговоры, я ждалъ, что Хвостовъ — Иванъ Дмитріевичъ Хвостовъ! — мой домъ купитъ! Вѣдь это ты понимаешь что такое? Это чортъ знаетъ что такое! Это хуже, чѣмъ ѣздить на кофейной гущѣ гадать! А я до этого дошелъ! Вѣдь ты пойми, что нужно было изстрадаться, чтобы дойти до этого. Это вѣдь даже и не соломинка утопающаго, нѣтъ, это кофейная гуща, кофейная гуща и ничего болѣе! Я въ какіе-нибудь четыре года постарѣлъ на десять лѣтъ... Я дряхлымъ старикомъ становлюсь!

Муратовъ теперь сидѣлъ въ раздумьи и смотрѣлъ на какія-то бумаги, валявшіяся на письменномъ столѣ. О порядкѣ, въ какомъ находились эти бумаги, можно было сказать только одно, что тутъ «чортъ ногу переломитъ». Весь письменный столъ, всѣ стулья и кресла были завалены ими. Среди этихъ бумагъ попадались пустые ящики изъ-подъ сигаръ, сломанныя коробки отъ спичекъ, образцы обоевъ и бордюровъ, старые галстуки. Среди этого хаоса было трудно разобраться.

— Это, дядя, счеты?—спросилъ Муратовъ, дотрогиваясь до бумагъ на столѣ.

— Да, разныя бумаги: счеты, смѣты, письма,—отвѣтилъ Баскаковъ.

— Вы позволите взглянуть?

— О, сдѣлай одолженіе! Поучительная лѣтопись домостроительства!

— Потомъ надо будетъ все подробно провѣрить, чтобы комаръ носа не могъ подточить, — мелькомъ замѣтилъ Данила Павловичъ.

— О, у меня все, какъ на ладони,—отвѣтилъ Баскаковъ.

Муратовъ сталъ перебирать бумаги.

— Да, — заговорилъ Баскаковъ: — это любопытная хроника надувательства, безсовѣстнаго грабительства, жидовскаго ростовщичества. Я ни на минуту не задумаюсь провести этихъ людей. Я чувствую въ этомъ потребность, какъ...

Муратовъ остановился на какой-то бумагѣ и перебилъ краснорѣчіе дяди.

— Дядя, развѣ вы дѣлали въ Петербургѣ туалеты для Матрены Кузьминичны?

Баскаковъ въ недоумѣніи остановился передъ Муратовымъ.

— Никогда!

— Но вотъ тутъ счетъ модистки.

— А! Это для Берты,—небрежно отвѣтилъ Баскаковъ.

Муратовъ въ свою очередь взглянулъ съ недоумѣніемъ на дядю.

Тотъ пожалъ плечами.

— Или ты думалъ, что я могъ столько времени въ мои годы обойтись безъ женщинъ? — сказалъ онъ, и его верхняя губа приподнялась съ одной стороны съ выраженіемъ презрѣнія.

— Хорошо, должно-быть, бестія одѣвалась,—коротко за-

мѣтилъ Муратовъ, отбрасывая счетъ, и снова сталъ проглядывать бумаги.

Вотъ опять какой-то странный счетъ по домостроительству: закуска, обѣдъ, пиво. Затѣмъ попалась еще менѣе касающаяся построекъ бумажка: просьба прислать двѣсти рублей, подписанная по-французски буквою В. Тутъ же среди безграмотныхъ счетовъ мелкихъ подрядчиковъ, подписывавшихъ «капецъ втарой гильдіи», лежала раздушенная пригласительная записочка какой-то барыни-благотворительницы. Видно было, что тутъ все валилось въ одну кучу, безъ толку, безъ разбору, на ходу. Баскаковъ какъ бы угадалъ мысли Даніилы Павловича о безпорядкѣ, господствовавшемъ здѣсь, и заботливо замѣтилъ:

— Ты, пожалуйста, клади только все такъ, какъ оно лежало. Этотъ безпорядокъ для меня порядокъ: я тутъ съ зажмуренными глазами найду все, что мнѣ надо. При такомъ сложномъ дѣлѣ нечего думать о сортировкѣ бумагъ, а нужно только помнить, что куда кладется. Впрочемъ, у меня вѣдь контора есть, и тамъ все вносится въ шнуровыя книги. Хвостовъ тебѣ укажетъ. Дѣла всѣ ясны, какъ на ладони...

— Да, повозиться, какъ видно, придется не мало со всѣмъ этимъ дѣломъ; но положитесь во всемъ на меня, — проговорилъ Даніила Павловичъ, складывая бумаги.

Онъ взялъ со стола какую-то попавшуюся ему подъ руку вещь и, вертя ее въ рукахъ, откинулся въ креслѣ.

— На работахъ у меня теперь,—продолжалъ онъ:—меня можетъ замѣнить и Пахомъ Семеновичъ, и потому я могу удѣлить время на ваши дѣла. Они требуютъ серьезнаго вниманія. Но только прошу васъ объ одномъ: не предпринимайте ничего безъ моего совѣта. Я вѣдь васъ знаю...

Въ эту минуту взятая имъ со стола вещь, которою онъ продолжалъ играть, начала, шелестя, развертываться въ его рукахъ. Онъ не безъ удивленія взглянулъ на нее и увидалъ, что онъ держитъ огромный дамскій вѣеръ. Онъ съ презрительной усмѣшкой отбросилъ его и поднялся съ мѣста. Это выраженіе нескрываемаго презрѣнія какъ-то странно поразило Баскакова. Онъ сконфузился, точно школьникъ. Даніилѣ Павловичу нужно было ѣхать по дѣламъ, и дядя, и племянникъ разстались. Въ тотъ же день Даніила Павловичъ заѣхалъ къ Аделаидѣ Александровнѣ и сказалъ ей, что онъ остается въ Петербургѣ еще на нѣсколько дней, и что ей нужно торопиться съ покупкой Ольхова-

того. Онъ говорилъ теперь дѣловымъ тономъ, по своему обыкновенію, коротко и ясно. Аделаида Александровна сразу попала въ этотъ же тонъ. Какъ-то инстинктивно они отложили на этотъ разъ въ сторону все, не идущее къ дѣлу.

— Я самъ бы купилъ имѣніе для себя: оно доходное,— сказалъ, между прочимъ, Муратовъ.—Но не хочу я покупать его; ничего я не понимаю въ сельскомъ хозяйствѣ. Мнѣ теперь не къ этому дѣлу тянетъ.

Когда рѣчь зашла о цѣнѣ, онъ замѣтилъ:

— Его и за грошъ можно купить и за два, за три десятка тысячъ доплаты, потому что для дяди все равно, за что продать, только бы продать. Эти деньги пойдутъ на обезпеченіе его семьи.

Потомъ онъ прибавилъ:

— Тебѣ тоже все равно, если твой іерусалимскій дворянинъ расколбасится немного больше или немного меньше. Лучше, конечно, если немного больше, а то, въ самомъ дѣлѣ, твоя мачеха и ея дѣти останутся нищими. Дядюшка ихъ чуть по-міру не пустилъ. Тебѣ же или имъ могутъ сѣсть на шею... Сюрпризъ будетъ не изъ пріятныхъ.

Они разстались друзьями, условившись списаться объ Ольховатомъ и рѣшивъ въ принципѣ, что имѣніе будетъ куплено Муратовой.

Два-три дня Данила Павловичъ оставался еще въ Петербургѣ и безвыходно сидѣлъ въ конторѣ дяди, просматривая книги и счеты. Въ конторѣ велась удивительная бухгалтерія, тайну которой едва ли могъ понять кто-нибудь, кромѣ самого Баскакова и Хвостова. Тутъ тоже чортъ могъ переломить ногу; но это обстоятельство не особенно встревожило и даже скорѣй обрадовало Данилу Павловича, такъ какъ въ этой мутной водѣ все равно никто ничего не разобралъ бы и никогда не доискался бы, куда растрачены лишніе десятки или сотни тысячъ. Пересмотрѣвъ всѣ дѣла, взявъ съ Александра Николаевича на нѣсколько сотъ тысячъ векселей, Данила Павловичъ уѣхалъ домой, давъ обѣщаніе дядѣ вернуться снова къ нему, когда этого потребуютъ обстоятельства.

А безъ него Матрена Кузьминична уже не разъ присылала сыновей и Воздвиженскаго къ Олимпіадѣ Ма...ловой узнать, не пріѣхалъ ли Данила Павловичъ. Не успѣлъ онъ отдохнуть съ дороги, какъ Матрена Кузьминична была уже у него. Начались разспросы: какъ и что?

— Дѣла, какъ сажа бѣла,—отвѣтилъ Данила Павловичъ.—

Ольховатое нужно продать, несостоятельность на носу. Но я поспѣлъ во-время. Вы получите всѣ деньги, которыя выручатся отъ продажи Ольховатаго. Это покуда будетъ все, что останется у васъ съ дѣтьми. Потомъ, когда дядю объявятъ несостоятельнымъ, мы спасемъ еще кое-что. Нищими не останетесь, но нужно будетъ дѣйствовать очень осторожно и умѣло.

Матрена Кузьминична только ахала, крестилась и разводила руками, совсѣмъ растерявшись. По ея лицу катились слезы. Олимпіада Пахомовна тоже смотрѣла на нее со слезами на глазахъ, но старалась ободрить ее.

— Не плачьте, тетушка, не плачьте! — говорила она. — Даня все устроитъ; онъ у насъ добрый и такой умный, все знаетъ...

— Только на него и надежда, только на него, — говорила Матрена Кузьминична.—Но Александру-то Николаевичу ничего за это не будетъ? Не посадятъ его?

— Нѣтъ, нѣтъ, вы ужъ о немъ-то не заботьтесь!—отвѣтилъ Данила Павловичъ.

— О комъ же мнѣ и заботиться, какъ не о немъ?.. Я съ дѣтьми всегда перебьюсь, мы простые люди, не господа какіе-нибудь...

— Да кстати о дѣтяхъ... Дядя вѣдь узаконилъ дѣтей?

— Нѣтъ, голубчикъ, нѣтъ...

— Они, значитъ, такъ и числятся Васильевыми?

— Да, Васильевы...

— Ну, и отлично! Значитъ, мы потомъ изъ вырученныхъ за Ольховатое денегъ купимъ имъ землю, и пусть ихъ работаютъ. Они сумѣютъ выбиться изъ нужды...

— Что они! Они—работники! Только бы его спасти. Ты мнѣ побожись: не сидитъ онъ еще въ ямѣ-то?

— Да полноте вы о немъ сокрушаться!—досадливо сказалъ Данила Павловичъ.—Не сидитъ, и не будетъ сидѣть!

— Ну, и слава тебѣ, Господи! Только бы этого-то не было; а деньги что!

Данила Павловичъ разсердился даже.

Но Олимпіада Пахомовна поддержала тетку. Она понимала чувства этой женщины. Она сама не остановилась бы на выборѣ между мужемъ и дѣтьми: послѣднихъ она любила; къ первому она чувствовала безумную страсть. Долго длилось совѣщаніе родственниковъ. Но Матрена Кузьминична въ сущности ничего не поняла изъ того, что ей говорилъ Данила Павловичъ, и въ ея душѣ былъ только

страхъ за участь Александра Николаевича. Въ самомъ тяжеломъ настроеніи уѣхала она домой. Дома ее обступили дѣти, гувернантка, Воздвиженскій. Она, какъ умѣла, передала имъ все слышанное.

— Ну, бѣда еще не велика,—рѣшилъ Воздвиженскій:— по-міру значитъ не пойдете, а что этихъ хоромъ не будетъ, такъ на что вамъ онѣ?

— И вовсе онѣ даже не подъ стать вамъ,—рѣшила гувернантка.—Въ Чистопольѣ по зимамъ въ маленькомъ домикѣ жмемся; а ничего, славу Богу, живется не худо.

— Да не хоромъ мнѣ этихъ жаль, а за него я трясусь,— сказала Матрена Кузьминична.

И вдругъ, услышавъ гдѣ-то мычаніе коровъ, совсѣмъ жалобнымъ тономъ прибавила:

— Вотъ и скотинки всей лишимся, все-то отнимутъ, все...

— Ну, это еще бабушка на-двое сказала!—воскликнулъ запальчиво Александръ. — Я своего Вороного, что они ни говори, скраду!

— Озорникъ, что ты это выдумалъ,—проговорила Матрена Кузьминична:—цыцъ, разбойникъ!

— Тоже, братъ, за это тебя по головкѣ не погладятъ,— серьезно замѣтилъ Николай.—Глупости болтаешь!

— Отчего же не скрасть Вороного, если тысячи красть будутъ,—ядовито ввернулъ Воздвиженскій.

Всѣ обернулись къ нему, точно онъ разомъ нанесъ ударъ всѣмъ.

— Какъ тысячи красть будутъ? Какія тысячи?—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Да не понимаете вы, что ли, что Данила Павловичъ теперь спасать Александра Николаевича будетъ тѣмъ, что надуетъ его кредиторовъ,—пояснилъ Воздвиженскій.—Вѣдь другого-то спасенья быть не можетъ. Продадутъ имѣніе и деньги припрячутъ, еще какой-нибудь фортель выкинутъ, чтобы утянуть десятокъ-другой тысяченокъ. Это ужъ извѣстное дѣло, какъ во время банкротства мошенничаютъ...

Матрена Кузьминична совсѣмъ оробѣла.

— Да вѣдь это по купечеству такъ дѣлается,—сказала она.

— А вы думаете по дворянству иначе дѣлается?—отвѣтилъ онъ.

— Да ты говори толкомъ,—сказала она испуганнымъ и раздражительнымъ тономъ.—Что же такое будетъ: въ петлю, что ли, лѣзть заставятъ Александра Николаевича?

— Да вѣдь припрятать-то кое-что нужно же.

— Ну, а узнаютъ?

— Тогда по головкѣ не погладятъ. Злостнымъ тоже признаютъ, тогда радость будетъ не велика. По Владиміркѣ можно прогуляться.

— Господи, да что же это такое!—воскликнула Матрена Кузьминична, обводя всѣхъ испуганными глазами.—Просто всѣ поджилки трясутся. Ахъ ты, бѣды какія! ахъ, бѣды! Да какъ же это Даніла Павловичъ такое дѣло затѣялъ! Не грѣхъ ли ему!

— Да вѣдь другого выхода нѣтъ. Или вы нищими сдѣлаетесь, или надо мошенничать. Ну, да тутъ не грѣхъ кое-что припрятать, тоже не у честныхъ людей копейку утянете, а чортъ знаетъ у кого...

— Ахъ, ты, Господи, напасть-то какая, напасть-то какая!—повторила Матрена Кузьминична, качая головой.—И вправо сверни—шею сломаешь, и влѣво пойди—головы не сносишь. Вотъ въ кашу-то попались!

На всѣхъ напало какое-то уныніе. Теплый вечеръ тихо догоралъ, пора было уходить съ террасы, гдѣ сидѣла вся семья, а никто и не думалъ объ этомъ. Только теперь всѣ поняли ясно бѣду, обрушившуюся на семью, — бѣду безвыходную, непоправимую. Служанка уже второй разъ заходила на террасу сказать, что чай поданъ, но ее не замѣчали.

— Да что ты тутъ топчешься на одномъ мѣстѣ?—наконецъ, произнесла Матрена Кузьминична съ раздраженіемъ.

— Чай-съ поданъ!—отвѣтила женщина.

— Чай, чай! До чаю теперь! Экая бѣда случилась, а тутъ чай!—проворчала Матрена Кузьминична и все-таки поднялась съ мѣста, чтобы идти въ столовую.

За нею поднялись съ мѣста и остальные присутствующіе. Чаепитіе прошло среди тоскливаго молчанія. Присутствующіе только изрѣдка перекидывались отрывочными фразами. Всѣмъ было не по себѣ. Но болѣе всѣхъ досадовалъ на себя Воздвиженскій, что онъ открылъ всѣмъ глаза на сущность дѣла. Онъ какъ-то исподлобья поглядывалъ на всѣхъ и случайно встрѣтился глазами съ гувернанткой. Она смотрѣла такъ сурово, что онъ сразу понялъ, что и она сердита на него. Онъ всталъ и опять вышелъ на террасу. Черезъ минуту вышла туда же и гувернантка.

— Ну, какой чортъ дернулъ васъ за языкъ!—проворчала она.—Вѣдь дѣла-то вы своими объясненіями не поправили, а теперь вся семья точно въ воду опущенная. Матрена Кузьминична вонъ всю ночь, поди, не будетъ спать. Воровство,

мошенничество, Владимірка! Ну, а какъ по-вашему надо поступить?

— А чортъ знаетъ какъ! Что вы пристали! — отвѣтилъ отрывисто Воздвиженскій.—А потакать ворамъ тоже ужъ я не буду. Воры, такъ ворами ихъ и зову.

— Кто воръ-то? Матрена Кузьминична? Коля да Саша? Маруся? Или хотите, чтобъ они отказались отъ тѣхъ крохъ, которыя имъ останутся, и пошли по-міру? Экій честный обличитель: самъ ничего отъ обличенія не теряетъ, такъ и обличаетъ!

— Да отвяжитесь вы отъ меня, Анна Ивановна! Всегда я говорилъ, что вы сварливая дѣвица, и теперь это въ сотый разъ повторяю.

— Скажите, пожалуйста, какъ это мнѣ важно знать ваше мнѣніе обо мнѣ! Вы лучше бы сказали, какого мнѣнія вы о своемъ поступкѣ? Удивляетесь, поди, своему гражданскому подвигу: глаза людямъ раскрылъ, правду имъ высказалъ! Ахъ, вы! Десять лѣтъ у семьи хлѣбъ-соль ѣдите, а поберечь, пощадить ее въ тяжелую минуту не умѣете...

Воздвиженскій съ комичной злобой обернулся къ ней лицомъ.

— И что же вы за ехидна такая!—воскликнулъ онъ.— Нашли больное мѣсто, подсмотрѣли, вынюхали его, и тычете, и тычете въ него пальцемъ! Вотъ, молъ, тебѣ; вотъ, молъ, тебѣ! Ну, дѣвица, вотъ такъ дѣвица, я вамъ скажу!

Онъ развелъ руками.

— Теперь вы ко мнѣ цѣлый мѣсяцъ не подступайте, говорить съ вами не буду!—сказалъ онъ.

— Да молчите, пожалуй; это веселья въ домѣ прибавитъ! И безъ того будетъ теперь весело, а еще всѣмъ пріятнѣе станетъ, когда ваша надутая физіономія всѣмъ глаза мозолить будетъ. Какъ разъ во-время надумали дуться!

— Тьфу!—плюнулъ Воздвиженскій и отошелъ прочь.

Семья Баскакова уже поднялась изъ-за стола. Всѣ распрощались и ушли спать.

Братья Николай и Александръ прошли въ свою комнату. Это было просторное, высокое и свѣтлое помѣщеніе во второмъ этажѣ съ балкономъ, выходившимъ въ садъ. Въ комнатѣ было жарко. Николай отворилъ дверь и вышелъ на балконъ. Онъ подошелъ къ периламъ балкона. Въ воздухѣ было тепло и тихо; внизу дремалъ громадный старый паркъ: изъ него доходилъ смутный, едва замѣтный шелестъ жизни; въ темномъ безоблачномъ небѣ мигали звѣзды. Юноша какъ

бы замеръ, вдыхая широкою грудью свѣжій воздухъ, любуясь тихою ночью. Въ комнатѣ же, въ это время, его братъ всталъ на обычную молитву. Въ одномъ бѣльѣ, босой, онъ стоялъ передъ образомъ Спасителя на колѣняхъ и усердно клалъ земные поклоны, встряхивая курчавой головой и осѣняясь широко крестнымъ знаменіемъ. Въ тишинѣ было слышно, какъ шептали его губы молитву, какъ слегка стукалась его голова объ полъ. Когда братъ Николай вернулся въ комнату, Александръ уже кончалъ молиться. Николай раздѣлся и легъ. Александръ сдѣлалъ еще пару земныхъ поклоновъ, поднялся и тоже легъ на свою постель. Оба юноши лежали на спинахъ, подложивъ руки подъ головы.

— Что? Объ Ворономъ молился, чтобы не отняли?—спросилъ Николай.

— Ну, вотъ, есть о чемъ молиться!—отвѣтилъ Александръ.

Потомъ они снова замолчали, и опять ихъ глаза устремились по направленію къ окнамъ. Тамъ царила прозрачная тьма сухой и безоблачной лѣтней ночи, и попрежнему мерцали милліоны звѣздъ въ бездонномъ воздушномъ пространствѣ. Минуты шли за минутами, а молодымъ людямъ противъ обыкновенія не спалось. Что-то смутное, странное происходило въ душѣ. Они, казалось, не думали, не размышляли; въ ихъ головахъ былъ какой-то хаосъ, и въ этомъ хаосѣ мелькали какіе-то отрывки мыслей, фразъ, вопросовъ.

— Да, вонъ молишься, молишься, а на воровскія деньги все же жить будешь,—вдругъ проговорилъ Александръ съ тяжелымъ вздохомъ, не поворачивая головы.

— Что-жъ, помнишь, вотъ объ итальянскихъ бандитахъ читали: они всегда сначала помолятся, а ужъ потомъ идутъ на грабежъ,—отрывисто отвѣтилъ Николай.

Они опять замолчали, опять глаза ихъ устремились къ темному небу, къ мерцающимъ звѣздамъ.

— Да, вонъ Антонъ Михайловичъ мошенниками назвалъ, потомъ всѣ назовутъ, сами будемъ себя такъ звать. Хорошо тоже!—продолжалъ въ раздумьи братъ Александръ, и въ его тонѣ послышалась горечь.—И зачѣмъ онъ сказалъ! Не знали бы—лучше бы было.

— Ишь, страусъ какой! Подъ крыло голову спряталъ, такъ и думаетъ, что никто его не увидитъ,—съ ироніей отвѣтилъ Николай.

— Да вѣдь мы ничего подѣлать не можемъ! Попусту

только чортъ знаетъ что въ голову лѣзетъ!.. Тоже, поди, теперь и мать, и сестра молятся и плачутъ...

— Ну, у матери одно горе, какъ бы нашъ Александръ Николаевичъ по Владимірк'ѣ не пошелъ...

— Не пойдетъ! Данила Павловичъ взялся за дѣло, чисто обдѣлаетъ... Съ чего это онъ только такъ захлопоталъ?

— Боится, что на шею ему, какъ нищіе, сядемъ... Ну, да и руки тутъ около дѣла себѣ немного понагрѣетъ...

Опять наступила пауза. Задумчивые глаза снова всматриваются въ бездонное небо, снова слѣдятъ за мерцаніемъ звѣздъ.

— Хотѣлъ бы я знать,—задумчиво заговорилъ Александръ:—какъ тамъ, на небѣ... Если вотъ нагрѣшитъ здѣсь человѣкъ, умретъ нераскаяннымъ, Богъ-то проститъ ли его за чужія молитвы?.. Вѣрно, думаютъ, что проститъ, если молятся за умершихъ.

Николай молчалъ. Спустя минуту Александръ продолжалъ тѣмъ же тономъ раздумья:

— Значитъ, богатымъ все отпустится, все простится? За нихъ вонъ сколько людей молится, храмы иногда строятъ, чтобы вѣчно молились за нихъ, въ монастыри вклады дѣлаютъ тоже... А бѣдный умри въ грѣхахъ—некому за него молиться... Родные развѣ... А то чужіе — такъ, даромъ молиться не станутъ... А чѣмъ человѣкъ виноватъ, что былъ бѣденъ?

Потомъ онъ, спустя минуту, опять заговорилъ:

— Вонъ, Пахомъ Семенычъ не одну душу, я думаю, загубилъ. Рабочихъ-то давитъ, давитъ, послѣдніе соки выжметъ, покуда у него они маются на работѣ. А тоже, поди, въ рай попадетъ. Онъ вонъ и колоколъ на церковь пожертвовалъ, и на пріютъ далъ, и на богадѣльню. Въ церкви вѣчно поминать будутъ. Глядишь, послѣ смерти на монастырь что-нибудь дастъ. Тоже вонъ Данила Павлычъ теперь на народъ налегаетъ, по чужимъ костямъ въ гору лѣзетъ, а тамъ благодѣяніями душу спасать станетъ...

Николай мелкомъ спросилъ брата:

— Да тебѣ завидно, что ли, что они въ рай попадутъ?

— Выдумалъ!—проговорилъ Александръ.

И черезъ минуту продолжалъ:

— Такъ, нѣтъ, нѣтъ, да и придутъ эти мысли въ голову... Вотъ, помнишь того рабочаго, старичка, что въ третьемъ году удавился въ лѣсу... Ушелъ съ линіи и удавился... Посмотрѣлъ я тогда на него! однѣ кости, да кожа, самъ сѣ-

денькій, сморщенный, желтый, одежонки, почитай, что и не было на немъ, такъ, какія-то лохмотья на косточкахъ висѣли... Видно, ужъ что съ горя человѣкъ руки наложилъ на себя... Вѣкъ мучился, да терпѣлъ, подъ старость только силъ не хватило... А какъ его хоронили?.. Ни панихидъ, ни отпѣванья; зарыли, какъ собаку, не на кладбищѣ, а на опушкѣ лѣса, и конецъ... Такъ какъ же это: и всю жизнь онъ здѣсь мучился, и тамъ?..

Николай потянулся и перевернулся на бокъ.

— Пустяки это все! Здѣсь бы только Гущины, да Данилы Павловичи людьми не помыкали; а тамъ—тамъ ужъ у нихъ совѣта не спросятъ, куда кого пристроить...

Онъ завернулся въ одѣяло, и не прошло пяти минутъ, какъ послышалось его ровное, здоровое дыханье. Онъ уже спалъ, а Александръ все еще лежалъ съ открытыми глазами и всматривался въ бездонное небо...

VII.

Иванъ Дмитріевичъ Хвостовъ сдѣлалъ великое для себя открытіе. Какъ-то, заговоривъ снова о покупкѣ дома съ Баскаковымъ, онъ услыхалъ отъ послѣдняго фразу о томъ, что, видно, какъ ни вертись, а банкротомъ придется сдѣлаться. Хвостовъ полюбопытствовалъ, сколько всего долгу у Баскакова, и получилъ отвѣтъ, что долгу три милліона.

— Три милліона!—съ благоговѣніемъ воскликнулъ Хвостовъ. — Господи, какъ это иному человѣку повезетъ! Три милліона! Вы геній, Александръ Николаевичъ, право, геній!

Онъ развелъ своими коротенькими руками и съ какимъ-то благоговѣніемъ всматривался въ Баскакова. Тотъ даже разсмѣялся.

— Ну, небольшое еще счастье столько задолжать!—сказалъ онъ.

— Да, помилуйте, это цѣлое состояніе: навѣки и вамъ, и потомкамъ вашимъ хватитъ.

— Долговъ-то?

Баскаковъ расхохотался.

— Да вѣдь не все же вы отдадите,—сказалъ Хвостовъ и точно чему-то удивился. — Если десять процентовъ останется, и то, шутка ли! Ахъ, какое состояніе! Вѣдь я знаю эти дѣла, не все же вы кровопійцамъ и грабителямъ этимъ кредиторамъ предоставите!

— Конечно, конечно,—равсѣянно отвѣтилъ Баскаковъ.

Мысль, какъ надутъ кровопійцъ, ему самому не давала покоя. Онъ создавалъ на этотъ счетъ тысячи плановъ.

— Конечно, конечно,—повторилъ онъ, ходя по комнатѣ.— Вотъ можно бы было въ аренду дома сдать.

— Да-съ, это можно, можно. Вы это о фиктивной арендѣ говорите? Дома съ молотка продадутъ, а вы черезъ третье лицо аренду получать можете. Это можно-съ!

Иванъ Дмитріевичъ оживился и сталъ потирать руки. Баскаковъ утвердительно кивнулъ головой. Эта мысль не пришла въ голову ни ему, ни Данилѣ Павловичу во время пріѣзда послѣдняго въ Петербургъ. Теперь же Баскаковъ увлекся ею. Она не давала ему покоя въ теченіе нѣсколькихъ дней.

Онъ посмотрѣлъ на Хвостова и спросилъ его:

— Вы бы взяли въ аренду который-нибудь изъ моихъ домовъ?

У Хвостова даже духъ замеръ. Онъ вдругъ началъ усиленно потирать руки и забормоталъ безсвязно:

— Я-съ... я-съ... Ахъ, ты, Господи Боже мой!.. Вотъ-съ вамъ моя душа... я-съ...

Потомъ онъ схватилъ Баскакова за руки и проговорилъ задыхающимся, но торжественнымъ голосомъ:

— Александръ Николаевичъ, Александръ Николаевичъ, я-съ по гробъ вамъ, по гробъ... Я не изъ корысти... я-съ... Ахъ, три милліона долгу! Этакій вы геній человѣкъ!.. Я зналъ одного, тотъ шестьсотъ тысячъ долгу имѣлъ и то теперь въ каретахъ ѣздитъ, а вы... три милліона!

Онъ сложилъ руки, точно молясь на Баскакова, и, качая головой, пожимая плечами, прошепталъ:

— Ахъ, ахъ!.. Три мил-ліо-на!

Баскаковъ любилъ тѣхъ, кто преклонялся передъ его геніемъ, онъ потрепалъ Хвостова покровительственно по плечу и проговорилъ:

— Заходите какъ-нибудь денька черезъ два, мы объ этомъ поговоримъ за бутылкой вина...

Хвостовъ не помнилъ уже себя отъ радости. Онъ чуть не поцѣловалъ руки у Баскакова, едва не прижалъ его къ груди. Надѣвъ совсѣмъ на затылокъ шляпу, помахивая, какъ мальчуганъ-франтикъ, тросточкой, разговаривая съ самимъ собою вслухъ, онъ летѣлъ домой, то безъ всякой церемоніи толкая въ бока прохожихъ, то на ходу извиняясь передъ фонарнымъ столбомъ, за который задѣлъ плечомъ. На время онъ потерялъ способность видѣть и понимать окружающую

его дѣйствительность. Онъ впередъ предвидѣлъ эффектъ, который произведетъ на его семью извѣстіе о томъ, что онъ будетъ арендовать дома Баскакова.

— Три милліона долгу! Три милліона! — повторялъ онъ, приближаясь къ дому, гдѣ онъ жилъ.

Хвостовъ жилъ на бивуакахъ.

— Извините, батюшка, моя Ольга Даниловна не хозяйка... И то сказать, мы вѣдь на бивуакахъ все!

Этою фразою неизмѣнно встрѣчалъ Хвостовъ всѣхъ посѣщавшихъ его. Дѣйствительно, въ его квартирѣ царствовалъ невообразимый хаосъ. Но, взглянувъ на этотъ безпорядокъ, каждый посторонній человѣкъ тотчасъ же успокаивался, рѣшая мысленно: «да они, впрочемъ, тутъ на бивуакахъ, на-время поселились». Эта успокоительная мысль приходила въ голову даже тѣмъ, кому самъ Хвостовъ не успѣвалъ объяснить, что онъ живетъ на бивуакахъ, приходила потому, что каждый посѣтитель сразу соображалъ, что постоянно такъ жить нельзя. На этомъ же убѣжденіи успокоился и Хвостовъ, успокоилась и его жена, успокоились и его дочери, Вѣра и Оля, дѣвушки пятнадцати и шестнадцати лѣтъ. Они всѣ успокоились на этой мысли и прожили съ такимъ успокоительнымъ убѣжденіемъ всю жизнь. Правда, въ Петербургѣ на бивуакахъ они прожили только пять лѣтъ, но среди того же хаоса они жили и въ Казани, и въ Москвѣ, и въ Сызрани, и въ имѣніяхъ разныхъ крупныхъ землевладѣльцевъ, гдѣ господинъ Хвостовъ являлся и младшимъ управляющимъ, и конторщикомъ, и помощникомъ режиссера, и человѣкомъ «на хлѣбахъ изъ милости». Иванъ Дмитріевичъ Хвостовъ, этотъ кругленькій, сѣденькій, лысенькій и розовенькій старичокъ, былъ въ сущности неудачникомъ, но никто не вѣрилъ такъ сильно въ возможность удачи, какъ онъ, потому что, по его словамъ, были бы только руки и голова, а достигнуть всего возможно.

— Да, вотъ взгляните на Ивана Григорьевича Жукова, на Павла Степановича Ѳедорова, — говаривалъ онъ: — на моемъ вѣку наживаться стали, нищими были, а теперь какіе тузы. Да и не одни они.

Затѣмъ шелъ разсказъ о цѣломъ рядѣ людей, начавшихъ съ ничего и добившихся до видныхъ мѣстъ и большихъ капиталовъ. Онъ былъ сиротой съ колыбели, воспитаніе получилъ въ театральномъ училищѣ, не научился тамъ ничему и по окончаніи курса остался не у дѣлъ. Съ первыхъ же дней самостоятельной жизни онъ сталъ скитальцемъ, слу-

чайно получалъ мѣста, случайно лишался ихъ, случайно его женили на какой-то вдовѣ провинціальнаго актера, игравшей въ случаѣ нужды роли королевъ и царицъ, если эти роли не требовали рѣчей. Высокая, плотная, лѣнивая, Ольга Даниловна очень тяготилась заучиваньемъ ролей даже тогда, когда онѣ состояли изъ десятка фразъ, и потому она была рада, послѣ годового вдовства, выйти замужъ даже за Хвостова. Въ приданое ему она принесла только свое царственное величіе и безмятежное, лѣнивое спокойствіе. Въ день ихъ свадьбы на двухъ дорожныхъ сундукахъ примостили двѣ доски, на доски положили складной матрацъ, прикрытый измятыми простынями, и такимъ образомъ получилось брачное ложе молодыхъ. «Ну, что дѣлать, мы вѣдь на бивуакахъ», сказалъ Иванъ Дмитріевичъ, и съ той поры около двадцати лѣтъ онъ и его семья неизмѣнно утѣшались этою фразою. Положеніемъ на бивуакахъ объяснялись всѣ неудобства помѣщенія, отсутствіе то обѣда, то чаю, недостатокъ чистой сорочки на Хвостовѣ и сколько-нибудь приличнаго платья на Хвостовой. Это сознаніе, что всѣ претерпѣваемыя невзгоды только временныя невзгоды, не покидало семьи ни на минуту, и у Хвостова были всегда основанія поразить постороннихъ успѣшностью хода его дѣлъ.

— Да-съ, вѣдь съ ничего началъ,—разсказывалъ онъ.— Сироткой остался малюсенькимъ на мостовой. А не пропалъ. И образованіе получилъ, и, кончивъ курсъ, мѣсто нашелъ. Сколько путешествовалъ, такъ это иной богачъ сотой доли того не увидитъ, что мы съ Олей видѣли. Такъ вѣдь Оля?

— Да, ужъ гдѣ-гдѣ ни бывали. Вотъ въ Сызрани у самого князя Трусова въ имѣніи гостили...

— Да, видите, у князя Трусова. Онъ, знаете, метрессу имѣлъ. Вотъ Ольга Даниловна съ ней и сдружилась. Ну, и пригласили насъ гостить...

— Барышни Пашковы у нея бывали, всѣ мѣстные чиновники наѣзжали. Такіе пикники устраивали, что страсть. Только жаркое лѣто было. Распаритъ, бывало, всю такъ, что ну ихъ съ пикниками. Лежала бы въ своемъ холодѣ и не двигалась бы...

— Да-съ, такъ вотъ я о судьбѣ началъ,—продолжалъ Хвостовъ.—И не только я путешествовалъ по всей Россіи, а и женкой, семейкой обзавелся, и вонъ дочурокъ на ноги поднимаю. Все вѣдь своимъ трудомъ. Могу сказать, что не

мошенничалъ, не грабилъ, а только трудомъ жилъ. И не дурно-таки жилъ. Помнишь, Оля, какъ мы жили въ имѣніи князя Пушилова?

— Архіерей разъ завтракалъ у насъ!

— Да-съ, батенька, не шутите! Хе-хе-хе! Самого архіерея, его преосвященство угощали. Князь-то былъ вдовый, полюбилъ онъ насъ, ну, я хоть и просто конторщикомъ былъ, а сталъ онъ насъ къ себѣ приглашать, и совсѣмъ мы своими стали. Больше это все, конечно, черезъ его ключницу произошло. Она изъ дворовыхъ дѣвокъ была, а княземъ вертѣла. Ну, полюбила она Олю...

— Ахъ, вотъ-то мы дружны были!—говорила Ольга Даниловна.—Она тоже женщина сырая, на подъемъ тяжелая была. Ну, мы съ ней и сошлись. Бывало, лѣтомъ сидимъ въ своихъ холодаяхъ, а дѣвокъ заставимъ ягоды собирать, потомъ чистить ягоды велимъ, варенье приказываемъ варить. Плясать тоже и хороводы водить парней и дѣвокъ заставляли...

— Какъ сыръ въ маслѣ катались,—замѣчалъ Хвостовъ:—и не помри князь—хе! какъ бы мы теперь жили! Ну, да хоть и онъ умеръ, а все же Богъ не оставилъ насъ, не пошли по-міру, вотъ и до сихъ поръ живемъ. Конечно, разсчитывать нужно, нужно даромъ денегъ не бросать, потому денежка рубль бережетъ,—ну, мы такъ и живемъ; оно не легко отказывать-то себѣ въ прихотяхъ, разсчитывать, ну, да что дѣлать...

Потомъ онъ долго и пространно толковалъ, какъ онъ и Ольга Даниловна разсчетливы. Разсчетливость ихъ состояла въ томъ, что они вовсе не модники. Были бы одѣты, а какъ, это имъ все равно. Платье—пустяки! Душа да умъ—вотъ что нужно. Потомъ тоже обѣды да ужины—они, Хвостовы, за этимъ не гонятся. Иногда чаю съ булками или съ хлѣбомъ напьются и обѣдать не хочется. Такъ-то имъ и не много нужно. Тоже и обстановки они не заводятъ, покуда они на бивуакахъ, а то дорого за мебель заплатишь, а придется куда-нибудь въ другой городъ ѣхать—продашь все за безцѣнокъ. Это ужъ не расчетъ. Вотъ главныя правила, которыми они руководствуются теперь, покуда они живутъ на бивуакахъ. Тоже, когда лишнія деньжонки есть, они все гуртомъ стараются закупить, рыбы соленой на цѣлый постъ закупятъ, меду тоже, яблоки четвериками осенью закупаютъ. Такъ-то, оптомъ дешевле.

— Только вотъ въ прошломъ году рыбы пришлось по-

ловину выкинуть, сгнила,—пояснилъ Хвостовъ.—Не доглядѣли и сгнила.

— А помнишь, какъ медъ вытекъ?—замѣчала Хвостова.

— Ну, тогда и слава Богу, что вытекъ,—пояснялъ мужъ.—Мы, видите ли, купили медъ, ну, и ѣли его съ чаемъ, и такъ просто, и съ оладьями. Извѣстное дѣло, медъ сладокъ, какъ есть онъ въ домѣ, такъ и манитъ къ нему, только разъ какъ-то и опрокинули кадочку, и вытекъ онъ. Онъ-то вытекъ, а на днѣ, смотримъ, дохлая крыса. Вѣдь вотъ ужъ истинно Богъ спасъ, что опрокинули боченочекъ, а то такъ бы погань и ѣли, да еще заболѣли бы, чего добраго.

Иногда Хвостовъ лукаво подтрунивалъ надъ слѣдствіями своей разсчетливости.

— А вотъ иному смѣшно покажется, что мы всѣ канарейками ходимъ,—говорилъ онъ.—И у Ольги Даниловны, и у Вѣры, и у Оли, и у меня костюмы желтые. А это вѣдь я партію ситцу палеваго цвѣта по случаю пріобрѣлъ. Такъ вѣдь, повѣрите ли вы, три года теперь мызгаемъ-мызгаемъ его и сносить не можемъ. Все еще аршинъ двадцать осталось. Ужъ у меня, знаете, изъ него сшиты даже невыразимыя, нижнія-съ, понимаете? Что-жъ? Кто ихъ видитъ, какія онѣ цвѣтомъ? Въ партіи-то подмоченные куски были съ пятнами бѣлыми, такъ вотъ изъ нихъ мнѣ и сшила Ольга Даниловна невыразимыя. Оно смѣшно-съ со стороны, а это экономія, батенька. Мы вѣдь не Крезы! Пусть насъ зовутъ канарейками, а мы экономію соблюдаемъ и расчетъ держимъ.

Семья Хвостовыхъ жила такимъ образомъ, не жалуясь на судьбу и перебиваясь со дня на день, среди безпорядка и хаоса бивуачной жизни. Этотъ безпорядокъ казался порядкомъ Ольгѣ Даниловнѣ, привыкшей къ хаосу провинціальныхъ жилищъ актеровъ, къ хаосу театральныхъ уборныхъ и сцены во время репетицій и представленій. Ей даже казалось, что у нихъ все въ порядкѣ. Хвостовъ хотя и видѣлъ этотъ безпорядокъ, но твердо былъ убѣжденъ, что это явленіе временное, переходное. Двѣ его дѣвочки, учившіяся уже въ гимназіи, не видали съ дѣтства другой жизни и сжились, свыклись съ нею. Это были добрыя, ласковыя и нѣжныя созданія, обожавшія своего добраго «папу», любившія свою «маму», лѣнившуюся даже ворчать на нихъ, и росли милыми неряшками, какими-то веселыми Сандрильонами, съ вѣчными прорѣхами на рукавахъ, съ вѣчными чернильными пятнами на рукахъ и платьяхъ. Ихъ не за-

ботили ни ихъ наряды, ни отсутствіе обѣдовъ, замѣнявшихся чаепитіемъ съ сдобными булками и пирожками изъ кондитерской, ни неудобное спанье на сундукахъ и на полу, какъ попало. Иногда ощущалось даже особенное удовольствіе отъ возможности уснуть гдѣ-нибудь на новомъ мѣстѣ, поѣсть не въ урочный часъ, не знать навѣрное, будетъ ли сегодня обѣдъ замѣненъ чаепитіемъ и сластями и не будетъ ли вмѣсто обѣда ужинъ. Онѣ даже и не думали о какой-нибудь лучшей долѣ, такъ какъ имъ жилось привольно, и ради этого приволья къ нимъ бѣжали школьныя подруги, однѣ спасаясь отъ чопорныхъ «tenez vous droit», другія убѣгая отъ откровенныхъ «ишь, кобылы какія выросли, тоже не скоро васъ пристроишь», третьи укрывались здѣсь, чтобы позабыть среди этой поющей и смѣющейся бѣдности свою собственную ноющую и хныкающую бѣдность. Здѣсь шелъ говоръ молодыхъ голосовъ, раздавались молодые поцѣлуи, слышался смѣхъ въ спорахъ. Иногда же обѣ дѣвушки, смотрѣвшія совсѣмъ дѣтьми, угнѣздившись гдѣ-нибудь на солнышкѣ, читали книги, читали подолгу, увлекаясь всѣмъ, что попадало подъ руку.

Именно въ такую минуту засталъ ихъ Иванъ Дмитріевичъ, возвращаясь домой отъ Баскакова съ поразительною новостью. Онъ былъ серьезенъ. Онъ готовился произвести театральный эффектъ. Дѣвочки бросились къ нему навстрѣчу. Онъ торжественно поцѣловалъ ихъ, положилъ шляпу и серьезно проговорилъ:

— Дѣти, чаша нашихъ испытаній приходитъ къ концу. Настала для насъ пора перестать вести бивуачную жизнь. Я зналъ, конечно, что всему бываетъ конецъ, что это рано или поздно должно совершиться. Но, не скрою, я не ожидалъ этого именно теперь, именно нынче! Но пути Господа неисповѣдимы. Оля, приготовь обѣдъ, а я покуда переодѣнусь. Ты видишь, я взволнованъ, я потрясенъ.

Дѣвочки смотрѣли съ недоумѣніемъ на отца. Ольга Даниловна лѣниво проговорила:

— Да мы сегодня ничего не готовили. Кофе развѣ сварить?

— Все равно, все равно,—отвѣтилъ Хвостовъ.—Накрывай на столъ, и мы подробно побесѣдуемъ за столомъ о томъ, къ чему мы должны приготовиться.

Онъ отеръ съ лица потъ и вышелъ въ другую комнату переодѣваться. Ольга Даниловна приказала кухаркѣ варить кофе. Дѣвочки шушукались между собою. Черезъ нѣсколько минутъ Хвостовъ явился снова къ нимъ въ халатѣ кана-

рѣчнаго цвѣта и, снова перецѣловавъ всѣхъ, усѣлся въ кресло съ подвязанною веревками расшатавшеюся ножкою. На столъ подали кофе и булки.

— Ну-съ, вы, конечно, знаете, что я все думалъ о покупкѣ дома у Александра Николаевича Баскакова. Дѣло это было не легкое, такъ какъ оно требовало многихъ коммерческихъ комбинацій. Оно естественно затянулось, хотя я и не отказывался окончательно отъ этой мысли. Теперь устраивается другая комбинація. Господинъ Баскаковъ, вполнѣ оцѣнивъ меня, понявъ мои способности въ эти два года моей службы у него, предложилъ мнѣ взять два изъ его домовъ въ аренду.

— Папка, ты досталъ денегъ? Милочка, хорошій, угости насъ сегодня мороженымъ! У насъ подруги будутъ, угости всѣхъ,—воскликнули дѣвочки.

— О, дѣти, дѣти! Что мороженое, когда дѣло идетъ объ арендѣ двухъ пятиэтажныхъ домовъ.

— Кто же это взаймы-то тебѣ далъ?—лѣниво спросила Ольга Даниловна.

— Никто не давалъ,—отвѣтилъ Хвостовъ.—Ни у кого я и не стану брать взаймы. Александръ Николаевичъ Баскаковъ понялъ мои способности, мои стремленія вести крупное дѣло и входитъ со мною въ компанію по дѣлу арендованія его домовъ. Онъ сдастъ мнѣ ихъ за извѣстную сумму въ аренду, а я буду ему выплачивать эти деньги по мѣрѣ полученія квартирной платы съ жильцовъ. Вы понимаете ли, я буду хозяиномъ въ домахъ, населенныхъ нѣсколькими тысячами жителей, городничимъ буду, такъ сказать, въ небольшомъ городкѣ.

— Такъ онъ, значитъ, управляющимъ тебя беретъ,—сказала Ольга Даниловна.

— Управляющимъ! Что такое управляющій? Наемный человѣкъ, обязанный отдавать отчетъ въ каждомъ грошѣ,—сказалъ Хвостовъ.—Я буду арендаторомъ. Я могу набавлять на жильцовъ, я могу дѣлать все, что вздумаю, платя арендную плату.

Онъ всталъ и въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Явись я теперь къ какому угодно ростовщику и скажи: «дайте мнѣ столько-то и столько-то тысячъ, я арендаторъ двухъ баскаковскихъ домовъ». Ты думаешь, мнѣ откажутъ? Хе-хе! Какъ же! Нѣтъ, матушка, мало что не откажутъ, сами придутъ предлагать денегъ: «не надо ли вамъ взаймы?» Только мнѣ теперь не нужно. Для чего, когда мнѣ жильцы

и такъ каждое первое число станутъ вносить деньги. Знаешь, тамъ есть такіе, что по третямъ платятъ. Такъ сразу и приносятъ по сотнямъ рублей. Одинъ, такъ тотъ по тысячѣ сразу приноситъ...

Онъ остановился.

— Надо будетъ несгораемый шкапъ завести,—озабоченно проговорилъ онъ.

Потомъ онъ махнулъ рукою.

— Впрочемъ, все это пустяки!—сказалъ онъ.—Что тамъ понадобится, то и купимъ...

И, подойдя къ дѣвочкамъ, взялъ ихъ за подбородки, заглянулъ имъ въ глаза и замѣтилъ:

— Только бы купилы были, а то все купимъ. Такъ ли я говорю, козочки?

Онѣ засмѣялись.

— А купилы, папа, есть?

— Будутъ, будутъ, козочки!—сказалъ онъ и вздохнулъ.— Да, бывали дни, когда я страшно боялся за вашу участь, дочурки. Конечно, вы у меня красавицы, умницы, прилежныя. Но все же дѣвушкѣ безъ обезпеченія не легко найти жениха, не легко достать кусокъ хлѣба. Да и что такое бракъ, женскій трудъ? Бракъ—это лотерея, женскій трудъ—это скользкій путь. Нужно, чтобы дѣвушка была обезпечена, тогда только она можетъ не бросаться на шею первому встрѣчному, видя въ немъ кормильца и поильца, или исподволь найти работу. Вотъ какія мысли вѣчно смущали меня. Но теперь все кончено, все кончено!..

— Ты, что же, сегодня отдыхать не будешь?—спросила мужа Ольга Даниловна.

— Отдыхать? Да, да... мнѣ нужно отдохнуть!—отвѣтилъ Хвостовъ.

Онъ обыкновенно спалъ послѣ обѣда или, вѣрнѣе сказать, послѣ того часу, когда пришлось бы отобѣдать, если бы обѣдъ былъ. Онъ еще разъ поцѣловалъ дочерей и пошелъ въ спальню. Онъ легъ, но отъ сильнаго волненія не могъ уснуть: «Если бы хоть кто-нибудь теперь пришелъ,—разсказалъ бы все»,—невольно думалъ онъ. «А что, если бы теперь такъ вдругъ выйти на улицу и разсказать кому-нибудь? Вѣдь не повѣрили бы! Ей-Богу, не повѣрили бы»,— мелькало въ его головѣ. И вдругъ ему пришло на мысль: «отчего же не повѣрить?» Вотъ, когда онъ хотѣлъ купить эти дома, ну, тогда могли не повѣрить. А вѣдь и точно, это однѣ мечты были. Ну, какъ онъ могъ такъ вдругъ ку-

пить эти дома, не имѣя денегъ? Совсѣмъ невозможно! «Вотъ вѣдь сѣдой совсѣмъ, а все еще увлекаюсь»,—рѣшилъ онъ мысленно. Затѣмъ начался цѣлый рядъ доказательствъ того, что онъ точно увлекался, и что купить домовъ онъ никакъ не могъ. «Горе горькое, тревоги сердечныя, опасенія за дочурокъ, вотъ что заставляло воздушные замки строить, на пескѣ изводить зданіе»,—промелькнуло въ его головѣ, и онъ тяжело вздохнулъ. «Что-жъ, утопающій за соломинку хватается! За соломинку? А это даже и не соломинка, такъ бредъ какой-то, съ отчаянія». Эти мысли все дальше и дальше развивались въ его головѣ. Ему стало странно, какъ онъ не додумался до чего-нибудь болѣе практичнаго. Вотъ, напримѣръ, какъ ему не пришло на умъ, что надо не купить дома, а взять ихъ въ аренду. Для этого вовсе не нужно денегъ. Выплачивать аренду онъ будетъ изъ платы, взносимой за квартиры. У него будетъ оставаться изрядный кушъ, особенно если набавить на квартиры. На бѣдныхъ жильцовъ онъ не набавитъ, а на крупныхъ всегда можно. Конечно, могутъ найтись неаккуратные жильцы, но вѣдь по контракту можно за неплатежъ денегъ удержать мебель. На контракты только лишнія деньги идутъ. Книжки бы лучше. Но можно ли по книжкамъ за неплатежъ остановить мебель? Онъ удивился, какъ прежде онъ не обдумалъ этого пункта, когда думалъ о покупкѣ дома. «Тоже вотъ, все обдумаешь, а самое важное упустишь изъ виду». Правда, у него не съ кѣмъ посовѣтоваться. Ольга Даниловна—женщина, дочери—дѣвочки. У него явилось снова желаніе съ кѣмъ-нибудь поговорить, кому-нибудь разсказать о своемъ счастіи. Ему вдругъ вспомнилось, что его дѣвочки говорили, что къ нимъ вечеромъ придутъ подруги, и онъ совсѣмъ встревожился. «Что-жъ я валяюсь! Не сплю, а валяюсь! Вотъ въ фруктовый магазинъ надо бы зайти, какого-нибудь лакомства дѣвочкамъ купить. Тоже дома въ аренду беру, а у дѣвочекъ... бомбошки какой-нибудь грошовой нѣтъ». Онъ пересчиталъ оставшіяся у него мелкія деньги, быстро поднялся съ постели, пріодѣлся и вышелъ изъ дому.

Въ фруктовомъ магазинѣ онъ сталъ прицѣняться къ пастилѣ, къ мармеладу, къ орѣхамъ. Кое-что попробовалъ. Вдругъ онъ обернулся къ лавочнику лицомъ и небрежно проговорилъ:

— А я вотъ два дома на аренду беру... Знаете, господинъ Баскаковъ выстроилъ въ прошломъ году, такъ вотъ ихъ...

— Что-жъ, доброе дѣло,—равнодушно отвѣтилъ лавочникъ.

Хвостова какъ будто озадачило это выраженіе.

— Гмъ, гмъ... Да, оно, конечно, пожалуй, что и доброе дѣло,—началъ онъ:—это какъ кто смотритъ. Но я, знаете, насчетъ доходности. Это дѣло выгодное. За аренду, примѣрно, двадцать пять тысячъ платишь, а самъ собираешь съ квартирантовъ тридцать. Пять-то и въ барышѣ.

— Такъ-съ!—согласился лавочникъ.

— Конечно, не всѣ жильцы аккуратно платятъ. Бываютъ и такіе, которыхъ заставишь только судомъ платить. Но вѣдь въ контрактѣ можно выговорить, что вся движимость остается въ обезпеченіе долга. Конечно, заключеніе контрактовъ стоитъ денегъ. Можно бы просто по книжкамъ. Но я не знаю, имѣютъ ли книжки силу контракта въ глазахъ суда? Вы не знаете?

— Мы не по этой части,—отвѣтилъ лавочникъ.

— Да, я знаю, но какъ же вы сами живете?

— Мы въ собственномъ домѣ живемъ и торгуемъ.

— А жильцы же есть у васъ?

— Такъ, двѣ квартиренки сдаемъ, пока самимъ не требуется.

— Что же, по контракту или по книжкѣ?

— Нѣтъ, такъ... Тоже самимъ понадобится, такъ погонимъ... Для чего же тутъ себя-то обвязывать? Въ своемъ домѣ и себя обвязывать? И квартиренки-то пустяшныя, такъ сдаемъ, чтобы пустыя не стояли... Вамъ мармеладу-то фунтикъ?

Хвостовъ даже не слышалъ вопроса и продолжалъ:

— Нѣтъ, я арендую большіе дома! Да неужели вы ихъ не видѣли? Баскакова дома всѣ знаютъ... Это я беру тѣ, которые выстроены въ Безымянной улицѣ. Одинъ-то у него по правую руку отсюда, тотъ недостроенъ, а два, что по лѣвую руку стоятъ, тѣ достроены. Вотъ я ихъ-то и беру...

— Подавай Богъ!—сказалъ лавочникъ.—Больше ничего не требуется? Грецкіе орѣхи—двадцать, мармеладъ—сорокъ, всего на шесть гривенъ...

Хвостовъ былъ обиженъ сухимъ обращеніемъ съ нимъ со стороны лавочника.

«Вѣдь вотъ человѣкъ-то,—разсуждалъ онъ мысленно, выходя изъ магазина.—Говоритъ: «Что-жъ, это доброе дѣло», «подавай Богъ!» а по голосу слышно, что думаетъ въ душѣ: «Чортъ бы тебя побралъ!». Конечно, это все изъ зависти, потому у самого домишко на курьихъ ножкахъ, двѣ какія-то

конуры сдаетъ жильцамъ. Да вѣдь глупый онъ человѣкъ. Ему стоитъ захотѣть, и самъ могъ бы арендовать большіе дома. Чего же тутъ завидовать? Нѣтъ, это и не зависть, а русская апатія. Да приди я къ какому-нибудь французу въ магазинъ, къ перчаточнику или къ парикмахеру, онъ часъ бы битый со мной болталъ, все бы разспросилъ, какъ и что, и за сколько. Живой народъ эти французы».

Впрочемъ, неудовольствіе, пробужденное въ его душѣ лавочникомъ, скоро прошло. Дома онъ засталъ уже подругъ своихъ дочерей, и онѣ обступили его.

— А вы скоро въ большую квартиру переѣдете? Залъ большой будетъ? Танцовать можно? Фортепіано вы купите?

Эти восклицанія посыпались градомъ, и Хвостовъ ожилъ. Онъ обѣщалъ купить фортепіано, онъ увѣрялъ, что залъ будетъ въ пять оконъ. Онъ такъ оживился, что назвалъ дѣвушекъ «славною молодежью», «чуткими сердечками», «добрыми душами». Этотъ вечеръ прошелъ въ самыхъ свѣтлыхъ мечтахъ.

Не менѣе свѣтлыя мечты были и у Баскакова. Если Баскаковъ живостью своего воображенія не уступалъ Хвостову, то въ отношеніяхъ къ возникавшимъ въ головахъ этихъ людей планамъ была разница: Хвостовъ радовался, какъ ребенокъ, своимъ мечтамъ, Баскаковъ смотрѣлъ на свои собственные планы свысока, съ горделивымъ сознаніемъ генія, знающаго, что онъ можетъ создать и не такіе планы. Мысль о сдачѣ въ аренду двухъ домовъ осѣнила Баскакова внезапно, и онъ тотчасъ же сталъ приводить ее въ исполненіе, ухватившись, какъ за орудіе, за Хвостова. Это былъ совсѣмъ подходящій для него человѣкъ: во-первыхъ, Хвостовъ не скрывалъ, что онъ видитъ въ Баскаковѣ генія, во-вторыхъ, онъ былъ готовъ идти на все, что предложитъ Баскаковъ. Хвостовъ былъ способенъ только на восторгъ и восхищеніе; вслѣдствіе этого онъ только соглашался со всѣмъ, что проектировалъ Александръ Николаевичъ. Баскаковъ, впрочемъ, счелъ нужнымъ поговорить съ дѣловыми людьми о своемъ намѣреніи сдать дома въ аренду. «Я не люблю дѣлать дѣла на фу-фу!»—замѣтилъ онъ при этомъ. Онъ поймалъ гдѣ-то Цвѣнтеховскаго и спросилъ, что онъ думаетъ объ этой идеѣ.

— Очень прекрасное дѣло,—сказалъ Цвѣнтеховскій.—Все надо сдать въ аренду, на десять лѣтъ сдать, потому тогда даже и не продадутъ домовъ, и вы будете имѣть десять лѣтъ интересъ.

Баскаковъ былъ очень радъ. Потомъ онъ поймалъ какого-то другого дѣльца и задалъ ему тотъ же вопросъ.

— Не стóитъ! Все равно, аренду не признаютъ и ничего изъ этого не выйдетъ. А, впрочемъ, попробуйте, можетъ-быть, кривая и вывезетъ. Чортъ-то чѣмъ ни шутитъ.

О томъ же предметѣ Баскаковъ заговорилъ съ однимъ изъ знакомыхъ мировыхъ судей, какимъ-то ошалѣлымъ господиномъ, разсыпавшимъ налѣво и направо безапелляціонные приговоры.

— Что, въ злостные захотѣлось, что ли?—коротко отвѣтилъ мировой судья.

Баскаковъ выслушалъ всѣ эти противорѣчивые отвѣты и сдѣлалъ по-своему. Дома были сданы въ аренду Хвостову. Семья Хвостова перебралась въ одинъ изъ арендованныхъ домовъ, и Баскаковъ понемногу передалъ на храненіе Хвостовымъ цѣлую массу своихъ вещей: какія-то картины, купленныя на выставкахъ, какіе-то сервизы саксонскаго фарфора, купленные у продавцовъ древностей, какія-то японскія вещи, купленныя на аукціонахъ. «Это все капиталъ, нужно, батенька, его приберечь»,—говорилъ Баскаковъ. Хвостову онъ назначилъ двѣ тысячи жалованья и квартиру. Деньги же съ домовъ Хвостовъ долженъ былъ сполна отдавать Баскакову. Не прошло и недѣли, какъ Баскаковъ сдѣлался своимъ человѣкомъ у Хвостовыхъ, и сталъ возить дѣвочкамъ конфеты, а Ольгѣ Даниловнѣ билеты въ театръ. Здѣсь его слушали и восхищались его безконечными разсказами о томъ, что онъ видѣлъ и что испытывалъ. Однажды, въ пламенномъ увлеченіи, онъ даже похлопалъ по плечу Хвостова и сказалъ ему:

— Погодите, батенька, устроимъ всѣ дѣла и породнимся: у васъ дочурки, а у меня молодцы-сыновья растутъ. Мы ихъ и поженимъ...

Хвостовъ даже покраснѣлъ.

— Я... я... Александръ Николаевичъ,—забормоталъ онъ и, захлебываясь слезами умиленія, схватилъ руку Баскакова и поцѣловалъ.

— Шерочка, зачѣмъ же? Зачѣмъ же! Дай я тебя такъ поцѣлую,—сказалъ Баскаковъ покровительственно ласковымъ тономъ и поцѣловалъ старика въ лысину.

VIII.

Данила Павловичъ Муратовъ съ радостнымъ нетерпѣніемъ встрѣчалъ наступленіе осени, какъ человѣкъ, наработавшійся до усталости и видящій приближающіеся дни отдыха. За

лѣтніе мѣсяцы онъ сильно измучился, находился, наѣздился, накричался. Теперь на время работы должны были частію прекратиться совсѣмъ, частію должны были идти медленнѣе и сдѣлаться менѣе сложными. На желѣзной дорогѣ было сдѣлано гораздо болѣе, чѣмъ ожидалъ Муратовъ, и открытіе всей линіи могло бы состояться во всякомъ случаѣ гораздо раньше, чѣмъ предполагалось. Это его утѣшало. Радовало и то, что онъ успѣлъ продать «Ольховатое» Аделаидѣ Александровнѣ и заручиться ея обѣщаніемъ содѣйствовать ему во время открытія линіи, то-есть повліять на тѣхъ, кто будетъ принимать дорогу. Данила Павловичъ зналъ, что «прорѣхъ» по постройкѣ есть не мало, что, наконецъ, если бы даже этихъ «прорѣхъ» и не было, то придраться всегда къ чему-нибудь можно, и потому не дурно было имѣть руку среди разныхъ вліятельныхъ лицъ, долженствовавшихъ обревизовать и осмотрѣть всѣ работы. Аделаида Александровна шутливо написала ему, что она не только рекомендовала его благосклонному вниманію разныхъ желѣзнодорожныхъ заправилъ, но что она даже надѣется устроить вмѣсто пріемки дороги веселый пикникъ. «Я пріѣду въ Ольховатое,— писала она.—Мнѣ хочется воскресить въ своей памяти все прошлое. Ахъ, Даня, какая я старуха: у меня уже есть прошлое, есть воспоминанія! Это первый признакъ старости. Дѣти живутъ настоящимъ, юноши будущимъ, старость живетъ прошлымъ. И съ каждымъ днемъ я чувствую все сильнѣе и сильнѣе потребность пожить прошлымъ, увидать тѣ мѣста, гдѣ мы играли въ любовь. Но, конечно, не отшельницей же я буду жить тамъ. Твои инженеры и директора будутъ моими гостями, и, вѣрь мнѣ, имъ будетъ не до пріемки желѣзной дороги, не до скучныхъ ревизій работъ. Мы будемъ давать обѣды, балы, фейерверки, а когда они опомнятся, пора будетъ ѣхать въ Петербургъ». Данила Павловичъ, читая это письмо, все чаще и чаще называлъ Аделаиду Александровну бабой со смекалкой и довольно улыбался при мысли, что все «сойдетъ съ рукъ». Но, помимо всего этого, у него готовилась чисто семейная радость: онъ еще разъ готовился сдѣлаться отцомъ и ждалъ непремѣнно «дѣвчонку», говоря, что «мальчишекъ» покуда довольно. Въ домѣ шли дѣятельныя приготовленія къ принятію новаго желаннаго ребенка, и за Олимпіадой Пахомовной всѣ ухаживали съ особенной заботливостью. Именно въ это-то время крайне непріятною неожиданностью явилось письмо Баскакова. Александръ Николаевичъ извѣщалъ племянника, что дальше

онъ «протянуться не можетъ», что онъ объявляетъ себя несостоятельнымъ, что, наконецъ, ему и не для чего «тянуть еще эту канитель». Теперь Александра Николаевича точно такъ же увлекала мысль о несостоятельности, какъ увлекала еще недавно роль строителя десятка домовъ. Онъ съ легкимъ сердцемъ думалъ о томъ, какъ онъ поразитъ всѣхъ своимъ крахомъ. Все это сквозило въ каждой строкѣ его письма и вызвало только замѣчаніе Данилы Павловича, что «дядя такъ и умретъ пустоголовымъ вѣтрогономъ». Но среди разныхъ пустыхъ фразъ Данила Павловичъ натолкнулся на одну фразу, поразившую его. Дядя писалъ ему, между прочимъ: «я, наконецъ, нашелъ такую комбинацію, которая фактически оставитъ два дома въ моихъ рукахъ; это очень легко было сдѣлать при помощи аренды, конечно, фиктивной; подходящаго человѣка я нашелъ, и это дѣло въ шляпѣ». Данила Павловичъ вспылилъ и громко выругался.

— Это чортъ знаетъ что такое, еще влѣзетъ въ петлю, да и другихъ затянетъ въ нее,—проговорилъ онъ.

Онъ тотчасъ же послалъ дядѣ телеграмму съ лаконической фразой:

«Аренда—ерунда. Не дѣлайте».

Онъ съ нетерпѣніемъ ждалъ отвѣта. Отвѣтъ получился еще болѣе лаконическій:

«Дѣло уже покончено».

Данила Павловичъ скомкалъ телеграмму въ безсильномъ бѣшенствѣ.

— Недостаетъ еще, чтобы онъ посвятилъ этого Хвостова во всѣ тайны дѣла!—громко говорилъ онъ, шагая по комнатѣ.—Отъ него всего ждать можно! И чортъ дернулъ меня впутаться въ это дѣло! Надо хоть уговорить его какъ-нибудь оттянуть объявленіе себя несостоятельнымъ. Мнѣ только бы переждать рожденіе моей дѣвчурки.

Онъ далъ еще телеграмму въ Петербургъ.

«Продержитесь хоть немного. Дней черезъ десять я буду въ Питерѣ. Съ часу на часъ жду рожденія дочери».

Нетерпѣніе въ ожиданіи отвѣта теперь было еще сильнѣе. Отвѣтъ получился страшный.

«Я уже объявилъ, что платежи прекращены. Гвалтъ ужасный».

Данила Павловичъ даже поблѣднѣлъ. Онъ позабылъ всѣхъ и все и, какъ обезумѣвшій, сталъ собираться въ путь.

— Липа, я не могу! Этотъ сумасшедшій чортъ знаетъ что натворитъ!—говорилъ онъ Олимпіадѣ Пахомовнѣ.—По-

береги себя, голубка. Я Матрену Кузьминичну попрошу, чтобы она не отходила отъ тебя. Ахъ, ты, Господи, вотъ-то связался не вò-время съ дураками!

Олимпіада Пахомовна испуганно слушала его.

— Даня, развѣ ты можешь чѣмъ-нибудь пострадать тутъ?— спросила она.

— Да какъ же! Вѣдь векселя дутые, задними числами писаны! Онъ вѣдь звонить обо всемъ въ набатъ привыкъ,— отвѣтилъ Данила Павловичъ и вдругъ спохватился, видя, что жена совсѣмъ помертвѣла.—Конечно, это все пустяки. Ничего этого доказать нельзя, да никто и не станетъ доказывать, но все же нужно быть тамъ... Да ты не безпокойся...

Онъ наклонился къ женѣ.

— Смотри, береги себя, и чтобъ у меня дѣвчонка такая же, какъ ты, была—крѣпышъ!—шутливо сказалъ онъ.

— Даня, развѣ три-четыре дня нельзя подождать? — спросила она съ кроткой мольбой.—Я привыкла, чтобы это всегда при тебѣ было. Мнѣ легче...

Она обратила къ нему глаза, полные слезъ. Онъ только махнулъ рукою.

— Ты думаешь, что только три-четыре дня нужно подождать?—спросилъ онъ, спустя минуту.

— Я не знаю... кажется...—робко проговорила Олимпіада Пахомовна.

Она знала, что оставалось болѣе недѣли.

Данила Павловичъ ходилъ по комнатѣ и грызъ ногти. Въ немъ, можетъ-быть, впервые въ жизни происходила страшная внутренняя борьба. Чувства мужа и отца боролись съ чувствами дѣльца, чуящаго возможность навлечь бездѣятельностью бѣду. Въ его головѣ, мало-по-малу, начали мелькать мысли о томъ, что Баскаковъ, если онъ способенъ выболтать все, уже, конечно, все и выболталъ, что въ два, въ три дня ничего особеннаго и не произойдетъ, что, наконецъ, если что и произойдетъ, то поправить еще можно будетъ. Онъ подошелъ къ Олимпіадѣ Пахомовнѣ и обнялъ ее.

— Не плачь, голубка, я вѣдь не такъ же спѣшу! Долго не могу остаться, но дня три-четыре—это пустяки,—мягко сказалъ онъ.—И развѣ я могу не видѣть, какъ явится на свѣтъ Божій моя дѣвчурка? Мы ее Липой назовемъ? Да?

Онъ взялъ за подбородокъ жену и сладко поцѣловалъ ее. Онъ теперь говорилъ съ нею, какъ съ ребенкомъ. Его языкъ, точно помимо его воли, теперь картавилъ и сюсюкалъ въ

разговорѣ съ нею, какъ это бываетъ часто въ разговорахъ съ дѣтьми. Данилѣ Павловичу теперь хотѣлось поминутно цѣловать жену, ея губы, ея руки, ея грудь. Онъ гладилъ ее, похлопывалъ съ лаской рукой по ея тѣлу, бралъ ее за щеки и за подбородокъ. Она глядѣла на него съ благодарностью, влажными, утомленными глазами и тайно молилась:

— Господи, поскорѣй бы!.. Поскорѣй бы, Господи!

Окружающіе говорили ей, чтобы она не волновалась, чтобы она была спокойна, чтобы она берегла себя.

«А что если Александръ Николаевичъ и точно разскажетъ все?—думалось ей.—Онъ такой пустой и вѣтреный человѣкъ. Ему это ничего, что онъ другого подведетъ. А Данѣ-то каково? И что за это бываетъ, за дутые векселя и за... Какъ это онъ сказалъ?.. заднимъ числомъ написанные векселя?.. Ссылаютъ, поди!.. Самъ-то онъ былъ бы тамъ, ничего бы не было... Все изъ-за меня... изъ-за того, что вотъ не родила еще...»

Она вздыхала, и снова ея губы шептали:

— Господи, поскорѣй бы!.. Поскорѣй бы, Господи!..

Къ ночи ей сдѣлалось худо. Въ домѣ всѣ поднялись на ноги, забѣгали, привезли доктора, акушерку.

— Ну, что, что?—допрашивалъ Данила Павловичъ.

— О, успокойтесь, ничего, пустяки... Такъ нервы разстроились... лихорадка,—отвѣчали ему.

— Развѣ еще не сегодня?—спрашивалъ онъ.

— О, нѣтъ, еще недѣли черезъ полторы, — отвѣтилъ докторъ.

— Черезъ полторы недѣли?—воскликнулъ Данила Павловичъ.—Да не можетъ быть, не можетъ быть!..

Начались объясненія, увѣренія. Оказалось, докторъ былъ правъ. Данила Павловичъ совсѣмъ терялся. Шутка ли, ждать еще полторы недѣли, когда тамъ... Что тамъ? Ну, если Баскаковъ разсказалъ все, то теперь все равно, когда ѣхать. Если же онъ не разсказалъ, то и въ полторы недѣли и въ полтора мѣсяца не разскажетъ. Съ чего ему вдругъ начать болтать, если онъ не проболтался раньше? Данила Павловичъ даже усмѣхнулся надъ собою, пожавъ плечами. — Въ самомъ дѣлѣ, онъ «пореть горячку» безъ всякаго основанія. Прошло дня три-четыре. Изъ Петербурга получилось письмо. Данила Павловичъ сорвалъ конвертъ, развернулъ письмо, сталъ его читать и ужаснулся.

«Пріѣзжай, ради Бога, скорѣе,—писалъ, между прочимъ, Александръ Николаевичъ.—Я совершенно потерялъ голову

и готовъ надѣлать всякихъ глупостей. Я никакъ не ожидалъ, что дѣла примутъ такой оборотъ. Бестіи, которыхъ я кормилъ и поилъ, теперь лѣзутъ ко мнѣ съ ножами къ горлу. Каждый прохвостъ считаетъ долгомъ чуть не плевать мнѣ въ лицо. О, если бы ты зналъ, что значатъ кредиторы несостоятельнаго должника! На меня, точно стая воронъ, налетѣли не только кредиторы, но и всякіе ходатаи по дѣламъ, аблакаты, законники всѣхъ націй. Я ежедневно, точно меня травятъ псами, мечусь изъ стороны въ сторону, бѣшусь и не знаю, что дѣлать. Стыдно сказать, одна проклятая повивальная бабка—денегъ я у ней перехватилъ немного—довела меня до того, что со мной чуть истерика не сдѣлалась. Ужъ она какъ-какъ не пронимала меня: и своими дѣтьми, и моими, и тѣмъ свѣтомъ, и этимъ, и плакала, и къ чертямъ посылала! Да этакъ три дня подъ рядъ, безъ передышки, такъ что я, въ концѣ-концовъ, пришелъ въ изступленіе, забылся и только кричу: «Уведите ее, увидите бестію». Это даму-то! Господи, до чего я дошелъ; и смѣшно, и стыдно! Только въ тебѣ и спасенье, а то я брошу все имъ на разграбленье и лучше пойду съ сумой, чѣмъ терпѣть все это. Я Баскаковъ, я не бородачъ изъ комедіи Островскаго, я не позволю плевать себѣ въ лицо».

— Болванъ, болванъ!—неистово кричалъ Данила Павловичъ, комкая письмо и шагая по комнатѣ.—Все погубитъ, всѣхъ запутаетъ!.. Ѣхать, ѣхать нужно.

Онъ вдругъ какъ-то грубо, какъ-то рѣзко—это было впервые послѣ его женитьбы—объявилъ Олимпіадѣ Пахомовнѣ, что онъ ѣдетъ.

— Не могу же я тутъ годъ дожидаться, покуда все это кончится, когда тамъ все можетъ погибнуть!

Олимпіада Пахомовна заплакала, но тотчасъ же отерла слезы и сказала:

— Поѣзжай, поѣзжай, Даня! Развѣ я держу тебя? Ты знаешь, голубчикъ, что я никогда...

Она, захлебываясь слезами, закусила губы и потомъ, пересиливъ себя, прибавила:

— Я сама раскаивалась, что удержала тебя, глупая!

Онъ какъ будто сконфузился. Она заторопилась приготовить ему все въ дорогу.

— Зачѣмъ же самой... Люди есть, — сказалъ онъ ласково.—Береги себя.

— Ахъ, что я! Только бы тебѣ было хорошо, — отвѣчала она.

Онъ обнялъ ее и сказалъ ей въ смущеніи:

— Ты не сердись, я бѣшеный... Погорячился!..

Она зажала ему ротъ рукою и поцѣловала его руку.

Данила Павловичъ передъ отъѣздомъ зашелъ къ Матренѣ Кузьминичнѣ. Она съ семьей уже перебралась въ городъ. Ихъ квартира помѣщалась въ томъ самомъ домѣ, въ Семинарскомъ переулкѣ, гдѣ жила съ дѣтьми Матрена Кузьминична до своего замужества, только этотъ домикъ принадлежалъ теперь ея дѣтямъ и былъ отлично отдѣланъ заново. Это было единственное обезпеченіе, данное покуда дѣтямъ Баскаковымъ. И этотъ домъ онъ купилъ имъ не потому, что видѣлъ необходимость ихъ чѣмъ-нибудь обезпечить, а потому, что во время женитьбы, увидавъ слезы Матрены Кузьминичны и дѣтей, не желавшихъ разставаться съ этимъ гнѣздышкомъ и словно боявшихся ѣхать въ Ольховатое, онъ расчувствовался и рѣшилъ, что въ этомъ домѣ они всѣ будутъ жить по зимамъ, переѣзжая въ Ольховатое только на лѣто. Домъ былъ купленъ за двѣ тысячи, да на отдѣлку и обновленіе ушло тоже тысячи двѣ-три. Данила Павловичъ засталъ Матрену Кузьминичну дома почти одну и былъ этому очень радъ, такъ какъ ему хотѣлось объяснить причину своего визита поскорѣе. Когда онъ попросилъ ее присмотрѣть за Липой, такъ какъ у Липы никого нѣтъ изъ близкихъ пожилыхъ женщинъ—мать Олимпіады Пахомовны уже давно умерла,—Матрена Кузьминична удивилась:

— Да что это ты въ такое время въ Петербургъ собрался?—сказала она.—Ужъ будто подождать нельзя.

— По вашимъ же дѣламъ ѣду, — отвѣчалъ онъ. — Александръ Николаевичъ тамъ совсѣмъ голову потерялъ.

Матрена Кузьминична всполошилась.

— Что случилось-то, что?—пристала она къ Муратову.— Заболѣлъ онъ? Да говори же!

— Какое заболѣлъ! Просто объявилъ себя несостоятельнымъ, ну, кредиторы и нахлынули.

— Ахъ, ты, Господи! Да ты возьми эти пятнадцать-то тысячъ, что за Ольховатое получили. Не надо намъ ихъ.

— Ахъ, вы простота, простота! Тутъ милліоны долгу, а вы со своими грошами лѣзете! Благодарите Бога, что хоть это на черный день останется.

— А онъ-то какъ?.. Я, Данила Павловичъ, не стерплю! Я сама поѣду! Когда же мнѣ и быть при немъ, какъ не въ этакой бѣдѣ! Слава Богу, въ церкви вѣнчаны. Не полюбовница какая.

— Ну, ужъ нѣтъ! Вы около Липы побудьте, а я тамъ буду орудовать. Вы-то пользы не принесете!

— Ну, хорошо, я покуда побуду здѣсь, пока все здѣсь кончится, а ужъ потомъ не взыщи, поѣду туда, потому здѣсь и въ эти-то дни мое сердце изноетъ. Ахъ, бѣда-то, бѣда-то какая! Вотъ вѣдь жилъ, жилъ и до чего дожилъ.

Она совсѣмъ опечалилась и только мелькомъ слушала успокоительныя фразы Муратова. Когда онъ уѣхалъ, она сильно всплакнула. Дѣти, вернувшись домой, изумились, что мать плачетъ. Начались разспросы. Матрена Кузьминична разсказала, какъ умѣла, все, что знала. Всѣ снова пріуныли. Молодежь, встревоженная при первыхъ толкахъ о предстоящемъ разореніи и о продажѣ Ольховатаго, успѣла уже давно забыть эти толки и отнеслась даже равнодушно къ продажѣ имѣнія, гдѣ всѣ чувствовали себя какъ въ гостяхъ. Это равнодушіе усилилось еще больше, когда Александру позволили увести въ городъ «Вороного», когда семьѣ разрѣшили взять пару лучшихъ коровъ, нѣсколько птицъ, однимъ словомъ, все то, что ей хотѣлось оставить за собою. Всѣмъ этимъ распоряжался отъ имени Аделаиды Александровны самъ Данила Павловичъ, и такъ какъ имѣніе пошло за безцѣнокъ, то онъ и не нашелъ нужнымъ протестовать противъ увода нѣкоторой части скота, куръ, индюшекъ. Кстати эта продажа совпала съ тѣмъ временемъ, когда мальчикамъ нужно уже было переѣхать въ городъ, и потому продажа имѣнія прошла незамѣтно. Теперь же всѣ вдругъ вспомнили, сознали, что банкротство было вовсе не миѳомъ, что оно совершилось, что у отца нѣтъ ничего, что у нихъ если и есть тысячъ пятнадцать или немного болѣе, то эти деньги въ сущности не ихъ деньги, а деньги утаенныя ими, воровскія, нечестно пріобрѣтенныя. Объ этихъ деньгахъ напомнила сама Матрена Кузьминична, сказавъ сыновьямъ, что она предложила Данилѣ Павловичу отдать эти деньги.

— Ну, да гдѣ! Что, говоритъ, эти гроши значатъ, когда милліоны долженъ! Благодарите, говоритъ, Бога, что и вы-то по-міру не пошли...

Сыновья хмуро слушали разсказы матери. Ихъ молодыя, еще не искалѣченныя жизнью, цѣльныя натуры возмущались при мысли, что и они дѣлаются какъ бы соучастниками какого-то еще темнаго для нихъ дѣла. Слова о мошенничествѣ и воровствѣ, когда-то оброненныя неосторожно Воздвиженскимъ, пришли имъ снова на память. Они теперь даже не находили словъ для утѣшенія матери. Они чув-

ствовали, что у нея на сердцѣ страшное горе, но горе на сердцѣ было и у нихъ, это было другое горе, горе не объ отцѣ, не о томъ, что они лишатся всего, а горе о томъ, что если у нихъ что-нибудь и останется, то останется купленное подлостью, обманомъ, кражею. Вечеромъ, когда мать ушла къ Олимпіадѣ Пахомовнѣ, они остались одни съ Воздвиженскимъ въ своей комнатѣ, и Александръ не утерпѣлъ, поднялъ вопросъ о томъ, что волновало его.

— Вотъ теперь и будемъ жить на краденыя деньги, — сказалъ онъ.

Воздвиженскій нахмурился. Ему стало опять досадно на себя, что онъ открылъ глаза юношамъ на это дѣло.

— Ну, да, всѣ на краденыя деньги живутъ, не вы одни,—отвѣтилъ онъ.

— Какъ всѣ?—спросилъ Александръ.

— Да такъ же, что всѣ. Одни только меньше воруютъ, другіе больше. Каждый норовитъ, какъ бы на чужой счетъ пожить, значитъ, всѣ и есть воры.

— Экъ куда вы хватили!—возразилъ Николай.—Я вотъ гдѣ-то читалъ слова Мирабо. Онъ сказалъ: «Кто хочетъ жить въ обществѣ, тотъ долженъ быть нищимъ, или воромъ, или работникомъ». Значитъ, можно и не быть воромъ.

— Вретъ вашъ Мирабо!—рѣзко сказалъ Воздвиженскій.— Выдумалъ тоже дѣленіе. Ну, что такое нищій? Тотъ же воръ, только не съ поддѣльнымъ ключомъ онъ ходитъ, а съ поддѣльнымъ убожествомъ. Тоже дармоѣдъ и воръ!

— А работникъ-то? Работникъ-то?

— Чего вы мнѣ въ глаза тычете работникомъ? Что такое работникъ: на грошъ умѣнья, на сотни рублей лѣни, а ты его корми, да еще плати ему! Знаемъ мы работниковъ!

Николай пожалъ плечами.

— Берете прохвоста, да и называете его работникомъ, ну, воръ и выходитъ. Такъ-то все можно объяснить.

Воздвиженскій загорячился, видя, что его парадоксъ не произвелъ желаннаго впечатлѣнія.

— Ну, и пусть работникъ не воръ! Ну, и будьте заправскими работниками. Да теперь-то еще вы ими не можете быть. Значитъ, и говорить нечего. И нашли печаль, что у мошенниковъ урвалъ вашъ отецъ грошъ для пропитанія семьи.

— Такъ у воровъ и воровать можно?—вставилъ насмѣшливо Николай.

— Да, можно! Это борьба за существованіе! Вотъ если бы

вы нищими остались, было бы о чемъ горевать, потому что и изъ гимназіи васъ выгнали бы, и пошли бы вы тунеядствовать, нсотесами. А теперь хоть доучиться можете, да полезными людьми сдѣлаться можете.

— Это что же: цѣль оправдываетъ средства?—спросилъ Николай.

— Да, если ужъ на то пошло! Съ институтскимъ-то цѣломудріемъ тоже далеко не уѣдете. Съ волками жить, по-волчьи и выть. Житейская-то дорога грязна, — пойдете по ней, волей-неволей и наглотаетесь грязи, и выпачкаетесь ею. Скверно, когда самъ человѣкъ въ эту грязь по уши лѣзетъ, а не то, что онъ поневолѣ иногда касается ея. Безъ этого никто не проживетъ. Аскетомъ или схимникомъ нужно сдѣлаться, чтобы прожить безъ этого. Ну, такъ отъ такихъ людей проку мало. Въ рай, можетъ-быть, они попадутъ, а на землѣ пользы отъ нихъ не много. И вотъ, что я вамъ скажу, волнуетесь вы теперь, потому что барской спеси вамъ по наслѣдству, вѣрно, много досталось, или потому, что заѣлись вы и разрыхлѣли, такъ у васъ и разыгрываются разные чувствія и сентименты, какъ у брезгливой барыни: сыта она, такъ ей и кажется, что и хлѣбъ-то грязно пекутъ, и говядину-то безъ перчатокъ мясники ворочаютъ.

Воздвиженскій все дальше и дальше заходилъ въ добри парадоксовъ и сбивчивыхъ доказательствъ по мѣрѣ того, какъ его раздражало молчаніе юношей. Онъ старался вызвать теперь ихъ на споръ, на возраженіе, но они точно заснули.

— А вы лучше объ урокахъ думайте,—закончилъ, наконецъ, онъ.—Залѣпятъ вамъ за ваши мечтанія двойки, тогда и узнаете, каково мечтать вмѣсто долбленія латыни.

Онъ всталъ и ушелъ въ свою комнату. Братья безмолвно раздѣлись и легли.

— Тоже прохвостъ въ немъ сидитъ,—сказалъ Александръ, вздыхая.

Николай усмѣхнулся.

— Просто въ семинаріи изощрился доказывать сперва pro, а потомъ contra...

Нѣсколько минутъ спустя онъ тяжело вздохнулъ.

— А и затянулся же нашъ добрѣйшій Александръ Николаевичъ въ кашу. Какъ-то онъ ее, бѣдняга, расхлебаетъ.

Въ его голосѣ послышалась неподдѣльная, глубокая грусть. Братъ ничего не отвѣтилъ ему. Онъ лежалъ, уткнувшись лицомъ въ подушку. Прошло съ четверть часа въ полнѣй-

шемъ молчаніи. Наконецъ, Николай насторожился и сталъ чутко прислушиваться, немного приподнявъ голову и всматриваясь въ темноту. У противоположной стѣны едва вырисовывалась фигура лежавшаго на постели Александра. Николаю казалось, что онъ видитъ въ полутьмѣ вздрагиваніе плеча брата. Онъ быстро сбросилъ одѣяло и босикомъ, въ одной сорочкѣ, перешелъ къ брату, сѣлъ къ нему на постель, дотронулся до его плеча и, наклоняясь надъ нимъ, тихо проговорилъ:

— Полно, Саша, полно! Ну, что-жъ дѣлать! Слезами не поможешь! Мать точно должна сберечь деньги, чтобы помочь отцу, когда онъ останется нищимъ. Вотъ это долженъ былъ намъ сказать, объяснить Воздвиженскій. Только у него вѣдь не было съ дѣтства ни отца, ни матери... Гдѣ-жъ ему понять!

Александръ приподнялся весь въ слезахъ еще всхлипывая, и протянулъ руки брату.

— Что бы ни случилось, мы вѣдь его не оставимъ, Коля? Да? Онъ самъ никогда не оставлялъ насъ!

Николай крѣпко обнялъ брата.

— Клянусь тебѣ, клянусь!—отрывисто заговорилъ онъ.— Развѣ я не понимаю... Другіе въ нашемъ положеніи, незаконные-то, шляются... Нѣтъ, нашъ отецъ честно къ намъ относился...

У него перехватило духъ.

Потомъ, немного успокоившись, братья стали создавать юношескіе, наивные планы о томъ, какъ они поддержатъ отца, какъ они снова сдѣлаютъ его счастливымъ человѣкомъ. Прежде всего нужно отправить къ нему поскорѣе мать: въ тяжелые дни его жизни она всегда умѣла успокоить его, потомъ они кончатъ здѣсь курсъ и переѣдутъ въ Петербургъ. Съ оставшимися у нихъ средствами можно жить и въ Петербургѣ. Они же не будутъ сидѣть сложа руки и будутъ работать. У отца будетъ опять и семья, и возможность жить безбѣдно. Ни тому, ни другому не приходило и въ голову, что все можетъ кончиться тюрьмой, ссылкой, позоромъ...

IX.

Первое хоть сколько-нибудь знакомое Данилѣ Павловичу лицо, встрѣченное имъ въ Петербургѣ, былъ Цвѣнтеховскій. Данила Павловичъ совершенно забылъ его. Но Цвѣнтеховскій имѣлъ способность помнить лица людей, видѣн-

ныя имъ хоть разъ въ жизни. При этомъ онъ имѣлъ тоже способность забывать, что онъ ихъ видѣлъ только разъ въ жизни, и потому встрѣчалъ ихъ, какъ старыхъ друзей. При этихъ встрѣчахъ случалось, что эти люди вынимали свой портсигаръ, и Цвѣнтеховскій просилъ позволенія воспользоваться папироской. Цвѣнтеховскій, по обыкновенію съ портфелемъ подъ мышкой, шелъ мелкою торопливою походкою. Когда онъ остановилъ Муратова, Данилѣ Павловичу онъ показался похожимъ на шакала, вышедшаго на добычу. Съ первыхъ же словъ Цвѣнтеховскій заговорилъ о Баскаковѣ.

— Теперь дѣла пошли съ своимъ теченіемъ,—сказалъ онъ.

— А вы ужъ успѣли къ нимъ приступиться?—спросилъ грубо Данила Павловичъ.

— Я съ стороны господина Гиршберга, моего довѣрителя, — отвѣтилъ Цвѣнтеховскій. — Господинъ Баскаковъ повиненъ ему на двадцать тысячъ.

— Ну, и слава Богу, что не больше, — отвѣтилъ Муратовъ и, несмотря на желаніе Цвѣнтеховскаго продолжать бесѣду, проскользнулъ въ подъѣздъ того дома, гдѣ жилъ Баскаковъ.

На одной изъ площадокъ лѣстницы онъ увидалъ группу людей. Они столпились около какой-то плотной барыни въ старомодной шляпкѣ, въ суконной тальмѣ, съ сакъ-вояжемъ въ рукахъ. Она громко разсказывала что-то окружающимъ людямъ. Муратовъ уловилъ только отрывочныя фразы: «Кровопійца, семью по-міру пустилъ. Я женщина сырая, со мной ударъ могъ сдѣлаться. Трудомъ вѣдь нажила все. Думала, вотъ добрый человѣкъ, хорошіе проценты дастъ! А онъ душегубецъ...» Данила Павловичъ прошелъ поспѣшно мимо толпы. Его враждебно оглядѣли съ ногъ до головы, и онъ ясно разслышалъ фразы: «Не къ нашему ли соколу тоже? Простись, голубчикъ, съ денежками!» Онъ позвонилъ у дверей квартиры Баскакова. Ему не скоро отворили дверь. Первыми словами лакея была фраза, что барина нѣтъ дома. Данила Павловичъ сказалъ, что все равно—онъ подождетъ возвращенія «дяди».

— Да вы будете, значитъ, племянникъ Александра Николаевича? Данила Павловичъ? – спросилъ лакей.

Данила Павловичъ утвердительно кивнулъ головой.

— Для васъ-съ дома,—сказалъ лакей.—А то эти вороны намъ передохнуть не даютъ...

Муратова ввели въ переднюю. Онъ сбросилъ пальто и

спросилъ, куда идти. Лакей повелъ его въ кабинетъ барина. Квартира Баскакова была довольно просторная, но казалась какимъ-то пустымъ сараемъ. Мебели почти не было, безпорядокъ былъ полный. Муратовъ засталъ дядю лежащимъ на диванѣ. Увидавъ племянника, Александръ Николаевичъ поднялся кряхтя и охая. Муратовъ изумился происшедшей въ немъ перемѣнѣ. Баскаковъ состарился на десять лѣтъ.

— Ты боленъ, дядя?—спросилъ Данила Павловичъ.

— Захвораешь тутъ, захвораешь, когда ни днемъ, ни ночью покоя нѣтъ,—отвѣтилъ Александръ Николаевичъ, пожимая ему руку. — Травятъ, травятъ, какъ звѣря въ лѣсу, безъ жалости, безъ милосердія...

Онъ опустился на стулъ и сжалъ голову руками. Въ передней раздался рѣзкій звонокъ. Баскаковъ вздрогнулъ и стиснулъ болѣзненно зубы, начавъ пугливо озираться по сторонамъ. Данила Павловичъ хотѣлъ что-то сказать, но дядя махнулъ ему рукою и шопотомъ сказалъ:

— Тсъ!

Въ передней послышалась брань.

— Сейчасъ же сюда прошелъ баринъ. Его приняли. Значитъ, дома! Когда деньги были нужны, такъ всегда былъ дома. А теперь все нѣтъ да нѣтъ!

Баскаковъ, дрожа всѣмъ тѣломъ, какъ бы принизившись, прошепталъ Муратову:

— Я опять въ шкапъ спрячусь, въ шкапъ!..

Данила Павловичъ остановилъ его движеніемъ руки и сказалъ тихо:

— Я самъ выйду къ нимъ.

Онъ твёрдою поступью направился къ передней и очутился лицомъ къ лицу съ тремя посѣтителями. Это были не то мѣщане, не то купцы. Данила Павловичъ обратился къ нимъ съ вопросомъ, чего имъ нужно. Они заговорили разомъ:

— Извѣстно чего! За своимъ пришли! Чего въ прятки-то онъ играетъ? Блудливъ, какъ кошка, а трусливъ, какъ заяцъ! Въ долговое засадить! Все завтраками кормитъ!

— Чего вы орете въ чужой квартирѣ!—вдругъ крикнулъ на нихъ Муратовъ тѣмъ бѣшенымъ голосомъ, который пугалъ и не такихъ людей, который далеко разносился по желѣзнодорожной линіи.—За полиціей, что ли, послать, чтобъ васъ отсюда выгнала? Онъ вамъ долженъ? Вы предъявили векселя и счета? Ну, и ждите, что скажетъ конкурсъ. Мой тесть сотенъ тысячъ тутъ лишился, да я же не лѣзу съ ножомъ къ горлу къ Александру Николаевичу. У насъ судъ

есть, а не кулачная расправа. Или мало, что деньги потеряете, такъ за буйство въ тюрьмѣ еще насидѣться хотите? Аршинники!

— Да ты чего ласишься! Можетъ, мы получше тебя!—заговорили разомъ всѣ три посѣтителя.

— А вотъ я вамъ покажу, какъ за буйство расправляются,—сказалъ Муратовъ.

— Помилуйте-съ, сударь, съ кулаками къ носу лѣзутъ,—сказалъ расхрабрившійся слуга жалующимся тономъ.—И при чемъ же здѣсь я...

Данила Павловичъ, не обращая на него вниманія, продолжалъ кричать:

— Да я сейчасъ же съѣзжу къ самому...

Данила Павловичъ назвалъ по имени и отчеству высшую полицейскую власть.

— Да ты что же стращаешь? Въ твоей квартирѣ мы, что ли!—грубо спросилъ одинъ посѣтитель.

— Въ моей! въ квартирѣ моего дяди! А вотъ мы увидимъ, что вы послѣ запоете, когда ко мнѣ же бѣгать по дѣламъ конкурса станете. Я думаю, я-то побольше васъ голоса имѣть буду. Нашихъ денегъ тутъ триста тысячъ пропадаетъ, а не какіе-нибудь гроши.

— Всякому своя копейка дорога.

— Съ насъ самихъ тоже клочья рвутъ!

— Знаемъ мы васъ! Десятки тысячъ сорвали съ Александра Николаевича, а сотни рублей не отдалъ, такъ задушить его готовы. Прежде въ поясъ кланялись, а теперь...

Муратовъ всмотрѣлся въ лицо одного изъ бородачей и узналъ его:

— А, пріятель, видѣлъ я, видѣлъ, какъ ты безъ расписокъ-то у дядюшки десятки рублей выкляньчивалъ! Только вѣдь теперь-то твои счета тоже разсмотрятъ. Поди, по два раза одинъ и тотъ же счетъ оплачивали. Я тоже кое-что видѣлъ...

Бородачъ нахмурился и злобно проговорилъ:

— Не лайся, какъ бы въ отвѣтъ не попасть самому!

Но Данила Павловичъ зналъ этого сорта мелкихъ подрядчиковъ и смѣло тономъ угрозы отвѣтилъ:

— Ой, не зли меня, а то хуже будетъ!

Онъ неожиданно подошелъ прямо къ бородачу и, потрепавъ его по плечу, интимнымъ тономъ застращиванія проговорилъ:

— Когда ты еще въ деревнѣ гусей стерегъ, да безъ порт-

ковъ бѣгалъ, я уже такихъ-то, какъ ты, у себя на работахъ въ мошенничествѣ ловилъ. Слышалъ про Чистопольскую желѣзную дорогу? Ну, такъ я тамъ со своимъ тестемъ, Пахомомъ Семеновичемъ Гущинымъ, всѣмъ орудую. Значитъ, на вашего-то брата насмотрѣлся. Какъ полагаешь?

И, опять перемѣнивъ тонъ, онъ уже совсѣмъ дружески и интимно проговорилъ:

— Нѣтъ, братцы, это уже точно не дѣло галдѣть въ чужомъ домѣ! Ну, задолжалъ Александръ Николаевичъ, прогорѣлъ, такъ вѣдь это со всякимъ можетъ случиться. Надо лучше дѣло потише, да получше обдѣлать, заполучить что можно, вотъ и ладно будетъ. Ну, а крикомъ-то что возьмете? Штаны онъ, что ли, вамъ съ себя сниметъ? Вѣдь ужъ теперь утаить ему нечего — тутъ-то вонъ не разживешься ничѣмъ.

Онъ движеніемъ ноги распахнулъ дверь въ залъ.

— Мусоръ этотъ, что ли, вамъ отдать? Такъ и того онъ не можетъ теперь сдѣлать,—продолжалъ Данила Павловичъ.— Нѣтъ, а вотъ лучше намъ вмѣсто галдѣнья вмѣстѣ собраться, да обсудить все порядкомъ. Я въ Знаменской гостиницѣ остановился. Хотите, заходите потолковать...

Онъ повернулся, чтобы идти, но, сдѣлавъ два шага къ двери, остановился на минуту и ровнымъ, твердымъ и внятнымъ голосомъ проговорилъ:

— Только я, братцы, не Александръ Николаевичъ!

Потомъ, слегка посвистывая, онъ скрылся въ комнатахъ.

— Ну, что? Слышалъ? Видѣлъ? Это ужасно! ужасно!— воскликнулъ Александръ Николаевичъ, увидавъ Данилу Павловича.

— Этого надо было ожидать,—равнодушно сказалъ Муратовъ.—Не могутъ же эти люди вамъ комплименты дѣлать за то, что вы имъ по грошу за рубль дадите...

— Но зачѣмъ же оскорблять, оскорблять-то зачѣмъ? Вѣдь ты пойми, они мнѣ грубости говорятъ, они ругаютъ меня, они плюютъ чуть не въ лицо мнѣ! О, если бы я могъ это все продвидѣть! Бываютъ минуты, когда я готовъ пулю себѣ въ лобъ пустить! Легче умереть, чѣмъ вынести все это. Ты понялъ бы это, если бы хоть день побылъ на моемъ мѣстѣ...

— И вы еще ни одного изъ нихъ не избили?—спросилъ спокойно Муратовъ.

Александръ Николаевичъ вопросительно взглянулъ на племянника.

— Я бы избилъ. Тогда не стали бы ругаться!

Онъ сказалъ это такимъ тономъ, что ему нельзя было не вѣрить. Но Александръ Николаевичъ былъ не способенъ ни драться, ни ругаться. Это былъ баринъ до мозга костей, несмотря на всѣ его похожденія, на всѣ его аферы. Онъ впервые попался въ такую исторію, и она повліяла на него такъ, какъ будто ему публично дали оплеуху. Ему было стыдно, гадко, тошно смотрѣть на людей. Онъ не подготовился къ роли несостоятельнаго должника. Онъ еще недавно называлъ массу своихъ кредиторовъ мошенниками, но онъ никакъ не могъ свыкнуться съ тѣмъ, чтобы эти мошенники въ глаза ему называли его самого этимъ именемъ. Онъ еще недавно смѣялся надъ этой «бабкой-галандкой», ростовщицей, давшей ему въ долгъ деньги, но онъ теперь боялся поднять на нее глаза, когда она рыдала, говоря, что онъ пустилъ по-міру ее, беззащитную, и ея дѣтей малыхъ, когда она проклинала его и его «племя каиново», причитая, что «волку отольются овечьи слезы». Минутами онъ даже вѣрилъ, что эта «бабка», бравшая шестьдесятъ процентовъ въ годъ, была дѣйствительно овцою и притомъ овцою, растерзанной имъ, волкомъ. Его безпредѣльно разыгравшееся воображеніе сослужило ему теперь плохую службу. Съ каждымъ днемъ оно работало сильнѣе и сильнѣе, и Александръ Николаевичъ мысленно уже переживалъ такія сцены униженій, позора, наказаній, что ему становилось жутко. То онъ видѣлъ, какъ какой-то «хамъ» даетъ ему пощечину; то онъ ясно воображалъ, что эта «бабка-галандка» плюетъ ему прямо въ лицо; то онъ представлялъ себя передъ собраніемъ кредиторовъ, гдѣ всѣ и каждый наносятъ ему оскорбленія, и слова «воръ», «подлецъ», «мошенникъ», «грабитель» сыплются со всѣхъ сторонъ. Потомъ являлось самобичеваніе за то, что прежде-то, прежде «съ легкимъ сердцемъ» рылъ себѣ яму, обиралъ всѣхъ, не зная, чѣмъ расплатиться, грабилъ и чужія семьи, и свою семью.

«И до сѣдыхъ волосъ дожилъ, и ума не нажилъ», твердилъ онъ, стукая кулаками по своей сѣдоволосой львиной головѣ. Да, онъ и посѣдѣлъ, и постарѣлъ, и опустился въ это короткое время, какъ бы въ десятокъ лѣтъ. Онъ не былъ трусомъ по натурѣ, въ былые дни юности онъ пережилъ даже эпоху моднаго тогда бреттерства, но теперь онъ прятался отъ этихъ людей въ шкапъ, когда они вламывались въ его комнаты. И эта трусость въ свою очередь была для него источникомъ мученій, онъ краснѣлъ за нее. А тутъ еще Хвостовъ, какъ тѣнь, преслѣдующій Баскакова, ходящій

по его пятамъ, спрашивающій ежеминутно: «Мы вѣдь выкрутимся, Александръ Николаевичъ?» «Это вѣдь все скоро кончится, Александръ Николаевичъ?» «Я думаю, никто не узнаетъ, что мы все это фиктивно устроили, Александръ Николаевичъ?» Задаетъ онъ эти вопросы, а у самого зубъ назубъ не попадаетъ, слышно, какъ они щелкаютъ, точно въ страшной лихорадкѣ. Ходитъ онъ, Хвостовъ, а у самого колѣни дрожатъ и подгибаются, точно у пьянаго. Хихикаетъ онъ, потирая руки, а въ голосѣ слезы слышатся, на глаза онѣ навертываются. «И рожа-то у него какая подлая, точно его ошпарили,—мысленно повторялъ Александръ Николаевичъ.—И какъ это я прежде не разглядѣлъ. Вѣдь это трусъ, трусъ до мозга костей. Онъ способенъ при первой угрозѣ разревѣться и на колѣняхъ ползать. Онъ отца роднаго выдастъ, только бы свою шкуру сберечь!» Александру Николаевичу было даже гадко теперь благоговѣніе Хвостова предъ нимъ. Его бѣсили вѣчныя восклицанія Хвостова: «Да вы геній, геній! Вы выкрутитесь! За вами, какъ за каменной стѣной, я! Я маленькій человѣкъ, а вы! Шутка ли три милліона долгу!» Все это высказалъ теперь Баскаковъ Даниилѣ Павловичу, то вскакивая съ мѣста, то сжимая въ рукахъ свою голову,—высказалъ сбивчиво, торопливо, нервно. Онъ походилъ на помѣшаннаго.

— Веди мои дѣла, какъ знаешь,—заключилъ онъ.—Я болѣе не могу, не могу! Я все лучше отдамъ, все разскажу, все погублю и конецъ, конецъ! Я потерялъ голову...

Онъ остановился передъ Муратовымъ и горячо проговорилъ:

— Я не алтынникъ, не хамъ, не барышникъ. Я былъ бариномъ и бариномъ остался. Мнѣ это все омерзительно.

— Все это нужно было прежде взвѣсить и обдумать, а теперь...—началъ Данила Павловичъ, но Баскаковъ не далъ ему кончить.

— Я не знаю, какимъ мнѣ надо бы было родиться человѣкомъ, но я родился такимъ, каковъ я есть, и такимъ и умру,—рѣзко сказалъ онъ и съ горькой ироніей прибавилъ:— Я даже не умѣю глядѣть съ завистью или съ уваженіемъ на тѣхъ, кто научился съ волками жить—по-волчьи и выть. Я тебѣ говорю, что мнѣ все это омерзительно, и смерть лучше такой жизни.

Данила Павловичъ совсѣмъ равнодушно и сухо, почти жестоко замѣтилъ:

— Стоитъ ли о ней много говорить, когда это такое несложное дѣло.

Потомъ онъ улыбнулся и развязно проговорилъ:

— Вы, дядя, все еще театръ любите. Жизнь, право, такая прозаическая штука, что въ ней можно обойтись безъ всякихъ эффектовъ. Задолжалъ рубль, ну, и торгуйся, поскольку уплатишь: можешь по полтиннику — старайся отдать по четвертаку, можешь по четвертаку—старайся отдать по гривеннику. Ругаться станутъ, ты тоже ругайся, да посильнѣе; драться станутъ, а у тебя силы меньше—въ судъ жалуйся, чтобы обуздали драчуновъ, если же силы у тебя больше,—коверкай ихъ самъ, только такъ, чтобы это самозащитой вышло. Все это просто и не требуетъ ни пистолетовъ, ни дуэлей, ни самоубійствъ. Впрочемъ, въ ваше время ужъ такая мода была—кровь проливать...

Баскаковъ хотѣлъ что-то сказать, но Муратовъ коротко кончилъ свою рѣчь шуткою:

— Кровь, дядя, самимъ нужна для домашняго обихода. Теперь вонъ и такъ всѣ на малокровіе жалуются...

Потомъ онъ быстро, не желая тратить времени на пустяки, перешелъ къ вопросамъ дѣловымъ, серьезнымъ и, слушая дядю, раза два замѣтилъ ему:

— Да вы не распускайтесь! Не увлекайтесь и не отклоняйтесь въ сторону, дядя!

Онъ вдругъ сталъ обращаться съ Баскаковымъ, какъ съ капризнымъ, больнымъ ребенкомъ, читая ему нотаціи, останавливая его, поучая его, немного свысока, немного нетерпѣливо, немного презрительно. Чѣмъ больше онъ выяснялъ дѣло, тѣмъ очевиднѣе становилась для него необходимость остаться здѣсь и взяться за все самому. Дядя былъ способенъ выкинуть даже такую штуку, какъ признаніе въ выдачѣ дутыхъ векселей, въ скрытіи денегъ отъ продажи «Ольховатаго», въ фиктивности аренды двухъ домовъ. Это признаніе могло быть сдѣлано въ видѣ театральнаго эффекта внезапно, неожиданно, случайно. Этого нужно было опасаться и избѣжать. Данила Павловичъ не могъ бы дать теперь себѣ отчета, почему онъ горячо принимаетъ теперь къ сердцу это дѣло. О спасеніи отъ нищеты семьи Баскакова и самого Баскакова онъ въ данное время вовсе и не думалъ. Тутъ было просто инстинктивное, безсознательное, но въ то же время и непреклонное, и страстное желаніе дѣльца вырвать у другихъ часть денегъ. Не было ни одной минуты, когда Данила Павловичъ задалъ бы себѣ вопросъ: «но для кого же я вырву эти деньги? вѣдь не для себя же, а для человѣка, способнаго ихъ бросить тотчасъ же въ печь?» И тѣмъ не менѣе онъ сознавалъ, что онъ

долженъ ихъ вырвать, что онъ вырветъ ихъ у другихъ. Это было, можетъ-быть, то чувство, которое заставляетъ сытаго звѣря грызться съ другими звѣрями изъ-за добычи, вовсе не нужной ему самому. Мало того, Данила Павловичъ давно уже не ощущалъ въ себѣ такой энергіи и такого подъема духа, какъ теперь, точно онъ готовился къ рѣшительной битвѣ съ сильнымъ врагомъ. Онъ потиралъ руки, онъ усмѣхался, обдумывая все дѣло, со всѣхъ сторонъ, начертывая въ умѣ планъ битвы. Онъ то садился просматривать бумаги, то ходилъ по комнатѣ, выслушивая дядю. Наконецъ, онъ подошелъ къ старику и одобрительно похлопалъ его по плечу, сказавъ развязнымъ тономъ:

— Не тужите, дядя, выкручу васъ!

Баскаковъ вздрогнулъ и не то съ испугомъ, не то съ недоумѣніемъ спросилъ:

— Что ты?

— Выкручу васъ, говорю я,—повторилъ Муратовъ.

Старикъ какъ-то растерялся и сконфузился.

— А! да, да...—пробормоталъ онъ и съ горькою, едва замѣтной ироніей прибавилъ: — Я, знаешь, иногда теперь многаго не понимаю. Все это такъ ново, и положеніе, и слова... Выкручу, выверну, вытащу.

И, уже усмѣхаясь, какъ-то презрительно взглянувъ на Данилу Павловича, онъ замѣтилъ:

— Что-жъ, выкручивай, вывертывай, тащи... я ужъ теперь не Баскаковъ, а вещь...

«Въ призваніи ошибся, актеромъ бы быть»,—мелькнуло въ головѣ Данилы Павловича. Впрочемъ, подобныя мысли теперь мало занимали его. Въ его умѣ роились разные комбинаціи, проекты переговоровъ съ кредиторами, обсужденіе съ ними дѣлъ дяди, продажа домовъ, способы набить на дома цѣну. Въ тотъ же день вечеромъ къ нему собралось нѣсколько мелкихъ кредиторовъ дяди, въ тотъ же день онъ успѣлъ повидаться съ нѣсколькими заинтересованными въ дѣлѣ адвокатами. Онъ весь теперь ушелъ въ это дѣло, забывъ и свою Липу, и своихъ дѣтей, и свою желѣзную дорогу. Во всѣхъ подобныхъ дѣлахъ, какъ неожиданное крупное банкротство, толковъ и преній является безчисленное множество: тутъ, что называется, всѣ толкутъ воду въ ступѣ, суетятся, бѣгаютъ, совѣщаются, повторяютъ десять разъ одно и то же, подводятъ итоги цифръ, считаютъ снова, доискиваются новыхъ имуществъ, новыхъ источниковъ для оплаты долговъ, подозрѣваютъ мошенничество и стачку, и

это отнимаетъ массу времени, волнуетъ кровь, заставляетъ человѣка думать, что онъ и точно дѣлаетъ дѣло даже тогда, когда онъ просто только болтаетъ и болтаетъ. Въ этотъ водоворотъ попалъ и Данила Павловичъ, и водоворотъ затянулъ его тѣмъ сильнѣе, что съ первыхъ же столкновеній всѣ почуяли въ Муратовѣ силу. Кто-то даже далъ ему кличку, замѣтивъ какъ-то случайно:

— А вотъ и нашъ громовержецъ идетъ!

Точно, онъ являлся громовержцемъ: онъ кричалъ на мелкихъ кредиторовъ, онъ обуздывалъ крупныхъ, онъ ругалъ Александра Николаевича, онъ отыскивалъ ревностнѣе всѣхъ средства увеличить размѣры платежей, и всѣ сразу признали, что онъ долженъ быть главой и руководителемъ въ дѣлѣ. Ни въ комъ не явилось даже и тѣни подозрѣнія, что онъ «дутый» кредиторъ, и менѣе всего думалъ объ этомъ онъ самъ. Онъ вошелъ въ свою роль и злился, когда ему говорили, что получится чуть ли не по гривеннику за рубль. Хвостовъ передъ нимъ просто трепеталъ и отвѣчалъ ему точно въ ознобѣ, стуча зубами и вздрагивая. «Ахъ, Господи, какіе они вспыльчивые», каждый разъ повторялъ Хвостовъ послѣ встрѣчи съ Муратовымъ. Баскаковъ даже не могъ не замѣтить разъ съ улыбкой Данилѣ Павловичу:

— Хвостовъ тебя такъ уважаетъ, что во множественномъ числѣ про тебя говоритъ за глаза.

— А вотъ я этой старой крысѣ покажу себя, если аренда поведетъ къ дурнымъ послѣдствіямъ. Безъ вашего Хвостова, никогда бы вы этихъ глупостей не натворили, — отвѣтилъ Муратовъ.

Онъ теперь не стѣснялся съ дядею и третировалъ его не лучше любого изъ кредиторовъ. Онъ уже не совѣтовалъ, а приказывалъ... Александръ Николаевичъ началъ тоже, если не побаиваться его, то стѣсняться при его приходѣ, волнуясь и гримасничая, точно при приходѣ оператора, готовящагося снова разбередить ему излѣчиваемую рану. Нервная гримаса все чаще и чаще стала появляться на лицѣ Александра Николаевича, когда приходилъ Муратовъ, такъ что послѣдній не могъ не замѣтить этого.

— Да что это вы все гримасничаете!—какъ-то замѣтилъ племянникъ дядѣ.

— Это у меня нервы,—проговорилъ дядя.

— Ну, не барыня вы, кажется! Надо бы привыкнуть къ своему положенію.

— Поздно,—коротко отвѣтилъ дядя.

Муратовъ пожалъ плечами. Но его снова поразило, какъ осунулось лицо дяди. Оно походило скорѣе на лицо мертвеца, чѣмъ на лицо живого человѣка, и было какъ будто вылѣплено изъ желтаго воска. Звонокъ или шумъ въ передней заставляли каждый разъ старика вздрагивать. Потомъ онъ вдругъ съеживался и съ гримасой какъ-то глухо кряхтѣлъ, точно испытывая физическую боль. Всѣ эти движенія сдѣлались точно чѣмъ-то привычнымъ, безсознательнымъ, какъ конвульсіи. Можетъ-быть, наставала пора лѣчиться, но кто же могъ посовѣтовать старику обратиться къ доктору? Не Данила же Павловичъ, говорившій, что дядя сталъ капризничать и превратился въ бабу. Онъ только совѣтовалъ ему «встряхнуться». Старикъ даже разсердился.

— Да что это меня ужъ не за человѣка, а за собачонку какую-то начинаютъ считать. Собаки только встряхиваются послѣ трепки.

— Капризничаете вы нынче много, — отвѣтилъ Данила Павловичъ.—Ну, да дѣло не въ томъ, а лучше поговоримте толкомъ.

И онъ снова мучилъ дядю толками о дѣлѣ.

— Вамъ есть письмо!—сказалъ Данилѣ Павловичу слуга въ гостиницѣ.

Данила Павловичъ взялъ конвертъ, взглянулъ на почтамтскій штемпель, прочелъ «Чистополье», и точно его кто-то ударилъ: ему мгновенно прилила къ головѣ кровь. «Чѣмъ-то порадуютъ? что-то пишутъ? Странно, что такъ долго не извѣщали?—думалъ онъ, поднимаясь по лѣстницѣ и направляясь въ свой номеръ.—Ну, дочурка бы! Сыновей есть пара и довольно!» Онъ вошелъ въ свой номеръ, сорвалъ съ письма конвертъ и сталъ читать не особенно прямо, не особенно грамотно выведенныя рукою Матрены Кузьминичны строки. Онъ читалъ письмо, но онъ не понималъ его вполнѣ, а только видѣлъ отрывочныя его фразы, точно эти фразы были подчеркнуты, написаны другими чернилами, выведены крупнѣе. «Двѣ дѣвочки». «Не выжили». «Сама страшно мучилась, думали, и не спасемъ ее». «Потомъ поняли, съ чего она въ нынѣшній разъ такъ измаялась». «Все просила тебѣ не отписывать, боялась, что отъ дѣловъ оторветъ». «Теперь оправляется, хоть и слаба». «Докторъ говоритъ, что опасности нѣтъ, потому натура здоровая». Данила Павловичъ читалъ эти фразы, перечитывалъ ихъ и, казалось, не понималъ ихъ, хотѣлъ еще разъ прочитать, еще разъ вдуматься въ нихъ. А онѣ были такъ ясны. Наконецъ, онъ

бросилъ письмо, закрылъ руками лицо и громко зарыдалъ. «Двѣ дѣвочки», «не выжили», «сама страшно мучилась», «все просила тебѣ не отписывать, боялась, что отъ дѣловъ оторвешь»,—проносилось въ его головѣ, и въ душѣ поднимались и горечь, и злость. «Бросилъ жену въ такое время! Какъ же, дѣла требовали его въ Петербургъ. Какія дѣла? Чьи дѣла? Что погибло бы? И пріѣхалъ сюда, и позабылъ о женѣ, о семьѣ, увлекшись дѣлами! Двѣ недѣли, нѣтъ, три недѣли не получалъ изъ дому писемъ и даже не вспомнилъ, не подумалъ, что тамъ, дома, дѣлается. Тоже отецъ, любящій мужъ! Алтынникъ! Подлецъ!» Эти отрывочныя фразы, точно вихрь, проносились въ его горячей бѣшеной головѣ. Онъ стискивалъ зубы, онъ сжималъ кулаки и плакалъ какъ-то яростно, навзрыдъ, громко. Ему хотѣлось кричать, проклинать, ругаться вслухъ, непечатными словами, точно такъ было легче. Это былъ припадокъ какой-то безсильной ярости, и все точно помутилось въ его головѣ. Въ его мысляхъ, въ его фразахъ не было ни послѣдовательности, ни связи.

— Вотъ дѣвочку все желалъ, дѣвочку! Двухъ Богъ далъ и не умѣлъ сберечь ихъ, охранить, спасти!—повторялъ онъ и тутъ же съ бѣшенствомъ прибавлялъ:—Богъ далъ, Богъ далъ! Какъ это Богъ, если онъ далъ ихъ и взялъ? Развѣ я для себя поѣхалъ хлопотать? Я спасти другую семью хотѣлъ. Доброе дѣло хотѣлъ сдѣлать! Ну, вотъ и награда за доброе дѣло.

Онъ злобно взглянулъ куда-то вверхъ, къ потолку, къ небу.

— Нѣтъ, всегда нужно только о себѣ думать, самому спасать себя, къ чорту всѣ эти добрыя дѣла бросить,—проговорилъ онъ, скрипя зубами, и, сжавъ кулаки, прибавилъ:— И брошу, все брошу! Пропадайте вы всѣ, всѣ! Самъ себя не спасешь, никто тебя не спасетъ! Вотъ что далось за доброе дѣло въ награду...

Онъ кому-то угрожалъ. А черезъ минуту уже въ какомъ-то суевѣрномъ страхѣ онъ бормоталъ:

— А она, она! Господи, не попусти! не попусти! Липа, голубушка все обо мнѣ думала, меня просила не тревожить! А я-то и забылъ о ней, не думалъ о ней. Ѣхать, ѣхать надо! Сейчасъ же, сейчасъ!

Онъ заторопился, началъ что-то укладывать, забывъ, что въ эту пору дня и поѣзда въ Москву нѣтъ. Но черезъ нѣсколько минутъ онъ опомнился, и опять въ его душѣ поднялась злоба. Его бѣсило и то, что поѣзда нужно ждать,

и то, что именно завтра назначено собраніе кредиторовъ Александра Николаевича, гдѣ Данила Павловичъ долженъ былъ играть первенствующую роль. Ни разу еще въ жизни не сказался такъ ясно этотъ характеръ деспота, не терпящаго ни возраженій, ни препятствій, ни остановокъ. Въ его дѣтствѣ былъ одинъ эпизодъ: онъ, сидя на рукахъ у няньки, увидалъ, что по небу черкнула звѣзда и упала на землю. Онъ потребовалъ, чтобы нянька отыскала ее и принесла ему. Нянька сказала, что этого нельзя сдѣлать. Онъ началъ кричать, плакать, кусаться и драться. Этотъ порывъ ярости продолжался до того, что, по выраженію няньки: «дитя закатилось и посинѣло». Чтобы успокоить его, нужно было разослать слугъ искать звѣзду, нужно было при его глазахъ избить крѣпостную няньку за неумѣнье словить для ребенка эту звѣзду, все-таки онъ долго-долго, при видѣ этой няньки, пиналъ ее кулакомъ или ногою, говоря ей шипящимъ тономъ: «по-дла-я!» Многое измѣнилось въ немъ въ теченіе многихъ лѣтъ жизни, но эта черта характера осталась.

X.

— Даня, такъ ты рѣшительно не ѣдешь сегодня въ театръ? — спрашивала Аделаида Александровна Муратова, стоя передъ Данилой Павловичемъ, сидѣвшимъ въ задумчивости въ креслѣ.

— Нѣтъ, Адель, все это раздражаетъ, а не успокаиваетъ, — отвѣтилъ онъ лѣниво. — Мнѣ тошно смотрѣть на чужое веселье, оно меня бѣситъ.

Съ нѣкотораго времени у него сказались нервы,—нервы больной и капризной женщины. Получивъ изъ Чистополья памятное для него письмо, онъ съѣздилъ «на денекъ», какъ онъ выразился самъ, домой и засталъ жену еще больною. Она обрадовалась и испугалась. Зачѣмъ ему написали объ ея болѣзни? Зачѣмъ вытребовали его изъ Петербурга? Онъ вѣдь самъ говорилъ, что тамъ у него дѣла, что дядя Александръ Николаевичъ потерялъ голову и что онъ въ состояніи всѣхъ подвести и запутать. Что могутъ сдѣлать Данѣ? Не выйдетъ ли крупныхъ непріятностей. Данила Павловичъ успокаивалъ ее, онъ говорилъ, что онъ пріѣхалъ только взглянуть на нее, что онъ пробудетъ въ Чистополѣ два-три дня, не болѣе. Онъ ужасно тосковалъ о дѣвочкахъ, которыхъ онъ даже не видалъ; онъ ужасно боялся за жену, которая, несмотря на все желаніе казаться здоровой, была крайне слаба. Докторъ, впрочемъ, утѣшалъ его, что все это

пустяки, что ея натура крѣпка, что нужно только остеречься въ будущемъ, что «молодой женщинѣ надо отдохнуть, а тамъ — они, Муратовы, еще такъ молоды! — годика черезъ два, черезъ три, чѣмъ позже, тѣмъ лучше, у нихъ, Богъ дастъ, еще будутъ дѣти». Докторъ замѣтилъ даже шутливо, что лучше будетъ, если Данила Павловичъ уѣдетъ, «а то— докторъ погрозилъ пальцемъ Муратову — эгоисты всѣ вы, господа мужья»,—сказалъ онъ.

Но мало было своихъ семейныхъ волненій,—нужно было еще явиться Матренѣ Кузьминичнѣ со слезами, съ разспросами объ Александрѣ Николаевичѣ.

— Съ ума сходитъ,—рѣзко замѣтилъ Данила Павловичъ, и самъ былъ не радъ, что сказалъ это.

Матрена Кузьминична всполошилась, даже дошла до рѣзкостей, сказавъ Данилѣ Павловичу, что онъ долженъ былъ написать, телеграфировать ей, если ея мужъ такъ плохъ, если онъ такъ страдаетъ. Данила Павловичъ попробовалъ уговорить ее остаться въ Чистополѣ около Липы, но она отказалась наотрѣзъ. Она не какая-нибудь полюбовница; она—жена! Она должна быть при мужѣ, если онъ нездоровъ, если у него бѣда. Въ церкви-то она не затѣмъ съ нимъ вѣнчалась, чтобъ въ счастьи, да въ радости въ глаза ему смотрѣть, а какъ у него горе—такъ и хвостомъ вильнуть. Она собралась въ Петербургъ въ одинъ день, не дожидаясь отъѣзда Муратова, твердя только одно: «онъ-то, голубчикъ, тамъ страдаетъ, а я въ чужомъ домѣ вожусь». Наконецъ, пришлось уѣхать и Даниѣ Павловичу, но онъ уѣхалъ не вдругъ, откладывая съ часу на часъ, со дня на день поѣздку. Онъ даже похудѣлъ за эти пять-шесть дней.

Онъ возвратился въ Петербургъ раздражительнымъ, озлобленнымъ, угрюмымъ. Его бѣсило теперь все: и кредиторы дяди, и самъ дядя, и Матрена Кузьминична, и необходимость вести дѣла въ столицѣ. Ему хотѣлось теперь быть тамъ, около жены, сидѣть у ея ногъ, цѣловать ея руки, ея глаза. И въ то же время ему вспоминались совѣты доктора, на душѣ дѣлалось вдругъ еще тяжелѣе, еще болѣе накипало желчи. Данила Павловичъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые легко подчиняются обстоятельствамъ, не протестуя мирятся съ неизбѣжностью...

Въ эти дни, когда Данила Павловичъ, этотъ желѣзный человѣкъ, узналъ что значатъ нервы, къ нему явилась утѣшительницей Аделаида Александровна. Никогда еще ея заботливость, ея нѣжность, ея мягкость не проявлялись такъ

кстати, какъ теперь. Она явилась заботливой сестрой больного брата, нѣжной матерью обиженнаго ребенка, потворщицей-няней заблажившаго дитяти. Данила Павловичъ началъ ощущать, что онъ въ свободныя минуты не можетъ обойтись безъ Аделаиды Александровны, и шелъ къ ней или поджидалъ ее къ себѣ,—и къ этому не примѣшивалось даже желанія узнать: обдѣлала ли она для него въ министерствѣ то или другое дѣло относительно всѣхъ формальностей открытія желѣзной дороги. Нѣтъ, онъ какъ будто и не думалъ теперь объ этомъ, когда оставался съ Аделаидой Александровной. Съ ней онъ могъ говорить тысячу разъ о томъ, какъ онъ желалъ имѣть дѣвочку, и какъ его огорчила потеря этой дѣвочки и даже не одной, а двухъ дѣвочекъ. Ей онъ могъ повѣрять безконечное число разъ свои опасенія насчетъ Липы и сомнѣнія насчетъ того, какъ дѣйствовать дальше, чтобы не повредить здоровью Липы. Иногда онъ говорилъ странныя вещи о томъ, что онъ всегда былъ вѣрующимъ, что онъ считаетъ страшнымъ современнымъ зломъ безбожіе, что, между тѣмъ, въ день извѣстія о смерти дѣвочекъ онъ на минуту усомнился въ справедливости Бога, усомнился въ Его существованіи, что это его мучитъ, что это даромъ не пройдетъ, что онъ будетъ еще какъ-нибудь наказанъ за это. Этими вещами шутить не слѣдуетъ. Это даромъ не проходитъ... Наконецъ, онъ долженъ поддерживать это, такъ какъ онъ отецъ, такъ какъ онъ долженъ подавать примѣръ дѣтямъ... Вся ограниченность его ума, вся ограниченность его развитія, вся ограниченность его воспитанія сказывались въ эти долгіе часы откровенныхъ бесѣдъ съ Аделаидой Александровной. Но она терпѣливо выслушивала все. Чѣмъ больше она его узнавала, тѣмъ больше увлекалъ ее этотъ человѣкъ своею желѣзною силою, своимъ страстнымъ темпераментомъ. Впервые она еще видѣла человѣка, способнаго задушить своими руками врага, не тайкомъ, не изъ-за угла, не воровски, а прямо, открыто, сошедшись грудь съ грудью, не соразмѣряя даже своихъ силъ съ силами этого врага, и также впервые видѣла она человѣка, способнаго на безумную страсть, на безумное увлеченіе, не похожія ни на сентиментальность золотушныхъ и женственныхъ поэтическихъ натуръ, ни на сластолюбивый цинизмъ свѣтскихъ истаскавшихся развратниковъ. Она чувствовала въ немъ дикаря и звѣря. Это влекло ее къ нему, и она не безъ ревности выслушивала исповѣдь объ его любви къ Липѣ, объ его отношеніяхъ

къ Лишѣ. Но, ревнуя его къ ней, она вовсе не думала бороться съ ней, вовсе не хотѣла заступать ея мѣста. Она не была ни мелодраматической интриганкой, ни романической злодѣйкой. Она была просто скучающей свѣтской женщиной. Ей теперь нравилось ея новое положеніе «сидѣлки», какъ ей нравились то роль благотворительницы, то роль первой актрисы на великосвѣтскомъ любительскомъ театрѣ, то роль авантюристки, обдѣлывающей для кого-то дѣла, ужинающей съ кѣмъ-то въ загородномъ ресторанѣ въ отдѣльномъ кабинетѣ, проскальзывающей въ буржуазный маскарадъ въ клубѣ, въ маскарадъ съ непредвидѣнными встрѣчами и развязками. Ее влекло все, что ново и что странно, потому что все старое было такъ скучно, такъ надоѣло, такъ пріѣлось. Но что же могло быть новѣе этого человѣка и этой роли утѣшительницы при такомъ человѣкѣ? Онъ для нея былъ живымъ героемъ романа, и чтобы узнать романъ этого героя, ей не нужно было разрѣзать страницъ, портить глаза за чтеніемъ, ей нужно было только слушать. Мало того, она могла слушать изъ этого романа именно то, что ей хотѣлось слушать въ ту или другую минуту.

Она и теперь, нарядная, благоухающая, все еще ослѣпительно прекрасная, несмотря на свои годы, несмотря на черточки около глазъ, подъ подбородкомъ, на шеѣ, стояла передъ Данилой Павловичемъ, и готова была для него пожертвовать блескомъ бенефиснаго спектакля.

— Значитъ, и я не ѣду,—сказала она.

— Отчего же? Зачѣмъ тебѣ изъ-за меня скучать весь вечеръ,—замѣтилъ онъ.

Она взяла его за голову, подняла его лицо и, глядя ему въ глаза, спросила:

— Ты думаешь, въ самомъ дѣлѣ, что я скучаю съ тобой?

Онъ точно смутился. Ему никогда въ голову не приходилъ вопросъ: скучно ли ей съ нимъ? Ему было хорошо съ нею, зачѣмъ же ему думать о ней! Онъ вообще никогда не думалъ о томъ, что ощущаютъ, что чувствуютъ другіе, когда они съ нимъ. Она сама какъ бы подсказала ему теперь этотъ вопросъ.

— Нѣтъ, мой милый, я не скучаю съ тобой, — мягко проговорила она.—Я рада, что въ моемъ обществѣ ты находишь хоть тѣнь того семейнаго очага, котораго ты лишенъ на-время! Я знаю, что значитъ жить безъ этого тепла, приходить домой и не видѣть никого, идущаго навстрѣчу; садиться за чай и не имѣть никого, кто спро-

силъ бы: хорошо ли ты спалъ ночь? здоровъ ли ты? что ты намѣренъ дѣлать?—засидѣться въ обществѣ, забыться въ прогулкѣ, запоздать въ дорогѣ и сознавать, что спѣшить домой не зачѣмъ, что дома не ждутъ! О, это страшная фраза: дома не ждутъ! Отъ нея становится холодно, жутко. Знаешь, что раздави тебя экипажъ, утони ты въ рѣкѣ, будь ты убитъ и ограбленъ, все равно — дома не ждутъ! Потомъ когда-нибудь найдутъ тѣло. Кому оно принадлежитъ? Гдѣ родные? Навести справки! — отвѣта не будетъ, потому дома не ждали этого человѣка, не ждутъ его теперь, не будутъ ждать никогда.

Она вздохнула и грустно улыбнулась.

— Я на-время обманываю себя, утѣшаясь, что хоть ты ждешь меня...

Потомъ она вдругъ оборвала рѣчь и перешла къ вопросамъ: писала ли ему жена? какъ ея здоровье? что дѣти?

— Но, Даня, не отрываю ли я тебя отъ дѣла? — спросила она.

— О, нѣтъ! — воскликнулъ онъ, точно боясь, что она уйдетъ.

— Впрочемъ, если есть дѣла, я помогу тебѣ. Ты знаешь, я дѣлецъ.

Она сбросила съ себя легкую, точно сотканную изъ паутины накидку и осталась въ черномъ платьѣ съ вырѣзаннымъ спереди лифомъ. Данила Павловичъ поднялъ на нее глаза и увидалъ, что она снимаетъ брошь и закалываетъ ею подъ самымъ горломъ кружева, прикрывая ими открытое мѣсто груди и шеи.

— Что же, опять въ никстъ? — спросила она.

Они часто играли въ карты, ведя безконечные разговоры о семьѣ Муратова, о его домашней обстановкѣ, о его планахъ на будущее.

— Пожалуй! — отвѣтилъ онъ, невольно засмотрѣвшись на нее.

«Надо было силой тогда ее взять!» — мелькнуло въ его головѣ: онъ вспомнилъ, что онъ сватался когда-то за нее. Онъ сдалъ карты. Она сбросила, взяла прикупку, стала считать:

— Семь и семнадцать. Четырнадцать тузовъ...

— Ну, сразу опять повезло!—сказалъ онъ.

— Счастлива въ картахъ, несчастна въ любви!—отвѣтила она. —А у тебя что?

— Да ничего! Все не годится. Тебѣ ходить!

Она начала брать взятки.

— О, да у тебя ничего—ровно ничего!—весело болтала она, считая взятки.—Ну, я тебя, Даня, сегодня совсѣмъ обыграю...

Онъ смотрѣлъ на нее и что-то думалъ.

— И отчего это мы тогда не поженились?—проговорилъ онъ.—Ты не любила меня?... Но вѣдь и Аркадія...

— Ахъ, Даня, ты знаешь, я всегда любила тебя, какъ брата, горячо любила, — отвѣтила она. — Но мужемъ я не могла тогда тебя представить. Я ждала какой-то другой любви. За Аркадія я вышла, потому что я его вовсе не любила, ни какъ жениха, ни какъ брата. Мнѣ было бы тяжело, если-бъ ты былъ несчастливъ со мной, а онъ...

По ея лицу скользнула презрительная усмѣшка.

— Развѣ такіе люди могутъ быть несчастны, когда у нихъ есть деньги!—проговорила она.—Впрочемъ, и хорошо, что все такъ сдѣлалось, хорошо для тебя. Ты нашелъ хорошенькую и милую дѣвушку по душѣ, ты женился на ней по любви, вы вполнѣ счастливы. Вѣдь ко мнѣ ты никогда не питалъ той страстной любви, какую пробудила она въ тебѣ. О! это много значитъ. Не даромъ же ты говоришь, что она тебѣ всѣхъ женщинъ замѣнила...

Она разобрала карты и воскликнула:

— О, ты мнѣ ужасныя карты сдалъ!

Она надула губки:

— Вообрази, ничего... ровно ничего... Терцъ какой-то... конечно, не годится... Четыре карты... О, это невозможная игра...

Онъ разсѣянно выслушалъ ея торопливую рѣчь и небрежно началъ счетъ своихъ картъ.

— Но ты пропустилъ... У тебя еще четырнадцать десятокъ... Три валета... О, какой ты разсѣянный, — говорила она.

Онъ точно опомнился.

— Да, такъ ты говоришь, что она мнѣ всѣхъ женщинъ замѣнила,—сказалъ онъ въ раздумьи.

— Это ты всегда говоришь, а не я,—поправила Аделаида Александровна.

— Положимъ, я говорилъ... Но нѣтъ, не всѣхъ... Вотъ ты... Въ тебѣ есть много такого, чего нѣтъ въ ней...

Она звонко засмѣялась.

— О, милый! Я умѣю играть въ карты?.. Это признакъ приближающейся старости... Я умѣю помочь тебѣ разо-

браться въ бумагахъ?.. Это признакъ прозаической дѣловитости, слѣдствіе, можетъ-быть, непріятныхъ дѣловыхъ сношеній и заботъ.

Она со вздохомъ смѣшала карты и стала сдавать.

— Ну, не это только,—проговорилъ онъ.

— Ахъ, да, да!.. Музыкой и пѣніемъ я тебя услаждаю, когда расхандришься... Ну, это верхи нашего барскаго образованія... Казовые концы свѣтской женщины...

— Ну, что музыка и пѣніе! Мнѣ въ былыя времена барышни такіе ноктюрны разыгрывали и романсы распѣвали, что страсть!.. Но это не то... не то...

Онъ никакъ не могъ допскаться того, что было въ ней и чего не было въ Олимпіадѣ Пахомовнѣ. Это нѣчто было дѣйствительно не игра въ карты, не помощь въ разборѣ бумагъ, не пѣніе и не музыка. Это было необыкновенно тонкое и чуткое умѣнье угадывать безъ словъ, что нужно въ извѣстную минуту другому человѣку. Это умѣнье развилось въ Аделаидѣ Александровнѣ съ дѣтства, когда она сумѣла завоевать любовь капризнаго деспота-дяди, своего воспитателя и благодѣтеля. Это умѣнье окрѣпло въ ней въ тѣ дни, когда ей нужно было пробить себѣ путь въ «свѣтъ» и, несмотря ни на что, заставить всю окружающую среду преклониться передъ ней, примириться съ ней, терпѣть ее, любовницу банкира-еврея Гельфрейха. Это умѣнье купилось такой же дорогой цѣной, какъ покупается медвѣдями умѣнье плясать, львами умѣнье покоряться укротителю звѣрей. Этой черты не могъ понять Данила Павловичъ.

— А вотъ намъ и чай принесли,—сказала она, увидавъ лакея, внесшаго чайный сервизъ.

Она, мурлыча какую-то пѣсню, пошла все еще граціозной и легкой поступью къ столу распорядиться чаемъ.

— Я, право, здѣсь чувствую себя болѣе дома, чѣмъ въ своей квартирѣ,—мелькомъ сказала она, начавъ стоя разливать чай.—И грустно, какъ вспомнишь, что все это скоро кончится...

Онъ тоже поднялся съ мѣста, подошелъ къ ней, обнялъ ее за талію и, заглянувъ ей въ лицо, тяжело дыша, прошепталъ:

— А, ты думаешь, мнѣ весело?

— Даня, ты, право, начинаешь съ нѣкотораго времени огорчать меня. Я перестану къ тебѣ заѣзжать. Ты же не этого добиваешься?

Она взяла его рукой за подбородокъ.

— Ну, милый, милый, не говори такъ! Ты любящій мужъ, ты хорошій отецъ семейства и во мнѣ ты долженъ видѣть сестру и только сестру. Братскія отношенія могутъ длиться вѣчно, всякія другія... ахъ, Даня, я знаю, какъ коротки всѣ эти вспышки прихотей, капризовъ, увлеченій...

Потомъ она засмѣялась.

— А вотъ я твоей женѣ пожалуюсь, что ты ловеласничаешь...

— Ахъ, она и ревновать не умѣетъ! — досадливо отвѣтилъ Данила Павловичъ.

— Не говори, не говори этого!—она зажала ему ладонью ротъ. — Да развѣ можно не ревновать, когда любишь? О, Боже мой, да я возненавидѣла бы ту женщину, которая отняла бы у меня любимаго мною человѣка. Я измучила бы его, прежде чѣмъ онъ ушелъ бы отъ меня...

Она выпрямилась.

— Нѣтъ, или я, или она, но быть второй актрисой на сценѣ, питаться объѣдками стола, принимать милостыню любви—нѣтъ, этого я не могу!

— Липа говоритъ: «я вѣдь знаю, что ты все-таки ко мнѣ вернешься»,—сказалъ съ ироніей Данила Павловичъ.

Аделаида Александровна вдругъ вспылила.

— А! права законной жены! Гордая самоувѣренность честной матери семейства! О, на этомъ фундаментѣ опасно воздвигать зданіе прочнаго счастія. Законныхъ женъ бросаютъ, честныя матери семействъ остаются однѣ съ дѣтьми!

И она принужденно засмѣялась.

— Да, наконецъ, какая радость, какая честь, какое счастіе, что мужъ, насладившійся, пресытившійся, можетъ-быть, отвергнутый другою женщиною, придетъ, въ концѣ-концовъ, отыскивать свой заношенный халатъ, свой мятый ночной колпакъ, чтобы отдохнуть отъ фрака, придетъ къ женѣ-сидѣлкѣ, къ женѣ-кухаркѣ, къ женѣ-крѣпостной служанкѣ...

Онъ медленно пилъ чай, задумчиво слушая ее.

Отчего это онъ никогда не разговариваетъ съ своей Липой. Ей онъ только разсказываетъ, а она слушаетъ. Отчего съ Липой онъ только цѣлуется, обнимается, сальничаетъ, когда ему нечего ей разсказать, или ѣстъ, пьетъ, спитъ. Съ Аделью совсѣмъ не то. Онъ готовъ съ ней просиживать цѣлые дни, безъ конца слушать ее, безъ конца совѣтоваться съ ней. И какъ могъ братъ Аркадій не оцѣнить такую жену. Онъ спросилъ ее, почему она разошлась съ мужемъ.

— Ему нужна была не подруга жизни въ женѣ, а любовница, содержанка, падшая женщина, — отвѣтила Аделаида Александровна.—Быть этимъ я не могла...

Въ головѣ Данилы Павловича мелькнула мысль, что братъ Аркадій былъ бы вполнѣ счастливъ съ такой женой, какъ Липа.

— Это великое несчастіе, когда мужъ и жена не понимаютъ другъ друга,—сказала Аделаида Александровна.— Вѣчно цѣловаться нельзя, нужно и быть опорой другъ для друга, совѣтниками и товарищами другъ за друга. Тогда и самыя ласки не прискучатъ, потому что для нихъ будутъ являться новые и новые поводы въ минуту общихъ радостей и общихъ печалей, общихъ плановъ и общихъ удачъ. Только этимъ можетъ подогрѣваться, возбуждаться любовь, а иначе она сдѣлается простою привычкой.

Онъ уже давно все это ощущалъ, чувствовалъ, угадывалъ, какъ ему казалось теперь. Болѣе того: онъ уже давно чувствовалъ себя неудовлетвореннымъ, несчастнымъ. Она только выразила словами то, что какъ-то смутно ощущалось имъ. Онъ опустилъ голову и задумался. Внутри его происходила какая-то новая для него борьба чувствъ, ощущеній, мыслей, что-то смутное и томительное, какъ предчувствіе чего-то, какъ болѣзненное настроеніе передъ бурей. Это ощущалъ онъ уже не въ первый разъ въ послѣднее время, но теперь это было сильнѣе, тяжелѣе, чѣмъ прежде. Она взглянула на часы. Было уже двѣнадцать. Пора ѣхать. Она поднялась съ мѣста, подошла къ нему и, дотронувшись до его плеча, проговорила:

— Ну, Даня, мнѣ пора!

Онъ страстно охватилъ ее за талью и прошепталъ въ волненіи:

— Не уходи!.. Дорогая, милая, ненаглядная!

Онъ покрывалъ поцѣлуями ея руки, платье.

— Даня, полно... Ради Бога!—съ искреннимъ испугомъ прошептала она.

Онъ уже просто рыдалъ и въ то же время злился.

— Ну, да я не могу жить безъ тебя!.. Слышишь, не могу жить... Ты мнѣ нужна, какъ воздухъ... Я задыхался все это время...

Онъ сжалъ ее въ объятіяхъ грубо, властно...

— О, прости меня, Адель! Прости! Я безумецъ! Но это выше моихъ силъ, моей воли!—говорилъ онъ ей потомъ.

Впервые въ жизни онъ просилъ прощенія у женщины за

то, что онъ ее полюбилъ. Это было такъ ново для него, что онъ какъ будто помолодѣлъ на десятокъ лѣтъ, сдѣлался вновь юношею, робѣющимъ, не смѣющимъ поднять глазъ послѣ перваго признанія въ любви. Впервые въ жизни онъ чувствовалъ, что не онъ можетъ осчастливить женщину, а она его. Въ этомъ была своего рода сладость чего-то новаго, неизвѣданнаго. Только теперь понялъ онъ, что его типа замѣнила ему не всѣхъ женщинъ. Въ любви Олимпіады Пахомовны было все, — и страстность, и готовность отдаться вполнѣ, и постоянство, и повиновеніе рабыни передъ волей господина; въ ней было все, что когда-нибудь давали другія женщины Данилѣ Павловичу во дни его юныхъ любовныхъ похожденій въ провинціи, то шаловливыхъ, то грязныхъ, какъ похожденія настоящаго армейца. Въ ней не было только «школы». Эта «школа» была у Аделаиды Александровны. Данила Павловичъ не могъ понять и объяснить этого, но онъ чувствовалъ, что онъ впервые видитъ такую женщину. Какую? что въ ней особеннаго? этого онъ не могъ бы сказать. Да и гдѣ же ему было уловить все безчисленное множество тонкихъ деталей, отличавшихъ Аделаиду Александровну отъ другихъ, когда-то близкихъ къ нему женщинъ. Прежде, сходясь съ женщинами, онъ испытывалъ одно чувство, что онъ не только самъ удовлетворилъ свою прихоть, но и осчастливилъ женщину; сойдясь съ Аделаидой Александровной, онъ шепталъ ей: «прости меня, Адель». Онъ чувствовалъ, что онъ виноватъ передъ нею, что онъ заставилъ ее принести ему жертву, хотя онъ и зналъ, что она уже далеко не наивная барышня. Но она умѣла поставить себя выше его. Сидя съ нею, онъ ощущалъ потребность не однихъ ласкъ и поцѣлуевъ, но потребность говорить съ нею, слушать ее, восхищаться блескомъ ея фразъ, согрѣвать себя теплотою и нѣжностью ея дружескихъ бесѣдъ. Это было вино, которое не только хотѣлось пить, но, главнымъ образомъ, пробовать, смаковать, тянуть черезъ соломинку. Это была красивая любовь, какъ бываетъ красивая игра актеровъ, производящая неотразимое обаяніе на зрителей. Эта пластичность дается инымъ людямъ природою, но чаще ее достигаютъ школою, искусствомъ, и чѣмъ выше искусство, тѣмъ естественнѣе кажется эта пластичность, такъ какъ высшая цѣль искусства достигнуть кажущейся безыскусственности...

Когда Данила Павловичъ послѣ этого памятнаго для него вечера впервые зашелъ къ дядѣ и увидалъ тамъ Матрену

Кузьминичну, хлопочущую около своего «голубчика», около своего «сокола яснаго», онъ невольно подумалъ: «Вотъ моя Липа». Да, это былъ тотъ же типъ жены-наложницы и рабыни. Вотъ она пришла къ своему мужу въ минуту бѣды и забыла всѣ его проступки, измѣны, похожденія; она ради него даже забыла дѣтей. Липа такая же.

— Ну, вотъ я и спокоенъ, и спокоенъ,—уже какимъ-то старческимъ голосомъ говорилъ, между тѣмъ, Александръ Николаевичъ племяннику. — Мотя со мной. Теперь я не боюсь никакихъ нашествій... На ея рукахъ и умирать легко...

Эти слова поразили Данилу Павловича. Но поразили его не потому, что онъ впервые замѣтилъ опасное положеніе дяди, а потому, что они точно были отвѣтомъ на его мысли, дополняли въ его умѣ образъ его Липы. Дядя же продолжалъ:

— Да вотъ, куролесилъ, куролесилъ, а чуть бѣда, чуть горе— подавай Мотю, къ ней подъ крылышко. Мотя успокоитъ, Мотя пригрѣетъ, Мотя вылѣчитъ...

Данила Павловичъ нахмурился, точно дядя говорилъ это нарочно, чтобъ намекнуть ему на то, что и онъ когда-нибудь пойдетъ къ своей Липѣ грѣться и лѣчиться. Какія глупости! Старикъ ничего не знаетъ. Онъ болтаетъ просто то, что взбредетъ на умъ. Къ тому же, онъ точно изъ ума сталъ выживать. И все-таки въ Данилѣ Павловичѣ шевелилось какое-то странное чувство: онъ не то смущался, не то боялся. Чего? Онъ на это не могъ бы отвѣтить.

Но его теперь сталъ тревожить видъ каждаго письма изъ Чистополья, точно онъ боялся тамъ прочесть что-нибудь о своихъ отношеніяхъ къ Аделаидѣ Александровнѣ. Его тревожило и долгое неполученіе писемъ оттуда, точно онъ думалъ, что тамъ могутъ уже сердиться на него. Съ Аделаидой Александровной онъ теперь обходилъ вопросъ объ Олимпіадѣ Пахомовнѣ: онъ не зналъ, какъ говорить о ней, съ любовью или съ ироніей, какъ о женѣ, которую онъ бросилъ, или какъ о женѣ, къ которой онъ думалъ вернуться. Его тревожила мысль о томъ, что будетъ дальше: броситъ ли онъ Аделаиду Александровну, которая теперь была ему нужна, какъ воздухъ, или броситъ жену, которая его боготворитъ и съ которой онъ прижилъ дѣтей. Хуже всего было не то, что онъ страстно увлекался Аделаидой Александровной. Увлеченіе могло и пройти. Это зналъ онъ очень хорошо. Хуже всего было то, что, узнавъ близко Аделаиду Александровну, онъ впервые узналъ недостатки

своей жены. Это уже не пройдетъ, не остынетъ, не забудется. И какія мелочи понялъ онъ теперь!

— Самое ужасное въ супружествѣ это то, что наши женщины считаютъ возможнымъ появляться передъ мужьями нечесанными и неумытыми, внося въ свои отношенія къ мужьямъ столько прозы, пошлости и грязи,—какъ-то замѣтила Аделаида Александровна.

И Данила Павловичъ вдругъ вспомнилъ всѣ мелочи, никогда прежде не смущавшія его. Дѣйствительно, онъ видѣлъ Лину и неумытою, и нечесанною физически и нравственно. Онъ не обращалъ на это вниманія, онъ самъ появлялся передъ ней въ такомъ видѣ. Теперь это казалось ему гадкимъ.

XI.

Пріѣздъ Матрены Кузьминичны сразу далъ толчокъ дѣламъ Александра Николаевича. Эта «простая баба», какъ она сама себя называла, природнымъ чутьемъ поняла, что нужно дѣлать. Она сумѣла объяснить присяжному повѣренному Баскакова, что она готова «подмазать» гдѣ надо, «такъ какъ сухая ложка ротъ деретъ», она очень настойчиво объясняла всѣмъ, заинтересованнымъ въ дѣлѣ, что не для чего имъ душу-то выматывать у Александра Николаевича, такъ какъ человѣкъ и безъ того на ладанъ дышитъ, что дѣло чисто и ничего у нихъ не спрятано, ничего не утаено: она оббивала пороги у крупныхъ и мелкихъ кредиторовъ, сама толкалась въ судъ, совала, гдѣ нужно, рубли. «Я вѣдь не по закону: не знаю я этихъ законовъ, а я почеловѣчески сужу», говорила она, прося и кланяясь, плача и «подмасливая» людей. И дѣло дѣйствительно двинулось впередъ, хотя и грозило поглотить послѣднія крохи Матрены Кузьминичны и ея семьи. Но Матрена Кузьминична объ этомъ не заботилась: она вся жила теперь одной мыслью о спасеніи мужа отъ участи злостнаго или неосторожнаго банкрота. Для нея это было важнѣе всего: все остальное ее не заботило вовсе. На Данилу Павловича она смотрѣла почти враждебно. По ея мнѣнію, онъ ничего не дѣлалъ и не хотѣлъ дѣлать. «Разговорами-то тутъ не поможешь. Тутъ деньги платить нужно. Благодарить тутъ нужно»,— говорила она.

— Я не такъ богатъ, чтобы платить,—замѣтилъ Данила Павловичъ.

— Батюшка, да никто не проситъ, чтобы ты изъ своихъ платилъ,—отвѣтила Матрена Кузьминична. У тебя векселя.

Ты получишь по нимъ, ну, такъ изъ этого и можно. Да и ко мнѣ могъ бы отписать. Зналъ вѣдь, что у меня кое-какія крохи есть...

— Ну, да, теперь все раздадите, а потомъ по-міру идти?

— Не ходили по-міру и теперь не пойдемъ. Слава Богу, руки у меня и у дѣтей есть. Да если бы и пошли, такъ на это воля Божія. А ужъ изъ-за этого отца родного губить не приходится!

Данила Павловичъ нетерпѣливо пожималъ плечами.

— Да случись, не здѣсь будь сказано, такое несчастіе съ тобою, развѣ Липа не отдала бы послѣдней рубашки, чтобы тебя-то спасти? Эхъ, Данила Павловичъ: не знаете вы нашей сестры. Это вы-то только о женахъ мало думаете, на сторонѣ Богъ знаетъ что творите, а жены...

Матрена Кузьминична вдругъ перемѣнила тонъ и совсѣмъ неожиданно спросила Муратова:

— Ты вотъ теперь зачѣмъ здѣсь проживаешься? Дѣла-то Александра Николаевича и безъ тебя пошли своимъ чередомъ. Своихъ дѣловъ у тебя здѣсь разъ-два и обчелся. А живешь, потому весело жить-то здѣсь на ярмаркѣ. А Липа, можетъ-быть, глазъ не осушаючи...

Данила Павловичъ вспылилъ.

— Вы, Матрена Кузьминична, въ мои-то дѣла ужъ не мѣшайтесь!—сказалъ онъ рѣзко.

— Ну, батюшка, какъ ни поверни, а теткой прихожусь, и по женѣ хоть двоюродная, а все же тетка, да и по дядѣ тоже не чужая, въ церкви тоже съ дядей-то твоимъ вѣнчана.

— А все-таки не люблю я, чтобы въ мои дѣла мѣшались,—сказалъ онъ.

— Я, батюшка, тебя и не спрашиваю, что ты любишь и чего не любишь. Твои вкусы сами по себѣ, а мои мысли при мнѣ и останутся. А ты вотъ подумай что, по нраву ли тебѣ придется, если Пахомъ Семеновичъ невзначай этакъ завернетъ сюда взглянуть, какія, молъ, такія дѣла зятька отъ дома отбили...

Данила Павловичъ совсѣмъ вышелъ изъ себя и забылся.

— Да какъ вы смѣете пугать меня Пахомомъ Семеновичемъ?—крикнулъ онъ.—Кто вамъ...

— Тише, тише! Ты въ моемъ домѣ!—оборвалъ его Александръ Николаевичъ, дѣлая гримасу.—Привыкъ съ мужичьемъ орать!

Данила Павловичъ понизилъ тонъ, но все-таки рѣзко сказалъ:

— Я не позволю никому дѣлать мнѣ наставленія.

— А я не позволю тебѣ кричать у меня въ домѣ на мою жену!—сказалъ дядя.—Она совершенно права относительно того, что мы, мужчины, плохо исполняемъ свои обязанности. Я самъ теперь, mon cher, понялъ, къ несчастью, поздно понялъ, какъ много я виноватъ передъ семьею. Это вѣчное бродяжничество, стремленіе удрать отъ семьи, привычка прикрываться дѣлами, чтобы оправдать свои шалости, все это въ сущности недостойная игра. Теперь, если только я поднимусь, я прежде всего озабочусь, чтобы внушить своимъ сыновьямъ, какъ они должны будутъ въ будущемъ относиться къ семьѣ. Мы негодуемъ, что изъ дѣтей выходитъ чортъ знаетъ что такое, но кто же виноватъ, какъ не мы сами?

Данила Павловичъ пытался прервать дядю, но Александръ Николаевичъ теперь уже вступилъ въ періодъ покаянія передъ семьей и прервать его разсужденія на эту тему было не легко. «Вѣчно какого-нибудь конька осѣдлаетъ и ѣздитъ на немъ»,—мысленно разсуждалъ Данила Павловичъ, но, сердясь на дядю и тетку, онъ невольно задумался о своемъ положеніи. Въ самомъ дѣлѣ, онъ уже давно жилъ въ Петербургѣ безъ всякой необходимости. Дѣла дяди могли идти своимъ путемъ и безъ него, его собственныя дѣла были всѣ обдѣланы, то-есть, онъ свелъ необходимыя знакомства въ министерствѣ путей сообщенія, онъ подготовилъ дѣло пріемки отъ него работъ по желѣзной дорогѣ; онъ сдѣлалъ даже болѣе, чѣмъ ожидалъ, такъ какъ онъ заручился обѣщаніемъ Гельфрейха доставить ему видное мѣсто въ Петербургѣ, когда въ этомъ встрѣтится надобность. Но тѣмъ не менѣе онъ продолжалъ оттягивать день своего отъѣзда домой. Сначала онъ настойчиво увѣрялъ себя, что онъ живетъ въ Петербургѣ по дѣламъ дяди. Но всему бываетъ предѣлъ, и Данилѣ Павловичу стало невозможно обманывать этою отговоркою даже себя. Тогда онъ сталъ жаловаться, что, ради хлопотъ по дѣламъ дяди, онъ запустилъ свои собственныя дѣла, не выхлопотавъ изъ правленія дороги слѣдовавшихъ ему денегъ, не договорился съ инженерами, долженствовавшими принимать отъ Гущина дорогу, не условился окончательно о тепломъ мѣстечкѣ въ Петербургѣ. Во имя этихъ дѣлъ, хлопотъ и переговоровъ, онъ продолжалъ жить въ Петербургѣ и во имя той же причины сегодня онъ заѣхалъ завтракать къ Борелю, завтра присутствовалъ на вечерѣ у Аделаиды Александровны, послѣзавтра торопился

въ театръ. Вездѣ предстояли встрѣчи съ нужными людьми, вездѣ шелъ кутежъ. Данила Павловичъ съ самаго перваго дня своей женитьбы не закучивалъ. Даже въ обществѣ мѣстныхъ инженеровъ онъ часто былъ распорядителемъ и устроителемъ кутежей, но самъ онъ «держалъ ухо востро» и велъ себя сдержанно. Это были «дѣловыя» попойки, гдѣ другіе пили, а онъ ловилъ рыбу въ мутной водѣ. Но прежній кутила въ немъ не умеръ, и теперь, вдали отъ семьи, въ немъ проснулись всѣ старыя стремленія и страсти. Онъ развернулся вполнѣ и съ жадностью наверстывалъ потерянное время. Онъ хватался за малѣйшіе предлоги, чтобы выпить, послушать цыганъ, сыграть на бильярдѣ, прокатиться за городъ. И сколько новыхъ сторонъ кутежа открывалось здѣсь. Передъ этими кутежами меркли всѣ его прежнія развратныя похожденія. Въ провинціи были мелкія попойки, мелкіе скандальчики въ веселыхъ домахъ, здѣсь были настоящія оргіи, шампанское, француженки съ шансонетками и канканомъ, разнузданные хоры цыганъ, безпредѣльный и циничный развратъ и разгулъ, доведенный до виртуозной изобрѣтательности. Самая связь съ Аделаидой Александровной представляла столько мелкихъ перипетій, неожиданныхъ похожденій, импровизированныхъ выходокъ. Данилѣ Павловичу была дорога эта связь именно тѣмъ, что она была тайною, воровскою. Онъ ѣхалъ на какой-нибудь благотворительный балъ съ Аделаидой Александровной, и неожиданно они оба, тайкомъ, смѣясь и дурачась, вдругъ видѣли себя вдвоемъ въ какомъ-нибудь ресторанчикѣ, а тамъ, черезъ часъ, черезъ два, они снова были среди блестящаго общества, даже и не подозрѣвавшаго ихъ временнаго отсутствія. Эти поцѣлуи въ каретѣ, эти школьническія исчезновенія изъ общества на нѣсколько минутъ, эти объятія за драпировкой, вотъ-вотъ готовой распахнуться, опьяняли Данилу Павловича, не испытывавшаго ничего подобнаго прежде, не испытывавшаго ничего подобнаго въ семейной жизни. Когда Матрена Кузьминична напомнила ему, что ему пора ѣхать домой, онъ просто взбѣсился. Впервые въ жизни ему пришла въ голову мысль: «что-жъ, я развѣ крѣпостной человѣкъ Липы?» И какое право имѣетъ какой-нибудь Пахомъ Семеновичъ требовать у него отчета, зачѣмъ онъ живетъ здѣсь, а не въ Чистополѣ? И хорошо это Чистополье! Болото какое-то со стоячею водой. Тамъ люди ѣдятъ, пьютъ, спятъ и только. И что за люди! Пѣшки какіе-то, муравьи какіе-то. Правда, тамъ можно нажиться, разжирѣть, но вѣдь

это только до той поры, пока изъ Петербурга не пригрозятъ имъ и не скажутъ: цыцъ! А здѣсь! Здѣсь, что ни человѣкъ, то государственная сила. Поговоришь съ нимъ—всѣ государственныя тайны знаешь, вельможъ, точно слугъ, судитъ и осуждаетъ; потолкуешь съ другимъ—кажется, новые законы у него ужъ написаны, знаетъ онъ, что и новый режимъ близокъ, предвидитъ даже, чѣмъ все кончится, раздѣляетъ Россію на новый ладъ; встрѣтишься съ третьимъ—тотъ прямо говоритъ, кому сколько нужно дать, чтобы получить самые крупные подряды, самыя небывалыя концессіи, самыя хлѣбныя мѣста. И всѣ эти воротилы—одни чуть не мальчишки, другіе чуть ли не вчера безъ сапогъ ходили. Правда, многіе только пыль въ глаза пускаютъ, но все же... Онъ только теперь почувствовалъ, что онъ живетъ, а не прозябаетъ, потому что только здѣсь у него были, какъ никогда, напряжены нервы. Здѣсь онъ испыталъ новое чувство—чувство зависти. Онъ завидовалъ апломбу петербургскихъ дѣльцовъ, онъ завидовалъ рысакамъ своихъ новыхъ знакомыхъ, онъ завидовалъ ихъ опытности въ дѣлѣ разврата, онъ завидовалъ, наконецъ, ихъ свободѣ. Да, они, холостые и женатые, не стѣснялись ничѣмъ: у того холостяка открытая любовница чужая жена, у этого отца семейства открытая содержанка изъ балета, третій дошелъ до геркулесовыхъ столбовъ разгула и нисколько не скрываетъ этого. «Тоже вѣдь всегда говорила, что никогда не станетъ ревновать, а теперь какихъ-какихъ сценъ не надѣлаетъ, если узнаетъ»,—мелькало въ его головѣ про жену, и онъ злился на Липу. «И точно можетъ мужчина быть всегда вѣрнымъ, точно можетъ не надоѣсть вѣчно одно и то же. И еще батюшка милый явится, неотесъ старый!» Мысль о батюшкѣ все болѣе и болѣе начинала волновать Даніилу Павловича съ нѣкотораго времени. «Я увѣренъ,—думалъ онъ въ волненіи:—что она не вытерпѣла и сообщила родителю о томъ, что я приказалъ выслать еще денегъ... Всполошились, я думаю. Какъ? Зачѣмъ? Куда тратитъ? Да имъ-то что за дѣло? Свое я трачу! Я нажилъ, я и трачу!» И среди этихъ думъ точно въ какомъ-то далекомъ уголкѣ шевелилось сознаніе, что истрачено дѣйствительно много. Онъ самъ не могъ дать отчета, жаль ли ему этихъ денегъ, или, напротивъ того, онъ готовъ просадить еще больше. Въ душѣ являлось желаніе бросить много-много денегъ, но бросить на что-нибудь такое, отъ чего бы голова закружилась, духъ занялся и все забылось бы. Что же это все? Жена,

дѣти, семейныя обязанности, тайное раскаянье за кутежъ, ненасытная жажда еще и теперь покутить, однимъ словомъ, все то, что теперь тревожило его.

— А я, братъ, къ тебѣ на подмогу!—раздался голосъ Пахома Семеновича въ одну изъ такихъ минутъ душевныхъ тревогъ и волненій Данила Павловича.

Данила Павловичъ такъ и присѣлъ. Впервые онъ словно испугался Гущина. Прежде чѣмъ онъ опомнился, старикъ раскрылъ объятія и облобызался съ нимъ.

— Видно, здѣшнія піявицы-то сосутъ,—продолжалъ старикъ.—Тамъ подмажь, тутъ подсласти! Знаю я эти дѣла. Привезъ денегъ. Безъ нихъ ничего не подѣлаешь.

У Данилы Павловича отлегло отъ сердца. Старикъ не знаетъ истины и думаетъ, что деньги поглотили конкурсъ и подмазываніе въ министерствѣ. Гущинъ началъ ругать конкурсныя дѣла.

— Омутъ, чистый омутъ, попади только въ него, съ головой затянетъ,—говорилъ онъ.

— Да, ужъ я это испыталъ,—сказалъ Данила Павловичъ.

— Еще бы, поваландался тоже! Ну, вотъ теперь я помогу. Мнѣ кстати нужно было въ Питерѣ побывать, ну, и взялся самъ деньги тебѣ доставить...

Старикъ былъ въ духѣ, онъ, видимо, ничего не зналъ. На слѣдующій же день онъ лично познакомился съ ходомъ дѣла Баскакова и потолковалъ съ главными кредиторами. Когда ему сказали, что предвидится платежъ двадцати двухъ копеекъ за рубль, онъ сильно раздражился и сталъ ругать на чемъ свѣтъ стоитъ Александра Николаевича Баскакова. Данила Павловичъ даже удивился озлобленію старика, не щадившаго рѣзкихъ эпитетовъ и крупной брани. Но мало того, что старикъ ругался передъ чужими, онъ продолжалъ волноваться и тогда, когда остался съ глазу на глазъ съ Данилой Павловичемъ.

— Да, славно велъ дѣла твой дяденька! Двадцать двѣ копейки за рубль! Нечего сказать, поднадулъ честной народъ,—говорилъ Пахомъ Семеновичъ зятю, выходя изъ собранія кредиторовъ Баскакова.—Зналъ бы, такъ не впутывался бы въ это дѣло!

Данила Павловичъ былъ очень радъ, что его тесть играетъ хорошо свою роль передъ кредиторами. Каждая грубая выходка старика противъ Баскакова была ему по сердцу, такъ какъ эти выходки не давали ни на минуту людямъ задуматься о томъ, что векселя Пахома Семеновича дутые

векселя. Возвращаясь теперь изъ собранія кредиторовъ, Данила Павловичъ не вытерпѣлъ и сказалъ свои мысли тестю.

— Вы это отлично сдѣлали, что пробрали дядю,—сказалъ онъ.

— Да какъ же и не пробрать его, коли онъ двадцать двѣ копейки за рубль платитъ?—сказалъ Пахомъ Семеновичъ.—Плевое дѣло вышло.

— Да, Матрена Кузьминична не очень-то разбогатѣетъ...

— Ну, ей и тысченка-другая перепадетъ, такъ все хлѣбъ! На полу найдетъ. А вотъ за рубль-то двадцать двѣ копейки получить—это не густо... Я, признаюсь, думалъ, что точно дѣло хорошее подвернулось, а въ сущности-то трястись въ Питеръ да мыкаться здѣсь не изъ-за чего было.

Данила Павловичъ мелькомъ, какъ-то недоумѣвающе посмотрѣлъ на тестя.

— Тоже рискъ-то какой былъ. Ты это одно возьми. Ну, а какъ накрыли бы?—продолжалъ старикъ.—Тоже за это по головѣ не гладятъ. Ужъ о томъ, что мы отъ своихъ дѣловъ оторвались да здѣсь проживаемся, я не говорю. Рискъ главное...

— Да, точно, рискъ былъ,—безсознательно согласился Данила Павловичъ.

— Какъ же не рискъ! Бумаги-то у него въ какомъ порядкѣ? Счета-то гдѣ? Ничего не подготовилъ порядкомъ, все спуталъ, точно нарочно въ злостные себя приготовилъ. Такъ съ этакимъ-то человѣкомъ, ой-ой, какъ рисковано было дѣла дѣлать. А платить-то двадцать двѣ копейки за рубль, семьдесятъ восемь въ убыткѣ. Шутка сказать! А тамъ, глядишь, Матрена придетъ кляньчить. Ей отдѣли. Сколько ни на есть, а отдѣли.

Данила Павловичъ уже совсѣмъ понялъ, о чемъ говоритъ Пахомъ Семеновичъ. Это не столько возмутило его, сколько удивило. Онъ не вдругъ нашелся, что возразить старику. Старикъ же продолжалъ:

— Связываться-то съ непутевымъ человѣкомъ не стоило. Съ нимъ не дѣла дѣлать, а балясы точить можно. Вотъ что. Самъ двадцать двѣ копейки платитъ, а дашь мало его семьѣ, орать станетъ, что его ограбили. На это горла хватитъ.

— Да вѣдь это же его деньги,—рѣшился сказать Данила Павловичъ.

— Какія такія его, если онъ несостоятельный?—горячо сказалъ старикъ.—Тоже, получивши при этакомъ-то рискѣ двадцать двѣ копейки за рубль, не очень-то расщедриться-то

можно. Онъ двадцать двѣ копейки платитъ, а его семьѣ полтинникъ надо съ рубля дать? Жирно будетъ, неравно облопаются. Онъ пусть то подумаетъ, что не вяжись я въ это дѣло, такъ и ничего бы Матренѣ не досталось. Свои головы мы подставляли, чтобы имъ грошъ дать. А безъ насъ-то... Все прахомъ бы пошло. Да и у тебя денежки-то уцѣлѣли бы, а на это самое дѣло сколько своихъ просадилъ? А получай-то еще впереди! Не будь этого дѣла, сидѣлъ бы ты себѣ дома со своей Липой. Не отощалъ бы вонъ, какъ теперь. Да, можетъ, и дѣвочки-то живы бы были при тебѣ-то...

Старикъ махнулъ рукой.

— Съ непутевыми свяжешься, самъ съ панталыку собьешься...

Въ душѣ Данилы Павловича вдругъ поднялось какое-то злобное чувство противъ дяди, противъ его дѣла, противъ всего, что сбило «съ панталыку» самого его, Данилу Павловича.

— Тоже семейному человѣку не сладость приблуднымъ псомъ трепаться изъ-за чужого дѣла,—продолжалъ Пахомъ Семеновичъ.—Свое логово есть.

Данила Павловичъ молчалъ и смотрѣлъ какъ-то хмуро, точно онъ только теперь понялъ, что у него есть свое логово, что приблуднымъ псомъ трепаться ему некстати, что онъ семейный человѣкъ. И точно, не пора ли очнуться? Не пора ли домой? Тоже дурь на себя напустилъ! Все изъ-за дяди! По своему дѣлу онъ и недѣли бы тутъ не пробылъ. И сколько истратилъ! Точно, это нужно пополнить изъ денегъ, которыя получатся по векселямъ. Да, наконецъ, и не грѣхъ пополнить. Все равно у дяди прахомъ пойдутъ! И Матрена Кучьминична не лучше мужа. Швыряетъ деньги зря. Да, прорѣхи нужно починить, а главное, скорѣй домой, перестать хороводиться... Ему вдругъ вспомнилась Аделаида Александровна. А какъ же съ ней? Что-жъ, нельзя же всегда съ ней хороводиться. Не могла же она надѣяться, что онъ броситъ для нея жену и семью. Наконецъ, она-то вѣдь не броситъ для него своего жида? Такъ пошалили, можно и разстаться дружески. Только надо скорѣй, скорѣй. Какъ скверно разставаться, объясняться. Пожалуй, еще расплачется. Да нѣтъ, она баба не глупая, она должна понять, что онъ долженъ же ѣхать. И чортъ знаетъ, откуда, съ чего это волненье? Точно школьникъ робѣетъ сознаться въ шалости. Скорѣй бы кончить.

Всѣ эти мысли сбивчиво и смутно проносились въ его головѣ и точно припѣвъ повторялось въ ней одно слово: «скорѣй бы!» Никогда въ жизни не испытывалъ онъ такого смущенія, какъ теперь, когда пришлось сказать Аделаидѣ Александровнѣ, что онъ ѣдетъ.

— Мнѣ нужно на время уѣхать,—объяснилъ онъ ей, не рѣшаясь сказать, что онъ ѣдетъ совсѣмъ.

— На-время?—съ недоумѣніемъ спросила она.

Она знала, что ему, наконецъ, нужно же ѣхать домой. Какими-нибудь мечтами о томъ, что онъ броситъ для нея семью и дѣла, она вовсе не увлекалась. На свои отношенія къ нему она смотрѣла, какъ на развлеченіе отъ скуки, какъ на одно изъ разнообразій жизни. Эта связь, какъ нѣчто серьезное и постоянное, вѣроятно, скоро бы надоѣла ей. Ей уже была нужна смѣна впечатлѣній, смѣна личностей. Данила Павловичъ этого не понималъ и думалъ, что она настолько увлекалась имъ, что ей будетъ тяжело разстаться съ нимъ, что она станетъ дѣлать сцены. Тонъ ея вопроса смутилъ его. Теперь приходилось прибѣгнуть къ новой лжи, чтобъ объяснить свое выраженіе.

— То-есть я желалъ бы уѣхать только на-время, мнѣ тяжело разстаться съ тобою надолго, — сказалъ онъ. — Я постараюсь...

— О, мой милый, такъ тебя и отпуститъ твоя Липа. Она и такъ, думаю, истомилась ревнивыми подозрѣніями. Недаромъ же пріѣхалъ ея родитель.

Въ голосѣ Аделаиды Александровны послышалась иронія. Муратовъ вспылилъ:

— Ты думаешь, она меня на помочахъ водитъ?—горячо сказалъ онъ.—Я не изъ тѣхъ мужей...

Муратова засмѣялась:

— Ахъ, Даня, я это слышала отъ десятка мужей. «Я не изъ тѣхъ, кого водятъ на помочахъ! Я все въ домѣ! Моя жена пикнуть не смѣетъ». А глядишь, эти Геркулесы прядутъ ленъ у ногъ своихъ Омфалъ, этимъ Самсонамъ остригаютъ волосы ихъ Далилы. Женщины всегда сильнѣе мужчинъ, потому что у слабости развивается величайшая сила—хитрость.

Потомъ она перемѣнила тонъ.

— Что-жъ, Даня, я знала, что это все такъ должно кончиться, — сказала она грустно. — Я сама думаю уѣхать за границу...

— А въ Ольховатое?—быстро сказалъ онъ.—Ты же обѣщалась тамъ быть во время окончанія моихъ работъ.

— И пріемки отъ тебя желѣзной дороги? — закончила она.—Но нужно ли мое присутствіе? Все, кажется, улажено...

Онъ встревожился. Онъ надѣялся, что пиры и обѣды у нея отвлекутъ всѣхъ отъ пути, дѣла, заставятъ всѣхъ смотрѣть сквозь пальцы.

— Нѣтъ, пріѣзжай, пожалуйста!—заговорилъ онъ и взялъ ее за руки.

Она немного отстранилась.

— Хорошо, посмотримъ,—сказала она.

— Ты сердишься?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, за что же? Вѣрь мнѣ, что я постараюсь сдѣлать для тебя все, что могу. Ты можешь даже не бояться, что я навлеку подозрѣнія твоей жены. Въ эту недѣлю или двѣ я сумѣю побороть въ себѣ все то, что такъ непрошенно вырвалось теперь наружу. О, ты меня не узнаешь въ Ольховатомъ. Я вѣдь умѣю владѣть собою...

Она вздохнула.

— И зачѣмъ насъ такъ не въ пору сводитъ судьба! Дѣвочкой я отказала тебѣ, когда ты сватался. Теперь не сумѣла во-время отстранить тебя...

Она поднялась съ мѣста.

— Ну, прощай, мой милый!

Онъ хотѣлъ ее обнять. Она опять отстранилась.

— Нѣтъ, Даня, не надо!—проговорила она.—Намъ надо пріучать себя къ хладнокровнымъ встрѣчамъ, къ хладнокровнымъ прощаньямъ. Въ первый разъ, когда ты признался мнѣ въ любви, я забыла все, и твою жену, и твоихъ дѣтей. Теперь я все это помню, и мнѣ было бы тяжело отрывать тебя отъ тѣхъ, кто тебѣ дороже меня, съ кѣмъ ты связанъ навсегда.

Она крѣпко сжала его руку и проговорила быстро:

— Прощай, будь счастливъ...

Затѣмъ она вышла изъ комнаты, взволнованная, грустная. Онъ готовъ былъ броситься за нею. Никогда еще не разставалась съ нимъ такъ женщина. Прощаясь съ нимъ, другія женщины точно милостыню вымаливали у него послѣдніе поцѣлуи, послѣднія ласки. Эта женщина, напротивъ того, возбуждала еще въ немъ всѣ его животныя страсти и отстраняла его отъ себя. У него въ головѣ отошли на задній планъ даже расчеты о томъ, что она ему нужна въ качествѣ дѣльца, что она должна содѣйствовать ему въ сдачѣ дороги. Онъ помнилъ только одно, что еще страстно влюбленъ въ эту женщину и что она сама первая сказала ему: «все кончено!» «Ты мужъ, ты отецъ семей-

ства!»—звучало въ его ушахъ. И онъ злился при этой мысли, точно онъ теперь возненавидѣлъ свою семью, гдѣ всѣ глядѣли ему въ глаза, гдѣ никто ему не противорѣчилъ, гдѣ всѣ шли навстрѣчу его желаніямъ, предупреждали эти желанія, пресыщали его до того, что ему не оставалось ничего желать. А ѣхать домой было нужно...

XII.

Данила Павловичъ и Пахомъ Семеновичъ мчались по желѣзной дорогѣ обратно въ Чистополье. Чрезъ двѣ недѣли обѣщала выѣхать туда же и Аделаида Александровна, чтобы поселиться на время въ Ольховатомъ, гдѣ должны были произойти главные пиры для лицъ, назначавшихся осматривать и принимать дорогу. Всѣ эти лица давно уже готовились весело провести время на сытныхъ обѣдахъ, на роскошныхъ ужинахъ, на шумныхъ прогулкахъ. Всѣ знали, что подрядчики и строители не пожалѣютъ ничего, чтобы угостить на славу тѣхъ, отъ кого зависѣло все. Въ сущности приготовленія къ поѣздкѣ на осмотръ дороги были просто приготовленія къ веселому пикнику и только. Программа и результаты всѣхъ формальностей были заранѣе извѣстны всѣмъ и каждому, и строителямъ, и подрядчикамъ, и инженерамъ, а главное Данилѣ Павловичу. Онъ зналъ хорошо, что у него есть три главныхъ союзника: отложенные на празднество и подарки крупные куши денегъ, наступившіе морозы, сковавшіе лучше всякаго цемента и желѣза разныя трясины и болотины, въ родѣ проклятаго болота у Калистинскаго моста, и, наконецъ, Аделаида Александровна, этотъ дѣлецъ въ юбкѣ, за которымъ увивались, въ числѣ другихъ поклонниковъ, и инженеры, ѣхавшіе осматривать дорогу. Тѣмъ не менѣе Данила Павловичъ дѣлалъ озабоченное лицо и старался казаться погруженнымъ въ заботы и опасенія. Хмуря брови и повторяя съ тревогой: «какъ-то еще все сойдетъ съ рукъ?» — онъ въ сущности маскировалъ другія причины, волновавшія его. Онъ говорилъ о желѣзной дорогѣ, а думалъ объ окончаніи своего романа съ Аделаидой Александровной, о встрѣчѣ съ женою. Знаетъ ли она о его похожденіяхъ въ Петербургѣ? Какъ она отнесется къ нему? Не заговорила ли въ ней ревность? Тоже вѣдь, вѣроятно, считаетъ мужа своимъ рабомъ? Ну, да онъ сумѣетъ оборвать ее, если она вздумаетъ дѣлать ему сцены. Онъ не привыкъ быть подъ башмакомъ у женщины. Онъ ее осадитъ. Чувствуя себя виноватымъ передъ нею, онъ

сердился на нее. Его волненіе росло по мѣрѣ приближенія его къ дому. Оно бѣсило его, какъ нѣчто непривычное. Онъ самъ стыдился своего малодушія, но все-таки не могъ переломить себя, не могъ успокоиться...

Но вотъ и Чистополье, вотъ и родной домъ...

Заслышавъ у воротъ стукъ колесъ и лошадиныхъ копытъ по промерзлой землѣ, Олимпіада Пахомовна вышла на крыльцо навстрѣчу мужу. Она за это время значительно похудѣла, стала стройнѣе, какъ бы моложе. Трудно было сказать, что это замужняя женщина, мать нѣсколькихъ дѣтей, такъ она была теперь граціозна, моложава. Съ ея лица сбѣжалъ слишкомъ яркій румянецъ, горѣвшій на немъ прежде, но это не вредило ея красотѣ, а напротивъ того, дѣлало эту красоту нѣжнѣе, благороднѣе, изящнѣе. Данила Павловичъ былъ смущенъ и взволнованъ при видѣ жены, протянувшей ему обѣ руки и подставившей ему свое лицо для поцѣлуя. Онъ торопливо спросилъ ее о здоровьѣ, не выслушавъ ея отвѣта, сказалъ, что онъ очень усталъ; затѣмъ тотчасъ же упомянулъ, что настаетъ горячее время. Онъ точно боялся, что она заговоритъ, станетъ упрекать, заплачетъ. А она, спокойная, улыбающаяся, коротко проговорила:

— Но слава Богу, что это ужъ послѣднія хлопоты! Пора тебѣ и вздохнуть свободнѣе... Довольно побился!..

И тотчасъ же ровной, неспѣшной поступью направилась распоряжаться насчетъ обѣда.

— А гдѣ ребятишки?—спросилъ Данила Павловичъ вдогонку.

Она обернулась къ нему съ улыбкой.

— Дома... Вотъ оправишься, умоешься съ дороги, придутъ... Тамъ въ спальнѣ все для тебя готово...

Данилу Павловича какъ-то поразили ея спокойный тонъ, ея сдержанность. Что она, сердится, что ли? Ну, мы дуться не позволимъ! Это у насъ не въ ходу. Онъ прошелъ въ спальню, тамъ въ умывальникѣ была свѣжая вода, на постели лежало чистое бѣлье, приготовленное для него, на стулѣ была положена его домашняя пара платья. И эта спальня, свѣтлая, просторная, съ бѣлоснѣжными кисейными занавѣсами и пологами, смотрѣла точно покой, предназначенный для четы новобрачныхъ, такихъ же чистыхъ и непорочныхъ, какъ она сама. Данила Павловичъ сбросилъ верхнее платье, подошелъ къ умывальнику, засучилъ рукава рубашки, разстегнулъ воротъ и сталъ умываться. Окончивъ умыванье, онъ взялъ тонкое, вышитое русскими узорами

полотенце и сталъ вытирать лицо, руки, ходя взадъ и впередъ по мягкому ковру. Онъ дышалъ теперь ровнѣе, спокойнѣе. Какія-то воспоминанія о прошлой жизни, о радостяхъ супружества, о часахъ, проводимыхъ здѣсь съ Липой, мелькали въ его головѣ. Ослѣпительная чистота этой комнаты, яркое солнце, заглядывавшее въ окно, веселый огонекъ, съ трескомъ пробѣгавшій по дровамъ въ каминѣ, освѣжающее вліяніе воды, все это вмѣстѣ какъ-то вдругъ измѣнило настроеніе Данилы Павловича. Онъ, что-то весело насвистывая и улыбаясь, началъ раздѣваться, пріятно потягиваясь, думая и объ обѣдѣ, и о послѣобѣденномъ снѣ. А что ни говорите, хорошо имѣть свой уголокъ, чистенькій, уютный, спокойный. Здѣсь можно отдохнуть, понѣжиться, успокоиться отъ бурь и волненій. Надѣвъ чистое бѣлье и взявшись за домашній костюмъ, онъ неожиданно задалъ себѣ вопросъ: «Но, можетъ-быть, она не подозрѣваетъ? И откуда ей узнать? Только что же она такая сдержанная? И точно дѣвушкой опять стала».

— Даня, подавать обѣдать или подождать?—раздался вопросъ изъ сосѣдней комнаты.

— Я готовъ,—отвѣтилъ Муратовъ.

Онъ вышелъ въ столовую, освѣженный, въ чистой одеждѣ. Къ нему выбѣжали его мальчики, что-то весело болтая, цѣлуя его, здоровенькіе, свѣженькіе, какъ херувимы. Онъ поднималъ ихъ на руки и цѣловалъ въ свою очередь. Олимпіада Пахомовна, стоя у стула, съ улыбкой на лицѣ, разливала супъ. Данила Павловичъ, отпустивъ дѣтей съ нянькой въ дѣтскую, сѣлъ на свое обычное мѣсто за столомъ.

— А ты измѣнилась, — проговорилъ Данила Павловичъ, взглянувъ на жену.

Она удивительно была хороша теперь; она казалась теперь дѣвственнѣе, чѣмъ во дни дѣвичества. Она казалась воплощеніемъ чистоты и непорочности. Онъ не могъ оторвать отъ нея глазъ и не могъ дать себѣ отчетъ, что съ ней сдѣлалось, что въ ней новаго.

— Еще бы!—отвѣтила она. — Я сама не знаю, какъ я выжила это время.

Онъ нахмурился, почему-то ему показалось, что сейчасъ начнутся слезы, упреки, сцены ревности.

— Наши бѣдныя дѣвочки мнѣ такъ дорого стоили...— закончила она. — И эти мученія, болѣзнь, упадокъ силъ у самой, а тутъ еще говорятъ, что онѣ мертвыя... Это можетъ понять только женщина, мать.

Онъ вдругъ вспомнилъ все недавно прошедшее, ея материнскія мученія, ея обманутыя надежды, ея одиночество во время болѣзни. А онъ—онъ въ это время утѣшался съ другой женщиной, кутилъ, пьянствовалъ, веселился. Какъ это было гнусно, подло! Ему вдругъ захотѣлось броситься къ женѣ, упасть передъ нею на колѣни, просить прощенія, вознаградить ее за все. И какъ-то случайно ему вспомнилось, что докторъ сказалъ ему, что ее нужно беречь, что ея здоровый организмъ разъ могъ вынести такія мýки, но за исходъ при повтореніи ихъ нельзя ручаться, а между тѣмъ несчастные роды, случившіеся разъ, очень часто повторяются потомъ. Что же это? Неужели они такъ и должны перестать быть мужемъ и женой? А такъ вотъ почему она такъ сдержанна! Ему казалось, что ему все вдругъ стало ясно. Онъ смутился, онъ упалъ духомъ. Въ его головѣ теперь стучала молотомъ одна мысль, что онъ долженъ потерять свою Липу, что она сама сторонится отъ него. Нѣтъ, не можетъ быть, не можетъ быть, чтобы это было не поправимо. Она поправится. У нея здоровая натура. Ее нужно только теперь поберечь, нужно лелѣять, а тамъ... О, неужели же онъ долженъ ея лишиться, когда она стала еще лучше, чѣмъ была когда-нибудь?

— Липа, ты береги себя, голубка, береги для меня,— сказалъ онъ ласковымъ, дрогнувшимъ голосомъ.

Она подняла лицо, чистое, ясное, улыбающееся.

— Для кого же мнѣ и беречь себя, какъ не для тебя, какъ не для дѣтей?—отвѣтила она просто.

Потомъ она стала разсказывать, что ей стоили роды двухъ дѣвочекъ, какъ ее поразило извѣстіе, что дѣвочки мертвыя, какое впечатлѣніе произвели на нее слова доктора о томъ, что ей нужно быть долго-долго осторожной. Передъ нимъ нарисовалась цѣлая картина страданій, переживаемыхъ только женщинами, требующихъ изумительной выносливости и поразительнаго терпѣнія. Она не пережила бы всего этого, она, конечно, умерла бы отъ всего этого. Но, лежа въ постели, перенося страшныя мученія, она все думала, что же станетъ дѣлать съ дѣтьми онъ, Даня, безъ нея, безъ своей мамы? Она должна превозмочь себя, перенести все, чтобы жить для него. Это ее ободряло, и она все перенесла, все поборола, думая только о немъ, заставляя себя думать только о немъ, когда уже не хватало силъ выносить боли.

— Ты и не зналъ, что, трудясь и работая тамъ, въ Петербургѣ, ты все же былъ здѣсь моимъ ангеломъ-храните-

лемъ, моимъ спасителемъ отъ смерти, — закончила она съ кроткой улыбкой.

Онъ не выдержалъ, бросился къ ней, упалъ головой ей на колѣни и расплакался, какъ школьникъ, потрясенный разсказомъ, мучимый угрызеніями совѣсти.

— Даня, милый, что съ тобой?—говорила она, волнуясь.

— О, я не стою, не стою тебя, чистая, святая моя голубка!—говорилъ онъ, цѣлуя ея платье, ея руки.

Она, ничего не понимая, успокаивала его и ласкала, какъ ребенка...

Въ это же самое время въ Чистополѣ, въ Семинарскомъ переулкѣ, въ домѣ Васильевыхъ получилась скорбная телеграмма: «Отецъ умираетъ. Пріѣзжайте». Встревоженные, пораженные, какъ громомъ, сыновья и дочь Александра Николаевича Баскакова, торопясь и боясь опоздать, собирались въ Петербургъ. Они метались по комнатамъ, укладывали необходимыя для дороги вещи, перекидывались отрывочными словами и повторяли только одну фразу:

— Хоть бы на кончикѣ застать!

Уже совсѣмъ собравшись, одѣвшись, они вспомнили, что, можетъ-быть, надо извѣстить о печальной новости и Муратова. Они наскоро сунули телеграмму служанкѣ, приказали ее отнести къ ихъ двоюродному брату и уѣхали...

Данила Павловичъ только-что проснулся послѣ послѣобѣденнаго сна, когда въ спальню вошла Олимпіада Пахомовна съ телеграммой въ рукахъ.

— Даня, дядя умираетъ!—сказала она.— Получилась телеграмма.

— А, добился!—проговорилъ Данила Павловичъ.—Этого нужно было ожидать. Онъ былъ плохъ, когда я уѣзжалъ.

Олимпіада Пахомовна вздохнула.

— Бѣдный старикъ!..

Потомъ озабоченно она спросила:

— А это не разстроитъ твоихъ дѣлъ?

Онъ удивился.

— Какимъ образомъ?

— Аделаида Александровна можетъ задержаться въ Петербургѣ...

— Да ей-то что? Она въ ссорѣ съ отцомъ! — небрежно отвѣтилъ онъ.

— Ну, пока былъ здоровъ. Нельзя же умирающаго бросить...

— Она, я думаю, даже и не узнаетъ о его смерти...

— Какъ? Дочь и не узнаетъ?

— А если и узнаетъ, то не пріѣдетъ!

Олимпіада Пахомовна съ упрекомъ взглянула на мужа. Ее поразилъ его пренебрежительный, почти враждебный тонъ.

— Зачѣмъ ты такъ дурно думаешь о ней! Она все же дочь, каковъ бы ни былъ отецъ! Передъ смертью все прощается, все забывается!

— Липа, ты судишь людей по себѣ! Она не такая женщина, она ..

Онъ остановился. Ему стало совѣстно, что онъ бранитъ ту, у ногъ которой онъ былъ такъ недавно. Его начинало злить сознаніе, что онъ былъ у ея ногъ.

— Во всякомъ случаѣ, есть же въ ней что-нибудь хорошее, если ее любятъ,—продолжала Олимпіада Пахомовна въ раздумьѣ.—Она, можетъ-быть, легкомысленная женщина, но у нея все же должно быть доброе сердце. Въ ея письмахъ всегда такъ много ласки.

— Не говори о ней, — быстро прервалъ онъ ее. — Ты сама не знаешь, за кого вступаешься...

Она взглянула на него удивленными глазами. За что онъ сердится на Адель? Онъ же съ ней не въ ссорѣ. Онъ ждетъ ее въ Ольховатое.

— Я во всякомъ случаѣ буду стараться найти въ ней хоть что-нибудь хорошее, — сказала она. — Мнѣ было бы грустно встрѣтиться съ нею, считая ее совсѣмъ дурною женщиною. Мы же родныя, она теперь будетъ бывать у насъ, мы будемъ бывать у нея...

— О, лучше бы не пріѣзжала! — сорвалось у него съ языка.

И, поддаваясь какому-то невольному порыву злости противъ Аделаиды Александровны, онъ добавилъ:

— Эта женщина не остановилась бы, если бы ей захотѣлось отбить у кого бы то ни было, даже у тебя, мужа.

Олимпіада Пахомовна усмѣхнулась.

— Что-жъ, она была бы только жалка, если бы влюбилась въ тебя.

Онъ удивился, ничего не понялъ.

— Жалка?

— Ну, да! Я-то лучше, чѣмъ кто-нибудь, понимаю, что въ тебя можно влюбиться. Тутъ нѣтъ ничего удивительнаго. Но развѣ это счастіе для женщины, когда ты уже женатъ, когда у тебя дѣти? Ты можешь, пожалуй, увлечься, подурачиться, но вѣдь ты все же придешь домой. Серьезно та-

кихъ женщинъ любить нельзя, зная, что до тебя у нихъ былъ другой мужчина, что послѣ тебя придетъ третій. Тутъ можно волочиться, заводить интриги, но любить...

Она пожала плечами.

Онъ пытливо посмотрѣлъ на нее. Опять въ его головѣ шевельнулся вопросъ, не знаетъ ли она чего-нибудь про его отношенія къ Аделаидѣ Александровнѣ. Можетъ-быть, хочетъ что-нибудь выпытать?

— Ну, а если бы я увлекся, ты не стала бы ревновать?— спросилъ онъ, не спуская съ нея глазъ.

Она съ удивленіемъ посмотрѣла на него.

— Къ кому? Къ ней? Къ такой женщинѣ? Нѣтъ, Даня, я вѣдь не только люблю тебя, я тебя и уважаю. Наконецъ, я уважаю себя...

И вдругъ, разсмѣявшись, кокетливо взглянувъ на него, она спросила:

— Ей вѣдь сорокъ или за сорокъ? И все это подкрашено, подѣлано?—она провела рукой по лицу.—И вдругъ бы ревновать! О, нѣтъ, я еще не такая дурнушка...

Она, продолжая смѣяться, хотѣла отойти отъ него. Онъ порывисто, весь охваченный обаяніемъ ея свѣжести, молодости, красоты, поднялся, схватилъ ее въ объятія и, покрывая поцѣлуями ея руки, ея лицо, повторялъ:

— Да, да, тебѣ нечего ревновать, красавица, божество мое! О, если бы ты знала, какъ ты хороша, какъ я люблю тебя!.. Вотъ, если бы кто посмѣлъ ухаживать за тобой...

Онъ сжалъ кулаки и закончилъ задыхающимся голосомъ:

— Я положилъ бы того на мѣстѣ!

— Я вѣрю,—отвѣтила она, улыбающаяся, сіяющая, счастливая.

XIII.

Александръ Николаевичъ Баскаковъ угасалъ быстро, хотя доктора говорили, что у него, въ сущности, только крайнее нервное разстройство и полный упадокъ силъ. Стоитъ только успокоить нервы и возстановить силы, и онъ будетъ здоровъ, но именно этого-то—успокоить нервы и возстановить силы—они и не могли сдѣлать, и онъ таялъ, какъ воскъ, «изводился», по выраженію Матрены Кузьминичны.

Несмотря на печальное положеніе своихъ матеріальныхъ дѣлъ, несмотря на быстро увеличивавшуюся слабость, онъ умиралъ, какъ герой, побѣжденный, но не сдающійся, и ораторствовалъ слабымъ, обрывающимся голосомъ безъ

умолка,—ораторствовалъ о своемъ счастіи, о своихъ удачахъ, о своихъ грандіозныхъ планахъ... Странное сочетаніе словъ: «счастливый банкротъ», «счастливый умирающій», но тутъ это сочетаніе словъ было у мѣста. Дѣйствительно, Александръ Николаевичъ чувствовалъ себя счастливымъ. Правда, онъ былъ разоренъ, всѣ его грандіозные замыслы о перестройкѣ Петербурга рушились, но развѣ онъ не разорялся десятки разъ въ жизни? Развѣ одни разрушившіеся планы не смѣнялись у него сейчасъ же другими планами? Эта способность на развалинахъ одного грандіознаго зданія быстро мечтать о созданіи другого, не менѣе грандіознаго зданія, не покинула старика и теперь ни на минуту. Онъ походилъ на полководца, чертящаго на полѣ проиграннаго боя планъ новаго сраженія. Такимъ онъ былъ всегда, такимъ онъ остался и на краю могилы. Онъ говорилъ, что теперь нечего думать о постройкѣ домовъ, такъ какъ всюду чувствуется недостатокъ въ деньгахъ, крахи большихъ торговыхъ фирмъ, несостоятельность наша въ финансовомъ отношеніи, что теперь прежде всего нужно устроить, организовать «кредитъ», а потомъ уже приниматься за другія предпріятія.

— Я слишкомъ вѣрилъ въ состоятельность Россіи,—говорилъ онъ.—Я считалъ ее все еще богатою Россіею, страной золотыхъ пріисковъ, нетронутыхъ подземныхъ богатствъ, крѣпостнической Россіей, въ которой можно было хоть пирамиды строить трудомъ крѣпостныхъ рабовъ. Въ этомъ была моя ошибка. Это страна бумажныхъ денегъ, страна векселей, страна оборотовъ въ кредитъ. Безъ кредита, безъ самаго широкаго и правильно организованнаго кредита мы болѣе не можемъ ступить ни шага. Кредитъ — это рычагъ современныхъ обществъ. Безъ кредита не могъ бы создаться современный грандіозный Парижъ. Прежде всего нужно устроить у насъ правильно дѣятельность банковъ. Банки, банки и банки, вотъ что намъ теперь нужно!

У него тотчасъ же созрѣла въ головѣ цѣлая сѣть этихъ банковъ, и онъ уже провидѣлъ, какія блага ниспадутъ на Россію, когда всѣ эти учрежденія пойдутъ въ ходъ, точно двигаемыя вѣтромъ мельницы. Его неизмѣнные слушатели—Иванъ Дмитріевичъ Хвостовъ и Матрена Кузьминична—проникались благоговѣніемъ, слушая его пламенныя рѣчи. Ивана Дмитріевича даже прошибалъ потъ во время развитія больнымъ грандіозныхъ плановъ, и онъ, когда больной засыпалъ, шепталъ Матренѣ Кузьминичнѣ, отирая большимъ

пестрымъ шелковымъ платкомъ свою вспотѣвшую, точно отполированную, лысину:

— Господи, что за геній, что за человѣкъ!

Матрена Кузьминична только махала рукой.

— Фантазій у него — страсть, только вотъ удачи Богъ не далъ!

— Да, это точно... удачи нѣтъ, удачи нѣтъ... Впрочемъ, нѣтъ, не говорите этого,—задумчиво разсуждалъ Хвостовъ, разводя коротенькими руками. — Вотъ онъ говорилъ мнѣ, что онъ театръ въ Чернолѣсьѣ основалъ...

— Ну, и вылетѣлъ въ трубу, — кончила Матрена Кузьминична.

— Это такъ-съ, это такъ-съ, а театръ все-таки тамъ теперь существуетъ. До Александра Николаевича не было, а теперь существуетъ, гражданъ, такъ сказать, въ храмъ благороднаго искусства привлекаетъ... Это вѣдь цивилизація.

— Что?.. какъ ты это?.. насчетъ чего? — недоумѣвала Матрена Кузьминична.

— Цивилизація, говорю я, это, театръ-то? Вотъ и здѣсь. Самъ, положимъ, онъ ни при чемъ остался, а какую улицу провелъ? Вѣдь не дома, а дворцы, паллацы, такъ сказать, столицѣ подарилъ... Сотня лѣтъ пройдетъ, а они стоять будутъ. Спросятъ: «Кто строилъ?» «Баскаковъ, Александръ Николаевичъ Баскаковъ»...

Матрена Кузьминична вздыхала.

— Что говорить, для прохвостовъ много сдѣлалъ.

Хвостовъ, нѣсколько озадаченный, переспрашивалъ:

— То-есть въ какомъ это смыслѣ?

— Да въ такомъ, что съ него лѣнивый только не бралъ!

— Да-съ, это такъ! Ангелъ человѣкъ! Ангелъ и геній!

Собесѣдники умолкли, погруженные въ думы объ ангелѣ и геніи, о его проектахъ и ихъ результатахъ, о сдѣланномъ имъ для себя и для прохвостовъ, и при малѣйшемъ движеніи больного суетливо вскакивали, чтобы услужить ему чѣмъ-нибудь, чтобы предупредить малѣйшее его желаніе.

— Спасибо вамъ, я умираю счастливымъ, любимый всѣми, окруженный заботами ближнихъ,—торжественно говорилъ больной.—Я самъ любилъ ближнихъ, Россію, человѣчество. Я вѣчно работалъ для нихъ, жертвуя всѣмъ, личнымъ спокойствіемъ, своимъ благосостояніемъ, своимъ счастіемъ. Я никогда не былъ эгоистомъ и только тотъ, кто не былъ эгоистомъ, можетъ умереть съ спокойной совѣстью, окруженный любовью ближнихъ.

И опять шли длинныя рѣчи о томъ, какъ любилъ человѣчество онъ, Александръ Николаевичъ Баскаковъ, и какъ счастливъ онъ тѣмъ, что, умирая, онъ окруженъ любящими людьми. Дѣйствительно, около его постели сошлась цѣлая группа любящихъ людей. Не только Матрена Кузьминична, Иванъ Дмитріевичъ Хвостовъ, Вѣра и Оля Хвостовы, сыновья и дочь самого Баскакова ходили за нимъ, но даже вѣчно лѣнивая, вѣчно не снимавшая своего капота — «холодая», Ольга Даниловна просиживала цѣлые дни и ночи около больного: разъ попавъ сюда, чтобы не варить дома кофе и не возиться съ обѣдомъ, она просиживала здѣсь цѣлые часы, такъ какъ ей было лѣнь подняться съ мѣста и идти домой. Она даже нашла, что здѣсь ей гораздо покойнѣе, чѣмъ дома, сидѣть безъ дѣла, потягиваясь и позѣвывая въ мягкомъ креслѣ подъ немолчный говоръ больного.

Смотря на окружающихъ его людей, Александръ Николаевичъ говорилъ:

— Вотъ, вырастилъ сыновей, далъ имъ американское образованіе, вполнѣ свободныхъ гражданъ воспиталъ. Они еще покажутъ себя... Нашелъ имъ невѣстъ, простыхъ, кроткихъ, безъ претензій... Да благословитъ ихъ Богъ!

Дѣвушки потупили глаза, краснѣя и конфузясь; юноши смотрѣли на нихъ прямо и открыто. Александръ шепталъ Николаю:

— Что это говоритъ отецъ?

— Что-жъ, можетъ-быть, и поженимся когда-нибудь, — отвѣчалъ Николай.

Матрена Кузьминична вздыхала, качая головой.

— Бредитъ,—говорила она тоскливо.

— Это провидѣніе!—отзывался Хвостовъ многозначительно, поднимая вверхъ указательный палецъ.

Онъ въ своемъ благоговѣніи передъ Баскаковымъ дошелъ до того, что считалъ его уже прозорливцемъ, способнымъ читать въ будущемъ, какъ въ открытой книгѣ.

— Что-жъ, дай Богъ,—отзывалась Матрена Кузьминична, уже успѣвшая приголубить Олю и Вѣру Хвостовыхъ.

— Что кому на роду написано, то и будетъ,—замѣчала Ольга Даниловна, лѣниво позѣвывая.

Больной, забывшійся на минуту, открылъ глаза:

— А, молодые здѣсь, новобрачные! Поздравляю! Слава Богу, что все успѣлъ устроить! У меня всегда все было въ порядкѣ... Поженилъ дѣтей, теперь спокоенъ! Берегите мать, берегите ихъ!

Онъ указывалъ глазами на Ивана Дмитріевича и Ольгу Даниловну.

Для него окончательно уже перестали существовать дѣйствительные факты, на которые онъ, впрочемъ, и прежде обращалъ не особенно много вниманія и съ которыми во всякомъ случаѣ мало церемонился. Необузданно пылкія фантазіи перешли незамѣтно въ бредъ, въ галлюцинаціи, въ умопомѣшательство. Гра ньмежду правдой и ложью, здравымъ смысломъ и сумасшествіемъ исчезла окончательно.

Разъ онъ очнулся послѣ долгаго забытья и тусклыми глазами обвелъ присутствующихъ:

— Предложили: будь патріархомъ!.. Избраніе!.. Я принялъ... Большая паства?.. Что-жъ, я привыкъ... Не въ первый разъ!.. Вмѣсто синода...

Онъ на минуту тяжело перевелъ духъ, точно изнемогая отъ усталости, и забормоталъ скороговоркой:

— Всѣ ли ученики собрались! Всѣ! Хорошо! Много народа, много! Благословляю!..

Онъ поднялъ руку, сдѣлалъ какой-то знакъ въ воздухѣ, хотѣлъ подняться на постели, но не могъ, рука безсильно упала на постель...

— Любите... за правду...

Онъ хотѣлъ сказать что-то еще, открылъ ротъ, точно желая глотнуть, набрать воздуха, поднялъ конвульсивнымъ движеніемъ высоко-высоко грудь и вдругъ, разомъ, грузно, глубоко опустился весь въ постель, такъ что голова, лежавшая на подушкахъ, уперлась подбородкомъ въ грудь.

Онъ былъ мертвъ...

XIV.

Минуя Чистополье, Аделаида Александровна проѣхала прямо въ Ольховатое въ сопровожденіи горничной, лакея, повара. Въ старомъ помѣщичьемъ домѣ еще было нѣсколько слугъ, служившихъ у покойнаго Платона Николаевича Баскакова и потомъ у семьи Александра Николаевича. И эти слуги, постарѣвшіе и посѣдѣвшіе, и этотъ домъ, тоже значительно одряхлѣвшій, и густой паркъ, теперь уже давно спустившій листву, все напомнило ей былое. Она никакъ не думала, что эти мѣста, гдѣ протекло ея дѣтство, гдѣ прошла ея юность, пробудятъ въ ней столько воспоминаній. Сколько тутъ было пережито, перечувствовано, передумано во дни дѣвичества, когда она, свернувшись гдѣ-нибудь на кушеткѣ, какъ котенокъ, пригрѣвшись на солнцѣ, мечтала

о блестящемъ будущемъ, о счастливомъ будущемъ. Теперь это будущее стало дѣйствительностью; она, эта дѣйствительность, была блестяща, но былъ ли этотъ блескъ счастіемъ? Что-жъ, развѣ Муратова мало любила и мало была любима? Ей живо вспомнился образъ одного юноши-красавца, его клятвы, его ласки... и онъ оскорбилъ ее, бросилъ для какой-то дѣвчонки изъ подвала, облагодѣтельствованной ею! Онъ ли былъ виноватъ передъ нею, она ли была виновата передъ нимъ? По ея лицу скользнула горькая улыбка; ей вспомнилось, съ какимъ презрѣніемъ глядѣлъ на нее юноша, узнавъ, что она продаетъ себя за деньги старику-жиду... Потомъ передъ нею прошли другія лица, вспомнились другіе ласки, обѣты, увѣренія... и, въ концѣ концовъ, тѣ же измѣны даже безъ стремленія смягчить горечь разрыва. Стоитъ ли оправдываться передъ продажной женщиной, передъ кокоткой!.. Тутъ не было даже любви, тутъ не было даже разрывовъ—это были просто «шалости», «минуты увлеченія», «случайныя паденія», все это вызывало теперь или краску стыда, или чувство отвращенія... Но вотъ передъ нею стоитъ послѣдній ея поклонникъ—Данила Павловичъ. Когда-то ей стоило захотѣть и онъ былъ бы ея мужемъ, онъ былъ бы вѣчно у ея ногъ. Тогда она не захотѣла, тогда она оттолкнула его, вонъ тамъ, въ этомъ самомъ саду, смотрящемъ къ ней въ окна своими мрачными голыми вѣтвями, точно желающими узнать, насколько она измѣнилась за эти годы, что пережила.

Ее охватывалъ какой-то страхъ въ этомъ пустынномъ домѣ; ей казалось въ немъ слишкомъ холодно, слишкомъ темно, слишкомъ пусто. Она позвонила горничную, приказала затопить печь, зажечь еще свѣчи.

— Да задерните у оконъ занавѣси,—сказала она.

Тяжелыя штофныя занавѣси, не спускавшіяся давно, медленно распустились съ какимъ-то тихимъ шуршаньемъ, похожимъ на подавленный ропотъ, и запахнули окна.

Аделаида Александровна присѣла къ огню, приказавъ готовить чай и постель. Она отыскала какую-то книгу, развернула ее—это былъ романъ «Paul et Virginie», старинная сентиментальная книга, которую ее заставляли читать въ дѣтствѣ. Она усмѣхнулась. Развѣ это жизнь? развѣ это любовь? Неужели люди вѣрили когда-нибудь подобнымъ глупостямъ, какъ эти приключенія наивныхъ дурачковъ? И опять ей вспомнилось, какъ сжималъ ее когда-то въ своихъ объятіяхъ Данила Павловичъ въ этомъ домѣ, въ этомъ

саду. Это было такъ давно. А теперь? Ей вдругъ захотѣлось вѣрить, что онъ ее еще любитъ, что онъ не уйдетъ отъ нея, покуда она сама не оттолкнетъ его, что онъ броситъ для нея и жену, и дѣтей. Она не потребуетъ этой жертвы, она это сознавала; онъ, въ концѣ концовъ, станетъ ей не нуженъ, скоро даже станетъ не нуженъ, она сознавала и это; ей теперь вообще все скоро надоѣдаетъ, пріѣдается; но ей хотѣлось увѣрить себя, что онъ не уйдетъ отъ нея самъ, что онъ уйдетъ только тогда, когда она скажетъ ему: «все кончено!» Еще бы! не можетъ же онъ предпочесть ей свою жену, какую-то «мужичку». Какова она? Вѣроятно, расплывшееся, глуповатое, мало развитое созданье. Да, онъ самъ проговорился, что его Липа «толстовата»,—проговорился, въ ту минуту, когда мужчины готовы выболтать все, отречься отъ всего. Толстовата? Должно-быть, нѣчто краснощекое, жирное, неповоротливое. Впрочемъ, кто ее знаетъ! Знаетъ ли она, что онъ безумно влюбленъ въ нее, въ Аделаиду Александровну? Если знаетъ,—она плачетъ отъ ревности, страдаетъ, надоѣдаетъ мужу. Бѣдняжка, она можетъ успокоиться. Аделаида Александровна не станетъ отнимать у нея навсегда мужа. На что онъ ей навсегда? Вообще на что онъ ей? Она впала въ глубокое раздумье. На что онъ ей и на что ей всѣ другіе? Какъ это пріѣлось: однѣ и тѣ же клятвы, однѣ и тѣ же ласки, однѣ и тѣ же измѣны. Минутное возбужденіе нервъ, волненье увлеченія и почти тутъ же въ ту же минуту вопросъ: «Надолго ли?..»

Она заснула поздно, заснула тревожнымъ сномъ. По-утру ей доложили, что пріѣхалъ Данила Павловичъ. Она просила подождать и вышла къ нему, уже совсѣмъ одѣтая, вся въ черномъ. Она встрѣтила его дружески, пожала ему руку, проговоривъ:

— Ты видишь, я сдержала свое слово!

Онъ поцѣловалъ ея руку молча.

— А это мнѣ было не легко,—сказала она со вздохомъ.— Этотъ домъ, нѣсколько старыхъ слугъ, нашъ садъ, все воскресило прошлое...

Она опять вздохнула:

— Невозвратные годы! Помнишь, какъ мы бѣгали и рѣзвились здѣсь, какъ ты объяснялся мнѣ въ любви?

— Да, да, все прошло, — въ замѣшательствѣ отвѣтилъ онъ и поспѣшилъ прибавить: — А я заѣхалъ взглянуть на тебя и спросить твоихъ приказаній: хочешь ли ты заѣхать

къ намъ познакомиться съ моею семьею или прикажешь привезти жену къ тебѣ?

— Зачѣмъ же? Я поѣду къ тебѣ...

Ей казалось загадочнымъ его смущеніе, его неловкость. Не боится ли онъ своей Липы? Не это ли заставляетъ его быть сдержаннымъ? Или и онъ тоже... Она усмѣхнулась. О, ей стоитъ захотѣть, и онъ будетъ опять у ея ногъ. Вѣдь если бы она захотѣла, онъ и изъ Петербурга не уѣхалъ бы еще нѣсколько дней. Она сама заставила его ѣхать. Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть, чтобы она уже успѣла ему «надоѣсть». Она опять усмѣхнулась съ горечью, точно это мысленно произнесенное слово кольнуло ее, задѣло за живое.

Они поѣхали въ Чистополье, молчаливые, разсѣянные.

— Вотъ и мой домъ,—сказалъ, наконецъ, Данила Павловичъ.

— О, его и не узнать! Прежде, при тетѣ, онъ былъ мрачнымъ. Теперь это игрушка.

— Я свилъ это гнѣздышко для...

Онъ оборвалъ рѣчь, точно стыдясь сказать, что онъ свилъ это гнѣздышко для своей Липы.

Они остановились у подъѣзда, поднялись по лѣстницѣ. Изъ столовой къ нимъ вышла молодая, стройная, граціозная женщина съ нѣсколько блѣднымъ, но прекраснымъ лицомъ, съ спокойной привѣтливой улыбкой.

— Адель! Липа!—проговорилъ Данила Павловичъ.

Онъ чувствовалъ, что его сердце сильно бьется. Малѣйшая неловкость могла выдать его тайну. Онъ боялся, что Липа узнаетъ о его связи съ Аделаидой Александровной. Онъ въ то же время боялся, самъ не зная почему, что Аделаида Александровна пойметъ, что онъ больше не принадлежитъ ей, что онъ теперь безъ ума отъ своей Липы, за которой онъ ухаживаетъ, какъ женихъ за невѣстой. Впервые онъ чувствовалъ себя въ подобномъ положеніи. Женщины дружески протянули другъ другу руки,—Олимпіада Пахомовна, почти не всматриваясь въ Аделаиду Александровну, — Аделаида Александровна, впившись глазами въ Олимпіаду Пахомовну.

— Я васъ совсѣмъ другой представляла себѣ! — не выдержала Аделаида Александровна и съ нескрываемой досадой прибавила:—Даня плохо умѣетъ описывать физіономіи... Вы совсѣмъ не похожи на женщину, вы скорѣе дѣвушку напоминаете.

Олимпіада Пахомовна улыбнулась.

— Дѣвушка, у которой было уже столько дѣтей! Я похудѣла, поблѣднѣла послѣ послѣдняго несчастія, потери двухъ дѣтей,—вотъ и все.

И тотчасъ же прибавила:

— Впрочемъ, живя здѣсь и состариться трудно, годы проходятъ незамѣтно, тихо... вотъ какъ про «Спящую царевну» разсказывается... Гдѣ же тутъ постарѣть!.. Вотъ у меня въ монастырѣ есть тетка, шестидесяти лѣтъ старушка, а до сихъ поръ розовыя щеки, какъ у молодой дѣвушки...

Она пригласила Аделаиду Александровну къ столу, не торопясь, не волнуясь. На лицо Аделаиды Александровны легла какая-то тѣнь.

— А ваши дѣти?—спросила она, входя въ столовую.

— Они въ дѣтской,—отвѣтила хозяйка.—Мы не сажаемъ ихъ съ собой, чтобы не соблазнять разными вредными для нихъ блюдами... И потомъ мы не всегда въ одинъ часъ обѣдаемъ... Даня такъ занятъ...

— Вы мнѣ ихъ покажете? — спросила Аделаида Александровна.

— О, да!

Хозяйка пошла за дѣтьми своей легкой, дѣвической поступью.

— Да пойдемъ сами въ дѣтскую,—предложилъ поспѣшно Данила Павловичъ Аделаидѣ Александровнѣ, точно боясь остаться съ нею съ глазу на глазъ. Казалось, онъ хотѣлъ быть подъ охраной жены, какъ иногда дѣти ради безопасности держатся при чужихъ за юбку матери.

Они прошли въ дѣтскую, просторную, свѣтлую, изящную. Гостья приласкала дѣтей, невольно залюбовавшись ихъ здоровыми, прелестными личиками. Отъ ихъ помѣщенія, отъ нихъ самихъ вѣяло свѣжестью, чѣмъ-то здоровымъ. Заботливая рука любящей и знающей цѣну здоровья матери была видна во всемъ.

— Право, вамъ можно позавидовать!—сказала Аделаида Александровна Олимпіадѣ Пахомовнѣ, возвращаясь въ столовую.—У васъ такое счастье, что я бы боялась за него.

Олимпіада Пахомовна, начавшая разливать супъ, обратила на нее удивленные глаза, не понимая смысла ея словъ.

— Бояться? Чего?

— Да говорятъ, что постояннаго счастья нѣтъ и что когда оно является, то человѣкъ начинаетъ бояться за него.

— Я не боюсь за него... я только, конечно, стараюсь беречь его, — отвѣтила Олимпіада Пахомовна, принимаясь

опять за разливанье супа. — А у васъ никогда не было дѣтей?

— Къ сожалѣнію, нѣтъ.

— Это большое горе! Я не знаю, какъ бы я молилась, если бы у меня не было дѣтей!..

Аделаида Александровна разсмѣялась. Въ этомъ смѣхѣ слышались и насмѣшка, и горечь.

— Ну, отъ молитвъ дѣти не являются...

Олимпіада Пахомовна, не обижаясь, не смущаясь отъ этого ироническаго замѣчанія, просто отвѣтила:

— Я вообще вѣрю въ силу молитвы! Это большое утѣшеніе.

Аделаида Александровна начинала раздражаться. Ее сердило и то, что Олимпіада Пахомовна смотритъ «дѣвочкой», и то, что она «напускаетъ на себя безмятежное спокойствіе», и то, что она «играетъ роль какой-то чистой голубки». Въ ея головѣ мелькала мысль: «но знаешь ли ты, что мнѣ стоитъ сказать слово и все твое счастье разлетится въ прахъ?..» Она круто оборвала разговоръ съ хозяйкой дома и начала толковать съ Данилой Павловичемъ о дѣлахъ.

Тотчасъ же послѣ обѣда она собралась ѣхать. Муратовъ хотѣлъ ее проводить, но она отказалась. Онъ не очень настаивалъ, радуясь въ душѣ возможности не быть съ нею съ глазу на глазъ. Онъ сознавалъ, что между нимъ и Аделаидой Александровной все порвалось; она уже не привлекала его ничѣмъ. И какъ онъ могъ увлечься ею? Она почти старуха въ сравненіи съ его женою!..

Но долго думать о своихъ отношеніяхъ къ Аделаидѣ Александровнѣ, о своей винѣ передъ женою было некогда. Дѣловыя заботы были теперь на первомъ планѣ. Въ городъ наѣхали уже инженеры, представители желѣзнодорожной компаніи, губернскія власти. Начались завтраки и обѣды, игра въ карты и среди всего этого дѣловыя сдѣлки. Чистополье приняло праздничный видъ, народъ началъ массами валить къ станціи желѣзной дороги, разукрасившейся флагами, принарядившейся, какъ невѣста къ вѣнцу. Пробные поѣзда, осмотръ пути, провѣрка всего сдѣланнаго, все это чередовалось съ обильными угощеніями, веселъемъ и музыкой. Во время пробнаго поѣзда, не доѣзжая немного до проклятаго Калистинскаго моста, до этого больного мѣста дороги, была остановка, тутъ было рукой подать до Ольховатаго, тутъ стояли экипажи, присланные оттуда.

Было какъ разъ время для завтрака, а каковы завтраки въ Ольховатомъ — это уже всѣ знали по опыту. Поѣхали позавтракать, потомъ поѣхали дальше, благополучно, безъ сучка, безъ задоринки, любуясь всѣмъ, одобряя все. Но почему-то одному изъ главныхъ наблюдателей казалось все, что на дорогѣ было два Калистинскихъ моста, а другой спеціалистъ желѣзнодорожнаго дѣла, напротивъ того, допытывался, когда же будетъ мостъ, знаете, этотъ мостъ на болотѣ... Вообще многое и у многихъ двоилось въ глазахъ, тогда какъ у другихъ стоялъ передъ глазами только туманъ, застилавшій собою все. Нѣкоторые изъ спеціалистовъ оказались, впрочемъ, до мелочности придирчивыми, все раскапывающими, все пробующими чуть не на языкъ, чуть не зубами—и чугунъ, и насыпи, и шпалы. Эти разслѣдовали все до поту лица, вездѣ искали заплатъ и прорѣхъ, не нашли ничего и оказались самыми довольными всѣмъ и всѣми.

Въ тотъ же день, когда былъ назначенъ парадный обѣдъ для всѣхъ участвовавшихъ въ постройкѣ желѣзной дороги, для инженеровъ, для властей, для рабочихъ, желѣзнодорожная станція буквально захлебнулась народной массой. Теперь это мѣсто было неузнаваемо: ни грязи, ни лохмотьевъ, ни мусору не было и слѣдовъ. Почва была засыпана обильно желтымъ пескомъ, мусоръ исчезъ въ какихъ-то ямахъ, въ какихъ-то недосягаемыхъ темныхъ углахъ, рабочіе были уже не въ рваной одеждѣ, а въ яркихъ новыхъ рубашкахъ, въ новыхъ штанахъ, въ новыхъ сапогахъ, всклоченные волосы смазались масломъ и блестѣли, въ залахъ станціи тянулись столы съ ослѣпительными бѣлыми скатертями, съ блестящей сервировкой, съ группами цвѣтовъ. Обѣдъ былъ приготовленъ на славу и, начавшись стройнымъ молебствіемъ, стройнымъ пѣніемъ пѣвчихъ, возглашеніемъ многолѣтій, онъ послѣ многихъ цвѣтистыхъ рѣчей, послѣ многихъ тостовъ за всѣхъ, за кого можно было пить, кончался потрясающими криками: «ура!» Съ одной стороны такъ и сыпались обѣщанія тысячъ рублей на какія-то общеполезныя учрежденія, на школы, на пріюты; съ другой только и слышались обѣщанія и увѣренія, что правительство не оставитъ безъ вниманія великихъ заслугъ, можно сказать, жертвъ. И все, и обѣщанія пожертвовать, и обѣщанія наградить, опять покрывалось громогласными, раскатистыми «ура!» Въ воздухѣ уже начинало темнѣть, а въ залѣ и на улицѣ все еще стоялъ стонъ торже-

ственныхъ криковъ разгулявшейся толпы, все еще за кого-то пили, все еще кого-то качали, подбрасывая вверхъ. И Гущинъ, и Данила Павловичъ, и какой-то инженеръ, и кто-то, кому вовсе этого не слѣдовало по чину, побывали на рукахъ рабочихъ, взлетая на воздухъ при оглушительныхъ крикахъ тысячи голосовъ. Казалось, всѣ были довольны всѣми, забывъ всякія невзгоды и обиды недавняго прошлаго. Ликовали даже и тѣ, у кого для ликованія вовсе не было видимой причины. Какіе-то уличные мальчишки, какъ дикари, кувыркались на пескѣ и потрясали руками въ воздухѣ, подбрасывая вверхъ шапки. Наконецъ, усталые и измученные, сильно пошатывавшіеся, главные герои праздника собрались ѣхать въ домъ Данилы Павловича, гдѣ предполагалось закончить вечеръ въ самомъ тѣсномъ кружкѣ. Не безъ труда удалось этимъ людямъ попасть въ свои экипажи и не только потому, что имъ отказывались служить ноги, а и потому что захмелѣвшая толпа все еще хотѣла кого-нибудь качать, кому-нибудь кричать «ура». Наконецъ, экипажи тронулись при крикахъ народа и, сопровождаемые уличными ребятишками, покатились по направленію къ дому Данилы Павловича.

Этотъ домъ былъ тоже неузнаваемъ въ этотъ день, какъ и станція. Всѣ комнаты были теперь приспособлены такъ, чтобы въ нихъ могли пировать гости: изъ спальни Муратовыхъ была удалена кровать, рабочій кабинетъ Данилы Павловича былъ расчищенъ, дѣтской не было и слѣдовъ, такъ какъ дѣти были переведены съ нянькой на пару дней въ домъ Гущина. Данила Павловичъ предвидѣлъ, что ему не отдѣлаться отъ пьяной компаніи, что ее придется принять у себя дома въ торжественный день общаго веселья. Пріѣхало кончать гульбу въ домъ Данилы Павловича только человѣкъ двѣнадцать мужчинъ; изъ женщинъ не было никого, кромѣ хозяйки дома и Аделаиды Александровны. Здѣсь тотчасъ же подали гостямъ чай, раскрыли пару столовъ для игры въ карты, предложили шампанскаго со льдомъ и фруктами. Ѣсть уже никто не могъ, пить еще могли.

Данила Павловичъ, носившійся точно на крыльяхъ, вполнѣ трезвый, несмотря на выпитое имъ значительное количество вина, являлся то тутъ, то тамъ, угощалъ, смѣялся, игралъ роль привѣтливаго и умѣлаго хозяина, желая въ душѣ только одного, чтобы все скорѣе кончилось, чтобы гости провалились въ «тартарары». Въ то же время

онъ улучилъ минуту, чтобы поймать жену гдѣ-то въ укромномъ уголкѣ и шепнуть ей:

— Ты, Липа, можешь улетучиться къ отцу и дѣтямъ... Эти скоты будутъ трескать теперь до зари.

— Но какъ же безъ меня, безъ хозяйки!

— Э, пустяки!.. На что ты имъ? У нихъ есть юбка одна и довольно!

— Развѣ Аделаида Александровна останется здѣсь?

— Еще бы, она къ попойкамъ привыкла! Да около нея къ тому же теперь такъ лебезятъ три инженера, что ее и не выпустятъ...

Онъ заслышалъ громкій крикъ и смѣхъ.

— Точно въ кабакѣ горланятъ! Эхъ, скорѣй бы раздѣлаться съ этой сволочью! Тебя-то, я думаю, измучили, ты у меня еще слабенькая! Тебѣ покой нуженъ...

— Мнѣ? — съ улыбкой проговорила Олимпіада Пахомовна.—Я, Даня, совсѣмъ, совсѣмъ здорова...

Она какъ-то особенно нѣжно заглянула ему въ лицо. У него кровь прилила къ головѣ. Онъ сжалъ ея руки.

— А ты, Даня, здѣсь до конца останешься? — спросила она шопотомъ. — Пусть ихъ кутятъ, пріѣзжай къ папѣ, отдохнешь!..

— А и въ самомъ дѣлѣ улизну... Подпою ихъ всѣхъ и улизну...

Онъ засмѣялся и страстно обнялъ жену.

— Мы точно молодые любовники свиданье назначаемъ,— шепнулъ онъ ей.

Она улыбнулась.

— А развѣ мы старые?.. Недаромъ же меня назвала дѣвочкою Аделаида Александровна.

— Да ты и есть дѣвочка, моя дѣвочка!

Изъ другихъ комнатъ опять донесся взрывъ смѣха и криковъ. Данила Павловичъ нахмурился.

— Уѣзжай, тебѣ не мѣсто въ этомъ кабакѣ!..

XV.

У желѣзнодорожной станціи шли тоже разгулъ, шумъ и пьяные крики; раздавались звуки гармоникъ и балалаекъ; слышались топотъ пляски и присвистыванья. Въ полутьмѣ, озаренной серебристымъ свѣтомъ луны, мелькали какія-то пляшущія тѣни, шатались изъ стороны въ сторону чьи-то обнявшіяся фигуры, чернѣлись какіе-то человѣческіе образы, плотно приткнувшіеся къ выбѣленнымъ стѣнамъ станціон-

наго зданія; вездѣ виднѣлись группы бесѣдующихъ между собою рабочихъ.

Передъ одной изъ такихъ группъ чей-то старческій, дребезжащій, похожій на бабій голосъ выкрикивалъ:

Куманекъ, куманекъ,
Побывай у меня,
Ахъ, бывай, бывай у меня...

И, путая слова, сбиваясь съ такту, притоптывая ногами и топчась на одномъ мѣстѣ, пѣвецъ продолжалъ:

Я бы радъ побывать у тебя,
У тебя, кума, улица грязна...

— Да полно ты, лѣшій старый! — крикнулъ кто-то изъ группы.—Ни пѣть, ни плясать не умѣешь!

— Я старенькій, я старенькій, потому и не умѣю... Прежде все умѣлъ... А весело мнѣ, весело,—отвѣтилъ плясунъ и, тяжело отдуваясь впалой грудью, присѣлъ на ступени крыльца, гдѣ сидѣла группа рабочихъ.

— Это я отъ полноты душевной...

Сидѣвшіе рабочіе заговорили ему въ отвѣтъ:

— Старъ! Нѣтъ, уши-то, да языкъ у тебя моложе молодыхъ. Подслушать да перенести — это твое дѣло. Горазъ на это!

— Я старичокъ бѣдный, меня можетъ каждый обидѣть,— жалостнымъ тономъ отвѣтилъ старикъ. — У меня внучатки маленькіе на рукахъ, кормить ихъ, поить ихъ надо...

— Ну, запѣлъ Лазаря!

— Вы бы съ мое пожили, съ мое потерпѣли, такъ и не такъ бы запѣли-то, — отозвался старикъ съ укоризной. — Печкой меня только не били, а объ печку колачивали... Да!.. Жена изъ дому выгнала; сынъ обобралъ, а теперь внучатокъ кормлю... а я старенькій!

— Да корми ты, кого хочешь, а не наушничай! Теперь, чай, при станціи шпіономъ приставятъ? Это ужъ безпримѣнно. У насъ безъ этого нельзя. Языкъ да уши нужны.

— Что-жъ, не по-міру же мнѣ ходить! А насчетъ шпіонства, такъ никакого шпіонства отъ меня никто не видалъ.

Послышались запальчивые голоса:

— А Тимошку Шестипалаго кто выдалъ? Не ты, скажешь? Никого я не выдавалъ!

— Я?.. Я?.. Ни въ жисть!..

— Чего ты прикидываешься? Самъ въ кабакѣ хвасталъ! Нѣшто мы глухи были?

Старикъ, оправдываясь, опять заговорилъ жалостнымъ тономъ:

— Братцы, братцы, чѣмъ же я-то виноватъ? Тимошка баломутъ былъ, какихъ бы дѣловъ онъ надѣлалъ... Страсть! Головъ не сносили бы!.. Я старичокъ, мнѣ не подъ лѣта по острогамъ сидѣть... по этапу ходить... у меня внучоночки маленькіе... Страха во мнѣ много, потому всего я натерпѣлся... и холода, и голода, и битья... Охъ, косточки всѣ перебиты у меня... къ погодѣ-то всего крючитъ... Мнѣ на печи бы грѣться, а не по этапу ходить...

Потомъ, наведенный словомъ этапъ на какія-то воспоминанія, онъ вдругъ захихикалъ пьянымъ смѣхомъ:

— Онъ молодой, ноги здоровыя, можетъ прогуляться...

Во время этого разговора гдѣ-то въ сторонѣ начались болѣе усиленные крики и говоръ. Въ темнотѣ было видно, что тамъ собралась цѣлая группа рабочихъ, говорившихъ наперебой. Эта группа постепенно приближалась къ крыльцу станціи. Сидѣвшіе здѣсь рабочіе поднялись съ мѣста, любопытствуя узнать, что случилось. Подойдя къ горланившей группѣ, они увидали молодого парня въ оборванной одеждѣ. Они сразу узнали его.

— А, легокъ на поминѣ! Здорово, Тимоха! Какой вѣтеръ занесъ? Какъ живешь?—раздались голоса.

Тимоѳей Шестипаловъ здоровался съ пріятелями. Онъ исхудалъ, по одеждѣ походилъ на нищаго, но лицо его попрежнему было оживленно, глаза горѣли. Это былъ все тотъ же баломутъ, подстрекатель, народный вожакъ и ораторъ.

— На пиръ пришелъ! Проздравить Данилу Павловича хочу! Гостинцевъ ему принесъ! Заподздалъ маленько, а ужъ какъ торопился! Вѣдь яичко дорого ко Христову дню!—отвѣчалъ возбужденно Тимоѳей Шестипалый.

Въ эту минуту его разсмотрѣлъ и старикъ-плясунъ. Онъ смущенно, испуганно покачалъ головой и совершенно безсознательно проговорилъ:

— А архангелецъ!

Тимоѳей вдругъ рванулся къ нему, какъ ужаленный, съ горящими глазами, съ исказившимся лицомъ.

— Что ты сказалъ? Что? Архангелецъ? Почему архангелецъ?—крикнулъ онъ, задыхаясь и тряся за шиворотъ старика.—Говори, старая бестія!

— Братцы, что же это!—взмолился старикъ.

Въ толпѣ раздались голоса:

— А, блудливъ, какъ кошка, трусливъ, какъ заяцъ!

— Небось теперь душа въ пятки ушла.

— Это онъ подучилъ тебя въ Архангельскъ послать!

— Хвасталъ! Въ кабакѣ еще намедни бахвалился.

Всѣ эти возгласы покрылъ одинъ неистовый, грянувшій, подобно грому, крикъ:

— Такъ получай же!

Что-то сверкнуло при лунномъ свѣтѣ въ воздухѣ. Послышался протяжный вопль:

— О-ой... зарубилъ!..

Толпа разомъ инстинктивно отпрянула, и Семенъ Нефедовъ рухнулъ на землю. Тимоѳей Шестипалый, тяжело дыша, съ опущеннымъ топоромъ въ рукѣ, стоялъ, не двигаясь съ мѣста, угрюмо, мрачно, безмолвно. Онъ казался при лунномъ свѣтѣ блѣднымъ, какъ мертвецъ. Наконецъ, онъ опомнился, тряхнулъ головой и проговорилъ отрывисто, сквозь зубы:

— Подвернулся... Не тебѣ несъ гостинецъ... Даниле Павловичу...

И, обернувшись къ товарищамъ, бросивъ на землю топоръ, съ тяжелымъ вздохомъ, упавшимъ голосомъ добавилъ:

— Вяжите, православные!..

Толпа очнулась, заволновалась, послышался говоръ сбивчивый, отрывистый:

— Пойдемъ, братцы, отъ грѣха!.. Чаго вязать? не уйдешь!.. Ну, ихъ!..

И группа начала быстро и значительно рѣдѣть.

— Что-жъ, не хотите... самъ заявлюсь въ полицію,— сказалъ тоскливо Тимоѳей Шестипалый и, никѣмъ не задерживаемый, побрелъ впередъ...

Въ это время въ одной изъ комнатъ, въ домѣ Гущина, едва озаренной свѣтомъ лампады и свѣтомъ луны, заглядывавшей въ окна черезъ спущенныя тюлевыя занавѣси, слышался тихій шопотъ двухъ голосовъ. Это былъ шопотъ любви, ласкъ, страсти. Данила Павловичъ не могъ дождаться окончанія игры у себя въ домѣ и ускользнулъ на свиданіе съ женою, какъ нетерпѣливый любовникъ. Онъ зналъ, что гости его настолько пьяны, что не хватятся его скоро. Онъ вырвался изъ ихъ компаніи, чтобы побыть хоть часокъ со своей Липой. Возбужденный виномъ, волненіями дня, лаской жены, онъ теперь не могъ думать ни о чемъ, кромѣ своей Липы. Для него не существовало ничего въ мірѣ, кромѣ этой женщины, беззавѣтно, всецѣло принадлежавшей ему. Минуты бѣжали за минутами, а онъ и не думалъ отры-

ваться отъ нея, чтобы вернуться въ свой домъ. Наконецъ, его заставилъ очнуться стукъ въ двери. Служанка Гущина звала Данилу Павловича.

— Что тамъ?—очнулся онъ отъ сладкаго забытья.

— Васъ требуютъ,—послышался отвѣтъ.

— Кто?

Не дожидаясь отвѣта, онъ быстро оправился и пошелъ къ двери.

— На станціи что-то случилось. Убійство!—тихо сказала служанка.

— Перепились! — отрывисто проговорилъ онъ. — Что же мнѣ-то?..

— Тутъ изъ полиціи пришли...

Онъ торопливо вышелъ, переговорилъ съ полицейскимъ и вернулся опять къ своей Липѣ.

— Что случилось!

— Ничего, кого-то ранили или убили... Извѣстно, натрескаются и раздерутся... Завтра узнаю...

И вдругъ, что-то сообразивъ, онъ со смѣхомъ прибавилъ:

— Хоть предлогъ есть остаться, скажу завтра гостямъ, что потребовали по этому дѣлу и продержали почти всю ночь... Это сама судьба устроила, чтобы я не отрывался отъ тебя... никогда, никогда!

Онъ прижалъ къ своей груди головку жены и прильнулъ къ ней губами...

XVI.

Часовъ въ одиннадцать утра Данила Павловичъ уѣхалъ въ полицейское управленіе, а Олимпіада Пахомовна съ старшимъ мальчуганомъ отправилась пѣшкомъ въ свой домъ, приказавъ нянькѣ принести туда и младшаго сынишку...

Въ домѣ еще царила тишина, только въ нѣсколькихъ комнатахъ слуги прибирали и чистили все приведенное въ безпорядокъ наканунѣ, выметая ворохи окурковъ папиросъ и сигаръ, пробокъ и остатки фруктъ, объѣдковъ сахарныхъ печеній и конфетъ, обломковъ перебитаго стекла. Паркетные полы были сѣры отъ приставшаго къ нимъ пепла, отъ нанесенныхъ съ улицы земли и песку: мѣстами виднѣлись еще не просохшія черныя пятна отъ пролитаго вина. Въ комнатѣ еще носился запахъ табаку, вина. Олимпіада Пахомовна брезгливо взглянула на этотъ хаосъ и съ упрекомъ замѣтила прислугѣ, что нужно было прибрать все раньше. Ей отвѣчали, что гости поздно разъѣхались, что и теперь

двое какихъ-то господъ «започивали» въ кабинетѣ Данилы Павловича и что Аделаида Александровна тоже «изволятъ почивать» въ угловой диванной. Тамъ и не убирали еще. Олимпіада Пахомовна удивилась. Она думала, что Аделаида Александровна давно уѣхала домой. Она справилась, давно ли заглядывала къ Аделаидѣ Александровнѣ служанка. Та отвѣтила, что утромъ. Олимпіада Пахомовна разсердилась. Надо было еще навѣдаться! Барыня, вѣроятно, встала уже, ей надо подать мыться, завтракать. Ее встревожило, что она не предвидѣла того, что Аделаида Александровна можетъ остаться ночевать здѣсь, и вслѣдствіе этого не распорядилась ни насчетъ постели, ни насчетъ завтрака. Впрочемъ, вѣдь было условлено, что если Аделаида Александровна не захочетъ ночью возвращаться въ Ольховатое, то ее тотчасъ же довезутъ до дома Гущина, гдѣ и для нея была приготовлена спальня. Олимпіада Пахомовна пошла сама въ диванную, озабоченная, встревоженная, даже не замѣчая, что за ея юбку держится ея сынишка...

Аделаида Александровна, полулежавшая на длинномъ креслѣ, только что проснулась. Она не безъ труда подняла отяжелѣвшія вѣки и взглянула, гдѣ она. Кругомъ въ безпорядкѣ стояли стулья, кресла, столы. На столахъ и подъ столами были бутылки, рюмки, стаканы, кувшины изъ-подъ шампанскаго съ лежавшими на днѣ апельсинами. Окурки, пробки, битое стекло, апельсинныя корки, лужи вина были повсюду. Она взглянула на себя: ея измятое платье еще хранило слѣды пролитаго шампанскаго, брызговъ и потековъ, чернѣвшихся на свѣтлой шелковой ткани. Она провела рукой по глазамъ и вздохнула. Въ ея душѣ поднимались омерзѣніе, брезгливость, стыдъ при воспоминаніи объ этой ночи! Она сдвинула брови, стараясь припомнить, что же дѣлали, гдѣ были Данила Павловичъ и Олимпіада Пахомовна. Въ памяти вставали другіе образы, а не эти,— какой-то старичокъ съ вставными зубами, съ отвислой мокрой губой, и какой-то розовенькій, какъ парикмахерскій восковой болванчикъ, юноша, твердившій, не устава, полупьянымъ голоскомъ: «Нѣтъ-съ, ужъ, ваше превосходительство, тутъ не по старшинству». Но гдѣ же были Данила Павловичъ и Олимпіада Пахомовна? Ихъ не было, все время не было. Опять ей вспомнились отвислыя мокрыя губы; опять послышался полупьяный молодой голосокъ, повторяющій одну и ту же фразу. Что же это, уговоръ, умыселъ? Нарочно оставили ее среди пьяныхъ негодяевъ? Негодяевъ? Вѣдь это все

знакомыя ея, Аделаиды Александровны. Не она ли заигрывала съ каждымъ изъ нихъ, хлопоча устроить дѣла Данилы Павловича? И устроила, устроила! Да, устроила, и потому онъ бросилъ ее среди этой пьяной компаніи, удалившись въ уютный уголокъ со своей...

Она вздрогнула, заслышавъ скрипъ двери. Ея глаза широко открылись. На порогѣ показалась Олимпіада Пахомовна, слегка усталая, томная, но въ то же время свѣжая, раскраснѣвшаяся отъ ходьбы, сіяющая молодостью и счастьемъ, тѣмъ счастьемъ, которое бьетъ каждому въ глаза, само кричитъ о себѣ—счастьемъ обжоры среди голодныхъ, счастіемъ наглаго богача среди смиренныхъ бѣдняковъ. За Олимпіадой Пахомовной виднѣлось розовенькое личико ребенка, державшагося за ея платье. Лицо Аделаиды Александровны исказилось отъ стыда, отъ негодованія. Она поднялась съ мѣста и, задыхаясь, не помня себя, вскрикнула:

— Что вамъ надо? Какъ вамъ не стыдно!

Олимпіада Пахомовна, не сразу понявъ, въ чемъ дѣло, проговорила:

— Я пришла извиниться, что васъ не догадались провести въ спальню...

Аделаида Александровна чувствовала, что у нея захватываетъ дыханіе, и съ усиліемъ, прерывающимся голосомъ произнесла:

— Ребенокъ... Уведите ребенка!..

Олимпіада Пахомовна смутилась, торопливо вытолкнула ребенка за дверь и еще поспѣшнѣе стала искать воды, услыхавъ прерывистый крикъ близкой къ обмороку Аделаиды Александровны:

— Воды! воды!

Воды не нашлось въ комнатѣ. Олимпіада Пахомовна сбѣгала за нею и принесла графинъ и стаканъ. Аделаида Александровна, глотая слезы, заглушая рыданія, пила съ жадностью холодную воду:

— Экипажъ!.. Лошадей!.. — бормотала она, торопливо отирая лицо, мокрое отъ слезъ.

— Останьтесь, отдохните, — растерянно говорила Олимпіада Пахомовна.

Аделаида Александровна, сдѣлавъ страшное усиліе надъ собой, взглянула на нее какъ-то сверху внизъ.

— Какая вы низкая, какая вы дурная женщина, — проговорила она.

Олимпіада Пахомовна вся вспыхнула. Она не ожидала этой незаслуженной обиды.

— Не вамъ бы упрекать кого бы то ни было... Я честная женщина, а не какая-нибудь падшая...

Аделаида Александровна съ презрѣніемъ взглянула на нее.

— Вы — честная женщина? Нѣтъ, честныя женщины не такія...

— Я не отбиваю чужихъ мужей, а вы...

Аделаида Александровна оборвала ее на полусловѣ гнѣвно, почти высокомѣрно:

— Я... я могу забросать грязью себя, я могу пасть сама, а вы... барышница, вы торгуете честью другихъ для своихъ выгодъ!

Она съ какимъ-то омерзѣніемъ оттолкнула ее съ дороги отъ двери и прошла мимо нея, возмущенная, негодующая, съ презрѣніемъ въ душѣ къ этой честной женщинѣ, стоявшей съ какимъ-то тупымъ выраженіемъ лица на одномъ мѣстѣ, точно она хотѣла спросить:

— Что же я ей сдѣлала? Отчего она обозлилась!..

Когда она недоумѣвающимъ тономъ передала Данилѣ Павловичу происшедшую сцену, онъ проворчалъ сквозь зубы:

— Хмель, вѣрно, изъ головы еще не вышелъ! Точно впервые на оргіи была! А впрочемъ, ну ее! Дѣло теперь сдѣлано! Вотъ Тимошка былъ пострашнѣе...

И онъ сталъ разсказывать, какъ помиловалъ его Богъ отъ Тимошки Шестипалаго. Олимпіада Пахомовна слушала его съ замирающимъ сердцемъ, вся похолодѣвшая, забывъ про исторію съ Аделаидой Александровной. Когда онъ кончилъ, она перекрестилась и прошептала:

— Да, видно, Богъ-то слышитъ наши молитвы!

СОВѢСТЬ.

РОМАНЪ.

I.

Стояла поздняя, но теплая осень. День былъ сѣренькій, тѣмъ не менѣе въ воздухѣ сильно парило. «Гроза будетъ», говорили измаявшіеся люди. Полевыя и городскія лѣтнія работы были почти окончены, и рабочій людъ, ходившій на заработки, уже начиналъ возвращаться по своимъ деревнямъ,—кто «по чугункѣ», кто пѣшкомъ по тропинкамъ около желѣзнодорожныхъ насыпей. Чистопольская желѣзная дорога работала въ эту пору хорошо, то и дѣло прибавляя въ поѣздахъ число вагоновъ. Болѣе всего наполнялись вагоны третьяго класса. Въ поѣздѣ, долженствовавшемъ прибыть въ Чистополье въ седьмомъ часу вечера, особенно сильно былъ переполненъ одинъ вагонъ. Онъ казался еще полнѣе отъ множества заваливавшихъ полъ и скамьи мѣшковъ, узловъ, чемодановъ, разныхъ инструментовъ и всякой рухляди. На каждой станціи или выходили, или входили пассажиры. Движеніе и говоръ, а иногда споры и брань изъ-за мѣстъ, изъ-за закуренной трубки съ махоркою, изъ-за отвореннаго не по правиламъ окна не смолкали ни на минуту. Ѣхалъ все больше простой людъ, непривычный къ путешествіямъ по желѣзной дорогѣ, — крестьяне-рабочіе и бабы-странницы и богомолки, возвращавшіяся съ поклоненія «святымъ мѣстамъ». Одни вылѣзали со всѣмъ своимъ багажомъ гораздо раньше, чѣмъ слѣдовало, и возвращались снова обратно со своею поклажею, неосторожно задѣвая по головамъ пассажировъ своими мѣшками; другіе пропускали ту станцію, гдѣ имъ нужно было выйти, и ругались, что ихъ не разбудили во-время, поднимая переполохъ; третьи, просто отъ скуки и бездѣлья, сѣтовали и на неудобство, и на тѣсноту, и на духоту, и на медленный ходъ поѣзда: «пѣшкомъ бы лучше дойти». Поѣздъ дѣйствительно тащился

черепашьимъ шагомъ, точно выбиваясь изъ силъ отъ необходимости тащить такое множество людей.

Только одна женщина въ этомъ вагонѣ какъ помѣстилась при отъѣздѣ поѣзда, такъ и не двигалась со своего мѣста въ углу вагона. Худенькая, маленькая, блѣднолицая, она казалась не то подавленною тяжелымъ горемъ, не то изнуренною продолжительной болѣзнью. Ея еще молодое, маленькое, какъ кулачокъ, лицо было измято, изрѣзано преждевременными морщинами; бѣлокурые волосы были сухи и, должно-быть, сѣклись, такъ какъ то тутъ, то тамъ выбивались и висѣли ихъ концы изъ-подъ шляпки; она, видимо, мало заботилась и о нихъ, и о своемъ нарядѣ; вообще едва ли она заботилась о чемъ-нибудь, что окружало ее, о всей этой суетѣ мірской, о всей этой сутолокѣ жизни, заставляющей людей хлопотать, двигаться, ссориться, бороться: «и изъ-за чего все это? все равно конецъ одинъ для всѣхъ—смерть!» Ея взглядъ, немного тупой, немного напоминавшій взгляды безумныхъ, былъ устремленъ неопредѣленно въ пространство и, можетъ-быть,—не видя ничего происходившаго вокругъ,—старался всмотрѣться въ нѣчто такое, чего не видѣли, о чемъ даже не думали окружавшіе ее, хлопотавшіе до поту на лицѣ, люди: «Богу-то что отвѣтишь? Передъ Нимъ-то какъ предстанешь?» Зря и походя объ этомъ говорятъ тысячи людей; она же только этимъ и жила; другихъ мыслей у нея, съ нѣкотораго времени, почти не было.

Противъ нея сидѣла другая женщина, очевидно сопровождавшая ее въ дорогѣ, бѣгавшая на станціяхъ заваривать для нея чай, приносившая ей булокъ, пироговъ и кренделей, подсовывавшая ей предупредительно подъ бокъ подушку: «такъ-то ловчѣе будетъ». Это была молодая, здоровая, краснощекая, «ядрёная»,—какъ говорили про нее парни,—бабенка, съ бойкими карими глазами, должно-быть, изъ мѣщанокъ, одѣтая въ черный нарядъ, похожій на нарядъ богомолокъ или странницъ. Она говорила безъ умолку, поминутно отирая круглыми пальцами свои сочныя алыя губы и сильно жестикулируя крупными, но красивыми и бѣлыми руками.

— И ужъ насчетъ того, чтобы разговорить человѣка или свои резонты ему представить,—лучше матушки Серафимы и не найти,—разсказывала она пѣвучимъ голосомъ съ цѣлой массой оттѣнковъ въ интонаціи, придававшихъ особенную характерность ея говору.—По всей Рассеѣ извѣстна. У нея все какъ по писанному, будто въ книжку читаетъ,

какъ и что человѣкъ сдѣлать долженъ и что изо всего этого выдетъ для его антиреса. Свыше это! И кто-кто къ ней ни ходитъ—за совѣтомъ, за утѣшеньемъ или такъ просто для развлеченія своихъ мрачныхъ мыслей. Не токма весь нашъ городъ ее знаетъ—что наше Чистополье: пѣтухъ на одномъ концѣ запоетъ, на другомъ его ужъ и слышно!—а изъ самаго Петербурга господа съ ней кареспадецію ведутъ, какъ молъ и что вы насчетъ того-то и того-то въ своемъ размышленіи имѣете. Не женщиной бы ей быть, а мужчиной бы родиться—наипервѣйшимъ министромъ при царѣ была бы. Ну, а бабѣ, извѣстно, путей нѣтъ, только ради мужского сословія и на свѣтѣ-то болтаемся, прости Господи. Не даромъ сказано: курица не птица, женщина не человѣкъ...

Говорунья перевела духъ. Сидѣвшая противъ нея женщина вздохнула.

— Да, и отецъ Іона совѣтовалъ именно къ ней обратиться за утѣшеніемъ въ моихъ печаляхъ,—тихо проговорила она.

— Ужъ чего лучше, чего лучше!—воскликнула шустрая богомолка.—Сама я на себѣ испытала, какъ матушка Серафима поднять духъ человѣка можетъ.

— Вы ее, Варварушка, давно знаете? — послышался вопросъ.

— Годовъ пять,—отвѣтила бойкая бабенка:—съ той самой поры я и просвѣтъ увидала.

Она вопросительнымъ взглядомъ поглядѣла на свою собесѣдницу и съ видимымъ недоумѣніемъ спросила:

— Да нешто я вамъ, Софья Дмитріевна, не говорила?

— Нѣтъ,—отвѣтила слушательница.

— И то сказать, не въ себѣ вы все это время-то были,—сообразила богомолка, какъ бы объясняя то странное обстоятельство, что она еще не разсказала своей спутницѣ о своемъ знакомствѣ съ матушкой Серафимой.

Она быстро обтерла двумя пальцами губы своего чувственнаго, мясистаго рта и, немного наклонившись къ своей спутницѣ, заговорила пониженнымъ ради таинственности голосомъ:

— Грѣхъ тутъ одинъ со мной случился, молода была, глупа была,—пояснила она.—Извѣстно, наше дѣло женское, молодое, неопытное: подъѣдетъ какой-нибудь краснобай-трусовъ на колесахъ наскажетъ: такой, молъ, я и сякой, немазанный, въ золотѣ у меня будешь ходить, на пуховикахъ нѣжиться,—мы, дѣвки, и уши развѣсимъ. Наша се-

стра въ этихъ дѣлахъ, охъ, какъ довѣрчива! А тамъ, смотришь, люди на тебя пальцемъ указываютъ: «ишь до чего догулялась!» Особливо у насъ это въ мѣщанствѣ да въ провинціи, чуть что—всѣ бока тебѣ промоютъ. Наилучшимъ манеромъ дегтемъ вымажутъ. Такъ вотъ, какъ грѣхъ-то со мной приключился, я точно ума рѣшилась и ровно въ туманъ въ какой попала: одно знаю, что сама себя я потеряла, а какъ дальше быть—и ума не приложу. Въ эту-то пору матушку Серафиму мнѣ Господь Богъ и послалъ на спасеніе. Увидала это она меня, запримѣтила, что въ отчаянности я, сжалилась надо мною и призвала къ себѣ. Опросила все: какъ, съ кѣмъ, когда, что дальше дѣлать думаю. А что я тогда дѣлать думала: въ воду съ головой, вотъ и все! Стала усовѣщивать. «Что съ возу упало—пропало,—говоритъ.—Снявши голову, нечего по волосамъ тужить. Прошлое прошло, а надо о будущемъ думать. Отчаянностью грѣха не поправишь. Съ отчаянностью только бо́льшихъ грѣховъ натворишь. Благодари Бога, что еще руки да здоровье есть, что работать можешь. Съ руками да здоровьемъ нигдѣ не пропадешь. Когда вотъ это у тебя пройдетъ,—говоритъ, а сама-то на меня это пристально смотритъ, на талью-то, а глазъ у нея, что у орла, все сразу разсмотритъ,—такъ я, если захочешь, тебя къ себѣ возьму. Ты мнѣ нравишься. Тамъ-то, у своихъ, тебѣ, можетъ, глаза колоть грѣхомъ станутъ, какъ запримѣтятъ, да обо всемъ разблаговѣстятъ, а здѣсь—работать умѣешь, болѣе ничего мнѣ и не надо. Покуда же уѣхала бы ты отсюда, чтобы разговоровъ меньше было. Въ Москвѣ есть такія женщины, что пріютятъ тебя на-время, а тамъ все и пройдетъ». Итакъ, слово за слово, разговорила она меня, разговорила, повеселѣла я даже. И точно, грѣхъ да бѣда съ кѣмъ не бываетъ. Всѣ не святые. Не согрѣшишь и не покаешься. Ожила я совсѣмъ; духъ у меня опять явился; прежнею дѣвкой я стала. И какъ это все у меня кончилось, такъ я къ ней въ услуженіе и поступила.

— У васъ, Варварушка, ребенокъ, значитъ, былъ?—спросила Софья Дмитріевна тихо.

— Что-жъ, скрываться мнѣ нечего: былъ,—отвѣтила со вздохомъ богомолка и потупила глаза, стараясь придать своему лицу скромное и печальное выраженіе. — Не будь этого, чего бы мнѣ, дѣвкѣ, и тужить...

Ея спутница робко, немного конфузясь, спросила:

— Но вѣдь онъ... онъ, этотъ человѣкъ... значитъ, онъ бросилъ васъ?

— Это вы про губителя-то?—сказала Варвара и съ пренебреженіемъ отвѣтила:—Извѣстно, бросилъ; не бросилъ бы, такъ не то и было бы... Имъ что, охальникамъ-то: взялъ свое и лататы задалъ...

Послышался тяжелый вздохъ ея спутницы. Сама она испытала это. Съ этого и пошли всѣ ея несчастія.

— Такъ, вѣрно, и это васъ убивало?—едва слышно прошептала она.—Ужасное это дѣло—быть брошенной...

— Чего мнѣ о немъ убиваться было?—съ пренебреженіемъ отвѣчала богомолка.—Бросилъ, ну, и прахъ его побери! Обо всякомъ проходимцѣ плакать—глаза выплачешь. Злобу свою на немъ сорвать хотѣлось, это точно; а что насчетъ его самого, такъ плевать мнѣ на него! Срамъ тяжелъ былъ, какъ, бывало, начну думать, что всѣ пальцами станутъ на меня указывать. Вотъ что душеньку мою грызло. Я дѣвка-то была такая, что, бывало, въ церкви стою, а молодцы-то наши не на образа, а на меня глаза таращатъ. А тутъ изъ-за какого-нибудь прощелыги отъ людей приходилось самой туляться за углами... Ну, отъ сраму-то этого я и уѣхала въ Москву, прожила тамъ, пока все кончилось, а потомъ и вернулась въ Чистополье къ матушкѣ Серафимѣ...

— А ребеночекъ? Живъ онъ?—спросила ее молодая женщина.

— А ужъ, право, не знаю,—отвѣтила богомолка.—Я вѣдь не сама его отправила въ воспитательный домъ, а та бабка, у которой я приставала. Матушка Серафима мнѣ ее рекомендовала... Такъ вотъ пріѣхала я сюда, поступила во услуженіе къ матушкѣ Серафимѣ, при пріютѣ въ родѣ няньки и сидѣлки состоять, да такъ съ той поры по большей части при монастырѣ и нахожусь, и при пріютѣ, и по личнымъ дѣламъ матушки Серафимы: въ разъѣзды она меня спосылаетъ то въ Москву, то въ Петербургъ...

Она бойко засмѣялась, показывая два ряда крупныхъ и здоровыхъ, бѣлыхъ, какъ жемчугъ, зубовъ.

— Я вѣдь на всѣ руки дѣвка!—весело проговорила она.—Никогда я и не думала, чтобы у меня столько этой шустрости и отваги было. Все-то я сдѣлать могу, все-то смекну, все-то оборудую. Матушка Серафима не даромъ любитъ меня и иногда шутитъ изволитъ. «Ты, говоритъ, мой Фигаро». Это, можетъ-быть, сами слышали, фигарами называютъ человѣка, коли у него смѣтка эта самая есть. И такъ это мнѣ хорошо, такъ вольно за матушкой Серафимой, что, кажется, предложи мнѣ какой прынецъ выйти за него за-

мужъ—не пойду. Ей-Богу, не пойду! И были такіе, что подкатывались съ предложеніями, да я-то не дура, чтобы не связанныя руки веревками спутывать.

— Вы въ монахини думаете идти?—спросила ее Софья Дмитріевна.

— Что вы! что вы! Чего мнѣ грѣхъ на душу брать?—отвѣтила богомолка чуть не съ испугомъ, отмахиваясь руками.—Съ нашей сестры одно взыскивается, съ монашки другое; что кому по силѣ, за то и берись; я человѣкъ мірской, чревоугодливый, плоть свою люблю.

Она съ широкою улыбкой на лицѣ сладко облизнула свои крупныя губы, отерла ихъ пальцами и опять повторила:

— Нѣтъ, что-жъ мнѣ грѣхъ на душу брать и обѣтами себя обвязывать. Никакого расчету нѣтъ. Я вотъ теперь и жить не въ монастырѣ буду, а съ тетенькой. Одинокими мы теперь остались, домишко въ наслѣдство получили, ну и такъ кое-что еще перепало... Нѣтъ, съ чего же мнѣ въ монашки идти!..

Она засмѣялась и не безъ лукавства замѣтила:

— Ужъ коли замужъ нейду, такъ въ монашки и подавно не слѣдъ такой-то, какъ я, идти. И матушка Серафима это понимаетъ и не подговариваетъ.

Ея собесѣдница начала дремать или, просто, опять впала въ свои неотступныя думы, закрывъ глаза. Это съ ней случалось нерѣдко. Порой, даже тогда, когда ея глаза были открыты, можно было подумать, что она спитъ или, по крайней мѣрѣ, не видитъ и не слышитъ ничего, что дѣлается вокругъ. Богомолка замѣтила это, откинулась назадъ, порылась около себя въ саквояжѣ, вытащила оттуда завернутую въ бумагу, разрѣзанную пополамъ булку, намазанную въ серединѣ масломъ и проложенную двумя кусками мяса, и принялась за ѣду. Она ѣла съ завиднымъ аппетитомъ, вполнѣ погрузившись въ это занятіе, смакуя пережевываемую ѣду и облизывая кончикомъ краснаго языка съ губъ приставшее къ нимъ масло. «На все люта,—говорила она сама про себя:—и на работу, и на ѣду, и на все такое».

Къ ней незамѣтно подсѣла съ другой скамьи какая-то невзрачная старушонка низенькаго роста, съ темнымъ, изборожденнымъ морщинами лицомъ, похожимъ на сморщенное печеное яблоко, и съ глубоко впавшими, бѣгающими, какъ мыши въ мышеловкѣ, любопытными глазами.

— Издалека ѣдете, матушка? — спросила она бабенку,

вкрадчиво, сладкимъ голосомъ, слегка шамкая беззубымъ ввалившимся ртомъ.

Варвара, оторванная не во-время отъ своего занятія непрошенной собесѣдницей, не особенно дружелюбно взглянула на нее зоркими глазами и, при видѣ вылинявшаго шушуна, надѣтаго на плечи старушонки, и порыжѣвшаго платка, повязаннаго на ея головѣ, невольнымъ движеніемъ подобрала поближе къ себѣ лежавшіе около нея на скамьѣ саквояжъ и узелокъ: «украдетъ еще, чего добраго, что-нибудь».

— Ко святымъ мѣстамъ ѣздили,—отвѣтила она коротко и сухо.

— Изъ Воронежа, значитъ?—вопросительно проговорила старушонка и движеніемъ костлявой и скрюченной руки съ почернѣвшими ногтями, чтобы лучше слышать, сдвинула съ лѣваго уха платокъ, изъ-подъ котораго выбились теперь пряди сухихъ, совершенно сѣдыхъ волосъ, повисшихъ вдоль впалой и почти коричневой щеки.

— И въ Воронежѣ были, и въ Кіевѣ поклонились святымъ угодникамъ, — сказала Варвара отрывисто. — Вездѣ побывали.

— Такъ, такъ! — произнесла старуха, кивая утвердительно головой, и продолжала разспросы:—Вѣрно, по обѣщанію? Сама-то у васъ ровно недужная?

Богомолка молчала.

— Къ угодникамъ за исцѣленіемъ многіе ѣздятъ, — пояснила старуха:—а тоже и знающіе люди нерѣдко помочь могутъ, если тамъ отъ дурного глаза, либо отъ порчи болѣзнь. Заговоръ только нужно знать да травы разныя...

Варвара усердно доѣдала остатки булки, ссыпавъ съ бумаги оставшіяся крошки на ладонь руки и потомъ горстью отправивъ ихъ въ ротъ.

— Въ черномъ-то что она у васъ? Схоронила кого, что ли?—продолжала добиваться старушонка.

— Мужъ померъ!—сухо отвѣтила молодая бабенка, начинавшая, видимо, терять терпѣніе.

— А-а!—многозначительно протянула старуха.—То-то я все присматривалась: не то недужная она, не то не въ своихъ мысляхъ. А оно вотъ что. Мужъ померъ! Экая вѣдь бѣда, поди ты! Видно, молодые оба были, любили больно другъ друга, такъ она и убивается.

Богомолка упорно молчала.

— То-то я присматривалась все,—повторила опять старуха, помолчавъ съ минуту въ ожиданіи отвѣта. — Сидитъ

она, съ мѣста не сдвинется и ровно не въ своемъ умѣ, а въ забвеніи чувствъ. Ну, а вотъ теперь-то оно и понятно: мужа молодого рѣпилась, отчаянность и напала. Бываетъ это съ нашей сестрой. Только знающіе люди и отъ этого помочь могутъ. Смерть—воля Божья. Мертваго не воскресишь слезами. Тутъ не къ святымъ угодникамъ бы надо было тебѣ, матка, везти ее перво-на-перво, а къ знающимъ людямъ. Это дѣло мірское. Тутъ....

— И что ты, бабушка, придумываешь! — не вытерпѣла Варвара, перебивая назойливую старуху.—Вовсе и не молодой онъ былъ, а старый, и не въ немъ тутъ дѣло.

— Ста-арый!—протянула старушонка.—Такъ съ чего же она убивается да по богомольямъ ѣздитъ? Денегъ-то оставилъ на поминъ души?

— И сколько это въ людяхъ любопытства, такъ я и сообразить не могу!—ударивъ себя по колѣнкѣ рукою, воскликнула молодая бабенка съ негодованіемъ.—Вотъ сидитъ человѣкъ, никого не трогаетъ, рта не откроетъ, а другимъ до него дѣло: и какъ, и почему, и отчего. Ну, вотъ захотѣла она ѣздить по святымъ мѣстамъ—и ѣздитъ. Хочется ей по старикѣ-мужѣ плакать—и плачетъ.

— Да она изъ какихъ же будетъ?—спросила старушонка, нисколько не смущаясь рѣзкимъ тономъ собесѣдницы.—Изъ купеческаго сословія али дворянка? По имени-то и прозвищу какъ ее звать?

Варвара окончательно потеряла терпѣніе.

— Ну, матушка, ужъ и умѣешь же ты прилипать, какъ банный листъ, право!—воскликнула она, разводя руками.—Дворянка! Зиминой прозывается Софьей Дмитріевной! Ну, довольно, довольно?

Кто-то слегка захихикалъ позади обѣихъ женщинъ. Варвара обернулась и встрѣтилась взглядомъ съ бойкими черными глазами молодого парня, щеголевато одѣтаго въ синій длиннополый сюртукъ и, видимо, не мало занятаго собой. Его черные курчавые волосы были обильно смазаны чѣмъ-то жирнымъ и лоснились; вокругъ его шеи былъ повязанъ ярко-красный шелковый платокъ; черная суконная фуражка съ глянцовитымъ кожанымъ козырькомъ была сдвинута ухарски на одно ухо. По виду это былъ приказчикъ или отдѣлецъ изъ какой-нибудь богатой провинціальной лавки, умѣющій, можетъ-быть, поднадуть и хозяина, и покупателя, и поставить ребромъ перепавшую въ его собственныя руки копейку. Онъ стоялъ за спиной старухи, упершись колѣнями

въ скамью, и, повидимому, не безъ любопытства слушалъ назойливые, забавлявшіе его, разспросы старушонки.

— Какъ это иному до гробовой доски до чужихъ дѣловъ забота есть, а нѣтъ того, чтобы разузнать, не поминали ли самого на томъ свѣтѣ на перекличкѣ,—проговорилъ онъ, плутовато подмигивая Варварѣ.

— Да ужъ есть такія Маремьяны-старицы, что обо всемъ мірѣ печалятся,—отвѣтила Варвара и тоже усмѣхнулась.

— Не хотите ли побаловаться?—предложилъ онъ ей любезно, поднимая надъ спинкой скамьи горсть крупныхъ каленыхъ орѣховъ.

— Благодарствуйте. Зубы берегу!—сказала молодая бабенка и засмѣялась, показавъ два ряда своихъ бѣлыхъ зубовъ.

— Точно-съ и есть, что беречь,—согласился парень и, смѣясь, осклабилъ свои не менѣе бѣлые и ровные зубы.— Съ такими зубами хоть отъ кого отгрызетесь, а это по нынѣшнимъ временамъ первое дѣло.

— Отчего же по нынѣшнимъ?—засмѣялась богомолка, кокетничая.

— Да такъ ужъ. Прежде, говорятъ, по простотѣ и по совѣсти люди жили, а нынче съ подвохомъ больше.

— Такъ что-жъ вы-то своихъ зубовъ не бережете?—пошутила Варвара.

— Мы—особь-статья: мужчины,—пояснилъ онъ и прибавилъ, подмигнувъ глазомъ:—это про женское сословіе говорятъ: что имѣемъ не хранимъ,—потерявши, плачемъ.

— Ну, иная не очень-то къ слезамъ способна!—бойко возразила бабенка.—Слезами-то никого не разжалобишь, а только свои глаза выплачешь.

— Это точно-съ, а иныхъ очей ужъ такъ-то было бы жаль, если бы ихъ да выплакать.

— А и не лѣзете же вы въ карманъ за словомъ!—отпустила она ему любезный комплиментъ.

Онъ пояснилъ:

— По ярмаркамъ ѣздимъ, со всякими людьми нужно умѣть обращеніе имѣть.

— Это точно, большой авантажъ для человѣка, если онъ много людей видѣлъ,—проговорила она.

Въ вагонъ вошелъ кондукторъ и громко произнесъ на ходу: «Чистополье, пятнадцать минутъ остановки».

— Ты что же заспался? — началъ онъ расталкивать кого-то.—Тебѣ куда? Проспишь, а потомъ жалобиться станешь. Эхъ, народецъ!

И, для порядка, съ шумомъ поднялъ чуть ли не въ десятый разъ раму у открытаго, не по положенію, окна съ подвѣтреной стороны, ворча отъ скуки на производящихъ безпорядокъ пассажировъ.

— Ахъ, заболталась я съ вами!—воскликнула Варвара, услыхавъ возгласъ кондуктора.—Намъ вѣдь тутъ слѣзать.

— И мы сюда же ѣдемъ,—проговорилъ молодой торговецъ.

Она завозилась около багажа, разбудивъ Зимину.

— Разсѣлись тутъ! Подвиньтесь. Видите, что чужія вещи лежатъ!—грубо заговорила она, толкая старушонку и вытаскивая изъ-подъ скамьи вещи.

— Гдѣ изволите-съ проживать?—спросилъ ее, слегка наклонившись, молодой любезникъ.

— Около вѣтра въ полѣ,—со смѣхомъ отвѣтила она, вскинувъ на него лукавые глаза.

Ея здоровое, не тронутое ни единой морщинкой, лицо теперь слегка заблестѣло отъ выступившаго на немъ пота и было залито яркимъ румянцемъ до корней волосъ.

— Такъ и запишемъ! — проговорилъ онъ, подмигивая глазами.

— Смотрите, не затеряйте адреса-то, — пошутила она на ходу.

— Что-жъ, можетъ, этотъ самый вѣтеръ-то и надуетъ насъ въ ту сторону, гдѣ проживать изволите,—отвѣтилъ онъ, тоже смѣясь.—Наше вамъ нижайшее.—До скораго!

Она уже не слушала его. Всѣ стали выходить изъ вагона. Въ дверяхъ было тѣсно. Варварѣ надо было тащить багажъ и въ то же время оберегать Зимину, едва державшуюся на ногахъ. Кто-то, весь нагруженный мѣшками, съ топоромъ за поясомъ и пилой въ рукахъ, перъ прямо на народъ...

II.

На землю спускались мглистыя сумерки осенняго вечера, когда Софью Дмитріевну Зимину ввели въ маленькую комнатку, отведенную ей въ странноприимномъ деревянномъ флигелѣ при женскомъ чистопольскомъ монастырѣ. Ввела ее въ эту комнату монахиня съ угловатыми манерами, съ зоркими проницательными глазами, имѣвшими способность въ одну минуту высмотрѣть все, что нужно, и тотчасъ же смиренно опускавшимися внизъ. Костистая, сухая, широколицая, съ грубою кожею, напоминавшею больше выростокъ, чѣмъ человѣческое тѣло, она походила скорѣе на мужчину, чѣмъ на женщину, и даже ея голосъ, какъ она ни старалась

смягчать его, звучалъ басоватыми мужскими нотами. Глядя на нее, въ ней сразу можно было угадать бывшую «мужичку». Это была сестра Дорооея, бывшая крѣпостная горничная матушки Серафимы, пережившая тѣ времена, когда провинившимся дворовымъ дѣвкамъ обрѣзали косы и даже не стѣснялись поркою, а теперь—«въ родѣ какъ адъютантъ изъ лазутчиковъ, она при матушкѣ Серафимѣ», недружелюбно говорила про нее Зиминой Варвара, разсказывая о монастырскихъ порядкахъ и людяхъ.

— Самоварчикъ, можетъ-быть, съ дорожки потребуете,— предложила она вкрадчиво Софьѣ Дмитріевнѣ, помогая ей снять верхнюю одежду и вскидывая на нее свои всевидящіе и всеподмѣчающіе глаза.—У насъ это мигомъ. На кухнѣ всегда самовары грѣются. Страннаго человѣка тоже и пріютить, и обогрѣть надо.

— Благодарю васъ, матушка,—отвѣтила усталымъ голосомъ Зимина.—Я лучше лягу и отдохну. Измаялась дорогой.

— Христосъ съ вами, Христосъ съ вами, отдохните!— проговорила Дорооея, опять незамѣтно вскидывая на нее глазами, и въ ея головѣ мелькнула мысль: «краше въ гробъ кладутъ».—А матушка игуменея васъ завтречка приметъ. Теперь отдыхать изволитъ. Тоже заботъ и хлопотъ полонъ ротъ у матушки игумении. За всѣмъ свой глазъ нуженъ.

И, понижая тонъ, она сдѣлала извѣтъ на покойную настоятельницу монастыря.

— Приняла-то матушка Серафима все въ запущеніи. Покойная-то матушка игумения слѣпа была и характеромъ слаба, запустила многое. А люди этимъ пользуются по бѣсовскому наущенію. Бѣсъ-то и въ міру силенъ, а здѣсь еще больше старается...

Зимина устало повторила, что она не будетъ пить чаю, желая избавиться отъ матери Дорооеи, которую она уже не любила и даже опасалась, еще и не зная.

— Отдохнуть мнѣ надо!—сказала она.

Мать Дорооея заторопилась прибрать къ сторонѣ салопъ, платокъ и шляпку Зиминой, повѣсивъ всѣ эти вещи на большіе гвозди, вбитые въ стѣну, и, бросивъ испытующій взглядъ на багажъ пріѣзжей женщины,—какъ бы желая разгадать, что можетъ заключаться въ этихъ маленькихъ чемоданѣ и саквояжѣ,—слащаво повторила:

— Отдохните, отдохните съ Богомъ! Тутъ у насъ воздухъ вольный, всѣ болѣсти какъ рукой сниметъ. Тѣлу исцѣленіе, душѣ спасеніе...

Она вышла, стараясь не стучать грубой обувью и тяжелыми ногами.

Софья Дмитріевна осталась одна и широко вздохнула усталой грудью. Давно ей не приходилось быть одной, почти съ самой смерти ея мужа. Сначала, когда онъ умеръ, она даже боялась оставаться безъ людей. Какъ останется, бывало, она одна, такъ тотчасъ же ей снится и наяву, и во время сна та страшная ночь, когда онъ кашлялъ, хрипѣлъ, бился и, наконецъ, затихъ: «Проклятая, проклятая, это я его задушила!» И тотчасъ же, при этомъ воспоминаніи, съ нею начиналась истерика. Никто не зналъ причины этихъ припадковъ и всѣ утѣшали ее, ухаживали за ней. Тетка покойнаго ея мужа, Марья Ивановна Шустова,—этотъ циникъ въ юбкѣ,—старалась доказать ей, что потеря нелюбимаго мужа скорѣе счастіе, чѣмъ бѣда, что при молодости и деньгахъ вдова всегда найдетъ себѣ новаго мужа. Варварушка, приглашенная ходить потомъ, во время болѣзни, за больною Зиминой, говорила почти то же, съ тою только разницею, что, по ея мнѣнію, если женщина свободна да при деньгахъ, то ей и вовсе не слѣдуетъ себя «обвязывать», что можно и безъ всякаго мужа хорошо пожить. Старикъ-священникъ, отецъ Іона, бывшій духовникомъ покойнаго Зимина, совѣтовалъ Зиминой молиться, съѣздить къ угодникамъ Божіимъ на поклоненіе, такъ какъ только они даютъ болѣзнямъ исцѣленіе и печалямъ утоленіе. Ходившая за больною Варварушка рѣчей отца Іоны не оспаривала; потому что и сама она ничего, послѣ ѣды, не любила такъ сильно, какъ странствовать изъ мѣста въ мѣсто при извѣстныхъ удобствахъ и комфортѣ, и предложила Софьѣ Дмитріевнѣ свои услуги проводить ее и въ Кіевъ, и въ Воронежъ. Вотъ и объѣздила она, Зимина, святыя мѣста, вездѣ молилась, вездѣ служила панихиды за упокоеніе души усопшаго раба Божія Леонида, а въ ея душѣ все нѣтъ желаннаго покоя. Не за его душу надо было молиться, а за ея грѣшную, окаянную душу! Онъ былъ святымъ человѣкомъ въ сравненіи съ ней. Она—окаянная убійца! Никакихъ совѣтовъ не давали бы ей люди, если бы знали, что она сдѣлала, а просто отдали бы ее въ руки судей, и сослали бы тѣ ее на каторгу. Можетъ-быть, тамъ ей даже легче бы стало; наказаніемъ грѣхъ искупился бы. А онъ-то, мужъ-то ея, развѣ ожилъ бы отъ этого? Убійцу какъ ни суди, куда ни ссылай—все онъ будетъ убійцей и передъ людьми, и передъ Богомъ...

Она присѣла на жесткій стулъ у окна и стала безцѣльно смотрѣть на монастырскій дворъ. Онъ весь былъ полонъ досокъ, бревенъ, кирпичей и булыжника. Сразу было видно, что здѣсь все перестраивается, передѣлывается, обновляется. «Матушка Серафима—строительница», вспомнились Зиминой слова Варвары. Что это за женщина, къ которой совѣтовали ей заѣхать и отецъ Іонъ, и Варвара, разсказывавшая съ восторгомъ, какъ умѣетъ матушка Серафима всякаго разговорить? Да развѣ ее-то, Софью Дмитріевну, можно разговорить? Она даже и не скажетъ матушкѣ Серафимѣ своего горя, тяготы своей душевной—умретъ, а не скажетъ. Мужа придушила! И за что придушила? Ей вспомнилось все прежнее. Почти дѣвочкой осталась она послѣ смерти своей полусумасшедшей бабки-генеральши, не хотѣвшей признавать освобожденія крестьянъ и разсердившейся за эту эмансипацію на весь міръ. На улицу ее вышвырнули тогда родственники въ одномъ платьѣ и Богъ-вѣсть, что было бы съ ней, если бы ее не пріютилъ у себя онъ, ея покойный мужъ, содержавшій гласную кассу ссудъ. Онъ тогда былъ уже и не особенно молодъ, и чахоткой страдалъ, но какъ онъ ее полюбилъ!—тиранилъ, терзалъ своей любовью, то чуть не убивая ее отъ ревности, то валяясь у нея въ ногахъ съ просьбами о прощеніи. А она? Глупа она была тогда, какъ вполнѣ неопытный ребенокъ: не понимала, что это-то и есть настоящая любовь. И измѣнила она ему, прельстившись смазливымъ личикомъ перваго встрѣчнаго офицерика, приходившаго къ нимъ въ кассу закладывать вещи и отъ скуки заигрывавшаго съ ней. Какихъ страховъ натерпѣлась она, назначая свиданія своему возлюбленному! И чѣмъ за все это онъ, губитель, отплатилъ ей? Фальшивые векселя ради него она выдавала; сама терзалась ревностью, чувствуя, что онъ ей измѣняетъ; задушила своими руками уже умиравшаго мужа, чтобы спасти себя и своего губителя отъ скамьи подсудимыхъ, чтобы заставить этого губителя жениться на ней, и въ ту минуту, когда былъ совершенъ уже смертный грѣхъ, она узнала, что тотъ, обольститель ея—душегубъ, злодѣй—женится на другой.

— На немъ грѣхъ мой, на немъ, проклятомъ! — мрачно прошептала она.—О, вотъ кому сказала бы, что я, я вотъ этими руками придушила мужа изъ-за него, проклятаго! Пусть бы терзался, какъ я терзаюсь!..

Ея глаза устремились тупо въ пространство.

Черезъ дворъ проходили то въ ту, то въ другую сторону

фигуры монахинь. Однѣ шли плавной, чинной поступью совершенно спокойныхъ и безмятежныхъ людей, которымъ какъ будто не о чемъ было думать, некуда было спѣшить, нечѣмъ было волноваться; другія шагали твердо и быстро, размахивая руками, какъ дѣловитые чернорабочіе люди, спѣшащіе исполнить возложенный на нихъ тяжелый трудъ и поглощенные всецѣло мыслью объ этомъ трудѣ. Никогда ей, Зиминой, не походить ни на тѣхъ, ни на другихъ—ни дойти до этой безмятежности, ни окунуться съ головой до самозабвенія въ черный трудъ. Но отчего же? Можетъ-быть, матушка Серафима совершитъ чудо, «разговоритъ» ее; вѣдь и другія женщины поступали сюда не отъ радости, имѣли свои печали, свои грѣхи?

— Грѣхи, грѣхи!—почти вслухъ сказала она, стиснувъ мрачно зубы.—Какіе у нихъ грѣхи передъ моимъ грѣхомъ! Онѣ про свои грѣхи говорить могутъ, а я...

Она пугливо оглядѣлась, точно боясь, что кто-нибудь можетъ подслушать ее. Въ комнатѣ уже было совсѣмъ темно, и только свѣтъ теплившейся лампады разливалъ въ переднемъ углу слабый ровный свѣтъ. Зимина устремила глаза на образъ, висѣвшій въ углу. Это было изображеніе Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ. Живопись была очень тонкая, нѣсколько зализанная, блестѣвшая новымъ лакомъ. Лица Богоматери и Младенца Іисуса, ихъ одѣянія, все это не напоминало обыкновенныхъ образовъ и скорѣе походило на картину свѣтскаго содержанія, чѣмъ на образъ. «Это, вѣрно, здѣсь въ школѣ дѣлано»,—подумала Зимина, вспомнивъ, что Варвара говорила ей о стремленіи матушки Серафимы обучить нѣкоторыхъ молоденькихъ послушницъ живописи. «Да, должно быть, что здѣсь дѣлано, а то такъ не рисуютъ образовъ»,—продолжала думать Зимина. «Матушка Серафима любитъ, чтобы все покрасивѣе было»,—вспомнила она слова Варварушки. «Недаромъ даже при дворѣ она бывала въ ранней молодости»,—продолжала думать Софья Дмитріевна. «Какъ же она въ монахини попала? Зачѣмъ? Тоже грѣхъ какой-нибудь былъ? Можетъ-быть, потому-то она и умѣетъ разговаривать людей, подкрѣплять ихъ? Какъ-то она приметъ ее, Зимину?» Она начала представлять въ своемъ воображеніи фигуру матушки Серафимы, ея пріемъ...

— Ахъ ты, Господи Боже мой, да вы и не ложились, кажись!—послышалось восклицаніе матери Дороѳеи, прикоснувшейся рукой къ плечу Зиминой.—А ужъ я подумала,

не приключилось ли что съ вами. Стучала, стучала въ двери, а отъ васъ ни гласа, ни послушанія...

Зимина съ трудомъ подняла голову и осмотрѣлась кругомъ мутными глазами: на дворѣ уже стоялъ бѣлый день. Она проспала всю ночь сидя, опустивъ голову на руки, положенныя на подоконникъ. Когда она припала лицомъ на руки, долго ли находилась въ этомъ положеніи—она сама не знала. Должно-быть, однако, что такъ проведена была вся ночь, такъ какъ ея тѣло отъ неловкаго положенія было какъ бы изломаннымъ, а на малокровномъ лицѣ, на щекѣ и на лбу врѣзались глубоко отпечатки отъ складокъ рукава правой руки, на которой она проспала ночь; по этой рукѣ бѣгали теперь мурашки и ее слегка покалывало, какъ иголками.

— Оправьтесь, напейтесь чайку да и къ матушкѣ игуменіи идти надо,—сказала мать Дорооея.—Вонъ она уже на постройкахъ ходитъ.

Софья Дмитріевна полусознательно взглянула въ окно на дворъ и какъ бы замерла, жадно вглядываясь въ ту женщину, отъ которой она ждала облегченія въ своихъ печаляхъ. На дворѣ, среди строеній, слегка подобравъ одной рукою подолъ платья, проходила высокая и все еще стройная, несмотря на начинавшуюся полноту, женщина. За нею шелъ безъ шапки какой-то мужикъ или купецъ, должно-быть, подрядчикъ, указывавшій ей не оканчиваемое строеніе. Смотря на нее, можно было сразу сказать, что она сумѣла бы носить всякую одежду, даже менѣе красивую, чѣмъ ея черный и длинный монашескій костюмъ. Каждая складка ловко и живописно лежала на ея величавой фигурѣ, а манера приподнимать слегка длинную рясу обличала привычку граціозно приподнимать длинные трены модныхъ платьевъ и придворныхъ шлейфовъ. Величавость и горделивость ея фигуры, ея осанки, ея поступи еще сильнѣе оттѣнялись тѣмъ видимымъ подобострастіемъ, съ какимъ относились къ ней окружающіе: мужики торопливо снимали шапки при видѣ ея, встрѣчавшіяся монахини и послушницы кланялись ей чуть не до земли. Софью Дмитріевну, никогда не отличавшуюся особенною смѣлостью, теперь охватила невыразимая робость при видѣ этой женщины и въ душѣ вдругъ проснулось желаніе уѣхать, скорѣе уѣхать, даже не повидавшись съ нею. И чего ей видѣться съ нею? Развѣ она можетъ ей-то помочь? Развѣ она можетъ разговорить ее, когда сами святые угодники не облегчили ея окаянной души? Но отступать было поздно, отступленіе могло вызвать раз-

ные толки, подозрѣнія; надо было перенести это свиданіе, каково бы оно ни было.

Зимина стала торопливо умывать лицо и руки, пригладила кое-какъ свои сухіе волосы, привела, насколько было возможно, въ порядокъ свой туалетъ.

Не прошло и получаса, какъ мать Дороѳея уже вела Зимину къ домику, занимаемому настоятельницей и носившему среди монахинь названіе «пустыньки». Это былъ небольшой, похожій на обыкновенную дачу, домъ съ балконами и террасами, окруженный небольшимъ садикомъ. Этотъ полный цвѣтовъ садикъ составлялъ часть монастырскаго густо разросшагося сада, отъ котораго онъ отдѣлялся только легкой рѣшеткой. Деревья уже роняли свои листья и производили странное впечатлѣніе своей пестротой: пучки еще уцѣлѣвшей то тутъ, то тамъ яркой зелени мѣшались съ массою желтой листвы всѣхъ оттѣнковъ, кончая ярко-красными и коричневыми цвѣтами кленовыхъ листьевъ; среди этихъ, еще сохранившихъ свой нарядъ, деревьевъ торчали, какъ скелеты, уже совершенно голыя деревья, непріятно раскидывая въ стороны и поднимая къ небесамъ свои вѣтви-лапы, точно напоминая о смерти, и тутъ же, рядомъ съ ними, свѣшивались внизъ, точно кораллы, кисти ярко-красной рябины. Цвѣтовъ въ монастырскомъ саду не было и только въ садикѣ «пустыньки» они являлись въ изобиліи. Здѣсь, въ куртинахъ, еще не увядала лѣтняя жизнь, и пестрыя астры, георгины и штокъ-розы, а кое-гдѣ и остатки позднихъ настурцій, петуній и цинній оживляли картину увяданья природы, о которомъ говорили здѣсь только шуршавшіе подъ ногами сухіе листья, безшумно кружившіеся въ воздухѣ и падавшіе на аллеи.

Мать Дороѳея ввела Зимину въ домъ матушки Серафимы черезъ обставленную миртами, гортензіями и геранями террасу, и оставила ее одну, шепнувъ ей подобострастнымъ тономъ:

— Подождите!

Комната, гдѣ осталась Софья Дмитріевна, обличала сразу, что матушка Серафима любитъ и удобства, и украшенія. Масса выхоленныхъ цвѣтовъ, гардины у оконъ и салфетки на столахъ замѣчательной работы, подушки на диванѣ и скамеечки для ногъ, испещренныя вышитыми букетами цвѣтовъ, писанныя масляными красками тонкой работы картины духовнаго содержанія, дорогое піанино у стѣны, бронзовые подсвѣчники и лампады,—все это говорило, что здѣсь

живетъ женщина, отличающаяся изящнымъ вкусомъ и умѣющая устроиться въ своемъ гнѣздышкѣ. Зимина не рѣшалась сѣсть и, съ сильно бьющимся сердцемъ, осталась стоять въ ожиданіи матушки Серафимы, чувствуя, что вотъ-вотъ начнется ея истерика. Она сильно боялась этихъ припадковъ, во время которыхъ не отдавала себѣ отчета въ своихъ словахъ.

Ждать пришлось, однако, не долго. Дверь, за которой скрылась мать Дороѳея, безшумно отворилась.

Въ комнату вошла матушка Серафима, величавая, стройная, хранившая еще слѣды былой красоты. Ее портили теперь только черныя, слишкомъ загустѣвшія брови, придававшія какое-то особенно рѣзкое и суровое выраженіе ея лицу. Она окинула своимъ зоркимъ и спокойнымъ взглядомъ стоявшую передъ ней Зимину. Эта маленькая, преждевременно поблекшая фигурка теперь, казалось, еще болѣе принизилась и олицетворяла собой страхъ, смущеніе, стыдъ. Она и безъ того казалась самой себѣ такою ничтожной, жалкой, преступной, а тутъ ей приходилось еще стоять передъ этой женщиной, объ умѣ и добродѣтели которой такъ много говорили ей еще вчера и одна фигура которой съ часъ тому назадъ такъ смутила ее своей величавостью.

— Мнѣ говорили, что вы желаете пожить и отдохнуть нѣкоторое время въ нашей обители?—начала мать Серафима, осѣнивъ крестнымъ знаменіемъ склонившуюся невольнымъ движеніемъ къ ея рукѣ Зимину, и, сѣвъ въ кресло у предиваннаго стола, пригласила ее легкимъ знакомъ руки занять мѣсто на противоположномъ креслѣ.

— Да... я... я не въ монахини хочу вступить, но...—начала Зимина, потупляясь и путаясь.

Теперь ей уже ничего не хотѣлось, какъ только уѣхать скорѣе отсюда отъ любопытныхъ глазъ матери Дороѳеи, отъ гордаго взгляда матушки Серафимы.

— Вамъ сколько лѣтъ?—спросила мать Серафима.

Зимина прошептала, сколько ей лѣтъ.

— Только? — сказала матушка Серафима и съ удивленіемъ всмотрѣлась въ это смятое лицо.—Вы, вѣрно, много пережили?

Зимина, не отвѣчая на этотъ вопросъ, вдругъ разрыдалась, точно она не ждала вопроса.

Матушка Серафима переждала немного и снова спросила:

— Вы вѣдь вдова?

— Да... я... я была замужемъ,—отвѣтила Зимина.

— Несчастливо?

— О, очень! очень!.. Мой мужъ...

Зимина опять расплакалась.

— Давно онъ умеръ?—спросила матушка Серафима.

— Нѣтъ, нѣтъ... я... Онъ... недавно умеръ...

Матушка Серафима всматривалась пристально въ лицо Зиминой, какъ бы стараясь прочитать что-то въ ея душѣ. Ее интересовала эта личность, о которой ей такъ много непонятнаго разсказывала Варвара. Потеряла стараго, повидимому, нелюбимаго мужа, получила большое наслѣдство и не можетъ прійти въ себя отъ горя.

— Разскажите мнѣ свою исторію,—неторопливо сказала она.—Я должна знать, кто вы, что привело васъ сюда.

Зимина почти съ ужасомъ взглянула на нее, и этотъ ужасъ не ускользнулъ отъ пытливаго вниманія матушки Серафимы. Она еще внимательнѣе стала всматриваться въ молодую женщину, желая вполнѣ проникнуть въ ея душу.

— Что же мнѣ разсказывать?— проговорила растерянно Зимина.—Мнѣ нечего разсказывать.

— Гдѣ вы росли, гдѣ воспитывались?—спросила матушка Серафима.

— Сиротой взяла меня бабушка, — отвѣтила Зимина. — Строгая она, сердитая была. Когда крестьянъ отобрали, она начала сердиться на всѣхъ за это. Мнѣ больше всѣхъ доставалось. Я, какъ въ монастырѣ, росла. Сперва мы богаты были, гувернантка при мнѣ жила. Потомъ бабушка совсѣмъ обѣднѣла, закладывала свои вещи и умерла. Родные бабушки пріѣхали, сказали, что я незаконная дочь своего папы, и выгнали меня. Я на улицѣ осталась съ голоду умирать.

Она говорила совсѣмъ такъ, какъ дѣти разсказываютъ, коротенькими фразами, припоминая, что за чѣмъ слѣдуетъ, что еще надо сказать.

— Кто же васъ спасъ?—продолжала разспрашивать мать Серафима.

— Онъ спасъ, онъ, — пробормотала Зимина и разрыдалась.—Безъ него я умерла бы, а онъ спасъ. Встрѣтилъ на улицѣ, взялъ къ себѣ и спасъ... Благодарить бы его я должна, а я, окаянная...

Она вдругъ испуганно смолкла и какъ-то дико оглядѣлась кругомъ, точно желая убѣдиться, не подслушалъ ли кто ея тайныхъ мыслей, которыхъ она твердо рѣшилась даже на духу священнику не высказывать.

— О комъ вы говорите?—спросила невозмутимо матушка Серафима.—Кто это онъ?

— Леонидъ Григорьевичъ, мой мужъ,—упавшимъ голосомъ отвѣтила Зимина, стараясь овладѣть собою. — Онъ меня встрѣтилъ, разспросилъ обо всемъ. Бабушку онъ зналъ. Ее всѣ знали на Петербургской сторонѣ. Мальчишки за ней бѣгали, какъ за сумасшедшей. Онъ увидалъ, что мнѣ некуда идти, и взялъ къ себѣ служить конторщицей. Конторщикъ у него умеръ, онъ за конторщика меня и взялъ. Ну, а потомъ я понравилась ему, онъ и женился на мнѣ.

Матушка Серафима продолжала выспрашивать, вытягивая слово за словомъ у Зиминой. Онъ держалъ гласную кассу ссудъ. Онъ былъ некрасивъ, уже не молодъ, и носилъ въ груди зародыши чахотки. Его раздражала каждая мелочь, такъ что съ нимъ было трудно ужиться. Онъ все боялся обѣднѣть, такъ какъ уже испыталъ, что значитъ быть бѣднымъ...

— Онъ васъ любилъ?—неожиданно спросила игуменья.

— О... о... любилъ, а я окаянная!—раздалось восклицаніе Зиминой, и снова ее охватилъ ужасъ.

Положительно ей не слѣдовало говорить о мужѣ, вспоминать прошлое, а тутъ ее разспрашиваютъ.

— Вы не любили его, — проговорила матушка Серафима и, не дождавшись отвѣта, спросила:—Вы ушли отъ него?

— Нѣтъ, нѣтъ,—отвѣтила Зимина.

— Значитъ, вы обманывали его?—спросила матушка Серафима.

Зимина молчала, сидя съ опущенной головой.

— Васъ обманулъ другой?—допрашивала матушка Серафима.

— О, проклятый, проклятый! — воскликнула Зимина. — Онъ погубилъ меня, душу мою погубилъ! Изъ-за него совершила...

Опять на ея лицѣ отразился ужасъ. Матушка Серафима сухо проговорила:

— Враговъ нужно прощать!

— Прощать! прощать!—воскликнула съ жаромъ Зимина.— Какъ простить, когда онъ счастливъ? Онъ поигралъ со мною и бросилъ меня, а я, окаянная, изъ-за него на душу грѣхъ взяла. Я прощу, а меня Господь не проститъ, не отмолю я никогда своего грѣха.

— Богъ внемлетъ молитвѣ покаявшихся грѣшниковъ, —

опять такъ же сухо проговорила мать Серафима.—Вашъ мужъ не зналъ вашего проступка?

— Нѣтъ, нѣтъ!—заторопилась отвѣтить Зимина.

— Значитъ, его послѣднія минуты не были отравлены вами?

Зимина стиснула зубы, чтобы не говорить.

— Вотъ если бы вы точно убили его...

— Нѣтъ, нѣтъ, что вы! Кто это вамъ сказалъ?—воскликнула съ ужасомъ Софья Дмитріевна, едва переводя духъ и глядя на мать Серафиму расширенными, дико блуждающими глазами.

— Вѣдь его же могло бы убить извѣстіе о вашей измѣнѣ, — пояснила матушка Серафима.—Вы сами говорили, что онъ безумно любилъ васъ.

Зимина молчала, стараясь успокоиться, собраться съ силами.

— Онъ умеръ на вашихъ рукахъ? — спросила матушка Серафима, не спуская съ нея глазъ.

Зимина опять разрыдалась истерическими рыданіями. Изъ ея груди вырывались теперь какіе-то дикіе крики:

— Не могу, не могу!.. Охъ, я, окаянная!.. Не могу!..

Матушка Серафима продолжала холодно вглядываться въ нее и странныя мысли бродили теперь въ ея головѣ. Не убила ли она мужа? Не ускорила ли она его смерти? Эти мысли приходили ей въ голову и тогда, когда Варвара отдавала ей подробный отчетъ о Зиминой. Матушка Серафима тогда такъ и спросила прямо:

— Что она убила его, что ли?

Варвара тогда даже засмѣялась:

— Да вы, матушка, взгляните на нее: комара ей не убить.

Теперь матушка Серафима глядѣла на нее и опять задумалась надъ вопросомъ: не убила ли она мужа? Неужели она, эта маленькая, тщедушная, ничтожная и жалкая женщина,—убійца? Какъ знать! Эти ничтожныя натуры могутъ въ минуту вспышки совершить преступленіе и только не могутъ потомъ смѣло смотрѣть на людей. По ея лицу скользнуло высокомѣрное выраженіе брезгливости и презрѣнія. Оправившаяся немного Зимина подняла глаза на матушку Серафиму и увидала это презрительное, уничтожающее выраженіе на ея лицѣ. Она какъ-то съежилась, принизилась, притихла, точно ее застали на мѣстѣ преступленія и вмѣсто всякаго наказанія презрительно ткнули ногой въ лицо, какъ гадину.

— Вамъ надо много поработать для спасенія своей души,— сказала сухо и холодно мать Серафима, поднимаясь съ мѣста и выпрямившись во весь ростъ.

— О, о, только не гоните меня, не гоните,—воскликнула Зимина, сама не сознавая, что она говоритъ, и упала передъ матушкой Серафимой на колѣни, ловя ея руку.

Матушка Серафима съ непобѣдимымъ инстинктивнымъ отвращеніемъ отдернула свою руку, проговоривъ почти сурово:

— Не надо! не надо!

Въ ея головѣ мелькнула мысль, что вотъ эти самыя руки, ловящія ея руку, быть-можетъ, обагрены человѣческою кровью.

— Вамъ нуженъ прежде всего отдыхъ,—проговорила она, дѣлая надъ собой усиліе.—Я пришлю къ вамъ Дороѳею...

Она быстро пошла изъ комнаты, оставивъ Зимину почти лежащею на полу.

III.

Варварушка,—жившая теперь не въ монастырѣ, а въ своемъ домѣ, со старухой-теткой, ходившей по богомольямъ и читавшей псалтирь надъ покойницами,—забѣжала, на другой день послѣ возвращенія въ Чистополье, къ Софьѣ Дмитріевнѣ. Послѣдняя только-что вернулась въ свою комнату послѣ свиданія съ матушкой Серафимой и почти безъ чувствъ лежала на постели. Давно уже не чувствовала она себя такъ скверно, какъ теперь. Не безъ щемившаго ей сердце страха шла она къ матушкѣ Серафимѣ, наслышавшись вездѣ, и въ Петербургѣ, и въ разныхъ монастыряхъ, объ ея умѣ, объ ея проницательности, объ ея добродѣтеляхъ, но никакъ не ждала она того, что случилось. Матушка Серафима, какъ показалось Зиминой, сразу увидала въ ней убійцу и почти оттолкнула ее, какъ бы сказала ей: «нѣтъ прощенія тебѣ, окаянной». Это повторяла себѣ и сама Зимина со дня смерти своего мужа, особенно послѣ того памятнаго ей дня, когда нашли завѣщаніе покойнаго Зимина, сдѣлавшаго его тайкомъ отъ всѣхъ и завѣщавшаго все своей женѣ, помимо своего двоюроднаго брата Ѳедора Семеновича Зимина. Это завѣщаніе было какъ бы загробной местью со стороны покойника. Тогда, въ этотъ памятный день, Софью Дмитріевну Зимину точно обухомъ ударили по головѣ, и она чуть не покаялась публично, что именно она убила своего мужа, что нѣтъ ей, окаянной, прощенія ни на этомъ, ни на томъ свѣтѣ, теперь вотъ это же, какъ будто, сказала и та женщина,

отъ которой она ждала утѣшенія,—того утѣшенія, котораго она тщетно искала у святыхъ угодниковъ, посѣщая съ Варварушкой разныя святыя мѣста.

Она лежала, какъ убитая, не думая даже о томъ, что теперь дѣлать, бѣжать ли, куда глаза глядятъ, молиться ли еще усерднѣе о прощеніи грѣховъ. Она очнулась, когда Варварушка раза два окликнула ее своимъ пѣвучимъ, мягкимъ голосомъ.

— Что съ вами опять, голубушка, приключилось?—спросила Варварушка, видя, что Софья Дмитріевна, наконецъ, открыла мутные глаза.

Зимина взглянула на нее, недоумѣвая, не сразу узнавъ Варварушку.

Варварушка была, дѣйствительно, неузнаваема: она была одѣта нарядно, пестро, голова уже не покрывалась чернымъ платкомъ, а обвивалась, какъ вѣнцомъ, густыми, мелко заплетенными въ широкій аграмантъ косами, съ которыхъ былъ сброшенъ на шею пестрый шелковый платокъ.

— Что вы такъ смотрите на меня? — заговорила съ тихимъ смѣхомъ Варварушка, сознавая, что она очень красива въ новомъ нарядѣ и въ новой прическѣ. — Въ черномъ-то я въ дорогѣ только бываю. Подлипалы-то чернаго боятся. А такъ-то — вольный я человѣкъ, во что захочу, въ то и наряжусь. И, признаться, надоѣло мнѣ это черное-то одѣяніе, ровно въ травурѣ по своей молодости ходишь. А я дѣвка еще молодая, покрасоваться хочу... Ну, да что обо мнѣ толковать! Вы-то, голубушка моя, съ чего опять разнемоглись? Съ дороги измаялись нешто?

Зимина начала слезливо жаловаться.

Была она у матушки Серафимы. Душу она ей всю раскрыла, а та ни слова привѣтливаго, ни слова утѣшенія не сказала. Точно судья на допросѣ, все выспрашивала, какъ и что, точно уличить ее въ чемъ хотѣла. Не въ чемъ ее уличать! Ей въ печаляхъ утѣшеніе нужно, а она, матушка-то Серафима, точно судить ее за что вздумала.

Въ голосѣ Зиминой слышалась не одна слабость, но и нѣкоторая раздражительность противъ матушки Серафимы, нѣкоторая непріязнь.

— Нѣтъ, видно, мнѣ здѣсь не житье. Я тишины и спокойствія ищу, утѣшенія въ печаляхъ, а не грубостей,—закончила она почти рѣзкимъ, суровымъ и враждебнымъ тономъ, который со смерти мужа сталъ нерѣдко проявляться въ ея голосѣ.

Варварушка всполошилась.

Какъ же это такъ она уѣдетъ? Варварушка обѣщала матушкѣ Серафимѣ, что Зимина монастырю поможетъ изъ своихъ большихъ средствъ, и разсчитывала сама при Зиминой въ родѣ компаньонки и совѣтницы быть, и вдругъ она уѣдетъ. Куда? Ужъ не къ той ли противной старухѣ—теткѣ покойнаго Зимина, Марьѣ Ивановнѣ Шустовой, которую сразу не взлюбила Варварушка, познакомившись съ ней въ Петербургѣ? Старуха не промахъ, сумѣетъ втереться къ Зиминой въ расположеніе, даромъ что злобствуетъ въ душѣ на нее за то, что ей все мужъ предоставилъ, помимо сынка самой Марьи Ивановны, Ѳедора Семеновича Зимина. Она и ко святымъ мѣстамъ отговаривала Зимину ѣхать. Говорила, что всѣ эти богомолья — пустяки, для простыхъ бабъ придуманные. Еще бы! около денегъ кому не лестно быть.

— Полноте, голубушка моя! — воскликнула Варварушка неподражаемо-льстивымъ тономъ, и стала гладить и цѣловать исхудалую крошечную руку Софьи Дмитріевны. — Матушка Серафима — строгой жизни человѣкъ. Съ перваго взгляда она суровой кажется, и по сану ея это полагается, а въ сущности ангелъ это, какъ есть ангелъ, а не женщина!

— Оставила меня чуть не мертвую на полу, чувствъ я лишилась,—продолжала жаловаться Зимина: — выслала помочь мнѣ эту противную соглядатайшу, мать Дороѳею. Да я ради нея одной не останусь здѣсь. Именно лазутчица, какъ ты мнѣ говорила. Глаза такъ и сверкаютъ, какъ у змѣи...

— Плюньте вы на нее! — сказала пренебрежительно Варварушка.—Захотите вы, она и на глаза вамъ не покажется. Какъ въ воду канетъ! Вы не даромъ здѣсь жить будете, а за свои деньги. Какъ захотите, такъ и устроитесь. Матушка Серафима вамъ все предоставитъ. Вы вотъ теперь сосните, отдохните, Христосъ съ вами, а тамъ и увидимъ, что дѣлать. Чайку-то пили?

Зимина не хотѣла чаю. Ей нуженъ былъ только отдыхъ. Варварушка уложила ее поудобнѣе, подправила подъ ея головой подушку и, продолжая гладить ея руку, какъ малаго ребенка, усыпила ее своими ласковыми, пѣвучими рѣчами. Зимина, съ перваго же дня знакомства съ Варварушкой, успокаивалась и утихала отъ ея ласкъ, отъ ея пѣвучихъ рѣчей. Это былъ единственный человѣкъ, умѣвшій облег-

чать ея больную душу. Увидѣвъ, что Зимина уснула, Варварушка на цыпочкахъ вышла изъ комнаты и неслышно заперла за собою двери. Она направилась къ матушкѣ Серафимѣ и застала ее ходящею со сдвинутыми бровями взадъ и впередъ по комнатѣ. Это былъ вѣрный признакъ того, что матушка Серафима была чѣмъ-то взволнована и недовольна. Въ такихъ случаяхъ она не знала устали и, какъ въ клѣткѣ, ходила по своей комнатѣ, переживая внутреннюю борьбу.

— А, это ты,—отрывисто сказала она, увидавъ вошедшую къ ней, съ ея благословенія, Варвару.

Варвара смиренно поцѣловала ея руку и, потупивъ глаза, осталась ждать вопросовъ. Первая она никогда не начинала разговора съ матушкой Серафимой.

— Видѣла свою Зимину?—отрывисто спросила матушка Серафима.

— Видѣла, матушка, — сказала Варвара и коротко пояснила, поджавъ губы:—Уѣзжать собирается.

Матушка Серафима сдвинула еще болѣе свои густыя брови. Этого она не ожидала.

— Что такъ?—мелькомъ спросила она, точно не разслышавъ или не понявъ словъ Варвары.

— Я, говоритъ, утѣшенія въ своихъ печаляхъ и успокоенія искала, а здѣсь, говоритъ, что же меня ждетъ: помыкать мной, вѣрно, будутъ за мои же деньги, — смиренно произнесла Варварушка.—Матушка Дороѳея, извѣстно, человѣкъ простой, грубый, неполированный,—поторопилась пояснить Варварушка, точно Зимина и дѣйствительно хотѣла уѣхать ради одной матери Дороѳеи:—а Софья Дмитріевна женщина хрупкая, деликатнаго тѣлосложенія, характера мягкаго...

Она вздохнула соболѣзнующимъ вздохомъ.

— Изъ нея лаской, какъ изъ воска, что хочешь лѣпи, и много она пользы могла бы принести тому, кто съ нею обращеніе сумѣетъ имѣть. Душа привязчивая и благодарности въ ней къ каждому, обласкавшему ее, много...

Матушка Серафима хотѣла что-то сказать и до боли закусила губы. Все утро послѣ свиданія съ Софьей Дмитріевной она промучилась какимъ-то двойственнымъ чувствомъ, точно въ ней говорили два голоса. Одинъ подсказывалъ ей, что она сразу—не теперь, а еще при первыхъ толкахъ съ Варварушкой о Зиминой и о томъ, что послѣдняя желаетъ поселиться въ монастырѣ, — угадала правду,

заподозривъ Зимину въ убійствѣ мужа, и вселялъ въ нее какое-то непобѣдимое отвращеніе къ этой ничтожной преступницѣ. Въ этомъ чувствѣ сказывались барство, брезгливость, отвращеніе, высокомѣріе. Эти ощущенія часто пробуждались въ матушкѣ Серафимѣ чуть не съ колыбели, и побѣждать ихъ было ей не легко: всякая грязь отталкивала ее, мелкіе людишки и мелкія дрязги вызывали ея презрѣніе, на безсиліе она смотрѣла свысока. Другой голосъ подсказывалъ ей, что она не имѣетъ права отталкивать грѣшницу; что грѣшницѣ надо дать возможность искупить грѣхъ, что не намъ быть судьями, такъ какъ судья—одинъ Богъ, что эта кающаяся женщина можетъ послужить доброму дѣлу, помочь обители, преуспѣянію и расширенію которой обязана содѣйствовать она, матушка Серафима. Чѣмъ дальше шли эти вторыя разсужденія, чѣмъ болѣе выяснялись въ умѣ матушки Серафимы всѣ нужды обители,—неотложные платежи и расходы по перестройкамъ и обновленіямъ монастыря, — тѣмъ болѣе сердилась на себя матушка Серафима, сознавая, какъ умная женщина, что она начинаетъ хитрить сама съ собою, лгать передъ самой собою, насиловать свою природу. Она сознавала, что христіанская всепрощающая любовь была въ этомъ случаѣ далека отъ ея сердца, а что прежде всего въ ея умѣ копошились теперь чисто практическіе расчеты. Ей такъ и навертывался на языкъ, уже разъ сдѣланный ею Варварушкѣ, вопросъ: «да что она убила своего мужа, что ли?» и именно этотъ вопросъ она боялась сдѣлать теперь, точно страшась, что Варварушка возьметъ, да и скажетъ своимъ пѣвучимъ голосомъ: «ну, что же дѣлать, матушка, если лукавый попуталъ; и человѣкъ-то на ладанъ дышалъ, и душить-то было нечего, самъ бы померъ къ утру». Отъ Варварушки, которую матушка Серафима знала отлично, можно было ожидать и такого отвѣта. А сдѣлай его Варварушка, тогда все пропало: противъ подозрѣній еще можно было бороться, — но утвердительный отвѣтъ объ убійствѣ мужа Зимиой окончательно заставилъ бы оттолкнуть виновную.

— Вотъ бы матушку Нектарію попросить навѣстить ее,— вдругъ нараспѣвъ заговорила Варварушка: — она бы ее ублажила и приголубила. Жаль ужъ очень ее, бѣдную: ну, уѣдетъ, не отдохнувши здѣсь душою, въ Петербургъ, тамъ совсѣмъ ее съ толку собьетъ эта самая тетка мужа. Вотъ человѣкъ-то: сама липнетъ къ ней, какъ муха къ меду, а въ душѣ утопить бы готова ее, потому что покойный-то

Зиминъ все женѣ, а не имъ, теткѣ и двоюродному брату, завѣщалъ. Десятки тысячъ, говорилъ мнѣ отецъ Іона, — оставилъ, да еще и больше того. Одними брильянтами, да золотыми вещами десятокъ невѣстъ наградить въ приданое можно бы. Марья Ивановна Шустова, тетка-то ея мужа, да ея сыночекъ Ѳедоръ Семеновичъ Зиминъ, какъ узнали это отъ доктора Фроста,—что душеприказчикомъ назначенъ былъ покойнымъ,—такъ чуть не лопнули со злости. Мать-то съ сыномъ разругались даже въ-дрызгъ изъ-за этого: упрекалъ онъ ее, что она не усторожила, когда завѣщаніе писалось. Ѳедоръ-то Семеновичъ у покойнаго не бывалъ,—въ контрахъ они были,—ну, а Шустиха-то ходила за больнымъ Зиминымъ; съ того самаго сынокъ-то съ матерью и разругался: «проморгали, говоритъ, наслѣдство». Ну, да они помирятся, чтобы заодно насѣсть на Софью Дмитріевну, если она отсюда въ Петербургъ вернется. Обобрать захотятъ ее. Деньги она-то на святое дѣло употребила бы, а тутъ—вы меня, матушка, ужъ извините—псамъ подъ хвостъ все пойдетъ. Ей-Богу!

Варварушка, немного жеманясь, засмѣялась тихимъ, конфузливымъ, неподражаемо-своеобразнымъ смѣхомъ. Матушка Серафима тяжело дышала, чувствуя, что ее душитъ злоба на себя, что она не можетъ прійти ни къ какому рѣшенію.

— Матушка Нектарія, конечно, могла бы разговорить Софью Дмитріевну, чтобы она погостила здѣсь еще, — продолжала соображать Варварушка.—Послушаетъ благочестивыхъ рѣчей, помолится, да поработаетъ что-нибудь въ обители, горе-то ея, можетъ, и стихнетъ. Дѣтокъ бы ей обучать поручить, рукодѣльница она, вышиваетъ, словно рисуетъ, у бабушки своей еще обучена была этому.

— Безъ тебя знаю, что и какъ сдѣлать,—оборвала ее рѣзко матушка Серафима, не любившая совѣтовъ и желавшая во всякомъ дѣлѣ дѣйствовать самостоятельно.

— Матушка, да развѣ я не знаю! — съ напускнымъ испугомъ въ голосѣ воскликнула Варварушка и вдругъ, не выдержавъ напускного страха, снова тихо разсмѣялась.

Матушка Серафима сдвинула брови и строгимъ, вопросительнымъ взглядомъ посмотрѣла на нее:

— Что ты?

— Да вотъ Софья Дмитріевна пришла на умъ!—пояснила Варварушка, стараясь говорить вкрадчиво и жеманно.— Вотъ-то дитё малое. Шагу сама не сумѣетъ ступить, все ее научи, вездѣ ее обереги. Я и то ей смѣялась: «ходульки

бы, говорю, вамъ сдѣлать, голубушка, вотъ какъ дѣтямъ дѣлаютъ, когда они еще ходить не умѣютъ».

И, оборвавъ свою рѣчь, со вздохомъ закончила:

— Умнаго-то человѣка около нея только не было, а то, какъ липку, могъ бы ободрать ее на мочало...

Варварушка опять поцѣловала руку матушки Серафимы и вышла отъ нея, неслышной поступью ступая по ковру. У матушки Серафимы она всегда старалась ходить такъ осторожно, какъ будто ходила по раскаленному желѣзу. Вернувшись къ Софьѣ Дмитріевнѣ, она застала ее еще спящей и, не будя, подсѣла къ окну. По двору то и дѣло проходили послушницы и монахини. Среди тишины слышался только визгъ пилъ да удары топоровъ въ той сторонѣ, гдѣ шла еще постройка. Каменныя работы окончились и въ выстроенномъ изъ кирпича флигелѣ прилаживались рамы, двери, полы. Смотря во дворъ, Варварушка замѣтила торопливо шагавшую матушку Дорофею и подумала: «куда это ее послала матушка Серафима?» Мать Дорофея вошла во флигель, гдѣ жила матушка - казначея, и черезъ нѣсколько минутъ появилась снова, уже въ сопровожденіи Нектаріи. Варварушка усмѣхнулась: «по-моему, видно, надумала сдѣлать». Она совсѣмъ развеселилась, вполнѣ довольная собой. «И что это я за дѣвка, такъ это и повѣрить трудно, — самодовольно разсуждала она.—Ужъ на что матушка Серафима умна, а сама того не придумала, что я ей указала. А и обидѣлась, какъ я свои резонты представлять начала. Еле я отъ смѣху удержалась. Свалила все на то, будто надъ Софьей Дмитріевной смѣюсь». Она была убѣждена, что ни одно слово, сказанное ею матушкѣ Серафимѣ, и не приходило въ голову самой игуменьѣ, и, конечно, не подозрѣвала, какой внутренней борьбы стоило матушкѣ Серафимѣ исполнить то, что ей, Варварушкѣ, казалось такъ легко и просто...

Она посмотрѣла на спавшую Зимину. Теперь ей хотѣлось, чтобы Зимина проснулась поскорѣй и подкрѣпилась ѣдой, такъ какъ ей предстояло еще говорить съ матушкой-казначеей. Положимъ, съ матушкой-казначеей всякому легко говорить. Человѣкъ-то она безобидный, не отъ міра сего, ровно младенецъ новорожденный. Ничего, кромѣ монастырской жизни, и не знаетъ. Чуть ни родилась тутъ, да тутъ и состарилась. Софья Дмитріевна пошевелилась, и Варварушка торопливо подошла къ ней. Зимина обрадовалась, что ея вѣрная спутница была при ней. Та настойчиво начала предлагать чаю съ булочками, объясняя, что и она прого-

лодалась. Софья Дмитріевна теперь не отказывалась отъ ѣды, ощущая тоже голодъ. Варварушка захлопотала, командуя въ коридорѣ и кухнѣ находившимися при странноприимномъ домѣ монахинями и послушницами.

Объ женщины еще пили чай, когда въ двери постучался кто-то, и мягкій женскій голосъ проговорилъ:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

На что послужило отвѣтомъ обычное:

— Аминь!

— Матушка Нектарія!—шепнула Варварушка Зиминой, когда въ комнату, крестясь, вошла приземистая, кругленькая и розовенькая старушка-монахиня съ дѣтски пухленькимъ личикомъ, съ ямками на щекахъ и на подбородкѣ.

Зимина поцѣловала ея пухлую, маленькую руку и пригласила ее откушать чаю.

— Грѣшница, грѣшница, люблю испить тепленькаго—на душѣ теплѣе и сердце радуется,—съ дѣтскою улыбкою отвѣтила мать Нектарія, присаживаясь къ столу и крестясь.—Матушка-настоятельница наша говорила мнѣ, что вы пожаловали погостить къ намъ на зиму. Милости просимъ, милости просимъ, у насъ здѣсь хорошо! А-ахъ, какъ хорошо!

— На что лучше! — подтвердила Варварушка, разливая чай въ чашки.

— Воздухъ легкій, житіе тихое, пища не обременительная,—продолжала матушка Нектарія и начала пить маленькими глоточками съ блюдечка чай, прикусивъ кусочекъ сахару.

— Мнѣ нуженъ покой душевный, въ моихъ печаляхъ утѣшеніе,—тихо пояснила Зимина.

— Здѣсь все найдете, матушка, что ищетъ душа скорбящая,—проговорила матушка Нектарія:—недугамъ—исцѣленіе, скорбямъ—утѣшеніе, грѣхамъ—отпущеніе. Житіе въ обители—райской жизни предвкушеніе. Тутъ и помолиться можете, и если поработать на Божіе дѣло желаете—работа по силамъ всегда найдется; тоже если отъ усердія вашего пожелаете споспѣшествовать украшенію храма Господня—обитель наша всякую лепту приметъ съ благодарностью.

— Я готова,—сказала Зимина. — Мнѣ только бы успокоиться хотѣлось...

Она тяжко вздохнула:

— Охъ, грѣхи мои, грѣхи! Ихъ замолить бы...

— Замолите, матушка, замолите! — утвердительно-благодушнымъ тономъ произнесла мать Нектарія.—Гдѣ же и за-

ливать грѣхи, какъ не здѣсь?.. Грѣхи всегда можно замолить, въ уныніе и отчаяніе не впадая. Господь видитъ нашу душу и по усердію нашему всегда отпущаетъ грѣхи наши. Молитвою, дѣлами добрыми, щедротами въ храму Божію всякія согрѣшенія искупаются.

Варварушка вмѣшалась въ разговоръ:

— Софья Дмитріевна никогда не пожалѣетъ ничего на украшеніе храма.

— Я, я готова,—согласилась Зимина.

— Вотъ плащаницу намъ надо бы новенькую,—проговорила матушка Нектарія. — Храмъ-то Божій благолѣпнымъ хочется видѣть. Иногда это, какъ разукрасишь все,—сама не наглядишься, стояла бы по цѣлымъ часамъ въ умиленіи, любовалась бы благолѣпіемъ. А плащаница-то у насъ ужъ ветхость приходитъ. Собираемъ на это дѣло цѣлый годъ приношенія, а вытрясли изъ кружки всего двадцать рублей пѣнадцать копеекъ. Купецъ тоже Свиньинъ пожертвовалъ пять рублей. Что это за деньги!

— Я готова,—опять повторила Зимина.

— Вотъ вы, матушка, тоже говорили о трудѣ,—опять вмѣшалась Варварушка.—Софья Дмитріевна отлично могла бы обучать дѣтей рукодѣльямъ, вышивкѣ и прочему. У насъ теперь все больше кружево русское плетутъ, а кружево-то то самое что? Его и по деревнямъ бабы, и въ городѣ мѣщанки изготовляютъ. Софья-то Дмитріевна могла бы разнымъ работамъ дѣвочекъ обучать.

— Благое дѣло, благое дѣло!—согласилась мать Нектарія. — У насъ въ обители народъ все больше простой, такихъ работъ не знаетъ. Благое дѣло, если захотите потрудиться.

— Я готова,—какъ бы въ полудремотѣ повторила Зимина.

— Дѣточки все сироточки больше у насъ, — сказала съ сокрушеніемъ мать Нектарія. — Ни отцовъ, ни матерей не помнятъ. Иная и ласки никогда не видала съ колыбели, и Богъ вѣсть, что ждетъ ее впереди, если не останется въ святой обители и не приметъ ангельскаго чина. Свѣтъ-то грѣховенъ и золъ, какъ разъ погибнуть въ немъ можно,— ни души, ни тѣла не спасешь. Блаженъ, кто могъ никогда не заглядывать въ него...

Матушка Нектарія говорила однотонно, мѣрно, спокойно. Глядя на ея розовое личико, нельзя было предположить ни на минуту, чтобы что-нибудь могло смутить ее. Она всѣмъ была довольна, для нея все было хорошо въ ея обители,

для нея не было ничего страшнаго на этомъ свѣтѣ, за этими стѣнами, и на томъ свѣтѣ—для живущихъ въ этихъ стѣнахъ. Она провела здѣсь всю жизнь и заботилась только объ одномъ, чтобы всѣ здѣсь были сыты, обуты и одѣты, чтобы все здѣсь было благолѣпно. Благолѣпіе тѣшило ея дѣтскую душу, какъ игрушка ребенка. Правда, она ровно ничего не понимала ни въ архитектурѣ, ни въ живописи, ни въ исторіи искусства, и руководствовалась своимъ довольно ребяческимъ и наивнымъ вкусомъ въ дѣлѣ разныхъ украшеній на образахъ, на лампадахъ, привѣшивая на золоченые вѣнчики гирлянды какихъ-нибудь пестрыхъ, сдѣланныхъ изъ бумаги, цвѣтовъ, не имѣвшихъ ничего общаго ни по цвѣту, ни по рисунку съ живыми цвѣтами, или прицѣпляя подъ лампады что-то въ родѣ бархатныхъ юбочекъ, вышитыхъ аляповато блестками и обшитыхъ неумѣло канителью. Матушку Серафиму выводила часто изъ терпѣнія эта дѣтская наивность матери Нектаріи, но мать Нектарія никакъ не могла понять, почему, напримѣръ, эта бархатная юбочка не гармонируетъ съ золотой лампадой въ русскомъ стилѣ, или почему къ тонко написанному образу нельзя нацѣпить сдѣланныхъ изъ пестрой бумаги цвѣтовъ,— не могла понять и, подпершись рукой розовую щеку, подолгу съ умиленіемъ любовалась трудами рукъ своихъ по части благолѣпія. Матушку Серафиму это раздражало, но она не пробовала даже протестовать и, раздражительно пожавъ плечами, уходила отъ этой «блаженной». Безмятежное, елейное спокойствіе матери Нектаріи дѣйствовало на всѣхъ заразительно, такъ какъ въ немъ не было ничего дѣланнаго, надуманнаго, неискренняго, и въ Зиминой, подъ ея разговоръ, точно на-время задремало все терзавшее ее: обыденная жизнь ушла куда-то далеко-далеко, и на сцену выдвинулось только одно желаніе: успокоить себя молитвою, добрыми дѣлами, заботами о благолѣпіи храма, и достигнуть того блаженнаго состоянія духа, котораго сподобилась мать Нектарія.

IV.

Въ монастырской школѣ, по расписанію, начинался классъ рукодѣлья. Преподаваніемъ рукодѣлій, — вышивки гладью, бисеромъ и золотомъ, — занималась уже давно Софья Дмитріевна, рѣшившаяся остаться въ монастырѣ на неопредѣленное время.

Ея пребываніе въ монастырѣ было не безвыгодно для него,

такъ какъ она не только хорошо платила за свое содержаніе, не только сдѣлала крупный вкладъ, пригодившійся въ монастырскомъ хозяйствѣ при послѣднихъ расчетахъ съ подрядчиками по окончаніи осенниихъ работъ, но и согласилась безвозмездно заниматься въ извѣстные часы въ рукодѣльной школѣ. По части изящныхъ рукодѣлій, она была мастерица и не даромъ провела надъ пяльцами почти всѣ годы своей первой молодости въ домѣ своей старой бабки-генеральши. Она уже не первый день усердно исполняла свои школьныя обязанности, и мать Нектарія уже не разъ, подпирая рукою съ приподнятымъ указательнымъ пальцемъ свою розовую съ ямочкою щеку, приходила въ умиленіе отъ благолѣпія начатыхъ въ школѣ, подъ руководствомъ Софьи Дмитріевны, работъ и даже говорила, что сама матушка-настоятельница находитъ ихъ прекрасными. Сама матушка-игуменья какъ-то избѣгала заходить въ классы во время занятій Софьи Дмитріевны и видѣлась съ послѣдней только мелькомъ въ церкви, сухо раскланиваясь съ ней и на ходу благословляя ее. Несмотря на то, что Софья Дмитріевна,—и прежде, а въ особенности послѣ смерти мужа, принимавшаяся за многое автоматично, по чужой волѣ, по чужому совѣту,—уже нѣсколько втянулась въ свои занятія и нашла въ нихъ болѣе успокоенія отъ тяжелыхъ думъ, чѣмъ въ путешествіи по святымъ мѣстамъ,—на этотъ разъ она была сильно взволнована. Что ее взволновало? Не то ли обстоятельство, что именно сегодня матушка Серафима, какъ сообщили Зиминой еще наканунѣ, хотѣла сама зайти въ классъ и посмотрѣть узоры, которые предназначались для вышивки воздуховъ золотомъ по бархату? Волненія ея начались уже вчера и ее страшно разстроила сцена, случившаяся во время классовъ: во время урока одна изъ самыхъ маленькихъ дѣвочекъ расплакалась. Софья Дмитріевна стала ее заботливо разспрашивать, о чемъ она плачетъ, но малютка ничего не могла объяснить и на всѣ вопросы только лепетала:

— Скучно!

Какъ ни ничтожна и ни обыденна была эта сценка, но Софья Дмитріевна какъ бы придралась къ случаю, чтобы снова разстроиться. Она тотчасъ же начала рыться въ своемъ прошломъ: въ дѣтствѣ у бабушки она тоже часто плакала за работой и плакала именно потому, что ей было «скучно»; первое, что ощутила она въ гласной кассѣ ссудъ — своего мужа — это тоже была скука, невыносимая скука,

и какъ часто плакала она и тутъ, за конторкой кассы, потому что ей было «скучно», пока не явился *онъ*, ея проклятый «соблазнитель», Петръ Павловичъ Муратовъ. Этихъ думъ было довольно, чтобы Софья Дмитріевна снова чуть не слегла въ постель, думая уже не о работѣ, не о дѣвочкахъ, а о себѣ, о своихъ несчастіяхъ, о своемъ грѣхѣ, обо всемъ, что заставляло ее тупо устремлять глаза куда-то вдаль и какъ бы застывать въ леденящемъ ее ужасѣ. Впрочемъ, въ ея душѣ и вообще поднималось не мало тяжелыхъ ощущеній при видѣ этихъ дѣтей, и часто, глядя на нихъ, она чувствовала, что на ея глаза навертываются слезы, а въ головѣ бродятъ мысли: «и я была такою же несчастною, безъ отца, безъ матери, незаконная». Она глотала слезы и старалась казаться спокойной, старалась принудить себя думать о своихъ занятіяхъ, а не о себѣ. Сегодня же, чувствуя, что ей непремѣнно нужно быть спокойной, — именно нынче, при матушкѣ Серафимѣ, передъ которой она постоянно падала духомъ,—она какъ нарочно никакъ не могла овладѣть собою при видѣ этихъ дѣтей, точно она видѣла ихъ впервые, жалкихъ, растущихъ среди чужихъ, запертыхъ въ четырехъ стѣнахъ, облеченныхъ въ вѣчный трауръ. Ихъ личики, иногда пухленькія и кругленькія, были по большей части блѣдны; кожа казалась прозрачною, такъ что сквозь нее просвѣчивались сѣточкой синеватыя тонкія жилки на вискахъ. Ихъ малокровная блѣдность выступала сильнѣе отъ ихъ траурныхъ нарядовъ, въ которыхъ допускались только черный, сѣрый и бѣлый цвѣта. Черныя повязки придавали странный видъ ихъ головкамъ, какъ бы заострявшимся спереди. У большинства, отъ блѣдности кожи, глаза, окруженные синевой, казались больше, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ, и въ ихъ взглядахъ было что-то особенное, — не то недоумѣніе, не то испугъ. «Ровно галчата», припомнились Зиминой слова Варварушки, говорившей ей съ соболѣзнованіемъ о монастырскихъ дѣвочкахъ.

Уроки, по обыкновенію, начинались пѣніемъ молитвы. Тоненькіе, чистые, звонкіе голоса звучали стройно, сливаясь въ одно цѣлое, и только голоса двухъ-трехъ старшихъ ученицъ выдѣлялись низкими альтовыми нотами, напоминавшими скорѣе мужскіе, чѣмъ женскіе голоса. Это пѣніе дѣтей, возносившихъ молитвы къ Подателю силъ, еще болѣе разстроило теперь Софью Дмитріевну, нуждавшуюся тоже въ подкрѣпленіи ея силъ, и по ея дряблымъ щекамъ текли крупныя слезы... Она не успѣла отереть

ихъ, какъ въ комнату вошла матушка Серафима. Ея поступь, ея осанка, ея нарядъ,—все было какъ-то величаво, торжественно, внушительно. На минуту въ классѣ произошелъ переполохъ, дѣвочки подходили подъ благословеніе матушки-игуменьи и цѣловали ея руку. Что-то особенно поспѣшное, пугливое было теперь въ ихъ движеніяхъ, точно каждая изъ нихъ ждала за что-нибудь строгаго выговора. Было видно, что ихъ, при каждомъ удобномъ случаѣ, монахини пугаютъ матушкой Серафимой. Наконецъ, матушка Серафима обратилась къ Зиминой; та тоже робко склонила голову къ ея рукѣ и на эту руку капнуло нѣсколько горячихъ слезинокъ. Матушка Серафима строгими глазами взглянула на Софью Дмитріевну, только теперь замѣтивъ, что она плачетъ. Стараясь скрыть свои слезы, Зимина заторопилась показать новые рисунки воздуховъ, которые предполагалось вышивать.

— Это для чаши со святыми дарами... Это для дароносицы,—поспѣшно объясняла она.—Это...

Она съ трудомъ перевела духъ.

— Тутъ канителью вышьется, а здѣсь блестками, — заторопилась она еще болѣе, желая во что бы то ни стало скрыть свое волненіе и волнуясь еще болѣе отъ этихъ усилій переломить себя.—Я думаю не мѣшать серебра съ золотомъ, лучше одно золо... ло...

И вдругъ, не совладавъ съ собою, не кончивъ начатой фразы, она почувствовала, что ея слезы сами собою, противъ ея воли, градомъ льются на рисунки.

Мать Серафима подняла на нее глаза. Это былъ холодный, строгій, нѣсколько презрительный взглядъ. Казалось, онъ безмолвно приказывалъ ей: «перестань».

— Вы больны?—сухо спросила она Зимину.

— Нѣтъ... это... нервы,—отрывисто отвѣтила Софья Дмитріевна, силясь не разрыдаться.—Господи!

Матушка Серафима пожала плечами и холодно заговорила по-французски:

— Вамъ надо постараться справиться со своими нервами. Это Богъ знаетъ до чего доводитъ людей. Здѣсь же, въ школѣ, и безъ того эти дѣвочки предрасположены ко всякимъ истерикамъ и нервничанью. Вы можете заразить ихъ еще болѣе своимъ примѣромъ и вмѣсто пользы принести вредъ. Разъ вы взялись за дѣло, вы и должны думать о немъ, а не...

Она презрительно передернула плечами.

— Развѣ я знаю, что у васъ на душѣ, о чемъ вы плачете?

Зимина уже не плакала, а стояла понуривъ голову, какъ провинившаяся школьница. Она чувствовала яснѣе, чѣмъ когда-нибудь, что матушка Серафима подавляетъ ее, пригнетаетъ однимъ своимъ взглядомъ, однимъ тономъ своего голоса. Когда-то въ дѣтствѣ она слышала о разныхъ свирѣпыхъ и хищныхъ созданіяхъ, при одномъ взглядѣ которыхъ словно замирали ихъ жертвы. Она тогда очень, очень боялась встрѣтить кого-нибудь съ такимъ взглядомъ. Впрочемъ, мало ли чего она тогда боялась!

— Я согласна съ вами,—заговорила матушка Серафима снова по-русски, сухимъ и дѣловымъ тономъ:—что смѣшивать серебро съ золотомъ здѣсь не слѣдуетъ. Это было бы безвкусіемъ, хотя это и указано на рисункѣ. Кромѣ того, я нахожу эти углы совсѣмъ не соотвѣтствующими узору въ серединѣ.

— Они жидки нѣсколько, тогда какъ средній букетъ слишкомъ густъ, — тихо сказала Зимина. — Крайнія вѣтки на углахъ надо или совсѣмъ уничтожить, укоротить, или сдѣлать гораздо гуще.

— То-есть, какъ это гуще?—спросила настоятельница.

— Стоитъ только прибавить нѣсколько цвѣтовъ-васильковъ и бутоновъ — и эти крайніе колосья и травинки не будутъ торчать такъ одиноко,—пояснила Софья Дмитріевна.

Матушка Серафима спросила:

— Вы куда же помѣстите васильки?

— Вотъ сюда по васильку, — указала Зимина: — а къ краю пару полураспустившихся бутоновъ, вотъ между этими колосьями.

— Вы сумѣете это сами нарисовать?

— О, да!

Матушка Серафима спросила по-французски:

— Вы въ золотошвейной учились?

— О, нѣтъ!.. у насъ крѣпостныя женщины знали всѣ эти работы, — отвѣтила въ смущеніи Зимина. — И я... въ дѣвушкахъ... у бабушки только и занималась тѣмъ, что вышивала... Цѣлые дни... цѣлые годы...

Воспоминаніе о дѣвическихъ годахъ снова взволновало Зимину, и она почувствовала, что вотъ-вотъ опять расплачется. Матушка Серафима уловила дрожаніе въ ея опять обрывавшемся голосѣ и снова строго взглянула на нее, точно приказывая ей молчать и не плакать. Зимина безпомощно опустила голову.

— Если вы научитесь владѣть собою, вы можете еще быть очень полезны школѣ, монастырю,—сказала матушка Серафима по-французски, и затѣмъ, разсмотрѣвъ вшитый въ пяльцы бархатъ цвѣта камилавокъ, предназначавшійся для воздуховъ, снова благословила дѣтей и направилась къ выходу своей плавной, величавой походкой.

Когда Зимина подняла свою поникшую голову, матушки Серафимы уже не было въ классѣ. Зимину окружили дѣвочки и начали разспрашивать, когда онѣ начнутъ новую работу и какъ она распредѣлится между ними. Онѣ всѣ полюбили уже Зимину, потому что она была съ ними кротка и ласкова, смотрѣла такою же слабою и несчастною, какъ многія изъ нихъ, часто вздыхала и плакала. Окруженная ими, объясняя имъ, гдѣ сѣсть, съ чего начать, дѣлая, при помощи двухъ старшихъ воспитанницъ, первую наметку узора на бархатѣ, Зимина мало-по-малу успокоилась, и въ ея головѣ мелькнула мысль, что она была бы почти совершенно спокойна здѣсь, молясь о прощеніи своего грѣха и работая на пользу этихъ дѣтей, напоминавшихъ ея собственную раннюю молодость, если бы не матушка Серафима. Матушка Серафима, которую всѣ такъ превозносятъ, глядитъ на нее съ какимъ-то брезгливымъ чувствомъ, какъ на гадину, и какъ бы говоритъ, что ей нѣтъ прощенія. Неужели она все угадала при помощи своей прозорливости и изрекла надъ ней приговоръ: «тебѣ нѣтъ прощенія»? Да, да, страшенъ ея грѣхъ. Болѣе тяжкаго грѣха и нѣтъ! Молиться ей надо, каяться, извести себя муками здѣсь, чтобы спастись тамъ...

— Ну, что вы раскудахтались?—раздался грубый голосъ вошедшей въ классъ матери Дороѳеи. — Не умѣете сидѣть смирно по мѣстамъ.

Дѣти притихли. Мать Дороѳея обратилась къ Зиминой и вкрадчивымъ, льстивымъ голосомъ замѣтила ей:

— Вы ихъ, матушка Софья Дмитріевна, построже держите. Распускать ихъ нельзя! Ну, что это онѣ стадомъ-то около васъ стоятъ! Точно мухи на сахаръ налетѣли...

Зимина нахмурилась и нѣсколько рѣзко отвѣтила ненавистной ей женщинѣ:

— Мои занятія таковы, что дѣвочкамъ нужно быть около меня. Нельзя же имъ откуда-то изъ угловъ смотрѣть, какъ здѣсь вышиваютъ...

Мать Дороѳея стиснула въ трубочку свои тонкія губы и замолчала, подумавъ: «вишь, туда же огрызаться стала».

Она въ свою очередь ненавидѣла Зимину за ея несообщительность и замкнутость, и шпіонничала за нею болѣе, чѣмъ за кѣмъ-нибудь другимъ.

Вернувшись въ свою комнату, Зимина застала у себя Варварушку, исполнявшую въ городѣ всякія порученія Софьи Дмитріевны по части покупокъ, и очень удивилась, видя, что она старается что-то прикрыть носовымъ платкомъ.

— Что это вы, Варварушка, прячете?—спросила Софья Дмитріевна, здороваясь съ ней.

— Извините, матушка Софья Дмитріевна, — конфузливо смѣясь, сказала Варварушка.—Погадать безъ васъ на картахъ думала о своемъ антиресѣ, а вы вдругъ вошли, я и обомлѣла, думала, не Дороѳея ли лазутчица вошла. Загрызла бы. Мы вѣдь съ ней что днѣ цѣпныя собаки...

Зимина покачала головой.

— Глупости это все,—проговорила она.—Вотъ моя бабушка покойная все гадала съ утра до ночи... Ничего не выгадала!

— Ахъ, нѣтъ, голубушка Софья Дмитріевна, вы не говорите этого. Иногда карты все разскажутъ,—горячо возразила Варварушка.—Вы ужъ позвольте, я еще разложу...

— Мнѣ все равно,—отвѣчала равнодушно Зимина.

— Одно дѣло тутъ я задумала, очень ужъ оно мнѣ антиресно,—пѣвуче заговорила Варвара, раскладывая на столѣ карты.—Коли сбудется, заживу я барыней. Ухъ, такъ ужъ заживу, что а-ахъ!

— Что вы задумали, Варварушка? — спросила не безъ удивленія Зимина.—Ужъ опять не любовь ли?

— Ну, любовь не любовь, а замужъ я надумалась выйти,— пояснила Варварушка, не отрывая глазъ отъ картъ и водя по нимъ пальцами.

— Замужъ?—воскликнула Софья Дмитріевна.—Да какъ же? Вы же сами говорили, что никогда не свяжете себя замужествомъ?

— Мало ли что говорила! Случая такого не ждала,— отозвалась Варварушка и радостно воскликнула: — такъ и есть: любящій человѣкъ на сердцѣ!.. Вѣрите ли, сегодня и дома, и здѣсь пять разъ раскидывала карты, и все одно и то же... Сердечный антиресъ, король на сердцѣ,—объяснила она, разсматривая карты: — и марьяжъ. Такъ оно и должно быть. Безпремѣнно такъ и сбудется. Милліонщицей буду!

Софья Дмитріевна, немного стѣсняясь, спросила:

— А какъ же... Вы не боитесь?

— Чего это?—откликнулась Варварушка, тасуя колоду.

— Онъ... женихъ вашъ все знаетъ?—пояснила Зимина.

— Про ребенка-то?—спросила Варварушка равнодушно.

— Ну, да,—подтвердила Зимина.

— Вотъ дура я, что стану себя срамить!

Варварушка безпечно засмѣялась, показавъ два ряда своихъ бѣлыхъ зубовъ. Зимина смутилась, пораженная этой безпечностью.

— А какъ же... если узнаетъ вдругъ послѣ?—начала она.

— Ахъ, голубушка Софья Дмитріевне, совсѣмъ вы дитя малое,—весело и ласково, почти покровительственно проговорила Варварушка. — Насъ, дѣвокъ, коли что захотимъ скрыть, ни въ жисть не изловятъ. И человѣкъ онъ не такой, чтобы чего бояться... Взглянуть не на что...

— Такъ вы его и не любите?—воскликнула Софья Дмитріевна, уже окончательно возмущенная.—Не любите и хотите выйти замужъ! Да знаете ли вы, какое это несчастіе выйти безъ любви! Это...

— Ну, какое же несчастье! Говорю я вамъ, что милліонщикъ онъ,—сказала Варварушка, пряча карты.

— Деньги! деньги!—заволновалась Софья Дмитріевна.— Деньгами сердце не заставишь молчать. Черезъ деньги слезы льются. Деньги-то иногда до смертныхъ грѣховъ доводятъ.

Выраженіе лица Зиминой стало мрачно. Варварушка засмѣялась и бойко пояснила:

— А я согрѣшу, а потомъ покаюсь!

Она встала и обняла Зимину, звонко поцѣловавъ ее въ обѣ щеки.

— Ахъ, вы, дитя мое милое, голубушка вы моя ненаглядная!

Зимина даже не улыбнулась въ отвѣтъ на эту ласку. Въ ея душѣ поднялись мрачныя мысли: вотъ, если бы сказать Варварушкѣ, до чего довела ее, Зимину, жизнь съ немилымъ богачомъ, — не стала бы Варварушка смѣяться и шутить: «согрѣшу и покаюсь». Холодомъ бы ее обдало, кровь въ жилахъ заледенѣла бы. Нѣтъ, бываютъ грѣхи, въ которыхъ, сколько ни кайся, все не замолишь ихъ. Да полно, такъ ли? Развѣ Богъ не милосердъ? Лѣнимся мы только молиться-то. Вотъ деньги на монастырь она, Зимина, жертвуетъ, потому что ихъ у нея много и не на что ихъ здѣсь тратить; вотъ учитъ она дѣтей въ школѣ работамъ,

Зиминъ все женѣ, а не имъ, теткѣ и двоюродному брату, завѣщалъ. Десятки тысячъ, говорилъ мнѣ отецъ Іона, — оставилъ, да еще и больше того. Одними брильянтами, да золотыми вещами десятокъ невѣстъ наградить въ приданое можно бы. Марья Ивановна Шустова, тетка-то ея мужа, да ея сыночекъ Ѳедоръ Семеновичъ Зиминъ, какъ узнали это отъ доктора Фроста,—что душеприказчикомъ назначенъ былъ покойнымъ,—такъ чуть не лопнули со злости. Мать-то съ сыномъ разругались даже въ-дрызгъ изъ-за этого: упрекалъ онъ ее, что она не усторожила, когда завѣщаніе писалось. Ѳедоръ-то Семеновичъ у покойнаго не бывалъ,—въ контрахъ они были,—ну, а Шустиха-то ходила за больнымъ Зиминымъ; съ того самаго сынокъ-то съ матерью и разругался: «проморгали, говоритъ, наслѣдство». Ну, да они помирятся, чтобы заодно насѣсть на Софью Дмитріевну, если она отсюда въ Петербургъ вернется. Обобрать захотятъ ее. Деньги она-то на святое дѣло употребила бы, а тутъ—вы меня, матушка, ужъ извините—псамъ подъ хвостъ все пойдетъ. Ей-Богу!

Варварушка, немного жеманясь, засмѣялась тихимъ, конфузливымъ, неподражаемо-своеобразнымъ смѣхомъ. Матушка Серафима тяжело дышала, чувствуя, что ее душитъ злоба на себя, что она не можетъ прійти ни къ какому рѣшенію.

— Матушка Нектарія, конечно, могла бы разговорить Софью Дмитріевну, чтобы она погостила здѣсь еще, — продолжала соображать Варварушка.—Послушаетъ благочестивыхъ рѣчей, помолится, да поработаетъ что-нибудь въ обители, горе-то ея, можетъ, и стихнетъ. Дѣтокъ бы ей обучать поручить, рукодѣльница она, вышиваетъ, словно рисуетъ, у бабушки своей еще обучена была этому.

— Безъ тебя знаю, что и какъ сдѣлать,—оборвала ее рѣзко матушка Серафима, не любившая совѣтовъ и желавшая во всякомъ дѣлѣ дѣйствовать самостоятельно.

— Матушка, да развѣ я не знаю! — съ напускнымъ испугомъ въ голосѣ воскликнула Варварушка и вдругъ, не выдержавъ напускного страха, снова тихо разсмѣялась.

Матушка Серафима сдвинула брови и строгимъ, вопросительнымъ взглядомъ посмотрѣла на нее:

— Что ты?

— Да вотъ Софья Дмитріевна пришла на умъ!—пояснила Варварушка, стараясь говорить вкрадчиво и жеманно.— Вотъ-то дитё малое. Шагу сама ие сумѣетъ ступить, все ее научи, вездѣ ее обереги. Я и то ей смѣялась: «ходульки

бы, говорю, вамъ сдѣлать, голубушка, вотъ какъ дѣтямъ дѣлаютъ, когда они еще ходить не умѣютъ».

И, оборвавъ свою рѣчь, со вздохомъ закончила:

— Умнаго-то человѣка около нея только не было, а то, какъ липку, могъ бы ободрать ее на мочало...

Варварушка опять поцѣловала руку матушки Серафимы и вышла отъ нея, неслышной поступью ступая по ковру. У матушки Серафимы она всегда старалась ходить такъ осторожно, какъ будто ходила по раскаленному желѣзу. Вернувшись къ Софьѣ Дмитріевнѣ, она застала ее еще спящей и, не будя, подсѣла къ окну. По двору то и дѣло проходили послушницы и монахини. Среди тишины слышался только визгъ пилъ да удары топоровъ въ той сторонѣ, гдѣ шла еще постройка. Каменныя работы окончились и въ выстроенномъ изъ кирпича флигелѣ прилаживались рамы, двери, полы. Смотря во дворъ, Варварушка замѣтила торопливо шагавшую матушку Дорофею и подумала: «куда это ее послала матушка Серафима?» Мать Дорофея вошла во флигель, гдѣ жила матушка - казначея, и черезъ нѣсколько минутъ появилась снова, уже въ сопровожденіи Нектаріи. Варварушка усмѣхнулась: «по-моему, видно, надумала сдѣлать». Она совсѣмъ развеселилась, вполнѣ довольная собой. «И что это я за дѣвка, такъ это и повѣрить трудно, — самодовольно разсуждала она.—Ужъ на что матушка Серафима умна, а сама того не придумала, что я ей указала. А и обидѣлась, какъ я свои резонты представлять начала. Еле я отъ смѣху удержалась. Свалила все на то, будто надъ Софьей Дмитріевной смѣюсь». Она была убѣждена, что ни одно слово, сказанное ею матушкѣ Серафимѣ, и не приходило въ голову самой игуменьѣ, и, конечно, не подозрѣвала, какой внутренней борьбы стоило матушкѣ Серафимѣ исполнить то, что ей, Варварушкѣ, казалось такъ легко и просто...

Она посмотрѣла на спавшую Зимину. Теперь ей хотѣлось, чтобы Зимина проснулась поскорѣй и подкрѣпилась ѣдой, такъ какъ ей предстояло еще говорить съ матушкой-казначеей. Положимъ, съ матушкой-казначеей всякому легко говорить. Человѣкъ-то она безобидный, не отъ міра сего, ровно младенецъ новорожденный. Ничего, кромѣ монастырской жизни, и не знаетъ. Чуть ни родилась тутъ, да тутъ и состарилась. Софья Дмитріевна пошевелилась, и Варварушка торопливо подошла къ ней. Зимина обрадовалась, что ея вѣрная спутница была при ней. Та настойчиво начала предлагать чаю съ булочками, объясняя, что и она прого-

лодалась. Софья Дмитріевна теперь не отказывалась отъ ѣды, ощущая тоже голодъ. Варварушка захлопотала, командуя въ коридорѣ и кухнѣ находившимися при странноприимномъ домѣ монахинями и послушницами.

Обѣ женщины еще пили чай, когда въ двери постучался кто-то, и мягкій женскій голосъ проговорилъ:

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

На что послужило отвѣтомъ обычное:

— Аминь!

— Матушка Нектарія!—шепнула Варварушка Зиминой, когда въ комнату, крестясь, вошла приземистая, кругленькая и розовенькая старушка-монахиня съ дѣтски пухленькимъ личикомъ, съ ямками на щекахъ и на подбородкѣ.

Зимина поцѣловала ея пухлую, маленькую руку и пригласила ее откушать чаю.

— Грѣшница, грѣшница, люблю испить тепленькаго—на душѣ теплѣе и сердце радуется,—съ дѣтскою улыбкою отвѣтила мать Нектарія, присаживаясь къ столу и крестясь.—Матушка-настоятельница наша говорила мнѣ, что вы пожаловали погостить къ намъ на зиму. Милости просимъ, милости просимъ, у насъ здѣсь хорошо! А-ахъ, какъ хорошо!

— На что лучше! — подтвердила Варварушка, разливая чай въ чашки.

— Воздухъ легкій, житіе тихое, пища не обременительная,—продолжала матушка Нектарія и начала пить маленькими глоточками съ блюдечка чай, прикусивъ кусочекъ сахару.

— Мнѣ нуженъ покой душевный, въ моихъ печаляхъ утѣшеніе,—тихо пояснила Зимина.

— Здѣсь все найдете, матушка, что ищетъ душа скорбящая,—проговорила матушка Нектарія:—недугамъ—исцѣленіе, скорбямъ—утѣшеніе, грѣхамъ—отпущеніе. Житіе въ обители—райской жизни предвкушеніе. Тутъ и помолиться можете, и если поработать на Божіе дѣло желаете—работа по силамъ всегда найдется; тоже если отъ усердія вашего пожелаете споспѣшествовать украшенію храма Господня—обитель наша всякую лепту приметъ съ благодарностью.

— Я готова,—сказала Зимина. — Мнѣ только бы успокоиться хотѣлось...

Она тяжко вздохнула:

— Охъ, грѣхи мои, грѣхи! Ихъ замолить бы...

— Замолите, матушка, замолите! — утвердительно-благодушнымъ тономъ произнесла мать Нектарія.—Гдѣ же и за-

— Я при матушкѣ Серафимѣ жила, когда онѣ еще въ міру были...

— Изъ дворовыхъ значитъ, — рѣшила Шустова, зоркіе глаза которой умѣли сразу опредѣлять положеніе и характеръ людей.—Изъ муратовскихъ или изъ баскаковскихъ?

Мать Дороѳея, не ожидавшая такого вопроса, чуть не вскрикнула и растерялась.

— Развѣ вы знакомы?—почти испуганно спросила она.

— Кого я не знаю!—сказала Шустова, небрежно пожимая плечами.

— Такъ я предупрежу матушку-игуменью,—заторопилась мать Дороѳея и заботливо начала поднимать съ полу раскиданныя вещи Шустовой.

— Я вовсе не къ ней пріѣхала, — отрывисто сказала старуха и снова спросила:—такъ какъ же Софья Дмитріевна? кнычетъ все? Разсказывайте же!

Мать Дороѳея стянула въ трубочку губы и отвѣтила таинственно:

— Не узнали бы вы ихъ, Софью-то Дмитріевну! Ужъ такія-то строптивыя, такія-то суровыя стали, что страсть!

— Это она-то, мокрая курица?—расхохоталась холоднымъ ироническимъ смѣхомъ Шустова.

Мать Дороѳею охватило непреодолимое желаніе посплетничать и вылить все, что она подмѣтила, подслушала, подсмотрѣла. Смиреннымъ тономъ, потупляя быстро мигавшіе глаза, вздыхая соболѣзнующими вздохами, она начала разсказывать. Точно, что Софья Дмитріевна, какъ пріѣхала въ монастырь, такъ на каждомъ словѣ плакала, ровно дитя малое. Особенно не могла она даже смотрѣть на матушку игуменею: взглянетъ и сейчасъ въ слезы, и ровно въ обморокъ впадетъ. Точно на совѣсти у нея было такое, что на праведницу-то и глядѣть не можетъ.

— Это на матушку-то Серафиму?—съ насмѣшкой спросила Шустова.

— Да, матушка, да, на нее!—проговорила смиренно мать Дороѳея, потупляя глаза.

Затѣмъ она продолжала разсказывать, какъ мало-по-малу Зинаида плакать перестала и все теперь хмурая такая ходитъ, говоритъ точно срыву, точно злобствуетъ. Чуть что—попрекаетъ людей: и сплетничаютъ-то они, и молятся-то мало, и совѣсти-то у нихъ нѣтъ. Даже Варварка—ужъ на что та къ ней въ душу безъ мыла влѣзла—и той теперь достается отъ Софьи Дмитріевны.

— Это та дѣвка-то, что съ ней по святымъ мѣстамъ каталась?—перебила пренебрежительно Шустова.

— Она самая, она самая и есть, — подтвердила мать Дороѳея.—Преподлая душа!

И опять она начала объяснять, какъ живетъ Зимина: себя-то истощаетъ и постомъ, и молитвою; почище любой монахини постничаетъ и работаетъ въ школѣ безъ устали, обучая дѣвчонокъ, а ужъ молиться станетъ, такъ по цѣлымъ часамъ и въ грудь себя колотитъ, и поклоны великіе по сотнямъ дѣлаетъ, и ровно пластъ лежитъ передъ образомъ. Даже образъ перемѣнила: сперва у нея тутъ образъ Божіей Матери былъ новаго письма, ужъ таково-то хорошо нарисованъ, ужъ таково-то благолѣпенъ! — такъ, видите, мало строгости въ немъ нашла; не слѣдуетъ, говоритъ, въ такихъ нарядахъ святые лики на иконахъ изображать; убрала его и вотъ это изображеніе Господа нашего Іисуса Христа въ терновомъ вѣнцѣ повѣсила, потому что, извѣстно, стараго-то письма лики строгость изображаютъ. Здѣсь вотъ и лежитъ по цѣлымъ часамъ.

— При людяхъ молится?—коротко спросила Шустова и съ презрѣніемъ прибавила:—Что за комедія!

— Нѣтъ, какъ можно при людяхъ! Одна!—пояснила мать Дороѳея.

— А! такъ это вы подсмотрѣли!—равнодушно произнесла старая барыня.

Затѣмъ она пытливо стала разспрашивать, много ли платитъ за себя Зимина, сколько вкладовъ она сдѣлала въ монастырь, не хотятъ ли ее заставить постричься. Но ея разспросы не увѣнчались желаннымъ успѣхомъ. Мать Дороѳея вдругъ сдѣлалась незнающею и непомнящею и утратила всякую способность къ словоохотливости и краснорѣчію, отвѣчая коротко и несложно: «это дѣло не наше», «это матушка-игуменея знаетъ», «этимъ матушка-казначея завѣдуетъ», «мы простыя монахини и не въ свои дѣла носа не суемъ».

Впрочемъ, она и не успѣла бы вполнѣ удовлетворить настойчивое любопытство Марьи Ивановны и разсказать все, что знала относительно денежныхъ затратъ Зминиой, такъ какъ въ комнату вошла сама Софья Дмитріевна. Она не сразу узнала тетку своего покойнаго мужа или, вѣрнѣе, не сразу повѣрила своимъ глазамъ.

— Не ждали, ma chère?—съ иронической усмѣшкой сказала Шустова, — протягивая Софьѣ Дмитріевнѣ руку.—

Признаться, я и сама не думала попасть когда-нибудь въ эту берлогу. Хоть и говорятъ: «quand le diable devient vieux, il se fait ermite», но я-то такъ, вѣрно, и умру, бѣгая, какъ чортъ, отъ ладана. Только дѣла и могли привести сюда. А у меня дѣла все одного и того же свойства: «je brûle la chandelle par les deux bouts» и потому сижу постоянно à sec...

Она вдругъ обернулась къ матери Дороѳеѣ, все еще стоявшей въ комнатѣ и, повидимому, не намѣревавшейся уходить, и сказала тѣмъ тономъ, какимъ говорятъ служанкамъ:

— Благодарю, милая, вы намъ больше не нужны!

И, обернувшись къ Зиминой, когда еще мать Дороѳея не успѣла затворить за собой дверей, она проговорила:

— Не люблю я этихъ двуногихъ крѣпостныхъ ушей!

Потомъ, шутя, спросила:

— Я надѣюсь, что, спасая здѣсь свою душу, вы, ma chère, позволяете себѣ иногда выпить хоть чашку чаю?

— Вы хотите чаю? — сухо спросила Софья Дмитріевна, до этой минуты не сказавшая еще ни слова.

— Надѣюсь, что и вы пьете его, когда озябнете,—отвѣтила Марья Ивановна, досадливо вздергивая плечами.

Ее начинали раздражать сухость и сдержанность Софьи Дмитріевны, которая была теперь дѣйствительно неузнаваема. Зимина пошла сказать послушницѣ, приставленной къ ней для услугъ, чтобы та подала самоваръ. Потомъ она вернулась въ комнату и, присѣвъ у стола, коротко и сухо сказала теткѣ:

— Вы говорите о деньгахъ? Вы за ними пріѣхали?

— За ними, если хотите знать, потому что, проѣздомъ черезъ Москву, я осталась случайно безъ нихъ и едва добыла въ долгъ, подъ залогъ всего своего багажа, сколько-то рублей, чтобы завернуть сюда, — небрежно отвѣтила Шустова:—а отчасти заѣхала и затѣмъ, чтобы повидать васъ и... Скажите, неужели вы такъ и думаете схоронить себя здѣсь заживо въ ваши годы и съ вашими средствами?

— Я ежедневно благодарю Бога, что онъ даетъ мнѣ возможность замолить мои грѣхи,—сухо отвѣтила Зимина.

— То-есть даетъ возможность, чтобы васъ здѣсь обдирали, какъ липку,—презрительно сказала Марья Ивановна.

Молодая послушница внесла въ это время самоваръ и стала собирать изъ шкапчика чайную посуду. Шустова начала безцеремонно разсматривать ее своими циничными, холодными глазами, какъ вещь.

— Elle est bien jolie, mais c'est dommage, qu'on nourrit chez vous le monde seulement avec les versets de la Bible,— проговорила она, обращаясь къ Зиминой.

Зимина смотрѣла строго, ничего не отвѣчая теткѣ.

— Нѣтъ, ваша матушка Серафима пожила въ свое время не на постномъ маслѣ,—замѣтила Шустова, когда она и Зимина остались однѣ.

Зимина, разливая чай, мелькомъ равнодушно спросила:

— А вы и ее знали?

Софью Дмитріевну нисколько не удивило, что Шустова знала матушку Серафиму, такъ какъ старуха, казалось, знала весь міръ.

— Кого же я не знала въ свое время изъ большого свѣта!—пожимая плечами, небрежно отвѣтила Шустова.— Были деньги—были и связи. Это теперь только за подачками даже въ монастырь приходится тащиться. Со стариками Баскаковыми я была даже близка, а она, какъ и другіе Муратовы, гащивала у нихъ.

Софья Дмитріевна выронила изъ рукъ пустую чайную чашку, со звономъ покатившуюся по полу. Марья Ивановна широко открыла глаза:

— Что съ вами, ma chère?—спросила она.

Зимина стиснула зубы, чтобы скрыть свое волненіе, и наклонилась на полъ за чашкой.

— Вы развѣ не знали раньше, кто она? Не слыхали даже ея фамиліи?—допытывалась Шустова, зорко слѣдя за Зиминой.

Софья Дмитріевна, наконецъ, подняла чашку и стала осматривать, не разбилась ли она. Ей хотѣлось собраться съ силами и не выдать себя передъ Шустовой.

— Нѣтъ, вы дѣйствительно не отъ міра сего,—сказала старуха:—идете въ кабалу къ человѣку и даже не справляетесь, кто онъ, откуда онъ, а потомъ чашки чуть не бьете отъ ужаса, узнавъ, къ кому въ пасть попали...

Софья Дмитріевна, уже собравшаяся съ силами, сурово отвѣтила:

— Съ чего вы взяли, что это меня волнуетъ? Мнѣ все равно, кто она! Я живу въ святой обители, а не у людей...

И сухо, съ трудомъ скрывая свое любопытство, спросила:

— Такъ вы говорите, что она жила въ большомъ свѣтѣ?

— Да, короткое время, гостила у стариковъ князей Баскаковыхъ и попробовала затѣять одну интрижку: немного черезчуръ высоко хотѣла залетѣть, спалила крылья и со-

рвалась. Это обыкновенная и очень старая исторія. Результатъ вышелъ одинъ, пришлось скрыть свой грѣхъ, чтобы не быть сказкой города, а главное, не компрометировать чопорной семьи Баскаковыхъ, надо было изобразить изъ себя жертву и—ну, хоть пойти въ монастырь. Про нее и точно стали говорить, что она—жертва безнадежной любви, что это Маргарита, обманутая Фаустомъ. Жаль только, что у нея не было брата Валентина, который назвалъ бы ее, съ солдатской откровенностью, настоящимъ именемъ. Cela a tout l'air d'un roman, но дѣйствительность, ma chère, всегда болѣе похожа на романъ, чѣмъ выдуманные романы походятъ на дѣйствительность.

Шустова пожевала свои синія губы, усердно обкусывая ихъ сухую зацекшуюся кожу, и закончила:

— А все-таки надо ей отдать справедливость: умная была дѣвка и составила себѣ такъ или иначе славу; массу связей до сихъ поръ сохранила и для нѣкоторыхъ оракуломъ служитъ.

Софья Дмитріевна торопливо спросила:

— У нея былъ ребенокъ?

— Вѣроятно,—отвѣтила Шустова равнодушно.—То-есть то, что онъ долженъ былъ явиться на свѣтъ,—это я знаю, но явился ли онъ въ дѣйствительности или не явился—это меня не интересовало. Вѣроятно, и никого это не интересовало. Le sort d'un problème éphémère, l'histoire d'une goutte de la pluie passée!

Зимина начала сдержанно разспрашивать, какъ звали прежде сестру Серафиму. Звали ее Софьей Павловной Муратовой. У Зиминой потемнѣло въ глазахъ. Очевидно, что это была *его* родная сестра. Проклятый, проклятый! Весь родъ ихъ, видно, таковъ. И она не лучше *его*. Ребенокъ былъ и она его бросила, а на нее, Софью Дмитріевну, какъ на преступницу смотритъ. Такъ она-то, Софья Дмитріевна, кровавыми слезами плачетъ, замаливая свой грѣхъ; вотъ тутъ, въ углу, передъ образомъ уже краска начинаетъ съ пола сходить отъ ея стоянія на колѣняхъ, отъ ея земныхъ поклоновъ. У нея совѣсть есть, да, совѣсть! А имъ никакой грѣхъ не страшенъ, потому что у нихъ совѣсти нѣтъ: мать Дорооея—сплетница, лазутчица, злючка, а ей и горя мало, благо совѣсти нѣтъ. Варварушка тоже ни о чемъ не тужитъ, не имѣя совѣсти. Матушка Серафима вотъ даже свысока, презрительно смотритъ на всѣхъ, точно она и не грѣшила никогда. Всѣ таковы люди: о грѣхѣ языкомъ только

болтаютъ, а на душѣ ничего нѣтъ, — ни любви къ ближнимъ, ни страха передъ Богомъ.

— Такъ какъ же насчетъ денегъ-то?—спросила Марья Ивановна, немного изумленная суровымъ молчаніемъ Зминой.

Зимина даже и не слышала, что Шустова уже съ четверть часа разсказывала давно знакомую ей исторію, какъ она, Шустова, поссорилась со своимъ сыномъ Теодоромъ, когда онъ узналъ о духовномъ завѣщаніи покойнаго Леонида Зимина и сталъ упрекать ее за то, что она выпустила изъ рукъ это наслѣдство. Не слыхала Зимина и того, какъ Шустова сообщала съ ироніей, куда у нея ушли тѣ деньги, которыя были ей даны въ подарокъ Софьей Дмитріевной, когда она собралась путешествовать по святымъ мѣстамъ.

— Я не могу дать вамъ много,—наконецъ, сказала Зимина сухо.—Помочь, конечно, не откажусь, но вы знаете, трудно разсчитывать, сколько лѣтъ еще проживешь, и потому разбрасывать деньги нельзя. Я разъ уже вамъ дала.

— Это вашъ мужъ научилъ васъ такъ разсуждать?—съ презрѣніемъ сказала Шустова.

— Я не маленькая,—отвѣтила Зимина.—Слава Богу, видала, какъ бабушка разорилась, и сама знаю, какъ люди рады ограбить, а потомъ...

Она нахмурила брови и сказала наставительнымъ тономъ:

— Впрочемъ, вамъ и не надо много. Въ ваши годы можно жить экономно. О душѣ, а не о плоти надо заботиться.

— Ужъ вы, ma chère, не хотите ли мнѣ проповѣди читать?—спросила Шустова рѣзко.

— Я никому не читаю проповѣдей, — проговорила Зимина.—Дай Богъ свою душу спасти. Но очень жаль, когда видишь, что въ людяхъ спитъ совѣсть, особенно на старости лѣтъ.

Она поднялась съ мѣста и замѣтила сухо:

— Вы завтра зайдете, я вамъ дамъ денегъ. Хотя предупреждаю васъ, я много дать не могу.

— Но, ma chère, мнѣ не на что въ гостиницѣ остановиться, не на что доѣхать до гостиницы, я послѣднія деньги отдала извозчику, который довезъ меня до монастыря,—сказала Марья Ивановна.

Зимина нахмурилась.

— Я вамъ могу дать только мелочь... Деньги не у меня хранятся, а у матушки Нектаріи... Тутъ еще украдутъ...

— Ахъ, Боже мой, да вы ужъ лучше бы ихъ въ юбку

зашили да и носили бы на себѣ,—раздражительно сказала Шустова.

— Деньги и надо бе́речь, потому что люди только ихъ и цѣнятъ, къ несчастію,—замѣтила Зимина.—Безъ денегъ въ глазахъ людей мы ничто!

— Ахъ, что вы мнѣ проповѣдуете? Вы еще не родились, когда я уже знала, что земля населена подлецами,—раздражительно почти прикрикнула на нее Шустова.

Когда Шустова ушла и Зимина осталась одна, ее всю охватило одно чувство—чувство ненависти къ матушкѣ Серафимѣ. Такъ вотъ кто эта женщина, такъ пригнетавшая ее своимъ величавымъ спокойствіемъ, своею репутаціею праведницы. Его, проклятаго, сестра! И прошлое ея такое же, какъ его прошлое: хотѣла разбогатѣть, залетѣть въ высокія хоромы,—и сорвалась. Онъ довелъ ее, Зимину, до смертнаго грѣха, а та, сестра его, сама бросила или погубила своего ребенка. И не каются эти люди, не молятся, не плачутъ. Кается, молится и плачетъ одна она, Зимина.

— Ты видишь, Господи, сердце мое и слышишь молитву мою!—громко произнесла она, осѣняя себя широкимъ крестнымъ знаменіемъ и устремляя свои сурово смотрящіе глаза въ уголъ, гдѣ теперь висѣлъ образъ Спасителя съ темнымъ и строгимъ ликомъ.

VI.

Къ концу великаго поста, Софья Дмитріевна слегла отъ чрезмѣрнаго напряженія силъ, отъ истощенія, отъ нервнаго разстройства. Это не была какая-нибудь опредѣленная болѣзнь, поддающаяся извѣстнымъ лѣкарствамъ, но это былъ полный упадокъ силъ, требующій полной перемѣны образа жизни. Больную нужно было не лѣчить, а заставить отдохнуть и получше питаться. Получивъ первое извѣстіе о томъ, что Зимина слегла, матушка Серафима встревожилась не на шутку, но, узнавъ сущность болѣзни, не менѣе сильно раздражилась.

И тревожиться, и раздражаться было изъ-за чего.

— Что это она заживо святой прослыть хочетъ, что ли?—недовольнымъ тономъ проговорила она, обращаясь къ Варварушкѣ, зашедшей къ ней отъ Софьи Дмитріевны съ докладомъ и разсказавшей подробно о положеніи больной.

— Сокрушенія ужъ очень много у нея этого самаго, матушка,—отвѣтила Варварушка нараспѣвъ и конфузливо засмѣялась своимъ своеобразнымъ тихимъ смѣхомъ, поля-

нивъ:—что было да сплыло — обо всемъ сокрушается, а извѣстно, въ жизни всего не оплачешь, только сама изведешься...

Матушка Серафима пропустила мимо ушей это замѣчаніе и замѣтила все тѣмъ же недовольнымъ тономъ:

— Еще умретъ, хлопотъ надѣлаетъ.

Варварушка скромно освѣдомилась:

— Это вы, матушка, насчетъ ейнаго капитала?

— Ну, да. Занялъ монастырь у нея. Вклады тоже сдѣлала,—отрывисто, какъ бы про себя, сказала матушка Серафима и обратилась съ вопросомъ къ Варварушкѣ:—Какая это тетка по зимѣ пріѣзжала къ ней? Это та самая, про которую ты разсказывала, что ее и ея сына обошелъ наслѣдствомъ покойный Зиминъ?

— Она самая и есть!—сказала Варварушка, утвердительно кивая головой.—То-есть наипервѣйшая негодяйка изъ негодяекъ, не здѣсь будь сказано, а ужъ злобы, злобы въ ней, такъ и не оберешься! На сто человѣкъ раздѣлить—и то хватитъ.

Матушка Серафима, ходя изъ угла въ уголъ по комнатѣ, въ раздумьи проговорила:

— Мнѣ и Дороѳея жаловалась на нее; грубо обошлась съ Дороѳеей...

И, усмѣхаясь пренебрежительной улыбкой, прибавила:

— Ужъ, вѣрно, и точно груба, если даже Дороѳея обидѣлась!

— Да, ужъ на грубости она мастеръ, патентъ можно выдать; словечка ласковаго не скажетъ, все «ты» да «ты», «дура» да «дура»; на крѣпостныхъ людяхъ вспоилась и выкормилась.

Матушка Серафима продолжала ходить взадъ и впере по комнатѣ, видимо, все болѣе и болѣе тревожась чѣмъ-т чего она не хотѣла высказать Варварушкѣ. Эта посѣт тельница,—тетка покойнаго Зимина, о которой она у нѣсколько разъ настойчиво переспрашивала матушку Д роѳею,—не выходила теперь у нея изъ головы.

— Ты-то ее нынче видѣла, какъ она пріѣзжала?—отр висто спросила она Варварушку.

— Видѣла, матушка, видѣла, мелькомъ только,—отвѣти Варварушка.—Не взлюбили мы съ перваго раза дру дружку, такъ я не очень-то и старалась нарываться на н Три раза она къ Софьѣ Дмитріевнѣ здѣсь приходи деньги-то выманивала, все побольше сорвать хотѣлось, та

вотъ я единожды и встрѣнулась съ ней на дворѣ здѣсь. Узнала, облаяла.

Варварушка замялась, видимо, не досказывая чего-то. Матушка Серафима бросила на нее пристальный взглядъ. Послышался короткій вопросъ:

— Ну? За что?

Варварушка конфузливо и жеманясь проговорила

— Ужъ не знаю, какъ и сказать вамъ, матушка. Несуразныя такія вещи говорила...

— Начала, такъ и говори, — нетерпѣливо произнесла матушка Серафима, чувствуя, что услышитъ нѣчто скверное.

— «Что, говоритъ, свели съ ума да теперь и обираете»,— смиреннымъ тономъ передала Варварушка настоятельницѣ слова Шустовой и заторопилась объяснить:—а кто ее сводилъ съ ума? Сама она ровно помѣшанная сдѣлалась послѣ смерти мужа! Тутъ никто не причиненъ, что она какъ бы рехнулась. Ее не съ ума сводить, а на путь истинный наставить люди хотѣли, помраченіе разсудка это самое разсѣять старались...

Матушка Серафима разомъ остановилась передъ нею, какъ вкопанная, съ гнѣвнымъ выраженіемъ на лицѣ.

— Что ты мелешь! что ты мелешь!—воскликнула она внѣ себя.—Съ чего ты взяла, что она помѣшанная? Когда, въ чемъ это сказалось? Вотъ выдумала! Этого еще недоставало, чтобы и ты стала болтать эти нелѣпицы...

Она быстро заходила опять по комнатѣ, тяжело и прерывисто дыша.

— Та со злобы выдумываетъ, что Зимина сумасшедшая, та угрожаетъ этимъ ради своихъ интересовъ... А ты-то... Вотъ тоже люди!.. Что кто ни сболтни, они все повторять готовы... Гдѣ у тебя умъ-то? Сумасшедшая! Софья Дмитріевна сумасшедшая!.. Да знаешь ли ты, чего вы надѣлаете своей болтовней?...

И, уже не умѣя сдержать своего волненія, она продолжала:

— И Дороѳея хороша: та тоже вздумала этой барынѣ разсказывать, что Зимина «ровно не въ своемъ умѣ, ровно въ помраченіи»... О, дура! Сама же мнѣ потомъ передала и то, что та говорила, и то, что она ей разсказывала. Сама и на мысль навела эту негодяйку.

Она со сдвинутыми бровями и строгимъ взглядомъ остановилась передъ Варварушкой.

— Тебѣ говорила Дороѳея, что эта барыня-то въ послѣдній разъ ей сказала?

Варварушка, дѣлая сильно оробѣвшее выраженіе лица, отвѣтила:

— Говорила, матушка, говорила! Грозилась она, будто мы всѣ еще напляшемся за Зимину.

— И напляшетесь, если свои дурацкія соображенія высказывать будете о ея сумасшествіи,—пригрозила матушка Серафима.—Сумасшедшая-то не она, а вы...

Матушка Серафима впервые переживала такое тревожное состояніе духа, какое охватывало ее теперь. Никогда ни въ какія «исторіи» она не впутывалась и сторонилась отъ всего, что могло поставить ее въ двусмысленное положеніе. И вдругъ эта несчастная Зимина явилась у нея на дорогѣ, какъ какой-то несущій съ собою несчастія рокъ. Когда ей, матушкѣ Серафимѣ, сообщила мать Дороѳея о визитѣ Шустовой къ Зиминой и о своемъ разговорѣ съ этой барыней, матушка Серафима не придала сначала этому обстоятельству никакого значенія. Она поняла только одно, что Шустова пріѣхала къ Зиминой за деньгами. Послѣ второго визита Шустовой къ Зиминой, матушка Дороѳея передала настоятельницѣ, что Шустова очень сердилась на Зимину за то, что та мало дала ей денегъ, и все стращала ее тѣмъ, что ее ограбятъ въ монастырѣ, повторяя, что Зимина не въ своемъ умѣ, что опеку надъ ней нужно бы назначить. Матушка Серафима тогда уже нѣсколько встревожилась и ея тревога еще болѣе усилилась, когда Шустова въ третій визитъ прямо пригрозила матери Дороѳеѣ, что всѣ онѣ еще напляшутся за то, что грабятъ сумасшедшую. Матушка Серафима знала отлично, что онѣ не грабятъ и даже не думали грабить Зимину. Правда, послѣдняя хорошо, хотя не особенно щедро, платила за свое содержаніе; она сдѣлала довольно крупный вкладъ въ монастырь; она дала въ долгъ нѣсколько тысячъ монастырю, въ которомъ шли новыя постройки и перестройки: устройство больницы и школы потребовало большихъ расходовъ. Но все это она дала добровольно объяснившей ей положеніе монастыря матушкѣ Нектаріи; все это дѣлалось не тайкомъ, не воровски, а совершенно ясно и законнымъ порядкомъ, какъ дѣлаются всякія чистыя дѣла, и не было никакого основанія думать, что она дѣйствовала безсознательно, въ припадкѣ умопомѣшательства, такъ какъ именно въ денежныхъ дѣлахъ она оставалась всегда и во всѣхъ случаяхъ не только практичной, но даже скуповатой и прижимистой. Но, какъ бы то ни было, поднятый Шустовою вопросъ о сумасшествіи

Зминой могъ причинить не мало непріятностей ни въ чемъ не повинным людямъ, могъ набросить на нихъ некрасивую тѣнь. Зимина, по твердому убѣжденію матушки Серафимы, не была сумасшедшею, но какъ подѣйствуетъ на нее, съ ея разстроенными нервами, съ ея склонностью къ истерикамъ, изслѣдованіе и освидѣтельствованіе ея умственныхъ способностей, вся процедура этого неприглядного дѣла? Что если она точно убила своего мужа? Не сойдетъ ли она въ этомъ случаѣ, дѣйствительно, съ ума отъ страха, предполагая, что ее подозрѣваютъ не въ сумасшествіи, а въ убійствѣ? Отъ подобныхъ натуръ можно ждать всего. Что будетъ тогда? Сколько недоразумѣній, сколько клеветы, сколько грязи подниметъ вся эта исторія!

Матушка Серафима, какъ ни было ей тяжело, рѣшилась лично навѣстить несимпатичную для нея больную, чтобы убѣдиться собственными глазами, каково состояніе ея здоровья и настроеніе духа, и если будетъ возможно, предупредить ее хотя косвенно, хотя намеками о томъ, что̀ можетъ случиться.

Софья Дмитріевна, слегшая въ постель, чувствовала себя въ эту пору, можетъ-быть, лучше, чѣмъ когда-нибудь: она такъ ослабѣла, что, по большей части, находилась въ полудремотѣ: сильное возбужденіе, замѣчавшееся въ ней за послѣднее время, смѣнилось теперь полнымъ упадкомъ силъ, полной апатіей; ей было все равно, что дѣлается съ ней, что дѣлается вокругъ нея, ее не занималъ вопросъ, выздоровѣетъ ли она, или умретъ. Плохо работавшая мысль останавливалась иногда только на воспоминаніяхъ о годахъ далекаго прошлаго, когда Зимина жила еще у бабушки-генеральши, учась подъ руководствомъ старой гувернантки и старыхъ дворовыхъ, сидя за пяльцами, какъ вотъ здѣсь въ монастырѣ сидятъ дѣвушки за пяльцами въ школѣ; она была такая же несчастная, какъ и онѣ, блѣдненькая, слабенькая, неопытная, и также не имѣла ни отца, ни матери; иногда эти дѣвочки—въ черныхъ платьицахъ и въ черныхъ шапочкахъ—и она сама страннымъ образомъ смѣшивались въ ея воображеніи, и ей становилось такъ жаль, такъ жаль ихъ, а, можетъ-быть, не ихъ, а себя, что по ея лицу катились одинокія слезинки; она отирала поспѣшно и машинально рукою эти слезинки, но не волновалась, не тревожилась и, казалось, она даже не сознаетъ, что плачетъ. Вошедшая къ ней матушка Серафима застала ее лежащею съ закрытыми глазами. Она подумала, что Зимина спитъ, и хо-

тѣла удалиться, но увидала, что по щекамъ больной медленно катятся слезы, и остановилась, всматриваясь въ это исхудалое, безкровное, рано состарѣвшееся лицо. Оно походило на сморщившееся личико больного ребенка и было такъ жалко, выражало такую безпомощность, что тронуло даже матушку Серафиму. Что бы ни сдѣлала эта женщина—она была безмѣрно несчастна. Совершенный ею грѣхъ оказался выше ея силъ, и она сломилась подъ непосильнымъ бременемъ! Если она и убила своего умиравшаго мужа, то она въ то же время обрекла и себя на медленную смерть. Всматриваясь въ лицо больной, матушка Серафима присѣла на стулъ около кровати.

Зимина открыла свои большіе потухнувшіе глаза, заслышавъ шорохъ.

— Что это вы вздумали хворать?—по возможности мягко спросила настоятельница, благословивъ больную.

— Что-жъ дѣлать?—тихо сказала Зимина со вздохомъ.

— Утомляете вы себя не въ мѣру,—проговорила матушка Серафима. — Богъ не требуетъ, чтобы люди убивали для Него себя. Каждый долженъ соразмѣрять свои силы со взятыми на себя обязанностями...

— И безъ того только и дѣлаемъ, что свою плоть ублажаемъ,—строго отвѣтила Софья Дмитріевна.

— Ну, вы-то не можете себя упрекать за это,—сказала матушка Серафима.

Ничего не отвѣчая на эти слова, Софья Дмитріевна спросила:

— Мнѣ говорила Варварушка, что маленькая Ксенія слегла? Что съ нею? опасно больна? Меня это такъ встревожило.

Ксенія была именно та дѣвочка, которая жаловалась Софьѣ Дмитріевнѣ, что ей «скучно».

— Ничего опаснаго нѣтъ, — отвѣтила настоятельница равнодушно.—Да вы и не думайте о другихъ; самимъ вамъ надо поправляться.

— Не могу я не думать объ этихъ несчастныхъ дѣтяхъ; они такъ и стоятъ передъ моими глазами, — проговорила Софья Дмитріевна, и въ ея голосѣ зазвучала рѣзкость. — Никого у нихъ нѣтъ, кто бы приласкалъ или подумалъ бы о нихъ.

Матушка Серафима мягко замѣтила:

— Сами вы создаете себѣ лишнія тревоги.

— Что вы мнѣ говорите! — еще болѣе рѣзко отвѣтила

Зимина, и ее охватило опять волненіе, какого не испытывала она ни разу во время болѣзни.—На себѣ надо испытать великое несчастіе быть незаконнымъ ребенкомъ, чтобы всей душой жалѣть этихъ дѣтей и знать всю величину грѣха ихъ матерей.

Ея глаза сурово остановились на лицѣ матушки Серафимы, точно впились въ него, и она еще болѣе строгимъ тономъ продолжала, отчетливо выговаривая каждое слово:

— Хуже нѣтъ грѣха, какъ бросить свое дитя ради избѣжанія стыда и позора. Этотъ грѣхъ хуже, чѣмъ убійство взрослаго человѣка. Да, хуже! Взрослый могъ быть самъ виноватъ, взрослый могъ самъ вызвать на грѣхъ. А чѣмъ виноватъ младенецъ? Его обрекаемъ мы на гибель ради сокрытія своего собственнаго грѣха.

Ея, до этого времени тусклые, глаза засверкали теперь зловѣщимъ огнемъ, смотря на матушку Серафиму. Та невольно вздрогнула и выраженіе испуга отразилось на ея лицѣ. Еще никогда не видала она Зимину въ такомъ видѣ, никогда не слышала ее говорящею подобнымъ образомъ.

— Совѣсти у такихъ матерей нѣтъ, потому онѣ и могутъ людямъ въ глаза смотрѣть, — продолжала Зимина протяжно и внушительно. — Еще презираютъ тѣхъ, у кого совѣсть есть... Это, говорятъ, «помѣшанныя». Вотъ и на меня смотрятъ, какъ на помѣшанную, потому что я всѣ грѣхи свои сознаю,—всѣ, всѣ, до единаго...

Матушка Серафима тоже на минуту подумала, что Зимина сошла съ ума, и осторожно, почти робко замѣтила:

— Полноте, не волнуйтесь! Ужъ это не глупые ли разговоры тетки вашего мужа разстроили васъ? Стоитъ ли...

— А! и вы слышали, что она назвала меня сумасшедшей? — горячо перебила ее Зимина, и ея ротъ искривился горькой усмѣшкой.—Что-жъ, она способна по злобѣ хлопотать о признаніи меня безумной, чтобы опеку надо мной назначили, чтобы въ домъ умалишенныхъ меня упрятали. Наслѣдство имъ нужно. Я этого не боюсь. Ничего я не боюсь, кромѣ грѣха; никто мнѣ не страшенъ, кромѣ Бога.

И вдругъ, приподнявшись на локтѣ и пытливо смотря на матушку Серафиму, она спросила:

— А вы, значитъ, съ ней говорили?

— Нѣтъ, я ее не видала,—отвѣтила матушка Серафима.— Я же ея не знаю.

— То-есть забыли ее!—пояснила Зимина.

— Какъ забыла? — спросила настоятельница съ изумленіемъ.

— У стариковъ князей Баскаковыхъ она еще знавала васъ дѣвушкой, когда вы гостили тамъ,—пояснила больная, подчеркивая свои слова.

Матушка Серафима измѣнилась въ лицѣ.

— Она вамъ разсказывала,—начала она и не кончила.

— Все!—рѣзко отвѣтила Зимина, впиваясь въ нее лихорадочно блестящими глазами.

Матушка Серафима опустила глаза, чтобы не встрѣтиться съ ея взглядомъ. Зимина вдругъ сильно откинула голову на подушки и тихо проговорила:

— Вы меня вотъ съ перваго раза презирать стали, а я... я только пожалѣла васъ, душу вашу пожалѣла... Молиться надо о грѣхахъ, молиться!.. Богъ все знаетъ!..

Матушка Серафима, несмотря на все свое самообладаніе, почувствовала невольный ужасъ, точно передъ нею вставали изъ могилъ давно засыпанные землею покойники. Передъ ея воображеніемъ воскресло на минуту все горькое и обидное прошлое, котораго, казалось ей, не зналъ или, по крайней мѣрѣ, не помнилъ никто. Оно воскресло и было тѣмъ страшнѣе, что его знала, что о немъ говорила эта оскорбленная ею женщина. Что если она станетъ изъ жажды мести говорить объ этомъ прошломъ и Варварушкѣ, и матери Нектаріи, и всѣмъ встрѣчнымъ? Сказать, что она съ ума сошла? Но не она ли, мать Серафима, протестовала еще сегодня противъ этого и должна будетъ протестовать, если объ этомъ будетъ сдѣланъ официальный запросъ? И какъ страшно звучитъ этотъ глухой голосъ, какъ бы съ того свѣта, призывающій къ покаянію.

— О, эти мелкія душонки, способныя убить человѣка, но неумѣющія отдѣлаться отъ призраковъ!—почти вслухъ прошептала матушка Серафима...

Матушка Серафима поднялась съ мѣста. Зимина открыла опять помутившіеся глаза и пристально, тупо взглянула на нее; матушка Серафима растерялась и, пробормотавъ что-то безсвязное, склонивъ голову какъ бы для поклона, не своею походкой, какъ бы крадучись, вышла изъ комнаты. Варварушка переждала ухода матушки Серафимы и пробралась къ Зминой, чтобы взглянуть, какъ подѣйствовалъ на больную визитъ игуменьи. Зимина, казалось, еще болѣе ослабѣла: за минутнымъ возбужденіемъ послѣдовалъ еще большій

унадокъ снять. Варварушка стала ласково ее разспрашивать, какъ она себя чувствуетъ.

— Умирать собираюсь, — отвѣтила тихо и спокойно Зимина.

— Да что вы, голубушка!—воскликнула Варварушка.— Въ ваши-то годы? И кто теперь думаетъ о смерти, когда весна-красна на дворъ катитъ. Вотъ рѣки широко-широко разольются, напоятъ землю-кормилицу, потомъ трава пойдетъ душмяная, цвѣты расцвѣтутъ лазоревые, — ахъ, весна красная, весна красная! кажется, всю жизнь любовалась бы на нее...

— Счастливая вы, Варварушка, — тихо сказала Зимина, и по ея лицу скользнуло что-то въ родѣ улыбки.

— И то счастливая!—подтвердила весело Варварушка и въ порывѣ увлеченія взяла руку больной и стала ее ласково гладить. — И молода-то я, и здорова-то я, взгляну на міръ Божій—залюбуюся, пѣсню услышу—заслушаюсь, добра молодца встрѣчу—такъ бы на грудь ему и кинулась. А вотъ, погодите, замужъ выйду, тогда что захочу, то и стану дѣлать. Мужъ-то у меня будетъ покладистый, въ узелокъ его связывай, да притомъ богатѣй. Изъ себя онъ, правда, не вышелъ, ну, да съ лица не воду пить, — въ лѣта войдетъ, раздобрѣетъ, усы-бороду отпуститъ, ничего человѣкъ будетъ. А ужъ сколь богатъ, сколь богатъ, такъ это я и разсказать не могу.

— И скоро свадьба? — полудремотно и почти безсознательно спросила больная.

— Какъ вотъ травуръ у него по родителѣ кончится,— пояснила Варвара. — Никакъ нельзя это по купечеству до конца травура жениться. Да мнѣ что и торопиться? Погуляю я, младешенька; покрасуюсь по веснѣ, дѣвка, въ послѣдній разъ. Ахъ, жизнь,—жизнь дѣвическая, воля, никѣмъ не связанная, и хороши же вы!..

Она сладко потянулась, откинувшись немного назадъ и закинувъ бѣлыя руки за голову. Софья Дмитріевна уже тихо спала.

VII.

Въ чистопольскомъ соборѣ былъ храмовой праздникъ. Обыкновенно въ этотъ день обѣдню служилъ самъ «владыка». Богослуженіе бывало торжественное и привлекало богомольцевъ со всѣхъ концовъ города.

Въ церкви набралась масса народу, и отъ множества

горящихъ свѣчей, отъ яркихъ лучей весенняго солнца, заливавшихъ весь храмъ, духота была нестерпимая. Многіе богомольцы вышли на паперть да такъ тутъ и остались молиться. Среди этой толпы появилась и Варварушка. Она была неузнаваема и необыкновенно красива въ яркой одеждѣ, съ разгорѣвшимися щеками, съ широкимъ вѣнцомъ изъ мелко заплетенныхъ косъ. Сбросивъ съ головы красный шелковый, съ крупными бѣлыми узорами платокъ, она стала обмахивать аккуратно сложеннымъ бѣлымъ носовымъ платкомъ свое пылавшее лицо. На ея здоровую молодую красоту теперь можно было заглядѣться. Въ это время къ паперти подъѣхали щегольскіе купеческіе «бѣгунцы» и съ нихъ соскочилъ еще довольно молодой купчикъ, бросивъ вожжи своему возницѣ. Купчикъ былъ бѣлобрысый, веснушчатый, съ рѣдкими бѣлесоватыми больными волосами на головѣ, подбородкѣ и верхней губѣ, худощавый, худосочный «мозглякъ», какъ мѣтко звали его знакомые, приказчики и сидѣльцы. Завидѣвъ спускавшуюся съ лѣстницы Варварушку, онъ вѣжливо приподнялъ свой цилиндръ, наполовину обтянутый крепомъ, и его блѣдныя щеки залѣли слабымъ румянцемъ.

— Мое почтеніе, Варвара Михайловна,—проговорилъ онъ жиденькимъ бабьимъ голосомъ, вглядываясь въ нее золотушными свѣтлыми глазами.—Куда это отправляетесь?

— На приступочкѣ посидѣть; измаялась очень въ соборѣ-то, — скромно отвѣтила она и вскинула на него лукавые глаза.—Посижу, пока облаченіе владыки идетъ.

— То-то вы и зарумянились, какъ солнышко красное,— любезно сказалъ онъ, и его тонкія малокровныя губы сложились въ плотоядную улыбку.

— Кажется, и всегда не блѣдна,—проговорила она, улыбаясь и спускаясь внизъ.

Купчикъ прошелъ въ церковь; Варвара сошла со ступени паперти. По бокамъ ступеней были каменные выступы, и она направилась къ одному изъ нихъ, самому нижнему, чтобы присѣсть. Ее неожиданно окликнулъ еще не отъѣхавшій возница бѣлобрысаго купчика.

— Наше вамъ!—сказалъ онъ, и въ его голосѣ послышалась искренняя радость. — Вотъ гдѣ Богъ привелъ свидѣться.

Она вскинула на него недоумѣвающіе глаза и сразу узнала это красивое лицо подъ шапкой черныхъ блестящихъ кудрей. Тѣмъ не менѣе она сдѣлала видъ, что не узнаетъ его, и

посмотрѣла на него равнодушно, почти сурово: «чего, молъ, пристаешь?»

— Адресокъ-то на чугункѣ давали: «около вѣтра въ полѣ». Помните? Вотъ вѣтромъ меня и надуло, наконецъ, сюда,—весело пояснилъ молодой парень, улыбаясь.

— Не упомню что-то, — сказала она сухо и равнодушно. — Много народу-то видишь.

— Ну, а я-съ изъ тысячи васъ распозналлъ бы,—проговорилъ онъ любезно.—Ей-Богу! По чугункѣ-то вмѣстѣ осенью ѣхали. Не припомните, нешто?

— Что-то вспоминаю теперь,—произнесла она.—Только, кажется, вы тогда по торговой части, а не въ кучерахъ состояли.

Въ ея голосѣ зазвучала насмѣшка.

— Мы и теперь-съ при прежнемъ дѣлѣ,—пояснилъ онъ немного обиженно: — только вотъ подвезъ хозяина, Силу Саввича...

Ему пришлось отъѣхать, такъ какъ къ паперти подъѣхалъ другой экипажъ. Варвара сѣла на каменный выступъ и стала опять обмахиваться платочкомъ, качая ногой, обутой въ щегольской башмакъ тонкой кожи и выглядывавшей изъ-подъ обшитой кружевами бѣлой юбки. Не прошло и пяти минутъ, какъ передъ ней стоялъ опять тотъ же парень, сдавшій кому-то торопливо хозяйскую лошадь.

— Сегодня на васъ посмотрѣть, такъ и приступу нѣтъ,— заговорилъ онъ, оглядывая любопытными глазами ея яркомалиновое канаусовое платье, изъ-подъ котораго виднѣлась туго накрахмаленная и обшитая кружевами юбка, ея большія золотыя серьги, ея густыя и тяжелыя косы, въ нѣсколько рядовъ лежавшія на ея головѣ. — Ровно и не тѣ, что тогда были.

— За полгода-то и воды въ рѣкѣ много утечетъ, — насмѣшливо сказала она: — а ужъ объ жизни-то и говорить нечего.

— Еще бы, за столько-то времени съ самимъ Силой Савввичемъ познакомиться можно, — видимо раздражительно произнесъ онъ съ иронією въ голосѣ и впился въ нее вопросительнымъ взглядомъ.

Она взглянула на него гнѣвными глазами, точно онъ ее задѣлъ за живое.

— Что-жъ, на деликатное обращеніе посмотрѣвъ, отъ грубостей-то поневолѣ отвыкнешь, — сухо сказала она и поднялась съ мѣста.

— Что-то мы не слыхали объ его деликатностя , а вотъ про деньги его точно знаемъ,—сказалъ онъ рѣзко и сдвинулъ свои темныя брови, между которыми залегла поперечная складка.

Она засмѣялась неслышнымъ, дѣланнымъ смѣхомъ.

— А вамъ завидно?—кинула она, съ насмѣшкой, не глядя на него.

И пошла медленно, вверхъ по ступенямъ, ко входу въ храмъ.

«Такъ вотъ она какая, Варвара-то Михайловна, что и нашего мозгляка расшевелила»,—почти вслухъ проговорилъ молодой парень, провожая глазами удалявшуюся плавной походкой Варвару.

Никакъ онъ не думалъ, что та Варвара Михайловна, про которую шопотомъ сообщалъ ему и другимъ приказчикамъ и сидѣльцамъ мальчишка Игнашка, и къ которой повадился недавно ѣздить ихъ мозгляк, была тою самою богомолкой, на которую онъ заглядѣлся нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ на желѣзной дорогѣ. Ужъ не на его ли деньги она расфуфыривается такъ? Да нѣтъ, гдѣ ему, мозгляку, раскошелиться. Подавится прежде изъ-за гроша. Однако, съ чего же она его принимаетъ, если онъ не даетъ ей денегъ? Ни кожи, ни рожи у него. Сгнилъ весь еще въ утробѣ матери.

Въ молодой душѣ шевельнулось враждебное чувство къ мозгляку...

«Мозгляк», или Сила Саввичъ Коробейниковъ, перебрался въ Чистополье сравнительно недавно,—только послѣ смерти «тятеньки», Саввы Саввича Коробейникова,—перебрался съ коробейниковской мельницы, стоявшей за городомъ, на краю пригородной слободы. Савва Коробейниковъ дожилъ до восьмидесяти лѣтъ и при жизни сдѣлался уже героемъ легендъ и сказаній. Говорили, что онъ двадцатилѣтнимъ парнемъ утопилъ какого-то коробейника, отвертѣлся за недостаткомъ улик отъ суда—и «началъ жить». Говорили тоже, что его прозвали въ народѣ сначала коробейниковымъ убійцей, а потомъ какой-то пьяный писарь записалъ на его паспортѣ не просто имя Саввы Саввича, а прибавилъ еще фамилію Коробейниковъ, и эта роковая кличка такъ за нимъ и осталась, какъ клеймо каторжника, долженствовавшее напоминать ему до гроба его злодѣяніе. Далѣе говорили, что онъ забилъ свою первую жену, взятую изъ богатаго семейства, и ея двухъ сыновей изъ-за какой-то полюбовницы, которую потомъ довелъ своею ревностью и своимъ тиранствомъ до того, что она повѣсилась. Раз-

сказывали и еще многое множество мрачныхъ легендъ про него, называя его и колдуномъ, и знахаремъ, и разбойникомъ. Достовѣрнаго тутъ не было ничего, такъ какъ все это было такъ давно, что свидѣтелей всѣхъ этихъ мрачныхъ исторій или не было въ живыхъ, или они давно выжили изъ ума и перепутывали факты, приписывая Коробейникову и событія изъ жизни Пугачева, и случаи изъ жизни графа Аракчеева. Въ сущности было вѣрно одно, что его ненавидѣлъ окрестный народъ и, не помня его прошлаго, приписывалъ ему всякія пакости и преступленія, какъ бездушному міроѣду и живодеру. Савва зналъ, что его ненавидятъ, и не очень печалился объ этомъ, спокойно и методично выбивая изъ своихъ враговъ деньги и пуская ихъ по-міру. Самое его богатство сдѣлалось легендарнымъ, такъ какъ его называли «милліонщикомъ». Въ дѣйствительности, милліоновъ у него, конечно, не было, но богатъ онъ былъ точно. Жилъ онъ неровно: то по цѣлымъ мѣсяцамъ угрюмо и хмуро занимался дѣлами по своей мельницѣ и хлѣбной торговлѣ, то вдругъ на нѣсколько дней закучивалъ и предавался самому дикому и разнузданному разврату, въ которомъ проявлялась вся необузданность и животность этой натуры. Его вторая жена,—тщедушная женщина, лѣтъ на двадцать слишкомъ моложе его,—и его единственный, оставшійся въ живыхъ, сынишка Сила Саввичъ жили не въ городѣ, а «на мельницѣ», то-есть въ просторномъ и прочно построенномъ домѣ около старой мельницы, и трусливо ожидали ежедневно какихъ-нибудь дикихъ выходокъ со стороны «самого», безсознательно презиравшаго ихъ, какъ онъ презиралъ все слабое и безсильное. Они такъ привыкли дрожать передъ нимъ, что чувство страха сдѣлалось ихъ естественнымъ настроеніемъ, такъ что они постоянно ходили какъ бы ошалѣвшими, въ какомъ-то состояніи переполоха. Они боялись не только людей, которые могли убить и ограбить ихъ, но даже боялись старой почернѣвшей и гнилой, давно заброшенной, но почему-то не уничтоженной мельницы, гдѣ, по ихъ мнѣнію, было «нечисто»,— боялись «слободы», гдѣ среди кабаковъ и гуляющихъ домовъ происходили нерѣдко убійства и грабежи,—боялись слободского кладбища, гдѣ, по ихъ убѣжденію, по ночамъ бродили душеньки грѣшныхъ. А около нихъ бокъ-о-бокъ съ ними шла разгульная слободская жизнь: слободскія бабы, солдатскія вдовы и мѣщанки-торговки, и слободскіе кабаки, харчевни и постоялые дворы давно создали слободѣ репутацію какого-

то чистопольскаго вертепа. Сюда шли кутить и пьянствовать фабричные и заводскіе пьяницы и развратники, здѣсь находили веселое пристанище мелкіе приказчики и рабочіе судовъ, проходившихъ по рѣкѣ Чистой, къ которой примыкала слобода. Въ самомъ коробейниковскомъ домѣ разгулъ и пьянство служащихъ у Саввы Саввича людей принимали иногда чудовищные размѣры въ отсутствіи «самого». Маленькій Сила наслушался и насмотрѣлся всего этого вволю. Въ немъ самомъ текла кровь его отца,—этой животной натуры,—и онъ, вѣроятно, началъ бы очень рано «хороводиться» съ разными служившими въ домѣ дѣвками, если бы не его тщедушный организмъ и не его вѣчный страхъ. Ради этого страха онъ только подслушивалъ, подсматривалъ, шпіонничалъ за тѣмъ, какъ развратничаютъ другіе, и изводился, худѣлъ, блѣднѣлъ, все болѣе и болѣе дѣлаясь «мозглякомъ». Отецъ пробовалъ его учить, для чего и нанималъ учителя-семинариста, но ученье шло плохо, такъ какъ память у Силы пропала очень рано: изъ страха онъ готовъ былъ просиживать за книгой цѣлые часы, но запомнить не могъ ничего. На двадцатомъ году отецъ послалъ Силу на нижегородскую ярмарку, и разные «молодцы» стали тамъ возить его по разнымъ вертепамъ. Сила не выдержалъ, заболѣлъ и когда болѣзнь, сильно напугавшая его, прошла, сталъ смотрѣть еще болѣе мозглякомъ, чѣмъ прежде. Тѣмъ не менѣе, онъ сталъ съ этой поры заглядываться на красивыхъ женщинъ, и одна трусость передъ возможностью опять захворать да ужасъ передъ тратою «столькихъ деньжищъ» заставляли его только мучительно и болѣзненно вздыхать, глядя на этихъ красавицъ. Наконецъ, восьмидесятилѣтній Савва Саввичъ внезапно отдалъ Богу душу, раскричавшись на одного изъ служащихъ, и Сила сталъ богачомъ. Онъ одѣлся въ нѣмецкое платье, запасся траурнымъ цилиндромъ и переѣхалъ съ матерью въ Чистополье. Если при отцѣ Сила Саввичъ и его мать не смѣли тратить лишняго гроша изъ страха передъ «самимъ», то теперь они жались и дрожали надъ каждой копейкой, ради вошедшей имъ въ плоть и кровь разсчетливости и даже скупости. Въ эту-то пору случай столкнулъ Силу Саввича съ теткой Варвары, съ которою послѣдняя поселилась въ Чистополѣ. Тотъ же случай далъ ему возможность увидать и Варвару. Варвара, не думая еще ни о какихъ серьезныхъ послѣдствіяхъ, а просто по привычкѣ кокетничать со всѣми, начала любезничать и съ Силой Саввичемъ, и онъ совсѣмъ

обезумѣлъ отъ ея здоровой красоты. Его то и дѣло стало тянуть въ Посадскую улицу, гдѣ жила Варвара. Въ домѣ Коробейниковыхъ начали подсмѣиваться тайкомъ надъ «самимъ»,—теперь «самимъ» сдѣлался Сила Саввичъ,—говоря, что онъ завелъ какую-то «кралю». Мальчишка Игнашка, служившій на побѣгушкахъ въ домѣ, разсказывалъ «молодцамъ», что эту кралю зовутъ Варварой Михайловной, что живетъ она съ тетенькой-старицей, что изъ себя она бѣлая и румяная, что *самъ* ѣздитъ къ ней и возитъ даже гостинцы и подарки.

— Протретъ она ему глаза, если умна! — говорили «молодцы».

— Ну, ему не протрешь! Испужается, какъ увидитъ, что дорого платить надо,—разсуждали другіе.

Но никто не зналъ, много ли мозглякъ даритъ своей кралѣ, кто она и какія отношенія существуютъ между ними.

«Такъ вотъ кто она, самая-то краля эта, — разсуждалъ привезшій Силу Саввича въ соборъ молодой парень, разставшись съ Варварой:—и неужто она его полюбить могла? Или только ради денегъ хороводится съ нимъ?»

Онъ нахмурилъ брови и быстро рѣшилъ, что сегодня же узнаетъ у Игнашки, гдѣ она живетъ, и пойдетъ къ ней. Онъ былъ не изъ тѣхъ, которые откладываютъ запавшія имъ въ голову мысли. Часовъ въ семь вечера онъ уже направился къ тому дому въ Посадской улицѣ, гдѣ, по словамъ Игнашки, жила Варвара Михайловна. Отыскать ее было не трудно, такъ какъ она сама сидѣла за воротами своего дома и отъ бездѣлья лакомилась цареградскими стручками.

— Не ждали-съ?—окликнулъ онъ ее, поровнявшись съ нею и приподнимая шапку.

— Незнакомыхъ людей и ждать не приходится, — отвѣтила она, равнодушно взглянувъ на него.

— Уже вы нынче очень неприступны стали,—сказалъ онъ.

— А прежде-то вы меня знали, что ли? — спросила она насмѣшливо.—Кажись, знакомства не водили. Я вотъ даже и имени-то вашего не слыхивала.

— Матушка Сеней да Сенюшей звала, а люди Семеномъ Дмитріевичемъ величаютъ, — отвѣтилъ онъ и въ смущеніи спросилъ:—Позволите присѣсть?

— Не очень-то я люблю, чтобы прохожіе глаза на меня пялили да про меня языки чесали,—проговорила она и поднялась съ мѣста.—И въ домъ пора...

— А мнѣ такъ и минуточки не удѣлите на красоту вашу налюбоваться,—проговорилъ онъ.

— А и назойливы же вы,—сказала она, усмѣхаясь:—не хуже той старушонки, что тогда, на чугункѣ-то, все выспрашивала...

— Сохну по васъ,—произнесъ онъ со вздохомъ.

— Оно и замѣтно,—пошутила она, глядя съ усмѣшкой на его красивое румяное лицо.

Она двинулась къ воротамъ.

— Можно-съ?—спросилъ онъ.

— А какъ Сила Саввичъ заѣдетъ да васъ погонитъ? — шутливо сказала она, не отвѣчая прямо на его вопросъ.

Онъ весь вспыхнулъ до ушей и строптиво сказалъ:

— Хоть бы самъ-то ребра цѣлыми унесъ...

— Какой воевода нашелся!..

— Эхъ, Варвара Михайловна, не любили вы, видно, никогда!—проговорилъ онъ, махнувъ рукой.

— Скажите на милость, ужъ это вы не меня ли полюбили? Что больно скоропалительно?—произнесла она шутливо.

Они вошли въ домъ.

Домикъ былъ небольшой, но чистенькій, съ незатѣйливой мѣщанской обстановкой, въ которой сквозило, однако, стремленіе устроить все понарядне́е, поудобне́е. Бѣлыя, пробранныя узорами по филе, занавѣски у оконъ, пестрыя гарусныя скатерти на столахъ и на комодѣ, тщательно вымытые цвѣты на окнахъ, кровать съ высокими пуховиками и нарядными подушками, покрытая бѣлымъ пикейнымъ одѣяломъ съ кисейной оборкой,—все было чисто, говорило объ уходѣ.

Навстрѣчу вошедшимъ въ комнату вышла изъ кухни старушка-мѣщанка съ розовымъ лицомъ и умильной улыбкой, и въ поясъ искательно поклонилась гостю. Было сразу видно, что она давно привыкла и привѣтливо улыбаться, и низко кланяться всѣмъ и каждому: «отъ этого ея не убудетъ, а, смотришь, иной разъ что-нибудь и перепадетъ отъ добрыхъ людей». Она была одѣта въ черное ситцевое платье, въ черномъ, съ бѣлыми узорчатыми каймами, платочкѣ на головѣ.

— Сергѣй...—начала Варвара и остановилась.

— Семенъ,—подсказалъ молодой гость.

— Да, Семенъ Дмитріевичъ... у Силы Саввича служитъ,— пояснила Варвара теткѣ.

— Просимъ покорно, батюшка,— сказала ласково и не-

много славнаво старуха.—Мы доброму человѣку всегда рады. Сиротками съ племянницей вотъ живемъ здѣсь...

Варвара скинула накинутую на плечи шубейку, сбросила съ головы шелковый платокъ и осталась въ одномъ платьѣ, ловко обрисовавшемъ ея стройную, здоровую фигуру. Пока старуха-тетка ставила самоваръ въ кухнѣ, молодые люди разговорились. Словоохотливая Варвара мелькомъ разсказала, что она лѣтъ съ шести и до семнадцати прожила въ монастырѣ. Ее туда отдали обучаться грамотѣ и рукодѣлью: одна ея тетка монахиней была, а другая—вотъ эта, что съ ней живетъ,—хоть въ монастырь и не пошла, а тоже богомолка. Потомъ она, Варвара, кончила занятія въ монастырской школѣ и теперь лѣтъ шесть живетъ на волѣ, въ своемъ домѣ, съ теткой. Она умолчала, что живетъ съ теткой не шесть лѣтъ, а всего съ годъ. Въ мелкія подробности она не считала нужнымъ входить и допускала небольшія неточности въ разсказѣ. Онъ спросилъ ее шутя, отчего она не пошла въ монахини, и она, смѣясь, отвѣтила, что «вотъ-то тоже неволя себя обвязывать!» Съ монастыремъ она, впрочемъ, не порвала связи, хотя ея тетка-монахиня и умерла. И при пріютѣ монастырскомъ она нѣкоторое время состояла, и матушкѣ Серафимѣ прислуживала даже. Нѣсколько разъ ѣздила по дѣламъ матушки Серафимы въ Петербургъ и въ Москву, а теперь вотъ уже полгода живетъ безвыѣздно въ Чистополѣ съ теткой и ея пріемышемъ, четырнадцатилѣтнимъ мальчуганомъ. Семенъ Дмитріевичъ разсказалъ съ своей стороны, что онъ по торговой части служитъ у Силы Саввича, и еще при отцѣ его, Саввѣ Саввичѣ, жилъ у нихъ въ домѣ; что жили они прежде на коробейниковской мельницѣ, а вотъ теперь, не очень-то давно, перебрались въ Чистополье.

— Вы съ Силой-то Саввичемъ давно знакомы изволите быть?—спросилъ Семенъ Дмитріевичъ.

— Безъ году недѣля будетъ,—небрежно отвѣтила Варварушка.—Тетка вотъ къ его маменькѣ ходитъ,—та, извѣстно, всѣхъ богомолокъ ублажать любитъ,—а онъ вотъ увидалъ меня разъ и повадился ѣздить сюда. Мухи-то къ меду льнутъ.

Она засмѣялась пренебрежительнымъ смѣхомъ.

— Мозгляком его у насъ зовутъ,—сказалъ Семенъ Дмитріевичъ хмуро.

— Мозглякъ-мозглякъ, а денегъ куры не клюютъ,—проговорила Варвара:—потому всѣ и потрафляютъ.

— Конечно, если душа у кого продажная, такъ и ему на шею кинуться можно,—сердито и рѣзко отвѣтилъ онъ.— Только и ошибиться въ расчетѣ можно, на его деньги позарившись: грошомъ каждымъ онъ давится.

— Женится перемѣнится,—отвѣтила смѣло Варвара.— Жена-то сумѣетъ найти, въ которомъ карманѣ у него ключи лежатъ.

— И пренесчастная женщина будетъ, коли которая пойдетъ за него,—проговорилъ Семенъ Дмитріевичъ:—потому мозглякъ онъ, какъ есть мозглякъ, сгнилъ весь ради своей скаредности.

— А и не любите же вы его!—засмѣялась она.

— Да, кажется, изъ своихъ рукъ бы задушилъ ужъ за одно то, что этакій-то человѣкъ и можетъ чужой вѣкъ заѣсть, да еще, можетъ-быть, чей вѣкъ-то!—страстно воскликнулъ онъ, взглянувъ на нее заблестѣвшими глазами.

Старуха-тетка внесла въ комнату подносъ съ чайной посудой, потомъ притащила самоваръ и завозилась около него, приготовляя чай.

— Ну, тоже и подавиться можетъ, коли попробуетъ заѣдать чужой вѣкъ-то,—отвѣтила, смѣясь, Варвара.—Иную не проглотишь!

— Это точно, что иную не проглотишь,—болѣе веселымъ тономъ согласился Семенъ Дмитріевичъ.—Только и не сласть съ такимъ-то человѣкомъ зубъ-за-зубъ грызться. Онъ вѣдь драться не станетъ, силенки не хватитъ, а пилить да поѣдомъ ѣсть—это его дѣло.

Тетка разлила чай и стала угощать:

— Кушайте, почтеннѣйшій Дмитрій Семеновичъ, на здоровье; баранки-то горячія были, какъ изъ пекарни несли, чѣмъ Богъ послалъ.

На нее не обращали особеннаго вниманія и продолжали начатый разговоръ.

— А и дивлюсь я на ваше женское сословіе! Какъ это ваша сестра готова замужъ идти и за урода, и за старика, и за немилаго, — заговорилъ опять Семенъ Дмитріевичъ, прихлебывая налитый на блюдечко чай.—Да мнѣ бы, кажется, тысячи давай, такъ я на какой-нибудь старой каргѣ не женился бы. Ни въ жизнь!

— А тоже съ пригожимъ-то да хорошимъ—пальцемъ закусывать да водой запивать,—ахъ, какъ не весело,—замѣтила Варвара, качая головой.

— Зачѣмъ же такую незадачу изображать? — возразилъ

Семенъ горячо.—По-моему, коли любишь да здоровъ и молодъ, такъ на все пойдешь для своей разлапушки, только бы она горя-нужды не знала.

Варвара засмѣялась и взглянула на него лукавыми заискрившимися глазами.

— А вы бы на что пошли? кинула она вопросъ.

— Да на все-съ!—живо воскликнулъ онъ, лихо тряхнувъ кудрями.—На все-съ!

— Однако, на что это— на все-то?—полюбопытствовала она.

— Одно слово! на все-съ! Горы двинулъ бы, на дно моря полѣзъ бы, — пояснилъ онъ бойко, опять тряхнувъ курчавой головой.—Вы меня не знаете еще, Варвара Михайловна! Нѣтъ, не знаете, какой я такой человѣкъ.

— Точно что не знаю, и имя-то ваше сегодня только услыхала.

Въ ея голосѣ прозвучала насмѣшка.

— Отъ васъ зависитъ и совсѣмъ узнать, если позволите знакомство продолжать,—спросилъ онъ.—Да я такой человѣкъ, что и узнать-то меня легко: весь на ладони!

— Что-жъ, ходите почаще, носите пряниковъ послаще,— пошутила она.

Онъ обрадовался.

— Только позвольте, всего принесу, что вздумаете!—воскликнулъ онъ.

— Это вы насчетъ пряниковъ-то, такъ я это пошутила,—пояснила степенно Варвара.—А бывать—бывайте, если не соскучитесь. Съ нами, съ бабами, вашему брату скучно бываетъ.

— Да я не то что... Смотрѣть на васъ позволите, я и то не соскучусь,—страстно увѣрялъ онъ.

Она какъ-то неопредѣленно покачала головой, не то удивляясь его рѣчамъ, не то не довѣряя имъ...

Время было уже довольно позднее и надо было идти. Старуха еще угощала гостя:

— Еще стаканчикъ, почтеннѣйшій Сергѣй Дмитріевичъ, и ничего вы не кушали-то; у насъ попросту, люди мы небогатые, сиротки.

Онъ благодарилъ:

— Много доволенъ угощеніемъ; не ѣда важна, а привѣтъ да ласка...

Когда онъ ушелъ, старуха-тетка начала прибирать посуду со стола и мелькомъ спросила Варвару:

— Да онъ изъ какихъ будетъ?

— Въ приказчикахъ состоитъ у Силы Саввича, — отвѣтила Варварушка, неторопливыми движеніями рукъ развертывая на головѣ свои косы, которыя длинными темными змѣями упали вдоль ея спины чуть не до полу.

— Такъ, значитъ, это Сила Саввичъ его прислалъ? — сообразила тетка.

— Такъ онъ и пришлетъ такого красавца, — отрывисто отвѣтила Варварушка, неспѣшно раздѣваясь.

Она, выдвинувъ впередъ полную грудь, прикрытую одной сорочкой, сладко потянулась обѣими руками, закинувшимися на минуту къ затылку и обнаженными до самыхъ плечъ, и промолвила:

— А и точно, хорошъ парень!

— Ужъ на что красивѣе,—согласилась тетка и опасливо прибавила: — только ты, дѣвка, смотри, какъ бы чего не вышло. Охъ, грѣхи наши, грѣхи тяжкіе! Сама я была молода. Знаю!

Варварушка засмѣялась тихимъ смѣхомъ:

— Обожжешься на молокѣ, станешь дуть и на воду.

Она тихо запѣла какую-то пѣсню, ходя по комнатѣ и играя концами своихъ косъ. Потомъ вдругъ оборвала пѣсню на полусловѣ и проговорила, неторопливо закинувъ за спину косы:

— Вотъ, если бы Сила Саввичъ въ такого молодца обратился — просиживала бы я съ нимъ, дѣвка, ночи лѣтнія, миловала бы его, цѣловала бы, а то...

И вдругъ, не кончивъ фразы, она звонко засмѣялась.

— А знаете, тетенька, его молодцы ихніе мозглякомъ прозвали. Мозгляк онъ и есть... Ей-Богу!

VIII.

У чистопольскаго губернаторскаго дома то и дѣло останавливались экипажи. Это было утромъ 21-го мая, въ день именинъ жены губернатора, Елены Васильевны Челищевой.

Большинство поздравителей оставалось въ домѣ по нѣсколько минутъ и уѣзжало обратно. У губернатора, въ этотъ день, обыкновенно бывалъ большой званый обѣдъ, и утренніе посѣтители губернаторскаго дома оставляли въ немъ только свои визитныя карточки или расписывались въ книгѣ поздравителей. Завтракъ, послѣ обѣдни и молебна, происходилъ въ тѣсномъ кружкѣ домашнихъ и близкихъ къ губернаторской семьѣ лицъ. Въ числѣ этихъ лицъ была и матушка Серафима, не только какъ настоятельница мо-

настыря, но и какъ дальняя родственница Челищевой. Въ семьѣ губернатора къ матушкѣ Серафимѣ относились съ большимъ уваженіемъ и во многихъ случаяхъ дѣйствовали черезъ нее, когда нужно было что-нибудь обдѣлать въ Петербургѣ, гдѣ у нея сохранилось множество связей съ «нужными» людьми.

Среди непринужденной и довольно веселой свѣтской болтовни за завтракомъ самъ Челищевъ, еще довольно молодой и еще болѣе молодящійся человѣкъ съ выправкой свѣтскаго гвардейца, внезапно что-то вспомнилъ и обратился къ матушкѣ Серафимѣ по-французски:

— Чтобы не забыть, ma tante: есть у васъ въ монастырѣ какая-нибудь Зимина?

Матушка Серафима слегка вздрогнула отъ неожиданности и, чтобы скрыть смущеніе, переспросила, немного щуря глаза:

— Зимина?

Потомъ, какъ бы вспомнивъ, прибавила:

— Да, есть; она еще въ монашество не поступала, но такъ живетъ у насъ и занимается въ школѣ... А что?

— Такъ, пустяки, — отвѣтилъ небрежно Челищевъ. — Я такъ и думалъ, что это какія-нибудь гнусныя выдумки, какой-нибудь шантажъ. Вы говорите, что она занимается въ школѣ?

— Да, учитъ вышивать гладью, шелками и золотомъ. Удивительная рукодѣльница!

Она обратилась къ Челищевой:

— И какой вкусъ, сколько умѣнья все сдѣлать въ извѣстномъ стилѣ. Ты, Hélène, заѣзжай взглянуть. Впрочемъ, она была женой ростовщика или антикварія какого-то, право, не знаю, и научилась оцѣнивать вещи, разбирать стили. Не хуже любого художника...

Челищевъ мелькомъ замѣтилъ:

— А вы знаете, ma tante, ее хотятъ выставить сумасшедшей... Впрочемъ, теперь я это понимаю, послѣ вашихъ словъ о томъ, что она была женой ростовщика. Деньги, вѣроятно, спать не даютъ кому-нибудь...

Матушка Серафима пожала презрительно плечами.

— Дай Богъ, чтобы всѣ сумасшедшіе умѣли такъ работать, такъ учить работать дѣтей, — сказала она, усмѣхаясь. — Она, правда, очень суровый и необщительный человѣкъ, но дѣти ее обожаютъ. Мнѣ кажется, у нея былъ какой-то романъ въ жизни, притомъ же она съ дѣтства

стояла въ ложномъ положеніи: росла въ порядочной семьѣ, какъ дочь, а потомъ оказалось, что она незаконная дочь...

Разговоръ перемѣнился, какъ никому не интересный, и, только спустя нѣсколько времени, матушка Серафима спросила небрежно:

— Что же это офиціальному слѣдствію какому-нибудь и допросу подвергнутъ эту несчастную женщину?

— Кого это? — спросилъ Челищевъ, уже забывшій о Зминой.

— Эту Зимину,—пояснила матушка Серафима.

— А! пустяками какими-нибудь все кончится, — сказалъ Челищевъ: — я еще и самъ ничего не знаю хорошенько. Такъ мелькомъ вчера услыхалъ, что хотятъ какое-то дѣло начать. Я даже не разспрашивалъ подробно.

— Очень жаль будетъ, если ее потревожатъ... Это должно быть всегда очень оскорбительнымъ для человѣка,—сказала сухо матушка Серафима.

Послѣ завтрака, она поѣхала домой, провожаемая до лѣстницы всей губернаторской семьей. Только оставшись въ коляскѣ одна, она сдвинула свои брови и ея лицо приняло озабоченное выраженіе. Заботиться было о чемъ.

Знавшіе матушку Серафиму говорили, что у нея совершенно не женскій складъ ума, что она — философъ. Дѣйствительно, она была сильной, здоровой натурой, не способной мучиться вопросами о томъ, что было и прошло. Ошибки прошлаго, мучительныя несчастія, несбывшіяся надежды, утраты въ былomъ, все это было для нея чѣмъ-то такимъ, что роковымъ образомъ должно было случиться въ жизни и что оплакивать долго было бы не въ ея натурѣ. Она хорошо знала, что никакими слезами, никакими мольбами нельзя вернуть ни одной прошедшей минуты или исправить даже самой ничтожной сдѣланной ошибки. Это не былъ культурный цинизмъ развращенной до мозга костей Шустовой, это не была примитивная, безсознательная безнравственность Варварушки, — это былъ просто трезвый взглядъ здоровой натуры, не понимавшей безплоднаго первичанья. «Раскаянье и сожалѣнье—есть слабыхъ душъ мученье», повторяла она слова своего любимаго писателя и дѣлала все возможное, чтобы только предать полному забвенію прошлое. Ея мертвецы были похоронены ею и она знала, что ихъ нечего вызывать снова изъ могилъ. Она, какъ готевскій Прометей, могла сдѣлать вызовъ Зевесу, сказавъ, что она не уйдетъ въ пустыню изъ-за того,

что не всѣ ея цвѣтущіе сны сбылись въ жизни. Сдѣлавъ въ увлеченіи честолюбивыми мечтами ошибку въ молодости, она не упала духомъ, поняла сразу, что ея роль въ «свѣтѣ» сыграна, что ея самолюбіе не позволитъ ей никогда выйти замужъ, если бы кто-нибудь, изъ любви, изъ снисхожденія или изъ жалости къ ней, и рѣшился простить ей ея проступокъ, —и твердо пошла на новый путь, вступивъ въ монастырь и надѣясь выдвинуться изъ безличной толпы малограмотныхъ, малоразвитыхъ, неспособныхъ къ дѣлу жизни монахинь, вступавшихъ въ монастырь для оплаканія своихъ грѣховъ, для спасенія своей души, для отчужденія отъ міра сего въ чаяніи лучшей жизни за гробомъ. Все это мало заботило ее. Дѣйствовать, созидать, вліять на людей, — вотъ что нужно было ей, и она уже при старой настоятельницѣ монастыря сумѣла выдвинуться впередъ: подъ ея руководствомъ въ монастырѣ начались обновленіе, пристройки, поправки, устройство школы, больницы; она проектировала общину сестеръ милосердія. Она стала вести обширную переписку, сперва по дѣламъ монастыря, потомъ давая совѣты людямъ, обращавшимся къ ней съ чисто житейскими вопросами, и мало-по-малу пріобрѣла ту извѣстность, о которой нечего было и мечтать какой-нибудь Софьѣ Павловнѣ Муратовой. Эта Софья Павловна Муратова умерла навсегда для нея самой, и она старалась, чтобы и «свѣтъ» считалъ ее умершей и зналъ бы только мать Серафиму. Она была вполнѣ довольна своимъ новымъ положеніемъ, своимъ новымъ образомъ жизни, своею новою дѣятельностью,—какъ вдругъ точно какой-то кошмаръ встревожилъ ее и сбилъ съ толку при появленіи въ монастырь Зиминой. Отнесшись въ душѣ къ этой жалкой женщинѣ, кающейся въ невѣдомомъ постороннимъ людямъ грѣхѣ, съ высокомѣрнымъ, чисто инстинктивнымъ презрѣніемъ, матушка Серафима не рѣшалась просто-на-просто оттолкнуть ее и не отказалась отъ пожертвованій этой женщины, отъ ея услугъ по школѣ. Она была недовольна собою, поступивъ такъ, но въ этомъ недовольствѣ не было какихъ-нибудь опасеній или страха: ожидать какихъ-нибудь дурныхъ послѣдствій, какихъ-нибудь опасностей отъ этого было трудно, какъ вдругъ случились совершенно непредвидѣнныя событія. Явились люди, которымъ, ради матеріальныхъ расчетовъ, было выгодно доказать, что Зимина сумасшедшая и что этимъ якобы пользуется монастырь, желающій обобрать ее и уже отчасти обобравшій. Одно это уже встре-

вожило матушку Серафиму, хотя она и чувствовала себя чистой въ этомъ дѣлѣ. Правда, она нѣсколько путалась въ денежныхъ дѣлахъ, прибѣгала къ займамъ, такъ какъ ея планы были всегда шире ея денежныхъ средствъ, но никто еще покуда не могъ упрекнуть ее въ корыстолюбіи, въ стремленіи ограбить кого-то. Теперь объ этомъ заговорили, и она понимала, что всему дурному люди повѣрятъ и скорѣе, и легче, чѣмъ хорошему. Дѣло, между тѣмъ, не ограничилось однимъ этимъ, а усложнилось новыми обстоятельствами: матушка Серафима узнала, что Софьѣ Дмитріевнѣ извѣстно все ея прошлое, которое знала въ монастырѣ одна только мать Дорооея, безмолвная, какъ могила, во всемъ, что касалось матушки Серафимы. И какъ отнеслась къ этому прошлому Зимина? Мать, бросившая свое дитя для сокрытія своего позора и стыда, по ея мнѣнію, хуже обыкновенной убійцы. Это было сказано Зиминой съ такою ужасающей, съ такою угрожающей страстностью, что ясно было сразу желаніе говорившей отомстить матушкѣ Серафимѣ за презрѣніе къ ней, Зиминой. Матушка Серафима не могла отдѣлаться отъ воспоминанія о взглядѣ Зиминой, когда та сказала и особенно подчеркнула, что ей разсказано про матушку Серафиму «все». Что если она начнетъ разсказывать о прошломъ матушки Серафимы, разсказывать съ преувеличеніями Шустовой? Не подорветъ ли это авторитета матушки Серафимы въ глазахъ монахинь, которыя любятъ и безъ того сплетничать и интриговать противъ выдающихся изъ ихъ среды, противъ перерастающихъ ихъ личностей? Не подорветъ ли это ея авторитета тѣмъ болѣе, что ее не любятъ, какъ нововводительницу, а на Зимину уже начинаютъ смотрѣть какъ на подвижницу? Къ Зиминой чуть не подъ благословеніе подходятъ. Дѣвочки, всегда склонныя къ обожаніямъ, къ созданію своихъ собственныхъ кумировъ и идоловъ, благоговѣютъ передъ нею, и одной изъ нихъ, вздумавшей молиться и поститься, какъ Зимина, матушка Серафима сдѣлала даже строгій выговоръ, зная, къ чему ведутъ въ юные годы излишніе экстазы и нервничанья. Дѣлать кликушъ и юродивыхъ изъ послушницъ и клирошанокъ она вовсе не желала, не любила ихъ, не вѣрила въ нихъ. Мѣсто юродствующимъ, по ея мнѣнію, было не въ храмѣ, а въ больницѣ для умалишенныхъ. Но суевѣрные неразвитые люди всегда увлекаются этими блаженными и юродивыми, потомъ начинается повальная нравственная зараза, подражатель-

нѣсть, жаланіе спать на гвоздяхъ, бичевать тѣло, не мыться и не чесаться, ходить въ лохмотьяхъ и мечтать о веригахъ, думая, что душеспасительный подвигъ тѣмъ выше, чѣмъ тяжелѣе эти вериги. «Еще эта дура Доросея растрезвонила вездѣ, какъ молится Зимина,—раздражительно думала матушка Серафима. — Во всѣ щелки подсмотритъ и благовѣститъ потомъ на всѣхъ перекресткахъ о своихъ открытіяхъ!» Если бы можно было удалить Зимину, если бы можно было ее огласить сумасшедшей! Но какъ же удалить ее, когда она внесла столько за свое содержаніе, когда ей столько задолжалъ монастырь? Какъ назвать ее сумасшедшей, когда именно это-то теперь и опасно, когда нужно болѣе всего заботиться о томъ, чтобы никто и заикнуться не смѣлъ о ея умопомѣшательствѣ? Матушка Серафима чувствовала, что она попала въ какой-то темный лабиринтъ, изъ котораго она не имѣетъ возможности выпутаться...

Матушка Серафима, какъ человѣкъ гордый, властолюбивый и непреклонный, была менѣе всего способна хитрить, унижаться, лгать передъ людьми, а между тѣмъ въ сношеніяхъ съ Зиминой ей приходилось теперь поступать именно такъ, прикрываться личиной и смотрѣть почти такъ же смиренно на Зимину, какъ еще недавно смотрѣла Зимина на матушку Серафиму. Ее не слѣдовало раздражать; нужно было заботиться объ ея здоровьѣ; слѣдовало вліять на нее въ извѣстномъ направленіи, успокаивая эту больную душу. Эта задача была не подъ силу самой матушкѣ Серафимѣ; нужно было прибѣгать къ помощи другихъ, чтобы онѣ вліяли на Софью Дмитріевну.

Главнымъ образомъ, надежды возлагались на мать Нектарію.

По совѣту матушки Серафимы, матушка Нектарія уговаривала выздоравливавшую Софью Дмитріевну и подкрѣпляться пищею, и гулять по монастырскому саду для укрѣпленія здоровья. Наивная и благодушная мать Нектарія говорила Зиминой:

— Да кто же безъ васъ, голубушка, о благолѣпіи-то утвари церковной порадѣетъ? Вотъ вы только слегли—дѣло сейчасъ же и остановилось. Вѣдь такой-то мастерицы, какъ вы, и не сыщешь скоро. И дѣтки-то подъ вашимъ руководствомъ усерднѣе работаютъ. Полюбили ужъ очень васъ за кротость вашу.

— Несчастныя знаютъ, что и я ихъ люблю! — со вздохомъ замѣтила Зимина, дѣйствительно привязавшаяся всей душой къ дѣвочкамъ.

Въ ихъ несчастіяхъ она видѣла повтореніе несчастій своего дѣтства.

— Ну, отчего же несчастныя, здѣсь-то, въ обители-то райской?—запротестовала матушка Нектарія.—Да лучшей доли и быть не можетъ, какъ ихъ доля. Какого же имъ еще-то счастія нужно, коли онѣ сподобились здѣсь въ обители жить? Ни грѣховъ, ни соблазновъ не видятъ...

— Отцовъ и матерей никто не замѣнитъ,—проговорила Зимина.— И не знаю я, какъ могутъ жить тѣ отцы и матери, которые бросаютъ своихъ дѣтей. Какъ они могутъ спокойно, безъ содроганія смотрѣть на дѣтей безъ рода, безъ племени, брошенныхъ на произволъ судьбы? Да я бы ночей не спала, думая, что вотъ та или другая нищая — мой ребенокъ. И сколько людей доходитъ до гибели именно изъ-за того, что ихъ бросили матери и отцы. Не только нищими дѣлаются такія дѣти, но грабителями, ворами, убійцами...

Мать Нектарія сочувственно вздыхала, угадывая, что это— хорошія рѣчи. Недаромъ же онѣ звучатъ такою страстностью въ устахъ Зиминой. Сама она, мать Нектарія, никогда ни о чемъ такомъ не задумывалась: рано оставшись сиротой, она выросла въ монастырѣ, обласканная покойной игуменьей, ни разу не почувствовавъ, что она сирота; оставшись навѣкъ монахиней-дѣвственницей, она не испытывала положенія матери, принужденной бросать своихъ дѣтей, и даже не знала, что бываетъ въ міру съ подобными дѣтьми. Міръ и все мірское были совершенно чужды ей: она знала только, что тамъ скопились всѣ грѣхи, всѣ соблазны, все зло, и радовалась, что она была съ колыбели ограждена отъ этого грѣховнаго омута. Тѣмъ не менѣе она въ умиленіи удивлялась рѣчамъ Софьи Дмитріевны и, по обыкновенію, наивно сообщала отъ слова до слова ихъ содержаніе матушкѣ Серафимѣ.

Матушка Серафима, слушая мать Нектарію, передававшую ей слова Зиминой, испытывала такое ощущеніе, какъ будто она теперь ходила по краю пропасти и ждала, что вотъ-вотъ кто-то сейчасъ столкнетъ ее въ эту пропасть. И, точно призракъ, медленно мелькала между деревьями сада, въ часы вечерняго отдыха, эта исхудалая, всегда смотрѣвшая сосредоточенно и мрачно женщина, сопровождаемая одной изъ послушницъ, восторженно и жадно слушавшей ея суровыя рѣчи о грѣхѣ, о совѣсти. Матушка Серафима чувствовала, какъ отражаются эти суровыя рѣчи на необра-

зованныхъ людяхъ и на молодыхъ душахъ, и не рѣшалась даже выйти навстрѣчу этой женщинѣ и рѣзко сказать ей:

— Что вы смущаете ихъ?

Чѣмъ смущаетъ? Тѣмъ, что велитъ бояться грѣха? Тѣмъ, что говоритъ, что нѣтъ ничего страшнѣе угрызеній совѣсти? Тѣмъ, что разъясняетъ, что всѣ бѣды происходятъ отъ того, что у людей пропала совѣсть? Развѣ противъ этого можетъ протестовать настоятельница монастыря? Развѣ смѣетъ она назвать все это суевѣрнымъ вздоромъ, пустымъ нервничаньемъ, пустымъ страхомъ передъ призраками?

Но не говоритъ ли она, эта мрачная женщина, проходящая медленно по саду съ восторженной послушницей, и чего-нибудь другого, не называетъ ли чьего-нибудь имени,— имени ея, матушки Серафимы? Въ душѣ матушки Серафимы поднималась непобѣдимая тревога.

— Посмотрю я на нее да послушаю ея рѣчей; ровно безумная она, — говоритъ мать Дорооея, разсказывая игуменьѣ про Зимину.

— Что ты выдумываешь! — строго прикрикнетъ на нее матушка Серафима. — У васъ чуть набоженъ человѣкъ, да вашими бабьими сплетнями не занимается, сейчасъ и безумный.

Мать Дорооея начинаетъ моргать глазами, ничего не понимая, и глубокомысленно стягиваетъ губы въ трубочку. По ея лицу такъ и видно, что она опасливо думаетъ въ эту минуту: «не угодила!»

— Варварушка, и та теперь рѣже къ ней забѣгаетъ, — рѣшилась пояснить однажды мать Дорооея, говоря о Зминой съ настоятельницей монастыря.—Очень ужъ она ее донимаетъ своими попреками.

— Какими попреками? — хмуро спросила матушка Серафима.

— И весела-то она, и Бога-то забыла, и страху-то у нея нѣтъ, — пояснила мать Дорооея, готовая всегда сплетничать. — А что-жъ, извѣстно, дѣвка молодая, въ міру живетъ.

И мать Дорооея таинственно сообщила:

— Замужъ собирается... проговорилась намедни, что какой-то богатѣй сватается...

— Развратничаетъ просто!—оборвала ее матушка Серафима:—скоро пускать въ монастырь нельзя будетъ.

— Что-жъ, она не монахиня, — заступилась за нее мать Дорооея.—Мы за нее въ отвѣтѣ не будемъ... А что шашни

она какія-то завела—это вѣрно! — поторопилась заключить мать Дорооея.—Сама вчера своими ушами слышала, какъ она Софьѣ Дмитріевнѣ сказала: «Эхъ, коли бы у меня да деньги, не за богатаго, а за милаго пошла бы я»... Значитъ, милый-то есть... безпремѣнно есть...

Матушка Серафима разсердилась.

— Мало еще васъ всѣхъ коритъ Зимина... Дѣйствительно, вы всѣ по уши въ грѣхахъ завязли...

Мать Дорооея, стянувъ губы, смиренно смолкла: за послѣднее время она никакъ не могла угодить матушкѣ Серафимѣ и постоянно говорила что-нибудь невпопадъ...

Она была права: у Варварушки если и не было милаго въ томъ смыслѣ, какъ могла понимать эти слова матушка Дорооея, то, во всякомъ случаѣ, былъ человѣкъ, въ бесѣдахъ съ которымъ она отдыхала отъ бесѣдъ съ Силой Саввичемъ и его глуповатою матерью. Этотъ человѣкъ былъ Семенъ Дмитріевичъ. Онъ чуть не ежедневно забѣгалъ къ Варварушкѣ; онъ, какъ тѣнь, слѣдилъ за ней, когда она стала появляться вмѣстѣ со своею теткою у матери Силы Саввича.

— Что-съ, насытились мнеями на постномъ маслѣ?— спрашивалъ онъ насмѣшливо у Варварушки, устороживъ ее на лѣстницѣ при выходѣ отъ Коробейниковыхъ.

— Не вѣчно же масленицу справлять,—отзывалась она мимоходомъ, даже не глядя на него.

Потомъ, когда, послѣ подобной выходки, онъ заходилъ къ ней, она дулась на него или вышучивала его, а онъ, не зная какъ угодить, дарилъ ей то колечко, то сережки.

— Это золотыя?—небрежно спрашивала она, разглядывая сережки.

— Смѣю ли я презентовать вамъ какія другія!—восклицалъ онъ.

— Ну, дареному коню въ зубы не смотрятъ,—поясняла она равнодушно.—А я только насчетъ того спрашиваю, что коли не золотыя, такъ надѣвать нельзя: мочки у меня зеленѣютъ отъ мѣди.

Иногда онъ уговаривалъ ее пойти съ нимъ вечеромъ прогуляться. Она оттоваривалась тѣмъ, что «увидятъ». Впрочемъ, когда становилось совсѣмъ темно, она соглашалась пройтись съ нимъ нижней тропинкой, лежавшей между рѣкой Чистой и монастырскими огородами. Тамъ никогда не бывало народу, а видъ оттуда былъ своеобразный. Въ одну сторону—на противоположномъ берегу тянулась «слобода»

съ ея покрившимися, лѣпившимися одна подлѣ другой избами, съ ея пестро раскрашенными трактирными домами, съ ея вѣчно шумными кабаками; въ другую—раскидывался зеленый холмистый пустырь, поросшій травой и кустарникомъ, а за нимъ вливалась въ Чистую маленькая рѣчонка Черная, на которой чернѣлись остатки заброшенной и полуразвалившейся коробейниковской мельницы. Порой Варварушка и Семенъ Дмитріевичъ сходились какъ бы случайно и бродили взадъ и впередъ по берегу, покуда совсѣмъ не темнѣло въ воздухѣ. Въ одну изъ такихъ встрѣчъ Семенъ пояснилъ, что онъ на лодкѣ пріѣхалъ.

— Вонъ она тамъ у плотика и стоитъ,—сказалъ онъ, и въ его голосѣ послышались какія-то заискивающія, почти жалобныя нотки.—Покатаемтесь...

— Чтобы народъ-то Богъ-вѣсть что заболталъ? — сказала она.

— Какой же народъ? вѣдь-то по рѣкѣ ни души не встрѣтимъ,—пояснилъ онъ. — А ужъ вечеръ-то очень прельстительный.

— Да, душно!—согласилась она, сбрасывая съ шеи шелковый платокъ, и вдругъ неожиданно рѣшила. — Что-жъ, прокатите!

Онъ заторопился, радостный, смѣющійся. Они сѣли въ лодку. Онъ взялся за весла; Варварушка сѣла противъ него. Лодка быстро понеслась по рѣкѣ; ее несло теченіемъ, и Семенъ мастерски работалъ веслами. Онъ сдвинулъ фуражку на затылокъ и изъ-подъ ея козырька выбились его густые черные кудри. Его широкая грудь поднималась высоко, щеки разгорѣлись, губы слегка полуоткрылись, и все лицо приняло какое-то свѣтлое и радостное выраженіе. Черезъ нѣсколько минутъ Варварушка впала какъ бы въ забытье, думая о чемъ-то. Семенъ Дмитріевичъ не отрывалъ отъ нея влюбленныхъ глазъ и словно старался угадать, о чемъ она думаетъ, проникнуть ей въ душу.

— Охъ, инъ голова закружилась, на воду смотрѣвши!— вдругъ, очнувшись, сказала Варварушка, полулежавшая въ лодкѣ и слѣдившая, какъ струится вода.

Вечеръ былъ очень теплый, и даже на рѣкѣ не было прохладно.

— Не хотите ли, въ бережку причалимъ, — предложилъ Семенъ Дмитріевичъ, давно уже не только сдвинувшій на затылокъ, но и совсѣмъ сбросившій съ головы шапку. Онъ сидѣлъ съ раскраснѣвшимся и слегка вспотѣвшимъ ли-

цомъ.—Своротимъ въ Черную да тамъ у старой мельницы на бережку и отдохнемъ: мѣсто привольное, тихое. Никогда бы такого мѣста, будь оно мое, не забросилъ.

Вспомнивъ о слухахъ, ходившихъ про старую мельницу, онъ путливо спросилъ:

— Вы водяныхъ не боитесь?

— Ничего я не боюсь,—отвѣтила Варварушка коротко.

Ее тоже сильно измаялъ жаръ.

Семенъ сталъ усиленно грести, своротивъ въ рѣчку. Они проѣхали нѣсколько саженей противъ теченія, и онъ сталъ причаливать лодку къ берегу. Лодка врѣзалась въ песокъ и, прежде чѣмъ Семенъ успѣлъ выйти изъ нея, Варварушка выскочила на траву. Берегъ здѣсь былъ довольно крутой, весь заросшій по откосу травой и только внизу окаймленный рѣдкимъ кустарникомъ да нѣсколькими корявыми остатками давно погибшихъ старыхъ ветелъ. Семенъ привязалъ лодку къ торчавшему изъ земли пню и тоже выскочилъ на берегъ, вытирая вспотѣвшій лобъ бѣлымъ платкомъ.

— Видно, работать-то не то, что лежать, сложа руки,— пошутила Варварушка, глядя на его разгорѣвшееся лицо.

— Противъ теченія, Варвара Михайловна, всегда трудно,— отвѣтилъ онъ.

— А вамъ бы все какъ по маслу,—засмѣялась она.

Онъ усмѣхнулся.

— Здѣсь и полежать можно,—сказалъ онъ и сѣлъ на траву.

Варварушка прилегла около него.

— Да вы вотъ такъ, на колѣни мнѣ голову положите,— предложилъ онъ:—а то неловко вамъ безъ подушечки.

Она согласилась, что такъ лежать лучше, положила ему голову на колѣни и натянула себѣ на лицо пестрый шелковый платокъ, бывшій у нея на головѣ.

— Солнце въ глаза свѣтитъ,—коротко пояснила она.

Заходящее солнце, дѣйствительно, свѣтило ей прямо въ глаза, озаряя яркими лучами весь берегъ и сидѣвшихъ на немъ. Онъ закинулъ черезъ ея лѣвое плечо свою лѣвую руку и почувствовалъ около таліи учащенное біеніе ея сердца. Оба нѣкоторое время молчали, пригрѣтые солнцемъ, охваченные сладкимъ чувствомъ покоя.

— А и хорошо здѣсь!—сказалъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Да, хорошо, — отвѣтила она лѣниво, какъ бы сквозь дремоту.

— Вотъ бы вѣкъ такъ жить всегда вмѣстѣ, — проговорилъ онъ, слегка прижимая ее къ себѣ рукою.

— Ну, вы болтайте, а рукамъ воли не давайте, — сказала она, смѣясь и чуть-чуть отстраняя его руку.

— Варвара Михайловна... Варя, — почти шопотомъ началъ онъ прерывающимся голосомъ. — Голубка моя, не знаешь ты, какъ я тебя люблю...

— Знаю, — отвѣтила она тихо и засмѣялась. — Руку-то прочь убери. Вамъ вѣдь только дай волю; пальцъ дашь— руку откусите.

— Тиранишь ты меня, — проговорилъ онъ, вздыхая.— Скажи одно слово, ненаглядная, голубка милая!

— Какое слово-то сказать? Что Сила Саввичъ жениться на мнѣ хочетъ, какъ только у него травуръ кончится? — слегка насмѣшливымъ тономъ спросила она.

— Ребра ему переломать надо, а не женить его! — воскликнулъ Семенъ Дмитріевичъ гнѣвно.—Чего ты меня изъ себя-то выводишь? Развѣ онъ умѣетъ любить?..

— Ну, это-то всякій умѣетъ. А жениться...

Она опять засмѣялась беззвучнымъ смѣхомъ.

— Вотъ хоть бы ты... Ну, женился бы, что же стали бы дѣлать. Пальцемъ закусывать, водой запивать? Нужда-то сладка?

— У меня руки есть,—бодро проговорилъ онъ.

— Знаю, потому и говорю: убери свои руки-то!

Она высвободилась изъ-подъ его руки, поднялась и сѣла.

— Нѣтъ, Семенъ Дмитріевичъ, полежать-то такъ вдвоемъ въ мечтаніяхъ сладко, только весь вѣкъ такъ лежать нельзя,—серьезно сказала она.—Пока молоды—это сладко, а придутъ года—другое понадобится: деньги понадобятся. Говорятъ, не въ деньгахъ счастье. А безъ денегъ-то и вовсе ужъ его нечего ждать. Не сладко горе при деньгахъ, а безъ денегъ оно еще горше... Что-жъ, я не скрываюсь: не люблю я Силы Саввича; только за нимъ-то я, какъ за каменной стѣной, буду.

Она снова тихо засмѣялась.

— Погоди, не такъ еще залюбуешься, какъ твоей хозяйкой, въ шелкахъ да брильянтахъ, ходить буду.

— Никогда я тебя своей хозяйкой не увижу!—воскликнулъ онъ мрачно.

— Что такъ? Думаешь, нажалуюсь, что вотъ обнимать здѣсь пробовалъ, такъ Сила Саввичъ и прогонитъ тебя? Нѣтъ, я жаловаться не стану! Я добрая.

— Не то! — страстно перебилъ онъ, раздражаемый ея

шутками.—А въ воду я съ головой прежде твоей свадьбы кинусь, либо его придушу!

— Кому лучше-то сдѣлаешь? — равнодушно замѣтила она. — Въ водѣ раки съѣдятъ, коли броситься; а убьешь его, въ каторгѣ сгніешь. Экая сласть!

Онъ нетерпѣливо пожалъ плечами и раздражительно сказалъ:

— И какъ это издѣваться ты можешь надъ человѣкомъ? Ума онъ рѣшился изъ-за тебя, а ты жилы изъ него тянешь!

— А ты разсердись и разлюби, — посовѣтовала она и, сорвавъ цвѣтокъ, начала молча ощипывать его лепестки, смотря въ сторону.

Семенъ искоса взглянулъ на нее. Выраженіе ея лица было холодное, недовольное. Онъ слегка приблизился къ ней и робко попробовалъ ее обнять.

— Ну, ну, это ужъ оставь! — сказала она, сердито отстраняясь. — Ѣхать пора. Вонъ солнышко-то совсѣмъ за холмы ушло.

Она поднялась во весь ростъ, взглянула на Семена и громко засмѣялась.

— Испугался, что разсердилась?—спросила она.

И, не дождавшись отвѣта, быстро побѣжала съ крутого берега, вскочила въ лодку, такъ что та чуть не зачерпнула воды, и, слегка запыхавшись, сѣла на скамью.

— Ты осторожнѣе!—испуганно крикнулъ онъ и сильной рукой удержалъ лодку, чтобы та не качалась.

— А и силенъ ты,—сказала она, любуясь имъ.

— Ничего, Богъ не обидѣлъ,—отвѣтилъ онъ.—Тебя десять верстъ не усталъ бы нести.

— А и хвастать ты горазда!—замѣтила она.

— Ей-Богу!—побожился онъ.

Онъ тоже вошелъ въ лодку, отвязалъ ее, оттолкнулъ отъ берега, и ихъ понесло по теченію.

— А ты знаешь,—сказалъ Семенъ Дмитріевичъ, указывая на чернѣвшіяся развалины старой мельницы:—что въ народѣ говорятъ, будто здѣсь отецъ Силы Саввича убилъ коробейника и съ этого жить началъ. Говорятъ, съ того самаго не позволялъ и мельницу ломать, что подъ нею былъ зарытъ коробейникъ; боялся, значитъ, что кости человѣческія противъ него завопіютъ...

— Зря болтаютъ,—равнодушно отвѣтила Варварушка.— А если и такъ, то что-жъ: гдѣ тамъ разбирать, кто съ чего

разбогатѣлъ. Всѣ не съ труда богатѣютъ, а съ грабежа. Трудомъ праведнымъ не наживешь палатъ каменныхъ. Только деньги, откуда ихъ ни возьми, хоть изъ навоза выкопай—все деньги.

Они выѣхали изъ Черной, свернули по Чистой, гдѣ пришлось теперь плыть противъ теченія, и чрезъ нѣсколько минутъ были уже вблизи монастырской огородной изгороди. Семенъ Дмитріевичъ причалилъ къ плоту.

Въ воздухѣ было уже совершенно темно. Лѣтняя темная, но прозрачная ночь сверкала милліонами яркихъ звѣздъ. На противоположномъ берегу, въ той сторонѣ, гдѣ тянулась слободка, мерцали въ избахъ огни. Оттуда доносились звуки гармоники, пѣсни и крики. Визгливые голоса поющихъ, гуляющихъ бабъ особенно рѣзко раздавались въ воздухѣ. Тамъ гуляли, празднуя воскресенье, городскіе гуляки изъ рабочихъ. На городскомъ же берегу, около спускавшихся къ рѣкѣ монастырскихъ огородовъ, было, по обыкновенію, совершенно безлюдно и тихо.

Выйдя изъ лодки, Варварушка сказала:

— Прощайте, Семенъ Дмитріевичъ! Спасибо за катанье.

— Не на чемъ, Варвара Михайловна!—проговорилъ онъ, привязывая лодку.

Въ его голосѣ была грусть,—что-то такое, что задѣло за сердце Варварушку. Она сдѣлала нѣсколько шаговъ, потомъ быстро вернулась и, прежде чѣмъ опомнился Семенъ, обвила его шею руками и горячими губами поцѣловала его въ губы.

— Радъ?—проговорила она страстнымъ шопотомъ, тяжело дыша всей грудью, и опять, прежде чѣмъ онъ опомнился, быстро, точно спасаясь отъ погони, побѣжала по тропинкѣ около монастырскихъ огородовъ, поднимаясь вверхъ по отлогому берегу...

Онъ опустился на скамью лодки, сжалъ голову руками и словно замеръ, какъ совсѣмъ захмелѣвшій человѣкъ.

IX.

Жары въ Чистополѣ стояли невыносимыя и только въ густой тѣни садовъ да около рѣки дышалось нѣсколько легче.

Особенно манилъ къ себѣ въ эту знойную пору тихій монастырскій садъ со своими столѣтними, густо разросшимися, деревьями. Въ немъ постоянно царилъ полумракъ и къ вечеру чувствовалась прохлада. Съ одной стороны онъ примыкалъ къ маленькому садику — цвѣтнику матушки Серафимы, отдѣленному отъ него только легкимъ палисадни-

комъ, съ другой—къ нему примыкали монастырскіе огороды, спускавшіеся къ рѣкѣ и отдѣленные отъ сада оградой, ворота которой были всегда раскрыты днемъ. Въ монастырскій садъ и въ огороды постороннія лица почти не допускались, и монахини и послушницы могли работать, гулять и отдыхать здѣсь совершенно спокойно и свободно. Такъ какъ во время лѣтнихъ перестроекъ и перекрашиванья монастырскихъ зданій было особенно тяжело дышать въ томъ флигелѣ, гдѣ помѣщалась Софья Дмитріевна, то она чаще всего проводила цѣлые часы, съ работой въ рукахъ, въ саду. Около нея постоянно находился кто-нибудь, то какая-нибудь благоговѣвшая передъ ней послушница, то наивная и простодушная матушка Нектарія, то вѣчная болтунья Варварушка, смотрѣвшая на Зимину не то, какъ на свою протежэ, не то, какъ на свою пріятельницу, за которую ей обязанъ монастырь и которая, въ свою очередь, обязана ей же.

Теперь около Зиминой была именно Варварушка. Онѣ сидѣли противъ открытыхъ воротъ, ведшихъ на огороды, и Варварушка засмотрѣлась вдаль на знакомый прекрасный видъ. Огороды шли по покатости отлогаго берега къ рѣкѣ и не заслоняли ни протекавшей подъ ними рѣки Чистой, ни разстилавшейся за нею дали; немного влѣво, на противоположной сторонѣ, виднѣлась та мутная рѣчонка, которая, подъ именемъ Черной или Чернухи, впадала въ Чистую и на которой стояла заброшенная коробейниковская мельница, казавшаяся издали какимъ-то совершенно почернѣвшимъ огромнымъ скелетомъ. Вечеромъ, когда за нею заходило солнце, глядя на нее изъ монастырскаго сада, можно было подумать, что вся она горитъ, такъ какъ сквозь всѣ ея отверстія прорывался багровый свѣтъ.

Хорошо знакомы были всѣ эти мѣста Варварушкѣ и особенно много тревожныхъ воспоминаній они пробуждали въ ней сегодня. Наканунѣ, въ этихъ самыхъ мѣстахъ, съ нею случилось нѣчто такое, чего никогда еще не бывало и что сбило ее совсѣмъ съ толку: по принятому ею за послѣднее время обыкновенію, вечеркомъ она вышла прогуляться по бережку около монастырскихъ огородовъ и «случайно», какъ это бывало теперь почти каждый вечеръ, встрѣтила Семена Дмитріевича. Онъ позвалъ ее опять проѣхаться на лодкѣ, но она на этотъ разъ не согласилась, оттоваривaясь тѣмъ, что ей сегодня надо пораньше вернуться домой, да и гроза вѣрно будетъ. Гроза дѣйствительно собиралась, и въ воздухѣ, какъ говорила Варварушка, было «ужъ очень маятно».

Семенъ, получивъ отказъ, нахмурился и сталъ ее страстно упрекать за тиранство и мучительство: самъ онъ не въ себѣ ходитъ, товарищи диву даются, что съ нимъ сталось; иной разъ не то запитъ, не то руки на себя наложитъ готовъ; онъ не какой-нибудь мозглякъ, которому все «все равно», выряднтся самъ для себя и доволенъ. Въ этихъ случаяхъ, когда Семенъ Дмитріевичъ жаловался на судьбу и грозилъ покончить съ собою, Варварушка обыкновенно отшучивалась и высмѣивала его, жеманясь и подзадоривая: «а ты и наложи на себя руки; въ землѣ-то веселѣе будетъ лежать, чѣмъ здѣсь красоваться; ишь чѣмъ пужать вздумалъ!» Но на этотъ разъ и ей какъ-то не шутилось, было и маятно, и жутко отъ надвигавшейся грозы, вѣрно. Въ воздухѣ царила зловѣщая и томительная тишина, и только гдѣ-то далеко-далеко черныя тучи вдругъ на мгновенье озарялись яркимъ блескомъ, точно кто-то съ неба гнѣвно бросалъ съ угрозой на землю молніеносные взгляды, поднимая вздрагивающія вѣжды. Въ душѣ Варварушки поднялось странное чувство негодованія не на Семена Дмитріевича, а на Силу Саввича, который тоже тиранитъ ее и подъ предлогомъ траура все еще не женится на ней. Отца-то, поди, при жизни посылалъ ко всѣмъ нелегкимъ, а теперь жениться раньше года со дня его смерти не рѣшается. Себя только изведетъ да и другихъ измаетъ. При упоминаніи имени Коробейникова, Семенъ Дмитріевичъ вышелъ вдругъ изъ себя и сказалъ въ гнѣвѣ то слово, котораго ни онъ, ни она еще не сказали ни разу.

— Что-жъ, ты хочешь сперва его женой сдѣлаться, а потомъ меня въ полюбовники взять? — крикнулъ онъ не своимъ голосомъ и пригрозилъ: — Такъ не бывать этому никогда. Добромъ не хочешь моей быть, силой возьму!

— Не рано ли грозить начинаешь?—оборвала она его.— Не убилъ еще звѣря, а ужъ шкуру сдирать съ него собираешься.

— А коли ты любишь шутки шутить, такъ справляйся прежде, съ кѣмъ шутишь,—пригрозилъ онъ.—Я изъ тѣхъ, что въ недобрый часъ и на рогатину полѣзутъ!

Въ его голосѣ послышалось что-то недоброе...

Какъ тогда убѣжала она отъ него, звѣря бѣшенаго, какъ перелѣзла черезъ плетни огородные отъ его погони и скрылась въ сторожкѣ стараго Михея, смотрѣвшаго по ночамъ со своимъ подросткомъ-племянникомъ за огородами, — этого Варварушка теперь и сообразить не могла. Помнитъ только,

что разсказала Михею, какъ шла она и напалъ на нее воръ-грабитель, платокъ съ нея шелковый сорвалъ, платье поразрывалъ на ней и она сама спаслась—Богъ вѣсть какъ. Дѣйствительно, было видно, что дѣвка перепугана не на шутку и едва дышитъ отъ ужаса; трясясь, какъ въ лихорадкѣ, она все повторяла въ волненіи:

— Чортъ, дьяволъ этакій! право, дьяволъ!

И, глотая большими глотками изъ ковша воду, больше всего боялась она въ душѣ того, что кто-нибудь изъ монастырскихъ бабъ найдетъ ея красный шелковый платокъ съ бѣлыми цвѣтами. Тогда уже не скажешь имъ, что на нее воръ-грабитель напалъ: платокъ совсѣмъ новенькій и семь рублевъ серебромъ заплачено; такого платка воръ-грабитель не броситъ. И никакъ она не могла припомнить: Семенъ ли сорвалъ съ нея этотъ платокъ во время борьбы, когда онъ рвалъ ея платье, или потеряла она его во время бѣгства? Безпокоило ее и то, что старый Михей разскажетъ объ этомъ случаѣ и бабамъ огородныимъ, и монашкамъ. Старикъ болтливѣе любой бабы. Недаромъ съ монашками дѣло имѣетъ. Въ монастырѣ каждую новость ловятъ нарасхватъ и носятся съ нею по цѣлымъ недѣлямъ. Здѣсь каждый пустякъ принималъ значеніе событія и сплетни да пересуды замѣняли газеты. И сегодня Варварушка забѣжала въ монастырь, главнымъ образомъ, затѣмъ, чтобы навести справки, не говорятъ ли тутъ чего-нибудь о вчерашнемъ случаѣ, охая и ахая отъ страха передъ проявившеюся около монастыря шайкою разбойниковъ-душегубовъ и пытаясь выяснить темный вопросъ, какимъ образомъ попала позднимъ вечеромъ Варварушка въ такое пустынное мѣсто.

— Что задумалась?—спросила ее Зимина, немного удивленная тѣмъ, что всегда говорливая Варварушка сидитъ теперь молча, въ глубокомъ раздумьѣ.

На минуту Софья Дмитріевна опустила на колѣни полосу вышиваемой ею канвы и пытливо посмотрѣла на свою сосѣдку.

— Все о своей судьбѣ,—проговорила Варварушка, очнувшись.—Бѣда это, коли у человѣка денегъ нѣтъ...

— Ну, съ деньгами-то тоже не всегда радость, какъ знаешь, что люди-то и ненавидятъ, и любятъ тебя только ради твоихъ денегъ, — замѣтила Зимина. — Сама ты хоть сгинь — имъ все равно, лишь бы твоими деньгами попользоваться...

Ей все чаще и чаще приходили въ голову неотступныя

тяжелыя мысли о томъ, что и не держали бы ее въ монастырѣ, и не ухаживали бы за нею такъ, какъ теперь, если бы у нея не было денегъ, оставленныхъ ей убитымъ ею мужемъ. Не началась бы и эта, уже дошедшая до ея свѣдѣнія и причинившая ей не мало душевныхъ тревогъ, проклятая исторія съ вопросомъ объ освидѣтельствованіи ея умственныхъ способностей, если бы Марья Ивановна Шустова и ея сынъ Ѳедоръ Семеновичъ Зиминъ не жаждали обобрать деньги у нея, у Зиминой, назначивъ надъ нею опеку. И смертныхъ грѣховъ бы на ея душѣ не лежало, если бы не деньги, привлекшія къ ней проклятаго ея соблазнителя и заставившія ее убить, въ концѣ-концовъ, мужа. Да, деньги—это величайшее зло, это орудіе самого дьявола и страшнѣе всего, что какъ узнаешь ихъ силу, такъ уже и не можешь выпустить изъ рукъ: знаешь, что онѣ тебя губятъ, что онѣ отъ дьявола, молишься о прощеніи грѣховъ, а ихъ изъ рукъ не выпускаешь, держишься за нихъ, какъ за какую-нибудь святыню. Вотъ она, Зимина, цѣлые дни о своихъ грѣхахъ сокрушается на словахъ, какъ и другіе, у кого совѣсти нѣтъ, а на дѣлѣ, — вотъ хоть по кускамъ ее теперь рѣжь, а денегъ она не выпуститъ изъ рукъ, потому что тогда ее, какъ паршивую собаку, всѣ погонятъ...

— Деньги на грѣхъ наводятъ, — мрачно сказала она вслухъ. — Отъ дьявола онѣ. Онъ, проклятый, ими людей и губитъ.

— Что говорить! — согласилась Варварушка. — А все же безъ нихъ не проживешь, николи не проживетъ... Вотъ развѣ я-то пошла бы за своего богатѣя замужъ, если бы съ милымъ было чѣмъ жить. Ни въ жисть!

Зимина серьезно взглянула на нее испытующимъ взглядомъ.

— Съ милымъ? Ты, Варварушка, ужъ опять не сбилась ли...—начала она строго.

— Ахъ, за кого вы меня, голубушка моя Софья Дмитріевна, считаете! — воскликнула Варварушка, немного жеманясь по привычкѣ. — Стану ли я себя изъ-за пустяковъ терять, когда на всю жизнь счастливой могу сдѣлаться! Разъ попалась, другой не попадусь. Пуганый воробей, слава Богу! Или вы думаете, мой богатѣй-то возьметъ меня беременную или ждать меня чуть не годъ станетъ? Тоже опасность мнѣ надо теперь имѣть.

Она вздохнула:

— Нѣтъ, ужъ, видно, моя судьба такая: по милому сохнуть да и его сушить,—сказала она.

Зимина строго спросила ее:

— Такъ ужъ не думаешь ли ты послѣ замужества мужа обманывать? Не это ли ты затѣяла? Да знаешь ли ты, до чего это довести можетъ? Навѣкъ душу ты загубить можешь!

Варварушка тихо улыбалась, водя обутой въ козловый башмакъ ногой по песку, то сгребая его въ кучки, то снова разравнивая.

— Завтрашній-то день, голубушка моя Софья Дмитріевна, завтра и будетъ, — сказала она пѣвучимъ, сладкимъ голосомъ.—И въ писаніи сказано: «довлѣетъ дневи злоба его». А теперь у меня однѣ мысли, чтобы скорѣй мой богатѣй-то на мнѣ женился. Такъ-то это я не люблю словно впотьмахъ ощупью бродить. Вѣрите ли, съ той поры, какъ это пришло мнѣ на мысль повѣнчаться, словно руки у меня связались: ни я дѣвка, ни я замужняя, ни воли прежней у меня нѣтъ, ни веселости, ни желанія,—все словно жду и боюсь чего-то: вотъ-вотъ не по-моему выдетъ, вотъ-вотъ спотыкнусь на дорогѣ. Ужъ такой я человѣкъ, что сама себѣ госпожей быть хочу и не люблю, чтобы надо мною другіе мудровали: «подожди, молъ, когда я заиграю въ свою дудку, тогда ты и пляши, какъ я захочу».

Она пояснила:

— Я ужъ сегодня тетеньку спосылала къ его матери, чтобы поговорила. «Дѣвка, молъ, сохнетъ, ничего не зная навѣрное. Тожо и другимъ женихамъ отказываетъ. Товаръ это такой, что гноить нельзя. Найдется покупатель и продавай, хоть и меньше, можетъ-быть, дастъ, чѣмъ тотъ, который еще не торговался». Тетенька моя знаетъ, какъ эту механику подводить. Она у меня мастерица и свадьбы ладить, и по покойникамъ читать.

Зимина покачала головой.

— Сама ты идешь на несчастіе и на грѣхъ, да и мужа-то счастливымъ не сдѣлаешь, — наставительно сказала она. — Теперь не любишь, потомъ ненавидѣть будешь.

— Ой, что это вы, голубушка моя Софья Дмитріевна, говорите!—воскликнула Варварушка.—За что же я ненавидѣть-то его буду? За то, что въ шелкахъ, да въ бархатахъ водить меня будетъ? Говорятъ люди: «скупъ онъ», а это вовсе не скупость, а просто деньгами владать онъ не пріобыкъ, не пріученъ былъ съ измалѣтства,—тятенькой своимъ запуганъ. Тятенька-то его кремень былъ. А покажи ему, какъ на его капиталы развернуться можно, такъ онъ коло-

сомъ пойдетъ. Въ руки только надо умѣть его взять умному человѣку. Небольшой это трудъ.

Она засмѣялась и пояснила:

— Мужики вотъ медвѣдей плясать учатъ, а ужъ баба-то всегда сумѣетъ мужика заставить плясать по ея дудкѣ... Ахъ, только бы тетенька сегодня все это дѣло повернула скорой рукой! А то шутка ли еще ждать три мѣсяца, когда травуръ кончится...

Она поднялась съ мѣста: домой ей пора, можетъ-быть, и тетенька домой вернулась отъ Коробейчихи; словно на иголкахъ сидитъ она тутъ, только объ одномъ своемъ дѣлѣ и думаетъ. Софья Дмитріевна не удерживала ее и тоже направилась вмѣстѣ съ нею къ своему флигельку. Варварушка попрежнему была безконечно ласкова съ ней, попрежнему цѣловала ей ручки, попрежнему откровенничала съ ней, но Софья Дмитріевна уже и къ ней относилась только критически, подмѣчала однѣ ея темныя стороны. Совѣсти въ ней тоже нѣтъ, какъ и въ другихъ людяхъ. Вотъ выйдетъ замужъ, мужа обманывать станетъ — и ничего, и горя ей будетъ мало. Съ тѣмъ и замужъ выходитъ, чтобы его обманывать. Нѣтъ, она, Софья Дмитріевна, хоть и невольно обманула своего мужа, соблазненная проклятымъ своимъ губителемъ, а и за этотъ грѣхъ теперь въ слезахъ кается. Безъ совѣсти-то легко жить! Она одна и страшна; грѣхъ не страшенъ, а совѣсть страшна... И, сдвинувъ брови, она вслухъ закончила:

— Тамъ-то что васъ ждетъ? тамъ-то что вамъ уготовано!

Шедшая рядомъ съ ней Варварушка даже вздрогнула отъ неожиданности, услышавъ зловѣщій, ужасающій голосъ Зминой.

— Охъ, какъ вы меня испугали!—проговорила она, отмахиваясь рукой.

— Бога-то забыли, потому и страшно, когда о Немъ напомнятъ,—мрачно сказала Змина.

Варварушка поспѣшила проститься съ нею и торопливо направилась къ своему дому. Она не ошиблась: старуха-тетка была уже дома и принесла цѣлый ворохъ новостей. Пришла это она къ Коробейчихѣ, заговорила о всякой всячинѣ и подвела разговоръ-то къ Силѣ Саввичу, что, молъ, онъ какъ будто похудѣлъ да извелся, не веселъ ходитъ. А чего и изводиться-то, всегда чахлымъ ходилъ, самъ желтъ, а глаза въ синякахъ, точно подбитые. *Сама-то* и говоритъ: ношто весела ему жисть-то холостая, когда онъ и живетъ-то

сатворникомъ, хмелемъ не зашибается, съ дѣвками робѣетъ. Вотъ травуръ по отцѣ кончится, поженится, тогда и поздоровѣетъ, изводить-то самъ себя не станетъ. Тутъ-то и пришлось брякнуть, что три мѣсяца-то велики, что, молъ, въ такихъ дѣлахъ откладывать да затягивать нельзя, что вотъ и она, Дарья Трофимовна, даромъ что Варварушка у нея дѣвка молодая да здоровая, подумываетъ на-днихъ выдать ее замужъ, благо женихъ навертывается подходящій. Всполохнулась Коробейчиха:—Какъ же, молъ, Сила-то?—«Причемъ тутъ,—говоритъ Дарья Трофимовна:—Сила-то Саввичъ? Ему-то что? Ни онъ полюбовникъ, прости Господи, ни онъ женихъ Варварушкѣ». Замоталась Коробейчиха: только спитъ и видитъ Сила на Варварушкѣ жениться. Другой невѣсты ему не сыскать, хоть и при капиталахъ онъ состоитъ.—Онъ,—говоритъ она:—дѣвокъ боится; его не всякая суметъ осѣлить; коли онъ на Варварушкѣ не женится, онъ и къ другой не сунется, такъ и зачахнетъ на одинокомъ холостомъ положеніи. Кому же тогда все достанется, что отецъ-то скопилъ? — «Ну, молъ, это его дѣло, а дѣвкѣ ждать у моря погоды тоже не приходится. Одного будетъ ждать, другого упуститъ». И такъ это дальше да больше, наконецъ, и договорились до дѣла.

— Завтра подъ вечеръ просила меня съ тобою зайти къ ней,—закончила тетка свой разсказъ.—Завтра и покончимъ, видно, дѣло. Срока годового не станутъ ждать.

— Чего ждать-то: покойникъ вѣдь не встанетъ, когда ни повѣнчаемся, — замѣтила Варварушка. — Да, поди, и не очень-то рады были бы они, если-бъ всталъ.

— Ужъ чего радоваться-то. Только послѣ его смерти и передохнули немного,—согласилась тетка. — Вотъ звѣрь-то человѣкъ былъ!

Старуха подлила масла въ лампадку, горѣвшую въ переднемъ углу, сощипнула нагаръ у свѣтильни и, выдернувъ ее немного, затеплила снова огонь. Затѣмъ, покрестившись передъ образомъ малыми крестами, направилась въ кухню, гдѣ помѣщалась ея кровать. Варварушка неспѣшно задернула занавѣски у оконъ и стала лѣниво раздѣваться. Въ комнатѣ было душно, манило на свѣжій воздухъ. Да куда теперь пойдешь послѣ вчерашней сцены? Этотъ сумасшедшій еще встрѣтится, Богъ вѣсть чего надѣлаетъ. Скорѣй бы повѣнчаться, а то и не замужемъ она, и прежней дѣвичьей воли у нея нѣтъ. Не въ ея правѣ со связанными руками и ногами ходить: того не дѣлай, другого бойся. Она, сладко

зѣвая, съ закинутыми подъ затылокъ руками, легла на мягкій пуховикъ, отбросивъ въ ноги одѣяло.

На улицѣ гдѣ-то далеко заиграла гармоника ухарскую плясовую русскую пѣсню. Парни, видно, гуляютъ. Имъ не закажешь не гулять, не играть пѣсенъ, не то они, что дѣвки. И что это за растреклятое дѣвичье положеніе! Молода, здорова, а сиди вотъ дома, валяйся на постели, когда и сонъ-то отъ глазъ бѣжитъ. А когда-жъ и гулять, какъ не въ молодые годы? Уплывутъ они—не воротятся, любить захочется—никому не полюбишься, станешь старое вспоминать—вспомнить будетъ нечего! Она тяжело вздохнула, повернувшись на бокъ, и, подложивъ руку подъ щеку, стала смотрѣть на завѣшенное окно. Звуки гармоники все приближались. Въ улицу къ нимъ, вѣрно, парни свернули, изъ слободки возвращаются. Послышались и молодые голоса гулякъ, говорившіе наперебой, оживленно и весело. Съ гулянки какой-нибудь возвращаются. Въ слободѣ-то вѣчно масленица. Счастливые! Она поднялась съ постели, подошла къ окну и чуть-чуть отвернула кончикъ занавѣски, чтобы взглянуть на веселую компанію. Вдругъ раздался подъ самымъ окномъ громкій голосъ:

— Вотъ она тутъ и живетъ, хозяйка-то ваша будущая! Вотъ такъ краля. Отдай все—и то будетъ мало! Разбудить бы ее теперь, чтобы показалась намъ, дала своей красотой полюбоваться.

— Перестань, Семенъ!—остановилъ кто-то говорившаго.

— Нѣтъ, что-жъ, сядемъ у окошечка, споемъ пѣсенку,—отозвался Семенъ Дмитріевичъ насмѣшливымъ голосомъ.—Можетъ, спасибо вамъ скажетъ, въ окошко взглянувъ. «Благодарствуйте, молъ, добрые молодцы, что хозяюшку свою молодую чествуете». А то, можетъ, и по чарочкѣ поднесетъ: «я, молъ, молодцы, буду для васъ хозяйка добрая да милостивая, любить пуще своего мужа васъ буду».

— Пойдемъ, пойдемъ! Еще самому нажалуется, что безобразничаемъ у нея подъ окномъ,—остановили Семена пріятели.

— Плевать я на него, на мозгляка, хотѣлъ! Это вамъ онъ страшенъ, а не мнѣ!—буянилъ Семенъ.

Онъ сѣлъ у дома на скамью и, подыгрывая лихо на гармоникѣ, запѣлъ «Куманька».

— Перестань, всѣхъ перебудишь!—приставали къ нему товарищи.

— Хочу и пою! Окно еще разобью. Мнѣ никто не указъ!—кричалъ совсѣмъ захмелѣвшій Семенъ.

Впервые въ жизни смертельно струсила Варварушка. Она отскочила отъ окна и прижалась въ уголъ. Въ ея душѣ проснулся гнѣвъ на этого сумасшедшаго. Она не знала, что будетъ дальше, боялась, что онъ выбьетъ стекла, разскажетъ все. На весь городъ огласка пойдетъ. Тогда не видать ей свадьбы, какъ своихъ ушей безъ зеркала.

— Что это, Варварушка?—окликнула ее испуганно тетка, тожо вставшая съ постели на шумъ и появившаяся изъ кухни.—Ужъ не озорники ли слободскіе? Ахъ, они, растреклятые! По ночамъ добрымъ людямъ...

— Тише!—проговорила шопотомъ Варварушка, перебивая ее.—Семенъ это буянитъ.

— Ахти! вотъ бѣда-то!—воскликнула тетка.—И съ чего это? Кажись, парень не пьющій...

— Молчите, молчите!—махая рукой, остановила ее Варварушка.

На улицѣ послышалась возня.

— Уведемте его, братцы!—говорили наперебой голоса.—Не оставлять же его здѣсь безобразничать. Ишь разобрало его!

Парни потащили Семена, безсильно вырывавшагося у нихъ изъ рукъ и угрожавшаго кому-то. Все, наконецъ, мало-по-малу стихло,—и шаги, и голоса. Варварушка тяжело перевела духъ, чувствуя, что опасность миновала...

X.

Чистопольскій домъ Коробейниковыхъ производилъ своимъ внутреннимъ убранствомъ странное впечатлѣніе: въ немъ осталась часть старинной, подобранной со вкусомъ, богатой обстановки его прежняго владѣльца-помѣщика и появились при Саввѣ Саввичѣ новыя яркія портьеры и занавѣси съ аляповатыми золочеными карнизами; переѣхавшая же въ этотъ домъ, послѣ смерти мужа, Коробейникова навезла сюда цѣлый возъ своихъ кованыхъ сундуковъ, массивныхъ кроватей съ массой пуховиковъ и нѣсколько широкихъ, изъ темнаго краснаго дерева, кіотовъ съ образами стараго письма и со множествомъ неугасимыхъ лампадъ. Вся эта разнокалиберная обстановка перемѣшалась вмѣстѣ и производила впечатлѣніе—не убранства жилыхъ покоевъ, а склада мебели. Коробейникову и Силу Саввича это мало интересовало: свои углы они обставили по своимъ потребностямъ и вкусамъ, и были довольны своими постелями. А это было для нихъ все, чего они желали.

Одна часть дома занималась самой Коробейниковой и ея сыномъ, другая, болѣе значительная, была населена «молодцами», отведена подъ контору или просто завалена всякими образчиками ржи, овса, веревками, кулями и мѣшками. Ни чистотой, ни порядкомъ этотъ домъ,—гдѣ вѣчно пахло деревяннымъ масломъ, хлѣбомъ и щами,—не могъ похвалиться, и менѣе всего можно было по его виду заключить о размѣрахъ богатства Коробейниковыхъ.

Своеобразное впечатлѣніе производилъ и самъ Сила Савичъ: природная или привитая съ дѣтства дикость заставляла его не заводить никакихъ пріятелей, которые, какъ онъ былъ увѣренъ, норовятъ только обобрать человѣка, и потому съ ними нужно держать камень за пазухой. Но онъ любилъ щегольнуть и «задать форсу»: показать себя людямъ на улицѣ на дорогихъ рысакахъ, въ нарядной одеждѣ, съ золотыми тяжелыми цѣпочками на жилетѣ, въ брильянтовыхъ кольцахъ на пальцахъ и съ дорогими булавками въ пестрыхъ галстукахъ. Въ дѣлѣ безвкуснаго, но дорого стоящаго щегольства онъ не уступилъ бы любой купеческой дочери, еще невполнѣ привыкшей къ богатству. Онъ былъ увѣренъ, что всѣ обращаютъ на него вниманіе и, можетъ-быть, любуются имъ, какъ онъ самъ любовался собою. По трусости и отчасти и по слабости здоровья, онъ не былъ ни пьяницей, ни кутилой, ни развратникомъ,—по крайней мѣрѣ, никто не видалъ его на попойкахъ молодежи въ трактирахъ и веселыхъ притопахъ; но трудно было найти другого такого охотника до сальностей, какъ онъ: сальныя сцены, грязные анекдоты, скабрезныя картины, все это возбуждало его сонную натуру, волновало его жидкую кровь. Самыми разлюбезными для него людьми были тѣ изъ его служащихъ, которые доставляли ему эти удовольствія. Этимъ, да бабьими сплетнями и холопскимъ наушничествомъ только и можно было добиться если не его расположенія, то возможности ужиться сравнительно мирно съ этимъ мелочнымъ человѣкомъ, для котораго ничего не существовало, кромѣ его собственнаго *я*. Нервный и капризный до болѣзненности, онъ придирался къ людямъ изъ-за всякихъ мелочей и чуть не въ истерикѣ кричалъ на нихъ своимъ бабьимъ визгливымъ голосомъ. Подобно маленькимъ собачонкамъ, онъ не могъ бы никому перегрызть горла, но онъ могъ изодрать на комъ-нибудь въ клочья одежду, лая до хрипоты и жалобно взвизгивая, точно не онъ обижалъ кого-нибудь, а его обижалъ кто-то.

Нужна была особенная настойчивость и беззастѣнчивость, чтобы женить на себѣ такого человѣка, и эту настойчивость и беззастѣнчивость сумѣла проявить Варварушка за шесть, за семь мѣсяцевъ своего болѣе или менѣе короткаго знакомства съ Силой Саввичемъ. Въ средствахъ она не стѣснялась: пускалось въ ходъ очень недвусмысленное кокетство, поощрялись извѣстныя вольности, говорились возбуждающія сальности и потомъ напускалась на себя дѣвическая стыдливость: «ахъ, что вы! какъ это можно! за кого вы меня принимаете? вотъ ужъ правда, что вамъ, мужчинамъ, только волю дай!» Она сразу поняла, что этимъ способомъ можно его свести съ ума или женить на себѣ. Любви къ нему она не могла питать, но вполнѣ вѣрно разсчитала, что будетъ держать его подъ башмакомъ, и не боялась даже его склонности къ мелочной грызнѣ: такую, какъ она, не загрызетъ этотъ мозглякъ.

Но кромѣ того, что самъ Сила Саввичъ былъ не прочь жениться на Варварушкѣ, говоря: «ужъ если я женюсь на комъ, такъ на ней»,—его мать сильно хлопотала объ этомъ, въ тупомъ и пугливомъ недоумѣніи разсуждая:

— Кому же все достанется-то, если Силушка не женится, да дѣтей не будетъ? Капиталы-то куда пойдутъ, если потомства не будетъ?

О какой-нибудь другой невѣстѣ она даже не осмѣливалась и думать, такъ какъ другая-то и пріучить къ себѣ Силушку не сумѣетъ.

Забитость и запуганность сдѣлались второю натурою недалекой по уму Коробейниковой. Она вѣчно была въ переполохѣ и чего-то боялась: приказчики и молодцы, не ровенъ часъ, обокрасть могутъ; три зажженыя свѣчи, внесенныя въ комнату, не сулятъ добра—кто-нибудь умереть можетъ; сохрани Господи, если случится пожаръ—хоть и говорятъ, что все имущество застраховано, а кто ихъ такъ въ обществахъ-то этихъ знаетъ, выдадутъ ли еще деньги-то? Ее вѣчно окружали странницы, монахини, богомолки самаго низкаго разбора, и всѣ кіоты у нея полны были кусочковъ отъ Честнаго Креста, рукавичекъ и шапочекъ съ мощей святителей, ладанокъ съ какими-то таинственными молитвами противъ разныхъ болѣзней, ваты изъ-подъ головки св. Димитрія царевича, деревяннаго масла изъ Іерусалима и святой воды изъ Іордана. Разный бродячій людъ лѣчилъ ее и сына отъ разныхъ болѣзней, и ужъ не разъ голова страдавшаго мигренями Силы Саввича обматывалась по

нѣсколько разъ крученою бумагою, изъ которой потомъ дѣлалась свѣтильня восковой свѣчи, предназначавшейся горѣть надъ царскими вратами: догоритъ эта свѣча—перестанетъ болѣть голова. Цѣлые вечера проходили здѣсь въ разсказахъ о чудесахъ и страшныхъ разбойникахъ и искусителяхъ, которыхъ Господь будто бы посылалъ святымъ для испытанія ихъ святости. Здѣсь были мѣшались съ небылицами, и священное писаніе перемѣшивалось съ нелѣпостями отреченныхъ книгъ, догматы вѣры заслонялись суевѣріями и предразсудками, и никто изъ присутствующихъ даже не подозрѣвалъ, что они не православные христіане, а самые грубые язычники.

Сила Саввичъ любилъ тоже слушать всякіе страшные разсказы, потому что ему было пріятно ощущать чувство страха: наслушается онъ всего этого, придетъ въ свою спальню, замкнется со всѣхъ сторонъ и уляжется на мягкую пуховую постель, закутавшись съ головой въ одѣяло и съежившись калачикомъ,—знаетъ онъ, что бояться ему нечего за крѣпкими замками, а боится или, вѣрнѣе, пугаетъ самъ себя, и такъ ему сладко это ощущеніе,—слаще, пожалуй, всякихъ сальныхъ представленій, которымъ онъ такъ любилъ отдаваться.

Въ этотъ-то домъ, въ эту-то семью, входила теперь Варварушка съ сознаніемъ, что черезъ двѣ-три недѣли, во всякомъ случаѣ до Успенскаго поста, она будетъ здѣсь хозяйкой, и что весь этотъ «хламъ да сбродъ» она повымететъ, по крайней мѣрѣ, на своей половинѣ. Тѣмъ не менѣе, она смотрѣла смиренною и покорною, подходя къ ручкѣ Коробейниковой, сидѣвшей на крытой террасѣ въ саду.

— Здравствуй, здравствуй, касаточка!—заговорила старуха, цѣлуя и гладя по головѣ Варварушку.—Давно тебя не видала.

— Все дома сидитъ, матушка Марья Ивановна, либо въ монастырѣ,—замѣтила со вздохомъ тетка Варварушки, смотря смиреннымъ взглядомъ.

Варварушка стояла, потупивъ глаза.

— Садитесь, гости будете,—сказала хозяйка, поцѣловавшись со старухой-гостьей.—Вотъ сейчасъ Спиридонка придетъ, чайку попьемъ. Въ комнатахъ-то душно, такъ мы тутъ на прохладѣ и обѣдаемъ, и чай пьемъ.

— Сила Саввичъ по дѣламъ, вѣрно, уѣхамши?—справилась старуха-гостья.

— Какія у него дѣла?—сказала хозяйка.—У насъ, словно

машина, все заведено еще покойнымъ Саввой Саввичемъ,—царство ему небесное!—и такъ и идетъ одно за другимъ своимъ чередомъ. Какъ при покойномъ Саввѣ Саввичѣ шло, такъ и теперь идетъ. Нѣтъ, просто себя прогулять Силушка пошелъ! Извѣстно, скучно молодому парню одному-то все сидѣть.

— Ужъ чего скучнѣе!—со вздохомъ подтвердила гостья.—И годы-то его такіе, что одному не прожить.

Онѣ обѣ замолчали, чувствуя, что подошли къ тому вопросу, который нужно порѣшить именно сегодня.

Коробейникова опять вздохнула.

— Сейчасъ вотъ мать Манеѳа была,—заговорила она опасливымъ тономъ, какимъ передаются великія тайны.—Про турку разсказывала, какъ онъ опять христіанъ православныхъ рѣжетъ. Отбивать, говоритъ, будемъ ихъ отъ него, войной пойдемъ на него, супостата. Охъ, времена-то какія нонѣ настали, хоть не живи. Я и то спрашивала мать Манеѳу: «къ намъ-то, молъ, онъ не придетъ?»—«Далеко», говоритъ.—«А какъ же, молъ, говорю ему къ намъ далеко, а мы вотъ къ нему идти хотимъ?»—«У насъ, говоритъ, продовольствіе есть». Охъ, только не вѣрится мнѣ, чтобы онъ не пришелъ. Захочетъ и придетъ. Ужъ если мы на него можемъ идти, такъ почему же онъ не можетъ пойти на насъ?

— Матушка Марья Ивановна, да на что турку къ намъ приходить, когда и безъ турки нонѣ житья нѣтъ,—замѣтила старуха-гостья.—Тутъ грабежъ, тамъ убивство: слышали, можетъ, на прошлой-то недѣлѣ около слободы мертвое тѣло нашли, и то какъ есть нагишомъ.

— Охъ, ужъ и не говори!—махая рукой, сказала Коробейникова.—Мы съ Силушкой, какъ дѣло къ ночи, такъ и дрожимъ; доживемъ ли до утра—одинъ Богъ знаетъ. Я стара. А у него силы-то нѣтъ. Придутъ, прикончатъ—и не пикнешь.

— Что говорить! вдвоемъ вамъ никакъ нельзя жить,—поспѣшила вставить гостья.

Опять онѣ подошли къ желанному предмету разговора и опять замолчали.

— Приказчики-то, да молодцы наши—народъ тоже ненадежный,—начала Марья Ивановна.—Одинъ испиваетъ, другой машини заводитъ. При покойномъ-то Саввѣ Саввичѣ страхъ у всѣхъ былъ, дохнуть не смѣли. Человѣкъ онъ былъ властный, супротивства никакого не терпѣлъ, всѣхъ въ струнѣ держалъ. Ну, а теперь мы-то съ Силушкой...

Въ эту минуту на террасѣ появился Сила Саввичъ, одѣтый щеголемъ, пестро, богато и безвкусно. Его желтоватыя, дряблыя щеки зарумянились при видѣ Варварушки. Расшаркиваясь и раскланиваясь съ гостями, онъ скороговоркой началъ разспрашивать ихъ о здоровьѣ. Варварушка поблагодарила за его вниманіе, скромно потупляя глаза и въ то же время, съ плутовской улыбкой, на секунду бросила на него многозначительный взглядъ.

— А мы вотъ тутъ толковали о домашнихъ дѣлахъ,— пояснила Марья Ивановна сыну. — Про озорство народа толковали.

— Да ужъ точно озорной народъ сталъ нынче,—согласился Сила Саввичъ.

— Извѣстно, палки на него нѣтъ, — вставила старуха, тетка Варварушки.

— А мнѣ вотъ сказали сейчасъ, что и васъ мои безобразники вчерась обезпокоили,—неожиданно сказалъ Сила Саввичъ и сталъ, жестикулируя, сообщать матери:—Вообразите себѣ, маманша, перепились вчерась, потащилъ ихъ Сенька въ Посадскую улицу, и тамъ передъ домомъ Варвары Михайловны вздумали серенаду производить.

— А-ахъ,—протянула Коробейникова, качая головой.

— Вѣрно, мы уже спали, что ничего не слышали,—поспѣшно отозвалась Варварушка, опустивъ глаза въ землю.

— Гдѣ же намъ слышать: съ пѣтухами ложимся,—подтвердила слова племянницы старуха-тетка.—Первый-то сонъ крѣпокъ.

— И съ чего это Семенъ-то вакружился?—замѣтила Коробейникова.—Парень такой хорошій былъ всегда.

— И ничего въ немъ никогда хорошаго не было,—возразилъ Сила Саввичъ раздражительно-визгливымъ голосомъ, и на его щекахъ выступили пятна отъ раздраженія.—Если лицомъ смазливъ, такъ это въ мужчинѣ послѣднее дѣло. Это даже не къ его авантажу, а совсѣмъ напротивъ. Одинъ предлогъ за бабами бѣгать. А что набаловали его, такъ это вѣрно. Тятенька покойный,—не тѣмъ будь помянутъ, царство ему небесное и покой вѣчный,—первый его поблажникъ былъ. Безъ Сеньки для него и свѣтъ клиномъ бы сошелся. Ума, видите ли, онъ большого и смекалка у него есть. Извѣстно, умѣлъ, шельмецъ, потрафлять тятенькѣ, да вездѣ передъ нимъ выщелкиваться. Недоставало только, чтобы ему замѣсто сына родного наслѣдство оставили. Да, можетъ, такъ дѣло-то и вышло бы, если бы Богъ продлилъ

вѣку тятенькѣ, да эта самая скоропостижная кончина не постигла его.

— Ну, Силушка, что ты тоже придумываешь!—остановила его мать.

— Ничего я не придумываю,—визгливо возразилъ онъ.— Все это очень просто. Ужъ и такъ Богъ вѣсть что разсказывали про Сеньку, подражая тятенькѣ. А вотъ тутъ еще и мамаша за него распинается: хорошій человѣкъ!

Онъ говорилъ все визгливѣе и визгливѣе, и даже лицо его разгорѣлось отъ сильнаго возбужденія.

— Ну, какъ же, Силушка, онъ не хорошій!—поспорила мать.—И не пьющій, и не гулящій, и всѣ дѣла знаетъ.

— Извѣстно, знаетъ, если тятенька не своего законнаго сына, а его, пса приблуднаго, въ свои дѣла въ послѣднее время посвящалъ, да все черезъ него орудовалъ,—визгливо произнесъ Сила Саввичъ.

— Ну, вотъ видишь, какъ же его хаять, если онъ ничего не скралъ, ничѣмъ не попользовался, стоя при дѣлахъ,— возразила Коробейникова.

— А почемъ я знаю, что не скралъ?—запальчиво крикнулъ Сила Саввичъ.—Одна скрытность у него во всемъ. Другіе погуляютъ, да сейчасъ и разскажутъ, а онъ все про себя таитъ, вотъ и все. Съ того и слылъ негулящимъ, да честнымъ. Да я еще вотъ кассу подсчитаю, не сталъ ли теперь-то онъ хапать.

— Охъ, бѣда ноньѣ съ людьми,—стала сейчасъ же жаловаться Марья Ивановна. — Отца съ матерью готовы ограбить, а не то что чужихъ. Чуть не досмотри—обокрадутъ. А гдѣ-жъ усмотрѣть? Я стара и дѣловъ этихъ не знаю, а Силушка одинъ не можетъ, и не пріученъ былъ отцомъ къ этому.

— Гдѣ одному?—поспѣшно согласилась тетка Варвары.— Одному нельзя!

Опять собесѣдницы подошли къ вопросу о женитьбѣ и замолчали.

Служанка, въ короткомъ ситцевомъ платьѣ, съ босыми ногами, въ пестромъ платкѣ на головѣ, и мальчикъ, остриженный въ скобку, стали подавать чайную посуду и самоваръ. Когда они ушли, Марья Ивановна начала заваривать чай и, наконецъ, замѣтила:

— Вотъ женится Силушка, тогда дѣло другое будетъ...

Желанное слово было произнесено, и теперь долженъ былъ начаться настоящій разговоръ. Варварушка взглянула

украдкой на Силу Саввича лукавымъ, многообѣщающимъ взглядомъ. Онъ осклабился и, подмигнувъ ей, сказалъ матери покорнымъ тономъ:

— Я, мамаша, если на то будетъ ваша воля и желаніе, готовъ хоть сейчасъ.

Онъ толкнулъ подъ столомъ колѣнкой Варварушку. Варварушка сдѣлала стыдливое выраженіе въ лицѣ.

— Я, Силушка, ты знаешь, ни препятствовать тебѣ не стану, ни разговаривать тебя не буду,—отозвалась мать.— Такіе года твои, что въ законѣ тебѣ нужно жить. Опять же и то сказать: всѣ мы подъ Богомъ ходимъ и никакъ тебѣ нельзя безъ наслѣдниковъ жить. Капиталы-то экіе надо же кому-нибудь предоставить.

— Извѣстно, не псу подъ хвостъ ихъ бросать, прости Господи,—проговорила тетка Варварушки.

Коробейникова продолжала:

— Мы вотъ говорили вчерась съ Дарьей Трофимовной. У меня женихъ, у нея невѣста!

Варварушка скромно потупилась.

— Если Варвара Михайловна согласна...—началъ Сила Саввичъ.

— Что-жъ ты молчишь, Варварушка?—ласково спросила Коробейникова.—Чужихъ нѣтъ, слава Богу, мы свои люди...

— Сила Саввичъ сами понимаютъ, какія у меня чувства,—сказала конфузливо Варварушка, перебирая пальцами бахрому шелковаго платка на груди.

— Ну, значитъ, и благослови васъ Господь!

Молодые люди подошли къ рукѣ Коробейниковой. Всѣ поочередно обнялись и поцѣловались, за исключеніемъ молодыхъ людей, которымъ Коробейникова сказала:

— Ну, что-жъ, поцѣлуйтесь и вы! Теперь вы женихъ и невѣста.

Они тоже поцѣловались церемоннымъ, холоднымъ поцѣлуемъ, глядя плутовато другъ на друга. Не допивъ второго стакана чаю, Сила Саввичъ заторопился идти показать садъ Варварушкѣ. Ему хотѣлось поскорѣе побыть съ ней вдвоемъ, безъ свидѣтелей. Въ немъ проснулись его животные инстинкты. Теперь онъ уже зналъ, что Варварушка не станетъ отталкивать его, не станетъ говорить: «ахъ, развѣ это можно! за кого вы меня считаете?» такъ какъ онъ былъ уже не чужой, а женихъ, и ему позволялось многое. Они съ часъ гуляли по саду, то тихо хихикая, то слегка взвизгивая, и, наконецъ, услыхали, что ихъ уже давно кличутъ.

— Извѣстно, молодые люди, любовь-то сладка имъ,—объясняла Коробейникова теткѣ Варварушки, пославъ разыскивать по саду сына и Варварушку.—Мой-то Силушка что красная дѣвица—ничего такого и не зналъ никогда.

— Знаю, матушка, знаю, — соглашалась тетка Варварушки.—Примѣрной жизни человѣкъ. Всѣ это знаютъ.

Тетка Варварушки собиралась идти домой, обусловивши съ Коробейниковой всѣ вопросы о днѣ свадьбы, объ окличкѣ и приданомъ. На прощаньѣ Сила Саввичъ расхрабрился и развеселился до того, что приказалъ подать сладкаго вина, и всѣ выпили, поздравляя другъ друга.

Давно уже не чувствовалъ себя Коробейниковъ такимъ возбужденнымъ и самодовольнымъ. Варварушка вела себя съ нимъ въ саду такъ, что онъ совсѣмъ ошалѣлъ и чувствовалъ головокруженіе. Выпитое вино возбудило его еще сильнѣе и, по уходѣ невѣсты и ея тетки, онъ впервые въ жизни началъ крѣпко обнимать мать, потомъ повалился ей въ ноги, благодаря за выбранную ему невѣсту. Онъ былъ готовъ и плакать, и смѣяться отъ наплыва радости и счастія. Коробейникова даже прослезилась, глядя на него...

Простившись съ матерью, онъ пошелъ по направленію къ своей комнатѣ и совершенно случайно натолкнулся на Семена Дмитріевича. Тотъ возвращался хмурымъ, съ понурой головой, съ улицы, гдѣ онъ только-что подстерегъ возвращающихся отъ Коробейниковыхъ Варварушку и ея тетку.

— Вы меня простите,—тихо и смиренно прошепталъ онъ Варварушкѣ.

Она почти не взглянула на него и мелькомъ, сухо отвѣтила:

— Это ужъ вамъ передъ хозяиномъ надо виниться...

И затѣмъ ускорила шаги, не желая болѣе разговаривать съ Семеномъ.

— Ты это откуда? — спросилъ Семена Коробейниковъ, напуская на себя видъ строгаго хозяина.

— Гдѣ былъ, Сила Саввичъ, тамъ ужъ меня нѣтъ, — рѣзко отвѣтилъ Семенъ и прошелъ въ слѣдующую комнату, гдѣ сидѣли двое изъ «молодцовъ».

Сила Саввичъ послѣдовалъ за нимъ, вдругъ вспомнивъ о вчерашнемъ буйствѣ Семена передъ домомъ его невѣсты.

— Ты это что же, братецъ, задумалъ?—прикрикнулъ на Семена Сила Саввичъ, входя въ комнату «молодцовъ», и въ его голосѣ послышались тѣ визгливыя ноты, которыя раздражали невольно.

— Не кричите, Сила Саввичъ,—отвѣтилъ сдержанно Семенъ.—До сего дня служилъ я у васъ, а теперь уже пусть служатъ другіе, такъ и кричать на меня нечего!

— Да какъ на тебя не кричать-то! Ты пьянствуешь, да безобразничаешь,—завизжалъ Сила Саввичъ.

Семенъ иронически усмѣхнулся.

— Нашли кого пьянствомъ, да безобразіями попрекать!—проговорилъ онъ, стараясь осилить въ себѣ злость, и не безъ гордости прибавилъ:—Меня, почитай, все купечество знаетъ, какой я такой человѣкъ. Ужъ если самъ Савва Саввичъ почиталъ за дѣлового человѣка...

— А вчера? А вчера? — перебилъ его Сила Саввичъ. — Вчера гдѣ былъ? Вчера что дѣлалъ? Ты думаешь, отъ меня скроется?

— Гдѣ ужъ скрыться!—съ презрительной усмѣшкой сказалъ Семенъ.—У васъ уши, да языки вездѣ есть. Бабьими дѣлами заниматься—это ваше дѣло.

— Да какъ ты смѣешь? Какъ ты смѣешь?—гнѣвно крикнулъ Коробейниковъ и сжалъ кулаки.

Онъ смотрѣлъ необычайно смѣло и дерзко. Онъ сознавалъ, что онъ теперь ничего не боится, можетъ-быть, потому, что былъ не съ глазу на глазъ съ Семеномъ, а, можетъ-быть, и вслѣдствіе сильнаго возбужденія послѣ сдѣланнаго имъ смѣлаго шага—рѣшенія жениться.

— У дома моей невѣсты скандалить вздумалъ,—продолжалъ онъ кричать:—да думаешь, что я это тебѣ спущу.

Семенъ стиснулъ зубы, чтобы не выругаться. «Мозглякъ, а туда же жениться думаетъ, да еще на комъ—на Варварушкѣ!»

— Я жениться на ней задумалъ черезъ двѣ недѣли, а онъ скандалитъ передъ ея домомъ!—кричалъ Коробейниковъ.

— Мозглякъ, право, мозглякъ!—проворчалъ сквозь зубы Семенъ, уже не владѣя собою.

Кровь стучала у него въ вискахъ, въ глазахъ все кружилось.

— Что? что?—взвизгнулъ Коробейниковъ, услыхавъ ненавистную ему кличку.—Ты у меня за это попляшешь, попляшешь! Я всѣ книги обревизую, всю кассу.

Семенъ поблѣднѣлъ отъ этой угрозы, оскорбившей его до глубины души, и проговорилъ не своимъ, сдавленнымъ голосомъ:

— Подлецъ ты этакій! Ужъ не думаешь ли ты, что я вонъ? Да я...

Онъ не могъ кончить начатой фразы, чувствуя, что его будто что-то душитъ за горло.

— А вотъ увидимъ, увидимъ!—визжалъ Коробейниковъ.— Не былъ бы воромъ, не кутилъ бы! Воръ и есть...

Семенъ словно обезумѣлъ, схватилъ со стола тяжелый мѣдный подсвѣчникъ и со всего размаха ударилъ имъ прямо въ високъ Коробейникова.

— Дохлая собака! право, дохлая собака! — сказалъ онъ хрипло и, отбросивъ въ сторону подсвѣчникъ, сѣлъ къ столу, едва переводя духъ и глядя въ другую сторону, точно ему было противно взглянуть на лежавшаго на полу мозгляка, какъ на раздавленную имъ гадину.

Молодцы бросились къ лежавшему неподвижно Коробейникову и боязливо, шопотомъ, окликнули сперва его, потомъ Семена.

— Семенъ, а Семенъ... слышь, не дышитъ! — пугливо произнесъ одинъ изъ нихъ.

— А! мнѣ все равно!—отозвался Семенъ, какъ будто не сознавая, что говорятъ ему и что онъ отвѣчаетъ.

Случайно его взглядъ упалъ на руку, и онъ увидалъ на ней мелкіе брызги крови. Онъ вытащилъ носовой платокъ, брезгливо отеръ имъ руку и отбросилъ его въ сторону. По его тѣлу прошла невольная дрожь, по спинѣ пробѣжалъ холодъ. Онъ поднялся съ мѣста, откинулъ назадъ свѣсившіеся на лобъ кудри и, вздохнувъ широкимъ тяжелымъ вздохомъ, проговорилъ товарищамъ:

— Ну, что-жъ, вяжите...

Въ домѣ начался переполохъ. Коробейниковъ былъ убитъ наповалъ: ударъ пришелся какъ разъ въ високъ, изъ котораго уже вытекла на полъ цѣлая лужа крови...

XI.

Убійство Коробейникова всполошило весь городъ и на время вывело его изъ обычной спячки. Убитаго не жалѣлъ никто, но толковали о немъ всѣ. Старуха Коробейникова и, главнымъ образомъ, Варварушка сдѣлались героинями дня, такъ какъ всѣ сразу узнали, что именно въ этотъ злополучный день убійства Варварушка была объявлена невѣстой убитаго Силы Саввича. Убитому Коробейникову и, попутно, его покойному отцу перемывали бока. Нѣкоторые даже говорили прямо, что «собакѣ собачья смерть»; другіе же, вздыхая и лицемѣря, ради безсознательнаго страха передъ покойникомъ, толковали о томъ, что «отъ суда Бо-

жьего, видно, не уйдешь», что, «видно, кровь-то людская вопіетъ къ Богу», и припоминали старые слухи о томъ, съ чего началось коробейниковское богатство. Къ легендамъ о старикѣ Коробейниковѣ присоединились теперь легенды о молодомъ Коробейниковѣ, и по людскимъ толкамъ онъ обрисовывался тоже какимъ-то если не дикимъ звѣремъ, то отвратительнымъ животнымъ. Несчастнымъ, достойнымъ глубокой жалости человѣкомъ его никто не считалъ.

Несмотря на всю свою способность, свойственную вообще русскимъ бабамъ и мѣщанкамъ, причитать и плакать въ извѣстныхъ случаяхъ, Коробейникова и Варварушка устали причитать и плакать,—такъ осаждали ихъ разспросами знакомые и незнакомые люди,—устала особенно Варварушка, такъ какъ въ ея душѣ было не столько горя, сколько злобы на проклятаго лиходѣя, испортившаго всю ея будущность, разстроившаго всѣ ея планы. «Вотъ ужъ поистинѣ бѣшеная собака: ни самъ себѣ, ни людямъ добра не сдѣлалъ»,—думала и говорила она про Семена Дмитріевича. Иногда ей казалось, что она своими руками готова была бы задушить его.

Самимъ лиходѣемъ интересовались тоже не менѣе, чѣмъ Варварушкой,—въ особенности потому, что онъ, какъ ходили слухи, держалъ себя передъ судебнымъ слѣдователемъ до послѣдней степени сдержанно и съ достоинствомъ. Снимая съ него допросъ, судебный слѣдователь добивался, была ли прежде между нимъ и молодымъ хозяиномъ затаенная вражда, какіе поводы заставили его убить Коробейникова, когда и за сколько дней онъ задумалъ свое преступленіе. Тому объясненію, будто бы Семена вывели изъ терпѣнья подозрѣнія и упреки въ воровствѣ, высказанные покойнымъ, судебный слѣдователь не придавалъ ни малѣйшей цѣны, не предполагая возможности такой обидчивости въ какомъ-то приказчикѣ и понимая только одно желаніе убійцы выгородить себя и выставить убійство непреднамѣреннымъ. Въ этомъ его не могло разубѣдить даже твердо высказанное сознаніе Семена, что онъ «добилъ бы хозяина», если бы ударъ вышелъ менѣе мѣткимъ. Судебный слѣдователь сразу, что называется, «раскусилъ» Семена: это красавецъ,—значитъ «бабникъ»; это приказчикъ,—значитъ продувная бестія, знающая, что «не обманешь—не продашь», и умѣющая «охулки на руку не положить» и передъ хозяиномъ, и передъ покупателемъ; стыдъ и совѣсть у этого торгаша давно пропали, и потому онъ лжетъ съ наглостью, не сморг-

нувъ глазомъ; самое убійство онъ такъ устроилъ, чтобы оно имѣло видъ не преднамѣренности, а чистой случайности. До судебнаго слѣдователя дошли уже городскіе слухи, что Семенъ считался всѣми незаконнымъ сыномъ Саввы Саввича Коробейникова, и что между нимъ и покойнымъ Силой Саввичемъ существовала постоянно глухая вражда; говорили судебному слѣдователю даже о томъ, будто старикъ Коробейниковъ подумывалъ все оставить Семену и только скоропостижная смерть помѣшала ему исполнить это. Дошли до него и слухи о томъ, что наканунѣ убійства непьющій Семенъ ни съ того, ни съ сего напился и произвелъ скандалъ передъ домомъ невѣсты покойнаго Силы Саввича. За это обстоятельство судебный слѣдователь ухватился съ жаромъ, такъ какъ оно ясно показывало о созрѣвшемъ уже наканунѣ намѣреніи убить Коробейникова, вызвавъ его на ссору, которая неминуемо должна была возникнуть изъ-за этого скандала; Семенъ твердо, не сморгнувъ глазомъ, объявилъ, что онъ вовсе не зналъ невѣсты Силы Саввича, и только зналъ, гдѣ она живетъ, такъ какъ это сообщалъ всѣмъ «молодцамъ», жившимъ у Коробейникова, мальчишка Игнашка. Что говорилъ и что дѣлалъ онъ въ пьяномъ видѣ—этого онъ самъ не сознавалъ тогда, а теперь не помнитъ. Судебный слѣдователь сразу понялъ, что все это — самыя обыкновенныя отговорки.

Показанія Семена чуть не испортила сама Варварушка: когда ее спросили, знала ли она Семена прежде—она начала ругать его и Иродомъ, и варваромъ, и лиходѣемъ своимъ, и чуть-чуть не проговорилась, что была коротко знакома съ нимъ прежде, повторивъ въ раздраженіи фразу о бѣшеной собакѣ, которая «ни себѣ не взяла, ни другимъ не дала». Впрочемъ, слѣдователь не настаивалъ вовсе на знакомствѣ Семена съ Варварушкой, такъ какъ убійство было, по его твердому убѣжденію, совершено вовсе не на романической подкладкѣ, а изъ-за долголѣтней вражды.

Разсказывали люди о томъ, что Семенъ выражалъ на допросахъ нѣкоторое недоумѣніе, зачѣмъ его обо всемъ такъ подробно разспрашиваютъ, разсуждая довольно просто: «я убилъ, значитъ мнѣ и отвѣчать за убійство передъ людьми и передъ Богомъ». О какихъ-нибудь смягчающихъ или увеличивающихъ вину обстоятельствахъ онъ, несмотря на всю свою сообразительность, не только не думалъ, но даже и не понималъ, какъ можетъ уменьшиться или увеличиться его вина: «убилъ, значитъ и убилъ, какъ ужъ тутъ ни верти».

Ему хотѣлось только поскорѣе услышать рѣшеніе суда и идти въ каторгу, подальше отъ того города, гдѣ все напоминало ему его прошлое...

Всѣ сплетни, слухи и пересуды объ этомъ дѣлѣ, облетѣвъ весь городъ, дошли и до монастыря, и даже до Софьи Дмитріевны, разстроенной уже до послѣдней степени ожиданіями, что вотъ-вотъ ее вызовутъ куда-то для освидѣтельствованія ея умственныхъ способностей, и очень мало интересовавшейся теперь чѣмъ бы то ни было, что не касалось прямо ея.

— А съ Варварушкой-то нашей какое несчастіе?—сообщила ей матушка Нектарія, встрѣтивъ ее въ саду.—Жениха-то ея, Силу Саввича Коробейникова, убили!

— Какъ убили? — спросила Софья Дмитріевна, вздрогнувъ.

— Такъ вотъ, взяли, да и убили... молодой приказчикъ его же, Коробейникова, и убилъ, — сообщила мать Нектарія.—Въ міру-то грѣхъ по стопамъ людей ходитъ...

— Это она его, вѣрно, подучила! — мрачно рѣшила Зимина.

Мать Нектарія даже ротъ раскрыла отъ испуга, и трудно было сказать, чего она болѣе испугалась: того ли, что Варварушка подозрѣвается въ участіи въ убійствѣ, или того, что Софья Дмитріевна сошла неожиданно съ ума и стала говорить такія несообразныя вещи.

— Что это вы, матушка Софья Дмитріевна, съ чего это вамъ въ голову пришло? — испуганнымъ голосомъ сказала она, придя немного въ себя.—Грѣхъ-то какой!

— Да, грѣхъ, грѣхъ! — мрачно заговорила Софья Дмитріевна, не глядя на нее и устремивъ глаза въ пространство.—Съ полюбовниками путаются, не знаютъ, какъ вывернуться, а потомъ и убиваютъ другихъ. Ни стыда, ни совѣсти нѣтъ,—сперва младенца неповиннаго погубятъ, потомъ за взрослаго примутся. Ничего, все съ рукъ сойдетъ! Посторонніе люди узнаютъ, скажутъ: «снявши голову, по волосамъ не тужатъ!» У другихъ людей вѣдь тоже стыда и совѣсти нѣтъ...

Мать Нектарія оторопѣла, растерялась и только бормотала:

— Успокойтесь, голубушка моя, успокойтесь!

Софья Дмитріевна словно очнулась и тихо, сухимъ тономъ, очно упрекая мать Нектарію, проговорила:

— Ничего этого понять вы не можете; вы, какъ младе-

нецъ, до старости дожили въ четырехъ стѣнахъ. Вы о грѣхѣ говорите, а что такое грѣхъ—не знаете! Грѣхъ-то, у кого совѣсть есть, ночей не даетъ спать, съ ума сводитъ, подъ ухо шепчетъ: «окаянная, окаянная, нѣтъ тебѣ прощенія».

— Милосердный Богъ слышитъ молитвы грѣшниковъ,— сказала мать Нектарія.

— Молитвы, молитвы!—воскликнула Зимина.—И молиться-то грѣшникъ не можетъ. Станетъ молиться, а дьяволъ шепчетъ о грѣхѣ, мысли разсѣиваетъ. Чистые сердцемъ только могутъ молиться чистыми устами!

Матушка Нектарія, совсѣмъ сбитая съ толку, еще поговорила что-то о необходимости для Зиминой успокоиться и, качая съ сомнѣніемъ головой, отошла отъ нея. Теперь и она усомнилась въ томъ, точно ли въ здоровомъ разсудкѣ находится Софья Дмитріевна. Говоритъ она все такое несообразное, что и не знаешь, откровеніе ли какое въ ней снизошло, или умопомраченіе обуяло ее. Никогда она, мать Нектарія, ничего подобнаго не видала и не думала... Черезъ какіе-нибудь полчаса, объ этомъ разговорѣ знала уже матушка Дорооея, а слѣдомъ за ней и матушка Серафима узнала этотъ разговоръ, и притомъ нѣсколько прикрашенный цвѣтами краснорѣчія и комментаріями двухъ монахинь. Она сдвинула брови: Зимина, какъ неотвязный кошмаръ, какъ увеличивающееся съ каждымъ днемъ бѣльмо на глазу, все болѣе и болѣе смущала ее. Иногда ей такъ страстно хотѣлось назвать Зимину сумасшедшей, а между тѣмъ именно это-то и было опасно.

— Что она знаетъ что-нибудь про Варвару, что ли?— наконецъ, спросила отрывисто матушка Серафима у матери Дорооеи, зорко взглянувъ на нее.

— Не могу доподлинно ничего сказать, матушка-игумена,—проговорила смиренно Дорооея, вскинувъ на мгновенье на матушку Серафиму свои блестящіе глаза и сжавъ губы трубочкой.—Какъ Богъ святъ, доподлинно ничего не знаю. Хоть образъ со стѣны снять. А только я такъ полагаю, что и точно тутъ что-то нечисто... Охъ, грѣхи наши, грѣхи тяжкіе!

Матушка Серафима сдѣлала нетерпѣливое движеніе. Она ненавидѣла эту манеру не договаривать чего-нибудь.

Мать Дорооея пояснила:

— Недавно Варвара отъ вора-грабителя на огородѣ у Михея нашего, въ ночной часъ, укрывалась... Не сказалъ

отъ мнѣ этого сейчасъ, старый хрѣнъ, прости мое согрѣшеніе, Господи, а потомъ платокъ ея шелковый нашелъ, алый съ бѣлыми разводами, и сказалъ все, какъ было...

— Ну?—нетерпѣливо проговорила матушка Серафима.

— Дѣло въ ночной часъ было. Михей-то — старый, ужъ носомъ рыбу удить началъ у себя въ сторожкѣ. Извѣстно, онъ по названію только сторожитъ огороды, а самъ дрыхнетъ...

Матушка Серафима сдѣлала снова нетерпѣливое движеніе. Мать Дороѳея заторопилась:

— Вдругъ это, слышитъ онъ, вбѣгаетъ кто-то къ нему въ сторожку, едва духъ переводя. Проснулся Михей, глядитъ — стоитъ передъ нимъ Варвара и въ самомъ то-есть истерзанномъ видѣ. Косы растрепались, платье поизодрано, платка на шеѣ нѣтъ. И говоритъ она ему, Михею-то: «воръ-грабитель напалъ на меня», а сама, какъ прыгала къ ковшу съ водой, такъ и не оторвать ее отъ него...

Матушка Серафима недоумѣвала, что общаго имѣетъ этотъ случай съ убійствомъ Коробейникова. Мать Дороѳея начала растерянно пояснять:

— Такъ вотъ оно какъ одно къ другому приложишь, какъ будто и выходитъ, что...

— Что выходитъ-то?

— Не этотъ ли самый воръ-грабитель и есть убивецъ-то ея жениха?—закончила мать Дороѳея.

— Городишь ты глупости!—оборвала ее матушка Серафима и сердито плюнула.—Какая выгода была ей подговаривать кого-нибудь убивать ея жениха, извѣстнаго богача? Голова-то у тебя гдѣ? Выдумаютъ нелѣпицу и повторяютъ ее. Всѣ вы точно съ ума сошли!

Мать Дороѳея поджала губы и заморгала глазами, понимая, что она и точно сказала глупость.

— Болтать вы зря умѣете!—рѣзко сказала матушка Серафима.—Недостаетъ еще, чтобы болтовня-то ваша дошла до кого-нибудь въ городѣ, да васъ бы притянули къ отвѣту. И по-дѣломъ бы!

Предположеніе матери Дороѳеи, дѣйствительно, было такъ нелѣпо, что нельзя было придавать ему никакого серьезнаго значенія. Тѣмъ не менѣе, матушка Серафима встревожилась относительно толковъ о Варварушкѣ и успокоилась только тогда, когда Варварушка явилась къ ней сама, вся въ черномъ, смиренная и оплакивающая сухими глазами свою потерю. Однако, отъ зоркихъ глазъ матушки Серафимы не

ускользнуло то обстоятельство, что Варварушка, въ сущности, не очень опечалена потерей, что она ужъ слишкомъ развязна. Варварушка тотчасъ же, «какъ священнику на духу», все стала разсказывать матушкѣ Серафимѣ,—и какъ злодѣй-убивецъ звѣремъ бѣшенымъ накинулся на беззащитнаго Силу Саввича безъ всякой причины, зашибъ на-смерть ея голубчика шандаломъ, и какъ ее, несчастную Варварушку, опрашивали со всякимъ пристрастіемъ, грозя ей судомъ неминучимъ, у судебнаго слѣдователя: знала ли она этого лиходѣя проклятаго, котораго она «и сроду не видывала въ глаза, и понятіевъ никакихъ не имѣла, кто онъ таковъ есть и каковъ изъ себя смотритъ». Особенно усиленно настаивала она теперь на послѣднемъ обстоятельствѣ, описывая страшную наружность лиходѣя проклятаго: «глазищи страшенные, волосы всклоченные, дыбомъ стоятъ, самъ изъ себя на цыгана похожъ и такъ и сверкаетъ, такъ и сверкаетъ глазищами-то». «И съ чего это она столько вретъ про него?»—подумала матушка Серафима, всматриваясь въ въ нее и какъ бы желая заглянуть въ ея душу. Потомъ Варварушка не удержалась и похвалилась тѣмъ, что тетенька ея судьбу горемычную, еще слава Богу, устроила, намекнувъ самой-то Коробейчихѣ, что дѣвка главнымъ образомъ съ того еще убивается, что вся жизнь ея теперь сгублена, такъ какъ и свадьбой-то онѣ, Варварушка и ея тетка, именно съ того торопились, «чтобы грѣхъ прикрыть». Ну, Коробейчиха всплакнула съ ними еще разъ и пообѣщала ее, Варварушку, ровно дочь свою, наградить, если она даже и не выйдетъ ни за кого замужъ. И жить она, Варварушка, съ теткой будетъ теперь у Коробейчихи. И то сказать, какъ ей, старухѣ, одной-то жить въ этакихъ хоромахъ: и пусто, и боязно; еще, храни Господи, самоё укокошатъ. Люди-то звѣри! До грѣха недолго! Матушка Серафима презрительно и немного гадливо улыбнулась, услыхавъ объ этой ловкой продѣлкѣ сообразительной дѣвки. Варварушка конфузливо потупилась, уловивъ эту улыбку, и пояснила своимъ невиннымъ тономъ:

— Что-жъ, мнѣ теперь все равно весь вѣкъ вѣковать въ дѣвкахъ, такъ надо какъ-нибудь судьбу свою устраивать... Вотъ думала первой богачихой въ городѣ быть, думала, что всѣ въ поясъ кланяться станутъ,—такъ какъ деньги-то ни отъ кого не брезгаютъ брать, хоть ты первый убивецъ будь,—а что стряслось-то!

Матушка Серафима не выдержала и нѣсколько рѣзко сказала:

— Да, а теперь вотъ еще говорятъ, что ты въ убійствѣ участіе принимала!

— Я?—воскликнула съ особенной живостью Варварушка и вся раскраснѣлась до корней волосъ.

У нея даже духъ захватило отъ этого неожиданнаго извѣстія. Она гнѣвно заговорила:

— Да у кого это языкъ-то повернулся? Погубить меня, что ли, задумали? Да нешто я врагъ себѣ? Въ каторгѣ не бывала? Кто плететъ-то это?

Матушка Серафима необдуманно отвѣтила:

— Твоя же Зимина!

— Софья Дмитріевна?—воскликнула опять Варварушка и загорячилась:—Ну, ужъ вотъ этого я отъ нея не ожидала! Нечего сказать, хорошаго она обо мнѣ мнѣнія. Я ее выгораживала, слова не давала про нее сказать, а она меня въ убивицы производитъ. Сама-то, видно, грязнѣе грязи, такъ и хочетъ другихъ дегтемъ вымазать. Вотъ и узнавай людей! Я къ ней всей душой, а она этакую мораль придумала...

Матушка Серафима увидала, что сдѣлала ошибку, и постаралась успокоить Варварушку:

— Стоитъ ли обращать вниманіе на разныя глупости!

— Нѣтъ, не глупости это, матушка,—проговорила Варварушка.—Мнѣ моя голова-то, охъ, какъ дорога! Да, храни Богъ, дойдетъ это до мамаши, что я тогда дѣлать стану? Одинъ злодѣй жениха убилъ, другая лиходѣйка хочетъ евонную мать отнять у меня...

И, уже совсѣмъ забывшись, она грубо сказала:

— Ишь тоже нашли что глупостями называть!

Варварушка заторопилась уйти отъ матушки Серафимы. Она прошла прямо къ Зиминой, волнуемая негодованіемъ, спѣша на всѣ корки отчитать Зимиииху, какъ она теперь мысленно называла Софью Дмитріевну. «Забрала она, шалая, теперь что-то много форсу. То тише воды, ниже травы была, а теперь только и знаетъ, что всѣхъ чернитъ, да коритъ. Въ святые еще, слава Богу, не зачислена. Порыться-то въ ея жизни, такъ, можетъ-быть, на такія ужасти наткнешься, что а-ахъ! Мужъ-то ейный что-то слишкомъ скоропалительно на тотъ свѣтъ отправился въ ночное время, когда людей при немъ не было. Недаромъ тоже матушка-то Серафима подозрѣвала: «не убила ли она мужа»?..

Она застала Зимину, глубоко погруженную въ думы. Варварушка раза два кашлянула, потомъ окликнула ее. Софья

Дмитріевна медленно, точно кукла на пружинахъ, повернула въ ея сторону голову и, даже не поздоровавшись съ нею, всматривалась въ нее свинцовыми глазами и почти съ угрозой спросила:

— Что пришла? Одного человѣка убила, другого до каторги довела, а сама по гостямъ ходишь?

Варварушку точно обухомъ по головѣ ударило. На языкъ навертывались не ругательства, а оправданія. Однако, она собралась съ духомъ и подавила свое смущеніе.

— И что это такое вы несуразное говорите!—сказала она сильно обозленнымъ тономъ.—Пригрезилось вамъ что-нибудь, вѣрно?

Зимина глядѣла прямо на нее тяжелымъ, смущающимъ взглядомъ.

— Что же, ты скажешь, что это не твой полюбовникъ убилъ его? — рѣзко спросила она и заставила побѣдить Варварушку этимъ неожиданнымъ вопросомъ. — Не ему ты говорила, что безъ денегъ за него не пойдешь? Не его ты прочила сдѣлать своимъ возлюбленнымъ послѣ замужества? Не его подъ руку подталкивала: «убей! убей!»

Какъ ни была смѣла Варварушка, но ее забила лихорадка. Въ ея головѣ мелькнула суевѣрная мысль, что Софьѣ Дмитріевнѣ было «откровеніе».

— Что-жъ молчишь?—продолжала Зимина.—Попробуй сказать, что убійца не былъ твоимъ полюбовникомъ!

Она гнѣвно постучала сжатой въ кулакъ рукой по столу.

— Я все знаю! Сама мнѣ все разсказывала. Я отъ слова до слова все повторить могу!

Варварушка впервые въ жизни струсила не на шутку и мысленно ругала себя. Дѣйствительно, не откровеніе свыше озарило Зимину, а сама она, Варвара, откровенничая съ Зиминой, какъ ни съ кѣмъ, проговорилась, что у нея есть «милый», что она охотно вышла бы за него, будь у него деньги. Зимина знала и больше про нее, знала, что у нея когда-то былъ ребенокъ, что она, идя замужъ, хотѣла обмануть Коробейникова... Что если эта безумная пойдетъ въ судъ, да все разскажетъ? Начнутъ тогда допрашивать подъ присягой и ее, и Семена. Всплыветъ наружу исторія въ монастырскихъ огородахъ, катанье на лодкѣ, разговоры съ Семеномъ... Вотъ тебѣ и житье вмѣсто дочери у Коробейчихи!

— А! грѣховодницы, преступницы! — рѣзко выкрикнула Софья Дмитріевна, впиваясь глазами въ искаженное ужа-

сомъ лицо Варварушки.—Грабите, развратничаете, убиваете и ничего вамъ, ничего! Другіе за васъ страдаютъ, а вы въ сторонѣ. Стыда нѣтъ, совѣсти нѣтъ! Въ каторгу бы васъ всѣхъ, въ каторгу съ полюбовниками вашими вмѣстѣ! Сгноить бы въ Сибири!

Варварушка пятилась уже къ дверямъ, растерянно и безсмысленно бормоча что-то безсвязное о сумасшествіи, объ обидѣ, о поклепѣ. Только выбравшись отъ Зиминой, она немного пришла въ себя и, встряхнувшись, какъ побитая собака, почувствовала приливъ уже не страха, а дикой злобы.

— А Софья-то Дмитріевна у васъ и впрямь, бѣдняжка, ума рѣшилась,—дрожащимъ отъ бѣшенства голосомъ замѣтила она матушкѣ Дорооѣ, встрѣтивъ ее въ коридорѣ, и засмѣялась нервнымъ смѣхомъ.—Вы за ней присматривайте, не выпускайте ея, а то она на людей кидаться станетъ.

Мать Дорооея опасливо замахала рукой.

— Что ты, что ты, Варварушка!—проговорила она, дѣлая смиренное лицо. — Услышитъ еще матушка-игуменея, такъ бѣда! И на глаза къ ней тогда не показывайся! Сердится она, когда что-нибудь такое про Софью Дмитріевну говорятъ.

— Мало ли что,—съ раздраженіемъ въ голосѣ отвѣтила Варварушка и съ гримасой добавила:—Она мнѣ, слава Богу, не начальница, чтобы ротъ замазывать. Это вы у нея въ подчиненіи, а не я. Вольный я, мірской человѣкъ. Я что вижу, то и говорю.

И, не выдержавъ, пояснила свое неудовольствіе на матушку Серафиму:

— Я къ ней всей душой, я ей, какъ священнику на духу, все говорю, а она давеча этакія гримасы дѣлаетъ за то, что тетенька мою судьбу устроила,—что обо мнѣ, сиротѣ, Богъ вспомнилъ.

— Какъ, голубка, устроила?—торопливо полюбопытствовала мать Дорооея.

— А такъ, что Коробейчиха меня теперь замѣсто дочери возьметъ.

И тутъ же прихвастнула:

— Можетъ-быть, даже такіе капиталы буду я имѣть, что кого захочу, того и облагодѣтельствую... Это мнѣ за мое несчастіе и за горе Богъ посылаетъ. Сиротскія-то слезы не пропадаютъ!.. И очень мнѣ это обидно, что за всю мою привязанность и за добро мнѣ же всякія гримасы дѣлаютъ,

шпильки ставятъ, да Богъ вѣсть что городить про меня всякимъ умалишеннымъ позволяютъ... Въ убивицы произвести задумали! Слышала тоже, можетъ-быть?.. Я умирать стану—этого не забуду!.. Я съ тѣмъ добра, кто со мною хорошъ, а ужъ и прощать не умѣю, кто супротивъ меня пойдетъ... Многіе, можетъ-быть, теперь отъ моихъ щедротъ питаться могли бы, ну, а пойдутъ супротивъ меня, тогда ужъ пусть не взыщутъ.

Мать Дорооея стянула свои тонкія губы и заморгала глазами, какъ бы поддакивая ей. Варварушка чопорно и покровительственно простилась съ нею и повеселѣла, думая про себя: «пусть теперь передаетъ; мы тоже по носу щелкать умѣемъ, даромъ что не изъ дворянскаго рода, а изъ мѣщанскаго сословія; амбиція-то своя и у насъ есть».

XII.

Лампада, теплившаяся въ комнатѣ Зиминой въ переднемъ углу у образа, озаряла совершенно безкровное, бѣлое и очень крупное лицо Христа, съ несоразмѣрно большими черными глазами, смотрѣвшими не только строго, но почти жестоко. Этимъ старинным образомъ, съ исчезнувшими полутонами, Софья Дмитріевна давно уже замѣнила то тонко и изящно исполненное изображеніе Богоматери съ предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ, которое висѣло здѣсь въ переднемъ углу во время ея пріѣзда въ монастырь и которое смущало ее, наводя постоянно,—какъ говорила она,—на мысль, что это «вмѣсто образа модную картинку въ переднемъ углу ея комнаты повѣсили». Тогда ей казалось, что ей нуженъ именно такой образъ, который какъ бы заглядывалъ ей въ душу и требовалъ отъ нея, строго и безпощадно, отвѣта въ ея грѣхахъ. Это было въ ту пору, когда она впервые начала терзать и мучить свою плоть. Но съ теченіемъ времени ея нервы уже изболѣлись до того, что она порою не смѣла поднять глазъ на этотъ образъ и тотчасъ же, при взглядѣ на него, начинала биться въ истерическихъ слезахъ, сознавая съ ужасомъ, что какъ она ни молится, какъ ни кается, а въ ея памяти все живетъ и живетъ попрежнему представленіе содѣяннаго ею грѣха,—вся сцена задушенія мужа, его предсмертная хрипота и конвульсіи подъ ея рукою. Иногда все это такъ ярко воскресало въ ея больномъ воображеніи, что она безсознательно начинала хрипѣть сама, какъ хрипѣлъ онъ, и такъ же корчилась, какъ корчился онъ, безсознательно копируя до мель-

чайшихъ подробностей сцену предсмертной борьбы и агоніи. Тогда образъ со строгими глазами приводилъ ее въ ужасъ, наводя на страшную мысль, что она не болѣе, какъ комедіантка: ей нужно замаливать грѣхи, а она играетъ комедію— сцену смерти изображаетъ!

Именно въ такомъ настроеніи была она и теперь: эти строгіе глаза преслѣдовали ее, какъ преслѣдовала ея собственная больная совѣсть, а въ душѣ поднимался цѣлый рой вопросовъ, поднималась цѣлая буря сомнѣній, съ которыми не могъ справиться ея слабый и больной умъ.

Почему другіе дѣлаютъ всякія преступленія и живутъ спокойно? Неужели она грѣшнѣе всѣхъ, что ей не дается даже на землѣ покоя? Что ей нужно еще сдѣлать, чтобы не страдать такъ страшно? Отказаться навсегда отъ міра, отрѣзать себѣ возвратъ въ него и постричься? Отдать все свое имущество, весь капиталъ на церковь? Сотни подобныхъ вопросовъ вихремъ проносились въ ея головѣ. Тогда въ ней просыпался другой человѣкъ, — человѣкъ, испытавшій съ колыбели, что значитъ остаться безъ денегъ въ нищетѣ, узнавшій весь ужасъ этого положенія не на словахъ, а на дѣлѣ. Цѣлые годы дѣвичества она только и слышала, что жалобы бабушки на безденежье и сопряженныя съ нимъ несчастія: всѣ бросили старуху, когда она обнищала, всѣ перестали ее уважать, всѣ отказывались ей помочь, и послѣдніе уличные мальчишки бѣгали съ насмѣшками за старой барыней - чудихой. Потомъ, выброшенная на улицу послѣ смерти бабки, она сама чуть не умерла съ голода, чуть не наложила на себя рукъ и спаслась только при помощи своего Лени, взявшаго ее къ себѣ въ гласную кассу ссудъ конторщицей. Здѣсь для нея началась снова та же школа жизни, учившая только скопидомству, скупости, скаредности, ежедневно напоминавшая ей, что человѣкъ безъ денегъ хуже преступника, хуже послѣдней собаки, что только ради денегъ люди дѣлаютъ все. Ея несчастный Леня прошелъ самъ эту тяжелую школу нищеты и говорилъ о страданіяхъ и позорѣ бѣдняковъ не по наслышкѣ, а по личному опыту, называя фарисеями всѣхъ тѣхъ, кто не признаетъ за непреложную истину того, что нищета хуже преступленія въ глазахъ всѣхъ людей безъ всякаго исключенія. Онъ убѣдился въ этомъ и убѣдилъ ее, свою Соню, хотя все это приходило въ голову и ей самой раньше знакомства съ нимъ. Да, останься она безо всего послѣ смерти мужа, развѣ за ней ухаживали бы Шустова, Варварушка, матушка

Нектарія, даже сама матушка Серафима, презирающая ее въ душѣ? И теперь, только отдай она всѣ свои деньги,— ею будутъ помыкать, ее будутъ преслѣдовать уже за одно то, что она не похожа на нихъ, за то, что она теперь рѣзка съ ними. Нѣтъ, нѣтъ, ни за что она не выпуститъ изъ своихъ рукъ всѣхъ своихъ денегъ. Лучше умереть, чѣмъ сдѣлаться нищей!..

Она подняла свои глаза и встрѣтилась съ суровымъ взглядомъ, устремленнымъ на нее изъ передняго угла, и ей сдѣлалось жутко, точно кто-то шепталъ ей:—«эти деньги—цѣна убійства, эти деньги—плата Іуды. У Іуды и деньги были, а онъ повѣсился; деньги жгли ему руки и онъ повѣсился». Да, отъ нихъ она должна прежде всего освободиться, чтобы имѣть право замаливать свой грѣхъ—это онѣ жгутъ и душатъ ее. Что бы ни было послѣ, что бы ни пришлось ей терпѣть, но она должна отдать эти деньги и постричься въ монахини: пусть помыкаютъ ею, пусть презираютъ ее,—она все должна вынести... Измученная въ конецъ этими думами, она распростерлась передъ образомъ, и ей показалось, что ей стало легче, что давно уже не чувствовала она себя такой покойной, какъ теперь...

На слѣдующій день матушка Нектарія узнала отъ Софьи Дмитріевны, что та желаетъ поступить въ число монахинь, принесши въ даръ монастырю весь свой капиталъ. Мать Нектарія обрадовалась и изумилась: вотъ тогда-то будетъ въ монастырѣ благолѣпіе! Благолѣпіе монастыря—это была вся ея жизнь. Другихъ радостей она не знала. Въ ея головѣ бродили теперь свѣтлыя мысли. Матушка Серафима-то какъ обрадуется; она все скорбитъ, что безъ денегъ у нея руки связаны: что ни задумаетъ устроить въ монастырѣ,—постоянно вопросъ о деньгахъ возникаетъ. А плановъ-то, плановъ-то у матушки Серафимы сколько! Были бы средства осуществить всѣ ея помыслы— лучше ихъ обители и не было бы нигдѣ. Надо будетъ ее скорѣе обрадовать этой доброю вѣстью.

Матушка Серафима сидѣла у себя въ пріемной комнатѣ въ мягкомъ креслѣ и едва ли не въ десятый разъ перечитывала отчеркнутое краснымъ карандашомъ мѣсто въ одной изъ большихъ петербургскихъ газетъ. Въ отчеркнутомъ мѣстѣ была напечатана корреспонденція изъ Чистополья. Въ ней говорилось:

«Въ нашемъ богоспасаемомъ градѣ идутъ теперь безконечные толки вкривь и вкось о переселеніи въ наше за-

холустье молодой, но преждевременно состарившейся, вдовы какого-то петербургскаго кровопійцы-ростовщика. Получивъ послѣ смерти мужа неожиданно, помимо прямыхъ законныхъ наслѣдниковъ, очень крупное богатство, бѣдняжка-вдовушка совершенно растерялась и сначала стала страдать какими-то нервными припадками, а потомъ, немного оправившись, соблазненная розсказнями какой-то бывшей при ней сидѣлки-богомолки, начала ѣздить по богомольямъ, искать себѣ успокоенія душевнаго недуга по разнымъ монастырямъ, покуда не попала въ руки предпріимчивыхъ «темныхъ» людей у насъ въ городѣ, воспользовавшихся, какъ говорятъ, очень ловко ея психическимъ разстройствомъ и нагрѣвающихъ руки около нея. Лѣчить ее, разумѣется, они и не думаютъ, а только облегчаютъ ея карманы. Интересно бы узнать, что съ ней сдѣлаютъ, когда она останется безъ гроша въ карманѣ, такою же больной, какъ больна она теперь? Этотъ скандалъ, какъ и слѣдовало ожидать, взбаломутилъ наше стоячее болото, гдѣ только и разговору теперь, что о немъ. Къ счастію, родные больной, какъ слышно, рѣшились вступиться за нее и поднять дѣло объ освидѣтельствованіи ея умственныхъ способностей».

Нумеръ газеты, въ которомъ была помѣщена эта—отмѣченная краснымъ карандашомъ — корреспонденція, былъ присланъ утромъ матушкѣ Серафимѣ съ письмомъ отъ Челищева. Въ письмѣ губернаторъ извѣщалъ матушку Серафиму, что, вѣроятно, эта замѣтка составлена не чистопольскимъ корреспондентомъ, а сфабрикована въ Петербургѣ родственниками Зиминой. Будь она составлена въ Чистополѣ, въ ней непремѣнно говорилось бы и объ убійствѣ Коробейникова. Петербургскій писака, очевидно, не зналъ ничего объ этомъ крупномъ происшествіи. Кромѣ того, онъ, губернаторъ, тотчасъ же узналъ бы имя того шантажиста, который вздумалъ бы корреспондировать въ Петербургъ изъ Чистополья. Особеннаго значенія эта замѣтка, конечно, не имѣетъ, но все же изъ нея видно, что Зимины добьются, въ концѣ-концовъ, своихъ цѣлей, и такъ или иначе съ ними придется считаться, то-есть «побезпокоить Софью Дмитріевну», какъ выразился въ концѣ письма Челищевъ.

Матушка Серафима, сдвинувъ сурово брови, раздумывала теперь, что ей дѣлать. Несмотря на то, что Зимину никто не обиралъ и не грабилъ, матушка Серафима затруднилась бы сильно, если бы теперь пришлось отдать занятыя у Зиминой деньги: взявъ ихъ въ долгъ, матушка Серафима

вложила деньги въ дѣло и была увѣрена, что Зимина ихъ не потребуетъ обратно. Если же ее признаютъ сумасшедшей, то деньги, конечно, будутъ тотчасъ же потребованы родными Зиминой. А вкладъ, сдѣланный Зиминою въ монастырь,—его придется отдать или нѣтъ? Всѣ эти юридическіе вопросы постоянно смущали матушку Серафиму, воспитанную въ былые годы въ той средѣ, гдѣ все дѣлалось «по-домашнему». Помимо этого, ее смущалъ и скандалъ: до сихъ поръ ея репутація была чиста, и про нее не ходило никакихъ темныхъ слуховъ. Теперь же эти господа,—Зиминъ и его мать,—не пощадятъ ея и начнутъ, въ случаѣ своего успѣха или неуспѣха, трубить и объ ея прошломъ. Пощады отъ этихъ людей нечего ждать ни въ какомъ случаѣ. Ея мысли были прерваны приходомъ матушки Нектаріи, вошедшей съ благословенія настоятельницы въ ея комнату. Матушка Серафима, говоря обычное «аминь», поспѣшно спрятала газету и письмо, и со своимъ обычнымъ, холодноспокойнымъ выраженіемъ лица встрѣтила матушку Нектарію, сіявшую теперь отъ умиленія, съ сильно обозначившимися ямками на пухленькихъ и розовыхъ щекахъ.

— А я съ доброю вѣстью, — заговорила добродушнымъ тономъ матушка Нектарія, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ, и ея розовое, дѣтски кругленькое лицо снова озарилось радостною улыбкою, смѣнившею набожное выраженіе.— Наша Софья Дмитріевна окончательно рѣшилась принять постриженіе... Сегодня пригласила меня и таково радостно говоритъ: «хочу удалиться отъ міра и отъ всякихъ соблазновъ его». Весь свой капиталъ желаетъ предоставить на поддержаніе и украшеніе святой обители нашей. Вздохнемъ мы тогда...

Матушка Серафима сдѣлалась совсѣмъ серьезной. Лицо ея приняло озабоченное выраженіе.

— Это, мать Нектарія, вопросъ важный и рѣшить его сразу нельзя,—начала она тревожно.

— Зачѣмъ сразу, а все же... — замѣтила матушка Нектарія.

— Я даже думаю, что намъ придется отказать Софьѣ Дмитріевнѣ въ исполненіи ея желанія,—пояснила матушка Серафима.

Матушка Нектарія изумилась.

— Какъ отказать? — спросила она растерянно, не вѣря своимъ ушамъ.

— А такъ... Впрочемъ, мнѣ надо подумать и кое съ кѣмъ

переговорить,—сказала матушка Серафима, не пускаясь въ дальнѣйшія объясненія съ матерью-казначеей.

Она позвала послушницу и приказала распорядиться, чтобы немедленно заложили ея экипажъ. Она рѣшилась тотчасъ же заѣхать къ Челищевымъ и переговорить съ губернаторомъ. Рѣшавшая все и всегда самостоятельно, безъ чужихъ совѣтовъ, теперь она чувствовала необходимость заручиться совѣтомъ Челищева. Каждый новый шагъ въ отношеніи Зиминой казался уже ей рискованнымъ и усложняющимъ дѣло. Она уже была совсѣмъ одѣта и выходила на крыльцо, когда къ ней явилась мать Дорооея. Она такъ усиленно моргала глазами и такъ смиренно стягивала губы въ трубочку, что матушка Серафима отрывисто-недовольнымъ тономъ спросила ее:

— Случилось что-нибудь?

Мать Дорооея замялась и, смиренно опуская глаза, пробормотала:

— Ужъ не знаю, какъ и сказать, матушка-игуменея...

— Ахъ, да не ломайся! Что тамъ еще? — нетерпѣливо сказала матушка Серафима.—Всегда придешь не вò-время! Ну, говори скорѣе!

Мать Дорооея искоса взглянула на послушницу, стоявшую около настоятельницы. Послѣдняя поняла, что мать Дорооея имѣетъ сдѣлать тайное сообщеніе, и вернулась съ нею въ свою пріемную комнату.

— Ну, говори, что случилось? — заторопила она мать Дорооею.

— У обѣдни я сегодня стояла. Купчиха Ольхина—извольте ее знать, матушка-игуменея: толстая такая, красношекая—пріѣхали къ службѣ...

— Ну? ну?

— Подозвала она меня къ себѣ и стала пытать: «Гдѣ, говоритъ, у васъ тутъ живетъ юродивая?» Я ей говорю, что никакой юродивой у насъ не живетъ, а она свое: «Умопомѣшанная, говоритъ, или юродивая — доподлинно я не знаю; только по всѣмъ святымъ мѣстамъ, говорятъ, она ѣздила, а теперь у васъ поселилась. Дочь вотъ, говоритъ, у меня замужъ выходитъ, такъ хочется съ какимъ ни на есть Божьимъ человѣкомъ поговорить. Откровенія у этихъ людей тоже бываютъ. Мы-то, говоритъ, все своимъ умомъ мудровствуемъ, а имъ самъ Богъ все открываетъ». Говоритъ это она, а сама деньги мнѣ суетъ въ руку. «Обхлопочи, молъ, это дѣло, въ долгу не останусь». Чуть я дурой

ее не выругала. Да дура и есть! «И кто, говорю, это вамъ наплелъ?» А она говоритъ въ отвѣтъ, что отъ Коробейчихи вчера въ соборѣ слышала. Стояли это онѣ у обѣдни, разговорились отъ бездѣлья, — одна о своемъ несчастіи, что вотъ сына женить въ недобрый часъ задумала, а другая о своей дочери: что тоже убивается, хорошо ли та съ мужемъ жить будетъ. Тутъ Коробейчиха ей и разсказала, что будто бы у насъ въ обители юродивая есть, которая всѣмъ въ глаза всякую правду говоритъ...

Матушка Серафима, какъ бы недоумѣвая, взглянула строгими глазами прямо въ лицо матери Дорооеѣ.

— Это Варваркины штуки, — пояснила пугливо, почти шопотомъ, мать Дорооея. — Грозилась она намедни, что ославитъ Зимину, Софью-то Дмитріевну, сумасшедшей... вотъ и ославляетъ...

Матушка Серафима сдѣлала усиліе надъ собой, чтобы казаться спокойной, и сквозь зубы проговорила:

— Всѣ-то вы съ ума сошли! Изъ-за такихъ глупостей и задержала меня!

Она поспѣшно направилась къ колескѣ и, только когда тронулся экипажъ, ея лицо приняло угрюмое выраженіе. «Вышвырнуть бы эту проклятую женщину, — мелькнуло въ ея головѣ.—О, будь у меня пятнадцать, двадцать тысячъ, я бы ни минуты не задумалась отдать ихъ, и духа бы ея не было здѣсь. Все до копейки вернула бы ей, только бы ея не было здѣсь. А что если попробовать достать эти деньги? Откуда только?» Она такъ задумалась, что даже не замѣтила, какъ доѣхала до губернаторской дачи. Какъ всегда, Челищевъ очень обрадовался ей и тотчасъ замѣтилъ озабоченное выраженіе ея строгаго лица. Отказавшись отъ завтрака, матушка Серафима поспѣшила остаться съ глазу на глазъ съ Челищевымъ и его женой.

— Неужели вы ради этой пошлой замѣтки взволновались?—спросилъ ее заботливо Челищевъ.—Зналъ бы я это,— не прислалъ бы ея вамъ.

— Ахъ, тутъ не одна она вывела меня изъ себя,—отвѣтила мать Серафима и разсказала про купчиху Ольхину.

Челищевъ замѣтилъ:

— Вотъ идіотка-то!

— Да, но слава Богу, что эта идіотка дала возможность вовремя узнать, что толки о Зиминой идутъ и въ городѣ,— замѣтила матушка Серафима.—И, какъ на бѣду, она непремѣнно хочетъ поступить въ монахини...

— Ну, это едва ли удобно будетъ сдѣлать теперь, до освидѣтельствованія ея умственныхъ способностей, — сказалъ Челищевъ.

— Вы думаете, что это придется сдѣлать? — спросила матушка Серафима.

— Я почти убѣжденъ, что безъ этого не обойдется,— рѣшилъ губернаторъ. — Нельзя же доводить дѣло до крупнаго скандала... Да что она, въ самомъ дѣлѣ, развѣ можетъ быть признана за сумасшедшую?

Челищева перебила мужа:

— Ахъ, Богъ мой, я видѣла ея работы. Развѣ сумасшедшая могла бы быть такой рукодѣльницей?

— Ну, рукодѣлья ничего не доказываютъ,—замѣтилъ губернаторъ.

— Да, если бы это были простыя механическія работы,— сказала матушка Серафима:—а у нея это просто художественныя произведенія, съ полнымъ знаніемъ стилей, съ извѣстной долей личнаго творчества... Она просто фанатичка, и больше ничего въ ней нѣтъ особеннаго.

— Ну, въ такомъ случаѣ, нужно даже идти навстрѣчу требованію освидѣтельствовать ея умственныя способности,— рѣшилъ Челищевъ. — Чѣмъ скорѣе кончится это дѣло, тѣмъ лучше...

Они перешли къ другимъ темамъ, но матушка Серафима была разсѣянна и думала все объ одномъ и томъ же, какъ бы раздѣлаться окончательно съ Зиминой. Ее вовсе не интересовалъ вопросъ о томъ, признаютъ ли Зимину умственно здоровой: ей хотѣлось одного — удаленія изъ монастыря этой личности, возмутившей душевный миръ ея, матушки Серафимы. Недаромъ какое-то смутное предчувствіе предсказывало ей, матушкѣ Серафимѣ, отвращеніе къ Зиминой...

Возвратившись домой, она засѣла писать письма. Она писала долго и много, припоминая всѣхъ, къ кому можно было обратиться съ просьбою о деньгахъ. Окончивъ писаніе и вкладывая письма въ конверты, она горько усмѣхнулась: сколько родныхъ; всѣ вліятельны и богаты, а между тѣмъ ей не собрать и двадцати тысячъ на благое дѣло. Всѣ богатые люди готовы говорить о Богѣ, о добрыхъ дѣлахъ, о поддержаніи вѣры, о поднятіи монастырей, а коснись вопроса о пожертвованіяхъ — всѣ зажмутъ свои карманы. Развѣ ужъ очень нагрѣшатъ, такъ сдѣлаютъ извѣстный вкладъ для умиротворенія своей совѣсти и то по духовному

завѣщанію, послѣ своей смерти, когда имъ уже не жаль распоряжаться ненужными имъ самимъ деньгами. И много ли ей надо? Двадцать тысячъ! Да не о двадцати тысячахъ идетъ рѣчь, а въ сущности только о пяти; остальныя пятнадцать тысячъ она проситъ въ долгъ; онѣ отдадутся монастыремъ. Безвозвратно взяты только пять тысячъ, которыя она швырнетъ Зиминой, чтобы въ монастырѣ не было ни одной копейки изъ кармана этой женщины. Да, не даромъ такое отвращеніе сразу почувствовала къ ней матушка Серафима. Эта мысль о безсознательной антипатіи къ Зиминой то и дѣло повторялась теперь въ душѣ матушки Серафимы...

На слѣдующій день утромъ, ей доложили, что съ ней хочетъ видѣться Софья Дмитріевна. Матушка Серафима сдѣлала невольно гримасу, тѣмъ не менѣе велѣла просить къ себѣ Зимину. Софья Дмитріевна явилась къ ней съ довольно кроткимъ и спокойнымъ выраженіемъ на лицѣ. Она сейчасъ же заговорила о своемъ желаніи вступить въ число монахинь и принести въ жертву монастырю весь свой капиталъ. Матушка Серафима молча выслушала ее и замѣтила:

— Я очень рада, если вы окончательно приняли это рѣшеніе, но вы должны немного подождать!

— Искусъ какой-нибудь, — начала Зимина. — Я знаю... Матушка Нектарія разсказала мнѣ все, касающееся постриженія... Да я и сама видѣла обрядъ...

— Нѣтъ, нѣтъ,—перебила ее сухо матушка Серафима.— Дѣло не въ искусѣ и не въ обрядѣ. Но вы знаете нелѣпую и постыдную исторію, поднятую родными вашего покойнаго мужа...

— Ахъ, это насчетъ моего сумасшествія,—равнодушно сказала Зимина.

— Да, покуда вы не будете признаны официально здоровой, до той поры было бы неловко принять васъ окончательно въ число монахинь.

— Что-жъ, пусть свидѣтельствуютъ хоть сейчасъ, — рѣшительно сказала Зимина. — Я буду сама рада хлопотать объ ускореніи этого... Я чувствую, что вполнѣ успокоюсь только тогда, когда вступлю въ монашество... и освобожусь отъ денегъ... Въ нихъ корень зла, въ нихъ, проклятыхъ! — страстно закончила она вдругъ, и матушка Серафима вздрогнула отъ этихъ неожиданныхъ нотъ раздраженія.

Она сухо замѣтила:

— Да, если бы не было ихъ, то не было бы препятствій и къ поступленію вашему въ число монахинь... но разъ вы будете признаны официально здоровой, тогда и деньги не помѣшаютъ исполненію вашего желанія...

— Нельзя ли похлопотать объ ускореніи этого дѣла? — попросила Зимина.

— Я постараюсь,—отвѣтила матушка Серафима, вставая.

Онѣ простились. Зимина теперь вся отдалась одной надеждѣ, что она успокоится, какъ только освободится отъ денегъ. Матушка Серафима въ свою очередь думала, что она успокоится только тогда, когда освободится отъ Зиминой. Она питала надежду, что 17 сентября, когда должно было состояться торжество открытія вновь отдѣланнаго и реставрированнаго главнаго монастырскаго храма, пріѣдутъ на приглашеніе въ Чистополье ея братья и ихъ жены. Не можетъ быть, чтобы они не пріѣхали. Тогда она сумѣетъ выпросить у нихъ нужныя деньги. Слава Богу, всѣ они богаты. До этого дня оставалось еще двѣ съ половиной недѣли, какъ вдругъ, въ отвѣтъ на одно изъ своихъ писемъ, она получила телеграмму отъ одного изъ своихъ братьевъ: «Выѣду со своей женой завтра послѣ вѣнчанія въ Чистополье, проѣздомъ въ Крымъ, и буду радъ помолиться съ тобою. Петръ Муратовъ». Матушка Серафима обрадовалась, какъ уже давно не радовалась ничему. Петръ Павловичъ Муратовъ только что женился на Сухаревой, располагавшей милліоннымъ состояніемъ, и прямо послѣ вѣнчанія отправлялся въ свадебное путешествіе. Онъ хочетъ помолиться съ нею, со своею старшею сестрою, о своемъ счастіи. Онъ остепенился, изъ пустого кутилы сдѣлался серьезнымъ человѣкомъ; въ послѣдніе два года онъ даже сталъ спрашивать совѣтовъ у нея, у матушки Серафимы; въ его письмахъ проглядывало новое направленіе — набожность, потребность въ молитвѣ. Онъ, вѣроятно, не откажетъ въ ея просьбѣ...

Въ помѣщеніи матушки Серафимы, въ одинъ изъ слѣдующихъ дней, съ самаго ранняго утра, шли усиленныя приготовленія къ пріему «молодыхъ». Всѣ монахини и послушницы были на ногахъ, точно приготовляясь къ большому праздничному торжеству. Сама настоятельница была особенно въ духѣ и ласково торопила всѣхъ скорѣе кончать разныя приготовленія. Она ходила какой-то особенно легкой походкой, осматривая, все ли готово, и думая только объ одномъ, что сегодня все уладится, что сегодня кончатся

всѣ ея тревоги. Матушка Серафима ждала «молодыхъ» къ завтраку. Поѣздъ долженъ былъ прійти какъ разъ ко времени окончанія обѣдни, и матушка Серафима распорядилась, чтобы священникъ отслужилъ послѣ обѣдни молебенъ, когда пріѣдутъ «молодые». За ними былъ посланъ на станцію экипажъ матушки Серафимы, и въ немъ поѣхала матушка Дорооея, хорошо знавшая молодого брата игуменьи. Матушка Серафима отправилась къ обѣднѣ и, стоя въ церкви, то и дѣло поглядывала на входныя двери. Какъ разъ къ концу обѣдни появились въ церкви «молодые». Матушка Серафима поспѣшила къ нимъ навстрѣчу и, благословляя ихъ, горячо обняла молоденькую жену своего брата, а онъ нѣжно припалъ къ рукѣ сестры. На лицахъ «молодыхъ» и матушки Серафимы были слезы. Монахини и послушницы съ любопытствомъ смотрѣли на пріѣзжихъ,—молодыхъ, красивыхъ, нарядныхъ. Всѣ были сильно растроганы; нѣсколько послушницъ, смотря на эту встрѣчу, отирали слезы. Священникъ, между тѣмъ, вышелъ изъ алтаря и началъ служить молебенъ. Никогда еще не проходилъ молебенъ такъ стройно и торжественно, никогда еще не звучали такъ прекрасно голоса клирошанокъ. Всѣ молились искренно и отъ души.

Уже во время завтрака матушка Серафима окончательно успокоилась и развеселилась: ея надежда не обманула ее. Какъ только между разговорами успѣла она замѣтить, что ее болѣе всего заботитъ долгъ въ пятнадцать тысячъ, лежащій на монастырѣ, и «перерасходованныя» ею пять тысячъ, жена ея брата сейчасъ же сказала, что объ этомъ не стоитъ и думать. Вообще, она выразила желаніе быть полезной монастырю, о которомъ она слышала столько хорошаго и которому отнынѣ она желала бы быть полезной. «Это будетъ нашъ монастырь, нашъ тихій пріютъ»,—сказала она и склонилась къ рукѣ настоятельницы. Послѣ завтрака, матушка Серафима пошла показывать «молодымъ» новыя монастырскія постройки, главную церковь, больницу, рукодѣльную школу. Она оживленно говорила о своихъ намѣреніяхъ, планахъ, надеждахъ. Объ этомъ она могла говорить безъ устали, горячо любя свое дѣло и страстно стремясь къ поднятію монастыря. Молодая Муратова особенно заинтересовалась рукодѣльями въ школѣ, — вышитыми золотомъ воздухами, ризами, орарями.

— Это все сдѣлано подъ руководствомъ одной пріѣхавшей изъ Петербурга женщины, Зиминой,—пояснила матушка Серафима.

— Зиминой? — почти съ ужасомъ, чуть не вскрикнувъ, переспросилъ Петръ Павловичъ, блѣднѣя.

— Да, — отвѣтила матушка Серафима и съ удивленіемъ взглянула на него.—Ты ее знаешь?

— Я... нѣтъ...—отвѣтилъ онъ, стараясь овладѣть собою.— Въ Петербургѣ былъ какой-то ростовщикъ Зиминъ...

— Это и есть его вдова,—сказала матушка Серафима.

Молодая Муратова вздохнула и ласково тайкомъ пожала руку мужа. Она знала, какъ онъ путался когда-то въ долгахъ, знала, какъ онъ каялся въ этомъ, и давно простила ему эти «грѣхи молодости». Охватившее его теперь смущеніе при упоминаніи фамиліи Зимина было ей понятно и растрогало ее.

— Странная эта женщина,—продолжала матушка Серафима.—Какая-то роковая тайна окружаетъ ея прошлое... Въ ея жизни былъ какой-то романъ... Но едва ли онъ одинъ могъ такъ потрясти ее... Иногда мнѣ приходитъ въ голову что-то страшное при видѣ ея...

Она тихо закончила:

— Я готова порою думать, что она убила своего мужа...

— Боже мой!—воскликнула молодая Муратова.

Муратовъ, весь блѣдный, похолодѣвшій, заторопился, взглянувъ на часы.

— А намъ пора къ Челищевымъ,—сказалъ онъ и сталъ торопить жену. — Они ждутъ къ обѣду... неловко пріѣхать поздно...

Матушка Серафима зорко смотрѣла теперь на него. Что съ нимъ? Почему онъ такъ встревожился, услыхавъ фамилію Зиминой? Онъ сразу сталъ какъ бы другимъ человѣкомъ? Въ ея головѣ мелькнуло страшное подозрѣніе, и она чуть не перекрестилась, желая отогнать его... Все трое вышли изъ школьнаго помѣщенія и къ подъѣзду подъѣхалъ экипажъ, въ который усѣлись Муратовъ и его жена. Матушка Серафима какъ-то невольно взглянула на противоположный флигелекъ: тамъ въ одномъ изъ оконъ виднѣлась фигура женщины со страшно исказившимся отъ ужаса лицомъ, съ расширенными зрачками глазъ, смотрѣвшихъ изъ окна на дворъ. Это была Зимина. Матушка Серафима поняла все разомъ, растерялась, поспѣшила отвернуться отъ окна Зиминой и еще разъ особенно торопливо сказала брату и его женѣ: «до свиданья». Ей было страшно, что вотъ-вотъ выбѣжитъ эта безумная и разомъ разрушитъ счастіе этихъ двухъ людей... «Молодые» уѣхали, взявъ слово съ матушки Сера-

фимы, что и она тотчасъ же пріѣдетъ къ Челищевымъ. Она направилась къ своему флигелю, какъ-то особенно поспѣшно проходя по усыпаннымъ желтыми листьями дорожкамъ сада, точно кто-то преслѣдовалъ ее. Но она отличалась всегда силой воли, всегда умѣла не теряться въ тяжелыя минуты жизни. Она стала успокаивать себя. Можетъ-быть, Петръ и зналъ Зимина и Зимину, но что-жъ изъ этого? Можетъ-быть, даже у него и была интрижка съ Зиминой, но вѣдь у кого же изъ свѣтской молодежи не бываетъ этихъ интрижекъ? Петръ во всякомъ случаѣ не отвѣтственъ за то, что могла надѣлать Зимина... И нечего думать обо всемъ этомъ прошломъ: теперь Петръ сталъ серьезнымъ, честнымъ человѣкомъ; онъ сдѣлаетъ счастливою свою жену. И что за милое созданье она! Какъ все въ ней искренно и правдиво! Матушка Серафима вспомнила слова молодой Муратовой: «теперь это будетъ нашъ монастырь». Да, она поможетъ монастырю, она дастъ возможность поднять его. Матушка Серафима отдалась свѣтлымъ мечтамъ. У нея на душѣ стало опять свѣтло и спокойно: не сегодня, такъ завтра жена брата вышлетъ ей деньги, она раздѣлается съ Зиминой и освободится отъ этой женщины, причинившей ей столько тревогъ и тяжелыхъ минутъ въ ея мирной жизни. И какъ встревожился бѣдный Петръ, услыхавъ фамилію этой проклятой Зиминой?.. А она-то—какъ она, безумная, смотрѣла на него изъ окна!.. Еще хорошо, что его жена не видала этого взгляда...

Матушка Серафима вздрогнула, заслышавъ торопливые шаги за собою и сильное шуршанье мертвыхъ листьевъ подъ чьими-то ногами. Она уже всходила на ступени террасы своей пустыньки и обернулась, остановившись на минуту, чтобы взглянуть, кто это спѣшитъ за ней. За ней почти бѣжала Зимина, въ одномъ платьѣ, съ блуждающими глазами, съ искаженнымъ отъ ужаса лицомъ.

— Кто у васъ сейчасъ былъ? — крикнула Зимина, едва переводя духъ и останавливаясь передъ матушкой Серафимой.—Кто былъ? говорите!

— Что съ вами?—спросила тревожно матушка Серафима, видя, что Софья Дмитріевна на себя не похожа.

Въ ея головѣ мелькнула мысль: «сошла съ ума!»

— Я васъ спрашиваю, кто у васъ былъ? — настойчиво повторила Зимина.—Кто былъ?

— Мой братъ съ женою,—отвѣтила матушка Серафима, стараясь казаться спокойною.

— А, вашъ братъ, вашъ братъ!—воскликнула съ безумнымъ гнѣвомъ Зимина. — Мой полюбовникъ! Мой погубитель! Мой лиходѣй, Петръ Павловичъ Муратовъ! Это я для него, съ нимъ поддѣлывала векселя отъ имени моего несчастнаго мужа! Это для его спасенія отъ Сибири я задушила своего несчастнаго мужа. Не могла дождаться, когда онъ умретъ, и задушила его, умирающаго, потому что Петръ Павловичъ въ Сибирь могъ прогуляться!

Матушка Серафима отшатнулась отъ нея въ ужасѣ, ухватившись за перила террасы.

— Вы съ ума сошли!—глухо прошептала она.

— Да, да, сошла съ ума! — крикнула Зимина. — Какъ и не сойти съ ума, если мужа для этого проклятаго задушила, а онъ вотъ веселъ... съ молодой женой... счастливъ. Онъ счастливъ, а я вотъ какъ сейчасъ вижу умирающаго мужа. Хрипитъ онъ... вздрагиваетъ... темно въ комнатѣ, темно, а я душу его, душу...

Ея лицо исказилось ужасомъ.

— А! страшно, страшно!—проговорила она, тяжело дыша и отирая рукой со лба холодный потъ. — Это онъ меня, чистую, ничего не знавшую, во всѣ грѣхи ввелъ, это его я спасла, душу свою погубивъ! О, будьте вы всѣ, всѣ прокляты, окаянные! Часу я съ вами не останусь, часу не останусь.

Она быстро исчезла, какъ бы несясь по дорожкамъ сада, точно ее кто гналъ; вихремъ пронеслась она къ своему помѣщенію, никого и ничего не видя на дорогѣ. Впопыхахъ она стала собирать свои вещи, совалась изъ угла въ уголъ, какъ угорѣлая, и вдругъ въ изнеможеніи опустилась на стулъ.

— Куда же идти? — мрачно задала она себѣ вопросъ, безумно глядя въ пространство расширенными зрачками.— Куда мнѣ идти? Отъ Бога никуда, никуда не уйду. Отъ людей уйду, а отъ Бога не уйду!

Она вдругъ вспомнила, что она сейчасъ все сказала матушкѣ Серафимѣ, и ее охватилъ ужасъ.

— Теперь и отъ людей не уйти: она все знаетъ, она выдать можетъ, — прошептала она. — Не выдастъ развѣ, чтобы брата не замѣшать и деньги присвоить. Деньги? О, проклятыя, это изъ-за нихъ все, изъ-за денегъ. Наслѣдіе Іуды! Повѣсился онъ изъ-за денегъ.

Она опять вдругъ какъ бы сошла съ ума и заметалась.

— Погодите, погодите! вотъ вы узнаете! — начала она

говоритъ, мечась по комнатѣ.—Іуда я... Іуда... Ну, что-жъ и повѣшусь... Какъ собака, издохну... Они хотѣли, чтобы я въ монастырь поступила... въ храмѣ по полу ползала бы, а они смотрѣли бы, да смѣялись: «ползай! ползай!» Нѣтъ, нѣтъ, я не поползу, я...

Она быстро отрыла въ чемоданѣ какой-то остатокъ веревки, влѣзла на стулъ, торопливо нацѣпила веревку на крючокъ, вбитый въ стѣну, сбросивъ на полъ висѣвшую на немъ одежду, устроила петлю и просунула въ нее голову.

— Вотъ, вотъ!... Іуда, Іуда! — прохрипѣла она, силясь оттолкнуть ногою стулъ.

Онъ, наконецъ, упалъ, она слегка зашаталась, послышался легкій хрипъ, по тѣлу пробѣжали конвульсіи—и она вдругъ вытянулась какъ-то сразу.

Оглавленіе

IX ТОМА.

стр.

Семья Муратовыхъ.

Безпечальное житье. Романъ 5

И молотомъ, и золотомъ. Романъ 291

Совѣсть. Романъ 467

Книга 30.

Сборникъ „Нивы“ за 1905 г.

Шеллеръ-Михайловъ

Полное собраніе сочиненій

Томъ XI.

Изданіе А. Ф. Маркса
С.-Петербургъ

Изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., ул. Гоголя, 22.

ПОДВИЖНЫЯ ИГРЫ.

Руководство для родителей, воспитателей и самихъ учащихся.

Составилъ **П. Н. БОКИНЪ.**

Второе изданіе, съ 81 рисункомъ. СПБ. 1903 г.

Въ настоящемъ руководствѣ авторъ приходитъ на помощь какъ родителямъ, такъ и самимъ учащимся молодымъ людямъ своими двадцатилѣтними наблюденіями и трудами по подвижнымъ играмъ, а также знакомствомъ съ постановкой этого вопроса во Франціи и Германіи.

Въ книгѣ П. Н. Бокина приведены только игры, провѣренныя на практикѣ и оказавшіяся достаточно жизненными, интересными и легко усвояемыми.

Первый отдѣлъ книги составляютъ простыя игры, основанныя только на бѣганіи и прыганіи. Во второмъ отдѣлѣ указаны уже болѣе сложныя игры съ шарами и палками, позволяющія больше разнообразить движенія играющихъ и требующія, помимо бѣга, также метанія, нанесенія ударовъ и т. д. Третій отдѣлъ даетъ игры съ мячомъ, требующія отъ играющихъ весьма разнообразныхъ и сложныхъ движеній; въ концѣ же отдѣла помѣщены сложныя атлетическія игры.

При описаніи мѣста игры и расположенія играющихъ, помѣщены соотвѣтствующіе чертежи и рисунки, а для выясненія новаго пріема или положенія въ игрѣ, текстъ сопровождается фотографическими снимками съ натуры.

Изящно изданная книга въ 346 страницъ in 8°, на хорошей бумагѣ.

1) Учен. Ком. М. Н. П. допущено въ учит. и ученич. библіот. средн. и низшихъ учебн. заведеній, въ библіот. учит. институтовъ и семинарій, а также и въ безпл. народн. читальни и библіотеки. 2) Главн. Управленіемъ военно-учебн. заведеній рекомендовано, какъ пособіе, для руководителей играми въ кадетскихъ корпусахъ. 3) Учебн. Отдѣломъ М-ва Финансовъ одобрено для пріобрѣтенія въ ученич. и фундамент. библіотеки коммерческихъ учебн. заведеній М-ва Ф. 4) Учен. Комитетомъ М-ва Землед. и Госуд. Им. допущено въ библіотеки учебн. заведеній подвѣдомственныхъ М-ву.

Цѣна книги въ папкѣ съ коленкор. корешкомъ—2 р., съ перес. 2 р. 30 к.

ПРИЧУДЛИВЫЯ ЖИВОТНЫЯ

Соч. **Анри Купенъ.**

Съ 211-ю рисунками въ текстѣ.

Переводъ съ французскаго женщины-врача **Е. Д. Вуртфтъ.**

Изобрѣтательный геній природы, не довольствуясь обыкновеннымъ установленнымъ, постоянно создаетъ новыя формы, причудливо отклоняющіяся отъ существующихъ типовъ животныхъ или своею чудовищною внѣшностью, или странными привычками и образомъ жизни.

Весь этотъ разнообразный міръ причудливыхъ животныхъ описываетъ въ своей книгѣ Анри Купенъ, извѣстный популяризаторъ научныхъ знаній, извлекшій изъ спеціальной литературы все наиболѣе интересное и достойное вниманія по сему предмету и объединившій самыхъ, повидимому, разнородныхъ животныхъ по общимъ физическимъ или внутреннимъ и психологическимъ ихъ признакамъ въ отдѣльныя группы: „Животныя-блюдолизы", „Плачущія животныя", „Животныя, ведущія суровый образъ жизни", „Животныя, чувствующія приближеніе смерти", „Животныя, принимающія причудливыя положенія".

Совершенно изгнавъ научную терминологію, запугивающую не подготовленнаго читателя, авторъ внесъ въ свое живое, образное изложеніе значительную долю юмора, придающаго книгѣ большую живость.

Умѣло подобранныя многочисленныя иллюстраціи сразу вводятъ читателя въ эту „кунсткамеру" природы, въ міръ чудовищъ и оригиналовъ животнаго царства.

Изящно изданная книга, 447 стр. большого in 8°, отпечатанная на хорошей бумагѣ. СПБ. 1904.

ЦѢНА 3 р., съ перес. 3 р. 50 к.; въ коленк. перепл. 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

Книга 31.

Сборникъ „Нивы“ за 1905 г.

Шеллеръ-Михайловъ

Полное собраніе сочиненій

Томъ XI.

Изданіе А. Ф. Маркса
С.-Петербургъ

Тобур...

Изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., ул. Гоголя, № 22.

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

СОЧИНЕНІЯ

Ѳ. Э. РОМЕРА.

Томъ I. **ДИЛЕТАНТЫ.** Содержаніе: Дилетанты. Романъ.—Пустое сердце. Повѣсть. — Выздоравливающіе. Повѣсть.—Жизнь или сонъ. Разсказъ.—Спѣтая пѣсня. Разсказъ. 350 стр. in 8°.

Томъ II. **НЕРѢШЕННЫЯ ЗАДАЧИ.** Романъ. 451 стр. in 8°.

Томъ III. **ПОДЪ РАЗНЫМИ ФЛАГАМИ.** Содержаніе: Подъ разными флагами. Романъ.—Счастливчикъ. Повѣсть.—На сытомъ положеніи. Дневникъ.—Вѣра Павловна. Разсказъ.—Былое. Изъ университетскихъ воспоминаній. 366 стр. in 8°.

ТОМЪ IV. **ВЪ СРЕДѢ ОБРАЗОВЪ ЗВѢРИНЫХЪ.** Содержаніе: Въ средѣ образовъ звѣриныхъ. Повѣсть.—Сестры. Повѣсть. — Деревенскій Линчъ. Разсказъ. — Губернская Магдалина. Разсказъ.—Послѣдній этапъ. Разсказъ. — M-lle Катишь. Деревенскіе очерки. — Стихотворенія. 347 стр. in 8°.

Прекрасно изданныя книги, отпечатан. четкимъ шрифтомъ на хорошей бумагѣ.

Цѣна каждому тому 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.; въ перепл. 1 р. 75 к., съ перес. 2 р.

Учебный Географическій Атласъ,

составленный проф. **Э. Ю. Петри**

и состоящій изъ 48 главныхъ картъ, 142 дополнительныхъ картъ и чертежей на 47 таблицахъ.

Новое 4-ое, исправленное и дополненное, изданіе. СПБ. 1904 г.

Несмотря на огромный успѣхъ, которымъ пользуется атласъ Э. Ю. Петри, за время менѣе пяти лѣтъ разошедшійся въ трехъ изданіяхъ, одобренный и рекомендованный разными вѣдомствами, удостоенный многихъ лестныхъ отзывовъ и наградъ и введенный въ большей части учебныхъ заведеній, — мы въ настоящемъ, четвертомъ по числу, изданіи, принявъ во вниманіе мнѣнія, высказанныя Ученымъ Комитетомъ М. Н. П. и многими компетентными лицами, сдѣлали цѣлый рядъ значительныхъ измѣненій и улучшеній. Такъ, карты Сѣверной и Южной Америки, Африки, Австраліи и Австро-Венгріи дополнены политическими картами; карты сѣверныхъ и южныхъ полярныхъ странъ исправлены и пополнены на основаніи новѣйшихъ географическихъ открытій; на картахъ Сѣв. Америки, Соедин. Штатовъ и Южной Америки приняты во вниманіе послѣднія политическія событія и обозначены границы новой панамской республики; на картахъ Азіи, средне-азіатскихъ нашихъ владѣній и Сибири названія согласованы съ новѣйшимъ ихъ начертаніемъ; всѣ карты Европейской Россіи пересмотрѣны и пополнены обозначеніемъ высотъ и глубинъ. Вообще, приняты во вниманіе всѣ результаты новѣйшихъ научныхъ изслѣдованій и происшедшія политическія перемѣны.

Къ атласу приложены: оглавленіе, „краткія указанія для учащихся“ и „методологическое введеніе“, въ которомъ обстоятельно изложены тѣ основанія, которыми руководствовался составитель атласа, имѣвшій въ виду полноту и разносторонность содержанія на ряду съ ясностью и краткостью карты и сколь возможно лучшимъ освѣщеніемъ наиболѣе выдающихся для описываемыхъ мѣстностей особенностей.

УЧЕБНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Э. Ю. ПЕТРИ

въ I, II и III изданіяхъ (нынѣ исправленныхъ и дополненныхъ) былъ:

I. ДОПУЩЕНЪ Ученымъ Комитетомъ М. Н. П. — въ качествѣ учебн. пособія для среднихъ учебныхъ заведеній.

II. РЕКОМЕНДОВАНЪ Учебнымъ Комит. Вѣд. Учрежд. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ—какъ пособіе при преподаваніи географіи въ средн. учебн. заведеніяхъ Вѣд. Учрежд. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.

III. РЕКОМЕНДОВАНЪ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній — какъ полезное пособіе для преподаванія географіи въ кадетскихъ корпусахъ.

IV. ОДОБРЕНЪ Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ—для пріобрѣтенія въ библіотеки втор роклассныхъ и учительскихъ церковно-приходскихъ школъ.

ЦѢНА АТЛАСА: 1) брошюрованнаго экз.—2 р., съ перес. 2 р. 50 к.; 2) въ папкѣ съ колен коровыми корешкомъ и углами—2 р. 35 к., съ перес. 2 р. 90 к.; 3) въ прочномъ коленкоров переплетѣ съ кожан. корешк. и металлич. углами — 2 р. 60 к., съ перес.—3 р. 20 к.

3-35

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

подъ редакціею и съ критико-біографическимъ очеркомъ А. М. Скабичевскаго и съ приложеніемъ портрета Шеллера.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905.

Slav 4353.50.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
DEXTER FUND
JAN 7 1931

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

БЛАГА ЖИЗНИ.

РОМАНЪ.

I.

Ненастный апрѣльскій день съ туманомъ, дождемъ и снѣгомъ клонился къ вечеру. Ничто не напоминало о наступленіи весны, и казалось, что стоитъ глухая, суровая осень. Петербургъ былъ окутанъ, какъ траурнымъ покрываломъ, сырою мглой. Длинныя, похожія на узкіе коридоры, улицы, высокіе каменные дома, пѣшеходы и проѣзжающіе, все тонуло въ этой мглѣ. Люди шли торопливо, ежась и кутаясь, и быстро исчезали въ ней, какъ тѣни, спѣша укрыться куда-нибудь подъ кровлю отъ этой до костей пронизывающей холодомъ сырости. Двое прохожихъ, встрѣтясь въ эту пору у воротъ одного изъ пятиэтажныхъ домовъ на Вознесенскомъ проспектѣ, остановились на минуту и обмѣнялись короткими фразами.

— Ты куда?—спросилъ одинъ изъ нихъ, высокій, плотный и косматый господинъ въ старомодной камлотовой шинели.

Такія шинели носили прежде по преимуществу доктора, учителя, да католическіе и протестантскіе священники.

— Къ доктору. Горе у насъ. Настя заболѣла,—отвѣтилъ другой, маленькій, худенькій и невзрачный человѣчекъ, въ довольно легкомъ пальто, съ поднятымъ до ушей воротникомъ.

— Что-нибудь серьезное?—угрюмо проговорилъ первый и ворчливо добавилъ:—Охъ, ужъ эта дѣтвора. Только обзаведись ею...

И, перебивая себя, снова съ видимой тревогой спросилъ:

— Но не опасно больна!

— Не знаю... Горитъ, мечется. Что докторъ скажетъ...

— А деньги?—отрывисто спросилъ господинъ въ шинели.

— Добылъ... перехватилъ... это пустяки... — уклончиво отвѣтилъ маленькій человѣчекъ и торопливо перемѣнилъ разговоръ:—А ты, Устиновъ, къ намъ?

— Нѣтъ... Заверну на-днихъ... завтра, что ли...

— Хорошо, хорошо... Приходи...

Они поспѣшно простились и пошли каждый своей дорогой въ разныя стороны. Черезъ минуту высокій господинъ что-то вспомнилъ, раздумчиво качая головой, и обернулся, крикнувъ:

— Зубковъ! Иванъ Николаевичъ!

Но маленькій господинъ уже исчезъ, затерявшись въ толпѣ. Устиновъ поискалъ его глазами и, наконецъ, махнувъ рукой, ворча что-то себѣ подъ носъ, пошелъ дальше.

Зубковъ въ это время былъ уже далеко, сѣменя ногами и глядя впередъ немного растерянными глазами. Его худощавое, пожелтѣвшее, какъ бы выцвѣтшее и вылинявшее, лицо выражало озабоченность и тревогу. Болѣзнь дочери, недостатокъ денегъ, забота найти доктора, опасенія за новыя тревоги для жены, все это охватывало все его существо. Тѣмъ не менѣе, проходя мимо табачныхъ, галантерейныхъ и перчаточныхъ магазиновъ, онъ случайно замѣтилъ въ двухъ-трехъ окнахъ крупныя надписи: «Розыгрышъ 2-го мая», и, мало-по-малу, его мысль перешла на эту лотерею, разыгрывающуюся 2-го мая. «Вотъ выиграть бы первый выигрышъ—на десять тысячъ серебра. Шутка! Можно бы купить домикъ на Петербургской сторонѣ тысячъ въ пять, въ двѣ-три квартирки. Одну занять самому, другія отдать. Пять тысячъ превратить бы въ процентныя бумаги... Онѣ могли бы давать рублей триста въ годъ. Немного это, но все же тянуть можно при готовой квартирѣ, и притомъ онъ продолжалъ бы давать уроки. Отъ уроковъ онъ не отказывался бы, пока есть силы. Коптить даромъ неба не сталъ бы. А домишко имѣть хорошо—всегда есть свой уголъ. Тоже садъ при домѣ—было бы гдѣ дѣтямъ играть, дышать воздухомъ, рыться въ грядкахъ». Для здоровья это первое дѣло. Онъ начиналъ улыбаться нѣсколько странною улыбкою. Въ ней было что-то блаженное и что-то жалкое, точно онъ былъ готовъ засмѣяться и тотчасъ же расплакаться. Отъ этихъ мыслей о выигрышѣ серебра на десять тысячъ, не имѣя билета на лотерею, онъ перешелъ къ воспоминаніямъ о какомъ-то домикѣ въ глухой провинціи, гдѣ онъ жилъ когда-то съ женой и дѣтьми,—хорошо жилъ, тихо, мирно, уютно. Онъ никого не трогалъ, и его не трогали. И вдругъ ему пришлось разстаться съ этимъ домикомъ, разстаться съ учительскимъ мѣстомъ, перенести цѣлый рядъ мелкихъ непріятностей. Его точно волной въ бурю захлес-

нуло, и когда онъ справился съ нею—онъ увидалъ себя уже далеко отъ мирнаго уголка... Ему представилось, что если похлопотать хорошенько, то его вернутъ на старое мѣсто. Недоразумѣніе вызвало его отставку. Впутали его въ какую-то исторію, недоброжелатели приписали ему зловредныя идеи, слѣдствіе показало его чистоту, такъ какъ какія же могутъ быть зловредныя идеи у него, вѣчнаго младенца, протягивающаго объятія ко всѣмъ, учившаго и другихъ тому же? Правда, онъ все же потерялъ свое учительское мѣсто, но вѣдь только по недоразумѣнію. Надо разъяснить это, наконецъ: пойти прямо къ высшему начальству, попросить аудіенціи и съ честной откровенностью изложить свое положеніе. Главное—честная откровенность. Высшій начальникъ тоже человѣкъ, онъ пойметъ все и вернетъ его на прежнее мѣсто. И давно бы вернулъ, если бы не эта нерѣшительность его, Зубкова. Сколько лѣтъ вотъ онъ все собирается изложить всѣ обстоятельства дѣла съ честной откровенностью.

— Нѣтъ, нѣтъ, надо это кончить!—проговорилъ онъ вслухъ.—Подъ лежачій камень и вода не течетъ...

Кто-то изъ прохожихъ искоса осмотрѣлъ его съ головы до ногъ и пожалъ плечами. Онъ улыбался своею особенною улыбкою и продолжалъ мечтать. Дѣти-то будутъ какъ рады! Настя, правда, почти не помнитъ ихъ житья тамъ, въ деревянномъ домикѣ съ садомъ и огородомъ на краю городка, но его сынъ, его Ваня, часто скучаетъ по этомъ мирномъ уголкѣ. Горы зимой дѣлалъ онъ въ саду, катокъ себѣ устраивалъ. Всѣ сосѣдніе мальчуганы къ нимъ сбѣгались. Гимназистовъ, бывало, не отгонишь отъ ихъ сада. «Мухи къ меду слетѣлись!» подшучивалъ онъ, бывало, надъ ними. Лѣтомъ рыбу, бывало, удили въ рѣчонкѣ тутъ же около дома. Бывало, мать выйдетъ, кричитъ: «Рыболовы, завтракъ готовъ». А они ей: «А мы на обѣдъ рыбы наловили». Хорошо жилось мальчугану. Вотъ-то будетъ онъ радъ, вернувшись туда. Здѣсь они всѣ затерялись совсѣмъ, точно въ лѣсу, одни среди многолюдства. Говорятъ: «на людяхъ и смерть красна». Нѣтъ, не легко умирать съ голоду среди людей и знать, что никто не поможетъ. Тамъ не то, тамъ они знали всѣхъ, и всѣ ихъ знали, всѣ любовались ихъ домикомъ, ихъ житьемъ-бытьемъ, привѣтливо улыбались имъ, и они также привѣтливо смотрѣли на окружающихъ. Потомъ, правда, и тамъ всѣ стали ихъ бояться, какъ зачумленныхъ. Времена такія, всѣ чуть что случилось—и въ подворотню.

Кто-то толкнулъ Зубкова въ бокъ, онъ въ смущеніи сталъ извиняться, но толкнувшій его прохожій былъ уже далеко, успѣлъ тоже затеряться въ толпѣ. Зубковъ уже снова шелъ дальше и опять улыбался той же характерной улыбкой душевнаго блаженства и душевной боли. Вотъ толкнулъ онъ кого-то, кто-то его толкнулъ, и оба затерялись въ толпѣ. Такъ и все въ жизни. Столкнули его съ мѣста, и затерялся онъ. Никто и не знаетъ, гдѣ онъ, почему онъ пропалъ, ради чего затерялся. Разсказать все высшему начальству съ честною откровенностью — удивится. Право, удивится. Какъ это такъ можетъ затеряться человѣкъ, ради того, что его случайно, по простому недоразумѣнію, столкнули съ проторенной дороги. А оно такъ понятно, особенно здѣсь, въ Петербургѣ. Гдѣ его здѣсь найдешь? Забился куда-то на второй дворъ въ пятый этажъ. До квартиры не скоро доберешься. Найдешь не скоро. Найдетъ ли его докторъ? Надо объяснить будетъ поточнѣе, если онъ не можетъ ѣхать тотчасъ съ нимъ, съ Зубковымъ. Бѣда, если не найдетъ. Каждая минута дорога. Настя горитъ и мечется. Хилая она стала. Вотъ также метались и двѣ младшія его дѣвочки—и умерли. У него навернулись на глаза крупныя слезы. И могилки ихъ теперь занесены снѣгомъ, сгніютъ кресты на могилкахъ, и онѣ затеряются тоже...

— Бѣдныя дѣтишки! Бѣдныя дѣтишки!—громко проговорилъ онъ.

— Куда прикажете?—спросилъ его извозчикъ, услыхавъ, что баринъ что-то говоритъ.

Зубковъ оглянулся и смутился.

— Торговую улицу, вотъ, ищу, братецъ,—сконфуженно проговорилъ онъ, растерянно оглядываясь по сторонамъ.

— Вотъ тутъ!—указалъ извозчикъ рукою, подозрительно смотря на улыбающагося сквозь слезы Зубкова, какъ на помѣшаннаго.

— Да, да, вижу, голубчикъ, вижу,—сказалъ Зубковъ и пошелъ, прибавивъ шагу.

Онъ немного нахмурилъ брови, сердясь на себя, на свою привычку мечтать и говорить вслухъ на дорогѣ. Прежде этого не было. Мечтать онъ любилъ всегда. Кто же не мечтаетъ? Но прежде онъ не говорилъ вслухъ самъ съ собою. И то сказать, въ провинціи, бывало, по улицѣ идетъ, всѣ знакомые, всѣ кланяются, всѣ перекидываются двумя-тремя словами, а здѣсь—одинъ онъ, какъ въ лѣсу, слова не съ кѣмъ сказать, ну, вотъ и забудешься, заговоришь

самъ съ собою. Это такъ просто, такъ просто! Тоже нужда, тяжелое положеніе, страхъ за будущее пришибли. Нервы проявились. Какъ поднять Ваню и Настю? Одна эта мысль чего стоитъ! Жена тоже извелась. Молчитъ она, а извелась. Развѣ онъ не видитъ? Не слѣпой. Большимъ младенцемъ его зовутъ, а горе чужое онъ сразу видитъ. А у нея горе, много горя... Святая она женщина. И куда крѣпче она, чѣмъ онъ. Подметокъ ея онъ не стоитъ. Онъ надломился, а она—изводится, а не надломилась. Вотъ и теперь, каково ей: не знаетъ она, добылъ ли онъ денегъ для приглашенія доктора; терзаетъ это ее, а не вздохнетъ, не проронитъ слова жалобы, чтобы другіе ничего не знали, чтобы сынишку не встревожить. Всегда такою была. Ахъ, скорѣй бы найти квартиру доктора и домой, успокоить жену, утѣшить. Деньги добылъ, докторъ придетъ, все обойдется...

Онъ прибавилъ шагу, мысленно переносясь въ свою квартиру, гдѣ его нетерпѣливо ждала жена у постели больной дочери...

Въ этой квартирѣ, состоящей изъ двухъ небольшихъ низенькихъ комнатъ и кухни, отдѣленной отъ прихожей перегородкою со стеклами, въ первой комнатѣ за раскрытымъ ломбернымъ столомъ сидѣла на старинномъ обитомъ потрескавшеюся клеенкою диванѣ пожилая женщина и раскладывала гранъ-пасьянсъ. Высокая, довольно полная, съ обрюзглымъ лицомъ, хранившимъ слѣды былой, нѣсколько рѣзкой красоты, съ сѣдыми прядями сухихъ волосъ, выбивавшихся безпорядочно изъ-подъ старомоднаго чепца, она производила впечатлѣніе старой барыни-помѣщицы, привыкшей властвовать и приказывать, нѣсколько суровой и жесткой. Передъ ней на кончикѣ стула сидѣла женщина невысокаго роста, худощавая, желтая, съ жиденькими волосами, свернутыми въ колечки на вискахъ и въ узелокъ на затылкѣ, съ типичнымъ выраженіемъ лица приживалки, торопившейся соглашаться со всѣмъ, что даже еще не успѣли высказать другіе.

— И давно это у васъ Настенька захворала,—подобострастно спрашивала она пѣвучимъ голосомъ у старой барыни.

— Съ утра горитъ,—отвѣтила старуха, неторопливо и сосредоточенно раскладывая карты.—Что-жъ мудренаго, если и перемрутъ всѣ въ этомъ проклятомъ петербургскомъ болотѣ! Здѣсь вѣдь не то, что у насъ въ Захолустномъ: тамъ зима, такъ зима, а лѣто, такъ лѣто, а здѣсь въ декабрѣ дождя жди, а лѣтомъ печи топи.

— Что и говорить: климатъ! — вздохнула приживалка, разводя руками.—Истинно, климатъ!

Старуха пожала презрительно плечами.

— Гдѣ же тутъ здоровьемъ-то запастись? Двоихъ дѣтей схоронили ужъ. Мало. Теперь вотъ третья дѣвочка свалилась. Да тутъ и воздуха-то чистаго нѣтъ, и все-то дымомъ какимъ-то воняетъ, не то отъ цикорія жаренаго смрадъ идетъ. Прилѣпили дома одинъ къ другому, вытянули подъ облака, понадѣлали конуръ, да и думаютъ, что такъ жить можно. Двора просторнаго не найдешь, садика нигдѣ не встрѣтишь, вздохнуть свободно негдѣ. Я покуда лѣзла сюда, въ пятый-то этажъ, на второмъ-то дворѣ, пять разъ отдыхала. А вошла, такъ и ахнула: квартира это, изволишь видѣть. Да у меня дворовые холопы въ старые годы просторнѣе жили.

— Что говорить, что говорить, развѣ я не помню, голубушка моя, Софья Андреевна,—проговорила съ чувствомъ приживалка.—У васъ ли было не житье!

Барыня сдвинула густыя полусѣдыя брови.

— Да, нечего сказать, разорили!—произнесла она, и въ ея голосѣ послышалась ѣдкая нотка.

Приживалка поджала печально губы, не зная, что отвѣчать.

— Кому лучше-то стало,—отрывисто начала Софья Андреевна.—Мужикъ, коли его носомъ въ работу не тыкать, съ голоду пропадетъ. А господа—хорошо хозяйство, если нанимать народъ со стороны приходится, когда у него ни страха, ни рвенія, ничего нѣтъ, а одно норовитъ—сорвать съ тебя, да сбѣжать.

Она сердито смѣшала карты.

— Не вышелъ, благодѣтельница, пасьянсъ? — подобострастно и со вздохомъ соболѣзнованія спросила приживалка.

— Нѣтъ,—проговорила барыня, махнувъ рукою.—Такъ для разсѣянія мыслей перекладываю карты, не то на умѣ.

— Гдѣ же ужъ! Въ разстройствѣ чувствъ!—сочувственно произнесла приживалка.

Въ комнату отворилась дверь изъ второй комнатки, и изъ нея вышла высокая, стройная женщина лѣтъ тридцати семи. Она была худощава, лицо блѣдное, нѣсколько пожелтѣвшее, большіе черные глаза немного ввалились и были обведены темными кругами. Несмотря на это, слѣды былой красоты еще остались на этомъ преждевременно увядшемъ лицѣ. Всматриваясь въ него, легко было найти въ его чертахъ много общаго съ лицомъ старой барыни, хотя выраженіе

его не было такъ сурово и жестко, все было какъ бы смягчено и облагорожено. Это лицо скорѣе выражало безмолвную, гордую скорбь.

— Что Настя?—спросила старуха, не прерывая пасьянса.

— Уснула, — отвѣтила вошедшая женщина. — Горитъ только попрежнему.

Приживалка жалобнымъ тономъ вставила:

— Вы-то сами, голубушка Елена Васильевна, измучились! Похудали какъ! Себя-то вы поберегите!

Молодая женщина ничего не отвѣтила и прошла въ кухню.

— Побережешь тутъ!—проворчала старуха.—Не доспишь, да не доѣшь, такъ здорова не будешь.

И, опять сердясь за все и про все на столицу, она продолжала:

— И городъ здѣсь! Все-то купи и за все-то плати втридорога! Да развѣ мы знали въ Захолустномъ въ былыто времена, что значитъ огурецъ, или тамъ цыпленка, или курицу купить! Огурцы-то поѣсть всѣ не могли, такъ бросали, а куры—да кабы нужно было, такъ я ихъ тамъ столько бы развела, что весь Петербургъ накормила бы. Разводить-то только не для чего было много: самимъ все равно не съѣсть всего, а продавать... да кто же это въ Захолустномъ-то куръ покупалъ? У всѣхъ, слава Создателю, свои тоже были. А молоко... молоко это, изволишь ли видѣть, подмѣшанное здѣсь продаютъ. Да я до сѣдыхъ волосъ дожила, а объ этой пакости и не слыхивала. Ей-Богу! Ну, столица, ужъ нечего сказать, хороша!

Черезъ комнату, какъ не находящая себѣ мѣста, блуждающая тѣнь, прошла опять Елена Васильевна. Приживалка обратилась къ ней съ заискивающимъ вопросомъ:

— Доктора вѣрно все поджидаете?

Молодая женщина слегка вздрогнула, смутилась, но тотчасъ же, овладѣвъ собою, отвѣтила:

— Мужа жду. Онъ съѣздитъ.

— Ахъ, да что же ждать? За докторомъ и Ваничка... простите, простите!.. большой онъ ужъ у васъ... Иванъ Ивановичъ могъ бы съѣздить...

Въ углу комнаты сидѣла еще одна личность—юноша лѣтъ семнадцати съ небольшимъ, безмолвно приготовлявшій уроки за небольшимъ письменнымъ столомъ, озареннымъ свѣчою. Услышавъ, что его назвали по имени, онъ поднялъ голову и вопросительно взглянулъ на окружающихъ, недоумѣвая,

почему и что говорятъ о немъ. Молодая женщина, уходя въ другую комнату, проговорила:

— Нѣтъ, надо подождать мужа.

Старуха махнула рукой приживалкѣ, какъ бы говоря ей: «молчи». Та поджала губы и заморгала глазами, ничего не понимая. Юноша опять погрузился въ занятія.

— За докторомъ послать? — отрывисто, но тихо заговорила старуха.—Не понимаешь развѣ, что прежде денегъ надо добыть.

Приживалка растерянно покачала головой.

— Какъ же такъ, благодѣтельница?

— А такъ вотъ!

Старуха понизила голосъ до едва слышнаго шопота:

— Молчатъ они, а вижу я, что крайность. Слава Богу, за недѣлю, что здѣсь живу, могла сообразить. Молчатъ только. Гордость! И то сказать, кого здѣсь разжалобишь бѣдностью, когда нищій на нищемъ сидитъ, да нищій нищаго погоняетъ. На смѣхъ развѣ поднимутъ. На это здѣсь людей станетъ.

Она раздражительно опять начала смѣшивать карты и заговорила со злобой:

— Зубы-то скалить здѣсь умѣютъ. На это здѣсь всѣхъ станетъ. И найдутъ тоже надъ чѣмъ смѣяться. Вчера, воскресный день былъ, пошла я къ обѣднѣ, такъ и тутъ люди нашли надъ чѣмъ смѣяться. Надъ моей голубой шубой! А? Ей-Богу! Своими ушами слышала, какъ на смѣхъ поднимали. Точно на чучело указывали. Да эту самую шубу я десять лѣтъ въ Захолустномъ носила, сатенъ-тюркъ-то на ней, я думаю, не какой-нибудь, а лубъ-лубомъ. Теперь, видишь ли, здѣсь все черными шубы кроютъ, такъ на мою и глаза пялятъ. Что-жъ мнѣ перекрашивать, да перекрывать ее прикажете, что ли? А тамъ зеленыя на будущій годъ всѣ напьютъ, такъ это я опять ее перекрашивай, да перешивай? Нѣтъ, слуга покорная. Деньги-то у насъ не бѣшеныя, потомъ тоже добывались. Моей-то шубѣ въ Захолустномъ сама городничиха завидовала. «И гдѣ это вамъ Богъ послалъ такой сатенъ-тюркъ-то,—говоритъ бывало,—износу нѣтъ». А тутъ мода: сегодня одно въ модѣ, завтра другое, такъ ты такъ и бросай все, что вчера сдѣлала. А по-нашему, по-захолустному, дѣло-то не въ модѣ, а чтобы вещь добротная была, чтобы прочна она была!

Приживалка, видимо, задѣтая за больное мѣсто, оживилась и горячо пожаловалась:

— Какъ же, какъ же, вотъ и моя племянница, братниного сына жена, вчера надо мной посмѣялась: «гдѣ, говоритъ, тетя, вы выкопали такое платье—яичницу съ лукомъ». А я это, знаете, благодѣтельница, надѣла свое крепрошелевое платье, помните—фонъ оранжевый, а по немъ зеленые разводы неразрывнымъ корешкомъ. «Вамъ бы, говоритъ, приличнѣе всего черное платье себѣ сдѣлать!»

Старуху-барыню, очевидно, мало интересовали печали и горести приживалки, и она, не отвѣчая ей, продолжала снова, понизивъ голосъ:

— А Елену-то мою ты знаешь: гордость раньше насъ родилась. Голова заболи, такъ она и то не сознается, чтобы люди не сказали: «ахъ, какая вы слабенькая». Ну, а ужъ сказать, что денегъ нѣтъ, что нужда заѣла...

Она осмотрѣлась, бросивъ взглядъ на внука, и еще болѣе пониженнымъ голосомъ сказала:

— Двѣ сорочки осталось—одна на ней, другая въ стиркѣ. Право, какъ Богъ святъ!

Приживалка беззвучно всплеснула руками, широко открывъ глаза и ротъ. Старуха указала ей глазами на внука, какъ бы призывая ее къ осторожности.

— Недѣлю я какъ здѣсь, такъ вѣришь ли, не ѣстъ она почти ничего за обѣдомъ. «Мясо, говоритъ, мнѣ надоѣло». Надоѣло! Говорила бы она кому другому, а не мнѣ! Блюдо-то пустое со стола берутъ, а если бы она ѣла, такъ пришлось бы лишнихъ полфунта покупать.

— Ангелъ вы мой,—съ ужасомъ прошептала приживалка:—да вѣдь такъ она себя изморомъ изморитъ, съ голоду умретъ.

Старуха скривила лицо въ гримасу.

— И то какъ покойница смотритъ.

Въ передней слегка позвонили, и на этотъ звонокъ поспѣшно вышла изъ задней комнаты Елена Васильевна, направляясь къ прихожей. Приживалка взглянула на нее почти съ ужасомъ, точно на обреченную на смерть.

Не прошло и двухъ минутъ, какъ въ первую комнату вернулась Елена Васильевна въ сопровожденіи мужа. Исхудалый, сморщенный, преждевременно полысѣвшій, сгорбившійся, онъ безъ пальто и шляпы былъ еще менѣе представителенъ и казался ниже своего средняго роста. Войдя въ комнату мелкими торопливыми шажками и потирая нервно руки отъ холода или по привычкѣ, онъ быстро сталъ здороваться.

— Здравствуйте, матушка! А, Фіона Ивановна, сколько лѣтъ не видались! Здоровы ли? А я думалъ, вы все по-старому въ Захолустномъ...

Старуха кивнула ему головой, а приживалка начала присѣдать и разсыпаться въ любезностяхъ:

— Я думала, что не узнаете! Забыли, думала! Вотъ случайно провѣдала, что благодѣтельница моя, Софья Андреевна, къ намъ въ столицу пріѣхала, и забѣжала хоть глазкомъ взглянуть. А у васъ горе! Малютка больна.

— Да, да, сейчасъ вотъ докторъ будетъ!—продолжая потирать руки, проговорилъ скороговоркой хозяинъ и обратился къ сыну:

— Здравствуй, Ванюша!

Сынъ, высокій, стройный, какъ жердочка, звонко поцѣловалъ отца въ губы, и его блѣдное, малокровное лицо озарилось мягкой улыбкой.

— Усталъ ты?—шепнулъ онъ заботливо.

— Ну, ничего, ничего, что дѣлать!—проговорилъ такъ же тихо отецъ, бодрясь и силясь улыбнуться.—Безъ труда нѣтъ и плода!

— Денегъ добылъ?

— Еще бы! еще бы!

И вдругъ всѣ трое—мать, отецъ и сынъ—точно по уговору, направились въ другую комнату, торопясь скрыться отъ старухи-бабки и отъ ея посѣтительницы.

Старуха-барыня обернулась къ Фіонѣ Ивановнѣ съ саркастической усмѣшкой:

— Видѣла?

Приживалка кивала головой, хотя не знала, о чемъ ее спрашиваютъ.

— Теперь цѣлый часъ шептаться будутъ!

Приживалка заморгала глазами съ видомъ недоумѣнія.

— О чемъ же, благодѣтельница? Секреты у нихъ какіе? Я развѣ мѣшаю.

Старуха сердито махнула рукою.

— Не ты! Имъ всѣ мѣшаютъ, и чужіе, и свои! Все по угламъ шушукаются. И не поймешь, о чемъ, съ чего. Вотъ я недѣлю здѣсь, а знаешь ли,—слова я одного откровеннаго ни отъ одного изъ нихъ не слыхала. Точно языки проглотили. Ну, Елена, положимъ, горда и боится пожаловаться, потому знаетъ, что скажу ей: «противъ моей воли шла за учителишку, на себя и пеняй». Даже, пожалуй, и онъ, Иванъ-то Николаевичъ нашъ блаженный, изъ трусости

потираетъ руки, да бормочетъ одно: «ничего, живемъ не богато, но зато покойно и мирно». Мокрая курица онъ. Трусъ. А Ваня-то, Ваня-то, вѣдь еще мальчишка, ребенокъ, молоко материнское на губахъ не обсохло, а какъ-то стала я, чтобы правду выпытать, говорить, что тяжела ихъ жизнь, такъ весь вспыхнулъ и выпалилъ: «Дай Богъ каждому жить такъ, какъ наша семья живетъ!» Точно пороху подъ него подложили. А потомъ—я ему и о бѣдности, я ему и о смерти отъ недостатковъ двухъ его родныхъ сестеръ, я ему и объ удовольствіяхъ,—молчитъ, точно воды въ ротъ набралъ. Вышла я изъ себя и говорю ему: «что ты языкъ проглотилъ, что ли?» А онъ: «что-жъ мнѣ говорить? Воровать, такъ можно, какъ сыръ въ маслѣ, кататься. А папа и мама не воры». И всталъ, сложилъ книги и вышелъ. Это внукъ-то бабкѣ? А? хорошо обращеніе?.. Всталъ, сложилъ книги и вышелъ. Видѣла я только, что на глазахъ слезы заблестѣли—отъ злобы, должно-быть.

Фіона Ивановна качала головой:

— Ну, семейка! вотъ такъ семейка!

Старуха вдругъ загорячилась, заговоривъ запальчивымъ тономъ:

— Не воры они! Грабить никого не станутъ! Скажите, пожалуйста! А двухъ родныхъ дочерей убили недостатками, лишеніями, плохимъ лѣченіемъ! Теперь вотъ третью на вакансію въ могилу готовятъ! Честные люди! Не воры! Не грабители! Дѣтоубійцы они—вотъ они что!

Въ рукахъ старухи дрожали карты отъ охватившаго ее гнѣва.

— И пусть бы ужъ судьба такая, такъ нѣтъ! Въ провинціи потерялъ мѣсто изъ-за своей фанаберіи. Богъ знаетъ, съ кѣмъ знакомился. Тѣ попались и его повлекли къ допросу. Да этого мало. Не то преподавалъ, что требовалось, не такъ училъ, какъ начальствомъ приказано. Онъ, должно-быть, лучше начальства знаетъ, чему и какъ учить надо. Умникъ какой выискался. Его наняли воду возить, а онъ, изволишь видѣть, законы свои предписывать желаетъ. Ну, и турнули. Ну, и выгнали. Съ такими-то церемониться не станутъ. Много ихъ гранитъ мостовую. Будь корыто—свиньи придутъ. А здѣсь? У Александра Константиновича заводъ...

Она обернулась лицомъ къ Фіонѣ Ивановнѣ и спросила:

— Ты вѣдь Сашу помнишь? Мой выкормокъ.

— Какъ же, какъ же, отважный молодой человѣкъ были!—воскликнула приживалка.

— Племянникомъ незаконнымъ мнѣ доводился, а какъ сына растила, на моихъ хлѣбахъ откормился,—не безъ гордости сказала Софья Андреевна.—Теперь богачъ, сотнями тысячъ ворочаетъ... Ну, предложилъ онъ нашему-то честному-то человѣку управляющимъ или чѣмъ-то такимъ у него быть. Вѣдь нашъ-то по счетной части тоже маракуетъ, два факультета прошелъ: филологическій и математическій. Умѣй, должно-быть, хотѣлъ быть, да кому Богъ ума не дастъ, такъ хоть на всѣхъ факультетахъ учись—ничего не прибудетъ. Ну, такъ вотъ, предложилъ ему Саша мѣсто. Такъ, куда тебѣ, на дыбы! Эксплуататоръ, видишь, Александръ.

— А вы, благодѣтельница, сказали, что заводъ у нихъ,— замѣтила Фіона Ивановна въ недоумѣніи.

— Ну да, заводъ. Вотъ потому и эксплуататоръ, народъ, видишь, грабитъ. Да ему-то, нашему-то безсеребряннику, что до чужой души за дѣло? Ему жалованье хорошее предлагаютъ, ну, и служи, а ужъ Господь Богъ послѣ на страшномъ судѣ взыщетъ, съ кого слѣдуетъ взыскать.

Она порывисто положила на столъ карты.

— Вчера я только и допытывалась объ этомъ дѣлѣ. Сперва согрѣшила, думала, что Александръ мою хлѣбъ-соль забылъ, что не захотѣлъ помочь моей дочери. Прохвостовъ-то неблагодарныхъ тоже много на свѣтѣ. Такъ нѣтъ! Вчера проговорились, что онъ къ нимъ всей душой, а они-то только: вотъ Богъ, а вотъ порогъ. Что-жъ, насильно милъ не будешь...

Фіона Ивановна осмѣлилась спросить:

— А вы-то, благодѣтельница, были у Александра Константиновича? Живетъ-то, я думаю, какъ!

— Завтра только изъ-за границы вернется. Былъ бы здѣсь, не томилась бы я на этомъ чердакѣ, не смотрѣла бы, какъ родную мою внучку родители на смерть готовятъ. И еще какую дѣвочку—кроткую, ласковую, изо всей семьи выродка...

Она какъ-то особенно рѣшительно, словно угрожая кому-то, замахала рукой въ воздухѣ.

— Ну, да ужъ погоди, пріѣдетъ онъ, поверну я все по-своему! Слава Богу, мужиковъ обламывала, а съ этими-то справлюсь, будетъ по-моему. Теперь я молчу, сперва нужно съ Александромъ повидаться, а ужъ повидаюсь—ну, милыя дѣтки, ужъ извините, молчать я не стану. Нѣ-ѣтъ!

— Съ чего же вамъ молчать-то? Развѣ вы не мать!— воскликнула приживалка.

Раздался звонокъ, Иванъ Николаевичъ поспѣшно прошелъ чрезъ гостиную въ переднюю. Онъ чувствовалъ, что это былъ визитъ доктора.

Фіона Ивановна поднялась съ мѣста.

— Я ужъ пойду, благодѣтельница!—заговорила она со вздохомъ, надѣвая шляпку.

— Ну, съ Богомъ!—сказала старуха, подымаясь съ дивана.—Прости, что не оставляю чай пить. Сама въ гостяхъ. Дадутъ—ладно, не дадутъ—на нѣтъ и суда нѣтъ!

— Что вы, благодѣтельница!—воскликнула приживалка.—Смѣю ли я...

— Вотъ поселюсь у Саши, тогда другое дѣло, приходи, пей и ѣшь. Слава Богу, у него хватитъ на всѣхъ, куска не станетъ считать, даромъ что эксплуататоръ.

Фіона Ивановна уже цѣловала ее въ плечо и присѣдала, смѣясь подобострастнымъ беззвучнымъ смѣхомъ, какъ бы говоря ей: «ужъ знаю я, знаю, что вы меня не оставите, было бы у самихъ».

II.

— Надо ожидать скарлатины,—рѣшилъ докторъ и, толкуя о возможныхъ осложненіяхъ, о дифтеритѣ, сдѣлалъ первыя предписанія относительно больного ребенка.

Иванъ Николаевичъ сконфуженно и тайкомъ, какъ даютъ взятку, сунулъ въ руку доктора деньги за визитъ и торопливыми шажками пошелъ его провожать, что-то вполнѣ безсознательно разспрашивая объ уходѣ за больной и въ сущности не слыша и не понимая ничего изъ его отвѣтовъ. Въ мозгу была одна мысль: «умереть можетъ Настя! Двѣ дѣвочки уже умерли, а теперь эта»... Въ головѣ точно свинецъ былъ налитъ.

Когда онъ вернулся въ комнату, раздѣленную на-двое драпировкою и служившую спальнею для него, для его жены и для дочери, онъ услыхалъ тревожный вопросъ Вани, обращенный къ матери:

— Это вѣдь, мама, очень опасная болѣзнь?

— При хорошемъ уходѣ все пройдетъ,—отвѣтила мать, видя его волненіе и стараясь не терять присутствія духа.—Ты же еще ребенкомъ перенесъ уже скарлатину...

— Да, да, это пустяки!—въ свою очередь поторопился успокоить сына и жену Иванъ Николаевичъ.—Главное, уходъ. Докторъ говоритъ, что ничего, лишь бы былъ уходъ.

— А это прилипчивая болѣзнь?—спросилъ сынъ.

Мать постаралась улыбнуться, подумавъ, что сынъ боится за себя и за нихъ, и сказала, что скарлатина не опасна для тѣхъ, у кого она была... И вдругъ почти съ испугомъ взглянула на мужа. Онъ сразу угадалъ ея мысли: не опасна для тѣхъ, у кого была, а къ тѣмъ, у кого ея не было, она можетъ пристать... Они такъ сжились между собою, что понимали другъ друга безъ словъ, по одному взгляду, по одному движенію. Онъ растерянно глянулъ куда-то въ сторону, точно чего-то ища, точно боясь заговорить о томъ, что уже смущало и его жену, и его самого.

Сынъ, взобравшійся на столъ и приподнимавшій драпировку, чтобы она не мѣшала циркуляціи воздуха, невольно заставилъ ихъ заговорить объ этомъ.

— А я не могу занести болѣзни въ училище?—спросилъ онъ серьезнымъ тономъ, тревожно взглянувъ сверху на мать.

— Да, да, надо бы отдѣлить тебя... на время куда-нибудь помѣстить,—поспѣшно заговорилъ отецъ и внезапно обратился къ женѣ:—Какъ же съ моими уроками? Занесешь еще болѣзнь въ чужіе дома? Все съ дѣтворой имѣешь дѣло... Долго ли до грѣха... Да если и не занесешь... Не честно обманывать...

Онъ тревожно заходилъ по комнатѣ, потирая свой лобъ. Частные уроки—это былъ его главный кусокъ хлѣба въ послѣднее время. Отказаться отъ нихъ на шесть недѣль—значило отказаться отъ нихъ чуть не навсегда. Учителей много. Замѣстятъ его какъ разъ, особенно теперь, весною, въ пору экзаменовъ, когда нужно репетировать съ отстающими въ классахъ учениками. Не говорить родителямъ учениковъ, что у него дома скарлатина, надѣяться на счастливую случайность, что онъ не занесетъ никуда заразы,—это было не въ его правилахъ. Щепетильный, мнительный, до мелочности честный, никогда онъ еще не ходилъ окольными путями, не лгалъ, не кривилъ душой. Онъ никогда не былъ какимъ-нибудь выдающимся героемъ, какимъ-нибудь исключительнымъ подвижникомъ, но лжецомъ и безчестнымъ онъ не былъ и не могъ быть никогда.

— Устинова попроси пріютить на-время тебя и Ваню,—посовѣтовала Елена Васильевна.

— А ты?—почти съ испугомъ проговорилъ мужъ.—Одна останешься съ Матреной?

— Справлюсь! за меня не бойся!—бодро отвѣтила Елена Васильевна.

Мужъ нѣжно поцѣловалъ ея руку.

Сынишка, однако, опечалился. Страхъ за мать, непривычная разлука съ роднымъ угломъ, сознаніе, что въ семьѣ происходитъ нѣчто тяжелое, все это подавляло его теперь. Въ головѣ проносились смутныя мысли. «Все потому такъ складывается, что бѣдность. Иной десятки людей ограбитъ и горя ему мало, живетъ припѣваючи, благо деньги есть»... «Деньги-то есть, да совѣсти чистой нѣтъ»,—тутъ же мелькнула въ его головѣ одна изъ фразъ отца. «Лучше ужъ хлѣбъ съ водой ѣсть, чѣмъ пресмыкаться передъ людьми ради денегъ»,—вынырнули въ его памяти и слова матери. Юноша встрепенулся. Ему стало стыдно за минутное малодушіе. Онъ ободрился при мысли о томъ, какіе у него отецъ и мать. «Все перенесутъ, а душой не покривятъ и не поклонятся». Онъ обожалъ ихъ, онъ гордился ими. Вотъ и теперь — имъ тяжело будетъ, а они все перенесутъ: отецъ могъ бы обмануть тѣхъ, у кого даетъ уроки, могъ бы не говорить, что у нихъ скарлатина, и жить дома, а онъ не обманетъ. Нѣкоторое время будетъ ради этого терпѣть разныя неудобства, а все же никого не обманетъ. И мать тоже не попроситъ отца остаться дома, чтобъ облегчить ей уходъ за больнымъ ребенкомъ; нѣтъ, она такая же, какъ и отецъ, честная, и притомъ еще гордая. Эти мысли ободрили его, какъ ободряли и прежде, въ минуты невзгодъ. Отецъ и мать, страстно любившіе мальчугана, сумѣли рано развить въ немъ сознаніе, что всякія невзгоды въ сущности ничто, если у человѣка спокойна совѣсть, если онъ можетъ прямо глядѣть въ глаза людямъ. Онъ твердо вѣрилъ, что и онъ будетъ всегда поступать такъ, какъ поступали его отецъ и мать. Силъ у него хватитъ. Правда, онъ покуда не испытывалъ такихъ лишеній, которыя заставляли бы его страдать физически; но онъ уже испыталъ мелкіе недостатки, и эти недостатки переносились имъ легко — онъ видѣлъ, что отецъ и мать не падаютъ духомъ, и самъ не падалъ духомъ. Главное, что поддерживало,—это любовь, безграничная, сплотившая ихъ всѣхъ въ одно существо...

Мать Елены Васильевны просто пришла въ ужасъ, когда ей сообщили, что въ домѣ скарлатина, можетъ-быть, дифтеритъ, что хозяинъ дома и его сынъ переберутся къ пріятелю на время болѣзни дѣвочки, чтобы не занести болѣзни въ тѣ дома, гдѣ давались уроки, и въ школу, посѣщаемую юношею. Она не понимала этой щепетильности и еще менѣе понимала, какъ можетъ любящій мужъ оставить жену одну возиться съ больнымъ ребенкомъ. Вообще она не понимала

ничего, что дѣлалось въ домѣ дочери, кромѣ одного того, что семья ея зятя — семья «нищихъ» и притомъ нищихъ потому, что они «упрямы, какъ ослы»: надо толкаться къ людямъ, надо выкланяться, чтобы достать лучшее мѣсто, надо пороги обивать, а они сидятъ, какъ кочни, на одномъ мѣстѣ.

— Тоже эта болѣзнь вскочитъ въ копейку, а деньги-то есть у тебя? — спросила она у дочери, оставшись съ нею съ глазу на глазъ.

Елена Васильевна въ эту минуту задумалась именно о томъ, какъ выбиться въ это время изъ тяжелаго положенія, что заложить, что продать. Она очнулась при вопросѣ матери и коротко отвѣтила:

— Справимся какъ-нибудь.

Мать зорко посмотрѣла на нее почти злыми глазами и отрывисто заговорила:

— Ужъ по-моему, коли не умѣетъ человѣкъ своихъ дѣлъ обдѣлывать, такъ и жениться бы не слѣдовало. Дѣтей-то на смерть обрекать не особенная доблесть!

Елена Васильевна подняла на нее холодные и строгіе глаза. Въ нихъ не было даже упрека, а только холодность и строгость.

— Я думаю, никто и не обрекаетъ на смерть дѣтей. Что можно, то будетъ сдѣлано...

Мать нетерпѣливо перебила ее:

— Двоихъ-то ужъ схоронили!

— Отъ дифтерита и при богатствѣ не всегда можно спасти, — отвѣтила дочь и прибавила нѣсколько рѣзко: — И вамъ ли это говорить: вы-то, вѣдь, жили въ довольствѣ, однако, изъ девяти человѣкъ дѣтей, только я да братъ и остались въ живыхъ!..

— Это, матушка, Божья воля, а у васъ Богъ-то ни при чемъ, а по своей волѣ все дѣлается,—загорячилась мать:— и рады бы полѣчить ребенка, какъ слѣдуетъ, такъ денегъ не умѣли нажить. Я-то все дѣлала, чтобы мои дѣти живы были, изъ города докторовъ выписывала, чудотворную икону поднимала, когда покойная Маня въ падучей была, а вамъ и дѣлать-то не изъ чего...

Дочь пожала плечами.

— Мы у васъ и не просимъ.

— Не просите!.. Меня и просить нечего, если бы у меня деньги-то были. Повернула бы я все здѣсь по-своему, если бы прежнія времена. А теперь... извѣстно, какъ крестьянъ обобрали, такъ и пришлось дворянамъ по міру идти...

— Ну, это вы напрасно!—сухо возразила дочь.—Братъ васъ разорилъ, а не освобожденіе крестьянъ...

Мать опять загорячилась:

— Ну да, ну да, ты рада на брата свалить! Онъ во всемъ виноватъ! А что же ему по-нищенски жить было, что ли? Онъ у меня былъ не такъ воспитанъ. Слава Богу, столбовой дворянинъ. Если его обдули разные шаромыжники, такъ онъ-то чѣмъ виноватъ? Онъ росъ-то въ дворянской семьѣ, никакими аферами не занимался, понятія не имѣлъ о томъ, какъ разные проходимцы благороднаго человѣка надуть могутъ...

Она стала распространяться о своемъ любимцѣ — сынѣ. Несмотря на то, что онъ и самъ разорился, и ее разорилъ, она продолжала горячо любить его. Краснобай, красавецъ, лихой кавалеристъ, распущенная широкая натура, онъ всегда умѣлъ во-время заговорить мать, кстати поцѣловать у нея ручку, удачно свернуть разговоръ на шутовство, и она продолжала гордиться имъ даже тогда, когда ей изъ-за него пришлось почти безъ гроша уѣхать изъ своего роднаго Захолустнаго. Вспомнивъ о сынѣ, о разореніи, о бѣдности дочери, она внезапно перешла къ мысли о своей единственной надеждѣ—о племянникѣ Александрѣ.

— Вотъ теперь тоже завтра къ Сашѣ поѣду, — начала она:—онъ бы могъ васъ выручить.

— Мы ничьей помощи не просимъ, — быстро сказала Елена Васильевна.—Пожалуйста...

— Ахъ, мать моя, не безпокойся, не безпокойся! — сердито перебила ее мать.—Ни я ему не скажу теперь ничего, ни онъ самъ не поѣхалъ бы къ вамъ теперь. Въ домѣ зараза, а я пріѣду къ семейному человѣку и стану разсказывать: «я отъ скарлатинныхъ! съѣзди къ нимъ! помоги имъ!» Да что я, съ ума сошла, что ли? Я и не упомяну, что я у васъ была. Мнѣ, мать моя, и самой уголъ нуженъ...

Елена Васильевна встревожилась, сообразивъ, что ея мать можетъ занести въ чужую семью болѣзнь.

— Вы бы подождали, пока пройдетъ у насъ все,—заговорила она:—а то и точно...

— Ну, что ты толкуешь!—сердито перебила мать.—Никакихъ болѣзней я не занесу. Мнительность это одна пустая. И къ кому тамъ пристанетъ: и пасынокъ, и падчерица у Саши, слава Богу, уже не дѣти. А у тебя тутъ оставаться... Да и въ эти-то дни у меня сердце здѣсь изныло. Ты думаешь, мнѣ сладко на вашу жизнь смотрѣть? И не привыкла

я къ мелочничеству-то вашему. У меня, слава Богу, была чаша полная. А у васъ — сердце у меня надрывается. Я мать. Я вижу, какъ вы живете, все вижу.

Елена Васильевна смотрѣла сухо и пожала плечами.

— Я не знаю, что вы видите. Мы живемъ небогато, но мы счастливы...

— Счастливы! Рубашки на тѣлѣ порядочной нѣтъ. Одна на плечахъ, другую стираютъ...

Лицо Елены Васильевны стало еще блѣднѣе. Въ глазахъ сверкнуло выраженіе гнѣва. Она едва воздержалась отъ брезгливаго восклицанія: «вы и это подсмотрѣли». Ей внезапно вспомнились сцены давно былого, когда ея мать потихоньку перешаривала сундуки и шкапы у дворовыхъ дѣвокъ. Эти обыски, это шпіонство всегда возмущали Елену Васильевну, тогда еще молоденькую дѣвушку. Она поняла, что и теперь мать въ ея отсутствіе перерыла всѣ ящики ея комода, пересмотрѣла каждую тряпочку. Ей стало тяжело и гадко. Мать начала-было говорить о томъ, что она знаетъ дочь: изъ гордости ни слова та не скажетъ; вышла замужъ противъ воли матери за голяка-учителишку; теперь хочетъ доказать, что не ошиблась въ расчетѣ; только бѣдности-то не скроешь и никого не увѣришь, что она сладка; нѣтъ, бѣдность не сладка; не порокъ она, а хуже всякаго порока...

Эти разсужденія были произнесены уже въ пустой комнатѣ. Елена Васильевна поднялась съ мѣста при самомъ ихъ началѣ и ушла въ комнату своей дочери. Ей теперь хотѣлось одного: чтобы скорѣй минули этотъ вечеръ и эта ночь, чтобы мать утромъ уѣхала изъ ихъ квартиры. Если когда-нибудь простое дочернее чувство связывало ее съ матерью, то теперь не существовало и этой слабой связи: мать и дочь были совершенно чужія по взглядамъ, по характерамъ, по привычкамъ. Казалось, онѣ даже говорили на разныхъ языкахъ, — одна на грубо вульгарномъ языкѣ старой помѣщицы, говорящей съ дворовыми дѣвками, вѣчно путающейся въ многословіи праздной сплетницы, — другая была скупа на слова, какъ человѣкъ сдержанный, болѣе передумывающій, чѣмъ выбалтывающій, и не находящій въ своемъ запасѣ необходимыхъ словъ, когда дѣло идетъ о дрязгахъ, пересудахъ и сплетняхъ...

Девятнадцать лѣтъ прожила Елена Васильевна съ мужемъ и ни разу въ ея головѣ не прошла мысль, что она несчастна. Бывали тяжелые дни нужды, и въ первые годы

послѣ свадьбы, и потомъ, когда Иванъ Николаевичъ, впутанный въ исторію по поводу знакомства съ опасными людьми, былъ призываемъ къ допросамъ и неожиданно лишился въ провинціи казеннаго учительскаго мѣста; бывали дни глубокой печали, когда у нихъ умерли въ Петербургѣ отъ дифтерита двѣ дѣвочки. Но именно въ эти-то дни она, мужъ и остальныя дѣти какъ-то еще ближе сплачивались вмѣстѣ и чувствовали себя среди лишеній и горя почти счастливѣе прежняго, — счастливѣе отъ глубокаго сознанія взаимной любви. Передъ нею живо возставали картины этихъ «трудныхъ дней»: вотъ Иванъ Николаевичъ быстро ходитъ изъ угла въ уголъ по комнатѣ и нервно потираетъ руки, торопливо разсуждая:

— Ну, что-жъ, съ кѣмъ не бываетъ бѣды! Всѣ подъ Богомъ ходимъ! Да это пустяки! Совѣсть чиста — больше ничего и не нужно. Были бы силы, выбьемся! Свѣтъ-то клиномъ, что ли, сошелся? Мы еще себя покажемъ...

И, подшучивая надъ недостатками, онъ прибавлялъ съ ободряющей усмѣшкой:

— А поговѣть придется! безъ этого, пожалуй, дѣло не обойдется.

И, обращаясь къ женѣ, вспоминалъ:

— Помнишь, Леля, какъ мы разъ въ первые годы послѣ свадьбы цѣлую недѣлю и ужинали, и обѣдали чаемъ да кофе съ вѣсовымъ хлѣбомъ? Ничего, пережили, никому не поклонились, да еще и не зналъ никто, что нуждались.

Онъ разсказывалъ сынишкѣ, — тогда тому было двѣнадцать лѣтъ:

— Мама, чтобы сосѣди не знали ничего, на столъ тарелки во время обѣда ставила, посудой гремѣла. Въ провинціи жили. Сосѣди близко. Любопытство у всѣхъ. Все узнать нужно. Ну, только такъ и не узнали ничего...

Сынишка смѣялся, точно говорилось о чемъ-то веселомъ, точно предстояло теперь не то же говѣнье, а праздники. Мальчугана даже забавляло и то, что они опять дня три не обѣдали, а ѣли то, что было по карману. Это были дни изъ ряду вонъ, а для дѣтей это всегда кажется чѣмъ-то въ родѣ праздника. Правда, мальчуганъ и его сестра не голодали и не могли подмѣтить, что сыты вполнѣ были только они, а не мать и отецъ. Тѣ точно постились, но ни разу не охнули, не вздохнули, вѣря, что мрачные дни смѣнятся ясными, и твердо помня, что многимъ еще хуже жить...

И вдругъ, теперь мать называетъ ее, Елену Васильевну,

несчастной! Да это бы еще ничего. Но зачѣмъ она сказала, что они уморили двоихъ дѣтей? Вѣдь это ложь. И какъ это безсердечно, жестоко! Тогда, когда дѣти захворали, было сдѣлано все, приняты всѣ мѣры, лучшій докторъ былъ призванъ. Будь у нихъ тысячи, они не могли бы сдѣлать большаго. И какъ могла она, родная мать, бросить въ лицо дочери подобное оскорбленіе? Сердца у нея нѣтъ! Одного этого достаточно, чтобы отшатнуться отъ нея навсегда...

Елена Васильевна сидѣла у постели своей дочери, опустивъ на колѣни руки, слѣдя за выраженіемъ личика дѣвочки. Ей уже не хотѣлось болѣе думать о матери, объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ матерью въ этотъ день. Ребенокъ поглотилъ все вниманіе Елены Васильевны. Онъ дышалъ тяжело, точно ему недоставало воздуха. Елена Васильевна машинально взглянула на драпировку, совершенно раздвинутую Ванею по приказанію доктора. Докторъ сказалъ, что въ комнатѣ мало воздуха, что драпировку лучше даже совсѣмъ снять. Завтра ее и снимутъ. Тогда, когда захворали ея дѣвочки дифтеритомъ, докторъ тоже говорилъ, что у нихъ мало воздуха. Ей вдругъ вспомнился вопросъ доктора, гдѣ ея дѣвочка могла захватить скарлатину. Не дожидаясь отвѣта, докторъ добавилъ, что здѣсь, гдѣ живетъ семья, очень уже скученно населеніе, дома переполнены жильцами, и потому легко заразиться...

Молодая женщина была точно подавлена этой мыслью. Прежде эта мысль ей не приходила въ голову; послѣ разговора съ матерью, эта мысль ее терзала. Да, они сдѣлали все, что могли, для дѣтей, но все же, будь у нихъ средства, дѣти, можетъ-быть, и не заразились бы и были бы живы...

III.

Ночь приближалась къ концу. Больная дѣвочка что-то хрипло простонала въ полуснѣ. Этого стона было довольно, чтобы пробудить отъ тревожной дремоты Елену Васильевну, сидѣвшую на креслѣ неподалеку отъ больного ребенка. Она поднялась съ мѣста, торопливо подошла къ дочери, посмотрѣла на нее, прислушиваясь къ ея дыханію. Дѣвочка спала, тяжело дыша. Елена Васильевна поправила лампу подъ темнымъ абажуромъ, взглянула мелькомъ на часы и опять сѣла на свое мѣсто. Утро еще не наступило, но сонъ уже разсѣялся.

Уже нѣсколько ночей проводитъ такъ мать у постели больного ребенка; уже нѣсколько ночей она вся поглощена однимъ вопросомъ о жизни и смерти родной малютки. Она

измѣнилась за эти дни болѣе, чѣмъ можно измѣниться за годъ, за два. Перемѣна была не только въ чертахъ лица, въ его выраженіи, но даже въ манерѣ одѣваться. Всегда тщательно принаряженная, заботливо старающаяся скрыть отъ постороннихъ глазъ бѣдность опрятностью и тщательностью туалета, теперь Елена Васильевна точно забыла о немъ. Наскоро надѣтое платье, измятый воротничокъ и такіе же нарукавнички, торопливо, не передъ зеркаломъ причесанные волосы, высохшіе безъ помады, все это дѣлало ее неузнаваемой. Впрочемъ, неузнаваемой стала не одна она,—измѣнилась и обстановка ихъ квартиры. Въ гостиную были вынесены кровати жены и мужа, такъ какъ докторъ требовалъ, чтобы въ спальнѣ дѣвочки было какъ можно меньше лишняго хлама; драпировка въ спальнѣ была снята, и остался только карнизъ отъ нея, перекинутый черезъ комнату, какъ какая-то странная перекладина, поддерживаемая двумя столбами, гдѣ былъ проходъ за драпировку, напоминавшими теперь нѣчто въ родѣ столбовъ висѣлицы. На столикѣ, недалеко отъ постели больной, была цѣлая масса склянокъ и банокъ изъ-подъ лѣкарствъ, лежали какія-то бѣлыя тряпочки, ложки. Ящики комода у стѣны были задвинуты не плотно, какъ бы говорили, что изъ нихъ все бралось второпяхъ, на ходу. Изъ одного изъ нихъ торчалъ уголъ чего-то бѣлаго, простыни или скатерти. Этотъ бѣлый клокъ, ярко вырисовывавшійся на темномъ фонѣ комода, остановилъ вниманіе Елены Васильевны. Она машинально встала, засунула его въ ящикъ и заперла остальные ящики плотнѣе.

— Безпорядокъ какой! — вздохнула она, садясь снова на кресло.

Она такъ же машинально обвела комнату глазами: все было неприглядно, неказисто, бѣдно.

— Бѣдныя дѣти!—опять вздохнула она.

Въ головѣ проносились мысли о томъ, что ея дѣти будутъ расти среди этой неприглядной обстановки, среди мелкихъ лишеній, хирѣя въ лучшіе годы юности. Сѣренькое начало долгой сѣренькой жизни! Въ душѣ поднимались упреки себѣ за недостатокъ энергіи. Но такъ ли? Развѣ она и мужъ не работали?

Передъ нею прошла вся прошлая жизнь.

Раннее дѣтство въ деревнѣ; отецъ—забитый и попивающій отъ праздности человѣкъ; мать—барыня-помѣщица, съ властной фигурой, съ сварливымъ характеромъ, съ стре-

мленіемъ всѣхъ держать въ рукахъ и съ умѣньемъ вносить только сумбуръ въ хозяйство, въ отношенія къ людямъ, въ семейную жизнь. Тѣмъ не менѣе жилось дѣтямъ сытно, свободно, даже своевольно. Мать прикрикивала на нихъ и тотчасъ же забывала, что она кричала именно на нихъ, перенося свой гнѣвъ на дворовыхъ, на старосту, на приказчика, на приживалокъ. Ей было все равно, кто попадался подъ руку, лишь бы найти предлогъ къ дрязгамъ. Дѣти знали это и не видѣли необходимости обуздывать себя. Про нихъ всѣ говорили, что они «ходятъ на головахъ». Но эта воля была не долга: когда наставало время ученья, дѣтей забрасывали въ чужіе города на казенные хлѣба, въ корпуса и институты, лишь бы сбыть съ рукъ. Та же участь постигла и Елену Васильевну, и чуть не съ первой минуты послѣ поступленія въ институтъ ее, маленькую Лелю, прозвали здѣсь «Степкой-растрепкой», «неряшкой», «деревенщиной», «дикаркой». Это оскорбило дѣвочку и, самолюбивая отъ природы, она стала слѣдить за собой, стала исправляться, ушла въ себя, отстранилась отъ подругъ. Новая жизнь, размѣренная по часамъ, идущая по заранѣе начерченному плану, была полной противоположностью прежней распущенной жизни. Она не особенно понравилась маленькой дикаркѣ, но въ то же время она озарила новымъ свѣтомъ и старую жизнь. Отецъ вѣчно въ грязномъ халатѣ и въ нижнемъ бѣльѣ, мать въ распущенной блузѣ, съ нечесанными волосами, дѣти, бѣгающія чуть не босикомъ, имѣя много одежды, неумытая, вахластая дворня, живущая тѣсно, въ грязи, перебранки всѣхъ вмѣстѣ и каждаго порознь, — все это, вспоминаясь дѣвочкѣ, стало вызывать ощущенія брезгливости. Въ институтѣ было тяжело, скучно, несвободно, но именно вслѣдствіе этого явилось какое-то почти враждебное чувство къ матери: забросила свою дочь и почти не пишетъ, не думаетъ о ней, а еще говорила, что она любитъ дѣтей.

Когда прошли годы ученья, она вернулась домой, какъ чужая, только черты лица напоминали, что она дочь своей матери, да было что-то властное въ выраженіи физіономіи, тоже общее съ матерью, хотя у дочери это было выраженіемъ самолюбивой, ушедшей въ себя, натуры, а у матери выраженіемъ сознающаго свою власть самодурства. Въ домѣ молодая дѣвушка уже не застала въ живыхъ отца, но увидала зато новыя для нея лица: давно забытаго старшаго брата—офицера-кутилу, сорви-голову, крас-

нобая, оскорбившаго сразу сестру подшучиваніемъ надъ институтками, надъ сентиментальными барышнями, надъ кисейными дѣвицами, — и юношу, котораго ей рекомендовали какъ-то неопредѣленно и родственникомъ, и чужимъ, и двоюроднымъ братомъ, и пріемышемъ. Это, какъ она узнала потомъ, былъ «грѣхъ» одного изъ братьевъ ея матери, Константина Вощинина-Сокальскаго. Вслухъ считали неудобнымъ говорить объ этомъ молодой дѣвушкѣ; шопотомъ въ углахъ, по секрету, ей разсказали всѣ мельчайшія подробности исторіи этого «грѣха». Отъ насмѣшника-брата, которому вторила мать въ его грубыхъ шуткахъ надъ институткой, молодая дѣвушка сторонилась; съ юношей она сошлась, жалѣя его и интересуясь его страннымъ характеромъ. Онъ былъ красавецъ въ полномъ смыслѣ этого слова: бѣлокурый, съ темно-карими глазами, съ свѣжимъ цвѣтомъ лица, прекрасно сложенный. На видъ это былъ силачъ и смѣльчакъ, широкая натура и веселъчакъ; но чѣмъ болѣе узнавалъ его кто-нибудь, тѣмъ яснѣе сказывался въ немъ трусъ: достаточно было хозяйкѣ дома или ея сыну прикрикнуть на него, даже взглянуть суровымъ взглядомъ, чтобы онъ измѣнился въ лицѣ, поблѣднѣлъ, принялъ выраженіе оторопѣлости. Въ такія минуты испуга его каріе глаза бѣгали, какъ мыши въ мышеловкѣ, стараясь ускользнуть отъ взгляда людей, и онъ спѣшилъ суетливо сказать или сдѣлать что-нибудь такое, что преложило бы гнѣвъ на милость. Въ такія минуты иногда онъ бывалъ крайне жалокъ, иногда возбуждалъ отвращеніе.

Разъ какъ-то молодая дѣвушка замѣтила ему:

— Какъ это ты, Саша, позволяешь брату такъ кричать на тебя?

Онъ въ недоумѣніи взглянулъ на нее, точно не понимая ея словъ.

— Да они-съ, Елена Васильевна, старшій въ домѣ,—наконецъ, отвѣтилъ онъ.—Что захотятъ, то и сдѣлаютъ.

— Что же онъ можетъ сдѣлать?

— А выгонятъ? Я ужъ наголодался безъ крова-то.

Онъ вздохнулъ.

— Другу и недругу не дай, Господи, на улицѣ безъ куска хлѣба остаться. Вы этого, конечно, и понять не можете, Елена Васильевна, а кто испыталъ, въ ногахъ у людей валяться будетъ, руки имъ лизать станетъ, только бы спастись. Люди веселые, разодѣтые, въ экипажахъ катаются, а ты — ночь у забора провелъ, маковой росинки

во рту не было, зубъ на зубъ не попадаетъ, одежонка — лохмотья, глядишь и глотаешь слезы, и никому до тебя дѣла нѣтъ, никто на тебя и не взглянетъ. До голяка никому дѣла нѣтъ. Я больше полугода такъ-то провелъ. Вѣкъ этого времени не забуду. Иные въ такомъ-то положеніи на грабежъ, да на убійство шли.

Онъ опять вздохнулъ.

— И, конечно, если человѣкъ неопытенъ, такъ пойдетъ на все, не знаетъ, что за воровство и убійство такихъ мукъ натерпится, что еще хуже голода. Разъ вотъ при мнѣ овощенникъ поймалъ мальчишку въ воровствѣ, и укралъ-то тотъ пару огурцовъ, съ голоду видно, такъ онъ его таскалъ, таскалъ за волосы-то, да взялъ да въ грязь лицомъ тыкалъ, тыкалъ — стра-асть!.. Тоже разъ видѣлъ я, какъ съ конокрадомъ мужички расправились — сто лѣтъ проживу, а не забуду этого. До смерти уколотили, кто чѣмъ, кто чѣмъ — не дышитъ ужъ онъ, а они дубасятъ, дубасятъ, точно рожь молотятъ. Остервенѣли, значитъ. За свое добро каждый радъ горло другому перегрызть.

Молодая дѣвушка узнала всю его біографію: какъ онъ жилъ въ достаткѣ при жизни отца, какъ потомъ онъ началъ терпѣть лишенія при матери, какъ послѣ ея смерти онъ очутился на мостовой, голодный, полуодѣтый, какъ только черезъ шесть-семь мѣсяцевъ какая-то жалостливая старуха, знавшая его исторію, свела его къ губернатору и сообщила тому, что у мальчика есть тетка — положимъ, не родная, не законная, а все же тетка, — и при содѣйствіи губернатора мальчика пріютили въ Захолустномъ у Софіи Андреевны. Не сладка была его жизнь и здѣсь, но зато сытъ онъ былъ всегда, а это для него было въ ту пору главное. Онъ ѣлъ такъ, какъ будто хотѣлъ наверстать за дни голоданья или желалъ запастись на случай будущихъ голодовокъ. Въ домѣ тетки ему, какъ и всѣмъ другимъ, доставались нагоняи за все, кромѣ обжорства, такъ какъ ѣли тутъ всѣ походя, бросая не идущее въ горло, не зная, что дѣлать кромѣ вѣчной ѣды. Этого было довольно, чтобы Александръ сносилъ всѣ остальныя невзгоды.

Разъ какъ-то, жалѣя юношу, Елена Васильевна вступилась за него и замѣтила брату:

— Какъ тебѣ не стыдно издѣваться надъ нимъ!

Юноша оторопѣлъ, и, прежде чѣмъ братъ Елены Васильевны что-нибудь отвѣтилъ, онъ проговорилъ:

— Василій Васильевичъ шутятъ-съ! Отчего же-съ имъ

не шутить? Я не смѣю-съ сердиться. Меня-съ не убудетъ отъ шутки.

— Посмѣлъ бы ты еще сердиться! — грубо сказалъ Василій Васильевичъ.

— Что вы-съ! Я никогда-съ... И въ помыслахъ нѣтъ-съ!.. Это Елена Васильевна такъ думаетъ-съ. Онѣ-съ къ шуткамъ не привычны, обижаются. А я...

Василій Васильевичъ захохоталъ.

— А ты въ институтѣ не былъ и благороднаго воспитанія не получилъ? Такъ?

— Такъ-съ!—захихикалъ юноша, ободрясь.

Потомъ, улучивъ свободную минуту, онъ осторожно сталъ упрекать молодую дѣвушку за ея заступничество. Ей хорошо; на нее посердятся и конецъ, а его выгнать могутъ, тогда что? Его не убудетъ отъ шутокъ, а съ голоду-то какъ разъ поколѣть можно.

Но былъ случай, когда шутки Василія Васильевича на минуту вывели Александра изъ терпѣнія.

Елена Васильевна сидѣла въ саду, когда однажды передъ нею явился Александръ въ какомъ-то странномъ видѣ. Онъ былъ видимо возбужденъ, лицо его было синевато-багроваго цвѣта, точно опухло, онъ кутался въ какое-то рваное теплое пальто и, очевидно, дрожалъ отъ холода.

— Что съ тобой?—спросила въ недоумѣніи молодая дѣвушка.

— А то, что не жизнь это, а каторга!—рѣзко отвѣтилъ онъ.—Издохнуть бы, вотъ что!

— Да что случилось?—спросила она, изумленная непривычно рѣзкимъ тономъ бѣдняка.

— За собаку служить заставили,—отвѣтилъ Александръ запальчиво и съ обидой въ голосѣ. — Пошли Василій Васильевичъ на прудъ и стали поноску швырять Азоркѣ въ воду, да и говорятъ: «Азоръ-то умнѣе тебя». Обидно мнѣ это показалось, чортъ тоже дернулъ обижаться, я и говорю: «Чѣмъ же умнѣе?» А они говорятъ: «Ну, вотъ достань поноску изъ воды». Я раздѣлся, они швырнули поноску, я досталъ и принесъ. А они хохочутъ: «Разъ досталъ, да и думаетъ, что перещеголялъ Азора». Бросили еще, еще и еще.

Онъ закусилъ со злобой губы.

— Извѣстно, собака хоть сто разъ за поноской проплыветъ, а человѣкъ не можетъ. Умаялся я, дрожь пробрала, зубъ на зубъ не попадаетъ, а они: «Простой дворовый песъ и тотъ тебя загоняетъ». Это вмѣсто спасибо-то за потѣху!

Онъ закутался еще плотнѣе въ свое рваное теплое пальто и смолкъ.

Молодая дѣвушка была возмущена. Въ ея душѣ поднялась цѣлая буря. Она соображала, какимъ способомъ положить конецъ этимъ издѣвательствамъ, какъ спасти этого несчастливца. Въ ея головѣ началъ уже складываться планъ—правда, довольно наивный—попросить одного изъ ихъ знакомыхъ, Ивана Николаевича Зубкова, пріютить Александра. Она уже подняла голову, чтобы сообщить о своемъ планѣ юношѣ, и съ негодованіемъ замѣтила:

— Этому надо положить конецъ!

Онъ очнулся.

— Разбогатѣю, вотъ и будетъ конецъ. Самъ тогда, замѣсто собаки, Василія Васильевича за поносной посылать буду. Тоже некуролесятъ они не долго.

Онъ тряхнулъ волосами.

— А будь я на ихъ мѣстѣ—не только мнѣ, дѣтямъ, да внучатамъ моимъ хватило бы того, что у нихъ есть...

Когда она сказала ему о своемъ планѣ насчетъ Зубкова, онъ лукаво усмѣхнулся.

— На что я имъ? Имъ барышня нужна, невѣста...

И, подмигивая, прибавилъ:

— Вотъ васъ они бы взяли...

Онъ сказалъ то, о чемъ не думала Елена Васильевна и что было правдой. Зубковъ, встрѣчавшійся съ Еленой Васильевной у своей тетки, жившей по сосѣдству съ Захолустнымъ, уже давно былъ влюбленъ въ молодую дѣвушку, какъ можетъ влюбиться только юный идеалистъ, постоянно говорившій «мы реалисты» и глубоко вѣрившій въ наступленіе царства неподкупныхъ становыхъ и исправниковъ, проповѣдывавшій происхожденіе человѣка отъ обезьяны и вездѣ съ полной вѣрой искавшій среди этихъ потомковъ обезьяны «луча во темномъ царствѣ». Этимъ лучомъ въ темномъ царствѣ онъ призналъ Елену Васильевну и, подсмѣиваясь надъ стихокропателями, писалъ тайкомъ стихи про «дѣвушку честную, дѣвушку гордую». Съ этой дѣвушкой онъ обмѣнивался идеями, книгами, чувствами и, наконецъ, оба они увидѣли, что они созданы другъ для друга. Умнѣе, развитѣе, честнѣе его она не встрѣчала еще никого; онъ признавался ей, что болѣе цѣльной натуры, чѣмъ она, онъ еще не видалъ въ жизни. Когда они рѣшили пожениться, мать Елены Васильевны пришла въ ужасъ. «Плюгавенькій учителишка», «голопятанный болтунъ», «безбожный нигилистъ»,—другихъ

эпитетовъ она не находила для Зубкова. Тѣмъ не менѣе, дочь рѣшительно сказала, что она его любитъ, и вышла за него замужъ. Впрочемъ, серьезныхъ протестовъ со стороны матери и не было, такъ какъ ее гораздо болѣе, чѣмъ судьба дочери, интересовалъ въ это время роковой вопросъ разоренія, приписываемаго ею эмансипаціи крестьянъ. Громы и молніи были обращены въ эту сторону, и все остальное казалось только ничтожными уколами въ сравненіи съ главной раной.

Какъ хорошо зажили молодые. Онъ училъ дѣтей, возвращался домой и читалъ съ женой книги, ихъ интересовало все — и общественные вопросы, и горести ближнихъ. Они дѣлили, что могли, съ этими ближними и радовались, когда доброе дѣло удавалось. Такъ имъ удалось кое-какъ подучить кое-чему взятаго ими къ себѣ въ домъ Александра и отправить его въ Петербургъ на мѣсто въ одинъ изъ банковъ, гдѣ были знакомые у Зубкова. Онредѣлившись въ банкъ, Александръ Константиновичъ Вощининъ въ Петербургѣ быстро сдѣлалъ «карьеру» и писалъ имъ: «Я съ вашей легкой руки жить началъ и никогда этого не забуду». Они, читая эти письма, не входя въ подробности о характерѣ «карьеры», радовались и наивно говорили: «тоже въ люди можемъ выводить».

Но времена перемѣнчивы: десятокъ лѣтъ скромной, но безбѣдной жизни смѣнился внезапно годами лишеній и испытаній. Зубковъ неожиданно потерялъ казенное мѣсто и нѣкоторое время находился даже въ такомъ положеніи, что не могъ ручаться за возможность выбирать мѣсто жительства. Но гроза прошла, не прошло только стѣсненное положеніе дѣлъ. Впрочемъ, лишенія выносились бодро: Елена Васильевна шила и вышивала, Зубковъ пописывалъ кое-какія статейки, расходы сокращались сообразно сокращенію доходовъ, и мужъ, и жена не поддавались унынію и горю, смотрѣли попрежнему весело. Они не замѣчали даже того, что она похудѣла, а онъ полысѣлъ и сталъ какъ-то особенно потирать руки—это была, можетъ-быть, простая привычка, усвоенная въ то время, когда онъ заботливо успокаивалъ жену: «погоди, погоди, Леля, мы еще выбьемся, мы еще покажемъ себя», а, можетъ-быть, это было слѣдствіемъ сильнаго нервнаго разстройства, незамѣтно развившагося въ тяжелые годы. Какъ знать? Имъ удалось перебраться въ Петербургъ. Случай помогъ ему скоро найти здѣсь уроки въ двухъ частныхъ пансіонахъ и въ нѣсколь-

ихъ частныхъ домахъ. Существовать, повидимому, было можно. Но у нихъ переболѣли дѣти: двое изъ нихъ умерли; это требовало лишнихъ расходовъ; съ другой стороны частные пансіоны и частныя лица не всегда аккуратно платили за уроки. Такимъ образомъ было невозможно составить опредѣленный бюджетъ, и бѣдность не выпускала изъ своихъ лапъ семью. Тѣмъ не менѣе, наружно, для другихъ, они жили если и не богато, то опрятно и безъ видимой нужды. Эти другіе не заглядывали въ комодъ Елены Васильевны, какъ заглянула туда ея мать, и не знали, что у нея только двѣ или три сорочки. Этого не зналъ даже Иванъ Николаевичъ, какъ не зналъ онъ и того, что его бѣлье нерѣдко стирала сама Елена Васильевна тайкомъ, чтобы не платить прачкѣ за стирку, а купить на эти деньги булку дѣтямъ.

Теперь передъ Еленой Васильевной проходили всѣ эти картины, и она даже выпрямилась на креслѣ: на минуту въ ней проснулось гордое сознаніе того, что она и ея мужъ сдѣлали все, что можетъ сдѣлать человѣкъ, чтобы, не кланяясь другимъ и не кривя душой, не поддаться нищетѣ. И въ ту же минуту въ ея головѣ мелькнула мысль:

— Сдѣлали все, а двоихъ дѣтей схоронили, и третья...

Она вдругъ какъ-то опустилась и закрыла рукой глаза.

— Господи! Господи! пощади ее!—какъ вздохъ, вырвалось изъ ея груди восклицаніе.

Въ головѣ опять роились тяжелыя мысли. Зачѣмъ ей мать сказала жестокую фразу о томъ, что они губятъ дѣтей, зачѣмъ она точно ножъ всадила ей въ сердце эти слова? Теперь она уже не въ силахъ отказаться отъ этой мысли. Съ ума она сойдетъ, если ея дѣвочка умретъ... Да нѣтъ, нѣтъ, она будетъ жить, она выздоровѣетъ, она...

Въ передней раздался легкій звонокъ. Елена Васильевна очнулась, осмотрѣлась — было уже давно ясное утро. Въ комнату вошла служанка, простая, здоровая деревенская дѣвушка, и сказала, что пришелъ господинъ Устиновъ. Елена Васильевна, торопливо оправивъ свой костюмъ, вышла въ гостиную. Тамъ ходилъ взадъ и впередъ посѣтитель, человѣкъ крупный по росту и дородству, съ косматыми волосами и густыми нависшими бровями. Его просторная одежда была довольна небрежна, даже неряшлива.

— Здравствуйте, барынька!—проговорилъ онъ отрывисто басовитымъ голосомъ.—Ну, что крестница?

— Все въ томъ же положеніи, Викторъ Петровичъ,—

отвѣтила Елена Васильевна, дружески пожимая его широкую и плоскую руку, сильно заросшую волосами.

— Доктора-то не нужно ли по шеямъ, да другого взять?— спросилъ онъ заботливо.

— Докторъ хорошій.

— Всѣ они хороши деньги огребать! Сволочь!

Онъ говорилъ сердито и ворчливо.

— Да кстати, Иванъ денегъ прислалъ, — сказалъ онъ, вытаскивая изъ кармана нѣсколько смятыхъ бумажекъ.

— За уроки развѣ получилъ? — спросила Зубкова. — Отъ кого?

— А я почему знаю? Не укралъ же! А вѣрно тамъ гдѣнибудь дали.

Она начала разспрашивать о мужѣ и о сынѣ. Онъ коротко отвѣтилъ, что послѣзавтра праздникъ, и они забѣгутъ. И тутъ же прибавилъ, что всѣ эти предосторожности— глупости, никуда не занесли бы они заразы, если бы и здѣсь остались. Щепетильность все проклятая. У нея уже давно были разстроены нервы, и ей показалось, что онъ сердится за то, что ея мужъ и сынъ поселились у него.

— Что-жъ дѣлать! Болѣзнь прилипчивая! — проговорила она.—Совѣстно вотъ, что васъ стѣснили.

Онъ обозлился.

— Оглупѣли вы совсѣмъ въ одиночномъ-то заключеніи здѣсь!—рѣзко проговорилъ онъ.—Няньчусь я съ ними, что ли, что стѣснить они могли? Тоже придумали!

— Ну, ну, не бранитесь!—пересиливъ себя и улыбаясь, сказала она.—Знаю я, что вы добрый человѣкъ...

— Добрый, добрый!—передразнилъ онъ ее. — Когда вы отучитесь эти пустозвонныя фразы-то произносить: «добрый человѣкъ!», «честный человѣкъ!» Добрый — значитъ либо тряпка, либо бодливая корова безъ рогъ; честный—либо дуракъ, не умѣющій красть, либо такой, которому около денегъ ни разу и близко-то стоять не приходилось. Вотъ что!

Онъ круто перемѣнилъ разговоръ:

— А что вотъ вашему благовѣрному сказать? Какія порученія?

— Покуда ничего не надо...

Устиновъ протянулъ руку на прощанье. Въ эту минуту пробили стѣнные часы.

— Ахъ, кстати,—сказала Елена Васильевна:—который часъ на вашихъ часахъ? Наши стояли вчера.

— Э, мои часы въ чисткѣ,—отвѣтилъ Устиновъ, сдѣлавъ въ воздухѣ неопредѣленный жестъ рукою.

Елена Васильевна смутилась и тихо спросила:

— Заложили?

Устиновъ снова разозлился.

— Чего вы выдумываете! Испортились, чинить отдалъ. Не вѣкъ же имъ, поганымъ, безъ починки ходить...

Она сразу поняла все. Это онъ заложилъ часы, чтобы дать ей денегъ. У нея защемило сердце. Почти безсознательно она проговорила:

— Да, мать правду говорила, что надо къ Александру обратиться...

— И всеконечно надо!—воскликнулъ Устиновъ, не замѣчая, съ какой горечью произнесла она эту фразу. — Да я бы на вашемъ мѣстѣ его просто за горло схватилъ. Подавай!—и конецъ. Вы для него столько сдѣлали, а онъ, бестія, ничего, пальца о палецъ для васъ не стукнетъ. Съ этакихъ-то Альфонсовъ и эксплуататоровъ и рвать.

У нея подступали слезы къ глазамъ.

— Эхъ, барынька, щепетильности-то въ васъ непочатый уголъ, вотъ въ чемъ бѣда,—продолжалъ онъ:—а вы щепетильность-то отбросьте... Съ волками жить — по-волчьи и выть. А такъ-то до бѣды достукаться можно. Право!

Онъ угловато простился съ нею и, что-то продолжая ворчать, вышелъ изъ комнаты. Она, не трогаясь съ мѣста, безсознательно смотрѣла на лежавшія на столѣ, принесенныя Устиновымъ деньги. Въ головѣ бродили мысли о томъ, что этотъ человѣкъ заложилъ часы, чтобы дать ей денегъ, что мужу негдѣ было достать этихъ денегъ. Ей не было стыдно передъ Устиновымъ. Давно она знала этого человѣка, доходившаго до настоящей ярости только за то, что его уличали въ добротѣ и въ честности. Нѣтъ, она и ея мужъ нерѣдко занимали у него деньги и сами ссужали ему гроши, такъ что это не могло ее смутить. Ее смущало то, что у нихъ ничего нѣтъ, что у Устинова тоже не больше средствъ, а впереди были долгіе дни болѣзни ребенка. Что будетъ дальше? Гдѣ добудутся еще средства для лѣченія? Послѣ выздоровленія дѣвочка долго будетъ слаба, и для поддержки ея нужны будутъ лишніе расходы. И какъ бы хорошо, когда поправится дѣвочка, свезти ее въ деревню, на вольный воздухъ, туда, гдѣ весна щедрой рукой разливаетъ свои дары..

IV.

Докторъ подалъ надежду, что дѣвочка Зубковыхъ выздоровѣетъ.

— А тамъ,—прибавилъ онъ:—увезите ее на дачу, вольный воздухъ докончитъ остальное. Она немного малокровна, но это пустяки—при хорошемъ воздухѣ и питаніи все пройдетъ.

Онъ говорилъ, не зная того, что онъ точно ножомъ рѣзалъ сердце матери, точно глумился надъ нею.

Онъ давно уже ушелъ, а бѣдная мать все стояла у окна гостиной и смотрѣла куда-то вверхъ, на плывущія и тающія въ воздухѣ легкія, какъ дымъ, облачка, на синее небо, залитое и сверкающее солнечнымъ свѣтомъ, на воробьевъ и голубей, весело бродившихъ по крышѣ. Весна, весна была въ полномъ разгарѣ, а ей, несчастной матери, нечего и думать о томъ, что съ приходомъ лѣта она увезетъ свою дѣвочку на вольный воздухъ.

— Леля!—окликнулъ ее веселый, звучный голосъ.

Она вздрогнула и обернулась. За нею стоялъ щеголевато, хотя пестро одѣтый господинъ. Его русые кудри были ловко и красиво отброшены назадъ, закрывая начинавшую показываться на затылкѣ лысину, румяное круглое лицо сіяло полнымъ довольствомъ, темные каріе глаза маслились и будто смѣялись. Это былъ Александръ Константиновичъ Вощининъ. Онъ протянулъ Еленѣ Васильевнѣ дружески обѣ руки, на одной изъ которыхъ блестѣли крупные брильянты, и поцѣловалъ ее въ губы, а потомъ поднесъ ея руку къ своимъ губамъ.

— Я не ожидала,—начала она:—не думала, что ты...

— Замечталась! Даже и не слыхала, какъ я вошелъ,—продолжалъ онъ, не слушая ее.

Она грустно улыбнулась и проговорила:

— На птицъ засмотрѣлась. Весну почуяли.

— Ну, какая у васъ тутъ весна! — сказалъ онъ небрежно. — Вотъ у насъ въ саду почки наливаются, а за границей—тамъ все въ цвѣту уже.

— Давно ты пріѣхалъ?—спросила она, присѣвъ у стола на кресло и приглашая его помѣститься на диванѣ.

— На этихъ дняхъ, — отвѣтилъ онъ, вынимая толстый серебряный портсигаръ съ золотыми вензелями и коронкой и закуривая папиросу. — Всѣ эти дни собирался къ тебѣ, но дѣла, дѣла...

Она что-то вспомнила.

— Да, тебѣ мама развѣ не сказала, что у насъ скарлатина въ домѣ? У тебя же Лида...

— У нея была скарлатина,—небрежно сказалъ онъ, выпуская вверхъ клубы дыма: — да, кромѣ того, все это пустяки. Была бы хорошая дезинфекція и конецъ. Теперь уже доказано, что всякія эпидеміи поддерживаются небрежностью ассенизаціи. Города, гдѣ хорошая канализація, совершенно ограждены отъ эпидемій...

Онъ немного откинулся назадъ на диванѣ, положилъ ногу на ногу и принялъ еще болѣе небрежный видъ. Что-то самодовольное было теперь во всей его фигурѣ. Онъ точно хотѣлъ сказать: «смотрите на меня, каковъ я».

— А я пріѣхалъ браниться съ тобою, — проговорилъ онъ.—Мнѣ тетя сказала, что вы нуждаетесь.

На щекахъ Елены Васильевны выступили красныя пятна. Кровь прилила ей въ голову. Она рѣзко отвѣтила:

— Мамѣ вездѣ представляется нужда, гдѣ нѣтъ дворни, какую она держала. Мы...

Онъ остановилъ ее движеніемъ руки.

— Я тебя, право, не понимаю!—заговорилъ онъ, и голосъ его сталъ мягче.—Для чего ты скрываешь? И передъ кѣмъ? Передо мною! Вѣдь нужды не скроешь, какъ ни старайся ее скрыть! Были бы деньги, не тѣснились бы въ двухъ комнатахъ съ дѣтьми. Точно это гигіенично. Вѣдь ты-то понимаешь, какую роль играетъ гигіена во всѣхъ заболѣваніяхъ. Людямъ прежде всего нуженъ чистый воздухъ. Тутъ же даже и циркуляціи воздуха не можетъ быть, и приведетъ это дѣтей только къ атрофіи...

Онъ вдругъ оборвалъ рѣчь, какъ бы растерявшись, но тотчасъ же оправился и прибавилъ:

— Именно къ атрофіи: сперва анемія, а потомъ упадокъ всѣхъ силъ, замедленіе дѣятельности всего организма, атрофія...

Онъ почувствовалъ, что онъ выпутался изъ неловкой ошибки, самодовольно улыбнулся, всталъ и быстро заходилъ по комнатѣ.

— И ради чего вы тѣснитесь, — говорилъ онъ: — ради чего лишаете дѣтей нормальныхъ условій жизни? Изъ гордости? Кланяться не хотите? Кому? Чужой сволочи? Ну, положимъ, это такъ. Это прекрасно. А что же я-то? Мнѣ, кажется, и кланяться не надо. Я вотъ вамъ по которыхъ поръ обязанъ, и тебѣ, и Ивану.

Онъ провелъ рукой по головѣ.

— Правда, я не навязывался вамъ за эти годы, потому что мнѣ было обидно, что вы игнорируете меня. Еще бы, я вѣдь кулакъ, эксплуататоръ!

Онъ сдѣлалъ гримасу и пожалъ плечами.

— Ну, не хочетъ Иванъ служить у меня главнымъ бухгалтеромъ, не желаетъ принять участія въ эксплуататорской дѣятельности, такъ хоть бы переѣхалъ ко мнѣ на лѣто, чтобы дѣти дохнули свѣжимъ воздухомъ.

Онъ весело разсмѣялся.

— Я же вашъ должникъ, ну, вотъ и поквитались бы на этомъ. Тутъ ужъ нельзя отговариваться тѣмъ, что я эксплуататоръ. Вѣдь и вашъ домовый хозяинъ, можетъ-быть, похуже еще меня, съ людей шкуру деретъ, а живете же вы у него...

Она тихо проговорила:

— Мы никогда тебѣ въ долгъ ничего не давали, и ничего ты намъ не долженъ.

Онъ, задѣтый за живое, разгорячился:

— А! Ты хочешь сказать, что вы милостыню мнѣ давали, что вы, благодѣтельствуя мнѣ, впередъ дали себѣ слово не марать себѣ рукъ деньгами, прошедшими черезъ мои руки. Что-жъ, спасибо...

Въ его голосѣ звучали искреннія, сердечныя ноты обиженнаго человѣка. Елена Васильевна какъ-то не уловила ихъ, несмотря на свою постоянную чуткость. Въ ея наболѣвшей душѣ былъ хаосъ. Ее раздражала мысль, что ея мать трубитъ о ихъ нищетѣ, ее оскорбляла впервые предложенная ей милостыня, ее терзала справедливость замѣчаній этого человѣка о томъ, что ея дѣти растутъ въ неблагопріятныхъ условіяхъ. Подъ вліяніемъ всего этого съ ея языка безсознательно сорвалась жесткая фраза:

— Тебя, кажется, тяготитъ благодарность и хочется откупиться за нее деньгами.

Онъ остановился передъ ней, и на минуту его глаза сверкнули гнѣвомъ, почти яростью, точно его ударили по лицу. Потомъ онъ быстро овладѣлъ собой и махнулъ рукою.

— Богъ съ тобой,—проговорилъ онъ съ горькимъ упрекомъ.

Ее сразу привела въ себя, отрезвила эта фраза. Она ласково протянула ему руку.

— Не сердись! Я сама не знаю...

Она не кончила фразы и заплакала. Онъ подсѣлъ къ ней, взялъ ея руку и ласково сталъ ее гладить.

— Ну, полно, полно, Леля, голубка моя!—нѣжно заговорилъ онъ.—Не плачь же, милая!.. Не хотите вы вотъ понять, что человѣкъ же я! Можетъ-быть, мать я такъ не любилъ, какъ тебя и Ивана. Три года вы меня, какъ сына, держали, въ то время держали, когда другіе, кромѣ своей любви, ни о чемъ и знать не хотятъ. Вы меня къ мѣсту пристроили. Съ вашей легкой руки я жить началъ. Какъ собака, погибъ бы я безъ васъ съ голоду и холоду. А теперь вотъ...

Онъ опять всталъ, заходилъ по комнатѣ, говоря въ сильномъ возбужденіи:

— Да пусть мнѣ весь міръ говоритъ въ глаза, что я прохвостъ и подлецъ. Чихать я на это хочу! Отъ прохвостовъ и слышу! А вотъ когда вы дѣтей скорѣй въ гробъ уложите, чѣмъ отъ меня грошъ возьмете, тогда... Ну, что я такое сдѣлалъ? Убиваю на большой дорогѣ? Граблю со взломомъ? Прокаженный я, что ли? Человѣкъ, какъ всѣ люди. Не лучше, не хуже. Борюсь за существованіе! Вотъ и все. За что же вы отъ меня, какъ отъ чумы, открещиваетесь? Погублю я васъ, что ли?

Онъ, взволнованный, расчувствовавшійся, опять подсѣлъ къ ней.

— А какой у меня домикъ для васъ! — заговорилъ онъ, и въ его голосѣ зазвучали нотки обольстителя, нѣжныя, сладкія, точно онъ соблазнялъ любимую женщину.—Коттэджъ, просто коттэджъ. Англійскій садикъ кругомъ. Дренажъ вездѣ. Всѣ гигіеническія условія соблюдены. Я вѣдь немного англичанинъ. Мой сосѣдъ заводчикъ Зюдербрайтъ говоритъ всегда: «васъ, право, за чистокровнаго англичанина можно счесть!..»

Онъ опять вернулся къ разсказу о коттэджѣ.

— Веселенькій домикъ, свѣтленькій, чистенькій, точно оазисъ среди заводской грязи и копоти, дѣти у васъ цѣлый день были бы въ саду, за одно лѣто набрались бы здоровья на десятокъ лѣтъ. А ужъ если бы Иванъ рѣшился взять у меня мѣсто, тогда... да вы никогда и въ глаза-то нужды не видали бы, дѣтямъ-то не одно здоровье въ наслѣдство оставили бы, а и разностороннее образованіе, и деньжонки.

Она уже не слушала его, а тихо плакала, — объ этомъ свѣтленькомъ, чистенькомъ, веселенькомъ домикѣ, гдѣ дѣти цѣлый день могли бы быть въ саду, набраться здоровья въ одно лѣто на цѣлые десятки лѣтъ... Онъ же все говорилъ и говорилъ, не умолкая, и объ дезинфекціи, и объ ассени-

заціи, и о гигіенѣ, и объ анеміи, довольный собою, инстинктивно угадывавшій, что она поддается на его убѣжденія. И могла ли вообще женщина устоять противъ него, когда онъ рѣшался ее склонить на что-нибудь! Онъ твердо вѣрилъ въ свои побѣдоносныя силы. Не даромъ же природа надѣлила его подкупающе-звучнымъ голосомъ, а обстоятельства жизни научили управлять этимъ голосомъ, то чарующе ласкающимъ, то дрожащимъ слезами. Александръ Константиновичъ покорялъ сердца этимъ голосомъ даже тогда, когда онъ игралъ роль, а не только въ тѣ минуты, когда онъ былъ глубоко искренень, какъ теперь. Когда онъ поднялся съ мѣста, онъ прямо заявилъ:

— Ну, значитъ, рѣшено, что лѣто вы живете у меня!

На минуту она опять испугалась:

— Нѣтъ, нѣтъ... я же ничего не рѣшила... не могу рѣшить... какъ Ваня.

— Ну, его-то я и спрашивать не стану! Возьму въ охапку и увезу,— со смѣхомъ сказалъ онъ, горячо обнимая ее.

Онъ уѣхалъ.

Она стала думать о томъ, почему они въ самомъ дѣлѣ отказываются отъ его предложенія? Дѣти воскреснуть могутъ, а они отказываются? И развѣ это милостыня? Вѣдь они же дѣлали добро этому человѣку? Да, это только уплата долга и больше ничего. Правда, поддерживая его, они не въ долгъ давали, но не все ли равно — онъ хочетъ отплатить добромъ за добро, и они не въ правѣ отказываться. У него въ этомъ свѣтленькомъ, чистенькомъ, веселенькомъ домикѣ дѣти воскреснутъ. А потомъ? Что будетъ потомъ? Увидятъ дѣти лучшую жизнь, и станетъ имъ вдвое тяжелѣе въ этой конурѣ? Но зачѣмъ же возвращаться въ нее? Вѣдь онъ предлагалъ ея мужу мѣсто главнаго бухгалтера? Глубокія причины удерживали Ивана Николаевича принять это предложеніе. Онъ сознавалъ, что трудъ учителя—святой трудъ, а трудъ въ родѣ бухгалтера—чисто ремесленный. Она сама была всегда противъ чисто механическаго труда, всегда горячо стояла за тѣ отрасли труда, гдѣ человѣкъ вноситъ въ общество какое-нибудь развитіе, содѣйствуетъ прогрессу. Всю жизнь она и ея мужъ возились съ чужими дѣтьми, учили, воспитывали, развивали этихъ дѣтей. Но не это одно удерживало ея мужа отъ поступленія на заводъ. Онъ зналъ, что Александръ настоящій «хозяинъ»: гдѣ нужно — прижметъ, гдѣ можно—обсчитаетъ, выдался случай—обманетъ прямо и беззастѣнчиво. Какъ смотрѣть на это, когда будешь стоять

близко къ дѣлу? Молчать? Ссориться? Потакать? «Но вѣдь онъ будетъ только бухгалтеромъ,—пронеслось въ головѣ Елены Васильевны.—Онъ не будетъ принимать участія въ веденіи дѣла». Она горько усмѣхнулась. «Чистенькій, свѣтленькій, веселенькій домикъ прельстилъ!» Въ ней вдругъ поднялась цѣлая буря. «Ну да, онъ прельстилъ! Онъ! — страстно протестовала она противъ невѣдомыхъ обвиненій и точно посылала кому-то вызовъ на бой.—Я мать! У меня дѣти умираютъ отъ нищеты! Я спасти ихъ могу и сама отталкиваю якорь спасенія! Двухъ схоронила — мало! Нужно еще двухъ уморить!» Внутри какой-то тайный голосъ шепнулъ: «Взяточники тоже говорили: «жена! дѣти!» Оправданье тоже! А святой трудъ такъ и бросится, за ремесло надо взяться ради выгодъ?» И опять она язвительно протестовала: «Святой трудъ — въ частныхъ пансіонахъ богатыхъ шалопаевъ учить; репетировать уроки съ лѣнивыми маменькиными сынками! Нѣтъ, что тутъ обманывать себя! Святой трудъ былъ, но его время прошло, теперь наше учительство — ремесло! Нечего тутъ хитрить съ собою». И она съ болью въ сердцѣ сознавала, что именно теперь-то она и хитритъ сама съ собою ради этого свѣтленькаго, чистенькаго, веселенькаго домика. Никогда еще она не испытывала мучительнаго чувства двойственности, которое охватило ее теперь. Въ ней точно явилось два существа: одно увлекало въ одну сторону, другое въ другую. Оба эти существа представляли свои доводы за и противъ, какъ бы глумились одно надъ другимъ и уличали ее въ подтасовкѣ фактовъ. Въ теченіе всей своей тридцатисемилѣтней жизни она сознавала, что она цѣльный человѣкъ, никогда она не терзалась вопросами: «какъ поступить? куда идти? какое рѣшеніе принять?» Она дѣлала все безъ сомнѣній и колебаній; она никогда не испытывала раскаянія и сожалѣнія. Теперь же вдругъ у нея какъ будто потерялась путеводная нить, утратилось сознаніе того, что для нея представлялось добромъ, честностью, правдой. Она такъ испугалась этого состоянія, что обрадовалась внезапно промелькнувшей въ ея головѣ мысли:

— Да о чемъ же я разсуждаю! Никогда Ваня не броситъ своей дѣятельности и даже на лѣто не переѣдетъ къ Александру, чтобъ не быть, помимо воли, затянутымъ какъ-нибудь въ дѣла завода...

Эта мысль засѣла въ ея головѣ. Она старалась оградить себя этою мыслью отъ дальнѣйшихъ сомнѣній. Что и думать о томъ, чего не можетъ быть. Хорошо или худо было бы

новое положеніе—это все равно, такъ какъ его не будетъ, не можетъ быть. Она даже грустно пошутила надъ собою: «еще бы начать мучиться, раздумывая, что было бы, если-бъ выиграть безъ билета двѣсти тысячъ». Она прошла въ комнату дочери и сѣла за работу.

На слѣдующій день часа въ два зашелъ домой Ваня. Мать быстро поднялась ему навстрѣчу и расцѣловала его.

— Господи, какой ты блѣдный и какъ похудѣлъ! — воскликнула она, глядя на него.

— Экзамены теперь, — отвѣтилъ онъ въ поясненіе.— Только я здоровъ.

Она покачала головой. И у другихъ дѣтей экзамены, а не всѣ же такъ худѣютъ и блѣднѣютъ. Дѣло не въ экзаменахъ, а въ дурныхъ условіяхъ жизни.

— И первые сошли отлично,—проговорилъ юноша.—Я нынче хочу отличиться на славу.

— Не утомляй себя черезъ мѣру!

— Э, пустяки! Жиръ еще нагуляю! — весело сказалъ онъ.—И знаешь, я нынче такъ, такъ расхрабрился, что ни чуточки не боюсь и не конфужусь. Помнишь, прежде все трусилъ, а теперь какъ рукой это сняло. Впрочемъ, и то сказать, я уже не ребенокъ. Пора быть поразвязнѣе.

— Ну-да, старикъ! — пошутила она, нѣжно и печально глядя на его блѣдное личико.

— Не старикъ, а все же восемнадцатый годъ!

Онъ засмѣялся лукавымъ смѣхомъ и шепнулъ ей:

— Видишь, усы растутъ?

Она порывисто взяла его за голову и расцѣловала, любуясь имъ, его полудѣтской наивностью, той чистотой, которую она такъ любила въ немъ.

— А папа?—спросила она.

— Папа сейчасъ будетъ. По дѣлу нужно было зайти. Мы всѣ вмѣстѣ изъ дому вышли, я, папа и Устиновъ.

Онъ засмѣялся.

— Ахъ, мама, дядя Устя какой чудакъ! Мы за вечернимъ чаемъ вмѣстѣ всѣ трое сходимся послѣ работы. Знаешь, я кончу уроки, дядя Устя и папа выправятъ ученическія тетрадки, ну, и отдыхаемъ за чаемъ. Тутъ дядя Устя ораторствуетъ. Умора! У него что ни фраза, то парадоксъ, а чуть возразишь ему, сейчасъ кричать начинаетъ. Знаешь, какъ онъ кричитъ: ругается, волосы ерошитъ, кулаки сжимаетъ, а на него смотришь — и совсѣмъ не страшно, даже весело, точно онъ говоритъ одно, а чувствуетъ другое.

Она задумчиво слушала болтовню мальчугана; въ ея головѣ мелькали опять мысли, какъ хорошо было бы хоть куда-нибудь отправить дѣтей на лѣто на чистый воздухъ; вотъ покуда ея мальчикъ бодръ и веселъ, а захиритъ,— тогда...

— Ты, мама, слушаешь?—спросилъ онъ, замѣтивъ ея задумчивость.

— Да, да, какъ же... Дядя Устя... чудакъ,—проговорила она торопливо, принимая внимательное выраженіе лица.

— Да, чудакъ!—повторилъ сынъ.—Папа какъ-то сказалъ ему: «у тебя все парадоксы». А онъ вскочилъ и началъ кричать: «Парадоксы? парадоксы? Ну да, парадоксы! А знаешь ли ты, почему у меня все парадоксы? А?» Онъ даже за пуговицу сюртука схватилъ папу. «Потому, говоритъ, что и вся жизнь не что иное, какъ парадоксъ! Гдѣ у нея прямые отвѣты на проклятые вопросы? Въ мірѣ являются все новыя и новыя существа. Для чего? Для того только, чтобъ было что истреблять смерти! Въ мозгу человѣчества создаются величайшія нравственныя истины. Для какого чорта? Для того, чтобы онъ созналъ, что эти величайшія истины никогда не могутъ осуществиться! За пять тысячъ лѣтъ до насъ создается правило: «люби ближняго, какъ самого себя», а первая страница практики человѣчества, первая страница исторіи начинается съ убійства роднаго брата роднымъ братомъ!» Потомъ взъерошилъ волосы, засунулъ руки въ карманы и зашагалъ по комнатѣ.

Юноша копировалъ очень удачно Устинова. Мать слушала его съ печальнымъ выраженіемъ лица.

— Дядя Устя!—раздался слабый болѣзненный голосъ.

Больная дѣвочка проснулась и уже давно слѣдила за братомъ. На ея исхудаломъ личикѣ появилась слабая улыбка, когда онъ взъерошилъ волосы и заложилъ руки въ карманы, изображая Устинова. Она сразу узнала, кого онъ изображаетъ. Мать и братъ, услышавъ ея голосъ, поспѣшно подошли къ ней.

— Тебя разбудили? Какъ ты себя чувствуешь? Не надо ли чего?—послышались вопросы.

Она продолжала улыбаться блаженной улыбкой больного ребенка, чувствующаго, что ему лучше, что онъ оживаетъ. Слабость была еще сильна. Дѣвочка не могла говорить и лежать долго съ открытыми глазами. Она закрыла ихъ, пролепетавъ еще разъ съ улыбкой:

— Дядя Устя!

Елена Васильевна точно преобразилась. На ея блѣдныхъ щекахъ выступилъ румянецъ. Глаза были полны слезъ, но лицо сіяло радостью. Она угадала, что это начало выздоровленія. Теперь только поберечь ребенка, не упустить никакой мелочи ухода, и все пойдетъ отлично. На дворѣ же весна во всемъ разгарѣ, и въ это время быстро проходятъ на чистомъ воздухѣ слѣды болѣзни. Глаза матери какъ-то невольно обратились къ окну—тамъ было ярко-голубое небо, солнце заливало своими лучами крыши домовъ. Какъ волшебный призракъ, передъ глазами Елены Васильевны снова мелькнулъ свѣтленькій, веселенькій, чистенькій домикъ. Это была почти галлюцинація: она не видала никогда этого домика въ дѣйствительности, а теперь онъ стоялъ передъ ея глазами—бѣленькій, съ зеленой крышей, съ зелеными ставнями и жалюзи, утопающій въ садикѣ съ яркой зеленью, съ усыпанными краснымъ кирпичомъ аллейками. Она даже растерялась отъ этой игры воображенія, такъ живо предсталъ передъ нею этотъ домикъ. Сынъ окликнулъ ее:

— Мама, что съ тобой?

Она, очнувшись, провела рукой по глазамъ:

— Ничего, ничего, обрадовалась я очень,—что ей лучше... Господи, вѣдь у меня только и сокровищъ, что вы двое!

Она прижала къ груди голову сына, покрывая ее поцѣлуями.

Ему пора было идти. Онъ спѣшилъ домой, то-есть въ квартиру Устинова, чтобы приняться за книги. Завтра опять экзаменъ. Надо подготовиться. Въ дверяхъ своей квартиры онъ встрѣтился съ отцомъ и наскоро передалъ ему радостную вѣсть, что сестрѣ лучше.

— Ну, слава Богу, слава Богу!—торопливо проговорилъ отецъ, потирая руки.—Изболѣлась ты душой,—сказалъ онъ женѣ, цѣлуя ея лицо и руку.

Мужъ и жена вошли въ комнату дочери, онъ посмотрѣлъ на дѣвочку, потомъ осторожно вернулся съ женой въ гостиную. Выражая свою радость по поводу перелома болѣзни дочери къ лучшему, онъ ходилъ по комнатѣ съ озабоченнымъ видомъ, опять потирая руки. Глядя на его нервное лицо, на его взволнованныя движенія, было трудно предположить, что это вызвано только радостью; невольно чувствовалось, что онъ чѣмъ-то встревоженъ, озабоченъ, подавленъ. Жена мелькомъ замѣтила, что вчера былъ Александръ. Это она сказала какъ бы вскользь, какъ нѣчто не стоящее особеннаго вниманія, между другими новостями.

— Да, да, я уже знаю, — отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ въ раздумьи, какъ бы разсѣянно, и вдругъ неожиданно заключилъ:—Что-жъ, вѣрно, судьба!

Она широко открыла глаза, ничего не понимая, волнуясь. Она только что собиралась посовѣтовать мужу принять предложеніе Вощинина переѣхать къ нему на лѣто, тѣмъ не менѣе, фраза мужа взволновала ее. Очень ужъ неожиданно было это рѣшеніе. Мужъ продолжалъ отрывисто:

— Написалъ онъ мнѣ вчера письмо. Былъ я сейчасъ у него. Что-жъ, онъ правъ въ извѣстномъ отношеніи. На что стала похожа ты.

Она раздражительно, почти сердито, перебила его:

— Развѣ я жаловалась? Развѣ я несчастлива? И ты туда же!..

Онъ вдругъ остановился передъ нею.

— Да развѣ ты можешь быть счастлива, когда дѣти...

Онъ не договорилъ, махнулъ рукою и заходилъ опять, потирая руки и говоря скороговоркой:

— Прежде всего надо ихъ поднять здоровыми, развитыми, образованными. Поставить ихъ на ноги. Потомъ если хлѣбъ съ водой придется ѣсть намъ самимъ — это наше дѣло. А теперь—можемъ ли мы говорить о своемъ счастіи, когда они...

Онъ опять оборвалъ рѣчь.

— Ты сама понимаешь, что сердца у насъ изошли кровью за нихъ...

Онъ заговорилъ о томъ, что пора взглянуть прямо въ глаза дѣйствительности: прежде онъ свято чтилъ свою педагогическую дѣятельность,—прежнюю, но не теперешнюю.

— Богатыхъ оболтусовъ, не принятыхъ въ казенныя училища или выгнанныхъ изъ этихъ училищъ, учить—пользы тутъ на грошъ не принесешь. Самъ директоръ нашего пансіона недавно сказалъ мнѣ: «вы не налегайте, батюшка, на нихъ; имъ не въ профессора идти, не въ писатели. Ихъ не исторіи нужно учить, а анекдоты на розовой водѣ разводить. Тогда они и будутъ хвалить наше училище. У насъ не казенная гимназія. Тамъ начальство прикажетъ—они и молчатъ, а у насъ они помыкаютъ нами. Не по вкусу мы—пойдутъ къ другимъ». Хороши нравы. Много тутъ принесешь пользы?.. А частные уроки—подготовка того, что по лѣности не подготовлено въ гимназіи, вотъ и все. Тутъ не мудрствуй, не разсуждай. Ученикъ прямо говоритъ: «этого у насъ не требуютъ; этого намъ не задано».

Значитъ, молчи и не трать даромъ времени, не смѣй его тратить, такъ какъ тебя не за этимъ пригласили,—не свое вносить, а подготовлять заданное другими... Ну, чѣмъ же эта дѣятельность лучше счетной части? То же ремесло, и только ремесло! А что выносится отъ этихъ людей, сколько горечи въ душѣ... и все изъ-за гроша, изъ-за гроша...

Онъ махнулъ рукой.

— Ну, да что говорить объ этомъ! Нѣтъ, пора перестать лукавить съ самимъ собою, пора покориться необходимости. Возьмемся прямо за ремесло и такъ и будемъ знать, что оно ремесло.

Подлостей дѣлать онъ не станетъ, да и Александръ отъ него не потребуетъ этого. Знаетъ его Александръ не со вчерашняго дня. Александру нуженъ знающій и толковый счетчикъ и только. Отчего же и не взяться за это дѣло? Прежде не хотѣлось. Мечты разныя были, надежды. Пора отрезвиться отъ нихъ. Не такое теперь время, глухое, страшное время уныния и печали, да и онъ самъ не въ такомъ положеніи, чтобы быть учителемъ, а не автоматомъ при учебникахъ, задающимъ и спрашивающимъ отсюда и досюда. И идеи теперь въ школѣ не въ авантажѣ обрѣтаются, и самъ онъ не въ авантажѣ находится.

Онъ говорилъ скоро и много, точно хотѣлъ оправдаться въ чемъ-то или убѣдить самого себя въ томъ, во что не хотѣлось самому вѣрить. Это былъ оптимистъ, произносящій проповѣдь пессимизма подъ давленіемъ обстоятельствъ. Елена Васильевна слушала его въ какомъ-то чаду; каждая его фраза была въ сущности передумана и ею; все это она давно угадывала; ничего новаго онъ не могъ сказать ей, потому что въ девятнадцать лѣтъ жизни вмѣстѣ они спѣлись во всемъ. Нова была только горечь его словъ, нова была полная безнадежность его словъ. Это ее подавило, пришибло. Кромѣ того, ее теперь тяготило какое-то смутное, неопредѣленное чувство: она усиленно старалась вспомнить, чего именно она боялась, когда обдумывала тѣ же вопросы, которыхъ коснулся теперь мужъ. Это «что-то», вселявшее въ ней страхъ, теперь не вспоминалось, не формулировалось ясно, а являлось чѣмъ-то въ родѣ безсознательной и безотчетной тревоги, обыкновенно сопровождающей перемѣну въ образѣ жизни даже тогда, когда эта перемѣна ведетъ къ лучшему. Ей даже становилось досадно на себя за то, что ради этой безотчетной тревоги она мысленно отказывалась еще вчера отъ переѣзда къ Александру.

Тамъ ея дѣтей ждетъ этотъ свѣтленькій, веселенькій, чистенькій домикъ, а она еще колебалась и волновалась при мысли промѣнять на него эту конуру, почти радовалась тому, что мужъ никакъ не согласится на предложеніе Александра.

— Что-жъ, нечего дѣлать, будемъ на міру жить, — неожиданно произнесъ Зубковъ.—Попробуемъ! И то сказать, нельзя же дѣтей весь вѣкъ подъ стекляннымъ колпакомъ держать, должны же они увидѣть, какъ другіе живутъ.

У нея точно повязка свалилась съ глазъ, и что-то страшно стиснуло сердце. Да, именно этого она и боялась. Увидятъ дѣти, какъ другіе живутъ, привыкнутъ сами такъ жить, соблазнятся... Она не докончила мысленно начатой фразы. Въ душѣ всталъ другой вопросъ: «А схоронить ихъ легче?» Она торопливо, точно боясь, что мужъ вдругъ раздумаетъ переѣхать къ Александру, проговорила:

— О, я всѣ глаза прогляжу за ними!..

V.

Въ одинъ изъ будничныхъ весеннихъ дней въ квартиру Зубковыхъ явились ломовики и обратились къ хозяевамъ съ вопросомъ:

— Можно таскать?

Имъ отвѣтили, что можно, и они начали выносить одну за другою вещи, мебель, ящики, чемоданы, весь убогій скарбъ, находившійся въ квартирѣ. Не мало было хлопотъ, тревогъ и приготовленій въ ожиданіи этого дня. Иванъ Николаевичъ, посѣтивъ предназначенный его семьѣ Александромъ Вощининымъ домикъ, вернулся домой въ довольно странномъ настроеніи: онъ былъ и радостенъ, и озабоченъ. Радовало его то, что домикъ дѣйствительно хорошъ, какъ игрушка; озабочивало то, что въ этомъ домѣ пять комнатъ, кухня, людская и передняя.

— Мебели надо прикупить,—замѣтилъ онъ вскользь женѣ.

Елена Васильевна немного смутилась и замѣтила, что и та мебель, которая у нихъ есть, очень ужъ плоха. Она думала объ этомъ уже нѣсколько дней подъ рядъ. Здѣсь всѣ эти вещи стояли, тщательно обметаемыя отъ пыли, разставленныя болѣе или менѣе со вкусомъ. Но стоило прикоснуться къ этимъ вещамъ—и засаленныя мѣста на спинкѣ дивана, прикрытыя вязаными салфетками, должны были выступить наружу; сломанная ножка стоявшаго въ углу у стѣны кресла непремѣнно выпадетъ при перевозкѣ; ломбер-

ный столъ безъ сукна, всегда покрытый скатертью, явится во всемъ своемъ безобразіи; комодъ давно уже лишенъ задней ножки, и вмѣсто нея подкладывается подъ него обрубокъ полѣна. Станутъ это все носить — посторонніе люди увидятъ это; въ домикѣ много свѣта — Еленѣ Васильевнѣ почему-то казалось, что въ комнатахъ этого домика вѣчно свѣтитъ солнце — и отъ этого свѣта никуда не скроешь «заплатъ нищеты».

Когда мужъ заговорилъ о мебели, она встрепенулась, заговорила, что все у нихъ поистрепалось, давно превратилось въ негодный хламъ.

— Да, да, нечего дѣлать, придется прифрантиться,—съ горькой улыбкой сказалъ мужъ.—Нельзя же лохматыми въ люди явиться. По одеждѣ встрѣчаютъ-то

У нея вертѣлся на языкѣ вопросъ: «откуда только денегъ взять?» Иванъ Николаевичъ какъ бы угадалъ этотъ вопросъ и тѣмъ же тономъ добавилъ:

— Еще хорошо, что Александръ практикъ. Далъ впередъ жалованье. «Необходимые лишніе расходы у тебя явятся, говоритъ, такъ ты не стѣсняйся». Гдѣ ужъ тутъ стѣсняться...

И внезапно остановившись передъ женой, онъ спросилъ:

— Леля, а у дѣтей все необходимое есть? Надо, чтобъ имъ не пришлось краснѣть. Дѣвочка у Александра, падчерица его... ужъ слишкомъ она развязная барышня, не по сердцу она мнѣ...

Елена Васильевна поторопилась успокоить мужа:

— У дѣтей все есть! Еще бы! Это ужъ было бы послѣднимъ дѣломъ, если-бъ у нихъ еще чего-нибудь недоставало...

Она ни словомъ не обмолвилась о томъ, что у нея всего двѣ-три сорочки и два платья...

— Ну, и слава Богу, что все есть,—замѣтилъ онъ, опять заходивъ по комнатѣ. — А то эта дѣвчонка все замѣтитъ: глаза зоркіе, немного наглые, кажется, въ душу тебѣ заглянуть хотятъ, да мало того, хотятъ еще эту душу-то наизнанку вывороти.

— Да, она, кажется, совсѣмъ взрослая...

Онъ усмѣхнулся.

— Пятнадцать лѣтъ, должно-быть. Невѣста почти. Дѣлами даже интересуется. Увидѣла меня и спрашиваетъ: «А вы теперь, Иванъ Николаевичъ, у насъ служить будете?» Я усмѣхнулся, да и говорю: «У кого это у васъ

Лидія Егоровна?» А она и отрѣзала: «У мамы и у насъ съ братомъ; заводъ вѣдь нашъ, а Александръ Константиновичъ только опекунъ нашъ». Дѣловитый человѣкъ тоже!

Онъ оборвалъ рѣчь и, нервно потирая руки, заговорилъ торопливо:

— А, впрочемъ, ну ихъ! Намъ-то что до нихъ за дѣло? Мы служащіе. Сближаться не станемъ. Наши дѣти имъ не пара. Ты сумѣешь поставить всѣхъ на свои мѣста.

Она улыбнулась.

— Прежде удавалось.

— Ну, удавалось прежде—удастся и теперь!

Онъ засмѣялся.

— Помнишь, какъ исправницу ты почтительно отвадила отъ нашего дома? Еще она же тебя потомъ прославляла, какъ замѣчательную женщину, понимающую свое положеніе и не сующуюся въ «высшее» общество. А жандармскаго полковника?..

Елена Васильевна задумалась объ этомъ прошломъ. Какъ оно далеко-далеко! Какъ смѣло шла она тогда навстрѣчу всякимъ невзгодамъ. Гдѣ же эта смѣлость теперь? Ее томитъ теперь безотчетный страхъ не передъ невзгодами даже, а передъ болѣе покойной жизнью, — томитъ потому только, что эта жизнь выбиваетъ съ проторенной дороги, изъ пробитой колеи. Неужели это не временный упадокъ силъ, а начало конца? Иванъ Николаевичъ тоже смолкъ, не кончивъ фразы, и задумался. Онъ ходилъ по комнатѣ, покачивая головой и разводя руками, какъ бы разсуждая съ самимъ собою. Наконецъ, совсѣмъ забывшись, онъ пробормоталъ:

— Какъ знать! какъ знать!

Елена Васильевна очнулась и спросила:

— Что?

Онъ въ свою очередь опомнился.

— Да такъ... Пришло вотъ въ голову, что было бы, если-бъ теперь пришлось переживать все старое...

Она какъ-то странно взглянула на него, почти испугалась того, что онъ думаетъ о томъ же.

— Я объ этомъ же думала.

— Ну да, ну да, вспомнили былое, одинъ и тотъ же процессъ мысли начался, — пояснилъ онъ. — Сжились мы, голубка, такъ, что и думаемъ одно и то же. Я только думалъ вотъ о томъ, что, можетъ-быть, и опять такъ же пережили бы все, нашли бы и силы, и твердость. Силы рождаются обстоятельствами. Какъ знать, какъ знать!

Она вздохнула.

— А дѣти?

Онъ сталъ опять потирать руки.

— Да, дѣти! Съ ними рисковать нельзя, нельзя ихъ на карту ставить. Это такъ. Ихъ-то надо поддержать. Надо позаботиться о нихъ. Для нихъ и идемъ на новый путь. Что-жъ, силъ хватитъ. Поживемъ, освоимся, ориентируемся въ новомъ положеніи. Не боги же горшки обжигали.

Онъ старался бодриться, подбадривать ее.

И чѣмъ больше онъ напускалъ на себя этой бодрости, тѣмъ болѣе жутко становилось ей. Она угадывала, что и онъ чего-то боится, не отдавая себѣ отчета, чего именно. Это чувство испытывала и она — и потому его смутная и безпредметная тревога еще сильнѣе отражалась въ ея душѣ. Къ счастію, это чувство боязливой пригнетенности передъ неизвѣстнымъ будущимъ проходило тотчасъ же, какъ только Елена Васильевна появлялась у постели дочери. Та слабенькимъ голоскомъ, сдѣлавшимся совершенно дѣтскимъ, точно дѣвочкѣ было не четырнадцать, а семь или восемь лѣтъ, спрашивала мать:

— А мы скоро поѣдемъ на дачу?

— Скоро, скоро, голубка!—отвѣчала мать.

— Тамъ уже цвѣты, мама? Птички поютъ? Да?

— Да, да, крошка моя! Выздоравливай только скорѣй!

— Я, мама, совсѣмъ здорова! — отвѣчала дѣвочка. — Я тамъ въ саду буду гулять? Да? Ваня тоже будетъ въ саду гулять?

Елена Васильевна ублажала ее, а у самой щемило сердце. Какъ ослабѣла дѣвочка. Совсѣмъ маленькимъ ребенкомъ смотритъ. Говоритъ по-дѣтски. Сколько нужно усилій, чтобы возстановить ея силы. О, да, нужно скорѣй, скорѣй везти ее на чистый воздухъ.

Когда Иванъ Николаевичъ привезъ съ дачи первый букетъ цвѣтовъ, дѣвочка не выпускала ихъ изъ рукъ и съ наслажденіемъ нюхала ихъ.

— Тамъ и еще остались цвѣты? — допрашивала она, какъ бы боясь, что отецъ оборвалъ тамъ всѣ цвѣты. — Много осталось?

— Много!—отвѣтили ей.—Весь садъ въ цвѣтахъ.

Она улыбнулась радостной улыбкой, и мать сіяла счастіемъ, видя ея радость. Чего бояться, если для дѣтей такое счастіе перебраться на дачу, увидать эти цвѣты, услышать пѣніе птицъ? Какія бы невзгоды тамъ ни ждали, надо

пережить все ради блага дѣтей. Ваня, правда, не выражалъ особеннаго нетерпѣнія относительно переѣзда на дачу. Онъ весь былъ поглощенъ одной мыслью объ экзаменахъ. Самолюбивый, какъ мать, сдержанный, часто серьезный не по лѣтамъ, онъ думалъ теперь только объ одномъ: надо сдѣлать все, чтобы на экзаменахъ не ударить лицомъ въ грязь.

Въ этотъ годъ экзамены для него были уже не одною возможностью блеснуть знаніями и получить хорошія отмѣтки. Впервые онъ увидалъ въ нихъ провѣрку передъ самимъ собою своихъ познаній. Его мозгъ уже работалъ серьезно, и мальчикъ начиналъ относиться къ ученію не по-дѣтски, а какъ взрослый. Онъ сознавалъ это самъ, и въ душѣ гордился этимъ, стараясь не развлекаться ничѣмъ посторонимъ. Вслѣдствіе этого, онъ почти не говорилъ о предстоящей перемѣнѣ жизни. Но его блѣдное, худощавое личико говорило яснѣе всякихъ словъ, что ему отдыхъ необходимъ, что въ городѣ онъ можетъ захирѣть, что ему, можетъ-быть, нужнѣе, чѣмъ его сестрѣ, чистый воздухъ. И Елена Васильевна радовалась за него, что вотъ-вотъ онъ вздохнетъ полной грудью, поправится, расцвѣтетъ, станетъ опять такимъ же румянымъ, какимъ былъ когда-то тамъ, въ глухой провинціи, въ домикѣ на окраинѣ города. О, этотъ домикъ! Сколько въ немъ было счастья!..

Когда возы были уложены и увезены, Елена Васильевна вздохнула полной грудью. Конецъ! Завтра такъ или иначе дѣти проснутся не въ этихъ тѣсныхъ низенькихъ двухъ комнатахъ на заднемъ дворѣ въ пятомъ этажѣ, а тамъ, въ свѣтленькомъ, чистенькомъ, веселенькомъ домикѣ.

Это «завтра» настало послѣ суетливаго дня переѣзда съ квартиры на квартиру, и рано утромъ Ваня вышелъ въ маленькій садикъ съ яркой зеленью, съ усыпанными толченымъ кирпичомъ дорожками. Онъ подошелъ къ рѣшеткѣ сада, выкрашенной свѣтло-зеленою и бѣлою красками, и взглянулъ на улицу. Эта улица поразила его еще вчера, когда они переѣзжали сюда въ каретѣ. Она тянулась на десятокъ верстъ все около берега Невы. Почти безъ перерывовъ по обѣ ея стороны тянулись заводы и фабрики, фабрики и заводы; между ними темнѣли неказистые деревянные дома, изрѣдка попадались каменные, неуклюжіе, простой архитектуры; почти на каждомъ домѣ пестрѣли вывѣски: «Трактиръ», «Портерная», «Ренсковый погребъ», «Закусочная», «Мелочная лавка». Среди этихъ фабрикъ, заводовъ, жилищъ бѣднаго рабочаго люда и питейныхъ заведе-

ній всѣхъ наименованій изрѣдка мелькали, какъ яркія пятна, небольшіе франтоватые домики, окруженные палисадниками, садиками и садами; свѣтлая окраска ихъ, вазы и фонтаны въ садикахъ, масса цвѣтовъ въ куртинахъ, яркая насыпь дорожекъ, все это бросалось невольно въ глаза среди копоти и дыма, среди засоренныхъ каменнымъ углемъ черныхъ дорогъ, и какъ бы говорило, что тутъ живутъ совсѣмъ иные люди, чѣмъ въ остальныхъ домахъ. Контрастъ между бѣдностью и богатствомъ, лохмотьями и нарядностью, нигдѣ не бросался такъ сильно въ глаза, какъ здѣсь, можетъ-быть, именно потому, что нигдѣ не было собрано такого множества лохмотьевъ, какъ здѣсь. Когда Ваня подошелъ утромъ къ рѣшеткѣ садика и взглянулъ на улицу, она была сравнительно безлюдна: по ней тянулись возы, кое-гдѣ играли и рылись въ канавахъ полуголыя запачканныя дѣти, изрѣдка проходила какая-нибудь баба съ ворохомъ бѣлья, направляясь къ Невѣ. Но, тѣмъ не менѣе, улица была полна звуковъ немолчныхъ, однообразныхъ, несшихся со всѣхъ сторонъ; то гудѣли и шумѣли тысяча колесъ, паровиковъ, станковъ, сверлъ, раздувательныхъ мѣховъ, сливаясь въ какой-то однотонный и мрачный хаосъ, въ музыку современнаго фабричнаго труда. Сразу нельзя было понять, откуда идетъ шумъ—сверху, справа, слѣва, снизу,—шумѣло вездѣ, вездѣ клубами поднимался къ небесамъ дымъ, вездѣ со свистомъ выпускались пары, вездѣ въ окнахъ большихъ красныхъ зданій мелькало что-то однообразно, непрерывно, быстро двигавшееся, какъ могутъ двигаться только колеса, сверла, станки, приводимые въ движеніе паровиками. Внезапно гдѣ-то звонко, непрерывающейся трелью зазвенѣлъ колоколъ, въ другомъ мѣстѣ протяжно загудѣлъ паровой свистокъ, потомъ завылъ еще свистокъ — подальше, эти звуки лились, не смолкая, съ минуту, и улица сразу начала покрываться толпами женщинъ, мужчинъ, подростковъ и дѣвочекъ; оборванные, грязные, закоптѣлые, всклоченные, они шли группами, какъ войско нищихъ оборванцевъ; навстрѣчу имъ шло другое войско такихъ же точно людей, хотя нѣсколько умытыхъ, нѣсколько причесанныхъ; это были двѣ смѣны—одни шли съ работы, другіе шли на работу. Говоръ, шутки, брань, смѣхъ наполнили на нѣсколько минутъ воздухъ, и Ваня ясно разслышалъ нѣсколько такихъ возгласовъ, эпитетовъ, ругательствъ, которыхъ онъ не слыхалъ никогда или слышалъ только съ краской стыда на лицѣ. Минутъ черезъ пять всѣ эти люди снова исчезли въ

зданіяхъ заводовъ и въ своихъ домахъ, и снова улица приняла прежній видъ: въ канавахъ рылись и играли полуголыя дѣти, по дорогѣ тянулись возы, въ воздухѣ раздавалось гудѣнье машинъ...

Въ эту минуту дворникъ отворилъ ворота около садика, гдѣ стоялъ Ваня, и со двора выѣхала, легко катясь по песку, щегольская коляска, запряженная парой вороныхъ лошадей. Толстый кучеръ съ окладистой черной бородой сдерживалъ лошадей, покуда экипажъ не выѣхалъ на улицу. Въ колескѣ, полулежа, сидѣли очень полная дама и молоденькая дѣвушка, розовая, какъ утро яснаго весенняго дня. Обѣ онѣ были роскошно одѣты, блестя на солнцѣ стеклярусными украшеніями шелковыхъ костюмовъ и крупными брильянтами въ ушахъ и у горла. Молоденькая дѣвушка бросила на Ваню рѣзкій, пристальный взглядъ и громко спросила ѣхавшую съ ней даму:

— Это вѣрно сынъ нашего новаго конторщика?

Та, почти не поворачивая головы, бросила на него взглядъ и пожала плечами, какъ бы выражая этимъ, что она его не знаетъ.

— Должно-быть!—отвѣтила она.

Они завернули мимо садика на улицу. Дѣвочка обернулась и съ головы до ногъ осмотрѣла наглымъ взглядомъ Ваню, потомъ съ гримасой отвернулась отъ него. Кучеръ пересталъ сдерживать лошадей, и коляска понеслась, поднимая по дорогѣ облачка черноватой отъ копоти пыли.

Этотъ наглый взглядъ дѣвушки-красавицы смутилъ Ваню не менѣе тѣхъ словъ, которыя онъ уловилъ изъ устъ нѣсколькихъ рабочихъ, проходившихъ мимо него и ругавшихъ своихъ спутницъ. Этотъ взглядъ былъ оскорбительно вызывающъ, грубо дерзокъ. За одинъ такой взглядъ можно почувствовать къ человѣку вражду или презрѣніе, не зная, чего въ немъ больше—испорченности или глупости. Еще никогда и никто не смотрѣлъ на юношу такъ, даже болѣе—онъ никогда не видѣлъ, чтобы кто-нибудь такъ смотрѣлъ на кого бы то ни было. На минуту онъ растерялся отъ этого взгляда, ничего не сообразивъ, недоумѣвая. Въ какомъ-то особенно тяжеломъ настроеніи отошелъ юноша отъ выходившей на улицу рѣшетки сада, пошелъ по его аллеямъ и за домомъ, занимаемымъ его семьей, увидалъ, что къ ихъ саду примыкаетъ другой садъ, а тамъ стоитъ другой большой каменный домъ, нарядный и красивый, какъ игрушка. Въ томъ саду были качели, гигантскіе шаги, гимнастика; между

рѣшетками, отдѣлявшими эти два сада, шла не широкая дорожка къ боковымъ пристройкамъ; около рѣшетки въ хозяйскомъ саду висѣлъ изящный гамакъ. Ваня пристально взглянулъ на него и почему-то подумалъ:

— Это она здѣсь качается!

И тутъ же рѣшилъ, что онъ не будетъ ходить сюда.

— Наглянка!—проворчалъ онъ.

Ему вспомнилась сестра. Гдѣ же она будетъ играть? Тамъ, около улицы? Наслушается такихъ словъ, какихъ и не узнала бы во всю жизнь. Здѣсь? Но здѣсь эта «наглянка» отвадитъ играть. Насмѣхаться еще станетъ. Но надъ чѣмъ же насмѣхаться? Они дѣти честныхъ людей, они воспитаны, вѣрно, не хуже ея, они учатся всему, чему можно учиться въ ихъ годы. Они и вниманія обращать на нее не будутъ. Что имъ она,—не родня, не знакомая, не начальница.

— Ахъ, счастливый, ты вотъ въ саду ужъ былъ, а меня мама еще не пускаетъ!—раздался голосъ его сестры, когда онъ пришелъ домой.

— Еще набѣгаешься, погоди! — отвѣтилъ онъ, цѣлуя сестру.—А теперь, смотри, какая ты еще слабая...

Она и точно была еще очень слаба.

— Нѣтъ, я ужъ помогаю мамѣ разбираться, — сказала дѣвочка.

— Ну, и отлично. Хозяйничать опять начала большая хозяйка,—пошутилъ братъ.

Елена Васильевна заботливо разбирала домашній скарбъ. На столѣ уже шумѣлъ самоваръ. Иванъ Николаевичъ изъ своей комнаты перекидывался съ женой и дѣтьми отдѣльными фразами, устанавливая кое-какія книги на этажеркѣ. Свѣжесть комнатъ, уютная обстановка, приготовленный чай, близкіе люди, все это сразу заставило юношу развеселиться и забыть на минуту навѣянныя на него тяжелыя впечатлѣнія. Онъ былъ еще вполнѣ чистъ, благодушенъ и безпеченъ, какъ выросшій въ любящей семьѣ ребенокъ.

VI.

Ваню сильно заинтересовала новая жизнь, окружавшая его. Звонки и свистки, возвѣщавшіе смѣну рабочихъ, массы этого народа, идущаго въ урочное время на новую «запряжку», немолчные звуки машинъ въ гигантскихъ зданіяхъ заводовъ и фабрикъ, клубы дыма и пара, медленно поднимающіеся вверхъ и тающіе въ воздухѣ, приливы и отливы

людей на улицѣ въ опредѣленные часы, все, что наполняло будни въ этой мѣстности, было ему уже знакомо. Новымъ былъ только вечеръ субботы, когда онъ увидалъ массу женщинъ, толпившихся у дверей заводовъ и фабрикъ въ ожиданіи мужей, получившихъ расчетъ. Тутъ происходили сцены, вполнѣ еще не понятныя для него. Женщины какъ бы хотѣли ограбить, взять въ плѣнъ выходившихъ съ работы мужей, а эти мужья чуть не дрались съ ними, отстаивая свои получки, отвоевывая себѣ часть этихъ грошей. Перебранки принимали иногда очень острый характеръ; женщины вцѣплялись въ мужей, тѣ вырывались отъ нихъ, порой пускались въ ходъ кулаки, а подчасъ слышались рыданья. Уже къ концу субботняго дня начали раздаваться пьяные голоса гулякъ, кое-гдѣ люди сваливались въ канавки, не въ силахъ будучи удержаться на ногахъ. Откуда-то доносились буйные крики, точно кого-то убивали или кто-то грозилъ убить другихъ. Ваня вернулся домой изъ сада въ странномъ настроеніи, точно человѣкъ, впервые попавшій въ кабакъ, въ самый разгаръ разгула и буйства. Лежа въ постели, онъ еще слышалъ крики и брань, звуки гармоники и пѣсни. На утро, проснувшись, онъ увидалъ улицу захлебнувшейся народомъ. Этотъ народъ былъ одѣтъ болѣе или менѣе по-праздничному, яркіе цвѣта ситцевыхъ рубахъ и платьевъ, пестрыхъ платковъ и лентъ бросались въ глаза. Всѣ эти люди безцѣльно бродили взадъ и впередъ, сидѣли группами на крылечкахъ, на скамейкахъ, на мостикахъ, перекинутыхъ черезъ канавы. Кое-гдѣ еще чуть слышно, точно налаживаясь и настраиваясь, начали наигрывать гармоники. У закрытыхъ еще питейныхъ заведеній уже сидѣли и стояли люди, ожидающіе вожделѣннаго часа открытія этихъ заведеній, держа въ объятіяхъ большія бутыли. Все покуда дышало миромъ и тишиною отдыха и только изрѣдка этотъ миръ нарушался какимъ-нибудь одинокимъ пьянымъ возгласомъ забулдыги, не успѣвшаго проспаться еще со вчерашняго вечера. Побродивъ по саду, Ваня увидалъ слѣзавшаго съ конки, вооруженнаго пакетами и корзинками Устинова. Мальчуганъ бросился къ нему навстрѣчу.

— А, философъ!—проговорилъ Устиновъ, увидѣвъ его и здороваясь съ нимъ.—Бери отъ меня эту дрянь. Вотъ тоже навязалъ обузу и самъ не знаю, для чего. Жаришка адская, а тутъ эти пакетики, чортъ побери.

— Да зачѣмъ же вы ихъ тащили?—спросилъ съ улыбкой Ваня, обирая у Устинова его ношу.

— Да сладишь съ моей Анисьей. Попробуй! «Новоселье, говоритъ, вы первый гость и вдругъ безъ хлѣба-соли». А я и не гость вовсе... И пакетъ одинъ прорвался, апельсины повысыпались. Еще хорошо, что публика-то здѣсь въ конкахъ простенькая, услужливая, — поднимать всѣ бросились, соболѣзнуютъ. Въ городѣ-то только вышутили бы.

И, махнувъ рукой, онъ осмотрѣлся:

— А ничего, хорошо тутъ. Это ваше обиталище? Ишь ты, какими веселенькими колерами пущено.

Черезъ двѣ-три минуты, онъ уже ворчалъ въ домѣ и на жару, и на отдаленность жилища Зубковыхъ, и на затѣи Анисьи, навязавшей ему хлѣбъ-соль, и, наконецъ, напалъ на Елену Васильевну за то, что она тревожилась за свою дочь во время болѣзни послѣдней.

— Ну, чего изводили себя? Вотъ она каково вытянулась. Глазищи-то еще больше стали!

Онъ любовно взглянулъ на дѣвочку и, видя, что она улыбается ему, сдѣлалъ ей гримасу и пробормоталъ, отворачиваясь въ сторону:

— Галченокъ!

Всѣ засмѣялись. Устиновъ махнулъ рукой.

— А ну васъ!

Елена Васильевна уже хлопотала о завтракѣ. Завтракали, пили чай и кофе и обѣдали Зубковы на небольшой террасѣ, находившейся на той сторонѣ дома, къ которой примыкалъ дворъ и садъ самихъ Вощининыхъ. Устиновъ закурилъ папиросу и сталъ осматривать мѣстность.

— Это что же, хозяйскій палаццо! Ишь какихъ затѣй понадѣлали подлецы,—и гимнастика, и качели,—разсуждалъ онъ.—А это хорошо, что между ихъ садомъ и вашимъ двѣ рѣшетки и полоса двора проходитъ.

— А что?—спросила Елена Васильевна, заваривая кофе.

— Да отъ звѣрей всегда лучше подальше.

Она покачала съ упрекомъ головой и показала глазами на дѣтей. Устиновъ передернулъ плечами, точно говоря: «такъ я и стану стѣсняться».

— Ну, а ты присматривался уже немного къ дѣлу? Хищничаютъ? А?—спросилъ онъ у Ивана Николаевича.

— Вѣроятно, не знаю еще,—отвѣтилъ тотъ.—Безъ этого нельзя же...

— Да, либо самъ иди по-міру, либо другихъ пускай по-міру,—заключилъ Устиновъ.—Кто кого смога, тотъ того и за рога.

Откуда-то внезапно донеслись звуки пьянаго неистоваго крика.

— Эге, началась гульба!—проговорилъ Устиновъ.

Крики сдѣлались еще неистовѣе.

— Катай во всю!—произнесъ Устиновъ.

Елена Васильевна немного измѣнилась въ лицѣ. Съ самаго перваго дня переселенія сюда, когда она увидала въ окно Ваню стоящимъ у рѣшетки садика, ее, все еще считавшую сына ребенкомъ, начало тревожить, какихъ сценъ насмотрится, какихъ словъ наслушается ея мальчикъ. Сначала она хотѣла сказать ему, чтобъ онъ не подходилъ къ рѣшеткѣ, но это значило подстрекнуть его любопытство; разъяснять же ему, что фабричный народъ,—гулящій, испорченный, разнузданный народъ,—у нея не хватило бы духа, она знала хорошо, что прежде всего это несчастный народъ, и сочла бы грѣхомъ вселять сыну отвращеніе къ этому народу. Услышавъ восклицаніе Устинова, она замѣтила:

— Надо бы вмѣсто рѣшетки у сада сдѣлать сплошной заборъ, а то...

— Отъ улицы спрятаться хотите?—спросилъ Устиновъ.

— Неудобно,—пояснила она:—проходящіе все видятъ, что здѣсь дѣлается.

— А вы фальшивыя бумажки, что ли, дѣлаете здѣсь?—спросилъ Устиновъ.

И, угадывая настоящую ея мысль, добавилъ:

— Отъ улицы не спрячетесь, не оградитесь. Подъ стекляннымъ колпакомъ нельзя жить. Да еще и матовый пришлось бы сдѣлать, чтобъ ничего не видать. Нѣтъ, улица сама придетъ къ вамъ такъ или иначе. Противъ этого ужъ ничего не подѣлаете. Да, по правдѣ сказать, тутъ и бояться нечего, потому что ее надо знать,—все равно съ ней въ жизни считаться придется.

Ей неловко было при дѣтяхъ разъяснять Устинову, отъ чего собственно ей хотѣлось бы оградить дѣтей, собственно Ваню, такъ какъ дочь покуда играетъ только не террасѣ и находится неотлучно при ней, при матери.

Они еще не кончили завтрака, какъ на террасу вошла Софья Андреевна, шумя новымъ шелковымъ платьемъ. Она поздоровалась со всѣми, подставила дочери къ губамъ руку, перекрестила, дѣлая набожные глаза, внучатъ и тоже подставила имъ къ губамъ руку и присѣла. Она была неузнаваема. Что-то величавое и надменное было во всей ея фи-

гурѣ, точно она за эти дни получила какой-то крупный чинъ.

— А я сегодня у васъ останусь,—начала она пѣвучимъ голосомъ.—Наши ѣдутъ на цѣлый день. Звали и меня, да не расположена что-то. Отдохнуть хочется. Запировалась и такъ.

— Масленицу, что ли, въ іюлѣ справляете?—проворчалъ Устиновъ.

Софья Андреевна бросила на него сверху внизъ презрительный взглядъ.

— Я думаю, богатымъ людямъ не горбъ гнуть надъ работой; есть деньги и веселятся.

— Да иной и не съ богатства, а такъ, сдуру, веселится,— проворчалъ Устиновъ.

Онъ подошелъ къ перилamъ террасы и сталъ смотрѣть безцѣльно въ пространство. На дворѣ, налѣво отъ сада Зубковыхъ, оканчивали запрягать лошадей въ коляску. Въ саду хозяевъ дома, въ гамакѣ, полулежала нарядно одѣтая дѣвушка и неторопливо натягивала новыя перчатки. Она черезъ плечо смотрѣла въ садъ Зубковыхъ, чуть-чуть покачиваясь въ сѣткѣ. Вся ея фигурка, поворотъ головы, взглядъ имѣли что-то вызывающее, точно она хотѣла сказать кому-то: «любуйтесь мною; смотрите, какова я; гдѣ вамъ сравняться со мною».

— А это что за кукла?—спросилъ Устиновъ у стоявшаго подлѣ него Вани.

— Это падчерица Александра Константиновича,—отвѣтилъ юноша, не глядя на нее.

Устиновъ уловилъ это и сказалъ:

— Да ты не видишь, про кого я спрашиваю.

Ваня отвѣтилъ:

— Про кого же, какъ не про нее... Постоянно мозолитъ глаза... Именно кукла...

Устиновъ пошутилъ:

— Что же, на ножахъ уже?

Ваня оторопѣлъ. Онъ самъ не отдавалъ себѣ отчета въ томъ, что онъ возненавидѣлъ эту дѣвушку, не зная еще ея. Онъ поспѣшилъ сказать:

— Мы не знакомы вовсе... Я только видѣлъ...

Устиновъ похлопалъ его по плечу.

— Ничего, философъ, не конфузься... Есть люди, которыхъ и знать не нужно, чтобы плевать на нихъ...

На подъѣздъ въ это время вышли изъ хозяйскаго дома

молодой человѣкъ лѣтъ двадцати съ небольшимъ, одѣтый по послѣдней модѣ съ большимъ вкусомъ и разсчетливой простотой, потомъ очень полная дама въ блестящимъ съ стеклярусными украшеніями шелковомъ нарядѣ и, наконецъ, Александръ Константиновичъ, смотрѣвшій не то принарядившимся щеголемъ-приказчикомъ, не то приверженцемъ эксцентричной пестроты англичаниномъ. Дама крикнула:

— Лида, мы ѣдемъ!

Дѣвушка, качавшаяся въ гамакѣ, поднялась съ мѣста и неторопливо, съ напускной лѣнью, пошла къ экипажу. Лакей во фракѣ и перчаткахъ держалъ ея легкую накидку. Молодой человѣкъ—ея братъ, обратился къ ней и, указывая глазами на домъ Зубковыхъ, что-то серьезно замѣтилъ ей. Она громко отвѣтила:

— Я, кажется, въ своемъ саду.

Онъ пожалъ плечами и опять что-то замѣтилъ ей.

— Значитъ, теперь и говорить громко нельзя?—проговорила она.

Онъ опять что-то отвѣтилъ ей.

Его лицо выражало серьезность, сдержанность. Она вспыхнула и отвернулась отъ брата.

Всѣ они стали усаживаться въ коляску. Александръ Константиновичъ кивнулъ головою въ сторону Зубковыхъ и нѣсколько разъ махнулъ рукою, какъ бы посылая имъ привѣтъ. Елена Васильевна и Иванъ Николаевичъ поклонились ему. Замѣтивъ ихъ поклоны, молодой человѣкъ почтительно приподнялъ шляпу и тоже поклонился имъ. Это былъ немного чопорный и церемонный поклонъ незнакомаго человѣка, считающаго долгомъ изъ вѣжливости отвѣтить на чужой поклонъ, не зная даже, ему ли кланяются или не ему.

— Что это гувернеръ у нихъ какой-нибудь?—спросилъ Устиновъ.

— Нѣтъ, это пасынокъ Александра,—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ.—Недавно пріѣхалъ изъ-за границы. Тамъ воспитывался.

— То-то онъ и не похожъ на русскаго,—сказалъ Устиновъ и запѣлъ:—Простой цвѣточекъ дикій нечаянно попалъ въ одинъ пучокъ съ гвоздикой...

Иванъ Николаевичъ замѣтилъ:

— Этотъ человѣкъ заинтересовалъ меня сразу.

— А что?..

— Да какъ тебѣ сказать. Сдержанъ, вѣжливъ, аккуратенъ, холоденъ, а за плечами всего двадцать одинъ годъ.

— Болванчикъ?

— Ну, не говори. Уменъ и даже очень уменъ. Раза два во время короткаго разговора, я уловилъ такое тонкое остроуміе, что любо-дорого. И вѣдь какъ острить: мускулъ не дрогнетъ, въ глазахъ улыбка не промелькнетъ.

Софьѣ Андреевнѣ показалось, что Иванъ Николаевичъ превозноситъ пасынка Александра Константиновича, и она не выдержала:

— Да ужъ нечего сказать, глазомъ не сморгнетъ, а безъ ножа зарѣжетъ.

Устиновъ засмѣялся.

— Эге-ге! значитъ, бабушку за живое задѣло!—фамильярно проговорилъ онъ.

Она бросила на него величественный взглядъ.

— Кажется, я не для всѣхъ бабушка,—сухо отвѣтила она и отвернулась, не желая продолжать говорить съ грубіяномъ.

— Это я потому, что мои-то померли, царство имъ небесное,—проговорилъ онъ.

Она промолчала, не обращая болѣе на него вниманія.

А между тѣмъ ее такъ и подмывало поговорить о пасынкѣ Саши. Она обратилась къ Еленѣ Васильевнѣ, уже принявшейся за шитье, и стала говорить въ полголоса:

— Твой Иванъ Николаевичъ-то еще узнаетъ, что за гусь нашъ Джоржъ. Вотъ ужъ правда, что въ семьѣ не безъ урода. Сама—купчиха, какъ купчиха: нагуляла тѣло, ну, и дуритъ—по уши въ Сашу врѣзалась и на все для него готова, а помимо этого—ни рыба, ни мясо. Лида—дѣлай по ея, такъ изъ нея можно веревки вить; норовy много, а по шерсти гладишь—верхомъ на ней ѣзди. Объ Сашѣ я не говорю—онъ мнѣ всѣмъ обязанъ, онъ меня ублажаетъ. Ну, а Джоржъ—прежде-то Егорашей его просто звали, какъ мнѣ нянька его говорила, а теперь въ Джоржи произвелъ себя,—ну, это змѣя очковая. Ни въ поведеніи, ни въ туалетѣ, ни въ разговорѣ ни сучка, ни задоринки, а ой-ой-ой, трудно на него потрафить. Мать третьяго дня разнѣжилась и стала Сашу ласкать, кудри его гладить. Извѣстно, влюбленная, какъ кошка, жена да еще по лѣтамъ старѣе мужа. Что-жъ ты думаешь, нашъ Джоржъ оборвалъ разговоръ на половинѣ, всталъ и ушелъ, оставивъ все общество. Хорошо? Вчера тоже, лакей въ несовсѣмъ свѣжихъ перчаткахъ подавалъ обѣдъ—Джоржъ ни слова не сказалъ, а только взглянулъ сперва на перчатки, а потомъ въ лицо лакея—

такъ тотъ поблѣднѣлъ даже и черезъ минуту уже въ чистыхъ былъ.

И вдругъ, оборвавъ разговоръ, она уже шипящимъ тономъ заговорила о самомъ чувствительномъ для нея эпизодѣ:

— Я на-дняхъ начала разговаривать, какъ прежде дворню въ рукахъ держали и драли. Къ слову пришлось — такъ какъ объ испорченности прислуги рѣчь зашла. Вдругъ Джоржъ уставилъ на меня глаза и указалъ мнѣ взглядомъ на лакея. Да, понимаешь, такъ, что я даже замолчала. Ну, вышелъ лакей, я и спрашиваю: «Что вы мнѣ, Егоръ Егоровичъ, за знаки дѣлали глазами?» А онъ: «Вы говорили при лакеѣ такія вещи, что васъ можетъ возненавидѣть прислуга». А я ему: «Ужъ не думаете ли вы, что я друзей между холопами ищу?» А онъ: «Вамъ же неудобно будетъ, если живущая у насъ прислуга будетъ безъ уваженія смотрѣть на васъ». Да такъ это сказалъ, такъ точно отрѣзалъ: «ты, молъ, не думай, что мы слугъ изъ-за тебя смѣнимъ». Это хамовъ-то, хамовъ не смѣнятъ изъ-за меня-то. А? каковы?

Елена Васильевна тоскливо молчала. Она знала, что возражать матери безполезно. Она была рада только тому, что никто не слышитъ старуху. Дѣвочка сидѣла въ саду и читала. Устиновъ, Иванъ Николаевичъ и Ваня ушли гулять.

Они перешли къ Невѣ, и Устиновъ невольно замѣтилъ:

— А, право, хорошо у васъ тутъ. Если не деревня, то и не столица.

— Пьяныхъ только много,—сказалъ Ваня.

— Въ праздники столько же, какъ и вездѣ, а въ будни меньше, чѣмъ гдѣ-нибудь,—отвѣтилъ Устиновъ.

Юноша посмотрѣлъ на него вопросительно. Онъ пояснилъ:

— Господа пьютъ дома или въ гостяхъ и запертыхъ комнатахъ трактировъ и, натрескавшись, ѣдутъ домой въ своихъ экипажахъ или на извозчикахъ. Ну, а здѣсь пьютъ въ открытыхъ кабакахъ и бредутъ пьяные по улицѣ, такъ какъ своихъ экипажей нѣтъ, а на извозчиковъ нѣтъ денегъ.

Онъ похлопалъ юношу по плечу.

— Будешь взрослымъ—увидишь, что приличные люди всякаго рабочаго перещеголяютъ въ кутежѣ. Денегъ у нихъ больше на это. Ну, а что касается галдѣнія, такъ пьяный, кто онъ ни будь, всегда галдитъ; только порядочные люди знаютъ даже въ пьяномъ видѣ, что галдѣть надо дома, а не на улицѣ...

Онъ засмѣялся.

— Вотъ этотъ... какъ его... пасынокъ-то Александра Константиновича... напой его, такъ и онъ такія колѣнца начнетъ откалывать...

Иванъ Николаевичъ усмѣхнулся.

— Желалъ бы я это видѣть,—сказалъ онъ:—Джоржъ—и колѣнца откалываетъ. Нѣтъ братъ, онъ даже и не пьетъ, мнѣ кажется...

Устиновъ разсердился, точно его за живое задѣли.

— Да что-жъ онъ не человѣкъ, что ли? Всѣ пьютъ. Гдѣ эти святые, что дали обѣтъ трезвости? Вотъ тоже выдумалъ!

— Да развѣ нельзя не пить?—спросилъ Ваня.—Это же хорошо, не пить, трезвымъ быть?

— Хорошо! хорошо!—разсердился Устиновъ.—Кто тебѣ говоритъ, сорока, что дурно? Я только говорю, что трудно не пить. Вотъ что. Что-жъ, исключеніе какое, что ли, пресловутый вашъ Джоржъ? Выдумали.

Иванъ Николаевичъ пожалъ плечами.

— Можетъ-быть, что и такъ.

— Я его очень уважаю за это,—серьезно сказалъ Ваня.

— Ахъ, ты шписъ! Уважаю! Туда же судью разыгрываетъ!

Онъ остановился и постучалъ палкою.

— А вотъ помяните мое слово, настрескается онъ еще, какъ скотина, тогда и увидите...

— Да намъ-то что?—спросилъ Иванъ Николаевичъ, смѣясь.—Мы даже и не знакомы. Я ему еще и представленъ порядкомъ не былъ до вчерашняго дня.

Ваня задумчиво проговорилъ:

— А я хотѣлъ бы посмотрѣть на него поближе... Такой человѣкъ... хорошо ведетъ себя, сдержанъ, не пьетъ...

И наивно спросилъ:

— Онъ, папа, не изъ секты?

— Изъ какой секты?—спросилъ отецъ.

— Я читалъ... секты есть такія, обѣтъ даютъ всѣ воздерживаться... Это вѣдь хорошо?

Устиновъ искоса взглянулъ на него.

— Вступить въ нее, что ли, хочешь?.. Вонъ у насъ есть мѣнялы...

Иванъ Николаевичъ дернулъ его за полу. Тотъ остановился на полусловѣ и совсѣмъ сердито заворчалъ:

— Отъ земли клопа не видно, а ужъ толкуетъ: «Секта! воздержаніе! трезвость!»

Зубковъ поспѣшилъ перемѣнить разговоръ, но Устиновъ долго оставался не въ духѣ. Только къ обѣду, проголодав-

шись и пропустивъ рюмочку, онъ немного развеселился, началъ подшучивать и «изводить бабушку». Часовъ въ семь онъ заторопился домой — дальній конецъ, когда-то доберешься домой.

Дѣйствительно, конецъ былъ дальній, а главное бѣда въ томъ, что приходилось дѣлать много пересадокъ изъ конки въ конку и на мѣстахъ каждой пересадки какъ разъ приходились или трактиръ, или портерная. Жажда являлась адская—воздухъ ужъ такой душный былъ—и приходилось промачивать горло пивкомъ.

Часовъ въ одиннадцать Устиновъ не безъ труда нащупалъ дверь своей квартиры, позвонилъ, вошелъ къ себѣ и, встрѣченный своей кухаркой и домоправительницей Анисьей, бабенкой бѣлой, плотной и курносой, началъ ей разсказывать о своихъ похожденіяхъ, о семьѣ Зубовыхъ, о ихъ квартирѣ. Среди этихъ разговоровъ онъ, вспомнивъ, что Ваня къ слову сказалъ о своемъ отвращеніи къ пьянству и о необходимости воздержанія, возвращался все къ одной и той же мысли.

— И клопъ, отъ земли не видно его, говоритъ: «воздержаніе! трезвость! секта!» Я себѣ голову объ стѣну разбивалъ за то, что я вотъ пью, а онъ, клопъ, проповѣдуетъ...

Онъ постучалъ кулакомъ по столу:

— Нѣтъ, ты скажи, Оня, могу ли я быть воздержанъ? Могу? Люди подлецы, жизнь подлая, вздохнуть свободно теперь нельзя, по душѣ поговорить не смѣй, а онъ говоритъ: «воздержаніе!» «трезвость!» «секта!» Клопъ, не жилъ, а проповѣдуетъ...

Онъ начиналъ плакать. Она приласкала его, какъ ребенка.

— Все отъ Бога!—проговорила она.

— Это ты вѣрно, добрая ты душа! Отъ Бога! Я головой объ стѣну колотился, когда впервые натрескался съ горя, среди прохвостовъ опрохвостился. Я плакалъ, точно невинность потерялъ. А онъ, клопъ, отъ земли его не видно, говоритъ: «секта!» «трезвость!» «воздержаніе!» Мы люди, Оня. Люди! Въ грѣхахъ родились, въ грѣхахъ и умремъ! И времена-то какія. Бога въ человѣкѣ не стало; брюхо одно осталось, и оретъ оно, это брюхо: «жрать, жрать, жрать!» Воруй, грабь, рѣжь, насилуй, только бы его ублаготворить, чтобы его не крючило, чтобы его не подводило! А каково на это смотрѣть и знать, что иначе не будетъ, что иначе не можетъ быть—хуже будетъ, а иначе не будетъ!

Она тоже всплакнула. Ее всегда пробирали его жалкія слова. За нихъ она и любила его, сердечнаго человѣка...

VII.

Если жизнь въ новой обстановкѣ пробудила въ Ванѣ новыя ощущенія, новыя мысли, то еще болѣе новаго извѣдалъ онъ, пускаясь почти ежедневно послѣ окончанія экзаменовъ въ отдаленныя прогулки.

Переѣхавъ на лодкѣ черезъ Неву, онъ попадалъ въ колоніи нѣмцевъ. Дюжіе, загорѣлые мужчины, скорѣе похожіе на бюргеровъ, чѣмъ на крестьянъ, въ суконной одеждѣ, въ высокихъ сапогахъ, съ пипками или сигарами въ зубахъ; колонистихи, краснощекія, плотныя, въ оригинальныхъ головныхъ уборахъ, въ платьяхъ стариннаго нѣмецкаго покроя, дородныя и сильныя; крѣпыши дѣти, одѣтыя такъ же, какъ и ихъ отцы и матери, преждевременно степенныя и серьезныя; чистыя комнаты съ старинной тяжелой мебелью и постелями, доходящими чуть не до потолка отъ массы перинъ и подушекъ; библіи, старинныя и разбухнувшія, въ темныхъ кожаныхъ переплетахъ, лежащія на какомъ-нибудь столикѣ или комодѣ въ почетномъ углу, на чистыхъ скатертяхъ; половики, то бѣлые, то сотканные изъ разноцвѣтныхъ обрѣзковъ; ковры изъ шерстяныхъ лоскутковъ у диванова; преобладаніе густыхъ и гортанныхъ голосовъ даже у дѣвушекъ; всеобщая грубоватость, сухость и черствость въ отношеніи къ чужимъ, къ постороннимъ, все это производило какое-то странное впечатлѣніе на юношу, точно онъ былъ не въ Россіи, а за границей. Здѣсь не было ничего русскаго, сюда все—одежды, обычаи, нравы—было принесено изъ чужой стороны, ничто старое «свое» не забылось, ничто новое «чужое» не привилось,—развѣ только иногда какой-нибудь нѣмецъ-колонистъ ругалъ по-русски работника отборной русской бранью.

Перебравшись отъ колонистовъ на другой берегъ въ русскія деревни, Ваня видѣлъ не то городскую, не то деревенскую жизнь: русскіе сѣрые кафтаны являлись бокъ-о-бокъ съ «пэнджаками», надѣтыми поверхъ ситцевыхъ рубахъ; синій домодѣльный сарафанъ старухи-бабы являлся рядомъ съ городскимъ платьемъ дѣвушки въ шумящихъ накрахмаленныхъ юбкахъ; городская мебель стояла на ряду съ деревенской лавкой; владѣлецъ «пэнджака» украшалъ карманъ пестрымъ носовымъ платкомъ и сморкался въ руку; въ иномъ домѣ все было на городской ладъ, а ребятишки бѣгали босые, полуголые, грязные; отборная общерусская ругань, этотъ словарь всѣхъ оттѣнковъ разнузданъ-

ности и разврата—дополнялась здѣсь риѳмованнымъ цинизмомъ фабричной пѣсни и галантерейными сальностями писарскихъ анекдотовъ. Отъ захолустной деревни здѣсь уцѣлѣло все худшее; отъ города привилось только внѣшнее щегольство и бахвальство.

И тутъ же рядомъ—стоило только подойти къ берегу—являлись нерѣдко дѣти настоящей деревни, сѣрый, трудовой народъ, плывшій на баркахъ, тянувшій суда бечевой, загорѣлый на солнцѣ, съ обвѣтренной кожей, съ мозолистыми руками, иногда истощенный и заморившійся въ непосильной работѣ; порой виднѣлся лапоть на мужикахъ, иногда бросались въ глаза грубые мужицкіе сапоги на бабѣ, походившей по фигурѣ, по складу лица, по силѣ на мужика; привычно равнодушное выраженіе лицъ, однотонное пѣніе идущихъ по берегу подъ лямкой, однообразныя «от-ча-а-ливай», «пр-ча-а-ливай!», доносящіяся съ барокъ, все это было бѣдно и скудно содержаніемъ, оттѣнками, красками. Когда, отеревъ рукавами синихъ вылинявшихъ рубахъ крупныя капли пота съ мѣдно-красныхъ отъ загара лицъ и широко осѣнившись крестнымъ знаменіемъ, эти люди садились, подобравъ подъ себя ноги, на помость барки вокругъ деревянной общей чашки съ скудной холодной похлебкой, въ головѣ невольно мелькала мысль: «вотъ человѣкъ, которому завѣщано въ потѣ лица добывать хлѣбъ свой».

Цѣлые часы могъ проводить Ваня, присматриваясь къ этой жизни, и сотни вопросовъ, размышленій, представленій тѣснились въ его мозгу. До этой поры онъ только училъ написанное въ книгахъ; теперь ему приходилось разбираться безъ руководителей въ сложной книгѣ жизни. Онъ сразу какъ будто выросъ и возмужалъ умственно.

Полный новыхъ впечатлѣній, онъ возвращался домой и, разсказавъ по привычкѣ матери и отцу, гдѣ былъ и что видѣлъ, удалялся въ свою комнату, чтобы приняться за чтеніе какой-нибудь книги. Онъ садился къ окну, открывалъ книгу, начиналъ читать. Иногда онъ взглядывалъ въ окно, завѣшенное тюлевой занавѣской, и, невидимый снаружи, видѣлъ почти неизмѣнно одну и ту же фигуру качающейся въ гамакѣ дѣвушки. Порой у нея въ рукахъ бывала неразвернутая книга, чаще же всего не было даже и книги. Она качалась, мѣняя граціозно позы, потягиваясь и слегка зѣвая, бросая отъ времени до времени взглядъ на домъ, гдѣ жили Зубковы. Ваня всматривался въ нее, задумывался о ней. Да развѣ можно такъ всю жизнь про-

жить? Одурь возметъ. Сойти съ ума отъ тоски можно. Самъ не зная почему, онъ начиналъ сердиться на нее и говорилъ о ней словами Устинова, которому въ одно изъ воскресеній она надоѣла своимъ качаніемъ въ гамакѣ:

— Свинью когда откормятъ, такъ у нея только и дѣла, что съ боку на бокъ переваливаться.

Потомъ онъ сердился на себя.

— Мнѣ-то что до нея за дѣло? Завидно, что ли, что она ничего не дѣлаетъ! Подражать ей стараюсь: книгу взялъ, а вмѣсто чтенія на нее глаза пялю!

Онъ отворачивался отъ окна, начиналъ читать, а тамъ за окномъ въ сосѣднемъ саду продолжала граціозно качаться эта дѣвочка, бросая взгляды на домикъ Зубковыхъ, точно спрашивая, видятъ ли ее, любуются ли ею.

Елена Васильевна рѣшила съ самаго начала, что сблизиться съ семьей Александра Константиновича она не будетъ. Тѣмъ не менѣе она понимала, что игнорировать вполнѣ семью хозяина-родственника нельзя. Простая вѣжливость требовала того, чтобы хотя кланяться и говорить при встрѣчахъ съ членами этой семьи. Къ тому же въ этой семьѣ жила теперь мать Елены Васильевны. Но Елена Васильевна умѣла выходить изъ подобныхъ затруднительныхъ положеній. Встрѣтившись случайно съ женой Александра Константиновича, Ольгой Давыдовной, она сразу осторожно и вѣжливо дала понять той, что она домосѣдка, что она не считаетъ возможнымъ тѣсное сближеніе съ людьми богатыми, что она видитъ прежде всего въ семьѣ Александра Константиновича хозяевъ, а не родственниковъ. Въ ея словахъ были сдержанность, вѣжливость, сознаніе настоящаго значенія своего положенія. Ольга Давыдовна уловила не это въ ея словахъ, а смиреніе «жены служащаго у нихъ на заводѣ» и осталась этимъ довольна. Она любила, когда ей особенно низко кланялись низшіе и когда въ церкви ей уступали почтительно первое мѣсто. Это была женщина изъ дюжинныхъ натуръ, не надѣленныхъ ни крупнымъ умомъ, ни твердымъ характеромъ, ни чуткимъ сердцемъ. Лицо Ольги Давыдовны было заурядпымъ лицомъ русской купчихи: круглое съ плоскимъ лбомъ, съ безформеннымъ мясистымъ носомъ, съ круглыми большими глазами, выражавшими недоумѣвающую сонливость, покуда ихъ не оживляли животныя ощущенія, мелкія сплетни и дрязги, мелочно злыя раздраженія. Во всей ея фигурѣ сказывался избытокъ мяса и жира. Это расплывшееся тѣло, казалось,

силилось разорвать всѣ швы ея нарядовъ, выбиться изъ подъ безчисленныхъ колецъ и браслетовъ, отягощавшихъ ея руки. На видъ ей можно было дать и тридцать, и пятьдесятъ лѣтъ. Вѣроятно, въ тридцать лѣтъ она была такою же, и такою же будетъ въ пятьдесятъ.

— Я знаю, что вамъ не до пировъ,—сказала она въ отвѣтъ Еленѣ Васильевнѣ:—но когда-нибудь запросто милости просимъ къ намъ. Теперь разстояніемъ нельзя оговариваться, сосѣдями стали. Заходите. Все же мы не чужіе.

Елена Васильевна поблагодарила ее за приглашеніе и вздохнула облегченной грудью, понявъ, что эта разнаряженная купчиха не будетъ особенно настаивать на знакомствѣ съ какою-то скромною «женой бухгалтера», и пожалуй, даже будетъ довольна, что эта бѣдпота не лѣзетъ въ родню къ ней и знаетъ свое мѣсто. Вощинина даже милостиво освѣдомилась у Елены Васильевны о томъ, чѣмъ занимается послѣдняя.

— Хозяйство, воспитаніе дѣтей,—отвѣтила Елена Васильевна:—въ свободное же время шью, вышиваю.

— Да кстати!—сказала Ольга Давыдовна.—Матушка ваша говорила, что вы отлично шьете бѣлье. Я прежде этого не знала...

Елена Васильевна сказала, что точно она не дурно шьетъ.

— Такъ я васъ попрошу взять работу у меня...

Елена Васильевна обрадовалась, инстинктивно угадавъ, что именно это обстоятельство еще болѣе положитъ преграду къ знакомству: съ швеями не знакомятся, не сближаются.

Вернувшись домой, Ольга Давыдовна говорила за столомъ, что ей очень понравилась Елена Васильевна.

— Сейчасъ видно, что умѣетъ держать себя и знаетъ свое положеніе,—разсуждала она.—Другая на ея мѣстѣ носилась бы съ тѣмъ, что она родня тебѣ,—обратилась она къ мужу.

— Леля женщина хорошо воспитанная и съ тактомъ,—проговорилъ Александръ Константиновичъ.

— Нужда-то выучитъ голову гнуть,—замѣтила Софья Андреевна и вздохнула отъ огорченія.—Вотъ ужъ не думала я, что моя дочь когда-нибудь дойдетъ до такого состоянія, горе мыкать будетъ съ какимъ-то нищимъ...

Александръ Константиновичъ вступился:

— Иванъ Николаевичъ достойный уваженія человѣкъ. А если онъ не капиталистъ, такъ не всѣмъ же быть капиталистами.

— Ахъ, Саша, ты по своей добротѣ за всѣхъ готовъ заступаться, а мать—я слезами обливалась, видя, до чего довелъ мою дочь почтеннѣйшій Иванъ Николаевичъ. Прежде—царица была, взглядъ одинъ чего стоилъ, а теперь вотъ она и дорогой нашей Ольгѣ Давыдовнѣ созналась, да и мнѣ не разъ говорила, что она знаетъ свое положеніе, не считаетъ возможнымъ лѣзть не въ свой кругъ, должна сторониться отъ порядочнаго общества. Она-то? На то ли я ее такъ воспитывала? На трехъ языкахъ говоритъ, играетъ à livre ouvert, пѣла... Да за одно ея пѣніе жандармскій полковникъ руку ей предлагалъ. Потомъ генераломъ онъ по третьему-то отдѣленію числился. А она что...

Старуха махнула рукой.

— Извѣстно, вицая, швея, батрачка въ домѣ...

Егоръ Егоровичъ взглянулъ пристально на старуху.

— Все это дѣлаетъ ей честь, если она работаетъ, чтобы не сидѣть на чужой шеѣ,—сухо проговорилъ онъ.—Трудящійся бѣднякъ всегда заслуживаетъ уваженія, и ужъ, разумѣется, не ему нужно краснѣть передъ разными живущими у другихъ на содержаніи господами.

Его круглые свинцовые глаза смотрѣли въ эту минуту какъ-то такъ, что и Софьѣ Андреевнѣ, и Александру Константиновичу показалось, что онъ смотритъ именно на нихъ.

— Ахъ, дорогой Егоръ Егоровичъ,—воскликнула Софья Андреевна слащавымъ, пѣвучимъ голосомъ:—вы говорите, какъ молодой человѣкъ, по книжкамъ, а въ жизни не то, въ жизни бѣдность—порокъ, въ жизни говорится: «что твоя честь, коли нечего ѣсть», въ жизни отъ бѣдности и труда человѣкъ принижается, достоинство свое теряетъ...

Егоръ Егоровичъ пожалъ слегка плечами:

— Нахальство живущихъ у другихъ на содержаніи тоже не заслуга. Лучше уже быть скромнымъ труженикомъ, чѣмъ Альфонсомъ; лучше быть швеей, чѣмъ приживалкой.

И тѣмъ же ровнымъ голосомъ, какъ бы обсуждая отвлеченный вопросъ, онъ прибавилъ:

— И никогда никакому труженику или труженицѣ не придется такъ унижаться, какъ этимъ господамъ. Послѣдніе не смѣютъ признаться даже въ томъ, какую роль они играютъ.

Онъ говорилъ отчетливо, съ невозмутимо спокойнымъ выраженіемъ на лицѣ.

Александръ Константиновичъ побагровѣлъ; его глаза сдѣлались злыми и метали молніи. Онъ нетерпѣливо прикрик-

нулъ на лакея, что медленно подаютъ кушанья, забушевалъ за дурно приготовленный салатъ. Ольга Давыдовна по тону его голоса почуяла, что у него въ душѣ поднялась буря, и струсила. Она уже знала впередъ, что послѣ обѣда ей придется выдержать сцену.

Дѣйствительно, едва кончился обѣдъ, какъ Александръ Константиновичъ шумно отодвинулъ стулъ и поторопился уйти въ свой кабинетъ. Ольга Давыдовна сначала прошла въ свой будуаръ, походила тамъ въ раздумьи, не зная, что дѣлать—идти къ мужу, значитъ вынести грозу; не идти къ нему—онъ будетъ дуться до тѣхъ поръ, пока не сдѣлаетъ ей, въ концѣ концовъ, сцены. Лучше ужъ разомъ кончить. Она пошла къ нему.

Онъ сидѣлъ у письменнаго стола, запустивъ руки въ свои бѣлокурые кудри. Она подошла къ нему и окликнула его.

— Что вамъ?—воскликнулъ онъ гнѣвно.—Пришли полюбоваться, каково мнѣ? Да? Вашъ сынъ даетъ мнѣ пощечины? Я на содержаніи у васъ. Я Альфонсъ! Я объѣдаю васъ... Да не я одинъ. Моя тетка, поднявшая меня на ноги, тоже вашъ хлѣбъ ѣстъ! Это мнѣ бросаютъ въ лицо, зная, что я не смѣю оправдываться.

— Саша, полно!—молила Ольга Давыдовна.—Ты же хозяинъ здѣсь. Ты мой мужъ.

— Мужъ! мужъ! Я кокотка, вотъ что я въ глазахъ вашего сына! А, будь проклятъ тотъ день, когда я васъ встрѣтилъ! Я былъ бѣденъ, но никто не смѣлъ меня попрекать; я бы за первую дерзость тогда шею свернулъ человѣку. А теперь? Что я могу возражать? Ну, да, вы взяли меня на содержаніе, потому что иначе не смотрятъ на мужа, который бѣденъ, который моложе жены. О, если-бъ можно было начать жить сначала!

Онъ опять запустилъ пальцы въ волосы и заплакалъ. Ольга Давыдовна совсѣмъ растерялась. Когда онъ плакалъ,—а онъ, какъ капризный ребенокъ, нерѣдко прибѣгалъ къ помощи слезъ,—она совершенно теряла разсудокъ и готова была ползать передъ нимъ на колѣняхъ. Она начала ублажать его, какъ больного ребенка, цѣлуя его въ голову, цѣлуя его руки.

— Саша, голубчикъ, возьми все мое, все возьми,—говорила она.—У меня же свое состояніе. До него нѣтъ никому дѣла. Вѣдь ты мой мужъ. Мы любимъ другъ друга—что-жъ кому за дѣло до остального.

— А почему я знаю, что и ты не такъ же смотришь

на меня?—говорилъ онъ, всхлипывая.—Тоже, можетъ-быть, думаешь, что ради денегъ пошелъ на содержаніе, ради того живу съ тобой, что боюсь обнищать...

— Саша, побойся Бога! Да я все, все готова отдать тебѣ!

— Ахъ, тяжело, тяжело мнѣ!

— Ну, успокойся! Не обращай ни на кого вниманія! Если надо, я дѣтей брошу для тебя. Вѣдь я твоя жена, я тебя люблю.

Онъ поднялъ голову и уже лукаво взглянулъ на нее масляными глазами.

— Очень!

Она бросилась обнимать его.

Уже не въ первый разъ переживала она эти сцены и каждый разъ одинаково боялась, что вотъ-вотъ онъ, ея Саша, уйдетъ,—броситъ все и уйдетъ, оскорбленный грубостями Джоржа. Каждый разъ, послѣ этихъ семейныхъ бурь, она еще болѣе страстно привязывалась къ Александру Константиновичу и не знала, чѣмъ одарить его, какъ вознаградить его за то, что онъ переносилъ изъ-за нея и не уходилъ. Самъ Александръ Константиновичъ послѣ этихъ сценъ чувствовалъ себя лучше, сильнѣе, независимѣе. Онъ даже не боялся того, что Джоржъ откажется отъ его попечительства, такъ какъ у него теперь въ рукахъ было порядочное состояніе.

Не безъ душевной бури прошла обѣденная сцена и для Софіи Андреевны; возмущенная намеками Егора Егоровича, старая барыня собралась вечеромъ къ дочери, чтобы излить тамъ на свободѣ свои чувства. Съ первыхъ же словъ она начала бранить Еленѣ Васильевнѣ Егора Егоровича, какъ наглеца, какъ грубіяна, какъ человѣка, который еще покажетъ себя.

— Прямо не смѣетъ дѣлать дерзости, такъ язвить намеками,—раздражалась она.—Съ дѣтства онъ уже смотритъ на Сашу, какъ на врага.

— Очень жаль,—замѣтила Елена Васильевна:—что Саша не дома воспиталъ мальчика и не пробудилъ въ немъ чувства привязанности.

— Ахъ, мать моя, кажется, Саша все сдѣлалъ, чтобъ изъ Егора Егоровича вышелъ образованный человѣкъ!—запальчиво возразила мать.—Онъ долженъ бы цѣнить это...

Елена Васильевна пожала плечами.

— И для этого его ребенкомъ отдали въ заграничный пансіонъ, удалили изъ родной семьи, оставили на чужихъ рукахъ.

Старуха загорячилась еще болѣе.

— А ты бы спросила, что это былъ за ребенокъ своевольный, капризный, необузданный. Гдѣ же было съ нимъ справиться дома? Въ чужихъ краяхъ его хоть обуздали. Чортъ-то въ немъ и теперь сидитъ, такъ хоть внѣшнимъ образомъ вышколили его. И за то спасибо. Будь онъ здѣсь воспитанъ, такъ онъ въ драку лѣзъ бы теперь съ Сашей. Вѣдь я чую, что его грызетъ: боится, что Саша подобралъ кое-что къ рукамъ изъ его богатства. Ну, а если бы и такъ, то что за бѣда? Мало ему, что ли, останется? Слава Богу, на всѣхъ у нихъ хватитъ.

Иванъ Николаевичъ, сидѣвшій тутъ же, бросилъ на жену мимолетный взглядъ, точно говоря ей: «что, не правъ ли я?»

Когда старуха ушла, онъ обратился къ женѣ и, ходя по комнатѣ, потирая руки, заговорилъ:

— Я угадалъ, значитъ! Недаромъ вчера Егоръ Егоровичъ спросилъ меня: «Ну, удалось ли вамъ разобраться въ нашихъ книгахъ?» Я сказалъ, что болѣе или менѣе разобрался... «И что же, все въ порядкѣ?» спросилъ онъ и пристально уставился на меня глазами. Я даже смутился, точно не все было въ порядкѣ, и отвѣтилъ: «Насколько мнѣ удалось все провѣрить,—все въ порядкѣ». Онъ многозначительно проговорилъ: «Я на васъ надѣюсь, какъ на вполнѣ честнаго человѣка».

Зубковъ заволновался еще сильнѣе.

— Знаешь, я сегодня всю ночь почти не спалъ послѣ этого разговора. Полѣзла всякая мерзость въ голову. Хорошо ли я все провѣрилъ? Не подтасованы ли цифры? Нѣтъ ли дутыхъ цифръ? Покупка одной машины меня смутила; расходъ на покупку внесенъ въ книгу, а оправдательныхъ документовъ нѣтъ. Я спрашивалъ ихъ у Александра. «Отыщу», говоритъ. Тѣмъ и кончилось. Ну, а если Егоръ Егоровичъ вздумаетъ провѣрить? Что я скажу? Сегодня я опять напомнилъ Александру объ этихъ документахъ. А онъ смѣется: «Да чего ты пристадъ ко мнѣ!» Я и брякнулъ: «А если Егоръ Егоровичъ вздумаетъ провѣрить?» Онъ растерялся. «Ты, говоритъ, думаешь?» Я говорю: «Не думаю, а увѣренъ, что рано или поздно онъ все станетъ провѣрять». Заходилъ онъ по комнатѣ, посвистывая. Потомъ остановился передо мною и спросилъ меня: «Значитъ, ты убѣжденъ, что онъ не довѣряетъ?» Я отвѣтилъ утвердительно. Онъ опять заходилъ по комнатѣ и на-

чалъ ругать моего предшественника: «Это онъ потерялъ оправдательные документы, рохля: такъ пять тысячъ изъ своего кармана придется платить». Потомъ опять остановился передо мною и говоритъ: «А Егоръ Егоровичу не дай Богъ въ когти попасть!»

Елена Васильевна спросила мелькомъ:

— Ты думаешь, что точно твой предшественникъ виноватъ въ этомъ дѣлѣ?

Иванъ Николаевичъ махнулъ рукой.

— Если-бъ я это думалъ,—я бы спалъ спокойно!

Онъ вздохнулъ:

— Я убѣжденъ, что Александръ погрѣлъ тутъ руки, и хуже всего то, что, можетъ-быть, гдѣ-нибудь оставилъ концы, на которые можно случайно наткнуться и вывести все на свѣжую воду. Я покуда знаю только объ этой машинѣ, но вѣдь я еще не вполнѣ знакомъ съ этимъ дѣломъ. Я еще не навострился быть ищейкой, а Егоръ Егоровичъ...

Онъ остановился передъ женою.

— Знаешь ли, я боюсь этого человѣка.

Она удивилась. Почему?

— Ничего онъ мнѣ не можетъ сдѣлать, у меня все въ исправности, со мной онъ любезенъ и вѣжливъ, но дѣло не въ томъ: холодомъ отъ него вѣетъ... смотришь на него и жутко какъ-то, точно это не человѣкъ, а машина,—что въ нее попадется, все перемелетъ, и деревяжку, и живого человѣка...

Онъ опять заходилъ въ раздумьи.

— А, впрочемъ, мнѣ-то что до него. Я веду дѣло аккуратно, я до всего докопаюсь, и провѣряй онъ тогда,—мнѣ нечего будетъ бояться. Александру вотъ, можетъ-быть, придется поплатиться за нѣкоторые грѣшки. Покрывать я его ужъ, конечно, не стану. Ну, да онъ выпутается, свалитъ все на моего предшественника—на мертвыхъ можно валить.

VIII.

Въ маленькомъ домикѣ Зубковыхъ царилъ миръ полнаго семейнаго счастья. Онъ не нарушался теперь даже заботами о завтрашнемъ днѣ, такъ какъ жалованья хватало съ избыткомъ на несложныя потребности семьи. Теперь уже не продавались и не закладывались вещи, а покупалось все недостававшее въ хозяйствѣ. Какое радостное чувство испытывала Елена Васильевна, когда въ ихъ квартиру снова внесли взятый на прокатъ рояль! Ея дѣвочка обѣщала въ

будущемъ сдѣлаться хорошей музыкантшей. Когда во дни нужды пришлось отказаться отъ взятаго на прокатъ рояля, когда понесли его изъ квартиры, Еленѣ Васильевнѣ показалось, что она грабитъ свое собственное дитя—отнимаетъ у дѣвочки въ будущемъ кусокъ хлѣба, а въ настоящемъ послѣднее удовольствіе. Теперь она весело улыбалась, распоряжаясь, куда поставить инструментъ, и цѣлуя Настю. Цѣлый день она находилась въ какомъ-то особенномъ настроеніи: пошьетъ, потомъ встанетъ и пойдетъ посмотрѣть на рояль; десять разъ она обметала съ него пылинки и присматривалась, хорошо ли онъ поставленъ. Новая игрушка не могла бы доставить столько радости ребенку. А когда Настя присѣла играть, Елена Васильевна забыла все, и обѣдъ, и шитье, прокралась къ дверямъ гостиной и точно замерла около нихъ въ безмолвномъ блаженномъ созерцаніи. Къ глазамъ подступили слезы, а лицо сіяло улыбкой.

— Да, да, слава Богу, что все такъ устроилось! — прошептала она.—Теперь не будетъ болѣть душа за дѣтей.

Она любовалась дочерью и въ эту минуту даже не ощущала тревоги, которую обыкновенно возбуждалъ въ ней видъ дѣвочки. До болѣзни Настя смотрѣла совсѣмъ маленькой дѣвочкой, гораздо моложе своихъ лѣтъ. Это было задержанное физическое развитіе. Послѣ болѣзни дѣвочка вдругъ вытянулась, но крайне подурнѣла. Ея длинная костлявая фигурка производила непріятное впечатлѣніе — это было что-то въ родѣ скелета, обтянутаго кожей, съ длинными, какъ плетки, руками. Голова съ обстриженными черными волосами сидѣла неуклюже на длинной шеѣ, большіе черные глаза рѣзко выдѣлялись на исхудаломъ блѣдномъ лицѣ. Все это оправдывало названіе «галченка», сорвавшееся съ языка Устинова. Елена Васильевна съ тревогой смотрѣла на свою «подурнѣвшую» дочь. Посторонніе просто говорили, что она «страшна». Теперь, слушая ея игру на фортепіано, Зубкова какъ бы забыла обо всемъ этомъ и восхищалась дочерью, точно это была первая красавица.

Правда, Иванъ Николаевичъ работалъ много и волновался, вникая во всѣ мелочи веденія заводскаго хозяйства, стараясь, чтобы въ его книгахъ не было ни сучка, ни задоринки, чтобы имѣть возможность во всякое время сказать всѣмъ и каждому: «я сдѣлалъ свое дѣло честно». Вѣрны или не вѣрны были цифры, даваемыя Александромъ Константиновичемъ, въ это старался не вникать Зубковъ,—ему нужны были для книгъ только «оправдательные документы»,

и ихъ онъ требовалъ настойчиво, заявивъ разъ и навсегда, что онъ не впишетъ «зря» ни одного гроша въ книгу. Онъ говорилъ, что онъ только «машина», и признавалъ, что главное достоинство машины безусловная точность. Александръ Константиновичъ иногда раздражался на эту «нѣмецкую аккуратность», но Зубковъ коротко замѣчалъ ему:

— Я для твоей же пользы забочусь объ этомъ.

Александръ Константиновичъ смолкалъ, понимая смыслъ этихъ словъ. Только разъ въ раздраженіи онъ замѣтилъ Зубкову:

— Ахъ, что ты мнѣ говоришь! для моей пользы! Для себя стараешься!

Зубковъ смутился. Но тотчасъ же добродушно усмѣхнулся.

— Что-жъ, пожалуй, что и такъ! Хлопочу, чтобы мѣста не лишиться, жалованья не потерять...

Александръ Константиновичъ молча ходилъ по комнатѣ и въ досадѣ кусалъ губы.

— Ты не такъ понялъ!—проворчалъ онъ.

Зубковъ поднялъ голову.

— Нѣтъ, ты правъ! Не можешь же ты-то думать, что я изъ сочувствія къ тебѣ и твоимъ выгодамъ хлопочу? — проговорилъ онъ съ той же усмѣшкой. — Хлопочу изъ-за того, чтобы держали на мѣстѣ за аккуратность. Это такъ естественно.

Александръ Константиновичъ промолчалъ, досадуя на себя за неловкую фразу, за незаслуженно нанесенную обиду.

Этотъ случай, впрочемъ, прошелъ безслѣдно, и пріятельскія отношенія Александра Константиновича и Зубкова не порвались; Александръ Константиновичъ только убѣдился, что точно нужно вести дѣло «чище» для своей же пользы. Въ то же время, Егоръ Егоровичъ, еще не вступившій въ роль дѣятельнаго хозяина, иногда заглядывалъ въ контору и задавалъ вопросы Зубкову, ясно говорившіе, что онъ довѣряетъ этому человѣку. Разъ, разсматривая одну изъ накладныхъ, онъ спросилъ Зубкова:

— Неужели дѣйствительно цѣны на матеріалъ такъ высоки?

Зубковъ отвѣтилъ:

— Не знаю.

Егоръ Егоровичъ пристально смотрѣлъ на него. Зубковъ спокойно выдержалъ этотъ взглядъ и какъ бы ждалъ дальнѣйшихъ вопросовъ.

— Да, точно, это не по вашей части, — сказалъ Егоръ

Егоровичъ.—Но я думалъ, что вы такъ, изъ простого любопытства, познакомились съ практикой нашего дѣла.

— Для меня это не представляетъ интереса,—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ. — Я лично никогда не взялся бы за практическую сторону заводскаго дѣла, а узнавать ея сущность изъ простого любопытства—что-жъ тутъ интереснаго?

Егоръ Егоровичъ замѣтилъ:

— А я бы дорого далъ за то, чтобы за практической стороной нашего дѣла наблюдалъ именно такой человѣкъ, какъ вы.

— Вѣроятно, я переплатилъ бы за все, — сказалъ съ усмѣшкой Зубковъ.

— О, я не поручилъ бы вамъ вести практическую часть переговоровъ о цѣнахъ, но поручилъ бы наблюденіе за веденіемъ ея, и у меня не украли бы ни гроша.

Онъ перемѣнилъ разговоръ, не давъ Зубкову даже возможности поблагодарить его за лестное мнѣніе. Видно было, что онъ говорилъ не комплименты, не любезности, а то, что думалъ о Зубковѣ.

Продолжая оставаться холоднымъ, сдержаннымъ, онъ, тѣмъ не менѣе, все чаще и чаще являлся къ Ивану Николаевичу, и послѣдній началъ ясно понимать, что Егоръ Егоровичъ его цѣнитъ, дорожитъ имъ, видитъ въ немъ свою правую руку въ будущемъ. Иванъ Николаевичъ полугрустно, полушутливо замѣчалъ Еленѣ Васильевнѣ:

— Я другъ двухъ враговъ!

Она озабоченно вздыхала:

— А я даже боюсь за себя — я стала какимъ-то складнымъ мѣстомъ для великихъ тайнъ всего дома.

Онъ удивился.

— Да какъ же: мама приходитъ и разсказываетъ, кто съ кѣмъ побранился, кто кому сцену сдѣлалъ у нихъ; Ольга Давыдовна, подъ предлогомъ вышивки, мѣтокъ, шитья какихъ-то батистовыхъ кофточекъ, заходитъ пожаловаться на то, что Саша не ладитъ съ Джоржемъ, что въ послѣднее время ее тревожатъ частыя поѣздки Саши въ городъ, что онъ молодой человѣкъ и можетъ какъ-нибудь увлечься; наконецъ, Саша тоже разражается цѣлыми потоками жалобъ на свое тяжелое житье: Джоржъ его язвитъ, Ольга Давыдовна ревнуетъ, Лида фыркаетъ на него...

Иванъ Николаевичъ подошелъ къ женѣ и нѣжно поцѣловалъ ее.

— А моя Леля качаетъ головой, говоритъ: «неужели?

тео, можетъ-быть, вамъ показалось! не волнуйтесь преждевременно, все уладится», и люди уходятъ отъ нея довольные тѣмъ, что высказались, и успокоенные тѣмъ, что все уладится.

Она улыбнулась.

— Что-жъ больше дѣлать, когда видишь, что всѣ ихъ печали слѣдствіе пустоты и безсодержательности жизни?

Она вздохнула.

— Но меня не это особенно безпокоитъ. Настю нашу они уже очень заласкали. Я не иду къ нимъ, такъ стали приставать, чтобы я отпустила дѣвочку покачаться у нихъ на качеляхъ. Нельзя же было наотрѣзъ отказать. Да и Настя слышала, какъ ее приглашали. Потомъ завели въ домъ, показывали картины, оранжереи. У дѣвочки голова закружилась отъ восторга—цвѣты, фарфоръ, бархатъ, шелкъ, бронза, какъ тутъ не восхищаться ребенку. Рѣшилась я дня два не пускать ее туда подъ разными предлогами,—мама при дѣвочкѣ сцену сдѣлала.

Иванъ Николаевичъ нахмурился.

— Ты знаешь маму. Чего не наговорила. «Сама, говоритъ, похоронила себя заживо и ребенка хочешь тоже запереть въ четырехъ стѣнахъ, отшельницей сдѣлать»...

Она въ сильномъ волненіи поднялась съ мѣста и стала ходить.

— Какъ это все омерзительно пошло! — заговорила она съ выраженіемъ негодованія.—Ребенокъ же не понимаетъ, можетъ точно подумать, что я тиранію его, лишаю удовольствій! Не могу же я ясно доказать дѣвочкѣ, чего стоитъ весь этотъ блескъ, не могу выяснить ей опасность сближенія съ этими людьми...

Она вздохнула.

— И будь у нея еще характеръ Вани, о, тогда можно бы. Ему стоитъ намекнуть, что на него смотрятъ сверху внизъ— и онъ всего лишитъ себя, а не пойдетъ къ людямъ.

Иванъ Николаевичъ перебилъ ее:

— Да, кстати, тебѣ не говорилъ Ваня о его встрѣчѣ съ Лидой?

— Нѣтъ.

— На-дняхъ пришелъ ко мнѣ Егоръ Егоровичъ въ контору и разсказалъ про этотъ случай. Онъ поѣхалъ съ сестрой верхомъ. Навстрѣчу имъ идетъ Ваня. Лида обронила хлыстъ и крикнула Ванѣ: «Мальчикъ, поднимите хлыстъ». Ваня обернулся къ первому уличному мальчугану и громко ска-

залъ: «Тебя просятъ поднять хлысть, пятакъ дадутъ», и прошелъ дальше. Егоръ Егоровичъ очень обрадовался этому случаю, такъ какъ его огорчаютъ безтактныя выходки сестры. Онъ говоритъ, что это ей урокъ.

Онъ улыбнулся.

— Ну, ей это урокъ, а Ваня все же не изъ вѣжливыхъ кавалеровъ.

— Ахъ, и слава Богу! — радостно воскликнула Елена Васильевна:—хоть онъ не прельстится этими раззолоченными хоромами!

По ея лицу скользнула опять тѣнь грусти.

— И если-бъ ты зналъ, какъ мнѣ жаль иногда дѣвочку, когда она робко спрашиваетъ: «можно мнѣ, мама, туда? Я только на качеляхъ покачаюсь». Не могу я отказать ей, не могу выяснить, что это тревожитъ меня. Лида ей разсказываетъ о театрахъ, о балахъ, о заграничномъ путешествіи, и у дѣвочки кружится голова.

Иванъ Николаевичъ сталъ успокаивать жену. Настя еще ребенокъ. Мало-по-малу, ей станетъ ясно, что ихъ жизнь,— не ея жизнь. Теперь нужно сквозь пальцы смотрѣть на ея сближеніе съ семьей Александра Константиновича, стараясь только задерживать это сближеніе, выясняя, мало-по-малу, дѣвочкѣ, что истинное счастіе не въ деньгахъ. Конечно, имъ предстоитъ не легкая педагогическая задача, но при помощи любви можно всего достигнуть. Дѣвочка прежде всего горячо привязана къ нимъ, и это ее спасетъ: тамъ ей весело, но сердечную привязанность она найдетъ только дома. Именно это надо ей давать чувствовать. Елена Васильевна слушала мужа съ скорбнымъ выраженіемъ лица; она знала, что теоретически многое кажется легко исполнимымъ, а на практикѣ дѣло выходитъ совсѣмъ иначе. Тѣмъ не менѣе другихъ путей дѣйствія не представлялось, надо было подчиняться неизбѣжному факту.

Подъ осень въ домѣ Александра Константиновича былъ праздникъ; праздновали совершеннолѣтіе Егора Егоровича. По случаю этого торжества въ домъ наѣхало множество гостей къ обѣду: послѣ обѣда начались музыка и танцы; въ саду была иллюминація. Этотъ ярко освѣщенный изнутри и снаружи домъ, нарядныя дамы въ роскошныхъ туалетахъ съ массой брильянтовъ, франтоватые мужчины съ толстыми цѣпочками на груди, снованье по саду слугъ съ мороженымъ, конфетами и фруктами на серебряныхъ подносахъ, звуки музыки, мелькань танцующихъ паръ,—все это страшно

возбудило Настю, и она почти не отрывала глазъ отъ этого пира. Сначала она безъ устали бродила въ своемъ садикѣ, потомъ изъ окна комнаты любовалась блестящей картиной празднества. Елена Васильевна съ тревогой слѣдила за дѣвочкой, видя ея возбужденность и не смѣя оторвать ее отъ созерцанія пира. Это любопытство такъ понятно: вонъ и тамъ, у рѣшетки ихъ сада со стороны улицы виднѣются десятки бѣлокуренькихъ, черноволосыхъ головокъ, десятки свѣтлыхъ и темныхъ глазенокъ: это дѣти улицы лѣзутъ на рѣшетку, просовываютъ личики между ея узорами, только бы увидать хоть одинъ изъ зажженныхъ у богатаго дома пестрыхъ фонарей, только бы уловить хотя нѣсколько звуковъ гремящей въ немъ музыки. Какъ хотѣлось бы имъ хоть на минуту попасть туда, на этотъ волшебный пиръ. Елена Васильевна угадывала, что и ея дѣвочка огорчена тѣмъ, что она не можетъ быть тамъ среди этого веселья. Она не знала, правда, того, что бабка еще наканунѣ, лаская со вздохами Настю, сказала дѣвочкѣ:

— Несчастное дитя, платьишка у тебя даже нѣтъ порядочнаго; вотъ завтра повеселилась бы здѣсь.

Тѣмъ не менѣе, Елена Васильевна видѣла печаль дѣвочки и боялась малѣйшимъ неосторожнымъ замѣчаніемъ вызвать слезы.

Вечеромъ, когда подавали чай, въ столовую вошелъ Ваня.

— Посмотри, посмотри! — сказала Настя. — Вотъ-то праздникъ!

Онъ серьезно отвѣтилъ сестрѣ:

— Если грабить начать, такъ хоть каждый день можно такіе праздники задавать.

Она не поняла его. Онъ прибавилъ:

— Охота тебѣ и смотрѣть-то. Насъ не приглашаютъ, ну нечего и смотрѣть.

Она быстро обернулась къ брату.

— У меня платья нѣтъ такого,—сказала она.—Было бы, такъ меня взяли бы туда.

Елена Васильевна встрепенулась, точно ее что-то кольнуло.

— Бабушка вчера сказала, что будь у меня платье, и я могла бы тамъ быть.

Елена Васильевна ушамъ не вѣрила: ея мать уже успѣла наговорить этихъ глупостей ея дочери.

— Глупости все это! — перебилъ братъ. — Папа не станетъ воровать намъ на платья...

Елена Васильевна откликнулась изъ-за чайнаго стола.

— Ты, дитя мое, еще слишкомъ мала, чтобы ѣздить на балы для взрослыхъ, если бы у тебя даже и были наряды для этого.

— Лида на годъ или на два года только старше меня,— отозвалась Настя:—а вонъ она танцуетъ...

— Вотъ видишь, на годъ она старше и притомъ она у себя дома.

Ваня отрывисто замѣтилъ:

— Лидѣ и дѣлать больше нечего, какъ валяться въ гамакѣ, да плясать на балахъ. Намъ же нужно работать, учиться.

Какія-то новыя рѣзкія нотки раздраженія подмѣтила въ его тонѣ Елена Васильевна. Онъ присѣлъ къ чайному столу и проворчалъ:

— А я вотъ знаю то, что всю ночь они не дадутъ покою со своей музыкой и криками. Небось, станутъ разъѣзжаться, когда рабочіе на утреннюю смѣну пойдутъ.

Елена Васильевна тревожно слѣдила за разговоромъ дѣтей. Она чувствовала, что въ этихъ юныхъ существахъ произошло нѣчто новое. Никогда прежде не слышалось въ рѣчахъ ея сына озлобленія, звучавшаго въ нихъ теперь; никогда прежде Настя не знала, что она «несчастная» дѣвочка. Противъ матери въ душѣ Елены Васильевны поднялась почти вражда. Какъ рѣшилась старуха сказать ребенку, что онъ несчастливъ тѣмъ, что у него нѣтъ лишняго платья, какъ рѣшилась она вооружать дѣвочку противъ матери, говоря той, что мать лишаетъ ее удовольствій. Впрочемъ, отъ Софьи Андреевны можно всего ожидать. Надо всѣми средствами отдалять отъ нея дѣвочку. Но это легко сказать, а какъ это исполнить? Впервые послѣ переѣзда сюда, въ этотъ свѣтленькій, чистенькій, веселенькій домикъ, Елена Васильевна пожалѣла о душной и тѣсной квартирѣ въ пятомъ этажѣ, гдѣ дѣти находились подъ ея крыломъ и только подъ ея крыломъ. Тамъ дѣти были застрахованы отъ многаго, что грозитъ имъ здѣсь. А здоровье? Развѣ тамъ они расцвѣли бы такъ, какъ расцвѣли здѣсь? Можетъ-быть, они увяли бы тамъ, какъ цвѣты безъ воздуха? Ей представилась эта тѣсная нищенская квартира, выходящая окнами на задній дворъ, во всей своей непривлядной бѣдности; вотъ лежатъ тамъ больныя дѣти; вотъ что-то изъ нея выносятъ, рояль ея дочери или гробъ съ ея дочерью. Нѣтъ, нѣтъ, можно ли роптать за перемѣну этой квартиры на этотъ чистенькій, веселый, свѣтлый домикъ, гдѣ дѣти видимо расцвѣли

и поправились. О, за одно это, за ихъ здоровье, надо примириться съ мелкими непріятностями здѣсь. Она взглянула на дѣтей,—да, они поздоровѣли, выросли, на личикахъ появился румянецъ. По ея лицу скользнула улыбка материнской любви, материнскаго счастья. Здоровый видъ дѣтей разсѣялъ всѣ тревожныя мысли, отодвинулъ ихъ на второй планъ.

IX.

— Ну, какъ живете-можете? — говорилъ Устиновъ, вваливаясь въ квартиру Зубковыхъ въ одинъ изъ воскресныхъ дней.—Да, впрочемъ, чего я спрашиваю—толстѣть вы всѣ начали.

Ему были по обыкновенію всѣ очень рады, всѣ наперебой здоровались съ нимъ, разспрашивали, чего онъ хочетъ, чаю, кофе или завтракать.

— Только бы согрѣться, а то все равно,—отвѣтилъ онъ.— Холода-то завернули изрядные, хоть до зимы далеко, и дорога-то къ вамъ—конца нѣтъ.

— Ну, у насъ тепло, сейчасъ обогрѣетесь, — сказала Елена Васильевна и поторопилась распорядиться насчетъ завтрака.

— То-то вы и зарумянились всѣ отъ тепла, — пошутилъ Устиновъ, любуясь здоровымъ видомъ своихъ друзей.

Иванъ Николаевичъ шутливо же замѣтилъ:

— Въ гору, братъ, идемъ съ одной стороны, такъ это подбадриваетъ, а съ другой — здѣсь вѣдь мы, какъ въ деревнѣ, утробной жизнью живемъ.

— Да, только такъ и можно жить теперь,—проговорилъ Устиновъ.—Человѣкъ—животное, ну, значитъ и надо животной жизнью жить. Вѣдь это только въ большихъ городахъ, да въ столицахъ жаримся мы на огнѣ всякихъ вопросовъ, да запросовъ, неврами все больше живемъ, а не желудкомъ, точно изъ этого какой толкъ, кромѣ катаровъ, выходитъ.

Подали завтракъ. Устиновъ налилъ водки, выпилъ, крякнулъ и, погладивъ рукой по животу, сталъ закусывать.

— Ну, разсказывай о повышеніяхъ. Что и какъ у тебя тутъ дѣлается, — заговорилъ онъ, пережевывая куски сыру и хлѣба.

Иванъ Николаевичъ заговорилъ.

— Къ дому пришелся, оказался и здѣсь не лишнимъ,— проговорилъ онъ.

— Боги, что ли, горшки обжигали,—вставилъ Устиновъ.

— Нашли способности, достоинства и добродѣтели, ну, и оцѣнили.

— Еще бы, видятъ, что воровать не умѣешь, — опять вставилъ свое замѣчаніе Устиновъ.—Тутъ ли не оцѣнишь человѣка, когда кругомъ воръ на ворѣ сидитъ, и сами глядятъ, не лежитъ ли что гдѣ-нибудь плохо.

Онъ усмѣхнулся.

— Хорошо только, что за помѣшаннаго не сочли,—прибавилъ онъ: — а то какъ честенъ человѣкъ, такъ сейчасъ всѣ и смотрятъ, не надо ли его на одиннадцатую версту, да въ сумасшедшую рубашку.

Иванъ Николаевичъ сталъ передавать исторіи своихъ успѣховъ. Егоръ Егоровичъ отпраздновалъ свое совершеннолѣтіе, принялся, мало-по-малу, окончательно за дѣла. Онъ не сдѣлалъ ни одной сцены отчиму, не устранилъ его отъ дѣла, но вошелъ въ дѣла самъ, вникнулъ во всѣ мелочныя подробности заводскаго дѣла, урѣзалъ лишнее, дополнилъ недостающее, дѣйствуя твердо, спокойно, практично и толково.

— Бархатныя перчатки у него надѣты, а желѣзную руку чувствуешь, — сказалъ Иванъ Николаевичъ, поясняя, какъ дѣйствуетъ молодой хозяинъ.

Ивану Николаевичу сразу онъ прибавилъ дѣла и жалованья. Оставивъ его бухгалтеромъ, онъ поручилъ ему наблюдать за исполненіемъ заказовъ и поставокъ. Заказы, торги, оцѣнка, все это лежало не на немъ, но именно онъ долженъ былъ контролировать, то ли доставлено, что заказано, такого ли качества вещи, какъ было обусловлено, въ томъ ли количествѣ онѣ доставлены, въ какомъ требовалось.

— Генералъ-контролеръ своего рода,—вставилъ Устиновъ.

— Да,—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ.

— Ну, и что же? Пробовали поставщики предлагать взятки или свои уговаривать не всякое лыко въ строку ставить?

Иванъ Николаевичъ усмѣхнулся.

— Какъ же, какъ же! О взяткахъ и говорить нечего, предлагали... А насчетъ своихъ... Я никакъ не думалъ, что Саша такъ быстро пойметъ свое новое положеніе... Какъ только Егоръ Егоровичъ предложилъ мнѣ занять новую обязанность, такъ тотчасъ же Александръ замѣтилъ мнѣ: «Ну, теперь баста съ косвенными доходами, ты вѣдь для отца родного не притворишься слѣпымъ».

— Откровененъ, нечего сказать!—проговорилъ Устиновъ.

Иванъ Николаевичъ пожалъ плечами.

— Да всѣ же въ этомъ мірѣ торгашества дѣйствуютъ такъ, и никто не стѣсняется... Я не откровенности Александра удивился, а тому, что онъ сразу освоился со своимъ положеніемъ и даже не вздумалъ дуться на меня. Впрочемъ...

Иванъ Николаевичъ обернулся и, взглянувъ на дѣтей, понизилъ голосъ:

— Впрочемъ, теперь его, кажется, мало интересуетъ заводъ. Тутъ онъ свое дѣло сдѣлалъ, а теперь рѣшился пожить...

Устиновъ мелькомъ взглянулъ на него.

— Видно, Ольга Давыдовна пенсію выслуживаетъ?

Иванъ Николаевичъ утвердительно кивнулъ головой и перемѣнилъ разговоръ...

— Ну, а у васъ что, въ мірѣ педагогики? Нѣтъ ли новенькаго чего?

Устиновъ вдругъ сдѣлался мрачнымъ и злымъ.

— Вчера въ нашемъ училищѣ на частномъ собраніи учителей рѣшили, что надо намъ сбрить бороды и усы, — желчно отвѣтилъ онъ.

— Ну?—недовѣрчиво проговорилъ Иванъ Николаевичъ.— Вѣдь это же частное учебное заведеніе и притомъ...

— Что: ну!—перебилъ его Устиновъ вполнѣ серьезнымъ и почти злымъ тономъ. — Какое же уваженіе можетъ ученикъ оказывать, когда у насъ, и у дворниковъ усы и бороды? Надо престижъ учителей поддержать хоть этимъ, если набираемъ ихъ съ борка, да съ сосенки, какъ нашъ почтеннѣйшій содержатель пансіона. Эта мѣра вполнѣ раціональная. Безъ этого нашихъ-то учителей, пожалуй, и слушать не станутъ. Потомъ рѣшили говѣть два раза въ годъ, каясь въ своемъ невѣжествѣ, и исповѣдываться по «Требнику» у монаховъ, носящихъ вериги, въ томъ, кто сколько знаетъ. Вѣдь къ нимъ-то берутъ людей съ борка, да съ сосенки. По моей иниціативѣ тоже предложено сходить всѣмъ на представленіе «Синей бороды» и заучить слова и мотивъ пѣсни о поклонахъ: «Ниже, ниже, ниже гнись». Далѣе...

Онъ раздражительно оборвалъ свою шутовскую рѣчь и сердито проговорилъ:

— Да тебѣ-то, чортъ побери, что за дѣло, что въ нашемъ мірѣ дѣлается? Унесъ свои ноги изъ пансіона Паль-

чикова, ну и благодари Бога! Я въ дворники теперь пошелъ бы, если бы нашлось мѣсто; хоть бы зналъ, что тѣмъ пользу приношу, что дрова людямъ въ морозы таскаю...

Онъ заходилъ въ волненіи по комнатѣ, ругая общество. Вездѣ полная спячка и одна мысль о наживѣ, объ общественномъ пирогѣ только и оживляетъ людей. Ни у кого нѣтъ идеаловъ и есть только одно сознаніе, что бѣдность хуже преступленія, что бѣднякъ хуже прохвоста, что бѣдному хуже, чѣмъ мошеннику. И прежде богатый воръ обрызгивалъ грязью честнаго бѣдняка, но прежде это былъ печальный фактъ; теперь явилось сознаніе, что это роковая необходимость, что это такъ и должно быть, что иначе не можетъ быть никогда, что надо заботиться только о томъ, чтобы сдѣлаться этимъ богатымъ воромъ.

— И крали-то прежде не для того, для чего теперь крадутъ. Прежде воръ говорилъ: «жена, дѣти». Теперь онъ говоритъ: «пожить хочется». И живетъ!—Украдетъ сотню, растратитъ тысячу; онъ и воръ, и несостоятельный должникъ; онъ наложилъ воровское клеймо на фамилію дѣтей своихъ и пуститъ ихъ вдобавокъ съ этимъ клеймомъ по міру. Прежде была вражда между отцами и дѣтьми, потому что ихъ раздѣляли «принципы»; теперь принциповъ нѣтъ, и потому нѣтъ и розни между отцами и дѣтьми, но есть...

Онъ сдѣлалъ гримасу.

— Къ насѣкомымъ такъ относятся нечистоплотные люди, наплодились они, что же дѣлать, это неизбѣжное зло. Тѣ, дѣти, тоже такъ относятся къ родителямъ, какъ насѣкомые къ людямъ: можно сосать кровь изъ нихъ—сосутъ, нельзя будетъ, попробуютъ поискать добычи въ другомъ мѣстѣ... И что за экземпляры встрѣчаются среди этихъ выкидышей — ни привязанности, ни уваженія къ кому бы то ни было, ни дѣтской чистоты, ни наивности. Все они теоретически прошли и огонь, и воду, и мѣдныя трубы: видѣли рысканье матерей по магазинамъ, клубамъ и театрамъ, пьянство отцовъ дома и по трактирамъ, видѣли оживленіе и поднятіе духа старшихъ только за игрой въ винтъ, слышали двадцать разъ о возлюбленныхъ матери, фаворитках отца и ежедневно читали въ газетахъ...

Онъ сдѣлалъ опять гримасу, перебивая свою рѣчь:

— Теперь вѣдь литературы даже для насъ нѣтъ. Гончаровъ скученъ. Тургеневъ жидокъ,—загорячился между прочимъ Устиновъ, браня современное общество.—Островскій устарѣлъ. Достоевскій ханжа. Теперь газеты дѣти читаютъ

Мальчишка десяти-двѣнадцати лѣтъ уже проводитъ цѣлые часы за этимъ поучительнымъ чтеніемъ. Еще бы! Вѣдь только тамъ и найдешь занимательные романы о кровавыхъ убійствахъ, и только тамъ можно отъ души похохотать, читая о вчерашнемъ грязномъ скандалѣ и третьяго-дняшнемъ скабрезномъ происшествіи. Вотъ тутъ-то дѣти и вычитали, что такой-то мерзавецъ, осужденный за крупную кражу, живетъ припѣваючи и въ Сибири и принимаетъ у себя городскую аристократію. Отсюда-то они и узнали, что такая-то падшая женщина сдѣлала себѣ карьеру, подцѣпивъ сумасшедшаго богача и попавъ въ хорошій кругъ. Это ли не школа? Въ этой школѣ они дѣлаются еще болѣе алчными, чѣмъ ихъ отцы, но такъ какъ отцы дали имъ въ наслѣдство зародыши всѣхъ недуговъ и худосочіе, то у нихъ менѣе выдержки въ борьбѣ изъ-за добычи и при первой неудачѣ они пускаютъ пулю въ лобъ...

Ваня точно пристылъ къ мѣсту, слушая Устинова, ловя каждое слово его горячей рѣчи. Его самого все болѣе и болѣе тревожили разные «вопросы». Слушая Устинова, онъ какъ бы ждалъ, что вотъ-вотъ тотъ скажетъ что-то новое, что-то отвѣчающее на его вопросы, нѣчто разрѣшающее его сомнѣнія. Но Устиновъ продолжалъ «обличать» и «порицать» и только. Юноша ждалъ не этого. Наконецъ, послышался чей-то голосъ, какой-то странный, точно измученный.

— Но что же дѣлать? Гдѣ же исходъ?

Ваня очнулся. Это говорила его мать. Она сидѣла, опустивъ голову, блѣдная, съ мучительнымъ выраженіемъ тоски на лицѣ. Устиновъ задѣлъ въ ея душѣ самыя больныя мѣста.

— Ахъ, барынька, чего захотѣли! — воскликнулъ Устиновъ и разсердился.—Тысячи лѣтъ первѣйшіе мудрецы бились надъ этими вопросами и плюнули, ничего не добившись. А вы, на-ка, Устинова, учителишку простого, заставляете рѣшить ихъ. Нѣтъ, не нашему брату отвѣчать на эти проклятые вопросы и жизнь-то отвѣчаетъ на нихъ тѣмъ, что забьютъ тебѣ ротъ землею—и конецъ.

Иванъ Николаевичъ загорячился.

— Такъ смотрѣть — жить нельзя! — произнесъ онъ, заходивъ тревожно по комнатѣ.—Если не найдено отвѣта на то, какъ поправить общественныя дѣла, положеніе общества, то можно хоть лично надъ собой работать, хоть въ своемъ муравейникѣ стараться сдѣлать переворотъ. Себя нужно перевоспитать, самому нужно подняться выше окружающей мерзости, свою семью направить на лучшій путь!

— То-есть «блаженъ мужъ, который не ходитъ на совѣтъ нечестивыхъ, не стоитъ на пути грѣшныхъ?»—замѣтилъ съ усмѣшкой Устиновъ.

— Да, да, именно такъ!—горячо подхватилъ Зубковъ.— Нельзя разсѣять этотъ совѣтъ, нельзя свести съ этого пути другихъ, то нужно хоть самому не ходить на этотъ совѣтъ, не стоять на этомъ пути. Иронизировать надъ этимъ нечего, толковать, что это мелко, стыдно. Мы этимъ только прикрываемъ и оправдываемъ свою собственную дрянность. Произносимъ громкія фразы, что нравственность отдѣльныхъ личностей ничего не значитъ, если все общество гнило, но прежде всего нужно это общество поднять, а не о личномъ совершенствованіи думать, которое будто бы не достижимо въ гниломъ обществѣ, такъ какъ праведникъ среди разбойниковъ достигнуть можетъ одного результата—своей гибели.

— А ты думаешь, что онъ ихъ всѣхъ обратитъ на путь истинный?—зло пошутилъ Устиновъ.

— Вовсе я этого не думаю,—сказалъ Зубковъ, горячась.

— Какъ муху его придавятъ,—добавилъ Устиновъ.

— И пусть, и пусть!—задорно воскликнулъ Иванъ Николаевичъ и оживился, какъ уже давно не оживлялся.— Суждено погибнуть — пусть погибнетъ съ сознаніемъ своей правоты, своей чистоты, своего человѣческаго достоинства. И что ты называешь погибнуть? Не сдѣлать блестящей карьеры съ сознаніемъ, что въ стремленіи къ этой карьерѣ ты не валялся въ грязи, не пресмыкался передъ собратомъ, не давилъ ближнихъ? Не насладиться въ жизни всѣми мерзостями кутежей и разгула и прожить въ «скучной» трезвости? Умереть, затянувшись въ работѣ, нѣсколькими годами раньше, чѣмъ ты умеръ бы, жирѣя отъ награбленнаго богатства? Ужъ будто такъ страшна эта гибель?

У Вани блестѣли глазенки, слова отца подняли его духъ, что-то въ родѣ гордости отцомъ поднялось въ душѣ. Онъ какъ бы сознавалъ, что отецъ побѣдилъ Устинова и сказалъ именно то, что смутно чувствовалъ, угадывалъ самъ онъ, Ваня. У Елены Васильевны тоже просвѣтлѣло лицо. Она любила мужа еще сильнѣе въ такія минуты и за такія минуты. За нихъ она и сошлась съ нимъ. Онъ поднималъ ея духъ.

— Ахъ, ты неисправимый идеалистъ! — мрачно сказалъ Устиновъ.—А вотъ ты бы послушалъ, что я недавно выслушалъ отъ одной матери. Двоюродною сестрой она мнѣ до-

водится. Сама она и ея мужъ были людьми высоко нравственными; воспитали дѣтей въ строгихъ правилахъ; потомъ отдали сына въ казенную гимназію; далѣе въ императорскій университетъ; а на-дняхъ кончилъ онъ Сибирью. Она и говоритъ мнѣ: «я сдѣлала все, что могла, для сына и онъ погибъ. Что же мнѣ дѣлать съ остальными дѣтьми, чтобы они не погибли? У меня ихъ пятеро, а я мать, любящая мать. Пойми ты это!»

Онъ съ злобой закончилъ:

— Что-жъ тутъ отвѣчать? Три дня я послѣ этого пилъ. Вотъ тебѣ и отвѣтъ.

Елена Васильевна поблѣднѣла. Ея материнское сердце страшно защемило.

— Проворовался онъ, что ли?—спросилъ мелькомъ Иванъ Николаевичъ.—Ну, такъ въ семьѣ не безъ урода.

— Не проворовался, а на скользкій путь попалъ,—отвѣтилъ Устиновъ: — черезчуръ горячо понялъ окружающую мерзость и бросился въ бездну, не соразмѣривъ своихъ силъ...

Иванъ Николаевичъ молча ходилъ по комнатѣ.

— Ему, видишь, надо было пассивно честнымъ человѣкомъ быть, довольствоваться сознаніемъ одной правоты личной, а онъ бороться еще вздумалъ, съ какимъ-то негодяемъ посильнѣе его, ну, и сковырнулся,—съ злой ироніей пояснялъ Устиновъ.—Вотъ ты и скажи мнѣ, какъ это воспитать вполнѣ честнаго человѣка и въ то же время убить въ немъ всякія увлеченія, всякую страстность, всякія попытки къ дѣятельности, научить его невинность сохранять и говорить: «моя изба съ краю—ничего не знаю», когда въ воздухѣ носятся недовольство, протестъ, озлобленіе на существующее общество. Ну-ка, воспитай подвижника, рыцаря безъ страха и упрека, и поручись, что онъ не разыграетъ роли пѣтушка, идущаго подъ ножъ повара...

Иванъ Николаевичъ задумчиво заговорилъ неторопливымъ голосомъ:

— Ты знаешь, я всегда любилъ помечтать. Теперь еще иногда самъ съ собой разсуждаю, а въ дѣтствѣ — цѣлые романы изъ своей будущей жизни составлялъ. Такъ вотъ, мнѣ часто мечталось, что попаду я въ бурю на берегъ моря и увижу погибающихъ, брошусь въ лодку, спасу нѣсколько человѣкъ, а самъ, утомленный борьбою, выбившійся изъ силъ, упаду на берегу и умру, окруженный спасенными мною людьми. При этихъ мечтахъ я чувствовалъ неизъяс-

нимое блаженство, несмотря на то, что финаломъ подвига была моя гибель. Но никогда я не мечталъ о томъ, что ограблю я кого-то и заживу припѣвачи на награбленное богатство, смѣясь и издѣваясь надъ пущенными мною по міру бѣдняками. Правда, глубоко страдаютъ и оплакиваютъ свои потери тѣ отцы и матери, чьи дѣти, воспитанныя въ честныхъ правилахъ, гибнутъ отъ случайныхъ катастрофъ геройскою смертью на поляхъ сраженій, среди пожарищъ, въ зараженномъ краю, но горе и стыдъ тѣмъ отцамъ и матерямъ, чьи дѣти не гибнутъ, процвѣтая отъ ловкихъ подлостей и грабежей.

Онъ безсознательно подошелъ къ Ванѣ и положилъ руку на его голову, продолжая говорить:

— Дай Богъ, чтобы моему мальчугану никогда не пришлось бросаться въ воду въ бурю для того, чтобы спасти другихъ и погибнуть самому, но если придется именно такой моментъ, эпидемія или война, что бы то ни было,— онъ ласково взглянулъ на сына и проговорилъ ему:—бросайся въ воду, мальчикъ, спасай ближнихъ, иначе вплоть до гробовой доски тебѣ будутъ слышаться ихъ стоны и вопли, говорящіе тебѣ: «мы звали тебя и ты былъ глухъ».

Въ глазахъ Вани стояли слезы. Ему хотѣлось поцѣловать руку отца, броситься къ нему на шею. Онъ съ трудомъ владѣлъ собою. Елена Васильевна чувствовала, что она вся похолодѣла.

Устиновъ былъ врагъ всякихъ чувствительныхъ сценъ и нѣсколько торжественный тонъ Зубкова, очевидное волненіе мальчугана взбѣсили его. Онъ рѣзко сказалъ:

— Разсентиментальничался! Чортъ знаетъ, до чего можетъ довести идеализмъ! Разводишь въ теплой комнатѣ теоріи о бурѣ и спасеніи погибающихъ, а на дѣлѣ—да за полы схватишь родное дитя, когда увидишь, что или другіе, или оно должно погибнуть.

Иванъ Николаевичъ очнулся и твердо произнесъ:

— Будущее никому неизвѣстно! Я желалъ бы только одного, чтобы никогда мнѣ не пришлось сказать, глядя на своихъ дѣтей, что лучше бы мнѣ было видѣть ихъ въ гробу въ дѣтствѣ, чѣмъ наслаждающимися въ жизни подлымъ счастіемъ...

Онъ поспѣшилъ перемѣнить разговоръ и началъ нервно смѣяться и шутить. Но Устиновъ оставался мрачнымъ и шутливость Зубкова только злила его еще болѣе. Онъ точно обидѣлся, что его желаютъ развлечь пустяками и смѣхомъ.

Приходъ Софьи Андреевны открылъ выходъ для желчи Устинова, и онъ набросился на старуху съ язвительными замѣчаніями. Она явилась для него козломъ отпущенія и каждая ея фраза вызывала колкости Устинова, доходившія уже до грубостей. Ни къ селу, ни къ городу онъ началъ ругать старый помѣщичій бытъ, отношенія господъ къ крестьянамъ, выражалъ радость относительно разорившихся помѣщиковъ, пророчилъ имъ въ будущемъ еще худшія времена. Софья Андреевна сцѣпилась съ нимъ не на шутку, колко говоря ему, что хорошо ему либеральничать, благо у него ничего не взяли.

— Да-съ, не взяли! Никто въ роду у насъ, у Устиновыхъ, рабовъ не имѣлъ. Изъ мужиковъ вышли сами. Горжусь этимъ!—горячился Устиновъ.

— Есть чѣмъ гордиться, что на конюшнѣ драли!

— А вы думаете, что святымъ-то Нерона признаютъ за то, что онъ жегъ христіанъ, а не ихъ за то, что они вѣнецъ мученичества приняли. Ай-да бабушка, а еще лампадку теплитъ!

Старуха не выдержала и ушла. Устиновъ повеселѣлъ.

— Вы меня извините, барынька, что я вашу матушку извелъ, — обратился онъ къ Еленѣ Васильевнѣ. — Не могу хладнокровно объ этихъ вещахъ говорить...

Елена Васильевна пожала плечами.

— Мнѣ-то чего сердиться. Сама я не раздѣляю ея взглядовъ. Только горячиться не считаю нужнымъ заднимъ числомъ. То прошло и не вернется.

Устиновъ уѣхалъ отъ Зубковыхъ и опять по дорогѣ забрелъ разъ, другой, третій отогрѣться около станцій конокъ. Холодно ему было. Вернувшись домой, онъ снова жаловался своей домоправительницѣ на людей, толкующихъ о воздержаніи и подвижничествѣ.

— Теоріи все у нихъ!—кричалъ онъ.—Я, можетъ-быть, сотни разъ головой объ стѣну бился, такъ я знаю, что значитъ «воздержаніе». А они-на, рѣшили: «воздержись» и думаютъ, что это такъ легко, плевка не стоитъ. Нѣтъ, вы головой объ стѣну побейтесь, стремясь пересоздать себя, да потомъ, напившись до скотскаго состоянія, и рѣшайте, легко ли это—и голова разбита, и пьянъ, пьянъ опять какъ стелька... Теоретики...

X.

Въ одинъ изъ тѣхъ осеннихъ дней, когда въ воздухѣ

стоитъ мгла и падаетъ снѣгъ, быстро превращающійся въ грязь, въ домикѣ Зубковыхъ царствовала тишина, нарушаемая только монотоннымъ чтеніемъ Насти, замѣчаніями Елены Васильевны да тиканьемъ часовъ. Ваня былъ въ училищѣ, Иванъ Николаевичъ сидѣлъ въ конторѣ. Слушая чтеніе своей дѣвочки и исправляя изрѣдка ея ошибки, Елена Васильевна шила, отъ времени до времени взглядывая въ сторону окна и подъ вліяніемъ наводящей унынie погоды тревожно думая о сынѣ. Далеко ему приходится ѣздить въ училище, тяжелы эти поѣздки въ такую сырую погоду, еще тяжелѣе будетъ въ сильные морозы. Но какъ же быть. Нельзя же переѣхать отсюда имъ всѣмъ, нельзя и пристроить мальчика гдѣ-нибудь въ Петербургѣ. У Устинова развѣ? Но мальчикъ уже въ томъ возрастѣ, когда легко понимаются такія отношенія, какія существуютъ между Устиновымъ и его Оней. Это плохой примѣръ. Да и стѣснило бы это Устинова. У незнакомыхъ людей мальчику, можетъ-быть, будетъ еще хуже. Всѣ эти постороннія вліянія такъ опасны. Ей вспомнилась участь племянника Устинова, о которомъ тотъ говорилъ въ послѣдній свой визитъ къ нимъ. У нея защемило сердце. Нѣтъ, пусть ужъ лучше мальчикъ ѣздитъ отсюда въ училище, чѣмъ живетъ гдѣ-то на сторонѣ, внѣ дома. Да, впередъ трудно предвидѣть будущее: переѣзжая сюда, они не видѣли многихъ неудобствъ, связанныхъ съ жизнью здѣсь.

Ея думы были неожиданно прерваны приходомъ Ольги Давыдовны и Лиды. Елена Васильевна встала имъ навстрѣчу, Настя радостно захлопнула книгу.

— А мы зашли проститься!—сказала Ольга Давыдовна.— Рѣшили сегодня уѣхать. Здѣсь съ каждымъ днемъ скучнѣе и неудобнѣе ѣздить въ городъ. И такъ пришлось пропустить пару спектаклей въ оперѣ и во французскомъ театрѣ.

Елена Васильевна уже знала, что вся семья Александра Константиновича уѣзжаетъ на зиму въ городъ, и радовалась этому. Посѣщенія этихъ лицъ вносили тревогу въ ея жизнь и отнимали много времени. И ея Настя будетъ лучше, когда она не будетъ видѣть всѣхъ этихъ людей, ихъ праздной жизни.

— Долго пробудете въ городѣ?—спросила она.

— Право, не знаю. Зиму-то во всякомъ случаѣ проживемъ тамъ,—отвѣтила Ольга Давыдовна.—А потомъ, можетъ-быть, поѣдемъ опять за границу или на дачу куда-нибудь. Здѣсь очень ужъ скучно.

Лида отошла съ Настей къ окну.

— Ахъ, я такъ рада, что мы уѣзжаемъ изъ этой глуши,— говорила она.—Тамъ балы, концерты, театры. Потомъ уговорю маму ѣхать за границу. Какъ жаль, что ты, бѣдненькая, должна скучать здѣсь. Правда, твоему отцу нельзя иначе жить, здѣсь у него даровая квартира и притомъ дорого было бы ѣздить сюда каждый день.

Настя, опечаленная, притихшая, проговорила:

— Братъ вотъ ѣздитъ.

Лида сдѣлала гримасу.

— Отчего же его на полный пансіонъ не отдадутъ?

И тутъ же прибавила:

— Вчера еще твоя бабушка говорила: «несчастный мальчикъ долженъ трепаться каждый день». Александръ Константиновичъ замѣтилъ, что онъ могъ бы у насъ въ городскомъ домѣ имѣть уголъ, чтобы не ѣздить сюда. Твоя бабушка воскликнула: «такъ они и позволятъ! сюда запрещаютъ ходить дѣтямъ, ужъ и подавно не позволятъ жить у насъ!»

Она пожала плечами.

— Тиранятъ они васъ. Я бы дня, дня не прожила среди такой скуки, когда никуда не пускаютъ. А Джоржъ еще вступается за нихъ, говоритъ, что дѣтей небогатыхъ родителей и не слѣдуетъ пріучать къ роскоши. Это онъ на зло твоей бабушкѣ. Смѣхъ, просто, когда они сцѣпятся.

Она сдѣлала гримасу.

— Я, впрочемъ, не люблю Джоржа за его привычку всѣхъ изводить.

Елена Васильевна говорила съ Ольгой Давыдовной и тревожно взглядывала на дочь и на Лиду. Она не слышала ни слова изъ ихъ разговора и только видѣла ихъ фигуры. Первая стояла понуро у окна, точно выслушивая смертный приговоръ; вторая что-то горячо говорила и разводила руками, гримасничая и кривляясь.

— Соберитесь къ намъ, — говорила Ольга Давыдовна.— Мы будемъ очень рады. Захватите дѣтей. Настю можете и отпустить къ намъ погостить.

— О, у нея занятія зимой,—сказала Елена Васильевна.— Ей еще нужно много учиться...

Эти слова долетѣли до Насти и Лиды, и Лида сдѣлала гримасу.

— Конечно, тебѣ, можетъ-быть, гувернанткой придется быть, такъ надо много учиться,—сказала она:—но все же..

— Я не пойду въ гувернантки, — отвѣтила рѣшительно Настя и наивно пожаловалась: — это мука: учись, учись, а потомъ опять учи, учи...

Она по-дѣтски надула губы.

— У насъ только и знаютъ, что учить и учиться, всегда, всегда. Папа училъ дѣтей, мама учила насъ, братъ учился, я училась. Теперь вотъ набираютъ дѣвочекъ, чтобы учить заодно со мной...

— Мама, экипажъ подаютъ,—вдругъ проговорила Лида, обращаясь къ матери отъ окна.

— Сейчасъ! — отозвалась та и стала прощаться съ хозяйкой и ея дочерью.

Лида, какъ большая, прощаясь съ Еленой Васильевной, замѣтила:

— Вы привезите къ намъ Настю, ей, бѣдной, здѣсь очень скучно.

Елена Васильевна коротко отвѣтила:

— Привезу!

Она радовалась въ душѣ, что вотъ-вотъ сейчасъ онѣ уѣдутъ.

Когда дверь затворилась за ними, Настя приблизилась къ окну и стала смотрѣть, какъ садилась въ карету Ольга Давыдовна, Лида и Софья Андреевна. Елена Васильевна позвала ее:

— Ну, Настя, кончимъ урокъ!

Настя обернулась со вздохомъ и пошла къ столу. Ея глаза были полны слезъ. Елена Васильевна замѣтила ихъ, но промолчала. Ей было сердечно жаль дѣвочку и въ то же время она думала, что именно этотъ отъѣздъ богатыхъ сосѣдей будетъ для нея благотворенъ.

Вечеромъ, когда Елена Васильевна хлопотала около чайнаго стола, Настя какъ-то невольно остановилась въ другой комнатѣ у окна и стала задумчиво смотрѣть въ темноту, наполнявшую дворъ и садъ. На дворѣ горѣли два фонаря у подъѣзда дома, гдѣ жила семья Александра Константиновича, но домъ былъ совершенно теменъ. Что-то дѣлается теперь тамъ, въ Петербургѣ, въ этой семьѣ? Вѣроятно, гости у нихъ. Можетъ-быть, они гдѣ-нибудь сами въ гостяхъ или въ театрѣ. Все освѣщено, музыка играетъ, толпятся нарядные люди, всѣ говорятъ и смѣются, всѣмъ весело.

— Настя, гдѣ ты, иди чай пить! — слышится изъ столовой.

Настя очнулась и пошла на зовъ, задумчивая, невеселая.

— О, да у насъ уже сонные глазенки! — ласково проговорилъ Иванъ Николаевичъ, смотря на нее.

Елена Васильевна тревожно бросила взглядъ на ея личико и увидѣла не то, что видѣлъ мужъ. Это была не дремота, а тоска одинокаго дѣтства.

Когда Настя и Ваня улеглись спать, Елена Васильевна серьезно заговорила съ мужемъ о Настѣ. Настѣ нужны сверстницы-подруги. Ваня ежедневно ѣздитъ въ училище; тамъ у него товарищи; онъ развлекается; Настя же растетъ одна и скучаетъ. Прежде имъ помѣшали переѣзды съ одного мѣста на другое и одолѣвшая ихъ въ Петербургѣ нужда отдать дѣвочку въ гимназію. Да и хилая она такая была. Теперь неудобно посылать ее учиться въ городъ отсюда. Но оставлять ее расти одну — тоже немыслимо. Она скучаетъ, а нѣтъ ничего хуже, какъ скука ребенка. Еленѣ Васильевнѣ вспомнилось выраженіе поэта: «лицо ребенка безъ улыбки—безъ солнца день, безъ пѣсенъ птицъ весна». Да, надо найти подругъ дѣвочкѣ.

— Я готова учить ихъ вмѣстѣ съ нею, только бы она не была одна,—взволнованно говорила Зубкова.—И у меня будетъ жизнь полнѣе, когда я хоть чѣмъ-нибудь помогу окружающимъ.

Иванъ Николаевичъ встрепенулся, обрадовался.

— Да, да, ты это отлично придумала. Помнишь, какъ прежде, тамъ учила. Святое дѣло! Ты ужъ намѣтила кого-нибудь?

— Двѣ-три дѣвочки подходящія есть. Я уже говорила съ ихъ матерями. Конечно, очень рады.

— Еще бы; здѣсь стоитъ кличъ кликнуть — набѣгутъ десятки.

Онъ заходилъ по комнатѣ съ веселымъ лицомъ, словно ожилъ. Въ головѣ уже роились мечты.

— Я тоже готовъ въ свободные часы удѣлить время на это дѣло. Лучше всякой школы обучимъ дѣтишекъ. Нельзя же только о себѣ думать. Признаюсь тебѣ откровенно, эта механическая работа далеко не удовлетворяетъ. Все время я придумывалъ, что бы такое начать дѣлать, чтобы чувствовать, что не одному себѣ служишь.

Онъ грустно усмѣхнулся.

— Все это время планы разные строилъ насчетъ лекцій рабочимъ; вертится въ головѣ проектъ о театрѣ здѣсь для противовѣса кабакамъ. Я даже Егору Егоровичу говорилъ, только онъ, разумѣется, мимо ушей пустилъ — прямого ба-

рыша это не даетъ. А ему и всѣмъ имъ только этого и нужно. Не могутъ они, эти дѣльцы, понять, что имъ же будетъ полезнѣе, когда рабочій поднимется нравственно, будетъ сознательнѣе дѣлать свое дѣло. А сколько бы можно было сдѣлать при ихъ средствахъ.

Онъ вспомнилъ прошлое.

— У насъ и средствъ не было, а дѣлали кое-что въ свое время. Сколько дѣвчоночекъ одна ты обучила шитью, вязанью, вышиванью, грамотѣ. Это пустяки, повидимому, а посмотри поглубже и увидишь, что ты дала имъ лишнее средство для добыванія куска хлѣба.

Елена Васильевна вздохнула.

— Хорошее это было время,—сказала она.—Не вернется оно никогда.

— Изъ колеи насъ выбили,—проговорилъ онъ.—Ну, да что дѣлать, что дѣлать. Не воротишь того, что прошло. Теперь, прежде всего, надо думать, какъ бы своихъ дѣтей поднять. Это главное. Но если можно что и для другихъ сдѣлать, то слѣдуетъ браться и за это. Не по насъ эта жизнь для одной своей утробы.

И онъ заговорилъ впервые послѣ переселенія на заводъ откровенно. Не по душѣ ему здѣсь было. Цифры, цифры и только цифры. Провѣрки, порученныя ему Егоромъ Егоровичемъ, тоже не особенно интересны: работа въ пользу предпринимателей и только. А какъ къ нему относятся? Заговоритъ онъ о рабочихъ, о ихъ благѣ, объ улучшеніи ихъ быта, Егоръ Егоровичъ слушаетъ молча и терпѣливо; кончитъ онъ, а Егоръ Егоровичъ и спроситъ:

— Вчерашняя пріемка матеріаловъ вѣрною оказалась?

И видитъ онъ, Иванъ Николаевичъ, что онъ со стѣной разговаривалъ, а не съ человѣкомъ; изъ приличія тотъ не прерывалъ, пропуская все мимо ушей. Даже обидно; ужъ лучше бы спорилъ, возражалъ, а то просто изъ вѣжливости бредъ слушаетъ. Александръ—тотъ хоть откровеннѣе и безцеремоннѣе: прямо, какъ услышитъ какіе-нибудь его проекты, сейчасъ же похлопаетъ его по плечу и оборветъ на полусловѣ.

— Ахъ, ты мечтатель, мечтатель, дядя Ваня!

И еще соболѣзнуетъ:

— Эхъ, если бы при твоихъ знаніяхъ, рвеніи да способностяхъ практическая смѣтка была—милліоны нажилъ бы ты!

Иванъ Николаевичъ горько усмѣхнулся, передавая эти подробности.

— Что-жъ, они правы. Не такое теперь время, чтобы смотрѣть безъ смѣха на насъ, мечтателей-то. Поврежденные мы, юродивые. Теперь вѣкъ практическій; отвлеченными идеями объ общемъ благѣ не время увлекаться; былъ бы самъ сытъ, а тамъ хоть трава не расти; всякій долженъ о себѣ думать, а Богъ обо всѣхъ...

Елена Васильевна видѣла, какъ онъ волнуется, и, приблизившись къ нему, положила ему на плечи руки.

— Полно, будемъ ужъ лучше юродивыми.

Онъ очнулся и засмѣялся:

— Да ужъ меня-то теперь, хоть бы и захотѣлось, не исправишь. Самъ съ собою разговаривать началъ,—это ужъ послѣднее дѣло. Гвоздь, значитъ, въ головѣ есть. Такъ на посмѣшище и буду жить... Не то меня иногда пугаетъ... Дѣти! чѣмъ они вырастутъ? Какая участь ихъ ждетъ въ наше-то время, когда все хуже и хуже жить тому, кто не идетъ на сдѣлки, на компромиссы.

Елена Васильевна вздрогнула.

— Не говори,—эти мысли иногда приводятъ меня въ отчаяніе. Впередъ заглядывать страшно.

На слѣдующій же день начались окончательные поиски и разспросы, касавшіеся дѣтей, нуждающихся въ урокахъ, и увѣнчавшіеся полнымъ успѣхомъ. У одного изъ конторщиковъ, служившихъ на заводѣ, была цѣлая полдюжина дѣтей; среди нихъ двѣ дѣвочки подходили по лѣтамъ къ Настѣ и нуждались въ окончательномъ образованіи, прервавшемся на половинѣ по недостатку средствъ у родителей. На сосѣдней фабрикѣ тоже нашелся какой-то служащій, имѣвшій въ домѣ дочь и племянницу, взятыхъ по бѣдности изъ гимназіи до окончанія курса. Елена Васильевна, уже познакомившаяся ранѣе съ матерями этихъ дѣтей, обрадовалась, когда эти матери согласились съ благодарностью на ея предложеніе, и рѣшила, что она охотно будетъ учить всѣхъ этихъ дѣвочекъ, лишь бы Настя не была одна. Настя немного удивилась, когда стали ходить эти дѣвочки къ нимъ въ домъ учиться, и первое время дичилась ихъ. Ее даже сердило, что «у нихъ теперь школа». Это точно стѣсняло ея свободу, придавало ученью официальный характеръ. Но даже самыя несообщительныя дѣти сходятся быстро; сошлась и она съ этими дѣвочками. Особенно сблизилась она съ одною изъ нихъ,—съ сироткой, воспитывавшейся въ домѣ одного изъ служившихъ на сосѣдней фабрикѣ. Маша, такъ звали эту дѣвочку, попала въ домъ Зубковыхъ случайно.

Ее привели къ Еленѣ Васильевнѣ не родные, а какая-то сосѣдка этихъ родныхъ, горячо просившая Зубкову принять участіе въ дѣвочкѣ, говоря, что жизнь послѣдней дома «не сладка». Зубкова, конечно, тотчасъ же дала дѣвочкѣ позволеніе ходить къ ней и брать уроки. Это была худенькая, блѣдная, тихая дѣвочка, вспыхивавшая и вздрагивавшая, когда къ ней обращались съ вопросами. На видъ она была моложе своихъ лѣтъ и смотрѣла чуть не десятилѣтней дѣвочкой. Знала она крайне мало, такъ какъ ее уже два года ничему не учили. Одѣвалась она очень бѣдно и очевидно съ чужого плеча: часть одежды была слишкомъ узка, часть слишкомъ широка. Разъ она, робко потупивъ глаза, спросила у Елены Васильевны, не можетъ ли она на этотъ разъ приготовить къ завтрашнему дню свои уроки у нихъ. Елена Васильевна ласково сказала ей, что это вполнѣ возможно. Дѣвочка покраснѣла и стала торопливо благодарить ее. Дня черезъ три эта просьба повторилась снова и часовъ въ восемь вечера Настя тихонько знаками вызвала мать въ другую комнату и шопотомъ сообщила ей:

— Мама, оставь Маню у насъ ночевать!

— Какъ же можно, дѣточка, — отвѣтила Елена Васильевна.—Ее будутъ ждать дома.

— Ее не будутъ ждать, мама,—сказала Настя.

Елена Васильевна въ недоумѣніи взглянула на дочь.

— Ты же почему знаешь?

— Я сказала Олѣ Петровой, онѣ вѣдь сосѣдки, что она останется ночевать у насъ,—отвѣтила Настя и заговорила просящимъ тономъ:—Не сердись, мамочка. Я знала, что ты позволишь. Она, право, право, не можетъ сегодня идти домой... никакъ не можетъ...

Она совсѣмъ взволновалась и воскликнула:

— Ахъ, какъ тяжело быть бѣдной!

Елена Васильевна широко открыла глаза.

— Я ничего не понимаю, голубка,—проговорила она.

— Послѣ, послѣ я тебѣ, мамочка, все разскажу, а теперь скажи Манюшѣ, что ты ее оставишь у насъ.

Зубкова еще колебалась.

— Но какъ же такъ?.. ты сказала черезъ дѣвочку-сосѣдку, что Маша остается у насъ. Ея родные могутъ разсердиться на нее и сказать, что мы...

— Они рады будутъ, мама, что она осталась. Я ужъ знаю, право, знаю. Обрадуются... Ты только позволь!..

Елена Васильевна, видя волненіе дочери, поцѣловала ее въ голову и успокоила ее:

— Ну, хорошо, дитя. Такъ и быть. Если ея родные разсердятся, я постараюсь оправдать ее и все приму на себя.

Она вошла обратно въ столовую. Маша, потупивъ глаза, заботливо собрала свои тетради и книги, перевязавъ ихъ веревочкой, и сидѣла съ покорнымъ видомъ несчастнаго чужого ребенка, ожидающаго рѣшеніе своей участи,—пріютятъ ли его на ночь, или погонятъ вонъ.

— Манюша,—окликнула ее Елена Васильевна.

Та вздрогнула и подняла на Зубкову молящіе глаза забитой собачонки, точно прося ее: «не гоните».

— Ты можешь, если хочешь, остаться у насъ,—добавила Елена Васильевна.

Маша торопливо бросилась къ ней и стала поспѣшно и часто цѣловать ея руки.

— Но тебя не будутъ бранить за это дома?—спросила Елена Васильевна, гладя ее по головѣ и пытливо заглядывая въ ея глаза.

— Нѣтъ-съ... тетя позволила... тетя рада,—проговорила дѣвочка и торопливо, но упавшимъ голосомъ прибавила:— У тети и на своихъ дѣтей мало хлѣба..

Зубкова стиснула зубы какъ бы отъ физической боли. Настя, наклонясь къ ея уху, шепнула ей въ то же время:

— А дядя ея... мужъ ея тети... опять занилъ вчера и говоритъ: «чужихъ щенятъ нанесла»...

Маша слышала этотъ шопотъ и стояла потупившись,— это было то выраженіе тупой покорности, съ которой стоятъ передъ публикою показываемые за деньги карлики и уроды въ то время, когда антрепренеръ описываетъ ихъ біографію и ихъ уродства.

— Дядя ихъ всѣхъ щенками зоветъ,—шептала Настя:— и Маша нѣсколько разъ въ сѣняхъ ночевала... въ холодъ, мамочка...

Елена Васильевна кусала губы, чтобы не расплакаться. Она поспѣшила быстро замять этотъ разговоръ, развлечь и несчастную гостью, и свою Настю, давъ въ душѣ слово разузнать послѣ всю исторію этой дѣвочки, чтобы знать, что дѣлать дальше. Она даже и не подозрѣвала, что ея дочь знаетъ уже всю эту исторію и еще съ какими подробностями.

Андрей Андреевичъ Свѣденцовъ, дядя Маши или, вѣрнѣе, мужъ ея тетки, былъ изъ числа неудачниковъ, которыхъ всю жизнь грызетъ неудовлетворенное самолюбіе, заставляю-

щее ихъ угрюмо дичиться общества, не искать ни у кого помощи, косо смотрѣть на всѣхъ и держать себя неуклюже и неловко, такъ что ихъ то считаютъ глупыми, то называютъ грубіянами. Хорошій, какъ машина, работникъ и смирный, дошедшій до автоматической несообщительности, человѣкъ въ трезвомъ видѣ, онъ дѣлался сознательно, на зло всѣмъ, лѣнтяемъ и нестерпимо наглымъ забіякой въ пьяномъ видѣ. Трезвый онъ приходилъ домой и ложился спать, какъ бы избѣгая видѣть убогую обстановку и многочисленныхъ членовъ своей семьи; пьяный онъ дѣлалъ эту обстановку еще неприглядиѣе, ломая все, что попадало подъ руку, и терзалъ членовъ своей семьи, выгоняя изъ квартиры сиротъ, племянника и племянницу жены, крича на своихъ дѣтей за то, что онъ не знаетъ, чьи они,—можетъ-быть, и не его: ему на шею жена сама бросилась, такъ, можетъ-быть, и другимъ бросалась. Въ трезвомъ видѣ онъ ея стыдился, чувствовалъ почти отвращеніе къ ней, какъ стыдятся люди своихъ тайныхъ гнусныхъ пороковъ; въ пьяномъ видѣ онъ надругался надъ нею, называлъ ее площадными кличками, непотребными именами, унижалъ ее, заставляя ее играть роль худшую, чѣмъ роль продажной женщины, и поруганная, избитая, она дѣлалась снова и снова матерью. Несчастная женщина безропотно переносила все, ублажала мужа, сама выпроваживала своихъ родственниковъ-сиротъ, прятала своихъ дѣтей, выносила побои мужа, и когда ее жалѣли сосѣди, она, блѣдная, худая, чахоточная, всегда готовящаяся сдѣлаться матерью, тихо говорила:

— Что-жъ дѣлать, сама виновата, сама полюбила; такъ-то бы онъ и никогда, можетъ-быть, не женился, а ужъ на мнѣ и подавно, теперь же вотъ сколько ртовъ у него на шеѣ, изъ-за моей любви къ нему все.

Елена Васильевна только отрывками, только постепенно узнала эту семейную исторію; Настя, напротивъ того, узнала ее во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ: Маша съ наивностью ребенка, все видѣвшаго, но не знающаго, что можно говорить и чего нельзя говорить, посвятила Настю во всѣ тайны своей домашней жизни, и передъ дѣвочкой раскрылся цѣлый новый міръ неприглядныхъ сценъ, лишеній, испытаній. Она жадно ловила эти разсказы, потому что они подтверждали то, что уже начинало входить ей въ плоть и кровь,—убѣжденіе, что на свѣтѣ нѣтъ ничего хуже бѣдности. Это убѣжденіе явилось въ ея умѣ при сравненіи жизни ея семьи съ жизнью семьи Александра Константи-

новича; оно явилось у нея подъ вліяніемъ вздоховъ и сожалѣній бабки о томъ, что дѣвочка не можетъ повеселиться; оно явилось въ ней въ тѣ минуты, когда изъ дома Александра Константиновича доносились звуки музыки, смѣха и говора, а у нея дома царила скучная тишина. Теперь она видѣла, что бѣдность порождаетъ не одну скуку, но и семейные раздоры, запои съ горя, безобразіе въ пьяномъ видѣ. Маша съ серьезностью опытнаго человѣка говорила ей:

— Всѣ у насъ заводскіе и фабричные пьютъ, потому нужда-то не сладка! Съ горя-то запьешь! Въ прошломъ году у насъ одна женщина повѣсилась, такъ ее бѣдность-то пришибла.

— Какъ—повѣсилась?—спросила въ недоумѣніи Настя.

— А такъ взяла да и повѣсилась! Праздникъ былъ, Рождество, значитъ, близко, а у мужа вычетъ за прогулы сдѣлали. Мало онъ, значитъ, получилъ и прямо съ работы пошелъ съ горя въ кабакъ, пропилъ и достальное. Ну, какъ пришелъ онъ домой, увидала жена, что ничего не принесъ онъ, денегъ-то это, и взяло ее горе. У всѣхъ праздникъ на носу, а у нихъ разговѣться нечѣмъ. Пошла она на чердакъ, гдѣ бѣлье сушатъ, чердакъ-то у нихъ большой-большой, длинный; взяла перекинула веревку черезъ балку; балки это тамъ все понадѣланы; просунула въ петлю голову и повѣсилась. Не сразу и узнали; сперва думали, утопилась, а потомъ на чердакѣ ее и нашли; бѣлье хотѣли вѣшать, а она тамъ и виситъ, си-иняя и портиться стала, смрадъ пошелъ...

И серьезнымъ тономъ взрослой, она прибавила:

— Голодъ-то не свой братъ, на все пойдешь, какъ нужда притиснетъ. Вонъ и у насъ теперь, — впроголодь живемъ, обносились всѣ, а что дядя къ празднику получитъ,—гроши. Туда отдай, сюда заплати, ничего не останется. А у богатыхъ елки готовятъ для дѣтей, и игрушки покупаютъ. Я вонъ вчера видѣла, какъ везли одну елку, всю въ фонарикахъ, обручи на ней разноцвѣтные. Навѣшаютъ орѣховъ, пряниковъ, зажгутъ свѣчи,—хорошо!

У нея разгорѣлись глазенки, въ голосѣ послышались какія-то сладкія, пѣвучія ноты, чувствовалось, что она понимаетъ всю сладость «елки». Настя слушала ее молча, думая о семьѣ Александра Константиновича.

— Сегодня вотъ посмотришь, завтра посмотришь, какъ другіе-то веселятся, а ты голодаешь, такъ и повѣсишься,— продолжала Маша.—Право!

Настя очнулась. Ей стало жутко при воспоминаніи объ этой повѣсившейся женщинѣ. Уже смерклось, въ столовой приготовляли чай. Настя машинально подошла къ окну и стала снова вглядываться въ темноту ночи, въ домъ Александра Константиновича. Что-то дѣлается тамъ у нихъ, въ городѣ? Готовятся къ празднику? Собираются веселиться? Неужели ее даже на праздникъ не повезутъ туда? За что ея лишаютъ всего, всего?

XI.

За два, за три дня до Рождества въ семьѣ Зубковыхъ происходили между мужемъ и женой таинственныя совѣщанія. Въ тайну отца и матери былъ посвященъ и Ваня. Нѣсколько разъ онъ, оживленный, веселый и въ то же время озабоченный, красный, какъ вареный ракъ, забѣгалъ къ отцу въ контору и потомъ приходилъ къ матери, сообщая таинственно ей что-то. Наконецъ, настали день Рождества и Настя неожиданно подслушала, что въ этотъ день у нихъ будетъ елка. Едва открывъ глаза по-утру, она уже увидала около своей постели новое платье, нарядное, свѣтлое, отдѣланное шелковыми лентами. Дѣвочка вскочила съ постели и бросилась разсматривать новый нарядъ. Она въ волненіи, не одѣваясь, прикинула его къ себѣ, смотрясь въ небольшое зеркало, улыбаясь счастливою улыбкою. Ей казалось, что такого платья она еще ни на комъ не видала, такъ оно ей понравилось... Ее охватила радость и первое, что ей пришло въ голову, была мысль о томъ, что ее повезутъ къ бабушкѣ, къ Лидѣ. Только потому и не везли туда, что платья не было нарядного.

Умывшись и одѣвшись на-скоро, она вышла въ столовую и бросилась цѣловать отца и мать, прыгая и хлопая въ ладоши. Они улыбались, видя ея радость. Мать сказала ей:

— Ты, дѣточка, надѣнешь это платье сегодня вечеромъ. У насъ будутъ гости.

— Ольга Давыдовна и Лида?—быстро спросила Настя.

— О, нѣтъ! Здѣшніе, сосѣди, дѣти,—отвѣтила мать.

Потомъ, переглянувшись съ Ваней, мать добавила:

— Просто придутъ три-четыре человѣка на чай. Дядя Устя пріѣдетъ тоже.

Настя тихо вздохнула. Она желала бы лучше видѣть у себя Ольгу Давыдовну, Лиду, чѣмъ какихъ-то бѣдныхъ сосѣдей, пришедшихъ на чай, тѣмъ не менѣе она была весела. Очень ужъ радовала обновка.

Къ завтраку пріѣхалъ Устиновъ и привезъ какія-то корзинки, которыя тотчасъ же исчезли въ кабинетѣ Ивана Николаевича. Кабинетъ былъ тщательно запертъ, но туда то и дѣло сновалъ Ваня.

— Ну, а елка гдѣ же?—спросилъ неожиданно Устиновъ за завтракомъ и поперхнулся, увидавъ выразительные взгляды Вани и Елены Васильевны.

— Какая елка?—равнодушно спросила Елена Васильевна.

— Нѣтъ, я такъ,—сказалъ Устиновъ и лукаво подмигнулъ:—У васъ-то, я знаю, что нѣтъ елки, а то теперь въ другихъ домахъ...

Онъ крякнулъ и засмѣялся, взявъ за подбородокъ Настю:

— Чего таращишь глазищи, галка? Тебѣ, что ли, елки захотѣлось? Такъ тебѣ и будетъ она, жди!

Всѣ начали говорить о другомъ, заминая этотъ разговоръ о елкѣ. Въ душѣ Насти, тѣмъ не менѣе, пробудились подозрѣнія. Ужъ въ самомъ дѣлѣ не будетъ ли у нихъ елки? Вдругъ будетъ? Соберется много народу, музыка будетъ, пріѣдутъ Ольга Давыдовна, Лида, Егоръ Егоровичъ, бабушка... Она стала нетерпѣливо ждать чего-то.

Къ обѣду явилась Маша въ новенькомъ шерстяномъ платьѣ и шепнула Настѣ, что это ей вчера прислала Елена Васильевна.

— Я такъ и ахнула!—разсказывала дѣвочка.—Ты смотри: кашемировое платье. «Шерсть чистая», — сказала тетя. — Если загрязнится — вымыть можно, а то и выкрасить, ничего ему не сдѣлается, потому безъ бумаги. А кушакъ, видишь, атласныя ленты. Настоящія тоже. То бываетъ сверху атласъ, а снизу бумажныя, не шелковыя, а это шелкъ. Вотъ бы въ этомъ платьѣ гдѣ-нибудь на елкѣ быть. У нашего управляющаго вотъ елку готовятъ.

Настя наклонилась къ ней:

— Погоди, у насъ, кажется, тоже будетъ елка.

— Ну-у?

— У папы въ кабинетѣ она, кажется,—еще тише шепнула Настя.

— А ты смотрѣла?

— Заперт.

— А въ замочную скважину? Я всегда въ замочную скважину смотрю, когда домой приду и дверь заперта. Тоже налорешься такъ-то, не подсмотрѣвъ, на пьянаго дядю—не сластъ. А какъ подсмотришь, ну, и знаешь, что тамъ, въ комнатѣ-то. Ты посмотри.

— Нельзя, увидятъ.

— Ахъ, ничего-то ты не умѣешь! Давай, я подсмотрю. Ты оставайся здѣсь, а я пойду въ гостиную и подсмотрю. Ловка я на это.

Она приняла равнодушный видъ и, напѣвая что-то себѣ подъ носъ, начала ходить по гостиной, все ближе и ближе къ дверямъ кабинета, бросая косые взгляды на столовую. Когда она убѣдилась, что на нее никто не смотритъ, она быстро наклонилась къ двери кабинета и заглянула въ замочную скважину. Это было дѣломъ одной минуты, и она уже снова съ равнодушнымъ видомъ ходила по гостиной, напѣвая что-то себѣ подъ носъ. Потомъ она вернулась въ столовую и незамѣтно кивнула головой Настѣ:

— Елка!—какъ вздохъ, прозвучалъ ея докладъ.

Настя вспыхнула, чувствуя, что ея сердце сильно бьется. Значитъ, много гостей будетъ! Всѣ пріѣдутъ. Не можетъ же елка быть безъ гостей. За обѣдомъ Настя была очень оживлена. Маша была скромна и тиха по обыкновенію; только раза два она вскользь замѣтила, что сегодня у ихъ управляющаго елка, тоже у конторщицы михайловскаго завода елка; при этомъ она лукаво взглядывала на всѣхъ, ожидая, что кто-нибудь проговорится. Но всѣ хранили тайну. Часовъ въ шесть Настя переодѣлась въ новое платье. Начали собираться дѣти и взрослые изъ сослуживцевъ Ивана Николаевича. Комнаты уже были освѣщены лампами и свѣчами. Наконецъ, распахнулась дверь кабинета и передъ глазами присутствующихъ заблестѣли огоньки елки, пестрые фонари, золоченыя украшенія. Дѣти побѣжали туда, прыгая, крича и смѣясь; Настя была тоже увлечена общей радостью, и на время въ ней сказался вполнѣ ребенокъ. Она была готова прыгать и хлопать въ ладоши. Елена Васильевна уже ходила около елки и раздавала дѣтямъ мелкіе подарки. Давно она не испытывала такого чувства довольства и счастія, какое испытала теперь, принимая горячіе поцѣлуи дѣтей и цѣлуя ихъ головы. Иванъ Николаевичъ тоже сіялъ и ходилъ, потирая руки отъ удовольствія. Ваня сновалъ среди дѣтей, бросался къ взрослымъ, угощая ихъ сластями, вспотѣлъ отъ хлопотъ и чувствовалъ, что онъ впервые испытываетъ настоящую радость. Когда свѣчи елки начали догорать и ихъ пришлось потушить, Елена Васильевна присѣла за рояль и заиграла польку. Ребятишки завертѣлись въ гостиной, кто какъ умѣлъ. Немного погодя, пустились

танцовать и взрослые. Дядя Устя протолкался къ Еленѣ Васильевнѣ и сказалъ ей:

— Ну, барынька, мы такъ-то и безъ чаю останемся, если вы танерствовать будете! Ступайте-ка къ своему дѣлу, а я за васъ потренкаю. Тоже хоть по слуху, а все же разныхъ чижиковъ умѣю играть.

Она улыбнулась и уступила ему мѣсто. Игралъ онъ недурно, больше по слуху, но смѣло и бойко.

— Кадриль!—крикнулъ онъ громко.—Кавалеры, ангажируйте дамъ и маршъ по мѣстамъ!

Начались суматоха, смѣхъ, говоръ.

— Кавалеры начинаютъ!—командовалъ Устиновъ.—Дамы назадъ! Цѣпь! Кругъ кавалеровъ!

Онъ и игралъ, и руководилъ танцами, и сыпалъ нехитрыми остротами, смѣша невзыскательное общество и производя невообразимый шумъ.

Когда кончилась кадриль, Настя, возбужденная, раскраснѣвшаяся, съ сверкающими отъ восторга глазами, прибѣжала къ отцу и матери и поцѣловала ихъ. Устиновъ замѣтилъ ей:

— А меня-то и не благодаришь, галка? Я изъ-за васъ всѣ руки отколотилъ.

— Ахъ, дядя Устя, дядя Устя, какъ мнѣ весело!—воскликнула она, цѣлуя его звонко въ губы и вертя его.

— Верченная!—проговорилъ онъ, улыбаясь и отбиваясь отъ нея.

Въ столовую вбѣжалъ Ваня.

— Мама, чаю, чаю! Я разносить буду!—вскричалъ онъ и, увидавъ, что чай налитъ, помчался съ подносомъ угощать гостей.

Когда онъ вернулся, Елена Васильевна замѣтила ему:

— Да ты самъ пей!

— Нѣтъ, нѣтъ! Что мнѣ, я дома! Гостей надо угощать! Какъ они всѣ довольны, ахъ, какъ довольны!

Онъ захватилъ печенье и опять помчался угощать гостей.

— Съ голоду помереть готовъ, лишь бы другіе были сыты,—проворчалъ Устиновъ, прихлебывая стоя чай.

Маша въ это время шептала Настѣ:

— Вотъ что значитъ, что твой папа получаетъ много. При бѣдности не развеселишься такъ. Повѣсь носъ на квинту да и высиживай скуку, при бѣдности-то.

Она вздохнула, какъ взрослый человѣкъ, знающій цѣну бѣдности и богатства.

— А вотъ, поди-ка, у вашихъ хозяевъ еще почище балъ теперь. Въ шелкахъ всѣ гости. Въ комнатахъ золото все... Страсть...

Настя сощурила задумчиво глаза и на минуту передъ ней пронеслась картина другого дома, гдѣ всѣ гости въ шелкахъ, а въ комнатахъ все золото. Заглянуть бы туда, тамъ еще веселѣе...

— Ну, ну, нечего киснуть на мѣстѣ! Танцовать!—крикнулъ Устиновъ и снова присѣлъ къ роялю.

Опять завертѣлись дѣти и взрослые, опять Настя, увлеченная общимъ оживленіемъ, забыла о семьѣ Александра Константиновича и отдалась счастію данной минуты.

Било часъ, било два, а гости, и дѣти, и взрослые, и не думали расходиться, несмотря на то, что они уже давно кончили ужинъ. Ужинъ, напротивъ того, только подбодрилъ всѣхъ, возбудивъ ихъ еще болѣе виномъ, пивомъ и медомъ.

Когда всѣ разошлись, въ квартирѣ Зубковыхъ расположился цѣлый лагерь: въ домѣ остались ночевать Устиновъ, Маша, еще одна дѣвочка и два товарища Вани. Улеглись всѣ какъ попало, на диванахъ, на полу, на стульяхъ. Сами Зубковы остались почти безъ подушекъ, заботясь только о своихъ гостяхъ. Маша, лежа съ Настей на постели, вздыхала:

— Мѣсяцъ бы такъ пожить, все бы отдала!

Настя замѣтила ей:

— Что отдавать-то, когда ничего нѣтъ.

— Нѣтъ, ты не говори,—отвѣтила Маша.—Я ужъ знаю, какъ можно это сдѣлать. Опасно только. Сдуру иныя сами себя задаромъ теряютъ.

Настя ничего не поняла и не разспрашивала, думая опять совсѣмъ о другомъ, о томъ, какъ провели этотъ вечеръ у Ольги Давыдовны.

Слѣдующій день былъ днемъ пріятныхъ воспоминаній, оживленной болтовни о событіяхъ минувшаго вечера. Вспоминали, какъ кто-то упалъ во время вальса, какъ кто-то вмѣсто соли посыпалъ сахаромъ жаркое, какъ одинъ мальчуганъ отдавилъ какому-то господину ногу и сказалъ: «pardon, madame!» Всѣ эти пустяки смѣшили, вызывали взрывъ смѣха, потому что веселое настроеніе недавняго пира еще не улеглось, возбужденіе еще не утихло, кровь еще ходила ходуномъ. Устиновъ и два товарища Вани цѣлый день все собирались домой и не могли собраться до самаго вечера, точно имъ было тяжело разстаться съ этимъ теплымъ гнѣздышкомъ, полнымъ счастія и радости. Наконецъ, Устиновъ

объявилъ, что пора и честь знать, и пустился въ путь съ «баши-бузуками», то-есть съ пріятелями Вани.

Но и послѣ ихъ отъѣзда въ домѣ еще нашлись темы для разговоровъ о вчерашнемъ днѣ, о гостяхъ, о всеобщемъ весельи. Теперь эти толки приняли болѣе интимный характеръ. Ваня передавалъ свои наблюденія.

— Вотъ-то, мама, мы угодили, подаривъ Митѣ письменныя принадлежности. Онъ чутъ не запрыгалъ отъ радости, прижалъ ящикъ къ груди и потомъ во время танцевъ все посматривалъ на него, цѣлъ ли онъ. Потѣшный: точно боялся, что украдутъ. А жена нашего конторщика меня даже стала благодарить за игрушки, доставшіяся ея дѣтямъ. Я говорю: «что же я? это мама и папа».—«Нѣтъ, говоритъ, я знаю, что и вы хлопотали. Мнѣ мужъ сказалъ». Почему же онъ, мама, знаетъ, что я хлопоталъ?

Иванъ Николаевичъ посмѣивался, ходя по комнатѣ и куря папиросу.

— Это я тебя выдалъ,—сказалъ онъ.—Ты вотъ бѣгалъ въ контору, Тимоѳей Никитичъ и спросилъ, что это ты хлопочешь. «Елку, говорю, надумали устроить». Вотъ онъ женѣ и сказалъ.

Ваня воскликнулъ:

— Я бы, кажется, всегда, всегда готовъ былъ такъ хлопотать. Вотъ для этого я хотѣлъ бы быть богатымъ, очень, очень богатымъ.

Настя вмѣшалась въ разговоръ:

— Да, да, я тоже хотѣла бы быть очень богатой. Каждый бы день балы дѣлала, до упаду бы танцовала.

Всѣ засмѣялись.

— Попрыгунья! — сказалъ съ ласковой шутливостью Ваня.—Устала бы!

— Нѣтъ, нѣтъ, никогда!

Третій день праздника уже походилъ вполнѣ на будни. На четвертый день у Ивана Николаевича уже начались занятія. Ваня сидѣлъ въ своей комнатѣ за книгою. Елена Васильевна принялась за шитье. Настя бродила по комнатѣ съ Машей, слушая ея разговоры о томъ, что теперь «всѣ у нихъ пьютъ», и послѣднія тряпки къ закладчикамъ несутъ, «у тетки глаза не осушаются отъ слезъ, такъ какъ дядя ужъ вѣрно побилъ ее». Не можетъ не напиться онъ въ праздникъ. А если пьянъ,—сейчасъ же драться. Утомясь слушать горькіе разсказы подруги, Настя присаживалась къ роялю и начинала играть,—мелодіи вальсовъ или полекъ

переносили ея воображеніе въ освѣщенныя комнаты, къ нарядным людямъ, къ блеску и роскоши. И какъ это мама и папа говорятъ, что не въ богатствѣ счастье? Развѣ когда-нибудь прежде они веселились такъ, какъ нынче въ первый день Рождества. А почему? Потому, что прежде не было денегъ. Теперь есть деньги и можно веселиться. Теперь папа очень много получаетъ. Онъ и пошелъ на заводъ къ дядѣ, чтобы побольше получать. А говорятъ, что не въ деньгахъ счастье. Зачѣмъ они это говорятъ? Вотъ вѣдь никогда они не лгутъ, а тутъ говорятъ неправду. Зачѣмъ?

Неожиданно пріѣхала Софья Андреевна. Нарядная, величественная, снисходительная въ обращеніи, она производила впечатлѣніе властительницы, снисходящей до милостиваго обращенія съ своими подданными. Настя потащила ее въ свою комнату и показала ей тотчасъ же свое новое платье. Бабка посмотрѣла на него довольно небрежно и съ гримасой замѣтила:

— Альпага! Не могли сдѣлать хоть бы изъ че-чун-чи съ небѣленымъ кружевомъ,—и прочно бы, и все же шелкъ.

— Вамъ, бабуся, не нравится?—спросила Настя тревожно.

— Ахъ, Настюша, не на такіе наряды я насмотрѣлась въ жизни. Меня не удивишь этими шерстяными тряпками. Разумѣется, каждый по одежкѣ протягиваетъ и ножки.

Она сострадательно вздохнула и поцѣловала въ голову внучку.

— Бѣдный ребенокъ!

— У насъ елка была!—сообщила Настя, уже менѣе веселымъ тономъ.

— Воображаю!—произнесла пренебрежительно старуха.— Кто же былъ-то? Дядя Устя ужъ конечно?

— Много было гостей.

Настя начала пересчитывать всѣхъ. Старуха махнула рукой.

— Голь здѣшняя! Ужъ если потратились, могли бы получше гостей пригласить. Впрочемъ, кто-жъ и знакомъ съ ними. Въ столицѣ жили, а точно въ лѣсу, ни сами никуда, ни къ нимъ кто-нибудь...

Она опять безнадежно махнула рукой.

— Связей не умѣютъ дѣлать, а безъ связей пропадешь въ столицѣ.

И она заговорила съ оживленіемъ:

— Нѣтъ, вотъ Саша, тотъ мастеръ завязывать связи. Кого-кого у насъ не перебывало за это время. Графы,

князья, генералы. Вотъ человѣкъ изъ ничего выщелкнулся, а теперь всѣ на поклонъ готовы идти. Деньги онъ въ долгъ даетъ разнымъ особамъ, онѣ его и уважаютъ. Вся семья, какъ аристократы, держитъ себя. Лидочка такъ и говоритъ: «Я только за того и выйду, кто ко двору принятъ». И выйдетъ за такого, непремѣнно выйдетъ. Еще бы! Въ сотняхъ тысячахъ приданое считается. Къ зимнему сезону чего-чего ей ни надѣлали, платье—не платье, одно изъ Парижа выписали прямо! Вортъ шилъ!

И опять, сердясь на дочь и зятя, она прибавила:

— Вотъ вѣдь не будь у нашихъ столько гонору, можно бы тебѣ кое-что добыть отъ Лиды. Она вѣдь раза два надѣнетъ платье и броситъ. Ну, да я какъ-нибудь устрою это. У тебя во-вѣки не будетъ такого наряда, какой отъ нея можно достать. Какъ-нибудь добуду и скажу, что это я отъ себя дарю тебѣ. Ахъ, какія платья! А что сама-то? Дѣдъ матери мужикомъ былъ; отецъ цѣловальникомъ былъ. Да и муженекъ-то первый Ольги Давыдовны не лучше мужика былъ, одно слово — изъ ирландцевъ. Тамъ, говорятъ, на одномъ картофелѣ дохнутъ. Въ Россіи-то только повезло ему, заводчикомъ сталъ. При деньгахъ-то все это забывается. Носъ-то и вздергиваютъ, какъ Лидка...

Она вздохнула.

— И благороднымъ людямъ приходится кланяться передъ нею, что дѣлать! И знаетъ это дѣвчонка, знаетъ! Задеретъ иногда такъ голову, что а-ахъ!

Въ комнату вошла Елена Васильевна и прервала разговоръ.

Часъ спустя, Софья Андреевна осталась наединѣ съ Еленой Васильевной и начала другіе разсказы.

— У насъ чуть не до ножей дошло, я ужъ и уѣхала отъ грѣха денька на два къ вамъ.

— Что случилось? — спросила Елена Васильевна равнодушнымъ тономъ.

— Сама-то приревновала Сашу, извѣстное дѣло!—сказала мать.—Съ самаго переѣзда въ городъ эта канитель тянется. Извѣстно, не можетъ же Саша быть ей вѣрнымъ. Разлѣзлась, какъ опара. Сѣдина стала пробиваться. Нянька ея старая, — дура она у нихъ, старой вѣры держится, — говоритъ мнѣ: «чужіе зубы повставляла, грѣховодница». Думаетъ, старая, что это отъ мертвецовъ берутъ. Смѣхъ и грѣхъ!.. Ну, а онъ, Саша-то, человѣкъ еще въ самой настоящей порѣ. Ему молодую женщину нужно. Она, наша-то заводчица, понимаетъ это и рветъ, и мечетъ.

Въ ея голосѣ послышались иныя ноты.

— Мнѣ вздумала сцены дѣлать! Я, видишь ли, вмѣсто матери ему заступаю, такъ я должна его образумить. Вздумала тоже, стану я за дурящую бабу противъ молодого человѣка вступаться.

Она засмѣялась и, понизивъ тонъ, проговорила:

— А Сашка — ахъ, шутъ гороховый, право, шутъ гороховый!—пришелъ ко мнѣ да и разсказываетъ свои проказы. Молодую какую-то бабенку оплелъ. «Венеру, говоритъ, съ нея пишу, да и только. Грація, говоритъ, и чистота линій какая». Любитъ онъ, шельмецъ, словца такія. Я ему и говорю: «Да ты бы, шутъ ты этакій, хоть концы въ воду прятать, чтобъ Ольга не знала». — «Вотъ еще, говоритъ, она меня за это еще больше любить будетъ: увидятъ, что не ей одной нуженъ, а что наперебой рвутъ». Потѣшились. Я-было, знаешь, немного за него опасалась, думала: «А вдругъ баба взбѣленится, да разойдется съ нимъ». Ну, оказалось, пустяки. У него теперь свое обезпеченное состояніе. «Было, говоритъ, время, когда можно было испугать; а теперь, говоритъ, я птица вольная, захочу — самъ улечу!»

Елену Васильевну непріятно коробило отъ этихъ разсказовъ, но мать не унималась.

— И чего она кипятится? Сама безъ грѣха, что ли, была? Не первый Сашка-то былъ. Послѣ того, какъ съ нимъ сошлась, правда, остепенилась, ну, такъ вѣдь потому, что влюбилась, какъ кошка, да и Сашка обломалъ бы ноги тому, кто поперекъ его дороги сталъ бы. И вѣдь до чего теперь дошла: письма, къ Сашѣ адресованныя, перехватывать! Право! Ну, что-жъ, онъ теперь и сдѣлалъ такъ, что на мое имя адресовать стали письма, а я ихъ ему отдаю. Вотъ за это-то и вышла у насъ исторія. Заподозрила она, что это не ко мнѣ, а къ нему пишутъ, и подняла бурю: покажи я ей письма, присланныя ко мнѣ. Ну, нѣтъ, извините! Порядкомъ посчитались мы изъ-за этого.

И опять она обозлилась:

— И что за семейка! Она, заводчица-то, надулась, скрыть, мужичка, злобы не унѣетъ, ну, и Лидка за ней зафырлакъ. Причины не знаетъ, за что мать надулась, а тоже ей передражаетъ. Егоръ Егоровичъ — Джорженька нашъ, іезуитикъ, — видитъ, что мать и сестра на чорта сѣли противъ меня и хихикаетъ себѣ въ бороду, злорадствуетъ, язвитъ больше прежняго. Только я вѣдь не боюсь. Сашка мнѣ сказалъ: «Я ихъ обломаю, не у себя только заставляю Ольгу

Давыдовну на колѣняхъ стоять, а у васъ ручки прикажу цѣловать». Да онъ и добьется своего, плеткой еще учать ее станетъ, глупую старую бабу.

— Господи, что это за адъ! — воскликнула съ отвращеніемъ Елена Васильевна.

— Ахъ, мать моя, да гдѣ же въ порядочной семьѣ раздоровъ не бываетъ?—проговорила Софья Андреевна.—Это у васъ не до любви, да не до ревности, такъ какъ изъ-за хлѣба день-деньской бьетесь. А при богатствѣ—да отчего же и не потѣшить себя человѣку амурами-то? Не съ насъ это началось, не нами и кончится. Будь Давыдовна-то наша поумнѣй, поняла бы она это. Она въ свое время свое взяла; Саша теперь съ жизни радости урываетъ. Святыхъ-то, матушка, не много да и не ко двору они въ жизни-то, постное-то масло и въ посту надоѣстъ, а всю жизнь на немъ сидѣть...

Она засмѣялась.

— Разумѣется, какъ высохнутъ люди среди лишеній да въ мумій превратятся, тогда ужъ грѣхи на умъ не пойдутъ. Только не сластъ это... Живемъ-то только разъ...

Елена Васильевна упорно молчала. Она чувствовала съ отвращеніемъ, что съ матерью ей нельзя даже спорить, что эту женщину можно бы только попросить оставить ихъ домъ. Въ то же время она испытывала радостное чувство при мысли о томъ, что семья Вощинина находится теперь далеко отъ нея, не тутъ же въ домѣ. Будь его семья здѣсь — ей, Еленѣ Васильевнѣ, пришлось бы каждый день видѣть эту грязь, слышать о ней, принимать участіе въ дѣйствующихъ лицахъ этого семейнаго ада.

Подъ вечеръ того же дня Насти, подъ вліяніемъ соболѣзнованій Софьи Андреевны, разсказывавшей о весельѣ въ домѣ Вощининыхъ, совсѣмъ заскучала. Она только о томъ и думала теперь, какъ веселятся у Ольги Давыдовны. Эта скука усилилась еще болѣе, когда въ одинъ изъ слѣдующихъ дней пріѣхалъ Александръ Константиновичъ, сіяющій, цвѣтущій, радостный, и увезъ Софью Андреевну, говоря, что у нихъ дома готовится пиръ и что этотъ пиръ будетъ не въ пиръ, если не будетъ ея. Старуха пріободрилась и лукаво подмигнула дочери, какъ бы говоря: «что, видишь, побѣдилъ!» Александръ Константиновичъ вертѣлся на каблукахъ, посвистывалъ и улыбался, говоря таинственными намеками:

— Да-съ, обломали!.. За вами, мамаша, сама хотѣла

ѣхать... Боялась, что вы не вернетесь... Очень ужъ васъ любитъ...

Онъ усердно приглашалъ и Елену Васильевну съ Настей. Елена Васильевна коротко и уклончиво сказала, что «она какъ-нибудь соберется». Софья Андреевна пожала плечами и замѣтила, что ужъ гдѣ ей собраться, а пусть хоть Настю отпуститъ. Слава Богу, не къ чужимъ, не безъ призора будетъ дѣвочка, а при родной бабкѣ. Александръ Константиновичъ рѣшилъ, что за Настей пришлютъ и похитятъ ее силой.

Когда они уѣхали, Настя только о томъ и думала, когда пришлютъ за ней, какъ убранъ у нихъ домъ, какіе наряды у Лиды, какой пиръ будетъ тамъ. Она бродила по комнатамъ, садилась за рояль, раздражая еще болѣе свое воображеніе музыкой, потомъ подходила къ окну и смотрѣла на пустой домъ Ольги Давыдовны, чернѣвшійся во мракѣ зимняго вечера надъ бѣлымъ снѣгомъ. Вдругъ раздались звуки бубенцовъ, послышалось ржанье лошадей и мимо домика Зубковыхъ пронеслись по двору двѣ тройки и остановились у дома Ольги Давыдовны. Изъ саней стали выскакивать люди, мужчины или женщины—нельзя было разобрать, такъ какъ длинныя зимнія одежды и мѣховыя круглыя шапки у всѣхъ были почти одинаковыя. Всѣ вошли въ домъ, тамъ замелькали огни, мимо оконъ засновали тѣни, причудливо то вырастая, то понижаясь, то какъ бы для драки поднимая руки, то сближаясь какъ бы для объятій и поцѣлуевъ — и вдругъ вся эта фантасмагорія исчезла въ таинственномъ мракѣ за тяжелыми упавшими у оконъ занавѣсками. Только кое-гдѣ между этими драпировками, сошедшимися не вплотную, золотыми полосками прорѣзался свѣтъ. Въ сосѣдней комнатѣ послышался голосъ Ивана Николаевича:

— Егоръ Егоровичъ пріѣхалъ... никинкъ...

Настя не двигалась съ мѣста и глядѣла въ темноту, охваченная желаніемъ понять, зачѣмъ это Егоръ Егоровичъ пріѣхалъ съ друзьями сюда въ пустой домъ, когда у нихъ тамъ, въ Петербургѣ — рай? А Лида, Ольга Давыдовна, Александръ Константиновичъ, бабушка тутъ же? Господи, если бы глазкомъ хоть взглянуть, что тамъ дѣлается. Хоть бы распахнулись занавѣски, хоть бы въ одномъ—въ одномъ только окнѣ распахнулись.

XII.

Когда въ домѣ Александра Константиновича заключался между мужемъ и женою миръ, всѣ въ семьѣ на-время какъ

бы ошалѣвали. Съ лица Ольги Давыдовны по цѣлымъ днямъ не сходила широко расплывавшаяся, пошловато-блаженная улыбка; щедроты хозяйки сыпались на всѣхъ; горничная, на которую за день до мира кричали и топали ногами безъ всякой причины, получала въ подарокъ почти новыя платья съ хозяйскаго плеча; малѣйшіе прихоти и капризы Лиды удовлетворялись тотчасъ же; Софья Андреевна превращалась изъ Софьи Андреевны въ «мамочку», и сама она, мамочка, принимала видъ не мокрой курицы, а распустившаго хвостъ павлина; самъ же Александръ Константиновичъ смотрѣлъ веселѣе всѣхъ, урвавъ львиную часть щедротъ Ольги Давыдовны и, вертясь на каблучкахъ, какъ мальчишка, цѣловалъ поминутно ручки своей «женки». Всѣ въ домѣ знали причину ликованья, всѣ судачили объ этомъ по угламъ, всѣ цинично говорили, что «это не надолго», что онъ «вотретъ ей еще очки», что «онъ еще проведетъ ее», и тѣмъ не менѣе всѣ пользовались радостью медоваго мѣсяца, чтобы урвать себѣ что-нибудь. Только Егоръ Егоровичъ въ эти дни смотрѣлъ на мать и отчима какъ-то особенно, не то съ ироніей, не то съ презрѣніемъ.

Примиреніе между мужемъ и женой на этотъ разъ ознаменовалось, кромѣ обильныхъ подарковъ всѣмъ и за все, вечеромъ, на который были приглашены и Зубковы. Елена Васильевна попробовала-было отказаться, но тотчасъ же сама почувствовала, что это будетъ просто невѣжливо, и тутъ же увидала опечаленное выраженіе лица Насти. Дѣвочкѣ хотѣлось повеселиться. Пришлось волей-неволей ѣхать. Когда Настя услыхала, что они поѣдутъ на вечеръ, когда она узнала, что ей сдѣлаютъ для этого вечера новое платье, она совсѣмъ потеряла голову, скакала и прыгала, цѣлуя и обнимая мать. Недѣля до этого вечера ей показалась чуть не годомъ и нѣсколько разъ въ это время она падала духомъ, предполагая, что что-нибудь произойдетъ такое, что они не поѣдутъ на вечеръ. Особенно сердилъ ее Ваня, нѣсколько разъ повторявшій, что ему ужасно не хочется ѣхать на этотъ вечеръ. Что онъ тамъ будетъ дѣлать? Никого онъ не знаетъ тамъ. Танцовать почти не умѣетъ да и не любитъ. Настѣ казалось въ эти минуты, что изъ-за него могутъ отмѣнить поѣздку на вечеръ. Въ то же время его разсужденія порождали въ ней смущеніе: она тоже тамъ никого почти не знаетъ, она тоже танцуетъ плохо, она, можетъ-быть, будетъ одѣта хуже всѣхъ. Но желаніе увидѣть, какъ тамъ живутъ люди, брало верхъ надъ всѣмъ.

Наконецъ, настали желанный день, настали ожидаемый вечеръ.

Елена Васильевна не безъ тревоги занялась туалетомъ Насти, боясь, чтобы ея дочь не была хуже другихъ. Она отлядывала дочь и въ эту минуту, кажется, готова была отдать все, чтобы ея дѣвочка была наряднѣе, лучше другихъ. Когда Настя была причесана и одѣта, мать невольно заглядѣлась на нее.

— Хорошо, мама, я одѣта?—спросила Настя, останавливаясь передъ матерью.

— Да, ты въ самомъ простомъ платьѣ будешь лучше всѣхъ,—невольно произнесла Елена Васильевна, любуясь ею.

Она, кажется, впервые вполнѣ разсмотрѣла теперь дочь. Та была уже не «галченкомъ». Ея фигура была стройна, но слѣдовъ худощавости уже не было, дѣтская неуклюжесть исчезла и смѣнилась граціей формирующейся дѣвушки; вмѣсто короткихъ мальчишескихъ волосъ теперь украшали головку дѣвушки черные вьющіеся волосы, густые и шелковистые, лицо уже не было блѣдно и сіяло румянцемъ щекъ, поражало красотой алаго ротика, а большіе черные глаза свѣтились необыкновеннымъ блескомъ. Это была еще дѣвочка, но въ ней уже можно было угадать карасавицу-дѣвушку— еще годъ или полтора и она распустится, какъ роскошный цвѣтокъ, во всей своей красотѣ. Гордость матери взяла въ Еленѣ Васильевнѣ верхъ надъ всѣми остальными соображеніями, и на минуту въ ея головѣ мелькнула мысль о томъ, что нельзя же держать въ четырехъ стѣнахъ такую красавицу. Это была мимолетная мысль, и тотчасъ же Елена Васильевна подумала, что именно потому-то и надо оберегать Настю, что она такъ хороша: ее ждетъ, вѣроятно, участь труженицы, а на разныхъ вечерахъ ей только вскружатъ голову комплиментами. Нужно держать ее подальше отъ всякихъ соблазновъ.

— Карета пріѣхала,— сказалъ Иванъ Николаевичъ, постучавъ въ комнату, гдѣ одѣвались дочь и мать.

— Мы готовы!—отозвалась Елена Васильевна.

Они усѣлись въ наемный экипажъ и поѣхали.

У Насти всю дорогу сильно билось сердце отъ нетерпѣнія. Наконецъ-то она увидитъ городской домъ Ольги Давыдовны и Лиды въ полномъ блескѣ, наконецъ-то она узнаетъ, какъ живутъ богатые люди.

Ея ожиданія не обманули ее—домъ Вощининыхъ дѣйствительно былъ блестящъ. Вступивъ въ этотъ домъ и очутившись

среди лакеевъ во фракахъ и бѣлыхъ перчаткахъ, на лѣстницѣ, украшенной цвѣтами и устланной красивымъ ковромъ, Настя сконфузилась за свое не особенно красивое пальто, видя на вѣшалкѣ бархатныя ротонды, собольи шубы, ангорскіе бѣлые мѣха. Но уже черезъ минуту она увидѣла въ одномъ изъ зеркалъ свое отраженіе и вспыхнула отъ какого-то новаго для нея чувства: ей вспомнились слова матери, что она въ самомъ простенькомъ нарядѣ будетъ красивѣе всѣхъ.

Когда семья очутилась въ залѣ—бѣлой, сверкающей массой огней—Настя невольно сощурила, почти закрыла глаза отъ этого блеска. Ея голова немного закружилась, и она уже плохо сознавала, какъ ее привѣтствовали бабушка, Ольга Давыдовна, Лида, Александръ Константиновичъ, какъ ее рекомендовали гостямъ, куда привели, гдѣ посадили. Трельяжи, жардиньерки, козетки, пуфы, канделябры, бра, картины, цвѣты, всего этого было наставлено много, даже слишкомъ много въ гостиной, гдѣ находилась Настя, и вся эта обстановка смутила ее, подавила. Она сидѣла, притихшая и готовая держаться за мать, точно чего-то боясь.

— Нравится тебѣ у насъ?—спросила ее Лида.—Пойдемъ, я тебѣ все покажу. Ты никогда не видала ничего такого.

— Какой у васъ большой балъ сегодня, — проговорила Настя, искоса взглянувъ на гостей.

— Какой же балъ! — сказала Лида. — Просто маленькая вечеринка для дѣтей. Балы не такіе бываютъ.

Онѣ пошли. Настя смотрѣла на нее съ любопытствомъ и нѣкоторымъ страхомъ, точно въ лѣсу.

То же чувство смущенія охватывало и Ваню. Онъ старался держаться около отца, который говорилъ, стоя въ кабинетѣ Александра Константиновича, съ самимъ хозяиномъ дома и Егоромъ Егоровичемъ. Они курили папиросы. Егоръ Егоровичъ замѣтилъ, что Ваня не куритъ, и спросилъ его:

— А вы, юноша, еще не курите?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Ваня и почему-то покраснѣлъ.

— Студенчества ждете?—спросилъ Егоръ Егоровичъ.

— Да... то-есть нѣтъ... просто еще не приходилось курить,—отвѣтилъ Ваня.

Егоръ Егоровичъ сталъ его разспрашивать, когда онъ надѣется попасть въ университетъ. Осенью? Радъ онъ, должно-быть, что соскочитъ со школьной скамьи. Студенческая жизнь свободнѣе, самостоятельнѣе. Какой факультетъ онъ изберетъ?

Филологическій. Почему? Неужели въ учителя хочетъ идти? Это же не особенно выгодно да и скучно. Вѣчно возись съ дѣтьми. Отупляетъ это. Или въ профессора онъ думаетъ готовится? Что-жъ, это не дурно, если есть надежда попасть на этотъ путь. Много ли у него товарищей? Мало? Почему?

— Я совершенно случайно попалъ въ частную гимназію,— отвѣтилъ ободрившійся Ваня.—Тамъ все богатые по большей части учатся. Такіе, что въ казенныхъ гимназіяхъ не могли бы учиться. Сближаться съ ними не приходится. У нихъ кутежи на первомъ планѣ...

— Молоды, — коротко отвѣтилъ Егоръ Егоровичъ. — Когда же и пожить.

— Да, но они,—началъ въ замѣшательствѣ Ваня:—распущены очень...

— А! — произнесъ Егоръ Егоровичъ. — Русскія натуры. Думаютъ, что веселиться значитъ зеркала бить. Да, это ужъ послѣднее дѣло. А повеселиться—нельзя же монахами жить въ молодые годы? Кто такъ живетъ въ молодости — тотъ наверстаетъ потерянное потомъ, а это иногда еще хуже и порой смѣшно, когда старикашка живетъ, какъ мальчуганъ.

— Да развѣ непремѣнно нужно, — началъ Ваня и не кончилъ.

— Веселиться?—спросилъ Егоръ Егоровичъ.—Да, непремѣнно. Природа всегда свое возьметъ.

Въ эту минуту по кабинету прошла Лида и Настя.

— Это кабинетъ Александра Константиновича,—поясняла Лида своей спутницѣ.

Егоръ Егоровичъ посмотрѣлъ на молодыхъ дѣвушекъ, сощуривъ глаза, и обратился къ Александру Константиновичу:

— Кто это съ Лидой?

— Настя... Ивана Николаевича дочь, — отвѣтилъ Александръ Константиновичъ.

— Ваша дочь?—съ удивленіемъ спросилъ Егоръ Егоровичъ у Зубкова.—Да кто же могъ бы...

Онъ не договорилъ фразы. Онъ видѣлъ ее два раза еще лѣтомъ и такъ же назвалъ ее «галченкомъ», какъ звалъ ее Устиновъ. Другого названія ей тогда и не могло быть дано.

Егоръ Егоровичъ слѣдилъ за нею взглядомъ и потомъ, отвернувшись, спросилъ у Вани:

— Сколько же лѣтъ вашей сестрѣ?

— Пятнадцатый,—отвѣтилъ Ваня.

— Я совсѣмъ не узналъ ея, хотя видѣлъ лѣтомъ раза два или три.

Изъ залы долетали звуки рояля.

— А, танцы начинаются,—сказалъ Егоръ Егоровичъ.— Вы, конечно, лихой танцоръ?

— Я не танцую!—отвѣтилъ Ваня.

Егоръ Егоровичъ пристально взглянулъ на него, точно спрашивая: «для чего ты притворяешься скромнымъ?» И съ едва замѣтной усмѣшкой тихо сказалъ ему:

— Въ тихомъ омутѣ...

Онъ погрозилъ ему пальцемъ и, дружески взявъ его подъ руку, пошелъ съ нимъ въ другія комнаты, указывая на барышень-подростковъ.

— Смотрите, какой букетъ будущихъ прелестницъ. Одна другую старается затмить красотой. Еще не развились вполнѣ, а уже отъявленныя кокетки. Взгляните, эту-то какъ декольтировали. Что будетъ послѣ. Совсѣмъ раздѣтою вѣрно будетъ на балы выѣзжать.

Ваня краснѣлъ и смущенно смотрѣлъ на эти обнаженныя руки, плечи и шеи дѣвочекъ. Егоръ Егоровичъ усмѣхался, забавляясь его смущеніемъ.

— Вы это впервые видите? — разспрашивалъ онъ. — Не бывали еще на балахъ? О, вамъ еще много просвѣщаться надо. Два, три бала и поймете, что вы мужчина. Не станете удивляться, что другіе юноши кутятъ. Природа возьметъ свое. Вотъ взгляните, какъ разгорѣлась эта парочка.

Онъ указалъ на юношу лѣтъ семнадцати, державшаго въ объятіяхъ дѣвочку лѣтъ пятнадцати и кружившагося съ нею, вальсируя, по залѣ. Слѣдя за этой парой, онъ внезапно остановился взглядомъ на другой парѣ и его глаза приняли какое-то странное выраженіе, точно подернулись масломъ. Эта пара состояла изъ юнаго правовѣда и Насти, раскраснѣвшейся, возбужденной, съ полуоткрытыми губками, изъ-за которыхъ виднѣлись поразительно бѣлые зубы. Ея густые черные локоны немного развились и падали темными волнами на шею, на румяныя щечки.

— Вы говорите, вашей сестрѣ пятнадцать только лѣтъ?— спросилъ онъ у Вани.

— Да.

— Совсѣмъ взрослою смотритъ.

Онъ пошелъ далѣе съ Ваней, опять заговоривъ съ нимъ о томъ, что въ его годы нельзя жить вполнѣ монахомъ. Это и неестественно, и нездорово. Человѣкъ дѣлается сухимъ и черствымъ. Кромѣ того, онъ будетъ чувствовать себя несчастнымъ въ будущемъ, не испытавъ радостей жизни,

доступныхъ юности. Правильная жизнь состоитъ въ томъ, чтобы въ каждомъ возрастѣ наслаждаться удовольствіями этого возраста: въ дѣтствѣ—игры и рѣзвость, въ юности—любовь и веселье, въ годы мужества—работы серьезной мысли и миръ семейной жизни, въ годы старости—свѣтлыя воспоминанія о прожитомъ и тихое успокоеніе у домашняго очага среди подросшихъ дѣтей.

Къ нему подошли двое-трое изъ кончившихъ танцовать юношей и лаконически сказали:

— Курить идемъ!

Они всѣ направились въ его кабинетъ. Это была просторная комната съ турецкими диванами, съ книжными шкапами, съ оружіемъ, рапирами и металлическими масками на стѣнахъ. Обстановка была очень дорогая, но поражавшая умышленной строгой простотой. Въ амбразурѣ одного окна, сплошь завѣшаннаго темнымъ зеленымъ трипомъ, стояла статуя изъ бѣлаго мрамора, изображавшая Венеру. Надъ однимъ диваномъ висѣла картина «Купальщица», Бугро. Юноши, переступивъ порогъ этой комнаты, разстегнули свои мундирчики, развалясь на диванахъ, и закурили папиросы. Начались холостые разговоры безусыхъ мальчугановъ, разыгрывающихъ роль взрослыхъ кутилъ и виверовъ, потягивающихся и позѣвывающихъ отъ лѣни.

Ваня присѣлъ къ одному изъ большихъ тяжеловѣсныхъ столовъ съ мраморными досками, заваленныхъ большими альбомами съ картинами, и сталъ разсматривать одинъ изъ этихъ альбомовъ. Это было собраніе копій съ картинъ—вакханки, Леды, кающіяся Магдалины, купальщицы. Все это было превосходно исполнено, но содержаніе было одно и то же — обнаженное женское тѣло во всѣхъ видахъ и только. Ваня взялъ другой альбомъ—это было собраніе копій съ знаменитыхъ статуй—Венеры, Діаны, Психеи, опять то же обнаженное женское тѣло. Юноша, слегка раскрасневшійся, смотрѣлъ и чувствовалъ себя неловко, точно совершалъ какой-то запрещенный поступокъ.

Егоръ Егоровичъ, иронически улыбаясь, подошелъ къ нему и замѣтилъ:

— Это все копіи съ знаменитыхъ произведеній изъ лучшихъ художественныхъ галлерей Европы. А вотъ тутъ снимки съ натуры.

Онъ вытащилъ изъ футляра альбомъ, лежавшій въ ящикѣ стола, и подсунулъ его Ванѣ. При взглядѣ на первую изъ картинъ альбома, Ваня совсѣмъ растерялся.

— Превосходно теперь снимаютъ эти вещи въ Италіи, на воздухѣ. Какъ толково располагаютъ группы и что за формы—просто бери и рисуй.

Ваня хотѣлъ отбросить альбомъ, но Егоръ Егоровичъ, тѣшась ему смущеньемъ, продолжалъ пояснять красоты этихъ картинъ, натурщиковъ и натурщицъ. То же чувство, которое заставляло его дразнить Александра Константиновича и Софью Андреевну, говоря о живущихъ на содержаніи, заставляло его теперь приводить въ смущеніе этого наивнаго мальчугана, поясняя ему красоты обнаженнаго тѣла, этихъ соблазнительныхъ сценъ. Онъ говорилъ такъ серьезно объ усиливающейся модѣ на произведенія подобнаго рода, такъ настойчиво распространялся о художественной сторонѣ всѣхъ этихъ снимковъ, такъ упорно утверждалъ, что подобные снимки являются великимъ подспорьемъ для искусства, что неопытный юноша не могъ даже сказать ему:

— Уберите всю эту мерзость!

Онъ только краснѣлъ и ощущалъ непривычное волненье, впервые видя подобныя картины и спѣша скорѣй кончить осмотръ этихъ картинъ.

Послышались изъ залы снова звуки музыки. Всѣ поднялись съ мѣстъ и направились въ залъ. Въ залѣ Ваню встрѣтилъ отецъ.

— Что, братъ, скучаешь?—тихонько и мелькомъ спросилъ Иванъ Николаевичъ. — Поплясалъ бы.

— Ну, вотъ еще!—сказалъ Ваня.—Я же плохо танцую.

— Ну, какъ знаешь!—рѣшилъ отецъ.—Да что ты такой красный? Жарко?

Ваня сконфузился.

— Нѣтъ, такъ...

Къ нимъ опять подошелъ Егоръ Егоровичъ. Онъ заговорилъ съ Зубковымъ о томъ, что Ваня слишкомъ дикарь. Просвѣщать его надо. А то онъ, пожалуй, юнымъ старичкомъ останется. Въ эту минуту подошли къ нему три человѣка: какой-то юноша и двѣ барышни; одна изъ нихъ была Лида.

— Фіалку или розу?—спросила она бойко у Вани.

Онъ растерялся и не сразу отвѣтилъ. Вопросъ повторили. Егоръ Егоровичъ засмѣялся и сказалъ ему:

— Выбирайте, съ кѣмъ пройтись въ мазуркѣ.

Ваня отвѣтилъ:

— Я не танцую...

— Потому васъ и приглашаютъ,—съ иронiей отвѣтила Лида.

— Я не умѣю танцовать,—пояснилъ Ваня.

— А-а!—протяжно сказала она, дѣлая гримасу.—Какъ это скучно, должно-быть...

Она обратилась къ своимъ спутникамъ:

— Что же, пойдемте!

Они отошли.

— Окончательно покорилъ ея сердце!—засмѣялся Егоръ Егоровичъ, обращаясь къ Ивану Николаевичу.—Помните исторiю съ хлыстомъ? Уже тогда я понялъ, что ей хочется завязать съ нимъ знакомство. Сегодня же приставала ко мнѣ, чтобы я его подвелъ къ ней. Не подвелъ я, ну, сама подошла-таки.

Онъ обернулся къ Ванѣ.

— А это вѣрный путь покорить женское сердце: стоитъ только не обращать на женщину вниманiя, смотрѣть на нее съ пренебреженiемъ, и она...

Онъ разсмѣялся.

— Бить ее будете—она все-таки будетъ у вашихъ ногъ.

Ваня опять растерялся. Иванъ Николаевичъ тоже не нашелся что сказать и только проговорилъ:

— Шутникъ вы...

— Нѣтъ, это правда,—подтвердилъ Егоръ Егоровичъ и уже совсѣмъ цинично добавилъ:—Вонъ спросите насчетъ этого нашего Александра Константиновича. Онъ эту науку знаетъ.

Ивана Николаевича покоробило. «Это онъ объ матери-то»,—мелькнуло въ головѣ. Ему стало совѣстно за Егора Егоровича. Отецъ и сынъ въ эту минуту были довольно смѣшны по виду, по выраженiю лицъ, казались сконфуженными и растерянными.

По окончанiи мазурки былъ поданъ ужинъ. Егоръ Егоровичъ посадилъ Ваню около себя. Они сидѣли среди молодежи: правовѣдовъ, лицеистовъ, юнкеровъ кавалерiйскаго училища. Егоръ Егоровичъ то и дѣло подливалъ всѣмъ вина и заставлялъ пить Ваню. Тотъ старался отказываться, но Егоръ Егоровичъ умѣлъ предлагать тосты и волей-неволей приходилось пить хотя немного. Егора Егоровича уже смѣшило представленiе, какъ мальчуганъ напьется и удивитъ отца и мать, этихъ смѣшныхъ пуританъ, воспитующихъ изъ сына монаха. Но мальчуганъ былъ крѣпокъ и не захмелѣлъ, видимо, хотя онъ чувствовалъ, что у него шумитъ въ го-

ловѣ, что онъ сильно возбужденъ, что какая-то непривычная бойкость охватываетъ его всего.

Послѣ ужина предложено было еще протанцовать кадриль.

— Ну, тряхнемте и мы съ вами!—обратился Егоръ Егоровичъ къ Ванѣ.

Тотъ пожалъ плечами и бойко отвѣтилъ:

— Пожалуй, мнѣ все равно... Напутаю только...

Егоръ Егоровичъ потащилъ его къ сестрѣ.

— Лида, вотъ тебѣ кавалеръ!—сказалъ онъ.

— Да вы же не умѣете танцовать?—замѣтила она.

— Умѣю, но не люблю,—отвѣтилъ Ваня.

— Ну, ужъ иди, благо приглашаютъ,—проговорилъ онъ.

Она пошла съ Ваней.

— Вы вѣрно потому не любите танцовать, что боитесь людей,—проговорила она.

— Боюсь людей?—бойко спросилъ онъ.—Чего мнѣ ихъ бояться? Я никого не боюсь.

— А вотъ отъ насъ прятались нѣсколько мѣсяцевъ тамъ у насъ, на заводѣ.

— Я не прятался.

— Нѣтъ, прятались!—заспорила Лида:—не ходили ни къ намъ въ домъ, ни въ нашъ садъ.

— Какъ же я къ незнакомымъ сталъ бы ходить?—задалъ онъ ей вопросъ.

Она засмѣялась.

— Познакомились бы, вотъ и стали бы знакомы.

— На что же?—спросилъ онъ рѣзко.

Она обидѣлась.

— Какъ это вѣжливо! На что же? Вѣдь вотъ теперь пріѣхали же.

— Звали, нельзя же было отказываться.

Она окончательно разсердилась.

— Ахъ, да, нельзя же было отказываться, потому вашъ отецъ служитъ у насъ,—дерзко и насмѣшливо сказала она.—Начальство приказало!

Онъ въ свою очередь раздражился.

— Мой отецъ не изъ такихъ, чтобы ему приказывать,—вступился онъ за своего отца.

— А мѣста лишится?—вызывающимъ тономъ замѣтила Лида.

— Не онъ за мѣстомъ бѣгалъ, а за нимъ бѣгали,—еще болѣе задорно сказалъ Ваня и сталъ совсѣмъ грубить:—У васъ не одна тысяча прибавилась докоду съ тѣхъ поръ,

какъ мой отецъ ваши дѣла ведетъ. Это не одинъ Александръ Константиновичъ скажетъ, а и вашъ братъ. Хотите, отецъ завтра скажетъ, что уходитъ—его всѣ упрашивать станутъ, чтобы онъ остался.

— Что вы выдумываете!

— Нѣтъ, не выдумываю, а правду говорю.

— Скажите, пожалуйста, служащихъ не найдется!

— Какихъ служащихъ? Воровъ и мошенниковъ—да, найдется. А такихъ, какъ мы...

— Да развѣ вы у насъ служите?—перебила она.

— Не я... я не о себѣ и говорю, а объ отцѣ... Хотя всѣ мы, какъ одинъ человѣкъ. Такъ вотъ такихъ, какъ мой отецъ, вы не найдете...

Она сдѣлала гримасу. Онъ продолжалъ грубить:

— Вы дѣвочка, такъ вы этого не понимаете, а спросите у Егора Егоровича да у дяди Александра.

— Вы совсѣмъ не умѣете себя держать,—грубо сказала она, выведенная изъ терпѣнья.

— А вы умѣете?—запальчиво спросилъ онъ.—Помните тогда, тамъ, на дорогѣ швырнули хлыстъ и приказали мнѣ поднять? Вѣжливо это было? А? Я это помню, всегда буду помнить. Ужъ счастье ваше, что я не поднялъ.

— А что бы было, если бы подняли?—спросила Лида, смѣло и нагло глядя ему въ лицо.

Онъ не сморгнулъ и, возбужденный виномъ, отчетливо проговорилъ:

— А то, что я сто въ лицо вамъ швырнулъ бы!

Она испуганно отодвинулась отъ него. Онъ не замѣтилъ этого движенія и протянулъ руку, чтобы обнять ее за талію, такъ какъ начиналась шестая фигура. Крѣпко обнявъ ее, онъ уже весело и бойко говорилъ ей наставительнымъ тономъ, точно Устиновъ:

— Набаловали васъ дома, барышня, потому вы и глупите. Только такія выходки не всегда сойдутъ даромъ. Хорошенькая вы барышня, такъ и думаете, что можно мудрить надъ всѣми.

Его красивое разгорѣвшееся лицо близко склонилось надъ ея лицомъ, и она уже позабыла свой испугъ, чувствуя только, что онъ крѣпко обвиваетъ рукой ея талію, и невольно улыбалась, смотря въ его ясные голубые глаза. Она была не по годамъ, а по развитію уже дѣвушкой, мечтавшей о замужествѣ, желавшей покорять сердца и испытывавшей сладкое волненіе въ объятіяхъ этого молодого человѣка; она

даже и не подозрѣвала, что этотъ молодой человѣкъ, старше ея только года на два, на три, не что иное, какъ наивный мальчуганъ, еще ни разу не задумавшійся надъ вопросомъ о любви.

XIII.

«Покорилъ сердце Лиды». Эта фраза Егора Егоровича вспомнилась Ванѣ, какъ только онъ проснулся на слѣдующій день послѣ бала. Всю ночь ему снились странные сны—картины, видѣнныя въ кабинетѣ Джорджа; Лида являлась передъ нимъ на этихъ картинахъ; онъ поднималъ хлыстъ, чтобы бросить имъ въ ея лицо, а она, улыбаясь, прижималась къ нему такъ близко-близко. Ему было и сладко, и жутко.

Не совсѣмъ еще очнувшись отъ сна, чувствуя легкую усталость, сладко потягиваясь на постели, онъ вспомнилъ о словахъ Егора Егоровича и прежде всего разсердился на него. Сальничаетъ онъ, говоритъ все о женщинахъ, толкуетъ только о любви. Зачѣмъ онъ это сказалъ, что онъ покорилъ сердце Лиды? Выдумалъ, что на умъ взбрело... А она точно хорошенькая. Но ужъ и задорная же! Для чего онъ нагрубилъ ей? Еще добра она, должно-быть, въ сущности, потому что не разсердилась. Улыбалась ему въ шестой фигурѣ кадрили. Однако, что же онъ размечтался о ней. У него работа, уроки, надо скорѣе приняться за дѣло... Ему вдругъ пришла въ голову мысль, что какъ только онъ выйдетъ въ столовую, такъ тотчасъ же мать спроситъ его, какъ онъ провелъ вечеръ, о чемъ говорилъ, что дѣлалъ, что подмѣтилъ. Онъ давно привыкъ дѣлиться съ отцомъ и матерью всѣми впечатлѣніями. Если что-нибудь мѣшало ему разсказать имъ о томъ, что такъ или иначе остановило его вниманіе или взволновало его, онъ чувствовалъ, что ему чего-то недостаетъ. Теперь онъ сконфузился при мысли о разговорѣ съ матерью о минувшемъ днѣ. Неловко же разсказывать ей о томъ, что онъ видѣлъ въ кабинетѣ Егора Егоровича, что говорилъ ему послѣдній, какіе анекдоты разсказывались молодежью. Впервые въ жизни ему хотѣлось, чтобы ни отецъ, ни мать не разспрашивали его ни о чемъ. Во всякомъ случаѣ онъ ничего не будетъ разсказывать. Онъ не только бы покраснѣлъ отъ стыда, но ему стало бы невыразимо больно, если бы онъ былъ вынужденъ передать матери всѣ эти сальности. Это значило бы мало уважать

ес; это значило бы не бояться уронить себя въ ея глазахъ. Да, онъ ничего не скажетъ.

Сладкая полудремота уже совсѣмъ разсѣивалась и обычное настроеніе вступало въ свои права. Онъ всталъ, умылся, одѣлся и вышелъ къ чайному столу совсѣмъ бодрый.

Отецъ, мать и Настя уже сидѣли за столомъ. Онъ поздоровался съ ними и сѣлъ къ столу. Отецъ и мать говорили о будничныхъ дѣлахъ, не касаясь вчерашняго вечера, точно его и не было, точно онъ не оставилъ въ нихъ никакого впечатлѣнія. Ваня обрадовался этому, тоже вмѣшался въ ихъ разговоръ и скоро забылъ о мелочахъ вчерашняго дня. Минувшій вечеръ умышленно былъ какъ бы вычеркнутъ изъ памяти всѣхъ этихъ людей. Имъ инстинктивно не хотѣлось останавливаться даже на вопросахъ: хорошъ онъ или дуренъ, хочется ли имъ его повторенія или нѣтъ, точно онъ былъ ими просто украденъ у жизни и они сознавали, что красть не слѣдуетъ. Они были, какъ всегда и даже нѣсколько болѣе, нѣсколько искусственно оживлены, озабочены и бодры, говорили объ урокахъ, о какомъ-то бѣдномъ семействѣ, которому приходилось помочь, о томъ, что надо попросить дядю Устю похлопотать о какой-то дѣвочкѣ. О подобныхъ мелочахъ говорилось ежедневно въ кругу этихъ людей, стремившихся наполнять свою жизнь духовными интересами, сознаніемъ приносимой ближнимъ пользы, но въ это утро всѣхъ этихъ мелочей точно прикопилось за десятокъ дней.

Одна Настя сидѣла молча, погрузившись въ мечты. Ея настроеніе не походило на настроеніе ея брата. Ей хотѣлось безъ умолку говорить о вчерашнемъ балѣ, о роскошной обстановкѣ въ домѣ Александра Константиновича, о томъ, что съ ней, съ Настей, говорили молодые люди. Но ея попытка сдѣлать это не удалась: еще до прихода брата, она оживленно начала говорить матери, какъ ей было вчера весело, но мать коротко отвѣтила:

— Я очень рада, дѣточка, что ты повеселилась.

И тотчасъ же перемѣнила разговоръ, видимо, не желая возвращаться къ этому предмету, какъ къ не стоящему серьезнаго вниманія. Она хотѣла дать понять дочери, что объ этихъ пустякахъ не стоитъ распространяться. Ей казалось необходимымъ показать дочери, что она мало придаетъ значенія подобнымъ удовольствіямъ, что лучше всего поскорѣе забыть о нихъ. Елена Васильевна знала, какъ опасно дразнить и возбуждать воображеніе воспоминаніями

о томъ, что мало доступно или чего слѣдуетъ избѣгать. Сколько мечтателей о богатствѣ дѣлалось негодяями ради осуществленія своихъ мечтаній? Настя поняла, что мать избѣгаетъ начатаго ею разговора, и замолчала, но отдѣлаться отъ сильныхъ ощущеній она не могла. Въ воображеніи проходили и смѣнялись одна другою яркія картины: роскошное убранство комнатъ, съ бьющими въ глаза дорогими вещами; изысканные наряды дѣвочекъ и мальчиковъ, разыгрывающихъ роли вполнѣ взрослыхъ; мельканье танцующихъ, кружащихся по паркету паръ подъ звуки музыки; блескъ и жаръ, ароматъ и духота бальной атмосферы, доводящіе до сладкаго головокруженія, а потомъ возбуждающій шумъ и звонъ, говоръ и смѣхъ ужина, все это сильно возбудило дѣвочку. Она нетерпѣливо ждала прихода Маши, чтобы передать ей всѣ свои ощущенія. Какъ только явилась послѣдняя, Настя увела ее куда-то въ уголокъ и начала торопливо разсказывать. Въ сущности это былъ безсвязный лепетъ, наборъ восклицаній, тѣмъ не менѣе Маша поняла все и ахала:

— Вотъ-то счастливые! Говорила я тебѣ, что богачамъ счастье! Глазкомъ бы взглянуть на все это. Въ горничныя я пошла бы, чтобы только это видѣть. Ей-Богу, право!

— Ну-у!—протянула Настя.—Что-жъ толку быть горничной, смотрѣть, какъ другіе веселятся!

— А ты не смотрѣла изъ оконъ, когда здѣсь они веселились? Не смотрѣла?—воскликнула съ жаромъ Маша.—Забыла, видно! Нѣтъ, я въ церкви бѣгаю смотрѣть, какъ вѣнчаютъ кого-нибудь. Зажгутъ лиминацію—тоже бѣгу. Если сама не веселюсь, такъ хоть посмотрю—сердце захватитъ, въ ушахъ шумитъ, глаза вытаращишь, такъ вотъ все нутро и горитъ. Нѣтъ, посмотришь—и то радость. Потомъ во снѣ все это снится.

И вдругъ, перемѣняя тонъ, она спросила:

— А въ тебя влюбился кто-нибудь?

— Какъ это?—спросила въ недоумѣніи Настя.—Я не знаю.

— Вѣрно кто-нибудь влюбился. У мужчинъ это сейчасъ: увидитъ и влюбится. Егоръ Егоровичъ не танцовалъ съ тобой? Онъ богачъ. Вотъ бы такого мужа. О-охъ!

Настя покачала головой.

— Онъ мужчина, а тамъ все мальчики да дѣвочки танцовали только.

— Мальчики! дѣвочки! А Лида танцовала? Какая же она

дѣвочка? У иныхъ въ ея годы мужья ужъ есть. Тоже Ваня танцовалъ? Ему же уже восемнадцать лѣтъ. Тоже не мальчикъ.

Настя задумчиво проговорила, какъ бы мечтая вслухъ:

— И почему мама не любитъ веселья, почему неохотно поѣхала туда и сегодня даже не вспоминаетъ объ этомъ балѣ? Нельзя же такъ жить, какъ мы живемъ, въ четырехъ стѣнахъ.

Маша таинственно отвѣтила:

— Ты, Настя, дѣвочка, ты всего не знаешь, мама твоя боится, что соблазнятъ тебя.

— Какъ соблазнятъ?

— А такъ. Соблазнятъ, вотъ и все. Нашу сестру, ай, какъ легко соблазнить! А матери этого боятся пуще огня, потому къ мужчинѣ ничего не пристанетъ, а наша сестра вѣкъ плакаться должна. Вотъ оно что.

Настя не поняла ничего.

Въ это время собрались другія дѣвочки и начались классныя занятія. Волей-неволей нужно было думать не о балѣ, а объ ученьи. Дѣвочка сидѣла за книгой и разсѣянно приготовляла уроки, невольно иногда останавливаясь надъ вопросомъ, поѣдутъ ли они еще когда-нибудь къ Вощининымъ. Наконецъ, мать спросила ее что-то и Настя сконфуженно очнулась, сдѣлала надъ собой усиліе и стала отвѣчать на вопросъ...

Жизнь въ маленькомъ домикѣ потянулась снова обычной колеей: утро проходило въ ученьи, послѣ обѣда были уроки музыки, вечеромъ шло приготовленіе къ урокамъ, иногда по вечерамъ заходили сосѣди, какіе-то конторщики и ихъ жены. Иванъ Николаевичъ въ свободные часы мечталъ о томъ, какъ широко можно бы въ этой мѣстности развить потребительныя общества, какъ можно бы сдѣлать рабочихъ участниками въ барышахъ, какъ слѣдовало бы противодѣйствовать кабаку и невѣжеству театрами, лекціями, школами. Мечты развивались широко, уносили далеко, дѣлать же приходилось мелкое дѣло, кого-то опредѣлять въ пріютъ, кому-то выхлопатывать пособіе, кого-то ссужать деньгами въ долгъ безъ отдачи, кому-то давать уроки грамоты, шитья, вязанья. Правда, эти старанія служить такъ или иначе ближнимъ, вошедшія давнымъ-давно въ плоть и въ кровь Зубковымъ, если и не удовлетворяли ихъ широкихъ запросовъ или общественныхъ идеаловъ, то все же фактически «наполняли ихъ день». Къ этой дѣятель-

ности привыкли даже дѣти, чувствовавшія потребность сдѣлать что-то для кого-то, и Настя, едва ли меньше матери, хлопотала о томъ, чтобы Манѣ было удобно спать у нихъ, чтобы кухарка отрѣзала побольше ломоть хлѣба нищему и чтобы въ домѣ поискали бѣлья для какого-то мальчика, у котораго «ничего—ничего нѣтъ». Фактически это наполняло свободные часы дня, тѣмъ не менѣе это не удовлетворяло запросовъ взрослыхъ и не могло разсѣять скуки Насти, уже потому, что все это было слишкомъ однообразно. Сегодня можно было сказать, что будетъ завтра и послѣзавтра, не боясь ошибиться. Только изрѣдка вносилось разнообразіе въ эту жизнь и нарушался ея порядокъ пріѣздомъ «не во-время» бабушки, Ольги Давыдовны, Александра Константиновича или Лиды. Послѣдняя какъ-то особенно полюбила во время катаній съ матерью заѣзжать къ Зубковымъ, по преимуществу въ праздничные или воскресные дни. Она пробиралась съ Настей въ комнату Вани, завязывала съ нимъ ожесточенный споръ изъ-за всякаго пустяка, называя чернымъ казавшееся ему бѣлымъ и наоборотъ, возражая, чтобы дразнить и видѣть его злость, при чемъ оба говорили другъ другу, еще чисто по-дѣтски, нестерпимыя дерзости; потомъ, смѣясь, со словами «вотъ же вамъ», она перерывала и переворачивала всѣ его книги и тетради и уносилась изъ дому, какъ буйный вихрь, перевернувшій все вверхъ дномъ. Послѣ ея ухода онъ приводилъ все въ порядокъ и ворчалъ:

— Дура! Сумасшедшая!

А по лицу скользила Богъ вѣсть отчего невольная улыбка.

Разъ заверпулъ къ Зубковымъ и самъ Егоръ Егоровичъ. Настя сидѣла въ это время въ залѣ и играла на фортепіано. Онъ не безъ удивленія прислушался къ звукамъ музыки и спросилъ у Елены Васильевны, кто это играетъ.

— Моя дѣвочка,—отвѣчала Елена Васильевна.

— Кто же ее учитъ?—спросилъ онъ.—Она превосходно играетъ.

— Я учу покуда,—сказала Зубкова.

— А я и не зналъ, что вы такая музыкантша.

— О, я далеко не умѣлая музыкантша. Но учить умѣю. У Насти, къ тому же, большія способности.

— Такъ ее нужно помѣстить въ консерваторію.

— Неудобно ходить туда отсюда.

— Да, но и зарывать талантъ въ землю не слѣдуетъ. Это даже не практично.

Елена Васильевна улыбнулась и оживилась.

— Мы этого не сдѣлаемъ. Но на все есть свое время. Будетъ возможность—пристроимъ ее и въ консерваторію. Прежде же всего нужно кончить общее образованіе.

Настя кончила играть и вошла въ столовую. Егоръ Егоровичъ, здороваясь съ ней, взглянулъ на нее такимъ пристальнымъ взглядомъ, что она сконфузилась. Онъ отвернулся и заговорилъ опять съ Еленой Васильевной.

— Въ концѣ концовъ вамъ придется, пожалуй, на будущій же годъ перебраться въ городъ, такъ какъ и вашему сыну неудобно будетъ ѣздить въ университетъ отсюда. Туда почти вдвое дальше, чѣмъ до его училища. Такіе концы не легко дѣлать и не практично.

— Да, это правда. Но мы еще объ этомъ не думали и не знаемъ, что будетъ дальше,—уклончиво отвѣтила Елена Васильевна, не долюбливавшая никакихъ вмѣшательствъ въ свою семейную жизнь.

Когда Егоръ Егоровичъ уѣхалъ, она подъ вліяніемъ разговора съ нимъ не на шутку задумалась о его словахъ и, оставшись наединѣ съ мужемъ, заговорила объ этомъ предметѣ. Дѣйствительно, грѣшно и непрактично убивать талантъ Насти, неудобно посылать Ваню въ городъ въ университетъ. Дѣйствительно, придется, пожалуй, переѣхать отсюда если не къ будущей же зимѣ, то черезъ годъ. Но какъ же онъ, Иванъ Николаевичъ, будетъ ѣздить каждый день въ должность? Какъ же дѣвочки, обучаемыя Еленой Васильевной, будутъ продолжать учиться?

— Это-то какъ-нибудь уладится, дѣвчурки могутъ и у насъ жить, два-три лишнихъ рта не объѣдятъ насъ теперь,—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ женѣ, пропустивъ вовсе мимо ушей вопросъ о томъ, какъ онъ самъ будетъ ходить на службу.—А вотъ безъ хорошаго профессора музыки Насти нельзя оставить—это правда, и университетъ вѣдь не придвинешь для Вани сюда.

— Тебѣ будетъ тяжело ѣздить сюда,—повторила Елена Васильевна.

— Ну, вотъ еще! Бѣгалъ же прежде по урокамъ. А теперь и бѣгать не придется. Ѣздить буду. Богачами теперь стали—все ни почемъ,—пошутилъ онъ.

Она ласково улыбнулась.

— Я, впрочемъ, тебя знаю: и бѣгать бы сталъ, лишь бы дѣтямъ было хорошо. Слава Богу еще, что теперь все можно устроить такъ, какъ слѣдуетъ, не думая, гдѣ взять денегъ.

— Да, вздохнули мы теперь свободно,—замѣтилъ онъ.

Они оба чувствовали, что имъ живется хорошо; оба не тревожились за будущее. Программа образованія Насти у нихъ сложилась давно: сперва предполагалось кончить общую подготовку дѣвочки, потомъ она сдастъ гимназическіе экзамены, далѣе поступитъ въ консерваторію. Все это они обсуждали десятки разъ, все это было для нихъ ясно. Теперь же не смущалъ ихъ даже вопросъ о средствахъ: средства были. Мужъ и жена чувствовали себя счастливыми и не особенно много заботились о мелкихъ неудобствахъ, которыя ожидаютъ ихъ самихъ. Дѣти давно уже были для нихъ первой заботой: хорошо дѣтямъ—хорошо и имъ самимъ. Только иногда набѣгали облачка тоски, когда по какому-нибудь поводу заговаривали объ обществѣ, объ общественныхъ дѣлахъ. На эти мрачныя мысли наводилъ чаще всего Устиновъ, желчно толковавшій о всеобщемъ застоѣ, о паденіи общества, объ отсутствіи серьезныхъ интересовъ, о царствѣ общественной наживы, грабежа. Зубковы и сами знали, чувствуя на себѣ, что они переживаютъ времена, хуже которыхъ, по выраженію поэта, бывали, но подлѣе не было. Недаромъ же Иванъ Николаевичъ, какъ и Викторъ Петровичъ, испыталъ результаты этихъ временъ на себѣ, лишившись мѣста въ провинціи. Но Зубковы старались молчать объ этомъ предметѣ. Неисправимые идеалисты шестидесятыхъ годовъ, они утѣшали себя какими-то свѣтлыми надеждами, приписывали все дурное «переходному времени» удовлетворяли такъ или иначе свои стремленія къ добру мелкой филаитропической дѣятельностью. Когда Устиновъ, по его выраженію, обливалъ ихъ холодной водой, имъ становилось на-время жутко-жутко за дѣтей. Что ждетъ этихъ дѣтей въ будущемъ, если общество дѣйствительно пойдетъ еще дальше по тому пути, по которому оно идетъ, безъ широкихъ общественныхъ задачъ, безъ возвышенныхъ идеаловъ, съ девизомъ «каждый о себѣ, а Богъ обо всѣхъ», съ однимъ стремленіемъ «пожить во всю», хотя бы при помощи насилій и грабежа. Но оптимизмъ идеалистовъ бралъ верхъ надъ мрачнымъ настроеніемъ и въ душѣ снова теплилась вѣра въ то, что «переходное время» должно пройти...

Дня черезъ два послѣ визита Егора Егоровича, къ Зубковымъ заѣхала Софья Андреевна, величавая и гордая по виду, такъ какъ дни домашняго мира еще не окончились въ домѣ Вощининыхъ и Ольга Давыдовна называла ее покуда «мамочкой», разсказывала ей съ блаженной улыбкой,

какъ любитъ ее, Ольгу Давыдовну, ея Саша, позволяла старухѣ покрикивать на «холоповъ» и «хамовъ», «не обрывала» ее рѣзкими напоминаніями о томъ, что она не въ своемъ домѣ. Старуха предчувствовала, что ея царство продолжится не долго, тѣмъ не менѣе, она разыгрывала роль «старшей въ домѣ». Явившись къ Зубковымъ, она тономъ строгой матери съ первыхъ словъ заговорила съ Еленой Васильевной о Настѣ.

— Что это ты, мать моя, зарываешь въ землю таланъ дѣвочки?—рѣзко начала она.—Ужъ на что деревяшка нашъ Егорашка, а и тотъ замѣтилъ, какой у нея музыкальный талантъ. Вчера еще за обѣдомъ распространялся объ этомъ—Лиду встравить, какъ видно, захотѣлось. Та-то вѣдь неплохимъ въ разныхъ искусствахъ. Ну, а про нашу-то Настюшу этого не скажешь. У нея талантъ,—талантъ, а ты учишь ее домашнимъ способомъ, какъ сама умѣешь.

Елена Васильевна, вовсе не ожидавшая этихъ упрековъ,—сухо отвѣтила:

— Я подготовлю ее хорошо...

— Ей профессора нужны въ учителя,—перебила ее мать.

— Будутъ и профессора въ свое время,—отвѣтила Зубкова.

— Въ свое время! въ свое время! Когда ракъ свистнетъ, тогда, что ли? Нѣтъ, вижу я, что недороги тебѣ дѣти. Развлеченій имъ не доставляешь, учить толкомъ не учишь, таланъ Богъ далъ дочери—и тотъ въ землю зарыть хотите.

— Мама, я васъ попрошу не вмѣшиваться въ мои отношенія къ дѣтямъ,—коротко остановила ее Елена Васильевна.—Вы знаете, что я не люблю...

— Ахъ, мать моя, да кому же и вмѣшиваться въ это дѣло, какъ не мнѣ?—вспылила Софья Андреевна, оборвавъ дочь на полусловѣ.—Если они твои дѣти, такъ ты-то сама моя дочь; слава Богу, правъ у меня на это не отнимали. Или ты хочешь изъ дочери-то своей сдѣлать такую же, какъ ты, экономку при бѣдномъ мужѣ? Нѣтъ! мать моя, довольно я и за тебя настрадалась.

Она пожала плечами и махнула рукой.

— Про Ваню я ужъ и не говорю! Рукой я на него махнула! На что онъ у насъ похожъ? Увалень-увальнемъ. Видѣла у насъ на вечерѣ, какъ порядочные-то юноши себя держатъ? Поклонятся, такъ ужъ видишь, изъ какого они общества, — сами въ струнку вытянутся, наклонятъ одну голову. Одно слово, достоинство. А нашъ Иванъ Ивановичъ

чуть не за полу отцова сюртука держится. Совсѣмъ деревенщина. Рукавомъ бы еще лицо закрылъ. Этого только и недоставало. Гдѣ бы развернуться, гдѣ бы ловкость показать, а онъ истуканомъ около стѣны стоитъ.

Елена Васильевна встала и вышла изъ комнаты, чтобы избѣжать дальнѣйшихъ объясненій и крупной сцены. Софья Андреевна прошла къ внучкѣ и, обнимая ее, проговорила:

— Ахъ ты, красавица моя бѣдная! Скучаешь, поди, въ этой трущобѣ, побывавъ у нашихъ-то. Ну, да погоди, мы, тебя вырвемъ отсюда! Ужъ я настою, чтобъ тебя въ консерваторію отдали! Выйдешь у меня первой піанисткой! Тогда мы какой-нибудь дурѣ Лидкѣ утремъ съ тобою носъ!

Дѣвочка смутилась отъ неожиданности.

— Въ консерваторію? А какъ же мама, бабушка?

— Мы и смотрѣть на нее не станемъ. У тебя талантъ. Самъ Егоръ Егоровичъ удивился, какъ ты играешь.

— Егоръ Егоровичъ?—съ удивленіемъ спросила дѣвочка.

— Да, да! Пріѣхалъ отъ васъ, говоритъ: «у нея талантъ!» Толкъ-то онъ въ хорошемъ знаетъ.

Старуха засмѣялась.

— Вотъ бы его къ рукамъ прибрать.

Настя недоумѣвала. Бабка стала ее цѣловать.

— Красавица да еще виртуозка, хоть кому голову вскружишь. Ещё будетъ на твоей улицѣ праздникъ... Бабушка сумѣетъ тебя вывести въ люди... Ты только молчи...

Старуха взяла ее за подбородокъ и стала любоваться ею.

— Ахъ, смотрю я на тебя и точно сама себя вижу. Вся ты въ меня. Вотъ такой я замужъ шла въ твои годы.

— Замужъ шли въ мои годы?—воскликнула Настя.

— А ты думала какъ? У меня на шестнадцатомъ году первый сынъ, дядя твой, родился. Это нынче васъ только вырокъ, прости Господи, солятъ. Въ наше время въ твои годы дѣвушку-то пристроить ужъ старались, а не надъ книжкой сушить. Теперь-то только сперва дѣвушку, какъ лимонъ, выжмутъ, а потомъ ужъ сама она какого попало жениха и ловитъ, чтобы въ старыхъ дѣвкахъ не числиться...

Старуха еще долго просвѣщала внучку, повторивъ раза два, какъ хорошо было бы подцѣпить такого жениха, какъ Егоръ Егоровичъ. Когда бабка уѣхала къ вечеру домой, Настя сѣла за рояль, начала играть и невольно вспомнила о Егорѣ Егоровичѣ. Онъ сказалъ, что она хороша собой и что у нея талантъ. «Кто въ тебя влюбился?» вспомнились слова Маши. Неужели онъ влюбился въ нее? Какъ это

влюбляются? Она вотъ ни въ кого не влюблялась. Ахъ, если бы влюбиться! Въ кого-нибудь, все равно. Только какъ это сдѣлать? Машу бы спросить, она, можетъ-быть, знаетъ. Все она знаетъ. Вотъ говорила, что мама боится, что ее, Настю, соблазнятъ. Что же это такое? Какъ это соблазняютъ?.. Цѣлый рой новыхъ вопросовъ мелькалъ въ ея головкѣ и ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ она не находила отвѣта. Она была еще вполнѣ дѣвочкой. «Ничего-то не знаю,—рѣшила она:—а бабушка въ мои годы уже замужемъ была!» Бабушка говорила, что она и ее пристроитъ, выдастъ замужъ. Будетъ и на ея улицѣ праздникъ. Только мамѣ не надо говорить. Почему мама держитъ ее все дома, отстраняетъ отъ Лиды, отъ дома дяди Саши, отъ веселыхъ баловъ? Такъ и замужъ никогда не выйдешь. А, должно-быть, хорошо выйти замужъ за богатаго! Балы всегда будутъ, танцовать можно много-много, всѣмъ можно деньги давать, кто придетъ просить, всѣ будутъ рады, благодарить станутъ...

Елена Васильевна, сидя за шитьемъ у лампы, изрѣдка взглядывала на свою дѣвочку, удивляясь тому, какъ она нынче странно играетъ: начнетъ что-нибудь играть и мало-по-малу игра стихнетъ, оборвется, затѣмъ начинается другая пьеса, опять не кончится и тоже оборвется. Очевидно, что дѣвочка думаетъ не объ игрѣ. Но о чемъ же? Она окликнула дочь во время перерыва въ игрѣ:

— Дѣточка, о чемъ размечталась?

Настя вспыхнула до ушей и сконфуженно отозвалась:

— Я... такъ... ни о чемъ!

Елена Васильевна встала, подошла къ ней, взяла ея головку и ласково поцѣловала ее.

— Что-нибудь тревожитъ сердчишко? — спросила она нѣжно.—Такъ ты скажи, голубка. Не скрывай ничего отъ своей мамы.

Ея голосъ былъ мягокъ и ласковъ. Дѣвочка припала къ ея рукѣ. Она горячо любила мать за ласки, за нѣжность, хотя и не понимала многаго изъ ея поступковъ.

— Я, мама, ничего не скрываю,—отозвалась она, краснѣя еще болѣе отъ вынужденной лжи.

Какъ-то инстинктивно и безотчетно она стыдилась своихъ мыслей и не смѣла сказать о нихъ матери.

Елена Васильевна вздохнула и, смотря ей прямо въ глаза, точно стараясь заглянуть въ ея дѣтскую душу, спросила:

— Такъ ли, дѣточка?

Настя солгала во второй разъ едва слышнымъ голосомъ:

— Да, мамочка!..

Ей было до слезъ стыдно, что она лжетъ своей милой мамѣ. Но что-жъ дѣлать: ей было бы такъ стыдно сказать, что она мечтала о женихѣ, о замужествѣ. Мать погладила ее по головѣ и еще разъ поцѣловала ее. Дѣвочка отвѣтила ей порывистыми ласками, точно заглаживая свою ложь.

— Я тебя очень, очень люблю, мама!—страстно воскликнула она.

— Я знаю, милая!—сказала Елена Васильевна.

Она отошла опять къ столу съ работой, задумчивая и опечаленная. Какой-то тайный голосъ подсказывалъ ей, что задумчивость и волненье дѣвочки не могли бы быть безпричинными, что въ ея душѣ происходитъ какой-то тревожный процессъ, что какія-то невѣдомыя матери обстоятельства возбудили нервы дочери...

Но гдѣ эти причины? Какія это обстоятельства?

Въ это время вернулся домой Ваня. Онъ торопливо подошелъ къ матери, поцѣловалъ ея руку, наскоро поздоровался съ сестрой и тотчасъ же замѣтилъ, что онъ пойдетъ спать.

Мать спросила его:

— А чаю? ты, я думаю, озябъ.

— Нѣтъ... Я быстро доѣхалъ сюда... Егоръ Егоровичъ подвезъ, на дорогѣ нагналъ меня... Къ сосѣдямъ сюда на заводъ на вечеръ ѣхалъ...

— Ну, а повеселился у товарища?—спросила мать.

— Да... ничего,—коротко отвѣтилъ Ваня.

Онъ, не распространяясь ни о чемъ, не разсказывая ничего, опять поцѣловалъ мать и сестру, спѣша въ свою комнату. Что-то странное было въ этомъ торопливомъ стремленіи уйти къ себѣ, въ этихъ короткихъ отвѣтахъ. Это было непривычное явленіе. Зубковы чувствовали потребность, приходя домой откуда-нибудь, передавать другъ другу разныя мелочи наблюденій, происшествій и впечатлѣній. Въ головѣ Елены Васильевны мелькнули тревожные вопросы: «что съ нимъ случилось? Что онъ хочетъ скрыть?» И тотчасъ же она досадливо пожала плечами. «Сейчасъ казалось, что дочь что-то скрываетъ, теперь кажется то же относительно сына. Нервы у нея самой вѣрно разстроены. Но съ чего? Кажется, все идетъ хорошо и грѣхъ быть недовольной жизнью». Она вдругъ вспомнила о визитѣ матери. А! вотъ причина разстройства нервъ. Наговорила глупостей старуха

и разстроила ее. Теперь и явились разныя подозрѣнія. Ну, это пустяки, къ сценамъ съ матерью надо было давно привыкнуть. Раздался звонокъ. Это вернулся изъ гостей Иванъ Николаевичъ. Жена спросила и его, какъ и сына, не хочетъ ли онъ чаю. Онъ отказался: сейчасъ пилъ чай у сослуживца, гдѣ былъ въ гостяхъ. Простившись съ Настей, мужъ и жена остались вдвоемъ. Начался обычный обмѣнъ впечатлѣній и наблюденій, оставленныхъ въ душѣ за день. Среди этой мирной бесѣды Иванъ Николаевичъ вдругъ спросилъ жену:

— А что это Ваня не спитъ?

Она прислушалась: Ваня ходилъ въ своей комнатѣ изъ угла въ уголъ.

— Не зубы ли разболѣлись?—спросилъ Иванъ Николаевичъ.

— Не знаю,—отвѣтила она.

Ей опять защемило сердце. Что съ нимъ? Что онъ скрываетъ? Очевидно, что его что-то волнуетъ. Нѣсколько минутъ тому назадъ она думала, что она ошиблась въ своемъ предположеніи. Нѣтъ, ея материнскій глазъ еще зорокъ. Но что же, что же съ нимъ случилось? Она все разсказала мужу. Онъ выслушалъ ее серьезно, волнуясь меньше, чѣмъ она.

— Восемнадцать лѣтъ,—наконецъ, проговорилъ онъ.— Мало ли что можетъ волновать...

— Ты спроси потомъ...

— Нѣтъ, голубка, не стану спрашивать, если самъ не скажетъ. Дурного же онъ ничего не сдѣлаетъ. За это я поручусь. Ну, а разспрашивать—нѣтъ, зачѣмъ же шпіонство.

— Ахъ, время теперь такое тревожное, скверное. Со всѣхъ сторонъ опасности, гибельныя вліянія.

Онъ заходилъ по комнатѣ, потирая руки.

— Да, да, это-то такъ. Но что же дѣлать, что дѣлать? Слава Богу, что мы можемъ быть спокойны за его честность, за его порядочность. Все же другое...

Онъ развелъ руками.

— Не убережешь отъ всего!

Потирая руки и ходя по комнатѣ вмѣстѣ съ женою, онъ тревожно продолжалъ говорить:

— Ты знаешь, я дѣлаю все, чтобы выяснить ему тѣ обрывы и омуты, въ которыхъ можно безплодно для себя и для другихъ погибнуть разомъ. Это я считаю своимъ святымъ долгомъ, долгомъ отца. Но въ то же время не могу

я сказать ему: смотри равнодушно на все, помни одинъ девизъ, что твоя изба съ краю, думай только о своей шкурѣ...

Она тихо замѣтила:

— Я же и не требую этого. Жутко только, какъ вспомнишь, что молодость всегда способна увлекаться, что иногда одно неосторожное слово теперь Богъ знаетъ куда заводитъ...

Онъ старался ободрить ее:

— Да, можетъ-быть, мы и ошибаемся, можетъ-быть, просто сердчишко у мальчугана заговорило. Тоже, вѣдь, усишки ужъ есть. Молодой человѣкъ! Не шути съ нами!

Онъ улыбался, благодушный, любящій отецъ...

Ваня же ходилъ и ходилъ взадъ и впередъ по своей комнатѣ, даже и не подозрѣвая, съ какой тревогой прислушиваются къ его шагамъ отецъ и мать. Онъ былъ весь охваченъ волненіемъ. Какой-нибудь тому часъ назадъ онъ сдѣлалъ открытіе, перевернувшее все въ его душѣ.

Онъ шелъ изъ гостей отъ товарища къ станціи конножелѣзной дороги, когда его нагналъ Егоръ Егоровичъ и пригласилъ въ свои сани.

Онъ ѣхалъ тоже по направленію къ заводу къ одному изъ фабрикантовъ-сосѣдей. Ваня принялъ любезное предложеніе, и они поѣхали.

— Вы откуда?—спросилъ Джоржъ.

— Съ именинъ отъ товарища, племянника Устинова,— отвѣтилъ Зубковъ.

— Что же, кутнули?

Ваня улыбнулся.

— Почему вы думаете, что непремѣнно нужно кутнуть у товарища?

— Я думалъ, что племянникъ въ дядюшку.

— А вы развѣ знаете Устинова?

— Чрезъ Александра Константиновича знакомъ. Онъ даже подготовлять меня долженъ былъ, да потомъ меня увезли за границу...

— Это вполнѣ достойный уваженія человѣкъ.

Егоръ Егоровичъ засмѣялся.

— Только выпить не дуракъ.

Ваня вступился за своего любимца.

— Да, это его несчастіе, но онъ...

— Ну, какое же это несчастіе,—перебилъ Егоръ Егоровичъ.—Ублаготворятъ свою страсть, и слава Богу. Впрочемъ, у него и страсти-то такія, что ихъ легко ублаготворить: водочка, пивко, кухарка-любовница...

Ваня встрепенулся и загорячился.

— Ну, это вы напрасно!

— Что напрасно?—сказалъ Джоржъ.—Сконфузились, что упомянулъ о любовницѣ? Ахъ, вы, красная дѣвушка!

— Я не сконфузился, а не люблю я, когда говорятъ неправду про людей за глаза,—рѣзко возразилъ Ваня.

Егоръ Егоровичъ неожиданно вспылилъ.

— Я неправды не говорю никогда и говорю за глаза то, что могу сказать въ глаза,—рѣзко и грубо отчеканилъ онъ, точно указывая мальчугану его настоящее мѣсто.—Не былъ бы Устиновъ любовникомъ своей кухарки, не могло бы быть и дѣтей у нея.

И, снова овладѣвъ собою и принявъ обычный ироническій тонъ, прибавилъ:

— И отчего вы вообразили, что сказать про мужчину, что у него есть любовница, значитъ сказать про него дурно? Безъ этого никто не проживетъ, если онъ...

Ваня перебилъ его въ волненіи.

— Вы говорите о дѣтяхъ? Какія у него дѣти?

— Двое умерло, третій теперь въ ремесленномъ училищѣ...

— Это же его пріемышъ... Саввушка...

— Ну, ужъ я не знаю, какъ его тамъ зовутъ, Саввушкой или Варнавушкой, но знаю, что это его незаконный сынъ... Александръ Константиновичъ и хлопоталъ о его помѣщеніи въ училище... Въ слесаря его готовятъ, только не слесарь, а прохвостъ изъ него выйдетъ... Изъ такихъ дѣтей почти всегда прохвосты выходятъ—не мужики они, не господа, по рожденію ничто, по гонору чуть не князья,—ну, приходится опрохвоститься.

Ваню точно чѣмъ-то пришибло. Дядя Устя былъ всегда въ его глазахъ идеально безупречнымъ человѣкомъ. Если и былъ какой грѣхъ за нимъ, такъ это его страсть иногда выпить. Но Ваня зналъ, что эта страсть развилась отъ горя, отъ недовольства обществомъ, отъ неудачъ житейскихъ. Егоръ Егоровичъ неожиданно столкнулъ передъ нимъ въ грязь этого человѣка съ пьедестала. Ему было еще больнѣе оттого, что Егоръ Егоровичъ, по своему обыкновенію, дразнилъ его, продолжая подшучивать надъ Устиновымъ.

— И вкусъ же у него! Совсѣмъ деревенская баба она, курносая, рябая. Тутъ и любви нельзя предполагать. Съ ней вѣдь слова умнаго нельзя, я думаю, сказать. Этихъ

связей и не поймешь, просто скотство одно. Будто не могъ выбрать дѣвчонку покрасивѣе...

Молодой Зубковъ попробовалъ слабо вступиться за своего любимца.

— Это все вино виновато. Онъ несчастный человѣкъ. Самъ вѣрно не зналъ, что дѣлаетъ.

— Ну, ужъ это вы оставьте!—засмѣялся Джоржъ.— Трое то дѣтей не народилось бы такъ случайно-то. Положимъ, въ пьяномъ видѣ иные чортъ знаетъ какія гадости творятъ, не умѣя владѣть собою, но тутъ вѣдь долголѣтняя связь...

Онъ сдѣлалъ гримасу, продолжая разсказывать.

— Еще слава Богу, что тѣ ребята умерли, что одинъ только на скамью подсудимыхъ попадетъ, а то ужъ это было бы положительно покровительство развитію тюремъ. И за какимъ дьяволомъ оставилъ мальчишку мозолить ему глаза, точно воспитательнаго дома нѣтъ. Тамъ безъ матерей они мрутъ, какъ мухи, а которые выживаютъ, тѣ и растутъ, какъ слѣдуетъ, мужиками среди мужиковъ.

Ваня уже молчалъ. Егоръ Егоровичъ замѣтилъ:

— А странно, какъ погляжу, васъ воспитали: точно подъ стекляннымъ колпакомъ выросли. Ничего не знаете, ничего не видите, всему удивляетесь, что дѣлается въ жизни. Ужъ не думаете ли вы, что люди безплотные ангелы? Этакъ, батюшка, вы каждый день въ лапы подлецовъ попадать будете. Чтобы быть счастливымъ, нужно знать, что всѣ люди сволочь и подлецы и что съ ними нужно камень за пазухой держать, зубъ-за-зубъ грызться... Иначе весь вѣкъ дурака будете валять имъ на потѣху. Вы передъ ними распинаться въ уваженіи будете, а они въ это время такъ или иначе станутъ очищать ваши карманы.

Онъ разсмѣялся опять.

— Вы еще въ соціалисты не угодите! Тоже шуты гороховые! Никто ихъ не проситъ о спасеніи, а они зря въ петлю лѣзутъ. Пользы ни себѣ, ни другимъ, а только еще большій сумбуръ вносятъ въ общество.

Онъ презрительно пожалъ плечами.

— Впрочемъ, на дураковъ и сердиться нельзя.

И онъ началъ зло подсмѣиваться надъ людьми, черпающими воду рѣшетомъ, переливающими изъ пустого въ порожнее, бьющимися лбомъ объ стѣну.

— Впрочемъ, эти люди только жалки,—закончилъ онъ:— а вотъ такихъ, какъ вашъ пресловутый Устиновъ, я просто

презираю. Толкуютъ объ общественныхъ неурядицахъ, о всякихъ мерзостяхъ, о всякихъ злоупотребленіяхъ, все съ пѣной у рта, а сами ничѣмъ не лучше этого общества по своей нравственности. Другимъ проповѣдуютъ воду, а сами винцо потягиваютъ...

Они доѣхали до дома.

Егоръ Егоровичъ велѣлъ кучеру остановиться, простился съ Ваней и поѣхалъ дальше. Ваня былъ какъ бы пришибленъ и долго еще не могъ успокоиться, обдумывая слышанное и ища оправданій для Устинова. Онъ не находилъ ихъ. Но хуже всего было то, что ему казалось невозможнымъ съ кѣмъ-нибудь поговорить объ этомъ вопросѣ. До сихъ поръ у него было три повѣренныхъ—отецъ, мать и Устиновъ. Ни съ однимъ изъ нихъ онъ не могъ теперь потолковать по душѣ. Есть вопросы, о которыхъ юноши считаютъ щекотливымъ говорить съ родителями и старшими. Но кто же, кромѣ родителей и старшихъ, могъ бы объяснить неопытному мальчугану подобную исторію паденія холостяка-мужчины?

XIV.

Ваня вышелъ утромъ изъ своей комнаты и, торопливо поздоровавшись съ отцомъ, матерью и сестрой, принялся за чай. Ему нужно было рано выѣзжать изъ дому, чтобы вовремя добираться до училища, и въ эти часы его охватывала всегда серьезная озабоченность. Такъ было и на этотъ разъ. Сдѣланное имъ наканунѣ открытіе выскочило у него теперь изъ головы, онъ думалъ только о классахъ, объ урокахъ, объ училищѣ.

— Ты здоровъ?—спросила Елена Васильевна, всматриваясь въ него.

— Здоровъ!—отвѣтилъ онъ, взглянувъ удивленно на мать, не зная, почему она спрашиваетъ его о здоровьѣ.—А что?

— Ты долго не спалъ вчера. Я думала, что зубы разболѣлись.

Онъ вспыхнулъ, вспомнивъ, что было вчера.

— Нѣтъ... такъ не поспалось,—отвѣтилъ онъ уклончиво и сталъ еще болѣе спѣшить.

Елена Васильевна замолчала, видя, что сынъ избѣгаетъ разспросовъ. Она даже и не подозрѣвала, что ея простой вопросъ напоминалъ юношѣ то, о чемъ онъ почти забылъ за ночь. Онъ вышелъ изъ дома, снова охваченный мыслями о дядѣ Устѣ. Неужели Егоръ Егоровичъ правъ, говоря, что

всѣ люди въ сущности дрянь и только одни умѣютъ, а другіе не умѣютъ носить маски? А отецъ? А мать? Нѣтъ, нѣтъ, это люди безъ пятенъ. Значитъ, можно же такъ жить?.. Да, можно и должно. Если сами не будемъ такъ жить, то какое же право имѣешь осуждать другихъ? Пустымъ и пошлымъ фразерствомъ это будетъ. Въ этомъ отношеніи Егоръ Егоровичъ былъ вполнѣ правъ. Нельзя проповѣдывать другимъ того, чего не умѣешь или не можешь исполнить самъ. Недостатокъ силы воли, недостатокъ характера, все это пустыя отговорки. Если этимъ одинъ станетъ отговариваться и оправдываться, то будутъ то же и другіе дѣлать. Такая нравственность ломаннаго гроша не будетъ стоить. Всѣ будутъ честными на словахъ и подлецами на дѣлѣ. Впервые въ его головѣ мелькнулъ вопросъ: всегда ли это такъ было или только въ наше время слово и дѣло расходятся вездѣ? «Нынче даже сердятся или насмѣхаются, когда слышатъ о безупречномъ человѣкѣ»,—подумалъ онъ, вспомнивъ, какъ Устиновъ разсердился, когда всѣ думали, что Егоръ Егоровичъ «человѣкъ безъ ошибокъ», и какъ тотъ же Устиновъ подшучивалъ надъ самими Зубковыми, говоря, что они «юродствуютъ»... Во всю дорогу эти неотвязныя мысли не давали ему покоя и, только переступивъ порогъ училища, онъ очнулся отъ нихъ, охваченный воздухомъ школы, окруженный шумной толпой юношей, вспомнившій снова объ урокахъ.

Къ обѣду онъ вернулся домой румяный, оживленный, веселый, какъ школьникъ, хорошо сдавшій уроки, и Елена Васильевна не замѣтила на его лицѣ и слѣда тревоги. Она успокоилась, рѣшивъ, что вчера ея сына встревожила какая-нибудь мысль, не имѣющая серьезнаго значенія. Набѣжавшее облако разсѣялось, повидимому, безслѣдно, тѣмъ болѣе, что о немъ некогда было и думать особенно много. У всѣхъ было свое дѣло и копаться въ душевныхъ мелочахъ было некогда. Самъ Ваня не думалъ, повидимому, объ Устиновѣ, погрузившись въ обычныя занятія. Это было горячее время послѣднихъ школьныхъ экзаменовъ и они стояли на первомъ планѣ, заслоняя все остальное, постороннее.

Ваня шелъ въ училищѣ блестяще и былъ бы глубоко несчастливъ, если бы ему пришлось сорваться на послѣднихъ экзаменахъ. Это было бы чѣмъ-то въ родѣ доказательства того, что онъ не выполнилъ своего долга, на словахъ толковалъ о необходимости знаній, а на дѣлѣ относился къ нимъ неряшливо и халатно. Въ этомъ чувствѣ сказывалась извѣстная, унаслѣдованная отъ матери, или пріі-

обрѣтенная воспитаніемъ, прямолинейность. Онъ любилъ задавать себѣ трудныя задачи и говорить себѣ: «ты долженъ сдѣлать то-то». Не сдѣлать заданнаго значитъ быть тряпкой, мямлей, рохлей. Такъ онъ понималъ это; такъ старался поступать. Тѣмъ не менѣе, разговоръ съ Егоромъ Егоровичемъ оставилъ слѣдъ въ душѣ юноши, и это сказалось при первомъ удобномъ случаѣ.

Прошло съ мѣсяцъ, какъ вдругъ въ одинъ изъ воскресныхъ дней къ Зубковымъ пріѣхалъ Устиновъ.

— Дядя Устя идетъ!—крикнула Настя, смотря въ окно.

Ваня вспыхнулъ и смутился. Ему разомъ вспомнилось все слышанное имъ объ Устиновѣ, и его охватило какое-то совершенно новое чувство—сознаніе еще вполнѣ нравственнаго, неиспорченнаго юноши, что онъ знаетъ постыдную тайну взрослаго человѣка. Онъ чувствовалъ себя неловко, какъ бы сконфуженнымъ, точно онъ тайкомъ подглядѣлъ въ замочную скважину за любимымъ и уважаемымъ человѣкомъ, когда тотъ, скрытно отъ всѣхъ, грѣшилъ. Устиновъ былъ на этотъ разъ очень не веселъ и чѣмъ-то, видимо, озабоченъ. Оказалось, что его Саввушку исключили изъ училища. Съ первыхъ же словъ, поздоровавшись со всѣми и наскоро закусивъ, онъ какъ только изъ комнаты вышли Настя и Маша, заговорилъ о современныхъ дѣлахъ, о настроеніи общества, о всеобщемъ прохвостничествѣ. Новыя распоряженія и новые скандалы, новыя назначенія и новыя кражи, все служило темой для злыхъ отзывовъ. Это былъ его любимый конекъ, и тутъ онъ былъ въ своей сферѣ, такъ какъ для осужденія пищи было дѣйствительно не мало. Недовольство было во всѣхъ кругахъ общества, точно носилось въ воздухѣ. Люди діаметрально противоположныхъ убѣжденій сходились на одномъ—на порицаніи существующаго. Отцы не знали, что дѣлать съ дѣтьми, дѣти не понимали, что изъ нихъ дѣлаютъ родители. Ругая всѣхъ и все, Устиновъ, наконецъ, договорился до сущности взволновавшаго его событія:

— А тутъ еще Саввушка изволилъ белены объѣсться!

Ваня опять вспыхнулъ и насторожился. Что такое случилось съ Саввушкой?

— Не хочу, изволите ли видѣть, мужикомъ быть, хочу быть бариномъ. Какъ же, изъ газетъ вычиталъ, какъ Юханцевы съ цыганками кутятъ, какъ Рыковы царьками живутъ, какъ Буши на взятки француженокъ содержатъ, все вѣдь это разсказано и размазано, гдѣ же тутъ слесарнымъ ма-

стерствомъ заниматься. Черный трудъ, когда хочется въ лайковыхъ перчаткахъ щеголять, махая тросточкой на Невскомъ проспектѣ. Тоже губа у насъ не дура!.. Ужъ давно я сталъ замѣчать, что малый франтитъ: жабо какія-то завелъ, ботинки съ пуговками, одеколонами мажется, а третьяго дня дали знать, что его за разныя продерзости исключаютъ...

Онъ заходилъ по комнатѣ.

— Въ прежнее время выпороли бы, на хлѣбъ на воду заперли бы, въ чижовку школьную на недѣльку, а нынче обращеніе деликатное: идите на всѣ четыре стороны...

— Ну, это ты напрасно о розгахъ-то и чижовкахъ,—началъ Иванъ Николаевичъ.

Устиновъ перебилъ его.

— Какъ же! какъ же, ты вѣдь тоже за деликатность обращенія. Юроды вы всѣ, вотъ что! А что я-то теперь съ малымъ буду дѣлать?

— Ну, свѣтъ не клиномъ сошелся,—сказалъ Зубковъ.— Найдется дорога...

Устиновъ обозлился.

— Какъ же я его сейчасъ въ камеръ-юнкера пристрою, фаэтонъ для него заведу, ложу абонирую во французскомъ театрѣ, катайся, молъ, какъ сыръ въ маслѣ, Саввушка обиженный!.. А тутъ еще моя Анисья Ивановна цѣлый день точно о покойникѣ воетъ, а онъ грубіянитъ: «Есть о чемъ плакать! Слесарства лишился!». «Да развѣ, говоритъ, это карьера? Весь-то вѣкъ слесаремъ быть—благодарю покорно. Я ужъ лучше руки на себя наложу, чѣмъ этакую жизнь влачить!» Руки на себя наложитъ. Слышали? Что-жъ, нынче вѣдь это не долго, руки-то на себя наложить: сдѣлалъ петлю, просунулъ голову и шабашъ, разъ, два, три—и нѣтъ человѣка. Легко! Жалѣть некого, бояться нечего. Близкіе? есть кого жалѣть! Загробная жизнь? есть чего бояться! Мы всѣ сами по себѣ, какъ дождевые пузыри, выскочили на поверхность и лопнули. У всѣхъ одно убѣжденіе, что ни намъ ни до кого дѣла нѣтъ, ни до насъ никому дѣла нѣтъ.

Онъ неожиданно смолкъ, продолжая ходить, и, какъ бы не замѣчая присутствующихъ, стиснулъ лобъ обѣими руками. Въ этомъ жестѣ было что-то мучительно-болѣзненное, точно у бѣдняги лопалась голова отъ боли.

— Погибнетъ вѣдь, погибнетъ ни за грошъ, ни за денежку,—воскликнулъ онъ:—а чѣмъ онъ виноватъ, если живетъ въ такое время, когда не растолкуешь мальчугану,

что честный трудъ, что чистая совѣсть выше всего, когда его съ тротуара толкаютъ да чуть не въ зубы ему даютъ только за то, что онъ не награбилъ столько, чтобы вмѣсто блузы въ бобры нарядиться. А если растолкуешь всю суть, отравивши молодую душу ненавистью, такъ...

Онъ оборвалъ рѣчь.

— Вотъ сестра и теперь, какъ очумѣлая, ходитъ, послѣ исторіи съ ея сыномъ. Тоже погибъ, какъ комаръ, ни за что, ни про что...

Онъ съ злой ироніей обратился къ Ивану Николаевичу и спросилъ его:

— Что-жъ не вступаешься, не скажешь: за идею погибъ! Я вѣдь помню, какъ ты недавно въ этомъ духѣ ораторствовалъ. А я на это тебѣ отвѣчу, что теперь всѣ, и прохвосты, и честные гибнутъ за выѣденное яйцо. Да, за выѣденное яйцо, и ни имъ, ни идеѣ, ни обществу отъ ихъ гибели ни тепло, ни холодно. Вотъ что.

Всѣ молчали, сознавая, что Устиновъ потрясенъ постигнувшимъ его горемъ. Этотъ физически крупный человѣкъ былъ въ сущности слабодушнымъ ребенкомъ. Всякія житейскія невзгоды подкашивали его такъ, что онъ начиналъ съ горя пить, падая духомъ и не умѣя бороться съ обстоятельствами. Казалось, что у него не было даже стремленія бороться съ ними, точно онъ разъ и навсегда заранѣе рѣшилъ, что они сильнѣе его. Но если передъ глазами Ивана Николаевича и Елены Васильевны стоялъ только несчастный отецъ, то въ воображеніи Вани вставалъ другой образъ— несчастный Саввушка, этотъ незаконный сынъ барина и кухарки, росшій на улицѣ, безъ особеннаго призора, видѣвшій пьянство отца, сознававшій ничтожество тупоумной матери, рано понявшій неприглядную связь отца и матери, брошенный въ слесарную мастерскую, когда отецъ жилъ болѣе или менѣе бариномъ, когда у отца бывали въ гостяхъ съ дѣтьми другіе господа. Ваня въ эту минуту не жалѣлъ, не любилъ Устинова, а чувствовалъ злобу на него за этого Саввушку. Это чувство усилилось еще болѣе отъ словъ Устинова, какъ бы инстинктивно свалившаго свою вину нерадиваго отца на кого-то другого, на общество, на времена, на обстоятельства, на самого Саввушку. Совершенно неожиданно для всѣхъ и, можетъ-быть, для него самого, у Вани подъ вліяніемъ сильнаго возбужденія сорвалась съ языка носившаяся въ его головѣ грубоватая фраза:

— Воспитать хорошо, такъ не погибнетъ человѣкъ!

Устинова точно ударили чѣмъ-то. Онъ на мгновеніе побагровѣлъ, растерялся и непривычнымъ для него тономъ учителя, обрывающаго забывшагося ученика, проговорилъ наконецъ:

— Молодъ ты еще, чтобы вмѣшиваться въ разговоры взрослыхъ!

И, покусывая губы, охваченный уже весь гнѣвомъ, какъ-то безсознательно ища шапку, проговорилъ задыхающимся голосомъ:

— Безусый щенокъ! Дрянь этакая!

Ваня, не привыкшій ни къ какимъ оскорбленіямъ, блѣдный, какъ полотно, поднялся съ мѣста. Онъ смотрѣлъ просто страшно. Чувствовалось, что его охватила какая-то дикая, безумная ярость. Онъ прерывающимся голосомъ пробормоталъ:

— Если-бъ это не вы мнѣ сказали, такъ я бы...

Онъ не кончилъ фразы и, съ трудомъ переводя духъ, почти задыхаясь отъ волненья, быстро вышелъ изъ комнаты.

Устиновъ мялъ уже въ рукахъ найденную имъ шапку и бормоталъ что-то о томъ, что онъ уходитъ, что онъ не можетъ здѣсь оставаться. Иванъ Николаевичъ молча подошелъ къ нему, взялъ изъ его рукъ шапку и положилъ ее на столъ. Устиновъ, не протестуя, заходилъ крупными шагами по комнатѣ, отирая клѣтчатымъ платкомъ потъ со лба и сопя, какъ паровикъ. Онъ, Иванъ Николаевичъ и Елена Васильевна нѣсколько минутъ хранили тягостное молчаніе, желая дать время улечься волненію. Неловкость происшедшей сцены чувствовалась всѣми и у всѣхъ вертѣлась въ головѣ одна глупая безплодная мысль: «и зачѣмъ это случилось!» Устиновъ заговорилъ первый, съ горькой усмѣшкой, еще дрожащимъ голосомъ.

— Урокъ преподалъ... мальчикъ...

— Ты его извини за грубость, — сказалъ Иванъ Николаевичъ.—Я не знаю, что съ нимъ сдѣлалось... Это не въ его характерѣ, ты знаешь его...

Елена Васильевна продолжала молчать: она какъ-то чутьемъ угадала, что сдѣлалось съ ея сыномъ, и въ глубинѣ души не обвиняла его; напротивъ того, въ ней поднялось, помимо ея воли, чувство материнской гордости, смутной радости; она сознавала, что вспышка сына была вызвана добрымъ чувствомъ, сожалѣніемъ къ погибающему юношѣ.

— Я-то знаю, что случилось!—отрывисто говорилъ Устиновъ, и въ его голосѣ зазвучала горькая иронія.— Игралъ

съ Саввой когда-то... понялъ все... Что-жъ, подѣломъ мнѣ, старому негодяю... Извинить его! Чего тутъ извинять?.. Мнѣ еще надо извиниться передъ нимъ за то, что загубилъ его товарища... Какъ же, нерадивый отецъ! Нынче на этотъ счетъ молодое поколѣніе строго... Какими-то только сами отцами будутъ... Можетъ-быть, еще большими прохвостами... А, да ну!

Онъ быстро подошелъ къ столу, съ неубранной закуской, налилъ рюмку водки, выпилъ ее разомъ и крякнулъ.

— Да-съ, такъ вотъ оно какъ... времена-то какія,—заговорилъ онъ, ходя по комнатѣ, очевидно не сознавая, что говоритъ, и говоря, лишь бы не молчать.—Воспитать хорошо, такъ не погибнетъ человѣкъ... Такъ и запишемъ... Великая истина, противъ нея и спорить нечего... Первѣйшіе философы и тѣ отрицать не посмѣютъ...

Иванъ Николаевичъ, видя, что Устиновъ совсѣмъ смѣшался и не знаетъ, что говоритъ, поспѣшилъ перемѣнить разговоръ, серьезно спросивъ его, куда онъ думаетъ теперь пристроить Саввушку.

— А, ничего я не думаю!—рѣзко сказалъ Устиновъ.—Точно я умѣю что-нибудь придумать. Выдумалъ тоже!

— Вѣдь онъ у тебя вполнѣ грамотный и почеркъ хорошій у него,—замѣтилъ Иванъ Николаевичъ, раздумывая.—Можно черезъ Егора Егоровича или Александра похлопотать пристроить въ какой-нибудь банкъ конторщикомъ, что ли...

— Такъ и возьмутъ мальчишку.

— Отчего же и нѣтъ? Была бы протекція. Можетъ-быть, даже и къ лучшему, что онъ долженъ былъ оставить училище. Мастерство было не по немъ, ну, значитъ, и по боку его...

Зубковъ оживился и началъ развивать мысль о томъ, что въ банкѣ работа не головоломная, исподволь можно привыкнуть къ дѣлу, мальчуганъ можетъ дослужиться до хорошаго оклада.

— Скрасть еще что-нибудь Богъ поможетъ! — вставилъ Устиновъ со злобой.

— Ну, красть могутъ и слесаря,—сказалъ Зубковъ.—Во всякомъ случаѣ, если мальчугану стыдно быть мастеровымъ, то и не слѣдуетъ вести его по этой дорогѣ. Вообще, ошибку ты сдѣлалъ, отдавъ его въ это училище, если...

— Ошибку! ошибку!—загорячился Устиновъ.—Я, что ли, виноватъ, что у мальчика не было особенныхъ способностей къ ученью? По Дарвину, что ли, эта вина на мнѣ

лежитъ? Онъ, вотъ, какъ моя Анисья Ивановна, по части способностей къ наукамъ силенъ не былъ. Она вотъ чуть не двадцать лѣтъ читать учится, а только и можетъ сложить В-ѣ-вѣ д-о-до м-о-мо с-т-и, ну, и выходитъ у нея изо всего этого «газета»... А потомъ и она тоже прежде ныла: «баринъ, что ли, чтобы его въ чиновники готовить, чтобы онъ мать родную забылъ да стыдился ея...» Ну, вотъ и вышелъ не чиновникомъ... А теперь же она на другой манеръ воетъ... кумушки просвѣтили... тоже вѣдь газеты читаютъ, знаютъ, гдѣ лучше...

Онъ махнулъ рукой.

Въ это время уже накрыли столъ для обѣда. Въ столовую явился и Ваня. Онъ былъ красенъ, какъ вареный ракъ, и избѣгалъ встрѣтиться глазами съ Устиновымъ. Устиновъ въ свою очередь смотрѣлъ куда-то въ сторону, стараясь не замѣчать его. У обоихъ было враждебное чувство другъ къ другу. Если бы они могли схватиться другъ съ другомъ, дѣло дошло бы до драки. Въ подобномъ настроеніи приходится только молчать, отворачиваться въ сторону. Но уже послѣ перваго блюда всѣ замѣтили, что Устиновъ наливаетъ водку чаще обыкновеннаго, и немножко встревожились. Захмелѣвъ, Устиновъ или дѣлался придирчивымъ, или начиналъ попросту плакать, какъ баба. Уже послѣ третьей рюмки, выпитой за обѣдомъ, онъ началъ придирчивымъ тономъ толковать опять о молодомъ поколѣніи нѣсколько сбивчиво, мѣшая дѣльныя замѣчанія съ нелѣпостями и говоря какимъ-то вызывающимъ тономъ:

— На мелкой прессѣ воспитываются да на сатирическихъ листкахъ. Молоко материнское на губахъ не обсохнетъ, а уже плевать на всѣхъ умѣютъ. «Стрекоза» да «Шутъ» — вотъ ихъ авторитеты, а все остальное — пфа! стоитъ ли объ остальномъ говорить! Судьи, критики!.. Въ прошлое воскресенье чортъ понесъ меня въ Павловскъ на открытіе вокзала. Играли чепуху какую-то, а слышу все bis да bis. Чортъ возьми, думаю, неужели ужъ и въ музыкѣ-то мы толкъ и смыслъ потеряли? Гляжу, а это все господа школьники безусые орутъ и ногами топочутъ. Иной шипсъ изъ пеленокъ только-что вышелъ, а туда же визжитъ «бисъ! бисъ!» Цѣнители музыкальные, критики музыкальные! Отъ земли не видать, а горланятъ «bis». Взялъ бы шельмецовъ да за уши, за уши...

Никто не возразилъ ему. Маша и Настя смотрѣли на него удивленными, испуганными глазами, замѣчая, что онъ

не твердо выговариваетъ слова и страшно ворочаетъ глазами. Онъ продолжалъ:

— Пороть перестали—вотъ бѣда! Говорятъ, скоро опять введутъ розгу,—и отлично. Я первый буду стоять за это. У насъ нельзя безъ розогъ. Да и нигдѣ нельзя. Недаромъ у нѣмцевъ передъ фатерландомъ хвосты поджаты, потому фатерландъ ихъ деретъ и плюхами кормитъ со школьной скамьи, пока не выдрессируетъ. Вотъ и у насъ, какъ выпоролъ бы раза два иного щенка, пересталъ бы онъ кричать bis. Нѣтъ, братъ, тутъ ужъ не забисуешь. Шкура-то своя!

Онъ говорилъ, бросая искоса взгляды на Ваню. Тотъ упорно молчалъ. Это начало бѣсить охмелѣвшаго Устинова. Ему нужно было отвѣта на вызовъ, брани на брань, ругани на ругань. Наконецъ, онъ не вытерпѣлъ и спросилъ:

— Что-жъ, господинъ наставникъ взрослыхъ, не вступишься за своихъ?

Ваня продолжалъ молчать. Иванъ Николаевичъ и Елена Васильевна разомъ заговорили о чемъ-то постороннемъ, неловко и неумѣло перемѣняя разговоръ. Устиновъ понялъ ихъ маневръ и крикнулъ, стукнувъ кулакомъ по столу:

— Что вы мнѣ зубы-то заговариваете! Пусть онъ говоритъ!

Ваня взглянулъ на отца и мать растерянным взглядомъ, какъ бы спрашивая, что дѣлать. Они бросили выразительные взгляды, говорившіе: «оставь его!» Устиновъ подмѣтилъ взглядъ Вани и задорно-грубо спросилъ:

— Что, защиты у отца и матери просишь, щенокъ? Самъ-то языкъ прикусилъ?

Ваня не выдержалъ и сказалъ:

— Мнѣ нечего искать защиты отъ васъ, вы, слава Богу, не мой отецъ...

Устиновъ совершенно неожиданно опустилъ голову, какъ пришибленный.

— Слава Богу, не его отецъ!—слезливымъ голосомъ пробормоталъ онъ и сталъ путаться въ рѣчахъ:—Слава Богу!.. «Чортъ его возьми», сказалъ бы, если бы былъ его отцомъ... Сынъ сказалъ бы: «чортъ его возьми!..» Пропойца!.. Пропащій человѣкъ!.. Каково мнѣ это слышать отъ сына, отъ собственнаго сына!

Всѣ торопились кончить обѣдъ. Елена Васильевна уже уводила дѣвочекъ, точно отъ пожара. Иванъ Николаевичъ хлопоталъ около Устинова, уговаривая его лечь, отдохнуть.

— Не надо!.. Ступай!.. Наскандалилъ!..—бормоталъ Усти-

новъ, топая ногой.—Извозчика!.. Убирайтесь всѣ!.. Скандалисты!.. Къ чорту... Все сейчасъ перебью у васъ!..

Иванъ Николаевичъ хорошо изучилъ его нравъ въ пьяномъ видѣ и принялъ мѣры для усмиренія — крикнулъ на него:

— Не смѣй кричать! Напьешься, какъ свинья, и орешь!

Устиновъ опять расплакался.

— Ваня, Ваня, прости меня! Мой сынъ меня обидѣлъ! Твой сынъ тоже обидѣлъ! Скотъ я, пьяный скотъ!

— Хорошо! хорошо! поѣдемъ!

Зубковъ торопливо одѣвалъ его, нахлобучилъ на него круглую триковую шапку и пошелъ его провожать до извозчика.

Вернувшись домой и оставшись съ женой и сыномъ, онъ проговорилъ:

— Ну, теперь бѣдняга пропадетъ на цѣлые мѣсяцы. Всегда послѣ этихъ исторій его угнетаетъ стыдъ за его поведеніе.

И, обернувшись къ сыну, онъ съ дружескимъ упрекомъ сказалъ ему:

— И ты, голубчикъ, безтактно поступилъ. Друзья мы, а все же не тебѣ дѣлать ему замѣчанія: онъ старше тебя и, какъ-никакъ, твой учитель.

Ваня покраснѣлъ.

— Не выдержалъ, папа! Я вѣдь недавно еще узналъ, что Саввушка его незаконный сынъ. Я часа два не могъ уснуть послѣ того, какъ мнѣ это Егоръ Егоровичъ сообщилъ. Это же не честно. Я такъ уважалъ, такъ уважалъ дядю Устю. И вдругъ... Нѣтъ, не дай Богъ разочаровываться въ близкихъ людяхъ...

Онъ былъ сильно взволнованъ.

— Ты еще юноша, — началъ Иванъ Николаевичъ, ходя по комнатѣ:—ты не знаешь, какъ тяжело устоять въ жизни, остаться совершенно нравственнымъ. Иногда...

Ваня перебилъ его:

— Папа, я не о томъ, а о томъ, что такъ нельзя относиться къ дѣтямъ. Незаконный сынъ, такъ и въ слесаря его, такъ и на улицѣ его оставить расти. Да вонъ ты и мама чужихъ стараетесь поднять, лучше сдѣлать, а онъ своего сына забросилъ на кухню...

И, не давая отцу возразить что-нибудь, онъ прибавилъ:

— И не говори дядя Устя о дурномъ поведеніи людей, не брани онъ общество, ну, тогда бы другое дѣло, а то

другихъ бранитъ, а самъ... Нѣтъ, папа, нѣтъ, ты не оправдывай его передо мною: Можетъ-быть, и нельзя иначе жить, можетъ-быть, я и самъ буду не лучше, но теперь мнѣ вѣрить нужно, что можно жить иначе, что должно иначе жить. Я вотъ когда узналъ это объ дядѣ Устѣ, я далъ себѣ честное слово, что никогда, никогда такимъ я не буду, не буду говорить одно, дѣлать другое..

Онъ былъ такъ возбужденъ, что Иванъ Николаевичъ только могъ потрепать его по плечу и сказать:

— Дай Богъ, дай Богъ! Ты знаешь, что и мы съ матерью держались этого же правила. Но ты еще молодъ, а мы пожили, вотъ почему мы уже научились оправдывать многое въ другихъ, чего не оправдали бы въ себѣ...

Елена Васильевна тихо проговорила:

— А я даже и оправдывать не научилась...

Иванъ Николаевичъ пошутилъ:

— Охъ, ты, непримиримая! Не оправдываешь, а приди дядя Устя—сейчасъ же пригрѣешь его...

— Жаль, вотъ и все,—сказала она. — Но жалость не оправданіе.

— Да, мама, и мнѣ жаль его, но это не оправданіе,— торопливо согласился съ матерью сынъ.

Иванъ Николаевичъ шутилъ:

— Ахъ, вы, строгіе судьи!

И тотчасъ же, заминая разговоръ, перешелъ къ вопросу о Саввушкѣ. Надо хлопотать о немъ. Надо пристроить его. Поступитъ въ банкъ, молодцомъ еще станетъ. Мальчуганъ не дурной, съ лѣнцой немного, бахвалиться любитъ, ну, да это еще не смертные грѣхи. Будетъ получать жалованье, будетъ прилично одѣтъ, будетъ сидѣть за чистой работой и ничего—выйдетъ человѣкъ, какъ человѣкъ. Только надо все скорѣй обдѣлать, потому дядя Устя пальцъ о пальцъ не ударитъ даже для родного сына. Вотъ вѣдь мягкій по натурѣ человѣкъ, душа общества въ трезвомъ видѣ, а поройся въ немъ—эгоистъ такой, какихъ свѣтъ не производилъ. Да впрочемъ, нѣтъ, это и не эгоизмъ, а какая-то ходячая русская лѣнь шевельнуть пальцемъ для другихъ или даже для себя. Потеряй онъ уроки—онъ и искать не станетъ новыхъ, а будетъ погибать отъ безденежья и ругаться. Еще слава Богу, что онъ пенсію скоро выслужитъ, а то—плохо бы ему пришлось подъ старость. Чего добраго Анисьѣ Ивановнѣ пришлось бы кормить его.

Весенній вечеръ давно уже смѣнился ночью, а Зубковы

все еще толковали въ уютной комнатѣ, дружные, согласные, счастливые. Особенно счастлива была Елена Васильевна: у нея не выходили изъ головы слова сына о томъ, что онъ далъ честное слово, чтобы у него слово не расходилось съ дѣломъ. Она только этого и желала. Это былъ ея идеалъ человѣка. За это она и Ивана Николаевича полюбила и продолжаетъ любить, какъ въ первые дни супружества.

XV.

Никогда еще не испытывалъ Ваня такого сквернаго настроенія, какъ въ одинъ изъ дней послѣднихъ экзаменовъ. Онъ зналъ свой предметъ—исторію—отлично и не боялся срѣзаться. Но въ его душѣ поднималось тяжелое чувство при мысли, что онъ въ этотъ день встрѣтится съ Устиновымъ впервые послѣ происшедшей въ ихъ домѣ сцены. Волновался онъ, собственно, только оттого, что ему было стыдно за Устинова, неловко смотрѣть на этого человѣка. Экзаменъ еще не начался, когда Ваня встрѣтился съ Устиновымъ въ коридорѣ и смутился еще болѣе, увидѣвъ, что Устиновъ упорно глядитъ куда-то въ сторону, спѣша бочкомъ проскользнуть мимо него, какъ бы не замѣчая его поклона. Взъерошенные волосы, нахмуренныя брови были ясными признаками того, что Устиновъ сильно возбужденъ, можетъ-быть, даже успѣлъ уже закусить. Не прошло и получаса, какъ начались экзамены. Устиновъ, обыкновенно добродушный и снисходительный, склонный даже къ излишнимъ поблажкамъ, былъ положительно неузнаваемъ: онъ придирался къ экзаменующимся, что было вовсе не въ его характерѣ. Правда, онъ любилъ подтрунивать, иронизировать, но и только, теперь уже были не шутки, а злыя придирки. И чѣмъ больше онъ придирался, тѣмъ больше онъ злился на самого себя, раздражался еще болѣе, и отзывалось это, конечно, на ученикахъ. Директоръ училища, любившій, чтобы у него все шло на экзаменахъ, какъ по маслу, ерзалъ на креслѣ, точно на иголкахъ. Вмѣсто возможности щегольнуть знаніями учениковъ, онъ едва спасалъ ихъ отъ провала передъ присутствовавшимъ на экзаменѣ ассистентомъ. Послѣдній морщился и тоже начиналъ придираться, зная очень хорошо, что мирволить ученикамъ есть прямая выгода начальника и содержателя учебнаго заведенія. Между этими тремя лицами шла замѣтная пикировка, всѣ они были возбуждены. Пришла наконецъ очередь Зубкова стать передъ экзаменаторами. Усти-

новъ глядѣлъ въ сторону, мрачно, кусая губы. Казалось, онъ не предложитъ ни одного вопроса этому ученику, предоставитъ ему полную свободу отвѣчать на билетъ. Зубковъ не могъ не замѣтить того, что Устиновъ не смотритъ на него, что онъ сталъ мрачнѣе осенней ночи, но у юноши на минуту вылетѣли изъ головы всѣ постороннія соображенія; онъ думалъ только объ отвѣтѣ на свой билетъ. Онъ заговорилъ бойко и толково, хотя нѣсколько пространно и торопливо, зная прекрасно свой предметъ. Вдругъ неожиданно на половинѣ отвѣта Устиновъ, раздраженный его смѣлостью, развязностью его рѣчи, просто звуками его голоса, рѣзко оборвалъ его:

— Хорошо-съ, хорошо рапортуете. Что твой Цицеронъ. Да краснобайства мало-съ. А цифры-съ, а хронологія?

Ваня бросилъ на него недоумѣвающій взглядъ. Устиновъ уже побагровѣлъ и опять глядѣлъ куда-то въ полъ, чтобы не встрѣтиться съ глазами Вани.

— Я отвѣчаю на билетъ,—сухо сказалъ Зубковъ, обрывая рѣчь и чувствуя, что вся кровь прилила къ его забившемуся, какъ птица въ клѣткѣ, сердцу.

Посторонній ассистентъ коротко спросилъ у Устинова:

— Вѣрно, по этой части хромаетъ?

Устиновъ при этомъ вопросѣ взбѣсился на самого себя, чувствуя, что онъ къ чему-то придирается и невольно подставляетъ ногу Зубкову. Тѣмъ не менѣе онъ злобно и отрывисто отвѣтилъ спрашивавшему его товарищу-экзаменатору:

— Кто ихъ знаетъ, говорить-то они всѣ мастера!

А въ душѣ онъ уже обзывалъ себя скотиной и подлецомъ.

Директоръ училища вступился за Зубкова, зная его за отличнаго ученика, и проговорилъ:

— У него въ году лучшія отмѣтки!

— Продолжайте, — совершенно сухо сказалъ экзаменаторъ, даже не взглянувъ на директора.

Ваня не сразу могъ овладѣть собою. Онъ растерянно смотрѣлъ на Устинова, какъ смотрятъ на человѣка, въ котораго привыкли съ дѣтства вѣрить и который вдругъ сдѣлалъ низость. Въ душѣ поднялось невыразимо горькое чувство, точно слезы готовы были брызнуть изъ глазъ. Въ головѣ былъ невообразимый хоасъ. Онъ, тѣмъ не менѣе, постарался овладѣть собою, продолжалъ отвѣчать, но уже менѣе связно, менѣе самоувѣренно. Выраженіе его блѣднаго, какъ полотно, лица было растерянное, сконфуженное. По-

сторонній экзаменаторъ-ассистентъ смотрѣлъ на него съ недоумѣніемъ, пристально и зорко, сощуривъ глаза, какъ бы говоря: «такъ вотъ ты каковъ; говоришь, какъ заведенная машина; стоитъ остановить и потеряешь нить зазубреннаго отвѣта».

— Подробнѣе, подробнѣе! — сказалъ онъ. — Куда заспѣшили?

Зубковъ чувствовалъ, что еще двѣ-три минуты и онъ вовсе смолкнетъ. Въ его головѣ носился уже не отвѣтъ, а было сознаніе, что Устиновъ, его милый дядя Устя, старый другъ его отца, подставилъ ему ногу. По лицу юноши скользила горькая, болѣзненная улыбка. Ее можно было принять за плачущее выраженіе юноши, чувствующаго, что онъ сорвался на экзаменѣ. Устиновъ тоже сознавалъ вполнѣ ясно значеніе своего поступка и задыхался отъ бѣшенства на себя. Если бы онъ могъ, онъ самъ исколотилъ бы себя. Онъ вдругъ рѣзко произнесъ:

— Довольно-съ!

Экзаменаторъ-ассистентъ вопросительно взглянулъ на него.

— Ясно, что знаетъ отлично!—пробормоталъ Устиновъ.— Чего безъ толку продолжать...

— Но я далеко не доволенъ второй половиной отвѣта,— тихо сказалъ ассистентъ: — онъ скомкалъ вторую половину отвѣта...

Устиновъ загорячился и заспорилъ съ нимъ довольно громко. Директоръ, чувствуя, что можетъ произойти некрасивая сцена, сказалъ Зубкову:

— Можете идти!

Онъ вмѣшался тотчасъ же по удаленіи Зубкова въ споръ Устинова съ ассистентомъ, говоря, что Зубковъ лучшій ученикъ, что его знанія гораздо больше, чѣмъ требуется по программѣ. Ассистентъ пожалъ плечами и придирчиво замѣтилъ:

— Но Викторъ Петровичъ самъ усомнился въ его знаніи хронологіи, и потомъ второй половиной отвѣта я положительно недоволенъ. Онъ показываетъ, что ученикъ умѣетъ задалбливать отсюда и досюда, но...

— Ну, и слава Богу, если умѣетъ задалбливать! Теперь это и нужно,—рѣзко произнесъ Устиновъ.

— Не для восьмого класса...

— Да хоть бы и для четырнадцатаго...

Ассистентъ уставился на Устинова строгими глазами, точно говоря ему: «что ты за птица? Не слетѣть бы тебѣ

съ мѣста». Директоръ слащаво залебезилъ передъ экзаменаторомъ и внутренно посылалъ къ чорту Устинова, прибавляя при этомъ: «и полетишь къ чорту, только бы экзамены кончить».

У самого же Устинова передъ глазами вертѣлись какіе-то красные и синіе круги, въ головѣ шумѣло, въ горлѣ было сухо. Онъ чувствовалъ себя невообразимо скверно, сознавая, что Зубкова спасло отъ неудовлетворительной отмѣтки только безусловно хорошее знаніе предмета. Знай Зубковъ хоть немного хуже, сробѣй онъ и дѣло бы было проиграно окончательно. И ради кого? ради него, Устинова, друга всей семьи этого мальчугана. Онъ чувствовалъ, что этотъ мальчуганъ еще тутъ, еще смотритъ на него недоумѣвающимъ, растеряннымъ взглядомъ, съ безмолвнымъ упрекомъ. Онъ презиралъ въ эту минуту самъ себя, и снова злоба душила его, перехватывала голосъ, но онъ уже не рѣзалъ учениковъ, а впалъ въ какую-то мрачную, тупую апатію, смотря въ пространство осовѣвшими глазами, и экзаменовалъ какъ бы сквозь сонъ, угрюмо и машинально повторяя одно и то же:

— Хо-ро-шо-съ! Хо-ро-шо-съ!

Въ головѣ же носились мысли: «Ну, вотъ и порвалъ навсегда съ единственными близкими людьми; калачомъ теперь меня къ нимъ не заманишь! А! да и чортъ ихъ возьми; на что они мнѣ—кабакъ мнѣ нуженъ. Больше мнѣ ничего не нужно».

Ваня вышелъ изъ училища, точно угорѣлый или пьяный. Въ головѣ все путалось. Его даже не интересовалъ вопросъ, какія отмѣтки поставили ему экзаменаторы. Если бы они поставили дурныя, онъ едва ли огорчился бы больше, чѣмъ былъ огорченъ теперь. Пьянству любимаго человѣка онъ еще могъ найти оправданіе. Тяжело поразило его извѣстіе, что сынъ Устинова исключенъ изъ училища и можетъ погибнуть вслѣдствіе небрежнаго воспитанія. Но все это не такъ повліяло на него, какъ сегодняшній случай, показавшій измельчаніе честной натуры, отзывавшійся чѣмъ-то пошлымъ. И все это вслѣдствіе безпутной жизни. Пьетъ человѣкъ, дѣлаетъ спьяна безпутства, стыдится ихъ, бѣсится за нихъ на другихъ и на себя и совершаетъ еще бо́льшія ошибки, промахи, неприглядные поступки, точно умопомѣшанный. Грязная тина засасываетъ незамѣтно, грязнитъ и душитъ все чистое и хорошее. Объяснить все это можно, примириться съ этимъ трудно, невозможно...

— А вотъ и ты!—раздался веселый голосъ Ивана Ни-

колаевича, завидѣвшаго входившаго въ комнату сына.—А у насъ радость. Саввушку-то мы, кажется, пристроимъ. Сейчасъ говорилъ съ Егоромъ Егоровичемъ. Мѣсто есть. Онъ вѣдь связи-то имѣетъ. То-то будетъ радъ дядя Устя. Видѣлъ ты его сегодня? Говорилъ съ нимъ?

Елена Васильевна весело перебила мужа:

— Да ты спросилъ бы его объ экзаменѣ, ахъ, ты, скороспѣлка, сейчасъ свои радости выкладываешь, а объ экзаменѣ и ни слова.

— Есть о чемъ спрашивать! Превосходно, конечно?— воскликнулъ Зубковъ, трепля сына по плечу.

И онъ, и жена были очевидно отлично настроены ради удачи по дѣлу о Саввушкѣ. Ваня молча поцѣловалъ ихъ и, подавивъ свое волненіе, бодро проговорилъ:

— Да, экзаменъ сдалъ.... еще бы!.. Такъ, значитъ, Саввушка будетъ на мѣстѣ? Ну, и слава Богу. Иначе плохо ему пришлось бы!

— Ну, пока отецъ живъ—ничего еще,—сказалъ Иванъ Николаевичъ:—а вотъ послѣ его смерти...

— Можно надѣяться на такого отца! — рѣзко проговорилъ Ваня, не удержавшись отъ внезапной вспышки гнѣва.

Отецъ покачалъ головой.

— Ай-ай-ай! Злопамятный! Все еще не уходилось сердце? Мало ли что съ кѣмъ бываетъ. Нѣтъ, Устиновъ добрый и честный человѣкъ. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ держалъ себя, когда надъ нами обоими стряслась бѣда...

— Кто пьетъ, тотъ ни за что не можетъ ручаться, — отрѣзалъ Ваня.

И чтобы не распространяться далѣе, пошелъ переодѣваться въ свою комнату.

— Непримиримый! — пошутилъ ему вслѣдъ отецъ и заторопился: — Надо сегодня же дать знать дядѣ Устѣ. Онъ нашего мальчугана довелъ до конца въ училищѣ, мы его сынишку пристроимъ. Долгъ платежомъ красенъ. Я ему эту радость къ сегодняшнему дню и приберегъ. Пусть не у насъ однихъ веселье...

Онъ ходилъ по комнатѣ, потирая руки, веселый, радостный, счастливый сознаніемъ добраго дѣла. Подали обѣдъ. Иванъ Николаевичъ чувствовалъ, что у него и аппетитъ пропалъ отъ радости. Хотѣлось скорѣй, скорѣй ѣхать къ пріятелю съ доброй вѣстью. Едва кончивъ обѣдъ, онъ собрался ѣхать, на ходу шутливо спрашивая жену и дѣтей:

— Ну, что-жъ, кланяться дядѣ Устѣ? Тащить его къ

намъ? Вотъ я Саввушку захвачу. Завтра праздникъ, пусть погуляетъ у насъ. Вы давно его не видали. Я думаю, большой балбесъ сталъ...

— Да ужъ ты поѣзжай, поѣзжай, — торопила его Елена Васильевна.

Онъ уѣхалъ.

Устинова не было дома. Анисья, красная отъ кухоннаго жара, чѣмъ-то сильно возбужденная, встрѣтила Зубкова цѣлымъ потокомъ рѣчей.

— Не пришелъ съ экзаментовъ Викторъ Петровичъ. Охъ, не къ добру это, въ трахтиръ, значитъ, съ пріятелями пошелъ и закутитъ теперь. Раньше ночи и не жди. За послѣднее время темнѣй осенней ночи сталъ, рветъ и мечетъ, а потомъ въ слезы вдарится. Шибче прежняго пить сталъ. Да какъ и не быть человѣку не въ себѣ. Саввушка-то ихъ, на-ка, какую штуку выкинулъ: изъ училища исключили. Слесаремъ не хочетъ быть, баринъ тоже какой выискался. Мать у плиты жарится, мать тутъ постираетъ, тамъ подмоетъ, а онъ—баринъ, въ книжку читаетъ, ноготки щеточками да ножичками чиститъ. Вонъ и теперь надулся, какъ мышь на крупу, за то, что мать свои резонты ему представляетъ. Дуйся, не дуйся, а ни къ кому, окромя матери, не придешь: «сдѣлай, молъ, то, да почини, молъ, это».

Зубковъ прошелъ къ Саввушкѣ. Тотъ сидѣлъ у окна и перочиннымъ ножичкомъ сосредоточенно подравнивалъ и подчищалъ ногти, то и дѣло разсматривая ихъ и любуясь ихъ красотой. Увидавъ Зубкова, онъ сконфузился и быстро сталъ прятать ножъ.

— Ахъ, это вы, Иванъ Николаевичъ, а я думалъ нашъ Викторъ Петровичъ,—началъ онъ скороговоркой, расшаркиваясь и пожимая руку Зубкова. — Заждались мы его сегодня и не обѣдали еще. Садитесь, пожалуйста, гостемъ будете, онъ скоро вернется, должно-быть...

— Досадно, что не засталъ, — сказалъ Зубковъ. — Я съ новостью. Мѣсто тебѣ нашелъ.

Саввушка вспыхнулъ:

— Если-съ въ мастеровые, Иванъ Николаевичъ, такъ я не пойду,—торопливо выпалилъ онъ.

— Ну, вотъ еще! — засмѣялся Зубковъ, трепля его по плечу.—Развѣ я не знаю. Генераломъ-отъ-инфантеріи хотятъ сдѣлать.

Саввушка обидѣлся.

— Мнѣ генераломъ не быть-съ, а тоже и слесаремъ... Вы-съ Ваню не отдали бы въ слесаря...

Зубковъ потрепалъ его по плечу.

— Пошутилъ я, не сердись. Въ банкъ думаю я тебя пристроить.

Саввушка обрадовался.

— Не въ артельщики, Иванъ Николаевичъ?

— Въ директора прямо!—опять пошутилъ Зубковъ и заторопился: — Однако, поѣдемъ къ намъ, я заложникомъ тебя беру. Пусть Викторъ Петровичъ выручать пріѣдетъ завтра.

— Я сейчасъ! Только одѣнусь!—радостно отвѣтилъ Саввушка и побѣжалъ одѣваться за драпировку.

— Только не обѣдалъ вотъ ты,—крикнулъ Зубковъ.

Саввушка засмѣялся.

— Я ужъ подкормился въ ожиданіи Виктора Петровича.

— На кухнѣ лизалъ сковороды?

— Нельзя же голодать...

Они говорили черезъ драпировку. Было слышно, какъ за нею суетился Саввушка, громко хлопая дверцами шкапа и ящиками комода.

— Да ты не копайся. Въ корсетъ ты, что ли, затягиваешься?

— Нельзя же кое-какъ... Надоѣло и въ училищѣ чумазымъ ходить...

Онъ вышелъ въ свѣтлой парѣ платья, въ ботинкахъ съ пуговками, въ цвѣтномъ галстучкѣ, не то щеголеватымъ провинціаломъ, не то принарядившимся лакейчикомъ изъ барскаго дома. Вертясь у зеркала, онъ поправлялъ бантикъ галстука и прихорашивалъ прямые бѣлокурые волосы.

— Ты это что же, плохо видишь, что ли? — спросилъ Иванъ Николаевичъ, видя болтавшееся у Саввушки pince-nez.

Саввушка сконфузился.

— Это-съ консервы, Иванъ Николаевичъ. Отъ солнца.

И не умѣя еще хитрить, онъ прибавилъ стыдливо:

— Косоватъ я тоже... все оно красивѣе... подъ синими стеклами незамѣтно.

Зубковъ покачалъ головой.

— Счастье тоже, кому Богъ красоту далъ! — вздохнулъ Саввушка, торопливо надѣвая пальто.—Вотъ Викторъ Петровичъ разсказываетъ, какъ живетъ господинъ Вощининъ. Чудеса! Безъ красоты въ вѣкъ бы ему такъ не жить.

Онъ побѣжалъ въ кухню чистить шляпу, и Зубковъ услы-

халъ, какъ онъ попрекаетъ Анисью, что та даже шляпы ему не вычиститъ.

— Баринъ какой выщелкнулся,—отвѣтила Анисья.

— Такъ свиньей-мастеровщиной, что ли, ходить?—огрызнулся Саввушка.

— А хочешь бариномъ ходить, самъ умѣй чистить...

Черезъ нѣсколько минутъ онъ уже былъ готовъ, смотрѣлъ щеголемъ и даже былъ довольно красивъ, несмотря на свои прямые бѣлокурые волосы, вздернутый задорно носъ и многочисленныя веснушки, покрывавшія его блѣдное, худощавое лицо.

Зубковъ десятокъ разъ повторялъ Анисьѣ, чтобы она передала Устинову, что для Саввушки нашлось мѣсто, что Саввушка пробудетъ у нихъ завтрашній день, что Устинова завтра они ждутъ къ себѣ. Анисья только кланялась и говорила:

— Запомню! запомню! Прогоню его завтра чѣмъ-свѣтъ къ вамъ!

Саввушка торопливо натягивалъ перчатки, нетерпѣливо спѣша выбраться изъ дома.

— Не хорошо, Саввушка, что ты командуешь Анисьей Ивановной,—замѣтилъ ему Зубковъ, усаживаясь съ нимъ на дрожки.

Саввушка покраснѣлъ.

— Ахъ, Иванъ Николаевичъ, измучили они меня оба,—отвѣтилъ онъ жалующимся тономъ.—То зачѣмъ радишься, какъ баринъ; то воетъ Анисья Ивановна, что буду я пьяной мастеровщиной...

— Вотъ какъ,—сказалъ Зубковъ.—Да, вѣдь, она же хотѣла, чтобъ изъ тебя механикъ вышелъ.

— Развѣ у нея есть хотѣнія! Сегодня одно, завтра другое. Напьется Викторъ Петровичъ и плачетъ она, что господа-то нынче только по трактирамъ ходятъ, дома своего не знаютъ. Увидитъ пьянаго мастерового, голоситъ, что мастеровые только въ кабакахъ и сидятъ. А Викторъ Петровичъ — я ужъ и не знаю, чего онъ хочетъ. Все не такъ, всѣхъ бранитъ, на все возстаетъ. Послушать его, такъ и жить нельзя.

Онъ оживился.

— Вотъ какъ меня исключили, въ отчаянность я впалъ. Не то, чтобы мнѣ училища было жаль или по слесарству я сокрушался. А попалъ домой — Анисья Ивановна плачетъ, Викторъ Петровичъ въ пьяномъ видѣ бранится и тоже пла-

четъ. Ну, и взяло меня самого горе. «Пропащій» да «пропащій», только и слышу. Ну, и напустилъ на себя дурь, недѣлю цѣлую ходилъ, какъ лодырь, самъ о себѣ забылъ. Викторъ Петровичъ кричать началъ: «чего ты это нигилистомъ-то вахластымъ ходишь? Опаршивѣть хочешь?» Приказалъ костюмъ сдѣлать. Ну, пошелъ я, заказалъ платье. Вотъ это самое-съ, что на мнѣ. Опять брань. «Альфонсомъ, что ли, хочешь быть?» А какой же я Альфонсъ? Я не видалъ никакого Альфонса. «Ты бы, говоритъ Викторъ Петровичъ, еще красный галстукъ купилъ». Зачѣмъ же мнѣ красный, когда мнѣ къ лицу синій? И если не нравится ему, пошелъ бы самъ, заказалъ бы по своему вкусу. А то этакъ молодого человѣка только съ панталыку собьетъ...

Иванъ Николаевичъ покачивалъ головой, слушая его. Наконецъ, онъ замѣтилъ:

— Ну, было да прошло. Будешь служить, свои деньги имѣть, все уладится.

— Ахъ, ужъ какъ я вамъ благодаренъ, какъ благодаренъ!—воскликнулъ Саввушка, сжимая въ радостномъ волненіи рукою его колѣнку. — Я ужъ думалъ, пропало мое дѣло. Викторъ Петровичъ вѣдь пальца о палецъ не стукнетъ самъ, чтобы что-нибудь сдѣлать...

— Связей нѣтъ, безъ связей не найдешь мѣста, хоть бы и хотѣлъ,—сказалъ Зубковъ, вступаясь за пріятеля.

— Нѣтъ, вы этого не говорите. Это у него такой характеръ. Ворчать—это его первое дѣло, а тамъ хоть трава не расти.

Саввушка очень рѣдко бывалъ въ былые годы у Зубковыхъ. Устиновъ не любилъ таскать съ собой своего «воспитанника». Въ послѣдніе же годы, находясь въ ремесленномъ училищѣ на полномъ пансіонѣ, онъ почти вовсе не видалъ Зубковыхъ, за исключеніемъ Ивана Николаевича, заходившаго иногда по праздникамъ къ Устинову. Увидѣвъ его, семья изумилась. Это былъ совсѣмъ взрослый молодой человѣкъ, высокій и тоненькій, какъ жердочка. При встрѣчѣ съ нимъ въ Ванѣ пробудилось совсѣмъ особенное чувство наивнаго любопытства: онъ видѣлъ передъ собой незаконнорожденнаго. Знаетъ ли онъ, кто его отецъ и мать? Какъ онъ смотритъ на нихъ? Тяжело ли ему его положеніе? Вѣроятно, очень тяжело. Подъ этимъ впечатлѣніемъ молодой Зубковъ вполнѣ дружески привѣтствовалъ гостя. Всегда внимательный и любезный съ гостями, онъ въ данную минуту готовъ былъ сдѣлать все, чтобы его гостю было пріі-

ятно у нихъ. Привѣтливаго обращенія хозяевъ было достаточно, чтобы сразу ободрить Саввушку. Онъ былъ по натурѣ не изъ застѣнчивыхъ, обладалъ способностью сразу чувствовать себя въ чужомъ домѣ, какъ у себя, что нерѣдко встрѣчается у юношей, жившихъ на полномъ пансіонѣ въ училищѣ. Правда, онъ былъ робокъ при первой встрѣчѣ съ людьми, точно боялся въ нихъ начальства; но разъ этотъ страхъ проходилъ,—онъ становился съ ними въ тѣ товарищескія отношенія, которыя развиваются только между школьными пансіонерами. Потерялъ свой платокъ—взялъ платокъ у сосѣда и высморкался въ него. Увидалъ недопитый стаканъ съ квасомъ—выпилъ его, не справляясь, кто пилъ до него изъ этого стакана. Есть одна папироса,—ее курятъ вдвоемъ, втроемъ, у печки, около трубы. Спятъ всѣ въ одной комнатѣ и не церемонятся, не стѣсняясь другъ передъ другомъ ничѣмъ, ни неприличіемъ въ костюмѣ, ни безцеремонностью въ рѣчахъ. За чаемъ Елена Васильевна спросила Саввушку, сладко ли онъ любитъ чай. Онъ взглянулъ на стаканъ и замѣтилъ:

— Это вы мнѣ столько бухаете? Нѣтъ, двухъ кусковъ довольно!—и самъ полѣзъ пальцами въ стаканъ, вынулъ лишніе куски сахару и положилъ ихъ обратно въ сахарницу.—А вотъ до варенья, такъ я охотникъ.

Онъ пилъ чай своеобразно, положивъ обѣ руки на столъ, пригнувъ голову къ столу, вытягивая чай съ блюдечка «бычкомъ» и то и дѣло зачерпывая ложкой варенье прямо изъ вазочки, не обращая никакого вниманія на поставленное передъ нимъ стеклянное блюдечко для варенья. Увидѣвъ, что на столѣ нѣтъ ржаного хлѣба, онъ поднялся съ мѣста.

— Что вы?—спросила Елена Васильевна

— А я въ кухню, чернаго хлѣба спросить,—отвѣтилъ онъ.

— Такъ я велю подать.

— Ну, вотъ, стоитъ безпокоиться. Я самъ схожу.

По лицу Елены Васильевны скользнула улыбка. Онъ пошелъ въ кухню и принесъ оттуда въ рукахъ ломоть хлѣба.

— Не люблю я булокъ съ масломъ,—пояснилъ онъ, похлопывая ладонью по ломтю хлѣба.—Черный хлѣбъ сытнѣе.

Когда кончили пить чай, онъ потянулся и зѣвнулъ.

— Наѣлся!—проговорилъ онъ, благодаря хозяйку и хозяина.

Ему приготовили постель въ комнатѣ Вани. Оставшись вдвоемъ съ молодымъ Зубковымъ, Саввушка сталъ раздѣ-

ваться и, оставшись въ одной сорочкѣ, сталъ расхаживать по комнатѣ, куря папиросу.

— Славно тутъ у васъ,—говорилъ онъ, осматриваясь.— Чисто все и нарядно. Нѣтъ, у нашего Виктора Петровича порядку не заведешь. Придетъ въ пьяномъ видѣ, все расшвыряетъ.

Онъ, широко разставивъ ноги, остановился передъ Ваней, присѣвшимъ на кровать.

— Однихъ клоповъ что развели у насъ—страсть. У васъ нѣтъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ Ваня съ улыбкой.

Савушка усѣлся въ кресло около его постели и вытянулъ впередъ длинныя, тонкія ноги. Пуская къ потолку дымъ колечками, онъ мечтательно заговорилъ:

— Какъ только стану получать сносное жалованье, тотчасъ же переѣду и устроюсь по-своему. Надоѣло мнѣ слушать нашихъ.

— Викторъ Петровичъ, можетъ-быть, не захочетъ, чтобъ ты жилъ отдѣльно.

— Я и не спрошу его. Если-бъ законный отецъ былъ, тогда другое дѣло. А то какія у него права? Меня вонъ и по батюшкѣ не Викторовичемъ, а Николаевичемъ зовутъ. Савва Николаевичъ Николаевъ.

Онъ уставилъ глаза на свои ноги и началъ задумчиво перебирать ихъ длинными пальцами.

— Даже фамиліи своей не потрудились дать, — сказалъ онъ.—Лѣнь хлопотать было. Меня вздумалъ было попрекать лѣнью, а самъ лѣнивѣе всякаго лѣнтяя. Можетъ, и не женился отъ лѣни. Кто его знаетъ. Не былъ бы лѣнивъ, не отдалъ бы меня въ слесаря, а подготовилъ бы въ гимназію, что ли...

— Анисья Ивановна, кажется, не хотѣла этого, — замѣтилъ осторожно Ваня.

— Много она понимаетъ и много онъ ее слушаетъ. Нѣтъ, просто лѣнь было подготовлять толкомъ. Вышелъ случай, что можно было въ ремесленное пристроить — ну, и пристроилъ.

Онъ закинулъ на лѣвое колѣно правую ногу и сталъ разсматривать на ней мозоли.

— Вонъ сапожищами казенными благодать какую натеръ. На рукахъ тоже вонъ какія мозоли.

Онъ, показавъ Ванѣ ладони рукъ, опять откинулся на спинку кресла и, дымя папиросой, продолжалъ:

— И какъ въ голову пришло, что я останусь слесаремъ. Самъ бариномъ живетъ, господа къ нему ходятъ, а я иди въ слесаря.

— Ты бы механикомъ вышелъ. Изъ господъ многіе идутъ на это поприще, обучаясь въ Технологическомъ. Теперь нуждаются въ знающихъ это дѣло.

— А жить-то какъ бы ты сталъ? Коптись на заводѣ? Жарься у горновъ? Пили да сверли желѣзо? А другіе ручки свои холятъ, занимаясь чистой работой. Нѣтъ, слуга покорный! Конечно, если не видать лучшаго — на все пойдешь. Оставили бы въ деревнѣ, ну, и былъ бы мужикомъ. А здѣсь?

Онъ заговорилъ о томъ, какъ бы ему хотѣлось жить. Заниматься письменной работой, получать хорошее жалованье, днемъ на службѣ, вечеромъ въ клубѣ или въ театрѣ, въ праздникъ по Невскому себя показать, на людей посмотрѣть. Ваня молча слушалъ эту болтовню, задумчиво смотря въ полъ, видя передъ собой двѣ протянутыя тонкія ноги, съ плоскими большими ступнями, съ низкими подъемами, съ шевелящимися большими пальцами въ мозоляхъ.

— А ты любишь за барышнями ухаживать? — неожиданно спросилъ Саввушка.

Ваня машинально качнулъ головой. У него давно охота прошла говорить.

— Мы прошлымъ лѣтомъ все по скверамъ ходили. Тамъ няньки, кормилицы, мамзели изъ магазиновъ. Хорошо.

Онъ сталъ говорить о достоинствахъ нянекъ, кормилицъ и мамзелей изъ магазиновъ, объясняя, почему ему нравятся особенно кормилицы.

— Только ужъ я, какъ Викторъ Петровичъ, не свяжусь незаконнымъ манеромъ, чтобы дѣтей приживать,—закончилъ онъ.—Нѣтъ, шалишь. Найдется невѣста съ деньгами—женюсь. Это другая музыка. Эхъ, кабы красота! Въ мать я. Носъ на вѣтеръ и веснушки. Волоса тоже — помажу, помажу, а все рѣдки. Тѣла только не нагулялъ еще, какъ она, наша-то Анисья Ивановна. Вонъ какой шкелетъ.

Онъ указалъ на свое обнаженное тѣло. Ваня очнулся и точно сконфузился.

— Ты, однако, не простудись. И спать пора.

Онъ сталъ раздѣваться, торопясь укрыться подъ одѣяло.

— Нѣтъ, у васъ тепло. Жарко мнѣ даже.

Саввушка сталъ обмахиваться сорочкой.

— Покойной ночи! Загаси свѣчу,—проговорилъ Зубковъ, отворачиваясь лицомъ къ стѣнѣ.

Онъ долго не могъ уснуть. Въ его головѣ роились думы объ Устиновѣ. Сколько неприглядныхъ сторонъ открывалось въ этомъ человѣкѣ, котораго онъ такъ давно привыкъ любить и уважать. Что онъ сдѣлалъ изъ своего сына. Какъ досадно, что раньше никому не пришло въ голову позаботиться о Саввушкѣ. Насильно бы слѣдовало взять его у Устинова. Вотъ хоть бы прошлое лѣто, чтобы по скверамъ не шлялся. Впрочемъ, не отдалъ бы, пожалуй, и мать не отдала бы. А что теперь изъ него выйдетъ?..

XVI.

Тщетно ждали Зубковы на слѣдующій день Виктора Петровича. Онъ не явился. Иванъ Николаевичъ встревожился немного. Не захворалъ ли? Почему вчера пропалъ послѣ экзаменовъ? Саввушка успокоилъ его. Куролеситъ въ послѣднее время Викторъ Петровичъ. Каждый день на взводѣ. Это еще болѣе встревожило Зубкова. Нѣтъ ли серьезнаго горя у пріятеля? Онъ всегда съ горя запиваетъ. Не поѣхать ли къ нему? Елена Васильевна очень любила праздничные дни именно за то, что мужъ и сынъ оставались цѣлый день дома, тѣмъ не менѣе и она соглашалась съ мужемъ, что надо бы съѣздить къ Устинову, узнать, что съ нимъ. Отъ Саввушки ничего не узнаешь. У него одно объясненіе: «запилъ». И какъ спокойно говоритъ онъ объ этомъ, какъ безпечно весело болтаетъ и школьничаетъ съ Машей и Настей. Забрались они трое въ залъ, Саввушка имъ фокусы показываетъ, какіе-то еврейскіе разсказы разсказываетъ, и дѣвочки звонко хохочутъ вслѣдъ за нимъ. Даже лицо у него разгорѣлось отъ веселья. Ваня, посидѣвъ немного въ кружкѣ хохотавшей молодежи, вошелъ въ кабинетъ отца, гдѣ все еще шло совѣщаніе объ Устиновѣ, и, видя тревогу отца, замѣтилъ коротко:

— Не безпокойся, папа, ничего не случилось, но Викторъ Петровичъ не пріѣдетъ сегодня.

Отецъ вопросительно взглянулъ на него.

— Я такъ и думалъ, что онъ не пріѣдетъ, но не хотѣлъ говорить ничего. Не люблю я разсказывать всякія вещи.

Онъ немного взволновался и покраснѣлъ.

— Что случилось?— спросила Елена Васильевна. — Отъ Саввушки слышалъ что-нибудь?

— Нѣтъ!

Ваня коротко и сжато разсказалъ вчерашнюю сцену на

экзаменѣ. Иванъ Николаевичъ переглянулся съ женой, пожимая плечами.

— Ты, папа, не придавай этому значенія, — закончилъ Ваня. — Кончилось все хорошо, ну, и Богъ съ нимъ. Онъ же не виноватъ. Это все отъ вина. Не говори ему, что я разсказалъ. Я и разсказалъ для того, чтобы ты не ѣздилъ сегодня. Еще тебѣ сцену сдѣлаетъ и... откажется, пожалуй, взять мѣсто для Саввушки.

Иванъ Николаевичъ загорячился, заходилъ по комнатѣ.

— Ну, ужъ это дудки! Этого-то я не дамъ ему сдѣлать. Да и не сдѣлаетъ онъ этого. Что тебѣ пришло въ голову!

Елена Васильевна перебила мужа:

— Нѣтъ, Ваня правъ. Отъ него теперь и этого можно ждать. Ваня вѣрно подмѣтилъ эту черту въ немъ!

И, волнуясь, она воскликнула:

— Нашего сына чуть не подвелъ! Это просто низко!

Ваня вступился за Устинова.

— Не вини его, мама, что-жъ дѣлать, если разсудокъ помутился...

Иванъ Николаевичъ продолжалъ ходить по комнатѣ и потирать руки. Раза два онъ принимался снова разспрашивать сына. Не показалось ли тому, что Устиновъ хотѣлъ придраться? Можетъ-быть, у него и въ умѣ не было ничего дурного? И, не дожидаясь отвѣта сына, онъ самъ же утверждалъ, что все было такъ, какъ сказалъ сынъ, что все это водка проклятая дѣлаетъ. И времена-то теперь такія, что трудно остаться цѣльнымъ человѣкомъ, не свихнуться куда-нибудь въ сторону. Одни подлецами дѣлаются, другіе спиваются, третьи въ петлю лѣзутъ.

Ваня молчалъ и думалъ о томъ, что бы заговорили отецъ и мать, если бы слышали вчерашніе разсказы Саввушки о скверахъ, мамзеляхъ и тому подобномъ. Это уже не придирки на экзаменѣ, а полное пренебреженіе къ воспитанію сына. Отвернулись бы, пожалуй, вотъ какъ онъ отвернулся отъ Устинова. Онъ сознавалъ, что онъ навсегда отвернулся отъ этого человѣка. Никакихъ оправданій, никакого снисхожденія не было въ его душѣ. Онъ не хотѣлъ вооружать противъ него другихъ, онъ даже вступался за него, говоря, что виновато во всемъ вино, но самъ онъ чувствовалъ, что ему было бы тяжело пожать теперь руку этого человѣка. Никогда онъ не примирится съ нимъ. Онъ невольно остановился на этой мысли. И нужно ли вообще примиряться? Не потому ли все и дѣлается, что со всѣмъ примиряются

честные люди? Если бы въ эту минуту заглянуть поглубже въ его душу, то можно бы найти въ ней черты, унаслѣдованныя отъ матери,—и она тоже не примирялась съ недостатками людей и не находила имъ прощенія, когда эти недостатки гибельно отзывались на близкихъ къ ней лицахъ. Такъ она почти враждебно относилась къ недостаткамъ своей матери, когда та вредила Александру Константиновичу въ дни его юности, когда она нападала на Ивана Николаевича, когда она дурно вліяла на Настю. У Вани явилась эта же черта, но онъ чувствовалъ, что онъ не примирится съ Устиновымъ не за себя, не за Саввушку, а просто потому, что Устиновъ упалъ въ его мнѣніи, что уже не можетъ ждать отъ него ничего хорошаго онъ, Ваня. Онъ уже думалъ и не объ Устиновѣ, а вообще о людяхъ, дурныхъ, злыхъ, испорченныхъ, и говорилъ себѣ, что прощать ихъ не слѣдуетъ. Очень ужъ многое прощается, и потому всѣ распускаются еще болѣе, не подтягиваются. Каждый считаетъ нравственность чѣмъ-то такимъ, что нужно проповѣдывать и отъ чего можно освобождать себя, оправдываясь внѣшними обстоятельствами, средой, тяжелыми временами. Въ душѣ пробудилась какая-то страстность, въ ней все кипѣло и бушевало.

Именно въ этомъ настроеніи его застала Лида, пріѣхавшая вечеромъ съ матерью къ Зубковымъ. Ольга Давыдовна тотчасъ же заявила Еленѣ Васильевнѣ, что ей надо поговорить съ ней и отвести душу. Онѣ прошли въ сопровожденіи Ивана Николаевича въ кабинетъ послѣдняго. Лида осталась въ залѣ съ молодежью. Минутъ десять она смотрѣла на фокусы Саввушки и слушала его еврейскіе разсказы, потомъ отвернулась и отошла къ окну. Ваня послѣдовалъ за нею.

— Не понравилось?—спросилъ онъ ее.

— Точно я этихъ глупостей не видала и не слыхала?—пренебрежительно отвѣтила она. — Все это въ театрахъ и на литературныхъ вечерахъ сотни разъ разсказывалось. И самъ этотъ господинъ — жердь какая-то съ вздернутымъ носомъ.

— Вамъ все красавцы нужны,—сказалъ Ваня.—Только по наружности все и цѣните.

— А вамъ ананасъ брось въ грязь, такъ вы поднимете и станете ѣсть?—спросила она задорно.

— Да я, можетъ-быть, и съ золотого блюда не возьму его, потому что онъ мнѣ не нуженъ,—отвѣтилъ Ваня.

— Ахъ, вамъ, значитъ, былъ бы только ржаной хлѣбъ!

— Да, онъ только и нуженъ.

— Такъ вы шли бы въ каменщики. Вонъ смотрите, они тамъ на шоссе работаютъ.

— Я знаю, гдѣ они работаютъ,—отвѣтилъ Ваня: — чего вы мнѣ указываете къ нимъ дорогу. Я еще не собираюсь быть каменщикомъ.

Она засмѣялась, глядя на него сверкающими глазами.

— Мы опять ругаться начали!

И, кокетливо улыбаясь, спросила:

— Почему мы какъ встрѣтимся, такъ сейчасъ и разссоримся?

— Такая ужъ вы капризная дѣвица,—отвѣтилъ онъ шутливо и невольно залюбовался ея хорошенькимъ личикомъ, озареннымъ теперь привѣтливой улыбкой.

Она безцеремонно впилась въ него глазами и, качая головой, проговорила:

— Какъ это странно — вдругъ бы вы пошли въ каменщики!

Онъ очнулся.

— Съ чего вы это взяли?

— Такъ вотъ, говорили о нихъ и представилось вдругъ: вы—и сидѣли бы тамъ, поджавъ ноги, на мостовой и били бы камень.

— Ну?

Она засмѣялась.

— Всѣ экипажи стали бы останавливаться, чтобы взглянуть на васъ, на хорошенькаго каменщика.

Онъ вспыхнулъ и разсердился.

— Глупости. вы говорите!

Она не сморгнула глазомъ.

— Какія глупости?

Онъ смѣшался.

— Что вы хорошенькій? Да? Это?

Онъ совсѣмъ разсердился.

— Развѣ это прилично говорить въ глаза? Я ужъ не мальчикъ, и вы—почти невѣста уже. Или кокетничать и заигрывать хотите? Такъ это пошло!

Она звонко засмѣялась.

— Чему вы?—спросилъ онъ.

— Ну, еще, еще! Ахъ, какъ я люблю, когда вы сердиты! Вы такъ еще красивѣе.

— Нѣтъ, съ вами сегодня нельзя говорить!

Онъ повернулся и ушелъ въ свою комнату. Едва онъ присѣлъ къ своему столу, какъ ему стало досадно на себя. Обругалъ и ушелъ. Хорошъ хозяинъ. Хорошъ благовоспитанный молодой человѣкъ. Это чортъ знаетъ что такое. Кто-то въ эту минуту закрылъ ему руками глаза, подкравшись къ нему сзади.

Не сознавая вполнѣ, что онъ дѣлаетъ, онъ взялъ эти руки отъ глазъ и поднесъ къ своимъ губамъ. Потомъ быстро обернулся и спросилъ:

— Этого вамъ хотѣлось?

На него смотрѣли смѣющіеся глаза, и хорошенькая головка слегка кивнула ему въ отвѣтъ. Онъ, уже совершенно придя въ себя, сконфузился за свой поступокъ и серьезно и тихо замѣтилъ:

— Этимъ шутить не слѣдуетъ...

Она безцеремонно подняла за подбородокъ его лицо, на мгновеніе взглянула на него влюбленными глазами и, точно встряхнувшись, сказала совсѣмъ серьезно:

— Я хотѣла помириться...

И, не давъ ему времени что-нибудь сказать, присѣла около стола и заговорила дѣловымъ тономъ:

— Мы вѣдь не ѣдемъ за границу. Слышали вы это? Мама пріѣхала излить свое горе Еленѣ Васильевнѣ. Она очень опечалена этимъ, хотѣлось ей увезти своего Александра Константиновича туда. Тамъ онъ, вѣдь, пришитъ къ ней, а здѣсь свободенъ, какъ вѣтеръ. Но онъ заупрямился. Въ директора какого-то банка нарочно заставилъ себя выбрать, чтобы имѣть отговорку: «дѣла!» А я рада, что мы не ѣдемъ, очень рада. Что тамъ—никого не знаешь, близкихъ нѣтъ. Поѣдемъ въ Петергофъ на лѣто. Здѣсь мама не хочетъ на заводѣ жить. Ну, что-жъ—въ Петергофъ, такъ въ Петергофъ. Вы пріѣдете къ намъ?

Она заискивающими глазами заглянула ему въ лицо.

— Ругаться?—спросилъ онъ.

Она кивнула головой.

— И мириться,—тихо добавила она.

И, впиваясь въ него глазами, прибавила:

— А ко мнѣ уже сватается женихъ...

Онъ весь вспыхнулъ, точно это сколько-нибудь касалось его.

— Женихъ?

— Да. Камергеръ. Ко двору вхожъ. Съ лучшими фамиліями въ родствѣ.

— Весь раззолоченный; какъ пѣтухъ индѣйскій, важный!

Дѣвочка, а уже объ женихахъ думаете! Обрадовались!—горячо проговорилъ онъ.

— И обрадовалась! А вамъ что до этого?

Онъ молчалъ. Точно, что ему до этого? Не ему жениться на ней. Онъ никогда объ этомъ и не думалъ. Влюбленъ онъ въ нее? Глупости! Всегда ругается съ нею. Вотъ и все.

— Бабушка ваша уговариваетъ меня выйти за него, когда лѣта позволятъ. Джоржъ тоже говоритъ: «хоть обуздаетъ онъ тебя». Александръ Константиновичъ радостно потираетъ руки и небрежничаетъ: «что-жъ, что онъ ко двору вхожъ; у тебя деньги, молодость и красота, тутъ не одинъ женихъ найдется», а самъ радъ, что можно сказать: «зять моей жены вчера былъ во дворцѣ; моя падчерица представлялась ко двору». Мама—той все равно, лишь бы ея Александра Константиновича не похитили.

— Да что вы мнѣ поете,—сердито сказалъ Ваня.—Сами прежде всѣхъ обрадовались...

— Да, обрадовалась—и сказала, что мнѣ рано еще выходить замужъ...

— Отказали?—обрадовался онъ.

Она уклончиво отвѣтила:

— Сказала, что еще рано мнѣ думать о замужествѣ...

— А-а! хочется, чтобы лишній человѣкъ ухаживалъ!

Она засмѣялась.

— А если бы и такъ? Мнѣ еще одинъ гвардейскій офицерикъ объяснялся въ любви.

— И ему сказали, что рано выходить замужъ.

— Да!

— Вы ихъ въ Петергофъ всѣхъ соберите, куисткамеру устройте изъ поклонниковъ.

— А вы пріѣдете?

— Очень мнѣ нужно! Я-то въ ихъ полку не состою, мнѣ тоже рано.

— Ну, такъ и пріѣзжайте, вмѣстѣ смѣяться будемъ...

Она встала и, смѣясь, начала перерывать его книги, тетради. Она каждый разъ все переворачивала здѣсь вверхъ дномъ. Онъ остановилъ ее:

— Не смѣйте этого дѣлать! надоѣло послѣ васъ убирать!

— Попросите хорошенько, не стану.

Она опять смотрѣла на него смѣющимися, вызывающими глазами. Онъ отвернулся, ощущая что-то странное, точно ему тяжело было смотрѣть на нее.

— Ну, что же, просите!—повторила она.

— Какъ?

Она поднесла къ его губамъ руку.

— Вотъ какъ!

Черезъ минуту она уже хохотала въ залѣ. У Вани кружилось и шумѣло въ головѣ, точно онъ опьянѣлъ. Онъ всталъ, не помня себя, и крикнулъ:

— Лида Егоровна!

Она съ удивленіемъ обернулась, вошла снова въ его комнату, спросила:

— Что вамъ?

Онъ схватилъ ее руками и быстро поцѣловалъ нѣсколько разъ въ лицо.

— Вотъ что!—проговорилъ онъ, тяжело переводя духъ и быстро отходя къ своему столу.

Она растерялась, смутилась, притихла! Ея лицо горѣло, какъ въ огнѣ. Постоявъ съ минуту, стараясь успокоиться, она, наконецъ, неслышными шагами вышла въ залу. Ей было и хорошо, и жутко.

Въ столовой подали уже чай, и всѣ сидѣли вокругъ стола. Лида присѣла тутъ, потупивъ глаза. Она слышала, что вошелъ Ваня, и не подняла глазъ. Ей было страшно взглянуть на него—взглянула бы и смутилась бы. Но онъ задорно смотрѣлъ на нее и въ сильномъ возбужденіи говорилъ громко, какъ никогда, точно побѣду одержалъ.

XVII.

Проѣхать въ ясный лѣтній день на маленькомъ пароходѣ по Невѣ, пересѣсть на большой петергофскій пароходъ за Николаевскимъ мостомъ и понестись по заливу—это большое наслажденіе. Сперва передъ вами по обѣ стороны мелькаетъ панорама Невы, какъ бы сдавленной громадами каменныхъ зданій, заставленной безчисленными барками, полной снующихъ яликовъ, пароходиковъ, лодокъ. Потомъ водная поверхность становится все шире и шире; ничто не стѣсняетъ ее: барки, лодки, пароходики встрѣчаются все рѣже и рѣже; наконецъ, открывается широкій просторъ, сверкающей на солнцѣ воды, съ едва замѣтными гдѣ-то далеко-далеко полосками зеленыхъ береговъ. Вдали вырисовываются и тонутъ въ воздухѣ силуэты Кронштадта, Петергофа, Ораніенбаума, кажущіеся прозрачными видѣніями, сотканными изъ легкаго тумана, а не очертаніями каменныхъ зданій. Кругомъ тихо, безлюдно, блеститъ вода, блеститъ небо, и только слышится однозвучный шумъ колесъ,

пѣнящихъ гладкую поверхность воды. Воздухъ сразу перемѣняется—запаховъ города уже не слышно, какая-то особенная свѣжесть моря широкими струями плыветъ навстрѣчу, дышится легче, свободнѣе, шире. И еще сильнѣе впечатлѣніе такой поѣздки, когда человѣку всего восемнадцать-девятнадцать лѣтъ, когда впервые онъ чувствуетъ что-то въ родѣ любви, смутно, неопредѣленно, невысказанно, но сознавая, что онъ ѣдетъ къ *ней*, что тамъ за этой сверкающей далью онъ встрѣтитъ *ее*, что онъ будетъ любоваться и этимъ чуднымъ днемъ, и этимъ оживляющимъ моремъ, и этой воскреснувшей къ жизни природою съ *нею*.

Все это испыталъ молодой Зубковъ, отправившись впервые по окончаніи экзаменовъ съ семьею въ Петергофъ. Онъ сновалъ по пароходу, тормошилъ сестру: «гляди, гляди, какъ хорошо»; разспрашивалъ отца и мать: «что это видно? гдѣ Петергофъ?» и пристывалъ глазами къ яркимъ искоркамъ золотыхъ куполовъ, высившихся изъ-за прибрежной зелени Петергофа. Хорошо или дурно онъ поступилъ тогда, во время послѣдняго свиданія съ Лидой, что его толкнуло на этотъ поступокъ, какія послѣдствія изъ этого выйдутъ, ничего этого онъ не спрашивалъ у себя и просто былъ счастливъ и веселъ. Почему? онъ и самъ не зналъ и, кажется, не хотѣлъ знать. Счастливъ и веселъ—вотъ и все. Мать говорила: «это потому, что экзамены кончились». Отецъ посмѣивался: «молодымъ человѣкомъ себя почувствовалъ». Настя и Маша шушукались: «Ваня радъ, что будетъ ѣздить въ Петергофъ; не сладко тоже все дома, да дома сидѣть».

На пароходной пристани стояла толпа встрѣчающихъ. Ваня, стоя на верхней палубѣ парохода, искалъ знакомыхъ лицъ и вдругъ закивалъ головою, забывъ даже снять шляпу. Тамъ въ этой пестрой, нарядной толпѣ, стояла *она*, Лида. Ваня даже не замѣтилъ стоявшаго съ нею рядомъ Александра Константиновича. Онъ видѣлъ только ее одну. Всѣ встрѣтились привѣтливо и радушно, Ванѣ показалось даже, что Лида какъ-то особенно пожала ему руку. Ихъ ждала большая коляска. Пришлось усѣсться въ нее шестерымъ. Коляска покатилась по тѣнистымъ аллеямъ, поднялась въ гору, свернула направо и почти въ самомъ концѣ Стараго Петергофа остановилась у роскошной барской дачи. Зубковыхъ ждали къ завтраку. Всѣ были оживлены, веселы, даже Егоръ Егоровичъ еще не злилъ никого и покуда никому не говорилъ колкостей. Послѣ завтрака молодежь, къ которой присоединились и Александръ Константиновичъ, и Егоръ

Егоровичъ, стала играть въ саду въ серсо. Лида, среди игры, забросила куда-то далеко кольцо и сказала:

— Ваня, поднимите!

Ваня побѣжалъ за кольцомъ. Когда онъ передавалъ его ей, она шепнула:,

— Я васъ буду звать Ваней. Ничего?

Онъ также шопотомъ отвѣтилъ:

— А васъ какъ звать? Лидой?

Она улыбнулась, кивнувъ головой.

— Да!

Игра продолжалась еще оживленнѣе, еще веселѣе. Солнце поднялось уже высоко, и площадка, на которой играли, вся была залита его лучами. Вощининъ первый напомнилъ, что становится очень жарко. Въ комнатахъ прохладнѣе. Всѣ бросили серсо и направились на террасу и въ смежный съ нею залъ. Тутъ точно было прохладно. Софья Андреевна, въ коричневомъ шелковомъ платьѣ, въ чепцѣ съ бѣлыми атласными лентами, величавая и важная, обратилась къ Настѣ:

— Сыграй, Настя, что-нибудь.

Настя на минуту сконфузилась, хотѣла было отказаться, но Ольга Давыдовна тоже попросила лѣнивымъ голосомъ:

— Да, сыграйте! Вы, говорятъ, мастерица.

Настя пошла къ роялю и начала играть. На террасѣ попрежнему продолжался разговоръ Зубкова, Зубковой, Ольги Давыдовны, Александра Константиновича и двухъ посѣтителей, немолодыхъ и серьезныхъ господъ, двоюродныхъ братьевъ Ольги Давыдовны. Лида и Ваня ходили взадъ и впередъ по залѣ, тихо разговаривая. Егоръ Егоровичъ подошелъ къ роялю и смотрѣлъ на Настю. Его свинцовые глаза нѣсколько оживились и впились въ молоденькую дѣвушку.

— У васъ положительно талантъ, — проговорилъ онъ, когда она кончила.

Она сконфуженно молчала, робкая, немного дикая, никогда еще не говорившая съ нимъ.

— Вы, конечно, пойдете въ консерваторію?—спросилъ онъ.

Она подняла на него глаза, большіе, черные, съ синеватыми бѣлками.

— Я думаю, если только мама согласится.

— Это необходимо. Талантъ губить нельзя.

Онъ смотрѣлъ на нее упорно въ лицо; она опять опустила густыя черныя рѣсницы.

— Вы не поете?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ.

— А голосъ есть?

— Не знаю.

Она вся зарумянилась и тихо сказала:

— Я люблю пѣть, но не учусь еще...

— Если бы развить голосъ, то съ вашей наружностью вы пользовались бы большимъ успѣхомъ.

Она опять взглянула на минуту на него, преодолѣвая застѣнчивость.

Лида уловила послѣднія слова брата и, продолжая ходить, сказала ему:

— Настя настоящая цыганочка.

— Итальянка скорѣе,—отвѣтилъ онъ.

Потомъ, обращаясь къ Настѣ, заговорилъ объ артистической карьерѣ. Лучше нѣтъ карьеры для женщины. Тутъ полная свобода. Талантъ покоряетъ толпу. Успѣхи прямо приносятъ наслажденіе. Удовлетворенное самолюбіе заставляетъ работать, идти все дальше. Настя слушала его съ разгорѣвшимся личикомъ. Сквозь отворенныя двери за нею и ея собесѣдникомъ слѣдили зоркіе глаза Софьи Андреевны. Она самодовольно улыбалась, чувствуя, что Егоръ Егоровичъ говоритъ ея внучкѣ нѣчто пріятное. Наконецъ, она не выдержала, встала и подошла къ нимъ.

— Не правду ли я вамъ говорила, Егоръ Егоровичъ, у нея музыкальный талантъ,—проговорила она.

По его лицу скользнула ироническая улыбка.

— Я вотъ потому и соблазняю Настасью Ивановну,—отвѣтилъ онъ, цинично въ упоръ смотря на старуху и сознавая, что ее смутила его двусмысленная фраза.

Потомъ, повернувшись отъ нея, онъ продолжалъ:

— Да, привлекательнѣе артистической карьеры ничего не можетъ быть. Эти наполненныя зрителями залы, эти восторги и овація толпы опьяняютъ, возбуждаютъ сильнѣе вина.

Старуха поняла, чѣмъ онъ соблазнитъ ея внучку и, гладя ея шелковистые вьющіеся волосы, со вздохомъ сказала сладкимъ голосомъ:

— Средствъ-то нужно сколько, чтобъ подготовиться къ артистической дѣятельности. Безъ нихъ ничего не подѣлаешь.

Онъ опять взглянулъ на нее съ наглой иронією.

— Безъ покровительства тутъ не обойтись? Да?

Она пожала плечами, недоумѣвая, что сказать.

— Иногда вѣдь и находятся покровители талантовъ,—продолжалъ онъ, не спуская съ нея глазъ.

— Конечно, конечно!—почти обрадовалась она.

Онъ отвернулся и серьезно сказалъ Настѣ:

— Я увѣренъ, что ваши отецъ и мать не зароютъ вашихъ талантовъ въ землю и обойдутся безъ всякихъ посторонникъ покровителей.

И. совсѣмъ тихо прибавилъ, обращаясь къ старухѣ:

— Даромъ-то нынче не покровительствуютъ, хоть въ чемъ бѣда...

Онъ отошелъ прочь, съ застывшей на лицѣ улыбкой. Въ ней были и иронія, и нѣчто сальное. Онъ внутренно смѣялся надъ старухой, уже давно распространявшейся при немъ и о талантахъ Насти, и о ея красотѣ, и о ея мягкомъ характерѣ. Онъ угадывалъ, что старуха сватаетъ ему свою внучку. Что-жъ, не глупа! онъ молодъ, богатъ, съ блестящей карьерой дѣльца впереди—чѣмъ же онъ не женихъ для какой-то нищей дѣвчонки. Жаль только, что онъ не такъ глупъ и не такъ неопытенъ, чтобы попасться на удочку. Проходя по залѣ, онъ невольно взглянулъ на Лиду и Ваню, оживленно разговаривавшихъ о чемъ-то. А эти, кажется, сами сосватались. Мальчикъ-то вѣрно не дуракъ. Альфонсика хочетъ разыграть. Богатая невѣста—кладъ. Примѣръ въ глазахъ есть—дядя Александръ Константиновичъ. Онъ усмѣхнулся, смотря на оживленное лицо Вани. Ему захотѣлось нарушить эту бесѣду двухъ молодыхъ людей. Онъ подошелъ къ нимъ и спросилъ Ваню:

— А вы въ университетъ или на службу идете?

— Нѣтъ, въ университетъ поступаю,—отвѣтилъ Ваня.

— Охота? четыре года еще тянуть лямку. Шли бы на службу, а тамъ годика черезъ два и жениться бы можно.

Ваня разсмѣялся.

— Я еще и не думаю о женитьбѣ. Немного рано.

— Что такъ? Въ четыре года, пожалуй, всѣ подходящія невѣсты повыйдутъ замужъ..

Ваня весело отвѣтилъ безъ всякой задней мысли:

— Авось, хоть одна подождетъ.

— Ну, четыре-то года ждать ни одна не будетъ. Скучно столько времени въ любовь играть.

Лида сообразила, на что намекаетъ братъ, и поняла, что онъ по своему обычаю рѣшился подразнить ее и Ваню. Она вызывающимъ тономъ, дразня въ свою очередь брата, отвѣтила за Ваню:

— А тебѣ было бы досадно, если бы стали ждать четыре года?

Онъ пожалъ плечами.

— Не досадно, а смѣшно.

И, не давъ ей сказать что-нибудь, прибавилъ:

— Въ четыре года много воды можетъ утечь: женихъ изъ красавчика-юноши можетъ превратиться въ какого-нибудь обросшаго шерстью орангутанчика, а его невѣста изъ богатой дѣвушки сдѣлаться чуть не нищею.

Ваня захохоталъ.

— Ну, какія превращенія вы придумали! А если невѣста вовсе и не думаетъ о наружности жениха, а онъ о ея богатствѣ?

— Такъ что же можетъ привлекать? — спросилъ Егоръ Егоровичъ и улыбнулся нехорошей улыбкой.—Хорошенькіе юноши прельщаютъ только своими смазливыми личиками, а при хорошенькомъ личикѣ недурно имѣть жену съ толстымъ карманомъ. Примѣръ у насъ налицо, поразительный, да, впрочемъ, и его не нужно, чтобы знать, чего добиваются хорошенькіе Альфонсики.

Ваня уже не смѣялся. Кровь прихлынула ему къ головѣ. Онъ сознавалъ теперь ясно, что хотѣлъ сказать Егоръ Егоровичъ. Онъ не выдержалъ и рѣзко сказалъ:

— Чтобы быть подлецомъ, не нужно быть непремѣнно хорошенькимъ.

Егоръ Егоровичъ сощурилъ глаза, взглянувъ на Ваню, какъ бы спрашивая, что тотъ хотѣлъ сказать своею фразою, и прибавилъ:

— Съ смазливымъ личикомъ легче добиваться удачи на поприщѣ Альфонса.

— Ну, я въ этихъ вопросахъ вполнѣ неучъ,—отвѣтилъ Ваня:—и спорить съ вами, какъ съ опытнымъ человѣкомъ, не могу.

И сухо прибавилъ:

— Да и не интересно это для меня. Лично я, какъ и вы, конечно, никогда не сдѣлаюсь Альфонсомъ, а раскапывать эту грязь въ другихъ просто гадко.

Злое чувство охватывало его все сильнѣе и сильнѣе, и онъ, поддаваясь ему, сказалъ:

— Впрочемъ, вы, Егоръ Егоровичъ, кажется, очень любите эти вопросы, какъ я замѣтилъ. Съ вами какъ ни заговоришь, все на это разговоръ сведется—на любовь, на связи, на обольщенія, только бы сальце было.

— Ахъ, да, да; я и забылъ, что вы пѣломудренный

Іосифъ!—съ насмѣшливой гримасой замѣтилъ Егоръ Егоровичъ.

— А это смѣшно?—спросилъ Зубковъ задорно.

— А вы думаете, нѣтъ?

— А если-бъ Іосифъ былъ не цѣломудренъ, то-есть не смѣшонъ по-вашему, то вы же первый заклеймили бы его постыднымъ именемъ Альфонса?

Егоръ Егоровичъ опять сощурилъ глаза, и по его лицу скользнула невольная улыбка одобренія.

— О, да вы находчивы!—поощрительно сказалъ онъ и перемѣнилъ разговоръ.

Ваня, однако, не тотчасъ освободился отъ непріятнаго впечатлѣнія, вызваннаго въ его душѣ словами Егора Егоровича. До этой минуты онъ вовсе не думалъ, къ какимъ результатамъ можетъ повести его сближеніе съ Лидой. Объ игрѣ въ жениха и невѣсту, о женитьбѣ на ней не было и мысли. Онъ просто былъ влюбленъ безсознательно, безъ всякихъ расчетовъ, безъ всякихъ цѣлей, какъ влюбляются впервые юноши. На минуту Егоръ Егоровичъ отравилъ это чувство своими намеками. Но оно было сильнѣе грязныхъ подозрѣній и не имъ было заглушить его. Уже чрезъ какіе-нибудь полчаса Ваня попрежнему любовался Лидой и ссорился, и мирился съ нею, не зная самъ, что болѣе восхищало его въ ней—вспышки ея гнѣва или ея ласкающіе взгляды и тихій шопотъ:

— Не сердитесь, Ваня? Нѣтъ?

Онъ не желалъ, не требовалъ больше ничего.

Вечеромъ послѣ обѣда Вощинины и ихъ гости проѣхались въ коляскѣ и шарабанѣ по саду, мимо Самсона, мимо Монплезира, среди густой пестрой толпы пѣшеходовъ, среди массы экипажей, слыша издали звуки музыки. Какимъ-то волшебнымъ сномъ казалось все это—и статуи, и фонтаны, и свѣжая зелень, и пестрая толпа, и блестящіе экипажи,—неопытной Настѣ. Она совсѣмъ притихла, охваченная совершенно новымъ чувствомъ. Ей казалось, что она попала въ міръ совершенно счастливыхъ людей. Ни заботъ, ни тревогъ, ни печалей нѣтъ у нихъ; гуляютъ они, наслаждаются красотой этого сада, слушаютъ эту прекрасную музыку, жизнь идетъ, какъ волшебный сонъ. Когда раздалось «пора домой»,—у нея болѣзненно сжалось сердце. Бабушка говорила еще передъ прогулкой, что Настю можно бы оставить погостить. Что если бы мама вдругъ согласилась? Но нѣтъ, мама сказала, что нельзя. Настя вздохнула.

Никогда ей такъ не жить! Вотъ если бы сдѣлаться артисткой, тогда... Передъ нею пронеслись картины артистической жизни, нарисованныя Егоромъ Егоровичемъ. Она подняла глаза и увидала его: онъ пристально смотрѣлъ на нее, точно угадывалъ ея мысли. Она потупила глаза. Ей стало какъ-то стыдно и жутко, точно онъ дѣйствительно читалъ въ ея душѣ.

Пароходъ уже дымился, когда они подошли къ нему, оставивъ экипажи. Лида и Ваня шли позади всѣхъ, и Лида тихо сказала ему:

— Вотъ что я вамъ скажу по секрету.

Онъ наклонилъ голову, она склонилась тоже къ нему близко-близко, къ самому уху; и вмѣсто словъ его ухо обжегъ едва слышный поцѣлуй.

— Не забудьте же этого!—шаловливо сказала она.

Онъ засмѣялся.

— Не забуду!

Семья поднялась на пароходъ, онъ зашумѣлъ, завертѣлъ колесами и двинулся впередъ. Съ пристани кто-то махалъ платкомъ. На взморьѣ была тишь—точно сталь блестѣла водная поверхность подъ блѣднѣвшимъ небомъ и только за Кронштадтомъ еще сверкали прощальные лучи заходившаго солнца. Зубковы безмолвно сидѣли на верхней палубѣ какъ бы въ полудремотѣ, отдыхая отъ праздничныхъ впечатлѣній дня. Впереди была темная даль; свѣтъ оставался позади. Настѣ было тяжело до слезъ, точно кто-то силой увлекалъ ее отъ этого свѣта въ эту тьму, изъ міра счастливыхъ людей въ міръ заботъ и печалей. Ваня смотрѣлъ на воду, и всѣ его помыслы были тамъ, около Лиды. Думая о ней, онъ чувствовалъ, что у него горитъ ухо,—то ухо, которое обожгла она своимъ поцѣлуемъ.

А тамъ, въ Петергофѣ, на дачѣ Вощининыхъ, всѣ сидѣли около чайнаго стола на огромной террасѣ. Разговоръ шелъ о Зубковыхъ. Прекрасная это семья. Самъ Зубковъ чудакъ, немного юродивый, но честный и усидчивый работникъ. Зубкова немного чопорна и суха, но примѣрная мать и жена. Настя...

— Ей уже лѣтъ семнадцать?—вдругъ спросилъ одинъ изъ двоюродныхъ братьевъ Ольги Давыдовны.

Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, степенный и серьезный по виду.

— Нѣтъ, ей и шестнадцати нѣтъ, — отозвался Вощининъ.

— Но, вѣроятно, скоро минетъ; она взрослой смотритъ,— сказалъ двоюродный братъ хозяйки.

Егоръ Егоровичъ мелькомъ взглянулъ на дядю, и его губы подернулись едва замѣтной усмѣшкой.

Только Лида помѣстилась въ сторонѣ отъ остального общества на нижней ступени террасы и безцѣльно смотрѣла передъ собою, то улыбаясь, то щуря каріе глаза.

— А я тебѣ чай сюда, Лидочка, несу,—послышался голосъ Софьи Андреевны, ласковый и пѣвучій.—Душно тамъ на террасѣ.

— Mercі!—проговорила Лида, кивнувъ головой и принимая изъ рукъ старухи чашку.—А вы тамъ будете пить?..

— Пожалуй, и здѣсь... Только не помѣшаю ли тебѣ, царевна наша прекрасная...

— Нѣтъ... отчего же...

Лида обернулась и крикнула:

— Иванъ, подай сюда чай бабушкѣ...

Старуха не безъ труда опустилась около нея на ступени и таинственно спросила ее, дотрогиваясь до ея руки:

— О чемъ размечталась, прелестная моя пташка?

— Такъ... ни о чемъ,—отвѣтила Лида и прибавила:— Зачѣмъ это Иванъ Николаевичъ отдаетъ Ваню въ университетъ?.. Что за карьера... Чиновникомъ или учителемъ будетъ...

— Ахъ, Лидочка, Лидочка,—со вздохомъ сказала старушка:—развѣ ихъ поймешь...

— Шелъ бы въ военные, въ гвардію... Вѣдь онъ дворянинъ, бабушка?

— Дворянинъ, дворянинъ,—подтвердила старуха:—но что нынче за дворяне! Это прежде дворянинъ считалъ за честь быть военнымъ, а теперь...

Она приняла изъ рукъ лакея чашку и ласково спросила Лиду:

— А ты, маточка, почему это заговорила? Онъ что-нибудь сказалъ?

— Нѣтъ... Въ саду у музыки мнѣ пришло въ голову... Вѣдь Ваня былъ бы красивѣе въ военной формѣ...

— Что говорить... красавецъ выравнивается...

— Тогда бы и партію могъ хорошую сдѣлать,—продолжала Лида:—а тамъ... Вѣдь такой человѣкъ и притомъ съ деньгами могъ бы потомъ карьеру въ гвардіи сдѣлать?

Старуха махнула безнадежно рукой.

— Да развѣ имъ втолкуешь? Ни имъ, ни ему не втолкуешь.

Лида сдѣлала гримасу.

— Ну, ему-то можно бы втолковать!

Старуха зорко взглянула на нее.

— Ты думаешь? Впрочемъ, кто втолковывать станетъ, иного и послушаетъ...

Она лукаво усмѣхнулась.

— Вотъ тебя, напримѣръ. Да кто же тебя не послушаетъ? Да ты прикажи, вся молодежь у ногъ твоихъ будетъ лежать. Конечно, за перваго встрѣчнаго ты не пойдешь, сѣренькой жизнью не будешь жить...

Лида задумчиво молчала, потомъ вдругъ выпрямилась и слегка тряхнула головой.

— Нѣтъ, нѣтъ, чиновницей-то ужъ я не буду и за учителя не пойду,—проговорила она рѣшительно.—Что же идти замужъ, если не выдержишь и убѣжишь...

— Это ужъ послѣднее дѣло—бѣжать отъ мужа...

Старуха вздохнула.

— И бѣжать-то женѣ трудно, ахъ, какъ трудно, Лидочка. Законы тоже есть. Захочетъ мужъ—по этапу жену потребуетъ къ себѣ.

— А если она не хочетъ?

— У жены, дитя ты мое прелестное, и хотѣнья не можетъ быть. У мужа только хотѣнье. А женѣ и въ церкви читаютъ: «жена да боится своего мужа».

Старуха начала разъяснять Лидѣ законы, какъ она ихъ понимала сама. Мужъ все можетъ, потому она глава. Чтобы счастливой быть, нужно искать мужа мягкаго, покладистаго, сговорчиваго. Такова ужъ женская доля, что чуть мужъ съ характеромъ—и бѣда. Вѣкъ-то съ мужемъ прожить, такъ ни за что нельзя ручаться; разлюбить его можно, другого можно полюбить, ну, и бѣда, если мужъ съ характеромъ. Истиранитъ жену. Ну, а мужъ добрый, да мягкій пойметъ, что сердцу не прикажешь: не спросясь, оно любитъ,—пойметъ и смолчитъ, если жена что сдѣлаетъ. Стало уже совсѣмъ темно, а старуха все еще бесѣдовала съ Лидой. Наконецъ Лида встала и крѣпко поцѣловала ее.

— Я только съ вами и могу поговорить,—проговорила она.—А то мы, дѣвушки, ничего сами не знаемъ...

— Царица ты души моей,—пѣвуче сказала Софья Андреевна:—гдѣ же и знать что-нибудь дѣвушкѣ? Извѣстно: невинность! На что же въ этомъ случаѣ мы, старухи, какъ не затѣмъ, чтобы все вамъ объяснять? Ну, Христосъ съ тобой! Иди теперь баиньки!

Старуха вытянула впередъ губы, точно посылая поцѣлуй Лидѣ, и начала вслѣдъ за нею грузно подниматься по ступенямъ террасы, приподнявъ тяжёлую шелковую юбку платья.

— Иванъ, посвѣти барышнѣ. Гдѣ Зинаида? Не знаетъ развѣ, что барышня опочивать идетъ? Не заботитесь о господахъ,—командовала она и снова пѣвуче обратилась къ Лидѣ:—Спи, моя цыпочка, спокойно спи! Христосъ съ тобой!

Величаво, точно плывя, пошла она «на свою половину», какъ она называла свои двѣ комнаты, съ полнымъ сознаніемъ своего значенія въ домѣ. Саша—это ея вскормленникъ, всѣмъ обязанъ ей, вытащившей его изъ грязи; Лида—только она, Софья Андреевна, и умѣетъ объяснять ей все, разрѣшать всѣ ея дѣвичьи тревоги и вить изъ нея веревки; Егораша—тотъ не поддался еще ея вліянію, но сердце не камень, продолбитъ она его и женитъ на Настѣ, а тогда ужъ, какъ ни какъ, а внукомъ ей будетъ; Ольга, заводчицато наша... Она, обрывая ходъ мысли, усмѣхнулась иронической улыбкой.

— Ахъ, что тутъ думать о ней!.. И кто это на нее вниманіе обращаетъ теперь, зла она или добра?.. Всѣ и безъ нея жить могутъ, у всѣхъ свои капиталы...

XVIII.

Снова потянулись долгіе, безконечные будни въ домѣ Зубковыхъ.

Ваня читаетъ все: Дарвина и Бокля, Доде и Золя, Тургенева и Писемскаго, проводитъ цѣлые часы на лодкѣ или на баркѣ, удя рыбу, дѣлаетъ отдаленныя прогулки. Впечатлѣній у него накапливается масса. Къ тому же отецъ и мать видятъ въ немъ уже не ребенка—вдругъ какъ-то сразу онъ сталъ взрослымъ, студентомъ,—и по вечерамъ дѣлятся съ нимъ своими соображеніями и взглядами. Иванъ Николаевичъ все больше и больше убѣждается, что ничего не подѣлать въ этомъ краю: ни народные спектакли съ «Парашами Сибирячками», ни лекціи съ житіями святыхъ и героевъ не отучатъ рабочихъ отъ кабака. Всѣ плохо идущія и прививающіяся у насъ общества потребителей не избавятъ получающихъ гроши бѣдняковъ отъ нищеты. Никакіе проекты о дѣлежѣ барышей не примутся здѣсь разными заводчиками и фабрикантами. Напротивъ того, эти фабриканты и заводчики жалуются на застой въ дѣлахъ, на курсъ и обдумываютъ, какъ убавить число рабочихъ, прибавить

рабочіе часы и уменьшить еще плату, да требуютъ охраняющихъ промышленность мѣропріятій. «Или это, или банкротство», говорятъ они. Помощь деньгами нуждающимся— о, на этотъ счетъ и Иванъ Николаевичъ, и Елена Васильевна лѣзутъ изъ кожи, но что же они могутъ дать: средства ихъ ограничены, а нуждающихся масса. Только и пользы, что четырехъ дѣвочекъ учатъ они, да и изъ тѣхъ Маша какая-то странная. Погибнетъ она. Ничего въ ней не замѣчаютъ дурного, ни одного упрека нельзя ей сдѣлать; но очень подозрительно она тиха и скромна. Кромѣ того ученье не идетъ ей въ пользу. Почему? Тупа она? Нѣтъ. Но что-то другое занимаетъ ея умъ. Въ душу ей не заглянешь, на все отвѣчаетъ: «да-съ», «нѣтъ-съ». А за этими «да-съ» и «нѣтъ-съ» таится и прячется что-то другое. Семья у нея страшная. Тетка пришибленное созданіе, а дядя... Сцену онъ недавно устроилъ Зубкову. При каждой встрѣчѣ съ Зубковымъ онъ проходилъ потупясь, бочкомъ, сторонясь, какъ бы конфузясь. Вдругъ недавно встрѣтился пьянымъ и нахально захохоталъ при встрѣчѣ: — «А, благодѣтели! филантропы! Невѣсту, что ли, для своего сынка готовите? Или хотите цивилизованную падшую женщину создать? Юроды!» И шаговъ на сто провожалъ онъ Зубкова, хохоча и ругаясь, пока Зубковъ, сконфуженный и смущенный, не ускользнулъ отъ него, точно воръ, въ первыя попавшіяся ворота. А вчера опять встрѣтился этотъ бѣднякъ, но уже трезвый, и опять потупился, смотритъ въ сторону, сконфуженно, глаза растерянные. Иванъ Николаевичъ въ волненіи ходилъ по комнатѣ и потиралъ руки, передавая эти факты. Да, дѣйствительно изъ этого омута не вытащишь человѣка. Духъ окружающей среды сотретъ всякое благотворное вліяніе. Духъ среды, духъ времени—это проклятіе человѣчества. Да вотъ хоть бы взять Саввушку. Опредѣлили его, ѣздитъ онъ къ нимъ, приличенъ даже у нихъ, а вчера Устиновъ встрѣтился и говоритъ: «Ну, что, опредѣлили оболтуса, вчера первое жалованье въ Ливадіи и въ мѣстахъ злачныхъ прогулялъ. Дорвался значитъ». Волнуясь и горячась, Иванъ Николаевичъ передалъ, какъ онъ намылилъ пріятелю голову.

— Не выдержалъ, все сказалъ!—говорилъ онъ.—«Ты, говорю, что же это на сына жалуешься. Примѣръ-то ты какой ему подавалъ? Въ какой средѣ его растилъ? Уберегъ ли его отъ духа времени? Теперь всѣ живутъ кутежомъ и для кутежа, ну, а ты предостерегъ его отъ этой заразы?»

Нѣтъ, что тутъ нѣжничать, нужно было голую, грубую правду сказать...

И вдругъ остановившись, онъ добавилъ съ омерзѣніемъ:

— И какъ вы думаете, что онъ нашелся отвѣтить? Нѣтъ, вы угадайте?

Угадать не могли ни жена, ни сынъ.

— «А! говоритъ, это ты вздумалъ отплатить за своего сына?» Тьфу! до чего можетъ дойти человѣкъ среди вѣчнаго похмелья. Самому ему потомъ стало совѣстно. Я это ясно видѣлъ. Да и не можетъ быть иначе, все же въ немъ уцѣлѣлъ человѣкъ...

Вѣчный оптимистъ, онъ и тутъ хотѣлъ найти остатки совѣсти.

Елена Васильевна мелкомъ спросила:

— Онъ лишился мѣста въ пансіонѣ?

Иванъ Николаевичъ нахмурился.

— Да, да! Это ужасно! Что онъ будетъ дѣлать. Его казенная служба даетъ мало!

Зубкова вздохнула:

— Уменьшились средства—усилилось пьянство!

Зубковъ только махнулъ рукой.

— И за что отказали?

— Не ко двору теперь онъ,—отвѣтилъ Иванъ Николаевичъ:—примасленныхъ теперь въ пансіонѣ нужно, шлифованныхъ, чтобы умѣли и нашимъ, и вашимъ служить!

Всѣ эти мелочи повседневной жизни давали матеріалъ для размышленій, наполняли будни Вани. Онъ сталъ строже, серьезнѣе смотрѣть на жизнь и людей; взрослый человѣкъ въ немъ сказывался. Его уже начинало заботить и то, что среди мелкихъ непріятностей, среди возраставшаго недовольства окружающимъ, его отецъ видимо начинаетъ старѣть, опускаться физически. Иногда Иванъ Николаевичъ ощущалъ такой упадокъ силъ, что даже не могъ искусственно бодриться, и сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ, сгорбившись, понуро, какъ дряхлый старикъ, лысый, желтый, осунувшійся. Въ эти минуты Ваня взглядывалъ на мать, улавливалъ на ея лицѣ болѣзненное выраженіе, и у него сжималось сердце. Неужели это начало конца?..

А Настя? Настя сидитъ дома: читать ей позволяютъ книги съ разборомъ, гулять она можетъ только у себя въ саду, такъ какъ у нихъ по этой пьяной улицѣ дѣвушкѣ гулять не безопасно; шьетъ и вяжетъ она, слушаетъ безконечныя жалобы сосѣдокъ — всѣ онѣ несчастны, всѣ онѣ

идутъ за совѣтомъ, за помощью, за ободреніемъ къ Еленѣ Васильевнѣ. Счастливой нѣтъ ни одной, а если которая и кажется веселой, то это значитъ, что она завела на сторонѣ шашни! Настю часто томитъ скука, безысходная, безконечная, тупая скука сѣренькихъ будней небогатой семьи: сегодня и завтра, завтра и послѣзавтра похожи одно на другое, какъ капли воды. Иногда, сидя за шитьемъ, Настя думаетъ, что было бы, если-бъ она сдѣлалась знаменитой артисткой: блескъ и слава, свобода и веселье и при этомъ много-много денегъ; можно бы всѣмъ помогать, не такъ какъ папа и мама, стѣсняющіеся иногда сами, а широкой, щедрою рукою; сколько людей благодарили бы ее, цѣловали бы ей руки. Вотъ папа и мама никакъ не могутъ понять, что богатство величайшее счастье, что только при богатствѣ и себѣ хорошо, и другимъ можетъ быть хорошо. Только они—папа и мама—такъ и думаютъ. Бабушка такъ не думаетъ. Маша и Саввушка только и говорятъ: «будь-ка у насъ деньги, мы бы показали себя». Ей вспоминаются еще три личности—дѣвочки, учащіяся вмѣстѣ съ нею—Оля, Варя и Надя. Вотъ-то странныя личности. Учатся онѣ усердно, точно торопятся поскорѣй все узнать, и говорятъ: «сдадимъ гимназическіе экзамены, поступимъ на курсы, а тамъ ужъ мѣста найдемъ». Знаютъ даже, гдѣ и съ какимъ дипломомъ по закону можно получить мѣсто; обо всемъ этомъ справились, прежде чѣмъ доучились. Найти мѣсто, найти кусокъ хлѣба—дальше ни о чемъ онѣ не думаютъ. Тяжело ихъ содержать отцамъ и матерямъ, вотъ онѣ и думаютъ только о своемъ собственномъ, трудами заработанномъ кускѣ хлѣба. Никакихъ желаній у нихъ нѣтъ, никакихъ волшебныхъ грёзъ. Одна изъ этихъ дѣвушекъ, Ольга Петровна, даже поражаетъ даровитостью своей натуры, жадностью къ усвоенію знаній. Она учится отлично и при этомъ успѣваетъ шить и вышивать; увидала она какіе-то абажуры изъ протечной бумаги, раскрашенные въ видѣ совъ и бабочекъ, и добилась того, что артистически стала ихъ дѣлать сама. «На двадцать копеекъ матеріала, а даютъ рубль», съ торжествомъ заявила она. Услыхала она, какъ играетъ на фортепіано Настя, и стала просить давать ей уроки. Это ей далось плохо сначала, но она такъ упорно упражняется, что усвоиваетъ превосходно технику музыки. Правда, души, оттѣнковъ, тонкаго пониманія въ музыкѣ нѣтъ, но дешевенькой учительницей музыки въ будущемъ она сдѣлается. Здоровая, сильная, краснощекая, она, ка-

жется, можетъ преодолѣть всякія затрудненія, все перевернуть верхъ дномъ, лишь бы добыть кусокъ хлѣба. Кромѣ этого ей, повидимому, ничего не нужно. Настя разъ заговорила съ ней о своихъ мечтахъ—жить широко, богато, весело, имѣть средства для удовлетворенія всѣхъ своихъ прихотей и для благодѣтельствованія другимъ.

— Это съ неба тебѣ, что ли, свалится?—засмѣялась Петрова.—Нѣтъ, трудомъ на хлѣбъ, да на квасъ пріобрѣтешь деньги и то слава Богу.

— Такъ весь вѣкъ такъ и жить?—сказала Настя.

— Такъ и жить, если иначе нельзя,—рѣшила Ольга.— А тоже тѣшить себя мечтами, да съ неба въ грязь шлепнуться—слуга покорная. Лучше ужъ такъ и знать, что ждетъ впереди, и не желать бо́льшаго. Слава Богу, что еще и такъ-то жить можно.

Настя съ удивленіемъ смотрѣла на нее. Развѣ можно этимъ довольствоваться? Она не удовлетворилась бы этимъ, а Петрова удовлетворяется. Мало того, она являлась особенно веселою даже тогда, когда уставала отъ труда. Дома у нея были двѣ маленькія сестренки. Разъ она пришла къ Зубковымъ разгорѣвшаяся, руки совсѣмъ красныя.

— Что это ты, Оля, какая сегодня?—спросила ее Елена Васильевна.

— А ребятишекъ перемыла своихъ. Мамѣ нездоровится, я ихъ и выполоскала за нее.

Она засмѣялась.

— Въ корытѣ, точно бѣлье, выполоскала,—прибавила она и показала свои здоровыя руки.—Вотъ руки точно у прачки стали.

Ваня взглянулъ на нее—она, краснощекая, курносенькая, круглолицая, вся сіяла весельемъ, отъ нея вѣяло здоровьемъ. Елена Васильевна одобрила ее:

— Это тебѣ честь дѣлаетъ, что помогаешь мамѣ.

— Да вѣдь ужъ какъ ни вертись, Елена Васильевна, а дѣло надо дѣлать. Нельзя же ребятишекъ въ грязи оставить. И смѣшны они, барахтаются, кричатъ, что я много намылила ихъ. Ничего, такіе чистенькіе вышли, что расцѣловала ихъ и убѣжала сюда. А то вѣдь еще свой урокъ музыки пропустила бы...

Ваня, гуляя съ Настей въ этотъ вечеръ по саду, говорилъ о Петровой:

— Вотъ-то здоровый человѣкъ. Ничего у нея изъ рукъ не выпадетъ.

Настя отвѣтила:

— Узкія онѣ всѣ какія-то, и Варя, и Надя, и она, точно чиновники.

Онъ удивился. Впервые слышалъ онъ отъ Насти такія слова. Точно взрослая судитъ. До этой поры онъ съ ней говорилъ, какъ съ ребенкомъ. Всѣ такъ съ ней до этой поры говорили, даже и не замѣчая ея внутренняго роста.

— Я тебя, Настюша, не понимаю,—сказалъ онъ.

— Ну да, узкія, ничего имъ не надо кромѣ хлѣба. Отбыть свою службу, получить жалованье и быть сытыми, вотъ и все. Чиновники въ юбкахъ.

Онъ засмѣялся. Ему вспомнилось, какъ Настя съ дѣтскимъ увлеченіемъ послѣ елки у нихъ, у Зубковыхъ, говорила, что она вѣчно-вѣчно танцовала бы.

— Да, да, я и забылъ, что тебѣ еще танцы нужны,— сказалъ онъ.

Она немного обидчиво, какъ дѣвушка, не желающая, чтобы ее продолжали считать ребенкомъ, отвѣтила:

— Не танцы, а широкая жизнь—дѣлать то, что хочется, удовлетворять всѣ желанія.

— А, вотъ что! Экипажи имѣть, блестящую обстановку, нарядныя платья, слугъ... Это?

Она уловила въ его голосѣ насмѣшку и горячо возразила:

— Ну, да, все это и еще многое! Въ театры ѣздить, за границей все видѣть, книгъ побольше прочесть, встрѣтить бѣднаго и спасти его. Все нужно! Я вотъ читаю книги: о заграничныхъ музеяхъ говорится, о музыкальныхъ знаменитостяхъ, о древнихъ зданіяхъ и картинахъ,—все, все это хотѣлось бы видѣть, все узнать. Если не желать этого, для чего же и учиться, для чего и книги читать? Тогда ужъ лучше ничего не знать, ни къ чему не стремиться. Этого вотъ вы не хотите понять, ни ты, ни мама, ни папа. Точно пугала, боитесь богатства.

— Да вѣдь не украсть же его, Настюша. Было бы оно, ну, и прекрасно. А нѣтъ его—и думать о немъ нечего.

— Ты точно Петрова говоришь. Она то же мнѣ говорила недавно. Точно сговорились. Нѣтъ—нечего и думать!

— Она серьезная дѣвушка,—потому такъ и судитъ.

Настя разсердилась.

— А я не серьезная и потому буду добиваться богатства, все сдѣлаю, чтобы оно было. Иначе придется весь вѣкъ такъ жить, какъ мы живемъ. Ни веселья себѣ, ни пользы другимъ.

— Ну, отецъ и мать что могли—дѣлали для другихъ. Это ты напрасно...

— Гроши давали? грамотѣ учили дѣтей?

Она почти со злобой прибавила:

— И точно слѣпы вы, точно понять даже того не можете, что чѣмъ больше средствъ, тѣмъ больше добра можно сдѣлать...

Онъ ласково и серьезно остановилъ ее.

— Не то, Настюша, не то ты говоришь. Во-первыхъ, честнымъ трудомъ бѣдному человѣку нельзя нажить богатства. Оно можетъ нажиться вдругъ только подлостью или мошенничествомъ, или особенною случайною удачею въ родѣ выигрыша въ лотерею, брака съ богатой личностью, на что было бы глупо разсчитывать, какъ на всякую другую случайность. Во-вторыхъ, только въ бѣдности кажется, что при богатствѣ весь міръ облагодѣтельствовалъ бы, а явятся деньги—явятся и черствость, непониманіе чужихъ нуждъ, равнодушіе къ чужой бѣдѣ. Богатство портитъ людей.

Она передернула плечами.

— Хороши же люди, если ихъ можетъ это испортить! Сегодня я добра и щедра, потому что денегъ нѣтъ для оказанія помощи. Завтра явились деньги, и я вдругъ стану зла и скупа. Тогда ужъ лучше всего совсѣмъ нищей быть—эти нищіе-то, ужъ, должно быть, чуть не святые...

Ваня, задумчиво слушавшій сестру, увидавшій въ ней впервые не ребенка, понявшій, что она многое передумала за послѣднее время, тихо отвѣтилъ ей:

— Что-жъ, можетъ-быть, и точно только они и святы вполнѣ...

Она широко открыла глаза, словно испугалась его словъ.

— Довольствоваться рубищемъ, кускомъ простого хлѣба, саженью земли для отдыха и знать, что ты не отнялъ ни у кого ничего для своихъ прихотей—да, это святость, подвижничество.

Онъ какъ бы очнулся отъ промелькнувшаго въ его головѣ сновидѣнія, тряхнулъ головой и прибавилъ:

— Конечно, это трудно исполнить, но что выше этого ничего нѣтъ—это ясно изъ того, какъ смотритъ народъ на подвижниковъ, на пустынниковъ... Помнишь, и въ Евангеліи тоже говорится, что нужно раздать все, чтобы войти въ царство Божіе...

Въ эту минуту въ садъ вышла Оля Петрова звать ихъ къ чаю.

— Вонъ Ваня собирается въ пустыню удалиться,—сказала Настя, раздражительно насмѣхаясь надъ братомъ.

— Возьмите меня съ собою,—весело и шутливо проговорила Оля.—Я буду стряпать и стирать; огородъ разводить и шить...

Онъ взглянулъ на ея здоровое, румяное лицо, на ея сильныя руки съ засученными вверхъ рукавами и невольно замѣтилъ:

— А вы, Оля, и точно, даже и въ пустынѣ не пропали бы.

Она засмѣялась.

— Съ чего же тамъ пропадать, тамъ еще свободнѣе. Здѣсь работать-то тоже самой надо, да еще люди мѣшаютъ.

И, идя съ Настей и Ваней къ дому, она стала оправлять рукава и пояснила:

— А мы сейчасъ ягоды чистили, такъ вотъ и рукава засучила. Завтра Елена Васильевна варенье хочетъ варить...

Съ этого вечера вся молодежь въ домѣ Зубковыхъ начала все чаще и чаще бесѣдовать между собою. Ваня увидалъ, что его сестра и учащіяся съ ней дѣвушки уже не дѣти, и что съ ними можно говорить, какъ съ большими. Это сближеніе молодежи внесло въ жизнь нѣкоторое оживленіе. Иногда къ кружку присоединялся и Саввушка, положительно бѣжавшій отъ своего дома, такъ какъ Устиновъ пилъ все сильнѣе и сильнѣе, проклиная общественныя дѣла вообще и событія въ педагогическомъ мірѣ оставленнаго имъ пансіона въ особенности. Зубковы тяжело вздыхали, слушая разсказы Саввушки объ отцѣ, и приглашали молодого человѣка гостить у нихъ. Они понимали, что время послѣ службы, проведенное не у нихъ, онъ проводилъ въ разныхъ скверахъ, въ Зоологическомъ саду, въ Царской Славянкѣ. Надо было отвлекать его отъ этихъ вертеповъ, насколько это было возможно. Саввушка принималъ ихъ приглашеніе довольно охотно. Не втянувшійся еще въ разгулъ, онъ чувствовалъ себя хорошо и здѣсь, играя въ крокетъ, въ серсо, дѣлая фокусы, катаясь на лодкѣ и даже немного ухаживая то за одною, то за другою изъ дѣвочекъ.

Ваня смотрѣлъ въ этомъ кругу какъ старшій, какъ взрослый между подростками. Ближе всѣхъ онъ сошелся съ Ольгой. Она сразу встала съ нимъ въ товарищескія отношенія, безъ фамильярностей, безъ кокетства и жеманства, серьезно и немного дѣловито. Говоря между собою, они чаще всего смотрѣли озабоченно, совѣщаясь о какихъ-ни-

будь серьезныхъ вопросахъ, нерѣдко вмѣстѣ работая надъ производствомъ абажуровъ, которыхъ былъ уже проданъ не одинъ десятокъ прямо въ магазины, или смѣялись громко и весело отъ всей души, коснувшись какого-нибудь смѣшного предмета, часто ничтожнаго, мало значащаго, но, тѣмъ не менѣе, дававшаго предлогъ для здоровой веселости. За глаза они относились другъ къ другу съ уваженіемъ взрослыхъ и степенныхъ людей, немного комичнымъ по своей серьезности, но тѣмъ не менѣе искреннимъ. У всѣхъ сразу явилось теперь желаніе казаться «большими».

— У Ивана Ивановича твердый характеръ,—говорила Ольга Петрова.—Не раскиснетъ, какъ баба, ни отъ чего.

— Ольга — даровитая и здоровая натура, — говорилъ Ваня:—нигдѣ не пропадетъ и не опуститъ рукъ.

Но, отдавая другъ другу справедливость, они ни разу не мечтали одинъ о другомъ въ отсутствіи, какъ мечтаютъ о хорошихъ товарищахъ. Были они вмѣстѣ—имъ было хорошо, были они врозь—у каждаго были свои заботы, свои интересы, свои мечты: она думала, какіе фасоны придать еще абажурамъ; онъ обдумывалъ встрѣченные въ книгахъ вопросы или вдругъ вспоминалъ, что-то дѣлаетъ Лида, и краснѣлъ, представляя себѣ, какъ будетъ она рада, когда онъ со своей семьей опять пріѣдетъ въ Петергофъ. Эти поѣздки были праздниками лѣта, волшебными снами наяву и для него, и для Насти.

Варя и Надя Сусловы играли меньшую роль. Онѣ были безотвѣтнѣе Ольги Петровой и принадлежали къ числу дѣвушекъ-труженицъ: кончатъ курсъ—станутъ работать изъ-за хлѣба; найдутся женихи—выйдутъ замужъ; родятся дѣти—будутъ хорошими, немного сухими матерями, готовящими изъ дѣтей такихъ же тружениковъ, какъ онѣ сами. Сфера дѣятельности у нихъ будетъ узка, такъ какъ дарованія не разносторонни, въ натурахъ нѣтъ предпріимчивости. Ваня вспоминалъ при видѣ ихъ опредѣленіе Насти: «чиновники въ юбкахъ». Да, это она вѣрно замѣтила про нихъ. У нихъ даже и привычки чиновническія: въ урочное время кончать дѣло и уже пальца о палецъ не стукнуть, говоря Ольгѣ Петровой: «охота тебѣ все возиться съ работой». Среди этой молодежи рѣзко выдѣлялась Маша. Скромная, молчаливая, услужливая, вѣчно потупляющая глаза при другихъ, она казалась какой-то придурковатой и пришибленной. Когда ей что-нибудь объясняютъ или даютъ наставленіе, она сложитъ ручки около тальи, на животѣ, опуститъ

рѣсницы и слушаетъ, точно монахиня у обѣдни съ постнымъ лицомъ и смиренной позой. Только Настя знала ея внутренній міръ и избѣгала всякихъ разговоровъ о Машѣ, какъ бы инстинктивно боясь того, что Машу удалятъ отъ нея, какъ только узнаютъ этотъ внутренній міръ Маши. А между тѣмъ Настѣ Маша была необходима, какъ воздухъ. Ей можно было повѣрять свои мечты; отъ нея можно было узнавать то, чего не понимала еще Настя сама; она разсказывала о многихъ сторонахъ жизни, невѣдомыхъ Настѣ: она первая даже научила Настю тому, что мать не должна всего знать, что думаетъ и о чемъ говоритъ дочь. Разъ она начала разсказывать объ отношеніяхъ тетки и дяди и вдругъ остановилась:

— Нѣтъ, не скажу, а то ты еще Еленѣ Васильевнѣ скажешь, меня и выгонятъ,—замѣтила она.

— За что же?—спросила Настя.

— А за то, что я все, все разсказываю тебѣ. Матери не любятъ, когда дѣвушки все знаютъ. Мальчики все знаютъ, а дѣвушки ничего не должны знать.

Настя удивилась.

— Меня же всему учатъ.

Маша вздернула плечами.

— Глупенькая! Это наукамъ тебя учатъ. А что въ жизни дѣлается, того дѣвочки не должны знать. Это однимъ мальчикамъ можно. А я все знаю.

Настя упросила ее разсказать все, что она знаетъ.

— А ты побожись, что не скажешь Еленѣ Васильевнѣ.

Настѣ было тяжело, такъ какъ она никогда не обманывала мать, не скрывала отъ той ничего, но любопытство взяло верхъ. Она побожилась. Маша начала разсказывать, какъ ея дядя коритъ тетку за то, что она женила его на себѣ, силой женила. Вся грязь несчастной семейной жизни раскрылась передъ Настей. Настя была слишкомъ чистымъ существомъ, чтобы останавливаться мысленно на грязи разговоровъ Маши, но зато она останавливалась на вопросѣ о бѣдности.

Вся эта грязь, всѣ эти раздоры, всѣ эти невзгоды—прямое слѣдствіе бѣдности. Всѣ бѣдняки такъ живутъ, такъ страдаютъ. Папа и мама тоже вотъ испугались нищеты, и папа пошелъ служить къ дядѣ Сашѣ. Не поди онъ служить къ дядѣ Сашѣ, можетъ-быть, и ея, Насти, не было бы уже на свѣтѣ. Учителемъ быть—вотъ призваніе папы, а не повезло ему на этомъ пути, сперва отставили его за какія-то

идеи, а потомъ нигдѣ почти не могъ онъ найти уроковъ, ну, и взялся за бухгалтерію. Не по нутру ему эта служба, онъ часто жалуется на то, что видитъ, какъ эксплоатируютъ рабочихъ, сѣтуетъ, что ничѣмъ имъ не хотятъ помочь, говоритъ даже, что Егоръ Егоровичъ и Александръ Константиновичъ смотрятъ на него, какъ на помѣшаннаго, когда онъ увлечется своими планами и проектами, какъ спасти бѣдняковъ. Папа при этомъ грустно улыбается и нервно потираетъ руки, замѣчая съ горечью: «Что же дѣлать, юродами нынче считаютъ тѣхъ, кто о ближнихъ думаетъ, кому мало одной утробной жизни». А былъ бы онъ богатъ — чего бы онъ ни сдѣлалъ на пользу бѣдняковъ. Всѣ бы они его за благодѣтеля считали. Она знала сладость чужой благодарности и мечтала о томъ, что, живя въ богатствѣ, она не только сама жила бы счастливо, но и другіе были бы счастливы... Какъ она сдѣлала бы ихъ счастливыми? Объ этомъ нечего было и задумываться. Для нея, для ребенка, по житейскому опыту, это казалось такъ просто: имъ нужно денегъ, ну, она и давала бы имъ деньги. Кому и сколько? Всѣмъ, кто попроситъ, столько, сколько надо имъ.

XIX.

На дворѣ стоялъ ясный, морозный день. Къ главному подъѣзду Эрмитажа, поднимая легкую снѣжную пыль, подкатили щегольскія собственныя сани. Изъ нихъ, откинувъ медвѣжью полость, вышелъ молодой человѣкъ и подалъ руку молодой дѣвушкѣ. Они, раскраснѣвшіеся отъ мороза, здоровые и свѣжіе, въ полномъ цвѣту юности, вошли въ двери подъѣзда, сбросили съ себя верхнюю теплую одежду и подъ руку направились въ нижнія галлереи Эрмитажа. Юноша говорилъ своей спутницѣ о древнемъ Египтѣ, Греціи и Римѣ съ увлеченіемъ и краснорѣчіемъ новичка, только-что вчера прочитавшаго обо всемъ этомъ нѣсколько книгъ; она слушала его съ любопытствомъ ничего не знающаго человѣка, передъ которымъ открываются новыя картины, новыя понятія.

— Прежде я почти бѣгомъ обходила эти залы, спасаясь отъ скуки, а теперь,—проговорила она, взглянувъ на своего спутника:—мы, кажется, уже въ пятый разъ здѣсь съ вами, Ваня, и все еще есть на что посмотрѣть, о чемъ поговорить...

Онъ привѣтливо улыбнулся ей и замѣтилъ:

— Сюда только тогда и слѣдуетъ ходить, когда предва-

рительно подготовишься къ обзору. Только тогда все это и получаетъ смыслъ. Безъ подготовки же—это только красивыя игрушки...

Она тихо шепнула:

— Нѣтъ, это потому, что мы здѣсь одни, вдвоемъ.

Онъ чуть-чуть пожалъ локтемъ ея руку, покоившуюся на его рукѣ.

— Вы, Ваня, послѣзавтра у насъ въ ложѣ?—спросила она.

— Не слишкомъ ли часто?—замѣтилъ онъ.

— Развѣ скучно?—въ свою очередь проговорила она.

— О, Лида, что за вопросъ!—воскликнулъ онъ.

И прибавилъ:

— А что даютъ?

— «Тангейзера».

Она опять задумчиво заговорила:

— Какъ странно! Я прежде не понимала ничего въ оперѣ, кромѣ того, что весело смотрѣть на декораціи, слушать звуки музыки и пѣнія, разсматривать костюмы дамъ. Теперь я третій разъ буду слушать «Тангейзера» и опять пойму что-нибудь новое... Мама говоритъ: «что это даютъ все одно и то же», а я радуюсь, что даютъ именно эту оперу, а не другую, потому что...

Она на минуту замолчала.

— Почему?—спросилъ онъ.

— Потому, что именно эта опера послужила темой для того разговора... Помните, Ваня? Мы вышли въ антрактѣ въ коридоръ, въ фойэ, и стали говорить о мысли этой оперы, о музыкѣ Вагнера, и оба мы такъ увлеклись, что не видали даже никого, кто былъ вокругъ насъ...

— На минуту унеслись въ тѣ времена, когда жили Тангейзеры, искупавшіе покаяніемъ и очищеніемъ грѣхи прошлаго,—закончилъ онъ въ раздумьи.

Нѣсколько минутъ они шли молча, потомъ онъ, увлекаясь красотой художественныхъ произведеній, снова заговорилъ о ихъ значеніи все, что успѣлъ прочитать, что успѣлъ усвоить. Мимо нихъ проходили люди, недоумѣло глазѣющіе на тѣ или другія статуи и группы или шагающіе быстро по заламъ, точно спѣша поскорѣе выбраться отсюда, останавливаясь только надъ какими-нибудь мозаичными и малахитовыми столами, у какихъ-нибудь лапислазуревыхъ вазъ съ бронзовой отдѣлкой. Они не замѣчали никого, охваченные представленіями того прошлаго, памятники котораго были передъ ихъ глазами, и счастливые сознаніемъ, что

они здѣсь одни, вдвоемъ, переживающіе пору первой любви, еще не высказанной, но уже угаданной ими. Они оба чувствовали, что это лучшее время ихъ жизни, и не задумывались о будущемъ, не заглядывали въ него...

Первый годъ студенчества—это рѣзкій переломъ въ жизни человѣка; вчера еще онъ школьникъ; сегодня онъ студентъ; онъ сталъ вдругъ молодымъ человѣкомъ, его уже никто не контролируетъ ежедневно, подготовилъ ли онъ уроки; никто не требуетъ отчета, почему онъ вчера пропустилъ лекцію; ему открывается доступъ во всѣ мѣста, открытыя для взрослыхъ; онъ самъ съ сознаніемъ совершившагося въ его жизни перелома старается казаться старше и серьезнѣе своихъ лѣтъ; говоритъ не о привычкахъ и характерахъ учителей, а о наукѣ и объ общественныхъ дѣлахъ; увлеченія его дѣлаются сильнѣе, иногда онъ впадаетъ въ крайности, сумасбродничаетъ, такъ какъ именно это время и есть та блаженная эпоха, когда «намъ новы всѣ впечатлѣнья бытія». Даже такой росшій совершенно свободно юноша, какъ молодой Зубковъ, не могъ не почувствовать новизны своего положенія. Она сразу сказалась въ мелочахъ. Будучи въ школѣ, онъ почти не могъ посѣщать театровъ, такъ какъ вечеромъ къ слѣдующему дню надо было готовить уроки; ему давно хотѣлось основательно ознакомиться съ Эрмитажемъ и разными музеями, но на это оставались только праздники и воскресенья, когда хотѣлось побыть, отдохнуть въ семьѣ; прежде у него считались товарищами тѣ, кого случай забросилъ въ одинъ классъ съ нимъ, теперь приходилось выбирать товарищей, присматриваясь къ нимъ, отыскивая въ нихъ симпатичныя черты, подходящіе взгляды и убѣжденія. Точно какой-то бурный потокъ охватилъ его и увлекъ въ пестрый водоворотъ, называемый общественной жизнью. Лекціи профессоровъ, товарищескія бесѣды, посѣщеніе театровъ съ Вощиниными, прогулки по Эрмитажу и музеямъ съ Лидой, все это прошло, какъ волшебное сновидѣніе, какъ пестрые рисунки въ калейдоскопѣ. Такъ какъ самыя мелкія удовольствія стоятъ все-таки денегъ, а деньги приходилось спрашивать у отца и у матери, то молодой Зубковъ принялся за уроки. Благодаря связямъ и знакомствамъ Александра Константиновича, уроки нашлись, и Зубковъ могъ болѣе или менѣе не стѣсняться мелкими денежными расчетами. Жизнь иногда бываетъ такъ полна, что некогда оглянуться назадъ, посмотрѣть на самого себя. Именно такова была жизнь Зубкова въ первое время его

пребыванія въ университетѣ. Лекціи и уроки, сближенія съ товарищами и посѣщенія театровъ, все это наполняло дни, а тутъ еще сладкія ощущенія и золотые сны первой любви. Еще недавно, лѣтомъ, онъ, какъ мальчикъ, игралъ съ Лидой въ любовь; они ссорились и мирились, чуть не дрались, онъ цѣловалъ ее, но такъ, какъ поцѣловалъ бы товарища, чтобы повозиться съ нимъ, разсердить его, подразнить или выказать дружбу; потомъ это сейчасъ же забывалось и смѣнялось другимъ, школьными заботами, школьными уроками. Теперь отношенія ихъ вдругъ перемѣнились: оба точно инстинктивно почувствовали, что играть въ любовь имъ уже опасно, что цѣловаться по-товарищески и въ шутку нельзя. Они стали серьезнѣе, осторожнѣе, какъ бы сосредоточеннѣе. Это придало особенную прелесть ихъ отношеніямъ. Они отправлялись вдвоемъ въ Эрмитажъ; онъ выходилъ изъ саней, предлагалъ Лидѣ руку и поднимался съ нею въ этотъ храмъ искусства. Для него это былъ не дикій лѣсъ, гдѣ можно растеряться и ничего не увидать: онъ зналъ здѣсь каждый уголокъ, прочелъ, что могъ, по исторіи искусства и видѣлъ передъ собою не просто случайное собраніе какихъ-то картинъ, а памятники извѣстныхъ эпохъ, народностей, воззрѣній, развитія общества, дѣтски наивныя попытки старыхъ мастеровъ дѣлались для него не менѣе интересными, чѣмъ вполнѣ законченныя произведенія искусства нашего времени. Онъ тихо передавалъ Лидѣ свои знанія, неслышно скользя по блестящему паркету эрмитажныхъ залъ и чувствуя опирающуюся на его руку ея руку. Она притихала: ей было ново и любопытно то, что онъ говорилъ ей, восторженный, увлекающійся и увлекающій. Проводивъ ее до дому, онъ пожималъ ей руку, и она тихо спрашивала: «Послѣзавтра въ театрѣ?» Это послѣзавтра опять видѣло ихъ вдвоемъ въ фойэ, разговаривающими объ оперѣ, о композиторахъ, объ идеѣ, вложенной въ «Тангейзера», о событіяхъ, связанныхъ съ представленіями «Фенеллы» въ Бельгіи. Имъ встрѣчались знакомые; они старались отдѣлаться двумя-тремя фразами отъ этихъ чужихъ людей, чтобы остаться вдвоемъ, однимъ въ этой пестрой толпѣ. Имъ было весело видѣть такую массу людей вокругъ себя и сознавать, что никто изъ этой массы не знаетъ, о чемъ они говорятъ между собою. Послѣ этихъ свиданій съ Лидой, онъ возвращался домой счастливымъ, съ подъемомъ духа, съ бодрымъ желаніемъ работать и отдыхать съ нею. Она же... Никогда еще Лида не переживала ничего подобнаго: для нея, пустой

свѣтской барышни, едва вышедшей изъ коротенькихъ платьицъ, вдругъ точно перестали существовать всѣ люди, всѣ удовольствія, всѣ отношенія безъ него. Его красота, его умъ, его знаніе, его краснорѣчіе студента, все это покорило, подавило въ ней всѣ другія желанія, всѣ другія чувства, и ей хотѣлось только быть съ нимъ, смотрѣть на него, слушать его. Она сама не отдавала себѣ отчета въ томъ, что привлекло ее къ нему всего болѣе: красота, умъ, знаніе, умѣнье говорить? Иногда она, оставшись одна, брала его портретъ, цѣловала его, прижимала къ груди, называла сотнями нѣжныхъ именъ. До этой поры она не знала ничего подобнаго: мать, братъ, отчимъ, подруги, знакомые—всѣ не вызывали въ ней ничего, кромѣ равнодушія. Если бы она прежде увидала кого-нибудь цѣлующимъ чей-нибудь портретъ, она навѣрное осмѣяла бы этого человѣка. Теперь же она сама дѣлала это. Иногда же ее вдругъ охватывалъ непонятный, безотчетный страхъ, — она широко открывала глаза, смотрѣла безцѣльно передъ собою и говорила какъ бы во снѣ: «Что же будетъ? что будетъ?» Ее заставала въ этомъ положеніи Софья Андреевна и говорила ей:

— Ангелъ души моей, что съ тобой, грустная ты у насъ все, птичка! Сердеченько болитъ?

И, не дождавшись отвѣта, она со вздохомъ нашептывала ей:

— Въ твои годы это всегда такъ бываетъ у дѣвушекъ! Возрастъ уже такой: сердечко любви требуетъ, ноетъ, не находя удовлетворенія. Ахъ, сама я была молода. Все знаю. Иногда, бывало, защемитъ-защемитъ сердце, и такъ бы и бросилась къ кому-нибудь на шею... Разсѣяться тебѣ надо, крошка ты моя.

Лида вздыхала.

— Вотъ завтра Ольга Давыдовна собирается на балъ, повеселишься ты. Облѣпятъ тебя мужчинишки, какъ мухи медъ, авось, кто-нибудь и приглянется, сахарная моя куколка!

И совсѣмъ вкрадчиво старуха прибавляла:

— Ужъ очень мало ты народу нынче видишь, ангелъ мой. Ты вотъ все съ Ваней, конечно, мужчины и не подступаются. Иной—глупыхъ-то много!—думаетъ: «женихъ, пожалуй». Вѣдь никто не знаетъ, что не можешь ты выйти за студента или три года ждать его выхода изъ университета.

Лида сдвигала брови, передергивала нетерпѣливо плечами,

сердясь за то, что старуха формулируетъ то, чего она сама не умѣла формулировать, и вдругъ разражалась рѣзкимъ, рѣшительнымъ тономъ:

— Что это за глупости! Никогда я не выйду за учителя! Выйти для того, чтобы разойтись! Развѣ это возможно? И онъ объ этомъ не думаетъ!

— Такъ ли, дитя мое чистое? Такъ ли?

— Онъ мнѣ говорилъ, что никогда онъ на деньгахъ не женится.

— Всѣ, дитя мое, это поютъ до свадьбы, а кому деньги не нужны.

Старуха вздыхала:

— Безъ денегъ никому не прожить, а это такъ иногда говорится зря, что деньги не нужны.

— Да онъ бы и въ университетѣ не остался, если бъ хотѣлъ жениться,—перебивала Лида.— Пошелъ бы въ военные. Такъ скорѣе вышелъ бы въ офицеры.

Старуха покачивала головой.

— А можетъ-быть, онъ увѣренъ, что, и не будучи офицеромъ, покоритъ тебя и возьметъ? Мужчинишки-то народъ самонадѣянный. И то сказать: мы-то ужъ очень глупы, женщины-то. Чуть что и врѣжемся!

Лида вставала и ходила по комнатѣ, строптивая, непокорная.

— Никогда, никогда! Меня никто не покоритъ! Вотъ бы мило было: жена учителя, гдѣ-нибудь въ провинціи!

И, нервно смѣясь, она торопливо заговаривала о завтрашнемъ балѣ, о блестящей свѣтской молодежи.

А завтра на балу вся эта молодежь казалась ей и не красива, и глупа, и пошла. Балъ казался скучнымъ, и хотѣлось только дождаться той минуты, когда она опять увидится съ нимъ, съ Ваней. «Но что же будетъ дальше? что будетъ?» вставали опять въ головѣ вопросы. Никогда же она не выйдетъ замужъ за учителя, а онъ будетъ именно учителемъ. Почему учителемъ, а не адвокатомъ, не прокуроромъ, если ужъ не хочетъ быть военнымъ? Онъ говоритъ, что у него не лежитъ душа къ этимъ сферамъ дѣятельности, что онъ чувствуетъ призваніе только къ роли учителя. И какъ говоритъ! Ей хочется ему возражать, но у нея нѣтъ доказательствъ, нѣтъ словъ, чтобы опровергнуть его. Нельзя же прямо сказать ему, что она за учителя не выйдетъ. Они никогда и не заикнулись о женитьбѣ... Мало того, когда онъ говоритъ—ей хочется только слушать его, любуясь имъ, какъ

картинкой, ловя звуки его голоса, какъ звуки музыки. Потомъ, когда онъ уйдетъ—ей становится и больно, и досадно. Она сердится на него, сердится на себя, капризничаетъ. Но стоитъ придти ему, и все это стихнетъ, остается одно желаніе быть съ нимъ. Ей становилось порою даже жутко отъ смутнаго предчувствія, что можетъ наступить такая минута, когда она, очертя голову, бросится къ нему на шею и скажетъ: «возьми меня, куда бы ты ни пошелъ, кѣмъ бы ты ни былъ». Мать вотъ бросилась такъ на шею Александру Константиновичу. Теперь онъ помыкаетъ ею, чуть не бьетъ ее, а она—раба она его! Подъ вліяніемъ любви къ этому человѣку, Лида уже начинала иногда говорить самой себѣ, что и женой учителя можно быть счастливой: «при богатствѣ можно жить въ свое удовольствіе, уважать всѣ будутъ; вѣдь уважаютъ же ихъ семью всѣ, потому что у нихъ деньги; положимъ, теперь ея мать жена директора банка, это уже не то, что жена учителишки, но вѣдь было время, когда Александръ Константиновичъ былъ ничто, а и тогда всѣ ѣздили къ нимъ съ поклономъ». Она искала, чтобы кто-нибудь подтвердилъ ея мысли, но говорить объ этомъ можно было только съ Софьей Андреевной. Та иначе не называла учителей, какъ учителишками, ненавидя своего зятя и помня, какъ она помыкала учителями, жившими когда-то въ ея домѣ при ея дѣтяхъ.

— Ахъ, дитя моего сердца, да что же можетъ быть хуже того этого званія,—пѣвучимъ голосомъ говорила она.—У меня крѣпостные холопы и тѣ фыркали на эту голь.

— Ну, а если учитель богатый?

— Да какой же богатый человѣкъ въ учителя пойдетъ? Развѣ сласть учить мелюзгу, б-а—ба складывать? И притомъ ребятишки грубіянятъ, родители претензіи предъявляютъ, начальство приказываетъ: учи такъ, а не этакъ. Вонъ нашъ Иванъ Николаевичъ вздумалъ учить по-своему—и дали по шапкѣ. Самаго низшаго сорта эти люди—имъ и чиновъ большихъ не даютъ, надворные, да коллежскіе совѣтники они, выше, почитай, и не бываютъ.

И, выдвигая новыя орудія противъ доли учителей, старуха начинала описывать провинцію.

— И пошлютъ учителя куда-нибудь въ трущобу. Какая тамъ жизнь? Знаю я провинцію-то. Не приведи, Господи, молодой душѣ туда попасть, грязь, тьма, ни удовольствій, ни развлеченій, съ ума сойти можно. Фонарей да тротуаровъ на улицахъ нѣтъ, а не то что чего-нибудь другого...

Лида выслушивала ее, ходя по комнатѣ, волнуясь, обдумывая что-то, и неожиданно говорила:

— Да на что люди, когда любишь!

Старуха даже пугалась, терялась, потомъ возражала снова:

— Сердце мое чистое, ангелъ мой непорочный, любовь проходитъ. Вѣчной любви нѣтъ. Кровь вѣдь это все: молода — кипитъ, постарше станетъ — остынетъ... Пока любишь—съ милымъ рай и въ шалашѣ. А потомъ? Охъ, сама я была молода, знаю все это. Разлюбишь сама или мужъ разлюбитъ—адомъ жизнь безъ людей-то станетъ, грызутся это—грызутся мужъ-то съ женой—пойти не къ кому передохнуть, горе свое выплакать...

И ее охватывало одно желаніе, женить бы скорѣй Егора Егоровича на Настѣ. Бѣда, если Лида до этого времени уговорится съ Ваней, да выйдетъ замужъ. Положимъ, онъ несовершеннолѣтній, теперь не можетъ жениться, но довольно и того, если станетъ гласнымъ желаніе Лиды выйти за него замужъ, либо что случится. Мальчишка онъ, мальчишка, а усы отросли. Тогда будетъ поздно хлопотать о бракѣ Егора Егоровича съ Настей, а этотъ бракъ — дѣло рѣшенное, стоитъ только искусно подвести мины. Старуха была твердо въ этомъ увѣрена и дѣлала всѣ усилія, чтобы добиться своего. Настя только и слышала отъ бабки, что о Егорѣ Егоровичѣ; Егору Егоровичу только и повторялось о томъ, что Настюша талантливая музыкантша, красавица собой, мягкое сердце. Настя начинала серьезно задумываться о молодомъ человѣкѣ. Онъ же—очень его тѣшила возможность подсмѣиваться надъ старухой и водить ее за носъ, дразня ея воображеніе, разжигая ея стремленіе женить его. Онъ постоянно поддерживалъ съ нею разговоръ о Настѣ и дѣлалъ видъ, что онъ влюбленъ въ эту дѣвушку. Порой, поддаваясь злому чувству, онъ вдругъ цинично замѣчалъ:

— Ахъ, если бы вотъ такую дѣвушку имѣть гражданской женой!

Старуха смущалась.

— То-есть какъ это гражданской женой?—говорила она въ недоумѣніи.

— Я, вѣроятно, никогда не женюсь законнымъ бракомъ,—пояснялъ онъ и развязно добавлялъ: — А гражданскимъ—отчего же нѣтъ?

Софья Андреевна сухо замѣчала:

— Ну, Настюша не изъ такой семьи...

Егоръ Егоровичъ не унимался.

— Я и не говорю о ней... Но если бы такая дѣвушка согласилась быть моей гражданской женой, я, конечно, обезпечилъ бы ее вполнѣ. Это вѣдь главное. Нынче деньги все...

И, глумясь, онъ просилъ старуху:

— Софья Андреевна, найдите мнѣ другую Настю — въ ножки поклонюсь!

Софья Андреевна пожимала плечами:

— Ну, ужъ отъ этого увольте!

Онъ дѣлалъ притворно-грустное лицо и вздыхалъ.

— Жаль, жаль! Я, можетъ-быть, потомъ и женился бы, я вѣдь только боюсь женитьбы потому, что это лотерея. Ну, а пожилъ бы съ дѣвушкой, узналъ бы ее, тогда другое дѣло...

Старуха была точно на горячихъ угольяхъ, не зная, что дѣлать, какъ быть. Несмотря на эти выходки Джоржа, она продолжала вести атаку.

Зубковы между тѣмъ ничего не подозрѣвали: ни сближенія сына съ Лидой, ни продѣлокъ Софьи Андреевны, ни заигрываній Егора Егоровича съ Настей. Честные люди у насъ именно тѣмъ и отличаются отъ подлецовъ, что они не дальновидны, не способны къ интригѣ, благодушно довѣрчивы, тогда какъ дѣятельность, энергія, способность устраивать ловушки, все это остается на сторонѣ подлецовъ. Правда, Елена Васильевна иногда обращала вниманіе на то, что сынъ часто не бываетъ дома, но только потому, что она слишкомъ любила его и была бы рада почаще быть съ нимъ. Сѣтовала она и на то, что ей приходилось чаще выѣзжать съ Настей къ Вощининымъ, но только потому, что она не любила выѣздовъ и боялась пріучать свою дѣвочку къ богатой обстановкѣ и безпечной жизни. Болѣе серьезныхъ мотивовъ у нея не было. Иванъ же Николаевичъ и вовсе не видѣлъ ничего особеннаго въ частыхъ отлучкахъ сына и въ посѣщеніяхъ дочерью Вощининыхъ: онъ говорилъ женѣ, что нужны же молодежи и развлеченія.

— Жизнь-то окружающая очень безрадостна, голубка,— говорилъ онъ, услышавъ разъ тревоги жены. — Вотъ хоть бы здѣшнія мѣста взять. Здѣсь кругомъ бѣдность и пьяный развратъ, пьяный развратъ и бѣдность. Кругомъ все жалуются, плачутся, а Егоры Егоровичи измышляютъ, какъ бы часокъ накинуть, да народу сократить.

— Опять?—тревожно спросила Елена Васильевна.

Онъ только рукой махнулъ.

— Что же, они, Егоръ Егоровичи-то, и правы: курсъ упалъ, въ промышленности застой, спроса на товаръ нѣтъ, изъ чего же тутъ существовать заводу? Намъ-то, теоретикамъ и идеалистамъ, легко громить все это на словахъ, а на дѣлѣ... Егоръ Егоровичъ говоритъ: «Или эксплоатируй, или по-міру иди, если не закроешь завода. Ну, а закрой я заводъ, то кто теперь живетъ впроголодь, съ голода умрутъ».

По его лицу скользнула горькая улыбка.

— На-дняхъ мнѣ, старому ребенку, ариѳметическую притчу началъ разсказывать. «Былъ-жилъ одинъ заводчикъ. Были у него двѣ смѣны рабочихъ, по тысячѣ каждая. Получалъ онъ съ нихъ по гривеннику съ души барыша въ сутки. Обѣ смѣны давали такимъ образомъ за 350 дней 70.000 рублей барыша. Попробовалъ онъ брать только пять копеекъ барыша съ души, вышло у него всего 35.000 рублей барыша, а рабочимъ все плохо. Набавилъ онъ имъ еще по пяти копеекъ—имъ все такъ же плохо, а у него машина попортилась — чинить не изъ чего, пришлось заводъ закрывать, и всѣ рабочіе пошли по-міру».

И вдругъ, заходивъ въ сильномъ возбужденіи по комнатѣ, онъ непривычно злымъ, желчнымъ тономъ заговорилъ:

— И хоть бы сморгнулъ; вышутилъ, осмѣялъ, какъ мальчишку, а самъ хоть бы сморгнулъ. Впервые я вполнѣ ясно понялъ, какъ онъ на меня смотритъ, впервые я вполнѣ ясно понялъ, что его возненавидѣть можно. Я для него хорошій счетчикъ, неподкупно честный человѣкъ и—круглый дуракъ, поврежденный, юродъ. Бѣжалъ бы я отсюда, бѣжалъ бы отъ этой спившейся съ круга бѣдноты, отъ этихъ эгоистическихъ циниковъ...

Онъ стиснулъ на минуту зубы, точно отъ боли, и, пересиливъ себя, упавшимъ голосомъ забитаго человѣка проговорилъ:

— Да, да, пусть дѣтки хоть повеселятся, пока не изболѣла душа у нихъ за другихъ...

Елена Васильевна слѣдила съ тревогой за измѣненіями въ его лицѣ, за перемѣной въ его голосѣ. Живя съ мужемъ изо дня въ день, она почти не замѣчала, какъ онъ полысѣлъ, посѣдѣлъ, сморщился, сгорбился, опустился физически. Теперь это все бросилось ей въ глаза вдругъ, неожиданно. «Безсонныя ночи, воловій трудъ, вѣчная возня съ цифрами, съ счетами и тяжелая душевная скорбь при видѣ цѣлой массы горемыкъ и при полномъ сознаніи, что имъ нельзя

помочь, — о, да это просто пытка!» — мелькнуло въ ея головѣ. Она тихо подошла къ мужу и прошептала:

— Тяжело тебѣ!

Онъ очнулся, заторопился успокоить ее, стараясь ободриться:

— Кому же не тяжело? Всѣмъ тяжело! Я не исключеніе! Другимъ еще хуже. Вонъ нашъ дядя Устя совсѣмъ погибаетъ.

И, отвлекая вниманіе жены отъ себя, онъ началъ распространяться объ Устиновѣ. Потерялъ Устиновъ почти всѣ мѣста. Слишкомъ самостоятельный онъ по взглядамъ человѣкъ, чтобы быть учителемъ, подлаживаться тамъ, кланяться здѣсь, щеголять красивыми фразами въ третьемъ мѣстѣ. Къ несчастью, у него одно лѣкарство въ горѣ: запилъ.

— Еще слава Богу, что Саввушка привязался къ нашей семьѣ, — разсуждалъ Иванъ Николаевичъ. — Тяжело ему смотрѣть на отца, да и примѣръ какой! У насъ хоть среди порядочныхъ людей находится. Хоть мелькомъ, да удается ему внушить доброе слово. Душа-то у него хорошая. Была бы дурная, не стремился бы къ намъ. Здѣсь вѣдь особеннаго веселья нѣтъ.

— Да, онъ, кажется, очень привязался къ намъ, — замѣтила Елена Васильевна. — Я рада. Это хоть отвлечетъ его отъ разныхъ кутежей.

— Да, да, нужно благодарить Бога хоть за то, что силъ у насъ хватаетъ молодежи быть полезными. Все же недаромъ небо коптимъ... Однако, заболтались мы, а у меня еще работа...

Иванъ Николаевичъ поцѣловалъ жену и пошелъ въ свой кабинетъ работать. Маленькій, худенькій, сгорбившійся, онъ произвелъ въ этотъ вечеръ особенное впечатлѣніе на жену. Она точно послѣ долгой разлуки увидала его, разсмотрѣла, и невольный страхъ закрался въ ея душу. Отдыхъ ему нуженъ, спокойствіе нужно. Но какъ же отдохнуть, какъ успокоиться? Закрыть глаза на все окружающее? Дѣлать свое дѣло кое-какъ? Развѣ онъ это можетъ сдѣлать? Окружающая жизнь, газетныя извѣстія о разныхъ неурядицахъ, сознаніе своего безсилія помочь ближнимъ, все раздражаетъ, волнуетъ, терзаетъ его. Къ труду онъ относится съ той честностью, которая не позволяетъ ему дѣлать себѣ поблажекъ, больной онъ будетъ черезъ силу тянуть свою лямку. Всегда онъ былъ такимъ, и за это она полюбила его когда-то. Будь онъ инымъ человѣкомъ, онъ не былъ бы ей и дорогъ.

XX.

На слѣдующій день послѣ этой бесѣды Зубковыхъ, молодой Зубковъ проснулся позже обыкновеннаго. У него было измятое лицо, глаза мутны, выраженіе растерянное. Онъ вышелъ въ столовую, гдѣ ему былъ оставленъ стаканъ молока. Мать уже занималась уроками съ дѣвочками, отецъ ушелъ въ контору. Иванъ Ивановичъ прошелся по комнатѣ, забылъ выпить оставленное ему молоко, разсѣянно прошелъ переднюю, надѣлъ пальто и вышелъ изъ дому. Онъ повернулъ изъ воротъ направо, пошелъ впередъ, не обращая ни на что вниманія, и очнулся, пройдя версты три. Онъ осмотрѣлся кругомъ не безъ удивленія, точно соображая, куда онъ попалъ. Зачѣмъ онъ пошелъ сюда? Надо было идти въ университетъ, а онъ свернулъ направо, ушелъ Богъ вѣсть куда. Онъ остановился около перилъ у спуска къ Невѣ. Снѣгъ на ней почти уже вездѣ сталъ и смѣшался съ грязью, ледъ принялъ мутно-грязный оттѣнокъ, черезъ него тянулась темная лента проѣзжей дороги, по бокамъ были проруби и полыньи, оставшіяся послѣ рубки льду. Кое-гдѣ среди навоза скакали, чирикая, воробьи. По крутому берегу текли ручьи грязной воды. Небо было покрыто бѣловатыми облачками, но изъ-за нихъ выглядывало порою солнце, и его лучи уже сильно грѣли. Весна близка...

— Какъ тамъ ни вертись, а опрохвостишься...

Зубковъ обернулся, точно его коснулась электрическая искра. Кто это сказалъ? Кругомъ было пусто. Внизу у проруби какая-то баба полоскала бѣлье, зажавъ между ногъ намокшее платье; какой-то мужикъ въ нагольномъ тулупѣ тутъ же черпалъ воду. Оба были заняты своимъ дѣломъ и молчали. Нѣтъ, это не они произнесли эту фразу. Вчера она была сказана Устиновымъ, и теперь вдругъ прозвучала въ ушахъ Зубкова, ясно, отчетливо, точно ее снова повторилъ какой-то неизвѣстный голосъ. Въ воображеніи Зубкова возсталъ весь вчерашній вечеръ. Никогда бы онъ не повѣрилъ, если бы ему сказали, что онъ переживетъ такой вечеръ. Вчера онъ обѣдалъ у Вощининыхъ. Кромѣ него у нихъ обѣдалъ молодой графъ Алексѣй Ивановичъ Зорянъ, щеголеватый гвардеецъ, красивый собой, свѣтски ловкій, хорошій болтунъ. Лида кокетничала съ нимъ безъ конца, съ лихорадочной веселостью. Зубковъ встрѣчалъ у Вощининыхъ массу разной молодежи и очень равнодушно

смотрѣлъ на ихъ ухаживанія за Лидой. По уходѣ этой молодежи они вдвоемъ смѣялись надъ нею, откровенно, безъ задней мысли, какъ братъ и сестра. Чувство ревности ни разу не пробуждалось въ душѣ Зубкова: можетъ-быть, онъ сознавалъ, что онъ выше этихъ людей, можетъ-быть, онъ видѣлъ, что Лида не можетъ полюбить кого-нибудь изъ нихъ. На этотъ разъ было не то. Какъ-то по инстинкту онъ угадалъ въ Зоринѣ искателя руки Лиды и сразу понялъ, что за такого человѣка она можетъ выйти замужъ. Что навело его на эти мысли? Любезность Лиды съ Зоринымъ? Безспорныя достоинства Зорина, его красота, ловкость, свѣтское образованіе? Мелькомъ брошенныя злыя слова Егора Егоровича: «вотъ женихъ Лидѣ»? Явное ухаживанье бабки за молодымъ графомъ и слащавыя и пошловатыя ея замѣчанія ему: «наша красавица Лидочка», «нашъ цвѣтокъ Лидочка»? Онъ не могъ сообразить ничего и зналъ только, что въ его душѣ вспыхнула ревность, почти гнѣвъ на Лиду. Были минуты, когда онъ былъ готовъ надѣлать ей дерзостей при всѣхъ. До этого дня онъ даже передъ самимъ собою скрывалъ свою любовь: онъ любилъ Лиду и старался не думать объ этомъ, чтобы не задать себѣ вопроса о томъ, что можетъ выйти изъ этой любви. Теперь, когда его стала душить ревность, онъ вдругъ задалъ себѣ вопросы: «почему я ревную? на что я разсчитываю? что можетъ выйти изъ этой любви?» Въ головѣ былъ хаосъ. Онъ сознавалъ, что онъ никогда не будетъ Альфонсомъ, ни въ качествѣ мужа, ни въ качествѣ любовника. Но развѣ Лида для него откажется отъ своего богатства, отъ привычекъ богатой дѣвушки? Въ такомъ случаѣ, изъ ихъ любви ничего не можетъ выйти, ее нужно вырвать изъ сердца. Это легко сказать, не легко сдѣлать. Сознавая, что изъ его любви къ Лидѣ ничего не выйдетъ, онъ все-таки готовъ былъ задушить Зорина. Какой-то голосъ подсказывалъ ему: «уходи отсюда, здѣсь тебѣ нечего дѣлать». Въ то же время ему хотѣлось остаться тутъ, надѣлать дерзостей Зорину, сдѣлать сцену Лидѣ. Первое побужденіе одержало верхъ. Но это было чистой случайностью: онъ самъ не зналъ, какъ онъ вышелъ отъ Вощининыхъ, раскраснѣвшійся, взволнованный, взбѣшенный, и, выбѣжавъ на улицу, тотчасъ же готовъ былъ вернуться обратно къ нимъ. Надо было много самообладанія, чтобы не сдѣлать этой глупости. Онъ ея не сдѣлалъ и пошелъ, куда глаза глядятъ. Его томила жажда, въ горлѣ пере-

сохло, голова мутилась. Онъ какъ-то очутился у Палкина и спросилъ пива. Холодное, оно освѣжило его на минуту. Долго ли онъ пилъ—онъ не зналъ и самъ. Наконецъ онъ услыхалъ голосъ:

— А! воздержанія проповѣдникъ!

Онъ поднялъ голову и увидалъ косматую голову Устинова съ осклабившимся лицомъ. Устиновъ былъ неузнаваемъ. Слѣды ежедневнаго пьянства уже лежали яркою печатью на его лицѣ. Всегда небрежный костюмъ теперь былъ просто неряшливъ и уже говорилъ о началѣ бѣдности.

— Не миновалъ трактира! — проговорилъ Устиновъ и, видя мрачное выраженіе лица Зубкова, прибавилъ:—Впрочемъ, что же я лѣзу къ такому порядочному человѣку съ своей немытой харей! Мы вѣдь погибшіе, а вы проповѣдники!

Онъ засмѣялся желчнымъ смѣхомъ. Зубковъ всталъ и сказалъ:

— Я очень радъ, что встрѣтилъ васъ...

— Радъ? съ чего радоваться? — насмѣшливо спросилъ Устиновъ, уже очевидно не мало выпившій. — Прохвоста встрѣтилъ и радъ? Фразы у васъ все галантерейныя? Фарисеи!.. Погоди, самъ опрохвостишься, тогда, точно, и мнѣ будешь радъ. А теперь—проповѣдники, моралисты!

И совершенно неожиданно Устиновъ наклонилъ лицо къ Зубкову—отъ него пахнуло запахомъ водки—и спросилъ:

— Какое горе загнало? Какая бѣда стряслась? Отецъ захворалъ?

— Нѣтъ,—отвѣтилъ глухо Зубковъ.

— Ну, все равно, захвораетъ!.. Почтовая кляча бѣгаетъ-бѣгаетъ, а все же когда-нибудь и свалится. Видѣлъ я его: въ чемъ душа держится. Желтъ, худъ, сморщился. И тоже ядовитость проявилась. Желчь у блаженнаго юрода отыскалась. Видно, не сладко золото-то заводское достается. Дѣтей-то поднимать видно не легко!..

Не дожидаясь приглашенія, онъ сѣлъ къ столу, напротивъ Зубкова.

— Петръ, пива! — крикнулъ онъ лакею и снова заговорилъ, обращаясь къ Ивану Ивановичу:—Скверно тебѣ придется, когда отецъ свалится. Вонъ мой Савка говоритъ, что ты франтишь, все у Вощининыхъ, въ театрахъ, картинки смотришь по Эрмитажамъ. Баринъ какой, картинки понадобились. Во вкусъ вошелъ. Къ древнимъ мастерамъ любовь восчувствовалъ. Что-жъ, привыкай, привыкай. Я вонъ къ водкѣ привыкъ такъ-то, теперь и отстать не могу.

Такъ водка дешево стоитъ, а твои театры да балы — карманъ надо имѣть толстый, чтобы привычки-то эти поддерживать, по Эрмитажамъ шляться. Воровать придется.

Зубковъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы протестуя. Устиновъ положилъ свою волосатую руку на его руку и чувствительно проговорилъ:

— Полно, Ваня, полно! Я тебя вѣдь вотъ такимъ клопикомъ зналъ. На рукахъ носилъ. А ты меня обидѣлъ, глубоко обидѣлъ дядю Устю! Никогда я этого не забуду!.. Пьяница дядя Устя, незаконнаго сына дядя Устя прижилъ и чуть не загубилъ, придрался къ тебѣ дядя Устя на экзаменѣ и балломъ меньше ты получилъ...

Онъ сильно стукнулъ кулакомъ по столу, такъ что зазвенѣли стаканы и бутылки, и рѣзко перемѣнилъ тонъ:

— Дядя Устя мѣсто потерялъ, вступившись въ былые дни за твоего отца, дядя Устя за твоей семьей въ Питеръ изъ мирной глуши перетащился, дядя Устя, можетъ-быть, и теперь былъ бы тамъ человѣкомъ, а не свиньей, а ты... Проповѣдникъ безусый, моралистъ съ необсохшимъ молокомъ на губахъ!.. Ну, что ты? Пальчикъ занозилъ и сюда же въ кабакъ пить пошелъ? Мы собой жертвовали, насъ тѣснили, а ты пальчикъ занозилъ... Чѣмъ же лучше насъ? Еще занозишь палецъ—опять пойдешь сюда! Втянешься... Франтъ теперь, ну, а тамъ такимъ же звѣроподобнымъ станешь, какъ мы, грѣшные... Ахъ, вы!..

Онъ говорилъ много и сбивчиво, и лилъ пиво и себѣ, и Зубкову, чокаясь съ нимъ, говоря безсвязно, что приходило въ голову, не выбирая выраженій, не стѣсняясь ими. Зубковъ слушалъ его безсознательно, точно во снѣ, не протестуя, не споря, какъ бы соглашаясь съ нимъ во всемъ. Потомъ Устиновъ всплакнулъ, Зубковъ потянулся цѣловать и утѣшать его. Затѣмъ они обнялись. Къ нимъ подошелъ кто-то изъ знакомыхъ. Они поѣхали куда-то...

Зубковъ нервно вздрогнулъ теперь, вспоминая дальнѣйшія похожденія. Стыдъ за себя, омерзѣніе при воспоминаніи объ объятіяхъ и поцѣлуяхъ какой-то падшей женщины. И посреди этого всего пьяное пророчество Устинова: «Какъ тамъ ни вертись, а опрохвостишься!» На его глаза навертывались слезы.

— Да какъ же это возможно такъ вдругъ свалиться въ грязь, разомъ увязнуть въ тину! — воскликнулъ онъ. — Гдѣ же сила воли? Гдѣ сдержанность? Гдѣ нравственная чистоплотность?

Онъ стиснулъ зубы, какъ бы отъ физической боли. Вдругъ ли произошло все это?

Цѣлую зиму онъ постепенно привыкалъ къ свѣтскимъ удовольствіямъ. Правда, онъ не запускалъ лекцій, не переставалъ читать. Но, тѣмъ не менѣе, онъ сильно втянулся въ этотъ образъ жизни, который господствуетъ въ такъ-называемомъ образованномъ кругу общества; обѣды, вечеринки, театры, все это смѣняетъ часы иногда очень упорнаго труда и не даетъ минуты свободной для того, чтобы заглянуть въ свою душу, провѣрить свои поступки, дать отдохнуть лихорадочной дѣятельности мозга, нервовъ, крови. Эта жизнь стоитъ не только дорого по отношенію къ расходованію физическихъ силъ, но требуетъ и денежныхъ расходовъ. Такія мелочи, какъ извозчикъ и перчатки, плата на чай швейцарамъ и капельдинерамъ въ общемъ составляютъ значительную сумму денегъ для бѣдняка. Эти деньги приходилось Зубкову добывать уроками или брать у отца: уроки прибавляли только лишнее утомленіе, а выпрашивать у отца было совѣстно, и теперь молодой Зубковъ просто краснѣлъ, вспоминая о томъ, что онъ бралъ иногда у отца деньги, заработанныя потомъ. Ведя эту жизнь, втягиваясь въ нее, на что онъ надѣялся? На женитьбу на Лидѣ? Никогда онъ не могъ на это надѣяться! Или просто онъ жилъ такъ потому, что эта жизнь нравилась ему? Да развѣ онъ-то имѣетъ право исполнять подобныя прихоти? Отецъ затянулся въ работѣ. Онъ можетъ не сегодня, завтра слечь? Что тогда? Надо будетъ поддерживать мать и сестру. Для этого нужно подготовить себя къ суровой школѣ. Вѣдь въ сущности они нищіе: сыты, пока живъ отецъ; умретъ онъ — гроша не останется. Всѣ эти мысли были навѣяны отрывками рѣчей Устинова. Но если Устиновъ могъ заставить юношу трезво взглянуть назадъ, на пройденный путь, то онъ не могъ вырвать изъ этого сердца любви. Напрасно говорилъ себѣ Зубковъ, что онъ долженъ забыть Лиду, не думать о ней. Все это были слова, слова, одни слова. Исполнить это было не легко.

Онъ вернулся, послѣ прогулки вдоль берега Невы, домой въ угнетенномъ настроеніи духа. Елена Васильевна съ тревогой взглянула на его лицо: оно сразу осунулось, слѣды вчерашняго вечера остались на немъ.

— Ты нездоровъ?—спросила она у него.

— Не по себѣ что-то!—уклончиво отвѣтилъ онъ.

Они садились обѣдать. Молодой Зубковъ украдкой всма-

тривался въ лицо отца и матери. Господи, какъ они-то перемѣнились. У Елены Васильевны уже цѣлыми прядями серебрилась въ волосахъ сѣдина. Отецъ смотрѣлъ совсѣмъ желтымъ и горбатымъ. Какъ-то случайно въ разговорѣ обронилась фраза о томъ, что Ивану Николаевичу теперь приходится работать чуть не пятнадцать часовъ въ день. Егоръ Егоровичъ, видя въ немъ честнаго человѣка, наваливаетъ на него цѣлую массу обязанностей.

— Ты черезчуръ утомляешь себя, — замѣтилъ молодой Зубковъ.

— Люби кататься, люби и саночки возить, — отвѣтилъ старикъ.—Егоръ Егоровичъ запрягаетъ во все, за то и платитъ все щедрѣе и щедрѣе.

— Да, но вѣдь черезъ силу нельзя работать.

— Ахъ, ты, мальчуганъ!—усмѣхнулся старикъ.—Откажусь я отъ какого-нибудь дѣла—противъ меня уже зубъ будутъ имѣть, а тамъ, смотришь, и вытѣснять начнутъ.

— Ну, ты-то имъ нуженъ...

— Пока я ломовая лошадь. Какъ только во мнѣ увидятъ слабосильнаго старика или залѣнившагося работника, такъ и прощай. У нихъ вѣдь поговорка есть: «было бы болото, а черти найдутся». Да, наконецъ, и вездѣ не легко служить. Вонъ попробовалъ учительствовать. Что вышло? Теперь, братъ, вездѣ встрѣтишься съ подводными камнями въ той или другой формѣ. Гдѣ въ физическомъ трудѣ надорвешься, гдѣ отъ нравственной ломки руки опустишь...

И увлекшись, Иванъ Николаевичъ началъ говорить о прошлой своей педагогической дѣятельности, о томъ, что она даетъ человѣку извѣстнаго закала, извѣстныхъ убѣжденій. Въ его душѣ было много накопившейся горечи, и онъ, не стѣсняясь, высказывалъ все, забывъ даже, что его сынъ готовится именно къ этой дѣятельности и что не безопасно подрывать въ немъ вѣру въ эту дѣятельность. Всѣхъ охватило тяжелое настроеніе. Старикъ Зубовъ закончилъ свою рѣчь словами:

— Счастливы теперь только Саввушки, ни о чемъ не думающіе, ничѣмъ не интересующіеся, лишь бы имъ въ срокъ выдавали жалованье.

Маша при упоминаніи о Саввушкѣ вспыхнула и смиренно опустила глаза, точно молодая монахиня при видѣ посторонняго мужчины.

— Да тотъ, кто можетъ сказать, что онъ хоть себя сбе-

регъ чистымъ и безупречнымъ въ этомъ омутѣ,—задумчиво сказалъ Иванъ Ивановичъ.

— Ну, это-то ужъ счастье буддійскихъ монаховъ,—замѣтила Елена Васильевна.

— Что же дѣлать, если при малѣйшемъ столкновеніи съ окружающимъ насъ омутомъ,—вставилъ молодой Зубковъ:—приходится дѣлать или нравственныя уступки, или сознавать, что вертишься въ бѣличьемъ колесѣ.

И какъ-то мимовольно онъ прибавилъ:

— Я былъ бы радъ, если бы могъ поселиться гдѣ-нибудь въ глуши, дѣлая черное дѣло и имѣя хоть одно утѣшеніе, что я не эксплоатирую никого и не принимаю участія въ Вальпургіевой ночи современной жизни.

Зубкова, возмущенная словами сына, хотѣла что-то возражать, протестовать, но на концѣ стола прозвучалъ молодой веселый голосъ:

— Когда поѣдете туда, возьмите меня въ огородницы.

Молодой Зубковъ оглянулся на сказавшую эту фразу Ольгу Петрову. Ея круглое здоровое лицо было открыто и весело.

— А вы бы поѣхали?—спросилъ онъ не безъ удивленія.

— Я? Еще бы! Что здѣсь-то терять? Шумъ и гамъ, сцены нищеты и гульбы, жалобы и слёзы? Да я на необитаемый островъ ушла бы, лишь бы клокъ земли, да хата свои были.

Ваня не спускалъ съ нея глазъ, пораженный ея бодростью и энергіей.

Елена Васильевна уже совсѣмъ разсердилась, точно ее обидѣли.

— Въ ваши годы рано думать о томъ, что лучше всего спрятать головы подъ крыло. Бѣжать отъ врага—это трусость, и не въ ваши годы думать объ этомъ.

Ольга Петрова отвѣтила:

— А какъ здѣсь въ тряпку истреплешься...

— Или сопьешься съ горя,—добавилъ Ваня.

Елена Васильевна была блѣдна и взволнована. Никогда она не допускала, что съ горя можно пасть нравственно и опуститься физически, если человѣкъ точно честенъ, развитъ, уменъ. Она видѣла примѣры такого паденья и не хотѣла въ то же время ихъ видѣть. Сама она никогда не падала, всегда упорно боролась съ внѣшними обстоятельствами, съ враждебной судьбой.

— Въ ваши годы стыдно даже и толковать о возможности такихъ исходовъ,—рѣзко сказала она Ольгѣ и сыну.—

Ужъ не убѣждены ли вы, что вы непремѣнно должны совершить въ будущемъ безчестныя дѣла, если только не убѣжите отъ жизни? Хороша вѣра въ себя!

Иванъ Николаевичъ болѣе спокойнымъ, дидактическимъ тономъ вставилъ свое слово.

— Ну, спиться съ горя—это ужъ безхарактерность,— промолвилъ онъ:—а что касается до того, что въ тряпку истреплешься, такъ это зависитъ отъ физическихъ силъ... Не непремѣнно же должны быть только эти исходы для честныхъ людей. Слава Богу, у васъ здоровыя натуры, многое снесете. Надо надѣяться на себя, вѣрить въ свои силы...

Онъ говорилъ что-то еще, но какъ-то туманно, парадоксально, какъ человѣкъ, уже плохо вѣрящій въ то, что онъ говоритъ, и все-таки наперекоръ себѣ старающійся проповѣдывать другимъ угаснувшую въ немъ самомъ вѣру.

XXI.

Молодой Зубковъ провелъ нѣсколько мучительныхъ дней, рѣшившись твердо не заглядывать къ Вощининымъ. Сразу онъ увидалъ, что изъ его близости съ Лидой ничего не выйдетъ. Но убѣдиться въ этомъ, не значило разлюбить Лиду. Любовь теперь стала только мучительнѣе, терзала его. Онъ старался отдаться чтенію, погрузиться всецѣло въ занятія, чтобы забыть Лиду. «Такъ надо», говорилъ разсудокъ. Какой-то другой голосъ подсказывалъ ему: «Поди къ ней, взгляни на нее еще хоть разъ; обрывать такъ отношенія нелѣпо; постепенно отдалиться легче; единственный врачъ въ подобныхъ случаяхъ время». И въ то же время онъ чувствовалъ, что онъ хитритъ самъ съ собою, лжетъ себѣ. Въ немъ началась та внутренняя борьба, когда человѣкъ чувствуетъ, что онъ способенъ надѣлать всякихъ сумасбродствъ и что онъ будетъ глубоко презирать себя за эти сумасбродства. Ему удалось дней десять удержаться отъ посѣщеній къ Вощининымъ, и эти десять дней достались ему дорого: онъ похудѣлъ, онъ сдѣлался не похожъ на себя; нервы разстроились страшно. Наконецъ, онъ рѣшилъ, что въ первый изъ праздничныхъ дней онъ поѣдетъ къ Вощининымъ еще разъ и потомъ конецъ, конецъ всему. Онъ надѣялся, что встрѣтитъ у нихъ Зорина; Лида будетъ любезничать съ графомъ, и онъ, Зубковъ, убѣдится, что для него все потеряно. Это рѣшеніе немного успокоило его, и онъ жилъ мечтами о томъ, что черезъ два дня онъ снова увидитъ Лиду «въ послѣдній разъ». Гдѣ-то въ уголкѣ мозга

теплилась въ то же время надежда, что это будетъ «не въ послѣдній разъ». Возвращаясь въ субботу изъ университета, онъ увидѣлъ на дворѣ своего дома коляску Вощининыхъ и, задыхаясь отъ волненія, чуть не бѣгомъ добѣжалъ до крыльца. Неужели это она? Соскучилась! Не выдержала и пріѣхала! Онъ въ волненіи вошелъ въ гостиную и увидалъ Ольгу Давыдовну и Лиду. Лида бросила на него пристальный взглядъ.

— Что это вы пропали? — спросила Вощинина, здороваясь съ нимъ.—Мы ужъ думали, что вы заболѣли!

— Занятія!—отвѣтилъ молодой человѣкъ.

Онъ подошелъ къ Лидѣ, бесѣдовавшей съ его сестрою.

— Вы были больны?—спросила она тихо.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Нѣтъ!—отвѣтилъ онъ, пожимая ея руку.

Безцеремонная, какъ всегда, она встала и пошла въ его комнату. Онъ пошелъ за ней. Она присѣла къ его рабочему столу и стала перебирать его лекціи.

— Вы, кажется, разсердились за что-то?—мелькомъ спросила она, не глядя на него.

— За что же?—проговорилъ онъ, стараясь подавить свое волненье.

— Можетъ-быть, за Зорина?

— Лида, я васъ не понимаю!

Она вдругъ обернулась къ нему раскраснѣвшимся лицомъ и пристально посмотрѣла на него.

— Нѣтъ, вы понимаете! Зачѣмъ вы лжете!—рѣзко сказала она, сверкнувъ глазами.

— Ну, а если-бъ и такъ, вамъ-то что до этого?—такъ же рѣзко отвѣтилъ онъ.

— Что-жъ, развѣ я не смѣю ни съ кѣмъ быть любезной? Должна отталкивать всѣхъ, кому я нравлюсь?

Ея тонъ былъ строптивъ, вызывалъ на ссору.

Зубковъ покачалъ отрицательно головой и отвѣтилъ сдержанно.

— Я потому и не являлся, чтобы не мѣшать вамъ.

— Да вы бы и не помѣшали вовсе. Я дѣлаю то, что мнѣ вздумается.

— А я то, что слѣдуетъ дѣлать.

— То-есть?

Она бросила на него задорный, вызывающій на объясненіе взглядъ. Онъ выдержалъ этотъ взглядъ и, собравшись съ силами, отвѣтилъ:

— Намъ, Лида, давно пора покончить наши отношенія.

Мы слишкомъ сблизились. Это мѣшаетъ вамъ сдѣлать свой выборъ, а мнѣ—мнѣ было бы слишкомъ тяжело бывать у васъ и сознавать, что вы не сегодня, такъ завтра будете женой другого. Вы видите, я не скрываю отъ васъ ничего.

Она строптиво, почти крича, перебила его:

— Ахъ, что вы говорите! Вы не скрываете! А развѣ я скрываю! Пріѣхала сама, чтобы только взглянуть на васъ, чтобы на минуту побыть съ вами! Я еще ни за кѣмъ не бѣгала первая, за мной ухаживаютъ, меня ищутъ, а тутъ...

Она заходила по комнатѣ, хрустя пальцами стиснутыхъ рукъ, сильно возбужденная, злобно негодующая на него, на себя, на всѣхъ, не сознавая за что, чего ей надо, какого исхода ждетъ она. Она подошла къ окну и закусила батистовый платокъ, стараясь подавить душившія ее слезы. Онъ переживалъ страшныя минуты: броситься къ ней, обнять ее, покрыть поцѣлуями ея лицо, руки, вотъ къ чему толкало его теперь. Какъ-то случайно его взглядъ упалъ на открытую дверь въ другія комнаты; тамъ ея мать, его мать и сестра. Это на минуту привело его въ себя, остановило отъ перваго порыва. Не лучше ли теперь кончить все разомъ? Выяснить ей все, что уже ясно для него самого. Онъ, блѣдный и похолодѣвшій, подошелъ къ ней и тихо заговорилъ:

— Да, наши отношенія должны порваться. Вы не будете ждать, когда я, первокурсникъ-студентъ, кончу курсъ. Вы не пойдете за бѣднаго учителя. Я, въ свою очередь, не брошу ученья даже для васъ и никогда не буду жить на содержаніи у жены, какъ бы я ее ни любилъ. Не возражайте, не обвиняйте меня за нежеланіе сдѣлать уступки. Вы знаете хорошо, что не сдѣлаете ихъ сами. Вы слишкомъ избалованы для этого. Я знаю, что вамъ будетъ тяжело...

По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, въ ней закипѣлъ снова бурный гнѣвъ. При послѣдней его фразѣ она уже не помнила себя.

— Мнѣ будетъ тяжело? Мнѣ?—почти крикнула она, обращаясь къ нему пылающимъ лицомъ, съ угрожающимъ выраженіемъ глазъ.—Никогда мнѣ не будетъ тяжело уже потому, что я васъ теперь ненавижу. Слышите, слышите: ненавижу! Вы меня думали раздразнить тѣмъ, что перестали ходить. Я, глупая, сама пріѣхала, а вы мнѣ толкуете, что никогда не можете полюбить меня, что это будетъ мнѣ, мнѣ, а не вамъ тяжело.

Онъ хотѣлъ ее перебить, но съ ея устъ лились уже неудержимымъ потокомъ безсвязныя, почти безсмысленныя рѣчи. Она называла его мальчишкой, она говорила, что она выходитъ замужъ за Зорина, она протестовала противъ того, что она когда-нибудь думала быть женою его, Зубкова. Она не похожа на свою мать. Это та могла идти въ рабыни къ какому-то приказчику, къ какому-то мѣщанину. Она ничьей рабыней не будетъ... Это былъ безумный гнѣвъ своенравной, капризной, не привыкшей къ повиновенію дѣвочки-кокетки. Зубковъ стоялъ съ поникшей головой и уже не протестовалъ, не прерывалъ ее. И въ то же время онъ любилъ ее, какъ никогда...

Когда она вышла въ гостиную, Зубкова изумилась выраженію ея лица. До нея смутно долетали отдѣльныя слова изъ того, что говорила съ ея сыномъ Лида, и предчувствіе чего-то недобраго охватило ее. Съ ея глазъ точно повязка спала: только теперь она увидала, что происходило между ея сыномъ и Лидой. Она до этой поры все еще считала ихъ дѣтьми и даже на минуту не подумала о томъ, что они могли любить другъ друга.

— Намъ пора!—отрывисто сказала Лида матери и сухо простилась съ Зубковыми.

Елена Васильевна зорко взглянула на сына: онъ былъ блѣденъ, какъ мертвецъ.

Когда гости уѣхали, онъ торопливо скрылся въ свою комнату и легъ на постель. Онъ сознавалъ, что онъ порвалъ съ Лидой все, и это сознаніе угнетало его. Какъ всѣ влюбленные, онъ видѣлъ въ любимой дѣвушкѣ то, что хотѣлъ видѣть. Своенравность казалась энергіей, любовь къ нему казалась мягкостью сердца, молодая миловидность казалась божественной красотой. И все-таки отъ обладанія этой дѣвушкой надо отказаться. Къ этому побуждало уже одно то, что его назовутъ «Альфонсомъ», какъ зовутъ дядю Александра Константиновича. Онъ сознавалъ, что люди будутъ правы, что онъ самъ перестанетъ уважать себя, принявъ на себя эту роль. Но для того, чтобы разлюбить, не достаточно убѣжденія, что не имѣешь права любить. Гдѣ голосъ разсудка подавляетъ чувство, тамъ уже нѣтъ любви. Это получается долгой внутренней борьбой, долгой внутренней ломкой. Тотчасъ же по уходѣ Лиды молодой Зубковъ уже каялся, зачѣмъ онъ прямо высказалъ все. Нужно бы подождать, дать пройти времени, понемногу свыкнуться съ мыслью, что разрывъ неизбѣженъ. Если бы Лида вернулась

въ эту минуту, онъ упалъ бы передъ нею на колѣни, вымолилъ бы ея прощеніе. Ему вспоминались мелочи: первыя минуты сближенія; она сказала, что она будетъ звать его Ваней, онъ сталъ ее звать Лидой; въ этой комнатѣ онъ впервые, почти по-дѣтски, цѣловалъ ее, смѣясь задорнымъ смѣхомъ; потомъ они разсуждали по цѣлымъ часамъ, бродя вдвоемъ среди толпы въ Эрмитажѣ, въ фойэ театровъ, и для нихъ ничего не существовало, кромѣ ихъ любви. Все это прошло, не повторится никогда, никогда!..

Бываютъ времена, когда человѣкъ перестаетъ замѣчать, что дѣлается вокругъ него, поглощенный весь внутренней своей жизнью. Такія минуты переживалъ молодой Зубковъ. Онъ не замѣчалъ, что отецъ и мать смотрятъ на него почти со страхомъ, какъ смотрятъ на опасно больного. Онъ не замѣчалъ, что Ольга Петрова какъ-то особенно озабоченно спрашивала его:

— У васъ много занятій? Вы боитесь экзаменовъ? Ничего, вы же усидчиво занимаетесь.

Онъ разсѣянно отвѣчалъ:

— Да, да, ничего.

Въ головѣ же вертѣлся одинъ вопросъ: «Что-то дѣлаетъ Лида? Зоринъ около нея? Полюбитъ ли она его? Любитъ ли онъ ее? Нѣтъ, нѣтъ, счастливою съ нимъ она не будетъ!»

Какъ-то заѣхала Софья Андреевна, напыщенная, смотрящая царицей, и засплетничала о семейныхъ дѣлахъ: Александръ Константиновичъ опять въ ссорѣ съ женою. Ревнуетъ она его къ какой-то француженкѣ. Вотъ-то старая дура! Успокоиться не можетъ, а ужъ сѣдой волосъ пробивается. Какъ ни крась волосы—этого не скроешь. Пора бы угомониться. Такъ нѣтъ! Рветъ и мечетъ. Только никто ея не боится. Александръ поручилъ все хозяйство ей, Софьѣ Андреевнѣ. Онъ все сумѣетъ повернуть по-своему. Вѣтрогонъ, вѣтрогонъ, а характеръ желѣзный. Его не сломишь. Лидочка, кажется, невѣста, Зоринъ сватается. Графъ, гвардеецъ, красавецъ, партія отличная. Правда, дѣла у него поразстроены, ну, да у Лиды на двухъ мужей хватитъ денегъ, а не то что на одного. Награбилъ ей покойный батюшка.

Молодой Зубковъ и блѣднѣлъ, и краснѣлъ, слушая рѣчи бабки и не замѣчая, что мать какъ-то испуганно смотрѣла на него. А бабка не унималась. Странно ей только одно, что Лидочка все скучаетъ. Плакать даже стала. Никогда этого съ ней не бывало. Прежде никто слезинки на ея лицѣ

не видалъ. Такой ужъ характеръ. А теперь—радоваться бы только, а она плачетъ. И съ чего? Развѣ только женихъ не нравится. Хотя почему бы ему не нравиться ей. Красавецъ, одно слово. Впрочемъ, дѣвичье сердце загадка. Ну, да выйдетъ замужъ, полюбитъ, свыкнется.

— О тебѣ вчера спрашивала,—обратилась она къ молодому Зубкову.

— Спрашивала обо мнѣ?—радостно воскликнулъ онъ, не владѣя собою.

Мать тревожно взглянула на него. Исхудалое лицо ея «мальчугана» покрылось яркимъ румянцемъ.

— Ты зашелъ бы, поболталъ бы, разсѣялъ бы ее,—замѣтила бабка.

— Да, да,—началъ онъ торопливо.

Мать перебила его:

— У Вани послѣдніе экзамены, занятій много.

— Ну, вотъ выдумала! Не все же учиться, — сказала бабка.

— Она когда спрашивала?—спросилъ Зубковъ, не обращая вниманія на присутствующихъ.

— Вчера,—отвѣтила бабка и не выдержала, созналась:— она и прогнала меня къ вамъ. «Вы, говоритъ, давно не были тамъ». А гдѣ же мнѣ, когда весь домъ на моихъ рукахъ. За одной прислугой присмотрѣть чего стоитъ. Воръ на ворѣ и воромъ погоняетъ. Ну, да ужъ для нея все я готова бросить.

Молодой Зубковъ всталъ съ мѣста и въ волненіи заходилъ по комнатѣ. Его всего охватило одно желаніе еще разъ взглянуть на Лиду, завтра же, сегодня же, сейчасъ. Въ головѣ все мутилось...

За каждымъ его движеніемъ слѣдили двѣ женщины—мать и Ольга Петрова, сидѣвшая съ вышивкой въ рукахъ въ углу комнаты. Походивъ по гостиной, онъ вдругъ свернулъ въ свой кабинетъ и торопливо сталъ одѣваться. Черезъ четверть часа онъ былъ уже одѣтъ.

— Ты куда?—спросила его тревожно мать, когда онъ вернулся въ гостиную.

— Я такъ... по дѣлу,—отвѣтилъ онъ и вышелъ.

Елена Васильевна готова была крикнуть ему:

— Не ходи!

Но онъ былъ уже на улицѣ. «Мѣсяцъ цѣлый онъ не видалъ Лиду. Сейчасъ опять увидитъ ее. Измѣнилась ли она? Спрашивала о немъ! Не любитъ Зорина. Кого же любитъ? Его,

его, Зубкова. Никого никогда не любила, кромѣ его! Милая!» Эти мысли хаотически проносились въ его головѣ. Онъ не могъ, да и не пробовалъ сообразить, что выйдетъ изъ его свиданія съ Лидой: онъ только хотѣлъ видѣть ее, все еще любящую его, спрашивающую о немъ, плачущую о немъ. Въ домѣ Вощининыхъ всѣ привыкли его считать членомъ своей семьи, и потому прислуга нисколько ни удивлялась, что онъ прошелъ въ комнату Лиды. Лида сидѣла съ книгой въ рукахъ, не читая, задумавшись о чемъ-то. Онъ порывисто подошелъ къ ней, не далъ ей времени опомниться, схватилъ ея руки и припалъ къ нимъ горячими губами... Что онъ говорилъ—онъ самъ не помнилъ. «Она спрашивала о немъ, скучала, плакала, не сердится на него... Онъ хоть разъ еще рѣшился взглянуть на нее, онъ съ ума сходилъ... Въ такомъ положеніи покончить съ собой можно. Какъ онъ пережилъ эти дни—онъ и не знаетъ»... Увлеченная его страстью, торжествующая, сіяющая, видящая его у своихъ ногъ, она не сопротивлялась его ласкамъ, хотя ей было какъ-то жутко отъ этой внезапной бури страсти, охватившей ее.

— Я знаю, что я безумствую, — наконецъ проговорилъ онъ:—что-жъ мнѣ дѣлать, если я люблю тебя, не могу безъ тебя жить! Дѣлай со мной, что хочешь, я готовъ на все—бросить университетъ, идти на службу, только бы имѣть право на тебя. Мнѣ теперь все равно, что будутъ говорить обо мнѣ... Счастья, только личнаго счастья нужно мнѣ теперь—своего, твоего счастья!..

Она ничего не могла сообразить. Она, казалось, опьянѣла отъ его ласкъ. Это были минуты безумія. Въ безсвязныхъ рѣчахъ повторялись на всѣ лады однѣ и тѣ же клятвы, признанія, увѣренія, и все казалось, что высказано не все, что надо сказать еще что-то.

Только когда онъ ушелъ, когда она опомнилась отъ сна на яву, ее вдругъ охватилъ смутный страхъ. «Что будетъ дальше? Ну, выйдетъ онъ изъ университета, поступитъ куда-нибудь на службу, съ годъ придется ждать. А потомъ? Какъ онъ будетъ жить съ нею потомъ?» Она тупо смотрѣла въ пространство, какъ бы ожидая, что тамъ пройдутъ передъ нею картины ея будущаго... Ея любовь къ Зубкову не была серьезнымъ увлеченіемъ. Это было безсознательное, инстинктивное стремленіе властолюбивой натуры покорить непокорнаго. Она хотѣла видѣть его у своихъ ногъ. Когда онъ противился ей или отдалялся отъ нея—она готова была ры-

дать отъ досады, гнѣва, оскорбленнаго самолюбія. Когда онъ былъ у ея ногъ—она боялась будущаго съ нимъ, инстинктивно сознавала, что онъ постарается сломить ее, подчинить своей волѣ. «Будетъ обращаться съ нею, какъ Александръ Константиновичъ съ женою». Эта мысль пугала болѣе всего. Теперь, оставшись одна, она уже негодовала на себя, зачѣмъ она его вызвала, зачѣмъ пробудила въ немъ эту страсть. Ей было почти страшно за себя при воспоминаніи объ этомъ свиданіи. Онъ былъ совсѣмъ какъ безумный, онъ, кажется, готовъ былъ взять ее силой. Тогда бы уже не было возврата.

Вернувшись домой, Софья Андреевна стала раздѣваться, когда неожиданно къ ней вошла Лида. Она была блѣдна и взволнована. Лицо смотрѣло строго, почти сурово. Не спрашивая ни о чемъ старуху, она прямо приступила къ волновавшимъ ее вопросамъ:

— Мнѣ надо поговорить съ вами,—начала она не своимъ голосомъ.

— Дитя мое милое, ангелъ души моей, что тебѣ?—спросила сладкимъ и пѣвучимъ голосомъ старуха, зорко всматриваясь въ ея лицо.—Нездорова ты? Случилось что-нибудь?

— Ваня былъ у меня,—коротко отвѣтила Лида.

— Неужели?—въ недоумѣніи проговорила Софья Андреевна, очень хорошо знавшая, что онъ былъ здѣсь.

Лида, не глядя на нее, ходя по комнатѣ, отвѣтила:

— Онъ съ ума сходитъ отъ любви ко мнѣ...

Старуха не нашлась сразу, что отвѣтить, и произнесла глупую фразу:

— Да кто же можетъ, увидавъ тебя, не полюбить тебя!

— Не то, не то!—нетерпѣливо проговорила Лида.—Онъ жить безъ меня не можетъ, онъ готовъ на все, чтобы я была его женою!

— Какъ же такъ? А графъ Зоринъ? Да ты-то развѣ тоже по сю пору влюблена въ Ваню?—растерянно и пугливо спросила старуха.

— Ахъ, развѣ я знаю, развѣ я знаю! — воскликнула Лида.—Иногда мнѣ кажется, когда его нѣтъ, что я жить безъ него не могу. Иногда же, когда онъ тутъ, когда онъ говоритъ, я вижу, что я не могла бы жить съ нимъ. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ у моихъ ногъ, но когда я вижу, что онъ будетъ командовать мною, ломать меня по-своему, властвовать надо мною—я его просто боюсь...

Она стиснула свои руки, такъ что хрустнули пальцы.

— И зачѣмъ я просила васъ съѣздить къ нимъ, сказать ему, что я справляюсь о немъ! Ну, порвала все и кончено бы, а теперь...

Старуха подошла къ ней и тихо, вкрадчиво проговорила:

— Замужъ тебѣ поскорѣе надо выйти, ангелъ мой невинный, вотъ что я вижу!

Она понизила еще немного тонъ:

— Въ твои годы, сокровище души моей, дѣвушки жаждутъ замужества и увлекаются тѣми, кто ухаживаетъ за ними. Первый проходимецъ можетъ вскружить голову. Это уже законъ природы, неисповѣдимые пути Провидѣнія. И самое это опасное время. Иногда шагъ одинъ неосторожный— и всю жизнь свою сгубитъ молодая дѣвушка. Ваня единственный мужчина, который обращался съ тобой вполнѣ свободно, ну, ты, голубка моя нѣжная, и увлеклась имъ— поцѣлуи въ уголкахъ, нашептыванья, ухаживанья,—все это хоть какой дѣвушкѣ вскружитъ голову, потому что все это кровь волнуетъ. Но это, ангелъ мой чистый, не любовь. Выйдешь замужъ, всѣ эти глупости разомъ забудутся, потому что это только ребячество, такъ, пустяки сущіе.

Старуха начала ей объяснять: каждая дѣвушка десять разъ влюбляется, и кто изъ мужчинъ поразвязнѣе, да посмѣлѣе, тотъ и кажется ей избранникомъ ея сердца. Сама она, Софья Андреевна, съ разными подростками въ углы забивалась. Тоже молода была. Поцѣлуетъ какой-нибудь безусый мальчуганъ въ коридорѣ, ну, и кажется, что жить безъ него нельзя. А вышла замужъ—смѣшно потомъ самой показалось, что это ребячество за любовь считалось. И какой же Ваня женихъ? Студентъ еще несовершеннолѣтній. Годъ или два его нужно ждать. А чего дождешься? Ну, первые два-три мѣсяца любовью потѣшатся. Это уже всегда такъ. Потомъ же и пойдутъ сцены. Онъ вѣдь характеренъ, въ мать весь—колъ на головѣ теши, не уступитъ ни въ чемъ. Отецъ тоже дури-то въ него не мало вбилъ. Мать его этимъ загубилъ, да и сына тоже. Идеи какія-то у нихъ. Полезная дѣятельность, служеніе обществу! За это-то служеніе безъ сапогъ находились. Служить-то обществу станешь—милліоновъ не хватитъ. Оно, славу Богу, велико, на него не напасешься; съ него драть нужно, а не ему давать; недаромъ и пословица говоритъ, что съ міру по ниткѣ, а голому рубашка. Что же это мы-то обо всѣхъ будемъ заботиться? Это ужъ пусть Маремьяна-старица обо всемъ мірѣ

печалится. Тоже и ревностью истерзаетъ онъ, потому что такіе-то ослы упрямые, да настойчивые всегда ревнивы.

Пѣвучая рѣчь старухи лилась безъ конца. Лида слушала и удивлялась: въ тѣ минуты, когда она тосковала по Зубковѣ и въ то же время боялась его, въ ея головѣ проходили смутно всѣ эти мысли.

— Я сама всего этого боялась,—тихо проговорила она.

— Голубка моя; да какъ же и не бояться этого. Умница ты моя, не могла ты этого не предчувствовать. Развѣ тебѣ съ такимъ мужемъ жить надо?

Старуха вдругъ засмѣялась, стараясь развеселить Лиду.

— И рѣчами своими онъ замучилъ бы тебя! Теперь-то вся эта канитель нова для тебя, а потомъ, со скуки бы ты померла. Честность, безкорыстіе, самоотреченіе, польза ближнихъ! Ахъ, умора, когда эти рацеи разводилъ его отецъ, какъ за Лелей ухаживалъ. Признаюсь, хохотала я не разъ, какъ онъ, бывало, начнетъ эти разводы разводить; не думала я тогда, что Леля всѣмъ этимъ шутовствомъ увлечется. Сынокъ-то въ него. Тоже, поди, много тебѣ наговорилъ турусовъ на колесахъ?

Лида махнула безнадежно рукой.

— Краснобай, нечего сказать. Оно, конечно, если бы женился на тебѣ, такъ было бы изъ чего и дурить, пользу-то обществу приносить, деньги-то разбрасывать...

— Ну, ужъ, я денегъ-то не дала бы!—неожиданно сорвалось съ языка Лиды.

Старуха невольно усмѣхнулась.

Лида сконфуженно поспѣшно перемѣнила разговоръ. Какъ ей теперь отдѣлаться отъ Вани? Что сказать? Ей страшно, что онъ Богъ знаетъ чего надѣлаетъ. Софья Андреевна пожала плечами.

— Да мнѣ, маточка моя, стоитъ слово сказать его матери, и все какъ рукой сниметъ,—проговорила она съ пренебреженіемъ и прибавила:—А ты-то, ангелъ мой, лучше бы кончала скорѣй съ графомъ Зоринымъ. Это партія, такъ партія: красивъ, молодъ, хорошей фамиліи и ты ужъ меня прости—овца овцой. Тебѣ такой мужъ и нуженъ, умница ты наша: ты повелѣвать должна, а не тобой другіе.

Лида поднялась съ мѣста и обняла старуху.

— Только съ вами и могу я отвести душу. Никогда я не думала, что вы будете мнѣ такъ нужны...

— Другъ мой, преданный человѣкъ всегда сумѣетъ быть нужнымъ и полезнымъ,—съ чувствомъ проговорила Софья

Андреевна и величаво благословила молодую дѣвушку:—Ну, спи спокойно и не думай ни о чемъ. Бабушка все для тебя устроитъ.

Лида вышла изъ комнаты.

Софья Андреевна начала неторопливо раздѣваться, довольная собой, точно выросшая, величественная и гордая.

— Въ мать она разсудкомъ,—проходили въ ея головѣ мысли.—Чѣмъ-чѣмъ, а ужъ не этимъ наградилъ Богъ. Ну, да при ея капиталѣ умъ-то и не нуженъ.

Она усмѣхнулась:

— А ужъ и жадна же! Влюблена, влюблена, а коснулось денегъ—сейчасъ на дыбы: деньги бросать не позволю. Алтынники!..

Она прошла въ уголъ, гдѣ стоялъ кіотъ съ образами и теплящейся лампадой, и медленно опустилась на коверъ на колѣни.

— Вѣрую во единаго Бога Отца, — начала она вслухъ, неторопливо и широко красивымъ движеніемъ поднимая руку для крестнаго знаменія.

«А каковъ нашъ заноза-то, какъ накуролесилъ, какую штуку выкинулъ»,—мелькнуло въ головѣ.

Она сдѣлала еще болѣе набожное лицо, сердясь на постороннія мысли, мѣшающія ей молиться, и продолжала внятно и съ чувствомъ вслухъ:

— Вседержителя, творца неба и земли...

Въ головѣ же опять пронеслось:

«Мнѣ что, пусть бы накуролесилъ, да вѣдь это можетъ Настюшѣ помѣшать. Ее-то бы мнѣ выдать...»

Опять она уже скороговоркой забормотала:

— Видимымъ же всѣмъ и невидимымъ, и во единаго Господа Іисуса Христа...

«Только, что это Егорушка-то мямлитъ? То будто и влюбленъ, то будто и вышучиваетъ? Не поймешь его...»

Снова опомнившись, сердясь на себя за непрошенныя соображенія, она громко и часто заговорила:

— Господи, избави мя отъ лукаваго, избави мя отъ лукаваго!

И тутъ же, торопливо крестясь, разсудила въ оправданіе себя:

«Да что дѣлать-то станешь: я одна все должна устроить и тотъ меня спрашиваетъ, и другой со мной совѣтуется, и обо всѣхъ-то болитъ мое сердце...»

Она, гордая сознаніемъ своего достоинства, благодаря

Бога за данную ей долю, стала класть земные поклоны, повторяя нѣвучимъ голосомъ:

— Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя за милосердіе Твое! Ты меня укрѣпилъ, Ты меня вознесъ, рабу Твою.

И съ театральнымъ жестомъ разводя руками, она распростерлась на коврѣ, полная душевнаго спокойствія, благодарности и величія.

XXII.

Софья Андреевна пріѣхала объясниться съ дочерью и заперлась съ нею въ кабинетѣ Зубкова. Елена Васильевна давно уже привыкла холодно и надменно выслушивать мать, сознавая вполнѣ свое нравственное превосходство надъ нею и съ горечью чувствуя ея ничтожество. На этотъ разъ она съ первыхъ же словъ старухи упала духомъ. Какъ молотомъ поразили ее слова матери о томъ, что Ваня не только влюбленъ въ Лиду, но хочетъ на ней жениться, готовъ университетъ бросить, поступить въ банкъ. «На содержаніи у жены захотѣлось жить»,—рѣзко закончила старуха. Само по себѣ это извѣстіе должно было поразить Зубкову, но, переданное Софьей Андреевной, оно было вдвое оскорбительнѣе.

— Еще бы!—разсуждала старуха.—Лакомый кусокъ нашелъ! Кому не сладко жить на женинъ счетъ! Только ужъ не ему бы гнаться за этимъ. Онъ вѣдь голову-то привыкъ задирать, всѣ подлецы, всѣ негодяи, а тутъ ничего, за крупный кушъ хватается. Такъ ужъ оставилъ бы это нашему Александру Константиновичу, тотъ безъ этихъ благородныхъ разговоровъ попросту продался своей заводчицѣ, и нищеты нахлебался онъ, и никакихъ этихъ идей у него не было.

И отъ этой темы, видя, что дочь опустила голову, она перешла къ другому предмету:

— И ты-то со своимъ Иваномъ Николаевичемъ хороша. Подъ носомъ у васъ это дѣлалось, а вы точно слѣпые. Да слѣпые вы и есть. Ничего не видите, что кругомъ дѣлается. Еще не того дождетесь. Дѣвчонокъ набрали великовозрастныхъ. Благодѣтели! Хорошо еще, что покуда ни одну изъ нихъ вашъ сынокъ не соблазнилъ. И этого дождетесь. Гдѣ вы живете? За облаками, что ли? Ангелы вокругъ васъ или люди? Наживете еще себѣ бѣдъ. И подѣломъ. Не благодѣтельствовать вамъ нужно бы, а гроши нужно бы скопить

на черный день. Посмотрѣли бы на себя хоть въ зеркало, старость-то не за горами, ты вонъ старше меня смотришь; чѣмъ жить будете, когда силъ не станетъ?

И зловѣщимъ тономъ она прибавила:

— Ну, а какъ Лидочка объяснитъ все брату, какъ онъ разсердится на вашего Ивана за это, да порветъ всякія отношенія съ Иваномъ Николаевичемъ? Что тогда запоете? Еще хорошо, я Лидочку успокоила, что никому она не можетъ сказать объ этомъ, такъ какъ я умоляла ее не поднимать скандала...

Старуха вознаграждала себя теперь за долгіе годы презрительнаго отношенія къ ней со стороны дочери. Она сознавала, что дочь теперь слишкомъ подавлена, чтобы протестовать противъ чего бы то ни было. Елена Васильевна чувствовала, что мать многое извращаетъ, многое лжетъ по своему обыкновенію, и все же не могла возражать. Ее угнетала мысль, что она не предостерегла сына, что онъ увлекся страстью и чуть не сдѣлалъ подлости—женитьба на богатой дѣвушкѣ, не имѣвшей съ нимъ ничего общаго по развитію, по взглядамъ, по положенію въ свѣтѣ, казалась ей крупной подлостью. Честный человѣкъ долженъ былъ въ подобномъ случаѣ сдѣлать все, чтобы побѣдить свою животную страсть. Оправданій тутъ нѣтъ и не можетъ быть. Въ то же время ей было мучительно жаль сына-мальчика; онъ еще почти ребенокъ—для нея онъ всегда оставался ребенкомъ; это его первая любовь; онъ страдаетъ и будетъ долго страдать. Она по опыту знала, что значитъ любовь. Недаромъ же она сама вышла замужъ безъ благословенія матери. Охваченная этими мыслями, она почти не слушала мать, и Софья Андреевна многословно и съ разными варіаціями продолжала свою рѣчь, повторяя:

— Еще слава Богу, что у Лидочки есть другой женихъ. Нельзя было вскружить ей совсѣмъ головы. Дѣвочка молоденькая, довѣрчивая, могла бы увлечься, не будь графа Зорина. Теперь, конечно, я все улажу на скорую руку. Кто знаетъ нашего Ивана Ивановича, онъ, пожалуй, силой попробуетъ взять ее. Ну, а повѣнчается она съ графомъ Зоринымъ, и конецъ. Не легко только мнѣ въ мои лѣта за всѣхъ васъ хлопотать. Мнѣ покой нуженъ, о спасеніи души своей хочется подумать. Вы-то вотъ краснобайствуете о любви къ ближнимъ, а на дѣлѣ-то я распинаюсь за всѣхъ. Кто васъ пристроилъ къ мѣсту? Кто Сашу поднялъ на ноги? Кто нашу заводчицу ублажаетъ? Кто вашего почтеннаго

Ивана Ивановича выгораживаетъ? Кто бѣдную дѣвочку Лиду спасаетъ? Все я, все я! А у васъ еще Настюша растетъ. Вы и ее погубите. Мнѣ же, мнѣ же ее придется спасти отъ нищеты, отъ того, чтобы она старой дѣвкой не осталась...

— Ахъ, оставьте вы насъ въ покоѣ!—вырвалось изъ груди болѣзненное восклицаніе у Елены Васильевны.

— Да вы на улицѣ подохнете, если я васъ оставлю въ покоѣ!—крикнула Софья Андреевна.—Въ какомъ положеніи я васъ застала, когда прибыла въ Петербургъ? Съ голоду умирали. Мое материнское сердце подсказало мнѣ, что надо ѣхать васъ спасать. Тысячу верстъ протряслась для этого... Не будь меня, можетъ-быть, и Настюша, и Иванъ Ивановичъ ваши въ землѣ бы лежали, и твой Иванъ Николаевичъ, какъ собака Устиновъ, пить началъ бы, либо въ сумасшедшій домъ угодилъ бы. До одиннадцатой-то версты ему и такъ не далеко!

Когда она кончила и ушла изъ дому Зубковыхъ, Елена Васильевна поднялась съ мѣста, какъ разбитая. Впервые въ жизни въ ней не было ни твердости, ни энергіи, ни яснаго представленія о томъ, что нужно дѣлать. Тѣмъ не менѣе, у нея хватило силы въ этотъ день не сказать ничего сыну: завтра у него послѣдній экзаменъ, и она боялась, что онъ срѣжется на этомъ экзаменѣ, если она объяснится съ нимъ. Возбужденный, въ лихорадочномъ состояніи, онъ даже не замѣтилъ того, что мать внезапно осунулась, какъ бы постарѣла на нѣсколько лѣтъ. Когда онъ уходилъ утромъ на экзаменъ, она только могла сказать ему, чтобы онъ вернулся съ экзамена прямо домой, не заходя никуда. Въ страшной тревогѣ ждала она его возвращенія изъ университета и думала только объ одномъ, какъ бы объясниться съ сыномъ. Она понимала, что значитъ первое сильное увлеченіе юноши. Она сознавала, что она должна нанести ему тяжелую рану.

Онъ вернулся домой къ обѣду. Обѣдъ прошелъ для Елены Васильевны незамѣтно, точно она спала въ это время. Какъ только всѣ встали изъ-за стола, она взяла сына подъ руку и прошла съ нимъ въ его комнату. Она сѣла въ кресло и проговорила тихо:

— Сядь поближе.

Онъ тревожно взглянулъ на нее и торопливо, съ испугомъ спросилъ:

— Ты больна?

— Нѣтъ! Сядь!

Онъ усѣлся противъ нея на стулъ.

— Мальчикъ, что съ тобою дѣлается?—спросила она.

— Со мной? что дѣлается?—переспросилъ онъ и весь вспыхнулъ.—Ничего...

— Зачѣмъ ты скрываешь? Я все знаю!

Онъ раскраснѣлся еще болѣе и быстро припалъ губами къ ея рукѣ:

— Милая, дорогая! Ты не знаешь, какъ я счастливъ.

По ея лицу скользнуло болѣзненное выраженіе. Она перевела духъ и тихо, но твердо сказала:

— Ты глубоко несчастливъ!

Онъ поднялъ голову и взглянулъ на нее.

— Любить—да, это счастье!—продолжала она твердо.—Но кого? Ты любишь дѣвушку, не имѣющую съ тобою ничего общаго ни по развитію, ни по характеру, ни по привычкамъ, ни по взглядамъ.

— О, ты ея не знаешь!—воскликнулъ онъ.—Это воскъ, изъ котораго...

Она остановила его движеніемъ руки:

— Я не кончила. Не перебивай меня. У нея нѣтъ ничего общаго съ тобою, и тебѣ придется перевоспитывать ее. Но супружество не школа. Перевоспитывать жену, значитъ обречь ее и себя на многолѣтнюю пытку. Эту пытку можно вынести только въ томъ случаѣ, когда и мужъ, и жена беззавѣтно, безгранично любятъ другъ друга.

— Мама, если бы ты знала...—воскликнулъ снова молодой Зубковъ.

— Но это не все,—продолжала мать, останавливая его снова движеніемъ руки.—Она богата, ты бѣденъ. Довольно одного этого, чтобы задушить въ своемъ сердцѣ любовь. Жить на счетъ жены, на содержаніи...

Онъ сдѣлалъ рѣзкое движеніе, она остановила его словами:

— Не говори, я знаю все, что ты скажешь, и всѣ твои слова будутъ только жалкими попытками найти себѣ оправданіе, когда его нѣтъ. Ты будешь доказывать одно, а въ глубинѣ души сознавать другое. Мало того, если ты даже будешь вполнѣ сознавать, что ты правъ, то и тогда тебѣ будетъ стыдно, больно, обидно смотрѣть на людей: ихъ-то ты не увѣришь, что ты не Альфонсъ...

— Мама!—съ упрекомъ проговорилъ онъ.

— Такъ какъ же ты смѣлъ осуждать дядю? Можетъ-быть, онъ тоже увлекся Ольгой Давыдовной,—рѣзко сказала она.—

Можетъ-быть, онъ тоже былъ убѣжденъ въ честности своего поступка?

— Съ кѣмъ ты меня сравниваешь!

— А! съ кѣмъ сравниваю? А чѣмъ будешь ты? Не кончившимъ курсъ студентомъ? Бѣднякомъ, котораго пристроятъ къ мѣсту по протекціи жены? Мальчикомъ, бросившимъ науку, полезную дѣятельность, честный трудъ ради увлеченія? Или ты думаешь, что она станетъ тебя ждать до окончанія курса, поступится, ради тебя, своими привычками, заживетъ такъ, какъ хочешь ты?

— Ахъ, что ты мнѣ говоришь!—въ отчаяніи крикнулъ онъ.—Я все это передумалъ въ десятки безсонныхъ ночей. Но что-жъ мнѣ дѣлать, если это чувство выше доводовъ разсудка? Или ты хочешь, чтобы и я самъ сдѣлался несчастнымъ, и сдѣлалъ несчастною ее? Я не знаю, какъ ты любила, но я знаю, что я не могу теперь разсчитывать, взвѣшивать, когда довольно одного ея призыва вотъ теперь, въ эту минуту, чтобы я бросилъ тебя и былъ бы у ея ногъ...

— О, я это, къ несчастію, хорошо знаю,—не безъ горечи оскорбленной матери проговорила Елена Васильевна.—Что значитъ мать въ сравненіи съ смазливой дѣвочкой, поманившей насъ къ себѣ! Ради этого можно надѣлать тысячу сумасбродствъ, низостей, поступиться всѣмъ будущимъ.

— Не упрекай меня!..

— Но, къ счастію, она-то не позоветъ болѣе тебя!—продолжала горячо Елена Васильевна, не слушая его.—Она поиграла съ тобой, зашла слишкомъ далеко и испугалась, увидавъ, что ты способенъ на все.

— Это ложь! ложь!—крикнулъ онъ внѣ себя.

— Ложь? А! ты не вѣришь мнѣ! Я не хотѣла тебѣ говорить этого, я думала, что въ тебѣ можно разбудить разсудокъ, трезвое отношеніе къ тому, на что ты идешь. Но ты безумствуешь. Ну, такъ ты долженъ знать правду. У меня сейчасъ была твоя бабка. Лида разсказала ей все. Она играла съ тобой въ любовь, не зная, къ чему это можетъ привести. Ей хотѣлось поставить на своемъ, чтобы ты былъ у ея ногъ. Она думала, вѣроятно, что все это кончится шалостью. Теперь въ ней проснулся страхъ. Еще бы! Вѣдь ты сталъ бы ломать ее по-своему, ты сталъ бы менторствовать, ты началъ бы учить ее новой жизни, скучной, какъ жизнь честныхъ людей вообще. Она испугалась этого и призвала на помощь опытнаго человѣка. Впрочемъ, можетъ-быть, она ошиблась! Поди къ ней, скажи, что

жить такъ, какъ живетъ ея семья, Егоръ Егоро-
ександръ Константиновичъ. Увѣрь ее, что, продав-
, ты уже не вернешься къ старому и выбросишь
ь весь баласть разныхъ глупыхъ предразсудковъ
ъ людей. Кто продалъ себя, тому легко продать и
льное...
ъчь вдругъ оборвалась какой-то болѣзненной нотой.
вшая въ ней на минуту энергія снова оставила ее.
рыла лицо руками и заплакала, тихо прошептавъ:
отъ чего я боялась, сходясь съ этими людьми!
не утѣшалъ ее, не искалъ оправданій, охваченный
нно новымъ чувствомъ безнадежности: ему казалось,
огда онъ не разлюбитъ Лиду, и въ то же время онъ
ъ, что теперь онъ скорѣе пуститъ пулю въ лобъ,
енится на ней. Это было отчаяніе первой неудачной
юноши. Прошло нѣсколько минутъ тягостнаго мол-
Наконецъ, Елена Васильевна поднялась съ мѣста.
женіе заставило его очнуться.
ы уходишь?—спросилъ онъ какъ бы сквозь сонъ, не
я, что говоритъ.
І все сказала тебѣ,—коротко отвѣтила она.
пошла къ дверямъ, онъ не удерживалъ ея. Обоимъ
трашно тяжело. Она сознавала, что убѣдить мальчика
въ невозможности этого союза или сразу вырвать изъ
рдца чувство любви было невозможно; онъ сознавалъ,
ъ откажется отъ Лиды, но будетъ отъ этого еще не-
ѣе, чѣмъ былъ бы, настоявъ на своемъ. Ни мать, ни
въ эту минуту не могли утѣшить себя тѣмъ, что все
пройдетъ, забудется современемъ, что, можетъ-быть,
ъ время, когда они оба будутъ смѣяться надъ этимъ
чествомъ». Волнующіе насъ въ жизни «мелочи» и
яки» кажутся «мелочами» и «пустяками» только тогда,
их переживешь, а не тогда, когда ихъ переживаешь.
ько разъ пускали себѣ люди въ лобъ пулю изъ-за та-
«мелочей» и «пустяковъ», надъ которыми они сами
черезъ десятокъ могли бы посмѣяться самымъ искрен-
, смѣхомъ. Эти «мелочи» и «пустяки» омрачили всю
ю Зубковыхъ. Елена Васильевна сообщила своему мужу
юбви ихъ «мальчика». Иванъ Николаевичъ взволновался
астерялся.
– Я знаю, что этотъ бракъ не состоится,—говорила Зуб-
а.—Лида пустая и притомъ глупая кокетка, она выйь спокойно замужъ и конецъ. Но нашъ мальчикъ, какъ

онъ перенесетъ это? какъ повліяетъ на него это? О, недаромъ я боялась сближенія съ семьей Александра, недаромъ я боялась за Ваню въ послѣднее время, когда онъ сталъ втягиваться въ удовольствія, въ развлеченія...

— Леля, монахомъ же нельзя жить,—вступился Иванъ Николаевичъ.

Она рѣзко перебила его:

— А гдѣ предѣлъ этимъ развлеченіямъ, этимъ удовольствіямъ? Когда они превратятся въ привычку, гдѣ взять на нихъ средства?

Иванъ Николаевичъ уклонился отъ отвѣта: онъ и жена въ былыя времена очень часто говорили на эту тему, развивали въ этомъ направленіи дѣтей. Спорить противъ этого онъ не могъ, но его озабочивало не это, а вопросъ, что дѣлать, чтобы успокоить ихъ «мальчугана». Онъ, страстный, впечатлительный, способный на всякія крайности, перенесетъ не легко первую неудачу въ любви. Надо быть осторожными, заботливыми съ нимъ теперь вдвое, чѣмъ прежде, какъ съ опасно больнымъ.

Далеко за полночь совѣщались мужъ и жена, наивные идеалисты, непрактичные, ненаходчивые въ невзгодахъ подобнаго рода.

На другой день, когда молодой Зубковъ вышелъ къ чаю, они взглянули на него почти со страхомъ, точно на приговореннаго къ смерти. Онъ и точно походилъ на больного. Горе и безсонная ночь оставили на немъ свои слѣды. Мрачное настроеніе трехъ старшихъ членовъ семьи не ускользнуло отъ вниманія Насти, и она шопотомъ сообщила объ этомъ Машѣ.

— Въ Лидку Ваня влюбился,—отозвалась та.

— Ты почему знаешь?—спросила Настя.

— Да ужъ знаю, что знаю!

— Сказалъ кто-нибудь?

— Сказалъ, не сказалъ, а знаю.

— Да скажи, откуда?

— Вотъ хоть убей, не скажу. А ужъ знаю!

— Опять подслушала!

— Ну, подслушала, либо не подслушала, а не позволяютъ ему жениться! Вотъ онъ и повѣсилъ голову. Ахъ, я бы и позволенія не спросила.

— Ну, да!

— А вотъ не спросила бы! А ты спросила бы, если тебѣ не позволили за твоего Егора Егоровича выйти.

— Вовсе онъ не мой, да и не люблю я его.

— Ого! милліонщика-то!

— Подшучиваетъ онъ все!

— А бабушка все же сосватаетъ тебя! Ахъ, мнѣ бы такую бабушку!

Маша махнула рукой.

— Нѣтъ, ужъ, видно, самой надо раздобыть жениха.

Она насупилась, точно обдумывая вопросъ первѣйшей важности.

Еще одна личность была заинтересована настроеніемъ Зубковыхъ. Ольга Петрова зорко и пристально слѣдила за выраженіемъ лица молодого Зубкова. За послѣднее время она привыкла къ тому, что онъ дѣлился съ нею по-товарищески разными мелочами, впечатлѣніями, оставленными прочитанной книгой, спектаклемъ, прослушаннымъ наканунѣ, картиною, видѣнною на новой выставкѣ, удачей или неудачей экзаменовъ, ходомъ даваемыхъ имъ уроковъ. Она тоже спрашивала его о разныхъ пустякахъ: хорошъ ли новый сдѣланный ею абажуръ, красивъ ли выбранный для вышивки узоръ, выгодно ли она продала что-нибудь изъ рукодѣлій, на какіе курсы ей потомъ поступить. Теперь онъ не сообщалъ ей ничего, почти не замѣчалъ ея. Дня два спустя, она спросила его:

— Вамъ нездоровится?

— Нѣтъ, я здоровъ!—отвѣтилъ онъ.

— Ну, слава Богу, а то я думала, что вы расхвораться вздумали,—сказала она.

Онъ промолчалъ. Онъ весь былъ занятъ одной мыслью: хотя бы разъ, только разъ еще взглянуть на Лиду. Нельзя же такъ порвать, повѣривъ на слово матери. Вѣдь все слышанное имъ передано бабкой. Бабкѣ ничего не стоитъ солгать. Можетъ-быть, Лида настолько любитъ его, что согласится ждать окончанія имъ курса. Три года не вѣчность. Согласится ждать, — тогда... Можно въ эти три года сообразить многое, во многомъ спѣться. Молодыя мечты начинали снова охватывать душу. Вопросъ о томъ, что она богата, а онъ бѣденъ, отступалъ на послѣдній планъ. Вѣдь можно жить такъ, чтобы не пользоваться ея средствами, не давъ никому права упрекать его. Онъ смотрѣлъ на жизнь еще вполнѣ такъ, какъ можетъ смотрѣть мальчуганъ.

Дня черезъ три онъ встрѣтилъ около завода Александра Константиновича. Тотъ дружески пожалъ ему руку и спросилъ, что онъ давно не былъ у нихъ.

— Вы еще совсѣмъ дѣвочка, — сказалъ онъ. — Тутъ не только ученье на умъ не идетъ, а жить не хочется. Понимаете вы: жить не хочется, міръ кажется пустыней. И на что жизнь, когда нѣтъ счастія?

Она пожала плечами.

— И напустили же вы на себя! — проговорила она: — жизнь не нужна, потому что несчастно полюбили. А Ивану Николаевичу и Еленѣ Васильевнѣ сладко было бы, если бы вы умерли? Сына-то не легко потерять...

— Я и не думаю умирать, но тѣмъ не менѣе жить въ такомъ положеніи не весело...

— Еще бы! киснуть! Какое ужъ тутъ веселье!

Она покачала головой.

— Нѣтъ, съѣздили бы вы куда-нибудь на лѣто, на уроки, что ли, и встряхнулись бы.

И совсѣмъ мягко, дружески, она прибавила:

— Знаете, сегодня, когда мы учились, я увидала, что у Елены Васильевны слезы стоятъ на глазахъ; не хорошо это, что вы доставляете ей горе. Не мальчикъ ужъ вы.

Онъ взглянулъ ей въ глаза, и его лицо слегка зарумянилось.

— Хорошій вы человѣкъ!—прошепталъ онъ.

Она пропустила это замѣчаніе мимо ушей и сказала:

— Нѣтъ, право же, вашему отцу и матери и безъ того много заботъ и дѣла. Живутъ для другихъ, такъ что же ихъ огорчать. Очень ужъ хорошіе они люди.

— Да, да, вы правы...

Онъ крѣпко пожалъ ей руку.

— Уѣдете?—спросила она.

— Да!—отвѣтилъ онъ.

XXIII.

Молодой Зубковъ послѣ разговора съ Ольгой твердо рѣшился на лѣто уѣхать изъ Петербурга. Это была счастливая мысль, внушенная ему случайно молодой дѣвушкой. Онъ теперь чувствовалъ, что только этимъ путемъ онъ можетъ «отрезвиться» отъ своего увлеченія. Когда онъ сказалъ о своемъ намѣреніи матери, ее охватило странное чувство испуга. Она сознавала, что, дѣйствительно, ея юношѣ тяжело было бы встрѣчаться съ семьей Вощининыхъ, слышать о приготовленіяхъ къ свадьбѣ Лиды, видѣть ее съ мужемъ, тѣмъ не менѣе она чего-то боялась, точно сынъ ѣхалъ на смерть. Ее смущала мысль, какъ это «ея маль-

чикъ» будетъ жить одинъ, вдали отъ родной семьи. Мать, она все еще не могла освоиться съ мыслью, что онъ уже «взрослый», «мужчина». Правда, она не протестовала противъ желанія сына и согласилась на его отъѣздъ, но она смотрѣла такой подавленной, такой разстроенной, что была просто жалка. Она черезъ силу воздерживалась отъ слезъ, когда отъѣздъ былъ рѣшенъ, но эти усилія замаскировать свое горе не прошли даромъ. Едва успѣлъ уѣхать Ваня, какъ Елена Васильевна прихворнула и притомъ настолько серьезно, что слегка въ постель. До этой поры никто въ семьѣ не видалъ ее никогда больною и потому ея болѣзнь встревожила всѣхъ.

Иванъ Николаевичъ заботливо разспрашивалъ доктора, что тотъ думаетъ о болѣзни его жены, есть ли опасность, что нужно дѣлать. Отвѣтъ доктора поразилъ Зубкова: «опасности покуда нѣтъ, но надо беречь больную, нервное разстройство весьма сильно, малокровіе полное, порокъ сердца сказывается очень ясно, упадокъ силъ замѣтенъ». Зубковъ слушалъ-слушалъ и, наконецъ, воскликнулъ:

— Докторъ, да вѣдь это значитъ: мѣста живого у нея нѣтъ?

Докторъ пожалъ плечами.

— Я вамъ говорю, что прямой опасности нѣтъ, но я не могу скрыть, что организмъ дѣйствительно пошатнулся весь. Многое запущено...

— Она же никогда ни на что не жаловалась!—воскликнулъ Зубковъ.

— То-то и плохо, что всѣ вы, господа, запускаете болѣзни, а потомъ, когда уже весь организмъ пошатывается, идете къ докторамъ. Вы вотъ тоже...

— Ахъ, что обо мнѣ толковать!—перебилъ нетерпѣливо Зубковъ.—Теперь надо думать о ней...

— Ну, да, вотъ это все старая пѣсня: откладывать лѣченіе до того, когда уже будетъ поздно...

Когда докторъ ушелъ, Иванъ Николаевичъ цѣлый часъ проходилъ по своей комнатѣ въ мрачныхъ думахъ о женѣ. Когда началась болѣзнь? Почему? Нужда, лишеніе, упорная борьба съ судьбой, чрезмѣрный трудъ, мелкія горечи жизни, все вливало по каплѣ ядъ въ этотъ организмъ и достаточно было еще одной непріятности, чтобы подкосить эту терпѣливую, выносливую натуру. Какъ онъ любилъ свою жену, это сказалось теперь: казалось, онъ готовъ былъ отдать свою жизнь, только бы помочь ей; онъ забылъ все

думая только о своей женѣ. Въ эти дни сказалось вполнѣ и то, до чего расшатались его собственные нервы: иногда онъ, сводя въ конторѣ счеты, чувствовалъ, что ему что-то застилаетъ глаза, и видѣлъ, что изъ его глазъ на бумагу падаютъ слезы; нерѣдко, встрѣчая дочь, онъ бралъ ее за голову и цѣловалъ, говоря ей сквозь слезы, чтобы она берегла ихъ маму. Унынiе въ домѣ было полное. Только одна Ольга Петрова оказалась энергичной и дѣятельной. Она почти не отходила отъ Елены Васильевны и аккуратно заставляла ту исполнять всѣ предписанiя доктора. Нерѣдко Елена Васильева замѣчала ей:

— Оля, ты сама измучишься.

— Ну, вотъ еще! Кому же и ходить за больными, какъ не здоровымъ. А у меня здоровья на десятерыхъ хватитъ.

Она гнала Ивана Николаевича спать, когда онъ засиживался въ комнатѣ жены.

— У васъ свое дѣло, устанете и захвораете, тогда что?— говорила она и настаивала на своемъ.

— Ахъ, деспотъ, деспотъ!—шутилъ Иванъ Николаевичъ съ горькой улыбкой на кривившихся губахъ.

— Да вѣдь надо же кому-нибудь сохранять присутствiе духа, когда всѣ растерялись,—замѣчала Ольга.

Деспотизмъ ея проявился очень ясно въ одну изъ ночей, когда съ Еленой Васильевной сдѣлался довольно сильный припадокъ. Больной показалось, что она умираетъ, она, едва переводя духъ, задыхаясь, потребовала къ себѣ мужа и дочь. Ольга допустила ихъ на минуту, и тотчасъ же прогнала Ивана Николаевича за докторомъ, а Настѣ сказала, чтобы та шла въ свою комнату и не тревожила мать. Когда пріѣхалъ докторъ и осмотрѣлъ больную, Ольга спросила его при уходѣ:

— Докторъ, вѣдь Еленѣ Васильевнѣ нужнѣе всего спокойствiе?

— Да,—отвѣтилъ онъ.

— Такъ вы посовѣтуйте Ивану Николаевичу и дочери Елены Васильевны не плакать въ ея спальнѣ.

Докторъ обратился къ Зубкову и прочелъ ему нотацiю.

— Да гдѣ же вы научились, Оля, такъ энергично ходить за больными?—спросилъ Иванъ Николаевичъ у молодой дѣвушки, стараясь улыбнуться сквозь слезы.

— Тутъ и учиться нечему,—отвѣтила она.

Онъ поблагодарилъ ее.

— Хорошiй вы человѣкъ!

Она, какъ и въ то время, когда ее похвалилъ молодой Зубковъ, даже и вниманія не обратила на похвалу старика Зубкова, занятая чисто дѣловыми соображеніями.

Но если Ольга выказала въ это время всю свою энергію, то Настя проявила такой упадокъ духа, что было страшно за нее. Ей казалось, что мать уже умираетъ, что этой утраты не перенесетъ и отецъ. Горячо любя ихъ, молодая дѣвушка неутѣшно плакала и не знала, что̀ дѣлать. Какъ на зло около нея стояли двѣ личности, еще болѣе усиливавшія ея горе. Эти личности были Маша и Софья Андреевна. Маша разсуждала:

— Станешь плакать, какъ на мостовой останешься! Знаю я нужду-то! Теперь-то тебя и Вощинины ласкаютъ, и Лидка, и Егоръ Егоровичъ друзья, а тогда сироту-то бѣдную никто не пріютитъ.

И думая не столько о своей подругѣ, сколько о себѣ, она прибавила:

— Вотъ и я теперь куда пойду! Только передохнула немного и опять горе придется мыкать. Къ своимъ идти,— нѣтъ, слуга покорная, довольно горя-то нахлебалась. Хоть бы замужъ за кого ни на есть выйти! Ей-Богу, за перваго встрѣчнаго пошла бы, только бы не къ своимъ идти.

Настя пробовала ободриться и ободрить Машу:

— Да, можетъ-быть, мама и не умретъ еще!

— Ну, можетъ-быть и не умретъ, такъ что же? Нынче выздоровѣетъ, а тамъ и свалится. Болѣзни стоитъ начаться у стараго человѣка...

— Да мама же не старуха!

— Не старуха! Лѣта при чемъ тутъ? А ты погляди на нее, на что она похожа? И то сказать, мучила сама себя. Другая бы на ея мѣстѣ жила припѣваючи. А она—мало что хозяйство на рукахъ, школу цѣлую затѣяла, со всякой бабой горе дѣлила. Прибыло ей отъ этого что? Какъ же, держи карманъ, только себя ухлопала.

— Мама добрая; это ей честь дѣлаетъ!—вступилась Настя за мать.

— Да развѣ я ее ругаю? А говорю я только, что сама себя она уходила. Когда самъ не богатъ, нечего думать о помощи. Всѣхъ не оплачешь, а себя измаешь. Богатый швырнулъ денегъ бѣдному и конецъ. А тутъ еще и денегъ ему дай, и поработай за него, да и погорюй еще вмѣстѣ съ бѣднымъ. Ну, и догоревалась!

И подъ вліяніемъ раздраженія она замѣтила:

— Вотъ умри она, теперь никто тебя и замужъ не возьметъ. Это ты помяни мое слово!

Не утѣшительны были и рѣчи Софьи Андреевны. Она совпадала въ мнѣніяхъ съ Машей относительно того, что Елена Васильевна сама «уходила себя». Разница была только въ томъ, что Маша не рѣшалась прямо обвинить Елену Васильевну, а Софья Андреевна не стѣснялась и говорила прямо:

— Все глупыя идеи довели до этого. Жила, какъ батрачка какая, всякую голь призрѣвала да работала на нее. Оттого у васъ ни достатка не было, ни веселья. Тебя-то, крошка моя, изморили, въ четырехъ стѣнахъ, какъ въ монастырѣ, держатъ. Вотъ теперь скоро свадьба Лиды, а ты, если мать не выздоровѣетъ, и тутъ не повеселишься. Господи Владыко нашъ небесный, заступись и помилуй дитя мое!—молитвенно обращала она глаза къ небу и снова пѣвучимъ голосомъ толковала внучкѣ:—Хоть бы замужъ тебя, цыпочка моя, удалось мнѣ выдать. Ужъ чего-чего я ни дѣлаю, чтобы мечты мои сбылись. Глаза я только тогда и закрою спокойно, когда увижу тебя въ довольствѣ и роскоши. Хоть немного передохнуть бы тебѣ...

Она цѣловала и крестила внучку, вздыхая и охая. Когда она уѣзжала, Настѣ становилось вдвое тяжелѣе. Въ домѣ тишина, всѣ ходятъ съ озабоченными минами, впереди ни надеждъ, ни упованій. Какъ счастливы тѣ, у кого есть деньги! Будь у нея теперь деньги—увезла бы она мать куда-нибудь въ теплыя страны, мать отдохнула бы и выздоровѣла бы. О, какъ жестоко ошибались мать и отецъ всю жизнь, говоря, что не въ деньгахъ счастье. Счастье только въ нихъ: здоровый веселится, имѣя деньги; больной выздоравливаетъ, имѣя ихъ. И почему это отецъ и мать такіе, что они многаго не понимаютъ, не видятъ. Ихъ каждый обмануть можетъ. Развѣ вотъ мать знаетъ, что за человѣкъ Маша? Живетъ Маша у нихъ въ домѣ, а мать ни мыслей, ни разговоровъ Маши не знаетъ. Настя даже покраснѣла, вспомнивъ, что она сама ради Маши многое научилась скрывать отъ матери. На ея глаза навернулись слезы. «Бѣдная мама, она точно ребенокъ». Потомъ ей вспомнилось, что бабка говорила ей, какъ Вощининъ и Егоръ Егоровичъ часто смѣются надъ ея отцомъ, вспоминая о его проектахъ и мечтахъ, вызывая умышленно иногда его на разговоры объ этихъ предметахъ, о благѣ рабочихъ. Она даже разсердилась... «Злые люди, они его тронутымъ считаютъ, блажен-

нымъ, юродивымъ. Лгутъ они это, папа уменъ, но онъ идеалистъ». Если бы она сдѣлалась богатой, она стала бы нянчить ихъ, отца и мать, какъ дѣтей. Дала бы имъ возможность дѣлать больше добра. То-то были бы они рады. Дѣвочка, она уже смотрѣла сверху внизъ на отца и мать, сознавая, что она лучше ихъ знаетъ жизнь. Одного она не могла себѣ представить, какимъ путемъ она сдѣлается богатой. Бабка говорила ей о бракѣ съ Егоромъ Егоровичемъ, но Егоръ Егоровичъ, повидимому, и не думалъ предлагать ей руку. А другихъ жениховъ нѣтъ. Иначе же и разбогатѣть нельзя...

Тяжелыя думы, невеселая жизнь дома, навѣянное болѣзнью матери уныніе, все это наложило на лицо Насти печать грустной задумчивости, безмолвной тоски. Отецъ иногда замѣчалъ ея грусть, цѣловалъ дочь, стараясь ободрить. Озабоченный, онъ сознавалъ, что дѣвушкѣ нужно хоть какое-нибудь развлеченіе, веселье молодости. Но откуда ихъ взять. Онъ очень обрадовался, когда получилось приглашеніе на свадьбу Лиды. Елена Васильевна уже понемногу оправилась, встала на ноги. Правда, она еще не могла выѣзжать сама, но ея дочь могла теперь ѣхать на свадьбу и безъ нея. Во время тяжелой болѣзни матери ей было бы неловко ѣхать на свадьбу, а теперь можно. Зубковъ сказалъ объ этомъ женѣ.

— Зачѣмъ?—проговорила Елена Васильевна, не лучше ли вовсе прекратить это знакомство.

Онъ упрекнулъ жену:

— Леля, нельзя же держать дѣвочку взаперти. Нужно же ей и повеселиться.

Она, еще слабая, чувствующая упадокъ силъ, не протестовала болѣе; было рѣшено, что дѣвочку возьметъ на свадьбу Софья Андреевна. Старуха, узнавъ, что ей поручаютъ внучку, обрадовалась и замѣтила:

— Хоть разъ не наглупили!

И на Настю полился цѣлый потокъ ласкъ бабки. Первой красавицей она будетъ на свадьбѣ. Всѣ заглядятся на нее. Платье ей сдѣлаетъ сама бабка. А то опять какую-нибудь шерстяную тряпку надѣнутъ. У старухи было уже порядочно скоплено денегъ. Александръ Константиновичъ не скупился и давалъ ей ихъ не мало; отъ хозяйства тоже оставалось кое-что, хотя иногда и приходилось грызться съ Ольгой Давыдовной, дѣлавшейся съ каждымъ днемъ все скупѣе и бранившейся за большіе расходы. Цѣлую недѣлю шли оживленные толки о нарядѣ Насти, примѣрка платья, покупка разныхъ мелкихъ украшеній. Наконецъ, желанный день

свадьбы насталъ, и Настя, стоя передъ зеркаломъ въ комнатѣ бабки, сама удивилась себѣ, хотя и смутилась немного при видѣ своихъ обнаженныхъ рукъ и плечей. Ея бѣлое платье было просто, но изящно. Эта-то простота и была ей къ лицу. Ея стройная фигура вырисовывалась вполнѣ, замѣчательная красота рукъ и шеи бросалась въ глаза, даже матовая блѣдность ея лица придавала ей особенную прелесть, гармонировала съ ея черными большими глазами, вдумчивыми и какъ бы подернутыми влагой.

— Тебѣ бы сегодня подъ вѣнцомъ стоять, а не Лидѣ!— воскликнула бабка, любуясь ею.—Ахъ, деньги, деньги! Будь онѣ—да я не знаю, кто бы на тебѣ ни женился. Ну, да мы и безъ денегъ сумѣемъ кое-кого обольстить.

Она надѣялась въ этотъ день сдѣлать атаку на Егора Егоровича. Этотъ бракъ сталъ положительно пунктомъ ея помѣшательства. Егоръ Егоровичъ съ своей стороны тѣшился, поддразнивая старуху, то пробуждая въ ней надежды, то снова уничтожая ихъ.

Когда вѣнчаніе кончилось, всѣ гости собрались въ домъ Вощининыхъ. Начались поздравленія, потомъ танцы. Софья Андреевна не ошиблась. Вся молодежь наперерывъ увивалась за Настей, даже Егоръ Егоровичъ не выдержалъ и сдѣлалъ нѣсколько комплиментовъ молодой дѣвушкѣ. Но пристальнѣе всѣхъ слѣдилъ за Настей двоюродный братъ Ольги Давыдовны, Петръ Петровичъ Пастуховъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, прекрасно сохранившійся, несмотря на нѣсколько излишнюю полноту. Онъ держался прямо, нѣсколько надменно, корчилъ изъ себя англичанина. Директоръ банка, коммерціи совѣтникъ, богачъ, онъ игралъ видную роль среди биржевого купечества, состоялъ гласнымъ думы, членомъ разныхъ благотворительныхъ учрежденій и любилъ небрежно выставлять на видъ свои крупныя связи, свою близость къ разнымъ титулованнымъ лицамъ. Съ ними связь у него была или денежная, или по части благотворительности. Вращаясь среди важныхъ лицъ, онъ научился держать себя въ обществѣ и слѣдовать золотому правилу меньше говорить, чтобы рѣже попадаться впросакъ. Сластолюбецъ въ душѣ, онъ былъ задѣтъ за живое красотой Насти и, сохраняя серьезный видъ, слѣдилъ пристально за нею. Егоръ Егоровичъ давно уже наблюдалъ за нимъ и, наконецъ, подошелъ къ нему.

— А какова, дядя, молоденькая Зубкова?—спросилъ, лукаво улыбаясь, Егоръ Егоровичъ.

Дядя развелъ только руками.

— Изъ гарема, что ли, они ее похитили,—проговорилъ онъ.—Что за глаза.

— Да-съ, съ поволокой, точно южная истома въ нихъ отражается. А плечи? А руки? Мраморъ каррарскій! Вотъ бы вамъ стариной тряхнуть.

Дядя обидѣлся.

— Ну, братъ, старости-то въ пятьдесятъ лѣтъ не бываетъ. Вы, молодые, нынче хуже стариковъ потрепаны.

— Что говорить! Вырождаемся!

— Именно вырождаетесь!

Онъ молодцовато вытянулъ грудь.

— Я тебя одной рукой подниму!

— Еще бы, грузъ не большой. Мнѣ васъ ужъ, конечно. не поднять и двумя руками.

Пастуховъ съ пренебреженіемъ взглянулъ на него.

— Такъ какъ же, честнымъ пиркомъ и за свадебку? Хотите посватаю?

Петръ Петровичъ принялъ серьезное выраженіе лица:

— Такими вещами не шутятъ!

— А вѣдь сознайтесь, хочется? Недаромъ вы не разъ спрашивали о ней, о ея лѣтахъ.

Дядя пожалъ плечами.

— Я даже и не помню, спрашивалъ ли я объ этомъ когда-нибудь...

И чѣмъ спокойнѣе онъ говорилъ, тѣмъ болѣе развивались въ его головѣ сластолюбивыя представленія. Ему только хотѣлось отдѣлаться отъ племянника, чтобы избѣжать подшучиваній. Онъ, какъ и всѣ въ домѣ Вощининыхъ, всегда стѣснялся Джоржа. Очень ужъ привыкъ Джоржъ вышучивать всѣхъ и все, а для немолодыхъ положительныхъ людей это страшнѣе всего. Заставивъ племянника упорнымъ молчаніемъ прекратить разговоръ, Петръ Петровичъ постоялъ нѣсколько минутъ на томъ же мѣстѣ, наблюдая за танцующими, потомъ какъ бы безъ цѣли пошелъ бродить по комнатамъ. Онъ ходилъ изъ одной комнаты въ другую, какъ бы сбивая гончую со слѣду, и наконецъ, вѣроятно, случайно очутился съ глазу на глазъ съ Софьей Андреевной.

— А я все любовался вашей внучкой!—проговорилъ онъ, садясь на кресло около старухи, и небрежно началъ перелистывать лежавшій на столѣ альбомъ.

— Ахъ, Петръ Петровичъ, это моя жизнь, божество мое!—

пѣвуче заговорила старуха.—Ею я только и живу. Небесная красота и ангельское сердце. Кротка, добра, почтительна...

Пастуховъ наставительно сказалъ:

— Это дѣлаетъ честь ей и ея родителямъ.

— Я, я, Петръ Петровичъ, душу свою на нее положила, какъ зѣницу ока, ее оберегаю отъ всего этого нынѣшняго. Вы знаете, что нынче за дѣвушки. Своевольныя, заносчивыя, всезнайки. А она, мой ангелъ, чистою осталась, какъ хрусталь.

Онъ отодвинулъ альбомъ, вытянулъ ноги, положивъ одинъ носокъ на другой, облокотился на ручки креселъ и сдвинулъ вмѣстѣ въ воздухѣ пальцы рукъ, слегка постукивая ими другъ о друга.

— Да, теперь дѣвушки опытнѣе иныхъ женщинъ,—произнесъ онъ глубокомысленно.—Невинности, наивности больше не существуетъ. Грустное время, жалкое молодое поколѣніе!

Онъ слышалъ среди своихъ важныхъ знакомыхъ эти фразы и повторялъ ихъ съ охотой, хотя лично для него время было вовсе не грустнымъ, а до молодого поколѣнія ему не было вовсе никакого дѣла, такъ какъ биржевыхъ оборотовъ оно съ нимъ не вело. Съ тѣмъ же степеннымъ видомъ, хотя съ грязненькими и сальненькими помыслами, онъ продолжалъ:

— Вотъ теперь и ваша внучка попадаетъ въ эту среду, такъ какъ она барышня уже, и, можетъ-быть, узнаетъ многое, отъ чего охраняли ее. Дурное прививается легко, доброе растетъ медленно.

Это изреченіе понравилось ему самому, и онъ повторилъ его:

— Да, доброе растетъ медленно, дурное прививается легко. Молодежи нужны постоянные руководители, заступники, охранители, чтобы научить ее, указать ей, оградить ее. Конечно, молодежь не всегда поддается на это, иногда отталкиваетъ протягивающуюся къ ней руку...

Какъ только рѣчь дошла до руки, Софью Андреевну словно что-то озарило. Она даже задвигалась на своемъ мѣстѣ отъ внутренняго волненія... «Батюшки, не женихъ ли? Да онъ вдвое богаче Егорашки. Ахъ, ты, Господи, не упустить бы его. Помоги, Создатель». Она прерывающимся отъ волненія голосомъ проговорила:

— Нѣтъ, вы моего ангела не знаете! Она только мнѣ и говоритъ: «бабушка, кто замѣнитъ мнѣ васъ, когда васъ не будетъ!» Она вѣдь съ молодежью-то и не сходится, и не видитъ никого изъ молодежи. Вотъ здѣсь три-четыре раза была на вечерахъ, и то черезъ силу я вытащила...

Въ эту минуту къ нимъ подошла Настя.

— Настюша, а мы вотъ о тебѣ говорили тутъ. Петръ Петровичъ хвалилъ тебя,—нѣжно сказала бабка.

Настя вся вспыхнула и сконфузилась.

— Меня? За что же?—растерянно спросила она.

Пастуховъ пожиралъ ее глазами, и широкая улыбка расплылась по его лицу.

— Наивное дитя мое!—съ пафосомъ воскликнула бабка и привлекла ее къ себѣ для поцѣлуя.

Звонкій поцѣлуй Насти отозвался въ сердцѣ Пастухова. Онъ дорого бы далъ, чтобы этотъ поцѣлуй коснулся его.

— Вы очень веселитесь?—спросилъ онъ молодую дѣвушку.

— Да, мнѣ весело,—сказала она просто.—Такъ рѣдко приходится выѣзжать на балы

— А они вамъ нравятся?

— Мнѣ все нравится, гдѣ люди веселы, счастливы, беззаботны.

— Ангелъ, ангелъ!—восторженно воскликнула бабка.—Ее радуетъ веселье и счастье другихъ!

Софья Андреевна уронила платокъ. Пастуховъ и Настя разомъ нагнулись за нимъ и почти столкнулись головами. Когда Пастуховъ поднялъ голову, его лицо было красно и онъ тяжело перевелъ духъ. Въ залѣ заиграла музыка, Настя пошла туда, а Софья Андреевна опытными глазами впилась въ Петра Петровича, стараясь прочитать происходившее въ его душѣ. Она понимала, что теперь добыча въ ея рукахъ. «Егорашка-то въ дуракахъ останется. И подѣломъ ему! Прозѣвалъ лакомый кусокъ. Близокъ будетъ локоть да не укусишь». И рядомъ съ этими злыми мыслями мелькало набожное моленье: «Господи, спаси, благослови моего ангела! Исполни молитву грѣшной рабы Твоей. Все мое упованіе на Тебя возлагаю». Пастуховъ между тѣмъ откинулся на спинку кресла и впалъ въ сентиментальное настроеніе:

— Да, да, молодежь веселится, а мы вотъ, старики...

— Это вы-то старикъ?—воскликнула Софья Андреевна.

— Все же, сорокъ съ хвостикомъ,—убавилъ онъ себѣ года.

— А силами помѣряетесь съ десятками юношей?

— Это что говорить! А все же встань я и какой-нибудь молокососъ передъ молодой дѣвушкой—на комъ ея выборъ остановится?

— Какая дѣвушка, Петръ Петровичъ. Изъ «нынѣшнихъ», у которой одно легкомысліе на умѣ, та, разумѣется, за мальчишку ухватится. Но не всѣ же такія...

Она вздохнула.

— Впрочемъ, тѣмъ-то, порядочнымъ да честнымъ, и выбирать не приходится. Кто ихъ замѣтитъ, когда онѣ сами на шею не вѣшаются никому. Имъ и вѣкъ-нѣковать придется въ дѣвушкахъ. Не по нынѣшнимъ временамъ онѣ теперь.

— Ну, это еще вопросъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, я вотъ хоть относительно своей Настюши скажу. Ей такъ и суждено остаться незамужницей. Я и не думаю объ этомъ. Сама она никому въ объятія не бросится, богатства у нея нѣтъ, пококетничать не умѣетъ, противно ей самой заискивать. Впрочемъ, что-жъ дѣлать, скоротаетъ свой вѣкъ какъ-нибудь...

Онъ сдѣлался совершенно серьезенъ.

— Да вы напрасно отчаиваетесь!—сказалъ онъ и поднялся съ мѣста.

Онъ выпрямился и съ достоинствомъ проговорилъ Софьѣ Андреевнѣ:

— У меня есть одинъ планъ. Прежде всего мнѣ было бы нужно посовѣтоваться съ вами. Дѣло серьезное, и я надѣюсь, что оно останется между нами.

— Я къ вашимъ услугамъ, добрѣйшій Петръ Петровичъ,— заискивающе отвѣтила старуха, тоже поднимаясь съ мѣста.— А что касается до того, что дѣло останется между нами, такъ я человѣкъ стараго закала, дѣловой, и болтать даже о своихъ дѣлахъ не люблю.

Онъ взялъ ея руку и крѣпко пожалъ ее.

— Значитъ, можно будетъ какъ-нибудь зайти къ вамъ?

— Милости просимъ! всегда буду рада!

XXIV.

— Безприданница ты моя! Невѣста моя! Красавица писанная!—всѣ эти эпитеты посыпались на Настю въ эту ночь, когда она осталась одна съ бабкой.

Молодая дѣвушка раздѣлась и легла, но ей не спалось. Балъ, танцы, счастье Лиды, мысль о томъ, что для нея, для Насти, опять настаютъ будни, не давали ей уснуть. Она смотрѣла въ пространство, на образа въ кіотѣ, передъ которыми теплилась лампада, и грустно думала о будущемъ. Бабка тоже не спала. Наконецъ старуха не выдержала, поднялась, надѣла на босую ногу туфли и перешла къ кровати внучки:

— Не спишь, радость моя?—ласково спросила она, присаживаясь на постель.

ѣть, бабушка!—отвѣтила, очнувшись отъ думъ, Настя.
я не сплю, все о тебѣ думала. Хорошо бы тебѣ
ли бы вдругъ сдѣлаться богатой. Домъ свой, эки-
ошади, брильянты. Не такіе бы балы стала зада-
о захотѣла, то и дѣлала бы.
руха нарисовала передъ внучкой цѣлую картину
тельной жизни среди блеска и роскоши. У Насти
) билось сердце, а на глаза навертывались слезы
анія, что все это только праздныя мечты. Никогда
хелала такъ богатства, какъ теперь.
могло бы все быть, все могло бы быть, если бы не
ъ и мать,—закончила со вздохомъ старуха.—Они
я сна сегодня лишили. Задумалась я о твоемъ
а они и встали передъ глазами—стѣной между то-
имъ счастьемъ встали.
даже испугалась и приподнялась на локтѣ.
ıа и мама? Какъ это, бабушка?
а опять тяжело вздохнула.
ь, Настюша, такой человѣкъ, хорошій, добрый, бо-
иличный, который душу бы тебѣ отдалъ, все бы
ъ. А тебѣ придется отказаться отъ него, потому
ные наши Елена Васильевна да Иванъ Николае-
лаютъ, чтобы ты за нищаго вышла замужъ, за ка-
ь поврежденнаго учителишку. У насъ вѣдь только
ювѣкъ, кто учительствуетъ.
юйду я за учителя!—рѣзко отвѣтила Настя.
! Не пойдешь! А за кого-нибудь другого они не

шка, да я же не маленькая! Какъ же можно

асильно, дитя, а уговаривать начнутъ, съ толку
ои глупые резоны представлять.
ротко и рѣшительно спросила бабку:
ıа меня сватается?
ховъ, Петръ Петровичъ!
ɜ чѣмъ успѣла Настя что-нибудь сказать, бабка
хвалять жениха: солиденъ, съ положеніемъ въ
шно богатъ, добръ, влюбленъ.
твои родители скажутъ: «старъ!» Это ужъ по-
ово. Мужчина—король, ни одного сѣдого волоса,
ятерыхъ, всякаго молодого за поясъ заткнетъ,
ь какой-нибудь молокососъ и не сумѣетъ лю-
скажутъ: «старъ!» Извѣстно, надо же найти

отговорку, Егорашка посватался бы, сказали бы: «молодъ». У насъ лишь бы за бѣднаго ты вышла, а не за богатаго.

— За бѣднаго я не выйду!—опять рѣшительно замѣтила Настя.—Довольно нищихъ и безъ меня.

Бабка продолжала:

— Конечно, Петръ Петровичъ и не станетъ гласно свататься. Мнѣ онъ скажетъ, а я откажу,—со слезами откажу, а все же откажу.

Настя испугалась.

— Какъ же откажете?

— Голубка ты моя, да развѣ можно нанести ударъ такому человѣку оглаской. Я откажу—никто и не узнаетъ. А если я соглашусь, а потомъ тебя заставятъ отказать ему—вѣдь это для него ударъ будетъ, обида. Не перенесетъ онъ...

Настя покачала головой и попрежнему рѣшительно сказала:

— Я, бабушка, не откажу.

— Заставятъ отказать! У нихъ языкъ-то безъ костей, найдутъ резоны, уговорятъ...

Настя усмѣхнулась:

— Бабушка, развѣ я ихъ не понимаю? Дѣти они, неопытныя дѣти! Сами не знаютъ, въ чемъ счастье. Я ужъ все понимаю, я все понимаю! Я очень, очень ихъ люблю и для ихъ же счастья не послушаюсь ихъ. Я знаю, папа растеряется, мама строго станетъ внушать, что не слѣдуетъ такъ дѣлать. Пусть! Потомъ сами увидятъ, что лучше станетъ. Я за послѣднее время измучилась, глядя на маму. Докторъ говорилъ: отдыхъ нуженъ, спокойствіе, уѣхать на югъ. А она—до послѣдняго дня, пока не свалилась, учила меня и дѣвочекъ...

Она вдругъ оживилась:

— О, эти дѣвчонки! Всю жизнь, всю жизнь я только и видѣла, что ихъ мама учитъ, только и слышала, что о новыхъ методахъ, о новыхъ учебникахъ. Господи, что за тоска! И мама, и папа только этимъ и жили. Иногда мнѣ кажется теперь, что мама и любила меня по педагогикѣ.

Она закрыла руками лицо и заплакала.

— Я дурная, дурная дѣвчонка, но что же мнѣ дѣлать, если эта жизнь противна мнѣ, если меня душитъ среди этихъ толковъ объ ученьи, среди этихъ учащихся, среди этихъ учащихъ! На что это? Что знаетъ Лида? А развѣ она не счастлива? Что знаетъ Саввушка? А развѣ онъ не веселится по-своему? А мы: я и братъ, съ колыбели насъ

готовили въ няньки, въ воспитатели, въ учителя къ другимъ дѣтямъ. Братъ полюбилъ ученье, ему было весело учиться, потому что онъ бѣгалъ въ училище, школьничалъ, а я—я вѣдь дома сидѣла, мнѣ наука не легко давалась, я поздно стала развиваться...

И, порывисто обнимая бабку, она воскликнула:

— Бабушка, милая, да не только за Пастухова пойду—я за старика бы пошла, лишь бы жить иначе!

И впервые въ ея рѣчахъ прозвучала не дѣтская горечь:

— Молодые-то изъ богатыхъ, въ родѣ Егора Егоровича, вѣрно и вниманія не обратятъ на бѣдную дѣвушку...

Бабка оживилась.

— А! теперь еще онъ потужитъ!—со злобой сказала она.—Пока жениховъ не было у тебя, могъ ломаться, а теперь зависть разберетъ. Ну, да на себя неняй, если прозѣвалъ.

— Можетъ-быть, онъ и не любилъ никогда,—вздохнула Настя и заговорила о Пастуховѣ.—Добрякъ? Богатъ? Какъ живетъ? Правда, что онъ вдовецъ? Давно ли умерла его жена? Когда онъ женится?—Вопросамъ не было конца.

Только подъ утро уснули бабка и внучка...

Ни Зубковъ, ни Зубкова не знали, что дѣлалось за ихъ спинами. Простые честные люди рѣдко подозрѣваютъ то, что дѣлается за кулисами интриганами, пронырами и дѣльцами. Послѣдніе снимаютъ съ себя маску, когда уже успѣютъ все подготовить для своей добычи. Только Маша услышала мелькомъ отъ Насти, что за послѣднюю сватается богачъ Пастуховъ. Маша бросилась съ слащавой улыбкой цѣловать подругу, а въ душѣ у нея пробудилась цѣлая буря злости, зависти, горечи за свою судьбу. Всѣ выходятъ замужъ: «Лидка выскочила, Настюшка выходитъ, Ольга подцѣпитъ жениха—Ванечку на себѣ женитъ. Одна она, Маша, останется въ дѣвкахъ. Елена Васильевна, конечно, не станетъ тогда содержать у себя ее. Чего ей? Учила дѣвочекъ ради Насти, держала Машу ради компаніи для Насти. Тогда иди на всѣ четыре стороны. Опять въ свою семью придется вернуться. Да избави Богъ. Лучше петлю на шею надѣть. Господи, хоть бы кого-нибудь подцѣпить!» Ее охватило теперь одно желаніе — желаніе подцѣпить жениха. Ея лицо приняло какое-то особенное выраженіе хищничества, точно она хотѣла кого-то ограбить...

Наступала уже осень, когда въ одинъ прекрасный день Настя мелькомъ съ необычайною храбростью замѣтила матери:

— Мама, мнѣ сдѣлали предложеніе...

Мать съ удивленіемъ посмотрѣла на нее.

— Предложеніе? Какое?

— За меня сватается Петръ Петровичъ Пастуховъ.

Елена Васильевна разсмѣялась.

— Дѣвочка, тебѣ еще прежде доучиться надо.

— Но, мама...

Елена Васильевна серьезно и немного строптиво остановила ее:

— Полно глупости говорить! Тебѣ еще надо думать объ урокахъ, а не о женихахъ... .

Настя собралась съ силами и твердо сказала:

— Я дала слово.

— Что? — воскликнула Елена Васильевна, совершенно растерявшись, и тотчасъ же съ негодованіемъ прибавила:— Что значитъ твое слово—слово ребенка?

— Мнѣ семнадцать лѣтъ, восемнадцатый скоро пойдетъ...

Зубкова, не слушая ея, продолжала:

— Я только удивляюсь этому господину. Говорить съ ребенкомъ о такихъ вещахъ, не спросивъ родителей! Это просто наглость!

— Онъ же, мама, на мнѣ женится и прежде всего нужно мое согласіе.

— Не говори глупостей!

— Кромѣ того, онъ говорилъ съ бабушкой...

— А!—проговорила Зубкова, вдругъ понявъ все.—Такъ вотъ это откуда идетъ! Ну, я тебя попрошу забыть это и никогда не говорить объ этомъ. Слышишь? Кончишь курсъ, выдержишь экзаменъ, будешь совершеннолѣтней—тогда дѣлай, что хочешь.

И болѣе мягко она добавила:

— Во всякомъ случаѣ, дитя, немолодой человѣкъ тебѣ не пара; притомъ онъ богачъ и выйти за него безъ любви значило бы продать себя.

— Я его люблю, онъ добрый и ласковый.

Елена Васильевна сдѣлала движеніе рукой, останавливая дочь.

Она старалась казаться покойною, тѣмъ не менѣе въ ея душѣ была страшная тревога. Горькое чувство негодованія на мать поднялось въ этой душѣ. Какъ не стыдно старухѣ соблазнять «ребенка». Хорошъ и этотъ господинъ: видитъ, что Настя дѣвочка, а сватается за нее. О, будь проклятъ тотъ день, когда они сблизились съ семьей Во-

щинина! Ваня чуть не продался Лидіи; Настя увлеклась блестящей жизнью и ради благъ жизни готова выйти за старика. Да, чтобы сохраниться чистыми и честными, нужно жить подальше отъ этихъ представителей мишурнаго блеска. Это какая-то засасывающая трясина. Охваченная тревогой, она цѣлый вечеръ проговорила объ этомъ со своимъ мужемъ. Онъ тоже встревожился и, потирая руки, заходилъ по комнатѣ.

— А что если Настя будетъ упорствовать? — наконецъ спросилъ онъ.

— Господи, да на что же мы, опытные, серьезные люди, если не на то, чтобы дать совѣтъ, наставить на путь истины, выяснить все неопытной юности. Разумѣется, не насиліями и не проклятіями удержимъ мы ее отъ этого несчастія, а выяснимъ все, что ждетъ ее.

Онъ какъ-то глухо, сквозь зубы проговорилъ:

— Что ждетъ ее? Ждетъ богатство. Это она и безъ насъ знаетъ.

Елена Васильевна разгорячилась:

— Что съ тобою? Не одно богатство ждетъ ее, а тысячи нравственныхъ мученій, обманутыхъ надеждъ...

Онъ остановилъ ее:

— Леля, мы-то все это знаемъ оба; знаемъ все, что можетъ ее ждать, а она, дѣвочка, пойметъ одно, что она будетъ богата и будетъ жить не нашей сѣренькой жизнью...

— Да за кого же ты ее считаешь, за пустую, вѣтреную, нечестную дѣвочку? Или мы не сумѣли развить въ ней хотя бы задатковъ добра, сдѣлали не все для того, чтобы она не стремилась стать простой свѣтской куклой, чтобы она не была способной торговать собою?..

Онъ опять остановилъ ее.

— Голубка, я въ ней не сомнѣваюсь, но...

Онъ тяжело вздохнулъ, точно ему трудно было высказать то, что онъ собирался сказать.

— Вѣдь мы же пошли сюда, чтобы спасти ее отъ смерти? Она этого не забыла, можетъ-быть. Какъ знать, какіе выводы сдѣлала ея дѣтская головка тогда...

Елена Васильевна остановилась передъ мужемъ, чувствуя, что у нея начинается схватка въ сердцѣ.

— Такъ что же, по-твоему, надо согласиться, чтобы она вышла за старика?

Онъ развелъ руками.

— Надо сдѣлать все, чтобы отвратить эту бѣду... Но... видишь ли...

Онъ замялся.

— Въ успѣхъ этого я не вѣрю, — закончилъ онъ печально.

Она не могла болѣе говорить и опустилась на стулъ.

— Дай воды!—сказала она упавшимъ голосомъ. — Охъ, мое сердце, мое бѣдное сердце!

Онъ засуетился около нея, наливая ей воды, успокаивая ее.

Между матерью и дочерью началась глухая борьба. Елена Васильевна старалась выяснить дочери невозможность ея брака съ Пастуховымъ; Настя упорно стояла на своемъ и въ этомъ случаѣ ясно сказалась наслѣдственность характера: она была тверда, какъ была тверда когда-то Елена Васильевна, какъ была тверда Софья Андреевна. Хуже всего было то, что всѣ доводы Елены Васильевны разбивались о неумолимую логику неопытнаго ребенка.

— Не въ деньгахъ счастье, Настя,—говорила мать.

— А въ чемъ же? Безъ денегъ, мама, я бы давно лежала въ могилѣ. Да и ты при деньгахъ скорѣе бы выздоровѣла,—отвѣчала дочь.

— Идти замужъ безъ любви значитъ продаться за деньги,— говорила мать.

— Я его люблю, — отвѣчала дочь: — онъ добрый и ласковый.

— Да развѣ это любовь?

— А что же это?

— Онъ состарѣется, когда ты еще будешь молода, и ты его разлюбишь.

— Да вѣдь ты же и теперь любишь папу, хотя онъ состарился.

— Я никогда не соглашусь на этотъ бракъ.

— Ты же сама вышла замужъ противъ воли бабушки. Вѣдь и бабушка говорила тебѣ, что ты будешь несчастна, а ты вышла за папу и счастлива...

Елена Васильевна теряла голову и, къ несчастію, не могла долго говорить съ дочерью. Болѣзнь сердца давала себя знать въ минуты волненія. Тогда дочь ласкала ее и нѣжно говорила:

— Ты, мама, сама будешь здорова, когда у меня будутъ средства.

— Я на чужой счетъ никогда не жила!

— Да развѣ я тебѣ чужая?

— Не ты чужая, а онъ чужой.

— Онъ будетъ моимъ мужемъ.

Иногда же дочь сама задавала вопросы.

— Ну, не выйду я за него. Что же дальше? Приготовиться и идти въ гувернантки? Ждать бѣднаго жениха? Терпѣть нужду, какъ ты съ папой терпѣла? Мы вотъ чуть не умерли отъ этой нужды. Мѣсто папа долженъ былъ взять на заводѣ, чтобы спасти насъ. Да это еще что! А если и бѣдный не возьметъ меня?

— Совѣсть будетъ покойна.

— А отчего же папа бросилъ учительскую дѣятельность и пошелъ на заводъ? Чтобы насъ спасти отъ гибели? Да? вѣдь такъ? Я, мама, уже не ребенокъ и все понимаю.

И, такъ сказать, припирая мать къ стѣнѣ, она допрашивала съ безпощадной настойчивостью, чего ей ждать въ будущемъ, если оставить въ сторонѣ замужество вообще, такъ какъ молодой богачъ за нее не посватается, а за бѣднаго она не пойдетъ прибавлять число нищихъ? Роль гувернантки или учительницы безъ любви къ этому дѣлу, безъ сознанія какой-нибудь пользы отъ него, съ вѣчными униженіями со стороны чужихъ, съ вѣчной жизнью впроголодь? Развѣ это счастіе?

— Да я, мама, и не буду учительницей,—говорила она.— Я ненавижу дѣтей. Они тебя у меня отнимали, папу у насъ отнимали. Вы все съ ними возились, о ихъ пользѣ думали, ради нихъ все книги, учебники читали. Ахъ, какъ они мнѣ опротивѣли!

Елена Васильевна не находила никакихъ возраженій, кромѣ общихъ фразъ, прописныхъ правилъ. Двадцать лѣтъ съ небольшимъ тому назадъ она сама была готова голодать, но отъ роли наставницы не отказалась бы. Какой былъ тогда подъемъ духа! Хотѣлось хоть кому-нибудь принести посильную пользу, такъ или иначе пристегнуться къ общему дѣлу, не спрашивая, выгодно ли это и не сулитъ ли это въ будущемъ бѣдности и лишеній. Такъ поступать можно было только въ то время, когда все наэлектризовывало, толкало впередъ, когда стыдно было подмѣтить въ себѣ не только низкія побужденьица, но даже простую добродушную обломовщину. Теперь же... это было все такъ давно, что Елена Васильевна не находила даже силъ проповѣдывать то, за что стояла когда-то. Съ невыразимой горечью она чувствовала, что ея дѣвочка, въ сущности, права, смотря со стра-

хомъ на свое будущее. Правда, ей нужно было выяснить, что, выходя замужъ за старика, она рискуетъ влюбиться потомъ въ молодого и, быть-можетъ, пасть. Но какъ коснуться этого щекотливаго вопроса, говоря съ ребенкомъ?

— Ты можешь полюбить другого,—замѣтила мать.

— Какъ же полюбить другого, когда я буду замужемъ?—наивно спросила дочь.

Мать, скрѣпя сердце, отвѣтила:

— Любовь плохо разсуждаетъ...

— Да вѣдь тогда же ужъ нельзя будетъ любить, разъ я буду замужемъ.

Надо было объяснить, что можно полюбить и будучи замужемъ, что можно измѣнить мужу, что это и можетъ случиться. Но какое же право имѣла мать подозрѣвать въ дочери способность измѣнять мужу, дойти до паденія?

— Ну, да, когда ты будешь замужемъ, любить другого будетъ уже нельзя и это сдѣлаетъ тебя несчастной на всю жизнь.

— Не понимаю, мама! Этакъ и вовсе нельзя выходить замужъ, боясь, что полюбишь кого-нибудь еще,—разсуждала дѣвочка.

Порою мать просто говорила дочери сердитымъ тономъ:

— Прошу не говорить больше о глупостяхъ!

И сама стыдилась этихъ вспышекъ, сознавая въ то же время, что онѣ не поведутъ ни къ чему. Развѣ сама она послушалась въ былые дни мать? Та тоже говорила ей: «не разсуждай», и даже угрожала «проклятіемъ», но она поставила на своемъ и вышла замужъ за Зубкова. И ея дочь выйдетъ...

XXV.

Въ это время семейныхъ распрей и горькихъ сценъ была и радость въ семьѣ Зубковыхъ: вернулся Ваня. Его трудно было узнать: онъ возмужалъ, загорѣлъ, обросъ бородой. Радость при его возвращеніи была общая, и онъ самъ былъ радъ больше всѣхъ, вернувшись въ родное гнѣздо. Два съ половиной мѣсяца разлуки прошли для него не даромъ: онъ увидалъ многое, пожилъ въ деревнѣ, въ чужой семьѣ, среди новыхъ впечатлѣній. Какъ это всегда бываетъ, онъ сразу замѣтилъ сильную перемѣну во всѣхъ домашнихъ: встрѣчаясь съ ними ежедневно, онъ почти не замѣчалъ измѣненій въ ихъ физіономіяхъ; теперь ему бросились въ глаза новыя черты—мать страшно похудѣла, стала почти сѣдая,

лицо приняло какой-то землистый оттѣнокъ; отецъ постарѣлъ тоже, сгорбился, полысѣлъ еще болѣе, нервность уже дошла до подергиваній въ лицѣ; Настя совсѣмъ развилась, сформировалась и была озабоченно-серьезна; что-то странное и непонятное подмѣтилъ онъ въ Машѣ, сдѣлавшейся особенно суетливою, точно ускользавшею отъ наблюденій и терявшеюся отъ страха; только Ольга Петрова нисколько не измѣнилась, была попрежнему ровна, дѣятельна и серьезна. Пораженный перемѣнами во всѣхъ окружающихъ, молодой Зубковъ былъ еще болѣе пораженъ новостями. Для него были новы и извѣстія о болѣзни матери, и толки о предложеніи Пастухова и, наконецъ, замѣчаніе Ольги Петровой, что она рѣшилась готовиться въ фельдшерицы и пройти курсъ акушерства.

— Что такъ вдругъ рѣшили?—спросилъ онъ мелькомъ.

— Да болѣзнь вашей матери навела на эту мысль. Увидала я, что я способна на это дѣло: не теряюсь, не суечусь безъ толку, исполняю аккуратно, что нужно. Ходила за нею и чувствовала себя, какъ рыба въ водѣ. Вѣрно это мое призваніе.

Онъ замѣтилъ:

— Вы и прежде охотно возились со своими ребятишками дома, когда нужно было купать и холить ихъ.

Она кивнула утвердительно головой.

— Такъ вы одобряете мое рѣшеніе?—спросила она.

— О, да! Тѣмъ болѣе, что я встрѣтилъ въ деревнѣ или, вѣрнѣе сказать, въ сосѣднемъ съ деревней городишкѣ одну оригинальную личность.

И онъ серьезно сталъ разсказывать объ этой личности. Это была старуха-акушерка. У нея въ городѣ былъ крошечный домикъ. Безъ всякихъ средствъ она устроила у себя пріемный покой. Всѣ бѣдныя бабы находили у нея пріютъ. Мало того, она ухитрилась еще принять на воспитаніе сироту-дѣвочку. Какъ и чѣмъ она жила—трудно даже сказать.

— Я съ ней говорилъ объ этомъ предметѣ, — разсказывалъ молодой Зубковъ:—она только смѣется: «Много ли такому старому хрѣну, какъ я, надо? Когда ужъ совсѣмъ голодно, такъ что и больныхъ не на что покормить—иду по добрымъ людямъ, всегда кто-нибудь найдется, что дастъ. Нынче вотъ даже за добродѣтели свои удостоилась пенсіи отъ земства. На собраніи предложили давать мнѣ по десяти рублей въ мѣсяцъ въ награду за полезную дѣятельность. И то хлѣбъ...»

И задумчиво онъ прибавилъ:

— Это лѣто оставило во мнѣ глубокій слѣдъ. Очень ужъ мы гонимся здѣсь за удобствами, развлеченіями, удовольствіями и создаемъ себѣ несчастія ради пустяковъ. Мало того, подлецами мы становимся именно потому, что все усложняемъ свои потребности...

Передавая ей свои наблюденія и впечатлѣнія, говоря, что онъ за лѣто вынесъ хорошій урокъ, онъ мелькомъ замѣтилъ:

— А это я вамъ обязанъ.

— Какъ такъ?

— Да вы же надоумили меня ѣхать!

— А!—проговорила она и перешла къ другой темѣ, интересуясь мелочами, пережитыми и перечувствованными имъ.

Въ одинъ изъ первыхъ вечеровъ послѣ его пріѣзда, Иванъ Николаевичъ вернулся изъ своей конторы крайне возбужденнымъ и озабоченнымъ. Онъ прошелъ въ комнату сына и, притворивъ за собой дверь, заговорилъ въ волненіи о предложеніи Пастухова.

— Ты вѣдь эту исторію знаешь,—началъ онъ.—Сегодня явилось новое осложненіе.

— Что такое?—спросилъ молодой Зубковъ.

— Александръ и Егоръ Егоровичъ точно сговорились и разомъ затронули этотъ вопросъ.

— Имъ-то что за дѣло?

— Какъ что за дѣло? Пастуховъ имъ родня. Александръ заговорилъ, вѣроятно, подъ вліяніемъ нашей Софьи Андреевны. Это ужъ навѣрно такъ. А Егоръ Егоровичъ... Ну, вѣрно его Пастуховъ настроилъ. Оба убѣждали меня цѣлый часъ.

Онъ заходилъ по комнатѣ и наконецъ рѣзко проговорилъ:

— Чего и убѣждать, когда я ничего не имѣю противъ этого брака! То-есть, гадко мнѣ, что моя дочь выйдетъ безъ любви за пожилого богача. Но... Ну, скажи мнѣ прямо, что я могу обѣщать ей, отговаривая ее отъ этого брака? Что? Не сегодня, такъ завтра я могу свалиться, потерять мѣсто и тогда—нищета тогда ждетъ всѣхъ насъ...

Сынъ молчалъ, подавленный тяжелыми думами.

— Надо же прямо глядѣть въ глаза дѣйствительности,— продолжалъ Зубковъ-отецъ. — Довольно мы жили мечтами, тѣшили себя надеждами на осуществленіе какихъ-то идеаловъ. Теперь надо думать только о кускѣ хлѣба. Конечно, трудно примириться съ этимъ, трудно отречься отъ того, что вошло въ плоть и кровь...

Сынъ неожиданно спросилъ:

— А мать?

Зубковъ махнулъ безнадежно рукою.

— Это-то меня и терзаетъ. Какъ ей сказать? Какъ ее убѣдить? Будь она здорова—другое дѣло. Теперь же это ее окончательно надломитъ.

Сынъ всталъ и началъ ходить рядомъ съ отцомъ.

— Но все же надо ее уговорить. Будетъ хуже, если объ этомъ заговоритъ съ ней бабка. Намъ съ тобой нечего притворяться насчетъ того, на что способна эта женщина. Она можетъ поставить на видъ матери вопросъ ребромъ: или отдайте дочь за Пастухова, или вооружите противъ себя дядю Александра, Егора Егоровича, Ольгу Давыдовну и тогда... адомъ станутъ для тебя отношенія къ этимъ людямъ.

Старикъ махнулъ рукою и, точно подслушавъ сказанную женою фразу, воскликнулъ:

— О, будь проклятъ тотъ день, когда мы сблизились съ этой семьей.

— Да, отецъ, я тоже не разъ это думалъ, въ послѣднее время. Если хочешь быть чистымъ, надо бѣжать отъ этихъ ликующихъ людей, отъ этой вѣчной масленицы...

Онъ оборвалъ свою рѣчь на полусловѣ и заговорилъ о томъ, что нужно во что бы то ни стало уговорить мать. Все равно, Настю не убѣдишь отказаться отъ этого брака. Да если и убѣдишь, то будетъ ли лучше? Мало ли что можетъ угрожать дѣвушкѣ. Мать больна, усмотрѣть за дѣвочкой трудно, отдалить ее отъ бабки, отъ Вощининой, отъ Лиды нѣтъ возможности. А чего онѣ не наговорятъ ей? И отецъ, и сынъ смотрѣли на дѣло одинаково, но ни тотъ, ни другой не чувствовали въ себѣ храбрости разомъ пойти и убѣдить Елену Васильевну. Какое-то непонятное чувство подталкивало ихъ отложить объясненіе; они какъ бы старались умыть руки въ этомъ дѣлѣ, сознавая, что, при всѣхъ логическихъ доводахъ въ неизбѣжности его, оно все-таки вызываетъ въ нихъ брезгливое чувство.

Прошло дня два послѣ этого объясненія.

Былъ воскресный день. Къ Зубковымъ пріѣхалъ Саввушка. Онъ не былъ у Зубковыхъ недѣли двѣ и еще не видалъ молодого Зубкова. Встрѣтивъ его, онъ словно растерялся и, крѣпко пожавъ его руку, глянулъ куда-то въ сторону. Всѣ ѣли за завтракъ, и молодой Зубковъ уже ясно замѣтилъ, что Саввушка противъ обыкновенія молчаливъ и чѣмъ-то

озабоченъ. Молодой Зубковъ спросилъ Саввушку объ его отцѣ. Тотъ коротко отвѣтилъ, что отецъ рѣшительно спился. Уѣхать онъ собирается со своей Анисьей Ивановной въ провинцію. Маленькая пенсія у него есть, въ провинціи прожить можно. Молодой Зубковъ замѣтилъ ему, что еще слава Богу, что у него, у Саввушки, теперь есть жалованье: одному легко прожить на шестьдесятъ рублей, которые онъ получаетъ въ банкѣ. Саввушка заерзалъ на стулѣ, точно желая провалиться сквозь землю. Въ то же время Маша, сидѣвшая опустивъ глаза, поперхнулась и закашлялась. Молодой Зубковъ взглянулъ на нее: она была красна, какъ вареный ракъ. Въ головѣ молодого Зубкова мелькнула мысль: «Что съ ними? Ужъ не влюбились ли?» Но это было только на минуту, и онъ не придалъ никакого значенія этой мимолетной мысли. Послѣ завтрака онъ прошелъ въ свою комнату вмѣстѣ съ Саввушкой и замѣтилъ послѣднему:

— Тебя, повидимому, очень безпокоитъ положеніе отца? Ты самъ не свой.

— А! что мнѣ думать о немъ!—отрывисто отвѣтилъ Саввушка.—Самъ я влопался...

Молодой Зубковъ вопросительно посмотрѣлъ на него.

— Влюбился, что ли? Не рано ли?

Саввушка безнадежно махнулъ рукой.

— Скажи, ты знаешь законы?—спросилъ онъ отрывисто, ходя по комнатѣ и грызя ногти.—Если не совсѣмъ совершеннолѣтній сойдется съ дѣвушкой, могутъ его заставить жениться на ней.

Зубковъ пожалъ плечами:

— То-есть какъ это «не совсѣмъ совершеннолѣтній»?

— Ну, вотъ такой, какъ я. Мнѣ еще не стукнулъ двадцать одинъ годъ...

Зубковъ рѣзко спросилъ:

— Ты это кого же обольстилъ?

— Не я обольстилъ, а навязалась... Чортъ знаетъ, какъ все это случилось!.. Бѣгали по угламъ, по коридорамъ и добѣгались.

Зубковъ всталъ съ мѣста и, охваченный смутной тревогой, спросилъ:

— Съ кѣмъ?

— Съ Машей!

Зубковъ съ силой, точно желѣзными клещами, захватилъ руку Саввушки и въ ярости крикнулъ:

— Здѣсь? У насъ въ домѣ?

— Ну да, а то гдѣ же...

— Подлецъ! подлецъ!

Онъ отшвырнулъ Саввушку отъ себя, какъ какую-то гадину, и заходилъ по комнатѣ. Тысячи разнородныхъ чувствъ: гнѣвъ, обида, отвращеніе поднялись въ его душѣ. Въ головѣ все помутилось. Среди этого хаоса мыслей какой-то тайный голосъ нашептывалъ ему: «Благодари Бога, что это не съ твоей сестрой случилось. Твои старые младенцы, отецъ и мать, не замѣтили бы и этого. Они честные люди и не подозрѣваютъ, что вокругъ нихъ кишатъ подлецы, развратники, интриганы». Саввушка вдругъ опомнился и сталъ оправдываться, пошло, трусливо. Дѣвочка сама вѣшалась ему на шею. Что же, онъ не старикъ. Онъ и самъ вовсе не желалъ бы сходиться съ какой-то нищей.

— Ты женишься на ней!—приказалъ Зубковъ.

- Но...—началъ Саввушка.

- Не разсуждай!—оборвалъ его Зубковъ.—Недостаетъ еще того, чтобы ея родные узнали и подняли скандалъ на весь городъ. Ты сегодня же объявишь, что ты предлагаешь ей руку...

Саввушка попробовалъ что-то возражать. Зубковъ подошелъ къ нему и опять стиснулъ до боли его руку.

— Не смѣй разсуждать, негодяй!

Ему хотѣлось избить этого человѣка. Въ головѣ же снова мелькнула мысль: «о, если бы уйти куда-нибудь подальше отъ этихъ людей, въ глушь, въ провинцію, въ деревню, чтобы жить особнякомъ, далеко отъ столицы». Не обращая вниманія на Саввушку, онъ вышелъ изъ своей комнаты и прошелъ въ кабинетъ отца, весь охваченный волненьемъ. Тамъ сидѣли отецъ и мать. Молодой Зубковъ, стараясь подавить волненіе, присѣлъ и, между прочимъ, заговорилъ, что у нихъ готовится еще свадьба: Саввушка хочетъ жениться на Машѣ. Елена Васильевна улыбнулась.

— Что это ты выдумываешь! Саввушкѣ еще надо на ноги встать. И хороша была бы эта пара—оба бѣдняки.

— Не все же богатымъ однимъ жениться,—сказалъ молодой Зубковъ.—У Саввушки есть жалованье.

— Да ты это серьезно говоришь?—спросила Елена Васильевна.

— Очень серьезно.

— Ну, такъ надо отговорить, образумить ихъ.

Молодой Зубковъ коротко произнесъ:

— Онъ долженъ, мама, жениться.

Елена Васильевна широко открыла глаза. Иванъ Николаевичъ совсѣмъ оторопѣлъ. Молодой Зубковъ рѣшился кончить все разомъ:

— Да, мама, онъ долженъ жениться. Вообще, дорогая моя, теперь трудно усмотрѣть за окружающими насъ, когда мы сами не практичны, довѣрчивы и не способны ни на что скверное.

Елена Васильевна сидѣла, опустивъ на грудь свою посѣдѣвшую голову, по ея щекамъ катились слезы. Сынъ нѣжно обнялъ ее за талью.

— Голубка моя, полно, полно!—заговорилъ онъ.—Пусть ихъ женятся. Пусть Настя выйдетъ замужъ! Что суждено судьбой, того не отвратишь! Ты слаба теперь, папа занятъ, оба вы довѣрчивы, какъ дѣти. Мало ли что можетъ произойти за вашими спинами.

Зубкова, ничего не отвѣчая, чувствуя себя впервые въ жизни дѣтски слабой, безпомощной, продолжала горько-горько плакать, прижавшись головой къ плечу сына. Старикъ Зубковъ ходилъ по комнатѣ и, видя слезы жены, подмигивалъ и качалъ головою сыну, какъ бы поощряя его «ковать желѣзо, пока оно горячо». Ошеломленный новостью о связи Маши и Саввушки, онъ радовался въ то же время, что сынъ свернулъ разговоръ на Настю и сдѣлалъ то, на что не могъ рѣшиться онъ, старикъ. Зубкова молча слушала сына и не протестовала. Въ ея душѣ было странное чувство: ей казалось, что окружающіе могутъ теперь дѣлать все, что имъ угодно, и она пальца о палецъ не стукнетъ, чтобы воспротивиться. Худшаго ужъ ничего не можетъ произойти, чѣмъ то, что произошло; она воспитала и учила чужую дѣвочку и въ ея домѣ эту дѣвочку погубили; она, женщина, не замѣтила даже этого; вѣдь это могли бы и съ ея дочерью сдѣлать, а она даже и подозрѣнія не имѣла бы о томъ, что дѣлается. Ей вдругъ вспомнилась ея мать: та шарила по сундукамъ и комодамъ, даже въ чужихъ домахъ, перечитывала даже чужія письма, подслушивала у дверей и подглядывала въ замочныя скважины,—и какимъ-то не своимъ голосомъ Елена Васильевна сказала:

— Да, пусть выходятъ за кого хотятъ, куда хотятъ, все равно, не усмотрѣть...

Отъ ея тона повѣяло леденящимъ холодомъ, точно она говорила о комъ-то чужомъ, совершенно чужомъ для нея.

XXVI.

Когда въ изящномъ, какъ парижская игрушка, будуарѣ

проснувшись въ полдень и чувствуя легкое утомленіе послѣ вчерашняго бала или пикника, Настасья Ивановна Пастухова болтала иногда съ часто навѣщавшими ее бабушкой Софьей Андреевной или любимой подругой Марьей Андреевной Николаевой, посторонній слушатель могъ бы подумать, что въ этомъ мірѣ нѣтъ ни горя, ни печали, что люди пользуются въ немъ всѣми благами жизни, наслаждаются полнымъ благополучіемъ. Дѣйствительно, самой Настѣ, по ея выраженію, развѣ птичьяго молока только недоставало. Маша хотя и не сдѣлалась богатой, но Настя щедро надѣляла ее своими платьями, и деньгами, и при помощи своего мужа доставила Саввушкѣ лучшее мѣсто въ банкѣ. Саввушка, видя, что жена двигаетъ его впередъ по службѣ, и наслаждаясь по-своему жизнью, то-есть дѣлая себѣ модные пиджаки и покупая пестрые галстуки, совсѣмъ примирился съ своимъ положеніемъ и подпалъ подъ башмакъ жены, называя ее «своей умницей», «своей славной бабенкой». Лида была тоже вполнѣ довольна покладистымъ мужемъ, продавшимъ ей свой графскій титулъ и не требовавшимъ отъ жены ничего, кромѣ той безпечной жизни, къ которой только и стремилась она сама. Софья Андреевна, «обожаемая бабушка», могла только радоваться на своихъ «обожаемыхъ внучекъ», то-есть на Настю и на Лиду, съ гордостью постоянно повторяя, что это именно она устроила ихъ браки. Въ порывѣ благодушія она даже привязалась къ «пріемной внучкѣ», къ Машѣ, такъ какъ никто не цѣловалъ ей такъ горячо и такъ часто рукъ, никто не подставлялъ ей такъ торопливо скамеечекъ и подушечекъ подъ ноги, никто столько не сплетничалъ ей, какъ Маша. Объ Александрѣ Константиновичѣ и Егорѣ Егоровичѣ и говорить было нечего: первый изъ нихъ попрежнему пользовался успѣхами среди женщинъ, хотя теперь эти успѣхи и оплачивались довольно дорого, но онъ уже не скупился на деньги, успѣвъ захватить въ свои руки всѣ женины деньги и получая крупные куши изъ разныхъ акціонерныхъ обществъ; второй оставался все тѣмъ же сдержаннымъ и невозмутимымъ по виду человѣкомъ, находившимъ наслажденіе и въ томъ, что онъ умѣлъ, для своего развлеченія, язвить всѣхъ и каждаго, и въ томъ, что тайкомъ ему при его средствахъ можно было предаваться самымъ чудовищнымъ прихотямъ разврата, не связывая себя ни заботами о другихъ, ни узами серьезной любви, наслаждаясь счастіемъ эгоиста, любящаго только себя, живущаго только для себя, думающаго только о себѣ. Правда, въ

этомъ кругу сытыхъ и благополучныхъ людей была одна личность, вѣчно жаловавшаяся, плачущая, дѣлающая всѣмъ сцены, но про нее говорили всѣ окружающіе, вслѣдъ за Софьей Андреевной, что «это дура», что она «съ жиру бѣсится», что ей пора и за умъ взяться, что ей нужно же остепениться, и при этомъ одни улыбались, другіе смѣялись втихомолку, третьи просто разражались гомерическимъ смѣхомъ. Эта личность была Ольга Давыдовна. И точно, развѣ можно было не смѣяться надъ нею и серьезно считать ее несчастною? Правда, ей измѣнялъ на каждомъ шагу мужъ, но есть годы, когда смѣшно и неприлично продолжать играть роль влюбленной жены. Правда, у нея были отобраны почти всѣ ея деньги, но развѣ она нуждалась въ чемъ-нибудь, развѣ ея домъ не былъ полной чашей, развѣ она не пользовалась попрежнему всѣми удобствами жизни? Смѣшно уже одно то, что она теперь вдругъ сдѣлалась скупою и дѣлала всѣмъ сцены изъ-за лишней горящей въ домѣ свѣчи, изъ-за какого-нибудь потерянаго носового платка, когда ея мужъ сталъ отличаться истинно барскою щедростью, когда заправлявшая всѣмъ въ домѣ Софья Андреевна только и повторяла съ брезгливой гримасой: «ахъ, ужъ эти мелочники-мѣщане, видѣть я ихъ скаредности не могу; ужъ правда говорится, что бариномъ родиться нужно, а изъ хама, хоть въ десяти водахъ его мой, барина не сдѣлаешь». Жизнь всѣхъ этихъ счастливыхъ людей шла вполнѣ правильно: выѣзды по магазинамъ и съ визитами, посѣщенія театровъ и баловъ, пикники и домашніе спектакли чередовались одни другими; иногда во время отдыха, послѣ бурно проведенной ночи, читались газеты или романы съ сладкой зѣвотой и, начатые гдѣ попало, бросались на полусловѣ, сдѣлавъ свое дѣло, то-есть усыпивъ того, кто ихъ читалъ отъ безсильѣя; среди веселья и наслажденій мужья служили, то-есть Пастуховъ и Вощининъ подписывали бумаги, Егоръ Егоровичъ ѣздилъ посмотрѣть на заводъ, больше всѣхъ работалъ Савушка, но и тотъ ходилъ на службу, какъ въ клубъ, показать новый галстучекъ, напиться чаю, поскабрезничать съ сослуживцами, вычитать что-нибудь забавное изъ мелкихъ газетъ и, между прочимъ, исполнить все, что приходилось на его долю въ отдѣленіи ссудъ; женщины, не имѣя уже вовсе никакихъ занятій, играли отъ безсильѣя въ благотворительность, по крайней мѣрѣ Лида и Настя усердно посѣщали собранія какихъ-то двухъ филантропическихъ обществъ и озабоченно совѣщались, какіе наряды сдѣлать для костюмированнаго

бала одного изъ этихъ обществъ и для спектакля другого изъ этихъ учрежденій. На этомъ безоблачномъ жизненномъ небѣ маленькая тучка была только у Насти. Настя иногда посѣщала свою любимую семью и смущалась сѣренькой жизнью этой семьи. Все ей казалось тутъ убого: и стѣны, и обстановка, и люди, и разговоры.

— Ну, какъ поживаешь, папа?—спрашивала она.

Озабоченный, пришибленный, нервно подмигивающій однимъ глазомъ, потирающій руки, Зубковъ отрывисто отвѣчалъ:

— Ничего, ничего! тяну покуда лямку! Старая пѣсня!

Матери Настя начинала разсказывать:

— Вотъ, мама, ты говорила, что богатство лишнее. А мы теперь пріютъ для бѣдныхъ швей открыли. Спектакль домашній устроили въ ихъ пользу.

— Тебя что же больше заинтересовало: пріютъ или спектакль?—спрашивала мать.

— Вотъ вопросы! и то, и другое!

— Что же, ты слѣдишь сама за пріютомъ?

— Я же, мама, не швея; тамъ надзирательница нанята.

Мать не дѣлала болѣе никакихъ замѣчаній: не хвалила дочь, не радовалась открытію пріюта. Давно уже она знала значеніе и цѣну этихъ учрежденій и говорить объ этой игрѣ въ филантропію ей было просто скучно.

— Что это ты, Ваня, совсѣмъ не бываешь у насъ? — спрашивала Настя у брата.

— Некогда, я очень занятъ.

— Ну, нельзя же все учиться! нужно и веселье...

Онъ усмѣхнулся.

— Да я и такъ не скучаю.

Она начинала приставать къ нему.

— У насъ завтра большой обѣдъ. На той недѣлѣ балъ. Пріѣзжай.

Онъ откровенно сознавался:

— Не зови. Не пріѣду. Мнѣ не по карману ваше общество.

— Да что у тебя одежды развѣ нѣтъ порядочной?—спрашивала она, готовясь дать ему на одежду.

— Одежда есть, но для чего я буду ѣздить къ тебѣ, когда ни я, ни моя семья не можемъ поддерживать отношеній съ вашимъ кружкомъ. Если ѣздить самимъ, надо и къ себѣ принимать. На это нѣтъ лишнихъ средствъ.

Настя вздыхала и тихо говорила брату:

— Ахъ, если бы уговорить папу и маму переѣхать ко мнѣ. Мой Петя охотно бы согласился.

— Отецъ на чужой счетъ не станетъ жить, мать тоже,— отвѣчалъ братъ. — Да и не безполезны они здѣсь. Теперь у нихъ больше средствъ помогать другимъ, чѣмъ прежде, такъ какъ ты не требуешь расходовъ, я тоже живу на свои уроки.

Настя передергивала плечиками.

— Ахъ, Ваня, Ваня, я бы на твоемъ мѣстѣ уговорила хоть маму отдохнуть. Она продолжаетъ учить этихъ дѣвчонокъ, набрала еще новыхъ.

— Она и умретъ такъ, дѣлая то, что можетъ дѣлать для другихъ,—сухо отвѣчалъ онъ.—Въ этомъ ея счастье.

Какимъ-то холодомъ вѣяло на Настю отъ семьи. Никто не радовался, слыша ея восторги; никто не разспрашивалъ ее, какъ она веселится. Даже Ольга, бывавшая здѣсь въ воскресные дни, равнодушно слушала Настю и не интересовалась ничѣмъ. Настя какъ-то пригласила ее къ себѣ. Ольга серьезно отвѣтила то же, что молодой Зубковъ, хотя въ другой формѣ.

— Я тебѣ теперь не пара,—сказала она.—Хуже всѣхъ не хочу быть, а тратиться на наряды не могу, да и не для чего. Въ провинціи, гдѣ-нибудь въ деревнѣ щеголять не придется.

— А ты развѣ въ деревню ѣдешь?—съ удивленіемъ спросила Настя.

— Да, вѣроятно, — отвѣтила Ольга. — Хотѣлось бы пріютиться гдѣ-нибудь въ глуши.

— Да вѣдь тамъ съ тоски умереть можно!—воскликнула Настя.

Ольга звонко засмѣялась.

— Мнѣ-то? Да мнѣ вездѣ весело. Веселье во мнѣ самой.

Каждый разъ Настя уѣзжала изъ дома своей семьи или раздраженной, или опечаленной. Почему они всѣ, эти близкіе ей люди, стали такъ равнодушны къ ней? Почему между ею и ими точно что-то оборвалось. Почему ей самой у нихъ уже не просто скучно, а даже неловко? Эти вопросы вертѣлись въ ея головѣ, и она не могла дать на нихъ отвѣта. Не могла она понять и того, какъ могутъ люди жить такою жизнью, какъ ея семья, скучной, однообразной, монотонной. Ну, отецъ и мать — тѣ надломлены, больны, тихо приближаются къ могилѣ, а Ваня, а Ольга — какъ могутъ эти-то люди влачить такую жизнь и не желать лучшей. Она даже и не подозрѣвала, что Ваня и Ольга не только не находили своей жизни скучною, но даже переживали самое

счастливое время надеждъ, мечтаній и упованій, правда, своеобразныхъ, можетъ-быть, бѣдныхъ по содержанію, узкихъ, но тѣмъ не менѣе свѣтлыхъ.

Молодой Зубковъ послѣ поѣздки въ деревню совершенно преобразился; направленіе его ума приняло довольно опредѣленный характеръ. Зима, проведенная имъ въ первый годъ пребыванія въ университетѣ, оставила въ его душѣ глубокій слѣдъ. Пиры, спектакли, обѣды, двѣ-три попойки съ дядей Александромъ и Егоромъ Егоровичемъ, вечеръ, проведенный съ Устиновымъ въ трактирѣ и въ веселыхъ домахъ, эпизоды встрѣчъ съ Лидой, объясненія ей въ любви, минута бурнаго порыва страсти, когда онъ въ какомъ-то опьянѣніи готовъ былъ взять почти силой эту дѣвушку, безумное рѣшеніе жениться на ней и крутой переломъ, происшедшій въ немъ, когда онъ узналъ, что онъ былъ игрушкой въ ея рукахъ, что ей нуженъ былъ иной женихъ, что она за свои деньги покупаетъ себѣ громкій титулъ, все это десятки разъ передумывалось и переживалось въ деревнѣ. «Можно ли избѣжать, живя въ такъ-называемомъ образованномъ кругу въ столицѣ, этого постепеннаго паденія со ступеньки на ступеньку? Можно ли устоять противъ силы этого затягивающаго водоворота, стоя въ серединѣ его? Нѣтъ, это трудно, это невозможно: сегодня невинная дружеская выпивка въ ресторанѣ мимоходомъ; завтра ужинъ послѣ театра; послѣзавтра обѣдъ съ тостами и рѣчами; все это повторяется изо дня въ день, кружитъ и мутитъ умъ, ведетъ къ мелкому грязненькому разврату, къ сальному настроенію ума, къ возбужденію животныхъ чувствъ. Человѣкъ никогда не остается одинъ, съ самимъ собою; онъ почти боится этого, точно, оставшись одинъ, онъ непремѣнно повѣсится отъ тоски и скуки,—и вотъ онъ вѣчно толчется на народѣ,— въ клубѣ, въ театрѣ, въ танцклассѣ, въ ресторанѣ, въ портерной, на Невскомъ. Такъ живутъ всѣ мужчины, никто не видитъ тутъ ничего постыднаго, всѣ смѣются надъ «святошами», «красными дѣвушками» и «цѣломудренными Іосифами» — и брезгливо удивляются, когда кто-нибудь ради этихъ привычныхъ благъ жизни дѣлается казнокрадомъ, взяточникомъ, воромъ, «Альфонсомъ». Что-жъ, можетъ-быть, живущіе иначе люди и точно смѣшны?» Этотъ вопросъ его мало интересовалъ. Гораздо болѣе интересовалъ его другой вопросъ: «Эта столичная жизнь съ мелкой грязцой, съ мелкимъ развратцемъ, превращаясь въ привычку, требуетъ денегъ, денегъ и денегъ. Гдѣ ихъ взять? Работать, какъ волу,

чтобы кутнуть, чтобы удовлетворить свои страсти, прихоти и привычки, то-есть истощать силы на упорную работу и потомъ опять истощать себя на прожиганье жизни? Это нелѣпость. Правда, эту нелѣпость дѣлаютъ всѣ безъ исключенія, и смѣются надъ тѣми, кто не дѣлаетъ такъ. Что же въ томъ? Мало ли глупостей дѣлаютъ люди, мало ли надъ чѣмъ они смѣются. Развѣ непремѣнно нужно идти за этимъ стадомъ? Но этого мало. У кого есть средства или кому повезетъ въ работѣ, тотъ такъ или иначе удовлетворяетъ свои прихоти на честно добытыя деньги. А если этихъ денегъ не хватитъ? Побѣдишь ли, подавишь ли свои привычки? Не станешь ли кривить душой для ихъ удовлетворенія? Сколько людей теряютъ и честь, и совѣсть, и свое достоинство, лишь бы прожигать жизнь? Говоря прямо и откровенно, можно сказать, что только въ видѣ рѣдкихъ исключеній является въ образованной средѣ человѣкъ не покрившій душой, не уронившій себя такъ или иначе ради этихъ «благъ жизни». Да и есть ли исключенія? Это еще вопросъ». Онъ перебиралъ своихъ знакомыхъ, общественныхъ дѣятелей, болѣе или менѣе извѣстныхъ людей. «Многіе изъ нихъ были даровиты, умны, дѣятельны, но съ нравственной стороны это были сущія ничтожества, спустившіяся мало-по-малу въ тину прожиганья жизни, безпечальнаго житья, паразитства насчетъ общества, народа, — одинъ пьяница, другой игрокъ, третій развратникъ. Точно ли они проживаютъ то, что они заслужили своимъ трудомъ? Нѣтъ, если они не грабили ближнихъ, не эксплоатировали никого, то ужъ навѣрное каждому пришлось поступиться чѣмъ-нибудь—гордостью, прямотой, совѣстью, честью, чтобы добиться хоть болѣе крупнаго оклада... для трактирной масленицы». Ему вспоминались отецъ и мать. «Они-то прошли жизненный путь нравственно честными, какъ дѣти. Значитъ, можно удержаться на нравственной высотѣ и въ этомъ омутѣ? Да, но когда эти люди сформировались, отлились въ опредѣленную форму? Во времена всеобщаго возбужденія, подъема духа, стремленія къ идеаламъ. Какіе идеалы теперь могутъ воодушевить, поднять, удержать на нравственной высотѣ человѣка? Наши дни—дни уныныя, печали, безсилія, пессимизма, отчаянія. Лучшіе люди и тѣ заражены этою тряпичностью, дрянностью, гнилостью. Кругомъ какіе-то кастраты мысли, не надѣющіяся на ея плодотворность. Вездѣ раздается одно оправданіе бездѣйствія и апатіи: «чѣмъ хуже, тѣмъ лучше». Скука жизни доводитъ всѣхъ до разгула съ

одной стороны, до самоубійствъ съ другой». Онъ смутно чувствовалъ, что если его коснется это чувство скуки жизни, то онъ пустится въ разгулъ, такъ какъ онъ слишкомъ здоровъ, слишкомъ привязанъ къ жизни, чтобы когда-нибудь наложить самому на себя руки. Въ эти часы одинокаго раздумья, когда онъ, окончивъ занятія съ ученикомъ, бродилъ въ вечернемъ затишьи по полямъ и лѣсамъ, дыша здоровою грудью, въ его головѣ смутно начинала мелькать мысль: «уйти бы сюда навсегда, приняться хоть за крестьянскій трудъ, только бы жить простой, здоровой жизнью». Эта мысль все глубже и глубже залегала въ голову. Кругомъ же начали встрѣчаться люди, которые уже начинали такъ или иначе осуществлять эту мысль, которые, по крайней мѣрѣ, бѣжали уже отъ Вальпургіевой ночи. Пріѣхавъ въ столицу, онъ не безъ удивленія услыхалъ отъ Ольги Петровой, что она избираетъ дѣятельность фельдшерицы и акушерки и тоже говоритъ объ отъѣздѣ въ провинцію, въ деревню. Почему?

— Да тамъ же люди нужны,—коротко и уклончиво отвѣтила она.

Странное что-то появилось въ ея отношеніяхъ къ молодому Зубкову: встрѣтитъ она его — вся раскраснѣется отъ радости; разговоровъ же съ нимъ наединѣ какъ бы избѣгаетъ. Но слова, сказанныя ею объ удаленіи въ провинцію, заставили его настойчиво искать бесѣдъ съ нею.

Съ этого дня между молодой дѣвушкой и молодымъ человѣкомъ опять начались безконечные разговоры, по преимуществу о провинціи, о деревнѣ, о простой жизни. Какъ-то мелькомъ онъ замѣтилъ, что хорошо бы ему сдѣлаться сельскимъ учителемъ. Прикопить бы деньжонокъ и уѣхать куда-нибудь на мѣсто—даже не на мѣсто, а просто купить клокъ земли и избу, а тамъ ужъ что будетъ—посмотримъ... Запастись въ деревнѣ своимъ клочкомъ земли, своей хатой, тогда можно зажить простой, здоровой жизнью, въ сторонѣ отъ теперешней общественной жизни. Здѣсь бѣлки въ колесѣ вертятся и дѣлаютъ видъ, что онѣ совершаютъ плодотворную работу, въ глубинѣ души вовсе не вѣря въ это.

Самое страшное въ этой жизни именно то, что никто не вѣритъ въ плодотворность своего труда, хотя и не сознается въ этомъ. Это ужъ послѣднее положеніе хуже положенія той мухи, которая, сидя на рогахъ вола, говорила: «Мы пахали». Она, можетъ-быть, вѣрила въ свои слова, какъ Хлестаковъ, а нынѣшніе люди, когда они говорятъ: «мы дѣлаемъ плодотворное дѣло», лгутъ съ полнымъ сознаніемъ

того, что они лгутъ. Иногда эти разговоры, оживленные, внѣшнимъ образомъ веселые, со смѣхомъ и остротами, происходили при Еленѣ Васильевнѣ и Иванѣ Николаевичѣ. Странное впечатлѣніе они производили на этихъ людей.

— Меня кстати прихватите хоть въ караульщики, — съ грустной шутливостью замѣчалъ Иванъ Николаевичъ.

— Что это вы всѣ точно о бѣгствѣ толкуете! — нѣсколько раздражительно замѣчала въ свою очередь Елена Васильевна. — Ужъ вы бы лучше на необитаемый островъ переселились.

— А что-жъ, мама, я пожалуй и на это былъ бы готовъ!—шутливо говорилъ молодой Зубковъ.

Мать пожимала съ негодованіемъ плечами.

— Не понимаю я этого желанія суживать свою дѣятельность! Здѣсь есть сотни путей для плодотворной общественной дѣятельности, а тамъ что ты станешь дѣлать? Въ крайнемъ случаѣ грамотѣ учить? На это есть чернорабочіе. мало подготовленные къ другой дѣятельности люди. Кому много дано, съ того много и спрашивается...

Сынъ осторожно возражалъ матери, боясь слишкомъ взволновать ее. Не вѣрить онъ въ плодотворность дѣятельности на тѣхъ поприщахъ, которыя онъ могъ бы избрать здѣсь. Безъ вѣры же, безъ увлеченія трудно приносить пользу обществу. Есть времена, когда приходится дѣлать самое скромное дѣло и благодарить судьбу хоть за то, что на этомъ пути не запятнаешь себя, своей чести и совѣсти компромиссами, сдѣлками, уступками. Мать оскорблялась за сына: онъ не глупъ, даровитъ, образованъ и хочетъ зарыть себя гдѣ-то въ глуши, въ деревнѣ, въ роли мужика. Въ ея время такіе люди, какъ онъ, брались и за учительство, и за юридическую дѣятельность, и въ мировые посредники шли, распространяли извѣстныя идеи, десять дѣлъ за разъ готовы были сдѣлать, чувствуя одно то, что рукъ мало. Она желчно замѣчала:

— Это весталкамъ бы можно оставить убивать молодость, красоту, дарованіе, все на одно поддержаніе священнаго огня!

И съ горькой ироніей прибавляла:

— Плоха же нравственность, если надо замуровывать себя, чтобы не запятнать ее! Плохи люди, если имъ нужно собственными руками замкнуть себя въ тюрьму, чтобы не прорваться воровствомъ!

Сынъ возражалъ, говорилъ все, что передумалъ. Стран-

ное чувство охватывало тогда Елену Васильевну; она сознавала, что онъ во многомъ, если не во всемъ правъ, и глубоко негодовала на все, что онъ ей говорилъ. То же она испытывала тогда, когда Настя говорила ей о своемъ рѣшеніи выйти за Пастухова. Елена Васильевна чувствовала, что для дѣвочки это спасеніе отъ голода, отъ униженій, отъ невзгодъ—и негодовала на ея рѣчи. Хмурясь, сердясь на сына, иронизируя надъ нимъ — она почти съ испугомъ замѣчала, что ея мужъ, опустившійся, сгорбившійся, подавленный, тихо вздыхалъ и уже безъ шутливости произносилъ, похлопывая сына по плечу:

— Эхъ, братъ Ваня, мечты, мечты все это! А хорошо бы отдохнуть хоть годикъ передъ смертью...

— Ну, намъ-то еще нечего объ отдыхѣ думать!—рѣзко говорила Елена Васильевна.—И въ могилѣ успѣемъ отдохнуть, а здѣсь... люди кругомъ помощи просятъ, страдаютъ, гибнутъ, такъ каждый долженъ прежде всего думать о нихъ, а не о томъ, чтобы сибаритствовать... Съ вами заговоришься, такъ и руки опустишь. А у меня еще дѣла по горло...

Она поднималась и блѣднѣла, невольно хватаясь за сердце.

— Что съ тобой?— съ испугомъ воскликнулъ однажды молодой Зубковъ, направляясь къ матери, чтобы поддержать ее.

Она пересилила себя и рѣзко, почти гнѣвно проговорила:

— Что ты?... Оступилась—вотъ и все... Что это вы всѣ нынче какими стали... Такъ вамъ все и кажется, что и сами вы, и другіе люди изъ сахара—растаютъ... Очень ужъ васъ всѣхъ мечты о покоѣ разнѣжили...

И, почти шатаясь, она пошла къ дѣвочкамъ, сидѣвшимъ за уроками...

Отецъ, сынъ и Ольга переглянулись между собою. Старикъ съ выраженіемъ мучительной тоски закрылъ глаза рукою. Молодой Зубковъ прошепталъ ему:

— Полно, отецъ!

— Вотъ бы мнѣ такой быть! — тихо сказала Ольга, глядя заблестѣвшими отъ восторга глазами вслѣдъ Еленѣ Васильевнѣ.

Потомъ она обратилась къ обоимъ Зубковымъ.

— Не станемте болѣе говорить о деревнѣ при Еленѣ Васильевнѣ. Это ее волнуетъ,—сказала она, и шутливымъ бойкимъ тономъ прибавила:—Никогда она не примирится съ тѣмъ что солдаты во время боя только должны быть на полѣ

сраженія, а что въ глухое мирное время имъ самое лучшее мѣсто въ деревенской глуши.

Это было уже позднею весною, когда у молодыхъ людей кончались экзамены. Еще день-два, и они покончили съ этимъ дѣломъ и вздохнули свободною грудью. Деревья, покрывшіяся душистыми листьями, полевые цвѣты, выглядывавшіе изъ сочной травы бѣленькими и желтенькими головками, чириканье и пѣніе птицъ, яркіе солнечные лучи, зеркальная поверхность воды, все манило на воздухъ, въ этотъ міръ воскреснувшей природы. Молодой Зубковъ и Ольга нерѣдко отправлялись вмѣстѣ гулять: садились въ яликъ, переѣзжали Неву и на другомъ берегу заходили далеко, любуясь видами, дыша всею грудью, полные здоровья, бодрости и силъ. Какъ-то разъ, утомясь на прогулкѣ, они присѣли на берегу Невы среди полнаго безлюдья, любуясь раскрывшеюся передъ ними картиной. По дорогѣ они по обыкновенію толковали о разныхъ планахъ на будущее, коснулись своихъ стремленій переселиться въ деревню, замѣтивъ мелькомъ, что Иванъ Николаевичъ тоже съ охотой бросилъ бы службу и переселился бы въ глушь. Прожить тамъ можно. Кое-что у нихъ отложено; Иванъ Николаевичъ при отставкѣ получитъ годовой окладъ; наконецъ у нихъ руки есть, чтобы работать. Присѣвъ на берегъ, они смолкли и задумались, спокойные, полные вѣры въ свое будущее. Первый прервалъ молчаніе Зубковъ. Онъ взялъ руку Ольги и, какъ бы продолжая думать вслухъ, ровнымъ, спокойнымъ голосомъ спросилъ:

— Вмѣстѣ?

Она кивнула головой.

Онъ склонился къ ней и поцѣловалъ ее.

— Славная ты, простая дѣвушка,—прошепталъ онъ.

Она улыбнулась, глядя на него ясными, добрыми глазами.

— Простая и есть. Не барышней росла.

Не выпуская ея руки, ласково сжимая ее, онъ смолкъ. Оба опять смотрѣли въ прозрачную даль.

— Славный сегодня день. Я такъ, такъ счастлива,—тихо прошептала она.

Онъ подмѣтилъ въ ея глазахъ слезы.

— О чемъ?—коротко спросилъ онъ.

— Ужъ очень я счастлива теперь,—отвѣтила она и мягко улыбнулась.—А прошлаго года въ это время...

Она едва замѣтно махнула рукой.

— Что жъ? кончай!—сказалъ онъ.

Она засмѣялась, хотя слезы еще стояли въ глазахъ.

— Думала, что ты никогда, никогда не полюбишь меня... Помнишь, ты былъ влюбленъ? Я же и допросила тебя... Тяжело мнѣ было. И сама не знала: за себя было болѣе тяжело, или за тебя... Уговорила тебя уѣхать... и для себя, и для тебя... А потомъ, когда Елена Васильевна заболѣла, думала я цѣлые часы у ея постели о тебѣ, о себѣ, совсѣмъ духомъ начала падать... Тогда и рѣшила уѣхать въ деревню, поселиться въ глуши, чтобы не видать никого, не слышать ни о комъ...

— И обо мнѣ?

— Да, да, главное о тебѣ...

Она повернулась къ нему лицомъ и заговорила просто, чистосердечно:

— Видишь ли, я простая дѣвушка, бѣдная, некрасивая...

— Ты-то!—воскликнулъ онъ.

Она засмѣялась.

— Это для тебя я, можетъ-быть, теперь красивой кажусь, а такъ-то... что-жъ мнѣ себя обманывать, было бы глупо... Ну, вотъ, тогда я была увѣрена, что никогда, никогда ты меня не полюбишь...

— А ты очень любила?—шутливо спросилъ онъ.

Она застѣнчиво отвернулась.

— Любила!

— И молчала?

Она вся раскраснѣлась.

— Молчала, и теперь не сказала бы. Съ какой стати? Вѣшаться самой на шею—это петлю на себя и на другого надѣвать. Счастія отъ этого нечего ждать.

И, припавъ головой къ его плечу, она тихо стала разсказывать, какъ за послѣднее время росли въ ней надежды на счастье, какъ она и вѣрила, и снова не вѣрила въ его любовь, какъ у нея словно крылья отрастали, когда онъ все чаще и чаще сталъ говорить, что онъ тоже уѣдетъ въ деревню. И въ сладкихъ мечтахъ о будущемъ, она шептала ему, что, можетъ-быть, черезъ долгіе-долгіе годы имъ придется вернуться на это мѣсто, увидѣть эти любимыя ими мѣста и...

— Знаешь ли, тутъ многое перемѣнится; быть-можетъ, все застроится, заселится, вырастетъ новый, гигантскій фабричный городъ, а мы съ тобой не измѣнимся—постарѣемъ, но не измѣнимся...

Они поднялись и медленно пошли въ обратный путь

рука-объ-руку, безконечно счастливые, не мучимые никакими сомнѣніями.

Ихъ отношенія не перемѣнились. Только Елена Васильевна чуткимъ слухомъ матери подмѣтила, что прежде они говорили другъ другу: «вы, Оля», «вы, Ваня», а теперь перешли на «ты». Какъ-то тяжело отозвалось это въ больномъ сердцѣ Зубковой, точно уязвило ея самолюбіе. Она любила и уважала Олю, но теперь, когда у нея мелькнуло въ головѣ подозрѣніе, что Ольга невѣста ея сына, въ ней вдругъ проснулось почти враждебное чувство къ этой дѣвушкѣ. «Узкая, обыденная, вульгарная натура у этой дѣвушки, трезвости въ ней слишкомъ много; недостаетъ ей поэзіи, способности увлекаться широкими идеалами; щей горшокъ да самъ большой—вотъ ея идеалъ; уйти отъ соблазновъ, чтобы остаться чистой, вотъ ея стремленія; это она главнымъ образомъ влечетъ Ваню въ деревню». Мало того, въ головѣ Елены Васильевны стали мелькать даже мысли о томъ, что Ваня—ужъ если его судьба рано жениться—былъ бы счастливѣе съ Лидой: та хоть богата, и онъ сумѣлъ бы переломить ее и употребить ея денежныя средства на разумныя цѣли, а съ этой... землю они пахать станутъ, что ли, затерянные, затертые въ сѣрой массѣ, не поднимающіе народъ до себя, а опускающіеся до него. Несчастная больная женщина сама чувствовала, что она несправедлива къ Ольгѣ, что ея мечты объ употребленіи средствъ Лиды Ваней на широкія цѣли,—пустая фантазія, что въ сущности она, Елена Васильевна, видитъ подъ собою ускользающую изъ-подъ ногъ почву, видитъ окружающій ее мракъ, и хватается за соломинку несбыточныхъ грёзъ.

Она въ сущности умирала и все еще хотѣла жить, работать, приносить пользу наперекоръ всѣмъ и всему. Иногда ея враждебныя чувства къ Ольгѣ отражались въ ея взглядѣ. «Простое, круглое, курносое лицо, безъ всякаго характера», мелькало въ ея головѣ, и она чуть не плакала отъ стыда, когда Оля заботливо и мягко спрашивала ее, видя ея взглядъ:

— Вамъ что-нибудь надо, Елена Васильевна?

— Нѣтъ,—глухо отвѣчала Зубкова и опускала голову.

А въ головѣ носилась мысль: «Ночей не спала, ходила за мной, а я...» И, потрясенная до глубины души, она молилась: «Умереть бы скорѣй». Она пережила все: разочарованіе въ осуществленіи былыхъ идеаловъ, надежду на то, что дѣти пойдутъ по ея дорогѣ, вѣру въ свои силы и,

что хуже всего, она чувствовала, что она перестала быть справедливой къ людямъ...

Какъ-то разъ въ одинъ изъ первыхъ зимнихъ дней къ Зубковымъ заѣхала Настя. Она была какъ-то особенно подвижна въ этотъ день и разсѣянно взглядывала по временамъ въ окно. Спустя полчаса послѣ ея пріѣзда къ Зубковымъ завернулъ Егоръ Егоровичъ. У него было порученіе отъ Софьи Андреевны къ Еленѣ Васильевнѣ. Посидѣвъ минуть десять, онъ спросилъ Настю, куда она ѣдетъ отсюда. Настя, вспыхнувъ до ушей, тихо отвѣтила, что домой. Онъ попросилъ ее подвезти его въ ея каретѣ, такъ какъ у него дорогой испортились сани, и онъ доѣхалъ на заводъ на извозчикѣ. Настя покраснѣла еще болѣе и согласилась. Прошло еще съ мѣсяцъ, и снова Настя и Егоръ Егоровичъ столкнулись случайно у Зубковыхъ. Егоръ Егоровичъ спросилъ Настю, видѣла ли она, какъ онъ передѣлалъ свой домъ. Она отвѣтила, что нѣтъ. Онъ пригласилъ ее взглянуть на домъ. Въ его манерѣ была какая-то особенная фамильярность. Настя казалась испуганной. Они пошли и долго осматривали домъ. Черезъ нѣсколько времени безъ всякой задней мысли Ваня какъ-то случайно замѣтилъ дома, что онъ часто видитъ Настю и Егора Егоровича катающимися вмѣстѣ въ каретѣ и прибавилъ:

— Дѣлать-то вѣрно обоимъ нечего...

Софья Андреевна заѣхала однажды къ Зубковымъ и среди другой болтовни со смѣхомъ замѣтила, что Егорушка-дуракъ прозвалъ «Настюшу», а теперь такъ и льнетъ къ ней. «Ну, да близокъ локоть, а не укусишь». Наконецъ и еще разъ Настя и Егоръ Егоровичъ столкнулись у Зубковыхъ, и совершенно неожиданно среди разговора Настя спросила его:

— Ты домой?

Онъ подмѣтилъ ея обмолвку и нахально улыбнулся.

— Домой,—отвѣтилъ онъ.

Елену Васильевну точно обожгло чѣмъ-то. Она подняла голову и увидала зардѣвшееся румянцемъ лицо Насти и наглую усмѣшку Егора Егоровича, потѣшавшагося случайной обмолвкой молодой женщины и тревогой ея матери. Зубкова хотѣла подняться, чтобы проститься съ дочерью и Егоромъ Егоровичемъ и, почувствовавъ, что ее оставляютъ силы, опустилась опять на мѣсто.

— Мама, ты больна?—воскликнула Настя, видя, что мать поблѣднѣла и не можетъ встать.

— Я... что ты выдумываешь?—раздражительно и рѣзко отвѣтила Зубкова и, сдѣлавъ нечеловѣческое усиліе надъ собой, встала, выпрямившись во весь ростъ.

Настя испугалась выраженія ея лица: оно было холодно, сурово, гнѣвно. Молодая женщина, повидимому, поняла все и пугливо, торопясь, поцѣловала руку матери на прощанье. Елена Васильевна даже не нагнула головы, чтобы поцѣловать ее въ лобъ.

Весь остатокъ этого дня и почти всю ночь провела Елена Васильевна въ тяжелыхъ думахъ, перебирая всѣ мелочи, воскресшія въ ея памяти.

«Что значатъ эти случайныя встрѣчи Насти и Егора Егоровича у нихъ, у Зубковыхъ, кончающіяся отъѣздомъ молодыхъ людей въ каретѣ Насти? Зачѣмъ, съ какой стати ходилъ Егоръ Егоровичъ показывать Настѣ отдѣлку своего дома? Съ чего толковала мать о томъ, что Егоръ Егоровичъ безъ ума теперь отъ Насти? Почему она стала говорить ему *ты*? А ея смущеніе и его наглая усмѣшка?»

Она и вѣрила своимъ подозрѣніямъ, и старалась разубѣдить себя въ этихъ подозрѣніяхъ. Но попытки разувѣрить себя были тщетны. Спросить бы Настю, узнать все навѣрное. Зачѣмъ? Развѣ все не ясно и безъ признанія? развѣ такой человѣкъ, какъ Егоръ Егоровичъ, не пойдетъ на все, чтобы добиться своего? «О, лучше бы она, ея дѣвочка, умерла тогда, когда ея отецъ и мать готовы были на всѣ жертвы ради нея, на всѣ сдѣлки ради нея! Да, лучше бы и всѣмъ умереть тогда!..» Елена Васильевна не могла даже плакать. Она тупо и угрюмо смотрѣла въ пространство, ощущая какую-то пустоту въ сердцѣ. Къ утру она забылась тяжелымъ сномъ и стала бредить подъ вліяніемъ тяжелаго кошмара. Нѣсколько разъ подходила къ ней Оля и не смѣла разбудить ее, хотя былъ уже поздній часъ утра. Наконецъ Елена Васильевна почувствовала, что ее кто-то душитъ и съ слабымъ, едва слышнымъ стономъ открыла глаза. Въ комнатѣ было уже свѣтло, у окна за шитьемъ сидѣла Оля, низко опустивъ голову на грудь. Елена Васильевна остановила на ней свои полупотухнувшіе глаза. Круглое, простое, здоровое лицо дѣвушки было въ эту минуту грустно и задумчиво. Въ сердцѣ Зубковой пробудилось теперь къ ней снова теплое чувство. «Она все же будетъ честною женою для Вани. Пригрѣетъ она и Ивана Николаевича. Отдыхъ ему нуженъ. Всѣмъ отдыхъ нуженъ, кто работалъ и страдалъ». Она опять полузакрыла глаза. Оля очнулась и приблизилась къ ней.

— Елена Васильевна, вставать пора,—сказала молодая дѣвушка.

— Отдохнуть надо, Оля,—отвѣтила полусознательно Зубкова, смотря на нее тупымъ взглядомъ.—Наработаешься, ну, и надо отдохнуть...

Оля немного испугалась, чувствуя, что Зубкова говоритъ какъ въ бреду. Она хотѣла пойти позвать Ваню или Ивана Николаевича, послать за докторомъ; Елена Васильевна удержала ее движеніемъ руки и проговорила слабымъ голосомъ:

— Придетъ самъ... посиди, еще не скоро кончится...

Оля присѣла около нея, похолодѣвшая отъ страха, сознавая, что конецъ близокъ.

— Скорѣй бы кончили курсъ ты и Ваня,—продолжала Зубкова, закрывъ глаза.—Уѣхали бы. Здѣсь не мѣсто вамъ. Дурные люди все. Ты побереги Ваню и отца. Тоже усталъ. Я раньше всѣхъ отдохну.

Оля, едва сдерживая слезы, склонилась къ ней, говоря шопотомъ:

— Полноте, не тревожьте себя. Надо доктора, онъ поможетъ.

Зубкова открыла глаза и, на минуту потерявъ сознаніе, сказала:

— Доктора?.. Скарлатина?.. Прилипчивая болѣзнь!.. Чистый воздухъ и уходъ нужны...

И вдругъ, снова придя въ себя, съ упорствомъ сильной натуры сдѣлала усиліе надъ собою и твердо сказала:

— Перестань, не плачь! Я рада отдыху. Нельзя же два вѣка жить. Позови Ваню и Ивана Николаевича. Не пугай ихъ только.

Черезъ двѣ-три минуты постель Зубковой уже окружали любимыя ею лица. Она старалась бодриться, старалась говорить внятно, пересиливая страшную одышку. Только иногда у нея какъ бы помрачалось сознаніе. Когда ей сказали о докторѣ, она равнодушно проговорила:

— Пошлите кого-нибудь, а сами останьтесь здѣсь.

Иванъ Николаевичъ вспомнилъ о Настѣ. Ее надо позвать. Елена Васильевна открыла глаза и, что-то вспомнивъ, сказала:

— Настя? Не умерла, спасли...

И, потерявъ снова сознаніе, проговорила:

— Коттэджъ... Свѣтленькій, чистенькій, веселенькій домикъ... цвѣты тамъ... птички...

Потомъ, очнувшись, опять какъ бы досадуя на себя за бредъ, она рѣзко приказала:

— Не посылайте! Не надо!

На минуту ею овладѣло злое чувство, и она коротко, вполнѣ твердо сказала:

— Здѣсь все честные люди!

Отецъ и сынъ переглянулись между собою. Они оба уже давно знали то, что только наканунѣ поняла Елена Васильевна. Они не говорили объ этомъ; не говорили объ этомъ даже между собою, съ болью въ сердцѣ думая о паденіи молодой женщины. Объ этомъ намекнулъ Ивану Николаевичу подгулявшій Александръ Константиновичъ, какъ о чемъ-то очень естественномъ и обыденномъ:

— Нашъ-то подлецъ Егорашка за Настей вьется.

И добавилъ:

— Жаль только, циникъ онъ большой.

Это чутьемъ угадалъ молодой Зубковъ, увидавъ случайно сестру въ каретѣ съ Егоромъ Егоровичемъ.

Ни отецъ, ни сынъ не возражали больной.

Пріѣхавшій докторъ не сказалъ ничего утѣшительнаго: болѣзнь сердца, могутъ быть осложненія, нуженъ безусловный покой. Всѣ эти фразы говорятся обыкновенно тогда, когда уже нельзя подать никакой надежды. Семья понимала это, понимала это и больная. Тѣмъ не менѣе, всѣ старались бодриться; больная же впадала по временамъ въ забытье, а очнувшись, говорила спокойно и равнодушно, почти радостно объ отдыхѣ. Слово смерть не произносилось никѣмъ, точно впереди была не она, а дѣйствительный отдыхъ отъ трудовой, честно прожитой, геройски выстраданной жизни. Иногда, не то сознательно, не то въ бреду, больная говорила о томъ, какъ хорошо будетъ въ деревнѣ: «Оля и Ваня пріютятся тамъ, отца возьмутъ къ себѣ, простая, здоровая жизнь начнется: отцу будетъ хорошо у нихъ; отдохнетъ онъ», и, улыбаясь, она прибавляла:

— Я тоже отдохну.

Ея отдыхъ былъ уже близокъ: отекъ легкихъ шелъ быстро...

На пятый день послѣ того, какъ она слегла, въ полдень она совершенно потеряла сознаніе и лежала съ закрытыми глазами на спинѣ, тихо засыпая. Вокругъ постели сидѣли близкіе, дорогіе ей люди, погрузившись въ тяжелыя думы. Для нихъ въ эти минуты было чуждо все окружающее, всякіе посторонніе помыслы. Въ строгой тишинѣ, они благо-

говѣйно присутствовали при совершавшемся передъ ними таинствѣ смерти. На мгновенье еще разъ открылись глаза Зубковой, уже совсѣмъ тусклые, какъ бы стеклянные, но обтянувшимся на деснахъ губамъ скользнула мягкая, едва замѣтная улыбка, изъ груди вырвался вздохъ, потомъ она выпрямилась и дыханіе стало стихать. Трое людей, сидѣвшихъ около нея, безъ воплей, безъ рыданій, опустились на колѣни около постели...

* * *

Десятки людей съ плачемъ толпились у гроба Елены Васильевны: какія-то бѣдныя бабы, какія-то дѣвочки въ ситцевыхъ платьицахъ, какіе-то никому неизвѣстные нищіе, Настя, пораженная смертью матери, Софья Андреевна, разыгрывавшая драму на тему «старуха-мать, хоронящая свою дочь», какой-то пьяненькій бѣднякъ изъ мастеровыхъ, причитавшій, что «всѣ отъ него отвернулись, родные выгнали, а она, голубушка, каждый разъ собственноручно со своего стола ѣду ему давала», Маша, причитавшая, что «съ ея легкой руки жить я пошла, матерью она мнѣ родною была», наконецъ, Александръ Константиновичъ Вощининъ, навзрыдъ рыдая, доходя чуть не до истерики, цѣловавшій десятки разъ лицо и руки покойницы и повторявшій всѣмъ и каждому, что она, только она была ему всѣмъ, и сестрой, и матерью, и благодѣтельницей. И чѣмъ больше плакали всѣ эти люди, тѣмъ сильнѣе было благоговѣйное спокойствіе, охватывавшее молодого Зубкова, его отца и Ольгу. Они, казалось, боялись стономъ или рыданіемъ нарушить покой уснувшей, отдыхающей отъ трудовой жизни женщины. Они сбились какъ-то въ одну тѣсную группу, въ сторонѣ отъ остальныхъ людей. Со всѣми этими людьми они уже готовились порвать навсегда связь, чтобы начать гдѣ-то въ иномъ краю новую жизнь.

ГОСПОДИНЪ ПРОРОКЪ.

РОМАНЪ.

I.

«Пріидите ко Мнѣ всѣ труждающіеся и обремененные, и Азъ упокою вы»... Когда я слышу эти чудныя слова, мою душу охватываетъ умиленіе, и на глазахъ навертываются невольныя слезы: мнѣ вспоминаются свѣтлые годы моего далекаго дѣтства, изъ тьмы прошедшаго снова встаютъ передо мною, какъ живые, образы моихъ отца и матери, и кажется мнѣ, что эти люди ничего не говорили мнѣ, ничему не старались поучать меня, ничего не стремились завѣщать мнѣ, кромѣ этихъ великихъ словъ Христа...

Мой отецъ, плотный, сильный, какъ бы отлитый изъ бронзы, былъ неудавшимся художникомъ по призванію, неудавшимся, то-есть, ничего не нажившимъ врачомъ по ремеслу, но вполнѣ удавшимся человѣкомъ. Немного философъ-матеріалистъ и скептикъ, онъ глубоко понималъ дрянность и искалѣченность человѣческихъ натуръ и былъ склоненъ не столько обвинять, сколько прощать. Моя мать, сохранившая до старости слѣды женственности и граціи, была личностью, много выстрадавшей въ дѣтствѣ и ранней юности отъ своего роднаго промотавшагося барства и потому рано отрекшеюся отъ эгоистической необузданности барскаго «все для насъ, все ради насъ», но сохранившей навсегда всю прелесть барскихъ—благовоспитанности, такта, умѣнья быть любезною безъ заискиванія, терпѣливой безъ приниженности, бѣдной безъ потери человѣческаго достоинства. О онъ, и она были людьми здоровыми и физически, и нравственно; но этого здоровья имъ было отпущено, казалось, только въ той мѣрѣ, чтобы они могли уже не желать ничего лучшаго для себя, и въ то же время еще ясно сознавать, что другимъ остается желать очень многаго. Едва ли знали вполнѣ эти небогатые трудящіеся люди всѣ

отличительные догматы православія, всѣ богословскія тонкости, отдѣляющія одну религію отъ другой. Имъ было некогда, зарабатывая кусокъ насущнаго хлѣба, основательно изучить все это, вдаваться въ эти вопросы; имъ было даже некогда часто посѣщать храмъ, куда мать ходила изрѣдка, урывками, на нѣсколько минутъ, и куда отецъ не заглядывалъ иногда по цѣлымъ годамъ. Но простыя добрыя сердца, горькія житейскія невзгоды, столкновенія съ массою горемыкъ, купленное опытомъ знаніе жизни и людей подсказали имъ, что въ жизни нѣтъ болѣе высокаго блага, чѣмъ христіанская любовь къ ближнимъ. Любить ближняго и быть любимыми ближнимъ, вотъ все, къ чему они стремились и чего они достигли. Нашъ домъ—домъ врача—былъ открытъ для всѣхъ. Окрестные бѣдняки, приходившіе въ него сначала за врачебною помощью, мало-по-малу, дѣлались въ немъ своими людьми. Въ него шли пожаловаться на судьбу, поплакать, попросить совѣта, поискать помощи, отдохнуть душою,—шли люди изъ простонародья, лица изъ болѣе образованныхъ классовъ общества, изъ числа молодежи, изъ числа стариковъ. Константина Ѳеодоровича и Елену Андреевну Ждановыхъ знали всѣ въ нашемъ околоткѣ, если не лично, то хоть по слухамъ. Ни отецъ, ни мать не дѣлали между людьми различія, какъ-то чутьемъ дойдя и до того убѣжденія, что нельзя закрывать своихъ дверей и своего сердца даже передъ тѣми, кто дошелъ до нравственнаго паденья, до тѣхъ или другихъ пороковъ.

— Не было бы въ душѣ гнетущаго сознанія, не шли бы къ намъ,—говорила про этихъ людей мать.

— Ну, можетъ-быть, и не всегда ради этого идутъ,—замѣчалъ отецъ, усмѣхаясь добродушной улыбкой.—Иной просто разжалобить да поднадуть хочетъ.

Матушка не спорила, соглашалась не безъ грусти, но замѣчала:

— А если и такъ, то все же гнать не приходится, если просятъ помощи.

— Кто говоритъ, что нужно гнать! Станешь однихъ гнать, придется, пожалуй, всѣхъ гнать. Если вѣдь порыться въ душахъ и въ дѣлахъ другихъ, такъ-называемыхъ безупречныхъ, то тоже не мало грязи встрѣтишь,—прибавлялъ отецъ.—Вотъ какъ въ препаровочной, трупъ первой красавицы—тотъ же кусокъ разлагающагося мяса...

И уже шутливо прибавлялъ:

— Я, впрочемъ, смотрю на людей съ точки зрѣнія врача:

больны они, просятъ помощи,—ну, и помогай имъ, лѣчи ихъ, и не тебѣ разбирать, что довело ихъ до болѣзней, пьянство или развратъ, трудъ или голодъ.

Окруженный такимъ образомъ съ колыбели цѣлой массой самыхъ разнохарактерныхъ людей, я долго не подозрѣвалъ, что не всѣ люди живутъ такъ, какъ моя семья. Какъ сейчасъ помню мое глубокое изумленіе, когда я сдѣлалъ это открытіе. Я однажды самовольно, безъ фуражки, какъ игралъ дома на дворѣ, пробрался въ церковную ограду. Увидавъ тамъ группы играющихъ дѣтей, я подошелъ къ одной изъ этихъ группъ, какъ вдругъ мнѣ, слишкомъ просто одѣтому мальчугану, съ безголовой картонной лошадкою въ рукахъ, замѣтила довольно грубо одна нарядная нянька:

— Иди, иди прочь, мальчикъ! Наши дѣти со всякими мальчишками съ улицы не могутъ играть!

Я посмотрѣлъ на нее такими удивленными глазами, какъ будто она заговорила со мной на невѣдомомъ мнѣ языкѣ. Потомъ я перевелъ свой взглядъ на хорошенькихъ, щегольски одѣтыхъ дѣтей, порученныхъ ея надзору. Они, должно-быть, подъ вліяніемъ словъ своей няньки, пятились отъ меня какъ бы въ испугѣ. Смущенный, сконфуженный, опустивъ голову, я тихо побрелъ прочь. Какіе-то мальчуганы весело и бойко крикнули мнѣ:

— Иди играть съ нами, мальчикъ!

Я посмотрѣлъ на нихъ, ничего не отвѣтилъ и, весь погруженный въ какую-то думу, пошелъ изъ ограды понуро, грустно, точно у меня на сердцѣ было большое горе. Дома я долго сидѣлъ въ углу, молча, думая о томъ, что случилось, не умѣя ничего сообразить, охваченный какимъ-то совершенно новымъ чувствомъ. Наконецъ, я не выдержалъ и спросилъ мать:

— Мама, отчего меня прогнала нянька отъ своихъ дѣтей, когда я хотѣлъ съ ними играть?

— Какая нянька? отъ какихъ дѣтей?—спросила мать, недоумѣвая.

Я разсказалъ ей все случившееся. Ее лицо приняло грустное выраженіе. Она не сразу нашлась, что отвѣтить. Потомъ, собравшись съ силами, она сказала:

— Эта нянька не знала тебя; можетъ-быть, боялась, что ты большой шалунъ и буянъ, потому и не позволила своимъ дѣтямъ играть съ тобою.

И лаская меня, она прибавила:

— Играй, милый, лучше у себя на дворѣ, около дома, съ знакомыми дѣтьми... Зачѣмъ было уходить въ незнакомое мѣсто? И кто же ходитъ такъ, безъ шапки?.. И приставать къ незнакомымъ не надо... Если незнакомые сами попросятъ тебя играть съ ними—играй; не попросятъ—не навязывайся имъ въ товарищи...

Дальнѣйшихъ объясненій не было, но въ мою душу запало какое-то новое чувство: я впервые узналъ о существованіи на свѣтѣ такихъ людей, что могутъ сказать мнѣ: «иди прочь, мальчикъ». Черезъ долгіе годы я уже сталъ изумляться не этому, а тому, что еще есть на свѣтѣ люди, говорящіе и человѣку, не завоевавшему себѣ въ жизни ни чиновъ, ни отличій, ни богатства, ни извѣстности: «иди къ намъ!» И чѣмъ яснѣе становилось это для меня, тѣмъ выше и святѣе становились въ моихъ глазахъ мои отецъ и мать, тѣмъ полнѣе понималъ я, сколько великой любви отпустила имъ природа, если они сумѣли усвоить себѣ и притчу о томъ, кто имѣетъ право бросить первый камень въ блудницу, и разсказъ о милосердномъ самарянинѣ, и завѣтъ «не судите, да не судимы будете», и призывъ къ труждающимся и обремененнымъ...

Но если отецъ и мать усвоили все это какъ-то сердцемъ, чутьемъ, опытомъ, то, выучившись на мѣдныя деньги, они въ сущности плохо знали суть обрядовъ и догматовъ православія, не исполняли многаго множества изъ этихъ обрядовъ, ѣли скоромное въ постные дни, не служили молебновъ, не теплили лампадъ, даже—странно сказать—отецъ не говѣлъ чуть ли не двадцать лѣтъ. Я тоже росъ немного «язычникомъ». Только на одиннадцатомъ году впервые началъ я узнавать о религіи и о томъ, что есть и православные, и неправославные, и еретики, и сектанты. Это случилось, когда я попалъ въ большую школу, гдѣ учились и католики, и протестанты, и евреи, и православные. Всѣ мы учились вмѣстѣ всѣмъ предметамъ первоначальнаго обученія, и только классы закона Божія раздѣляли насъ на отдѣльныя группы: къ намъ являлись ксендзы, пасторы, попы, и мы, каждый по-своему, учились вѣровать и молиться. Съ самаго начала меня сильно поразило это явленіе, совершенно новое для меня, и я началъ страстно интересоваться религіозными вопросами, тревожно спрашивая себя: «чьи же молитвы слышитъ Богъ?» Но удивленіе мое достигло крайнихъ предѣловъ, когда я познакомился съ однимъ худенькимъ, бѣлобрысенькимъ, золотушнымъ мальчу-

ганомъ, сказавшимъ мнѣ какъ-то, что онъ и его сестра хотя и ходятъ къ лютеранскому пастору, но все-таки они не лютеране, а у нихъ своя собственная религія, и ихъ отецъ—пророкъ.

— Какъ пророкъ? Какой пророкъ? Илія? Исаія?—допрашивалъ я, широко открывъ глаза.

— Что ты выдумалъ! Тѣхъ пророковъ давно уже нѣтъ! Мой отецъ живъ. Онъ преподастъ съ четвертаго класса математику здѣсь въ школѣ,—отвѣтилъ маленькій Гансъ Вурмъ.

Я ничего не понималъ. Живой пророкъ! Учитъ математикѣ у насъ въ школѣ! Я не вѣрилъ своимъ ушамъ.

— У насъ въ церкви и апостолы, и евангелисты, и пророки, и ангелы есть,—продолжалъ разсказывать бѣлобрысенькій мальчуганъ.—Мы исповѣдуемъ религію божественнаго откровенія. Кого Богъ изберетъ изъ насъ, тому онъ и открываетъ все, все, и тотъ пророчествуетъ... Папа все знаетъ, что и съ кѣмъ будетъ послѣ, какъ міръ кончится, потому ему самъ Богъ открываетъ все...

Я чувствовалъ, что меня охватываетъ какой-то невольный, непонятный мнѣ самому страхъ, при мысли объ этомъ человѣкѣ, бесѣдующемъ съ самимъ Господомъ Богомъ. Въ моемъ воображеніи съ представленіемъ о Богѣ въ то время связывалось представленіе чего-то гигантскаго, необъятнаго, грознаго.

— И онъ знаетъ все, все, что съ кѣмъ будетъ?—допрашивалъ я тревожно и нѣсколько недовѣрчиво.

«Можетъ-быть, хвастаетъ», мысленно успокаивалъ я самъ себя.

— Ну, да! Папа все знаетъ!—съ увѣренностью отвѣчалъ Вурмъ.—Богъ его избралъ, потому онъ и знаетъ..

— А ты... ты... тоже все знаешь?—перебилъ я его.

— Я не знаю... Но Богъ можетъ избрать и меня... Тогда и я буду пророкомъ... сестры тоже...

Маленькій Вурмъ говорилъ съ сознаніемъ собственнаго достоинства... Я задалъ ему нерѣшительнымъ тономъ еще одинъ вопросъ:

— А если бы я... Меня могъ бы избрать Богъ?

Въ моемъ голосѣ прорывалась заискивающая нотка: нельзя ли, молъ, оказать протекцію?

— Ты не одной съ нами вѣры,—гордо отвѣтилъ Вурмъ.—Богъ только изъ нашихъ избираетъ, потому мы святые люди... наша вѣра такъ и называется религіей божественнаго откровенія или общиной святыхъ...

Я опечалился, что моя вѣра не даетъ мнѣ права быть святымъ и сдѣлаться пророкомъ, и проникся боязливымъ уваженіемъ къ моему товарищу, къ этому счастливому сыну господина пророка.

Въ первый же день послѣ этого разговора я рѣшился подстеречь въ школьномъ коридорѣ старика Вурма, чтобы хоть издали взглянуть на того, кого избралъ Богъ, кому открыто все грядущее. Звонокъ возвѣстилъ о началѣ урока; но я стоялъ у дверей нашего класса и сторожилъ, когда пройдетъ мимо меня господинъ пророкъ. Меня охватила легкая дрожь, мнѣ казалось, что я сейчасъ увижу что-то необычайное, поразительное, величественное. Длинный школьный коридоръ съ рядомъ стеклянныхъ дверей уже начиналъ пустѣть, только кое-гдѣ запоздавшіе школьники вприпрыжку спѣшили въ классы, хлопая дверями, когда въ концѣ коридора показалась какая-то странная, высокая, тощая фигура. Это былъ господинъ лѣтъ пятидесяти въ черномъ, наглухо застегнутомъ сюртукѣ, съ высокимъ чернымъ галстукомъ, плотно охватывавшимъ, какъ желѣзное кольцо, длинную шею, съ туго накрахмаленными, торчавшими вверхъ «фатермердерами», съ изжелта-бѣлокурыми, гладко-зачесанными на впалыхъ вискахъ впередъ волосами, съ зеленоватымъ, блѣднымъ, истощеннымъ лицомъ. По длинной худой фигурѣ, по долгополому, точно прилипшему къ тѣлу сюртуку, по плоскимъ волосамъ, лоснившимся, какъ атласъ, онъ походилъ на человѣка, вытащеннаго изъ воды. Его землистое, безкровное лицо было неподвижно; глаза, прикрытые большими очками, не смотрѣли никуда, такъ какъ вѣки были опущены внизъ. Онъ шелъ медленно, чинно, беззвучно, точно приготовляясь къ совершенію великаго таинства. Меня охватилъ инстинктивный страхъ при видѣ этого живого мертвеца, двигавшагося тихо и безшумно, какъ на пружинахъ, не смотря ни на что окружающее. Въ то же время съ другого конца длиннаго школьнаго коридора торопливо, въ какомъ-то переполохѣ, какъ бы съ испугу, бѣжалъ бѣлобрысенькій Гансъ Вурмъ. Поровнявшись съ тощимъ человѣкомъ, онъ, раскраснѣвшійся, въ поту, проговорилъ запыхавшимся, прерывающимся голосомъ:

— Вотъ, папа, твоя геометрія!

Тощій человѣкъ на минуту остановился, взялъ изъ рукъ Ганса книгу, стукнулъ угломъ ея переплета по головѣ мальчугана и сказалъ, точно скрежеща зубами, шипящимъ, отрывистымъ тономъ:

— Негодяй, не могъ напомнить дома, чтобы я ее не забылъ! Каждый разъ такъ!..

На секунду, какъ мнѣ показалось, я увидалъ сверкающіе гнѣвомъ глаза. Но это было подобно блеску молніи, на мигъ прорвавшей темную тучу. А затѣмъ эти глаза снова закрылись вѣками, и мимо меня, не замѣчая меня, тѣмъ же медленнымъ, плавнымъ шагомъ, въ той же застывшей позѣ, прошелъ этотъ длинный, исхудалый человѣкъ...

Это былъ, какъ я угадалъ сразу, самъ господинъ пророкъ...

Я человѣкъ нервный, впечатлительный. Въ моей жизни бывали странные случаи: меня поражали иногда какое-нибудь слово, какой-нибудь взглядъ, какое-нибудь лицо — и впечатлѣніе, оставленное ими, не изглаживалось никогда, всплывало въ извѣстныхъ случаяхъ на поверхность. Такъ разъ, во дни моего дѣтства, въ домѣ умалишенныхъ одинъ больной внезапно наклонился къ самому моему лицу и прежде, чѣмъ я опомнился, глядя мнѣ въ глаза своими расширенными, сверкающими зрачками, неистово крикнулъ: «Я Христосъ, меня распяли!» Я отшатнулся въ ужасѣ, и выраженіе этихъ безумныхъ, широко открытыхъ глазъ навсегда осталось въ моей памяти, и взгляды, хотя немного напоминающіе его до настоящаго времени, производятъ на меня непреодолимое впечатлѣніе чего-то похожаго на страхъ. Такое же неизгладимое впечатлѣніе оставила во мнѣ первая моя встрѣча съ Іоганномъ Рейнгольдомъ Вурмомъ. Я потомъ видѣлъ его, когда онъ билъ кускомъ мѣла по головѣ учениковъ; я видѣлъ его, когда онъ протяжно и набожно, поднявъ къ потолку умиленные взоры, читалъ: «Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ»; я видѣлъ его, когда онъ вкрадчивымъ и пѣвучимъ голосомъ давалъ мнѣ отеческое наставленіе быть кроткимъ и послушнымъ, прилежнымъ и трудолюбивымъ, терпѣливымъ и выносливымъ; я видѣлъ его, когда онъ, шипя и скрежеща зубами отъ подавляемаго гнѣва, съ багровыми пятнами на впалыхъ щекахъ, пророчилъ мнѣ гибель на этомъ свѣтѣ и адскія муки на томъ, за то, что я схватилъ однажды его костлявую руку со всею силою семнадцатилѣтняго юноши и крикнулъ ему:

— Я вамъ не позволяю себя бить. Я самъ изобью васъ!

И всегда, во всѣхъ случаяхъ мнѣ вспоминалась одна моя первая встрѣча съ этимъ человѣкомъ, когда онъ шелъ, какъ на пружинахъ, по нашему школьному коридору, когда онъ потуплялъ глаза въ землю даже въ этомъ пустомъ коридорѣ, когда, какъ молнію, я на мгновеніе уловилъ его бѣшенство...

Входя впервые въ его классъ, черезъ три года послѣ этой первой встрѣчи, я уже ненавидѣлъ его и ждалъ, что вотъ-вотъ онъ, сверкнувъ глазами, ударитъ кого-нибудь по головѣ; а онъ, поднявъ набожно вверхъ глаза, сложивъ молитвенно руки, съ глубокимъ чувствомъ читалъ молитву Господню. Я слушалъ этотъ сладкій, нѣжучій голосъ, смотрѣлъ на это просвѣтленное набожностью лицо и ждалъ, ждалъ...

Бацъ! по всему классу раздался звонъ оплеухи.

«А, вотъ оно!»—мелькнуло молніей въ моей головѣ.

— Это ты называешь молитвой? — неистово крикнулъ Вурмъ, оглушивъ пощечиной одного изъ учениковъ. — Это значитъ молиться? Я читалъ молитву, а ты, стоя, тетрадь просматривалъ? Я призывалъ Господа Бога, а ты...

Бацъ! раздался вторично звонъ новой оплеухи по другой щекѣ пойманнаго школьника.

И въ то же время по классу пронесся, какъ стонъ, мой возгласъ:

— О-о?

Вурмъ повернулъ ко мнѣ голову, и наши глаза встрѣтились: мы оба были блѣдны, какъ мертвецы. Не знаю, какъ онъ не смялъ меня, не исколотилъ въ эту минуту. Этого ожидали всѣ; но этого не случилось. Ни онъ, ни я не проронили ни слова, и урокъ начался, какъ будто не произошло ничего особеннаго. Но съ этой минуты я и Вурмъ стали заклятыми врагами. Эта вражда долго оставалась глухою и безмолвною. Я угадывалъ эту вражду только по сдержанно шипящему тону Вурма во время его разговоровъ со мною, во время его поучительныхъ разсужденій при мнѣ о томъ, что самый страшный порокъ—злоба и строптивость, что можно быть первымъ ученикомъ въ классѣ и все-таки оставаться въ душѣ негодяемъ. Онъ угадывалъ эту вражду по моему искажавшемуся лицу, когда онъ билъ другихъ дѣтей, по моему дрожащему голосу, когда я отвѣчалъ на его придирчивые вопросы, дѣлаемые мнѣ съ явнымъ желаніемъ сбить меня съ толку. Но ни разу не сказалъ я ему грубаго слова; ни разу не ударилъ онъ меня. Мы слишкомъ чувствовали инстинктивно, что наше первое рѣзкое столкновеніе будетъ въ то же время и послѣднимъ, и остерегались столкнуться. Эта осторожность была странна, такъ какъ Вурмъ не любилъ и другихъ учениковъ, и, въ свою очередь, другіе ученики тоже не любили его. Тѣмъ не менѣе, они грубили ему, онъ билъ ихъ, и все кончалось благополучно.

Во мнѣ, можетъ-быть, онъ угадалъ болѣе серьезнаго врага, болѣе дикую натуру, чѣмъ въ остальныхъ ученикахъ. И точно, я его ненавидѣлъ не по-дѣтски, ненавидѣлъ его одного. Мнѣ все въ немъ было ненавистно: его потупленные взоры, когда онъ входилъ въ классъ, его поднятые вверхъ глаза во время молитвы, его битье мальчугановъ, чѣмъ попало, его полныя набожности и святости наставленія о покорности и смиреніи, о кротости и выносливости...

Я не скрывалъ ни передъ кѣмъ своихъ враждебныхъ чувствъ къ Вурму. Нелюбившіе его школьники встрѣчали мои выходки противъ него съ сочувствіемъ; мои домашніе, не одобрявшіе въ душѣ его отношеній къ ученикамъ, смотрѣвшіе косо на его самозванное пророчество, только совѣтовали мнѣ остерегаться этого человѣка, не безъ тревоги замѣчая, что ихъ «мальчикъ» начинаетъ ненавидѣть. Тѣмъ болѣе удивился я, встрѣтивъ существо, вступившееся за Вурма, и притомъ какое существо — тихое, кроткое, поэтическое...

У насъ, среди не особенно близкихъ родственниковъ, но самыхъ близкихъ друзей была одна семья, принадлежавшая къ числу разбогатѣвшихъ ремесленниковъ. Она состояла изъ хозяйки дома, ея сына и двухъ бѣдныхъ дѣвушекъ-племянницъ. Покойный Романъ Шельхеръ, такъ звали главу этой семьи, когда-то былъ кузнецомъ. Потомъ, женившись на дочери русскаго зажиточнаго мѣщанина Аннѣ Ивановнѣ Сущовой, онъ сдѣлался заводчикомъ. Умирая, онъ оставилъ все свое довольно крупное состояніе женѣ, помня, что нажито было это состояніе отчасти при помощи ея приданаго, и хорошо зная, что Анна Ивановна не ограбитъ своего единственнаго, горячо-любимаго Левы. Левъ Шельхеръ былъ на два года старше меня и потому въ школѣ намъ пришлось быть въ разныхъ классахъ. Мать давала ему блестящее образованіе или, вѣрнѣе сказать, онъ желалъ, чтобы ему было дано блестящее образованіе, такъ какъ вздумай онъ остаться неучемъ,—мать, вѣрно, даже не потревожила бы его напоминаніемъ объ ученьи. Она боялась вообще чѣмъ бы то ни было тревожить сына. Онъ, по ея мнѣнію, могъ захворать отъ всякой тревоги. И тѣмъ не менѣе, боясь, чтобы онъ не захворалъ, она все же не сознавала вполнѣ того, что уже сознавали почти всѣ окружающіе,—слабогрудый юноша, изнуряемый частыми недугами, давно стоялъ на шагъ отъ могилы. Въ нашей семьѣ часто съ сожалѣніемъ говорили, какъ поразитъ его смерть несчастную мать,

при чемъ невольно приходилось толковать и о томъ, что послѣ смерти Левы его двоюродныя сестры, жившія въ домѣ Шельхеровъ, сдѣлаются богатыми. Богатство никогда не бываетъ лишнимъ, но для одной изъ этихъ бѣдныхъ дѣвушекъ, для племянницы со стороны покойнаго Шельхера, оно было особенно нужно. Это была жалкая калѣка, немного горбатая и кривобокая, сильно хромающая, вѣчно хворавшая. Она не могла даже докончить свое образованіе, была неспособна къ работѣ и ужъ, конечно, была незамужницей. Она, впрочемъ, была уже и не первой молодости, будучи на пятнадцать лѣтъ старше Левы. «Бѣдная Минхенъ», какъ всѣ звали ее, была кроткимъ и безпомощнымъ созданіемъ, съ блѣдной и чуть не прозрачной кожей, съ томнымъ и болѣзненнымъ выраженіемъ поблекшихъ голубыхъ глазъ, съ тонкими и какъ бы полинявшими бѣлокурыми волосами, съ очень некрасивымъ вытянутымъ лицомъ. Она являлась совершенной противоположностью съ племянницей Анны Ивановны, съ быстроглазой, румяной, подвижной смуглянкой Женей, посѣщавшей женское отдѣленіе нашей школы въ одно время съ нами. Она была года на четыре моложе Левы. Минна и Женя часто заходили къ намъ, я часто бывалъ въ ихъ домѣ, мы всѣ были на «ты» и горячо любили другъ друга. Мнѣ нерѣдко приходилось говорить съ Женей о Вурмѣ, дававшемъ уроки въ школѣ и на женскомъ отдѣленіи, и на мужскомъ, начиная съ четвертаго класса, гдѣ уже находился я въ то время. Тогда раздавался ея звонкій заразительный смѣхъ — смѣхъ безпечной, вполнѣ счастливой юности—и Женя поразительно искусно начинала передразнивать Вурма, какъ онъ ходитъ съ потупленными взорами, какъ онъ въ бесѣдахъ поднимаетъ глаза къ небу, какъ говоритъ пѣвучимъ голосомъ длинныя проповѣди. Оставаться серьезнымъ, когда смѣялась и дурачилась Женя, было немыслимо, и я смѣялся вмѣстѣ съ нею; потомъ, однако, я пробовалъ протестовать, принималъ серьезный видъ пятнадцатилѣтняго мальчугана, начинающаго играть роль юноши и говорящаго умныя слова, и замѣчалъ ей, что Вурмъ вовсе не смѣшонъ, а страшенъ.

— Кто? Онъ? Вурмъ-то страшенъ? Нѣтъ, нѣтъ, ты уморишь меня со смѣху!—кричала Женя, махая руками и заливаясь задушевнымъ смѣхомъ ребенка. — Эту тоненькую цаплю однимъ пальцемъ свалить можно! Это скелетъ, а не человѣкъ! Его вѣтромъ качаетъ!..

— Я не о томъ, — протестовалъ я снова.—Что физиче-

ческая сила! Его злость страшна!.. Впрочемъ, ты ошибаешься и насчетъ его силы. Правда, онъ худъ и тонокъ, но это человѣкъ изъ желѣза. Ты посмотрѣла бы, какъ онъ дерется...

— Ну, у насъ на женскомъ отдѣленіи онъ не дерется, а въ нашемъ домѣ онъ только вздыхаетъ и стонетъ, какъ умирающій...

— А онъ все попрежнему бываетъ у васъ?—спросилъ я.

Отъ своихъ домашнихъ я давно слышалъ, что Вурмъ очень близокъ съ семьей Шельхеръ, такъ какъ онъ былъ землякомъ и другомъ дѣтства покойнаго Шельхера. Тѣмъ не менѣе, почти никто никогда не встрѣчалъ его въ домѣ Анны Ивановны, точно онъ боялся встрѣтиться здѣсь съ посторонними. Потомъ я узналъ, что Вурмъ у большинства постороннихъ бываетъ также тайкомъ, объясняя это какими-то преслѣдованіями и соглядатайствомъ.

— Еще бы! — отвѣтила мнѣ Женя. — Тетя слаще засыпаетъ отъ его проповѣдей... Лева же если и не засыпаетъ отъ нихъ, то становится все задумчивѣе, наслушавшись Вурма... Онъ вѣдь все о свѣтопреставленіи говоритъ, о страшномъ Судѣ, о царствіи Божіемъ на землѣ, послѣ того, какъ всѣхъ насъ истребятъ. Послушаешь его, такъ такъ и ждешь, что завтра насъ всѣхъ жарить будутъ въ аду...

Какъ разъ на этой фразѣ застала насъ однажды Минна. Мы сидѣли на террасѣ дачи Шельхеровъ близъ Ораніенбаума. Передъ нами разстилалась сверкающая на солнцѣ гладь залива. Воздухъ былъ тихъ и неподвиженъ. Изъ сада доносился ароматъ цвѣтовъ. Услышавъ слова Жени, Минна печально покачала головой и проговорила:

— Женя, можно ли шутить такими вещами!

— А ты вѣришь, что мы живемъ наканунѣ конца міра?— спросилъ я у Минны.—Въ такой-то день, въ такую-то погоду?

Я засмѣялся. Она вздохнула тяжелымъ вздохомъ.

— Я не знаю, наканунѣ ли конца міра мы живемъ, или нѣтъ; но объ этомъ нельзя не думать, къ этому нужно готовиться. Ты читалъ, что говорится о дѣвахъ со свѣтильниками? Во всякомъ случаѣ, грѣхъ смѣяться надъ человѣкомъ, напоминающимъ о покаяніи.

— Надъ ханжой, фарисеемъ, іезуитомъ!—воскликнулъ я запальчиво.—Онъ просто мерзавецъ...

Минна опять покачала съ укоромъ головою.

— Ты еще мальчикъ совсѣмъ, и не тебѣ судить людей,— серьезно сказала она.

Она сошла съ террасы, подошла къ клумбѣ цвѣтовъ и

стала вдыхать ароматъ роскошно распустившихся левкоевъ. Ея тщедушная, горбатенькая, кривая фигурка казалась жалкою среди роскоши цвѣтущаго сада. Сорвавъ одинъ изъ левкоевъ, она приподнялась и направилась снова къ террасѣ. Продолжая думать о Вурмѣ, она замѣтила:

— Господинъ Вурмъ много перестрадалъ, долго искалъ истины, былъ гонимъ...

Я вспылилъ:

— Онъ? Онъ?.. Да онъ просто негодяй, онъ...

Она не дала мнѣ кончить и болѣзненнымъ голосомъ начала разсказывать о томъ, что вынесъ Вурмъ. Когда-то, воспитуясь у іезуитовъ на югѣ Германіи, онъ готовился сдѣлаться католическимъ патеромъ. Но въ семинаріи онъ увидѣлъ всѣ пороки, всѣ недостатки католическаго духовенства. Онъ сталъ задумываться о жизни окружавшихъ его людей, сталъ углубляться въ католическую религію и среди страшныхъ сомнѣній пришелъ къ убѣжденію, что лютеране были правы, отвергнувъ многое въ католической вѣрѣ. Онъ рѣшился перейти въ протестантство, бѣжалъ изъ родного города, женившись на своей двоюродной сестрѣ, и сталъ готовиться въ пасторы, перебиваясь уроками, часто голодая. Тутъ онъ натолкнулся на цѣлую массу интригъ, увидалъ пасторовъ, погрязшихъ среди чисто житейскихъ дрязгъ и расчетовъ, понялъ, что это люди, по большей части, вполнѣ индифферентные, равнодушные въ дѣлѣ вопросовъ о спасеніи души, что это тѣ же сытые бюргеры, сдѣлавшіе изъ богослуженія ремесло, и, отказавшись отъ пасторства, сталъ исповѣдывать религію божественнаго откровенія, сталъ во главѣ общины святыхъ...

— Онъ долженъ былъ бросить родину, онъ скитался по разнымъ странамъ, онъ перебивался съ семьей въ страшной нищетѣ, онъ и здѣсь далеко не спокоенъ, такъ какъ его преслѣдуютъ, въ проповѣдуемыхъ имъ истинахъ видятъ что-то опасное. Его религія нигдѣ еще не признана, вездѣ гонима, — говорила съ увлеченіемъ Минна. — Люди не понимаютъ святости его цѣлей, его стремленія обратить на путь истины заблудшихъ, напомнить имъ о Богѣ...

— Кулаками и подзатыльниками? — спросилъ я, раздраженный ея рѣчами.

Она взглянула на меня съ упрекомъ, вдыхая ароматъ сорваннаго цвѣтка.

— Если бы даже страшными физическими страданіями пришлось заставить человѣка вспомнить о душѣ, то что же

изъ этого?—медленно, какъ бы въ забытьи разсуждала она.—Я его понимаю: онъ суровъ, онъ строптивъ, онъ, можетъ-быть, жестокъ, но вѣдь у него сердце обливается кровью при мысли, что люди сами губятъ свою душу...

Я широко открылъ глаза. Я зналъ, какъ кротка и добродушна Минна, и меня удивили, почти ужаснули ея слова, какъ нѣчто чудовищное. Она же продолжала тѣмъ же тономъ раздумья:

— Я сама сначала удивлялась его суровому отношенію къ дѣтямъ. Но онъ выяснилъ это одинъ разъ у насъ... «Что можетъ быть ужаснѣе, какъ обречь на смерть свое дитя?—говорилъ онъ.—А между тѣмъ, самъ Господь послалъ своего Сына на крестную смерть, чтобы спасти человѣческія души отъ грѣха. И съ той поры матери-христіанки вели своихъ дѣтей на пытки, на растерзаніе звѣрей, на смерть на кострахъ, лишь бы эти дѣти спасли свои души, а не погубили ихъ, отрекаясь отъ вѣры и тѣмъ спасая себя отъ физическихъ страданій»...

На меня точно повѣяло откуда-то холодомъ, хотя я не въ силахъ былъ тогда ни серьезно спорить, ни серьезно протестовать. Мнѣ просто стало страшно отъ этой теоріи; въ моемъ еще по-дѣтски настроенномъ воображеніи мелькнула картина, какъ моя мать повела бы меня на растерзаніе звѣрямъ; это меня ужасало. Но Минна, это привыкшее къ физическимъ страданіямъ существо, говорила объ идеяхъ Вурма съ какой-то кроткой восторженной экзальтаціей, дыша ароматомъ цвѣтка, устремивъ блѣдные глаза въ безпредѣльную даль моря. Ей какъ будто казалось, что Богъ далъ ей самой тяжелый крестъ физическихъ страданій для того, чтобы спасти ея душу, и она готова была восторженно благодарить Его за свое убожество, за свои уродства.

— Кто не страдалъ, не переносилъ мученій, не подвергался испытаніямъ,—тихо и задумчиво говорила она:—тотъ мало думалъ о душѣ, о грѣхахъ, о недостаткахъ... Недаромъ Гёте замѣтилъ:

Кто не вкушалъ съ слезами хлѣба,
Кто не просиживалъ ночей
Безъ сна подъ бременемъ скорбей,
Тотъ васъ не знаетъ, власти неба!..

И болѣзненно прихрамывая, съ поникшей на бокъ длинной головой, съ выраженіемъ тихой муки на блѣдномъ, точно сдѣланномъ изъ бѣлаго воска лицѣ, она направилась въ комнаты.

— И такъ у насъ теперь, послѣ прихода Вурма, всѣ мыши кота погребаютъ!—съ комическимъ отчаяніемъ воскликнула Женя, всплеснувъ руками и въ то же время разражаясь дѣтскимъ смѣхомъ.

— И ты вмѣстѣ съ ними?—спросилъ я, очнувшись отъ какого-то гнетущаго забытья.

— Ну, нѣтъ, извини!.. Я еще хочу повеселиться до свѣтопреставленія!..

II.

При вспоминаніи объ этомъ памятномъ для меня разговорѣ съ Миной, мнѣ всегда кажется, что именно въ этотъ день я впервые понялъ болѣе или менѣе ясно, что на свѣтѣ есть люди съ инымъ складомъ ума, чѣмъ я, мой отецъ, моя мать. Насъ почти вовсе не интересовало то, о чемъ говорили Вурмъ, его сынъ, Минна;—о чемъ впослѣдствіи я услышалъ такъ много отъ Левы и Жени. Мое чисто дѣтское недоумѣніе при встрѣчѣ съ людьми различныхъ вѣроисповѣданій, мои наивные вопросы о томъ, чьи молитвы слышитъ Богъ, разсѣялись очень быстро, не находя ни пищи, ни поддержки въ моей домашней средѣ. Мать на мои разспросы объ этомъ предметѣ отвѣтила:

— Богъ у всѣхъ одинъ, а молится каждый какъ умѣетъ, какъ можетъ...

Отецъ же просто замѣтилъ мнѣ:

— Подрастешь—все самъ поймешь. А теперь, мальчуганъ, учись прилежнѣе, чтобы не засидѣться въ классахъ и кончить ученье, пока я живъ...

Этимъ и кончились объясненія...

Отецъ и мать не скрывали отъ меня, что мы едва сводимъ концы съ концами, не откладывая ничего на черный день. Это говорилось безъ жалобъ, безъ нытья. Трудовая жизнь выносилась бодро и весело. Въ то же время отецъ и мать старались обратить мое вниманіе съ дѣтства на болѣе тяжелое положеніе массы бѣдняковъ, полное лишеній и невзгодъ, стремясь вызвать во мнѣ участіе къ этимъ людямъ и желаніе быть имъ полезнымъ. При этомъ мнѣ постоянно выясняли, что я никогда не добьюсь ничего для себя и ничего не сдѣлаю для другихъ, если не привыкну къ упорному труду. Это направленіе воспитанія, веселыя лица окружавшихъ меня родныхъ тружениковъ, хорошія гигіеническія условія нашей жизни быстро укрѣпили мой организмъ и сдѣлали меня довольно бодрымъ мальчугановъ,

быть-можетъ, немного прозаикомъ, немного практикомъ, немного матеріалистомъ. Чѣмъ сильнѣе развивалось во мнѣ это направленіе, тѣмъ страннѣе должны были мнѣ казаться люди, смѣло парящіе мыслью гдѣ-то въ заоблачныхъ сферахъ и безпомощно не умѣющіе справиться съ самымъ ничтожнымъ препятствіемъ въ обыденной жизни, плачущіе надъ чувствительной книгой и проходящіе равнодушно мимо горькихъ будничныхъ явленій, терзающіеся разными сомнѣніями и вопросами и не дѣлающіе ни шагу для практическаго разрѣшенія этихъ сомнѣній и вопросовъ. Отецъ шутливо называлъ такихъ людей «сладкопѣвцами». Не мало подобныхъ личностей приходилось мнѣ встрѣчать въ жизни. Ближе всего ознакомился я съ ними въ семьѣ Шельхеровъ. Эта семья была тѣсно связана узами родства и дружбы съ моей семьей. Съ дѣтства эти люди служили для меня «натурой»: я зналъ каждый ихъ шагъ, всѣ ихъ завѣтныя желанья, каждую мелочь ихъ характеровъ, все, что радовало и огорчало ихъ...

Складъ этой жизни былъ своеобразенъ...

Въ старые годы, увидавъ въ Петербургѣ изящный домъ-особнякъ, вы почти безошибочно могли бы угадать въ немъ барское жилище. Но времена перемѣнчивы. Въ послѣднія двадцать пять лѣтъ, вы, въ большинствѣ случаевъ, сдѣлали бы ошибку, предположивъ, что тотъ или другой изъ подобныхъ домовъ непремѣнно принадлежитъ барамъ. Такіе дома настроили себѣ съ теченіемъ времени разные разжившіеся ремесленники, разбогатѣвшіе коммерсанты, счастливые биржевые игроки. Такой домъ построилъ для своей семьи и покойный Романъ Шельхеръ. Не мало лѣтъ онъ всѣми правдами и неправдами сколачивалъ свое значительное состояніе. Для чего? Для того, чтобы все досталось, въ концѣ-концовъ, какимъ-то дальнимъ родственникамъ, дѣлавшимся все болѣе и болѣе чуждыми Шельхеру и его женѣ по мѣрѣ того, какъ эта чета изъ мелкихъ ремесленниковъ превращалась въ крупныхъ предпринимателей. Не мало горя приносило это сознаніе Шельхерамъ. Наконецъ, на десятомъ году супружеской жизни, у нихъ родился четвертый ребенокъ и не послѣдовалъ за своими тремя предшественниками въ могилу, а остался жить. Это былъ «наслѣдникъ». Тогда-то Романъ Шельхеръ началъ строить свой домъ-особнякъ. Это чистенькое одноэтажное каменное зданіе съ просторнымъ и свѣтлымъ подваломъ для помѣщенія кухни и для жилья прислуги, съ тѣнистымъ садикомъ, смотрѣло весело

и уютно, бросаясь въ глаза бѣлою окраской стѣнъ, свѣтло-зеленою крышею, цѣльными зеркальными окнами. Въ домѣ все было нѣсколько яркимъ, нѣсколько пестрымъ, нѣсколько напоминающимъ новизною о магазинѣ, но именно въ этомъ была своего рода прелесть—прелесть новаго гнѣздышка, новой жизни, новыхъ надеждъ. Тутъ было все не такъ, какъ «принято», какъ требуютъ условія «свѣта», какъ распорядились «предки», а такъ, какъ вздумали, какъ устроились по своему вкусу сами обитатели дома. Этотъ вкусъ, можетъ-быть, былъ причудливымъ, аляповатымъ, смѣшнымъ, но это былъ ихъ вкусъ. Они самодовольно улыбались, осматривая свой бѣлый залъ съ бѣлой мебелью, обитой блѣдно-голубымъ шелкомъ съ голубыми узорами на потолкѣ, на стѣнахъ, на бѣлыхъ рамахъ зеркалъ,—потомъ ярко-красную гостиную, обремененную золочеными украшеніями, рамами зеркалъ, вазами, люстрами, бра, жирандолями, далѣе—столовую, отдѣланную темнымъ дубомъ, съ тяжелой дубовой мебелью, съ разрисованными стрѣльчатыми окнами, пропускавшими въ комнату какой-то причудливый свѣтъ, съ украшеніями изъ оксидированнаго серебра на стѣнахъ, на каминѣ, на буфетѣ. Романъ Шельхеръ въ первые дни ходилъ по комнатамъ своего дома, подпершись правой рукой въ бокъ и покручивая лѣвой свой усъ, а Анна Ивановна Шельхеръ, немного подобравъ по старой привычкѣ свое тяжелое шелковое платье, только покачивала съ блаженной улыбкой головою и шептала: «совсѣмъ дворецъ!» Въ образѣ жизни этихъ обитателей тоже не было ничего навязаннаго кѣмъ-то и чѣмъ-то, а вполнѣ сказывались ихъ собственные вкусы и привычки. Угадать эти вкусы и привычки было не трудно, такъ какъ даже самый поверхностный наблюдатель могъ бы сразу понять, что и постройкой дома, и складомъ жизни здѣсь руководила одна мысль: какъ бы удобнѣе было Левѣ. Для Левы строился этотъ домъ: отецъ и мать только и говорили при постройкѣ о томъ, что имъ самимъ ничего не надо, а для Левы—вотъ тутъ будетъ спальня его, когда онъ женится, вотъ здѣсь помѣстится дѣтская, когда у него будутъ дѣти, вонъ тамъ отведется комната для няни, когда дѣтей будутъ отнимать отъ груди. Для Левы взяли племянницъ-сиротъ, чтобы ему не было скучно расти, и для него же принимали въ гости почти исключительно молодежь, его товарищей, его друзей, такъ какъ «что ему за радость смотрѣть на стариковъ и старухъ». Именно вслѣдствіе этого не только домъ смотрѣлъ снаружи

и внутри игрушкой, сдѣланной для ребенка, но и самый образъ жизни въ немъ напоминалъ не то дѣтскую, не то школу, не то рекреаціонное зало. Можетъ-быть, жизнь въ домѣ сложилась бы нѣсколько иначе, если бы Романъ Шелькеръ прожилъ дольше послѣ окончанія постройки этого дома. Онъ, вѣрно, постарался бы блеснуть своимъ «дворцомъ» передъ пріятелями заводчиками и биржевиками. Но онъ умеръ, когда Левѣ минуло только семь лѣтъ. Анна Ивановна была сильно опечалена смертью любимаго мужа и, конечно, не думала о пирахъ. Кромѣ того, она была слишкомъ неподвижнымъ по натурѣ человѣкомъ, чтобы вести шумную жизнь. Только изрѣдка, въ торжественные дни, или въ особенныхъ случаяхъ, въ домѣ появлялись чопорные гости изъ взрослыхъ и стариковъ—купцы и купчихи, стремившіеся породниться съ «генералами», дамы и мужчины изъ «свѣта», не брезгавшіе ради благотворительныхъ цѣлей женой бывшаго кузнеца, какіе-то промотавшіеся помѣщицы и помѣщики, когда-то покупавшіе у Шелькеровъ машины, а теперь старавшіеся урвать въ долгъ сотню-другую у «заводчицы». Кромѣ того являлись такими же рѣдкими гостями и то какъ-то урывками, на минуту, разные родственники и родственницы хозяевъ, еще не успѣвшіе нажиться и алчущіе подачекъ. Во время этихъ визитовъ молодежь старалась куда-нибудь удирать изъ зала и гостиной, оставляя на жертву гостямъ мать семейства, добродушную Анну Ивановну. Анна Ивановна, получившая образованіе на мѣдныя деньги, а можетъ-быть, и вовсе не получившая его, давно уже пріобрѣла привычку «держать себя» съ важничающими или важными людьми, съ нуждающеюся или съ прикидывающеюся нищими родней. Она постоянно жаловалась важнымъ посѣтителямъ на свое «страшно разстроенное здоровье», зная, что это, во-первыхъ, даетъ ей право не отдавать визитовъ и не посѣщать благотворительные комитеты, а во-вторыхъ, заставляетъ ея гостей не засиживаться у нея подолгу. Потомъ, чтобы оставить въ гостяхъ пріятное впечатлѣніе, она заговаривала о томъ, что до нея дошли слухи о денежныхъ затрудненіяхъ въ такомъ-то и въ такомъ-то пріютѣ, и выдавала посильную ленту. Съ родственниками дѣло обдѣлывалось еще проще и скорѣе, такъ какъ встрѣча и начиналась съ вопроса: «Что, деньжонокъ?..» И во все время этихъ бесѣдъ, какъ она сознавалась по уходѣ гостей, у нея сосало подъ сердцемъ отъ мысли, что Дарья, кухарка, «готовившая за повара», опять не такъ кремъ сдѣлаетъ,

какъ любитъ Левушка. Опечаленные нездоровьемъ хозяйки и очарованные ея щедростью, гости спѣшили уѣхать, чтобы не утомить дорогую Анну Ивановну, а она, вздыхая облегченною грудью, переваливаясь съ боку на бокъ, немного подобравъ тяжелое шелковое платье, спѣшила въ кухню наблюсти за стряпней Дарьи, твердо вѣря, что никакая повариха не угодитъ такъ Левушкѣ, какъ она. Это была смѣшная слабость богачихи, оставшаяся у нея въ наслѣдіе отъ тѣхъ временъ, когда ей приходилось если не стряпать, то дѣйствительно помогать служанкѣ. Иногда на дорогѣ въ кухню ее перехватывала съ гамомъ и хохотомъ молодежь, разспрашивая ее, какъ она отдѣлалась отъ гостей, что говорила имъ, сколько дала отступного. Анна Ивановна отбивалась отъ «пострѣлятъ», махая руками и твердя:

— Пустите, пустите, разбойники! Дарья ужъ вѣрно натворила безъ меня какихъ-нибудь бѣдъ! Сами же безъ обѣда останетесь!..

Анна Ивановна была женщина приземистая, довольно толстая, рыхлая, или, какъ она сама выражалась про себя, сырая. Простоватость, добродушіе, слабохарактерность, отсутствіе страстности были ея отличительными чертами. Отчасти по натурѣ, отчасти вслѣдствіе обрюзглости и рыхлости, она не отличалась подвижностью и оправдывала себя въ этомъ тѣмъ, что у нея ревматизмъ въ рукахъ и ногахъ, что у нея одышка въ груди и кромѣ того «трепетанье сердца». Впрочемъ, при ея крупныхъ матеріальныхъ средствахъ она и безъ этихъ уважительныхъ причинъ могла бы сидѣть по цѣлымъ днямъ на одномъ мѣстѣ. Она, вѣроятно, и сидѣла бы на одномъ мѣстѣ, если бы у нея не было своихъ заботъ. Эти заботы заставляли ее забывать все, и природную склонность къ лѣни, и бремя тучности, и всякіе недуги. Заботъ этихъ было двѣ: первая забота—здоровье сына, вторая забота—невозможность оставить безъ надзора кухню. Первая забота заставляла Анну Ивановну усиленно двигаться періодически два раза въ годъ—весною и осенью, когда Левъ Шельхеръ хворалъ почти неизмѣнно; вторая забота была ежедневной и, можно сказать, ежечасной, такъ какъ Анна Ивановна во всякое время дня способна была срываться съ мѣста и стремительно направляться въ кухню, вспомнивъ о какомъ-нибудь блюдѣ, приготовляемомъ къ завтраку, къ обѣду, къ ужину, къ завтрашнему дню. Въ тѣ же минуты, когда эти заботы не мучили ее, она оставалась по цѣлымъ часамъ неподвижною и съ блаженной

улыбкой смотрѣла, какъ рѣзвится и дурачится ея «молодежь», или съ той же улыбкой слушала, какъ ей что-нибудь разсказываютъ—Минна о прочитанной книгѣ, моя мать о положеніи окрестныхъ бѣдняковъ, Женя о школьныхъ продѣлкахъ, какая-нибудь странница о Іерусалимѣ, Вурмъ о религіи божественнаго откровенія. Эта блаженная улыбка не исчезала съ лица Анны Ивановны по понедѣльникамъ въ итальянской оперѣ, гдѣ ее интересовали богатые испанскіе костюмы и танцы,—по субботамъ во французскомъ театрѣ, гдѣ она любила болѣе всего смотрѣть, если актеры дерутся или падаютъ въ водевиляхъ,—не исчезала эта улыбка даже тогда, когда слушанье и созерцаніе переходили незамѣтно въ сладкій сонъ. Впрочемъ, вѣроятно, и во снѣ Анна Ивановна слышала все тотъ же звонкій молодой смѣхъ, вѣчно наполнявшій ея домъ, а развѣ можно было не улыбаться, слыша его? Подъ его звуки ей, можетъ-быть, грезилось во снѣ, что, увлеченный этой молодежью, улыбается свѣтлою улыбкою и ея Левушка.

Когда я вспоминаю о Львѣ Шельхерѣ, изъ-за него всегда выглядываетъ на меня смѣющееся розовое личико Жени. Говорить о Левѣ, не говоря о ней, почти невозможно, такъ срослись, сжились эти два совершенно противоположныя существа. Я и теперь буду говорить о нихъ разомъ, не отдѣляя ихъ другъ отъ друга, какъ они не отдѣлялись другъ отъ друга въ жизни.

Въ нашей школѣ было два отдѣленія—мужское и женское; нѣсколько разъ въ году оба отдѣленія сходились на общихъ танцклассахъ; разъ въ году давался публичный балъ, гдѣ танцовали и мальчики, и дѣвочки. Само собою разумѣется, что дѣло не обходилось безъ маленькихъ невинныхъ романовъ. Нерѣдко эти романы продолжались и по выходѣ изъ школы и приходилось слышать, что тѣ или другіе бывшіе воспитанники женились на бывшихъ воспитанницахъ нашей школы. Иногда, иной изъ воспитанницъ выпадала завидная доля быть «дамой сердца» всей школы, и каждый изъ школьниковъ старался завоевать благосклонное вниманіе этой «богини». Такую роль пришлось играть и Женѣ. Это былъ бойкій, веселый и безпечный бѣсенокъ, способный вскружить голову самому апатичному человѣку. Когда она дурачилась и смѣялась, передразнивая кого-нибудь изъ учителей или классныхъ дамъ,—улыбка озаряла даже лицо Левы Шельхера, и его мрачное настроеніе, казалось, исчезало безслѣдно. Вліяніе Жени на Леву было такъ явно, что его

замѣчала даже Анна Ивановна, умѣвшая въ сущности подмѣчать только: пригорѣлъ или не пригорѣлъ пирогъ, перекипѣлъ или не докипѣлъ бульонъ. За эту способность Женя была своего рода божкомъ въ домѣ, и Анна Ивановна нерѣдко говаривала ей:

— Женюша, поди-ка ты къ Левушкѣ, онъ у насъ что-то куксится сегодня, боюсь я, не худо ли ему?

И Женя шла къ Левѣ, и Лева оживлялся.

Узкогрудый, худощавый, съ пятнами румянца на впалыхъ щекахъ, онъ чуть не съ самаго ранняго дѣтства опасался уже того, чего не предчувствовала даже его мать, сокрушавшаяся о его здоровьи, — опасался близости своей смерти. Онъ опасался этого и боялся этой мысли, мучился ею. Матери онъ никогда не высказывалъ своихъ опасеній, но зато передъ другими эти опасенія прорывались у него хватающими за сердце нотами. Эти ноты отзывались еще мучительнѣе оттого, что природа дала этому юношѣ все, кромѣ крѣпкаго здоровья. Онъ былъ строенъ, высокъ, красивъ собой; густые темные волосы, тонкія брови, темные каріе глаза, точно подернутые масломъ, мелкія правильныя черты лица, замѣчательная нѣжность и бѣлизна кожи дѣлали его почти красавцемъ; при этомъ его обращеніе съ людьми, манеры, голосъ обличали въ немъ человѣка съ мягкимъ сердцемъ, а выраженіе лица сразу говорило о мыслящемъ, недюжинномъ умѣ. Болѣзненность съ дѣтства развила въ немъ привязанность къ книгамъ, къ наукѣ, къ искусствамъ; это были его друзья, а богатство давало возможность отдаться этимъ друзьямъ всецѣло; съ ними онъ могъ просиживать, не волнуясь, не двигаясь, не уставая, цѣлые часы. Застать его за книгой, за фортепіано, за акварелью — это было почти неизбѣжно; иногда онъ не оставлялъ своего мѣста у фортепіано, или не выпускалъ кисти изъ рукъ даже при появленіи друзей. Но съ той поры, какъ ему начало дѣлаться все яснѣе и яснѣе, что онъ не долгій гость на свѣтѣ, когда онъ подъ вліяніемъ мнительности, развившейся вслѣдствіе болѣзненности, сталъ бояться близости развязки, ожидая ее при каждой легкой простудѣ, онъ иногда вдругъ отбрасывалъ книги, ноты, кисти. Когда въ эти дни кто-нибудь изъ насъ спрашивалъ его, чѣмъ онъ занимается, онъ отвѣчалъ врачно:

— Ничѣмъ! Да и для чего? Сколько бы ни занимался я, для могильныхъ червей вкуснѣе отъ этого не стану. Вотъ жаль, что шить не научился, а то могъ бы себѣ саванъ начать шить...

И, охваченный мрачнымъ настроеніемъ, начиналъ говорить о томъ, какъ все нелѣпо складывается въ жизни.

— Кому ѣсть нечего, кто молитъ о смерти, тому отпущено здоровья на десятерыхъ. Иному же птичьяго молока недостаетъ только, а смерть уже запускаетъ въ него свои когти.

Въ душѣ начинался рядъ нерѣшенныхъ вопросовъ, мучительныхъ сомнѣній, болѣзненныхъ тревогъ.

— И если бы хоть знать, что все не кончится здѣсь, что тамъ жизнь, а не уничтоженіе! Такъ нѣтъ, впереди одна непроглядная тьма неизвѣстности...

Охваченный страхомъ передъ мыслью о полномъ уничтоженіи, онъ старался сходиться съ товарищами, быть на людяхъ, чтобы не думать, не мучиться, забыться. И вдругъ среди самаго веселаго общества, на него нападала тоска, онъ уходилъ куда-нибудь въ уголъ и снова думалъ, думалъ все о тѣхъ же неразрѣшимыхъ вопросахъ: что тамъ — новая жизнь или полное уничтоженіе, небытіе? Если жизнь, то какая—съ безстрастнымъ блаженствомъ и съ неодолимыми муками, безъ личной воли, безъ личной свободы? Въ эти минуты только Женя и Вурмъ способны были хотя нѣсколько разсѣять его, каждый по-своему — она, врачуя душевныя раны, онъ, вливая въ нихъ новую отраву. Вурмъ былъ землякомъ, старымъ знакомымъ, другомъ отца Левы; онъ былъ учителемъ Левы передъ поступленіемъ послѣдняго въ школу; по смерти Романа Шельхера онъ явился въ качествѣ одного изъ душеприказчиковъ старика и, уже безъ всякихъ постороннихъ приглашеній, принялъ на себя обязанность не то опекуна, не то руководителя семьи. Левѣ было тогда семь лѣтъ. Его умъ развивался исключительно подъ вліяніемъ пророка. Въ домѣ Шельхеровъ Вурмъ нашелъ первыя богатыя розсыпи для своей, существовавшей только въ проектѣ, общины и сообразилъ, что нигдѣ нельзя намыть для нея столько золота, какъ здѣсь. Онъ подолгу дружески бесѣдовалъ съ Левой, и эти бесѣды, какъ казалось, благотворно дѣйствовали на молодого человѣка. Для Вурма не было тайнъ въ загробной жизни. Онъ могъ разрѣшить всевозможные вопросы и сомнѣнія. Скоро настанетъ свѣтопреставленіе; добрые будутъ торжествовать и жить среди блаженства; грѣшниковъ и злыхъ ждутъ страшныя мученія; земныя невзгоды — ничто, и счастливъ тотъ, кто не долго мучится на землѣ; истинная жизнь и блаженство не здѣсь, а тамъ, за предѣлами гроба. Вурмъ говорилъ съ

такимъ убѣжденіемъ, что на время Лева успокаивался и даже замѣчалъ:

— Да, правда, что хорошо умереть рано. Здѣсь, кромѣ неправды, зла, мученій, нечего ждать. Жизнь людей сложилась такъ нелѣпо, что дорожить ею нельзя.

Онъ вспоминалъ всѣ ужасы, которые говорилъ Вурмъ о жизни: корыстолюбіе, развратъ, торжество зла надъ добромъ, побѣда сильныхъ надъ слабыми, предательство дружбы и любви, недуги и невзгоды старости, очерствѣніе души подъ конецъ жизни. Развѣ можно просить небо о жизни, чтобы испытывать все это? Подъ вліяніемъ пессимистическаго взгляда на жизнь Лева иногда готовъ былъ сказать:

— Слава Богу, мнѣ не долго придется видѣть все это!

А вдругъ, тамъ, за гробомъ, его, Леву, ждутъ мученія ада? Эта мысль смущала, бросала въ дрожь юношу. Вурмъ успокаивалъ его и въ этомъ отношеніи. Иногда цѣлые часы, не уставая, прохаживался Лева съ Вурмомъ по бѣлому залу въ бесѣдахъ объ этомъ вопросѣ. Заложивъ за спину руки, наклонивъ немного впередъ голову, сосредоточенно сощуривъ устремленные впередъ глаза, молодой человѣкъ слушалъ слова пророка.

— Спастись можетъ только тотъ, кого изберетъ Богъ,— тихо и мягко говорилъ Вурмъ. — Когда богатый юноша, спрашивавшій у Христа, какъ спастись, съ печалью отошелъ отъ него, услыхавъ, что нужно раздать имѣніе нищимъ, Христосъ обратился къ ученикамъ и на ихъ вопросъ: «кто же можетъ спастись?» отвѣтилъ: «человѣкамъ это невозможно, Богу же все возможно»... Да, на жизненномъ пиру много званыхъ, но мало избранныхъ. Не принадлежащіе къ числу избранныхъ не идутъ на брачный пиръ—въ царство Божіе, даже когда ихъ зовутъ рабы Царя Небеснаго, или если и идутъ, то не приготовившись, не въ брачной одеждѣ, и ихъ выбрасываютъ туда, гдѣ плачъ и скрежетъ зубовъ... Но кто избранъ, тотъ спасется...

Въ душѣ Левы пробуждалось сознаніе, что онъ принадлежитъ къ числу избранныхъ. Въ этомъ убѣжденіи поддерживалъ его Вурмъ, поощряя и одобряя его пытливые разспросы, какъ явное проявленіе лежавшей на немъ благодати Божіей. Юношѣ было сладко сознавать, что и тамъ, за предѣлами гроба, его ждетъ блаженство.

— Да, я умру спокойно!—говорилъ онъ.

Но молодость беретъ свое — роскошный весенній день, полный тепла и свѣта, возрожденіе всего подъ лучами ве-

сенняго солнца, какая-нибудь чудная картина природы въ часы восхода или заката солнца, веселое настроеніе общества молодежи съ шумнымъ говоромъ, съ задушевнымъ смѣхомъ, съ стройнымъ пѣніемъ, все это снова влекло къ жизни, и онъ восклицалъ:

— И все же тяжело сознавать, что скоро ничего этого не увидишь!

Тогда являлась на выручку Женя, веселая, безпечная, жизнерадостная, готовая шутить и смѣяться.

— Да полно, Лева, томиться вопросами о будущемъ, — говорила она.—Пользуйся настоящимъ! Вѣдь тебѣ сегодня весело, хорошо? Ну, и слава Богу! А будущее — кто его знаетъ? Оно, можетъ-быть, еще свѣтлѣе будетъ... Да если бы даже и не такъ, то для чего отравлять настоящее страхомъ передъ этимъ будущимъ? А вдругъ его совсѣмъ не будетъ, никакого?

И, лаская его, какъ ребенка, она, сама почти ребенокъ, обращала его вниманіе на чудный день, на цвѣтущую природу, на безпечную молодежь, тихо спрашивая его:

— Вѣдь ты счастливъ теперь? Вѣдь тебѣ весело? Да? да?

Онъ улыбался, притягивалъ ее къ себѣ за талью, цѣловалъ ее и шутливо говорилъ ей:

— Да, счастливъ, когда моя весна со мною.

Весной своей онъ называлъ ее.

Дѣйствительно, она была для него весною, оживляющею, согрѣвающею, развеселяющею. Его мучили отвлеченные вопросы о жизни и смерти; Вурмъ говорилъ о грѣхахъ и порокахъ міра, сокрушаясь о нихъ, запугивая ими юношу; мать охала отъ ревматизмовъ въ рукахъ и ногахъ, отъ начинавшейся водянки, отъ неудавшагося у Дарьи пирога; Минна, убогая, больная, создавала какой-то фантастическій мірокъ для себя, съ излюбленными стишками; она же, весна Левы, щебетала, какъ птичка на вѣткѣ, обо всемъ безъ умолку, безъ связи иногда: тутъ былъ и серьезный разсказъ о томъ, какъ она испугалась на экзаменѣ, забывъ свой билетъ; и такой же серьезный разсказъ о томъ, какъ она выпьетъ себѣ малороссійскій костюмъ; и комическое передразниванье учителей и классныхъ дамъ; и восторженныя мечты о томъ, какъ они всѣ будутъ жить на дачѣ, кататься въ экипажѣ, удить рыбу, ходить за ягодами и грибами. И все это смѣшивалось въ одинъ винегретъ безконечной болтовни со смѣхомъ, съ прыганьемъ по комнатѣ, съ быстрыми переходами отъ одного разсказа къ другому, отъ одного

впечатлѣнія къ другому. Она напоминала ребенка, попавшаго впервые на представленіе волшебной пьесы; его занимаетъ все, и декораціи, и превращенія, и серьезное, и смѣшное, и онъ дергаетъ своихъ спутниковъ, повторяя: «смотрите! смотрите!» точно они ничего этого не видятъ, не замѣчаютъ. Этой волшебной пьесой была для нея жизнь. Молодость, избытокъ здоровья, душевная чистота дѣлали то, что въ этой волшебной пьесѣ все казалось ей покуда прекрасно.

Ей шелъ шестнадцатый годъ, Левѣ пошелъ двадцатый, когда, въ началѣ весны, Лева простудился и пролежалъ недѣли три. Ему все казалось, что это смерть; ей казалось, что онъ не можетъ умереть, и она забѣгала къ нему утѣшать его, обнадеживать: «погоди, вотъ настанутъ теплые дни, сразу поправишься»; «тебѣ вѣдь лучше сегодня? да? да? Это потому, что уже теплѣе стало; вотъ, погоди — станетъ еще теплѣе, и ты совсѣмъ будешь здоровъ»; «а какъ у насъ въ Мартышкиной-то теперь хорошо; море, я думаю, такъ и искрится на солнцѣ»... И теплые дни настали, и онъ поправился. Когда онъ сидѣлъ на террасѣ своей дачи около Ораніенбаума, еще слабый, еще худой, но уже выздоравливающій, Женя хлопала въ ладоши и смѣялась:

— Вѣдь я тебѣ говорила, говорила, что выздоровѣешь! Не вѣрилъ! Ахъ, какъ бы тебя надо проучить за это!

Онъ улыбался, счастливый, страстно желающій жить, обрадованный отсрочкой смерти, отсрочкой вѣчнаго блаженства.

— Ты рада, что я поправляюсь?—ласково говорилъ онъ ей.

— Еще бы! вотъ выдумалъ спрашивать! Ты вотъ только боленъ былъ, такъ я думала, что я съ ума сойду отъ тоски! Право! Тыленишь, около тебя и на цыпочкахъ боишься пройти, чтобы тебя, бѣдняжку, не обезпокоить, а въ другихъ комнатахъ тетя о тебѣ плачетъ, плачетъ — и вдругъ вспомнитъ, что булка въ печку поставлена: «ахъ, вѣрно, подгорѣла, ахъ, безъ меня никто не посмотритъ»; а Миняенъ сидитъ и только вздыхаетъ о суетѣ всѣхъ этихъ заботъ и хлопотъ, потому что «что значитъ наше тѣло съ его страданіями и недостатками, когда нужно заботиться о душѣ». Вотъ я смотрю, смотрю на нихъ и хоть плакать, то въ ту же пору...

— Да вѣдь и со мной не весело,—замѣтилъ тихо Лева, улыбаясь въ отвѣтъ на ея болтовню.

— Съ тобой? съ тобой? О, да ты по цѣлымъ часамъ вы-

слушаешь мою болтовню, спрашиваешь, споришь... Иногда тетя говоритъ: «ты не надоѣдай ему!..» Скажи, я тебѣ надоѣдаю? Скажи!..

— Нѣтъ, нѣтъ,—проговорилъ онъ съ лаской.

— Ну, и я то же говорю тетѣ. «Мы, говорю, друзья, мы не можемъ надоѣсть другъ другу»... Вѣдь я это правду говорю?..

— Да, да, друзья... Вотъ выйдешь замужъ, тогда и не нуженъ будетъ старый больной другъ.

Она покачала отрицательно головой.

— Я не хочу выходить замужъ. Мнѣ такъ, такъ хорошо здѣсь... Нѣтъ, нѣтъ, не выйду ни за что... Да кто же тогда съ тобой будетъ?.. Тебѣ совсѣмъ скучно безъ меня будетъ...

— Ты и обо мнѣ подумала?

— Я же всегда о тебѣ думаю.

Онъ ласково притянулъ ее къ себѣ и спросилъ:

— Такъ ты меня очень любишь?

— Вотъ такъ... Помнишь, какъ я ребенкомъ говорила.

Она крѣпко обняла его и поцѣловала въ губы. На мгновенье у него закружилась голова, въ глазахъ потемнѣло, голубыя небеса слились въ одно цѣлое съ голубымъ взморьемъ... Какъ молнія, въ его головѣ мелькнула мысль о томъ, какое блаженство испытывалъ бы онъ, если бы она всегда была такъ около него. Онъ долго всматривался въ ея лицо, потомъ взялъ ея руки и покрылъ ихъ поцѣлуями, со слезами счастія на глазахъ, прошепталъ:

— Милая, дорогая моя дѣвочка!

Она опустилась у его ногъ на скамейку и опять заговорила:

— Какой чудесный день, тепло, ясно, ни облачка въ небѣ, ни одной волны на морѣ. О, что можетъ быть лучше весны!

Онъ хотѣлъ ей отвѣтить: «любовь!» и промолчалъ. Впервые онъ почувствовалъ, что безумно любитъ ее. Но что можетъ выйти изъ этой любви? Никогда онъ, больной, умирающій, не связалъ бы судьбы этой дѣвочки съ своей судьбою. Но отчего же? Можетъ-быть, эта любовь и спасла бы его, укрѣпила бы? Нѣтъ, дѣло не въ болѣзни, а въ томъ, что они двоюродные братъ и сестра; подобные браки у насъ запрещены. Вотъ отецъ и мать Минны были двоюродными братомъ и сестрой и повѣнчались. Вурмъ тоже женатъ на двоюродной сестрѣ; это онъ самъ говорилъ. Отчего же у насъ запрещено? И снова его мысль, подъ вліяніемъ

Вурма, пріученная съ дѣтства обращаться къ вопросамъ вѣры, религіи, догматики, работала въ привычномъ направленіи, терзая его вопросами, сомнѣніями, отрицаніями. Да, если бы законъ позволилъ ему жениться на Женѣ, онъ былъ бы счастливъ хоть нѣсколько послѣднихъ лѣтъ, онъ даже, можетъ-быть, выздоровѣлъ бы. О, Вурмъ правду говоритъ, когда порицаетъ существующія религіи...

III.

То, чего опасались близкіе мнѣ люди и чего остерегался я самъ, наконецъ случилось: я столкнулся съ Вурмомъ и вышелъ изъ школы. Это столкновеніе сильно повліяло на меня. Я разсказалъ все отцу и матери. Они не встрѣтили меня горькими упреками, какими встрѣчаютъ «преступника», и не осыпали чувствительными сожалѣніями, какими осыпаютъ «пострадавшаго». Они, казалось, только подумали: «было бы лучше, если бы этого не случилось, но разъ это случилось, то нужно позаботиться о будущемъ». Отецъ только коротко спросилъ:

— Что же думаешь дѣлать?

— Къ выпускному экзамену въ гимназіи готовиться,— отвѣтилъ я.

— Дѣло; значитъ, придется взять приватныхъ учителей. Оно дорогонько, но кое-какъ постѣснимся.

Я покраснѣлъ, какъ вареный ракъ. Стѣсняться изъ-за меня! Они и безъ того не роскошно жили. Слова отца подѣйствовали сильнѣе упрека.

— Нѣтъ, зачѣмъ же?—отвѣтилъ я сконфуженно.—Я подготовлюсь самъ, безъ учителей.

Отецъ зорко посмотрѣлъ на меня и проговорилъ:

— Глупости! Хватаетъ денегъ на помощь чужимъ, хватитъ и на тебя. Сократимъ кое-какіе расходы.

Мнѣ стало совсѣмъ совѣстно: мнѣ показалось, что отецъ намекаетъ на возможность помочь мнѣ, отнявъ что-то у бѣдняковъ.

— Нѣтъ, я ужъ рѣшилъ,—отвѣтилъ я.

— Смотри, чтобы дешевое на дорогое не навело, — сказалъ отецъ.

Я сталъ увѣрять его, что я выдержу экзаменъ.

— Ну, какъ знаешь, такъ и дѣлай!

Онъ, повидимому, былъ совершенно спокоенъ. Но мать была далеко не спокойна. Тотчасъ послѣ моего удаленія въ мою комнату она высказала свои опасенія отцу. Справлюсь

ли я? Выдержу ли экзаменъ? Тяжело мнѣ будетъ. Отецъ усмѣхнулся.

— А вотъ пусть и узнаетъ: легко это, или тяжело. Урокъ, Леля, нуженъ...

— А вдругъ сорвется на экзаменахъ?

— Не бойся, не бойся, слѣдить-то я буду... Впрочемъ, Николай изъ силъ выбьется, а достигнетъ своего... Видѣла, какъ сконфузился?..

Отецъ не ошибся: я экзаменъ выдержалъ, хотя эта зима была для меня не легка. Я, какъ шутливо замѣчалъ отецъ, «отощалъ» за время приготовленія къ экзаменамъ. Но сдавъ ихъ благополучно, я почувствовалъ, что я сталъ еще дороже отцу и матери, что я самъ какъ будто выросъ въ своихъ глазахъ, всталъ на свои собственныя ноги, испробовалъ свое терпѣніе и способность работать не изъ-подъ палки. Весной мы перебрались на дачу. Нанимаемая моей семьей дача стояла бокъ-о-бокъ съ дачей Шельхеровъ, и потому мы и Шельхеры видѣлись почти ежедневно. Именно въ это лѣто я сблизился съ Левой—сблизился уже не какъ мальчикъ, а какъ юноша, какъ завтрашній студентъ. Происшедшая со мной катастрофа, нѣсколько мѣсяцевъ самостоятельной работы, боязнь сорваться на экзаменахъ — заставили меня призадуматься о многомъ. Я впервые понялъ, сколько подводныхъ камней и мелей ожидаетъ человѣка въ житейскомъ морѣ, и какъ нужно быть осторожнымъ и осмотрительнымъ, чтобы не столкнуться острымъ угломъ съ какими-нибудь Вурмами, если дорожишь своей будущностью, своимъ успѣхомъ. Сотни новыхъ практическихъ вопросовъ вставали въ моей головѣ и требовали отвѣта. Лева тоже сильнѣе обыкновеннаго томился и мучился разными вопросами, поднявшимися въ его душѣ въ это время вслѣдствіе пробудившейся въ немъ страстной любви къ Женѣ. Именно эти-то вопросы и сомнѣнія, хотя я и не зналъ ихъ источника, сблизили насъ, и мы проводили цѣлые часы на мартышкинскомъ кладбищѣ и въ ораніенбаумскомъ паркѣ, толкуя и споря о томъ, что волновало и мучило каждаго изъ насъ. Мало-по-малу, Лева открылся передо мною весь со своимъ душевнымъ міромъ, и я только теперь не безъ горечи замѣтилъ, сколько отравы влилъ въ эту душу Вурмъ, наполнивъ ее мистическими бреднями, догматическими измышленіями, неразрѣшимыми сомнѣніями. Я угадалъ это чутьемъ, такъ какъ и я, и Лева избѣгали говорить объ этомъ человѣкѣ, сдѣлавшемъ мнѣ не мало зла.

Какъ-то разъ, забравшись ранним утромъ за деревню «Вѣнки», мы напились на мельницѣ молока и, усѣвшись на травѣ, залюбовались моремъ, широко раскинувшимся вдали за лѣскомъ и садами, покрывавшими низменную часть берега. Пригрѣтые утреннимъ солнцемъ, любуясь развернувшеюся передъ нами картиной природы, мы размечтались и разговорились о будущемъ. Я говорилъ, какъ думаю устроить свое будущее, поступивъ въ медико-хирургическую академію.

— Счастливый ты человѣкъ,—замѣтилъ Шельхеръ:—все у тебя опредѣленно, ясно. Даже эта поганая исторія, вытолкнувшая тебя изъ школы, все же не выбила тебя изъ колеи, не столкнула тебя съ торной дороги, а даже послужила тебѣ въ пользу...

Я улыбнулся: моя дорога—была дорогой пролетарія, надѣющагося на выносливость своихъ рабочихъ силъ; его дорога—была дорогой богача, могущаго распоряжаться и не-велѣвать обстоятельствами. Я мелькомъ замѣтилъ ему:

— Твой путь еще опредѣленнѣе.

Онъ передернулъ плечами.

— Что ты мнѣ говоришь. Неужели ты до настоящаго времени не понимаешь всей неестественности, всей странности моего положенія? У тебя есть опредѣленное положеніе, опредѣленная среда, опредѣленныя цѣли. У тебя, кажется, чуть ли не прадѣдъ былъ врачомъ?.. А я? Скажи, пожалуйста, къ какой средѣ принадлежатъ господа Шельхеры? Къ простымъ ремесленникамъ? къ именитому купечеству? къ дворянскому кругу? Вѣдь въ нашемъ домѣ стоитъ побывать два-три раза въ гостяхъ, чтобы понять всю нелѣпость нашего положенія. Мы давно постарались удалиться отъ кулецовъ, родныхъ моего отца, и отъ мелочныхъ лавочниковъ и лабазниковъ, родныхъ моей матери, но мы до сихъ поръ не могли пристать ни къ какому новому кружку, классу общества, средѣ. Обпрать насъ, пожалуй, самые аристократичные аристократы придутъ къ матери, но вѣдь не могутъ же они въ-серьезъ признать ее своею знакомою, равною. Вонъ Федулова, бывшая селедочница и нынѣшняя обладательница милліоновъ, говорятъ, даже на какомъ-то придворномъ балу была и выслушивала благодарности за основанные ею пріюты и богадѣльни; но вѣдь это вовсе не значитъ, что она придворная дама, что за ея спиной не смѣются надъ ея жаргономъ, манерами, туалетомъ... Гнѣзда съ голубями, бывшія на ея бальномъ платьѣ, сдѣлались сказкой города, а бриллянты... ее за нихъ прозвали иконой въ окладѣ...

— Твоя мать и не стремится никуда,—сказалъ я.—У васъ въ домѣ все живетъ тобою и для тебя, ты и создашь себѣ въ будущемъ положеніе, кружокъ...

Онъ перебилъ меня.

— О, въ этомъ-то и заключается иронія судьбы: отецъ и мать бились, работали, копили, эксплоатировали людей, все для того, чтобы подготовить всѣ удобства, всѣ блага «наслѣднику»—стоящему одной ногой въ могилѣ человѣку!

Я молчалъ, боясь касаться этого больного мѣста Левы—его страха передъ смертью. Его лицо приняло сосредоточенное, мрачное выраженіе; всматриваясь въ даль прищуренными глазами, онъ заговорилъ въ раздумьи:

— Знаешь ли, что? Мнѣ съ нѣкоторыхъ поръ кажется, что это возмездіе. Какъ знать! Пути Господни неисповѣдимы и таинственны... Въ прошломъ году я перечиталъ много книгъ о рабочемъ классѣ. Это мрачныя, безрадостныя картины. Непосильный трудъ, нищета, грязь, невѣжество, пьянство, развратъ и вымираніе цѣлыхъ массъ людей, обобранныхъ какимъ-нибудь однимъ эксплоататоромъ, высосавшимъ ихъ лучшіе соки. Все это я вычиталъ у Энгельса, у Виллерме, у Лассаля, и понялъ; но сердце мое осталось все-таки спокойно:—работалъ только умъ. Я самъ не испыталъ и не видалъ нищеты—и разсказы о ея мукахъ были для меня словами страшными, мрачными, но все же только словами... Нынче же передъ началомъ весны я посѣтилъ бывшій нашъ заводъ, купленный у насъ дядею Карломъ съ компаніей...

— Ты, кажется, послѣ этой поѣздки и простудился?—спросилъ я.

— Простуда тутъ была ни при чемъ,—съ горечью отвѣтилъ онъ, не измѣняя своей позы.—Это была кара Божія! Да, кара Божія! Я въ этомъ твердо убѣжденъ. Когда я увидалъ этотъ народъ, испитой, оборванный, одичавшій, окруженный чадомъ и копотью, озаренный пламенемъ печей, согнувшійся надъ расплавленнымъ чугуномъ, раскаленнымъ желѣзомъ, меня охватилъ ужасъ, точно я попалъ въ адъ, гдѣ томятся грѣшники. На минуту у меня потемнѣло въ глазахъ, и мнѣ показалось, что кто-то шепчетъ мнѣ: «всѣ эти люди были загублены для того, чтобы ты не нуждался ни въ чемъ; и вотъ ты богатъ, тебѣ птичьяго молока только недостаетъ, и все же ты не чувствуешь себя счастливымъ, потому что ты обреченъ на смерть; это возмездіе».

Его лицо приняло мрачное выраженіе. Казалось, онъ

снова видѣлъ передъ собою картину завода и слышалъ таинственный шопотъ Бога-мстителя.

Я осторожно замѣтилъ ему:

— У тебя слишкомъ разстроены нервы!

— Должно-быть,—разсѣянно согласился онъ и тѣмъ же тономъ мрачнаго раздумья продолжалъ:—Я пріѣхалъ домой больной, подавленный, мучимый тысячами вопросовъ, а ночью уже пришлось послать за твоимъ отцомъ... Рѣшили, что я простудился, начали пичкать лѣкарствами, поставили на ноги, радуются, что я здоровъ... Заглянули бы ко мнѣ въ душу, въ мой мозгъ, не то бы сказали...

И, рѣзко повернувшись ко мнѣ, прибавилъ:

— Знаешь, мнѣ иногда кажется, что отецъ сдѣлалъ какую-то гигантскую подлость, какое-то кровавое преступленіе, чтобы выбиться на торную дорогу къ богатству. Обычнымъ путемъ метаморфозы изъ мелкаго кузнеца въ крупнаго заводчика не совершаются.

— Метаморфоза совершилась не вдругъ. Онъ бился десятки лѣтъ. Наконецъ, твоя мать принесла деньги въ приданое,—сказалъ я.

Онъ горько усмѣхнулся.

— Спроси: сколько? тебѣ не отвѣтятъ, какъ не отвѣчаютъ мнѣ. Говорятъ: было приданое, вотъ и все. А сколько? Что могъ дать за нею мѣщанинъ-лавочникъ? Или ужъ и онъ столько народа отравлялъ гнилыми продуктами, что могъ скопить десятки тысячъ? Богатства всегда являются плодами преступленій.

Онъ вздохнулъ.

— Да, ты счастливъ. Ты не покраснѣешь, когда тебѣ скажутъ: «одинъ Господь знаетъ, какимъ путемъ составляются благосостоянія! Иной человѣкъ, даже раздавъ все на бѣдныхъ, не смоетъ съ себя крови, которая запятнала его съ колыбели».

— Странно, что ты считаешь дѣтей отвѣтчиками за грѣхи отцовъ.

Лева даже изумился.

— А какъ же? Если первородный грѣхъ легъ на все человѣчество, то грѣхъ отца и подавно лежитъ на сынѣ.

Въ моей головѣ мелькнула мысль о томъ, что Вурмъ первый заронилъ эти идеи въ душу Левы. Можетъ-быть, онъ даже намекалъ Левѣ, что нажитое неправымъ образомъ благосостояніе надо отдать на его, Вурма, святую общину,

на его церковь. Я, чтобы перемѣнить непріятный для меня разговоръ, сказалъ Левѣ:

— Ну, ты можешь утѣшиться тѣмъ, что самъ-то ты не будешь эксплоатировать людей. А что касается богатства, то этой бѣдѣ помочь не трудно,—уже шутливымъ тономъ прибавилъ я.—Стоитъ только раздать все, вотъ тогда нажитое неправдой и не будетъ тяготить тебя. Впрочемъ, я, можетъ-быть, потому говорю о легкости этого, что у меня нечего раздавать...

Шельхеръ уловилъ въ моемъ тонѣ иронію и загорячился.

— Ты хочешь сказать, что все это фразы, что богачъ никогда не поступится своимъ богатствомъ?

Я откровенно сознался, что я именно это думалъ. Не вѣрю я проповѣдямъ богачей о раздачѣ имущества, покуда они не раздаютъ его. Это пустое фразерство и только. Не могутъ эти люди искренно любить бѣдняковъ, какъ мы не можемъ пылать любовію къ какому-нибудь совершенно чуждому намъ краснокожему, живущему гдѣ-то на другомъ полушаріи. Если бы богачи искреннѣе любили бѣдный людъ, они не были бы богачами. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ представить себѣ пресыщающимся всѣми благами любящаго брата, когда любимый имъ братъ умираетъ съ голода. Лева загорячился снова.

— У тебя слишкомъ узкіе взгляды! Можно быть глубоко убѣжденнымъ въ справедливости извѣстныхъ идей и оставаться слабымъ человѣкомъ, не имѣющимъ силъ осуществить эти идеи.

Я засмѣялся.

— Это, братъ, очень удобно: проповѣдуй самыя возвышенныя идеи, не осуществляя ничего изъ нихъ на практикѣ подъ предлогомъ своей личной слабости. Къ такому проповѣднику и примкнуть легко: говори то же, что онъ, и поступай такъ же, какъ онъ, въ свою очередь отговариваясь своею личною слабостью. И честь будетъ спасена, и отъ убытка Богъ избавитъ!..

Лева нахмурился и отрывисто проговорилъ:

— Объ этомъ много можно спорить. Впрочемъ, меня лично нельзя упрекнуть ни въ чемъ, такъ какъ богатство покуда въ рукахъ матери, а не въ моихъ. Кромѣ того, главная задача не въ раздачѣ всего, а въ томъ, на что раздать...

Я не безъ досады сказалъ:

— Отдай Вурму на пропаганду его идей, на проповѣдь

смиренія и покорности забитому обстоятельствами и кулаками народу, на проповѣдь склоннымъ къ фатализму и безпечности бѣднякамъ о томъ, что человѣкъ самъ спастись не можетъ, а можетъ спасти только Богъ.

— А ты бы самонадѣянность хотѣлъ проповѣдывать?— насмѣшливо спросилъ онъ.

— Да. Спустя рукава люди и безъ проповѣди Вурмовъ живутъ...

По его лицу скользнула улыбка сожалѣнія.

— Впрочемъ, — проговорилъ я: — женишься — перемѣнишься...

— Никогда я не женюсь,—коротко прервалъ меня Лева.

— Что за глупости!—не безъ удивленія сказалъ я.—Полюбишь и женишься! Конечно, не сейчасъ. У васъ и влюбиться не въ кого, потому что у васъ почти не бываетъ дѣвушекъ...

— Ну, этого добра сколько хочешь найдется,—пренебрежительно отвѣтилъ онъ.—Только кликни кличъ—со всѣхъ сторонъ набѣгутъ. Еще бы, женихъ завидный, богачъ и на ладанъ дышитъ! Но... лучше подальше отъ этихъ барышень...

Я засмѣялся.

— Да ты что же, ненавистникъ женщинъ, что ли?

— А ты думаешь, я могу ихъ любить? Правда, вздумай я жениться—невѣстъ не оберешься. Но почему? Потому, что я богачъ, скоро умру. Не могу же я повѣрить, чтобы молодая дѣвушка могла полюбить полуумирающаго человѣка. Пойдетъ замужъ, конечно, любая изъ нихъ за меня и, можетъ-быть, даже потому и пойдетъ, что я не долго проживу,— кому не хочется богатства и свободы.

Я не выдержалъ и спросилъ:

— Ужъ не Вурмъ ли тебя навелъ на эти мысли?

Лева сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Я знаю, что ты ненавидишь его, но, повѣрь мнѣ, онъ во многомъ правъ. Онъ никогда не говорилъ мнѣ объ этомъ, о дѣвушкахъ, о невѣстахъ, но, конечно, отчасти онъ заставилъ меня задуматься и надъ этимъ вопросомъ. Ему приходилось волей-неволей говорить обо многомъ со мною...

Я не понималъ, что побуждало Вурма подсказать Левѣ недовѣріе къ женщинамъ. Не могъ же онъ надѣяться, что Лева, умирая холостымъ, оставитъ свое богатство ему, Вурму? Покуда это богатство принадлежало Аннѣ Ивановнѣ, а она хотя и любила поговорить съ Вурмомъ о божественномъ, но все же считала его еретикомъ и, ужъ конечно, не отдала

бы своего имѣнія на его затѣи. Желая какъ-нибудь покончить съ похоронным настроеніемъ Левы, я замѣтилъ шутливо:

— Вотъ погоди, явится какая-нибудь дѣвушка въ родѣ Жени и сразу покоритъ тебя.

Лицо Левы вспыхнуло яркими пятнами румянца.

— Женя одна!—отвѣтилъ онъ быстро.—Найди мнѣ другую такую—и я женюсь. Это чистая душа безъ лжи, безъ притворства, безъ корысти...

И, вдругъ оборвавъ рѣчь, онъ болѣзненно воскликнулъ:

— Нѣтъ, полно толковать обо мнѣ! Я иногда самъ отъ себя хотѣлъ бы бѣжать! Иногда мнѣ кажется, что меня спутали какія-то сѣти, какъ рыбу въ водѣ. Рыба бьется, бьется во всѣ стороны и все больше, и больше запутывается въ петляхъ сѣти, сознавая, что это смерть, смерть, смерть,—а кругомъ—родная стихія, вода, жизнь... Это пытка, это проклятіе...

Онъ всталъ, взволнованный, съ горящими щеками, съ каплями пота на лбу. Я тоже поднялся, недоумѣвая, съ чего онъ вдругъ такъ заволновался.

Мы направились домой молчаливые, только изрѣдка перекидываясь незначительными фразами.

Разговоръ съ Шельхеромъ произвелъ на меня тяжелое впечатлѣніе, и я внутренно упрекалъ себя за то, что я поддерживалъ эту бесѣду. Мнѣ казалось, что нужно всѣми силами отвлекать Леву отъ подобныхъ бесѣдъ. Кромѣ того, мнѣ было неловко, что съ нимъ толковалъ объ этихъ вопросахъ именно я. Я былъ совершенною противоположностью Левы. Не по лѣтамъ высокій, плотный, здоровый, нѣсколько мужиковатый, я могъ возбуждать въ Шельхерѣ только зависть. Я далъ себѣ слово избѣгать подобныхъ бесѣдъ. Но дать слово было не трудно, трудно было сдержать его. Дня черезъ два Лева коснулся снова тѣхъ же мучившихъ его вопросовъ и замѣтилъ мнѣ между прочимъ:

— Ты не знаешь самъ, какъ ты сдѣлался мнѣ дорогъ въ послѣднее время. Ты одинъ, кому я могу открыть вполнѣ мою душу. До настоящаго времени мнѣ приходилось все это передумывать одному. Это страшно тяжело. Когда выскажешься—становится легче...

И волей-неволей мнѣ пришлось сдѣлаться повѣреннымъ всѣхъ его душевныхъ тайнъ, всѣхъ его жалобъ и сѣтованій. Надо было покориться этому ради его спокойствія, тѣмъ болѣе, что я самъ любилъ его за его искренность, мягкость,

чисто женственную нѣжность. И точно, съ кѣмъ же, кромѣ меня, могъ онъ откровенничать? Мать понимала толкъ только въ пирогахъ, супахъ, жаркихъ; Женя была въ сущности ребенкомъ, больше болтавшимъ, чѣмъ слушавшимъ другихъ; Минна носилась въ области поэзіи и туманныхъ мечтаній, говоря съ блаженной улыбкой о физическихъ страданіяхъ, о смерти, точно это самыя лучшія блага; Вурмъ рѣдко посѣщалъ Шельхеровъ лѣтомъ, и я готовъ былъ, если бы это зависѣло отъ меня, сдѣлать все, чтобы Лева не откровенничалъ съ нимъ, такъ какъ и безъ того этотъ человѣкъ слишкомъ сильно повліялъ на болѣзненнаго юношу. Правда, кромѣ этихъ людей, Леву окружали товарищи, пріѣзжавшіе нерѣдко на дачу, иногда на нѣсколько дней. Но вся эта болѣе или менѣе обезпеченная и счастливая молодежь, только что соскочившая со школьной скамьи, не волновалась никакими вопросами, жила удовольствіями настоящаго дня, пустою безсмысленною жизнью богачей, соря деньгами, нажитыми чужими—трудомъ, потомъ и кровью. Съ этими людьми Лева могъ только кататься, ловить рыбу, посѣщать музыку, ходить на прогулки. Вся эта молодежь была довольно разношерстною: тутъ были и сыновья богатыхъ купцовъ, и сыновья аристократовъ, всѣ связанные еще школьными воспоминаніями. Болѣе другихъ выдавался въ этомъ кружкѣ одинъ юноша, сынъ заслуженнаго генерала Бестужева, молодой человѣкъ съ большими связями, съ блестящей карьерой въ будущемъ. Онъ, какъ и Шельхеръ, былъ уже студентомъ, хотя я прозвалъ его «правовѣдомъ». Эта кличка такъ и осталась за нимъ. Дѣйствительно, по франтоватости, по манерамъ, по привычкѣ говорить по-французски, по вкусамъ, онъ очень мало напоминалъ студента. Проборъ по серединѣ, завитки черныхъ волосъ на узенькомъ лбу, изысканно безукоризненные туалеты, умѣнье болтать обо всемъ и со всѣми, говоръ немного въ носъ, высокомѣрное подниманіе головы и прищуриванье глазъ, постоянное кокетничанье и рисовка, желаніе казаться любезнымъ и остроумнымъ, находчивость, доходящая до беззастѣнчивости, все это дѣлало Александра Бестужева похожимъ на любого паркетнаго шаркуна изъ породы карьеристовъ. Тутъ было слишкомъ много внѣшняго лоска, полированности, салоннаго шику и слишкомъ мало внутренняго содержанія, искренности, сердечности. Такіе люди на прокурорскомъ мѣстѣ, не сморгнувъ глазомъ, могутъ сказать пламенную обвинительную рѣчь хоть бы противъ самого Христа, и на другой же день

въ роли адвоката найдутъ въ себѣ способность и силы сказать такую же пламенную рѣчь для защиты хорошо заплатившаго имъ первѣйшаго разбойника,—и что главное, въ обоихъ этихъ случаяхъ эти люди сумѣютъ сохранить надменный видъ и смотрѣть свысока на простыхъ, то-есть еще не намошенничавшихъ богатства смертныхъ. Тѣмъ не менѣе, всѣ считали Бестужева добрымъ малымъ, веселымъ собесѣдникомъ, душой общества. Съ Львомъ онъ сошелся довольно давно, въ школѣ, какъ съ богатымъ юношей, не справляясь, купецъ или дворянинъ, изъ средняго класса общества или изъ болѣе высокихъ сферъ Лева. Въ школѣ на это мало обращали вниманія. Посѣтивъ нѣсколько разъ Шельхеровъ, Бестужевъ увидалъ, что это за семья, можетъ-быть, даже узналъ, что въ гербѣ этой семьи можно помѣстить развѣ только кузнечный мѣхъ или заводскій молотъ, но, тѣмъ не менѣе, онъ не только не пересталъ посѣщать Шельхеровъ, а даже сдѣлался ихъ самымъ частымъ гостемъ. Эта связь продолжалась и по вступленіи Бестужева и Шельхера въ университетъ. Странное явленіе можно было замѣмѣтить въ отношеніяхъ Анны Ивановны къ Бестужеву. Она, повидимому, жившая только мыслью о своемъ ненаглядномъ Левѣ и объ удачѣ своихъ излюбленныхъ блюдъ, нашла гдѣ-то въ тайникѣ своей души нѣчто въ родѣ чувства тщеславія и гордилась тѣмъ, что у нихъ въ домѣ *самъ* Бестужевъ, какъ свой. Лева отнесся къ этому чувству матери не безъ ироніи юноши, не признающаго никакихъ родовыхъ преимуществъ и титуловъ, но, тѣмъ не менѣе, и онъ какъ-то мимовольно дорожилъ и гордился дружбою именно этого человѣка, не безъ удареніе замѣчая иногда, что «какъ ни хорошо въ аристократическомъ кругу, а все же къ нимъ, къ плебеямъ, идетъ отвести душу Бестужевъ». И матери, и сыну было особенно лестно, что этотъ изящный и ловкій юноша, пріѣзжая къ нимъ, самъ говорилъ:

— Пріѣхалъ къ вамъ отдохнуть!

И точно, онъ отдыхалъ здѣсь, какъ отдыхаютъ чиновники, когда они могутъ замѣнить вицмундиръ домашней жакеткой и почтительныя улыбки хохотомъ во весь ротъ. У Шельхеровъ Александръ Николаевичъ Бестужевъ чувствовалъ себя дома, тогда какъ дома онъ чувствовалъ себя на службѣ, да притомъ еще на тяжелой службѣ. Тамъ было самое разнообразное начальство—дядя, отъ котораго зависѣла отчасти карьера молодого человѣка, любилъ, чтобы его смѣшили новыми анекдотами; бабушка, отъ которой ожи-

далось наслѣдство, любила, чтобы наслѣдники ея ходили въ церковь и давали отчетъ, какое евангеліе тамъ читали за обѣдней; мать, у которой выманивались субсидіи, любила, чтобы ея дѣти отличались утонченною свѣтскостью; отецъ, который могъ ни съ того, ни съ сего во время придраться къ какому-нибудь пустяку и поднять цѣлую бурю, любилъ, чтобы передъ нимъ всѣ стояли на вытяжкѣ, какъ солдаты; кузина, которую прочили въ невѣсты молодому человѣку, требовала, чтобы онъ былъ музыкантомъ и пѣвцомъ, такъ какъ она любила больше всего итальянскихъ пѣвцовъ. Угождать всѣмъ было не легко: приходилось быть постоянно настороже, слѣдить за собою. У Шельхеровъ никто не предъявлялъ никакихъ требованій; здѣсь жилось свободно и привольно. Тутъ люди, вполнѣ обезпеченные матеріально, устроились такъ, какъ имъ было угодно, а не такъ, какъ требуютъ традиціи, приличія, обычаи, среда; что не дозволялось въ аристократическихъ салонахъ, то допускалось здѣсь. Бестужеву нравилась эта жизнь и, можетъ-быть, особенную прелесть въ ней составляло для него то, что здѣсь былъ такой милый ребенокъ-дѣвушка, какъ Женя. Она шутливо называла Бестужева «старымъ товарищемъ», такъ какъ они учились въ одной школѣ. Она не стѣснялась при немъ, такъ какъ это былъ свой человѣкъ въ домѣ. Игра въ горѣлки, въ серсо, въ фанты, въ воланы, катанье вмѣстѣ на лодкѣ, прогулки по лѣсу, все это сблизило молодыхъ людей, какъ родныхъ. Иногда онъ говорилъ ей:

— Ахъ, если бы хоть одна дѣвушка изъ нашего круга была похожа на васъ! Не приходилось бы бѣжать отсюда.

— Да что же въ нихъ особеннаго?—спрашивала она.

— Чопорныя, натянутыя, жеманныя, неискреннія. Это куклы на пружинахъ, а не живыя души.

И онъ разсказывалъ ей насмѣшливымъ тономъ, стараясь быть остроумнымъ, про кузинъ, про знакомыхъ, немного ломаясь и кокетничая. Молодые люди задыхаются въ ихъ обществѣ, стараются бѣжать куда-нибудь къ инымъ кружкамъ. Сближаются съ актрисами, съ бродячими пѣвицами-француженками, кутятъ по разнымъ кафе-шантанамъ и трактирамъ. Увлекаясь, онъ заходилъ нѣсколько далеко въ своихъ разсказахъ и посвящалъ молоденькую дѣвушку въ тайны, еще невѣдомыя ей.

— А потомъ, когда молодые люди сбиваются съ пути и гибнутъ—всѣ кричатъ о развратѣ, объ испорченности моло-

дежи,—заканчивалъ онъ.—Но чѣмъ же мы виноваты, что у насъ нѣтъ другого исхода?

— А вы развѣ тоже кутите?—наивно спрашивала Женя.

— Я? Нѣтъ, не кучу покуда,—со вздохомъ отвѣчалъ онъ, не прибавляя, впрочемъ, что отецъ и мать скупы на деньги;—но этимъ я обязанъ вамъ. Я такъ счастливъ, когда могу быть около васъ...

Она смѣялась.

— Значитъ, я вашъ ангелъ-хранитель?

— Да, да, вы мой ангелъ!.. Вы сами не знаете себѣ цѣны...

— Ну, ну, не хвалите меня! Вонъ тетя говоритъ, что я стрекоза и ничего больше,—со смѣхомъ отвѣчала Женя.

— Если бы всѣ были такими стрекозами!—со вздохомъ говорилъ онъ, принимая мечтательное выраженіе лица.

Она пропускала мимо ушей эти вздохи, не подозрѣвая, что они должны обозначать нѣчто серьезное. Она ихъ пропускала мимо ушей даже тогда, когда Бестужевъ, впадая въ элегическій тонъ, говорилъ:

— Вы не знаете, какъ тяжело мнѣ становится иногда, когда я подумаю, что скоро пройдетъ и лѣто, что, можетъ-быть, зимою все измѣнится...

— Что измѣнится?—спрашивала она.

— Наши отношенія... Вы уже совсѣмъ взрослая барышня; явится человѣкъ, котораго вы полюбите, выйдете замужъ.

— Мнѣ нельзя выйти замужъ,—отвѣчала Женя съ серьезностью ребенка, говорящаго о важныхъ предметахъ.—Я здѣсь нужна для Левы... Ему очень, очень скучно было бы безъ меня.

— Дитя!—говорилъ Бестужевъ.—Развѣ можно давать зарокъ не идти замужъ ради того, что Левѣ будетъ скучно? Полюбите и забудете все и всѣхъ, и Леву, и меня... О, я впередъ ненавижу того счастливца, который похититъ васъ у насъ!..

Она, смѣясь, говорила, что она позволяетъ Бестужеву ненавидѣть этого человѣка, такъ какъ его нѣтъ и не будетъ. И опять она не придавала никакого значенія этимъ разговорамъ, этимъ вздохамъ, этимъ полупризнаніямъ. Можетъ-быть, если бы она хоть на минуту задумалась объ этомъ, она нашла бы страннымъ, что Бестужевъ иногда особенно сильно пожимаетъ ея руку, какъ-то особенно обнимаетъ ее, ловя въ горѣлкахъ, какъ-то особенно склоняется лицомъ около ея лица, нюхая вмѣстѣ съ нею цвѣтокъ, или заглядыа-

вая въ ея книгу. Всѣ эти мелочи ускользали, впрочемъ, не только отъ вниманія Жени, но и отъ вниманія всѣхъ окружающихъ. Только одинъ Лева слѣдилъ въ послѣднее время какъ-то тревожно за Бестужевымъ. Чутьемъ страстно влюбленнаго человѣка онъ сразу угадалъ именно въ этомъ изъ своихъ пріятелей соперника. Въ его душѣ началась новая глухая борьба. Имѣетъ ли онъ право ревновать Женю? Онъ ей не женихъ, не любовникъ. Можетъ-быть, въ этой любви все ея счастіе, вся будущность? О, пусть даже и такъ, пусть она выйдетъ потомъ за Бестужева, но теперь... Долго ли ему, Левѣ, остается жить? Пусть теперь только она будетъ здѣсь, около него, его Женей! Что будетъ послѣ—ему все равно. И что такое Бестужевъ? Составитъ ли онъ счастіе Жени? Лева началъ пристальнѣе всматриваться въ Александра Николаевича, рыться въ его душѣ, выискивать въ ней темныя пятна съ придирчивостью тайнаго врага.

Въ одинъ изъ тихихъ и теплыхъ іюльскихъ вечеровъ я и Шельхеръ сидѣли въ бесѣдкѣ и молчаливо играли въ шахматы—любимую игру Левы. Партія была еще не кончена, когда кто-то подъѣхалъ къ саду дачи по нижней дорогѣ. Я мелькомъ взглянулъ на дорогу и сказалъ:

— Бестужевъ!

По лицу Левы скользнула гримаса неудовольствія. Онъ, однако, не пошевелился съ мѣста и продолжалъ обдумывать свой ходъ. Минуты двѣ спустя, къ намъ подошелъ Александръ Николаевичъ, какъ всегда, изящный, надушенный, граціозный. Онъ пожалъ намъ руки и началъ снимать перчатки.

— А вы все этой скучной матеріей занимаетесь,—проговорилъ онъ, не терпѣвшій шахматовъ.

— А ты все попрежнему врагъ всякихъ скучныхъ матерій,—замѣтилъ Лева.

— Не понимаю, мой милый, какъ и можно ихъ любить въ наши годы,—отвѣтилъ Бестужевъ.

— Вотъ погоди, я зимою спеціально для тебя буду устраивать балы,—съ насмѣшливостью въ голосѣ сказалъ Лева.

— Это будетъ очень мило съ твоей стороны,—развязно отвѣтилъ Бестужевъ,

Я зналъ близость Левы и Бестужева, тѣмъ не менѣе меня немного смутилъ тонъ Левы, тѣмъ болѣе, что Шельхеръ былъ всегда крайне мягокъ и вѣжливъ въ обращеніи съ людьми. Я, чтобы замять неловкій разговоръ, спросилъ Бестужева:

— Много веселились за это время?

— Не скажу,—отвѣтилъ онъ, закуривая папиросу.—Таскался по разнымъ увеселительнымъ заведеніямъ, но все это пріѣлось. Однообразіе страшное. Тѣ же набившія оскомину оперетки и тѣ же безголосыя пѣвицы.

И, осмотрѣвшись кругомъ, онъ прибавилъ небрежнымъ тономъ:

— А гдѣ же дамы? На террасѣ, вѣрно? Сбѣжали отъ вашей скучной игры! Надо пойти представиться...

Онъ поднялся съ мѣста и неторопливо пошелъ вверхъ по аллеѣ сада, расположеннаго уступами на скатѣ холма. По лицу Левы скользнула гримаса. Я сдѣлалъ ходъ, онъ задумался, взялъ одну изъ фигуръ, переставилъ ее чисто машинально.

— Ты что же это?—спросилъ я, видя неправильность хода.

Онъ очнулся, откинулся на спинку кресла и проговорилъ:

— Довольно!

Съ минуту онъ задумчиво смотрѣлъ прищуренными глазами на море, озаренное послѣдними лучами заходящаго солнца. Потомъ, не глядя на меня, онъ тихо спросилъ:

— Какъ ты смотришь на Бестужева?

На минуту я поколебался. Я не любилъ этого человѣка какъ-то безсознательно, какъ личность, совершенно чуждую моей натурѣ. Въ то же время я зналъ, что это старый пріятель Левы, и мнѣ не хотѣлось говорить Левѣ дурно о близкихъ ему людяхъ. Замѣтивъ мое молчаніе, онъ самъ подсказалъ мнѣ отвѣтъ:

— Ты его не любишь?

— Да,—отвѣтилъ я.

— За что?

— Не могу тебѣ сказать. Это чужой мнѣ человѣкъ. Я плебей по...

Лева усмѣхнулся, перебивая меня.

— Онъ всѣмъ чужой, всему чужой!

Я посмотрѣлъ вопросительно на Шельхера.

— Удивляюсь я, какъ могутъ вырабатываться такіе люди,— продолжалъ онъ.—Правда, они только и вырабатываются въ ихъ гнилой аристократической средѣ. Онъ чужой дома, откуда бѣжитъ въ кабаки приличныхъ наименованій, онъ чужой у насъ, куда приходитъ только потому, что здѣсь чуть не въ разстегнутомъ жилетѣ можно быть...

И уже совсѣмъ раздражительно, придирчиво, онъ заговорилъ о своемъ пріятелѣ:

— Я знаю его девять лѣтъ и ни разу не уловилъ я въ его рѣчахъ ничего, что сказало бы мнѣ, что̀ ему дорого и свято. Отецъ и мать — дойныя коровы, служба — путь къ карьерѣ и обогащенію, книги—онѣ хороши, когда скучно, если въ нихъ есть хитросплетенная интрига и сальности, искусство—это собраніе скабрезныхъ картинъ, статуй и сценъ, религія—это только узда для голоштанной сволочи. Ни принциповъ, ни идеаловъ, ни сомнѣній, ни вопросовъ. Жизнь—это арена для состязанія въ наживѣ, чинахъ и отличіяхъ и публичный домъ, гдѣ нужно искать только наслажденій и наслажденій...

Я рѣзко остановилъ его вопросомъ:

— Ты за это и сошелся съ нимъ?

Онъ быстро повернулся ко мнѣ лицомъ, на которомъ проступила пятнами краска.

— У Шельхеровъ, какъ въ трактирѣ, принимаютъ всѣхъ безъ разбора,—съ насмѣшливой ноткой въ голосѣ отвѣтилъ онъ.—Гдѣ намъ разбирать, лишь бы были богатые, приличные, чиновные люди. Теперь такихъ домовъ въ Петербургѣ много—вчерашніе кабатчики, вчерашніе факторы, вчерашняя сволочь, сдѣлавшись сегодня богачами, не могутъ разбирать, хороши или дурны люди, протягивающіе имъ руки, лишь бы руки были въ перчаткахъ...

Я молча глядѣлъ на него, стараясь понять, что̀ происходитъ съ нимъ. Я зналъ, что онъ не умѣетъ ни лгать, ни притворяться,—для этого онъ былъ слишкомъ нервнымъ и впечатлительнымъ человѣкомъ. Онъ встрѣтилъ мой вопросительный взглядъ и, отвернувшись, проговорилъ упавшимъ голосомъ:

— Я просто никогда прежде не всматривался въ него и потому ошибался въ немъ.

— А теперь не ошибаешься?—спросилъ я.

Онъ загорячился.

— Къ чему этотъ вопросъ? Развѣ самъ ты его считаешь не такимъ? Почему же ты сторонишься отъ него? Почему уходишь, когда онъ здѣсь?

Я пожалъ плечами.

— У насъ денегъ не припасено на кормленіе такихъ господчиковъ съ утонченными вкусами. Да и онъ самъ мало интересуется, я думаю, мной...

— Еще бы! У тебя нельзя кататься въ чужихъ экипажахъ, нельзя побираться займами безъ отдачи...

Меня опять раздражилъ этотъ тонъ.

— Я думаю, онъ и у тебя не беретъ денегъ,—сказалъ я рѣзко.

Лева посмотрѣлъ на меня съ усмѣшкой.

— Ты это по себѣ судишь? Нѣтъ, милый, эти господчики, приличные и франтоватые, чопорные и задирающіе носъ, не погнушаются никогда залѣзть въ чужой карманъ, занять въ долгъ хоть бы у сына кузнеца.....

— Ты меня удивляешь,—началъ я.

— Ты считалъ его лучше?—перебилъ онъ меня.

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я.—Ты меня удивляешь тѣмъ, что, считая его такимъ, ты продолжаешь его принимать.

Шельхеръ въ волненіи поднялся съ мѣста и заходилъ взадъ и впередъ по бесѣдкѣ. Онъ былъ видимо взволнованъ и какъ будто стѣснялся высказаться вполнѣ.

— Ты правъ, это вѣчная моя слабость,—началъ онъ.— Сомнѣнія, вопросы, колебанія — и ничего рѣшительнаго. Видно, я не родился Александромъ Македонскимъ, чтобы разрубать запутанные узлы. Я вѣчно буду копаться надъ ними, никогда ихъ не распутаю и буду ныть...

И, помолчавъ немного, онъ, какъ бы въ оправданіе себѣ, прибавилъ:

— Кромѣ того, видишь ли, я только недавно началъ за нимъ наблюдать. Прежде и неопытенъ я былъ, и не задумывался надъ этими вопросами, и, право, меня мало интересовало, лучше онъ, или хуже другихъ... А теперь...

Онъ опять оборвалъ рѣчь, чего-то не договаривая.

— Теперь,—проговорилъ онъ:—я стою въ такомъ положеніи, что не могу быть безпристрастнымъ къ нему, можетъ-быть, преувеличиваю его недостатки, вижу только дурное.

На минуту онъ перевелъ духъ и сказалъ какъ-то разомъ:

— Онъ ухаживаетъ за Женей.

— Полно, что ты выдумалъ? Ты ошибаешься!

— Я-то? Я ошибаюсь?

Онъ сказалъ это страстнымъ тономъ и, тотчасъ же овладѣвъ собою, началъ спокойно объяснять, какъ близко касается его судьба Жени. Женя росла у нихъ. О ней некому позаботиться. Ея судьбу нужно устроить осмотрительно. Анна Ивановна не сумѣетъ этого сдѣлать; очень ужъ она... оптимистка. Минна какая-то блаженная. Только онъ и можетъ позаботиться о Женѣ... Мнѣ тогда минуло уже восемнадцать лѣтъ; я казался старше и серьезнѣе своихъ ровесниковъ. Тѣмъ не менѣе, я ровно ничего не смыслилъ въ вопросахъ любви. У насъ дома обо всемъ гово-

не считая нужнымъ сдерживаться.—Этотъ господинъ, должно быть, думаетъ, что онъ гдѣ-нибудь въ кафе-шантанѣ, въ кабакѣ. Вздумалъ на рукахъ переносить Евгенію Александровну. Какъ тебѣ это нравится? Маленькая дѣвочка!.. Недостаетъ только того, чтобы у насъ молодые люди стали цѣловаться и обниматься съ молодыми дѣвушками! И то сказать, стоитъ ли церемониться у насъ, у какихъ-то Шельхеровъ!..

Я чувствовалъ себя крайне неловко. Бестужевъ шелъ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ насъ и могъ все слышать. У Жени въ глазахъ стояли слезы. Мы шли торопливо и, кажется, у каждаго было одно желаніе, поскорѣй добраться домой. Лева между тѣмъ продолжалъ горячиться и распространяться на ту же тему о безцеремонности разныхъ нахаловъ. У Шельхеровъ они все могутъ дѣлать, чуть не въ разстегнутыхъ жилетахъ ходить. При дамахъ готовы валяться на диванахъ. Стоитъ ли стѣсняться! Тяжелое, неловкое положеніе еще болѣе усилилось, когда мы всѣ усѣлись въ шарабанъ. Шельхеръ сѣлъ рядомъ съ кучеромъ на козлахъ, мы всѣ сидѣли другъ противъ друга въ шарабанѣ и перекидывались незначительными фразами. Женя, не поднимая глазъ, разсматривала какой-то грибъ, закусивъ губы и видимо боясь расплакаться. Впервые въ жизни она слышала выговоръ Левы и притомъ выговоръ рѣзкій и грубый.

Бестужевъ былъ сдержанъ и холоденъ. Никогда онъ не смотрѣлъ болѣе приличнымъ, почти надменнымъ.

Дорогѣ изъ лѣсу, по извилистымъ дорожкамъ парка, казалось, не будетъ конца. Наконецъ мы доѣхали до дачи. Когда всѣ вышли изъ шарабана и направились къ дому, Бестужевъ остановилъ Женю и Леву.

— Извините, Евгенія Александровна, если я провинился,—сконфуженнымъ тономъ сказалъ онъ, съ едва замѣтной усмѣшкой въ глазахъ. — Но я привыкъ считать вашъ домъ и всѣхъ въ немъ своими, близкими, и ужъ никакъ не думалъ, что мой совершенно невинный поступокъ вызоветъ такую бурю... въ стаканѣ воды. Она мнѣ крайне непріятна, такъ какъ она отразилась на васъ...

И, обращаясь къ Левѣ, онъ прибавилъ:

— Если бы я смотрѣлъ иначе на твой домъ, на твоихъ близкихъ и на тебя, то, конечно, и наше объясненіе имѣло бы другой характеръ.

По его лицу, теперь холодному и почти злому, скользнула уже совсѣмъ явная насмѣшливая улыбка.

— Что спускается старому другу, то не спускается чужому человѣку,—сказалъ онъ съ удареніемъ:—ты тоже немножко перешелъ границы приличія...

— Я не беру назадъ своихъ словъ! — быстро отвѣтилъ Лева, напрашиваясь инстинктивно на ссору.

— Я и не прошу ихъ взять назадъ, — холодно сказалъ Бестужевъ:—вѣдь и я не могу взять назадъ своей опрометчивости. Мы-то квиты!

И, опять обращаясь къ Женѣ, онъ повторилъ:

— Но вы прощаете меня, Евгенія Александровна?

Она, сконфуженная, не понимающая, почему изъ-за такихъ пустяковъ поднялась такая тревога, пробормотала:

— Это глупости.

И, наскоро пожавъ протянутую руку Бестужева, стараясь не расплакаться, направилась къ дому. Бестужевъ обернулся къ Левѣ и заговорилъ дружескимъ, развязнымъ тономъ, ловко скрывая затаенную насмѣшку:

— Право, Левъ, ты распѣтушился изъ-за пустяковъ. Я готовъ въ видѣ третейскаго судьи призвать Анну Ивановну, и она, я въ этомъ вполнѣ увѣренъ, скажетъ тебѣ, что въ моемъ поступкѣ нѣтъ ровно ничего предосудительнаго, нарушающаго требованія приличій, такъ какъ до этой поры и я считалъ васъ всѣхъ своими, и вы такъ смотрѣли на меня.

У Левы чуть не сорвалось съ языка: «ты бы ужъ лучше нашу Дарью позвалъ въ судьи». Онъ зналъ, что его мать ровно ничего не понимаетъ въ вопросахъ о приличіяхъ. Закусивъ губы, онъ сдержался и коротко, раздражительно отвѣтилъ:

— Никакіе третейскіе судьи тутъ не нужны! Нужно только быть поосмотрительнѣе на будущее время!

— Горячка ты человѣкъ!—шутливо замѣтилъ Бестужевъ, и въ его глазахъ мелькнуло что-то въ родѣ высокомѣрнаго презрѣнія.—Я ужъ-было хотѣлъ тебя на дуэль вызвать за твои продерзости. Я вѣдь хорошій стрѣлокъ и фехтовальщикъ! Ну, да Богъ съ тобой! Не хочу быть братоубійцей...

— Ты что же это, кажется, угрожать мнѣ вздумалъ?— спросилъ Лева.

— Нѣтъ, мой другъ, я хотѣлъ разсказать тебѣ, какъ два мальчика поспорили изъ-за выѣденнаго яйца и въ запальчивости одинъ убилъ другого...

Онъ засмѣялся и прибавилъ:

— Право, я слишкомъ люблю тебя, чтобы убивать тебя или быть убитымъ тобою...

Продолжая развязно и не безъ злости шутить, онъ направился къ дачѣ. Въ душѣ Левы уже прошелъ гнѣвъ, но ее охватили обычное мрачное настроеніе, внутренняя борьба съ вѣчными двойственными вопросами: имѣетъ ли онъ право вторгаться въ судьбу Жени? Можетъ ли онъ мѣшать ей любить Бестужева? Не сдѣлалъ ли онъ точно изъ мухи слона? Не натолкнулъ ли онъ самъ этихъ людей на какія-нибудь новыя мысли? Недостаетъ еще, чтобы его заподозрили въ любви къ Женѣ? Каждый его шагъ — новая безтактность. И что за тонъ былъ у него при объясненіи съ Бестужевымъ? Онъ былъ грубъ, какъ мужикъ, и самъ напросился на то, чтобы ему надавали чуть не пощечинъ въ формѣ дружескихъ шутокъ. Анну Ивановну предложили избрать въ судьи по вопросу о приличіяхъ! Ему, Левѣ, сказали, что его на дуэль хотѣли вызвать; да пощадили. Ужъ такъ бы и сказалъ, что его, Леву, можно, если только есть охота, какъ комара, раздавить. Еще бы: онъ безсиленъ, онъ никогда въ жизни не держалъ въ рукахъ ни рапиры, ни револьвера.. И вообще, что онъ такое: ни такта, ни находчивости, ни остроумія!.. Одно безумное бѣшенство и нервничанье, вотъ и все... Когда мы сѣли за столъ, я сразу понялъ, что Лева терзается тысячами мелкихъ, едва уловимыхъ сомнѣній и вопросовъ, что что-то, можетъ-быть, ничтожное, какъ уколъ комара, отравило ему хорошее настроеніе на цѣлый день, на нѣсколько дней. Мнѣ было жаль его, и меня бѣсило настроеніе Бестужева, точно изъ зло шутившаго и гаерничавшаго во время обѣда. Онъ дѣлалъ намеки на то, что онъ великій грѣшникъ, что онъ всегда напроказитъ, что ему придется и на томъ свѣтѣ искупать свои грѣхи. И во всемъ виноваты молодость, вѣтреность, легкомысліе. Все еще хочется быть школьникомъ, дурачиться, пока еще можно дурачиться... Я зналъ уже хорошо, какъ дорожитъ онъ дружбой Левы ради своихъ мелкихъ расчетовъ, и меня удивляло теперь, что онъ какъ бы не понимаетъ впечатлѣнія, производимаго его шуточками на Леву. Лева могъ возненавидѣть его за одни эти шутки, такъ какъ въ его душѣ было уже раскаянье и злость на себя за поднятую имъ бурю, а тутъ этотъ человѣкъ еще подсмѣивается надъ нимъ. Но, прислушиваясь къ шуткамъ Бестужева, я понялъ, что его заставляетъ шутить поднявшаяся въ немъ злость на Леву; желаніе отпла-

тить за обиду, отплатить безъ пощады, сторицею, съ злорадствомъ, было теперь въ Бестужевѣ выше всѣхъ мелочныхъ расчетовъ. Какъ только кончился обѣдъ, я поспѣшилъ уйти домой...

Нанимаемая нами дачка была перестроена изъ простой крестьянской избы. Внизу помѣщались отецъ и мать; верхъ, то-есть, двѣ комнатки съ потолкомъ въ видѣ крыши гроба и съ крошечнымъ балкономъ, занималъ я. Забравшись къ себѣ, на вышку, я взялъ книгу и, распахнувъ двери на балкончикъ, прилегъ на кушетку. Я любилъ свой чердачокъ, тихій, уютный, съ видомъ на взморье, и все чаще и чаще оставался здѣсь съ своими книгами. Тутъ ничто не смущало моего покоя; тутъ мнѣ было хорошо и уютно. Снизу ко мнѣ доносился иногда говоръ отца и матери, переходившій порою въ веселый смѣхъ. Тогда я поднимался, выходилъ на балконъ. Надъ чѣмъ они смѣются? Они поднимали головы. А, это ты? Слушай, что случилось. Начиналась бесѣда, оживленная, дружеская... Давно прошли эти чудные годы, память же о нихъ уцѣлѣла навсегда, и мнѣ легче переносить съ нею невзгоды: я не могу роптать на судьбу, такъ какъ я зналъ счастье... Начинало уже смеркаться. Я отложилъ книгу и, закинувъ руки подъ голову, забылся въ смутныхъ грёзахъ, устремивъ глаза въ прозрачную даль неба, слѣдя за плывущими въ пространствѣ облаками. Куда несутся они? Гдѣ прольются дождемъ — надъ моремъ или надъ высыхающей нивой? Не погонитъ ли ихъ обратно перемѣнившійся вѣтерокъ? Какъ часто и съ людьми такъ же играетъ судьба... Кому птичьяго молока только недостаетъ, тотъ умираетъ во цвѣтѣ лѣтъ, кому ѣсть нечего, тому отпущено здоровья на десятерыхъ. Эти слова Левы, мелькнувшія въ моей головѣ, напомнили мнѣ о немъ. Да, правъ онъ, завидуя мнѣ. У меня какъ-то все опредѣленно, ровно, спокойно въ жизни, во мнѣ самомъ. Ничего я не желаю, какъ только пройти жизненный путь такъ, какъ прошелъ его мой отецъ, съ трудомъ пролетарія, съ гордостью пролетарія. Дастъ судьба больше, откроетъ двери къ болѣе широкой дѣятельности—хорошо; нѣтъ—и не надо. А у него, у Левы, точно все въ котлѣ кипитъ — и на что уходятъ силы? На вопросы: Богъ ли можетъ спасти человѣка, или самъ человѣкъ можетъ спастись? Будетъ ли за гробомъ жизнь, или не будетъ? Возмездіемъ за грѣхи отцовъ и свои, или проявленіемъ особенной любви Божіей являются земныя испытанія? Спрашивается о томъ, на что

никто не можетъ отвѣтить, на что нѣтъ отвѣта и въ собственной душѣ. Кругомъ же люди бьются въ слезахъ, просятъ помощи, жаждутъ любви. На нихъ почти не обращается вниманія, такъ какъ что же значатъ ихъ житейскія невзгоды и лишенія передъ вопросами о вѣчномъ блаженствѣ или вѣчными мученіями собственной души?.. Уходятъ годы, лучшіе годы жизни безъ опредѣленной цѣли на землѣ, безъ плодотворной дѣятельности здѣсь, безъ пользы для другихъ и безъ радостей для себя. Что это—слѣдствіе болѣзненности, предвидящей близость смерти, или слѣдствіе вліянія мистика-Вурма, ожидающаго пророческимъ духомъ близкаго свѣтопреставленія? Вѣроятно, часть отравы внесена и тѣмъ, и другимъ. Что за дѣло имъ, Вурму и Левѣ, до жизни наканунѣ смерти?..

— О чемъ размечтался?—послышался надо мною голосъ Левы.

Я быстро обернулся и чуть не сказалъ: «о тебѣ». Меня удивилъ его неожиданный приходъ. Онъ рѣдко заходилъ ко мнѣ по вечерамъ, появляясь всегда утромъ для прогулокъ вдвоемъ...

— Что ты?—спросилъ я.—За мной?

— Нѣтъ, силъ нѣтъ сидѣть одному, тамъ у себя,—отвѣтилъ онъ и заходилъ по комнатѣ.

Я поднялся съ мѣста.

— Сегодняшняя исторія всего меня перевернула,—проговорилъ онъ.

— Изъ-за всякихъ пустяковъ ты волнуешься!.. — замѣтилъ я.—Ну, стоитъ ли объ этомъ думать?

— Да неужели же ты не понимаешь, что я съ ума схожу отъ любви?—воскликнулъ онъ, точно сердясь, что я ничего не могу понять самъ, и что мнѣ нужно слышать его собственное признаніе.—Я мѣста не нахожу отъ этого чувства! Меня точно огнемъ жжетъ всего.

Я остановился въ недоумѣніи.

— Какая любовь? Къ кому?—спросилъ я.

— Къ Женѣ!—отвѣтилъ онъ коротко и отрывисто.

— Къ Женѣ?—повторилъ я.—Къ Женѣ? Опомнись, вѣдь ты ей двоюродный братъ!..

— Знаю, знаю, знаю!—внѣ себя воскликнулъ онъ.—Ну, и что-жъ изъ этого? Развѣ чувству можно приказывать? И какому чувству? Чувству первой, страстной, чистой любви. Если бы я не былъ вѣчнымъ больнымъ, я, можетъ-быть, давно потерялъ бы способность страстно любить, размѣ-

нявъ это чувство въ мелкомъ развратцѣ. Если бы я могъ вѣрить въ любовь какихъ-нибудь барышень, ищущихъ моего богатства, я, можетъ-быть, полюбилъ бы которую нибудь изъ нихъ. А теперь... Другъ мой, пойми ты, что это первая моя любовь, что это единственная дѣвушка, въ которую я вѣрю...

— Но что же можетъ выйти изъ этого...—началъ я.

— Ничего, ничего, ничего!—страстно, почти болѣзненно, перебилъ онъ меня. — Я все, все обдумалъ, все знаю, что можно сказать противъ этого, и не могу побѣдить себя, переломить себя!

Онъ схватился за голову.

— Ахъ, если бы ты могъ понять эти муки! Я иногда по цѣлымъ ночамъ плачу, какъ ребенокъ! Мнѣ иногда кажется, что я съ ума схожу! Ты пойми, что тутъ нужно, чтобы кто-нибудь спасъ меня отъ меня самого!

Онъ сѣлъ на диванъ, закрылъ лицо руками и разрыдался. Мнѣ стало мучительно жаль его.

— Голубчикъ, полно! успокойся!—уговаривалъ я, ласково обнявъ его.

Онъ припалъ головой къ моему плечу и плакалъ. Прошло нѣсколько минутъ молчанія. Понемногу онъ успокаивался, облегченный слезами. Наконецъ, осушивъ глаза платкомъ, онъ поднялся снова и опять заходилъ по комнатѣ.

— Это все проклятіе, возмездіе судьбы! — проговорилъ онъ.—Богатство чужими потомъ и кровью мнѣ купили, счастія ничѣмъ не могли купить. Это судъ Провидѣнія...

Меня всегда раздражали разсужденія Левы на эту тему. Они и теперь все перевернули во мнѣ, точно я слушалъ не Леву, а Вурма.

— Оставь Провидѣніе въ сторонѣ и лучше самъ постарайся помочь себѣ!—рѣзко сказалъ я.—Пусть ужъ Вурмъ считаетъ себя посвященнымъ въ намѣренія и планы Провидѣнія и кощунствуетъ, сообщая ихъ людямъ, а мы вѣдь не пророки и не духовидцы.

— Помочь, помочь себѣ! Какъ? Чѣмъ? — перебилъ онъ меня. — Жениться на ней безъ огласки? Потомъ умереть, оставивъ ее незаконной женой? Вѣдь она тогда Богъ знаетъ что перенесетъ. Ты думаешь другіе, родные не раздуютъ скандала послѣ моей смерти? Эти благородныя, но бѣдныя и алчныя чиновницы, эти потерявшіе совѣсть въ кабакахъ и трактирахъ плотовщики, эти разжившіеся, но все же алчущіе добычи фабриканты, вся эта орда, лебезящая теперь

передъ нами, поднимется, подобно псамъ на охотѣ, травить и затравитъ Женю. Вѣдь я даже завѣщать ей ничего не могу? На чье имя сдѣлаю я завѣщаніе? На имя законной жены моей Евгеніи Александровны Шельхеръ, но бракъ признается незаконнымъ, законной жены не будетъ налицо. Нужно будетъ вести процессъ. Выиграетъ ли она его? А если и выиграетъ, въ концѣ-концовъ, то во что обойдется скандалъ, какія послѣдствія повлечетъ незаконное сожитіе съ двоюроднымъ братомъ?

— Постой, такъ ли, — началъ я, не вдругъ сообразивъ все сказанное имъ.

Я имѣлъ тогда самое смутное понятіе о нашихъ законахъ, касающихся подобныхъ браковъ.

— Такъ, такъ, — сказалъ онъ и, увлекаясь, повторилъ снова: — На чье имя я буду завѣщать? На имя моей законной жены? Но развѣ она будетъ законною женою? Бракъ признаютъ недѣйствительнымъ. Недѣйствительно будетъ и завѣщаніе. Ахъ, я все, все это обдумалъ, взвѣсилъ. Въ томъ-то и бѣда, что исхода нѣтъ. И зачѣмъ я православный! Былъ бы лютераниномъ, какъ отецъ...

— Что ты говоришь глупости! Былъ бы ты лютераниномъ, она все-таки была бы православною, и дѣло не измѣнилось бы...

— О, эти религіозные вопросы!—воскликнулъ онъ, сжимая руки почти съ бѣшенствомъ.—Всю жизнь терзали они мою душу! Теперь разбивается о нихъ и послѣдняя надежда на счастье!

И, какъ бы опомнившись, испугавшись своихъ собственныхъ словъ, онъ заговорилъ спокойнѣе, подавляя волненіе:

— Я знаю, что исходъ одинъ: надо вырвать изъ сердца эту любовь, надо выдать скорѣе замужъ Женю, отрѣзать себѣ путь къ думамъ о ней. Но это легко сказать! А каково сдѣлать? Я при одной мысли, что этотъ Бестужевъ ухаживаетъ за ней, сталъ ненавидѣть этого человѣка, отыскивать въ немъ всякую грязь... Ты знаешь, сегодня я готовъ былъ убить его за то, что онъ намѣревался принять ее въ свои объятія. Тутъ шелъ вопросъ не о приличіяхъ и неприличіяхъ. Какая можетъ быть у Шельхеровъ щепетильность въ этихъ вопросахъ! Кузнецы, мѣщане, толкующіе о приличіяхъ! Что за глупость! Это была ревность, ревность и только ревность. Я его возненавидѣлъ, вотъ и все! И я чувствую, что я такъ же возненавижу каждаго, кто приблизится къ ней...

Я въ раздумьи замѣтилъ:

— Тебѣ уѣхать бы за границу, надолго, чтобы забыть ее.

Онъ горько усмѣхнулся.

— Я мѣсяца не выживу безъ нея!

Меня раздражили слова Левы. Я, какъ я уже сказалъ, ничего не смыслилъ тогда въ вопросахъ любви. Мнѣ показалось, что главную роль въ чувствахъ Левы играютъ упрямство и настойчивость. Этими чертами въ характерѣ Левы я объяснялъ тогда многое; иногда мнѣ даже казалось, что именно вслѣдствіе упрямства и настойчивости онъ бьется надъ разрѣшеніемъ многихъ вопросовъ, слыша, что они не разрѣшимы. Я объяснилъ это, какъ слѣдствіе избалованности Левы. Онъ могъ всегда поставить на своемъ, онъ всегда ставилъ на своемъ; онъ привыкъ къ этому. Нерѣдко я сердился на настойчивость и упрямство Левы, вспоминая, какъ меня отучали отъ этого дома съ дѣтства. Отецъ нерѣдко говаривалъ: «хоть лобъ объ стѣну разбей, а звѣздъ съ неба не достанешь; значитъ, и нужно примириться съ этимъ». Я не удержался и сказалъ Левѣ откровенно:

— Избалованъ ты слишкомъ, вотъ въ чемъ бѣда. Не можетъ довести до добра эта любовь, ну, и надо дѣлать все, чтобы освободиться отъ нея. А то ты погубишь и себя, и Женю.

Онъ нахмурилъ лобъ.

— Я не подлецъ,—коротко отвѣтилъ онъ.

И, помолчавъ, онъ продолжалъ:

— Я понимаю, что нужно выдать ее замужъ, переломлю себя и не буду ей мѣшать... Ахъ, вотъ когда я хотѣлъ бы скорѣе умереть. Умереть, чтобы не знать, не видѣть, не слышать...

И съ горькой иронiей онъ началъ говорить о себѣ, о своей судьбѣ. Вся эта судьба состоитъ изъ противорѣчій, изъ нелѣпостей. Богатство, свобода, любовь близкихъ—и вѣчные недуги, вѣчный страхъ передъ смертью. Этотъ страхъ сдѣлался главнымъ ощущеніемъ, вошелъ въ плоть и въ кровь, сталъ привычкою, — и вдругъ теперь хочется только одного—смерти. Разсудокъ говоритъ, какъ долженъ поступить честный человѣкъ, сердце подсказываетъ, что нужно сдѣлать для счастія любимой дѣвушки,—и все существо возмущается именно противъ этого, противъ ея брака съ кѣмъ бы то ни было. Во всемъ, всюду противорѣчія и противорѣчія!

— И все-таки ты сдѣлаешь все, чтобы она вышла замужъ и была счастлива,—замѣтилъ я тихо, но твердо.

Мы уже стояли на балконѣ, окруженные прозрачной тьмою яснаго вечера. Передъ нами внизу, за дорогой, тянувшейся подъ горой, разстилалось темное море. Надъ нимъ горѣли и мигали міріады яркихъ звѣздъ. Внизу подъ балкономъ и около балкона чуть слышно шелестили листья деревьевъ. Лева, засмотрѣвшійся вдаль, въ думахъ о своей судьбѣ, какъ бы очнулся отъ моихъ словъ. Онъ горячо схватилъ меня за руку и, крѣпко сжимая ее, проговорилъ:

— Клянусь небомъ, что я употреблю всѣ усилія, чтобы хоть она была счастлива, если мы не можемъ оба быть счастливы!..

Я почувствовалъ, какъ его похолодѣвшая рука вздрогнула въ моей рукѣ, какъ дрожь пробѣжала по всему его тѣлу.

— Ты озябъ?—спросилъ я.

— Такъ что-то, дрожь пробираетъ,—отвѣтилъ онъ.—Смерть—вотъ бы и исходъ.

— Ну, ну, поживешь еще!—шутливо замѣтилъ я.—Однако, уйдемъ съ балкона...

Онъ усмѣхнулся.

— Чтобы не простудиться! Да, чудная природа, чудная ночь, только бы наслаждаться всѣмъ этимъ, любоваться этимъ моремъ, упиваться этимъ воздухомъ,—но Левъ Шелхеръ долженъ непремѣнно уйти, потому что онъ можетъ простудиться.

На мгновеніе по его лицу скользнуло какое-то злое выраженіе. Онъ отвернулся отъ моря и, хмурый, подавленный, угнетенный, пошелъ за мною въ комнату. Его рука отъ времени до времени вздрагивала въ моей рукѣ. Я посмотрѣлъ на его лицо. Въ полутьмѣ оно казалось какимъ-то потемнѣвшимъ. Я зажегъ свѣчу и ужаснулся. Онъ весь измѣнился, какъ бы осунулся; его била лихорадка.

— Я тебя такъ не отпущу. Зайдемъ къ отцу,—сказалъ я тревожно.

Едва успѣлъ взглянуть на него отецъ, какъ замѣтилъ ему.

— Ну, братъ, опять простудился! И сколько разъ я говорилъ тебѣ, что беречься надо! Видно, хина полюбилась?..

На слѣдующій день я засталъ Леву уже лежащимъ въ постели. Анна Ивановна металась изъ комнаты въ комнату, сокрушаясь о сынѣ и не зная, что дѣлать. Ей казалось, что она должна въ этихъ случаяхъ что-то дѣлать, а между

тѣмъ дѣлать было нечего, нужно было только не тревожить больного и аккуратно давать ему лѣкарство, что обыкновенно дѣлали и Минна, и Женя, и я. Почти цѣлые дни проводилъ я у постели больного. Если я уходилъ на нѣсколько часовъ, онъ посылалъ за мною, извиняясь, что безпокоитъ меня, и повторяя мнѣ, что только при мнѣ ему легче. У него явился какой-то непреодолимый страхъ передъ одиночествомъ. Онъ переживалъ именно то состояніе духа, когда хочется бѣжать отъ самого себя. Я читалъ ему вслухъ книги, болталъ о разныхъ разностяхъ, избѣгая только именъ Жени и Бестужева! Онъ самъ не вспоминалъ о нихъ, и когда Женя заглядывала къ нему, онъ говорилъ ей:

— Не сиди у меня, Женя. Еще и ты расхвораешься въ этой душной комнатѣ...

Разъ только онъ мелькомъ замѣтилъ мнѣ:

— Ты прости, что я томлю тебя. Но одинъ я думаю о томъ, о чемъ нужно не думать, о чемъ нужно забыть... И кромѣ того, я боюсь... боюсь, что могу остаться съ глазу на глазъ съ Женей...

Женя, въ свою очередь, противъ обыкновенія была очень серьезна. Я еще никогда не видалъ ее такою задумчивою и сосредоточенною. Когда Лева высылалъ ее изъ комнаты, она какъ-то вопросительно взглядывала на меня, точно прося объясненія. Наконецъ, она не выдержала и, встрѣтивъ меня въ залѣ, у выхода на террасу, спросила:

— Лева захворалъ отъ этой исторіи?

— Простудился, вѣрно, промочивъ въ лѣсу ноги,—уклончиво сказалъ я.

— Ахъ, что ты говоришь!—нетерпѣливо перебила она.—Приревновалъ тогда и это...

Я остановилъ ее на полусловѣ.

— Приревновалъ? Что тебѣ пришло въ голову! — проговорилъ я.—Развѣ Лева можетъ ревновать тебя, свою сестру? И къ кому, къ Бестужеву? Развѣ Бестужевъ за тобою ухаживаетъ?

Она тихо сказала:

— Бестужевъ меня навелъ на эту мысль...

— Дуракъ!—рѣзко проговорилъ я.—Дѣйствительно, онъ начинаетъ неприлично себя вести. И какъ ты не сказала ему, что это нелѣпость, что Лева не можетъ тебя ревновать ни къ кому...

— Я сказала,—раздумчиво начала она и смолкла.

Ее опять охватило раздумье. Какія-то новыя мысли и чувства видимо подавляли ее. Она, казалось, не могла ни отогнать, ни одолѣть ихъ своимъ, еще почти дѣтскимъ умомъ. Я не удержался и замѣтилъ ей:

— Но будь осторожнѣе съ Бестужевымъ. Это, какъ кажется, порядочный нахалъ...

На ея глазахъ навернулись слезы.

— Тогда Лева, теперь ты! — начала она дрожащимъ голосомъ, тономъ упрека.—Развѣ я не знаю, какъ себя держать... Но я не могу же гнать его отъ себя... Я не ребенокъ, и понятно, что за мной могутъ ухаживать... Или это преступленіе?..

И съ нѣкоторой раздражительностью она добавила:

— Вѣдь за кого-нибудь придется же выйти замужъ... Или это будетъ преступленіе въ глазахъ Левы и твоихъ?

Она нетерпѣливо пожала плечами.

— Ужъ скорѣй бы, а то измучаютъ...

Я вопросительно посмотрѣлъ на нее.

— Ну, да! Что ты такъ на меня смотришь? Измучаютъ, потому что мнѣ не легко видѣть, что Лева слегъ изъ-за меня...

Я хотѣлъ возражать.

— Пожалуйста, не говори пустяковъ!—сказала она, угадывая, что я хочу сказать.—Простуда тутъ ни при чемъ... И не гналъ бы онъ меня... Любилъ, ласкалъ, звалъ «сестренкой», а теперь гонитъ, гонитъ...

Она отвернулась, пошла прочь, но я ясно услышалъ ея всхлипыванья. Бѣдная дѣвочка вполнѣ знала истину, подсказанную ей Бестужевымъ.

V.

Мой отецъ и два другіе доктора, призванные имъ, какъ онъ выражался, «для очищенія совѣсти», къ Левѣ, посовѣтовали послѣднему провести нѣсколько мѣсяцевъ на югѣ Франціи. Пребываніе за границею ужъ два раза благотворно подкрѣпляло силы Шельхера. Услышавъ теперь этотъ совѣтъ, Лева спросилъ:

— Развѣ дѣло ужъ такъ плохо, что надо ѣхать куда-нибудь умирать?

Отецъ пожалъ плечами.

— За этимъ не стоитъ такъ далеко ѣздить. Но я увѣренъ, что ты въ два-три мѣсяца оправишься тамъ надолго.

Лева недовѣрчиво посмотрѣлъ на него.

— Вы, Константинъ Ѳедоровичъ, точно надѣетесь?

И, получивъ утвердительный отвѣтъ, онъ выразилъ свою готовность ѣхать. Возвратившись домой, отецъ сообщилъ матери и мнѣ, что отъѣздъ Левы рѣшенное дѣло.

— Давно я говорилъ, что ему надо бы опять пожить гдѣ-нибудь на югѣ,—замѣтилъ отецъ.—Такъ нѣтъ, все упрямился.

— Что-жъ тутъ удивительнаго. Имъ подняться не легко, — проговорила матушка.— Вѣроятно, придется опять всѣмъ ѣхать и прихватить снова тетю Маришу. Не отпуститъ же его одного Анна Ивановна. И Минну съ Женей тоже не оставятъ здѣсь...

— Ну, денегъ у нихъ не хватитъ, что ли? — сказалъ отецъ.

— Денегъ-то хватитъ, а ты знаешь неподвижность Анны Ивановны...

— Ничего, пускай порастрясется. Это и ей пойдетъ на пользу...

При упоминаніи имени Жени я смутился. Въ моей головѣ мелькнула мысль о томъ, что тамъ, за границей, оставшись съ Женей вмѣстѣ, среди чужихъ, Лева станетъ въ самое тяжелое положеніе. Его любовь только усилится, и до чего это доведетъ—Богъ знаетъ. Меня даже нѣсколько удивило, какъ согласился самъ Лева на эту поѣздку. Неужели онъ не понимаетъ, на какой рискованный шагъ онъ рѣшается? Но въ тотъ же вечеръ къ намъ зашла Анна Ивановна, встревоженная и озабоченная, какъ никогда. Впрочемъ, одно ея появленіе у насъ доказывало уже, что случилось нѣчто необычайное. Лѣтомъ она предпочитала не двигаться со своей дачи никуда за исключеніемъ прогулокъ въ экипажѣ. Съ первыхъ же словъ она заговорила о томъ, что она совсѣмъ голову потеряла, узнавъ о необходимости везти Леву за границу.

— Я и ума не приложу, что съ нами будетъ,—говорила она растерянно, точно о какой-то бѣдѣ. — По гостиницамъ придется жить, пансіоны тамъ тоже эти... Что подадутъ, какъ приготовятъ—всѣмъ будь доволенъ.

Отецъ улыбнулся.

— Денегъ у васъ, что ли, недостало, чтобы не жить въ трактирахъ и пансіонахъ? Да вамъ даже и не расчетъ такъ жить. Васъ вѣдь поѣдетъ цѣлая орда, будете жить на одномъ мѣстѣ, ну, и живите своимъ хозяйствомъ. Слава Богу, не въ первый разъ ѣдете.

– Какъ много ѣдетъ? Я, Лева, да тетя Маринна—вотъ и всѣ,—отвѣтила она. — Въ томъ-то и бѣда. Маринна плохая хозяйка, а я — да я не справлюсь съ тамошней прислугой... Да развѣ вы не знали, что мы безъ Женюшки и Миннушки ѣдемъ? А я даже, грѣшный человѣкъ, подумала, что это вы настроили Леву не брать ихъ. Это-то меня и сокрушаетъ болѣе всего, что Миннушку и Женюшу приходится здѣсь оставлять.

Мать и отецъ удивились.

— Зачѣмъ же, зачѣмъ же, Анна Ивановна?—заговорили они въ одинъ голосъ. — Забирайте и ихъ. Право же, это не большой расчетъ.

— Ахъ, да развѣ я когда о деньгахъ думаю?—воскликнула Анна Ивановна.—Но Лева такъ хочетъ, Лева!

Отецъ даже разсердился.

— Ну, ужъ очень онъ у васъ много капризничаетъ. Скоро съ нимъ сладу не будетъ!

Анна Ивановна испугалась.

— Родной мой, Константинъ Ѳедоровичъ, развѣ же я могу идти противъ его желаній? Онъ у меня одинъ. Онъ больной. Пусть дѣлаетъ, какъ хочетъ. Говоритъ, ему спокойнѣе безъ сестеръ...

— Ну, нѣтъ! Съ нимъ нужно поговорить объ этомъ. Хотите, я поговорю? Вѣдь онъ самъ съ тоски пропадетъ. Да и вамъ скука будетъ. Вотъ тоже надумалъ!

— Ужъ обо мнѣ и не говорите! Предлагаетъ взять съ собою кого угодно, только не Женюшу и Миннушку. Ну, положимъ, я и возьму опять тетю Маринну, да вѣдь это все не то, что Миннушка и Женюша. И сердце мое ныть будетъ по нихъ. Съ ними тоже надо кого-нибудь оставить. Ольгу, что ли? Больше некого. Ахъ, ужъ такъ эта поѣздка все перевернула, что я и голову потеряла.

Она тяжело вздохнула.

— И Женюша опечалилась, ходитъ, какъ въ воду опущенная,—эта она-то, жаворонокъ-то нашъ! И то сказать, развѣ легко ей остаться здѣсь, безъ меня, безъ Левы?

Отецъ опять замѣтилъ, что все это нелѣпо, что надо уговорить Леву перемѣнить рѣшеніе. Анна Ивановна недовѣрчиво покачала головой. Она знаетъ Леву: онъ мягокъ, кротокъ, но что ужъ разъ задумалъ, то сдѣлаетъ. Настойчивъ, настойчивъ такъ, что страсть. Да вотъ, коротко сказать — задумалъ кончить ученіе въ школѣ — и кончилъ, а на что

ему это, не учителемъ ему быть, не хлѣбъ зарабатывать. Все это отъ настойчивости. Конечно, больной человѣкъ.

Отецъ, прощаясь съ нею, обѣщалъ зайти къ нимъ на слѣдующій день.

Мнѣ очень хотѣлось сказать ему, чтобы онъ не мѣшался въ это дѣло, что изъ его совѣтовъ ничего не выйдетъ, что даже было бы лучше, если бы ничего не вышло. Но меня останавливало сознаніе, что я не имѣю права выдавать чужой тайны, ввѣренной мнѣ по дружбѣ. И какъ взглянетъ отецъ на это дѣло? Въ то же время меня смущала мысль о томъ, что вдругъ отцу удастся поколебать рѣшимость Левы. Что тогда? Не безъ тревоги ждалъ я возвращенія отца отъ Шельхеровъ. При первомъ взглядѣ на него я угадалъ, что онъ потерпѣлъ неудачу.

— Чортъ знаетъ, что за упрямый человѣкъ! — сказалъ отецъ, садясь за завтракъ. — Что вобьетъ себѣ въ голову, того ничѣмъ не выбьешь. Хуже осла. Набаловали его. Еще бы! Какъ сыръ въ маслѣ катается, единственный наслѣдникъ, оранжерейный цвѣтокъ, какъ же не быть избалованнымъ.

И, обернувшись ко мнѣ, онъ спросилъ:

— Хоть тебѣ-то не говорилъ ли онъ, почему эта блажь пришла ему въ голову?

Мое лицо вспыхнуло румянцемъ, но я не выдалъ себя и отвѣтилъ:

— Нѣтъ, не говорилъ.

— Да, должно-быть, и нѣтъ никакихъ серьезныхъ мотивовъ, а просто: хочу такъ—такъ и будетъ.

И, ужъ смѣясь добродушнымъ смѣхомъ, онъ прибавилъ:

— Онъ, можетъ-быть, и хвораетъ изъ упрямства: хочу, молъ, быть больнымъ и болѣю. А впрочемъ, ну ихъ, сытыхъ самодуровъ!.. Вотъ посмотрѣли бы, какъ живутъ люди не гдѣ-нибудь за тысячи верстъ, а здѣсь, въ сосѣднихъ деревняхъ, можетъ-быть, самодурство-то и соскочило бы...

Мнѣ было крайне больно, что я не могъ серьезно вступиться за Шельхера и сказать, что, уѣзжая за границу безъ Жени, Лева въ сущности приноситъ не малую жертву. Какъ тяжела была эта жертва, я убѣдился въ этомъ въ тотъ же день, когда Лева говорилъ мнѣ о своихъ планахъ. Три, четыре мѣсяца, можетъ-быть, помогутъ ему если не забыть Женю,—нѣтъ, забыть ее онъ не можетъ!—то охладѣть нѣсколько къ ней. Иные люди, иная природа, иныя впечатлѣнія, все это должно же повліять благотворно. Онъ

употребитъ всѣ усилія, чтобы переломить себя, чтобы образумиться. Если бы онъ взялъ Женю съ собою, остался бы съ нею съ глазу на глазъ, ходилъ бы съ нею рука объ руку тамъ, подъ синимъ небомъ юга, по берегамъ лазурнаго моря, гдѣ все дышитъ страстью и любовью, онъ дошелъ бы чортъ знаетъ до чего.

— Ты знаешь, я не подлецъ, не негодяй, но бываютъ минуты, когда... Мало ли что дѣлаютъ люди въ припадкѣ умопомѣшательства.

Онъ вздрогнулъ.

— И кого же погубить? Ту, которая мнѣ дороже жизни?.. Нѣтъ, нѣтъ, никогда!..

И говоря это, онъ въ то же время плакалъ неутѣшными слезами. Эти слезы, это отчаяніе онъ подавлялъ при постороннихъ; ни словомъ, ни взглядомъ не выдалъ онъ себя и передъ Женей. Онъ былъ съ нею холоденъ и сухъ, какъ никогда. Она смотрѣла на него странными глазами, удивленными, недоумѣвающими, широко открытыми, точно ребенокъ, не понимающій своей вины и гнѣва взрослыхъ. Иногда этотъ взглядъ переходилъ на меня, точно спрашивая: «скажи же хоть ты, что это значитъ, ты вѣдь все знаешь; что же ты молчишь, зачѣмъ мучишь меня?» Я, краснѣя, отворачивался отъ нея. Бѣдная дѣвушка смотрѣла жалкою, подавленною. Всегда веселая, безпечная, легкомысленная до этой поры, она теперь была грустна, задумчива, сосредоточена, не пѣла, не смѣялась. Меня удивляла эта перемѣна, но еще болѣе удивляло то, что Женя не спрашиваетъ Леву, за что онъ сердится на нее. Я ждалъ и боялся именно этого. Она вѣдь такъ любила болтать, такъ не выносила, чтобы на нее «дулись». Что ей скажетъ онъ, если она спроситъ: «за что ты дуешься?» Хватитъ ли у него силъ спокойно объясниться съ нею? И какъ объясниться? Что сказать? Но она не задавала этого вопроса. Почему? Этого я не могъ понять тогда. Это тягостное время длилось недолго; Лева страшно торопился отъѣздомъ и даже нѣсколько раздражался, слыша отъ Анны Ивановны, что ей еще нужно сдѣлать кое-какія распоряженія, что тетя Мариша не успѣла еще собраться. Если бы Лева способенъ былъ ругаться и если бы кроткую и покорную тетю Маришу можно было ругать — онъ непремѣнно бы разругался за ея медленные сборы. Впрочемъ, эта небогатая родственница, не столько старая, сколько убѣжденная въ своей старости, въ сущности, могла раздражить и не Леву. Она, когда Анна Ивановна пригласила ее

ѣхать за границу, растерялась и никакъ не могла освоиться съ этой мыслью. Начнетъ она приготовляться, хлопочетъ цѣлый день, а ночью поразмыслитъ и является на утро къ Аннѣ Ивановнѣ съ робкимъ вопросомъ, точно ли ее приглашаютъ ѣхать и не раздумали ли ее взять. Это могло хоть кого вывести изъ терпѣнія. Ей отвѣчали: «да, да, только собирайся скорѣй», и она торопливо уѣзжала, хлопотала, сбивалась съ ногъ, а вечеромъ на нее снова нападало сомнѣніе.

Тетя Мариша или, иначе, Марина Осиповна Сущова принадлежала къ числу людей, кажущихся смолоду старыми, а подъ старость юными, чуть не дѣтьми. Она была круглою сиротою почти съ колыбели, воспитывалась въ институтѣ, жила въ гувернанткахъ. Въ ранніе годы дѣтства кто-то назвалъ ее «драною кошкой». Съ этой поры она конфузилась за свою физіономію. Поступивъ почти безъ подготовки въ институтъ, она должна была употреблять много усилій, чтобы не отставать отъ подругъ, и потому стыдилась за свою «неспособность». Убивая всѣ силы на ученіе, она не могла сдѣлаться ни хорошей музыкантшей, ни хорошей пѣвицей, ни хорошей рисовальщицей, и смущалась при мысли что у нея нѣтъ никакихъ «дарованій». Такъ она и вышла въ свѣтъ съ убѣжденіемъ, что у нея нѣтъ никакихъ «достоинствъ». Жизнь была не сладка безъ ласкъ, безъ любви, безъ наслажденій, съ вѣчнымъ однообразнымъ трудомъ изъ-за гроша. Маринѣ Осиповнѣ минуло тридцать два года; а она уже считала себя давно старухою, держалась скромно, одѣвалась въ черное. И вдругъ за нее посватался двоюродный дядя Анны Ивановны, Матвѣй Матвѣевичъ Сущовъ, встрѣчавшій ее ежедневно у своей сестры, гдѣ Марина Осиповна жила въ гувернанткахъ. Она сконфузилась, отвѣтила: «я уже старуха, Матвѣй Матвѣевичъ». «И я не юноша»,—сказалъ онъ. Тѣмъ не менѣе, она не дала ему своего согласія. Ей казалось, что съ ея стороны было бы грѣхомъ идти замужъ, не имѣя никакихъ достоинствъ, за человѣка, обратившаго на нее вниманіе только вслѣдствіе своей безмѣрной доброты. Его родные, узнавъ его намѣреніе, разъяснили Маринѣ Осиповнѣ, что онъ пьетъ, что она будетъ несчастна съ нимъ, что за него никто не пойдетъ. Марина Осиповна расплакалась и расплакалась именно о томъ, что онъ такой несчастный человѣкъ, что за него никто не пойдетъ. Когда онъ еще разъ заговорилъ съ нею о свадьбѣ, замѣтивъ при этомъ, что съ нею онъ, пока у

Христа за пазухой, былъ бы, — она дала свое согласіе. Свадьба состоялась. Супруги зажили примѣрно, немного даже сентиментально. Онъ ее звалъ «моя няняша», она его звала «дѣточка». Когда ей говорили: «но вѣдь онъ пьетъ», она отвѣчала: «онъ сущій ангелъ». Дѣйствительно, онъ былъ добръ, мягокъ, слабъ, склоненъ къ слезамъ, и онѣ были тѣмъ обильнѣе, чѣмъ болѣе онъ выпивалъ. Въ эти минуты онъ цѣловалъ руки жены, обливая ихъ слезами, а она ласкала его, какъ больного ребенка. Сестры, братья, племянчики и племянницы Матвѣя Матвѣевича говорили: «съ дѣтства онъ поврежденный, въ сумасшедшемъ бы домѣ ему сидѣть». Жена его говорила: «онъ страдалецъ». Въ пьяномъ видѣ онъ жаловался на то, что въ дѣтствѣ его забили, что въ юности бросили безъ образованія, что съ горя онъ сталъ пить. Всѣ слушали его съ насмѣшливостью или съ отвращеніемъ. Еще бы! Развѣ не смѣшны жалобы сорокалѣтняго мужчины, жалобы пьяницы? Марина Осиповна не смѣялась надъ нимъ, не презирала его, называла его «загубленнымъ человѣкомъ», и не вѣрила тѣмъ, кто говорилъ, что изъ него ничего не вышло бы и тогда, если бы его не загубили. Когда онъ умеръ—она плакала неутѣшно. Ей казалось, что ей ужъ нечего ждать въ будущемъ, что она всѣмъ чужая. Ее вѣдь только и любилъ этотъ человѣкъ. И онъ-то за что полюбилъ ее, за что продолжалъ любить всю жизнь? Этотъ вопросъ она задавала себѣ тысячу разъ и никакъ не могла его разрѣшить. Можетъ-быть, послѣ смерти мужа она умерла бы съ горя, но у нея на рукахъ осталась дѣвочка-сиротка, подобранная ею и ея мужемъ гдѣ-то на улицѣ. Надо было устроить какъ-нибудь судьбу дѣвочки и, отирая слезы, проливаемыя о мужѣ, Марина Осиповна бѣгала и хлопотала о дѣвочкѣ, выставляя всѣмъ на видъ добродѣтели этого ребенка: «Вѣдь что за сердце-то, я ей чужая, а она во мнѣ души не слышитъ, какъ родную мать любитъ». Дѣвочку устроили въ учебное заведеніе, а тетя Мариша, имѣвшая довольно ограниченныя средства, принялась усиленно за уроки. «Охота тебѣ трепаться по улицамъ,—говорила ей Анна Ивановна.—Переѣхала бы ко мнѣ, вотъ и все». Марина Осиповна совсѣмъ сконфузилась. За что ей хотятъ помогать? За что ее любятъ? Господи, какіе добрые люди бываютъ на свѣтѣ! И она готова была въ огонь и въ воду за Анну Ивановну, хотя переѣхать къ ней въ домъ и заняться хозяйствомъ она не могла, къ величайшему своему огорченію: она, конфузясь и краснѣя, объяснила, что она

тотчасъ же переѣдетъ въ домъ Шельхеровъ, какъ только пристроитъ дѣтей. И уже совсѣмъ пристыженная, она объяснила, что на дворѣ у нея умерла прачка и оставила двухъ сиротъ. «Ихъ рѣшительно некому было взять, рѣшительно некому», — ну, и пришлось взять ихъ ей, Маринѣ Осиповнѣ. Она сознавалась въ этомъ, какъ сознаются пойманные на мѣстѣ преступленія юные и неопытные воры, пошедшіе воровать съ голоду. И старалась хоть какъ-нибудь вывернуться, объяснить, что она никогда не взяла бы дѣтей, если бы было кому ихъ взять, она прибавляла совсѣмъ заискивающимъ тономъ, какія души у этихъ дѣтей: «она имъ чужая, совсѣмъ чужая, а они ее зовутъ тетей, ластятся къ ней». Мало-по-малу, на нее всѣ махнули рукой, какъ на неисправимую чудачку и на крайне ограниченную женщину. Ограниченность ея ума не была ни для кого тайной, и прежде всего она сама была убѣждена въ этомъ. Тѣмъ не менѣе всѣ очень любили тетю Маришу и пользовались ея услугами, хотя и не безъ оттѣнка сознанія своего превосходства надъ нею, не безъ оттѣнка иронiи въ отношеніи къ ней. Она была всегда крайне тронута вниманіемъ близкихъ, удивлялась, какіе добрые люди бываютъ на свѣтѣ, и оказывала имъ услуги въ родѣ ухода за больными, хлопотъ по покупкѣ разныхъ вещей, путешествія за границу въ должности даровой компаньонки, лектрисы и переводчицы при Аннѣ Ивановнѣ. Эта невысокая, теперь уже не «драная кошка», а полненькая старушка, съ лицомъ похожимъ на розовый кулачокъ, съ какими-то какъ бы недоразвившимися, недорисованными чертами лица, съ безформенными комочками розоваго тѣла вмѣсто щекъ, подбородка и носа, съ красноватыми полосками вмѣсто бровей, съ неопредѣленнымъ не то улыбающимся, не то близкимъ къ слезамъ выраженіемъ лица, являлась крайне комичною во время сборовъ за границу съ Анной Ивановной. Ей нужно было обдумать, какъ устроить на время своего отсутствія кого-то изъ сиротъ, жившихъ у нея, кого посѣтить и кому что снести изъ сиротъ, жившихъ уже не у нея, а въ учебныхъ заведеніяхъ. И все ей казалось, что она не все имъ снесла, не все для нихъ сдѣлала. Потомъ на нее нападало раздумье: «да можетъ быть, ее и раздумали взять». Тогда она бѣжала справляться, узнавала, что не раздумали, что ее ждутъ, извинялась и торопилась снова, растерянная, запыхавшаяся. Наконецъ, она посѣтила всѣхъ своихъ «дѣтей», надѣлила всѣхъ ихъ, поплакала у каждаго изъ нихъ—

и собралась въ дорогу, горячо благодаря Анну Ивановну, что та ее беретъ съ собой. Ей вѣдь и во снѣ не снилось, что она опять поѣдетъ за границу. Иной вѣдь весь вѣкъ проживетъ, а не дождется такого счастія, какъ она. Господи, какіе добрые люди бываютъ на свѣтѣ!..

У всѣхъ какъ камень свалился съ плечъ — Шельхеры ѣхали на вокзалъ варшавской желѣзной дороги. Все время до отъѣзда поѣзда Лева сновалъ по вокзалу, хлопоча о чемъ-то, что и безъ него было уже устроено и улажено прислугой. Я чувствовалъ, что онъ только хочетъ не быть съ нами, съ провожающими. Наконецъ, раздался второй звонокъ. Шельхеръ заторопился.

— Ну, прощайте, прощайте! Пора!—заговорилъ онъ, торопливо пожимая намъ руки и цѣлуясь съ нами, не глядя почти на насъ.

— Про-щай... прощай!—вдругъ раздался прерывающійся отъ рыданій голосъ Жени.

Лева, захваченный врасплохъ ея рыданіями, какъ безумный, схватилъ руками ея голову и, не помня себя, покрылъ поцѣлуями ея лицо; потомъ схватилъ объ ея руки и десятокъ разъ поцѣловалъ ихъ, заливаясь слезами. Это былъ бурный порывъ страсти. Женя стояла, какъ обезумѣвшая, съ широко открытыми глазами, съ полуоткрытымъ ртомъ, точно человѣкъ, сразу понявшій все, все, надъ чѣмъ онъ думалъ и бился долгіе, долгіе безсонные дни и ночи. Лева уже былъ въ вагонѣ, забившись въ уголъ, закрывъ лицо платкомъ, подъ сводами дебаркадера уже прозвонилъ третій звонокъ, поѣздъ уже медленно задвигался, когда Женя очнулась, двинулась куда-то впередъ, безсознательно, какъ бы во снѣ, и опять какъ бы застыла на мѣстѣ. Всѣ присутствующіе махали платками Аннѣ Ивановнѣ, Левѣ и тетъ Маришѣ, идя рядомъ съ вагономъ, гдѣ они сидѣли. Женя осталась одна со мною. Я позвалъ ее, она взглянула на меня и тихо сказала:

— Бѣдный Лева!

Городская жизнь въ домѣ Шельхеровъ пошла и безъ хозяевъ обычнымъ порядкомъ. Оставшаяся при дѣвушкахъ въ домѣ родственница Анны Павловны, Ольга Дмитріевна Вощинина, вдова небогатаго чиновника, заправляла хозяйствомъ и быстро вошла въ свою роль. Это была типичная представительница небогатыхъ посѣтительницъ клубовъ, театральныхъ галлерей, дешевенькихъ пикниковъ. Развязная въ манерахъ и очаровательная по обхожденію съ людьми,

эта особа съ претензіями на свѣтскость и даже на красоту, чувствовала себя у Шельхеровъ, какъ рыба въ водѣ. Въ обыкновенное время Ольга Дмитріевна являлась въ домъ Шельхеровъ только за подачками и уходила отсюда съ затаенною завистью въ душѣ и съ развязною шутливостью нѣсколько дней сряду послѣ этихъ визитовъ говорила «въ своемъ кругу», что «нынче вѣдь царство мужиковъ» и «на что нынче благородство, воспитаніе, образованность, когда почетъ и уваженіе оказываются только туго набитой мошнѣ, когда какая-нибудь бывшая селедочница Федулова на придворный балъ попала». Потомъ она «въ своемъ же кругу» разсказывала самые смѣшные анекдоты объ этихъ мужикахъ и мужичкахъ, вылѣзшихъ въ люди: ни вкуса, ни манеръ, ни такта! Конечно, кто истинно благороденъ, развитъ, образованъ, тотъ не станетъ завидовать этому животному счастію—о, нѣтъ, нѣтъ, никогда!—и не промѣняетъ своей скромной доли на ихъ долю. Вѣдь все это довольство нажито, ахъ, какими путями! Теперь приглашенная въ домъ Шельхеровъ Вощинина могла ѣздить съ барышнями во французскій театръ, въ итальянскую оперу, принимать въ домѣ гостей и, несмотря на свои сорокъ пять лѣтъ, любезничать съ молодежью, находясь въ сладкомъ заблужденіи, что эта молодежь очарована ея приторной любезностью и косметическою красотою. До этой поры она играла въ домѣ Шельхеровъ роль приживалки, появлявшейся съ цѣлью выманить денегъ или поношенныхъ платьевъ. Теперь она считала себя чуть не благодѣтельницей въ этомъ домѣ, потому что безъ нея Аннетъ (до этой поры она называла госпожу Шельхеръ не иначе какъ Анной Ивановной) не могла бы уѣхать за границу, такъ какъ на кого же оставить бѣдныхъ Минну и Женю; она, Ольга Дмитріевна, даже бросила ради дружбы къ Аннетъ свой домъ и своего бѣднаго мальчика, при этомъ она умалчивала, что ея «домъ» была скверная меблированная комната, а ея «мальчикъ» и прежде, и теперь «продавалъ слоновъ», воображая, что онъ будущая знаменитость—у него было что-то въ родѣ баритона, и потому онъ присвоилъ себѣ право ничего не дѣлать, ничему не учиться, числясь ученикомъ какой-то музыкальной школы. Теперь этотъ мальчикъ, ражій и цвѣтущій юноша, лѣтъ двадцати двухъ, кормился ежедневно у Шельхеровъ и старался плѣнить своимъ голосомъ «кузиночекъ». Почти каждый вечеръ зала Шельхеровъ потрясалась его баритономъ, выкрикивавшимъ:

Проснись, проснись, Динора,
Иль я умру съ тобой!

Но мальчикъ не только самъ являлся почти каждодневно сюда, онъ наводилъ съ собою какихъ-то товарищей,—еврейчика съ тенóромъ, похожимъ на пискливый сопрано; бывшаго придворнаго пѣвчаго, заупокойнымъ басомъ завывавшаго «двухъ гренадеръ»; какихъ-то невозможныхъ субъектовъ, харкавшихъ во время пѣнія и говорившихъ: «намъ наплевать на итальянцевъ, потому что мы имъ носы-то утремъ». Ольга Дмитріевна была безъ ума отъ этихъ молодыхъ людей, говоря, что «она обожаетъ все примитивное»,—хотя самое слово «примитивное», вѣроятно, было для нея не вполнѣ понятно. Съ этими примитивными людьми у Ольги Дмитріевны были даже легонькіе романчики, хотя она вообще была очень строга въ вопросахъ о нравственности и кстати, и некстати говорила, что она «презираетъ этихъ продажныхъ женщинъ», «и развѣ можно торговать чувствомъ, святымъ чувствомъ!» Впрочемъ, ей, вѣроятно, никто не предлагалъ торговать чувствомъ, и у нея не было, въ свою очередь, никогда лишняго гроша, чтобы купить чужое чувство, и одно это уже могло способствовать ей остаться вѣрной своимъ нравственнымъ принципамъ относительно непродажности чувствъ. Со дня вступленія Ольги Дмитріевны въ домъ Шельхеровъ здѣсь шелъ «дымъ коромысломъ». Минушка сносила довольно добродушно концерты доморощенныхъ пѣвцовъ и даже просила ихъ сама спѣть тотъ или другой любимый романсъ — «Ты скоро меня позабудешь», или что-нибудь въ этомъ же родѣ. Но Женя чувствовала себя въ этомъ обществѣ неловко и какъ-то сжилась, когда Володя безцеремонно пожималъ ей руки, вздыхалъ при ней и закатывалъ глаза, напѣвая, по своей привычкѣ, отрывки разныхъ любовныхъ романсовъ во время разговора. Впрочемъ, вѣроятно, и безъ этого общества Женя по отъѣздѣ Шельхеровъ смотрѣла бы не веселѣе. Въ ней произошелъ какой-то переломъ: безпечная дѣвочка вдругъ превратилась въ серьезную взрослую дѣвушку, и притомъ дѣвушку, уже испытавшую глубокое горе. Къ несчастію, горе не приноситъ тотчасъ же съ собою и развитія, и широкихъ взглядовъ, и глубокихъ умственныхъ способностей, и опытности. Оно можетъ заставить человѣка задуматься, но вопросъ: подъ силу ли ему окажутся тяжелыя думы? Что творилось въ душѣ Жени—никто не зналъ. Бестужевъ, заглядывавшій

нерѣдко въ домъ Шельхеровъ, говорилъ ей съ брезгливой гримасой:

— Васъ тяготитъ это общество?

Она равнодушно отвѣчала:

— Я не обращаю на нихъ вниманія.

— Нѣтъ, нѣтъ, не говорите такъ! Я знаю по себѣ, что значитъ быть среди людей, съ которыми не имѣешь ничего общаго! Недаромъ же я бѣгу сюда отдохнуть съ вами.

Она пристально вглядывалась въ него.

— И вамъ не скучно здѣсь?

— Съ вами-то? О, если бы я могъ всегда, всегда быть около васъ!..

Разъ онъ порывисто поднесъ къ губамъ ея руку. Она смутилась, покраснѣла и съ упрекомъ проговорила:

— Александръ Николаевичъ, что съ вами?

— Простите, простите! О, если бы вы могли заглянуть въ мою душу.

И опять онъ говорилъ ей, какъ отрадно ему быть около нея, такой чистой, такой неиспорченной. Подлѣ нея онъ самъ становится лучше, чище. Тамъ, въ его кругу, тоже омутъ, затягивающій, губящій.

— Вы не ребенокъ и отъ васъ зависитъ выйти изъ этого омута,—замѣтила она, пристально взглянувъ на него.

— О, это далеко не такъ легко,—вздохнулъ онъ.

И опять начались толки объ ангелѣ-спасителѣ, который вывелъ бы его изъ этого омута. Все это говорилось въ формѣ банальныхъ фразъ, съ пошлымъ ломаньемъ разочарованнаго и гибнущаго человѣка. Скоро ли же будутъ результаты этихъ признаній? Чего онъ добьется? Она такъ мила и наивна! Вскидывая на носъ pince-nez, онъ горящими глазами вглядывался въ нее, въ это дѣтское личико, въ эти пурпуровыя губки. Женя слушала его и задумывалась. Не она ли этотъ ангелъ-спаситель? Не ей ли суждено спасти отъ чего-то этого страдающаго отъ своего положенія человѣка?

— Бестужевъ, кажется, очень несчастливъ,—сказала она однажды мнѣ.

— Чѣмъ же? Живетъ себѣ во всю ширь, — отвѣтилъ я.

— Да, но онъ въ дурной средѣ, это тяготитъ его. Онъ хотѣлъ бы вырваться изъ нея.

— Ты думаешь?

— Я это навѣрно знаю.

— Что-жъ, можетъ-быть, и такъ!—уклончиво отвѣтилъ я.

Мнѣ не хотѣлось говорить дурно о Бестужевѣ. Я боялся вліять на Женю въ этомъ вопросѣ въ ту или другую сторону. Ее это, повидимому, сердило. Она съ досадой замѣтила мнѣ:

— Ты точно чего-то не договариваешь. Право, это странно...

— Я плохо знаю Бестужева!

Она передернула плечами.

— Ты, можетъ-быть, даже слишкомъ хорошо знаешь, — съ насмѣшливостью въ голосѣ проговорила она: — и только боишься разочаровать меня...

Въ другой разъ, сидя со мною, она замѣтила:

— Я часто думаю, что̀ случилось бы, если бы я вышла за кого-нибудь замужъ?

— За кого?—спросилъ я.

— Все равно, за кого, — раздражительно проговорила она.—Дѣло не въ томъ. Но что сказали бы наши?

— Всѣ были бы рады, если бы ты была счастлива, — отвѣтилъ я.

— Всѣ?—спросила она, пристально взглянувъ на меня.— Ты увѣренъ?

— Конечно!—поторопился я сказать.

Она задумалась.

— Левѣ было бы скучно безъ меня,—начала она нерѣшительно.

— Да, но онъ былъ бы радъ, что ты счастлива, — сказалъ я. — Я увѣренъ, что его тревожитъ неопредѣленность твоего положенія.

Она вздохнула.

Чрезъ нѣсколько дней разговоръ опять коснулся вопросовъ женитьбы и замужества.

— Я не знаю, — замѣтила Женя: — правду ли говоритъ пословица: женится — перемѣнится? Можетъ ли женщина такъ повліять на человѣка, чтобы онъ сталъ совсѣмъ, совсѣмъ инымъ?

— Что тебя такъ заинтересовалъ этотъ вопросъ?

— Такъ, случайно... Скучно теперь у насъ... Передумаешь Богъ знаетъ что... Вотъ на-дняхъ читала романъ, гдѣ говорится о такомъ перерожденіи человѣка...

— Какой романъ?

Она покраснѣла, замялась, проговорила:

— Забыла теперь названіе... И дѣло не въ томъ. Это навело меня на мысль о томъ, что вдругъ бы я вышла за такого человѣка...

Она постаралась улыбнуться.

— Я вѣдь невѣста теперь по годамъ, не мудрено, что и думаю объ этомъ... Могла ли бы я передѣлать человѣка?.. Или это только слова, слова и слова...

— Любовь, говорятъ, творитъ чудеса...

— Да, да, любовь... Что-жъ, я постаралась бы любить...

Я разсмѣялся.

— Какой ты ребенокъ! Развѣ можно постараться любить? Любовь является безъ старанія.

— А если ея нѣтъ?

— Тогда не для чего идти замужъ, насиловать себя.

Она сдѣлала нетерпѣливое движеніе

— А если надо, необходимо надо?

И вдругъ, точно опомнившись, она засмѣялась насильственнымъ смѣхомъ:

— Но что это мы все о любви толкуемъ! Хорошее мнѣніе составишь ты о барышняхъ вообще, судя по мнѣ! Будешь думать, что онѣ только этими мечтами и живутъ.

Она круто перемѣнила разговоръ.

Я смутно угадывалъ, что въ ея головѣ проходятъ какіе-то новые вопросы, думы, сомнѣнія, не соотвѣтствующіе размѣрамъ ея природныхъ умственныхъ силъ, образованія, опытности...

Разговору о любви суждено было возникнуть снова между нами и при крайне тяжеломъ настроеніи. Я получилъ отъ Жени коротенькую записочку, приглашавшую меня въ домъ Шельхеровъ. Это былъ понедѣльникъ, и я удивился приглашенію, такъ какъ это былъ день абонемента въ итальянской оперѣ. Я отправился въ домъ Шельхеровъ и засталъ Женю одну. Взглянувъ на нее, я сразу увидалъ, что она плакала, что она сильно возбуждена.

— Извини, что я просила тебя придти, — сказала она, здороваясь со мною.—Но ты здѣсь одинъ, съ кѣмъ я могу поговорить...

— Что случилось?—спросилъ я тревожно.

Она хотѣла засмѣяться и вмѣсто того неожиданно разрыдалась.

— Женя, Женя, что съ тобою? Полно! — уговаривалъ я съ участіемъ.

— Нѣтъ, дай мнѣ поплакать!.. Легче!.. Ты знаешь ли, я получила отказъ, — говорила она сквозь слезы и опять постаралась засмѣяться.

Я чувствовалъ приближеніе истерики и счелъ нужнымъ молчать, чтобы дать ей время успокоиться. Наконецъ, она пе-

ресилила себя и заговорила менѣе взволнованнымъ голосомъ:

— Я спросила, наконецъ, Александра Николаевича, любитъ ли онъ меня?

— Женя!—воскликнулъ я въ ужасѣ.—Развѣ такъ дѣлается?

— Ахъ, не говори мнѣ! — уже раздражительно отвѣтила она.—Зачѣмъ онъ ходилъ сюда, вздыхалъ, дѣлалъ намеки? Я не могла долѣе терпѣть, оставаться въ неизвѣстности. Ну, и спросила прямо, рѣзко.

— Ты его любишь?

— Никогда я не любила его!—горячо воскликнула она.—Никогда, никогда! Онъ дѣлалъ видъ, что безъ ума отъ меня... Ну, я и спросила, любитъ ли онъ меня... И онъ... онъ упалъ на колѣни, схватилъ мои руки...

Она опять засмѣялась, но уже безъ слезъ, какимъ-то облегченнымъ смѣхомъ, напомнившимъ мнѣ на минуту прежнюю, шаловливую Женю.

— Я отняла ихъ и спросила: «отчего же вы не дѣлаете мнѣ предложенія?»

— Женя!—ужаснулся я.—Я тебя не узнаю...

Она опять залилась смѣхомъ.

— О, если бы ты видѣлъ его тогда — на колѣняхъ, съ опущенной головой, растерявшагося, даже уронившаго pince-nez... О, какимъ идіотомъ смотрѣлъ онъ!.. Ты понимаешь: его положеніе, его родные, его связи! Ему никогда не позволили бы жениться на мнѣ. Я вѣдь мѣщанка!.. Онъ не сказалъ этого, но я сказала это и...

Она снова звонко засмѣялась.

— О, какъ я счастлива, какъ счастлива, что я могла сказать ему: «зачѣмъ же вы ходите сюда?» Понимаешь, сказала прямо въ глаза, насмѣхаясь, глумясь... Онъ, растерянный, началъ что-то шарить у моихъ ногъ, отыскивая свое pince-nez. О, онъ больше не явится сюда, никогда не явится!..

Я ничего не понималъ. Зачѣмъ она начала этотъ разговоръ съ Бестужевымъ. Ну, а если бы онъ сказалъ: «я предлагаю вамъ свою руку». Я задалъ ей этотъ вопросъ.

— Я пошла бы за него,—отвѣтила она и измѣнилась въ лицѣ. — Помнишь, я спрашивала тебя: можно ли измѣнить человѣка? Я старалась бы его любить. Это вѣдь обрадовало бы *всѣхъ* въ нашей семьѣ? Да? *Всѣхъ?*

И вдругъ, сдѣлавшись совсѣмъ серьезной, она страстнымъ тономъ прибавила:

— Нѣтъ, нѣтъ, я лгу! Я знала, какой отвѣтъ я получу. Я не могла бы принести этой жертвы. Никогда, никогда! Я четыре мѣсяца пріучала себя къ этой мысли. О, лучше въ могилу, чѣмъ, не любя, выйти замужъ...

Она крѣпко сжала мои руки.

— Милый, ты не можешь представить, какъ я счастлива, какъ я счастлива!

Опять я ничего не понималъ. Я спросилъ ее мелькомъ:

— А ты знаешь, что на-дняхъ ваши возвращаются изъ-за границы?

Она кивнула утвердительно головой.

— Да. Я потому и объяснилась съ Бестужевымъ. Надо было кончить все до пріѣзда Левы...

Потомъ, точно спохватившись, она прибавила:

— Лева въ послѣднее время раздражался его присутствіемъ. Ну, я и рѣшилась удалить этого фата. У Левы не хватило бы духу...

И шаловливымъ, веселымъ тономъ она опять начала говорить о Бестужевѣ, какъ онъ былъ комиченъ, какъ онъ позеленѣлъ отъ злобы, поднимаясь съ полу.

— Онъ тебѣ этого не проститъ никогда,—сказалъ я.

— Ахъ, очень онъ нуженъ мнѣ!—воскликнула она.—Я теперь никого не боюсь!..

Черезъ три дня я получилъ телеграмму, извѣщающую о днѣ и часѣ пріѣзда Шельхеровъ. Мы всѣ отправились на варшавскую желѣзную дорогу. Минутъ десять мы ждали поѣзда, наконецъ, вдали показались яркіе фонари локомотива, и поѣздъ сталъ приближаться. Вотъ онъ, медленно пыхтя и скрипя, поровнялся съ платформой. Въ вагонѣ перваго класса мелькнули знакомыя лица. Еще минута, и послышались восклицанія, поцѣлуи. Лева, сильно поправившійся, нѣсколько загорѣвшій и какъ бы возмужавшій, перецѣловался со всѣми, но когда очередь дошла до Жени—онъ какъ будто поколебался; она же бросилась къ нему и буквально покрыла страстными поцѣлуями его лицо, цѣлуя его, какъ четыре мѣсяца тому назадъ онъ цѣловалъ ее на прощаньи.

VI.

Когда я вспоминаю о наступившемъ въ жизни Левы Шельхера періодѣ, мнѣ всегда почему-то вспоминается одна бурная лѣтняя ночь. Нестерпимый зной продолжался безъ перерыва всю первую половину іюля, безъ вѣтра, безъ

облачка въ небѣ. Даже у моря, казалось, нечѣмъ было дышать и въ сущности здѣсь было еще нестерпимѣй за недостаткомъ тѣни, при видѣ солнечнаго блеска, отражавшагося въ водѣ, казавшейся массой расплавленнаго серебра. Наконецъ, зной и удушливость стали какъ-то особенно дѣйствовать на нервы, что-то такое пророчило грозу, точно въ воздухѣ запахло электричествомъ. Въ одинъ изъ такихъ дней, клонившійся уже къ вечеру, я вышелъ на балконъ и увидалъ внизу подъ горой крутящуюся по дорогѣ пыль; около балкона слышался такой шелестъ листьевъ, какъ будто по деревьямъ пробѣгали волны вѣтра, то стихавшія, то поднимавшіяся снова. Я взглянулъ по направленію къ Петербургу; оттуда надвигалась совершенно прямой полосой, перекинувшись черезъ все взморье, изсиня-черная туча, а подъ нею ея нижній слой клубился, какъ сѣровато-бурый дымъ. Изрѣдка еще гдѣ-то далеко, далеко слышался глухой и тихій рокотъ, какъ сдержанное ворчаніе свирѣпѣющаго звѣря, и темная масса тучи на мгновеніе вся сплошь озарялась розовымъ свѣтомъ. Вѣтеръ быстро несъ эту тучу надъ моремъ къ намъ, и все находившееся подъ нею быстро темнѣло. Порывы вѣтра дѣлались все сильнѣе и чаще, гдѣ-то начинали хлопать ставни, калитки, двери; шелестъ листьевъ смѣнился скрипомъ нагибающихся деревьевъ, какъ бы раскачиваемыхъ во всѣ стороны какой-то невидимой рукой. Въ воздухѣ, уже совершенно потемнѣвшемъ, стали падать одинокія крупныя капли дождя и вдругъ грянулъ, точно надъ самымъ моимъ ухомъ, громъ и одновременно съ нимъ черную массу тучъ словно разорвала молнія. Началась настоящая буря съ воемъ, свистомъ, раскатами грома, шумомъ ливня, трескомъ деревьевъ, бушеваніемъ моря.

— Запри двери, а то сквозитъ,—раздался гдѣ-то голосъ матери.

Не знаю, мнѣ или кому другому было сказано это, но я заперъ дверь и легъ. Непроглядную тьму прорѣзала молнія, громъ грохоталъ почти надъ самымъ домомъ, дождь барабанилъ по крышѣ, а вѣтеръ точно старался сорвать ее. Мнѣ стало жутко. Я не боюсь грозы. Но тутъ меня охватилъ какой-то невольный страхъ, какія-то смутныя мрачныя мысли роились въ головѣ, сонъ бѣжалъ отъ глазъ. Меня бросало и въ жаръ, и въ холодъ. Никогда еще я не чувствовалъ такого разстройства нервовъ. Казалось, бурѣ и ночи не будетъ конца. Я сотни разъ ворочался на постели, стараясь уснуть, но вмѣсто сна явились галлюцинаціи слуха

и зрѣнія; онѣ были таковы, что мнѣ то слышались крики о помощи съ моря, то казалось, что гдѣ-то горитъ и рушится что-то въ деревнѣ. Я закрылъ глаза, но картины становились все страшнѣе и страшнѣе, море бушевало уже не внизу, подъ горою, а несло свои волны прямо къ нашему саду, горѣло уже не на деревнѣ, а у насъ въ домѣ, огонь подходилъ все ближе и ближе ко мнѣ. Въ ужасѣ, очнувшись отъ тяжелаго кошмара, я снова открылъ глаза... Въ окно мое смотрѣло ясное голубое небо, безъ облачка, залитое солнечнымъ свѣтомъ. Я вскочилъ, подбѣжалъ къ балконной двери, не вѣря самъ себѣ, и распахнулъ ее: изъ сада пахнуло свѣжимъ душистымъ воздухомъ, кругомъ слышались гомонъ и пѣніе птицъ, а море, едва покрытое легкой рябью, сверкало серебристой чешуей. Бурная ночь смѣнилась благодатнымъ утромъ. Никогда еще не чувствовалъ *я* такой любви къ природѣ, къ свѣту, къ жизни, какъ въ эту минуту, точно я спасся отъ страшной бѣды. Эта ночь и это утро вспоминаются мнѣ всегда рядомъ съ воспоминаніемъ о жизни Левы и Жени, послѣ возвращенія перваго изъ-за границы. Я не зналъ ничего, что произошло между ними, но я встрѣчалъ ихъ почти каждый разъ сіяющими, радостными, просвѣтленными, полными гармоніи. «Что съ ними? они ли это?» спрашивалъ я себя, смотря на Леву и Женю.

— Тебя заграничная жизнь совсѣмъ переродила,—говорилъ я ему.

— Да, я очень благодаренъ твоему отцу, что онъ настоялъ на этой поѣздкѣ,—мягко улыбаясь, отвѣчалъ онъ.— Я точно переродился...

И онъ говорилъ мнѣ, что теперь у него прошли всякіе страхи за свое здоровье, что онъ чувствуетъ себя окрѣпшимъ на долгое время, что ему хотѣлось бы найти только какую-нибудь полезную дѣятельность. Ему было бы отрадно сознавать, что онъ можетъ приносить хоть какую-нибудь пользу ближнимъ. Нельзя же вѣчно влачить какую-то животную жизнь—ѣсть, чтобы жить; жить, чтобы ѣсть. О религіозныхъ вопросахъ онъ не только не говорилъ, но, казалось, избѣгалъ вспоминать о нихъ. Я слушалъ его и мысленно задавалъ себѣ вопросъ: «его переродила заграничная жизнь, а что переродило Женю?» Она теперь тоже не походила ни на прежнюю Женю-ребенка, ни на тревожную, задумчивую, нервную дѣвушку, какою она была въ отсутствіе Левы. Теперь это было привѣтливое, ласковое, тихое

созданіе съ свѣтлой улыбкой счастія на лицѣ, безъ рѣзкихъ шалостей и въ то же время безъ скучающаго или тревожнаго выраженія на лицѣ. Все ея существо дышало внутренней гармоніей. Но настроеніе этихъ обоихъ лицъ было такъ ровно и постоянно, что я скоро привыкъ къ этому и пересталъ задумываться о его причинахъ. «И то сказать, чего имъ недостаетъ,—думалось мнѣ.—Онъ пересталъ тревожиться, почувствовавъ себя здоровѣе и не терзаясь болѣе ревностью; она счастлива сознаніемъ, что онъ спокоенъ. Это такъ просто». Зима въ домѣ Шельхеровъ проходила весело, какъ никогда. Кромѣ выѣздовъ въ театры, Шельхеры назначали jours fixes, не очень многолюдные, но веселые, съ танцами, съ пѣніемъ, съ petits jeux. На этихъ собраніяхъ появлялись не одни молодые люди и молодыя дѣвушки, но и старики и старухи, усаживавшіеся за зеленые столы. Богачамъ стоило только распахнуть свои двери, чтобы къ нимъ повалилъ народъ, ищущій развлеченій, сытныхъ ужиновъ, блестящей обстановки. Мой отецъ шутливо замѣчалъ, что Шельхеры «готовятся къ свадьбѣ и пробуютъ, весело ли жить по-семейному». Дѣйствительно, теперь домъ Шельхеровъ пересталъ походить на дѣтскую, на школу, на рекреаціонное зало, а принялъ видъ обыкновеннаго богатаго «семейнаго» дома.

Къ концу зимы Лева сталъ мелькомъ говорить о своихъ планахъ съѣздить лѣтомъ снова за границу, гдѣ воздухъ такъ благотворно повліялъ на него. Анна Ивановна стала немного тревожиться при этомъ, говоря, что ей страшно подумать о новыхъ сборахъ къ путешествію. Тогда Лева улыбался и говорилъ шутливо, что онъ возьметъ вмѣсто нея Женю. Нужно же и ей показать Швейцарію, Италію. Правда, она уже бывала за границей, но тогда она была совсѣмъ ребенкомъ. Если бы Миннушка была «ходокъ», то можно бы и ее взять. Но гдѣ же ей ходить, а онъ съ Женей намѣренъ весь Тироль и всю Швейцарію исходить пѣшкомъ. Мало-по-малу, отъ шутливаго тона перешли къ серьезному, и Анна Ивановна уже сама говорила, что она ни за что не поѣдетъ сама; пусть Лева береть Женю. Начинались шутки, предположенія, какъ они вдвоемъ будутъ забираться на высокія горы, подобно дикимъ козамъ, какъ они будутъ бѣгать по городамъ, осматривая всякія достопримѣчательности. Еще бы! школьники на свободѣ!

— Вы бы хоть меня съ собою взяли для приличія,—неожиданно замѣтила однажды Ольга Дмитріевна, раздражен-

ная мыслью, что «эту дѣвчонку» даже за границу повезутъ.

Лева немного измѣнился въ лицѣ и хотѣлъ что-то возразить, но за него отвѣтила Анна Ивановна:

— Ахъ, Ольга, да что же тутъ неприличнаго, что братъ съ сестрой путешествовать будутъ?

— Братъ съ сестрой... двоюродные! Гдѣ это видано въ порядочномъ обществѣ? Люди мало ли что могутъ подумать!

— Никто ничего не смѣетъ думать!—вспылилъ Лева.

— А, Боже мой! не смѣютъ! Да развѣ можно запретить людямъ думать?—проговорила Ольга Дмитріевна.—Ужъ ты думаешь, если деньги, такъ и все можно...

— Да что думать-то людямъ?—спросила Анна Ивановна.

И, махнувъ рукою, не дожидаясь отвѣта, прибавила:

— Да ты и не знаешь заграничной жизни! Ты думаешь, тамъ, какъ у насъ, заварятъ кашу въ своей семейкѣ и расхлебываютъ ее цѣлый годъ. Нѣтъ, мать моя, за границей-то ты всѣмъ чужая, не подними сама шума да скандала, никто на тебя и вниманья не обратитъ. И паспортовъ тамъ не спрашиваютъ—запишись графиней—графиней и будутъ звать.

Она добродушно засмѣялась.

— Ты, Лева, записывайся вездѣ барономъ фонъ-Шельхеромъ съ женой... Помнишь, тебя въ Берлинѣ всѣ называли Herr Вагоп... По-баронски деньгами сорили, вотъ и титулъ сейчасъ дали.

Разговоръ принялъ снова шутливый оборотъ. Тѣнь не сходила только съ лица Левы. Онъ какъ-то особенно всматривался въ Ольгу Дмитріевну, точно желая прочитать ея сокровенныя мысли. Но кромѣ зависти онъ не прочелъ ничего на ея разрисованномъ лицѣ...

Недѣли двѣ спустя разговоръ коснулся снова поѣздки Левы за границу, и снова Ольга Дмитріевна замѣтила:

— Да неужели вы, въ самомъ дѣлѣ, вдвоемъ поѣдете? Ужъ хоть бы Марину Осиповну взяли... Она-то никого не стѣснитъ...

Лева опять вспылилъ.

— Мы поѣдемъ такъ, какъ вздумается намъ,—отвѣтилъ онъ.—Кажется, это не касается никого...

— Ахъ, Боже мой, это говорится вовсе не къ тому, что кто-нибудь желалъ бы вмѣшиваться... Но я только говорю, что въ извѣстныхъ кругахъ общества это не принято...

— То-есть это гдѣ? Въ вашемъ кругу?

— Да, въ порядочномъ обществѣ...

— Ну, мы, значитъ, непорядочное общество.

И съ несвойственной ему грубостью онъ замѣтилъ:

— Смотрите, Ольга Дмитріевна, не уроните себя, вращаясь въ подобномъ обществѣ...

Она со злостью прикусила нижнюю губу и отвернулась.

Лева опять упорно вглядывался въ нее, желая угадать ея мысли.

Въ это время въ немъ начала замѣчаться снова тревога; онъ иногда впадалъ въ задумчивость и простаивалъ по нѣсколько минутъ у окна, въ раздумьи смотря куда-то вдаль и покусывая ногти; порою онъ задумывался такъ глубоко, что вовсе не слыхалъ обращенныхъ къ нему вопросовъ или отвѣчалъ невпопадъ. Впрочемъ, этотъ новый фазисъ въ настроеніи Левы совершенно ускользалъ отъ меня въ то время. У меня началась горячая пора экзаменовъ, и я рѣдко бывалъ у Шельхеровъ. Къ тому же у нихъ шла разсѣянная, чисто свѣтская жизнь, совершенно чуждая и несимпатичная мнѣ и, можетъ-быть, это, а можетъ-быть и что-нибудь другое немного отдалило меня отъ Левы въ послѣднее время. Какъ-то чутьемъ я угадывалъ, что я становлюсь ненужнымъ для него. Онъ былъ попрежнему привѣтливъ со мною, но и только. Ему точно не о чемъ было говорить со мною. Его душевный міръ вдругъ закрылся для меня, сдѣлался тайной. Я замѣчалъ это, но не напрашивался на откровенность...

Приближалась уже весна, удовольствія зимняго сезона оканчивались, у Шельхеровъ былъ одинъ изъ послѣднихъ jours fixes. Я пошелъ къ нимъ съ отцомъ, рѣшивъ, что я теперь долго не заверну къ нимъ: работы было не мало и нужно было на нѣкоторое время отдаться исключительно ей. Народу у Шельхеровъ собралось немного, танцевъ не было и разговоръ какъ-то не клеился. Можетъ-быть, отчасти повліяло на всѣхъ безпокойство по поводу нездоровья Жени. Она не появлялась въ парадныхъ комнатахъ и лежала въ своей комнатѣ. Мой отецъ, услышавъ о ея нездоровьѣ, сказалъ:

— Что же меня не позвали?

— Да что вы подѣлаете, Константинъ Ѳедоровичъ, если Женя не любитъ лѣчиться,—отвѣтила Анна Ивановна.— Вотъ въ послѣдніе мѣсяцы это четвертый разъ съ нею мигрень, а скажу, чтобы послать за вами—ни за что!

— Отчасти и умно дѣлаетъ,—замѣтилъ отецъ.—Отъ мигрени почти нѣтъ средствъ. Разъ одно поможетъ, другой—

другое. Наугадъ прописываешь лѣкарства. Но вѣдь это, можетъ-быть, и не мигрень.

— Нѣтъ, мигрень. Болитъ голова, тошнота..

Въ разговоръ вмѣшалась Ольга Дмитріевна:

— Странно, право, бояться показаться доктору! Если докторъ даже и не поможетъ, то хоть опредѣлитъ болѣзнь, дастъ благоразумный совѣтъ...

И, пожимая плечами, она прибавила:

— И съ чего это у нея вдругъ мигрень началась? Прежде что-то этого не было.

Лева уже кусалъ ногти, видимо раздраженный и встревоженный.

— Эхъ, Ольга Дмитріевна,—отвѣтилъ съ обычной шутливостью отецъ:—вотъ и у меня все не было, не было сѣдыхъ волосъ, а теперь проявились. И съ чего бы это?

— Ахъ, ужъ вы не хотите ли сказать, что Женя отъ старости начинаетъ хворать?—насмѣшливо спросила Ольга Дмитріевна, свысока взглянувъ на отца.

— Ну, до старости ей далеко! А я просто хотѣлъ сказать, что у нея начались мигрени, потому вѣрно, что время мигреней пришло, вонъ какъ у Анны Ивановны начались ревматизмы, потому что ихъ время пришло, а у вашего покорнѣйшаго слуги отъ той же причины черные волосы въ сѣдые превращаться стали.

Потомъ, подтрунивая надъ нею, онъ сказалъ:

— Впрочемъ, гдѣ вамъ это знать, когда вы съ каждымъ днемъ все расцвѣтаете! У васъ долго еще не придетъ время какихъ бы то ни было недуговъ и превращеній...

— Да, время свое дѣло дѣлаетъ,—со вздохомъ сказала Анна Ивановна.

— Еще бы!—пошутилъ отецъ.—Не наложи на насъ съ вами время своей лапы, мы бы еще танцовать стали...

И, перемѣняя тонъ, онъ прибавилъ:

— Вонъ Гансъ Вурмъ, тотъ, вѣрно, не потому слегъ вчера...

— Какъ, Гансъ опять нездоровъ?—замѣтила Анна Ивановна:—а я и не знала. И очень боленъ?

— Очень. Да я и удивляюсь, какъ онъ живетъ еще.—сказалъ отецъ:—наперекоръ наукѣ живетъ. Возьмите вы то: отецъ и мать двоюродные братъ и сестра...

— Ахъ, у нихъ это и за грѣхъ не считается,—сказала Анна Ивановна:—онъ вѣдь не православный.

— Ну, я не о грѣхѣ,—замѣтилъ отецъ:—это не моя спе-

ціальность, а о томъ, что близкое родство само по себѣ ужъ не особенно благопріятствуетъ здоровью ребенка, какъ говорятъ, да кромѣ того и самъ старикъ Вурмъ и его жена худосочные, малокровные, страдающіе чуть не чахоткой... Не знаю я, пророкъ старикъ Вурмъ, или не пророкъ, но знаю, что, вступая въ подобный бракъ, можно было предвидѣть, и не будучи пророкомъ, что наплодишь дѣтей, обреченныхъ не на жизнь, а на болѣе или менѣе быстрое увяданье. Еще слава Богу, что уродовъ не родилось... Впрочемъ, кажется, у него одна дѣвочка была глухо-нѣмая?

Лева, съ лицомъ, покрывшимся пятнами, тревожно спросилъ:

— Да, позвольте, Константинъ Ѳедоровичъ, развѣ это непремѣнное слѣдствіе подобныхъ браковъ?

— Ну, нѣтъ,—отвѣтилъ отецъ:—не непремѣнное, но болѣе возможное, чѣмъ при иныхъ бракахъ, пожалуй, даже можно сказать болѣе, такъ какъ такія болѣзни, какъ бугорчатка, сумасшествіе, падучая, вообще передаются наслѣдственно, а наслѣдственность при близкомъ родствѣ супруговъ, сколько можно судить по разнымъ изслѣдованіямъ, усиливается. Это вопросъ крайне интересный.

Видя, что Лева слушаетъ его съ напряженнымъ вниманіемъ, отецъ сталъ объяснять ему взгляды разныхъ ученыхъ на этотъ вопросъ. Онъ указалъ на наблюденія Монтегацца въ Южной Америкѣ, на изслѣдованія Митшелля о вліяніи на потомство браковъ между близкими родственниками, указалъ на то, что говорятъ объ опасности подобныхъ браковъ Буденъ и Девэ, замѣтилъ въ то же время о противоположныхъ взглядахъ и, между прочимъ, объ интересныхъ наблюденіяхъ Вуазена въ общинѣ Батца, гдѣ среди крайне здороваго населенія браки между родственниками производили здоровое потомство.

— Этотъ фактъ, по-моему, особенно интересенъ,—замѣтилъ отецъ:—такъ какъ тутъ является наслѣдственность здоровья, какъ бы поддерживаемая или усиливаемая тѣмъ, что браки совершаются между близкими родными...

И прибавилъ:

— Во всякомъ случаѣ, покуда болѣе или менѣе ясно то, что наслѣдованіе недуговъ и уродствъ легче передается между близкими родственниками, вступающими въ бракъ, и то, что подобные браки, повторяясь въ одной семьѣ или въ извѣстномъ мѣстечкѣ, сильно вліяютъ на вырожденіе...

Анна Ивановна, уловившая только то изъ этой бесѣды,

что отецъ не одобряетъ браковъ между родными, замѣтила:

— Да; ужъ и точно, до чего доходятъ люди, чуть не родные отцы на дочеряхъ женятся. Впрочемъ, ужъ нынче время такое, вонъ и гражданскіе браки выдумали, чтобы развратъ прикрыть...

Я давно привыкъ читать на лицѣ Левы его душевныя настроенія, и меня поразило теперь выраженіе его лица. Оно было тревожно и мрачно. Онъ въ глубокомъ раздумьи проговорилъ отцу:

— Я никогда не задумывался объ этомъ вопросѣ съ этой стороны.

— Ты же не естественникъ,—просто сказалъ отецъ:— это и понятно.

И шутливо прибавилъ:

— А съ практической стороны тебѣ нечего было и думать объ этомъ: за тебя подумалъ нашъ законъ, запретивъ подобные браки.

Брови Левы сдвинулись, нижняя губа была закушена, глаза смотрѣли мрачно. Мой отецъ, ничего не подозрѣвая, продолжалъ говорить о томъ же вопросѣ—о вопросѣ вліянія родителей на дѣтей, о гибели дѣтей отъ легкомыслія родителей, о цѣломъ рядѣ вредныхъ вліяній, отражающихся на ребенкѣ прежде появленія на свѣтъ. Онъ попалъ на свою излюбленную тему и, развивая ее со всѣхъ сторонъ, коснулся наконецъ незаконнорожденныхъ. Они мало того, что обречены на разныя житейскія неудобства, на потерю разныхъ правъ, принадлежащихъ законнымъ дѣтямъ, на ложное положеніе въ обществѣ, гдѣ они какъ бы выбрасываются изъ среды своихъ родителей, такъ еще и физически они почти всегда страдаютъ: дѣвушки скрываютъ свое положеніе, вѣчно находятся въ тревогѣ во время беременности, не имѣютъ возможности вести гигіеническій образъ жизни, соотвѣтствующій ихъ положенію, ну, и не мудрено, что все это отражается на дѣтяхъ.

— Э, да и не перечислишь всѣхъ формъ дѣтоубійства,— рѣзко закончилъ отецъ.—Разные юнцы и юницы чуть не государственные вопросы умѣютъ рѣшать, а чтобы быть матерями и отцами—для этого у нихъ никакой подготовки нѣтъ...

Лева сидѣлъ, какъ приговоренный къ смерти. Я давно уже не видалъ его въ такомъ состояніи духа. Въ моей головѣ мелькнуло подозрѣніе, показавшееся мнѣ чудовищ-

нымъ. Неужели онъ и Женя?.. Нѣтъ, не можетъ быть! Я старался отогнать отъ себя эту мысль. Но тутъ же мнѣ вспомнилась болѣзнь Жени, слова Ольги Дмитріевны о томъ, съ чего начались эти мигрени. А предполагаемое путешествіе Левы съ Женей на лѣто? Опять мнѣ вспомнились слова Ольги Дмитріевны о неприличіи этого путешествія и раздраженіе Левы. Мнѣ вспомнилась масса мелочей, пропускавшихся прежде мною безъ вниманія и получавшихъ теперь значеніе, бросая свѣтъ на дѣло. Неужели же въ самомъ дѣлѣ это правда? Но если это такъ, то я ли одинъ подозрѣваю это? Не подозрѣваетъ ли этого и Ольга Дмитріевна? О, она навѣрное догадалась, поняла все. Что если все откроется? Какъ-то безсознательно, чтобы разсѣять эти мысли, я поднялся съ мѣста. Лева вздрогнулъ и очнулся при моемъ движеніи, взглянулъ на меня, наши взгляды встрѣтились, и вдругъ, точно безмолвно объяснившись другъ съ другомъ, мы угадали все, что происходило въ душѣ каждаго изъ насъ. Лева поднялся съ мѣста, и мы оба молча, не сговариваясь, не приглашая одинъ другого, пошли въ его кабинетъ. Едва успѣла закрыться за нами дверь, какъ Лева отрывисто проговорилъ:

— Ты все понялъ?

— Да,—отвѣтилъ я.

Онъ сжалъ голову руками и опустился у письменнаго стола. Я, не нарушая молчанія, ходилъ по комнатѣ, совершенно ошеломленный открытіемъ. Въ моей головѣ была какая-то путаница. Наконецъ, онъ заговорилъ отрывисто, почти съ укоромъ:

— Твой отецъ точно ножомъ провелъ по моему сердцу.

— Мой отецъ?—спросилъ я разсѣянно.

— Ну, да. Я ни о чемъ не думалъ, что онъ выяснилъ. Я не думалъ о вліяніи на ребенка родственныхъ связей, моей болѣзненности.

— Ну, это, можетъ-быть, и не такъ,—началъ я:—отецъ же говорилъ, что тутъ много спорнаго.

— Нѣтъ, нѣтъ и это отзовется, и то, что Женя скрываетъ свое положеніе, старается казаться стройной... Все, все отзовется!.. Господи, недостаетъ еще того, чтобы наше незаконное дитя было страдающимъ недугами ребенкомъ! Да, этого и надо ждать! Какъ же! Попробовалъ наперекоръ судьбѣ украсть себѣ счастіе! Съ Богомъ захотѣлъ спорить!..

Его тонъ напомнилъ мнѣ прежняго Леву, какимъ онъ былъ всегда. Я уловилъ пробѣжавшую по немъ дрожь и

невольно подумалъ, что и безъ словъ отца мрачное настроеніе охватило бы его:—съ весной, по обыкновенію, воротилась его болѣзнь. Я сразу понялъ это, когда Лева началъ говорить, что онъ за послѣднее время и такъ волновался мыслью, какъ они поступятъ, когда родится ребенокъ, что его начали тревожить допросы Ольги Дмитріевны по поводу отъѣзда за границу. Въ моей головѣ мелькнула мысль, что если бы у него не было даже этихъ причинъ для волненія, то онъ изобрѣлъ бы ихъ и сталъ бы терзаться, томиться, страдать. Такіе люди не могутъ быть счастливыми и, если можно такъ выразиться, само счастіе является для нихъ несчастіемъ, какъ трезвое состояніе для пьяницы. Сознавать себя несчастными—это ихъ нормальное состояніе; въ минуты, когда они сознаютъ себя счастливыми, они со страхомъ говорятъ себѣ, что «это передъ бѣдой». Онъ съ горечью закончилъ свои жалобы:

— Единственный шагъ въ жизни сдѣлалъ по своему желанію, и это первый шагъ къ окончательной гибели и себя, и Жени, и домашняго мира!

Я зналъ, что его нечего утѣшать. Его мысль работала въ своемъ привычномъ направленіи, какъ у маніака, независимо отъ логики вещей и постороннихъ людей. Я могъ только посовѣтовать ему скорѣй ѣхать за границу. Тамъ Женя можетъ почти не скрывать своего положенія; тамъ никакія Ольги Дмитріевны не выслѣдятъ ихъ.

Когда я вышелъ съ отцомъ на улицу, отецъ спросилъ меня:

— Что съ Львомъ?

Я только махнулъ рукою.

— Опять, кажется, расхворывается и привередничаетъ?—сказалъ отецъ.

— Не говори лучше,—отвѣтилъ я: — тутъ начинается цѣлая драма.

— Ну, ну, ужъ и драма.

Я не привыкъ скрывать что-нибудь отъ отца, и хорошо зналъ, что этотъ человѣкъ не выдастъ чужой тайны. Скрывать отъ него то, что я скрывалъ отъ него до этой поры, я дольше не могъ. Потому я сказалъ ему откровенно:

— Лева живетъ съ Женей.

Онъ даже остановился отъ изумленія.

— Ты бредишь?

— Она беременна!

Отецъ развелъ въ обѣ стороны руками. Нѣсколько минутъ мы шагали молча.

— Этого никто не знаетъ, кромѣ меня и тебя,—сказалъ я.

— Понимаю,—отрывисто отвѣтилъ отецъ и потомъ прибавилъ:—но что будетъ, когда узнаютъ всѣ, а узнаютъ это навѣрно.

— Можетъ-быть, все удастся скрыть,—сказалъ я.

— Нѣтъ, мальчуганъ, эти вещи никогда не скрываются. Выпрядется тайкомъ, а бѣлится на солнцѣ, какъ говоритъ Гёте... Только въ этомъ случаѣ дѣло будетъ не въ томъ, чтобы все выбѣлилось, а чтобы все зачернилось... Да, да, всѣ узнаютъ... А что будетъ, когда всѣ узнаютъ, это еще мы увидимъ съ тобою.

VII.

Лева и Женя уѣхали за границу, Анна Ивановна и мы перебрались на дачи. Я былъ сильно занятъ въ это лѣто уроками и посѣщалъ домъ Шельхеровъ урывками, не особенно часто. Но каждый разъ, посѣщая Анну Ивановну, я слышалъ отъ нея и отъ Миннушки, что Лева и Женя здоровы и наслаждаются жизнью въ Швейцаріи. То же сообщалъ и мой отецъ, послѣ посѣщенія имъ старухи. Я зналъ, что въ этомъ нѣтъ ни слова правды. Каждое письмо Левы, адресованное ко мнѣ, дышало тревогою, жалобами, сѣтованіями, опасеніями. Сначала эти письма были довольно часты, довольно длинны, потомъ они стали приходить рѣже, дѣлались все короче, наконецъ, Лева пересталъ вовсе писать ко мнѣ. Я понималъ, что онъ «потерялъ голову», какъ онъ выразился самъ въ одномъ изъ послѣднихъ писемъ ко мнѣ. Впрочемъ, и было отчего потерять голову: и онъ, и Женя были молоды, неопытны, среди чужихъ людей; рожденіе перваго ребенка и при самыхъ лучшихъ условіяхъ не обходится безъ волненій и опасеній, тутъ же условія были далеко не благопріятными; кромѣ того, какъ они поступятъ съ ребенкомъ, на чье имя запишутъ его, какъ привезутъ въ Петербургъ. Я сознавалъ, что и болѣе спокойный и здоровый человѣкъ, чѣмъ Лева, могъ бы растеряться на его мѣстѣ; онъ же могъ натворить всевозможныхъ промаховъ, ошибокъ, глупостей, растерявшись въ рѣшительную минуту. Время между тѣмъ подходило къ осени, и Анна Ивановна тоже начала немного волноваться, такъ какъ Лева не писалъ ей ничего опредѣленнаго относительно своего возвращенія домой. Она со вздохами говорила, что ея «дѣти» загостились черезчуръ долго за границей.

— Вѣрно тамъ свободнѣе,—не безъ насмѣшливости замѣчала Ольга Дмитріевна.

Она какъ-то незамѣтно внѣдрилась въ домъ Шельхеровъ, чтобы, какъ она говорила, бѣдная Аннетъ не такъ скучала. Впрочемъ, Анна Ивановна, привыкшая «жить на народѣ», была, повидимому, довольна присутствіемъ въ ея домѣ «Ольги». Иногда старуха даже добродушно подсмѣивалась надъ нею, когда та любезничала съ молодежью или являлась уже черезчуръ сильно накрашенною. «Ольга,—говорила Анна Ивановна:—ты вотъ тутъ лицо мукою запачкала; потри около глаза, у тебя чѣмъ-то чернымъ выпачкано». Это было своего рода развлеченіемъ для Анны Ивановны. Старуха не сердилась даже за мелкія выходки и тонкіе намеки Ольги Дмитріевны на Женю и Леву, отчасти не понимая этихъ намековъ, отчасти сознавая, что «ужъ очень Ольгѣ хотѣлось бы быть самой за границей». Послѣдняя мысль была тоже причиною невинныхъ шуточекъ надъ Вощининой. «Что она на итальянцевъ, что ли, хочетъ насмотрѣться? такъ вѣдь они и въ Италіи такіе, какъ здѣсь»... Анну Ивановну вообще трудно было встревожить или разсердить, еще труднѣе было заставить догадаться, насчетъ чего бы то ни было, что не говорилось прямо, что не было очевидно, какъ день. Она была увѣрена, что все обстоитъ благополучно и что ничто въ домѣ не измѣнилось—Дарья печетъ попрежнему пироги, жаритъ телятину, готовитъ кремы—чего же больше? А перемѣна въ домѣ была, и эту перемѣну одинъ изъ первыхъ замѣтилъ мой отецъ. Какъ-то разъ, спросивъ меня, получалъ ли я письма отъ Левы, онъ сказалъ:

— Онъ и не ожидаетъ, что всѣ уже знаютъ его тайну.

— Ну?—съ сомнѣніемъ проговорилъ я.—Почему ты такъ думаешь?

— А видишь ли, когда куда-нибудь слетаются вороны, тамъ вѣрно есть падаль,—отвѣтилъ онъ шутливо.—Ну, а когда къ богатымъ роднымъ очень ужъ усердно стекаются разные дальніе родственники—это значитъ, что они чуютъ въ домѣ покойника.

И болѣе серьезнымъ тономъ продолжалъ:

— Ты развѣ не замѣчаешь, что въ домѣ Анны Ивановны вдругъ появились какіе-то троюродные сестры и братья, какіе-то четвероюродные племянники и племянницы? Ихъ скликала, очевидно, Ольга Дмитріевна, и скликала недаромъ: она все угадала и все такъ или иначе передала этой стаѣ, будьте, молъ, на-сторожѣ, можетъ-быть, покойникъ будетъ..

Отецъ потрепалъ меня по плечу.

— Ты, мальчуганъ, молодъ и этой грязи корыстолюбія еще не изучилъ, а я—я спеціалистъ въ дѣлѣ подобныхъ наблюденій. И то сказать, мнѣ, какъ врачу, не мало пришлось видѣть исторій въ этомъ родѣ. Знаю я хорошо, съ какимъ выраженіемъ на лицахъ, какимъ голосомъ спрашиваютъ родственники, ожидающіе наслѣдства: «докторъ, скажите, ради Бога, очень опасно положеніе нашей дорогой бабушки?»

— Но, отецъ, я не понимаю, на что здѣсь можно надѣяться: Анна Ивановна и Лева живы,—съ недоумѣніемъ началъ я.

— Этого, мальчуганъ, и я не знаю, на что тутъ можно надѣяться,—отвѣтилъ отецъ, улыбаясь добродушной улыбкой.—Не сподобился стоять въ такомъ положеніи. Я только констатирую фактъ: родня вылѣзаетъ изъ всѣхъ щелей и ползетъ въ домъ Анны Ивановны... ну, значитъ, почуяла добычу... Можетъ-быть, покуда они и не знаютъ, зачѣмъ они выползли, но каждый вѣдь изъ нихъ знаетъ поговорку о мутной водѣ, гдѣ хорошо рыбу ловить... И что за подлыя рожи дѣлаются у людей, когда они, какъ гіэны, идутъ на развѣдку мертваго тѣла, человѣческой падали? Ты присмотрись къ нимъ, присмотрись, какъ они цѣлуютъ ручки у Анны Ивановны... «Сестрица», «тетечка», «бабенька»—слова-то самыя сладкія подбираютъ, и голоса у всѣхъ шепелявыми отъ нѣжности дѣлаются... Тьфу, мерзость житейская!..

И, снова шутя, онъ замѣтилъ, потрепавъ меня по плечу:

— Счастливы мы, мальчуганъ, что у насъ нечего наслѣдовать и не отъ кого наслѣдовать...

Но отецъ не любилъ долго останавливаться надъ подобными вопросами. Онъ шутливо говаривалъ, что рыться въ грязи человѣческихъ отношеній вредно для здоровья, а у него, какъ у врача, и такъ кругомъ заразныя болѣзни, то тифы, то скарлатины, то дифтериты. Вообще онъ относился довольно равнодушно ко всему, что происходило въ семьѣ Шельхеровъ и тому подобныхъ людей. Онъ шутливо говаривалъ, что онъ дѣлитъ людей на двѣ половины—на односторонне-несчастныхъ и двусторонне-несчастныхъ; къ первымъ принадлежатъ сытые, ко вторымъ—голодные; у сытыхъ несчастія почти исключительно мозговыя, у голодныхъ же—и мозговыя, и желудочныя, а иногда въ придачу и... макаровскія,—добавлялъ онъ, смѣясь,—такъ какъ каждый бѣднякъ почти непремѣнно Макаръ, на котораго всѣ шишки

валятся, даже и такія, которымъ не слѣдовало бы валиться именно на него. «Вонъ, напримѣръ, мужикъ, потому что онъ больше всѣхъ работаетъ, потому что онъ больше всѣхъ голодаетъ, потому что онъ мретъ, какъ мухи осенью, на него и навалили всѣ шишки податей да поборовъ,—ты, молъ, Макаръ». И развивая свою теорію, отецъ заканчивалъ: «а такъ какъ всѣхъ покойниковъ не оплачешь, то и надо беречь свои слезы для самыхъ дорогихъ, для наиболѣе заслуживающихъ этихъ слезъ, т.-е. для двусторонне-несчастныхъ людей». Согласно этимъ взглядамъ, онъ, конечно, только мимоходомъ могъ интересоваться разными событіями въ жизни какихъ-нибудь Шельхеровъ.

Меня же, начинавшаго сильно интересоваться всѣми сторонами окружающей меня жизни, наблюденіе, сдѣланное отцомъ, заставило присмотрѣться къ жизни въ домѣ Анны Ивановны. Дѣйствительно, въ этомъ домѣ теперь бывала цѣлая стая родственниковъ, появлявшаяся прежде только въ годовые праздники. Теперь только и слышалось: «тетя», «бабушка», «сестрица». Всей этой стаей точно командовала Ольга Дмитріевна, лаская каждаго, улыбаясь каждому, какъ будто хозяйкою въ домѣ была она, а не Анна Ивановна. Въ то же время я замѣтилъ какое-то странное отношеніе этой женщины ко мнѣ, не то враждебное, не то презрительное. Она не безъ ядовитой ироніи разспрашивала меня:

— Вамъ что пишетъ Лева? Вѣроятно, больше, чѣмъ Аннетъ? Ей только восторги описываются, все больше о природѣ. Иногда даже смѣшно читать, точно онъ одно письмо съ другого списываетъ.

— Онъ мнѣ совсѣмъ не пишетъ,—отвѣчалъ я.—Я самъ лѣнивъ писать.

— Вотъ какъ, повѣренному сердечныхъ дѣлъ и не пишетъ!

Я обратилъ дѣло въ шутку:

— А вы думаете, что я повѣренный Левы? У меня много для этого своихъ заботъ и хлопотъ.

— Да? Но вы, вѣрно, знаете, когда онъ вернется?

— Нѣтъ, не знаю!

— Это странно! Ужъ не думаетъ ли онъ экспатрироваться? За границей свободнѣе жить.

— А развѣ вы чувствуете здѣсь, въ Россіи, стѣсненія?— шутливо спросилъ я.

— Я не о себѣ говорю!

— Такъ это вамъ Лева писалъ?

— Онъ не переписывается со мною...

— Такъ изъ чего же вы дѣлаете свои заключенія? Вѣдь вы же не живали за границей?

Она сдѣлала злую гримасу и отошла отъ меня. Но меня самого начало смущать долгое отсутствіе Левы. Я сознавалъ, что, должно-быть, тамъ, у него, не все благополучно, и кромѣ того ясно видѣлъ, что Анна Ивановна, подъ вліяніемъ какихъ-то смутныхъ толковъ, начинаетъ волноваться. Она подолгу говорила и со мной, и съ моимъ отцомъ, и съ моею матерью о томъ, что Лева зажился слишкомъ долго, что боится она, не скрываетъ ли онъ чего-нибудь отъ нея. Но на вопросъ: чего? Она отвѣчала, что, можетъ-быть, онъ нездоровъ и не пишетъ только объ этомъ. Другихъ подозрѣній, очевидно, у нея не было. Прямо даже Ольга Дмитріевна не рѣшалась высказать ей своихъ предположеній, а намеки разбивались о непонятливость Анны Ивановны...

И вдругъ, точно снѣгъ на голову, въ одинъ прекрасный день явились Лева и Женя. Ни телеграммъ, извѣщающихъ о пріѣздѣ, ни просьбъ о высылкѣ экипажа, ничего не было. Всѣ были озадачены этимъ пріѣздомъ и съ Анной Ивановной чуть не сдѣлался обморокъ. Ольга же Дмитріевна только восклицала на всѣ лады:

— Господи, да вы оба точно изъ могилы! Да съ чего это вы оба похудѣли? Вы больны были? Вотъ вамъ и заграница!

Лева и Женя торопливо объяснили, что они очень устали въ дорогѣ, что въ послѣднее время они простудились въ горахъ Швейцаріи. И, наскоро переговоривъ со всѣми, Лева прошелъ со мною въ свой кабинетъ.

— Прости, что я не писалъ, — сказалъ онъ, обнимая меня.—Было не до писемъ, и кромѣ того у меня вѣчные страхи: боялся, что письма не дойдутъ, что кто-нибудь прочтетъ ихъ, что ты какъ-нибудь обронишь. Бумагѣ нельзя ввѣрять тайнъ: она всегда можетъ предать.

Онъ сталъ мыться и переодѣваться.

— Ты не сердись, что я при тебѣ... Хочется все скорѣе передать... Пережито столько, что... не знаю, какъ и пережилъ... Я не воображалъ, что это такая страшная вещь— роды!.. А Женя, о, что она выстрадала?

— Ребенокъ живъ?

По лицу Левы скользнула горькая усмѣшка.

— Да, да, ребенокъ... еще болѣе жалкое созданье, чѣмъ я... Онъ привезенъ сюда... Маленькій ирландецъ...

Я ничего не понималъ. На минуту въ моей головѣ мелькнула мысль, что Лева бредитъ.

— Что-жъ было дѣлать?—продолжалъ онъ.—Записать: незаконнорожденный отъ дѣвицы такой-то? Это было уже слишкомъ! Надо было пріискать родителей. За деньги нашлись какіе-то нищіе, согласившіеся приписать дитя на свое имя. Мы взяли къ нему кормилицу, нашли женщину, бывавшую въ Россіи, и привезли ихъ сюда. Покуда они помѣстились въ гостиницѣ, потомъ найму имъ квартиру. Впрочемъ... что я говорю; потомъ! Придется, вѣроятно, везти ребенка на вѣчную квартиру, на кладбище...

И уже совершенно раздражительно онъ началъ изливаться въ жалобахъ. Что ему дала эта незаконная связь, что она дала Женѣ? Пять мѣсяцевъ счастья? Но какое это было счастье? Краденое, воровское! Ни разу они не смѣли явиться мужемъ и женой въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ, поговорить они не могли спокойно, боясь, что кто-нибудь подслушаетъ. Они пробирались другъ къ другу крадучись, воровски, съ оглядкой. Правда, на первыхъ порахъ они видѣли въ этомъ особую прелесть, какъ школьники, обманывающіе учителей и гувернеровъ. Имъ нравилось цѣловаться въ уголкахъ, на ходу, за спинами другихъ. Но когда Женѣ пришлось стягивать талію корсетомъ, когда ей пришлось скрывать головныя боли, тошноту, боясь позвать доктора, когда...

— Помнишь, тотъ вечеръ, когда послѣднюю каплю отравы влилъ твой отецъ въ эту чашу тайныхъ мукъ?—сказалъ онъ съ горечью.—Я уже тогда былъ такъ настроенъ, что готовъ былъ бѣжать или все открыть матери... первому встрѣчному... всѣмъ и каждому... И вдругъ твой отецъ поднялъ этотъ вопросъ, выяснилъ то, что уже начинало бродить въ моемъ умѣ... Я не знаю, какъ я тогда не сошелъ съ ума... А тамъ, за границей, приходилось лгать, играть роль мужа и жены, бѣгать отъ русскихъ, жить исключительно среди чужихъ и чуждыхъ людей, изыскивать средства для того, чтобы ребенокъ не былъ незаконнымъ, чтобы не было слѣдовъ его рожденія отъ Жени... О, бѣдная, бѣдная Женя, сколько перенесла она изъ-за меня...

Въ двери послышался стукъ.

— Это я, Левушка!—раздался ласковый голосъ Анны Ивановны.

Лева вздрогнулъ.

— Мать!—прошепталъ онъ, измѣняясь въ лицѣ.—Что случилось?

Вошла Анна Ивановна, не дожидаясь отвѣта.

— Пришла посмотрѣть на тебя, шутка ли, сколько времени не видала, а тамъ—народъ...

Она поцѣловала его, взявъ за голову. Я хотѣлъ удалиться.

— Куда ты, Николаша?—спросила она.—Ты-то свой, слава Богу, а тамъ...

Она махнула рукой, садясь въ кресло.

— И хорошо имѣть родныхъ, и не хорошо,—заговорила она.—Тутъ они вертятся, болтаютъ, ну, и весело, а вотъ какъ захочется одной съ своими близкими остаться, такъ ужъ и не знаешь, куда отъ родни дѣваться, сказать: «уходите»—неловко, а сами понять не хотятъ, что надо же матери и поговорить съ дѣтьми, съ тобой, съ Женей, съ Минной...

— Дѣйствительно, у васъ базаръ какой-то, — сказалъ Лева.—Что они всѣ на житье къ намъ переѣхали, что ли? Орда какая-то...

— Попросту живемъ; аристократами не сдѣлались. У тѣхъ вѣдь на все назначенные дни и часы,—пошутила Анна Ивановна:—а къ намъ иди всѣ, сколько влѣзетъ.

И, перемѣняя тонъ, она сказала:

— Ну, да Богъ съ ними! Разсказывай о себѣ, какъ жилъ, что видѣлъ.

Началась пытка для Левы. Лгать, выдумывать, притворяться. Онъ не умѣлъ этого дѣлать. До этой поры ему не было нужды привыкать къ этому. Онъ заговорилъ сбивчиво, смутно. Анна Ивановна между тѣмъ задавала вопросы: отчего онъ похудѣлъ? почему Женя измѣнилась? Я сидѣлъ, какъ на иголкахъ; мнѣ все казалось, что вотъ-вотъ Лева проговорится, разскажетъ все. И помимо моей воли въ моей головѣ мелькала мысль: «и не лучше ли разомъ сказать все? вѣдь все равно все узнается». Я поставилъ себя на его мѣсто. Что сталъ бы дѣлать я, если бы я попалъ въ такое положеніе? По моему лицу скользнула невольная улыбка. Развѣ я могъ бы попасть въ подобное положеніе? Развѣ я былъ способенъ на всѣ эти сомнѣнія и терзанія, изъ которыхъ состояла вся душевная жизнь Левы? И развѣ было что-нибудь похожаго въ моей семейной обстановкѣ на семейную обстановку Левы? Лева между тѣмъ кое-какъ выпутывался изъ допроса. Когда лакей доложилъ, что подаютъ чай, Анна Ивановна встала и пошла въ столовую, поцѣловавъ Леву и сказавъ ему, чтобы онъ шелъ пить чай.

— И эта пытка будетъ длиться не день, не два,—проговорилъ мнѣ Лева, какъ только закрылась дверь за его

матерью.—Будутъ разспрашивать всѣ, каждый поодиночкѣ и всѣ мѣстѣ.

И, передернувъ плечами, онъ проговорилъ:

— Точно, надо вытолкать въ шею весь этотъ сбродъ родни, затвориться отъ всѣхъ...

— Я на твоемъ мѣстѣ просто все сказалъ бы матери,— замѣтилъ я.

— Что ты, что ты!—съ испугомъ воскликнулъ онъ.— Это ее убьетъ! Развѣ она такая женщина, чтобы понять, что я не сдѣлалъ никакого преступленія, что я только жертва закона. У нея свои предразсудки...

— Что-жъ изъ этого? Ну, посердится, поплачетъ, потомъ...

— Ахъ, ты совсѣмъ плохой наблюдатель!—перебилъ онъ меня.—Съ колыбели видишь человѣка и вовсе не понимаешь ее... Убѣди какую-нибудь безграмотную мѣщанку, что земля не на китахъ стоитъ... Объясни, не прослывъ кощунствующимъ человѣкомъ, какой-нибудь странницѣ, что Христосъ былъ жидъ...

Я не далъ ему продолжать и сказалъ:

— Но вѣдь когда-нибудь она узнаетъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, я все это передумалъ. Времени было довольно. Никто теперь не узнаетъ, а послѣ—я всѣхъ родныхъ удалю...

Мы вышли въ столовую, и я разслышалъ голосъ Володи Вощинина, говорившаго Женѣ своимъ обычнымъ пошловатымъ тономъ:

— Вы видите, кузиночка, я тоже похудѣлъ, тоскую по васъ. Дни разлуки казались мнѣ вѣчностью.

— Ахъ, оставь, Володечка!—воскликнула Ольга Дмитріевна. — Развѣ Женя можетъ теперь интересоваться тобой?.. Что ты для нея, бѣдный мой мальчикъ!

— Что ему Гекуба?—продекламировалъ Володя.—Нѣтъ, Женя, я не вѣрю, чтобы вы были такъ безчувственны.

— Володечка, Женѣ нужно богатство...

Женя сидѣла, молчаливая, грустная, уже измученная разспросами, намеками, колкостями, ясно понимающая, что въ воздухѣ носятся подозрѣнія относительно ея.

VIII.

Возвращеніе Левы и Жени внесло въ домъ Шельхеровъ не радость, а уныніе. Анна Ивановна тревожилась, что ея дѣти вернулись «словно другими».—«Лева ходитъ мрачнымъ, Женя точно въ воду опущенная. Что съ ними?»

Старушка приставала къ моему отцу: «Вы поразспросите толкомъ, что съ ними? Чую я, что они больны». Отецъ уклончиво отвѣчалъ, что это просто усталость съ дороги, перемѣна климата, зима стоитъ гнилая, какъ же не хворать. Не находя поддержки въ моемъ отцѣ, Анна Ивановна жаловалась роднымъ и, главнымъ образомъ, Ольгѣ Дмитріевнѣ, какъ самой частой посѣтительницѣ, на то, что Лева и Женя больны,—сама она видитъ, что больны,—а лѣчиться не хотятъ. Охъ ужъ, эта молодежь, все на свои силы, на свою молодость надѣется! Ольга Дмитріевна вздыхала и тутъ же спрашивала: «Куда ѣздятъ Лева и Женя такъ часто? отчего они одни ѣздятъ? съ чего это у Жени красны глаза такъ часто?» Для Анны Ивановны все это были открытія. Сама она ничего не подмѣчала. Ей бросалось въ глаза только то, что они мало ѣдятъ; это былъ для нея вѣрный признакъ ихъ нездоровья. Ольга Дмитріевна злилась въ душѣ на «безтолковую» старуху и прямѣе приступила къ дѣлу, замѣтила наконецъ, что неловко, что Лева все съ Женей вдвоемъ: «Женя ужъ невѣста, Богъ знаетъ, что люди могутъ подумать». Это ужъ были не намеки, а прямо подозрѣніе. Самый безтолковый человѣкъ могъ понять, о чемъ тутъ говорилось...

Анна Иванова пришла въ ужасъ, такъ чудовищно показалось ей это: мало того, что она признавала всякую связь, чѣмъ бы ее ни оправдывали, развратомъ, а тутъ еще связь брата и сестры, двоюродныхъ, правда, но «все равно, что родныхъ», какъ выражалась она. Да за это и люди опозорить могутъ, и на томъ свѣтѣ муки вѣчныя ждутъ. Никто и никогда не могъ бы въ-серьезъ сказать что-нибудь «о нравственныхъ принципахъ» или «о религіозныхъ воззрѣніяхъ» Анны Ивановны. Всѣ знали, что она живетъ въ свое удовольствіе, любитъ заниматься кулинарнымъ искусствомъ, души не чаетъ въ Левѣ—и только. Правда, никогда она не развратничала, была примѣрной женой, но что же изъ того—можетъ-быть, случая не было; можетъ-быть, просто лѣнь было затѣвать незаконныя связи. Это была если и нравственность, то чисто отрицательная, сохраненная за недостаткомъ искушеній или вслѣдствіе апатичнаго темперамента. О религіозности Анны Ивановны могли возникнуть еще бо́льшія сомнѣнія; она теплила лампаду въ своей спальнѣ, но безпрекословно согласилась съ мужемъ, что не только лампады не идутъ къ новой обстановкѣ другихъ комнатъ, но даже и образа большихъ

размѣровъ; божественные разсказы она, конечно, любила, но одинаково слушала ихъ отъ странницъ, отъ русскаго попа и отъ Вурма, съ одинаковымъ удобствомъ дремля подъ каждый изъ нихъ; въ церковь она всегда собиралась ѣхать, какъ только наставалъ праздникъ, и, вѣроятно, ѣздила бы часто, если бы одинъ разъ не мѣшалъ ревматизмъ въ ногахъ, другой—трепетаніе въ груди, третій—затѣянные къ завтраку блины. И вдругъ всплыло наружу, что за этимъ кажущимся нравственнымъ и религіознымъ индифферентизмомъ, какъ столбы, стояли незыблемо извѣстныя понятія: дѣвушка или женщина, сошедшаяся безъ брака съ мужчиной,—развратница; сошедшіеся или женившіеся въ недозволенной степени родства люди—грѣшники, заслуживающіе кару Божію; и никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ, никакихъ оправданій не было и не могло быть тутъ. Если бы порыться поглубже въ душѣ Анны Ивановны, вы бы нашли въ ней такіе же приговоры, напримѣръ, вору: съ голоду или не съ голоду онъ укралъ—онъ все же воръ и его нужно наказать; при этомъ она вовсе не считала воромъ торговца, берущаго втридорога за товаръ, хозяина, платящаго грошъ за большую работу. Всѣ подобныя убѣжденія не были чѣмъ-нибудь навѣяннымъ съ вѣтру, вычитаннымъ случайно изъ той или другой книжки, а были чѣмъ-то наслѣдственнымъ, прирожденнымъ, всосаннымъ съ молокомъ матери. Но нужно было вовсе не знать Анну Ивановну, чтобы вообразить, что она повѣритъ подозрѣніямъ на Леву и Женю, или станетъ сама подозрѣвать ихъ. Она довольно сдержанно замѣтила Ольгѣ Дмитріевнѣ: «Плетешь что-то ты, Ольга!» и только. Она даже не особенно разсердилась на нее въ первую минуту, а почувствовала къ ней что-то въ родѣ омерзѣнія. Не умѣя ничего скрывать, она тотчасъ же сообщила свой разговоръ съ нею Миннушкѣ. Минна ужаснулась.

— Это все потому, что Женя сирота и ей завидуютъ,—сообразила Минна, и на ея выцвѣтшіе и блѣдные глаза навернулись слезы.—Сироту, ужъ извѣстно, всѣ притѣсняютъ.

Миннушка это знала изъ своихъ чувствительныхъ книгъ.

— Ну да, ну да,—радостно согласилась Анна Ивановна.—Я и говорить Женѣ не стану, чтобы ея не огорчать. Чистый это ребенокъ, а что выдумываютъ на него. Господи, что за завистники есть на свѣтѣ!... А Левѣ я скажу, Лева мужчина. Онъ отбреетъ Ольгу. Непремѣнно отбреетъ!

Миннушка была того же мнѣнія.

— Какъ тихо, мирно мы жили прежде. Никогда ничего такого не было... Грѣхъ Ольгѣ Дмитріевнѣ вносить раздоръ въ нашу семью,—сентиментально сказала она.

— Ну, какой же раздоръ? Что это ты, Миннушка, выдумала! Развѣ я такъ и повѣрила злой бабенкѣ? Извѣстно, завистница и злючка. Ну, да поговоритъ и замолчитъ,—рѣшила Анна Ивановна.—А Леву предупрежу, непремѣнно предупрежу. Онъ поговоритъ съ ней, такъ язычокъ-то она прикуситъ.

Тѣмъ же добродушнымъ тономъ, хотя съ нѣкоторыми предосторожностями, она передала эти толки Левѣ, приступивъ къ разговору съ оговорками: «ты не волнуйся, не сердись, все это пустяки, только, конечно, ты долженъ это знать». Одни эти предостереженія могли испугать. Лицо Левы покрылось пятнами, онъ чуть не упалъ отъ неожиданнаго потрясенія. Но Анна Ивановна, испуганная, раскаивающаяся, что начала этотъ разговоръ, тотчасъ же стала ему объяснять, что волноваться особенно нечего, что этакой мерзости никто не повѣритъ; никогда у нихъ ничего подобнаго въ роду не было, всѣ, и покойный батюшка, и покойная матушка, жили благочестиво и по закону,—и она начала распространяться о томъ, что это только Ольгѣ Дмитріевнѣ могло придти въ голову. Давно она, Анна Ивановна, подозрѣваетъ, что сама-то Ольга Дмитріевна развратничаетъ. Ужъ что-то очень она умильно смотритъ на своихъ горлодеровъ, въ ротъ имъ влѣзть хочетъ, какъ они распоются, соловьи-то ея, недаромъ же подкрашивается, прельщать на старости лѣтъ мальчишекъ вздумала. По себѣ и другихъ судитъ.

— И все изъ зависти плететъ,—продолжала Анна Ивановна.—Какъ же, Женю за дочь я считаю. Нельзя ничего на нее и понаушничать. Ну, вотъ и придумала исторію, чтобы не просто вооружить, а заставить выгнать дѣвочку. Какъ же, сына моего родного съ пути совратила! Чего ужъ хуже! И не просто развратничаетъ, а и людскіе, и Божескіе законы ни во что ставитъ... Господи, и чего людямъ надо! Вѣдь ужъ всѣмъ, всѣмъ имъ даю, точно голоднымъ собакамъ подачки бросаю,—все мало. Все хотятъ себѣ взять!

— Вы... вы и Женѣ это разсказали?—спросилъ дрожащимъ голосомъ Лева, подавляя свое волненіе.

— Что ты, что ты, голубчикъ!—почти съ испугомъ воскликнула Анна Ивановна, замахавъ рукою.—Я и на мысли-

то такія не стану наводить ребенка. Во снѣ-то ничто такое чистому человѣку не пригрезится, надо быть Ольгой, чтобы мерзость такую надумать... И съ чего я Женю, голубку, буду тревожить? Да и ты не волнуйся! Все это пустяки! Не рада я, что и тебѣ-то сказала!.. А только Ольгу я спроважу... это ужъ какъ Богъ святъ!..

— Всѣхъ этихъ родственниковъ надо выпроводить,— рѣзко замѣтилъ Лева.—Вышвырнуть, какъ соръ, нужно!..

— Да, ужъ всѣ хороши!.. И боюсь я, не намекнули ли они чего Женѣ-то самой? Можетъ-быть, она отъ этого и грустная у насъ все такая.

И, точно озаренная внезапнымъ свѣтомъ, она воскликнула:

— Да, да, это вѣрно! А я-то думала, что съ ней, съ чего она груститъ... А оно вотъ что!... Еще бы, теперь все понятно! Какъ тутъ защищаться станешь? Въ смертномъ грѣхѣ обвиняютъ, что и людямъ, и Богу въ глаза не посмотришь... Ужъ я, на что спокойный человѣкъ, а и то все во мнѣ перевернулось отъ этой исторіи. Трепетаніе опять началось...

Лева ходилъ въ волненіи взадъ и впередъ по гостиной, а Анна Ивановна продолжала развивать свои взгляды на эту «исторію», точно стараясь вслухъ уяснить себѣ самой все ея значеніе.

— И того не подумали, что я женщина сырая, что со мной ударъ могъ сдѣлаться. Еще хорошо, что я сразу-то всего не поняла, не сообразила, точно туманъ какой въ глазахъ всталъ. Только и сказала ей: «плетешь что-то ты, Ольга», да такъ и отпустила ее, даже безъ сердцовъ, точно такъ она сдуру что-то сболтнула, а потомъ ужъ все это и стало мнѣ ясно и поднялось все во мнѣ... дальше да больше, дальше да больше... А пойми я вдругъ, повѣрь,—да, право, душу отдала бы Богу! Или, можетъ-быть, того ей и хотѣлось! Да пользы-то имъ что отъ моей смерти! Слава Богу, ты наслѣдникъ всего, а не они. Женишься еще, дѣти будутъ, тогда...

Лева съ горечью перебилъ ее:

— Хорошъ женихъ, одной ногой въ гробу стою!

Анна Ивановна чуть не вскрикнула отъ испуга и съ широко открытыми глазами, тяжело дыша, замерла на мѣстѣ.

— Лева, Лева, что ты! —проговорила она, наконецъ, собравшись съ силами.—Христосъ съ тобой! Съ чего ты это взялъ! Охъ, точно подкосилъ ты меня этимъ словомъ...

И съ чего!.. Слабенькій ты у меня, такъ вѣдь ты и всегда такимъ былъ. Это ростъ твой такой тяжелый. Вотъ войдешь въ лѣта—возмужаешь, окрѣпнешь. Охъ, что это тебѣ въ голову пришло! Родной ты мой!

Она съ трудомъ поднялась съ мѣста, едва стоя на дрожащихъ ногахъ, и обняла сына.

— Огорчилъ ты меня, Лева, огорчилъ этимъ словомъ!..

Она тихо заплакала, прижимая къ себѣ его голову.

Онъ никогда не видалъ ее такою взволнованною, такою испуганною. Въ ея дрогнувшемъ голосѣ послышался ему упрекъ. Лаская его, она тревожно разспрашивала, не хуже ли ему, не захворалъ ли онъ, не послать ли за Константиномъ Ѳедоровичемъ. Все ея существо, каждое ея слово было проникнуто материнской любовью и заботливостью. Она не могла собраться съ мыслями, придти въ себя. И все это отъ этой исторіи, отъ этихъ каверзъ. Раздражили онѣ Леву, навели его на мрачныя мысли. Никогда, никогда до этой поры не сказалъ онъ ей ни слова о близости своей смерти,—и вдругъ теперь говоритъ, что стоитъ одной ногой въ могилѣ! Да, на что же ей самой послѣ этого жизнь? Для кого она жила и живетъ, какъ не для него?.. Вотъ роденька-то до чего довела! Нѣтъ, надо погнать всю эту орду родни. Вороны проклятые, точно къ падали, къ богатству слетаются! Разорвать живыхъ людей изъ-за денегъ готовы...

Анна Ивановна не вдругъ успокоилась, и ея мягкое, доброе сердце исполнилось еще большею любовью къ Левѣ и Женѣ, къ этимъ «обиженнымъ» дѣтямъ. Она смотрѣла на нихъ теперь сквозь слезы и то и дѣло слышались эпитеты «голубчикъ ты мой; Левушка», «голубка ты моя, Женюшка». Покрывая поцѣлуями ихъ лица, разспрашивая ихъ, не надо ли имъ чего, бѣгая съ одышкой въ груди, подобравъ тяжелое шелковое платье, на кухню, чтобы наблюсти за приготовленіемъ самыхъ любимыхъ блюдъ Левы и Жени, Анна Ивановна была какъ бы охвачена страхомъ, что вотъ-вотъ она потеряетъ и Леву, и Женю. Господи, что же тогда съ нею будетъ? Никогда еще ея материнская любовь къ нимъ не проявлялась въ такомъ трогательномъ видѣ. Старухѣ хотѣлось чуть не на рукахъ носить, чуть не на колѣни сажать ея «дѣтей». И въ то же время потихоньку она толковала съ Миннушкой и съ моей матерью, какъ обидѣли ея Женю и Леву. Женя это чуетъ, ей, вѣрно, намекнули злодѣи, вотъ почему она и ходитъ такая печальная;

извѣстно, чистый ребенокъ, огорчила ее эта грязная выдумка. Да ужъ что она, когда самъ Лева такъ опечалился, что—Господи, до чего злые люди могутъ довести!—о смерти заговорилъ, о своей смерти! Никогда и не думалъ объ этомъ, а ужъ какъ иногда хворалъ,—теперь же вдругъ заговорилъ объ этомъ! Миннушка вздыхала и плакала вмѣстѣ съ теткой, замѣчая при этомъ въ утѣшеніе, что Господь изъ любви къ Женѣ и Левѣ послалъ это испытаніе имъ, такъ какъ Богъ всегда испытываетъ тѣхъ, кого любитъ; праведники потому и страдали всю жизнь, что ихъ Богъ любитъ. Моя мать, выслушивая Анну Ивановну, осторожно и сдержанно совѣтовала ей забыть всю эту исторію, не говорить о ней, такъ какъ въ дѣлѣ сплетенъ единственное спасеніе—не обращать на нихъ вниманія: сплетня, какъ снѣжный комъ, чѣмъ ее больше подхватываютъ, чѣмъ дальше катятъ, тѣмъ сильнѣе она растетъ. Въ то же время Анна Ивановна считала нужнымъ развлекать своихъ дѣтей. Прежде она ѣздила съ ними въ театры, потому только, что нельзя же было имъ однимъ туда ѣздить, «безъ старшихъ»; теперь она тащила ихъ за собою, такъ какъ сами они не поѣхали бы, можетъ-быть; съ той же цѣлью тащила она ихъ въ гости и сзывала гостей въ свой домъ. Въ ея разговорахъ стали прорываться похвалы тѣмъ или другимъ барышнямъ и молодымъ людямъ и было не трудно угадать, что она безсознательно, можетъ-быть, подыскиваетъ невѣстъ и жениховъ для Левы и Жени...

Что испытывали Лева и Женя въ это время—это трудно передать. Имъ, можетъ-быть, было бы легче, если бы Анна Ивановна повѣрила намекамъ, если бы все объяснилось разомъ. Какъ знать, можетъ-быть, она и простила бы, думалось имъ. Да, тогда, можетъ-быть, простила бы, а теперь? Нѣтъ, теперь она не простила бы! Теперь это ее убило бы. Наконецъ, какъ сказать ей это самимъ, когда она уже говорила, что это ее убило бы, что она изгнала бы Женю? И если бы она была менѣе ласкова съ ними, если бы она не видѣла въ нихъ «обиженныхъ» дѣтей. Чтобы успокоить ее, нужно притворяться веселыми, счастливыми. А какъ притворяться, когда ихъ волнуетъ вдобавокъ ко всему положеніе тщедушнаго ребенка, живущаго на сторонѣ, безъ ихъ призора. Видѣть его даже на минуту имъ удается урывками. Хотя бы онъ умеръ! Они желали этого и пугались этого желанія, какъ мысли о дѣтоубійствѣ, точно ребенокъ могъ умереть отъ ихъ желанія ему смерти. Я не зналъ,

какъ все это дѣйствовало на Женю, но Лева впалъ опять въ свое мистическое настроеніе. Это наказаніе Божіе за грѣхъ! Но что значатъ земныя мученія передъ загробными мукáми? А эти мукы ждутъ впереди грѣшниковъ. Отъ этихъ мукъ тамъ нѣтъ избавленія; онѣ продолжаются вѣчно. Чѣмъ искупить этотъ грѣхъ, чтобы не мучиться и на томъ свѣтѣ? Дни его, Левы, сочтены, и онъ долженъ торопиться загладить свой грѣхъ. Загладить? Это легко сказать, но какъ это сдѣлать?.. Какъ тяжело мучили его эти вопросы, это я понялъ изъ его разговоровъ о будущемъ, оставшись какъ-то съ нимъ наединѣ послѣ этихъ событій въ его жизни.

— Да, вамъ трудно, я думаю, скрывать ваши отношенія, и волей-неволей приходится подумать о второмъ ребенкѣ,— мелькомъ замѣтилъ я.

Онъ остановился передо мною въ недоумѣніи, смотря на меня почти тупымъ взглядомъ, точно ничего не понимая.

— Какія отношенія? Какой ребенокъ?—глухо спросилъ онъ.—За кого ты меня считаешь? Я могъ сдѣлать грѣхъ, но повторить его—я еще не совсѣмъ подлецъ, не совсѣмъ погибшій грѣшникъ.

— Вы же любите другъ друга, и вамъ...—началъ я.

Онъ перебилъ меня уже раздражительно.

— Тутъ не можетъ быть рѣчи о томъ, любимъ мы или не любимъ другъ друга! Да, мы любимъ другъ друга. Любимъ! Если бы мы разлюбили одинъ другого, намъ было бы легче. Но это-то и есть кара Божія; Богъ далъ намъ нести этотъ крестъ здѣсь за наказаніе.

Я вспылилъ.

— Богъ! Богъ! Вы съ Вурмомъ такъ говорите о Богѣ, точно ежедневно бесѣдуете съ Нимъ! Сами себя произвели въ повѣренные Его намѣреній и опредѣленій, господа духовидцы и пророки. Кощунство это какое-то! И какъ не стыдно приплетать Бога ко всей этой любовной исторіи, къ этой житейской грязи!.. Ты бы, вѣрно, женился на Женѣ, если бы вы были протестанты; теперь же, вступивъ съ ней въ связь, ты сдѣлалъ противузаконный поступокъ, вотъ и все. Но дѣло не въ томъ...

Онъ хотѣлъ перебить меня, но я остановилъ его.

— Погоди, дай сказать! Ты со своими возврѣніями, расходясь съ ней, порывая свои отношенія съ ней, можешь вообразить, что ты искупаешь здѣсь свои грѣхи и, можетъ-быть, надѣешься за это попасть прямо въ рай. Тебѣ вѣдь

только этого и надо... Но каково ей? Ты спросилъ ли ее объ этомъ.

Его лицо исказилось нехорошей, жесткой улыбкой.

— А! ты думаешь, что Женя такая же язычница, какъ ты?—съ иронией сказалъ онъ.—Я давно замѣчалъ, что у тебя нѣтъ ничего святого... Богъ, религія... что тебѣ до всего этого!.. Ты думаешь и Женя такая же? Ты вѣдь когда-то болталъ съ ней о религіи со своей точки зрѣнія. Ты думалъ, она заразилась твоими взглядами. Къ счастію, ты ошибаешься. Женя вполнѣ уразумѣла весь ужасъ нашего поступка.

— То-есть ты погубилъ ее и еще терзаешь ее своими мистическими ужасами? — рѣзко сказалъ я.—Недостаетъ только, чтобы она потеряла разсудокъ отъ всей этой исторіи.

— Да вѣдь для тебя разсудокъ все,—съ горечью воскликнулъ Лева.—Лучше погубить душу, лишь бы его сохранить.

— Что это ты словами Вурма говоришь?—раздражился я.—Ужъ ты и его не посвятилъ ли въ свою тайну?

— Ну, а если бы и такъ?—уклончиво проговорилъ Лева.

— Ну, такъ я вотъ что скажу. Ты терзаешься, совершивъ грѣхъ съ точки зрѣнія православія, и въ то же время не боишься сдѣлаться вполнѣ отщепенцемъ православія, примыкая къ какой-то непризнанной сектѣ, ища защиты у какого-то самозваннаго пророка. Гдѣ у тебя твоя логика, гдѣ трезвый взглядъ на вещи? Ужъ не обѣщалъ ли тебѣ Вурмъ мѣстечка въ царствіи небесномъ за отступничество отъ православія и поступленіе подъ его протекцію?

Лева широко открылъ глаза, точно я высказалъ какую-то совершенно новую для него мысль, никогда не приходившую ему въ голову и страшно поразившую его теперь. Онъ въ волненіи заходилъ по комнатѣ, хватаясь за свою пылающую голову. Нѣсколько минутъ длилось молчаніе.

— Нѣтъ, нѣтъ, оставимъ этотъ разговоръ,—наконецъ, заговорилъ онъ тревожно, съ какимъ-то отчаяніемъ махнувъ рукою.—Мы никогда не поймемъ другъ друга. Ты можешь внести въ душу только разладъ, вмѣсто надежды и успокоенія... Ты ни на минуту не останавливался на тѣхъ вопросахъ, надъ которыми глубоко задумывался я.

И, сухо оборвавъ разговоръ, онъ сдѣлалъ мнѣ нѣсколько незначительныхъ вопросовъ, не интересовавшихъ ни его, ни меня, спросилъ что-то о театрѣ, кажется, даже замѣтилъ, что нынче стоитъ хорошая погода... Между нами вдругъ что-то оборвалось, воздвиглась какая-то стѣна. Меня болѣе

всего поразило то, что во мнѣ не было жалости къ Левѣ, не было сожалѣнія о порвавшейся дружбѣ, не было желанія сдѣлать какой-нибудь шагъ для устраненія взаимной холодности. Онъ сталъ вдругъ для меня чужимъ человѣкомъ. Уходя отъ него, я невольно задумался надъ вопросомъ, какъ это могло случиться такъ внезапно? Не былъ ли онъ и всегда чужимъ для меня? Волновали ли меня его тревоги и мученія, какъ волновали меня какія-нибудь невзгоды и лишенія выбившихся изъ силъ тружениковъ? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! Я выслушивалъ его сѣтованія и только; когда же жаловались тѣ люди—во мнѣ все переворачивалось вверхъ дномъ, являлось озлобленіе на притѣснителей и грабителей, закипало страстное желаніе помочь, спасти, утѣшить. Смотря на его судьбу, я оставался простымъ любопытнымъ, заинтересованнымъ зрителемъ и даже—теперь я ясно понималъ это—становился тѣмъ болѣе любопытнымъ, чѣмъ драматичнѣе были перипетіи этой судьбы; смотря на участь бѣдняковъ, я рвался только къ одному—принять участіе въ этой драмѣ, вмѣшаться въ эту драму, превратиться изъ зрителя въ дѣятеля, страстнаго, горячаго, съ жаждой мщенія за страдающихъ. Теперь мнѣ припомнилось, что и самъ Лева какъ бы угадывалъ во мнѣ эти чувства, это направленіе. Онъ часто замѣчалъ мнѣ: «какой у тебя узкій кругозоръ»; «что значатъ эти единичныя явленія передъ міровыми вопросами»; «ты весь растратишься на мелочи, если будешь волноваться изъ-за каждаго единичнаго факта несчастій и несправедливостей». Иногда онъ просто раздражалъ меня, когда я просилъ у него помощи для какой-нибудь голодающей семьи, и онъ, давая ее равнодушно, не глядя даже, сколько даетъ, много или мало, замѣчалъ мнѣ: «не объ Иванѣ, мой другъ, надо заботиться, а объ Иванахъ: оплакивать каждаго въ отдѣльности—слезъ недостанетъ». Вспоминая теперь объ этихъ мелочахъ, я въ недоумѣніи спрашивалъ себя: «что же насъ связывало?» Привычка. Этотъ деспотъ, привязывающій нерѣдко людей къ однимъ и тѣмъ же предметамъ, мѣстамъ, личностямъ, давно уже смѣнилъ въ насъ обоихъ болѣе теплыя чувства дѣтской привязанности, юношеской дружбы. Даже сознавъ все это, я понималъ, что насъ еще долго будетъ тянуть другъ къ другу, хотя намъ уже не о чемъ было говорить другъ съ другомъ...

IX.

На житейской сценѣ, какъ и на театральныхъ подмост-

кахъ, бываютъ драмы, можетъ-быть, и глубокія, и потрясающія, но однообразныя по своей сущности, не обѣщающія съ самаго начала ничего новаго въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи. Какъ бы ни были талантливы ихъ исполнители, какъ бы ни были сильны въ отдѣльности ихъ эпизоды, зритель, въ концѣ-концовъ, чувствуетъ утомленіе и, не дождавшись ихъ окончанія, уходитъ прочь. И на что ему ждать ихъ конца, когда этотъ конецъ предугаданъ впередъ? Такою драмою была жизнь Левы вообще. Я могъ присматриваться къ ней, покуда я еще могъ обманываться насчетъ нашихъ отношеній другъ къ другу; но разъ явилось сознаніе, что мы чужіе, драма этой жизни стала мнѣ казаться просто скучною. Мой отецъ послѣ посѣщенія семьи Шельхеровъ нерѣдко говаривалъ: «какого рожна имъ еще нужно?» «съ жиру бѣсятся»; «проморить бы ихъ на морозѣ голодомъ, заставить бы поработать до седьмого поту, стряхнули бы съ себя дурь»; «сладкопѣвцы и больше ничего». Прежде меня немного смущали и сердили эти замѣчанія объ этихъ «добрыхъ людяхъ». Теперь я задумывался надъ этими словами и склонялся на сторону отца. По привычкѣ меня еще тянуло иногда къ этимъ людямъ, но, направляясь къ нимъ, я порою задавалъ себѣ неожиданно вопросъ: «да что мнѣ тамъ дѣлать?» и сворачивалъ съ дороги. Встрѣчи становились все рѣже, все короче.

Въ домѣ же Шельхеровъ все шло по-старому, даже какъ будто все пошло ровнѣе. Мелькомъ я узналъ, что ребенокъ Левы умеръ, и, вмѣсто слезъ и жалобъ, услышалъ отъ Левы:

— Господь прекратилъ его страданія и избавилъ отъ гибели!

Въ тонѣ этой фразы было что-то сухое, черствое, бездушное. Меня просто покоробило отъ нея. Мнѣ показалось, что Лева сказалъ бы то же самое и тѣмъ же тономъ, если бы ему принесли вѣсть о гибели всего міра. Для него уже не существовало ничего, кромѣ его собственнаго я, которое нужно было спасти отъ загробныхъ мукъ...

Однажды я узналъ отъ отца, что Лева захворалъ. «Это, кажется, смерть»,—коротко сказалъ отецъ. Я пошелъ къ Левѣ и засталъ у его постели Вурма. Вурмъ, не глядя на меня, съ тяжелымъ вздохомъ поднялся съ мѣста, точно праведникъ, удаляющійся при приближеніи искусителя. Я не безъ ненависти взглянулъ на эту сухую, длинную фигуру съ набожнымъ лицомъ, съ поднявшимся на мгновеніе къ

небу и снова потупившимся взоромъ. Лева встревожился и съ сожалѣніемъ сказалъ:

— Рейнгольдъ Карловичъ, вы уже уходите!

— Да. Я еще зайду въ другое время!—скромно отвѣтилъ Вурмъ.

Я мелькомъ взглянулъ на него и сказалъ:

— Я вамъ не мѣшаю! Я зашелъ только взглянуть на Леву и сейчасъ ухожу...

Я пожалъ руку больного, простился съ нимъ и вышелъ. Вурмъ присѣлъ снова къ постели.

Въ гостиной меня встрѣтила Анна Ивановна, опечаленная, въ слезахъ. Она засыпала меня вопросами:—ну, что? Какъ ты его нашелъ? Что Константинъ Ѳедоровичъ говоритъ?

— Отецъ совѣтовалъ вамъ созвать консиліумъ,—замѣтилъ я.

Она безнадежно махнула рукой.

— Лева и твоего отца едва допустилъ. Не хочетъ лѣчиться, ни за что не хочетъ!

— Что же онъ на Вурма, что ли, надѣется?

— Ахъ, ужъ и не говори ты мнѣ! Я совсѣмъ голову потеряла.

И она начала мнѣ жаловаться. Лева въ послѣднее время все о смерти говоритъ. Ну, значитъ, нездоровъ и надо доктора позвать. Такъ нѣтъ, не хочетъ. Что же, развѣ онъ не понимаетъ, что это убиваетъ и ее, мать. Хоть бы ее-то пожалѣлъ! Такъ нѣтъ, точно замерло все въ немъ. Охъ, дурной это знакъ! Это у людей часто передъ смертью бываетъ. Все опостылѣетъ, все чужимъ станетъ. Вмѣсто доктора, онъ зоветъ Вурма. Что-жъ Рейнгольдъ Карловичъ свой человѣкъ, она сама любитъ иногда послушать, когда онъ о божественномъ говоритъ, но все же—зачѣмъ его звать каждый день? У него своя вѣра, кто его знаетъ какая. Какъ ни какъ, а все же еретикъ онъ. Ужъ не то, что не православный, а даже лютеране и тѣ еретикомъ его считаютъ. Самъ себя въ пророки произвелъ. Чего онъ натолкуетъ больному человѣку. Ну, хочется Левѣ о божественномъ въ болѣзни послушать—позови священника. А то, храни Господи, умретъ еще такъ-то въ бесѣдахъ съ еретикомъ. Вѣдь ужъ что ни говори, а Рейнгольдъ Карловичъ еретикъ, самозванный пророкъ! Здоровый человѣкъ для развлеченія можетъ его послушать, а на смертномъ одрѣ тоже о душѣ нужно подумать, всякихъ бредней нечего слушать. И какія слова говоритъ Лева!

— Я ему замѣтила о священникѣ, а онъ: «что мнѣ священники, что я имъ? Прежде мнѣ ничего не дали и теперь ничего не дадутъ». Да что же они могли ему дать? И чего у него недоставало? Это онъ, вѣрно, уже въ бреду говоритъ. И не поймешь, что!

Она опять стала жаловаться, что Вурмъ сидитъ все у Левы. Вотъ вѣдь сидитъ онъ цѣлые часы наединѣ съ Левой, а свои, домашніе, бродятъ, какъ мухи осенью по комнатамъ, не зная, что съ Левой дѣлается...

— Охъ, ужъ не во-время мы его привадили къ дому... Какъ здоровы да веселы, оно и забавно послушать его, а теперь онъ—точно бревно на дорогѣ...

Потомъ она стала жаловаться и на то, что и ея здоровье расшаталось во время болѣзни Левы. Она вѣдь одна ходитъ за нимъ. Бѣдная Миннушка слаба, гдѣ же ей, убогому человѣку, ходить за больнымъ.

— А Женя?—сорвалось у меня съ языка.

Анна Ивановна махнула рукой.

— Недовольна я Женюшей, — сказала она. — Помнишь ты, толки-то позапрошлой зимой были? Ну, съ тѣхъ поръ она и Лева точно чужіе, стали сторониться другъ отъ друга. Пробовала я имъ ужъ говорить, что дурятъ они, что никто ничего не подумаетъ о нихъ дурного. Ну, да это ихъ дѣло. Пока Лева былъ здоровъ, оно и ничего было. А теперь...

Она немного нахмурилась.

— Это ужъ вѣдь просто какое-то безсердечіе со стороны Жени. Братъ лежитъ боленъ, а она не заглянетъ къ нему. Точно злится на него, что про нее шли эти толки. Такъ развѣ Лева былъ виноватъ?

— Можетъ-быть, Лева самъ не желаетъ,—сказалъ я.

— Голубчикъ ты мой, что ты говоришь! Ну, не желаетъ онъ, такъ развѣ любящая сестра не сумѣла бы сдѣлать такъ, что онъ допустилъ бы ее ухаживать за нимъ? Нѣтъ, я уже и не знаю, что съ Женюшей сдѣлалось... Ты видалъ ли ее? Взгляни! Исхудала, глаза большіе стали, смотритъ, точно что потеряла. Спросишь что, отвѣтитъ: «а?» а сама точно отъ сна ее разбудили. Улыбнется, такъ я ужъ не знаю, что это, точно судорогами ей ротъ раздергиваетъ...

Анна Ивановна глубоко задумалась. Я удивился тому, что Анна Ивановна начала дѣлать наблюденія въ окружающей ее средѣ, стала подмѣчать новыя черты въ окружающихъ ее лицахъ.

— Да, видно, чужое чужимъ и останется! — со вздохомъ сказала Анна Ивановна.

— Вы это насчетъ чего?

— Да вотъ о Женюшѣ. Извѣстно, мнѣ не дочь, Левѣ не родная сестра.

Въ тонѣ Анны Ивановны я впервые подмѣтилъ какую-то нотку вражды.

— Или ужъ и въ самомъ дѣлѣ женить его хотѣла на себѣ, да и разсердилась, что не удалось.

— Анна Ивановна, что вы! — воскликнулъ я почти съ испугомъ.

Она неожиданно расплакалась.

— Молодъ ты, Николаша, не знаешь жизни! Чего не бываетъ на свѣтѣ... Да и мать я, голубчикъ, чего-чего не приходитъ въ голову въ этакомъ-то горѣ... Иногда жаль Женюшу, а иногда... точно на врага я на нее смотрю... Брата бросила, въ этакомъ-то положеніи бросила!.. Гдѣ же сердце у нея?..

— Да вы бы поговорили съ Женей откровенно! Не хотите ли, чтобы я поговорилъ съ ней?—спросилъ я.

— Поговори. Только насильно милъ не будешь!—отвѣтила Анна Ивановна.—Нѣтъ, дурное у нея сердце, дурное! Теперь я это вижу, сама вижу!..

Я прошелъ къ Женѣ. Я ее не видалъ давно и былъ пораженъ происшедшей съ ней перемѣной. Анна Ивановна вѣрно подмѣтила выраженіе ея лица, растерянное, недоумѣвающее, тупое. Казалось, ея мозгъ не могъ осилить происходившаго въ немъ броженія. Это былъ мозгъ ребенка, которому нежданно-негаданно задали работу, бывшую не по силамъ даже иному взрослому и развитому человѣку. Шаловливому и рѣзвому ребенку вдругъ сказали, что онъ великій грѣшникъ, что его ждутъ страшныя мукі и здѣсь, и тамъ. Тутъ было отъ чего растеряться. Я заговорилъ съ Женей мягко, дружески. Съ первыхъ же словъ она заплакала по-дѣтски.

— Не велѣлъ, не велѣлъ ходить!—отвѣчала она на всѣ мои увѣщанія.

— Да ты растолкуй, что это нужно ради Анны Ивановны, что тебѣ самой неловко, что это опять можетъ возбудить подозрѣніе. Или тебѣ самой не тяжело?

— Господи! Да я же его люблю! — воскликнула она, рыдая.—Ты пойми, что я не могу разлюбить его! Онъ все про адъ, про мукі вѣчныя говоритъ, а я...

У нея оборвался голосъ отъ рыданій.

— Я... жду одного ласковаго взгляда, одного привѣтливаго слова!.. А онъ... онъ говоритъ, что это демонъ-искуситель во мнѣ...

И изъ ея устъ полились мучительныя признанія. Не день, не два терзалъ Лева и себя, и ее этими толками о ихъ паденіи, о ихъ грѣхѣ, объ ожидающихъ ихъ наказаніяхъ. Когда ей нужно было ласковое слово, утѣшеніе, она бросалась къ нему, а онъ сурово отталкивалъ ее, говорилъ, что ей мало, вѣрно, одного грѣха, что ей хочется вѣчной гибели. А что-жъ ей дѣлать, если онъ одинъ и могъ дать ей утѣшеніе, если она не можетъ разлюбить его? И во время этихъ мучительныхъ признаній, ея глаза смотрѣли растерянно, съ недоумѣніемъ, какъ бы спрашивая меня: гдѣ же исходъ? неужели спасенія нѣтъ? Неужели ей такъ и суждено страдать и здѣсь, и тамъ?

Я, какъ умѣлъ, старался успокоить ее.

Я ушелъ отъ нея съ тяжелымъ чувствомъ. Въ то же время я былъ убѣжденъ, что мои слова не остались безъ вліянія на нее. Я не ошибся въ этомъ, но я ошибся въ результатахъ моихъ увѣщаній. Если бы я могъ предвидѣть эти результаты, я никогда не вмѣшался бы въ это дѣло...

Прошло не мало дней съ той поры, какъ я узналъ всѣ мелочи сценъ, происшедшихъ послѣ моего посѣщенія Шельхеровъ, а мнѣ и теперь тяжело разсказывать объ этомъ.

Женя послѣ моего ухода не вдругъ собралась зайти къ Левѣ. Но все же собралась. Былъ уже вечеръ, когда она вошла къ нему. Онъ лежалъ на спинѣ и, не поворачивая головы, спросилъ:

— Кто тутъ?

— Я, Лева,—тихо отвѣтила Женя.

— Ты? ты? опять? — воскликнулъ онъ съ горечью.

Она быстро подошла къ его постели, опустилась на колѣни и въ слезахъ прошептала:

— Лева, я не могу... Пойми ты, что я страдаю, не видя тебя... Ты боленъ, а я не вижу тебя, не знаю, лучше ли тебѣ или хуже, не смѣю помочь тебѣ... Неужели я стала тебѣ совсѣмъ чужою? Мы мужъ и жена передъ Богомъ...

И все, что наболѣло въ ея душѣ, вылилось въ страстныхъ, отрывочныхъ фразахъ. Это были не упреки взрослаго человѣка, а лепетъ огорченнаго, обиженнаго ребенка. Когда-то этотъ ребенокъ былъ для Левы всѣмъ—свѣтомъ, радостью, жизнью. Это чувство никогда не умирало въ душѣ Левы:

онъ только подавлялъ его, умерщвлялъ, чтобы не лишиться загробнаго блаженства. Теперь этотъ нѣжный голосъ, эти горькія слезы, эти дѣтскія жалобы растопили ледъ. У Левы потемнѣло въ глазахъ, у него закружилась голова. Страсть—страсть чахоточнаго человѣка, у котораго, по его выраженію, все горѣло въ груди, — страсть, долго подавляемая страшными усиліями, застращиваніемъ себя адомъ, проснулась, прорвалась наружу какимъ-то бурнымъ потокомъ, и онъ, забывъ все, уже покрывалъ поцѣлуями ея лицо, ея руки.

— Дѣвочка моя, бѣдная дѣвочка, что я съ тобой сдѣлалъ!—вырывались изъ его груди восклицанія. — Загубилъ всю твою жизнь!..

Она обвила его руками, радуясь этой вспышкѣ любви и забывъ всѣ недавнія терзанія. Она любовалась этимъ исхудалымъ, но все еще прекраснымъ лицомъ.

— Не говори, не говори этого!—шептала она.—Я счастлива! Твоя любовь для меня все! Дорогой, выздоравливай только, а тамъ—будь, что будетъ.

И, ласкаясь къ нему, она говорила опять о любви, о надеждахъ. На минуту ей показалось, что воротится ихъ прежняя жизнь,—та жизнь, когда онъ называлъ ее, Женю, своею весною. Онъ, кажется, надѣялся на то же, забывъ и Вурма, и близость смерти, и адъ...

— О, если бы только вернуть жизнь!—восклицалъ онъ.— Еще бы хоть годъ, одинъ годъ счастья... Ничего мнѣ не нужно, кромѣ тебя... тебя...

Эти восклицанія прервалъ страшный припадокъ кашля. Задыхаясь, Лева судорожно ухватился костлявыми руками за подушку и бился въ какомъ-то отчаяніи. На подушкѣ показались пятна крови. Женя, перепуганная и растерявшаяся, слышала только восклицанія:

— Не могу!.. Не могу!.. Уйди!.. Зачѣмъ ты пришла!.. Смерть!..

За припадкомъ послѣдовало полное изнеможеніе, какое-то тяжелое забытье. Потомъ онъ очнулся, обвелъ комнату мутнымъ взоромъ, какъ бы припоминая все, что произошло. Этотъ свинцовый взглядъ остановился на Женѣ почти съ ужасомъ. Въ ушахъ Жени тихо, но отчетливо раздавался хриплый шопотъ:

— Уйди!.. уйди...

Она покорно встала, вышла на цыпочкахъ, озираясь, точно боясь, что кто-нибудь подслушалъ, подсмотрѣлъ все

происшедшее. На слѣдующій день, рано утромъ, Лева послалъ за Вурмомъ. Длинный, сухой, съ набожнымъ лицомъ, съ потупленнымъ взоромъ, Рейнгольдъ Карловичъ прошелъ въ спальню больного.

До этого дня Лева много и долго говорилъ съ нимъ о грѣхахъ, спрашивалъ, какъ можно очиститься отъ грѣховъ. Вурмъ зналъ всѣ помыслы, всѣ намѣренія Божіи. Богъ посылаетъ иногда грѣхъ людямъ, любя людей, желая исцѣлить ихъ отъ гордыни, отъ самомнѣнія, то-есть отъ самыхъ страшныхъ грѣховъ. Это уже потому самые страшные грѣхи, что человѣкъ прежде всего долженъ сознавать одно: спасти можетъ Богъ, а самъ человѣкъ спастись не можетъ. Зараженные гордынею и самомнѣніемъ забываютъ именно это и полагаются на свои силы, то-есть идутъ прямо на погибель. Совершенный грѣхъ въ избранныхъ пробуждаетъ раскаяніе, усиленное желаніе стать лучше, не грѣшить впредь, искать Божіей помощи—единственнаго нашего спасенія. Это воздержаніе отъ повторенія грѣха, несмотря на всѣ искушенія, и отличаетъ званыхъ отъ избранныхъ. Только избранные и могутъ отсѣчь руку, если она соблазняетъ ихъ, вырвать око, если оно соблазняетъ ихъ. Неизбранные не могутъ этого сдѣлать. Недаромъ же въ разсказѣ о богатомъ юношѣ говорится, что Богу все возможно, а людямъ невозможно. Какой грѣхъ совершилъ Лева—Вурмъ не спрашивалъ. Да и могъ ли онъ спрашивать, когда онъ все зналъ и безъ объясненій? Разспросы могли бы поколебать вѣру въ его всевѣдѣніе. Вѣдь онъ пророкъ! Ему все открываетъ Богъ. Теперь настала именно такая минута, когда Лева сказалъ, долженъ былъ сказать все. Еще бы! Вчера онъ чуть не умеръ именно въ ту минуту, когда все грѣховное воскресло въ немъ снова и сразу погубило все достигнутое долгими днями покаянія. За минуту любви онъ, Лева, готовъ былъ отдать вѣчность небеснаго блаженства. Вурмъ, кроткій, набожный, слушалъ, не удивляясь, не возмущаясь, какъ слѣдуетъ человѣку, видящему и знающему все.

— Богъ милосердъ, онъ въ эту минуту напомнилъ тебѣ о смерти и спасъ твою душу,—сказалъ онъ набожно и торжественно. — Долгіе дни упорной борьбы со своею плотью могли породить въ тебѣ самомнѣніе, вѣру въ свои силы, способныя побороть все. И вотъ Богъ послалъ тебѣ искушеніе, чтобы еще разъ показать тебѣ, какъ ничтоженъ человѣкъ.

— О, я знаю, знаю все свое безсиліе, всю свою ничтож-

ность!—воскликнулъ Лева.—На каждомъ шагу мнѣ грозятъ искушенія... мнѣ нужна поддержка...

— И Богъ ее далъ тебѣ, — торжественно произнесъ Вурмъ.—Я съ тобою!

Онъ благоговѣйно сложилъ руки, поднялъ къ небу глаза, сталъ читать одну изъ безчисленныхъ молитвъ-импровизацій. Тихій, льющійся, какъ ручей, кроткій голосъ, возвышенныя фразы, набожное выраженіе лица пророка, все это снова влило миръ въ душу больного. Онъ смиренно склонилъ голову на подушкѣ, и когда молитва была окончена, поцѣловалъ руку своего утѣшителя. Тотъ, казалось, открывалъ ему снова двери рая, ради котораго больной забылъ все въ жизни, дружбу, любовь, науку, дѣятельность. Вурмъ возложилъ на минуту на его блѣдный лобъ руки, точно стараясь успокоить этимъ прикосновеніемъ бури въ тревожномъ мозгу умирающаго, и потомъ безмолвно вышелъ изъ комнаты, видя, что больной, утомленный всей этой сценой, закрылъ глаза съ блаженной улыбкой. Своимъ обычнымъ мѣрнымъ шагомъ Вурмъ безшумно направился къ комнатѣ Жени. Онъ постучалъ къ ней въ дверь и, услышавъ отвѣтъ: «войдите», вошелъ къ молодой дѣвушкѣ. Она вздрогнула и поднялась съ мѣста при видѣ его. Она мгновенно угадала все. Онъ никогда не заходилъ къ ней, онъ даже почти не обращалъ на нее вниманія до этой поры. Ее охватилъ какой-то инстинктивный ужасъ при появленіи на порогѣ этой исхудалой, высокой фигуры съ строгимъ, какъ бы застывшимъ выраженіемъ на лицѣ. Онъ могъ появиться въ ея комнатѣ только затѣмъ, чтобы сказать: «я все знаю!» Онъ пристально взглянулъ на нее и торжественнымъ, проникающимъ въ душу тономъ, поднявъ правую руку вверхъ, произнесъ:

— Что вы дѣлаете, безумная! Или вы не знаете, что вѣчное проклятіе поражаетъ того, кто соблазняетъ даже и умирающаго.

Она широко открыла глаза, полные выраженія ужаса, вскрикнула, зашаталась и упала, какъ подкошенная, у его ногъ. Онъ неторопливо наклонился, чтобы поднять ее и привести въ чувство. Склоняясь надъ нею, онъ даже и не подозрѣвалъ, что сзади его, въ отворенныхъ дверяхъ, стояла женщина, нуждавшаяся, быть-можетъ, въ помощи гораздо болѣе, чѣмъ Женя. Это была Анна Ивановна, догонявшая Вурма послѣ его ухода отъ Левы и слѣдомъ за нимъ вошедшая въ комнату Жени...

X.

Спустя нѣсколько дней послѣ этихъ событій, я сидѣлъ съ матерью за утреннимъ чаемъ. Обоимъ намъ было не по себѣ, такъ какъ отецъ съ вечера ушелъ къ Шельхерамъ и еще не возвращался домой. Онъ только прислалъ записку, чтобы мы не безпокоились; онъ писалъ, что Левѣ очень худо и потому ему, отцу, придется, вѣроятно, провести ночь у Шельхеровъ. Мы терялись въ догадкахъ, что происходитъ тамъ. Наскоро допивая стаканъ, я рѣшился идти къ Шельхерамъ, чтобы навести справки. Въ эту минуту раздался звонокъ, и въ прихожей послышался голосъ отца. Я поднялся съ мѣста. Въ столовую вошелъ отецъ. Онъ былъ видимо утомленъ и хмуръ.

— Ну, что?—разомъ спросили я и мать.

Отецъ махнулъ рукою.

— Все кончено,—отвѣтилъ онъ.

У матушки показались на глазахъ слезы. Я молча заходилъ по комнатѣ. У меня сдавливало горло, я закусывалъ губы, стараясь не расплакаться. Въ головѣ не было и мысли о мелкихъ недоразумѣніяхъ, объ охлажденіи къ Левѣ за послѣднее время, было только одно сознаніе, что догорѣла и погасла молодая жизнь, полная страданій и тревогъ; было ощущеніе утраты того, съ кѣмъ прошли лучшіе годы дѣтства.

— Чаю, голубчикъ; усталъ я,—проговорилъ отецъ, обращаясь къ матери и прерывая тяжелое молчаніе.

Мать засуетилась, отирая наскоро слезы.

— Что бѣдная Анна Ивановна?—тихо проговорила она, наливъ отцу стаканъ.—Бѣдная, бѣдная мать!

Изъ глазъ матушки слезы хлынули уже потокомъ, удерживать ихъ теперь она была не въ силахъ.

— Я съ Анной Ивановной и провозился всю ночь, — отвѣтилъ отецъ.—Параличъ разбилъ...

Отецъ неторопливо сталъ разсказывать всѣ событія этой ночи, прерывая иногда разсказъ словами:

— Полно, полно, Леля!..

Мать отирала слезы, старалась успокоиться и снова плакала. Она, какъ любящая мать, понимала весь ужасъ потери, понесенной Анной Ивановной. На что нужна теперь жизнь этой женщинѣ, лишившейся сына? Я сидѣлъ у стола, опустивъ голову на руки, подавленный всѣмъ, что разсказалъ отецъ. Это была поистинѣ страшная ночь. Съ вечера

Левѣ стало хуже. Болѣзнь шла быстро къ развязкѣ. Пришлось предупредить Анну Ивановну. Несчастная женщина, несмотря на долгую болѣзнь сына, все еще не вѣрила въ душѣ, что конецъ такъ близокъ. Она растерялась, начала умолять моего отца и двухъ другихъ докторовъ, находившихся при Левѣ, о спасеніи, требовала, чтобы ее пустили къ сыну, а у него, между тѣмъ, близилась агонія, съ страшными предсмертными муками, съ бредомъ и конвульсіями. Онъ метался по постели, хватался за грудь, лицо принимало страшное выраженіе.

— Довольно было и ихъ двоихъ, чтобы потерять голову, а тутъ еще пришлось возиться съ Женей,—сказалъ отецъ.— Я ужъ сдалъ ее на руки тетѣ Маришѣ и не заглядывалъ къ ней. Тутъ не о прекращеніи истерики нужно было думать, а о спасеніи Анны Ивановны. Едва успѣли сказать старухѣ о смерти Левы, какъ ее поразилъ параличъ. Теперь трудно и опредѣлить, выживетъ ли она. Впрочемъ, если и выживетъ, то трудно ожидать, чтобы выздоровѣла совершенно.

— Ахъ, да на что ей теперь жизнь! — воскликнула матушка.

Отецъ допилъ чай и поднялся съ мѣста.

— Вотъ когда бы съ удовольствіемъ завалился спать, вмѣсто посѣщенія больныхъ, — проговорилъ онъ, потянувшись.

— Въ самомъ дѣлѣ, ты отдохнулъ бы,—сказала матушка.

— А больные? — проговорилъ онъ. — Ничего, кое-какъ перемогу себя, разомнусь.

Онъ поцѣловалъ мать и пошелъ въ свой кабинетъ переодѣваться. Я тоже поднялся съ мѣста, чтобы идти.

— Ты къ Шельхерамъ?—спросила мать.

— Да, надо взглянуть на Леву,—отвѣтилъ я.

— Я тоже черезъ часокъ зайду къ нему,—сказала она.

Мы говорили о немъ еще какъ о живомъ...

Какъ живо помню я это свѣтлое весеннее утро. Еще улицы были покрыты кое-гдѣ грязью, въ которую превратился стаявшій снѣгъ, еще изъ водосточныхъ трубъ съ грохотомъ вываливался на тротуары полурастаявшій ледъ, еще деревья въ садахъ стояли совершенно обнаженными, но небо было уже весеннее, синее, глубокое, солнце горѣло ярко и замѣтно грѣло своими сверкающими лучами, въ воздухѣ слышались гомонъ и чириканье птицъ, въ домахъ открывались окна, на улицахъ было замѣтно особенное

оживленіе, точно всѣ проснулись отъ долгаго сна, выбрались изъ своихъ норъ, чтобы подышать свѣжимъ воздухомъ, и самый грохотъ колесъ, такъ надоѣдающій лѣтомъ, теперь казался какимъ-то веселымъ, оживляющимъ... И какимъ контрастомъ показался мнѣ домъ Шельхеровъ съ этой проснувшейся «улицей»: въ немъ точно все вымерло. Я вошелъ въ прихожую, сбросилъ пальто и вступилъ въ залъ, не встрѣтивъ никого. Въ этой бѣлой залѣ съ блѣдно-голубыми узорами, гдѣ, можетъ-быть, не разъ мечтали Романъ Шельхеръ и его жена о будущей женитьбѣ сына, было совершенно безлюдно, и только при моемъ появленіи сдѣлался громче гнусавый голосъ молодого монаха, читавшаго псалтирь. Въ углу, на возвышеніи, покрытомъ простыней, лежалъ трупъ, тоже прикрытый простыней; такими же простынями были завѣшаны надъ двумя каминами и въ простѣнкахъ зеркала. Съ перваго раза казалось, что тутъ не одинъ покойникъ, а нѣсколько, только одинъ лежитъ, а другіе приставлены къ стѣнамъ. Я направился къ тѣлу Левы. Мои шаги какъ-то особенно звонко раздались въ пустой комнатѣ. Я подошелъ къ покойнику, откинулъ съ его лица простыню, и по моему тѣлу пробѣжала невольная дрожь: его лицо было еще повязано платкомъ, чтобы не открылся ротъ, на глазахъ лежали мѣдные пятаки, чтобы не открылись вѣки. Изъ моихъ глазъ полились слезы при видѣ этого исхудалаго, но все еще прекраснаго лица. Сердце мое сжалось невыразимою тоскою, точно мнѣ было обидно и больно за этого брошеннаго покойника.

— Теперь можно бы снять, скоро духовенство прибудетъ,—раздался чей-то довольно звонкій и чистый голосъ, заставившій меня вздрогнуть.

Я обернулся. Оказалось, что это заговорилъ со мною монахъ. Онъ провелъ рукою около своего лица и указалъ на свои глаза, чтобы выразить яснѣе и нагляднѣе, что нужно снять. Я сталъ развязывать платокъ на головѣ Левы, сталъ снимать пятаки съ его глазъ. Монахъ опять загнусилъ, продолжая чтеніе совсѣмъ инымъ голосомъ, чѣмъ говорилъ со мною.

— Чахоткой, должно-быть, померъ?—раздался снова его звонкій голосъ, прерывая гнусавое чтеніе на полусловѣ.

— Да,—отвѣтилъ я.

И прибавилъ:

— Сюда никто не проходилъ? Гдѣ же всѣ?

— Какая-то хроменькая барышня заходила... А то никого не видать... Распоряжается-то кто?

— Право, не знаю,—отвѣтилъ я.

Монахъ вздохнулъ.

— Причесать бы нужно...

Я не сразу понялъ его, взглянулъ на него. Онъ кивнулъ головой въ сторону покойника и опять указалъ на свои волосы. Я понялъ, торопливо порылся въ карманѣ и сталъ приглаживать волосы Левы. Монахъ отплюнулся, усердно пошаркалъ ногой по паркету и снова загнусилъ, читая псалтирь.

Я закрылъ простынею лицо Левы и направился разыскивать кого-нибудь изъ семьи Шельхеровъ. Въ моей душѣ была какая-то обида за Леву на его родню, на Женю, бросившихъ трупъ. Въ дверяхъ залы я столкнулся съ Миннушкой.

— Ахъ, это ты, Коля! — проговорила она, сжимая мнѣ руку.—А я шла на Леву взглянуть... и отдохнуть...

Я взглянулъ на ея безкровное, длинное лицо: оно было утомлено, точно еще болѣе вытянулось. Я взялъ бѣдную больную дѣвушку подъ руку и повелъ ее въ гостиную.

— Устала ты, бѣдная?

— Ахъ, ужъ и не говори! Только я, да тетя Мариша и хлопочемъ... и съ тетей Аней, и съ Женей...

— Гдѣ же всѣ остальные?

Миннушка вдругъ разрыдалась.

— Деньги ищутъ, ссорятся... Господи, они даже чуть не прибили меня, отнимая ключи...

Я началъ ее успокаивать, разспрашивать. Изъ ея отрывочныхъ, прерываемыхъ рыданіями разсказовъ я узналъ все, что произошло въ это утро. Едва успѣлъ Лева закрыть глаза, едва разнесся слухъ, что съ Анной Ивановной сдѣлался «ударъ», какъ домъ уже наполнился родней. Повидимому, Ольга Дмитріевна и ея сообщники ждали этого момента, какъ ждутъ гробовщики смерти опасно больного, прохаживаясь, подобно шакаламъ, около дома умирающаго. Марина Осиповна и Миннушка, застигнутыя врасплохъ постигнувшимъ семью несчастіемъ, еще метались изъ угла въ уголъ — отъ трупа Левы къ лежавшей безъ чувствъ Аннѣ Ивановнѣ, къ бившейся въ истерическомъ припадкѣ Женѣ, а родня сбилась въ кучу въ столовой и громко обсуждала вопросы: кто будетъ хоронить Леву? Гдѣ у Анны Ивановны деньги? Не на свой же счетъ хоронить Леву имъ, роднымъ? Гдѣ находятся ключи отъ денегъ?

— Ужъ гдѣ имъ быть, какъ не у Миннушки!—воскли-

нула Ольга Дмитріевна.—Довѣренный человѣкъ, вездѣ лазаетъ безъ надзора...

Притащили Миннушку, начались допросы.

— Ты знаешь, никогда я ничѣмъ не распоряжалась, никогда ни во что не вмѣшивалась,—говорила мнѣ Миннушка жалобнымъ тономъ.—А они кричатъ, топаютъ на меня ногами!.. Господи, какіе это безсовѣстные люди!.. Я растерялась, ноги подкашиваться стали... а они кричатъ, кричатъ!.. «Подай ключи, они у тебя!..» у меня никогда не было въ рукахъ ключей...

Они не постыдились просто ругаться: «Блаженная», «поврежденная», «идіотка!» Никто изъ нихъ не могъ повѣрить, что она точно не интересовалась вопросомъ о деньгахъ, о ключахъ. Нищая, приживалка и не думала о деньгахъ!.. Статочное ли это дѣло? Кто ей повѣритъ! Да и какъ же повѣрить, когда они сами только и думали объ этомъ. Наконецъ сообразили, что ключи у Марины Осиповны, и приказали Миннушкѣ принести ихъ. Миннушка исполнила приказаніе.

— Они чуть съ ногъ меня не сбили, когда я принесла ключи, — продолжала Минна. — Всѣ разомъ бросились за ними, отталкивая другъ друга. Я думала, они раздерутся...

Возбужденные алчностью, эти грабители почуяли другъ въ другѣ враговъ и переругивались уже между собою, видя ключи отъ денегъ. Они доказывали другъ другу свое первенство въ качествѣ наслѣдниковъ; они не довѣряли одинъ другому, боясь, что тотъ или другой изъ нихъ скрадетъ часть денегъ. Повидимому, они вовсе забыли о томъ, что Анна Ивановна еще жива...

Наконецъ, надъ всей этой шайкой, среди которой были и какой-то содержатель купаленъ и плотовъ, и мелкій чиновникъ съ орденомъ въ петлицѣ, и какіе-то юнцы, еще не окончившіе курса въ гимназіи, и Ольга Дмитріевна со своимъ Володей,—внезапно возвысилъ свой голосъ одинъ изъ богатыхъ родственниковъ покойнаго Романа Шельхера. Онъ прибылъ въ домъ нежданно, негаданно и засталъ родныхъ Анны Ивановны какъ разъ въ разгаръ ихъ перебранки изъ-за ключей.

— У меня точно гора съ плечъ свалилась, когда я увидала дядю Карла,—говорила Миннушка.—Знаешь его, какъ онъ на своемъ заводѣ командовать привыкъ. Онъ какъ вошелъ, какъ окинулъ всѣхъ глазами и крикнулъ: «вы это что, господа, собрались? Имѣніе дѣлить? Какое вы имѣете

право распоряжаться? Сейчасъ подайте сюда ключи. Вы всѣ отвѣчать будете, если что-нибудь пропадетъ». И всѣ притихли, перетрусили, а дядя Карлъ взялъ ключи и говоритъ: «теперь нужно не грабить, а охранять имущество законнымъ порядкомъ». И никто не пикнулъ передъ нимъ, точно лакеи передъ бариномъ... Тутъ только и распорядились перенести Леву въ залу и послать за монахами, за гробовщикомъ...

— Гдѣ же теперь вся роденька? — спросилъ я, ощущая омерзѣніе ко всей этой грязной шайкѣ.

— Ахъ, все еще здѣсь, въ столовой, — отвѣтила Миннушка.—Точно въ гостиницѣ теперь у насъ. Вотъ уже два часа, какъ чай и кофе не сходятъ со стола...

— Чего же они ждутъ?

— Боятся другъ друга здѣсь оставить безъ надзора... Я пошла вотъ сейчасъ въ буфетъ, такъ Ольга Дмитріевна бросилась за мной, глядитъ, что я беру... Развѣ я когда-нибудь воровала? Какъ имъ не грѣхъ!..

Миннушка опять заплакала. Она была крайне жалка. Впервые ей пришлось перенести тяжелую утрату, впервые пришлось испытывать такое тяжелое физическое утомленіе, и впервые стояла она теперь лицомъ къ лицу съ житейскою грязью людского корыстолюбія. Это было горькое начало новаго склада ея жизни...

Мы еще разговаривали съ нею, когда въ залѣ послышались движеніе и говоръ. Мы поднялись, вышли въ залъ. Тамъ уже были монахи, надѣвавшіе черныя ризы, осѣняясь широко крестнымъ знаменіемъ и перекидываясь между собой отрывистыми фразами: «можно начинать или ждать будутъ кого-нибудь?» По сторонамъ зала стояла группами родня, продолжавшая полушопотомъ, но очень оживленно переговариваться между собою. Нѣсколько незнакомыхъ лицъ, стоя поближе къ входнымъ дверямъ залы, съ любопытствомъ осматривали стѣны и потолокъ; было очевидно, что они попали сюда впервые, чисто случайно, желая взглянуть на внутренніе покои шельхеровскаго дома; нѣкоторые изъ группы этихъ незнакомыхъ людей, очевидно болѣе смѣлые, подходили къ дверямъ, ведущимъ въ другія комнаты, старались незамѣтно раздвинуть голубыя спущенныя портьеры и заглянуть искоса въ смежныя съ залой гостиныя. За этими любопытными зрителями и безучастными къ покойнику родными, почти не замѣчаемая никѣмъ, блѣдная, какъ мертвецъ, опираясь на Марину Осиповну, въ углу прижа-

лась Женя. Среди всего этого народа засновалъ молоденькій, похожій на дѣвочку, кудрявый и напомаженный послушникъ, съ перетянутой, точно зашнурованной корсетомъ, тальей, и съ поклонами разносилъ на блюдѣ свѣчи. Кто-то изъ духовенства крякнулъ, кто-то тихонько отплюнулся, въ комнатѣ замигали свѣчи, распространяя легкій чадъ. Въ эту минуту входная дверь тихо отворилась, и Вурмъ, съ набожнымъ лицомъ, съ потупленными глазами, тихой походкой прошелъ впередъ, не обращая ни на кого вниманія, скромно обходя присутствующихъ, какъ бы боясь ихъ задѣть. Онъ прошелъ къ окну, почти къ самому изголовью покойника и, сложивъ руки, поникъ головою. Священники еще разъ откашлялись и начали служить панихиду. Протяжное чтеніе молитвъ и пѣніе, запахъ ладана, мерцаніе и копоть восковыхъ свѣчей, все это слегка начало кружить голову. Я чувствовалъ, что у меня стучитъ въ вискахъ и изрѣдка посматривалъ на несчастную Женю. Я видѣлъ, какъ въ ея рукахъ дрожала, какъ бы подпрыгивала свѣча, и боялся, что вотъ-вотъ несчастная дѣвушка лишится чувствъ. Слезы обильно катились по ея лицу. Наконецъ, грудь ея стала сильнѣе и сильнѣе подниматься отъ всхлипываній, она зашаталась. Я поспѣшилъ къ ней и едва успѣлъ поддержать ее. Она уже билась въ истерическомъ припадкѣ. Затушивъ ея и свою свѣчи, я отвелъ, почти отнесъ ее въ ея комнату. Оставивъ ее на попеченіе Марины Осиповны, я вернулся въ залъ. Панихида кончилась. Священники торопливо разоблачались, послушникъ обиралъ свѣчи, отъ которыхъ еще поднимались вверхъ сѣроватыя струйки дыма, монахъ, читавшій псалтирь, тушилъ свѣчи около покойника. Въ группахъ родныхъ слышался довольно громкій говоръ. Я уловилъ на ходу нѣсколько фразъ:

— Срамница, покойника-то позорить! Всего бы ее лишить надо. За одно это по-міру стоитъ пустить!

— И лишатъ, и лишатъ, только бы Аннетъ пришла въ сознаніе.

— Да, а вѣдь теперь вообще очень спорный вопросъ, кто и по какой линіи наслѣдуетъ...

— Да развѣ нѣтъ духовнаго завѣщанія?..

Шарканье ногъ, шелестъ платьевъ, говоръ толпы, откашливанье читавшаго псалтирь монаха передъ началомъ чтенія, все это слилось вмѣстѣ, дѣйствовало какъ-то непріятно, говорило о какихъ-то мелочахъ жизни, о равнодушіи всего этого люда къ тому, что произошло въ этомъ

домѣ. Я почти съ ненавистью смотрѣлъ на всѣхъ этихъ людей, думавшихъ и говорившихъ только о наслѣдствѣ, торопившихся выйти изъ залы, не бросивъ ни одного взгляда на трупъ того, за кѣмъ еще такъ недавно они ухаживали всѣ съ наглой лестью и приниженностью...

Когда зала опустѣла, мои глаза невольно остановились на одной фигурѣ. Эта фигура, все время не смѣшивавшаяся съ толпой, выдвинувшаяся изъ этой толпы, казавшаяся выше остальныхъ, стояла и теперь около покойника, сохраняя величавое спокойствіе. Это была фигура пророка. Онъ простоялъ неподвижно во все время службы, сложивъ молитвенно руки и поднявъ къ небу глаза. Когда кончилась панихида, когда всѣ поспѣшно стали удаляться, онъ подошелъ къ Левѣ и началъ тихо молиться, неподвижно, торжественно. Окончивъ молитву, онъ положилъ руки на голову покойника, какъ бы благословляя его и принося ему вѣсть мира. По его лицу катились одинокія слезинки. Наконецъ, онъ склонился лицомъ надъ Левой и поцѣловалъ этотъ холодный блѣдный лобъ. Не знаю, какія мысли, какія чувства охватили меня всего, но я какъ-то невольно, точно подъ вліяніемъ электрическаго толчка, двинулся къ Вурму и порывисто, какъ бы благодаря его, протянулъ ему руку. Это былъ порывъ, молодой, невольный, непреднамѣренный. Вурмъ понялъ его по-своему и, удерживая мою руку въ своей, торжественно проговорилъ:

— Этотъ человѣкъ при жизни былъ нашимъ общимъ другомъ; да послужитъ же онъ, мертвый здѣсь, живой тамъ, связующимъ звеномъ между нами...

Онъ былъ убѣжденъ, что Господь сотворилъ чудо, и здѣсь, у праха этого юноши, озарилъ меня новымъ свѣтомъ и превратилъ въ послѣдователя общины святыхъ. Я не разувѣрялъ Вурма. Мнѣ въ эту минуту не хотѣлось огорчить старика, не хотѣлось нарушать въ самомъ себѣ того впечатлѣнія, которое онъ произвелъ на меня впервые—впечатлѣнія искренно вѣрующаго человѣка, а не разсчетливаго проныры и обманщика, стремящагося только урвать у людей грошъ. Въ этотъ день я сталъ глядѣть на Вурма новыми глазами: онъ показался мнѣ не просто ловкимъ актеромъ, а дѣйствительно истиннымъ фанатикомъ. И если онъ и тутъ игралъ только свою «роль», то во всякомъ случаѣ это безкорыстное притворство было менѣе омерзительно, чѣмъ откровенность всѣхъ остальныхъ присутствовавшихъ на панихидѣ...

XI.

— Вы домой?—спросилъ меня Вурмъ.

— Нѣтъ, хочу зайти къ Женѣ. Бѣдная дѣвушка совсѣмъ потеряла голову, — отвѣтилъ я. — И то сказать, такая потеря... и что еще ждетъ въ будущемъ.

Я чувствовалъ, что Анна Ивановна выгонитъ ее безъ милосердія изъ дома, если поправится.

— Богъ простилъ и разбойника на крестѣ, — набожно отвѣтилъ Вурмъ.

— О, я не о томъ, не о томъ!—воскликнулъ я.

Я объяснилъ Вурму свою мысль. Онъ взглянулъ на меня съ сострадательной улыбкой.

— Деньги, все деньги въ головѣ! Неужели вы думаете, что въ нихъ все спасеніе?.. Надо о душѣ подумать. Но прежде всего надо, чтобы Женя не дѣлала сценъ...

— Это свыше ея силъ,—замѣтилъ я горячо. — Ее такъ потрясла эта смерть... Вы вѣдь знаете все...

— Но она должна пересилить себя! — рѣшительно сказалъ онъ.—Я пойду къ ней и вразумлю ее.

Его голосъ былъ твердъ и звучалъ самоувѣренностью. Казалось, Вурмъ глубоко вѣрилъ, что ему стоитъ только приказать, и Женя не будетъ биться въ истерическихъ припадкахъ.

— Она не должна позорить въ эти минуты дорогого покойника,—продолжалъ онъ.—Если люди и подозрѣваютъ что-нибудь, то она не должна подтверждать этихъ подозрѣній.

И опять сострадательно усмѣхаясь, онъ прибавилъ:

— Это нужно и для ея выгодъ, если онѣ имѣютъ какое-нибудь значеніе... Если Анна Ивановна поправится, то я первый постараюсь разсѣять всѣ подозрѣнія. Этого будетъ нельзя сдѣлать, если молодая дѣвушка не соберется съ силами, не побѣдитъ своихъ чувствъ. Въ такомъ состояніи, въ какомъ мы видѣли ее сегодня, она способна сама, въ концѣ-концовъ, надѣлать глупостей, такъ или иначе во всемъ сознаться. Тогда никакія заступничества за нее не помогутъ...

— Но, Рейнгольдъ Карловичъ, неужели вы надѣетесь, что вамъ удастся, — я не находилъ подходящаго выраженія: — вразумить ее?

— Я ее вразумлю,—коротко и твердо отвѣтилъ онъ.

— Въ такомъ случаѣ я буду лишній, идите одни,—сказалъ я.

Я понималъ, что онъ правъ, что Женя способна въ порывѣ отчаянія надѣлать Богъ знаетъ какихъ безтактностей.

Мы простились. Вурмъ направился неторопливо изъ залы въ комнату Жени. Я пошелъ домой. Я не вѣрилъ въ душѣ, чтобы Вурму удалась его попытка. Въ моей головѣ вертѣлась неотвязная мысль, что тутъ не наставленія нужны, а какія-нибудь лавровишневыя капли или что-то въ этомъ родѣ.

Вечеромъ я снова отправился на панихиду. Народу на этой панихидѣ было гораздо больше, чѣмъ утромъ. Всѣ знакомые Шельхеровъ уже были извѣщены о смерти Левы. Въ домѣ была сутолока, тихій говоръ, шли разспросы о смерти Левы, о болѣзни Анны Ивановны. На всѣхъ лицахъ было одно выраженіе—выраженіе любопытства. Всѣ, казалось, думали: «что-то будетъ дальше?» При входѣ въ залъ я отыскалъ глазами Женю. Блѣдная, какъ мертвецъ, она стояла у стѣны съ широко открытыми глазами, но безъ слезъ. Вурмъ помѣстился тамъ же, гдѣ стоялъ утромъ. Панихида началась. Во время ея я замѣтилъ, что Вурмъ въ извѣстныя минуты пристально взглядывалъ на Женю неотразимо властнымъ взоромъ, и она, встрѣчаясь растерянными глазами съ этимъ взглядомъ, торопливо отирала слезы, опускала вѣки и стихала. Я видѣлъ, какъ дрожали ея руки, какъ подергивались ея губы, но до истерики не доходило. Скорбь была подавлена страхомъ. Подмѣтивъ болѣе спокойное выраженіе на лицѣ дѣвушки, Вурмъ поднималъ глаза къ небу, и я видѣлъ, какъ его губы едва шевелились, шепча молитву. Въ залѣ раздавались послѣдніе звуки заунывнаго пѣнія, глаза Вурма буквально впились въ Женю, у нея рука совсѣмъ повисла со свѣчой, она всѣмъ корпусомъ прислонилась къ стѣнѣ, но ни одного рыданія не вырвалось изъ ея груди. Это была какая-то статуя безсилія, покорности чужой волѣ. Когда послѣдній звукъ пѣнія замеръ, когда стали гаситься свѣчи, и Женя, шатаясь, вышла изъ залы, Вурмъ глубоко вздохнулъ, точно почувствовалъ облегченіе; онъ подошелъ снова къ Левѣ, положилъ руки ему на голову и поднялъ къ небу глаза. Меня охватило странное чувство какого-то непонятнаго страха передъ этимъ человѣкомъ. Я сознавалъ, что съ такой страшной силой воли, съ такой безпредѣльной вѣрой въ эту силу, можно было считать себя пророкомъ, можно было считать себя выше другихъ людей, мелкихъ, безхарактерныхъ, пошлыхъ, не вѣрящихъ ни въ другихъ, ни въ себя.

До этого дня я смотрѣлъ на Вурма только съ точки зрѣнія своей ребяческой ненависти къ нему; теперь я какъ-то мимовольно съ искреннимъ любопытствомъ взрослаго человѣка вглядывался въ новыя открывавшіяся мнѣ черты его характера. Я сознавалъ, что это была сила—не симпатичная, можетъ-быть, для многихъ, какъ и для меня, но все же сила. Въ былые дни я хотѣлъ только бѣжать отъ Вурма, теперь мнѣ хотѣлось поближе всмотрѣться въ него, заглянуть въ его душу. Къ тому же я сознавалъ, что именно онъ можетъ помочь въ будущемъ Женѣ, защитивъ ее передъ Анной Ивановной, а мнѣ больше всего хотѣлось именно этого; я понималъ, что родные Шельхеровъ могутъ довести старуху до того, что она выгонитъ Женю безо всего, сдѣлаетъ то, чего такъ боялся когда-то Лева. Тотчасъ по окончаніи панихиды, перекинувшись со мною нѣсколькими фразами, Вурмъ снова направился въ комнату Жени...

На четвертый день были назначены похороны Левы. Когда всѣ собрались въ залъ, гдѣ стоялъ гробъ, Ольга Дмитріевна возбудила вопросъ, не слѣдуетъ ли какъ-нибудь вынести на креслѣ Анну Ивановну, чтобы она «хоть взглянула на сына». Она ужасно сильно хлопотала объ этомъ, и какія-то, Богъ знаетъ откуда, появившіяся барыни изъ купечества вздыхали и охали вмѣстѣ съ нею при мысли, что «какъ же это родная мать и не увидитъ даже, какъ унесятъ гробъ сына». Мой отецъ, очень мало принимавшій участія во всемъ совершавшемся въ залѣ и посѣщавшій только по нѣсколько разъ въ день Анну Ивановну, ожидая наступленія энцифалита, волей-неволей долженъ былъ явиться на сцену, когда вопросъ зашелъ о перенесеніи Анны Ивановны въ залу.

— Она не умретъ отъ этого, — коротко и рѣзко сказалъ онъ Ольгѣ Дмитріевнѣ, точно желая сказать ей, что она напрасно объ этомъ хлопочетъ. — Но я все же не позволю этого сдѣлать.

— Аннетъ не поблагодаритъ васъ за то, что вы лишите ее этого послѣдняго утѣшенія, — горячо возразила Ольга Дмитріевна.

— Это ужъ не ваше дѣло, поблагодаритъ или не поблагодаритъ, — сказалъ отецъ. — Но распоряжаться я все же буду по-своему, какъ докторъ.

— А кто при Аннѣ Ивановнѣ останется, когда всѣ уѣдутъ?—спросилъ Вурмъ и, не дожидаясь отвѣта моего отца, поискалъ глазами Женю.—Евгенія Александровна,— сказалъ онъ:—не останетесь ли вы съ больною?

Женя, сдѣлавъ надъ собою страшное усиліе, проговорила:

— Я могу...

— Ахъ, Боже мой! Нашли кого оставлять! Она сама нуждается въ уходѣ, — воскликнула Ольга Дмитріевна. — Давно ли истерики были?

— Я думаю, родные всѣ одинаково огорчены, — сказалъ Вурмъ:—вѣдь не истуканы же люди,—но Евгеніи Александровнѣ удобнѣе всего остаться, какъ живущей здѣсь...

— Да, да, Миннушка слабый человѣкъ, не ей же оставаться,—сказалъ дядя Карлъ, вмѣшиваясь въ разговоръ.

— Я думаю, можно обойтись и безъ Жени, и безъ Минны,— начала Ольга Дмитріевна.—Для чего онѣ тутъ?

Дядя Карлъ разсердился, что вмѣшиваются въ его распоряженія. Онъ никому этого не позволялъ. Онъ рѣзко оборвалъ Ольгу Дмитріевну:

— Сказано, что Евгенія Александровна останется, чего же тутъ и толковать.

Мой отецъ немного недоумѣвалъ, зачѣмъ непремѣнно хотятъ кого-нибудь оставить при Аннѣ Ивановнѣ, когда есть и сидѣлка, и слуги.

— Да можно и такъ,—началъ онъ.—Сидѣлка...

Вурмъ перебилъ его:

— На чужихъ нельзя полагаться...

— Какъ это можно!—воскликнулъ и дядя Карлъ.

— Я могу остаться,—сказала Ольга Дмитріевна.

Вурмъ отвѣтилъ:

— Зачѣмъ же двоимъ, когда рѣшено, что остается Евгенія Александровна? Вы же и не знаете всѣхъ порядковъ въ домѣ.

Онъ видимо боялся пустить Женю на кладбище и, можетъ-быть, не безъ основанія. Тамъ и его вліяніе на бѣдную дѣвушку могло оказаться безсильнымъ. Послѣднее отпѣваніе, опусканіе гроба въ могилу, все это были такіе моменты, когда трудно владѣть собою. Я это понялъ, когда началась служба. Женя на этотъ разъ едва сдерживала свои рыданія. Кажется, это замѣтилъ и Вурмъ. Онъ тревожно осмотрѣлся, нашелъ глазами меня и указалъ мнѣ едва замѣтно, но выразительно на Женю. Я перешелъ къ ней. Видя, что она слегка начинаетъ вздрагивать, я тихо проговорилъ:

— Воздержись хоть на нѣсколько минутъ! Сейчасъ все кончится...

Она точно очнулась, и ея лицо приняло снова пугливое выраженіе, глаза инстинктивно обратились къ Вурму...

Служба кончилась, началась неизбѣжная суета, всѣ толпились, спѣша проститься съ покойникомъ, отставлялись подсвѣчники, налой, снимался покровъ, въ дверяхъ показался гробовщикъ съ крышей гроба.

— Женя, простись!—тихо сказалъ я Женѣ.

Она машинально пошла къ гробу, поднялась по ступенямъ катафалка, готовая склониться надъ лицомъ покойника. Я чувствовалъ, поддерживая ее, что она начинаетъ судорожно биться въ моихъ рукахъ; но ея голова еще не наклонилась, какъ она увидала по другую сторону исхудалое, строгое, неподвижное лицо Вурма. Что съ ней сдѣлалось, поцѣловала ли она Леву, наклонилась ли къ нему, я не знаю,—помню только, что я снялъ ее со ступеней катафалка, какъ трупъ. Въ это время уже подносили крышку къ гробу, и всѣ спѣшили въ переднюю за верхнимъ платьемъ, за калошами, толкаясь и переговариваясь: «вы пѣшкомъ?» «вы съ кѣмъ поѣдете?»—едва ли кто-нибудь замѣтилъ, какъ я вынесъ Женю въ гостиную...

Когда я вышелъ отъ Жени въ залу—здѣсь уже шла торопливая дѣятельность, уносили катафалкъ, прибирали подсвѣчники, сдергивали простыни съ зеркалъ, полотеры въ красныхъ рубахахъ сдвигали мебель, готовясь приняться за мытье пола. Старый лакей Шельхеровъ, Иванъ, покрикивалъ:

— Живѣе, живѣе, ребята! Чтобы все было на своемъ мѣстѣ къ концу обѣдни. Тоже живо отпоютъ...

И съ расторопностью опытнаго слуги, онъ указывалъ:

— Вотъ сюда, сюда составляйте мебель, въ гостиную. Разомъ принимайтесь за весь залъ. Ишь вѣдь, какъ наслѣдили.

И, нагнувшись немного, всматриваясь въ полъ, онъ увидалъ капли воска.

— Воскъ-то ототрите, вонъ какъ накапало около этого мѣста. Это читальщики. Тоже заплевали весь полъ!

Полотеры уже засыпали паркетъ опилками, принесенными въ мѣшкахъ, и ползали на колѣняхъ по полу, засучивъ рукава на мускулистыхъ рукахъ.

— Не очень мочите,—командовалъ Иванъ:—а то не ототрете потомъ.

Будничная жизнь вступала въ свои права въ домѣ, гдѣ прошла смерть...

XII.

Мой отецъ не надѣялся не только на полное выздоровленіе Анны Ивановны, но даже на то, что она выживетъ. Почти пять дней прошло безъ всякихъ измѣненій въ ея положеніи. Наконецъ, началось лихорадочное состояніе, больная была тревожна, ее мучила головная боль, появилось что-то въ родѣ неразборчиваго бреда. Воспалительный процессъ былъ во всей силѣ. Это положеніе длилось съ перерывами нѣсколько дней. Отецъ со дня на день ждалъ, что этотъ тяжелый процессъ кончится смертью. Однако, больная вынесла и это и потомъ точно застыла въ одномъ и томъ же положеніи.

— Кажется, ей лучше?—говорили отцу окружающіе.

Онъ пожималъ плечами.

— Теперь я уже потерялъ всякую надежду,—отвѣчалъ онъ.

Дѣйствительно, разстройство ума, движеній и чувствительности оставалось прежнее, улучшеній не замѣчалось никакихъ. Отецъ предчувствовалъ, что начинаются пораженія въ спинномъ мозгу. Окружающіе же видѣли только покуда отсутствіе внѣшнихъ болѣзненныхъ признаковъ, тревоги и бреда, радовались, что это окончилось, и думали, что это начало выздоровленія...

За больной ходили теперь неустанно Марина Осиповна, Миннушка, Женя. По распоряженію моего отца и дяди Карла, къ больной и даже въ домъ не допускался никто изъ родныхъ. Даже Ольга Дмитріевна, несмотря на всѣ ея протесты, не впускалась къ Шельхерамъ. Изъ-за этого чуть не произошла битва. Ольга Дмитріевна объясняла прислугѣ, что «они хамы, а она родня», что они не смѣютъ ее не впускать, но съ дядей Карломъ было не легко сладить. Онъ былъ не только упрямъ и твердъ, но даже умѣлъ ругаться чисто по-русски, когда это было нужно. Ольга Дмитріевна узнала это по личному опыту, услышавъ отъ него, что онъ ее «вышвырнетъ». Его крупная мужицкая фигура дѣлала эту угрозу еще болѣе внушительной. Этимъ здоровымъ кулакамъ, вѣроятно, приходилось не разъ расправляться съ людьми. Не даромъ же онъ выбился изъ кузнецовъ въ заводчики. Оберегая спокойствіе Анны Ивановны, дядя Карлъ все приставалъ къ отцу съ тревожными вопросами:

— Какъ вы думаете, Константинъ Ѳедоровичъ, придетъ она въ полное сознаніе?

Отецъ пожималъ плечами.

— Я думаю, что она едва ли протянетъ четыре или пять мѣсяцевъ.

— Ну, ну да, но насчетъ сознанія... Она придетъ въ сознаніе?

— Да позвольте васъ спросить, на что вамъ это?—раздражительно сказалъ отецъ. — Говорю я вамъ, что она не выживетъ. Ну, такъ при чемъ тутъ сознаніе? Исповѣдывать ее надо, что ли? Такъ вы лютеранинъ...

— Какъ при чемъ сознаніе? У нея нѣтъ духовной, — сказалъ дядя Карлъ.

И его тупой взглядъ сталъ еще болѣе тупымъ.

— А! вотъ вы о чемъ! Съ духовной или безъ духовной умретъ, денегъ съ собой все равно не унесетъ.

— Вы ошибаетесь, тутъ дѣло не въ томъ, что унесетъ съ собой деньги, а въ томъ, кому все достанется, — разгорячился дядя Карлъ.

Отецъ махнулъ рукою, все еще не понимая сущности дѣла. Очень ужъ мало самъ-то онъ думалъ о подобныхъ вопросахъ.

— Кому-жъ достаться, какъ не роднымъ. На это есть законъ.

— Да, но родные Романа ничего не получатъ...

Отецъ только тутъ понялъ, что дядя Карлъ заботится о себѣ. Онъ съ свойственною ему откровенностью брезгливо сказалъ:

— Да развѣ вамъ нужно? Стыдитесь!..

— О, о, не мнѣ!—воскликнулъ не безъ обидчивости дядя Карлъ:—но Миннушка... потомъ у насъ есть бѣдные родные въ Саксоніи... имъ ничего не достанется!

— Миннушкѣ не достанется, зато Женѣ достанется, это все равно,—сказалъ отецъ. — Женя не оставитъ Миннушку. Онѣ живутъ, какъ двѣ родныя сестры.

— Ну, это далеко не все равно... И кромѣ того наши родные въ Саксоніи... Ахъ, какъ необдуманно поступилъ Романъ, оставивъ все женѣ... Но неужели нѣтъ средствъ, чтобы Аннетъ...

— Пришла въ сознаніе? — шутливо спросилъ отецъ. — Кажется, нѣтъ.

— Но я слышалъ, даютъ шампанское, — началъ дядя Карлъ.

— Чепуху вы городите,—перебилъ его отецъ.

Дядя Карлъ предложилъ снова созвать консиліумъ. Отецъ не противорѣчилъ, хотя очень хорошо сознавалъ, что пользы

не будетъ никакой. Начались хлопоты съ приглашеніемъ новыхъ докторовъ. Толку изъ этого не вышло никакого. Но, не надѣясь на выздоровленіе больной, отецъ, однако, дѣлалъ все возможное для поддержанія этой угасавшей жизни, и хлопотъ ухаживавшимъ за Анной Ивановной женщинамъ было не мало. Отецъ старался, чтобы она чувствовала, что за нею ходятъ, что о ней заботятся, что ее не считаютъ безнадежно больной. Это были послѣднія отчаянныя попытки спасти больную. Труднѣе всего приходилось Женѣ.

Она страшно измѣнилась послѣ смерти Левы. Ея маленькій, чисто дѣтскій умъ переработывалъ теперь новыя, опять непосильныя для него мысли. Даже ея похудѣвшее личико казалось теперь какимъ-то маленькимъ, точно личико ребенка. Только оторопѣлый взглядъ напоминалъ не взглядъ ребенка, а взглядъ потрясеннаго горемъ взрослаго человѣка. Вурмъ послѣ первой панихиды зашелъ къ ней и сказалъ ей:

— Если вы не дорожите своей репутаціей, то пощадите память дорогого вамъ покойника. Или вы хотите, чтобы и теперь, у его гроба, въ него бросали грязью?

Она оторопѣла, смутилась, а Вурмъ продолжалъ:

— Вы думаете только о своей утратѣ, вы отдаетесь только своему горю, но есть нѣчто болѣе важное, о чемъ слѣдуетъ думать именно вамъ.

И онъ выяснилъ ей снова то, что она слышала и отъ Левы. Она сдѣлала великій грѣхъ, она вовлекла въ этотъ грѣхъ и Леву; она должна замаливать этотъ грѣхъ, должна убить въ себѣ свои грѣховныя воспоминанія; она должна во имя памяти покойнаго сдерживать при людяхъ свои слезы и плакать только передъ Богомъ, но не о Левѣ, а о своемъ грѣхѣ. Какъ она жила до этой поры? Не заботясь ни о комъ и ни о чемъ, только для себя. Это животная жизнь, недостойная человѣка, еще менѣе достойная христіанина... Онъ говорилъ ей все это такъ, какъ только онъ умѣлъ говорить: театрально, внушительно, рѣзко и твердо. Онъ съ увѣренностью фанатика говорилъ:

— За это ждетъ проклятіе Божіе! Господь жестоко покараетъ васъ за это здѣсь и не проститъ тамъ! Опомнитесь, пока еще не поздно! Милосердіе Божіе велико и отъ васъ зависитъ, чтобы Онъ не отвратилъ отъ васъ Своего лица.

Эта увѣренность наводила невольный страхъ на слабыя души; ею онъ покорялъ людей. Женя тоже испугалась его,

точно онъ былъ ея судья, точно Богъ говорилъ его устами; она испугалась и того, что она позоритъ память Левы. На ея лицѣ появилось то пугливое выраженіе, которое я подмѣтилъ во время второй панихиды. Ей достаточно было взглянуть на Вурма, чтобы чувство скорби смѣнилось чувствомъ боязни. Само по себѣ это состояніе было ужасно, но еще ужаснѣе стало положеніе Жени, когда ей пришлось ухаживать за Анной Ивановной. Анна Ивановна, страшно искаженная параличомъ, едва владѣвшая языкомъ, съ трудомъ поднимавшая только лѣвую руку, иногда какъ будто узнавала окружающихъ, всматриваясь въ нихъ, слѣдя за ихъ движеніями однимъ глазомъ; когда она узнавала Женю, по ней пробѣгало что-то въ родѣ дрожи, и она что-то бормотала, какъ бы стараясь отстранить бѣдную дѣвушку рукой. Разъ или два эти движенія были вполнѣ сознательны, потомъ они повторялись, можетъ-быть, безсознательно и даже, можетъ-быть, просто Женѣ уже казалось, что Анна Ивановна отстраняетъ ее. Женя плакала, шепча:

— Тетя гонитъ меня, гонитъ!

Я успокаивалъ ее, говорилъ, что ей это такъ кажется, но она была неутѣшна. Она порой говорила мнѣ:

— Ты взгляни, какъ она на меня смотритъ! Я съ ума сойду отъ этого взгляда!..

— Ты ошибаешься, Женя,—возражалъ я.—Она на всѣхъ такъ смотритъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это она на меня только такъ глядитъ. Проклинаетъ за Леву.

Иногда она пугливо взглядывала на Анну Ивановну: та въ полусидячемъ положеніи, съ высоко поднятой головой, казалось, дѣйствительно впивалась взглядомъ въ молодую дѣвушку.

Тогда Женя забывалась и говорила при Миннушкѣ:

— Она меня ненавидитъ, проклинаетъ!.. Это невыносимо!

Миннушка дѣлала удивленное лицо.

— Женя, за что же? Тетя такъ любила тебя...

Женя приходила въ себя, смолкала. Миннушка переводила вопросительные взгляды на кого-нибудь изъ присутствующихъ, точно спрашивала: «Такъ значитъ это правда, что говорила Ольга Дмитріевна». Бѣдная старая дѣва-ребенокъ не могла дать себѣ яснаго отчета, правда это или нѣтъ. Она вглядывалась въ Женю вопросительнымъ взглядомъ, и Женя раздражалась, отворачивалась отъ нея почти съ ненавистью.

Я не безъ тяжелаго чувства замѣчалъ страшное настроеніе Жени и разъ сказалъ ей:

— Ты бы не ходила за Анной Ивановной...

— Что ты! что ты!—воскликнула она.—Какъ это можно!

— Скажись нездоровой или... ну, ходи за ней, когда она спитъ... Это тебѣ такъ тяжело.

— Нѣтъ, нѣтъ! Что же скажетъ Рейнгольдъ Карловичъ...

Я понялъ, что онъ приказалъ ей усердно ходить за теткой. Вѣроятно, это была своего рода епитимья. Мнѣ казалось, что Вурмъ слишкомъ безжалостно относится къ несчастной дѣвушкѣ. Онъ, пожалуй, доведетъ ее этимъ до сумасшествія. Въ моей душѣ поднимался протестъ противъ этого безсердечія; ничего не говоря Женѣ, я, наконецъ, рѣшился заѣхать къ Вурму и объясниться съ нимъ откровенно насчетъ Жени. Отчасти меня подталкивало на это и любопытство. Мнѣ хотѣлось взглянуть на Вурма у него «дома». До этой поры я не переступалъ порога его жилища...

Я засталъ пророка въ его кабинетѣ за книгами. Кабинетъ Вурма былъ отдѣланъ просто, почти бѣдно; жесткіе стулья, жесткій диванъ, служившій и постелью, письменный столъ и пара шкаповъ съ книгами составляли всю обстановку. Все здѣсь было темно, тускло, старомодно, можетъ-быть, умышленно бѣдно и просто. Увидавъ меня, Вурмъ поднялся съ мѣста, поднялъ на минуту глаза къ небу, какъ бы благодаря Бога за появленіе въ его домѣ новаго ученика, и протянулъ мнѣ руку. Я поздоровался съ нимъ и сказалъ:

— Извините, что я хочу побезпокоить васъ. У меня дѣло.

— Я радъ всегда служить ближнимъ,—скромно отвѣтилъ онъ.

И, подойдя къ столу, чтобы закрыть лежащее открытымъ евангеліе, онъ проговорилъ:

— А я только-что читалъ: «Когда выходилъ Онъ въ путь, подбѣжалъ нѣкто, палъ передъ Нимъ на колѣни и спросилъ Его: Учитель благій, что мнѣ дѣлать, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную?»

И прочитавъ это, онъ неторопливо закрылъ книгу, но я успѣлъ замѣтить, что она была открыта дѣйствительно на десятой главѣ евангелія Св. Марка. Что это было: комедія или случайность? Вурмъ указалъ мнѣ рукою на жесткій, обтянутый темно-зеленой, почти черной, мѣстами прорванной кожей, диванъ. Мы сѣли.

— Чѣмъ могу служить?—спросилъ онъ.

— Я не о себѣ... я хотѣлъ поговорить съ вами о Женѣ...

Онъ вздохнулъ и замѣтилъ:

— И всё же я радъ, что Господь привелъ васъ въ домъ мой хоть ради чужого дѣла...

Я сталъ передавать ему подробно мои наблюденія надъ Женей и закончилъ:

— Мнѣ кажется, если она еще будетъ продолжать ходить за Анной Ивановной, то она сойдетъ съ ума.

— Пусть потеряетъ умъ, лишь бы спасла душу,—отвѣтилъ онъ тихо.

Мнѣ вдругъ вспомнились слова, слышанныя мною когда-то отъ Левы.

— Ну, тогда и о спасеніи души нечего думать,—горячо сказалъ я.

Онъ покачалъ головой.

— Вы думаете? А тѣ блаженные, а тѣ юродивые, тѣ самые, которыхъ признаютъ святыми,—они потеряли умъ или то, что мы называемъ умомъ, но стали же святыми?

И остановивъ мое возраженіе неторопливымъ жестомъ руки, онъ продолжалъ:

— Вы ошибаетесь, мой другъ; она потеряетъ не умъ, а самоувѣренность, вотъ что потеряетъ она въ этомъ искусѣ. Онъ ей необходимъ.

Я опять хотѣлъ протестовать, опять былъ остановленъ имъ.

— Я знаю, что вы на многое смотрите не такъ, какъ слѣдуетъ, но выслушайте меня терпѣливо,—сказалъ Вурмъ.— Самомнѣнье и своеволіе—это два страшные врага человѣчества. Чтобы сдѣлаться истинно хорошимъ человѣкомъ, нужно смириться, нужно подвергнуться нравственнымъ бичеваніямъ, и если можно, подвергнуть свою плоть физическимъ испытаніямъ, чтобы она не господствовала надъ нами... Я знаю васъ, вы нравственный человѣкъ. Но почему? Потому что вы выросли въ суровой школѣ лишеній, въ честной семьѣ тружениковъ. Вы можете ошибаться еще, но это слѣдствіе молодости—придетъ время, пройдетъ и это. О, я читаю въ вашей душѣ и знаю: ее ждетъ просвѣтлѣніе!.. А это люди, росшіе въ изобиліи, привыкшіе угождать только себѣ, что выйдетъ изъ нихъ, если не напоминать имъ, что Богъ видитъ ихъ сердца, если не показывать имъ той бездны, въ которую они идутъ? Они будутъ не только не христіанами, но даже и не людьми, а животными, не знающими никакихъ законовъ, кромѣ законовъ страстей и похотей.

— Такъ учите же ихъ любви къ ближнимъ,—воскликнулъ я порывисто.

Онъ сосредоточенно усмѣхнулся въ отвѣтъ на мою вспышку.

— Надо начинать учить съ азбуки, а не со складовъ. Первая заповѣдь: возлюби Господа Бога твоего... Ей нужно сначала научить ихъ. Кто возлюбитъ Бога, возлюбитъ и ближнихъ...

Мнѣ казалось, что я могу захватить врасплохъ Вурма, напомнивъ ему о Левѣ.

— Однако, покойный Лева пришелъ только къ тому, что съ ужасомъ думалъ объ адѣ и загробныхъ мукахъ,—сказалъ я.

Вурмъ сдвинулъ брови. На минуту его лицо омрачилось.

— Да, вы правы,—проговорилъ онъ.—Но это не моя вина, а слѣдствіе его натуры, его обстановки, его домашняго воспитанія. Безъ моихъ совѣтовъ и наставленій изъ него, можетъ-быть, вышелъ бы одинъ изъ тѣхъ гнусныхъ кутилъ и развратниковъ, какими дѣлаются люди въ его положеніи. Наши богачи и аристократы убѣждены, что религія нужна, какъ узда для народа. О, они глубоко ошибаются. Эта узда нужна прежде всего имъ, такъ какъ безъ нея у нихъ не будетъ ни совѣсти, ни чести, ни стыда. Если гдѣ нужно искать всей мерзости, такъ это среди нихъ. Только страхъ передъ Богомъ можетъ еще содержать ихъ разнузданность, ихъ жестокость, ихъ корыстолюбіе, ихъ низость. Вотъ отъ чего спасалъ я Леву! Я научилъ его любви къ Богу, я его укрѣпилъ въ вѣрѣ въ Бога, и онъ вышелъ честнѣе людей, стоящихъ въ его положеніи, онъ отдавалъ, по крайней мѣрѣ, себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ. Безъ этого изъ него вышелъ бы развратный тунеядецъ въ одну сторону, безсердечный грабитель въ другую... Правда, онъ весь сосредоточился на одной мысли о загробной жизни, но въ этомъ виновата его болѣзненная натура.

И съ горечью въ голосѣ онъ добавилъ:

— Безъ меня онъ также думалъ бы о смерти и, можетъ-быть, прожигалъ бы жизнь, благо, эта жизнь казалась бы ему не долгимъ даромъ природы. О, сколько людей я зналъ, говорившихъ: «хоть день да мой» и бросавшихся во всякія излишества...

Потомъ тономъ раздумья онъ прибавилъ:

— Вы мнѣ сказали, что надо учить любви къ ближнимъ. Да, надо. Но вѣрьте мнѣ, что ближнихъ можетъ полюбить только тотъ, кто уже возлюбилъ Бога. Не возлюбившій еще Бога никогда не полюбитъ ближнихъ, особенно въ томъ случаѣ, если онъ самъ не перестрадалъ съ этими ближними,

мучился ихъ муками, не болѣлъ ихъ недугами. Что такое
ижній невѣрующему богачу? Вьючное животное, которое
жно эксплоатировать, пока оно способно къ работѣ—
ть и все.

Въ его голосѣ послышались мягкія ноты.

— Вы судите, какъ юноша, по себѣ, по своимъ чув-
вамъ,—сказалъ онъ.—Вы любите, вѣроятно, бѣдняковъ.
о почему? Потому что это ваши братья по судьбѣ, потому
о вы переживали, можетъ-быть, то, что переживали они.
ь вашей любви къ нимъ, можетъ-быть, есть даже частица
ого чувства—желаніе вмѣстѣ съ ними отомстить за свои
чныя обиды, поднять этихъ друзей наперекоръ ихъ и
оимъ врагамъ, поднять однихъ для униженія другихъ...
, какъ бы то ни было и ради чего бы то ни было, вы
бите и можете любить ближнихъ...

По его лицу скользнула улыбка:

— Вы родились зрячимъ, я стараюсь дать зрѣніе слѣп-
мъ...

Я, взволнованный, удивленный рѣчью Вурма, очнулся и
раздумьи о Женѣ отвѣтилъ:

— Всегда ли удачны выходятъ операціи? Я вамъ по-
ряю, что я боюсь за Женю. Мнѣ просто кажется, что
ь помѣшается отъ испытанія. Вы запугаете ее, пред-
являя весь ужасъ ея паденія, заставляя искупать его тя-
кой пыткой.

— Ну, а вы думаете, ей было бы легче, если бы отдать
на растерзаніе всѣмъ этимъ женщинамъ въ родѣ Ольги
итріевны?

— О, кто же это говоритъ!—воскликнулъ я.

— Такъ вы, вѣрно, хотѣли бы, чтобы я взялъ ее подъ
ю защиту, сказавъ ей: «все это пустяки, никакого грѣха
ъ въ паденіи, все это въ порядкѣ вещей»? Сказать ей
и поощрить дѣлать и дальше то же, жить такъ же, какъ
жила?

Мнѣ вдругъ вспомнилось, что, утѣшая Женю, я самъ еще
авно говорилъ ей: «Полно, Женя, терзать себя; кто же
грѣшилъ, кто не падалъ». Это воспоминаніе смутило
я помимо моей воли. Вурмъ, пристально вглядываясь
мое лицо, точно читая мои мысли, продолжалъ:

— Нѣтъ, если я и указываю ей на ужасъ грѣха, если я
казываю на необходимость тяжелаго искупленія, то я ей
и утѣшеніе—надежду на прощеніе Бога.

Онъ опять сталъ суровъ, что-то безпощадное было теперь въ выраженіи его сухого лица.

— Я человѣкъ серьезной вѣры, а не модный докторъ, прописывающій лѣкарства на сахарномъ сиропѣ,—отвѣтилъ онъ строго.—И если вы сами въ чемъ-нибудь глубоко убѣждены, то—помните это всегда—проводите свои убѣжденія безъ пощади, безъ ложныхъ снисхожденій, безъ малодушныхъ сдѣлокъ. Эти малодушныя сдѣлки—язва нашего вѣка и особенно здѣшняго общества. Глубоко убѣжденный человѣкъ долженъ имѣть силу вести на костеръ другихъ и идти на костеръ. Если онъ на это не способенъ, у него нѣтъ убѣжденій, нѣтъ вѣры въ свою правоту!

На минуту его лицо напомнило мнѣ того безпощаднаго Вурма, какимъ я зналъ его въ школѣ, не прощающаго ни малѣйшаго проступка, не дѣлающаго никакихъ поблажекъ. Въ его глазахъ сверкалъ мрачный огонь фанатичной ненависти. Можетъ-быть, онъ прочелъ на моемъ лицѣ непріятное впечатлѣніе, произведенное на меня его послѣдними словами. По его лицу скользнула горькая, презрительная усмѣшка.

— Вы русскій и потому вамъ, болѣе чѣмъ кому-нибудь, позволительно не понимать этихъ взглядовъ,—сказалъ онъ.— У васъ всему есть оправданія, на все есть снисхожденіе. Такъ васъ ведутъ дома и въ школѣ, такъ идетъ все въ общественной жизни и въ общественной дѣятельности. Люди сами не исполняютъ свято своихъ обязанностей и снисходительно глядятъ на другихъ, когда тѣ дѣлаютъ то же. Негодяй и честный сидятъ рядомъ, жмутъ другъ другу руки, пользуются однимъ и тѣмъ же почетомъ. Другіе народы Европы давно уже пережили времена этой нравственной распущенности и нравственности безразличія. Русскія дѣти и русскіе работники вездѣ покажутся самыми недисциплинированными; нравственные идеалы и общественныя отношенія русскихъ вездѣ покажутся самыми шаткими.

И почти съ презрѣніемъ онъ добавилъ:

— У васъ вѣдь каждый способенъ взять и дать взятку, и принять ласково мошенника, потому что тотъ милый человѣкъ, и, наконецъ, произнести на судѣ «не виновенъ» ограбившему и зарѣзавшему ближняго человѣку...

Онъ снова усмѣхнулся.

— Вы вѣдь сами еще недавно ненавидѣли меня за мою суровую строгость... и любили за мягкость того русскаго учителя, который иногда являлся въ классъ прямо изъ кабака...

Онъ не выдержалъ и въ волненіи, съ сверкающими глазами поднялся съ мѣста.

— Да, я былъ суровъ, безпощаденъ, я могъ исковеркать, сломать испорченнаго и распущеннаго ребенка, но принятая мною на себя обязанность была для меня святыней. Я могъ васъ исключить изъ школы, но я не могъ васъ вести за собою въ кабаки и публичные дома...

Я замѣтилъ, какъ во время этой рѣчи у него конвульсивно сжимались кулаки. Казалось, его охватывало бѣшенствомъ при воспоминаніи объ этихъ «мягкихъ» учителяхъ.

Я проговорилъ съ Вурмомъ до поздней ночи и увидалъ, что я вовсе не зналъ до этой поры этого человѣка.

Въ немъ была масса несимпатичныхъ и даже прямо антипатичныхъ для меня сторонъ; но это былъ цѣльный, точно изсѣченный изъ гранита человѣкъ, жесткій, суровый, прямолинейный фанатикъ. Онъ былъ изъ той породы людей, къ числу которыхъ принадлежали Торквемады и Арбуесы, канонизированные католическою церковью инквизиторы и палачи. Его обстановка, его образъ жизни были болѣе чѣмъ просты, несмотря на то, что онъ могъ бы добиться разныхъ удобствъ при помощи своихъ поклонниковъ и послѣдователей, жертвовавшихъ на его общину не мало денегъ. Но онъ не позволялъ себѣ излишествъ и употреблялъ деньги на пропаганду своего ученія. Въ этомъ ученіи, полномъ разныхъ богословскихъ тонкостей, было много страннаго и даже нелѣпаго, въ родѣ того, что французская революція была первымъ симптомомъ приближенія страшнаго суда, или того, что послѣ страшнаго суда настанетъ на землѣ царство святыхъ и праведныхъ. Вурмъ одинаково твердо вѣрилъ во все это, какъ онъ вѣрилъ и въ то, что онъ дѣйствительно пророкъ, получающій откровенія свыше. Рядомъ съ этимъ въ его головѣ умѣщались стремленія истиннаго демократа, гордаго и презирающаго богачей, и свѣтлыя идеи о необходимости свято исполнять принятыя на себя обязанности, о безусловной честности и неподкупности, о твердости убѣжденій, о братствѣ всѣхъ людей...

Выходя отъ него и вспоминая всѣ мелочи нашей бесѣды, я невольно подумалъ, что съ такими людьми не дай Богъ столкнуться враждебно на одной дорогѣ. Онъ и въ теоріи, и на практикѣ держался одного правила: кто не съ нами, тотъ противъ насъ: или вести на костеръ, или погибнуть на кострѣ... При этомъ мнѣ невольно вспоминалась Женя. Точно ли онъ правъ, что онъ даетъ ей утѣшеніе? И мнѣ

представлялась ея маленькая, худенькая дѣтская фигурка, съ ребяческимъ выраженіемъ лица, съ испуганно открытыми, недоумѣвающими глазами. Мое сердце болѣзненно сжалось отъ предчувствія чего-то недобраго...

XIII.

Тяжело проводить безсонные часы днемъ и ночью у постели опасно больного человѣка, въ полумракѣ, въ одиночествѣ, въ тишинѣ, прислушиваясь къ трудному дыханію больного, къ мѣрному тиканью часовъ, къ доносящимся съ улицы отрывочнымъ звукамъ. Видъ постепенно угасающей человѣческой жизни разстраиваетъ нервы, наводитъ на мысль о смерти вообще—о своей собственной смерти. Берется ли книга или работа, онѣ вываливаются изъ рукъ, на нихъ нѣтъ силы сосредоточиться... Женя узнала по опыту это мучительное состояніе и, безъ того измученная всѣми предшествовавшими событіями, дошла до страшно тяжелаго настроенія. Ея дѣтскій умъ не могъ придти къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ выводамъ. Порою ея душа возмущалась, протестовала.

— Неужели я такая грѣшница, — говорила мнѣ бѣдная дѣвушка:—что на меня должны обрушиться всѣ наказанія? Развѣ я виновата, что я полюбила? Другіе Богъ знаетъ какъ всю жизнь, всю жизнь живутъ и — ничего! А я сдѣлала одну ошибку и нѣтъ минуты покоя...

И чисто по-дѣтски она жаловалась мнѣ. Въ глазахъ Анны Ивановны читаетъ она упреки. Ольга Дмитріевна ей нѣсколько разъ бросила въ лицо оскорбленія. Рейнгольдъ Карловичъ грозитъ ей наказаніемъ за ея грѣхъ и здѣсь, и тамъ. Лева говорилъ то же. Даже Миннушка и та мучитъ ее.

— Тоже вздумала спрашивать,—плакала она:—«Скажи, Женя, неужели это правда? Я не вѣрю, что это правда! Мнѣ страшно и подумать объ этомъ!» Что я ей стану разсказывать? Что она пойметъ? Никогда она никого не любила!.. О, Господи, какое это мученье. Хоть бы сознавать, что онъ, Лева, сохранилъ ко мнѣ любовь: такъ нѣтъ, и онъ...

Рыдая, она заканчивала свои жалобы:

— Проклиналъ, умирая!..

Я, какъ могъ, успокаивалъ ее.

— Не слушай ты никого, заботься о своемъ здоровьѣ; укрѣпятся нервы, и все уляжется, пройдетъ. Но главное, Женя, старайся поменьше думать и говорить о разныхъ загробныхъ мукахъ и наказаніяхъ... Не въ этомъ дѣло.

Ея лицо принимало испуганное выраженіе.

— Что ты, что ты! Какъ же объ этомъ не думать! Я же вѣрю въ Бога...

— Вѣрь въ Него, но не считай Его такимъ, какимъ изображаетъ Его Вурмъ. Ты же сама не разъ называла Вурма фанатикомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, ты это оставь, — прерывала она меня пугливо.—Это я прежде говорила отъ легкомыслія! Теперь я не такая! Я знаю, что Богъ наказываетъ за каждый грѣхъ... Вотъ я жалуюсь—это потому, что я еще не умѣю вѣрить въ Бога, какъ слѣдуетъ, это я тоже грѣшу...

Я осторожно совѣтовалъ ей одно—поменьше говорить съ Вурмомъ. Она, качая головой, отвѣчала мнѣ, что она и такъ рѣдко бесѣдуетъ съ нимъ. Это не онъ вліяетъ на нее. Она и безъ него поняла многое, чего не понимала прежде. Недаромъ же она столько пережила. Любовь къ Левѣ, сознаніе сдѣланнаго грѣха, рожденіе и смерть ребенка, смерть Левы, все это не прошло безслѣдно. Одно ея утѣшеніе — это вѣра. Но она, Женя, слишкомъ слаба и потому она еще ропщетъ на Бога, вотъ что и сокрушаетъ ее, такъ какъ ропотъ—новый грѣхъ. Мнѣ становилось жутко за нее: я сознавалъ, что ея мысли направлены въ ту область, о которой трудно разсуждать и спорить спокойно и трезво. Я говорилъ ей, что нужно прежде всего укрѣпить нервы,— она говорила, что прежде всего нужно думать о душѣ; я указывалъ ей на милосердіе Божіе, — она со страхомъ говорила, что этому милосердію есть предѣлы, и горе тому, кто истощаетъ его; я говорилъ ей, что загладить прошлое можно только перерожденіемъ, добрыми дѣлами,—она говорила, что прежде всего нужна вѣра и что только въ вѣрѣ вся ея опора...

Иногда она казалась мнѣ просто помѣшанной. Мы видѣлись все рѣже и рѣже. Дни же, тяжелые и мучительные для нея, шли обычной чередой. Мой отецъ, заходившій ежедневно къ Аннѣ Ивановнѣ, говорилъ о близкой «развязкѣ».

Наконецъ, развязка настала.

У дома Шельхеровъ стояло нѣсколько дрожекъ, когда къ нему подкатилъ въ собственномъ экипажѣ дядя Карлъ. Высокій, толстый, съ лицомъ нѣмца-пивовара, онъ грузно вылѣзъ изъ коляски и не безъ удивленія взглянулъ тупыми оловянными глазами на съѣздъ извозчиковъ. Онъ, насколько могъ, торопливо потелъ къ крыльцу.

— Что за съѣздъ? — коротко спросилъ онъ у стараго Ивана, отворившаго ему дверь парадная подъѣзда.

Иванъ махнулъ безнадежно рукой.

— И не говорите, сударь! Всѣ налетѣли! Содомъ!

— Кто? Родные?—перебилъ его дядя Карлъ, сбрасывая пальто. — Старый болванъ! Тебѣ приказано никого не пускать! Анна Ивановна больна, а ты...

— Анна Ивановна изволили отдать Богу душу, — отвѣтилъ Иванъ.

Дядю Карла точно пришибло. Онъ запыхтѣлъ, открылъ широко глаза и задыхающимся голосомъ проговорилъ:

— Какъ отдала Богу душу?

— Извѣстно-съ, какъ: померли!—отвѣтилъ Иванъ.

Толстякъ все еще не могъ придти въ себя. Онъ все еще не терялъ надежды, что она придетъ въ сознаніе.

— Какъ же такъ? Когда? Мнѣ почему не дали знать?— заговорилъ онъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ ринулся впередъ.

— Разграбятъ все... Можетъ-быть, духовная есть...

Онъ шагнулъ въ комнату и тотчасъ же услышалъ десятокъ голосовъ, переругивающихся между собою въ сосѣдней комнатѣ.

Онъ грозно сдвинулъ брови и прикрикнулъ, входя во вторую комнату:

— Господа, что все это значитъ! Грабить вы собрались, что ли? Что за гвалтъ?

— А, это вы, это вы!—визгливо воскликнула Ольга Дмитріевна, выдвигаясь ему навстрѣчу.—Вамъ что здѣсь угодно? Распоряжаться пріѣхали? Опоздали-съ! Можете избавить себя отъ труда. Мы теперь наслѣдники! Мы! Или за своей идіоткой, Миннушкой, изволили пріѣхать! Пожалуйста, берите эту драгоцѣнность! Это ваше наслѣдство!.. Ха-ха-ха!

— Молчать!—крикнулъ дядя Карлъ, багровѣя отъ гнѣва и сжимая кулаки.

— Ну, ну, полегче!—произнесъ насмѣшливо мужской голосъ, и родственникъ Анны Ивановны, плотовщикъ, худой и длинный, въ мѣщанскомъ длинноломъ сюртукѣ, выдѣлился изъ толпы; его изрытое оспой, тощее и желтое лицо смотрѣло насмѣшливо и нагло. — На заводѣ у себя мастеровщину унимай, а здѣсь—отъ воротъ да и поворотъ... Коли что успѣлъ стибрить, такъ и благословляй Господа Бога, что къ суду не потянемъ... Не мало тоже сестрицу обирали...

— Да какъ ты смѣешь!—грозно прохрипѣлъ, надвигаясь на него, дядя Карлъ.

— Не драться ли хочешь?—спросилъ мѣщанинъ, сощуривъ глаза.

И, обращаясь къ остальнымъ, прибавилъ не безъ юмора:

— Ишь, давно битъ не былъ, встосковался...

— Господа, господа, перестаньте! Здѣсь не мѣсто и не время!—вмѣшались какіе-то франтоватые молодые люди въ ссору.

Это были два адвоката, которыхъ притащили «на случай» въ домъ Шельхеровъ «наслѣдники».

— Судебный приставъ, судебный приставъ пріѣхалъ! — раздалось чье-то восклицаніе.—Полиція съ нимъ...

Всѣ хлынули къ дверямъ навстрѣчу судебному приставу и полицейскимъ офицерамъ. Раздались голоса наперебой:

— Надо, господинъ приставъ, тотчасъ же все описать. Тутъ чужіе люди могутъ все разграбить! Опечатать всѣ комнаты надо! Полиція должна охранить...

— Позвольте, можетъ-быть, духовное завѣщаніе есть, — вмѣшался дядя Карлъ.

Съ несвойственною ему живостью онъ началъ объяснять прибывшимъ, что въ сущности все принадлежало его брату, что у нихъ есть родные въ Саксоніи, что Анна Ивановна только временно владѣла всѣмъ, что, можетъ-быть, въ духовной все это выяснено.

— Ждите, ждите! При второмъ пришествіи дождетесь,— съ язвительной усмѣшкой воскликнула Ольга Дмитріевна.

Она какъ-то судорожно смѣялась, возбужденная, почти обезумѣвшая отъ мысли, что дни ея лишеній кончены, что она стоитъ въ преддверіи къ богатству.

Приставъ чуть не отбивался.

— Успокойтесь, успокойтесь, господа!—уговаривалъ онъ родныхъ, надѣвая цѣпь.

Одинъ изъ полицейскихъ офицеровъ тоже счелъ долгомъ явиться успокоителемъ страстей и внушалъ присутствующимъ уваженіе къ закону:

— Все будетъ сдѣлано по порядку, на все есть законы!.. Успокойтесь, господа, надо знать приличіе!..

— И никому, никому не позволяйте оставаться въ домѣ! Весь домъ запечатать надо!—кричала Ольга Дмитріевна, не слушая никого и перебивая всѣхъ. — Вы отвѣтите за все, если что разграбятъ... за все отвѣтите! Тутъ тысячи...

Приставъ пожалъ плечами

— Я ничего не опишу, господа, если вы будете кругомъ меня кричать.

— Начинайте, начинайте!—поднялись голоса.

Дядя Карлъ не выдержалъ и замѣтилъ:

— Это возмутительно! Не успѣли похоронить..

Его перебила Ольга Дмитріевна ядовитымъ голосомъ:

— А вы хотѣли бы, чтобы вамъ дали время все ограбить?.. Знаемъ мы васъ!.. Во что Левины-то похороны вскочили?.. На чужое добро щедры!.. Миннушку-то свою лучше возьмите, а то на улицѣ околѣетъ съ голоду! Поцарствовала на чужихъ хлѣбахъ...

И, увлекая за собой пристава, толпа двинулась въ столовую. Здѣсь приставъ приступилъ къ накладыванію печатей. Ольга Дмитріевна увидала проходившую изъ залы Женю, блѣдную, съ осунувшимся лицомъ, съ мрачнымъ, обезумѣвшимъ взглядомъ.

— А, Евгенія Александровна, къ тетечкѣ своей ходили вымаливать прощенія въ грѣхахъ! — воскликнула она.— Счастливы вы, что старуха умерла безъ сознанія. Ахъ, какъ счастливы! Ужъ я бы заставила ее пустить васъ по-міру, если бы она хоть на минуту пришла въ себя. Теперь-то вамъ хорошо, у честныхъ родныхъ ихъ долю урвете! Вы вѣдь главная наслѣдница! Только ужъ извините, здѣсь васъ не оставятъ, не оставятъ, довольно куролесили...

Женя даже не повернула головы. Она шла точно во снѣ, точно окаменѣвшая отъ ужаса. Ольга Дмитріевна послала ей вслѣдъ какое-то ругательство и опять, обращаясь къ приставу и полицейскимъ, горячо проговорила:

— Я требую, чтобы ни одна душа не смѣла оставаться въ домѣ!

И, точно сумасшедшая, она обратилась къ роднымъ:

— Господа, да долго ли онъ будетъ копаться? Вѣдь, можетъ-быть, въ другихъ комнатахъ грабятъ. Отъ Женьки и Минки всего можно ждать. Мы тутъ, а онѣ тамъ грабятъ, карманы набиваютъ!.. Да я ихъ обыщу, обыщу! Володечка, Володечка, — крикнула она сыну: — поди, обойди комнаты, посмотри, что тамъ дѣлается...

— Мамашечка, успокойтесь, успокойтесь, ключи вѣдь всѣ здѣсь, отобраны ключи,—успокоивалъ ее сынъ мягкимъ голосомъ.—Какъ только умерла Анна Ивановна, мы тотчасъ же отобрали ключи...

Въ сѣренькихъ брючкахъ, въ черненькомъ пиджачкѣ, въ красненькомъ галстучкѣ, онъ со своимъ одутловатымъ лицо-

комъ и завитыми волосами смотрѣлъ херувимчикомъ, глупо улыбаясь отъ мысли о наслѣдствѣ. Вдругъ мать схватила его за рукавъ такъ, что онъ вздрогнулъ, и съ широко раскрытыми глазами прошептала ему:

— Ложку, серебряную ложку стянулъ кто-то! Ей-Богу, сама видѣла, что ложка серебряная, изъ которой лѣкарство давали, была еще утромъ на буфетѣ.

Володя, красный, какъ ракъ, быстро заморгавъ глазами, такъ же тихо отвѣтилъ ей смиреннымъ голосомъ:

— Оставьте, мамашечка, Богъ съ ней, Богъ съ ней! Ради Бога, не поднимайте, мамашечка, скандала изъ-за ложки...

— Какъ? Такъ такъ и позволять грабить?—сказала она, съ удивленіемъ взглянувъ на него. — Володечка, что ты говоришь!

Онъ скромно потупилъ глаза и уже совсѣмъ молящимъ тономъ добраго заступника за несчастныхъ прошепталъ:

— Что-жъ дѣлать, мамашечка, если человѣку понадобилась эта бездѣлица... Можетъ-быть, просто память... о бабушкѣ на память...

Онъ стоялъ съ смиреннымъ видомъ, засунувъ руку въ брючки, моля и говоря безсвязныя фразы. Мать взглянула на него и потомъ, сообразивъ что-то, спросила:

— Ты?

Онъ сконфуженно опустилъ головку.

Она съ чувствомъ грусти вздохнула:

— Володечка, зачѣмъ же ты не сказалъ мнѣ, если ты взялъ... Ахъ, Володечка, развѣ я для тебя пожалѣла бы!

Онъ совсѣмъ опустилъ глаза въ землю:

— Я на память о бабушкѣ...

— Бѣдный мальчикъ! — со вздохомъ прошептала она и нѣжно поцѣловала его въ голову. — Доброе сердце, доброе сердце!

Онъ скромно придерживалъ карманъ брюкъ, боясь, что въ нихъ зазвенятъ скраденныя имъ мелкія вещи.

Опись и опечатыванье столовой кончились, всѣ перешли въ слѣдующую комнату.

— Я пойду, мамашечка, посмотрѣть, что дѣлаютъ Женя и Минна, — встрепенувшись, сказалъ Володя и направился къ дверямъ.

Его нагналъ въ нихъ плотовщикъ.

— Вотъ и я съ тобой, паренекъ!—потрепавъ его по плечу, сказалъ съ улыбкой мѣщанинъ. — Можетъ, одному боязно? Тоже покойница въ домѣ... Покойниковъ-то не боишься?

Володя оторопѣлъ, поднялъ глаза на своего родственника. Это рябое и желтое лицо было совершенно серьезно, даже ласково, только въ сощуренныхъ узкихъ глазкахъ было что-то въ родѣ насмѣшки.

— Покойниковъ? — спросилъ Владиміръ съ недоумѣніемъ.—Нѣтъ, не боюсь.

— То-то! Чего ихъ бояться, не крикнутъ, за полы не схватятъ... А то есть такіе, что боятся!—продолжалъ тѣмъ же шутливымъ тономъ плотовщикъ.—А ты это хорошо дѣлаешь, что не боишься. Чего ихъ бояться?

И, войдя съ Володей въ нарядную спальню Анны Ивановны, гдѣ теперь все было въ страшномъ безпорядкѣ, послѣ обмыванія покойницы, онъ продолжалъ:

— Ишь какъ вѣдь вещи поразбросаны. Бери, что хочешь. Бѣда, коли вора пустить, все прикарманитъ... Хе-хе! Правда? А?

Онъ ударилъ по плечу Володю. Тотъ, придерживая рукою карманъ брюкъ, поспѣшилъ согласиться:

— Да, да!.. Прикарманитъ!

У него теперь зубъ на зубъ не попадалъ.

— Молодецъ! Понимаешь тоже дѣла, — засмѣялся мѣщанинъ.

Онъ взялъ со стола серебряную чарку и повертѣлъ ее въ рукахъ.

— Ишь, какая славная штучка! Посмотри, нравится?

— Да, красивая...

— Да, да, красивая... Ну, и пусть ее тутъ стоитъ. Мы, братъ, съ тобой ее не возьмемъ. Пусть опишутъ!

Приставъ, полицейскіе и толпа родныхъ вошли въ эту комнату. Мѣщанинъ стоялъ около Володи, теперь сумрачнаго и сконфуженнаго, съ растеряннымъ выраженіемъ лица. Мать подошла къ нему.

— Что съ тобой, Володечка?—проговорила она.

— Чортъ знаетъ, что этотъ дуракъ за мной таскается. О ворахъ толкуетъ!—обидчиво сказалъ Володя. — Кажется, я не подалъ повода!

— Ахъ, Володечка, воры всегда толкуютъ о ворахъ,— громко отвѣтила Ольга Дмитріевна.—Они, эти воры, думаютъ этимъ отвести глаза.

Она многозначительно и свысока бросила взглядъ на плотовщика.

По липу мѣщанина скользнула усмѣшка.

— Это ты правду говоришь, Ольга Дмитріевна. Воры

завсегда о ворахъ толкуютъ. Иной такъ и пыжится, чтобы его воромъ-то не признали.

Его лицо стало совсѣмъ нахальнымъ.

— А конечно, иной разъ и спустишь, чтобы шкандала не поднимать... Часъ на часъ не приходится, иной разъ и спустишь... Тьфу!

Онъ громко сплюнулъ. Ольга Дмитріевна отвернулась.

— Теперь сюда надо перейти?—сказалъ приставъ, направляясь къ двери.

Присутствующіе не успѣли остановить его, и онъ, распахнувъ дверь, остановился на порогѣ. Остановились и всѣ остальные: передъ ними была большая роскошная бѣлая зала съ мебелью въ бѣлыхъ чехлахъ, съ люстрой въ такомъ же чехлѣ. Въ углу залы на столѣ, накрытомъ кое-какъ бѣлою простынею, лежалъ трупъ, прикрытый тоже кое-какъ другой простыней. Его отраженіе и отраженіе стульевъ и креселъ, какъ бы одѣтыхъ въ саваны, повторялось въ десяткѣ простѣночныхъ и каминныхъ зеркалъ. Казалось, это была мертвецкая съ десятками труповъ, закутанныхъ въ простыни и саваны, а не шельхеровскій парадный залъ. Всѣ вздрогнули, трусливо попятились назадъ. Раздался пугливый суевѣрный шопотъ: «Зеркала не завѣсили!» «Покойникъ будетъ!» «Кто же?» «Чего же смотрѣла прислуга?» «Гдѣ же простыни?» Никто не рѣшался переступить порога. Толпа, за минуту передъ тѣмъ говорливая и наглая, теперь была тиха, труслива. Нѣсколько рукъ поднялось какъ-то безсознательно, чтобы сотворить крестное знаменіе.

— Господинъ приставъ,—наконецъ, растерянно проговорила Ольга Дмитріевна.—Простыни тутъ нужны...

Приставъ повернулъ къ ней голову и пожалъ плечами.

— При чемъ же я-то тутъ?—спросилъ онъ.

— Мы... вы... сейчасъ запечатали шифоньеръ... онѣ тамъ должно-быть...

Всѣ растерянно, смутно заговорили разомъ.

— Надо распечатать! Достать! На что это похоже! Подумали бы прежде о покойницѣ...

И, отступивъ назадъ, затворивъ двери, всѣ вдругъ стали упрекать другъ друга, сваливая съ себя вину на другихъ...

— Мы вѣдь только пріѣхали сюда, а хороши жившія тутъ, Миннушка и Женя, хороши,—волновалась Ольга Дмитріевна.—Бросили покойницу... Вотъ и отплата Аннетѣ за то, что она ихъ пригрѣла... Неблагодарныя...

— Позвольте, позвольте, да вѣдь вы первая прискакали

сюда и отобрали ключи у нихъ! — перебилъ ее кто-то изъ родни.

— А онѣ не могли развѣ сказать, что простыни нужно достать?—огрызалась Ольга Дмитріевна.

— А у самихъ догадки не было?

И заварилась опять каша упрековъ и брани...

XIV.

Когда я пришелъ на вторую панихиду въ семь часовъ вечера, я засталъ въ залѣ всю родню покойной Анны Ивановны. Всѣ эти люди шумѣли, точно рой встревоженныхъ пчелъ. Во всѣхъ углахъ шли споры о правахъ на наслѣдство и среди этихъ споровъ съ ожесточеніемъ произносилось имя Жени. Ее забрасывали теперь беззастѣнчиво грязью за то, что она была главной наслѣдницей. Она невольно урывала у этихъ людей львиную часть добычи. Вся таившаяся прежде злоба на любимицу богатой родственницы прорвалась теперь наружу. Ольга Дмитріевна бранилась громче всѣхъ и даже грозила, что она доведетъ до свѣдѣнія «правительства», что Женя жила съ двоюроднымъ братомъ. Слышались восклицанія: «ее въ монастырь упечь, а не богатствомъ надѣлять; церковному покаянію подвергнуть, а не наслѣдницей дѣлать; это возмутительно, что правительство не обращаетъ вниманія на подобный развратъ». Я почти со страхомъ искалъ глазами Женю. Ея не было въ залѣ. Я пошелъ ее искать и засталъ ее въ ея комнатѣ. Блѣдная, исхудалая, она сидѣла у стола, опустивъ на руки голову и смотря сухими, горящими глазами впередъ. Она вздрогнула, когда я окликнулъ ее.

— А, это ты!—сказала она сдавленнымъ голосомъ.—Ты былъ тамъ? Слышалъ?

Я молча кивнулъ головой.

— Позорятъ! Кричатъ на весь городъ! Съ грязью смѣшали!—воскликнула она отрывисто.

— Успокойся,—тихо сказалъ я.—Потерпи еще...

— Нѣтъ, нѣтъ, ты скажи, за что это наказаніе?—воскликнула она страстно, и ея лицо стало мрачно, глаза сверкали гнѣвомъ.—Ну да, я согрѣшила, пала! А они? развѣ они лучше меня? За что же меня одну терзаютъ, преслѣдуютъ? Я и такъ наказана. Все отнято, все—надежды, радости, счастіе, молодость, покой... Что же Богъ?.. Гдѣ Его милосердіе?..

Она какъ-то мрачно взглянула на меня и неожиданно спросила:

— Ты видѣлъ ее?

— Кого?—спросилъ я.

— Ее, тетю.... О, я не могу ее видѣть! Это раздутое тѣло, эти полуоткрытые свинцовые глаза... Я утромъ была тамъ... Господи, изъ всѣхъ зеркалъ она смотрѣла на меня... Хотѣла я молиться... Не могу... не могу!..

И упавшимъ голосомъ она закончила:

— Всю жизнь, всю жизнь она будетъ стоять передъ моими глазами!.. Лучше бы я ушла тогда, послѣ смерти Левы, чтобы не видать... не слыхать...

Она не выдержала и тихо заплакала слезами безпомощнаго ребенка. Страстное возбужденіе, протестующій порывъ прошли, и она снова была беззащитнымъ существомъ съ маленькимъ, подавленнымъ непосильной работой умомъ. Я подошелъ къ ней и обнялъ ее одною рукою; она припала къ моему плечу, тихо плача. Въ комнату вошелъ Вурмъ.

— Евгенія Александровна, — сказалъ онъ. — Панихида началась.

Она быстро очнулась. Опять къ ней возвратились силы, опять въ душѣ поднялся протестъ. Съ блестящими, уже сухими глазами она взглянула на пророка, выпрямившись во весь ростъ.

— Я не пойду на панихиду!—рѣзко отвѣтила она.—Ни за что! ни за что!

— Какъ не пойдете?—удивился онъ.

— Я не хочу слышать, какъ меня бранятъ, позорятъ, какъ указываютъ на меня пальцами!

Онъ вздохнулъ.

— Грѣхи искупаются испытаніями.

— А! такъ пусть мой грѣхъ останется на мнѣ, если я должна искупить его этимъ! Да, да, пусть онъ останется на мнѣ! Довольно, довольно я терпѣла! Пять мѣсяцевъ... нѣтъ, что я говорю... не мѣсяцы, а годы я терпѣла за минуту увлеченія... Они хуже меня, а топчутъ меня въ грязь. Они...

— Евгенія Александровна!—сурово произнесъ пророкъ.— Не искушайте Господа, подумайте.

Она страстно перебила его.

— Оставьте, оставьте меня! Что вамъ за дѣло до моей души? Ну, и погибну, а терпѣть этого я не въ силахъ!

И, обращаясь ко мнѣ уже другимъ тономъ—тономъ горькой жалобы, она воскликнула:

— Хотятъ, чтобы шла сама къ позорному столбу! Хотятъ, чтобы передъ ними унижалась!

— Богъ...—началъ Вурмъ.

— Не говорите, не говорите мнѣ о Богѣ! Вѣрить не стану въ Него, если Онъ этого требуетъ!—точно помѣшанная закричала она.—Да, да, не стану вѣрить, если у Него милосердія нѣтъ!.. Не смущайте меня, оставьте меня!.. Истерзали меня всѣ, всѣ!

Ея голосъ замеръ въ рыданіяхъ. Я подошелъ къ Вурму и тихо сказалъ ему:

— Рейнгольдъ Карловичъ, вы видите, что ей прежде всего нуженъ покой...

Онъ сурово, но въ то же время растерянно взглянулъ на меня.

— Ей прежде всего нужно спасти свою душу...

Дверь отворилась, и въ комнату легкой походкой вошла моя мать. Увидавъ рыдающую Женю, она подошла къ ней и мягкимъ, ласковымъ голосомъ окликнула ее. Женя бросилась къ ней въ объятія, какъ обиженный ребенокъ, ищущій защиты.

— Я не пойду туда... Я не могу видѣть ее... Мнѣ страшно... И всѣ они тамъ... Я не могу, я скорѣе руки на себя наложу...

Мать, кротко гладя ее по головѣ, тихимъ, ласкающимъ голосомъ сказала ей:

— Полно, полно! Панихида кончилась! Теперь пора ѣхать! Поѣдемъ къ намъ! Не оставаться же тебѣ здѣсь. Минушка тоже поѣдетъ къ намъ...

Женя, прижимаясь къ ней, подняла на нее глаза, какъ бы не вѣря ея словамъ.

— Вы... точно... возьмете меня?.. О, ради Бога, ради Бога!.. Я не вернусь болѣе сюда... никогда... никогда...

— И не надо... Зачѣмъ же?

Вурмъ былъ мраченъ. Впервые онъ колебался, что дѣлать. Но онъ все же попробовалъ протестовать.

— Евгенія Александровна должна же исполнить обязанность, присутствовать на панихидахъ, на отпѣваніи,—сказалъ онъ.—Этого требуетъ христіанскій долгъ...

Моя мать посмотрѣла на него своимъ обычнымъ неотразимо добрымъ взглядомъ.

— Дѣвочка и безъ того много намучилась,—коротко сказала она, какъ бы прося его оставить это несчастное созданіе.—Ей нуженъ отдыхъ. А для покойниковъ и Бога, право, эти церемоніи не имѣютъ значенія. Женя помолится и дома...

Вурмъ хотѣлъ еще возражать, но мать остановила его.

— Чѣмъ меньше будетъ Женя напоминать о себѣ, тѣмъ меньше будетъ скандаловъ со стороны этихъ родныхъ...

И, ужъ не обращая болѣе на него вниманія, она начала торопить Женю собираться. Вурмъ, противъ ожиданія, не настаивалъ болѣе. Онъ понялъ, должно-быть, что настойчивостью теперь можно погубить свое собственное дѣло. На минуту я подумалъ, что теперь все пойдетъ отлично, что Женя освободится отъ его вліянія, успокоится...

Я жестоко ошибся.

Пріѣхавъ къ намъ, Женя дѣйствительно какъ будто успокоилась. По крайней мѣрѣ, она не говорила о тревожившихъ ее вопросахъ. Молчаливая, затихшая, сосредоточенная, она, казалось, хотѣла только одного, чтобы ее оставили въ покоѣ и не трогали. Я, мать и отецъ не считали возможнымъ непрошенно врываться въ ея душевный міръ и не касались ничего, что могло бы взволновать ее. Матушка тихонько говорила: «пусть отдохнетъ бѣдная дѣвочка; ей только отдыхъ и нуженъ; молодость возьметъ свое». Но никто изъ насъ не могъ сообразить, какъ непривыченъ и тяжелъ долженъ показаться Женѣ складъ нашей жизни. Мы всѣ по цѣлымъ днямъ были въ работѣ, отбывая свои привычныя обязанности бодро и весело. Иногда мы встрѣчались и болтали между собою только за завтраками, обѣдами и вечернимъ чаемъ. Женя волей-неволей оставалась одна: она видѣла, что мы заняты дѣломъ, и не мѣшала намъ; она могла бы читать или говорить съ Миннушкой, но ни то, ни другое не шло ей на умъ. Мать раза два замѣтила Женѣ, чтобы она принялась за какую-нибудь работу, но Женя коротко отвѣтила, что у нея все валится изъ рукъ. Непривычка къ какому-нибудь труду, къ какой-нибудь дѣятельности у нея была полная. Теперь сказывалось вполнѣ это воспитаніе барышни, умѣющей только играть на фортепіано, читать книги, вышивать въ крайнемъ случаѣ какія-нибудь ненужныя подушки... Такъ прошло три недѣли. На четвертой мы однажды увидѣли, что Женя куда-то собирается.

— Куда ты, Женя?—спросила моя мать.

Женя немного смутилась и въ замѣшательствѣ отвѣтила:

— Мнѣ надо сходить... по дѣлу...

— Ты же не привыкла ходить одна,—сказала матушка.— Не хочешь ли, я пойду съ тобой?

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Я не маленькая...

И, улыбаясь горькой улыбкой, она прибавила:

— Мнѣ надо же привыкать ходить одной...

Она ушла. Тотчасъ по ея уходѣ Миннушка начала разсказывать, что Женя плакала всю ночь. Плакала и молилась. И въ предыдущія ночи она иногда плакала и молилась, но нынче, кажется, не спала всю ночь напролетъ. Матушка встревожилась. Что съ ней? Что она плачетъ, это естественно, у нея не мало на душѣ горя, но куда она пошла? Ужъ не пришла ли ей въ голову мысль о самоубійствѣ? Этого можно ждать при ея разстроенныхъ нервахъ. Не слѣдовало ее отпускать одну. Но къ обѣду Женя вернулась. Ея лицо было теперь спокойнѣе, на немъ даже появилась улыбка. Моя мать успокоилась. Никто не спрашивалъ Женю, куда она ходила. Но не прошло и часа послѣ ея возвращенія домой, какъ Миннушка сообщила моей матери, что Женя принесла домой нѣсколько иммортелей. Мать догадалась, что Женя ходила на могилы Левы и Анны Ивановны. Въ этомъ не было ничего удивительнаго. Это даже хорошій знакъ: она посѣтила могилы близкихъ и вернулась болѣе спокойною. Значитъ острая боль прошла. Черезъ день Женя снова ушла съ самаго ранняго утра и опять вернулась только къ обѣду. Опять ея лицо улыбалось какой-то полубезмысленной улыбкой. Въ слѣдующіе дни повторилось то же. Не слишкомъ ли часты эти посѣщенія? Не разстроятъ ли они снова нервовъ? Едва ли полезны для здоровья молодой дѣвушки эти memento mori. Наконецъ, моя мать неожиданно спросила ее:

— Хорошо на кладбищѣ?

Женя вся вспыхнула.

— Да... хорошо!..

Матушка ласково замѣтила:

— Но не ходи туда такъ часто, Женя; ты утомишь себя...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Я такъ счастлива тамъ!.. Я готова тамъ цѣлые дни сидѣть...

Миннушка вздохнула.

— Нѣтъ, я бы не могла. Это производитъ тяжелое впечатлѣніе...

Женя сдвинула брови, видимо сердясь на Минну.

— Изнѣжила ты себя слишкомъ,—сказала она почти сурово:—нельзя же вѣчно дѣлать только то, что намъ легко...

Мы переглянулись между собою, точно ища, нѣтъ ли между нами Вурма.

— Миннушка человѣкъ больной, — сказала матушка: — было бы странно, если бы она стала еще болѣе надрывать свое здоровье.

— И я тоже не особенно здорова,—рѣзко сказала Женя:— а все же...

Матушка перебила ее:

— Потому-то я и не совѣтую тебѣ такъ часто ходить на кладбище. Покойникамъ это вовсе не нужно.

— Это мнѣ нужно, Елена Андреевна,—коротко отвѣтила Женя.—И такъ я много воли и поблажекъ себѣ дала...

Моя мать улыбнулась и постаралась обратить разговоръ въ шутку:

— А теперь вымуштровать себя хочешь?

Женя нахмурилась, но не возразила ничего.

На слѣдующій день вечеромъ совершенно неожиданно зашелъ къ намъ Вурмъ. До этой поры онъ не бывалъ у насъ. Здороваясь со всѣми, объясняя, что онъ хотѣлъ навѣстить «дѣвицъ», онъ между прочимъ спросилъ Женю:

— Вы еще долго оставались послѣ меня сегодня на кладбищѣ?

Она сконфузилась и отвѣтила:

— Нѣтъ, я сейчасъ же послѣ васъ ушла...

Мы переглянулись между собою. Значитъ, она видѣлась съ Вурмомъ? Зачѣмъ? Была ли это случайность или нѣтъ? Изъ его словъ мы узнали, что она заходила къ нему. Женя сидѣла, какъ на иголкахъ, порываясь уйти. Когда она вышла изъ комнаты, онъ сказалъ:

— Я радъ, что въ ея душу нисходятъ успокоеніе и примиреніе съ Богомъ. Послѣднія искушенія и протесты плоти отошли прочь. Нужно только поддержать ее въ этомъ настроеніи, вѣра просвѣтлитъ ее и очиститъ отъ грѣховъ...

Намъ было какъ-то не по себѣ.

Вурмъ, между прочимъ, осторожно приступилъ къ главной цѣли своего визита. Онъ заявилъ, что Евгеніи Александровнѣ нужно бы устроиться прочно, не на бивуакахъ. Притомъ ея присутствіе и присутствіе Миннушки стѣсняетъ насъ. Моя мать довольно рѣзко, что было не въ ея характерѣ, возразила ему, что насъ это не стѣсняетъ, что мы никому не жаловались, кажется, на стѣсненіе. Кромѣ того, Женѣ и не на что покуда устроиться иначе. Вурмъ заявилъ, что все можно уладить. Дядя Карлъ соглашается выдать заимообразно нужныя для устройства Евгеніи Александровны и Миннушки деньги. Онъ, Вурмъ, ѣздилъ на-днихъ

къ Шельхеру, уговорилъ его. Впрочемъ, было не трудно уговорить. За его одолженіе Евгенія Александровна пріютитъ у себя Миннушку. Иначе ему придется содержать Миннушку. Это, впрочемъ, и для Евгеніи Александровны хорошо: она сдѣлаетъ первое доброе дѣло, раздѣлитъ свой достатокъ съ нуждающейся сестрой. Потомъ онъ началъ, какъ бы оправдываясь, объяснять, что нельзя же, чтобы дѣвушки сидѣли у насъ на шеѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, пока кончится дѣлежъ наслѣдства. Чѣмъ скорѣе устроить ихъ, тѣмъ лучше, спокойнѣе для насъ. Мы чувствовали, что онъ спѣшитъ спасти Женю изъ семьи язычниковъ. Въ душѣ поднималась прежняя враждебность къ этому человѣку. Когда вошла Женя, мы замѣтили, что она вопросительно взглянула на Вурма. Онъ едва замѣтно склонилъ голову, какъ бы говоря: «объяснилъ!» Намъ стало вполнѣ ясно, что все его объясненіе было обусловлено съ Женей. Это она просила его, чтобы онъ ее устроилъ не у насъ. Ея душу теперь снова охватывалъ страхъ передъ адскими мѵками; ее опять мучили суевѣрныя представленія загробныхъ ужасовъ. Моя мать вздохнула и проговорила холоднымъ тономъ:

— Если Женя считаетъ это болѣе удобнымъ для себя, то тутъ и говорить нечего...

Женя покраснѣла, но не возразила ничего. Она только пробормотала что-то трусливо и смущенно, желая объяснить, «что это не она хлопочетъ, а впрочемъ... она тоже понимаетъ, что намъ не легко содержать ее и Минну». Никто не обратилъ вниманія на это трусливое желаніе вывернуться, хотя это была новая черта въ характерѣ Жени. До этой поры она была прямодушна. Разговоръ сдѣлался какимъ-то натянутымъ и неловкимъ. Черезъ полчаса Вурмъ поднялся съ мѣста и откланялся, чинный, сдержанный, сухой. Моя мать по его уходѣ не обмолвилась ни однимъ словомъ упрека Женѣ. И на что были нужны упреки? За что? У каждаго свои убѣжденія, свои взгляды. Только два черезъ три, когда Женя и Минна переѣзжали отъ насъ на нанятую для нихъ квартиру, моя мать замѣтила со вздохомъ Миннушкѣ:

— Тяжело тебѣ будетъ, Миннушка! Не забывай насъ, когда взгрустнется. Нашъ домъ всегда открытъ для тебя...

Миннушка расплакалась. И моя мать, и сама Миннушка предчувствовали, что жить съ Женей будетъ не легко...

XV.

Понеслись дни за днями, стирая воспоминанія о прошлыхъ событіяхъ, о сошедшихъ со сцены лицахъ.

Какъ-то чутьемъ члены моей семьи угадывали, что мы будемъ всегда лишними гостями у Жени, и заходили къ ней все рѣже и рѣже. Она тоже сначала посѣщала насъ только изрѣдка, потомъ перестала вовсе заходить къ намъ, даже болѣе—начала избѣгать встрѣчъ съ нами. Отчасти она избѣгала насъ потому, что именно мы лучше всѣхъ знали всѣ мелкія событія ея прошлаго; отчасти она боялась встрѣчъ съ нами, какъ съ людьми, не придающими значенія тому, чему придавала теперь значеніе она. Преобладающимъ чувствомъ въ ней теперь явился страхъ—страхъ передъ людьми, которые знали о ея связи съ Левой, страхъ передъ Богомъ, Который можетъ ее наказать послѣ смерти, страхъ передъ Вурмомъ, который всецѣло захватилъ ея душу и могъ казнить и миловать ее, какъ неразумное дитя. Ея лицо стало какъ будто меньше, ея губы постоянно кривились не то въ слащавую, не то въ кислую улыбку, ея глаза стали бѣгать и моргать, избѣгая встрѣчи съ посторонними взглядами. Такъ смотрятъ глуповатыя, забитыя и потому старающіяся хитрить дѣти.

О ней мы узнавали чаще всего отъ Миннушки, заходившей иногда къ намъ отвести душу и поплакать.

По словамъ Миннушки, Женя ежедневно посѣщала или кладбище, или церковь, или Вурма. Если она не заходила нѣсколько дней къ нему, онъ приходилъ къ ней самъ.

— Какъ она выноситъ эту жизнь,—жаловалась намъ однажды бѣдная, больная старая дѣва-ребенокъ.—Лишаетъ себя всего необходимаго, утомляетъ себя стояньемъ у обѣденъ, у всенощныхъ, у заутренъ, на панихидахъ, на молебнахъ. И, Господи, сколько у васъ, у русскихъ, этихъ службъ! Я прежде и не знала. Тетя вѣдь никогда не могла удосужиться съѣздить въ церковь... А теперь ужъ я знаю всѣ эти службы. Да это что, пусть бы молилась только. Такъ нѣтъ! Вѣрите ли, моетъ полы и печи топитъ у Вурма въ залѣ, гдѣ собираются члены его общины. За счастіе это считаетъ. Все, чтобы душу спасти!

И уже совсѣмъ слезливымъ тономъ она продолжала разсказывать о себѣ:

— На меня все нападаетъ она за то, что я нѣженка, что я ничего не дѣлаю, что я только о своемъ тѣлѣ и за-

бочусь. Да вѣдь я больной человѣкъ, я рада, когда я могу полежать. У меня всѣ кости болятъ, живого мѣста нѣтъ! И развѣ можно при нашей пищѣ быть здоровой? Вѣдь мы во всемъ себя урѣзываемъ, каждый кусокъ хлѣба на счету, только кашами и питаемся...

Дѣйствительно, длинное лицо Миннушки, худощавое и прежде, теперь было совсѣмъ обтянуто кожей, пожелтѣвшей, сморщенной. Это было лицо постоянно голодающаго человѣка. Ея горбатенькая фигурка скривилась еще болѣе на бокъ, и старая дѣва казалась теперь меньше ростомъ.

— Но вѣдь Женѣ большой капиталъ достался?—замѣтила моя мать, возмущенная разсказомъ Миннушки,

— Шестьдесятъ тысячъ слишкомъ пришлось на ея долю,— отвѣтила Миннушка со вздохомъ.—Господи, какія деньги...

— Ужъ не отдаетъ ли она деньги Вурму?—сказалъ я.

Миннушка махнула рукой.

— Нѣтъ! На его общину даетъ она немного. Себѣ вѣдь онъ почти никогда ничего не беретъ. Если что и беретъ, такъ на дѣла общины. Нѣтъ, въ деньгахъ недостатка у Жени нѣтъ. А такъ ужъ это у нея такой теперь характеръ. Все она нищей боится остаться. «Знаю я, говоритъ, что на улицѣ мнѣ пришлось бы умереть, если бы не было у меня денегъ». Да, кромѣ того, она все считаетъ лишнимъ. Плоть, говоритъ, надо убивать.

Я съ грустью вспомнилъ, что когда-то и Миннушка говорила то же со словъ Вурма. Живо мнѣ припомнился тотъ ясный лѣтній день, когда убогая дѣвушка, съ наслажденіемъ впивая ароматъ сорванныхъ ею левкоевъ, поучала меня теоріямъ Вурма о сладости и необходимости страданій. Какъ далеко было теперь это время, когда она могла мечтать и фантазировать на эту тему, утѣшая себя за свое убожество и за свои недуги. Она съ какимъ-то упоеніемъ развивала эти мысли тогда, когда ей только птичьяго молока недоставало, когда даже въ дни легкихъ недуговъ было такъ сладко нѣжиться на пуховой постели подъ шелковыми одѣялами среди прихотливой обстановки богатой дѣвической спальни. Миннушка молчала и впала въ раздумье. Можетъ-быть, ей тоже припомнились далекіе годы ея счастья. Молчаніе прервала моя мать.

— Но вѣрно она помогаетъ бѣднымъ?—спросила она про Женю, ища инстинктивно какихъ-то оправданій для Жени.

— Да, да, помогаетъ!—страстно воскликнула Миннушка съ горькой усмѣшкой.—Но не дай Богъ никому получать

ея помощь! Измучитъ человѣка наставленіями, прежде чѣмъ дастъ пособіе. «Всѣ, говоритъ, терпѣть должны. Терпѣнья у насъ нѣтъ, выносливости нѣтъ. Жаловаться мы только умѣемъ. Иные и не такія страданія вынесли и никогда не ропщутъ на Бога. Лишенія и бѣдность ничего не значатъ. Есть посильнѣе мученія, а и ихъ иные люди безропотно переносятъ...» Это все своими страданіями гордится, думаетъ, что больше ихъ ужъ ничего и быть не можетъ... А развѣ она испытала бѣдность? развѣ она оставалась безъ куска хлѣба. О, о, она никогда не испытала настоящаго голода! Если она лишаетъ себя необходимаго, такъ это по доброй волѣ. Бѣдняки же и рады бы поѣсть, да гдѣ взять? Какъ же можно ихъ такъ оскорблять?..

Миннушка смолкла и тяжело вздохнула. Я никогда не видалъ ее такой возбужденной и краснорѣчивой.

— Точно у нея сердца нѣтъ!..—прибавила она послѣ минутнаго молчанія.—Да, да, нѣтъ сердца!

Мнѣ показалось, что Миннушка особенно горячо теперь относится къ вопросу бѣдняковъ о хлѣбѣ именно потому, что этотъ вопросъ имѣетъ такое громадное значеніе и для нея. На ея исхудаломъ лицѣ теперь особенно сильно выдавались здоровыя крупныя челюсти и большой ротъ, какъ бы говорившіе о сильной потребности хорошей и обильной пищи, нужной для поддержки этого худосочнаго организма. Впервые я замѣтилъ въ этотъ день, какъ жадно и какъ много она ѣла, торопливо раскусывая и перемалывая пищу крупными зубами и звучно работая сильными челюстями. Эти челюсти и эти зубы, сильно выдававшіеся впередъ, придавали теперь ея исхудалому лицу сходство съ бѣлой лошадиной головой. Да, вопросъ о хлѣбѣ былъ для нея первымъ и главнымъ вопросомъ...

Разъ она зашла къ намъ, болѣе обыкновеннаго взволнованная. Моя мать съ участіемъ стала ее разспрашивать, что съ ней. Несчастная дѣвушка расплакалась.

— Житья мнѣ нѣтъ у Жени! Просто она ненавидитъ меня! Только я и слышу отъ нея: «Ты, вѣрно, думаешь, что ты святая; что тебѣ и Богу не надо молиться, и каяться не надо?» А я молюсь и каюсь, но что же мнѣ дѣлать, если у протестантовъ ни вечеренъ, ни всенощныхъ, ни молебновъ нѣтъ, если я больная и убогая, если мнѣ покой нуженъ? Развѣ я виновата, что я не надѣлала такихъ грѣховъ, какъ она?

Какъ ни было намъ жаль Миннушку, у насъ мелькнула

улыбка при этихъ наивныхъ словахъ. Миннушка, озабоченная и не замѣтившая скользнувшихъ по нашимъ лицамъ улыбокъ, продолжала:

— Она теперь всѣхъ ненавидитъ, кто не надѣлалъ такихъ грѣховъ, какъ она, или кто знаетъ, что она надѣлала грѣховъ. Васъ всѣхъ, тетю Маришу...

— А Вурма?—спросили мы шутливо.

— Его она боится... Право, только боится. А въ душѣ, кажется, и его ненавидитъ... Вотъ ужъ надѣла сама на себя петлю и клянетъ всѣхъ за это... Ну, да Богъ съ ней, я не о ней говорю, а о себѣ... Заѣстъ она меня заживо. Захворай я серьезно, она, какъ собаку, меня броситъ въ домѣ одну, безъ помощи...

— Ты бы, Миннушка, погостила у насъ,—сказала моя мать:—отдохнешь хоть здѣсь...

Миннушка даже испугалась и замахала рукой.

— Нѣтъ, нѣтъ, тогда еще хуже будетъ! Она и то, когда я ухожу изъ дому, говоритъ: «что, жаловаться на меня идешь? Тебѣ бы только по гостямъ бѣгать, чтобы сплетничать. Въ твои годы другая Богу молилась бы, а не по гостямъ бѣгала бы...»

— Такъ брось ее,—посовѣтовала матушка.

— Чѣмъ же я жить буду? Работать? Развѣ у меня есть силы?

— Ты бы поговорила съ дядей Карломъ...

— Онъ говоритъ, что у него своя семья... И меня же тамъ бранятъ... Вурмъ меня не любитъ и говоритъ дядѣ Карлу, что я вѣтреная дѣвушка...

Мы разразились смѣхомъ и сконфуженно стали извиняться за этотъ смѣхъ. Миннушка добродушно улыбнулась:

— Да я и сама знаю, что это смѣшно! Но они говорятъ это про меня...

И совсѣмъ конфузливо она прибавила:

— А я вотъ бантикъ розовый, такъ и тотъ не дома надѣваю, а въ карманѣ уношу и ужъ въ гостяхъ его привѣшиваю... А то скажутъ: кокетничаешь!.. А развѣ это кокетство? Я съ дѣтства у тети привыкла прилично одѣваться...

Потомъ, задумавшись на минуту, она со вздохомъ проговорила:

— Господи, какихъ-какихъ нарядовъ у насъ не было тогда... И все пропало, исчезло...

По ея желтымъ щекамъ медленно потекли слезы.

Когда Миннушка ушла, моя мать заговорила о томъ, что надо бы взять ее къ намъ въ домъ.

— Тяжело тебѣ будетъ. Она больной человѣкъ,—возразилъ осторожно отецъ и тотчасъ же торопливо прибавилъ:

— А впрочемъ, дѣлай, какъ знаешь. Не я съ ней буду няньчиться. Хлѣба же хватитъ на всѣхъ...

Но, прежде чѣмъ матушка извѣстила Миннушку о томъ, что она можетъ поселиться у насъ въ домѣ, къ намъ зашла Марина Осиповна. Ея вѣчно красненькое, безформенное, какъ комочекъ свѣжаго мяса, личико улыбалось. Присѣдая и цѣлуясь со всѣми нами, она заявила:

— А сейчасъ придетъ и Миннушка! Она вѣдь теперь у меня живетъ, со вчерашняго дня поселилась...

— Что вы, тетя Мариша, неужели?—обрадовалась моя мать.—А я ужъ думала пригласить ее къ намъ.

— Ну, вотъ еще! У меня же страннопріимный домъ и безъ того, цѣлый полкъ калѣкъ и убогихъ,—добродушно пошутила тетя Мариша.

И уже серьезно продолжала:

— Не вынесла, не вынесла Миннушка! Господи, что съ Женей сталось? Ни состраданія, ни участія! И вѣдь можете представить: не хотѣла отпустить отъ себя Миннушку; мучила и терзала, а отпустить не хотѣла. «Ты, говоритъ, это изъ злобы ко мнѣ, изъ зависти къ тому, что я душу свою спасаю, хочешь очернить меня, выставить злодѣйкой передъ людьми; вотъ почему ты бѣжишь отъ меня». А потомъ, когда Миннушка не послушалась, не осталась у нея, она и говоритъ: «уходи, уходи, это новое испытаніе мнѣ Богъ посылаетъ, новый крестъ даетъ. Я благословляю Его за это. Я счастлива. Праведныхъ всѣхъ поносятъ и бранятъ, потому и мнѣ Онъ этотъ крестъ посылаетъ. Я счастлива».

Пришла Миннушка, замѣтно оживившаяся, точно воскресшая къ новой жизни. Какъ бы въ знакъ своей радости, она нацѣпила себѣ на грудь большой и яркій красный бантъ. Онъ былъ нѣсколько помятъ; очевидно, что Миннушка старательно прятала его отъ Жени. Теперь эти предосторожности были не нужны. Она, видимо, никого больше не боялась,—не боялась прослыть кокеткой. Она стала въ свою очередь разсказывать про Женю:

— Какихъ-то падшихъ женщинъ теперь стала отыскивать, на путь истины обращаетъ,—разсказывала она.—У нея теперь, что годъ, то новыя затѣи... Да что я говорю о годахъ! У нея чуть не каждый день новыя фантазіи... Те-

перь падшія у нея въ модѣ... Найдетъ какую-нибудь дѣвочку, приведетъ къ себѣ, сперва проповѣди и наставленія ей читаетъ, впроголодь держитъ, потомъ заставитъ полы мыть и бѣлье стирать, а тамъ прикажетъ молиться на колѣняхъ, земные поклоны класть. Поживетъ та у нея недѣлю или двѣ и сбѣжитъ. Тутъ-то и начнетъ она говорить о развратѣ рода человѣческаго, объ ожидающей всѣхъ гибели. «Я, говоритъ, добровольно свой крестъ несу, а эти негодницы хотятъ тунеядствовать!» А Вурмъ благословляетъ ее и говоритъ, что это потому все дѣлается, что близится конецъ міра...

— На все у нихъ есть объясненія,—съ улыбкой сказала моя мать.—Счастливые люди!..

— Да, но не дай, Господи, имѣть съ ними дѣло,—проговорила Миннушка.

— Ну, да ужъ Богъ съ нимъ и со счастьемъ-то этимъ,—замѣтила тетя Мариша.

Я подразнилъ Миннушку, напомнивъ ей, какъ въ былые годы она заступалась за Вурма и говорила о сладостяхъ физическихъ страданій.

Она вздохнула.

— Развѣ я, Коля, что-нибудь испытала и знала тогда!.. Ахъ, какое чудное было тогда время!..

Изрѣдка, разъ или два въ годъ, встрѣчая Вурма и Женю, мы и наши общіе знакомые слышали всегда одно и то же. Онъ называлъ ее «дѣвушкой святой жизни»; она говорила: «я безконечно счастлива». Первому можно было повѣрить, второе казалось невѣроятнымъ, при взглядѣ на нее: она, хотя ей было не болѣе тридцати лѣтъ, смотрѣла уже старухой, была желта, худа, морщиниста, съ блуждающимъ выраженіемъ глазъ, съ строго сжатыми губами. О прежней улыбочкѣ не было и помину; что-то жесткое и суровое было въ ея лицѣ. О святости жизни это могло свидѣтельствовать, о счастіи тутъ не могло быть и рѣчи.

Встрѣтивъ какъ-то ее на улицѣ, я рѣшился прямо замѣтить ей:

— Неужели, Женя, счастіе производитъ въ людяхъ всегда такую перемѣну, какъ въ тебѣ?

Она взглянула на меня почти со злобой.

— А! а по-твоему счастливы только ваши румяныя и смѣющіяся развратницы?—рѣзко и какъ-то хрипло ска-

зала она, и ея лицо на минуту искривилось насмѣшливой гримасой.

— Но развѣ счастіе дѣлаетъ людей злыми?—продолжалъ я.

Она еще суровѣе взглянула на меня.

— Что тебѣ отъ меня нужно? Кажется, я къ вамъ не иду? Могли бы оставить меня въ покоѣ.

И, опять какъ-то судорожно скрививъ ротъ, она прибавила тѣмъ же хриплымъ голосомъ:

— Вотъ увидимъ, что-то вы, счастливые, заговорите, когда васъ позовутъ къ отвѣту! Тогда увидимъ, какъ-то будете вы смѣяться надъ нами съ скрежетомъ зубовъ...

Не прощаясь, она торопливо пошла далѣе. Меня поразили въ ней блуждающіе глаза и ея странно хриплый голосъ.

Опять я долгое время не встрѣчалъ ее и только слышалъ о ней, что она совершаетъ разныя странныя выходки, то врывается въ публичные дома съ какими-то брошюрами и книжечками, то является свидѣтельницей по дѣламъ о жестокомъ обращеніи съ животными, то устраиваетъ какую-то лѣчебницу для безпріютныхъ собакъ.

Съ годъ тому назадъ мое вниманіе остановила на себѣ одна изъ обычныхъ уличныхъ сценъ. На улицѣ упала лошадь ломовика. По обыкновенію онъ принялся ее бить, приправляя удары крупною бранью. Кругомъ слышался смѣхъ, и раздавались крики: «Ай-да барыня! Вотъ такъ барыня!» Я остановился и увидѣлъ странную фигуру женщины. Это было исхудалое созданіе въ заношенной, не столько старой, сколько неряшливой одеждѣ. Женщина держала въ рукахъ два красныхъ шнурка, къ которымъ были привязаны двѣ облѣзлыя, больныя собачонки въ щеголеватыхъ суконныхъ попонахъ, и ругала ломовика довольно безцеремонной бранью, прерывая эту брань и угрозы восклицаніями: «Жолька! Бибишка! сюда! Бибишка! Жолька! сюда!» Толпа вышучивала ее, ломовикъ тоже, стегая лошадь, отвѣчалъ барынѣ отрывочными фразами: «Не надорвись! Дѣтокъ-то своихъ не упусти! Ишь собачьи матери на людей лѣзутъ?» Наконецъ, лошадь поднялась, и барыня, все еще бранясь и клича своихъ собачекъ, въ сдвинутой на затылокъ шляпѣ, обернулась лицомъ къ тротуару. Я узналъ въ ней Женю, исхудалую, морщинистую, но съ странно румяными щеками, съ неестественно широкими и черными бровями. Это лицо теперь походило на карикатурную маску. Толпа зѣвакъ, посмѣиваясь надъ ней, провожала ее къ тро-

туару. Я поспѣшилъ къ ней, желая оградить ее отъ оскорбленій и насмѣшекъ.

— Женя!—воскликнулъ я.

Она подняла на меня мутные глаза и замотала головой.

— Я васъ не имѣю удовольствія знать-съ,—совсѣмъ хриплымъ голосомъ отвѣтила она.

Я остолбенѣлъ отъ изумленія, не довѣряя самому себѣ.

— Я Коля... Ждановъ,—сказалъ я, наклоняясь ближе къ ея лицу.

— Извините-съ. Никакого Коли я не знаю,—насмѣшливо отвѣтила она.

И засмѣялась страннымъ смѣхомъ:

— Коля! Съ бородой!

Я уже совершенно ясно ощущалъ, что отъ нея пахло виномъ.

— Жолька, Бибишка, назадъ!—крикнула она своимъ собачкамъ.

Онѣ рвались впередъ, и она поспѣшно, не особенно твердымъ шагомъ пустилась дальше, увлекаемая ими, сопровождаемая шутками и остротами уличной толпы...

Блаженная!..

НА РАЗНЫХЪ БЕРЕГАХЪ.

РОМАНЪ

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

Часть первая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

По глухому и пустынному переулку Петербургской стороны пробирался юноша лѣтъ девятнадцати. Бѣлокурый, стройный, высокій, онъ былъ одѣтъ въ поношенную одежду. Брюки, пальто, сапоги, все было забрызгано липкою грязью. Впереди нужно было пройти еще цѣлое море такой же невылазной грязи. Онъ шелъ по ней, не безъ труда выискивая сухія мѣста, поминутно оступаясь, посылая ей въ душѣ проклятія.

Весна была въ полномъ разгарѣ и затопила весь переулокъ лужами, болотинами, отливавшими всѣми цвѣтами радуги. Кое-гдѣ у домовъ и заборовъ тянулись мостки. По нимъ было небезопасно идти. Доски мостковъ, подгнившія, скользкія, иногда погружались подъ ногами внизъ; изъ-подъ нихъ выбрызгивала мутная жидкость, обдавая прохожаго сотнями грязныхъ капель. Приходилось идти зигзагами, выискивая сухіе камни, кирпичи, кочки, останавливаясь или дѣлая скачки. Но если внизу была грязь и слякоть, то вверху и кругомъ все ликовало, смѣялось. Безоблачное, прозрачное небо казалось бездоннымъ. Въ воздухѣ слышалось немолчное щебетанье птицъ, шумѣвшихъ, суетившихся на деревьяхъ въ садикахъ и палисадникахъ. Около лужъ прыгали воробьи. Подъ крышами домовъ ворковали голуби. А солнце—полуденное весеннее солнце заливало все ослѣпительнымъ блескомъ, и свѣжую зелень деревьевъ, и темные домишки, и грязныя стекла строеній, и лужи, и грязь. Перевести бы все это на полотно—передъ картиной застаивались бы сотни

людей; очутиться среди этой картины въ дѣйствительности—значило рисковать каждую минуту, если не выкупаться съ головой въ этой все затянувшей грязи, то, по крайней мѣрѣ, оставить въ ней свои калоши, перепачкать ею свою одежду и, можетъ-быть, почувствовать ея шлепки на своемъ лицѣ, даже глотнуть ея, если, отъ чего Боже упаси, мимо проскачетъ какой-нибудь порожнякъ-ломовикъ или разогнавшій свою кляченку извозчикъ.

Юноша, хмурясь, ругая глушь, добрался до одного изъ деревянныхъ домовъ, прошелъ во дворъ, поднялся по осклизлой лѣстницѣ въ мезонинъ, отворилъ обитую рогожей дверь. Въ маленькомъ, низенькомъ, убогомъ жилищѣ сразу бросался въ глаза хаосъ приготовленій къ переѣзду съ квартиры: мебели почти уже не было, окна были пусты, безъ цвѣтовъ, безъ занавѣсокъ, по стѣнамъ торчали гвозди, на полу стояли чемоданы, картонки, всюду валялся соръ, рваная бумага, обрѣзки ситца, холста, обрывки веревокъ, шнурковъ, склянки.

— Боря, это ты?—крикнулъ молодой, звонкій голосъ изъ комнаты.

— Я,—отозвался юноша, снимая въ передней калоши и отыскивая гвоздь, чтобы повѣсить пальто и фуражку.

— Иди, иди, сюда! мы съ тетей чемодана не можемъ замкнуть! Полчаса возимся!

Юноша вошелъ въ комнату. На полу у чемодана сидѣла крошечная старушка съ сѣдыми волосами, немного растрепавшимися среди хлопотъ и возни и висѣвшими коротенькими, жидкими прядями около сморщеннаго блѣднаго лица. На чемоданѣ стояла на колѣняхъ молоденькая, раскрасѣвшаяся дѣвушка лѣтъ пятнадцати и что было силъ прижимала крышку.

— Бьемся, бьемся, ничего не можемъ подѣлать! Вотъ оно женское-то безсиліе,—проговорила старушка, качая сѣдой головой.

— Пустите, я одинъ справлюсь!—сказалъ юноша, отстраняя обѣихъ женщинъ и, натужившись изо всѣхъ силъ, сразу замкнулъ замокъ, выказавъ скорѣе настойчивость и упорство, чѣмъ дѣйствительную силу.

Онъ поднялъ голову—его худощавое лицо было теперь совершенно красно, поперекъ лба обозначилась налившаяся кровью жила, около волосъ выступили, точно роса, мелкія капельки пота. Молоденькая дѣвушка вмѣсто благодарности громко засмѣялась дѣтскимъ смѣхомъ.

— Хвастунишка! Туда же силу показываетъ!

Потомъ, вдругъ переставъ смѣяться, она со вздохомъ проговорила:

— Вотъ мы и собрались!

Всѣ присѣли, усталые, задумчивые, какъ и куда попало, на чемоданъ, на окно.

— Я все думалъ, что не уѣдете, раздумаете,—задумчиво проговорилъ Борисъ.

Старушка подняла на него глаза, тусклые, слезившіеся при малѣйшемъ волненіи, съ красными вѣками, почти лишенными уже рѣсницъ.

— Какъ же? Вѣдь ты же зналъ, что Саша долженъ уѣхать. Какъ же раздумать? Не по своей волѣ ѣдетъ...

— Ну, да, онъ долженъ, а вы... Я думалъ, что братъ не потребуетъ отъ васъ еще и этой жертвы...

Старушка точно испугалась чего-то, заволновалась, заторопилась.

— Боря, Боря! Какія же тутъ жертвы? Какія? Ѣдемъ вмѣстѣ съ дорогимъ человѣкомъ, жить будемъ вмѣстѣ. Жертва! Да я хоть на край свѣта готова за нимъ. Потребовалъ! Да развѣ Саша чего-нибудь требуетъ? Развѣ ты не знаешь своего брата? Никогда у него и мысли нѣтъ о себѣ...

— Да, о благѣ человѣчества все думаетъ,—сквозь зубы проговорилъ юноша, раздражаясь, съ горечью.

— Грѣхъ тебѣ, грѣхъ! Не любишь ты брата!

Молодой человѣкъ вспылилъ.

— Мнѣ досадно за васъ, за Варю! Ему назначено мѣсто жительства, онъ не по своей волѣ ѣдетъ въ трущобу. А вы? а Варя?

— Пожалуйста, пожалуйста, не говори обо мнѣ! — воскликнула молоденькая дѣвушка.—Куда онъ и тетя, туда и я. Вотъ выдумалъ!

— Ахъ, что ты понимаешь! Дѣвчонка еще совсѣмъ, а туда же толкуешь: «куда онъ, туда и я». Вотъ попадешь въ медвѣжью берлогу, гдѣ ни людей, ни образованія, ни развитія, и выйдетъ изъ тебя неотесь-баба, провинціальная дура. Твоя жизнь впереди, тебѣ учиться, развиваться надо, чтобы потомъ хлѣбъ зарабатывать. Кажется, не на что разсчитывать, кромѣ своихъ рукъ...

Старушка тихо, кроткимъ голосомъ остановила племянника.

— Я и Саша не все еще перезабыли, слава Богу, можемъ дать образованіе и безъ учителей. Тебя же подготовила въ гимназію, никто не помогалъ...

И тихо вздохнувъ, она прибавила:

— Меня и Сашу не участь Вари безпокоитъ, а то, что ты вотъ здѣсь безъ поддержки останешься... Саша настаивалъ ради тебя, чтобы я...

Онъ рѣзко и задорно перебилъ тетку, не давъ ей докончить начатой фразы:

— Я, кажется, не первый годъ ни у кого не прошу поддержки и опоры!..

Старушка покачала головой.

— Да, да, не просишь... Что-жъ и просить, когда на насъ какъ на враговъ смотришь...

Она поднялась съ чемодана, маленькая, сухонькая, въ чемъ душа.

— Молодъ ты, голубчикъ, строптивъ, горячъ... Будетъ время, поймешь, что ни Саша, ни я не виноваты въ томъ, что произошло... На все воля Божія... Ты, конечно, былъ не виноватъ въ томъ, что былъ несправедливъ къ брату, но вѣдь теперь-то пора бы все понять, со всѣмъ примириться...

И, оборвавъ со вздохомъ рѣчь, обратившись къ молоденькой дѣвушкѣ, сидѣвшей въ глубокомъ раздумьи на чемоданѣ, она проговорила:

— Не пора ли, Варюша? Я думаю, извозчики пріѣхали. Не опоздать бы на поѣздъ.

Варя очнулась, заторопилась. Борисъ тоже поднялся съ подоконника, повернулся лицомъ къ окну, устремилъ глаза въ голубое пространство и, слегка барабаня пальцами по стеклу, задумался. Его всего охватило сознаніе отъѣзда родныхъ. Тетка, братъ, Варя, эта подобранная теткою чуть не на улицѣ сирота, всѣ любящіе его люди уѣзжаютъ далеко, далеко, за сотни верстъ, и онъ черезъ часъ, черезъ два останется одинъ, безъ близкихъ, безъ родныхъ, безъ поддержки, безъ ласковаго слова, среди шумной столицы, затерянный, забытый, безпомощный. Долго таившееся недовольство родными, упорное стремленіе убѣдить себя, что они ему не нужны, высокомѣрное сознаніе своихъ все выносящихъ, ни на комъ не ищущихъ опоры силъ, все это отступило на послѣдній планъ, заслонилось одной мыслью: «уѣзжаютъ, уѣзжаютъ, останусь одинъ». Въ его сѣрыхъ глазахъ уже стояли слезы, мѣшавшія ему смотрѣть, еще сердившія его, какъ явное доказательство малодушія. Онъ стискивалъ зубы, сдвигалъ брови, старался думать о голубяхъ, бродившихъ передъ нимъ на крышѣ, о дымѣ, выбивавшемся изъ трубы сосѣдняго дома и медленно разстилавшемся въ воздухѣ—въ головѣ же все повторялись тѣ же слова: «уѣзжаютъ,

уѣзжаютъ, останусь одинъ!» А сзади его уже слышался топотъ мужицкихъ сапогъ; кто-то спрашивалъ, все ли выносить; извозчики и дворники таскали изъ комнаты багажъ.

— Ну, простимся же, голубчикъ!—послышался голосъ тетки.

Борисъ обернулся весь въ слезахъ, возбужденный, взволнованный, охваченный уже однимъ чувствомъ тоски и горя.

— Я же ѣду... васъ провожать... на машину!

У него обрывался голосъ.

— Ѣдешь? ѣдешь?—радостно воскликнула Варя.—Вотъ умница!

— Да, но простимся здѣсь... Что же тамъ, при народѣ!—сказала старушка.

Она подняла лицо, чтобы поцѣловать племянника. Онъ порывисто припалъ къ ея рукамъ, къ ея губамъ, уже не сдерживаясь, плача навзрыдъ.

II.

Изъ-подъ навѣса дебаркадера николаевской желѣзной дороги выѣзжалъ поѣздъ. Передъ стоящими на платформѣ людьми медленно задвигались вагоны, одинъ, другой, третій... Въ окнахъ вагоновъ виднѣлись головы отъѣзжающихъ, бѣлѣлись платки, то развѣвавшіеся въ воздухѣ, то подносимые къ глазамъ. Вагоны двигались все быстрѣе и быстрѣе. Вотъ проѣхалъ и послѣдній изъ нихъ. Поѣздъ изъ длинной цѣпи вагоновъ сталъ превращаться въ одно пятно, все уменьшающееся, словно тающее въ синѣющемъ пространствѣ. На галлереѣ расходилась публика, спѣша къ своимъ будничнымъ занятіямъ. Служащіе при дорогѣ уже хлопотали и суетились, приготовляясь къ отправкѣ другого поѣзда.

Борисъ Михайловичъ Тепловъ не трогался съ мѣста и все еще смотрѣлъ въ ту голубую даль, гдѣ уже не было и слѣда отъ ушедшаго поѣзда. Этотъ ушедшій поѣздъ, эта голубая даль, этотъ воздухъ весны съ блескомъ солнца, съ щебетаніемъ птицъ, съ воркованіемъ голубей унесли его мысль далеко, далеко. Онъ перенесся въ воображеніи туда, гдѣ нѣтъ ни каменныхъ зданій, ни шума экипажей, ни снующей толпы, гдѣ въ морѣ зелени полей и лѣсовъ тонутъ крытыя соломой, точно выросшія изъ земли, избенки мужиковъ, гдѣ грудь широкими глотками пьетъ чистый, не отравленный смрадомъ и дымомъ, воздухъ, гдѣ все необозримое пространство, кажется, спитъ въ заколдованномъ снѣ,—но прислушайся, и ты уловишь тысячи звуковъ вездѣ бьющейся жизни, шелестъ листьевъ, травы и ржи, стрекотанье и жуж-

жанье миріадъ насѣкомыхъ, ржанье лошадей и мычанье коровъ, щебетанье и пѣніе птицъ и надо всѣмъ этимъ, точно касаясь натянутой между небомъ и землею струны, въ голубомъ пространствѣ звенитъ жаворонокъ, взвиваясь все выше и выше, покуда не упадетъ съ пѣсней снова въ зеленые еще всходы хлѣбовъ. Передъ Борисомъ встало его давно прошедшее дѣтство.

Вотъ она, его родная деревня, его Липовка: ветхій барскій домъ, покосившіяся избы, мужики, доведенные почти до нищеты, запуганная дворня, вѣчно трепещущая крошечная женщина—тетка Марья Осиповна Теплова, постоянно пьяный владѣлецъ имѣнія, бушующій и развратничающій дядя Валерьянъ Владиміровичъ Тепловъ, десятки грубыхъ помѣщиковъ-борзятниковъ, еще якшающихся съ самодуромъ-сосѣдомъ, несмотря на его пьянство и развратъ, а можетъ-быть даже именно вслѣдствіе его пьянства и разврата. Все это неприглядно, скорбно, но рядомъ съ этимъ—Боже мой, какая благодать! Густой лѣсъ, роскошные луга, хлѣбородныя нивы, широкая лента рѣки, массы птицъ—зайдетъ, бывало, онъ, Борисъ, въ одной рубашонкѣ, босоногій, съ деревенскими ребятишками куда-нибудь въ поле, на берегъ рѣки, въ лѣсъ, и мать-природа, точно объятіями, охватитъ ихъ своею густою зеленью, скроетъ ихъ отъ всего неприглядnаго, скроетъ отъ нихъ все неприглядное. И вдругъ точно вихрь налетѣлъ на ихъ семью и вырвалъ ихъ оттуда, изъ этой глуши, и перенесъ въ столицу, на убогую, чуть не нищенскую жизнь. Кто былъ виноватъ въ перемѣнѣ? Пять лѣтъ тому назадъ, попавъ на полный пансіонъ въ гимназію, Борисъ злобно говорилъ:

— Изъ-за Сашки все терпимъ! Краснобай поганый!

Тетка Марья Осиповна плакала, упрекала его за эти слова, объясняла ему сущность дѣла. Сущность дѣла была не понятна мальчугану; онъ понималъ только, что въ его жизни случилась перемѣна, страшная, роковая, и что эта перемѣна тѣсно связана съ участью его брата. Теперь онъ и самъ понялъ сущность всего случившагося, но глухая непріязнь къ брату, недовольство имъ не улеглись вполнѣ въ душѣ и тогда, когда явилось сознаніе, что братъ не виноватъ ни въ чемъ. Не виноватъ, но все же если бы онъ былъ другимъ человѣкомъ—обстоятельства сложились бы иначе. Отъ этой мысли не могъ отрѣшиться Борисъ.

Александръ Михайловичъ Тепловъ былъ на десять лѣтъ старше Бориса. Онъ развился и выросъ въ ту великую

эпоху надеждъ и упованій, когда все молодое еще вѣрило въ наступленіе какого-то золотого вѣка. Восторженный, увлекающійся, полный вопросовъ и запросовъ, живущій вмѣстѣ со своими сверстниками на праздникѣ обновленія народной жизни, онъ въ каждое посѣщеніе Липовки сталкивался острымъ угломъ съ самодуромъ-дядей. И пріѣзжалъ въ Липовку Александръ только ради тетки, а ужъ никакъ не ради ненавистнаго дяди, утратившаго всѣ добрыя чувства, всякій здоровый смыслъ среди попоекъ и разгула. Чего не зналъ ребенокъ Борисъ, то зналъ уже взрослый Александръ, то знала старившаяся Марья Осиповна. Засѣченный съ пьяныхъ глазъ дворовый, гаремъ въ мезонинѣ, загубленная Валерьяномъ Владиміровичемъ жена, издѣвательства его надъ Марьей Осиповной, терпѣвшей все ради того, чтобы Саша, Боря и ихъ двѣ, теперь уже умершія, сестры не остались безъ ея защиты въ домѣ дяди, все это прошло на глазахъ Саши и Марьи Осиповны. Борисъ былъ еще слишкомъ малъ, когда ужасы въ домѣ могли имѣть мѣсто; когда онъ подросъ—въ домѣ были только пьянство и развратъ, да издѣвательства дяди надъ Марьей Осиповной. Въ рѣдкіе пріѣзды Саши—молодой человѣкъ почти не видался съ дядей и только бесѣдовалъ по цѣлымъ часамъ съ теткой, изливавшей передъ нимъ всю свою душу, да проводилъ время въ толкахъ съ получившими свободу мужиками, любившими молодого барина и ходившими къ нему за совѣтами. Внезапно по дому прошла страшная вѣсть: на жизнь Валерьяна Владиміровича было сдѣлано покушеніе. Только темнота ночи и какая-то слѣпая случайность спасли его отъ мгновенной смерти. Наѣхали власти. Тяжело раненый старикъ объявилъ, что онъ не знаетъ убійцу, но что это непремѣнно дѣло рукъ его племянника, якшающагося съ мужиками, поджигающаго ихъ.

— Бунтовщикъ, заговорщикъ, властей не признаетъ!— бормоталъ выжившій изъ ума, спившійся съ круга самодуръ.—Обыскать его... улики найдутся!..

Когда Александръ очутился въ тюрьмѣ, Марья Осиповна быстро собралась въ городъ и взяла съ собой Бориса. Мальчика никто не удерживалъ: около больного дяди нашлись любовницы, почуявшія добычу и нашептывавшія старику, что Марья Осиповна и Борисъ готовы его доконать. Съ этой минуты начинается для Бориса новая жизнь, полная лишеній, полная труда, полная невзгодъ. Марья Осиповна жила только одной мыслью спасти Александра, облегчить

его участь, не оставить его одного въ тюрьмѣ. Чистый отъ всякаго соучастія въ покушеніи на убійство дяди, такъ какъ это покушеніе было просто дѣломъ ревности и мести, Александръ былъ задержанъ въ тюрьмѣ по другому дѣлу,—по дѣлу, всплывшему на поверхность, выяснившемуся вслѣдствіе пересмотра его бумагъ, скомпрометировавшихъ, запутавшихъ его въ одинъ изъ политическихъ процессовъ того времени. Дѣло разбиралось медленно, усложнялось, переходило изъ одного мѣста въ другое, Марья Осиповна слѣдовала всюду за старшимъ племянникомъ, а Борисъ одиноко учился и жилъ въ одной изъ петербургскихъ гимназій на полномъ пансіонѣ. О, какъ онъ ненавидѣлъ въ это время своего брата. Еще бы! о любви къ людямъ тотъ толковалъ, а лишилъ всю семью куска хлѣба, своего угла, свободы. Изъ-за него мальчугану пришлось сидѣть въ душныхъ стѣнахъ казеннаго заведенія. Не будь братъ такимъ, никогда бы не выѣхалъ Борисъ изъ родной деревни. Злоба поднялась еще сильнѣе, когда получилось извѣстіе, что дядя умеръ и все оставилъ чужимъ, а не роднымъ. Изъ-за Александра они весь вѣкъ будутъ нищими! Нужно было пройти многимъ днямъ, чтобы все выяснилось для мальчика въ настоящемъ свѣтѣ. Марья Осиповна послѣдніе два года провела въ Петербургѣ, такъ какъ сюда былъ переведенъ и Александръ. Въ эти годы Борисъ сознательнѣе познакомился съ характеромъ тетки. Когда онъ брюзжалъ и сердился, она замѣчала кротко:

— Мало ты еще горя видѣлъ, потому всякая царапина и безпокоитъ...

А какое горе вынесла она? Ради Саши, Бори и ихъ покойныхъ сестеръ она жила въ домѣ Валерьяна Владиміровича. Онъ съ первыхъ же дней сталъ дѣлать ей грязныя предложенія. Она отвергала ихъ, и онъ ее преслѣдовалъ, какъ послѣднюю рабу. Иногда въ пьяномъ видѣ онъ заставлялъ ее угощать его любовницъ; порою передъ ея глазами онъ устраивалъ пьяныя оргіи; разъ онъ чуть не задушилъ ее. Она могла бы жить и не у него, у нея была пенсія послѣ мужа, у нея былъ свой небольшой клокъ земли. Но какъ же бросить дѣтей? Не свои они, но вѣдь они сироты. Она бы взяла ихъ къ себѣ, но Валерьянъ Владиміровичъ не отдалъ бы ей ихъ,—не ради любви къ нимъ не отдалъ бы, а изъ самодурства, изъ желанія нанести ей новую непріятность. Нужно было безропотно покориться своей участи, чтобы охранить дѣтей. Для нихъ она перенесла все.

— Сашу-то только я погубила,—жаловалась она иногда.—

Не умѣла скрывать отъ него всѣхъ безобразій, слезъ не умѣла скрывать отъ него. Вотъ и выросъ чуткимъ, нервнымъ, впечатлительнымъ. Изъ-за меня и погибъ. Если бы съ дѣтства-то не привыкъ страстно ненавидѣть всякое зло, не увлекся бы. Это ужъ моя вина...

И за эту вину она лишала теперь себя всего, чтобы ему, ея Сашѣ, загубленному ею, было удобнѣе, легче въ тюрьмѣ. Мало того, съ теченіемъ времени она полюбила всѣхъ его товарищей по заключенію, всѣхъ несчастныхъ. Она носила, кому могла, и чай, и сахаръ, и папиросы, и бѣлье. Она вела за нихъ переписку съ ихъ родными, хлопотала за нихъ. Она взяла на воспитаніе оставшуюся послѣ одного изъ этихъ несчастныхъ сироту Варю. Ея пенсіи, доходовъ съ ея землицы недоставало на эти экстренные расходы: она стала шить бѣлье, просиживать ночи за работой, и когда ей минуло сорокъ пять лѣтъ—она казалась уже старухой. Она казалась не только простой старухой, но еще комичной, уморительной, смѣшной старухой: маленькая, сморщенная, привыкшая просить и кланяться, хлопоча за несчастныхъ, она говорила мягко, улыбаясь, робѣя, приседая по старой институтской привычкѣ. Она походила скорѣе не на старуху, а на старообразную дѣвочку. Казалось, ее каждый можетъ обидѣть, казалось, она всѣхъ боится. Въ сущности такъ и было. Тѣмъ не менѣе она, пугливая, конфузливая, безсильная, успѣвала дѣлать то, чего не дѣлали самые сильные люди; она проникала туда, куда не проникали люди похрабрѣе ея. Ея сила была въ безграничной любви, прямой, открытой, чистой. Для нея не было ни злодѣевъ, ни преступниковъ, ни осужденныхъ, ни жандармовъ, ни судей, для нея существовали только страдающіе люди,— а что значитъ страдать—это она знала лучше всѣхъ другихъ.

Борисъ, мало-по-малу, понялъ все связанное съ его жизнью,—и обстоятельства, и людей; но сознавъ невинность брата въ перемѣнѣ участи ихъ семьи, онъ все же продолжалъ смотрѣть на брата если не какъ на виновнаго, то какъ на страннаго чудака, на фразера-мечтателя, на сумасброднаго идеалиста, безъ злобы, но со снисходительнымъ состраданіемъ, сверху внизъ. И вдругъ враждебное чувство проснулась снова: Александра оправдали, но все же посылали на житье въ одну изъ отдаленныхъ губерній, въ тотъ уголокъ, гдѣ Марья Осиповна владѣла собственнымъ клочкомъ земли. Марья Осиповна собралась ѣхать за Александромъ съ Варей. Борисъ не могъ воздержаться отъ злобной мысли:

«А, о себѣ онъ не думаетъ, а небось тащитъ за собой и тетку, и Варю! Ему-то легче будетъ жить съ ними, а каково будетъ имъ? Загубитъ ихъ! Впрочемъ, тетка доживетъ свой вѣкъ! А вотъ Варя»...

И онъ сдвигалъ брови при воспоминаніи объ этомъ веселомъ, цвѣтущемъ, розовомъ пятнадцатилѣтнемъ ребенкѣ, вѣшавшемся иногда къ нему на шею, какъ къ брату. Онъ тоже обнималъ ее и цѣловалъ. Какъ братъ? Нѣтъ, въ его груди слишкомъ сильно билось въ эти минуты сердце, какъ оно не бьется отъ братскихъ поцѣлуевъ... И что ее ждетъ тамъ, въ глуши? Ничему путному не научитъ ее Александръ. Самъ вѣрно все перезабылъ въ пять лѣтъ тюремной жизни. Будетъ она только повторять за нимъ громкія фразы.

— Бѣдная, бѣдная моя Варя!—прошепталъ Борисъ и вздрогнулъ отъ пронзительнаго свистка подъѣзжавшаго къ платформѣ локомотива.

Онъ очнулся, мрачно взглянулъ въ голубую даль, повернулся лицомъ къ выходу и пошелъ. На улицѣ его сразу охватило движеніе толпы, оглушили крики извозчиковъ, звонки конно-желѣзныхъ вагоновъ, дребезжаніе колесъ, брызги грязи, вылетавшіе изъ-подъ проѣзжающихъ экипажей, обдавали его одежду, его лицо. Проталкиваясь, лавируя среди экипажей и пѣшеходовъ, онъ быстро смѣшался съ толпою, поглотился ею, слился съ нею, не обращая на себя ея вниманія, не обращая своего вниманія на нее, торопясь только дотащиться поскорѣй до меблированныхъ комнатъ на углу Садовой и Екатерингофскаго проспекта, гдѣ онъ занималъ комнату...

Ему нуженъ былъ отдыхъ отъ волненій этого дня...

III.

Въ темномъ коридорѣ, съ чуть теплящейся лампочкой въ концѣ, то и дѣло сновали люди, хлопали двери, раздавались голоса, звуки фортепіано и скрипки. Въ коридорѣ пахло кухоннымъ чадомъ, копотью отъ керосиновой лампы, табачнымъ дымомъ, проникавшимъ сюда изъ комнатъ, смежныхъ съ коридоромъ. Черезъ этотъ коридоръ можно было пройти къ десятку обитателей и обитательницъ меблированныхъ комнатъ Амаліи Карловны Швецовой. Въ самой неказистой, въ самой задней комнатѣ, рядомъ съ кухней, помѣщался Борисъ. Тутъ не было ни чистаго воздуха, ни покоя, ни удобствъ, но было главное—эта комната была де-

шева. Здѣсь поселился Борисъ по выходѣ изъ гимназіи, не желая жить съ теткой. Отговорокъ было много, чтобы не жить со старухой: въ этихъ краяхъ у него находились уроки, отсюда было ему удобнѣе ходить въ университетъ, тетка могла не сегодня—завтра уѣхать, такъ какъ рѣшенія участи Александра ждали со дня на день чуть ли не всѣ пять лѣтъ. Главной причины Борисъ не говорилъ—онъ тяготился ежедневными разсказами тетки объ Александрѣ, объ его товарищахъ, о скорбяхъ и печаляхъ людей, если и не ненавистныхъ ему, то все же возбуждавшихъ въ немъ одно безпощадное, черствое, презрительное чувство—«за тѣмъ пошли, то и нашли». Вернувшись со станціи желѣзной дороги домой, Борисъ вдругъ почувствовалъ какое-то враждебное ощущеніе и къ своей комнатѣ, и къ окружавшей его средѣ, къ этой петербургской «сволочи», какъ онъ выражался мысленно. Его вдругъ потянуло куда-то далеко, туда, къ своимъ. Это было на одну минуту. Онъ нахмурился, проворчалъ: «очень я имъ нуженъ», и, не раздѣваясь, бросился въ постель. Его охватило сознаніе одиночества, отчужденности. Бѣденъ, потому и чуждъ всѣмъ. Были бы деньги—всѣ были бы друзьями, близкими родными. Да, только деньги, видное положеніе дѣлаютъ человѣка человѣкомъ, а не пѣшкою. Нужно сдѣлать все, чтобъ добиться этого. У него силъ хватитъ. Вотъ уже годъ, какъ онъ стоитъ на своихъ ногахъ, и что же—не погибъ, не умеръ съ голоду, не пошелъ просить куска хлѣба, даже у тетки не просилъ помощи. Онъ готовъ былъ работать, какъ волъ, готовъ былъ ограничивать всѣ свои потребности, лишь бы не кланяться. Чего-чего онъ ни дѣлалъ: давалъ уроки, переписывалъ, переводилъ, репортерскія замѣтки писалъ, стишки кропалъ. О, онъ камни будетъ ворочать, а добьется своего, и тогда всѣ будутъ кланяться, тогда...

Передъ нимъ проносились картины того, что будетъ тогда,—блестящія, волшебныя, невѣроятныя. Онъ, усталый, открывъ ротъ, улыбаясь блаженной улыбкой, спалъ, охваченный этими сновидѣніями, не слыша, что дѣлается вокругъ него, въ этомъ вертепѣ, гдѣ гнѣздится столько людей, случайно попавшихъ подъ одну кровлю, бьющихся, каждый по-своему, съ нуждой и лишеніями, измышлявшихъ средства выбиться изъ этого притона куда-то на просторъ, гдѣ болѣе свѣта, воздуха, довольства...

Уже было совсѣмъ темно въ комнатѣ, и безъ того не свѣтлой, когда Борисъ открылъ глаза и съ недоумѣніемъ

осмотрѣлся, гдѣ онъ. Его мысль не могла сразу освободиться отъ впечатлѣній, навѣянныхъ сладкими снами.

Онъ машинально пошарилъ въ карманѣ, вынулъ папиросу, зажегъ спичку, закурилъ, не перемѣняя позы, продолжая лежать на спинѣ. До его слуха долетали разные звуки—возня въ кухнѣ, хлопанье дверей, чьи-то голоса. Среди всего этого яснѣе всего, точно говорилось у самаго его уха, раздавался крупный разговоръ:

— Такъ что же ты дѣлать-то думаешь. Сама съ голоду сдохнешь и насъ въ нищетѣ оставишь,—говорилъ визгливый женскій голосъ.

— Да говорю я вамъ, что лучше мнѣ чорта видѣть, чѣмъ его! Слышите!—отвѣчалъ молодой женскій голосъ.

— Голодать-то станешь, такъ и чорта за рога схватишь! Не всѣмъ красавцамъ быть. Этотъ старъ, да деньги есть.

— Мнѣ, что ли, онъ ихъ отдастъ! У него жена!

— Жена! жена! Кого полюбитъ, та ему и жена...

— Да, жена!.. Поиграетъ, да броситъ, тогда ужъ не воротишь!

— Ну, и броситъ, и броситъ, а ты деньги прибери, пока не бросилъ!

— Уйдите вы отъ меня, не терзайте вы меня! Кажется, я къ вамъ не иду за милостыней, работаю...

— Придешь, придешь! Что твоя работа-то дастъ? Погоди, погоди еще, насидишься голодомъ, на улицу себя продавать пойдешь!

— Господи! Что же это такое! Когда вы меня въ покоѣ оставите!

Борисъ услышалъ всхлипыванья. Отвѣтомъ на нихъ служили ругательства и угрозы. Потомъ послышалось шлепанье женскихъ ногъ, отворилась и съ силой захлопнулась дверь. Всхлипыванья все продолжались, доходя до истерическихъ рыданій.

— Бѣдная дѣвушка!—произнесъ Борисъ со вздохомъ.

Онъ хорошо зналъ эту дѣвушку: она жила съ нимъ рядомъ, онъ слышалъ каждый ея вздохъ, слышалъ, когда она вставала, когда ложилась, когда шила на машинкѣ, когда мурлыкала себѣ подъ носъ пѣсню. Иногда они сталкивались въ коридорѣ, кланялись, спрашивали другъ друга о здоровьѣ. Она казалась ему хорошенькою, потому что у нея были густые русые волосы, веселые голубые глаза, розовыя щечки съ ямочками, бѣлые, мелкіе зубки. Разъ десять они говорили черезъ стѣну:

— Борисъ Михайловичъ, нѣтъ ли папироски?

— На что вамъ, Ольга Дмитріевна?

— Зубъ страшно разнылся.

— А зачѣмъ у окна сидите.

— Гдѣ же больше? Впотьмахъ же нельзя шить.

Иногда онъ передавалъ папиросы, просовывая ихъ по полу подъ дверь; иногда приносилъ ихъ самъ въ комнату Ольги Дмитріевны. Она благодарила, потупляя глаза и глядя изъ-подъ рѣсницъ смѣющимся взглядомъ. Котда ее было не видно и не слышно, онъ не вспоминалъ о ней, не представлялъ ее въ своемъ воображеніи, потому что такихъ дѣвушекъ онъ встрѣчалъ сотни на каждомъ шагу, въ каждомъ швейномъ магазинѣ. Теперь онъ думалъ о ней, потому что она рыдала. Эти рыданія мѣшали ему думать о себѣ, о своей блестящей будущности. Онъ думалъ о ней и мысленно приходилъ къ заключенію, что ея участь еще хуже его участи, хотя она, можетъ-быть, и не столь одинока, какъ онъ. Онъ машинально поднялся съ постели, подошелъ къ двери и проговорилъ:

— Что это вы, Ольга Дмитріевна, расплакались!

— Что? что?—отрывисто отвѣтила она.—Побыли бы на моемъ мѣстѣ, не такъ бы еще завыли!

— Полноте, слезами не помочь горю!

— Знаю и безъ васъ...

— Да вы не сердитесь... Мнѣ тоже не сладко, да вотъ не плачу же... Можно къ вамъ придти?..

— Идите! Двери не заперты! Что вамъ надо?

Онъ пошелъ и на секунду остановился. Въ самомъ дѣлѣ, что ему надо? Зачѣмъ онъ идетъ къ ней? Потомъ онъ пожалъ плечами. Что за глупые вопросы! Идетъ, чтобы потолковать, утѣшить, ободрить ее. Это такъ естественно. Онъ вышелъ изъ своей комнаты и вошелъ въ комнату сосѣдки.

IV.

Комната Ольги Дмитріевны ничѣмъ не отличалась отъ комнаты Бориса Михайловича: узенькая, длинная, съ однимъ окномъ, съ тремя дверями—одна входная, двѣ къ сосѣдямъ. Мебель здѣсь была такая же, какъ у него. Нѣсколько легкихъ стульевъ орѣховаго дерева, умывальникъ на крашеномъ табуретѣ, желѣзная односпальная кровать около самой входной двери, около дверей къ сосѣдямъ ломберный столъ и комодъ краснаго дерева. Борисъ Михайловичъ могъ зайти въ эту комнату и не сразу понять, что

зашелъ не къ себѣ. Только у него на ломберномъ столѣ валялись папиросы, книги, бумаги, лекціи, а у Ольги Дмитріевны тутъ же валялись обрѣзки матерій, ситца, холста, коленкора. Кромѣ того, у окна здѣсь стояла швейная машина, единственная собственность швеи изъ всей обстановки. Все это было неприглядно, неуютно, грязновато. Окно, выходившее на узкій дворъ, пропускало мало свѣта, изъ дверей проникали въ комнату запахъ чада, керосиновой копоти, табачнаго дыма. Когда топилась въ комнатѣ круглая желѣзная печь, здѣсь пахло краской. Когда Борисъ Михайловичъ вошелъ къ сосѣдкѣ, она уже не плакала и стояла около самовара, поставленнаго на ломберный столъ безъ салфетки, безъ скатерти, безъ подноса.

— Вы что это расплакались, сосѣдка?—спросилъ онъ полусерьезно, полушутливо, здороваясь съ ней.

— Житья нѣтъ, такъ и плачешь! Не глядѣла бы на свѣтъ,—отвѣтила она отрывисто и скороговоркой прибавила:—Ужъ, кажется, ушла изъ дома, ничего не прошу, живу своимъ трудомъ. Такъ нѣтъ. Сюда идутъ, здѣсь еще пилятъ. Въ воду, что ли, отъ нихъ броситься.

— Родные донимаютъ?

— А кто же больше? Чужіе-то развѣ смѣютъ? Такъ бы шугнула чужихъ-то отсюда, что тошно стало бы.

— А родныхъ нельзя?

— Попробуйте! Скажутъ, зачѣмъ съ отцомъ не живу, велятъ къ нему переѣхать. А все изъ-за него и идетъ. Вотъ чай хотѣла пить, а тутъ пришли, накарамболили, и объ чаѣ забыла.

Она пощупала самоваръ.

— Совсѣмъ холодный!

Борисъ Михайловичъ засмѣялся.

— Ну, это еще полгоря. Подогрѣть можно. Напьемся вмѣстѣ. Я сегодня тоже ничего не ѣлъ. Тоже изъ-за родныхъ.

— Что такъ?

— Провожалъ ихъ, уѣхали...

— Ахъ, моихъ помеломъ не выгонишь. Приросли къ Петербургу. Имъ бы отступного люди дали, только бы они уѣхали, такъ нѣтъ, не дураки...

И, опять обрывая рѣчь, уже совсѣмъ успокоенная, взглядывая изъ-подъ опущенныхъ рѣсницъ на молодого человѣка, она спросила:

— Такъ въ самомъ дѣлѣ чай будемъ пить?

— Разумѣется! Я и проголодался, поѣсть хочется.

— Ну, у меня ничего нѣтъ!

— Я принесу отъ себя, у меня есть булки, колбаса...

— Вотъ тебѣ и разъ, въ гости со своей ѣдой!

— Какой же я гость?

— И то правда, совсѣмъ вмѣстѣ живемъ!

Не прошло и получаса, какъ они уже сидѣли за самоваромъ, пили чай и ѣли, оба забывшіе на время свои невзгоды, оба разговорчивые. Она удивлялась его терпѣнію.

— Почему вы знаете, что я терпѣливъ?—спросилъ онъ.

— Да какъ же не знать—рядомъ живемъ! Вотъ этотъ ученикъ къ вамъ ходитъ. Долбите вы ему, долбите въ голову,—ничего не понимаетъ. Я бы его, кажется, чѣмъ попало избила.

Онъ засмѣялся.

— Вотъ вы какой воинъ?

— О, я вспыльчивая... и отходчивая!

Потомъ онъ замѣтилъ, что жаль, что у нея голосъ пропадаетъ—хорошій голосъ, если бы обработать.

— Да вы развѣ слышали, какъ я пѣла?

— Еще бы! Тутъ все слышно!

— И то! Ровно въ одной комнатѣ живемъ! Даже иногда...

Она засмѣялась, что-то вспомнивъ и оборвавъ рѣчь.

— Что вы?

— Нѣтъ, такъ!

Она покраснѣла и стала совсѣмъ хорошенькой, съ этимъ румянцемъ на пухленькомъ личикѣ, съ лукаво выглядывавшими глазами изъ-подъ темныхъ ощущенныхъ рѣсницъ.

— А вы совсѣмъ скромный. Это хорошо. Теперь и днемъ съ огнемъ такихъ не найдешь.

— А вы и это знаете!

— Да, вотъ на-дняхъ у васъ товарищъ былъ. Вы его все унимали. И насмѣялась же я, когда онъ спросилъ: «да ты ужъ не переодѣтая ли дѣвчонка?»

Она и теперь, вспомнивъ это, засмѣялась громкимъ шаловливымъ смѣхомъ.

Онъ сталъ говорить, закуривъ папиросу и ходя по комнатѣ, что онъ точно не любитъ разгула, что среди этой гульбы пропиваются и умъ, и здоровье, и будущность.

Она вздохнула.

— Вамъ что, мужчинамъ! А вотъ каково, какъ нашу сестру на это толкаютъ, свои же родные толкаютъ.

Она опять омрачилась, опечалилась, начала разсказывать свою исторію.

— У насъ все это отъ нашего дворянства,—сказала она.

— Какъ отъ дворянства!—удивился онъ.

— Да такъ, не будь отецъ дворяниномъ, ничего бы этого и не было.

Онъ заинтересовался, сталъ разспрашивать. Она разсказала ему все, какъ она привыкла разсказывать все наболѣвшее на душѣ подругамъ, хозяйкѣ, служанкамъ, приказчикамъ въ Перинной линіи, всѣмъ, кто слушалъ ее.

V.

Ея отецъ былъ дворянинъ. Даже не простой дворянинъ, а «изъ графовъ». Услышавъ это, Борисъ Михайловичъ не мало удивился. Онъ предполагалъ, что она просто нѣшаночка, солдатская дочь или что-нибудь подобное. Когда она объяснила, изъ какихъ графовъ ея отецъ — онъ только улыбнулся и пересталъ удивляться. Дмитрій Матвѣевичъ Діодатовъ былъ дворяниномъ потому, что его мать, ключницу графа Зорина, выдали замужъ за чиновника Діодатова, беременную на шестомъ мѣсяцѣ. Чиновникъ Діодатовъ взялъ деньги, далъ имя ребенку и куда-то исчезъ. Мальчуганъ росъ въ графскихъ хоромахъ барченкомъ. Онъ былъ убѣжденъ, что онъ сынъ графа. Когда ему было двѣнадцать лѣтъ, у него умеръ отецъ, и въ жизни его матери случилась крупная перемѣна. Выживши изъ ума графъ Зоринъ женился на Діодатовой, несмотря на протесты своей родни. Бывшая экономка стала графиней—ея сынъ еще болѣе убѣдился, что и онъ дѣйствительно графчикъ. Прошло еще нѣсколько лѣтъ, графъ Зоринъ умеръ. Графиню Зорину выгнали изъ дома родные графа, сумѣвшіе, при помощи связей, оттягать у нея почти все. Она пережила мужа лѣтъ на пять и тоже умерла, Дмитрій Матвѣевичъ Діодатовъ въ это время успѣлъ уже пройти огонь и воду: изъ юнкеровъ онъ сдѣлался офицеромъ на Кавказѣ, вышелъ въ отставку, надѣлалъ долговъ и вдругъ послѣ смерти матери остался ни съ чѣмъ. Впрочемъ, у него было кое-что: жена, трое дѣтей и широкія привычки съ маленькою страстью называть себя графомъ.

Поселившись въ Петербургѣ, онъ сдѣлался бичомъ всей родни графа Зорина. Онъ вѣчно писалъ къ ней прошенія, письма, записки. Если родные отказывали въ помощи, онъ писалъ къ ихъ знакомымъ, къ бывшимъ сослуживцемъ своего

незаконнаго отца, къ митрополитамъ и архіереямъ, знавшимъ графа по синоду. Одни называли его «ограбленной жертвой», другіе признавали его «наглымъ тунеядцемъ». Тѣмъ не менѣе, нигдѣ не служа, ничего не работая, онъ жилъ и жилъ даже не особенно бѣдно, не лишая себя удовольствій, то-есть пьянства и женщинъ. Фанфаронъ, мотъ, кутила, онъ вездѣ слылъ за графа и всюду бралъ все, что можно, точно всѣ люди только для того и жили, чтобы кормить и ублажать его, графа Зорина-Діодатова, какъ онъ величалъ себя, гордо покручивая свои длинные черные усы и лихо подбочениваясь рукою.

— Ужъ мы думали, что онъ осядетъ, какъ женится, да нѣтъ, гдѣ!—замѣтила Ольга Дмитріевна. Когда мама умерла, онъ чуть не черезъ мѣсяцъ женился. И пошла же дура за него. У него ни гроша за душой, семеро дѣтей, а она—и кухмистерская у нея, и меблированныя комнаты, и всякія комиссіонерскія дѣла,—а пошла, взяла себѣ на шею нахлѣбника. Все это красота его да графство всѣхъ прельщаютъ!

Борисъ Михайловичъ усмѣхнулся при упоминаніи о графствѣ.

— И что вы думаете,—продолжала Ольга Дмитріевна:—Марья Даниловна, мачиха-то наша, тамбуръ-мажоръ совсѣмъ, высокая, толстая, ручищи вотъ какія, голосъ, какъ труба трубитъ, а передъ нимъ, передъ графомъ-то нашимъ, трясется. Начнетъ это онъ ее вышучивать и насчетъ манеръ, и насчетъ разговора, и насчетъ занятіевъ,—она совсѣмъ точно мокрая курица станетъ, потому амбиція у нея большая и все ей барыней хочется быть. Изъ-за этой амбиціи она и работаетъ, какъ лошадь, чтобы нарядами пыль въ глаза пустить; изъ-за того же и замужъ за отца вышла, чтобы дворянкой быть графскаго происхожденія и подъ ручку пройтись съ такимъ молодцомъ. Тоже у отца орденъ въ петлицѣ за Кавказъ и знакомыхъ важныхъ много. Онъ всѣмъ графамъ и князьямъ кланяется. Теперь мачиха и спитъ, и видитъ, какъ бы отца въ помощники пристава пристроить—тогда совсѣмъ будетъ барыней.

По лицу юноши опять скользнула усмѣшка. Его искренно забавляли эти наивности.

— А что же ваши братья и сестры дѣлаютъ?—спросилъ онъ.

— Слоновъ продаютъ! — точно отрѣзала Ольга Дмитріевна.—Посовали насъ въ разныя школы да гимназіи, не доучили да и оставили—расти, молъ, какъ знаешь.

Одна сестра въ монахини ушла. Одинъ братъ въ солдаты попалъ. Другая сестра мачихѣ по кухмистерской теперь помогаетъ за мѣсто горничной. Другой братъ блаженный какой-то, идіотомъ зовутъ. Двѣ сестренки маленькія еще въ институтѣ учатся. Меня тоже хотѣли, какъ сестру, при кухмистерской держать. Ну, да я не поддалась. Довольно того, что изъ гимназіи на четвертый годъ взяли, да швеей сдѣлали. Въ горничныя-то ужъ не пойду. Къ тому же этотъ...

Она перевела духъ, точно поперхнувшись.

— Купецъ тамъ одинъ очень свататься началъ...

— Что же, онъ вамъ не нравится?

— Слонъ, какъ есть слонъ.

— Но, можетъ-быть, онъ хорошій человѣкъ? Въ мужѣ не красота главное...

— Такъ бы онъ и женился! У него жена еще жива!

— Какъ же онъ могъ свататься въ такомъ случаѣ?

Молодая дѣвушка засмѣялась.

— Вотъ-то вы непонятливый! Какъ? Какъ обыкновенно сватаются за нашу сестру, нищую... Ходитъ какъ котъ около сала, облизываясь... На содержаніе хотѣлъ взять...

— Негодяй!—проворчалъ Борисъ Михайловичъ.—И ваша мачиха совѣтовала вамъ согласиться? И отецъ не протестовалъ?

Ольга Дмитріевна немного удивилась.

— Да что имъ? Мачиха до свадьбы, когда еще наша мама жива была, жила съ отцомъ лѣтъ пять. Только и ждала смерти мамы. Отецъ—у него тоже содержанки и до этой были. Да, какъ бѣдна, чего же ждать больше? Женихи-то не позарятся на нищую. Что имъ въ нищей? Ребятъ плодить? Такъ и безъ нихъ не сладко. А только ужъ съ такимъ чудищемъ—нѣтъ, не приведи, Господи, никому.

Его точно передернуло отъ этихъ словъ, пробудившихъ нравственную брезгливость. Настало молчаніе. Онъ ходилъ по комнатѣ, она сидѣла у стола, куря взятую изъ его портсигара папироску и глядя безцѣльно по направленію къ открытому окну. На дворѣ уже спустились сумерки. Противоположная стѣна дома, выкрашенная желтою краской, казалась грязно-бурою. Въ однихъ окнахъ напротивъ было темно, въ другихъ зажигали огни. Снизу, изъ пропасти узкаго и тѣснаго двора, неслись звуки гармоники, крики ребятишекъ, какой-то смутный гулъ уличной жизни. Среди тишины, царившей въ комнатѣ, вдругъ раздался насмѣшливый возгласъ Ольги Дмитріевны:

— Совѣтъ да любовь! Ну, еще, еще!

Борисъ Михайловичъ въ недоумѣніи остановился.

— Что это вы?

— Да смѣхъ просто! Каждый вечеръ это у нихъ. Не надоѣло, видно!

— Да вы про кого?

— Да про нашихъ vis-à-vis! Я думаю, каждый вечеръ потихоньку сами подсматриваете! Мужчины это любятъ. Да какъ и не смотрѣть, потѣха! Еще бы, завѣсили они окна деревянными шторами да и думаютъ, что при огнѣ къ нимъ не видно.

Борисъ Михайловичъ недоумѣвалъ. Онъ по указанію Ольги Дмитріевны обернулся къ окну. Тамъ, прямо напротивъ, за окномъ, завѣшеннымъ шторой изъ тонкихъ деревянныхъ прутьевъ, происходила нѣжная сцена объятій и поцѣлуевъ. Онъ покраснѣлъ, закусилъ губы и отвернулся, сконфуженный, раздраженный.

— Свинья только этотъ баринъ,—сказала Ольга Дмитріевна.—Утромъ не завѣситъ окна и переодѣвается тутъ же. Какъ Адамъ ходитъ...

— Такъ вы завѣшивайте свое окно!—раздражительно сказалъ Тепловъ...

— И такъ впотьмахъ и шить? Ловко! — разсмѣялась она, и ея лицо приняло насмѣшливое выраженіе.

Она смотрѣла на него, какъ на мальчика. Она была моложе его на годъ, опытнѣе—на десятокъ лѣтъ...

VI.

Борисъ Михайловичъ вернулся въ свою комнату довольно поздно. Онъ сразу почувствовалъ въ ней невыносимую духоту. Цѣлый день топящаяся въ кухнѣ плита давала себя чувствовать. Онъ подошелъ къ окну, распахнулъ его; его глаза невольно остановились на противоположномъ окнѣ съ деревянной шторой. Тамъ теперь было совершенно темно, точно окно было заставлено изнутри деревяннымъ ставнемъ, чтобы ничей любопытный взглядъ не могъ проникнуть за эту преграду. Съ минуту юноша какъ-то безсознательно взглядывался въ это окно, потомъ очнулся, ему стало стыдно самого себя, въ головѣ мелькнула мысль, что за этой шторой, можетъ быть, находятся люди, смотрятъ на него, смѣются надъ его подсматриваньемъ. Онъ заглянулъ изъ окна во дворъ, квадратный, глубокій какъ колодецъ, наполненный бѣлесоватыми весенними сумерками.

Тамъ, внизу, сидѣли и слонялись мастеровые, сидѣльцы; въ подъѣзды и подъ ворота шмыгали какія-то женскія фигуры, сопровождаемыя шутками, смѣхомъ мужчинъ. Иногда слышалась въ отвѣтъ площадная ругань. Тепловъ зналъ, что это за женщины.

«Омутъ какой-то!»—пронеслось въ его головѣ.

И вдругъ ему болѣзненно, мучительно захотѣлось куда-то бѣжать изъ этого омута. Но куда? Развѣ не всѣ эти дома съ дешевыми углами, меблированными каморками, кухмистерскими, одинаковы! Въ деревню бы теперь забраться, на дачу куда-нибудь. Онъ вспомнилъ опять о своихъ, о близкихъ. Черезъ три, четыре дня они всѣ, тетка, братъ, Варя, будутъ въ деревнѣ. Ему живо представились и эта деревня, и возрожденіе природы подъ дыханіемъ весны. Просторъ, приволье, тишина. Казалось, онъ ощущалъ ароматъ полей, лѣсовъ. «То-то наговорятся они всласть о человѣчествѣ, о великихъ вопросахъ», промелькнула въ его головѣ злая насмѣшка. Онъ усмѣхнулся. «Великіе вопросы, а своей собственной жизни не сумѣютъ устроить такъ, чтобы ихъ не лягалъ первый встрѣчный оселъ». Онъ сдвинулъ брови, заходилъ по комнатѣ, точно почувствовавъ, что его самого еще лягаютъ эти ослы. Вотъ уже пять лѣтъ, какъ въ немъ все растетъ и растетъ эта чуткость къ обидамъ, эта нервная чувствительность при каждомъ грубомъ прикосновеніи. Мысли его перенеслись въ тотъ роскошный домъ на Каменномъ островѣ, гдѣ онъ давалъ уроки двумъ мальчуганамъ.

Три раза въ недѣлю онъ путешествовалъ на эту дачу съ Садовой. Ему платили хорошо. Но платили, какъ платятъ извозчику, посыльному, носильщику, не обращая на него вниманія, не зная, можетъ-быть, даже черть его лица, цвѣта его волосъ. Онъ приходилъ, давалъ урокъ русскаго и древнихъ языковъ мальчуганамъ, ему давали билетъ, онъ уходилъ домой. Когда билетовъ накапливалось десять, ему высылали деньги, иногда черезъ дѣтей, иногда черезъ камердинера, въ запечатанномъ конвертѣ. Сидя въ классной, онъ иногда видѣлъ, среди клумбъ цвѣтовъ, среди трельяжей, на террасѣ съ зеркальными стеклами, нарядныхъ дамъ, барышень, дѣвочекъ; въ открытое окно доносился ихъ быстрый говоръ на французскомъ языкѣ, ихъ сдержанный смѣхъ. Порой, среди этой молодежи, появлялась высокая, плотная фигура старика въ легкомъ лѣтнемъ костюмѣ, въ бѣломъ жилетѣ, съ золотой цѣпью, съ массой брелоковъ, съ сигарой въ зубахъ.

Серьезный, важный, глубокомысленный, старикъ казался, по крайней мѣрѣ, министромъ или посланникомъ. Онъ былъ... говорятъ, онъ самъ не зналъ, кто онъ былъ—еврей или нѣмецъ, мѣщанинъ или просто незаконнорожденный, изъ уличныхъ метельщиковъ или изъ кабацкихъ подносчиковъ. Теперь же и онъ самъ, и посторонніе знали, что это былъ золотой телецъ. Въ качествѣ золотого тельца онъ могъ быть космополитомъ; но онъ признавалъ выгоднымъ слыть за русскаго, и всѣ считали его русскимъ, называя его Домовымъ, хотя онъ былъ въ сущности Домгофомъ. Домовъ или Домгофъ, не все ли равно? Ему поклонялись, у него заискивали протекцій, черезъ него опредѣлялись на службу; кровныя аристократки, видные государственные дѣятели, крупные таланты писали ему льстивыя письма, добиваясь чего-нибудь, если не прямо для себя, то для своихъ protégés; онъ покровительствовалъ искусствамъ, живописи, скульптурѣ, музыкѣ, театру, смотря свысока на пресмыкавшихся передъ нимъ жрецовъ этого искусства. Его лицо, которое когда-то били по щекамъ, которое было пріучено не измѣняться при самыхъ горькихъ обидахъ, которое съ дѣтства научилось не отражать ни одного душевнаго волненія, ни угрызеній совѣсти, ни гнѣва, ни стыда, дышало теперь наглою холодностью. Онъ считалъ себя человѣкомъ, геніемъ, силой; въ окружающихъ онъ видѣлъ гадовъ, стремящихся слизнуть съ его рукъ хоть частицу его золота. Борисъ Михайловичъ говорилъ съ нимъ всего разъ въ теченіе пяти или десяти минутъ и возненавидѣлъ его, какъ казалось самому юношѣ, на всю жизнь, завидуя ему и мечтая дорасти только до него. Дорасти до него! Каждый разъ, когда эта мысль мелькала въ головѣ Теплова, онъ брезгливо и надменно поднималъ голову:

— Чортъ знаетъ, что лѣзетъ въ голову при видѣ этихъ разжирѣвшихъ скотовъ! Да если бы онъ мнѣ за годъ прожитой имъ въ молодости жизни предложилъ всѣ свои богатства, я и тогда не согласился бы. Ползать по грязи, лизать чужіе кулаки, на это нужна привычка съ дѣтства. У меня, слава Богу, ея нѣтъ.

Тѣмъ не менѣе, онъ желалъ милліоновъ, думая, что ихъ можно пріобрѣсти и не продавая душу чорту. Онъ еще плохо зналъ нравы и обычаи преисподней, называемой житейскимъ моремъ, общественной жизнью. Юношескія фантазіи подсказывали, что для успѣха довольно ума, знаній, способности къ труду, настойчивости, чтобы достигнуть

успѣха. Какого успѣха? Денегъ, денегъ и денегъ, чтобы, по крайней мѣрѣ, не жить въ такомъ омутѣ, въ какомъ онъ живетъ, чтобы не бѣгать изъ-за гроша, чтобы не стыдиться заплатъ, чтобы не бояться за завтрашній день и, главное, никому не кланяться, ни передъ кѣмъ не унижаться, не чувствовать себя рабомъ...

Почти часъ проходилъ онъ по комнатѣ, прежде чѣмъ вспомнилъ, что завтра надо подняться рано, чтобы поспѣть на урокъ. Завтра былъ день получки денегъ, а потому въ карманѣ сегодня не было уже ни гроша. Завтра нужно будетъ идти на урокъ пѣшкомъ, пройти весь городъ, весь Каменноостровскій проспектъ, посидѣть гдѣ-нибудь на скамьѣ, чтобы отдохнуть и не показаться ученикамъ въ поту, съ краснымъ лицомъ, съ тяжелымъ отъ усталости дыханіемъ. Онъ заперъ окно, раздѣлся и бросился на постель. За стѣной послышался легкій смѣхъ.

— Смотрите, постель продавите!—раздался голосъ Ольги Дмитріевны изъ-за стѣны.

Борисъ Михайловичъ сконфузился. Онъ ничего не отвѣтилъ. За стѣной послышалось, какъ перевернулась на кровати дѣвушка. Потомъ пронесся медленный зѣвокъ, какъ зѣваетъ сладко потягивающійся человѣкъ. Борису Михайловичу вдругъ представилось, какъ она лежитъ на постели, вся въ бѣломъ, молоденькая, свѣженькая, здоровая и лѣниво потягивающаяся, закинувъ за голову руки. Ему стало душно, жарко. Нѣтъ, надо будетъ переставить кровать къ другой стѣнѣ. А плита? Плита какъ разъ помѣщается около той стѣны. Спать тамъ, значитъ спать чуть не на печкѣ. Нѣтъ, поневолѣ нужно остаться здѣсь. Онъ не шевелился, почти не дышалъ. Но онъ слышалъ дыханіе сосѣдки.

— Вотъ-то духота у насъ нынче, и свѣтло, точно днемъ,— проговорила за стѣной Ольга Дмитріевна.

Его начинало это бѣсить. Неужели она не понимаетъ, что это, наконецъ, неприлично? Слава Богу еще, что сохранила настолько нравственнаго чутья, что не продалась. А почему не продалась? «Слонъ», говорила она про купца, ухаживавшаго за ней. А если бы онъ не былъ слономъ? Да, стоитъ только подвернуться смазливому негодяю—и конецъ. Сначала увлечется, падетъ, будетъ брошена послѣ перваго ребенка—и пойдетъ по торной дорогѣ паденій со всѣми, съ красивыми и некрасивыми, съ молодыми и старыми. «Вотъ, братъ сейчасъ бы началъ проповѣдывать и спасать», мелькнуло въ его головѣ, и по его лицу скользнула усмѣшка.

Спасешь проповѣдями, какъ же! За стѣной послышался вздохъ, чмокнули съ какой-то досадой губы, скрипнула кровать и было слышно, какъ молодая дѣвушка поднялась и заходила по комнатѣ, мягко касаясь пола босыми ногами... «Бѣдняга, не сладко, видно, что не можетъ уснуть»,—подумалъ Тепловъ и натянулъ на голову одѣяло, чтобы ничего не слышать...

На дворѣ уже свѣтало...

VII.

— Папа васъ проситъ къ себѣ!

Съ этой фразой обратился къ Борису Михайловичу курчавый черноволосый мальчуганъ, лѣтъ двѣнадцати, въ черной суконной курточкѣ, въ такихъ же коротенькихъ панталонахъ, въ черныхъ чулкахъ до колѣнъ. Онъ и его младшій братишка, похожій на него, какъ близнецъ, только что кончили занятія.

Тепловъ смутился: въ его головѣ мелькнула мысль, что Домгофъ, отецъ этихъ дѣтей, хочетъ отказать ему отъ уроковъ. Иначе зачѣмъ бы ему приглашать его къ себѣ? Борисъ Михайловичъ занимается съ дѣтьми Домгофа уже семь мѣсяцевъ и только разъ, при наймѣ, хозяинъ удостоилъ его разговоромъ, принявъ его въ кабинетѣ стоя, на пять, на десять минутъ. Что же ему вдругъ понадобилось теперь?..

Смущенный, почти испуганный, юноша пошелъ за мальчуганомъ. Они миновали рядъ роскошныхъ комнатъ, заставленныхъ тропическими растеніями, статуями, бронзой, фарфоровыми вазами. Въ столовой еще сидѣли за столомъ дамы. Тепловъ неловко раскланялся на ходу, не зная съ кѣмъ, плохо различая физіономіи. На него почти не обратили вниманія. Мальчуганъ шаловливо тянулъ его за рукавъ дальше. Они вошли въ дубовый кабинетъ съ массивною бархатною мебелью, съ старинными книжными шкапами.

Антонъ Ѳедоровичъ Домгофъ, плотный, высокій, съ черными, посеребренными легкой сѣдиной волосами, съ густыми бровями, съ матовымъ, изжелта-блѣднымъ лицомъ, ходилъ по мягкому ковру, засунувъ руки въ карманы брюкъ. Не выпуская изо рта сигары, почти не отвѣтивъ на поклонъ Теплова и только искоса окинувъ его зоркимъ проницательнымъ взглядомъ, онъ проговорилъ:

— У васъ найдется три свободныхъ дня въ недѣлю?

У Теплова было чуть не семь свободныхъ дней въ недѣлю. Онъ отвѣтилъ сконфуженно:

— Три?.. да,.. три дня найдется...

— Прекрасно!.. Вы будете ихъ проводить при моихъ дѣтяхъ... Я долженъ былъ удалить нашего гувернера и потому нужно замѣнить его кѣмъ-нибудь на эти три дня... Я могъ бы вамъ предложить жить у меня, но у насъ и безъ того такъ много помѣщенія здѣсь занято служащими. Кромѣ того, вы должны попривыкнуть.

Онъ обернулся къ сыну, стоявшему въ кабинетѣ и слушавшему разговоръ.

— Иди къ mademoiselle Дюмонъ.

Мальчикъ вышелъ. На нѣсколько секундъ Антонъ Ѳедоровичъ остановился передъ Тепловымъ, окинулъ его съ ногъ до головы взглядомъ. Это было почти мимолетное движеніе, но Борисъ Михайловичъ вспыхнулъ и потупился, точно Домгофъ сразу увидалъ не только крошечную заплату на его сапогѣ, но и его разорванную на локтяхъ сорочку и его почти разлѣзшіеся носки. А Антонъ Ѳедоровичъ уже снова ходилъ по комнатѣ, куря сигару.

— Директоръ гимназіи и ректоръ университета мнѣ ручались за васъ и рекомендовали васъ, какъ нравственнаго человѣка,—говорилъ онъ.—Я не беру васъ сразу въ домъ, чтобы ознакомиться прежде съ вами вполнѣ. Притомъ и вамъ неудобно было бы сразу вступить въ мой домъ...

Тепловъ хотѣлъ было протестовать, сказать, что онъ готовъ хоть сейчасъ, но Домгофъ закончилъ:

— При помощи тѣхъ денегъ, которыя вы получите лѣтомъ, въ четыре, въ пять мѣсяцевъ, вы можете пріодѣться, сдѣлать все, что надо, чтобы поселиться у меня...

Борисъ Михайловичъ опять вспыхнулъ: Домгофъ, казалось, дѣйствительно видѣлъ и сосчиталъ всѣ прорѣхи на его бѣльѣ. Антонъ Ѳедоровичъ замѣтилъ этотъ румянецъ стыдливости на дѣвически-свѣжемъ лицѣ юноши. По его холодному лицу скользнула улыбка, и на минуту оно приняло почти добродушное выраженіе.

— Я же не хотѣлъ бы, чтобы васъ за нигилиста считали у меня въ домѣ,—проговорилъ онъ слегка шутливо и, снова принимая серьезный видъ, добавилъ:

— Бѣдность—не порокъ, неряшливость—это уже крупный недостатокъ; къ сожалѣнію, не станете же вы всѣмъ и каждому разсказывать, что недостатки въ вашемъ туалетѣ происходятъ отъ неимѣнія средствъ, а не отъ пренебреженія къ требованіямъ приличія. Я лично готовъ взять въ руководители къ моимъ дѣтямъ послѣдняго бѣдняка, но

неряху-нигилиста, хоть бы онъ былъ геній, я не возьму въ домъ. Прежде всего дѣти во всемъ и всегда должны быть чистоплотны—неряха въ отношеніи-костюма всегда неряха и въ нравственности, и въ умственномъ отношеніи; кое-какъ одѣваться значитъ кое-какъ относиться къ людямъ, кое-какъ дѣлать дѣло. По душѣ, по рожденію, по симпатіямъ—я русскій, но, въ дѣлѣ аккуратности и чистоплотности, я былъ и останусь нѣмцемъ. Это вы должны помнить прежде всего.

Оборвавъ рѣчь, онъ взялъ со стола приготовленный уже заранѣе конвертъ съ деньгами и передалъ его Борису Михайловичу.

— Это за десять уроковъ и жалованье впередъ за мѣсяцъ. Вамъ, вѣрно, нужно на кое-какіе расходы.

Онъ протянулъ мимоходомъ два пальца юношѣ и направился къ письменному столу, кончивъ переговоры и отбросивъ въ каминъ окурокъ сигары.

Тепловъ направился къ двери. Домгофъ, садясь за рабочій столъ, сказалъ ему вслѣдъ:

— Да, забылъ! Ваши дни—понедѣльники, среды и пятницы, съ девяти часовъ утра до десяти вечера...

VIII.

Борисъ шелъ быстрыми шагами съ дачи. Миновавъ нѣсколько дачъ, онъ свернулъ въ одну изъ пустынныхъ аллей, торопливо вынулъ конвертъ съ деньгами, оглядѣлся, точно воръ, и поспѣшно сталъ разрывать конвертъ, чтобы узнать размѣры добычи. Въ конвертѣ было сто рублей—двадцать пять за уроки, семьдесятъ пять жалованья впередъ за мѣсяцъ. По лицу юноши разлилась краска. Онъ засмѣялся, засунулъ деньги въ карманъ, быстро пошелъ впередъ, не соображая, куда онъ идетъ. Онъ прошелъ такъ минутъ десять, запыхался, оглядѣлся, сообразилъ, что онъ идетъ совсѣмъ въ другую сторону, засмѣялся опять, свернулъ назадъ. На дорогѣ показался извозчикъ.

— На уголъ Садовой и Екатерингофскаго! — крикнулъ Тепловъ.

Извозчикъ окинулъ его взглядомъ.

— Рубликъ дадите? — запросилъ онъ съ усмѣшкой, не сходя съ сидѣнья.

— Что-жъ, я къ тебѣ на колѣни сяду, что ли?—сказалъ Борисъ Михайловичъ запальчиво, точно его обидѣли.

Извозчикъ пересѣлъ на козлы.

— Ну, живѣй, живѣй!—понукалъ его Тепловъ.

«Зачѣмъ?»

Этотъ вопросъ вдругъ пришелъ ему въ голову. Къ кому онъ спѣшитъ? Съ кѣмъ онъ можетъ подѣлиться радостью? Ему представилась его узкая, грязноватая, пустая каморка. На душѣ стало тяжело. Если бы здѣсь были тетка, братъ, Варя? Сколько радости возбудило бы его счастье. Не было бы конца разспросамъ, все пришлось бы повторить десять разъ. Онъ ѣхалъ мимо какихъ-то магазиновъ. Вотъ онъ купилъ бы чего-нибудь для тетки, для Вари. «Ахъ, мотъ, мотъ!» воскликнули бы онѣ и обрадовались бы, обнимая и цѣлуя его. «Что-жъ, если я»,—началъ онъ и не кончилъ, сконфузившись. Въ его головѣ мелькнула мысль, что онъ могъ бы купить гостинца для Ольги Дмитріевны. Зачѣмъ? что она ему? Еще вообразитъ что-нибудь! Нѣсколько минутъ онъ старался думать о другомъ. Но въ головѣ неотступно вертѣлась мысль: «бѣдная дѣвушка, у нея тоже нѣтъ никого близкихъ». И вдругъ онъ вспомнилъ, что у него только четыре двадцатипятирублевыя бумажки въ карманѣ. Ихъ надо размѣнять. Онъ точно обрадовался при этой мысли.

— Стой здѣсь!—крикнулъ онъ извозчику и быстро побѣжалъ въ кондитерскую Ландрина.

«Хочешь, не хочешь, а купить чего-нибудь надо, а то съ двадцати пяти рублей у извозчика нельзя же просить сдачи,—пояснялъ онъ мысленно.—Ужъ это такая Ольга Дмитріевна счастливая, что конфетъ приходится покупать. Не мѣнялѣ же платить за размѣнъ денегъ».

Еще нѣсколько минутъ—и онъ вбѣжалъ въ пятый этажъ, вошелъ въ коридоръ, распахнулъ дверь...

— Ну, не туда попалъ!—воскликнулъ онъ, очутившись не въ своей комнатѣ, а у Ольги Дмитріевны. — Берите!.. Мѣсто я получилъ, милая сосѣдка!.. Вотъ вамъ спрыски!.. Деньжищъ цѣлая Калифорнія!..

Она увидала коробку съ конфетами, бросилась къ нему и звонко поцѣловала его.

Онъ растерялся; она тоже потупилась, покраснѣла. Онъ не ждалъ этого; она не хотѣла этого. Все вышло какъ-то само-собою. Потомъ оба расхохотались. Заговорили вдругъ, торопясь, стараясь дѣлать видъ, что ничего не случилось. Дѣти такъ дѣлаютъ, набѣдокуривъ: «это киска опрокинула банку съ вареньемъ, а не пай-дѣвочка»...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Жизнь въ семьѣ Домгофа начиналась рано.

Являясь на дачу немного ранѣе девяти часовъ, Борисъ Михайловичъ заставалъ всѣхъ женщинъ уже въ такомъ видѣ, точно никто и не спалъ,—освѣженныхъ купаньемъ, причесанныхъ, стянутыхъ въ корсеты, безъ заспанныхъ глазъ, съ вышивками, вязаньями и газетами въ рукахъ. Утреннихъ блузъ, капотовъ, чепчиковъ здѣсь, казалось, и не существовало.

Завидѣвъ юношу, мальчуганы тащили его прямо въ столовую, въ этотъ сборный пунктъ утреннихъ собраній всего женскаго населенія дачи. Здѣсь вокругъ большого стола сидѣли дѣвочки, молодыя дѣвицы, пожилыя дамы, цѣлый пансіонъ женщинъ подъ предсѣдательствомъ граціозной, высокой распорядительницы хозяйствомъ. Уже за нѣсколько комнатъ можно было разслушать шумъ этого улья, говорливаго, работящаго. Переступивъ порогъ этой комнаты, Тепловъ едва успѣвалъ поздороваться со всѣми, какъ его засыпали вопросами, разсказами, новостями. Распорядительница хозяйствомъ, ласково улыбаясь, замѣчала:

— Ахъ, подождите, дайте Борису Михайловичу напиться чаю!—и, обращаясь къ Теплову, продолжала:—Не слушайте ихъ и пейте. Вамъ чего: чаю или молока?

Борисъ Михайловичъ конфузился, отвѣчалъ:

— Все равно, что-нибудь!

Тогда распорядительница опять съ улыбкой заканчивала:

— Значитъ и того, и другого!

Всѣ смѣялись, но смѣялись такимъ смѣхомъ, какъ будто говорили юношѣ:

— Да ты не конфузься! Видишь, мы какіе простые! У насъ можно быть какъ дома, можно быть своимъ человѣкомъ.

И, присмотрѣвшись немного къ этой семьѣ, Тепловъ увидалъ, что въ ней и нельзя быть не «своимъ», такъ какъ всѣ здѣсь были свои и только свои. Тепловъ даже не сразу разобрался, кто здѣсь кому родня. Одно онъ только узналъ сразу, что все хозяйственное управленіе сосредоточено въ рукахъ «Tante Malchen», той высокой, стройной женщины, которая каждое утро стоитъ у чайнаго стола и надѣляетъ всѣхъ чаемъ, молокомъ, булками. Познакомившись съ Tante Malchen, онъ сразу убѣдился, что Домгофы—не евреи, а

нѣмцы, такъ какъ только у нѣмцевъ въ каждой семьѣ есть своя Tante Malchen.

Tante Malchen дѣвушка. Сколько ей лѣтъ—этого никто не знаетъ: дѣвственно стройный станъ, лицо съ румянцемъ семнадцатилѣтней дѣвицы, восторженность только что вышедшей изъ школы пансіонерки, легкость поступи, какая встрѣчается только у молодыхъ дѣвушекъ, все это говоритъ, что она очень молода; но въ ея темныхъ, волнистыхъ волосахъ пробивается сильная сѣдина, около глазъ, подъ подбородкомъ, около ушей замѣтны сотни черточекъ, точно проведенныхъ перочиннымъ ножомъ, по всѣмъ этимъ признакамъ ей можно дать много лѣтъ. Она, впрочемъ, никогда не говоритъ о своихъ лѣтахъ, не изъ желанія молодиться, а скорѣе потому, что она не придаетъ уже давно значенія этому вопросу: она давно рѣшила, что въ ея годы замужъ не выходятъ, примирилась съ этимъ, не думала объ этомъ—значитъ нечего и говорить о годахъ. Ей и некогда было думать объ этомъ, такъ какъ у Tante Malchen были на рукахъ цѣлый домъ, цѣлая толпа дѣтей, цѣлая масса заботъ. Поглощенная всею суетою дня, Tante Malchen сумѣла, однако, сохранить въ себѣ любовь ко всему прекрасному и могла еще восхищаться поэзіей,—красотой солнечнаго заката и звучностью стиха. Правда, иногда это вело къ нѣкоторымъ комическимъ сценамъ. Слушая какое-нибудь стихотвореніе, она вдругъ вспоминала о необходимости сходить въ кухню и, останавливая чтеніе стихотворенія на половинѣ, она говорила:

— Подождите, я сбѣгаю по хозяйству.

Потомъ она возвращалась и говорила:

— Ну, теперь продолжайте!

И когда стихотвореніе дочитывалось, она первая выражала свой восторгъ. Въ Tante Malchen соединились библейская Марѳа и Марія и уживались между собою въ полной гармоніи.

Рядомъ съ Tante Malchen рѣзко выдѣлялась другая, такая же подвижная, такая же хлопотливая личность, mademoiselle Дюмонъ, гувернантка дочерей Домгофа, занимавшаяся еще и съ мальчиками. Это была истая француженка, уроженка юга, средняго роста, кругленькая, съ волосами цвѣта воронова крыла, съ смуглымъ цвѣтомъ лица, съ блестящими черными глазами, съ быстрымъ говоромъ. Въ ней сразу чувствовалась женщина-практикъ, повелѣвающая обстоятельствами своей жизни, никогда не унывающая,

умѣющая всегда быть съ веселымъ лицомъ въ обществѣ, зная, что хмурыхъ физіономій люди не любятъ. Она была въ домѣ и воспитательницей, и учительницей, и компаньонкой, и совѣтницей въ вопросахъ о нарядахъ, о вечерахъ, о выѣздахъ въ театры. Въ дѣлѣ всякихъ модныхъ пустяковъ она была такимъ же знатокомъ, какъ Tante Malchen въ поэзіи.

За спиною этихъ двухъ дѣвушекъ могла спокойно отдыхать поработавшая не мало на своемъ вѣку, пережившая и нужду, и горе госпожа Домгофъ. Это худощавое созданье съ рѣдкими бѣлокурыми волосами, съ лицомъ, покрытымъ морщинками, съ тонкими руками, пальцы которыхъ хранили въ опухшихъ суставахъ слѣды ревматизма, смотрѣла равнодушнымъ, иногда нѣсколько насмѣшливымъ взглядомъ на все, на роскошь обстановки, на свое богатство, на положеніе мужа въ обществѣ, и любила только одно—покой своей семейной жизни. Она даже нѣсколько конфузилась и терялась въ большомъ обществѣ и, когда гости уѣзжали, не безъ горечи говорила въ своемъ тѣсномъ кругу:

— Насъ картонную аристократію, только тогда и знаютъ, когда у насъ есть деньги, чтобы кормить на убой.

Познакомившись съ этими женщинами, Тепловъ точно упалъ съ неба на землю: онъ ожидалъ увидѣть чванную, надутую семью, а увидалъ самую обыкновенную семью нѣмецкихъ бюргеровъ, гдѣ никакія тысячи не могли заставить людей забыть, что за кухней нуженъ хозяйскій глазъ, что сложа руки скучно сидѣть тогда, когда можно шить, вязать и вышивать, что блестящая обстановка нужна только для поддержанія связей, а вовсе не ради страсти къ мотовству, что роскошь не составляетъ еще счастія, котораго нужно искать въ чемъ-то другомъ. Въ этихъ же идеяхъ росли и дѣти Домгофа: младшая дѣвочка, Гретхенъ, девяти лѣтъ, уже умѣла вязать чулки и въ тамбуръ, старшая, четырнадцатилѣтняя Александрина, уже посѣщала съ Tante Malchen кухню, мальчуганы—десятилѣтній Густавъ былъ ловкимъ для своихъ лѣтъ столяромъ, а двѣнадцатилѣтній Оскарь отлично рѣзалъ и пилилъ изъ дерева разныя мебельныя и комнатныя украшенія, этажерки, рамки, подставки для книгъ.

Попавъ въ этотъ кружокъ, Тепловъ сначала очень конфузился и смущался, но всѣ точно сговорились ободрять его—Tante Malchen своей мягкой привѣтливостью, mademoiselle Дюпонъ своей развязной веселостью, а госпожа Домгофъ, обыкновенно серьезная и равнодушная на видъ, двумя,

тремя мѣтко попавшими въ цѣль фразами. Видя какъ-то замѣшательство Бориса, она сказала ему:

— Вы такъ же теряетесь въ обществѣ, какъ я. Я разъ въ одномъ важномъ домѣ варенье въ шоколадъ положила изъ желанія, чтобы меня не угощали и оставили въ покоѣ. И выпила, ничего!

И тѣмъ же тономъ ироніи она со вздохомъ прибавила:

— Да, тяжело быть въ чужомъ кругу. Я долго не знала, какъ надо быть во время визитовъ къ кому-нибудь—въ обѣихъ перчаткахъ или въ одной. Это меня ужасно мучило.

Tante Malchen замѣтила:

— А теперь научились?

— Теперь я въ вязаныхъ напульсникахъ и въ какихъ-то рукавицахъ на мѣху визиты дѣлаю,—съ усмѣшкой отвѣтила госпожа Домгофъ.

И со вздохомъ она прибавила:

— О, если бы Антону уже было не нужно, чтобы и я поддерживала связи, я никуда бы не ѣздила. Ему можетъ быть лучше, какъ чувствовать, что у тебя уже есть свой уголъ, своя семья, отгороженные стѣной отъ остального міра.

И она съ участіемъ разспрашивала Теплова: всегда ли онъ былъ такимъ одинокимъ? Нѣтъ, жилъ въ деревнѣ, подъ крыломъ любящей тетки. О, это большое счастье. Впрочемъ, стоитъ на него взглянуть, чтобы понять, что на немъ лежатъ слѣды семейнаго воспитанія. Ему, вѣрно, тяжело теперь одиночество. Еще бы! Ну, вотъ нужно попривыкнуть къ ихъ семьѣ, сдѣлаться въ ней своимъ. У нихъ всѣ свои. Ужасно тяжело, когда въ домѣ есть чужіе. Это стѣсняетъ. Только и можно жить со своими...

И Тепловъ начиналъ чувствовать, что и онъ становится у нихъ своимъ.

II.

За обѣдомъ къ кружку женщинъ присоединялись мужчины: Антонъ Ѳедоровичъ всегда возвращался изъ города не одинъ, а съ кѣмъ-нибудь изъ служащихъ съ нимъ въ банкѣ. Эти люди были тоже своими въ домѣ, то-есть племянниками, кузенами, сводными братьями Домгофовъ. Они смотрѣли по большей части трудящимися, простыми, односторонними нѣмцами, не только не выдумавшими пороха, но даже не изъявлявшими и стремленія выдумывать его. Они, повидимому, были убѣждены, что все необходимое въ

мірѣ уже сдѣлано, и каждому человѣку остается только тянуть ту телѣгу, въ которую его впрягла судьба—военному шагать на плацъ-парадахъ, бухгалтеру подсчитывать цифры, чиновнику переписывать бумаги, а въ свободное время, такъ или иначе, согласно положенію въ обществѣ и состоянію, «sich amüsiren», то-есть, пить пиво, играть въ кегли, посѣщать театры, прочитывать, для развлеченія, что дѣлаетъ Бисмаркъ, гдѣ находится холера, сколько топится, вѣшается и стрѣляется людей, и много ли бываетъ въ годъ писемъ безъ адресовъ.

Изъ ихъ среды выдѣлялся только Антонъ Ѳедоровичъ, какъ выдѣляется генералъ въ средѣ прапорщиковъ тѣмъ, что онъ можетъ командовать, а они считаютъ долгомъ говорить: «слушаю-съ!» Онъ говорилъ такимъ тономъ, что никто не смѣлъ ему возражать; вслѣдствіе этого, принимая молчаніе за знакъ согласія, онъ признавалъ себя геніемъ, имѣющимъ правильныя воззрѣнія на всѣхъ и на все. У него были на все свои опредѣленные безапелляціонные взгляды: на политику Бисмарка, на причины паденія Наполеона III, на причины нашихъ финансовыхъ затрудненій, на таланты величайшихъ писателей, на достоинства музыкальныхъ произведеній. Иногда онъ казался круглымъ глупцомъ и невѣждой; иногда, казалось, что это беззастѣнчивый нахалъ и наглецъ. Въ сущности, онъ не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, а былъ просто вліятельнымъ богачомъ, которому уже давнымъ-давно люди говорили только: «вы совершенно правы». Когда онъ не говорилъ о томъ, чего онъ не знаетъ, чего ему некогда знать, когда онъ не считалъ нужнымъ казаться важнымъ человѣкомъ, онъ былъ очень милымъ бюргеромъ, сохранившимъ больше пристрастія къ пиву, чѣмъ къ тонкимъ винамъ, больше склонности къ кегельбану, чѣмъ къ шекспировскимъ драмамъ, больше привязанности къ просторнымъ штанамъ и пиджакамъ сѣренькихъ цвѣтовъ, чѣмъ къ узкимъ чернымъ панталонамъ и фракамъ и бѣлымъ галстукамъ... Впрочемъ, все это знала только его Каролина Карловна, а посторонніе могли только угадывать это: Домгофъ именно тѣмъ и отличался отъ жены, что онъ боялся высказывать свои вкусы открыто и прямо, тогда какъ она не боялась этого, ему все еще казалось, что его не станутъ такъ уважать, если онъ скажетъ прямо, что онъ невѣжда, что онъ плюетъ на всякія приличія, что онъ будетъ жить по своему вкусу; она же давно пришла къ убѣжденію, что если она явится въ обществѣ въ холстинковомъ платьѣ, то

и тогда это общество скажетъ: «о, какъ оригинальна madame Domhoff».

Какъ-то, наигравшись до поту въ кегли съ Домгофомъ, его дѣтьми и родственниками, Борисъ Михайловичъ вдругъ увидалъ, что онъ рисовалъ себѣ совсѣмъ инымъ человѣкомъ Домгофа.

— И чего я его боялся! Вообще чего я боялся ихъ всѣхъ?— спрашивалъ онъ себя.

И ему даже стало смѣшно на себя.

— Люди, какъ люди, да еще простые и добрые люди,— закончилъ онъ.

III.

Теплова смущало только одно лицо въ домѣ Домгофа— шестнадцатилѣтняя дѣвушка, двоюродная племянница господина Домгофа.

Ея худенькое личико хранило слѣды еврейскаго происхожденія. Она была скорѣе не хороша, чѣмъ хороша собою. Можетъ-быть, это происходило отъ худобы, отъ ея какъ бы запоздавшаго развитія. Костлявыя формы, слишкомъ большой ротъ, плотоядные бѣлые зубы, черезчуръ часто показывавшіеся наружу, широкія скулы, узкій лобъ съ цѣлой шапкой непокорныхъ черныхъ волосъ, продолговатые черные глаза съ желтоватыми бѣлками. Такія лица встрѣчаются часто на рисункахъ тѣхъ книгъ, гдѣ описывается древній Египетъ. Она только годъ какъ жила у Домгофовъ, вывезенная изъ какой-то трущобы, гдѣ погибли въ нищетѣ ея отецъ и мать. Она еще была малограмотна, плохо развита, почти не воспитана. Слѣды невѣжественной и нищей среды еще не были смыты, несмотря на всѣ усилія Tante Malchen, Каролины Карловны и mademoiselle Дюмонъ.

Съ первой же встрѣчи съ нею, Тепловъ былъ смущенъ ея отношеніемъ къ нему. Она почти не кланялась ему, не говорила съ нимъ, не обращала на него вниманія. Это не была ни застѣнчивость, ни дикость: это было пренебреженіе къ наемному учителю. Если бы Борисъ Михайловичъ и сомнѣвался въ этомъ, то его сомнѣніе могло легко разсѣяться при одномъ посѣщеніи.

Къ Домгофу во время завтрака пріѣхалъ однажды съ визитомъ какой-то важный старикъ, съ сыномъ камеръ-пажомъ. Каролина Карловна велѣла принять гостей въ столовую, сдѣлавъ гримасу и мелькомъ замѣтивъ Tante Malchen:

— Можетъ-быть, надо бы въ гостиной принять?

Когда гости вошли и усѣлись у стола, старикъ, любезничая съ хозяйкой, спросилъ:

— А это ваша старшая дочь?

Онъ указалъ глазами на Клару.

— Племянница моего мужа.

Старикъ раскланялся. Тепловъ обратилъ вниманіе на молодую дѣвушку. Ея худыя щеки горѣли до самыхъ глазъ яркимъ румянцемъ, глаза тоже блестѣли и пожирали молодого камеръ-пажа. Когда гости уѣхали, она съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ обратилась къ госпожѣ Домгофъ:

— Это очень важный господинъ?

Госпожа Домгофъ отвѣтила своимъ обыкновеннымъ тономъ:

— Онъ долженъ твоему дядѣ нѣсколько тысячъ, значитъ важный. Не важному столько не повѣрили бы въ долгъ.

— Но онъ весь въ золотѣ, этотъ молодой человѣкъ!

Госпожа Домгофъ опять усмѣхнулась:

— Это мишура!

— Это такъ красиво!

Молодая дѣвушка сдвинула брови и задумалась.

Черезъ нѣсколько дней эти же два господина пріѣхали снова, Клара увидала ихъ первая и, запыхавшись, прибѣжала къ теткѣ сказать о ихъ пріѣздѣ. Опять ея худыя щеки покрылись яркимъ румянцемъ, и глаза горѣли, какъ раскаленные уголья. Тетка даже разсердилась на нее, зачѣмъ она докладываетъ? На это есть слуги. На этотъ разъ камеръ-пажъ заговорилъ съ молодой дѣвушкой; она торопливо стала отвѣчать на его вопросы, путаясь и стыдясь за свое произношеніе. Когда посѣтители уѣхали, она почти въ слезахъ обратилась къ mademoiselle Дюмонъ:

— Ахъ, мнѣ надо учиться, учиться! Я совсѣмъ осрамилась передъ этимъ господиномъ! Что онъ подумаетъ обо мнѣ!

Госпожа Домгофъ услыхала ея слова и отвѣтила:

— Онъ подумаетъ: она такъ гадко говоритъ по-французски, что у нея вѣрно милліонъ приданаго...

Тепловъ подмѣтилъ какой-то зловѣщій огонекъ въ глазахъ молодой дѣвушки. Казалось, она думала про тетку: «если бы я смѣла, я растоптала бы тебя ногами».

«Эта у нихъ никогда не будетъ своею!» — подумалъ Борисъ Михайловичъ, ощущая что-то въ родѣ безпричинной антипатіи къ Кларѣ.

Но, задумавшись о томъ, что она никогда не будетъ въ

этомъ домѣ «своею», онъ впервые задалъ себѣ вопросъ: «а какъ онъ, Тепловъ, сдѣлался здѣсь своимъ? Облагодѣтельствовали, пригрѣли, какъ нищаго, вотъ онъ и радъ, и думаетъ, что онъ свой». До этой минуты ему ни разу не приходила въ голову эта мысль; теперь она начала его мучить. Онъ былъ самолюбивъ, онъ всегда хотѣлъ быть самостоятельнымъ. Его теперь начинало коробить отъ сознанія, что его первый житейскій успѣхъ есть слѣдствіе чужой доброты, благодѣянія, благотворительности...

IV.

Тепловъ не могъ уловить ни одного намека на то, что ему покровительствуютъ, благодѣтельствуютъ. Видя простоту обращенія Домгофовъ, онъ вздыхалъ свободнѣе и увѣрялъ себя, что это просто добрые люди, даже и не думающіе, что они оказываютъ благодѣяніе. Но стоило ему столкнуться съ Кларой, встрѣтить ея пренебрежительный взглядъ, и онъ чувствовалъ себя униженнымъ, призрѣннымъ нищимъ. Онъ началъ питать къ ней глухую ненависть, какъ къ человѣку, смущавшему его душевный покой, задѣвавшему его самолюбіе. Ради нея онъ уже не могъ говорить спокойно о своемъ положеніи въ домѣ Домгофовъ. Онъ успѣлъ уже сгоряча написать теткѣ о своемъ счастіи, о миломъ отношеніи къ нему семьи Домгофовъ, когда же получился отвѣтъ старушки со словами: «Дай Богъ здоровья этимъ добрымъ людямъ, что они тебя пригрѣли»,—въ немъ поднялась цѣлая буря. Голоднаго нашли, нищаго отыскали и благодѣтельствуютъ! Да, именно такъ! Это онъ читаетъ въ каждомъ взглядѣ Клары. Она не умѣетъ притворяться и маскировать то, что умѣютъ скрывать Домгофы.

Каждый разъ, возвращаясь отъ Домгофовъ, онъ слышалъ разспросы Ольги Дмитріевны: Какъ идутъ его дѣла? Хорошо ли ему? Сначала онъ отвѣчалъ на эти вопросы восторженными отзывами о Домгофахъ, потомъ начали проскальзывать фразы: «Еще бы не хорошо!—няньчатся съ нищимъ!»

— Ну, опять, вѣрно, Кларка чѣмъ-нибудь насолила?—замѣчала въ подобныхъ случаяхъ Діодатова.

Она уже знала всѣхъ Домгофовъ по именамъ и племянницу Домгофа иначе не звала, какъ Кларкой. Она ее ненавидѣла вмѣстѣ съ Тепловымъ, говоря, что и она, Ольга Дмитріевна, не мало такихъ «сехидницъ» встрѣчала на свѣтѣ.

Разъ какъ-то она замѣтила ему:

— Да, можетъ-быть, она бѣсится на васъ, что вы на нее не обращаете вниманія, красотой ея не прельщаетесь?

— Очень ей нужны мои ухаживанья!—отвѣтилъ Борисъ Михайловичъ.—Она и вниманія на нихъ не обратила бы. Ей нужны богатые обожатели, чтобы тряпки ей могли дарить.

И онъ разсказалъ, какъ при немъ разгорѣлись глаза и щеки у Клары, когда пришла модистка.

— Всю картонку она перерыла, точно голодная волчица добычу завидѣла,—говорилъ онъ.—Я никогда такой жадности и зависти не видѣлъ. Каждую тряпочку примѣрила къ себѣ, перещупала дрожащими руками. Кажется, она готова была бы украсть всѣ эти вещи, если-бъ было можно...

— Да она изъ евреекъ? Онѣ всѣ жадныя!

— Кто ее знаетъ, изъ какихъ она? Знаю я только, что такая жена любого мужа разоритъ на тряпки. Жаль того, кому она попадется!

Иногда онъ, возвращаясь домой, не заходилъ къ Ольгѣ Дмитріевнѣ и, войдя въ свою комнату, раздѣвался и ложился въ постель. Тогда изъ-за стѣны слышалось:

— Ну, Борисъ Михайловичъ, вы, вѣрно, сегодня совсѣмъ не въ духѣ?

— Нѣтъ, усталъ,—отзывался онъ.

— А что Кларка ваша?

— Что, сегодня ужъ совсѣмъ безцеремонно вела себя. Пріѣхалъ къ нимъ какой-то юный франтъ, всѣ сидѣли на террасѣ, я былъ съ дѣтьми въ саду. Франтикъ спросилъ обо мнѣ Клару: «а этотъ господинъ вашъ родственникъ?» Она громко отвѣтила: «нѣтъ, нанимаютъ его, чтобы приходилъ смотрѣть за мальчиками». Ужъ лучше бы прямо сказала, что я дядька, лакей...

— Ишь вѣдь зелье какое! Ей-Богу, она влюблена въ васъ!

— Выдумали! Есть въ кого влюбиться!

— Въ васъ-то!—воскликнула Ольга Дмитріевна.—Да въ васъ всякая влюбилась бы!

Борисъ Михайловичъ даже разсмѣялся этому наивному восклицанію.

Его уже не стѣсняли эти разговоры вечеромъ черезъ стѣну, когда и онъ, и молодая дѣвушка лежали въ постеляхъ. Это вошло какъ-то въ привычку. Иногда, лежа такъ въ своихъ комнатахъ, они не только передавали свои тревоги и неудачи другъ другу, но сговаривались идти куда-нибудь на другой день вечеромъ: въ Екатерингофъ, въ Демидовскій садъ, въ Лѣтній садъ.

Борисъ Михайловичъ принималъ менѣе участія въ невзгодахъ Ольги Дмитріевны, чѣмъ она въ его судьбѣ. Онъ только на ея вопросы разсказывалъ ей о своихъ мелкихъ непріятностяхъ, а она, не дожидаясь его вопросовъ, выкладывала передъ нимъ все, что случалось съ нею. Она не понимала, не подмѣчала этихъ тонкостей, но не могла не понять того, что ея жизнь стала полнѣе, разнообразнѣе, веселѣе со времени ихъ болѣе близкаго знакомства; ей теперь было съ кѣмъ болтать о разныхъ мелочахъ, около нея былъ теперь человѣкъ, съ которымъ она могла въ свободные часы гулять. Эти прогулки подъ руку, въ лѣтніе вечера, по тѣнистымъ аллеямъ садовъ, подъ звуки музыки или пѣнія, съ питьемъ чая гдѣ-нибудь въ уголкѣ сада, съ разговорами о всякихъ пустякахъ имѣли свою прелесть не только для молодой дѣвушки, но и для Теплова. Она забывала о сценахъ съ отцомъ и мачихой изъ-за куска, все еще «сватавшагося» къ ней; онъ не чувствовалъ своего одиночества, слыша около себя веселое щебетанье. Ни онъ, ни она ни разу не задумались о томъ, что это, можетъ-быть, прологъ къ любви. На любовь не было даже намека, если не считать намеками случайныя фразы.

— Вонъ, смотрите, влюбленная парочка идетъ и шепчется,—говорила Ольга Дмитріевна.

— Почему же непремѣнно влюбленная? Можетъ-быть, такъ же гуляютъ, какъ мы,—отвѣчалъ онъ.

Она смѣялась.

— А они, можетъ-быть, про насъ то же говорятъ.

— Что то же? что мы просто гуляемъ?

Они начинали смѣяться оба.

Иногда же какая-нибудь шансонетка приводила въ такой восторгъ Ольгу Дмитріевну, что она, держа подъ руку Теплова, крѣпко прижималась къ нему и шептала:

— Спасибо вамъ, ничего бы я безъ васъ не видѣла и не слышала.

— Я очень радъ, что вамъ весело,—отвѣчалъ онъ, тоже пожимая локтемъ ея руку.

Потомъ, въ полумглѣ лѣтней ночи, по улицамъ затихшаго города, тихими шагами они возвращались домой, какъ братъ съ сестрой, расходились по своимъ комнатамъ, и Тепловъ слышалъ, какъ она раздѣвалась, напѣвала слышанные мотивы, укладывалась спать, сладко зѣвая, потягиваясь на постели...

V.

У надворнаго крыльца дачи Домгофа стоялъ экипажъ изъ плетенаго камыша, запряженный парой маленькихъ откормленныхъ лошадей въ англійской упряжи. Въ экипажъ усѣлись Борисъ Михайловичъ и оба его воспитанника. Старшій изъ мальчугановъ взялъ вожжи, конюхъ отпустилъ лошадей, и «корзинка» безшумно покатилась по тѣнистымъ аллеямъ Каменнаго острова.

Душистый воздухъ августовскаго дня, роскошная растительность парка, быстрая ѣзда въ мягко покачивающемся экипажѣ, полное душевное спокойствіе, безъ заботы о завтрашнемъ днѣ, все это привело въ какое-то странное состояніе Теплова. Ему казалось, что онъ уснулъ въ одинъ изъ весеннихъ дней, и ему снятся чудные сны. Онъ почти боялся, что настанетъ время пробужденія. Дѣйствительно, развѣ не сонъ все то, что вдругъ неожиданно произошло съ нимъ. Вотъ уже болѣе трехъ мѣсяцевъ, какъ онъ проводитъ по три дня на дачѣ Домгофа и какъ проводитъ; чужой, не замѣчаемый никѣмъ, подозрѣвающій, что его всѣ презираютъ въ этомъ домѣ, онъ внезапно дѣлается здѣсь своимъ человѣкомъ, присутствуетъ на завтракахъ и обѣдахъ семьи, принимаетъ участіе въ играхъ въ серсо, въ воланы, въ крокетъ, въ кегли, съ дѣтьми, съ Домгофомъ и его родственниками, ходитъ купаться въ роскошно устроенную ванну, дурачится вмѣстѣ съ ними, катается въ превосходныхъ экипажахъ и, что главное, не можетъ надивиться простотѣ обращенія съ нимъ всей семьи, начиная съ самого всегда серьезнаго Домгофа и кончая его типичной, относящейся ко всему съ ироніей, женой. Да, онъ былъ бы вполнѣ счастливъ, если бы Клара своимъ отношеніемъ къ нему не заронила въ его душу горькаго сознанія, что ему благодѣтельствуютъ, что его пригрѣли, можетъ-быть, ради того, что въ немъ увидали голоднаго нищаго. Вспоминая это, онъ краснѣлъ, смущался, не зналъ, какъ себя держать, а между тѣмъ никто изъ окружающихъ, кромѣ Клары, ни разу даже не намекнулъ, что онъ—предметъ благодѣяній. Порой эта простота отношеній заставляла его удивляться семьѣ Домгофовъ, видѣть въ ней что-то необыкновенное, выходящее изъ ряду вонъ по добротѣ, по умѣнью помогать ближнимъ. Бывали минуты, когда онъ начиналъ проникаться благодарностью къ этой семьѣ и сейчасъ же съ горечью ловилъ себя на этомъ чувствѣ облагодѣтельствованнаго и принизившагося нищаго. Иногда

же удачи, комфортъ, безтревожное житье брали верхъ надъ всякими рефлексами, и онъ ловилъ минуты счастія безъ думъ, безъ размышленій. Именно съ такимъ чувствомъ онъ ѣхалъ теперь съ мальчуганами.

Они, по обыкновенію, оживленно болтали съ Тепловымъ. Среди этой болтовни Оскаръ замѣтилъ:

— А вы въ ноябрѣ совсѣмъ переѣдете къ намъ?

— Я еще не знаю,—отвѣтилъ Тепловъ, очнувшись отъ грезъ.

— Да, папа говорилъ. Мы съѣздимъ за границу, а потомъ вы переѣдете къ намъ. Папа вами очень доволенъ,—серьезно докончилъ мальчуганъ.

— Вотъ какъ!

Мальчуганъ продолжалъ откровенничать:

— Папа не вѣрилъ, когда васъ рекомендовали ваши директоръ и ректоръ; онъ думалъ, что вы не такой, какъ про васъ говорили. Молодые люди вѣдь очень дурные бываютъ.

— Почему же только молодые? И старые бываютъ дурными,—замѣтилъ Тепловъ.

— Да, это тѣ, которые молодыми были тоже дурными,—серьезно отвѣтилъ мальчуганъ.—Папа очень боялся, что вы тоже не такой, какъ про васъ говорили. Это очень непріятно, когда въ домѣ и люди, и учителя, и знакомые часто перемѣняются.

Онъ передавалъ то, что слышалъ отъ большихъ, тономъ взрослаго.

— Ну, а теперь папа убѣдился, что я такой, какъ про меня говорили?—спросилъ шутливо Тепловъ.

— О, давно, съ первыхъ уроковъ папа убѣдился, что вы добросовѣстный человѣкъ.

На минуту по лицу Теплова проскользнула улыбка. Его всегда смѣшилъ тонъ Оскара, говорившаго о серьезныхъ и практическихъ вопросахъ совершенно такъ, какъ говорятъ взрослые. Потомъ онъ, пораженный какимъ-то соображеніемъ, серьезно спросилъ:

— Но папа же не зналъ, какъ я занимаюсь. Или вы ему говорили?

— О, нѣтъ! Но всѣ же знали, какъ вы занимаетесь, и папа, и maman, и Tante Malchen. Они же всегда слушали за драпировкой. О, если бы не слѣдить, какъ занимаются новые учителя, что бы было! Можетъ попасться недобросовѣстный учитель, а мы, дѣти, сейчасъ этому и обрадуемся.

Борисъ Михайловичъ почему-то сконфузился; въ его душѣ прошла какая-то тѣнь непріязни противъ Домгофовъ за то, что они «шпіонили» за нимъ, какъ онъ выразился мысленно. Какъ чисто русскій человѣкъ, сходившійся съ кѣмъ ни попало и разочаровывавшійся на другой день въ томъ, съ кѣмъ вчера якшался, какъ съ другомъ, онъ не могъ сразу понять всю законность этой чуждой ему самому осмотрительности и только видѣлъ въ ней шпіонство.

Оскаръ же продолжалъ разсказывать:

— У насъ одинъ разъ былъ такой учитель, который, вмѣсто занятій съ нами, картинки рисовалъ или газеты читалъ. Нѣтъ, ужъ вы не такой, минуты у васъ на урокѣ не пропадетъ. Папа говорилъ, что трудно и повѣрить, что вы русскій.

— Оскаръ, Оскаръ, правѣй!—крикнулъ Густавъ заболтавшемуся брату, чуть не наѣхавшему на возъ съ сѣномъ.

Оскаръ потянулъ вожжами вправо и, продолжая прерванный разговоръ, спросилъ Теплова:

— А вы все въ той же маленькой комнатѣ живете и теперь, гдѣ жили весной?

— Да, тамъ же. Но вы почему знаете, что у меня маленькая комнатка?

— Onkel Franz говорилъ. Онъ вѣдь ѣздилъ справляться у вашей хозяйки о васъ.

И опять мальчикъ сталъ вдаваться въ подробности, какъ отозвалась о Тепловѣ госпожа Швецова, какъ папа, т. е. самъ Домгофъ, удивился скромности Теплова, его умѣнью самостоятельно жить безъ чужой помощи, просиживать цѣлые дни за работой.

— Папа сказалъ, что вы далеко пойдете, — закончилъ Оскаръ.

— Вотъ какъ! — съ ироніей и досадой сказалъ Борисъ Михайловичъ.

Онъ чувствовалъ себя скверно, былъ раздраженъ, былъ недоволенъ кѣмъ-то и чѣмъ-то. Сразу онъ не могъ ничего осмыслить, выяснить себѣ.

Когда они вернулись на дачу, дѣти побѣжали въ комнаты, а Тепловъ сталъ медленно подниматься на террасу. На террасѣ сидѣла Клара и съ разгорѣвшимся лицомъ смотрѣла на проѣзжавшіе экипажи, отложивъ въ сторону книгу, облокотясь на перила, положивъ подбородокъ на ладони рукъ. Теплову вдругъ захотѣлось раздразнить ее.

— А вы все лѣнитесь? — замѣтилъ онъ: — mademoiselle Дюмонъ опять будетъ недовольна.

Она медленно повернула голову, смѣрила его глазами, не столько съ раздраженіемъ, сколько съ презрительнымъ удивленіемъ. Ей было странно, какъ онъ смѣетъ говорить съ ней такъ.

— Я не готовлюсь въ наемныя гувернантки и могу учиться столько, сколько хочу,—отвѣтила она.

Онъ засмѣялся съ безцеремонной насмѣшливостью.

— Гдѣ же вамъ думать объ этомъ! Отъ наемныхъ гувернантокъ и гувернеровъ такъ много требуется. Спросите вотъ у Каролины Карловны или Антона Ѳедоровича. Тутъ нужно имѣть много знаній, хорошее поведеніе, умѣнье держать себя съ тактомъ, уживчивый характеръ, серьезный умъ, добросовѣстность!

И уже совсѣмъ дерзко онъ добавилъ:

— Барышней всякая молодая дѣвушка можетъ быть; гувернанткой—одна изъ тысячъ.

Блѣдная, какъ мертвецъ, точно очнувшаяся отъ злобы, съ бровями, слившимися въ одну узенькую полоску, Клара поднялась съ мѣста и, сверкая глазами, проговорила задыхающимся голосомъ:

— Какое право имѣете вы дѣлать мнѣ дерзости?

— А вы думаете, что это право дано только вамъ?—сказалъ Тепловъ.

Только въ эту минуту, поднявъ глаза на вытянувшуюся во весь ростъ Клару и немного повернувшись, чтобы уступить ей дорогу, онъ увидалъ, что въ дверяхъ изъ комнаты на террасу стоитъ госпожа Домгофъ съ серьезнымъ лицомъ, съ едва замѣтной иронической улыбкой. Онъ не почувствовалъ ни смущенія, ни робости и прямо глядѣлъ на нее.

— Хорошо прокатались?—спросила она его, не обращая вниманія на волненіе Клары.—Сегодня превосходный день!

— О, да! И я себя чувствую лучше, чѣмъ когда-нибудь,—весело отвѣтилъ онъ.

Она усмѣхнулась. Онъ говорилъ правду. Съ него точно свалилось какое-то бремя.

VI.

Тепловъ точно внезапно выросъ, точно у него отросли крылья. Такъ вотъ почему такъ хороши съ нимъ Домгофы, они увидали въ немъ «своего» человѣка, дѣловитаго, трудящагося, скромнаго. Они дорожатъ имъ, а не благодѣтельствуютъ ему. Да, онъ не ошибался, надѣясь на свои силы, на свою стойкость, на свое трудолюбіе. Не фразами

ихъ прельстилъ. Ему вдругъ вспомнился братъ Александръ. О, онъ краснорѣчивъ, а его Домгофы даже не впустили бы въ свой домъ. Да, теперь нужны люди дѣла, а не фразы. Съ фразерствомъ далеко не уйдешь и никому не принесешь пользы. Въ немъ вдругъ шевельнулось желаніе написать теткѣ, Варѣ, брату все то, что онъ узналъ. Пусть не думаютъ, что ему повезло случайное счастье, пусть знаютъ, что его уже цѣнятъ. Должно-быть, подъ вліяніемъ горячихъ размышленій объ этомъ письмѣ онъ торопился домой. Переступивъ порогъ своей комнаты, онъ прежде всего прислушался, не стучитъ ли машинка сосѣдки, не слышатся ли движенія дѣвушки. Въ ея комнатѣ все было тихо. Неужели она такъ рано улеглась спать? Она обыкновенно ложится поздно. Онъ бросилъ шляпу, пальто, сѣлъ къ письменному столу и, закуривъ папиросу, сталъ обдумывать письмо. Разорвавъ два-три листка съ неудачными началами письма, онъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ. Ему хотѣлось не писать, а говорить, разсказывать, огласить передъ живымъ человѣкомъ свою радость. Онъ подошелъ къ двери въ комнату Ольги Дмитріевны и спросилъ:

— Вы уже легли?

Отвѣта не послѣдовало.

— Гдѣ это она запоздала? Съ ней это рѣдко случается. Вѣрно, какая-нибудь спѣшная работа на сторонѣ задержала. Хотя теперь глухое время. Впрочемъ, еще и не поздно. Не напиться ли чаю? Кстати встрѣтить бы въ кухнѣ Швецову и спросить у нея, какъ справлялся о немъ Onkel Franz.

Онъ вышелъ въ кухню сказать, чтобы ему заварили чаю. Въ кухнѣ, кромѣ служанки, онъ засталъ хозяйку меблированныхъ комнатъ, маленькую, худенькую нѣмку, съ бѣлесоватыми жидкими волосами. Онъ заговорилъ съ ней.

— А у васъ обо мнѣ справлялись весною?

— О, та!—отвѣтила она ломанымъ русскимъ языкомъ.— Я говарилъ, какій вы прекрасный гаспадинъ.

Она затараторила быстро, перевирая и коверкая русскія слова, разсыпаясь въ похвалахъ Теплову. Она была убѣждена, что за справками къ ней являлся «университетскій начальникъ» или aus der Polizei. Теперь вообще слѣдятъ за молодыми людьми. Она всегда дастъ хорошій аттестатъ молодому человѣку, тѣмъ болѣе, что онъ такъ аккуратенъ, платитъ всегда въ срокъ.

— Конешно, кто бѣденъ, тотъ не могитъ платить во

время. Вотъ бѣдній Ольга Дмитровна не платилъ одинъ и съ половиной мѣсяцъ.

И Швецова, жалѣя и охая, начала толковать о положеніи Діодатовой, задолжавшей за комнату за полтора мѣсяца.

— Хочетъ работой жить. Это глупо. Работой нельзя жить. Вотъ и дѣлаетъ долги. А когда отдастъ?

Тепловъ удивился. Онъ и не зналъ этого. Зачѣмъ не сказала ему этого Ольга Дмитріевна?

Вернувшись въ свою комнату, онъ усѣлся пить чай. У него, впрочемъ, уже пропала охота пить чай. Онъ посидѣлъ немного, походилъ, сталъ раздѣваться. Его мысли теперь вертѣлись около Ольги Дмитріевны. Тяжело ей жить. Что мудренаго, если пойдетъ на содержаніе къ этому мерзавцу-слону. Тяжело вздохнувъ, онъ легъ на постель. Уже не рѣшилась ли она, бѣдняга, сегодня на этотъ шагъ? Денегъ нѣтъ, за квартиру задолжала, надо же найти исходъ. Дѣйствительно, шитьемъ не просуществовать. И какъ это онъ не разспросилъ ее о ея денежныхъ дѣлахъ, о ея нуждахъ. Вѣдь онъ теперь могъ бы ссудить ей хоть немного въ долгъ. При помощи какихъ-нибудь двадцати рублей онъ, можетъ-быть, могъ бы спасти ее отъ паденія. Вѣдь ей нужно только пережить лѣто, осенью работы всегда много, она въ прошломъ году даже брала дѣвочку-помощницу, одна не могла справиться...

VII.

Тепловъ проснулся подъ стукъ машинки въ комнатѣ Діодатовой, протеръ глаза и сѣлъ на постели. Былъ уже бѣлый день.

Молодой человѣкъ всталъ, одѣлся, умылся, приказалъ подать самоваръ. Напившись чаю, онъ окликнулъ Ольгу Дмитріевну. Его смущало, что она не заговаривала съ нимъ, по обыкновенію, первая. Опять въ головѣ шевелились подозрѣнія: не былъ ли вчерашній вечеръ для нея роковымъ? Услышавъ его вопросъ, можно ли войти къ ней, она коротко отвѣтила:

— Входите!

Когда онъ вошелъ въ комнату сосѣдки, его сразу поразили глаза молодой дѣвушки—они опухли и покраснѣли отъ слезъ.

— Что съ вами?—спросилъ онъ, пожимая ея руку.

— Что? Все то же, что и было!—отвѣтила она, принимаясь снова за работу и какъ бы избѣгая продолженія разговора.

Онъ сѣлъ около машинки, тоже смущенный, нерѣшительный, все еще охваченный одной и той же мыслью о ея паденіи.

— Не стыдно ли секретничать?—заговорилъ онъ мягко.— Я случайно узналъ, что у васъ теперь безденежье.

— Теперь! теперь!—воскликнула она раздражительно.— Всегда оно было, всегда оно будетъ! Видно, правду говорятъ, что честнымъ трудомъ не выбиться изъ нужды. Нужно продать себя — вотъ и будутъ деньги. Дура, что ломаюсь! Рожа не мила, а голодъ-то милѣе, что ли?..

Онъ остановилъ ее.

— Полноте! Вотъ придетъ осень, будетъ опять много работы, какъ въ прошломъ году...

Она бросила работу, вскочила.

— Ахъ, что вы мнѣ говорите! Ну, было много работы, ночей не спала, помощницу нанимала, а что заработала? Сыта была кое-какъ, платьишко одно сдѣлала, чтобы голой не остаться, вотъ и все, а пришлось безъ работы остаться— и клади зубы на полку. Вещи зимнія уже заложила, за квартиру полтора мѣсяца не платила. Ну, какъ погонятъ—куда пойду?

Она ходила въ волненіи по комнатѣ.

— Когда стараешься не думать, когда, точно пьяная, махнешь на все рукой, тогда еще и дышишь. А напомнятъ все, оглянешься кругомъ—духъ захватитъ. Вонъ вчера безъ васъ отецъ приходилъ, обманомъ зазвалъ къ себѣ, а тамъ у нихъ этотъ слонъ... Стали всѣ въ три голоса пилить: «Что сладко тебѣ жить? Юбчонку-то послѣднюю еще не заложила? Принца изъ нѣметчины ждешь, что ли? Ты взгляни на сестру! Вздохнула она, барыней ходитъ...» Рады, что одинъ полковникъ лысый въ содержанки взялъ. Счастье!

И упавшимъ, глухимъ голосомъ она добавила:

— Пошла отъ нихъ, утопиться хотѣла, силъ не хватило, жить мнѣ еще хочется... Какой-то баринъ увидалъ, что брожу одна ночью, предложенія дѣлалъ... Скотина!..

Она махнула рукой.

— И то сказать, будь не старикъ, не уродъ, можетъ-быть, и пошла бы...

Борисъ Михайловичъ, сконфуженный за нее, стараясь не глядѣть на нее, тихо повторилъ:

— Полноте клеветать на себя! Честная дѣвушка скорѣй умретъ съ голоду, чѣмъ...

— Да, вы умирали? Знаете, что ли, сколь это сладко?— отозвалась она сердито.

— Не сладко, но и позоръ не сладокъ! — съ упрекомъ сказалъ онъ.

Онъ перемѣнилъ тонъ.

— А вы сядьте да не волнуйтесь. Вотъ вы лучше бы мнѣ сказали, что дѣлишки плохи. У меня деньжонки есть. Кое-чѣмъ могу помочь. Перебьетесь покуда, а тамъ дѣла пойдутъ лучше.

Она сконфузилась и пробормотала:

— Что же я васъ обирать-то буду... не родная...

— Ну, вотъ еще выдумали! Мы хорошіе пріятели. Возьмете въ долгъ; будетъ возможность, отдадите. Все же на время поправитесь.

Она вздохнула.

— Изъ кулька въ рогожку!

Онъ далъ ей двадцать пять рублей.

— Совѣстно мнѣ, право! Беру, а не знаю, могу ли я отдать,—сказала она.

— Ну, довольно объ этомъ!—проговорилъ онъ.—Что будетъ, то будетъ. А сегодня гулять вечеромъ? Разсѣетесь, черныя-то думы и разлетятся прахомъ. Или работа спѣшная есть?

— Какая работа! Кухаркѣ платье шью за два рубля...

VIII.

Ольга Дмитріевна имѣла замѣчательную способность падать духомъ и черезъ минуту оживляться снова. Уплативъ долгъ хозяйкѣ, имѣя въ карманѣ десятокъ рублей, она уже была снова весела и счастлива. Опять Тепловъ слышалъ ея щебетаніе и пѣніе; опять она смѣялась и восхищалась всѣмъ, гуляя съ нимъ. Она была вполнѣ дочерью своего отца: онъ тоже воображалъ себя Крезомъ, когда ему удавалось гдѣ-нибудь занять десятокъ рублей. Занятыя у кого-нибудь деньги ему всегда казались его капиталомъ...

Борисъ Михайловичъ радовался хорошему настроенію молодой дѣвушки особенно теперь, когда ему самому вдругъ стало какъ-то пусто, скучно, тяжело. Дѣло въ томъ, что въ концѣ августа Домгофы уѣхали за границу. Отъѣздъ сразу уяснилъ молодому человѣку, какъ онъ привязался къ этой семьѣ. Онъ почти со слезами на глазахъ провожалъ семью своихъ учениковъ на желѣзную дорогу. Онъ тосковалъ о людяхъ, пригрѣвшихъ его своею лаской; онъ не безъ грусти думалъ, что онъ не будетъ проводить трехъ дней въ недѣлю среди веселаго общества, изобилія и роскоши; онъ не безъ

горечи испытывалъ нѣчто въ родѣ зависти, думая о томъ, что Домгофы черезъ нѣсколько дней увидятъ Швейцарію, южную Францію, можетъ-быть, Италію, всѣ тѣ страны, которыя такъ бы и облетѣлъ онъ, Борисъ.

Его могло утѣшать только то, что передъ отъѣздомъ Домгофъ позвалъ его къ себѣ въ кабинетъ и уже не официальнымъ, а пріятельскимъ тономъ сказалъ ему:

— Ну-съ, согласны вы, чтобы я васъ законтрактовалъ въ учителя и гувернеры къ дѣтямъ не на мѣсяцъ, не на годъ? Въ эти мѣсяцы мы присмотрѣлись къ вамъ, а вы могли присмотрѣться къ намъ. Рѣшайте!

Борисъ Михайловичъ засмѣялся.

— Антонъ Ѳедоровичъ, вы и такъ знаете мое рѣшеніе!

Домгофъ протянулъ ему руку.

— Значитъ, дѣло рѣшенное. Вотъ вамъ жалованье по первое ноября, а потомъ переберетесь къ намъ.

Тепловъ смутился.

— За что же... вѣдь я не буду заниматься...

Домгофъ усмѣхнулся.

— Я ѣду въ отпускъ тоже съ жалованьемъ. Значитъ, и вы должны получать за это время свои деньги. Разница между нами только та, что я беру отпускъ отъ службы, а у васъ служба беретъ отпускъ отъ васъ.

И совершенно серьезнымъ, дѣловымъ тономъ онъ добавилъ:

— Я вовсе не желаю, чтобъ вы принуждены были искать въ эти два мѣсяца другихъ занятій.

Тепловъ вышелъ изъ кабинета Антона Ѳедоровича сіяющій. Въ столовой сидѣлъ за завтракомъ кружокъ женщинъ, говоря объ отъѣздѣ за границу. Когда вошелъ Борисъ, Каролина Карловна обратилась къ нему съ вопросомъ:

— Ну, порѣшили?

— Да,—отвѣтилъ онъ.

— Значитъ, будете у насъ жить?

— Еще бы!

Мальчики захлопали въ ладоши отъ неподдѣльной радости. Тепловъ даже смутился. Неужели они могли думать, что онъ не останется?

— Я очень рада, — продолжала госпожа Домгофъ. — Вы знаете, какъ мы васъ цѣнимъ.

Борисъ, сконфузившійся, красный, какъ ракъ, пробормоталъ:

— Я такъ вамъ благодаренъ... обязанъ...

— О, хорошее мѣсто гораздо легче найти, чѣмъ хорошаго человѣка на мѣсто,—сказала госпожа Домгофъ.—Вы спросите моего мужа, много ли у нихъ въ банкѣ не только хорошихъ, а сносныхъ работниковъ. А вѣдь служба въ банкѣ не то, что обязанности гувернера и учителя.

Она, что-то вспомнивъ, усмѣхнулась своей обычной иронической улыбкой:

— Впрочемъ, вы это сами лучше меня знаете. Я помню, какъ вы разсказывали Кларѣ, какія качества нужны гувернанткѣ или гувернеру.

Клара нахмурилась, и опять ея глаза сверкнули недобрымъ огнемъ.

— Вы тогда все слышали?—живо спросилъ Тепловъ.

— Да,—отвѣчала госпожа Домгофъ.—Я была вамъ очень благодарна за то, что вы объяснили неопытной дѣвушкѣ то, чего она не понимала. Это было тѣмъ болѣе нужно, что будущее никому неизвѣстно. Теперь ей хорошо, а послѣ, можетъ-быть, и мѣсту гувернантки она будетъ рада. Жизнь такъ измѣнчива. Вѣдь вотъ я же не могла въ семнадцать лѣтъ предполагать, что буду ѣздить въ своихъ экипажахъ, когда у меня въ тѣ годы было всего два ситцевыхъ платья...

И уже совсѣмъ шутливо она закончила:

— Вотъ и вы—теперь гувернеръ у насъ, а потомъ будете, можетъ-быть, директоромъ банка вмѣсто Антона...

По лицу Клары скользнула презрительная усмѣшка. Каролина Карловна замѣтила это и серьезнымъ тономъ прибавила:

— Антонъ, по крайней мѣрѣ, не шутя думаетъ, что васъ ждетъ видная роль... Онъ васъ втянетъ въ банкъ... Жаль только, что вотъ у васъ, если будете служить въ банкѣ, не будетъ такого мундира, какъ у того камеръ-пажа, который удивилъ Клару.

— Fräulein Klara любитъ внѣшній блескъ и думаетъ, что онъ-то и есть самое важное,—шутливо замѣтилъ Тепловъ.

Клара подняла на него сверкающіе, темные, какъ осенняя ночь, глаза и отвѣтила сухимъ тономъ:

— Вы не можете знать, что я думаю, потому что я съ вами никогда не говорила.

— Я надѣленъ даромъ угадчика, — отвѣтилъ тѣмъ же шутливымъ тономъ Борисъ.

И, обратившись къ госпожѣ Домгофъ, прибавилъ:

— Да и угадывать не трудно, когда люди не лгутъ и не притворяются.

— Я не считаю нужнымъ,—начала Клара, почти задыхаясь.

— А я думалъ, что не умѣете,—быстро перебилъ Борисъ.

Она молча отвернулась.

Каролину Карловну забавляли эти мелкія стычки между Борисомъ и Кларой.

Тотчасъ послѣ завтрака вся семья поднялась, и начались сборы въ дорогу. Возвратившись домой съ дебаркадера, Тепловъ былъ унылъ и подавленъ. Ольга Дмитріевна старалась его развеселить. Ну, чего онъ тужитъ? Не навѣкъ уѣхали! Кларку, что ли, жаль? Ужъ вѣрно, онъ скрываетъ: вѣрно, сердце по ней болитъ. А что въ самомъ дѣлѣ, она очень хорошенькая? Нѣтъ? На египтянку похожа? А египтянки какія? Онъ не успѣвалъ отвѣчать. Вечеромъ она сама напросилась гулять съ нимъ. Они пошли въ Лѣтній садъ. Здѣсь Тепловъ встрѣтилъ одного изъ товарищей. Раскланялись, разговорились. Товарищъ сообщилъ, что въ концѣ недѣли онъ и еще двое пріятелей собираются ѣхать на цѣлый день на острова. Отчего бы не ѣхать и Теплову? Тепловъ сказалъ, что онъ, пожалуй, поѣдетъ. Тогда товарищъ его обратился къ Ольгѣ Дмитріевнѣ; а она тоже поѣдетъ? Тепловъ немного смутился и замѣтилъ, что, вѣроятно, компанія будетъ холостая. Оказалось, что нѣтъ, будутъ и дѣвушки. Какія? О, все порядочныя. Діодатова тихонько пожимала локтемъ Бориса, какъ бы прося согласиться. Онъ обѣщалъ пріятелю ѣхать, но просилъ того сначала зайти уговориться. Ольга Дмитріевна готова была скакать и прыгать отъ радости. Тепловъ былъ тоже радъ разсѣяться, но все же онъ останавливалъ ея восторги и говорилъ:

— Надо прежде подробно узнать, кто ѣдетъ. А то еще чортъ знаетъ въ какую компанію попадешь. Мнѣ-то все равно, а вамъ...

— Ну, великая важность, кто поѣдетъ! Не съ Невскаго же!..

Борису стало неловко.

Товарищъ зашелъ къ Теплову на другой день. Начались толки, обсужденія прогулки.

— Да кто ѣдетъ?—спросилъ Тепловъ.

— Я, Вася Сахаровъ и Николай Титовъ, — отвѣтилъ товарищъ.

— Нѣтъ, что за женщины?

— Двоюродная сестра Васи и моя Надя.

Тепловъ нахмурился. Гость замѣтилъ это.

— Моя Надя вполнѣ порядочная дѣвушка, — пояснилъ онъ.—Живетъ шитьемъ. Сахаровъ не взялъ бы свою сестру, если бы онъ не зналъ Надю.

Борисъ Михайловичъ согласился ѣхать. Условились выѣхать въ двѣнадцать часовъ утра въ воскресенье. Каждый долженъ былъ забрать провизію. Въ случаѣ ненастья прогулка отлагалась на понедѣльникъ.

IX.

Три дня Ольга Дмитріевна только и толковала, что объ этой прогулкѣ. Ее даже не занимали теперь прогулки въ Демидовъ садъ, въ Екатерингофъ. Она вся жила предвкушеніемъ веселья, предстоящаго въ воскресенье. Проснувшись въ воскресенье съ пѣтухами, она, босая, въ одной сорочкѣ, подбѣжала къ окну смотрѣть на погоду. День былъ ослѣпительно ярокъ и теплъ. Она радостно заторопилась одѣваться и чуть не надѣла съ утра шляпки. Ей все казалось, что она и Тепловъ опоздаютъ. Тепловъ тоже развеселился, смотря на оживленіе, на хлопотливость дѣвушки.

Уже въ половинѣ двѣнадцатаго они были на сборномъ пунктѣ и очень изумились, увидавъ, что и другіе забрались на плотъ также рано. Всѣ семеро отрекомендовались другъ другу и засмѣялись, потому что всѣ были знакомы между собою, кромѣ Ольги Дмитріевны Діодатовой. Черезъ пять минутъ всѣ сидѣли уже въ лодкѣ. Двое мужчинъ взялись за весла, одинъ сѣлъ къ рулю, лодка закачалась, двинулась отъ плота и поплыла по Невѣ къ Биржѣ. Противъ теченія было не легко грести, зато, обогнувъ Биржу, лодка могла уже идти почти безъ помощи веселъ. Гребцы порядочно согрѣлись и сняли сюртуки, черезъ нѣсколько минутъ пришлось разстегнуть и жилеты. На лодкѣ шла неумолкаемая болтовня, смѣхъ, шутки. Дѣвушки взвизгивали при встрѣчахъ съ пароходами. Изрѣдка Ольга Дмитріевна взглядывала на Теплова, сидѣвшаго передъ ней въ веслахъ. Онъ раскраснѣлся, его густые бѣлокурые волосы растрепались и лежали косматой шапкой на головѣ, его вышитая малороссійская рубашка при движеніяхъ раскрывалась на секунду спереди и изъ прорѣхи виднѣлась ослѣпительно бѣлая грудь. Онъ показался Ольгѣ Дмитріевнѣ просто красавцемъ. Особенную прелесть имѣла его откровенная улыбка, при чемъ изъ-за яркихъ губъ выглядывали бѣлые, какъ жемчугъ, зубы, а на щекахъ обозначались ямки. Какъ онъ поздоровѣлъ за послѣдніе мѣсяцы! Такимъ ли онъ былъ

весною. «Точно яблочко налился», подумала Ольга Дмитріевна, и ей страстно захотѣлось шаловливо ущипнуть его, поцѣловать.

— Стопъ, машина! — крикнулъ Никодимъ Ивановичъ Постниковъ, распорядитель прогулки.—Здѣсь привалъ!

Они подъѣзжали къ косѣ Крестовскаго острова. Отыскавъ какіе-то мостки, устроенные на очень жидкихъ жердяхъ, дрожащіе при малѣйшемъ прикосновеніи къ нимъ, они причалили. Началось обсужденіе вопроса, не обвалятся ли мостки, не придется ли выкупаться. Василій Сахаровъ, черноволосый, тонкій юноша, выскочилъ первый на мостки— выдержали.

— Ну, вылѣзайте!

Всѣ повыскакали изъ лодки. Черезъ двѣ-три минуты на косѣ отыскали лужайку, разостлали пледы, разложили провизію: на самомъ берегу на пескѣ развели огонь. Двоюродная сестра Сахарова, Марья Ивановна, хлопотала надъ закуской; Сахаровъ, Титовъ и Тепловъ возились около огня, прилаживая котелокъ и разогрѣвая самоваръ. Постниковъ пошелъ вдоль по косѣ со своей Надей. Ольга Дмитріевна усѣлась на пледъ и засмотрѣлась вдаль. Взморье было неподвижно, какъ зеркало, бѣловато-свинцоваго цвѣта, оно казалось расплавленнымъ свинцомъ подъ лучами солнца. Берега виднѣлись едва замѣтными туманными силуэтами. Кое-гдѣ стояли неподвижно суда, точно застывшія на водѣ. Въ отдаленіи поднимался къ небу дымокъ отъ парохода. Затишье, безлюдье, чудный воздухъ, все это охватило Діодатову какимъ-то новымъ чувствомъ, ей было и хорошо, и томно, точно что-то сжимало грудь безъ боли, но все же сжимало. Ея взоръ пристылъ къ этому необъятному пространству, на свѣтломъ фонѣ котораго выдѣлялись двѣ темныя фигуры Постникова и его Нади. Молодые люди тихо шли впередъ, изрѣдка оглядываясь назадъ. На нихъ никто не обращалъ вниманія. Вотъ она взяла его подъ руку. Вотъ онъ незамѣтно поднесъ къ губамъ ея правую руку. Она быстро обернулась и еще быстрѣе поцѣловала его... Къ лицу Ольги Дмитріевны прихлынула кровь, на секунду все закружилось передъ глазами, и она покраснѣла до самыхъ корней волосъ...

— Ау!.. Самоваръ вскипѣлъ!—раздался крикъ Сахарова.

Постниковъ и Надя повернули назадъ. Началась закуска, питье чаю, вина, пива, говоръ, смѣхъ, потомъ горѣлки, дурачества. Всѣ устали, бросились на пледы. Въ сторонѣ остался

только Титовъ. Онъ забрался въ лодку, улегся въ ней лицомъ къ небу и задремалъ, закинувъ подъ голову руки. Спустя нѣсколько минутъ, Сахаровъ и Постниковъ запѣли: «Нелюдимо наше море». Имъ слегка стали подтягивать Надя и Марья Ивановна. Потомъ полились звуки новой пѣсни, третьей, четвертой... Лежа на пледѣ недалеко отъ Бориса Михайловича, Ольга Дмитріевна вдругъ прошептала:

— Она, эта Марья Ивановна, не сестра Сахарову.

Тепловъ сразу не понялъ.

— Да, она его кузина, двоюродная сестра, а не родная,— отвѣтилъ онъ.

— Нѣтъ, онъ тоже съ ней живетъ, какъ тотъ... Постниковъ со своей Надей... Они тихонько руки другъ другу жмутъ...

Ея голосъ былъ какимъ-то глухимъ. У нея запеклись губы отъ жара...

Солнце уже начинало спускаться, когда всѣ вспомнили, что пора домой. Воздухъ начиналъ свѣжѣть. Со взморья сталъ подувать едва замѣтный вѣтерокъ, рябя воду. Всѣ поднялись, начали собирать остатки припасовъ и посуду, усѣлись въ лодку. Женщины кутались въ пледы. Діодатова, слегка вздрагивая, сказала, что нужно, по пріѣздѣ домой, тотчасъ же напиться чаю.

— А я и не чувствую холода,—замѣтилъ Тепловъ.

— Еще бы, вы пива много выпили!—сказала она.

— А вино развѣ не грѣетъ!—засмѣялся онъ.

— Ну, я, кажется, только двѣ рюмки выпила!—отвѣтила она.

Грести было труднѣе. Гребцы то-и-дѣло мѣнялись. Имъ попробовали помочь дѣвушки, но онѣ и вовсе не могли грести противъ теченія. Всѣ были малосильны и непривычны. Дотащились до мѣста, когда уже совсѣмъ стало смеркаться. Причаливъ къ плоту и разсчитавшись съ хозяиномъ лодокъ, всѣ распростились и разошлись въ разныя стороны. Тепловъ нанялъ извозчика и поѣхалъ съ Ольгой Дмитріевной. Обоимъ не говорилось. Они устали, чувствовали какую-то тяжесть въ тѣлѣ, въ головѣ, въ сердцѣ.

— Сахаровъ, вѣрно, съ Марьей Ивановной и живетъ на одной квартирѣ?—спросила Ольга Дмитріевна.

— Да, двѣ комнаты нанимаютъ, рядомъ.

— Какъ мы,—сказала она, вздохнувъ.

Они подъѣзжали къ дому, понукая извозчика скорѣе ѣхать, точно нужно было вернуться къ опредѣленному сроку.

— Вотъ ужъ точно за покойникомъ ѣдетъ!—говорила Ольга Дмитріевна.

— Да, нечего сказать, кляча попалась,—согласился Тепловъ.

Извозчикъ увѣрялъ ихъ, что лошадь у него хорошая, только не любитъ она отъ Невы къ Садовой ѣхать, потому что квартира ихъ не въ той сторонѣ; вотъ если бы теперь на Васильевскій островъ ѣхать, такъ рысью бы бѣжала. Они слушали молча и сердились. «И возилъ бы на Васильевскій островъ, если его кляча только туда умѣетъ бѣгать».

Соскочивъ у дома съ дрожекъ, Ольга Дмитріевна пошла впередъ, сказавъ на ходу, что она велитъ поставить самоваръ.

— Вина бы теперь, чтобы согрѣться, — отвѣтилъ ей вдогонку Тепловъ.

Онъ чувствовалъ легкій ознобъ, хотя его лицо горѣло. Расплатившись съ извозчикомъ, онъ зашелъ въ погребокъ, купилъ бутылку краснаго вина и тяжело поднялся по лѣстницѣ. У него немного кружилась голова.

— Вотъ что значитъ непривычка,—говорилъ онъ, уже переодѣвшись у себя и входя съ бутылкой вина въ комнату Ольги Дмитріевны, гдѣ уже стоялъ самоваръ.—Ознобъ сдѣлался, а лицо горитъ.

— У меня тоже. Ознобъ и жаръ!

— Ну, да это ничего! Вотъ чаю выпьемъ съ краснымъ виномъ. Это все какъ рукой сниметъ. Уснемъ зато богатырскимъ сномъ.

Они сѣли къ столу, стали пить чай, перекидываясь отрывистыми фразами. Ольга Дмитріевна разспрашивала: что это вправо было видно—Кронштадтъ? а влѣво—Петергофъ? Пароходы только въ Кронштадтъ и Петергофъ ходятъ, или дальше? Гдѣ лучше—въ Кронштадтѣ или Петергофѣ? Потомъ разговоръ оборвался. Борисъ сосредоточенно мѣшалъ ложечкой въ стаканѣ, Ольга Дмитріевна устремила глаза на окно.

— А теперь къ нему другая ходитъ,—вдругъ сказала она.

— Къ кому?—спросилъ, очнувшись, Борисъ.

— А къ этому... напротивъ,—отвѣтила Діодатова, кивнувъ головой по направленію къ окну.

— А!—процѣдилъ сквозь зубы Тепловъ.

Наступило опять тяжелое молчаніе. Наконецъ Тепловъ отодвинулъ пустой стаканъ и глухо сказалъ:

— Довольно!

Она взглянула на него. У него былъ совсѣмъ не его голосъ, глухой, сильный. И лицо стало: блѣдное-блѣдное, точно осунулось. Мутные глаза безсмысленно блуждали. Онъ всталъ, опираясь о столъ, и сказалъ отрывисто:

— Что же, надо спать... конечно... чего больше?..

Онъ пошелъ, пошатываясь, дошелъ до двери и, вдругъ отшатнувшись, сѣлъ, почти упалъ на ея постель, оперся локтями въ колѣни, опустилъ голову, запустилъ пальцы въ волоса и скрылъ лицо въ ладоняхъ своихъ рукъ. Изъ его груди вырвался какой-то болѣзненный не то вздохъ, не то стонъ, точно отъ приступа физической боли. Она подбѣжала къ нему, взяла его за плечи.

— Милый, Борисъ Михайловичъ!.. Что съ вами?..

— Всѣ люди скоты и животныя,—пробормоталъ онъ.

— Голубчикъ, полноте!.. Если бы вы знали только...

Онъ отрывисто перебилъ ее пьянымъ голосомъ:

— Знаю! знаю!..

И, поднявъ съ трудомъ голову, смотря на нее въ упоръ мутными глазами, закончилъ:

— Дверь надо.... запереть...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

Тепловъ проснулся, открылъ глаза, осмотрѣлся. Онъ лежалъ въ своей комнатѣ, полураздѣтый. Онъ не сразу сообразилъ, который былъ часъ, когда онъ пришелъ въ свою комнату, какъ уснулъ. Его голова была тяжела, и мысль работала медленно. Что было вчера? Онъ катался, пилъ, вернулся домой, опять пилъ въ комнатѣ Ольги Дмитріевны, упалъ на постель. Вдругъ онъ вспомнилъ все, и по его тѣлу пробѣжалъ холодъ. Его охватили ужасъ, стыдъ.

— Господи, какой я подлецъ!—прошепталъ онъ и, уткнувшись лицомъ въ подушку, зарыдалъ.

Прошло нѣсколько минутъ. Въ воображеніи проходили воспоминанія, картины всего происшедшаго. Припоминалась каждая мелочь съ поразительной ясностью, во всей наготѣ и неприглядности. Въ душѣ поднималось одно омерзѣніе къ себѣ, ко всему случившемуся, къ обстановкѣ.

— Ни любви, ни поэзіи, одинъ пьяный разврать,—шепталъ онъ, вздрагивая отъ рыданій.—Какъ она должна презирать меня, съ какимъ отвращеніемъ должна вспоминать обо мнѣ!

Его вдругъ охватилъ страхъ при мысли о томъ, что они должны встрѣтиться. Какъ онъ взглянетъ на нее, что скажетъ ей? Тутъ не можетъ быть никакихъ оправданій. Да и къ чему повели бы оправданія? если ему самому гадко отъ

этихъ воспоминаній, то каково же ей? Чувство малодушія и трусости подсказывало:

— Если бы скрыться куда-нибудь, убѣжать, уѣхать!

И тотчасъ же онъ упрекнулъ себя:

— Разбилъ, можетъ-быть, всю жизнь и хочу бѣжать! Бѣжать! Да она сама убѣжитъ отъ меня, какъ отъ дикаго животнаго, какъ отъ скота, послѣ всего, что случилось.

И опять чувство омерзѣнія поднялось въ немъ при воспоминаніи о прошлой ночи. Онъ все еще лежалъ ничкомъ, лицомъ къ подушкѣ, точно желая ничего не видѣть, ни своей комнаты, ни своей физіономіи, ни своего безпорядочнаго туалета, могущихъ отразиться въ зеркалѣ надъ умывальникомъ...

Кто-то тихо дотронулся до него.

— Проснулись?—послышался шопотъ.—А я ужъ думала, что вы захворали. Два раза заглядывала къ вамъ, храпите на весь домъ. Вѣдь ужъ четыре часа...

Онъ въ остолбенѣніи повернулъ всклоченную голову: Ольга Дмитріевна, румяная, свѣженькая, веселая, стояла у его постели. Увидавъ его лицо, она присѣла на постель, наклонилась къ нему и, еще болѣе зарумянившись, прильнула къ его губамъ своими губами. Онъ хотѣлъ просить прощенья, разлиться въ упрекахъ себѣ, наговорить кучу фразъ о заглаживаніи проступка,—она не дала ему времени опомниться, собраться съ силами, заговорить, и стала болтать, дурачиться, ласкаться къ нему. Какой онъ смѣшной—совсѣмъ Степка-Растрепка! И до чего доспалъ, что глаза опухли! Что же теперь чай будетъ пить или прямо съ постели за обѣдъ?

— Ахъ, да вы, кажется, и теперь еще спите!—воскликнула она, видя его недоумѣвающій взглядъ.—Вотъ постойте, я васъ растормошу!..

И дѣйствительно, она растормошила его до того, что у него закружилась голова, потемнѣло въ глазахъ. Онъ чувствовалъ только, что она опять около него, что вмѣсто упрековъ онъ слышитъ страстный шопотъ. Онъ былъ похожъ на пьянаго, не сознающаго, что онъ дѣлаетъ.

II.

Дни пошли за днями, а Борисъ все еще не могъ придти въ себя, обдумать своего положенія и ходилъ въ какомъ-то чаду, не зная даже въ сущности, что онъ чувствуетъ къ Ольгѣ Дмитріевнѣ. Когда онъ оставался одинъ, онъ ощу-

щалъ почти отвращеніе къ этой связи, не основанной на чувствѣ любви; когда молодая дѣвушка была около него — онъ пьянѣлъ, забывался. Въ его головѣ поднимались ежедневно тысячи вопросовъ. Куда онъ идетъ? Чѣмъ все это кончится? Какъ онъ выйдетъ изъ этой пропасти, куда такъ неожиданно попалъ? Не жениться же ему въ самомъ дѣлѣ на этой дѣвушкѣ? Между ними нѣтъ ничего общаго. До этой поры онъ никогда даже не задумывался объ этомъ. И съ какой стати, было бы объ этомъ думать? Теперь это вдругъ угадалось само собою. Они даже перестали разговаривать между собою съ той поры, какъ сошлись. Они теперь только ласкаютъ другъ друга. Но вѣдь говорили же они прежде, находили темы для разговоровъ? Да, о предложеніяхъ слона-купца, о любовныхъ шашняхъ жильца въ противоположномъ флигелѣ, о сестрѣ Ольги Дмитріевны, поступившей на содержаніе, о влюбленныхъ парочкахъ, встрѣчавшихся въ садахъ. Все это теперь казалось ему какими-то инстинктивными подходцами къ сближенію. Какимъ-то роковымъ образомъ они наталкивались только на эти темы, не могли выбиться изъ этого заколдованнаго круга. И то сказать, о чемъ же больше могла она говорить? Теперь эти разговоры были лишними, такъ какъ сближеніе стало фактомъ. Вглядываясь въ Ольгу Дмитріевну, прислушиваясь къ ея фразамъ, онъ понялъ, что для нея давно уже не существовало стѣны, раздѣлявшей ихъ постели, что, говоря о слонѣ-купцѣ, она постоянно прибавляла мысленно: «вотъ если бы вмѣсто него вы». Она была вполнѣ дочерью своей среды, этого омута незаконныхъ связей, легкихъ паденій, животныхъ отношеній. Фактически честная, она уже была развращена до мозга костей. Она не пала до этого времени, потому что не было человѣка по вкусу. Онъ все это сознавалъ теперь, преувеличивалъ даже развращенность ея натуры, ловилъ себя на этомъ преувеличеніи и съ раздраженіемъ говорилъ:

— Предлоговъ для оправданія себя ищу!

И тотчасъ же опять припоминалъ мелочи ея поступковъ, рѣчей, взглядовъ, говорившихъ ясно, что тутъ нечего искать духовной чистоты, дѣвической стыдливости, нравственной устойчивости. Тогда его охватывало одно непреодолимое, страстное желаніе бѣжать; бѣжать и бѣжать.

Но какъ бѣжать, куда?

Куда? Вѣдь уѣдетъ же онъ изъ этого дома, когда вернутся Дамгофы. Вотъ и порвется все само собою. А что

если она станетъ его преслѣдовать, душить письмами, ходить къ нему? Его охватывалъ страхъ. Онъ старался отрицать возможность этого. Но тутъ же ему приходило въ голову, что она не станетъ скрывать этой связи, что она и теперь такъ открыто заходитъ къ нему, такъ неосторожно поступаетъ, какъ будто желаетъ, чтобы всѣ знали, что она его любовница, точно гордится тѣмъ, что вызываетъ на его лицѣ краску стыда. Разъ онъ попробовалъ замѣтить ей, что она неосторожна.

— Да развѣ я кого боюсь? Наплевать я хочу на всѣхъ!— отвѣтила она.—Кого хочу, того и люблю...

— Но все-жъ... ты и такъ испортила себѣ всю жизнь,— замѣтилъ онъ.

Она удивилась.

— Чѣмъ это?

Онъ оторопѣлъ, началъ говорить, путаясь, конфузясь:

— Какъ же... все же... Тебѣ могла представиться партія... замужество...

Она засмѣялась.

— Замужество! За писарька какого, что ли, вышла бы, чтобъ его бѣлье стирать да щи ему готовить! Нищеты-то я ужъ нахлебалась, довольно съ меня...

— А теперь богаче стала?—спросилъ онъ.—Я даже не могу освободить тебя отъ необходимости работать попрежнему... даже когда буду жить у Домгофовъ...

Она разсмѣялась.

— Ахъ, Боря, какой ты глупый! Развѣ я изъ-за денегъ. Деньги нужны будутъ—не у тебя ихъ спрошу...

И, ужъ лаская его, прибавила:

— Былъ бы богатъ, конечно, у тебя бы взяла. Да ты и самъ бы далъ. Ну, а на нѣтъ и суда нѣтъ... Я не то что тянуть съ тебя хотѣла бы, а, кажется, себя заложила бы, чтобы тебѣ же дать...

И, увлекаясь этой мыслью, она стала говорить, что она бы сдѣлала для Теплова, если бы у нея были деньги. Кареты, рысаковъ, перстни, цѣпочки. О, она бы его озолотила! Вслушиваясь въ ея рѣчи, Борисъ понималъ, что она считаетъ вполнѣ естественнымъ получать за любовь и платить за любовь. Онъ не попробовалъ даже возразить ей, сказать, что онъ не взялъ бы у нея денегъ. Она не поняла бы почему.

Тѣмъ не менѣе, этотъ разговоръ отчасти успокоилъ его: она не разсчитывала, что онъ женится на ней, она прими-

рилась съ тѣмъ, что онъ скоро переѣдетъ къ Домгофамъ. Объ этомъ переѣздѣ она говорила вполнѣ спокойно, прибавляя только:

— Вскружатъ тамъ тебѣ голову разныя барыни нарядами!

— А ты думаешь, за наряды любятъ?

— Не за наряды, а все же... иная и хуже меня будетъ, а въ шелкахъ и кружевахъ скорѣе вскружитъ голову, чѣмъ я въ ситцевомъ платьѣ... Вонъ Кларкѣ надѣлаютъ нарядовъ за границей, посмотри, какая будетъ! Фря!.. Будь у меня деньги, ты бы ахнулъ, какъ я одѣлась бы—батисты да прошивки, шелкъ да бархатъ...

Она задумалась, вздохнула и тихо произнесла:

— Что говорить, такихъ-то пріятнѣе любить...

III.

Въ концѣ октября Борисъ Михайловичъ получилъ письмо, и его лицо вспыхнуло яркимъ румянцемъ при видѣ знакомаго ему почерка на конвертѣ. Его охватило радостное чувство, точно онъ угадывалъ, что въ этомъ письмѣ ему пишутъ одно слово: «свобода!» Да, свобода отъ этой меблированной комнаты, отъ этого омута всякаго разврата, отъ этого перебиванья съ гроша на грошъ, отъ этой близости съ *ней*...

Онъ не ошибся: Домгофы пріѣхали и приглашали его къ себѣ. Онъ быстро одѣлся, вышелъ изъ дому и нанялъ извозчика на Васильевскій островъ. Не прошло и часу съ минуты полученія письма, какъ онъ уже обнималъ мальчугановъ, съ неподдѣльной радостью выбѣжавшихъ на лѣстницу встрѣтить его. Черезъ двѣ-три минуты онъ уже сидѣлъ въ кругу госпожи Домгофъ, Tante Malchen, mademoiselle Дюмонъ, наперебой осыпавшихъ его вопросами.

— Но вы были больны?—спросила его госпожа Домгофъ.—Вы страшно измѣнились.

— Да, вы похудѣли,—замѣтила Tante Malchen.

— Нѣтъ, m-r Тепловъ просто возмужалъ,—сказала mademoiselle Дюмонъ, быстро сообразившая, что случилось съ Борисомъ.

Борисъ покраснѣлъ.

— Нѣтъ, я былъ здоровъ,—отвѣтилъ онъ.—Неужели я въ самомъ дѣлѣ сильно измѣнился? Впрочемъ, самому это трудно замѣтить...

Въ эту минуту въ комнату вошла Клара. Увидавъ мужчину, она пріостановилась, сощурила глаза, всматриваясь, кто это, и пришла въ какое-то недоумѣніе. Она не сразу

узнала Теплова или, вѣрнѣе сказать, узнала его, но не поняла, что за перемѣна произошла въ немъ. Онъ похудѣлъ, а казалось, что онъ выросъ; его лицо потеряло дѣтское выраженіе и стало мужественнѣе; глаза, обведенные слегка темными кругами, сдѣлались ярче и какъ будто больше. Неловкое недоумѣніе дѣвушки бросилось въ глаза Борису, хотя оно длилось нѣсколько секундъ; потомъ она очнулась, сухо поклонилась Теплову и прошла въ сторону отъ группы, окружавшей Бориса...

Онъ вернулся домой сіяющимъ, не умѣя скрыть свою радость. Когда онъ сказалъ, что онъ завтра же переѣзжаетъ къ Домгофамъ, Ольга Дмитріевна поблѣднѣла и расплакалась:

— Только-то я съ тобой и пожила!..

Онъ утѣшалъ ее, говорилъ какія-то нескладныя фразы, думая объ одномъ:

«Завтра, завтра я буду свободенъ!»

Она торопливо отирала слезы, спѣша обнять его, расцѣловать. Вѣдь завтра его уже не будетъ. Только денекъ и побыть вмѣстѣ. Тамъ когда еще придетъ! Черезъ двѣ-три минуты она уже шутила.—«А вотъ возьму и не пущу тебя! Что, испугался? Я вѣдь могу! Сдѣлаю скандалъ и конецъ! Нѣтъ, не бойся, это я шучу! Очень мнѣ нужно скандалить! Все равно будешь приходить. Ну, не придешь—напишу, а нѣтъ, такъ и сама приду въ гости. Спросятъ, кто я, скажу—сестра. А то такъ просто объявлю, что невѣста. Да, хорошо такъ? Вижу, вижу, что струсилъ. Дурачокъ мой, для чего я стану это дѣлать! Это я пугаю тебя». Ее забавляло, что онъ пугался, открывалъ ротъ, чтобы убѣдить ее не ходить къ нему, не писать къ нему, не компрометировать его. Впервые она точно взяла власть надъ нимъ, точно принизила его, безсознательно, ради шалости, шутливо. И всѣ эти шутки сопровождались поцѣлуями, объятіями. Ему же въ эту минуту почему-то казалось, что онъ не человѣкъ, а вещь, игрушка, кукла, съ которою играютъ, которую могутъ ткнуть, куда угодно, съ которою могутъ дѣлать все, что вздумается. На душѣ становилось скверно, почти жутко. Впервые онъ не ощущалъ даже опьяненія отъ ласкъ этой дѣвушки, хотя онъ старался быть веселымъ, даже черезъ мѣру веселымъ. Онъ послалъ за виномъ, ему хотѣлось охмелѣть отъ вина, если не отъ ласкъ, которыя не охмеляли на этотъ разъ. Онъ дразнилъ себя циничными шутками, напускной разнузданностью. Ольга Дмитріевна была въ восторгѣ отъ его развязности. Она впервые видѣла его

такимъ «развернувшимся». А среди этого смѣха, среди этого веселья, онъ мысленно повторялъ:

«Завтра, завтра я буду свободенъ...»

IV.

Тепловъ проснулся довольно рано утромъ. Его комната едва освѣщалась разсвѣтомъ октябрьскаго дня. Онъ осмотрѣлся и не сразу понялъ, гдѣ онъ. Онъ лежалъ на удобной постели въ просторной комнатѣ съ двумя окнами, съ двумя дверями. Одна изъ дверей была открыта настежь. За нею виднѣлась такая же просторная комната съ двумя кроватями, помѣщенными противъ открытой двери вдоль стѣны. Простыни, подушки, одѣяла бѣлѣлись въ полумглѣ. На кроватяхъ спали два мальчугана, тихо, не шевелясь. Глаза Бориса, привыкнувъ къ полусвѣту, стали, мало-по-малу, различать всѣ мелочи обстановки. Она была удобна, красива, практична. Свѣжій воздухъ, просторъ, изящество этихъ двухъ высокихъ комнатъ съ лѣпными потолками, все это было такъ не похоже на ту обстановку, среди которой еще вчера находился онъ, Тепловъ. Онъ вздохнулъ широкимъ вздохомъ. Спасенъ, избавленъ, свободенъ! Онъ потянулся всласть при этой мысли. А она? Что будетъ съ нею? На мгновенье его охватила тревога, въ головѣ зароились мрачныя думы. Въ сосѣдней комнатѣ, между тѣмъ, послышались по ковру чьи-то осторожные шаги. Борисъ увидалъ слугу, принесшаго обувь дѣтей. Поставивъ сапоги мальчиковъ у ихъ кроватей, слуга перешелъ въ комнату Теплова и опустилъ на полъ его ботинки.

— Пора вставать?—быстро спросилъ Борисъ Михайловичъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ заторопился встать и одѣться. Онъ безсознательно обрадовался возможности отдѣлаться отъ нахлынувшихъ въ голову мыслей. Прошло еще двѣ-три минуты, и онъ уже будилъ Оскара и Густава. Сладко зѣвая, потягиваясь, они спросили:

— Развѣ уже пора? Рано еще!

— Ахъ вы, сони!—шутливо произнесъ Борисъ.—Опоздаете въ училище!..

Мальчуганы поднялись въ однѣхъ рубашонкахъ, свѣженькіе, розовые, бодрые, съ стремленіемъ подурачиться. Начался говоръ, движеніе. Тепловъ уже не думалъ о ней, унимая ребятъ, прыгавшихъ по комнатѣ и боровшихся другъ съ другомъ...

Утромъ мальчуганы отправлялись въ училище, Тепловъ

направлялся въ университетъ. По возвращеніи дѣтей и Теплова домой передъ обѣдомъ совершалась небольшая прогулка, затѣмъ садились за столъ, потомъ начинались вечернія занятія. Свободные часы посвящались играмъ, гимнастикѣ, чтенію; два раза въ недѣлю Домгофы посѣщали оперу и нѣмецкій театръ, при чемъ по очереди они брали съ собой то дѣвочекъ съ mademoiselle Дюмонъ, то мальчиковъ съ Тепловымъ; въ воскресные и праздничные дни въ опредѣленные часы гувернеръ и мальчуганы совершали прогулки, иногда пѣшкомъ, иногда въ экипажѣ. Жизнь шла правильно, безъ неожиданностей, безъ измѣненій, по предначертанному плану на цѣлый сезонъ, можетъ-быть, на многіе сезоны. Иногда Борису казалось, что это не дѣйствительность, а продолженіе тѣхъ грёзъ, которыя посѣщали его въ тяжелые дни нужды. Въ годы дѣтства онъ жилъ не въ роскоши, но среди полнаго сытаго довольства деревенской помѣщичьей жизни. Онъ тогда даже не могъ вообразить себѣ, что можно желать чего-нибудь бо́льшаго. Попавъ въ Петербургъ, замкнутый въ гимназіи, гдѣ пришлось узнать и вкусъ прогорклаго масла, и запахъ затхлыхъ макаронъ, и значеніе раздачи ѣды по порціямъ, когда хотѣлось ѣсть безъ мѣры, испытывая массу мелкихъ лишеній, непріятностей, огорченій, онъ сталъ мечтать только объ одномъ—пробить себѣ путь, сдѣлаться свободнымъ, зажить въ довольствѣ. Онъ зналъ уже теперь, что на свѣтѣ есть счастливцы, не отказывающіе себѣ ни въ чемъ, для которыхъ жизнь—сплошной пиръ. Ему грезились богатыя палаты, гдѣ можно жить въ свое удовольствіе, не лишая себя никакихъ удобствъ, спокойно, безпечно. Теперь онъ жилъ именно въ такихъ палатахъ, наслаждаясь всѣми благами жизни. Правда, все это не было его собственностью, но у Домгофовъ близкіе люди не чувствовали, что они живутъ въ чужомъ углу, ѣдятъ чужой хлѣбъ. Не чувствовалъ этого и Тепловъ. Попавъ въ эту семью, онъ сразу почувствовалъ, что онъ какъ-будто рожденъ именно для такой жизни. Здѣсь ему было такъ же привольно, какъ было привольно въ годы дѣтства въ деревнѣ. Только иногда его охватывалъ страхъ при мысли, что вдругъ придетъ Діодатова, соскучившись его ждать. Что онъ скажетъ тогда Домгофамъ? Кто она? Зачѣмъ пришла? Что ей нужно? Мысли о ней все чаще и чаще приходили ему въ голову, тревожили его во снѣ, и каждый разъ онъ оканчивалъ словами:

— Нѣтъ, надо сходить поскорѣе самому къ ней!

Мало-по-малу, онъ уже не кончалъ этою фразою, а начиналъ съ нея. Все яснѣе и яснѣе онъ сознавалъ, что ему нужно побывать у нея, не потому, что она можетъ придти, а потому, что ему хочется ее видѣть. Ему недоставало ея. Наконецъ, онъ улучилъ свободное время и направился къ Ольгѣ Дмитріевнѣ.

Увидавъ его, она даже вскрикнула отъ радости и повисла у него на шеѣ.

— А ужъ я думала, что забылъ!.. Боря, вспомнилъ, пришелъ!—говорила она, цѣлуя его.—Всѣ глаза я выплакала по тебѣ...

Онъ теперь только увидалъ, что она, должно-быть, и сегодня плакала. Онъ горячо поцѣловалъ ее. На минуту ему даже показалось, что онъ ее любитъ. Когда первая радость свиданія прошла, онъ невольно осмотрѣлся. Ему показались страшно неприглядными—эта узкая комната, эта прорванная мебель, эти закоптѣлыя стѣны. Ему даже показалось, что у него начинаетъ болѣть голова отъ чада, доходящаго изъ кухни, и табачнаго дыма, проникающаго отъ сосѣдей. Ему при мысли о сосѣдяхъ вдругъ стало неловко: «такъ все слышно, а мы говоримъ такъ громко; что они подумаютъ, слыша наши поцѣлуи».

— Ты не занята?—спросилъ онъ у Ольги Дмитріевны.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Да если бы и была занята, такъ къ чорту все бы бросила!..

— Такъ поѣдемъ куда-нибудь...

— Куда?

— Въ ресторанъ какой-нибудь ужинать... Мало ли куда... А то тутъ...

Онъ поморщился, взглянувъ вокругъ себя. Она точно сконфузилась за свою обстановку, растерялась, какъ провинившаяся.

— Но какъ же... у меня... Ты знаешь, какіе у меня наряды,—сказала она въ смущеніи. — Пальтишко вѣтромъ подбито...

— Ничего! Вѣдь мы же будемъ въ отдѣльномъ помѣщеніи, не на народѣ,—сказалъ онъ.—А здѣсь очень ужъ неуютно, и притомъ чадомъ пахнетъ. Совсѣмъ угоришь!

Она торопливо стала принаряжаться, и вдругъ ей стало досадно, обидно, что у нея нѣтъ хорошихъ нарядовъ, дорогихъ платьевъ. Она швыряла съ досадой свои вещи, примѣряя то ту, то другую, выбирая лучшую, не удовлетворяясь ни одной изъ нихъ. Черезъ полчаса они уже отправлялись

вдвоемъ ужинать. Но прежде чѣмъ они успѣли отъѣхать отъ дома, ихъ увидала Амалія Карловна Швецова, возвращавшаяся домой. Она дружески закивала головой и сказала:

— Это миль, что ви не забивайтъ своихъ друговъ! Ольга Дмитровна такъ плакилъ, такъ плакилъ...

Теплова покоробило отъ этой встрѣчи, и онъ былъ радъ, что она длилась одну минуту. Сани быстро катились по первому снѣгу.

— Теперь за городъ хорошо,—проговорилъ Борисъ.—Подальше отъ всякихъ встрѣчъ. На тройкѣ бы...

— Да, въ моемъ пальтишкѣ! — съ горечью сказала Діодатова.

— Надо новое сдѣлать..

Она промолчала. Они доѣхали до ресторана, поднялись по лѣстницѣ, вошли въ отдѣльную комнату. Ольга Дмитріевна точно оробѣла, переступивъ порогъ этой комнаты съ обоями малиноваго цвѣта, съ шелковой обивкой на мебели, занавѣсями и портьерами того же цвѣта, съ ковромъ во весь полъ, съ лѣпнымъ потолкомъ, съ золоченымъ деревомъ на стульяхъ, на диванѣ, на рамѣ зеркала, съ бронзовыми канделябрами, съ такой же люстрой. Молодой дѣвушкѣ все это казалось обстановкой дворца: она не замѣчала, что все это поношено, потерто, загрязнено, безвкусно. Ее вдругъ взволновала мысль, что ея пальто, снятое лакеемъ въ бѣломъ галстукѣ и во фракѣ, прохудилось на изнанкѣ и теперь тамъ торчитъ вата. Она подошла къ зеркалу и, качая головой, стала снимать шляпку, смотря на свой неказистый нарядъ.

— Ахъ, и напрасно я поѣхала. Срамлю только тебя. Скажутъ: «съ горничной связался»,—говорила она.

— Мнѣ-то что за дѣло? Какая ты смѣшная! Пусть думаютъ, что хотятъ,—отвѣтилъ онъ.

— Нѣтъ... Что-жъ, ужъ если ѣдешь въ такіе хоромы, будь и одѣта, какъ слѣдуетъ... Я знаю, что и тебѣ было бы лестнѣе, если бы я не такой была... оборвашкой...

— Полно, Оля, что мнѣ за дѣло до нарядовъ...

— Нѣтъ, нѣтъ... Вотъ сегодня отъ комнаты моей тошно стало, а тамъ—на меня смотрѣть тошно станетъ...

И, вдругъ порывисто бросившись къ нему, она начала просить его не разлюбить ее, не бросить. Она ужъ собьется, чтобы пріодѣться, изъ послѣдняго нарядъ себѣ сошьетъ приличный, чтобы ему не стыдно было. Вѣдь вотъ онъ привезъ ее сюда, а если бы нарядъ у нея былъ,—онъ бы въ театръ, въ собраніе съ ней поѣхалъ, вездѣ могъ бы быть съ ней,

не стыдясь. А такъ-то что же, только и можно ее вотъ сюда привезти, и то передъ прислугой краснѣя.

Эта нотка грусти не разсѣялась во весь вечеръ...

V.

У Теплова опять выдался свободный вечеръ. Ему захотѣлось повидаться съ Ольгой Дмитріевной. Покуда онъ одѣвался, ему пришло въ голову, что онъ опять встрѣтитъ, пожалуй, Швецову, опять услышитъ отъ нея пошлые намеки. Еще кто-нибудь изъ живущихъ въ трущобѣ меблированныхъ комнатъ можетъ увидать его. Ему стало не по себѣ. И эти люди, и эта трущоба, и эта грязь обстановки стали ему противны. Не лучше ли просто извѣстить Діодатову, что онъ ждетъ ее въ извѣстный часъ въ условномъ мѣстѣ? Онъ обрадовался этой мысли и даже прибавилъ:

— Это нужно, чтобы и ее не компрометировать!

Выйдя изъ дома, онъ отдалъ записочку посыльному, приказавъ ему ѣхать, такъ какъ записка спѣшная.

Не прошло и часу, какъ Ольга Дмитріевна уже пожимала руки Теплова. Она высказала удивленіе, что онъ не зашелъ за ней самъ. Онъ началъ объяснять. Скверно у нея тамъ очень. Притомъ сосѣди. Подслушиваютъ, пожалуй. Они сами, Тепловъ и Діодатова, подсматривали за парой vis-à-vis, смѣялись. Тоже и Швецова со своимъ цинизмомъ. Ольга Дмитріевна слушала, печальная, задумчивая. Да, дѣйствительно, у нихъ трущоба. Швецова—старая сволочь. Пронюхала все. Сватаетъ ей, Ольгѣ Дмитріевнѣ, какого-то богача. Взятку хочетъ взять. Разсказывая все это, Діодатова повторяла:

— Да, да, и мнѣ самой тошно тамъ. Нужно перебраться куда-нибудь, понарядпѣе найти помѣщеніе. Игла-то только мало даетъ.

Борисъ почему-то сконфузился.

— Какъ же переѣхать? Гдѣ средства?.. Мнѣ такъ обидно, что я не могу тебѣ помочь,—заговорилъ онъ.

— Прошу я, что ли?

— Не просишь, но самъ-то я желалъ бы помочь тебѣ. Къ несчастью, нужно то то, то другое себѣ сдѣлать. У насъ кое-какъ нельзя одѣваться...

Онъ краснѣлъ, оправдываясь передъ нею. Она только рукой махнула.

— Самъ-то бывай почаще, а денегъ твоихъ мнѣ не надо!

Потомъ она заговорила о другомъ, о своей любви къ нему,

о томъ, что онъ еще похорошѣлъ, о томъ, что въ него, вѣрно, всѣ влюбляются. Разставаясь съ ней поздно вечеромъ, онъ сказалъ, что онъ напишетъ ей, когда опять будетъ свободенъ.

— Да ты скорѣй приходи!—говорила она.

— Не знаю, когда будетъ можно... Я вѣдь теперь не свободный человѣкъ,—отвѣтилъ онъ.

Она вздохнула.

— Ахъ, если бы деньги! Вотъ въ театръ поѣхала бы съ тобою. А то такъ одна поѣхала бы въ тотъ день, когда ты съ Домгофами тамъ. Хоть бы посмотрѣла на тебя, поговорила бы съ тобою. Конечно, въ такомъ затрапезномъ облаченіи не поѣдешь, а и поѣдешь, такъ что же тебя конфузить... Была бы хорошо одѣта, могла бы съ тобой раскланяться, поговорить. Никто ничего худого и не подумалъ бы. Не монахъ ты, что съ дѣвушками и знакомства водить нельзя...

Онъ опять, конфузясь, сталъ говорить, что нужно подождать, что вотъ онъ раздобудется деньгами, сдѣлаетъ ей платье...

Когда они разстались, онъ былъ встревоженъ. Куда онъ идетъ? Нельзя же вѣчно продолжать такія отношенія? Гдѣ взять средствъ, чтобы помогать ей? Не помогать же нельзя. Въ самомъ дѣлѣ она скоро будетъ похожа на нищую. Ему вспомнилась какая-то попавшаяся подъ руку заплатка. Онъ даже закрылъ глаза на минуту, точно передъ нимъ воскресло все неприглядное, видѣнное имъ въ этотъ вечеръ. И внезапно его поразила мысль: «А вдругъ явится ребенокъ? Что съ нимъ дѣлать?» И опять онъ подумалъ: «Вѣдь не могу же я на ней жениться? что общаго между нами? мы стоимъ на разныхъ берегахъ». Ему очень понравилось послѣднее выраженіе, и онъ повторялъ его безчисленное множество разъ, оправдывая себя и давая себѣ слово порвать отношенія съ Діодатовой.

Нѣсколько дней онъ считалъ это рѣшеніе безповоротнымъ. Потомъ онъ началъ увѣрять себя въ безсонныя ночи, что нельзя же такъ вдругъ порвать эти отношенія, что надо же еще повидаться, какъ-нибудь объясниться. Потребность объясниться росла съ каждымъ днемъ, и онъ уже съ тревогой спрашивалъ себя:

— Да полно, такъ ли? Для объясненія ли мнѣ хочется ее видѣть? Не хитрю ли я самъ съ собою, не затянула ли меня эта связь?

Онъ, однако, откладывалъ свиданіе, насколько могъ. Онъ могъ зайти къ Діодатовой въ одинъ изъ вторниковъ, когда Домгофы бывали въ итальянской оперѣ. Оскаръ и Густавъ могли ѣхать и безъ него. Но онъ рѣшился ѣхать въ театръ, отложивъ свиданіе на пятницу, когда обыкновенно вся семья посѣщала нѣмецкій театръ. Пріѣхавъ въ оперу, онъ былъ разсѣянъ и безцѣльно смотрѣлъ на ложи и въ партеръ, стоя за стуломъ госпожи Домгофъ.

— На кого ты такъ смотришь?—спросила госпожа Домгофъ у Клары, видя, что послѣдняя то щуритъ глаза, то подноситъ къ нимъ бинокль, смотря на одну и ту же точку.— Кто-нибудь изъ знакомыхъ?

— Нѣтъ... не знаю,—холодно отвѣтила Клара и бросила взглядъ на Теплова.

Онъ продолжалъ стоять все съ тѣмъ же разсѣяннымъ видомъ, стройный, красивый, съ густыми вьющимися волосами.

— Но вѣдь есть же причина, по которой ты все кого-то наблюдала,—замѣтила госпожа Домгофъ, пожимая плечами.— Смотрѣть, не спуская глазъ, въ одну точку не особенно прилично.

Клара пожала плечами.

— А если на насъ смотрятъ, также не спуская глазъ?— раздражительно проговорила она.

— Кто?

— Развѣ я знаю! Какая-то дама, дѣвица изъ кресель...

Она глазами указала на женщину, не спускавшую глазъ съ ихъ ложи. Госпожа Домгофъ взяла бинокль и тоже взглянула на незнакомку.

— Не знаю; совершенно незнакомая особа... Можетъ-быть, и не на насъ смотритъ,—сказала она, опуская бинокль.

Она успокоилась, узнавъ, что Клара заинтересовалась женщиной, а не мужчиной.

Клара отвѣтила сухо:

— Можетъ-быть, и не на насъ...

И опять мелькомъ взглянула на Теплова. Неужели онъ не замѣчаетъ, что на него смотрятъ, что его пожираютъ глазами? Или онъ просто дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ этого? Рисуется своимъ равнодушіемъ? Фатъ! Ей вдругъ стало досадно, что на него смотрятъ, что имъ любуются. Что въ немъ хорошаго? Ну да, красивъ, какъ куколка, какъ вербный херувимъ, но что же въ томъ? Если бы знали, что онъ только наемный гувернеръ, нищій, не стали бы имъ любоваться...

Въ антрактѣ Борисъ вышелъ изъ ложи и лицомъ къ лицу столкнулся съ Ольгой Дмитріевной. Онъ чуть не вскрикнулъ. Она протянула ему руку, затянутую въ перчатку. Она была одѣта просто, но по послѣдней модѣ, со вкусомъ швеи, насмотрѣвшейся на модныя картинки, на извѣстныхъ щеголихъ. Она на минуту показалась Теплову просто красавицей. Онъ предложилъ ей пройти въ фойэ. Она сконфуженно отвѣтила, что не можетъ, что ее ждутъ, что она со знакомыми.

— Хотѣла только взглянуть на тебя... не вытерпѣла, — проговорила она.—Мы въ креслахъ... въ шестомъ ряду...

Онъ хотѣлъ что-то спросить, но она уже пожимала ему руку, торопясь уйти.

— Зайдешь въ слѣдующій антрактъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ... насъ компанія...

Она поспѣшила уйти, точно чего-то боясь...

Онъ не пошелъ курить, вернулся въ ложу, чѣмъ-то встревоженный, и устремилъ взглядъ на партеръ. А! вотъ и она пробирается къ своему креслу, садится. Рядомъ съ ней сидитъ какая-то дѣвушка. Онѣ говорятъ... Но около нихъ съ обѣихъ сторонъ пустыя кресла. Что же это, онѣ вдвоемъ пришли? Откуда у нея это платье, шляпка? Изъ какихъ средствъ она въ оперѣ?.. Наконецъ, онъ увидалъ двухъ господъ, пробиравшихся въ шестой рядъ. Одинъ сѣлъ рядомъ съ Ольгой Дмитріевной, другой рядомъ съ ея сосѣдкой. Они заговорили. Сосѣдъ Діодатовой фамильярно взялъ изъ ея рукъ бинокль, потомъ положилъ его ей прямо на колѣни, нагнулся къ ней и что-то сказалъ съ улыбкой на губахъ. Лицо Бориса горѣло, какъ въ огнѣ. Теперь не на него смотрѣли изъ партера, а онъ не спускалъ глазъ съ креселъ. Казалось, для него не существовало никого, кромѣ этихъ двухъ паръ. Онъ даже не замѣчалъ, что почти рядомъ съ нимъ горѣли какимъ-то страннымъ огнемъ два глаза, впившіеся въ него съ любопытствомъ, съ волненіемъ, съ безсознательной ревностью. При поднятіи занавѣса онъ машинально опустился на стулъ и встрѣтился на мгновенье съ этимъ взглядомъ — со взглядомъ Клары. Но это было только на мгновенье — едва онъ успѣлъ взглянуть на нее, какъ она отвернулась отъ него съ негодованіемъ...

Она сама не понимала, что дѣлается съ нею. Сперва ее злило, что имъ любуются, а онъ этого не замѣчаетъ или, вѣрнѣе, дѣлаетъ видъ, что не замѣчаетъ; теперь ее раздражало, что его взглядъ какъ бы пристылъ къ этой хорошень-

кой дѣвушкѣ, что онъ загорѣлся огнемъ страсти. Какъ передъ началомъ спектакля она мысленно не находила ничего хорошаго въ Тепловѣ, называя его куколкой и вербнымъ херувимомъ, такъ теперь она находила, что красота этой дѣвушки — вульгарная красота мужички, горничной, магазинщицы...

И Тепловъ, и она очень обрадовались концу спектакля.

VI.

Борисъ не спалъ всю ночь. Въ немъ поднялась буря злости, ревности, желчи. Напрасно онъ старался успокоить себя доводами разсудка, что все такъ и должно было кончиться, что не могъ же онъ требовать вѣрности отъ Діодатовой. Эти доводы не вели ни къ чему. Чисто животное чувство брало верхъ. Онъ приходилъ въ бѣшенство отъ мысли, что ею обладаетъ другой. Онъ въ отчаяніи думалъ о томъ, что она пропала для него навсегда. Но развѣ онъ любилъ ее? Развѣ онъ разсчитывалъ на прочность этой связи? Ничего этого онъ не могъ осмыслить въ эту ночь и сознавалъ только, что онъ готовъ бы тотчасъ же бѣжать къ ней, отбить ее у другого. Казалось, онъ жить безъ нея не можетъ. Съ утра онъ заявилъ, что онъ вечеромъ долженъ отлучиться; онъ написалъ къ Ольгѣ Дмитріевнѣ письмо и вплоть до вечера былъ убѣжденъ, что она не придетъ на его зовъ...

Она пришла, нарядная, какъ бы похорошѣвшая, но немного смущенная, сконфуженная. Они молча пожали другъ другу руки, сѣли въ сани, доѣхали до цѣли, не говоря почти ни слова. Когда они остались одни въ комнатѣ ресторана, онъ рѣзко спросилъ ее:

— Съ кѣмъ это ты была вчера въ оперѣ?

— Я?.. Съ сестрой... развѣ ты не узналъ ея?—торопливо говорила она, развязывая ленты у шляпки.—Впрочемъ, что я!.. Ты ея никогда не видалъ...

Онъ нетерпѣливо перебилъ ее:

— Я о мужчинѣ спрашиваю.

— Ахъ, это тотъ... ну, знаешь... который ее содержитъ... Богатъ онъ... страсть...

— Васъ было четверо... еще былъ мужчина...

— Это его двоюродный братъ... Я упросила взять меня въ оперу... хотѣлось тебя увидать... при народѣ... Ну, и взяли...

И, снявъ у зеркала шляпку, она торопливо, не давая ему времени опомниться, почти захлебываясь словами, начала

говорить, что она взяла у сестры и платье для спектакля, и шляпку. Нельзя же замарашкой ѣхать — пугаломъ вороньимъ. Очень ужъ ей хотѣлось и театръ видѣть, и людей посмотрѣть, и себя показать. Тоже все сидишь дома да дома въ конурѣ, а другіе веселятся. Хочется и самой. Оглашенная она, что ли? Всѣ живутъ, а она шей, шей, шей!

— Второго любовника завела!—вдругъ оборвалъ онъ ее окрикомъ, ходя по комнатѣ.

— Боря!—воскликнула она.

— Не лги! Не лги!—крикнулъ онъ, топнувъ ногою.—У тебя все ложь! Въ отца уродилась!..

Она закрыла лицо руками и заплакала. Онъ началъ говорить зло, рѣзко, безпощадно, браня и стыдя ее. Его голосъ доходилъ до криковъ, въ немъ слышалось бѣшенство. Она не отвѣчала, покорная, плачущая, пристыженная. Ея безмолвіе, ея покорность смутили его; ему стало совѣстно за себя. Мало-по-малу, онъ сталъ стихать, понизилъ тонъ, отъ рѣзкостей перешелъ къ жалобамъ. Она хоть его пожалѣла бы! Ему-то каково! Мало что измѣнила ему, такъ еще показала ему: «на — смотри, кто тебя замѣнилъ». Онъ понимаетъ, что она не можетъ любить его одного, но надо же было пощадить его отъ этого... Онъ опустился на диванъ, тоже готовый заплакать. Въ одно мгновеніе она уже была около него, обвила руками его шею, заговорила:

— Вотъ тебѣ Господь Богъ, я это только для того, чтобы ты любилъ. Обнищала я совсѣмъ. Ни бѣлья, ни одежды. Чулки приходилось каждый день стирать, всего одна пара оставалась... Такую-то нищую развѣ ты не разлюбилъ бы? Тоже вотъ въ квартиру даже ходить противно стало. А если бы я въ лохмотьяхъ стала ходить, въ грязномъ... Господи, ужъ я не брезглива, а самой тошно бы стало...

Ея рѣчь, своеобразно логичная, лилась неудержимымъ потокомъ, страстная, полная горечи, полная тяжелыхъ признаній, краснорѣчивая по своей порывистости. Вмѣстѣ съ этой рѣчью расточались клятвы, ласки. Казалось, Ольга Дмитріевна никогда не любила его такъ, какъ теперь. Это былъ порывъ, которымъ рѣшалась ея участь: или онъ примирится со своимъ новымъ положеніемъ, или уйдетъ отъ нея совсѣмъ. Она не додумалась до этого, но угадывала это чутьемъ, инстинктомъ. Она сдѣлала все, чтобы онъ понялъ ея положеніе, ея мотивы, ея поступки. Она, какъ утопающій, хваталась за каждую соломинку для своего спасенія. Ей казалось, что въ эту минуту рѣшается вся ея жизнь.

Она не ошиблась. Онъ сжалъ, наконецъ, ее въ объятіяхъ, моля ее:

— Не бросай меня! Люби меня!..

— Тебя?.. Я-то брошу?.. Господи, да я Богъ знаетъ на что пойду для тебя!..

Далеко за полночь, возвращаясь домой, онъ думалъ лѣниво и полусонно: «что-жъ, это должно было случиться... такъ и лучше... для нея... я тоже... руки развязаны». Онъ слегка поморщился при этой мысли и съ дѣланнымъ, напускнымъ сожалѣніемъ проговорилъ:

— Бѣдная дѣвушка!..

Потомъ сладкая усталость, легкая истома взяли свое, и онъ погрузился въ полудремоту, покачиваясь въ саняхъ, полузакрывъ глаза. Мысль работала все болѣе и болѣе лѣниво и сонно; въ головѣ бродили все тѣ же примирительныя фразы: «этого нужно было ожидать... такъ и лучше»... А въ душѣ было такъ покойно, свѣтло, какъ у человѣка, сбросившаго тяжелый гнетъ, миновавшаго опасный путь, вышедшаго на гладкую и ровную дорогу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Черные, какъ смоль, курчавые волосы, большіе черные глаза, своеобразные горбатые носы и довольно толстыя губы были единственнымъ наслѣдіемъ еврейскаго происхожденія Домгофа и его дѣтей. Это относительно внѣшности. Въ характерахъ этихъ людей ихъ происхожденіе сказывалось въ практичности, въ воспріимчивости, въ разсчетливости — и только. Общій складъ жизни семьи, ея привычки, ея симпатіи, все это носило чисто нѣмецкій характеръ или, вѣрнѣе сказать, характеръ обрусѣвшихъ нѣмцевъ, гордившихся тѣмъ, что и Бисмаркъ нѣмецъ, но въ то же время сознававшихъ, что для нихъ выгоднѣе, если Бисмаркъ останется подальше отъ нихъ, у своихъ нѣмецкихъ нѣмцевъ. Имъ и безъ него жилось, какъ рыбамъ въ водѣ.

Только одна Клара выдѣлялась своимъ рѣзко выраженнымъ типомъ, говорившимъ сразу, что это еврейка. Она все наслѣдовала отъ еврея-отца, ничего не наслѣдовавъ отъ нѣмки-матери. Въ ея характерѣ не было ничего нѣмецкаго—она не была ни поэтической мечтательницей, ни аккуратной хозяйкой, ни искусной рукодѣльницей. Сухая, узкая, эгоистическая натура ея отличалась страстностью во всемъ,

и въ то же время склонность къ восточной лѣни и нѣгѣ сказывалась въ каждомъ ея движеніи. Выросшая среди недостатковъ, среди жалобъ на угнетеніе бѣдныхъ людей, среди толковъ о могуществѣ капитала, дѣвушка ненавидѣла бѣдность, стремилась къ богатству, смотрѣла свысока на всѣхъ низшихъ, потому что эти низшіе ничего не могли ей дать, не могли принести ей пользы. Ей было незнакомо чувство сожалѣнія, какъ оно незнакомо умирающему съ голода человѣку, готовому вырвать кость изъ рукъ другого голоднаго — хуже того, готовому съѣсть другого голоднаго. Попавъ въ семью дяди послѣ смерти своего отца, она сразу стала въ такое положеніе къ семьѣ, что всѣ почувствовали въ ней чужого человѣка. Ее старались перевоспитать, передѣлать по-своему лаской, наставленіями, насмѣшками, — она оставалась сама собой: натура брала верхъ надъ воспитательными попытками. Она вела себя, повидимому, сдержанно, безъ рѣзкихъ выходокъ, безъ грубостей, но не могла скрыть, что ей все чуждо въ этой семьѣ. Она не понимала, какъ могутъ эти богатые люди вѣчно что-нибудь работать, заниматься кухней, собственноручно сметать пыль, не сметенную горничной, смѣяться надъ мотовствомъ и роскошью русскихъ купеческихъ семействъ, пускающихъ пыль въ глаза, и надъ неразсчетливостью и расточительностью русскихъ баръ, путающихся въ долгахъ, проѣдая послѣднія наслѣдственныя крохи. Представляя себя на мѣстѣ тетокъ, она приходила къ заключенію, что она ничего не дѣлала бы, ѣздила бы на прогулки, ослѣпляла бы великолѣпіемъ своихъ нарядовъ толпу, заставляла бы разрываться отъ зависти другихъ женщинъ. Менѣе всего она понимала, какъ могутъ всѣ женщины семьи по цѣлымъ мѣсяцамъ вышивать и шить разныя бездѣлушки, которыя въ большіе праздники, къ Рождеству и Пасхѣ, разыгрывались въ лотереи или пускались въ продажу «на базарѣ» въ пользу бѣдныхъ семействъ. Эти работы занимали почти все время госпожи Домгофъ, Tante Мальхенъ и mademoiselle Дюмонъ. Даже дѣвочки и мальчики въ свободные часы принимали участіе въ этихъ работахъ съ благотворительною цѣлью — дѣвочки дѣлали изящные наряды для куколъ, мальчики стругали и пилили рамки, ящики, шкапчики. Иногда дѣти уже давно спали, а женское населеніе дома, собравшись вокругъ стола въ гостиной, сидѣло еще за работой. Къ кружку дамъ обыкновенно присоединялся Борисъ Михайловичъ и читалъ что-нибудь вслухъ, по просьбѣ хозяекъ. Онъ полюбилъ эти ве-

чера. Просторная гостиная, съ массою цвѣтовъ, съ мягкимъ ковромъ во всю комнату, съ удобной мебелью, обтянутой синимъ штофомъ, свѣтлымъ мраморнымъ каминомъ, гдѣ догорали за экраномъ дрова, съ нѣсколькими картинами въ золоченыхъ рамахъ, выступавшихъ красивыми пятнами на сѣрыхъ матовыхъ обояхъ; группа женщинъ, занятыхъ рукодѣльемъ и перебрасывающихся изрѣдка отдѣльными фразами—все это приводило его въ хорошее настроеніе. Тутъ было довольство, покой, уютность, семейность. Иногда, окончивъ чтеніе, откинувшись на креслѣ, онъ спрашивалъ, что прочесть завтра. Занятіе литературой для женскаго населенія семьи Домгофовъ было такой же потребностью, какъ занятіе кухней. Всѣ женщины здѣсь знали толкъ въ произведеніяхъ поэтовъ и романистовъ, какъ онѣ знали толкъ въ кускахъ мяса, сразу опредѣляя, какой кусокъ годится для бульона и какой для бифштекса.

— Прочтите что-нибудь изъ старыхъ классическихъ авторовъ,—говорила Tante Мальхенъ.—Право же, тяжело слушать постоянно новыя произведенія реалистовъ. Все такъ мелко, пошло, прозаично.

— Какъ дѣйствительная жизнь,—заканчивалъ Тепловъ.

— О, да, да! Но кто же велитъ такъ устраивать жизнь. Неужели нельзя подняться надъ будничной грязью, облагородить свои помыслы и поступки?

Тепловъ шутливо замѣчалъ:

— Для этого нужно имѣть большіе капиталы.

Tante Мальхенъ горячо протестовала.

— А у вашей тетки большіе были капиталы? Нѣтъ? А развѣ она не поднялась надъ житейскими мелочами, не отдалась благороднымъ помысламъ и поступкамъ, служа воспитанію дѣтей? Значитъ же, это возможно и безъ капиталовъ.

— Возможно,—отвѣчалъ Борисъ:—возможно уже потому, что вы сами...

Tante Мальхенъ махала рукой.

— Ну, ну, оставьте меня въ покоѣ!..

И тотчасъ же прибавляла:

— Да, впрочемъ, что же? ну да, я сама изъ такихъ людей, которые сумѣли уйти отъ пошлости, сумѣли найти облагораживающую цѣль въ жизни.

Борисъ Михайловичъ вздыхалъ:

— Это все исключенія, Амалія Ивановна! Рѣдкія исключенія.

Tante Мальхенъ горячилась, доказывая противное, и заканчивала споръ словами:

— Ну, а если исключенія, то старайтесь быть такимъ исключеніемъ.

— И для этого не читайте новѣйшихъ реальныхъ произведеній, а штудируйте Шиллера!—шутилъ Тепловъ.

— Да хоть бы и такъ. Развѣ мысль человѣка не становится возвышеннѣе, при чтеніи Вильгельма Телля, рѣчей Позы, заговора Фіески?

Mademoiselle Дюмонъ вступалась въ споръ:

— Развѣ одинъ Шиллеръ! А Викторъ Гюго? О! его «Le roi s'amuse», его...

Госпожа Домгофъ перебивала своимъ слегка ироническимъ тономъ:

— Я плохо понимаю и Шиллера, и Виктора Гюго, должно-быть, потому, что это философія, а гдѣ же прямо послѣ кастрюль и иголки перейти къ философіи...

— Вамъ вѣдь понятнѣе, ближе нашъ Гоголь или...—быстро начиналъ Тепловъ, ища въ ней союзницы.

— Еще бы, наша Матрена Кирилловна тоже Коробочка своего рода,—продолжала тѣмъ же тономъ госпожа Домгофъ, приводя въ примѣръ свою кухарку, стряпавшую «за повара».—Никакъ не можетъ понять, почему нужно купить индюшекъ къ обѣду, если ей кажется, что выгоднѣе купить куръ... Только знаете что,—когда я вотъ читаю или слушаю подобныя произведенія, мнѣ все кажется, что я попала не то въ домъ умалишенныхъ, не то въ острогъ, совсѣмъ одна, безъ руководителя, безъ близкаго человѣка,—жутко, даже становится...

Борисъ предугадывалъ неизбѣжный конецъ:

— Вамъ все Диккенса перечитать хочется?

— Да. Когда я его читаю или слышу, мнѣ кажется, что меня беретъ добрый, добрый другъ и притомъ такой же простой смертный, какъ я, за руку и говоритъ: пойдемъ смотрѣть, какъ живутъ и страдаютъ бѣдные люди,—а бѣдные люди въ его глазахъ всѣ—и нищіе, и богачи, и добряки, и злодѣи... Я вотъ за это и вашего Достоевскаго полюбила... онъ иногда такой же, какъ Диккенсъ, въ томъ отношеніи, что онъ все время стоитъ около тебя, какъ другъ и какъ простой смертный; ну, и чувствуешь себя не такъ жутко, попавъ въ больницу или въ острогъ человѣческой жизни...

Иногда эти толки велись очень серьезно, нѣсколько педантично и по-школьному, точно кого-то поучали или ста-

рались сами поучиться, иногда же они принимали шутливый оборотъ, благодаря госпожѣ Домгофъ, и она заканчивала ихъ какимъ-нибудь анекдотомъ изъ своей прошлой жизни, напримѣръ, о томъ, какъ она читала дѣвушкой Шиллера:

— Бывало, стою въ кухнѣ и одной рукой трясу жаровню съ кофе, а другой держу шиллеровскія стихотворенія и уношусь Богъ вѣсть куда, воображаю, что ich bin auch in Arkadien geboren. Разъ такъ унеслась далеко отъ своей жаровни, что сожгла весь кофе. Съ этого времени пришлось разомъ и кофе жарить, и книги читать, и прислушиваться, чтобы меня не застали на мѣстѣ преступленія, такъ какъ въ кухнѣ мнѣ запретили читать во время работы.

Госпожа Домгофъ очень любила подобныя воспоминанія о своемъ прошломъ, какъ живущій на покоѣ старый морякъ любитъ воспоминанія о прошлыхъ тревогахъ, лишеніяхъ и опасностяхъ, испытанныхъ имъ на морѣ.

Во время этихъ чтеній, этихъ бесѣдъ, одно лицо оставалось безмолвнымъ:—точно его и не было тутъ. Это была Клара. Держа поневолѣ какую-нибудь работу въ рукахъ, она,—когда всѣ увлекались чтеніемъ или разговоромъ, не переставая работать,—опускала свою работу на колѣни и какъ бы застывала въ одномъ положеніи, сощуря узкіе глаза, смотря безцѣльно впередъ. Можно было подумать, что она замерла, слушая, что̀ читалось и говорилось, а между тѣмъ у нея въ головѣ проходили мысли:

«Вотъ мы тутъ скучаемъ, а другіе теперь веселятся...»

И передъ ея воображеніемъ развертывались картины: роскошныя залы, сіяющія тысячами огней, дамы въ открытыхъ платьяхъ съ обнаженными плечами и руками, въ брильянтахъ и шелку, кавалеры въ блестящихъ мундирахъ, звуки музыки, запахъ духовъ, танцы, говоръ. И вдругъ раздавалось чье-нибудь восклицаніе:

— Бѣдный Копперфильдъ! Несчастный Раскольниковъ!

Потомъ кто-нибудь спрашивалъ:

— Не правда ли, Клара, это хорошо?

Она вздрагивала, приходила въ себя, бралась за прерванную работу и сухо отвѣчала:

— Да!

И что имъ за дѣло до этихъ Копперфильдовъ, до этихъ Раскольниковыхъ? Вѣдь они Домгофы, а не Копперфильды и не Раскольниковы? Можетъ-быть, этихъ Копперфильдовъ и Раскольниковыхъ и не было никогда? Тепловъ иногда не воздерживался и замѣчалъ:

— Фрейлейнъ Клара, кажется, и не слушала?

Она бросала на него взглядъ, полный гнѣва. По его губамъ скользила едва замѣтная усмѣшка. Ему было забавно слегка дразнить эту красавицу, въ сущности мало занимавшую его.

II.

Всегда холодное, строгое лицо Клары оживлялось только въ исключительныхъ случаяхъ, когда въ домъ пріѣзжала модистка, когда Домгофы устраивали вечеръ, когда они ѣхали въ театръ или на балъ. Тогда щеки Клары горѣли румянцемъ, глаза точно заволакивались масломъ и блестѣли. Въ эти минуты она казалась просто красавицей, поражала оригинальностью своей красоты. Стройная, какъ пальмочка, точно изваянная изъ мрамора, она невольно обращала на себя вниманіе. Кругомъ нея увивались поклонники и въ каждомъ поклонникѣ, облеченномъ въ блестящій мундиръ, она видѣла жениха. Выйти замужъ за богача, это была ея вѣчная мечта, а богачами ей казались всѣ носящіе мундиры. Она никакъ не могла освоиться съ мыслью, что многіе изъ этихъ свѣтскихъ людей давно уже проѣли свои состоянія и искали выгодныхъ невѣстъ для поправленія своихъ дѣлъ. Ее считали именно такой выгодной невѣстой. Никто и не подозрѣвалъ, что она бѣдная сирота. Сама она менѣе всего была способна сказать прямо, что она бѣдная дѣвушка. Когда ее спрашивали о ея родителяхъ, она говорила, что она давно лишилась ихъ и что теперь она находится подъ опекой дяди. Она умалчивала при этомъ, что опекать дядѣ было нечего. Ея ложное положеніе сильно озабочивало всю семью, и госпожу Домгофъ, и Tante Мальхенъ, и mademoiselle Дюмонъ, и вызывало безконечные толки. Какъ держать дѣвушку? Какъ бѣдную сироту, никому не показывая, никуда не вывозя? За что же отравлять ея жизнь! Да наконецъ, если бы и вздумать такъ держать ее, она начала бы говорить, что ее притѣсняютъ, тиранятъ. Она дуется по нѣсколько дней, если ей не дѣлаютъ новаго платья, когда новое платье дѣлается для кого-нибудь въ семьѣ. Но, вывозя ее въ свѣтъ, приходится невольно вводить въ заблужденіе людей. Нельзя же говорить всѣмъ и каждому: это бѣдная дѣвушка, у нея нѣтъ приданаго, не ищите въ ней выгодной невѣсты. И хоть бы сама она имѣла настолько смѣлости, чтобы не вводить людей въ заблужденіе на ея счетъ. Такъ

нѣтъ. Эти толки почти неизмѣнно заканчивались разговоромъ о странныхъ противорѣчіяхъ въ характерѣ Клары.

— Я не понимаю ея,—говорила госпожа Домгофъ.—Самолюбива, горда и въ то же время считаетъ величайшимъ счастьемъ хоть постоять рука-объ-руку съ важными людьми. Я тоже была и горда, и самолюбива въ дѣвушкахъ, но моя гордость и самолюбіе именно въ томъ и выражались, что я сторонилась отъ богатыхъ и важныхъ подругъ, зная, что я буду послѣднею между ними, что онѣ будутъ на меня глядѣть свысока. Онѣ шли ко мнѣ, чтобы я помогала имъ въ урокахъ, а я даже и тогда отказывалась отъ ихъ приглашеній.

Mademoiselle Дюмонъ болѣе всего удивляло то, что Клара такая страстная по натурѣ, а между тѣмъ:

— До сихъ поръ не влюбилась въ нашего херувима!—заканчивала она, смѣясь горькимъ смѣхомъ.—Я давно бы была безъ ума отъ него въ ея годы.

«Херувимомъ» въ интимномъ кружкѣ этихъ трехъ женщинъ прозванъ былъ Борисъ.

— Мнѣ кажется, она вообще не способна полюбить кого бы то ни было,—со вздохомъ говорила Tante Мальхенъ.

— Ну, не способна полюбить, такъ могла бы влюбиться,—горячо возражала mademoiselle Дюмонъ.

Госпожа Домгофъ пожимала плечами.

— Можетъ-быть, она и влюблена уже въ него. Развѣ мы знаемъ ее? Но и влюбившись, она подавитъ это чувство, если тотъ, въ кого она влюбилась, не богачъ и не въ мундирѣ.

И, задумавшись о Тепловѣ, она прибавила:

— Да, такой человѣкъ могъ бы быть для нея хорошимъ мужемъ; онъ, можетъ-быть, перевоспиталъ бы ее. У него много стойкости въ характерѣ, много слѣдовъ воспитанія, у него есть умѣнье держать себя съ тактомъ. Къ сожалѣнію, этого брака никогда не будетъ. Они, кажется, просто не терпятъ другъ друга. Онъ-то имѣетъ на это свои причины, она не разъ оскорбляла его. А она? почему она его ненавидитъ? За то, что онъ бѣднякъ и учитель? Это могло вызвать равнодушіе къ нему, а не ненависть. Право, мнѣ иногда кажется, что она ненавидитъ его за то, что она влюблена въ него...

Госпожа Домгофъ была не далека отъ истины. Тепловъ съ каждымъ днемъ пробуждалъ въ Кларѣ все болѣе и болѣе странныя, противорѣчивыя чувства. Мечтая о балахъ, о спектакляхъ, о блестящихъ кавалерахъ, она помимо своего желанія вдругъ останавливалась на одномъ образѣ — это

былъ образъ Бориса Михайловича; она сдвигала брови, дѣлала серьезные глаза, но этотъ образъ не исчезалъ въ ея воображеніи, какъ бы дразня ее, какъ бы говоря: «что же ты не любуешься мною?» Порой за обѣдомъ, за вечернимъ чтеніемъ, во время пріѣзда гостей, ея взглядъ вдругъ останавливался на Тепловѣ, красивомъ, цвѣтущемъ, оживленномъ; очнувшись, встрѣтившись своими глазами съ глазами Теплова, она сердито и быстро отворачивалась, негодуя на него, точно онъ былъ виноватъ, что она смотрѣла на него. Иногда пріѣзжавшія въ домъ Домгофовъ дѣвицы говорили ей шопотомъ, что Тепловъ очень хорошъ собою; она дѣлала гримасу, передергивала плечами и злилась въ душѣ на то, что его находятъ красивымъ. Ничѣмъ нельзя было ее разсердить такъ, какъ похвалами ему, а между тѣмъ въ домѣ всѣ постоянно хвалили его, даже самъ Домгофъ, особенно послѣ того, какъ Тепловъ недѣли три, просиживая ночью и по утрамъ съ Домгофомъ, помогалъ послѣднему въ провѣркѣ разныхъ отчетовъ по банку. Послѣ этой работы Домгофъ уже серьезно говорилъ, что онъ затянетъ Теплова къ себѣ въ банкъ, такъ какъ способныхъ дѣловыхъ людей не на каждомъ перекресткѣ встрѣтишь. Въ концѣ концовъ, дѣло дошло до того, что когда начинался разговоръ о Тепловѣ, Клара, блѣдная, какъ полотно, поднималась съ мѣста и уходила изъ комнаты.

«Это они на зло мнѣ, на зло мнѣ говорятъ, зная, что я его ненавижу»,—думала она, стискивая зубы.

III.

На одномъ изъ вечеровъ Кларѣ былъ представленъ молодой князь Шабадзіевъ, высокій, тонкій, перетянутый конвоецъ съ цѣлымъ овиномъ черныхъ волосъ, съ большимъ носомъ, похожимъ на клювъ, съ узенькимъ лбомъ и широкимъ ртомъ. Онъ пригласилъ дѣвушку на кадриль и въ теченіе цѣлаго вечера почти не отходилъ отъ нея.

Никогда Клара не чувствовала себя такой счастливой, какъ на этомъ балу. Ее поразило все: и княжескій титулъ новаго знакомаго, и его національный костюмъ, смѣсь шелка, бархата, золота и серебра, и разсказы молодого человѣка о томъ, что такая-то царица на Кавказѣ его тетка, а такая-то кавказская же царевна его двоюродная сестра, и довольно безцеремонные, не лишенные витіеватости, комплименты, которыми, не сморгнувъ глазомъ, смотря прямо въ лицо молодой дѣвушкѣ, осыпалъ ее молодой кавказецъ.

Ей казалось, что она танцуетъ чуть ли не съ наслѣдникомъ престола.

Съ разгорѣвшимся лицомъ, съ блестящими глазами, съ необычнымъ оживленіемъ говорила Клара въ каретѣ госпожѣ Домгофъ о любезности и ловкости князя.

— Всѣ они акробаты,—равнодушно замѣтила госпожа Домгофъ.—Съ дѣтства, я думаю, и на головѣ ходить, и кувыркаться научился не хуже любого клоуна.

— Онъ очень важный господинъ!—горячо и серьезно вступилась за своего кавалера Клара.—Онъ князь и...

Госпожа Домгофъ засмѣялась.

— И изъ тѣхъ татаръ, которые халаты продаютъ, тоже многіе князья.

Клара загорячилась:

— Онъ вовсе не татаринъ! У него на Кавказѣ родня изъ царей! Онъ при дворѣ бываетъ!

Госпожа Домгофъ пожала плечами.

— Кто бы онъ ни былъ, и гдѣ бы онъ ни бывалъ, намъ отъ этого ни тепло, ни холодно, и потому намъ не изъ-за чего тутъ горячиться.

Клара надулась и замолчала...

Черезъ нѣсколько дней молодой князь увидалъ Клару въ театрѣ и довольно безцеремонно раскланялся съ нею изъ партера. Лицо дѣвушки покрылось румянцемъ. Въ антрактѣ она упросила Tante Мальхенъ пройтись въ фойэ. На первыхъ шагахъ она встрѣтилась съ княземъ. Онъ подошелъ къ дамамъ и протянулъ руку Кларѣ. Tante Мальхенъ смутилась: она не знала молодого человѣка.

— Князь Шабадзіевъ,—пробормотала Клара.

Tante Мальхенъ поклонилась. Князь протянулъ и ей руку.

— А я васъ искалъ на каждомъ балу,—гортаннымъ голосомъ заговорилъ князь.—И все нигдѣ нѣтъ!

— Я рѣдко выѣзжаю,—скромно отвѣтила Клара.

— Да, развѣ-жъ можно такую розу прятать,—проговорилъ онъ.

Tante Мальхенъ поспѣшила направиться къ ложѣ. Князь проводилъ дамъ до дверей ложи и, пристукнувъ шпорами, пожалъ имъ руки.

— Выходите въ слѣдующемъ антрактѣ,—сказалъ онъ на прощаньи.

Клара пробормотала что-то невнятно, въ смущеніи.

Въ слѣдующіе антракты ей, однако, не пришлось уже

идти въ фойэ. Tante Мальхенъ шопотомъ, смѣясь, разсказала госпожѣ Домгофъ о встрѣчѣ, прибавивъ:

— И что за манеры! Первый протягиваетъ руку. Жметъ руки такъ, что больно! Говоритъ: «такую розу нельзя прятать»; «выходытэ въ слѣдующемъ антрактэ»

Госпожа Домгофъ засмѣялась:

— А ты думала на конюшнѣ получается лучшее свѣтское воспитаніе? Еще хорошо, что онъ не заговорилъ съ тобою на «ты». Это у нихъ тоже бываетъ.

— А объ лошадяхъ онъ съ вами не говорилъ?—шутливо спросилъ Борисъ.

— Нѣтъ!

— Ну, это еще хорошо! А то я зналъ одного изъ такихъ князей, такъ тотъ при каждой встрѣчѣ говорилъ: «а ты выдалъ, какую я лошадъ купилъ», «а ты знаешъ, что я лошадъ продалъ», и этимъ ограничивался весь разговоръ.

Клара метала глазами молніи на собесѣдниковъ. Она, кажется, была готова избить ихъ. Смѣясь надъ княземъ, они какъ-будто наносили ей личное оскорбленіе. На возвратномъ пути она ни съ кѣмъ не говорила во всю дорогу.

Оставшись въ своей комнатѣ, Клара расплакалась отъ злости на свою семью. Онъ, этотъ князь, очевидно влюбленъ въ нее. Но семья сдѣлаетъ все, чтобы оттолкнуть его отъ нея, отъ Клары. Досадно имъ, что на нее обращаютъ вниманіе такіе люди; ее рады бы за перваго лавочника выдать замужъ. Гдѣ его опять встрѣтишь? А и встрѣтишь, такъ что толку? Не позволятъ говорить, осмѣютъ его. И этотъ учителишка туда же насмѣхается. Завидно, что тотъ князь, офицеръ, при дворѣ бываетъ. А у него кромѣ смазливаго личика ничего нѣтъ. Умомъ тоже гордится. Какъ же, осмѣять всѣхъ умѣетъ. И помимо своей воли она вдругъ вспомнила отрывки разговоровъ князя—совсѣмъ странно онъ говорилъ. Болѣе всего ее злило то, что Тепловъ угадалъ:—князь ей тоже говорилъ о лошадяхъ. Она даже покраснѣла, вспомнивъ, какъ онъ ей сказалъ въ первой же кадрили: «а у меня такой жэрэбэцъ, какого ны у кого нэтъ». Потомъ она начала оправдывать князя. Ну да, онъ говоритъ о лошадяхъ. Что-жъ изъ этого? Не всѣмъ же о книгахъ говорить! И почему о книгахъ можно, а о лошадяхъ нельзя говорить? Не говоритъ о нихъ нашъ умникъ, потому что у него ихъ нѣтъ. Вотъ и завидуетъ другимъ. «А что они ни говори о князѣ,—мысленно закончила она:—я все-таки его буду любить, его, а не кого-нибудь другого»..

Въ одну изъ прогулокъ Клара, mademoiselle Дюмонъ, Борисъ, мальчики и дѣвочки Домгофъ, по обыкновенію, подъѣхали въ ландо къ Лѣтнему саду, остановились у воротъ со стороны набережной и вошли въ садъ. Едва они успѣли сдѣлать нѣсколько шаговъ по мосткамъ, какъ къ Кларѣ подошелъ князь Шабадзіевъ, точно выросшій изъ-подъ земли. Поздоровавшись съ нею, онъ назвалъ свою фамилію mademoiselle Дюмонъ, пожалъ ея руку и присоединился къ компаніи. У Клары сильно билось сердце, она была въ восторгѣ, что она идетъ рядомъ съ такимъ важнымъ господиномъ. Ей казалось, что всѣ обращаютъ на нее вниманіе, можетъ-быть, думаютъ, что это ея женихъ, завидуютъ ей. У князя была масса знакомыхъ, съ которыми онъ раскланивался и фамиліи которыхъ называлъ Кларѣ. Она опять слышала отъ него комплименты, опять онъ разсказалъ о какой-то лошади, опять онъ говорилъ, что у него на Кавказѣ такая-то царица тетка, а такая-то царевна двоюродная сестра. Онъ точно забылъ, что все это онъ уже успѣлъ сказать Кларѣ при первой ихъ встрѣчѣ. Обошедши разъ весь садъ, mademoiselle Дюмонъ сказала, что пора ѣхать.

— Вѣдь мы же почти не гуляли,—рѣзко сказала Клара, глядя на mademoiselle Дюмонъ строгими, угрожающими глазами.

— Довольно!—сухо отвѣтила mademoiselle Дюмонъ.

— Зачѣмъ же ѣхать, если хотятъ еще ходить?—сказалъ князь.

Mademoiselle Дюмонъ посмотрѣла на него насмѣшливыми глазами и, ничего не отвѣчая, направилась къ выходу. Князь сталъ усаживать семью въ экипажъ и усердно пожималъ руки Клары, сильно потрясая ихъ.

— Что это, Клара, за неумытый господинъ?—спросила mademoiselle Дюмонъ, какъ только экипажъ тронулся съ мѣста.

Клара вспыхнула.

— Это князь...

— Ахъ, князь или графъ—это все равно, но онъ невѣжа!—перебила mademoiselle Дюмонъ.—Развѣ онъ знакомый, чтобы гулять съ вами? Гдѣ это принято?

И потомъ, уже смѣясь, она обратилась къ Борису:

— И что за физіономія! Вмѣсто носа клювъ, и все лицо точно истыкано отъ оспы...

— Мнѣ больше всего понравился его голосъ,—сказалъ

Борисъ:—онъ точно въ одно и то же время и говоритъ, и полощетъ горло.

Всѣ засмѣялись.

Клара чувствовала, что если она скажетъ хоть слово, то изъ глазъ ея хлынутъ слезы. Она, казалось, ненавидѣла теперь всѣхъ окружавшихъ ее людей, какъ злѣйшихъ враговъ.

IV.

Въ послѣднихъ числахъ апрѣля Кларѣ удалось снова встрѣтиться съ княземъ Шабадзіевымъ у знакомыхъ.

На этотъ разъ князь попросилъ хозяевъ представить его старикамъ Домгофамъ. Его представили имъ. Домгофъ сдержанно обмѣнялся съ нимъ нѣсколькими незначительными фразами, но не счелъ нужнымъ пригласить его къ себѣ. Госпожа Домгофъ, въ отвѣтъ на его слова о томъ, что онъ давно желалъ быть представленнымъ ей, замѣтила, что она сожалѣетъ, что это представленіе совершилось какъ разъ въ то время, когда князь, вѣроятно, долженъ выступить въ лагерь, а они, Домгофы, уѣзжаютъ на дачу отдыхать послѣ зимняго сезона. Она постаралась особенно подчеркнуть слова объ «отдыхѣ».

Несмотря на это, князь сдѣлалъ черезъ два дня визитъ къ Домгофамъ—лакей сказалъ, что господъ нѣтъ дома, и князю пришлось только оставить на память хозяевамъ свою визитную карточку. Клара дулась нѣсколько дней послѣ этого неудачнаго визита князя и мысленно повторяла, что она выйдетъ за него замужъ, хоть бы ей пришлось убѣжать изъ дома,—выйдетъ на зло всѣмъ. Пусть онъ и татарскій князь, и глупый, и съ слѣдами оспы на лицѣ, а все-таки они, умные, красивые, лопнутъ отъ досады, когда она сдѣлается княгиней. И ее болѣе всего радовало—радовало до злости именно то, что этотъ умникъ, красавецъ Тепловъ увидитъ ее невѣстой князя. А! онъ на нее не обращаетъ вниманія, онъ подшучиваетъ надъ ней! Вотъ что-то онъ скажетъ тогда, когда она будетъ невѣстой князя? И вдругъ ей стало обидно до слезъ при мысли, что и тогда Тепловъ, можетъ-быть, станетъ шутить и смѣяться. Неужели онъ не замѣчаетъ ея красоты? Неужели она не пробуждаетъ въ немъ никакого чувства? И она злилась на себя, задавая себѣ эти вопросы. Что ей до того, обращаетъ онъ на нее вниманіе или нѣтъ? Если бы онъ даже былъ безъ ума отъ нея,—что ей въ этомъ? Осмѣлься онъ сказать ей какую-

нибудь любезность,—она показала бы ему, гдѣ его мѣсто. Учителишка, нищій! Она хотѣла выгнать его изъ своей памяти, не думать о немъ, а его образъ все болѣе и болѣе заслонялъ собою образъ князя. Какъ бы было хорошо, если бы князь былъ такимъ, какъ Тепловъ! Иногда эти мысли доводили ее до ярости...

Разъ горничная таинственно сказала Кларѣ:

— Барышня, я боюсь вамъ сказать. Бѣды я надѣлала. Вамъ прислали письмо. Я приняла сдуру... Приказали отдать потихоньку. Я не знаю, какъ быть...

— Давай, давай!—крикнула Клара, сразу угадавъ, отъ кого было письмо.

— Но я боюсь, если господа узнаютъ! Не выдайте, ради Бога!

— Ахъ, перестань! Вотъ выдумала! И кто мнѣ можетъ запретить получать письма!

— Да, вамъ-то ничего, а мнѣ достанется!

Клара, не слушая горничную, дрожащими руками схватила письмо, сорвала конвертъ, развернула тонкій листикъ почтовой бумаги. Это было признаніе въ любви, витіеватое, довольно пошлое, но не страдавшее тѣми ошибками противъ русскаго языка, которыми изобиловала рѣчь князя.

Вглядываясь попристальнѣе въ почеркъ, Клара могла бы понять, что это письмо не писалось, а переписывалось—тщательно, осторожно, какъ переписываютъ дѣти съ книги или съ чужой рукописи. Но Кларѣ было не до этихъ соображеній. Она была охвачена восторгомъ. Ей впервые признавались въ любви. Это такое счастье для дѣвушки. Ей писали о томъ, что отдали бы полжизни за нѣсколько минутъ свиданія. Ей говорили, что ее готовы бы похитить. Романическое начало первой любви кружило ей голову. Вдругъ ей пришло въ голову: «вотъ показать бы ему, нашему генію и красавцу, какъ меня любятъ». Она такъ обозлилась, что онъ, Тепловъ, опять пришелъ ей на память, что стиснула зубы. Въ такую минуту и думать о другомъ! Она мысленно бранила себя: ее такъ любятъ, ей признаются въ любви, а она думаетъ о другомъ. Безчувственная, неблагодарная!..

Весь день она ходила, какъ во снѣ, съ блаженной улыбкой на лицѣ, съ таинственнымъ видомъ. Вечеромъ она рѣшилась отвѣтить князю. Но можно ли отвѣчать? Почему же нѣтъ? Она не станетъ писать, что любитъ его, но онъ пойметъ это и такъ. Нельзя же его отталкивать. А вдругъ домаш-

ніе узнаютъ? Что будетъ тогда? И не у кого спросить совѣта, указанія! Она разорвала листковъ десять, составляя отвѣтъ. Наконецъ письмо было написано. Она писала осторожно, сдержанно, что князь можетъ, если желаетъ ее видѣть, посѣтить ихъ на дачѣ, что другихъ встрѣчъ не можетъ быть, что она никуда не выходитъ одна—только иногда передъ обѣдомъ она гуляетъ недалеко отъ дачи, но и то очень рѣдко, очень недолго. Написавъ послѣднюю фразу, она думала: «а что, если онъ подкараулитъ въ это время?» И у нея замирало сердце при этой мысли.

Черезъ нѣсколько дней былъ полученъ отвѣтъ князя. Онъ написалъ, что онъ пріѣдетъ къ Домгофамъ, что онъ уловится съ Кларой, какъ встрѣтиться. И опять въ письмѣ были разсыпаны комплименты и восторженныя фразы, цѣликомъ бывшіе уже въ первомъ письмѣ. Казалось, князь не умѣлъ придумать новыхъ сравненій и рѣшился твердить одно и то же любимой дѣвушкѣ. Ей показалось это страннымъ. Но, можетъ-быть, влюбленные и всегда говорятъ одно и то же? Почему знаетъ она, Клара? Ей еще никто не объяснялся въ любви. Вотъ, что бы сказала она ему? «Ахъ, я тебя люблю!» А дальше? Она не знала, что бы она сказала дальше? Ей даже стало неловко. Что она будетъ, въ самомъ дѣлѣ, говорить ему? Нельзя же молчать? Но ей рѣшительно было нечего ему сказать. Вотъ Теплову, вѣроятно, говорятъ: «ахъ, какой вы умный, какой красавецъ». Она сдѣлала гримасу. Потому, вѣроятно, и занятъ собою—хочетъ чтобы за нимъ ухаживали. Опять она сердилась на себя за то, что думала о Борисѣ, когда нужно было думать о князѣ...

V.

Кларѣ опять готовился новый ударъ. Князь пріѣхалъ, его приняли на половинѣ Домгофа; онъ просидѣлъ съ полчаса, спросилъ о здоровьѣ госпожи Домгофъ; хозяинъ отвѣтилъ, что жена не такъ здорова, и гость, разсказавъ о томъ, что у него на Кавказѣ тетка царица, двоюродная сестра царевна, что у него теперь новая кобыла удивительной породы, долженъ былъ откланяться, такъ какъ матеріалъ для бесѣды былъ истощенъ, а хозяинъ уже давно ощипывалъ какое-то перо отъ томительной скуки. Откланиваясь, князь просилъ Домгофа передать поклонъ госпожѣ Домгофъ и ихъ племянницѣ, очаровательной барышнѣ.

— Что ему у насъ нужно? — спрашивалъ Домгофъ за

обѣдомъ.—Денегъ? Такъ я ему гроша не повѣрилъ бы въ долгъ.

Госпожа Домгофъ только пожала плечами.

— Просто, вѣрно, любитъ заводить новыя знакомства для счету. У этихъ господъ вѣдь дѣла нѣтъ; ну, и рыщутъ съ визитами.

Кларѣ такъ и хотѣлось крикнуть:

— Развѣ вы не понимаете, что онъ влюбленъ въ меня?

Они, впрочемъ, и безъ ея объясненій уже угадывали, что у князя есть заднія мысли, и боялись этого. У Клары нѣтъ ничего; у него, вѣроятно, тоже. Что же это за пара? Поженить ихъ, а потомъ кормить. Это значитъ плодить нищихъ. Кларѣ нуженъ мужъ, если не богатый, то служащій на хорошемъ мѣстѣ, съ обезпеченнымъ содержаніемъ. Если этотъ господинъ вздумаетъ свататься за нее, ему придется отказать.

На другой день послѣ этого визита Кларою получилось еще письмо отъ князя съ сѣтованіями, что онъ не видалъ Клару. Безъ нея онъ не можетъ жить. Онъ ее называлъ и пальмой, и розой, и просилъ опредѣлить день и часъ, когда ее можно встрѣтить въ паркѣ около ихъ дачи. Неужели она откажетъ ему въ этомъ? Сердитая на всѣхъ близкихъ, желающая наперекоръ всѣмъ составить свое счастье, Клара быстро, не разсуждая, не раздумывая, написала письмо, опредѣляя часъ и мѣсто своей одинокой прогулки. Когда письмо было уже отправлено, она испугалась. Господи, что она надѣлала! А вдругъ онъ ее похититъ? А что, если онъ потомъ не женится? А вдругъ, кто-нибудь узнаетъ все, подкараулитъ? Сколько стыда, позора, насмѣшекъ! Нѣтъ, лучше не идти! Что онъ скажетъ? Скажетъ, что она смѣется надъ нимъ? Разсердится, будетъ мстить... У него письма, доказательства...

Она пошла.

Князь уже ждалъ ее. Они очутились вдвоемъ въ пустой аллеѣ. Онъ стремительно обнялъ ее и началъ цѣловать безъ всякихъ предисловій, безъ разговоровъ. Она вскрикнула, высвободилась изъ его объятій и, съ пылающимъ лицомъ, съ строгимъ взглядомъ, гнѣвно отшатнулась въ сторону.

— Какъ вы смѣете? Кто вамъ позволилъ? Это низко!— проговорила она, задыхаясь.

Ее душило чувство оскорбленнаго самолюбія. Ее еще никогда не цѣловалъ посторонній мужчина. Въ поцѣлуяхъ князя она почувствовала не ласку, а дерзость.

— Я сдѣлала ошибку, придя сюда, но я не дала вамъ права такъ поступать,—говорила она, чуть не плача.

— Да я же тебя люблю!—воскликнулъ князь.

Она совсѣмъ оторопѣла, ее душили слезы.

— Ты поймы,—говорилъ онъ, опять приближаясь къ ней.

— Не подходите! не говорите мнѣ *ты*!—оборвала она его.—Мы еще не женихъ и невѣста!.. Какое право вы имѣете оскорблять меня...

— Но,—началъ онъ, подходя еще ближе.

— Я сейчасъ уйду, если вы еще сдѣлаете хоть шагъ!..

Она хотѣла идти. Онъ растерялся, началъ упрашивать ее остаться. Онъ такъ страстно ее любитъ. Въ немъ кавказская кровь. Онъ не можетъ сдерживаться. Какая же обида, если дѣвушку цѣлуютъ? Но если онъ обидѣлъ ее, онъ проситъ прощенія. Смущенная, опустивъ глаза, она тихо отвѣтила:

— Хорошо, говорите. Но помните, что я вамъ не дала права на... ваши выходки!

Говорить? Что же ему говорить? Онъ опять назвалъ ее пальмой въ пустынѣ, манящей его отдохнуть подъ ея тѣнью, розой въ саду, зовущей его упиться ея ароматомъ. А у него тетка на Кавказѣ царица, двоюродная сестра царевна, вотъ онъ самъ еще завелъ себѣ лошадь. Онъ путался, не зналъ что говорить. Ей было стыдно за него, ей было жаль его. Очевидно, онъ такъ ее любитъ, что теряетъ голову и говоритъ только глупости, невозможныя вещи. Наконецъ, онъ договорился до того, что онъ будетъ за нее свататься. Согласна ли она?

— Да,—тихо отвѣтила она.

— Я сичасъ пойду!—быстро сказалъ онъ.—Вмѣстѣ будемъ ходыть!

Она испуганно остановила его:

— Нѣтъ, нѣтъ! Такъ нельзя! Никто не знаетъ, что я сдѣлала... что я видѣлась съ вами... Пріѣзжайте завтра, послѣзавтра, но не теперь!..

Онъ было заспорилъ, потомъ согласился на послѣзавтра. Ровно въ часъ онъ пріѣдетъ къ Домгофамъ и будетъ просить ея руки.

Она заторопилась идти. Онъ не выдержалъ, схватилъ ее за руки и опять поцѣловалъ въ губы. Иначе онъ не умѣлъ обращаться съ женщинами. Она вырвалась отъ него и почти побѣжала домой. Ей казалось, что въ ея душѣ не радость, а только чувство оскорбленія. Онъ ее обнималъ и

цѣловалъ, какъ горничную, безцеремонно, нахально. Она старалась оправдать его тѣмъ, что онъ кавказецъ, дикарь отчасти. Но все же долженъ же онъ знать, что въ обществѣ такъ не дѣлается! Когда она пришла домой, всѣ обратили на нее вниманіе. Она была взволнована, ея лицо то покрывалось блѣдностью, то вспыхивало румянцемъ. Ее стали разспрашивать. Что съ ней? Гдѣ она была? Она сказала, что она сидѣла въ бесѣдкѣ и читала. Борисъ пристально, почти съ испугомъ взглянулъ на нее и сдѣлалъ ей какой-то знакъ головою, какъ будто говоря: «молчите».

— Какъ въ бесѣдкѣ?—сказалъ Оскаръ.—Мы тоже тамъ сидѣли, а тебя тамъ не было...

Клара растерялась, на ея глазахъ были слезы. Всѣ присутствующіе обратили на нее вниманіе. Всѣхъ охватило недоумѣніе. Тепловъ быстро проговорилъ:

— Мы, Оскаръ, были въ стеклянной бесѣдкѣ, а фрейлейнъ Клара, я видѣлъ, прошла на скамью подъ грибкомъ...

И, обращаясь къ Кларѣ, онъ замѣтилъ:

— Вы напрасно тамъ сидите въ эти часы, тамъ солнце въ это время падаетъ прямо на скамью. Я хотѣлъ васъ предупредить объ этомъ, когда вы сидѣли тамъ...

И не воздерживаясь отъ обычной шутливости, онъ закончилъ:

— Да боялся, что вы по обыкновенію скажете, что это не мое дѣло... Мнѣ вѣдь отъ васъ не разъ доставалось...

Она сидѣла молча, не шевелясь, какъ убитая. Она сознавала, что онъ выручилъ ее изъ бѣды,—выручилъ и теперь глумится надъ нею же! Даже на добрый поступокъ неспособенъ безъ того, чтобы не уязвить человѣка! О, когда она избавится отъ преслѣдованій этого человѣка!..

VI.

Тепловъ, какъ ни мало онъ интересовался Кларою, давно уже замѣтилъ, что съ ней творится что-то странное. Толки о князѣ Шабадзіевѣ не ускользнули отъ его слуха. Съ нимъ уже давно не церемонились въ домѣ и тайнъ отъ него не было. Утренніе визиты князя, разъ не принятаго, въ другой разъ принятаго только Домгофомъ, навели молодого человѣка на мысль, что визиты дѣлались не даромъ и что также не даромъ семья сторонилась отъ князя. Госпожа Домгофъ даже прямо замѣтила разъ при Борисѣ: «Ужъ не разсчитываетъ ли этотъ князь на Клару? Это ужъ совсѣмъ напрасно!» Затѣмъ Борисъ совершенно случайно

началъ замѣчать, что Клара передъ обѣдомъ уходитъ изъ сада гулять одна. Въ первые дни онъ хотѣлъ даже предупредить ее, что это не безопасно, что ея родные могутъ это замѣтить, потомъ подумалъ, что не стоитъ вмѣшиваться въ чужія дѣла. Да она и не послушаетъ его совѣтовъ, а еще подумаетъ, что онъ играетъ роль шпіона и наушника. Теперь же, когда случайно тайна Клары едва не вышла наружу, онъ счелъ своимъ долгомъ защитить молодую дѣвушку, а потомъ сдѣлать ей отеческій выговоръ, объяснить ей, что не всегда ей будутъ такъ счастливо сходить съ рукъ ея тайныя экскурсіи, черезъ заднюю калитку сада. Только вечеромъ ему удалось улучить свободную минуту и остаться наединѣ съ Кларой. Онъ подошелъ къ ней и тихо проговорилъ:

— Что, чуть-чуть не попались? И подѣломъ бы! Не ходите однѣ гулять.

Она поблѣднѣла.

— А вы шпіонили, значитъ, за мной!—прошептала она.

— Что мнѣ за неволя шпіонить! Просто замѣтилъ два раза, что вы уходите заднимъ ходомъ изъ сада въ паркъ. Сегодня, когда чуть не обличили васъ, и пришлось заступиться.

— Я васъ не просила!

— А! значитъ вамъ все равно, если бы узнали?

— Я никого не боюсь!

— О, какая вы храбрая! Ну, такъ я все разскажу!

Она едва удерживалась отъ слезъ.

— Когда вы перестанете меня преслѣдовать? Это низко, низко!—воскликнула она, задыхаясь.

Ему стало жаль ее.

— Я? преслѣдую васъ? Что вы выдумываете? Я вѣдь наемный учитель: приставленъ за дѣтьми смотрѣть. Такъ вѣдь вы говорите обо мнѣ? Гдѣ же мнѣ преслѣдовать васъ!

И, перемѣняя тонъ, онъ болѣе дружески, искренно и тепло прибавилъ:

— Но мнѣ жаль васъ. Вы неопытны, вы не знаете петербургской жизни. Здѣсь нельзя дѣвушки въ ваши годы и въ вашемъ положеніи бѣгать одной по парку. Богъ знаетъ, что̀ можетъ случиться и что̀ могутъ сказать. Скажутъ еще, что вы свиданія назначаете.

— Ну, и пусть говорятъ! Вамъ-то что?

— Да я не ради себя, а ради васъ говорю. Мнѣ все равно, хоть бы вы и точно ходили на свиданія.

— И хожу, и хожу! — воскликнула она со слезами. — Это мое дѣло, мое! Слышите?

Она даже топнула ногою, точно угрожая ему. Борисъ пожалъ плечами.

— Богъ васъ знаетъ, что вы говорите, за что сердитесь, о чемъ плачете! Ну, если вы полюбили, если васъ любятъ — и слава Богу! Это такое счастіе, что тутъ не сердиться хочется, а весь міръ обнять хотѣлось бы. А вы... пора бы вамъ понять, что со мною вамъ дѣлить нечего, врага во мнѣ странно видѣть... Изъ-за чего намъ быть врагами?.. Впрочемъ, Богъ съ вами! Сегодня я вамъ доказалъ, что я вамъ зла не желаю, а напротивъ того...

Онъ повернулся къ ней спиною и вышелъ изъ комнаты.

Она что-то хотѣла сказать и осталась стоять съ открытымъ ртомъ, точно пораженная громомъ. Зла ей не желаетъ! Упрекаетъ ее за враждебность къ нему! Сказалъ, что кто любимъ и любитъ, тотъ весь міръ готовъ обнять! А она всѣхъ, всѣхъ теперь ненавидитъ! Что же онъ этимъ хотѣлъ сказать? Что она не любима, или что она не любитъ! Лжетъ, лжетъ онъ! Она любима, она любитъ и все-таки всѣхъ ихъ ненавидитъ и его прежде всѣхъ, больше всѣхъ! Вздумалъ прикидываться сочувствующимъ, мягкимъ! Когда? Когда она уже дала слово другому. Это онъ въ насмѣшку, думаетъ, что она плакать будетъ о томъ, что упустила его изъ рукъ. Ничаго, наемнаго гувернера, дядьку!..

Она, рыдая, кусая себѣ губы, сжимала кулаки...

VII.

Весь слѣдующій день Клара была какъ въ воду опущенная. Она всячески избѣгала встрѣчъ съ Борисомъ Михайловичемъ, точно боясь, что онъ съ нею заговоритъ. Ее мучило, что она не велѣла князю придти въ этотъ день. Не нужно было бы томиться. Все кончилось бы разомъ. Она была бы теперь уже свободна въ своихъ поступкахъ, никто ее ни о чемъ не разспрашивалъ бы, ни въ чемъ не подозрѣвалъ бы. Ей казалось, что дню не будетъ конца. Но, наконецъ, и онъ прошелъ, прошла и ночь, настало желанное утро. Клара нетерпѣливо прислушивалась къ каждому звуку колесъ, выглядывала въ окна, не могла посидѣть на мѣстѣ. Скорѣй бы все кончилось, думала она, и точно сама пугалась приближенія развязки. Она ясно теперь сознавала, что она не любитъ князя, и злилась за это

на себя, твердила себѣ, что она будетъ его любить, будетъ его любить наперекоръ всѣмъ и, главное, Тепловy...

У подъѣзда дачи остановились дрожки. Она замерла, чувствуя, какъ стѣснило ей грудь. Она ясно услышала знакомый гортанный голосъ. Князь спрашивалъ, дома ли господинъ Домгофъ. Ему отвѣтили, что барина нѣтъ. Князь велѣлъ доложить о немъ госпожѣ Домгофъ. Его попросили въ залу.

Клара какъ стояла въ гостиной, такъ и осталась стоять. Ее отдѣляла отъ залы одна стѣна съ открытой дверью. Молодая дѣвушка притаилась среди цвѣтовъ, затаивъ дыханіе. Она даже не замѣчала, что съ галлереи ее видятъ. На галлереѣ сидѣли Оскаръ и Густавъ за уроками и противъ нихъ сидѣлъ Борисъ. Онъ видѣлъ Клару и удивился, замѣтивъ, что она спряталась въ зелени около двери въ залу. Потомъ онъ понялъ, что она осталась подслушивать разговоръ, происходящій въ залѣ, сообразилъ, что пріѣхалъ, вѣроятно, князь. Его занимала эта сцена.

Въ залѣ шелъ между тѣмъ разговоръ. Князь выразилъ сожалѣніе, что онъ не засталъ хозяина дома. У него важное дѣло. Но, все равно, онъ передастъ его госпожѣ Домгофъ.

— Я полюбылъ вашу племянницу и хочу просить ея руки,—сказалъ князь.

— Вы просите ея руки?—изумилась госпожа Домгофъ.— Это большая честь, князь, но, къ сожалѣнію, вы такъ мало знаете ее, она такъ мало знаетъ васъ.

— О, мы ужъ знаемъ другъ дружку,—проговорилъ князь съ увѣренностью, подмигивая глазомъ.

— Не думаю, князь... Во всякомъ случаѣ, это такое серьезное дѣло, что сразу нельзя отвѣтить ни да, ни нѣтъ.

— Что-жъ, если мы любымъ, я вамъ говорю... Можэте спросыть у барышни. Я врать не стану. Зачѣмъ мнѣ врать? У меня есть доказательства. Я такъ бы не пошелъ.

Госпожа Домгофъ встревожилась. Какія доказательства? Что хочетъ сказать этимъ князь?

— Пысьма есть!—брякнулъ князь.

— Вы переписывались?—воскликнула въ ужасѣ госпожа Домгофъ.

Клара схватилась за грудь, точно ее что-то кольнуло. Тепловъ тревожно слѣдилъ за нею, разсѣянно диктуя что-то дѣтямъ. Въ саду проходила съ дѣвочками mademoiselle Дюмонъ. Тепловъ обрадовался случаю и сказалъ мальчуганамъ:

— Довольно заниматься! У меня что-то голова разболѣлась. Ступайте играть съ сестрами. Я усталъ.

Онъ взялъ мальчугановъ за плечи и выпроводилъ ихъ въ садъ, не давъ имъ даже собрать тетради. Какое-то смутное чутье подсказывало, что рядомъ совершается что-то неладное, грозящее плохой развязкой. Оставшись одинъ, онъ продолжалъ наблюдать за Кларой.

Въ залѣ, между тѣмъ, продолжался разговоръ:

— Мнѣ очень грустно, князь, что вы рѣшились переписываться съ дѣвушкой помимо ея родныхъ.

— Если мы любимъ,—началъ князь.

— Это не оправданіе. Въ нашемъ кругу такъ не дѣлаютъ. Но что сдѣлано, того не вернуть. Вы просите ея руки. Но ни я, ни мой мужъ, мы не знаемъ васъ, вашихъ средствъ. Клара привыкла въ послѣдніе годы жить хорошо, безъ лишеній. Въ состояніи ли вы обезпечить ее?

— У нея же есть приданое,—сказалъ князь.

— У нея ничего нѣтъ.

Князь посмотрѣлъ на хозяйку дома недоумѣвающимъ взглядомъ.

— Какъ ничего нѣтъ? Вашъ мужъ ея опекунъ. Она мнѣ сама говорила.

— Я надѣюсь, что она не говорила вамъ, что у нея есть въ опекѣ состояніе?

— Какъ такъ?—спросилъ озадаченный князь.—Вы же богатые люди.

— Мы—да, но у нея нѣтъ ничего...

Князь безцеремонно заходилъ по залу, озадаченный, взволнованный.

— Это странно, богатые люди, а за племянницей ничего нѣтъ,—говорилъ онъ недовольнымъ тономъ, покусывая усы.

— Мы дадимъ ей приданое, все необходимое, но денегъ...

Госпожа Домгофъ перемѣнила тонъ и уже съ нескрываемой иронiей спросила:

— Вамъ, князь, вѣроятно, всего нужнѣе деньги и много денегъ.

— Не могу же я камень на шею надѣть, — рѣзко отозвался онъ.—Странное дѣло! говорятъ, опекунъ, говорятъ, богатый дядя, а у нея нычего нѣтъ! Странное дѣло! Это надо было говорыть прежде. Я камень самъ себѣ не могу на шею надѣть! Это просто одынъ обманъ!

Клара закрыла лицо руками, униженная, пристыженная, страдающая. Госпожа Домгофъ сухо продолжала разъяснять

князю, что его никто не обманывалъ, что онъ самъ обманулъ себя.

— А чего вы мнѣ говорите!—раздражительно произнесъ онъ.—Она письма писала, она говорила: опекунъ! опекунъ! Надъ чѣмъ опекунъ? Нычего и безъ опаки на пропадетъ!

Онъ разсмѣялся нахальнымъ смѣхомъ надъ своей остротой.

Клара, шатаясь, хотѣла подняться, поднялась, сдѣлала нѣсколько невѣрныхъ шаговъ, задыхаясь отъ рыданій, и почувствовала, что у нея подкашиваются ноги. Кто-то быстро подхватилъ ее, держа за талію и тихо, ласково говоря ей:

— Не плачьте, не плачьте, Клара, васъ могутъ услышать! Зачѣмъ доставлять еще это удовольствіе негодяю!

Она инстинктивно прижалась къ поддерживавшему ее Теплову и, опираясь на его руку, тихо всхлипывая, выбралась изъ гостиной.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Происшедшее событіе произвело въ семьѣ Домгофовъ невообразимый переполохъ. Въ сущности ничтожное само по себѣ, оно повело къ цѣлому ряду сценъ, объясненій, открытій. Казалось, оно потрясло всѣ основы этой семейной жизни, сложившейся на незыблемомъ фундаментѣ. Прежде всего госпожу Домгофъ и Tante Мальхенъ поразило, какъ могла дѣвушка изъ ихъ семьи переписываться съ чужимъ мужчиной. Сама госпожа Домгофъ выросла въ такой бюргерской средѣ, гдѣ дѣвушкѣ и въ голову не могло придти переписываться съ посторонними молодыми людьми; Tante Мальхенъ росла тоже въ такой средѣ и кромѣ того не имѣла даже времени задумываться о подобныхъ глупостяхъ, занятая постоянно хлопотами и заботами о другихъ. Обѣ эти женщины на всѣ лады повторяли Кларѣ:

— Какъ ты рѣшилась? Какъ тебѣ это въ голову пришло? Понимаешь ли ты, что ты надѣлала?

Клара плакала, убѣдившись вполнѣ, что она совершила нѣчто ужасное, чудовищное.

Потомъ госпожа Домгофъ и Tante Мальхенъ, совѣщаясь въ сотый разъ объ этомъ событіи, вдругъ остановились на вопросѣ: «но какъ же она переписывалась?» Если переписывалась, то, значитъ, кто-нибудь передавалъ письма? Кто-нибудь въ домѣ способенъ къ обману? Кто этотъ преступ-

никъ? На сцену явилась горничная. Она передавала тайкомъ письма барышнѣ, а на нее, на эту горничную, такъ полагались! Пошли объясненія, опять плачъ, опять совѣщанія: выгнать служанку или простить? Но кто поручится, что она опять не обманетъ? А если выгнать, не станетъ ли она разсказывать вездѣ, что ее выгнали за то, что барышня переписывалась съ мужчиной?

Едва рѣшили этотъ вопросъ, простивъ дѣвушку, какъ возникъ новый вопросъ: «Что станетъ дѣлать съ письмами князь?» Онъ будетъ хвастать ими, отъ него можно всего ждать, это такой негодяй. И опять волненія, тревога, обсужденія.

И вдругъ — самое чудовищное явленіе: — mademoiselle Дюмонъ, не любившая долго останавливаться на толкахъ о выѣденномъ яйцѣ,—замѣтила госпожѣ Домгофъ:

— Ну, стоитъ ли столько волноваться изъ-за пустяковъ!

Госпожа Домгофъ широко открыла глаза:

— Какъ изъ-за пустяковъ? Пустяки, что дѣвушка сгубила свою репутацію? Пустяки, если всѣ узнаютъ о ея поведеніи? Что съ вами!

— Да вѣдь ужъ дѣла не поправить, лучше забыть его скорѣе!

— Забыть! А другіе забудутъ? А письма исчезнутъ? Что вы говорите!

И вечеромъ госпожа Домгофъ почти съ враждебностью говорила Tante Мальхенъ про mademoiselle Дюмонъ:

— Въ ней все еще сидитъ француженка!

Этимъ было все сказано. До этой минуты никто въ семьѣ не думалъ о томъ, что въ mademoiselle Дюмонъ еще сидитъ француженка, что ее не могло онѣмечить долговременное пребываніе въ домѣ Домгофовъ. И госпожа Домгофъ, и Tante Мальхенъ во всей этой исторіи напоминали насѣдокъ, высидѣвшихъ утиное яйцо...

Отъ вниманія Бориса не ускользнули всѣ мелочи этого переполоха, и онъ вдругъ увидалъ комическую сторону въ складѣ жизни Домгофовъ. Его смѣшили эти волненія, вздохи, меланхолическіе взгляды, бросаемые на Клару. Что бы было, если бы случилось нѣчто болѣе серьезное? Эти женщины совсѣмъ потеряли бы голову. Ему было жаль Клару, и нѣсколько разъ онъ порывался какъ-нибудь успокоить ее, сказать ей, что напрасно она портитъ себѣ глаза слезами изъ-за такихъ пустяковъ. Но онъ боялся заговорить объ этомъ предметѣ съ молодой дѣвушкой. Осторожность и осно-

трительность все болѣе и болѣе начинали преобладать въ его характерѣ. Менѣе его сдержанная и болѣе, чѣмъ онъ, рѣзкая mademoiselle Дюмонъ высказала то, чего онъ не рѣшался сказать. Какъ-то во время прогулки mademoiselle Дюмонъ обратилась къ Кларѣ и замѣтила:

— Что это вы все точно покойника оплакиваете!

И, пожавъ плечами, прибавила:

— Вы бы попросили сдѣлать вамъ трауръ!

Клара покраснѣла, конфузясь и не зная, что сказать. Борисъ замѣтилъ:

— Фрейлейнъ Клару сбили съ толку, сдѣлавъ изъ мухи слона.

— Въ такихъ случаяхъ надо самостоятельно думать, тогда и можно понять, что муха слономъ не можетъ быть,— сказала mademoiselle Дюмонъ.

И съ презрительной усмѣшкой закончила:

— А если вы будете продолжать дѣлать такое похоронное лицо, то окружающіе придутъ къ убѣжденію, что вы все еще безъ ума отъ этого неумытаго дикаря.

Клара быстро воскликнула:

— О, онъ мнѣ противенъ, противенъ! Никогда я его не любила!..

И вдругъ ей стало легко, весело. Она внезапно увидала, что у нея есть союзники, не придающіе значенія ея проступку, смѣющіеся надъ переполохомъ ея родныхъ. Она улыбалась и, еще краснѣя и конфузясь, но не безъ лукавства проговорила:

— Мнѣ даже странно теперь вспомнить, что онъ предлагалъ мнѣ: «будемъ сичасъ ходыть къ теткѣ»...

Всѣ засмѣялись. Борисъ искренно залюбовался личикомъ молодой дѣвушки, озареннымъ застѣнчивою и въ то же время плутоватою улыбкой.

II.

Въ домѣ Домгофовъ неожиданно появились заговорщики— mademoiselle Дюмонъ, Борисъ, Клара — и имъ стало ясно, что многое въ порядкахъ, обычаяхъ, нравахъ семьи было имъ не по душѣ. Mademoiselle Дюмонъ была слишкомъ живой француженкой, Борисъ былъ по натурѣ русскій съ широкими замашками, Клара была жаждущей богатства, роскоши и наслажденій еврейкой, и муравьиная жизнь съ извѣстными часами приливовъ и отливовъ имѣла для нихъ много чуждаго, много вызывавшаго критическія замѣчанія.

Ни въ смыслѣ, ни въ тонѣ ихъ замѣчаній не было ни рѣзкости, ни раздраженія, ни злобы; напротивъ того, припоминались смѣшныя, комическія мелочи. Только въ рѣчахъ Клары слышалось раздраженіе, и оно имѣло главнымъ источникомъ то обстоятельство, что она являлась «пострадавшимъ лицомъ». Кромѣ этихъ трехъ заговорщиковъ, было еще четвертое лицо, знавшее все, что говорили они, надъ чѣмъ они смѣялись. Это лицо была Ольга Дмитріевна...

Она давно уже жила на отдѣльной квартиркѣ, какъ бы нарочно приготовленной для одинокаго мужчины или «холостой дѣвицы». Отдѣльный ходъ съ улицы, дававшій возможность не посвящать постороннихъ, дворниковъ и швейцаровъ, въ то, кто ходитъ сюда; двѣ комнаты и кухня составляли всю квартиру. Она была убрана безъ большой роскоши, но со вкусомъ, со спальней, обитой розовымъ кретономъ, съ розовымъ фонаремъ посрединѣ, съ трюмо противъ кровати, покрытой розовымъ шелковымъ одѣяломъ. Это была обстановка дѣвушки, принимающей гостей съ улицы чаще всего именно въ этой комнатѣ. Борисъ Михайловичъ уже примирился съ положеніемъ Ольги Дмитріевны еще ранѣе, чѣмъ она переѣхала на эту квартиру. Онъ даже не спросилъ ее, кто ей нанялъ эту квартиру: тотъ? или кто-нибудь другой? Онъ зналъ только, что и онъ можетъ бывать въ этой квартирѣ и вносить свою лепту на эту жизнь. Онъ даже былъ радъ, что ему не нужно ѣздить съ Діодатовой по ресторанамъ и номерамъ, что онъ можетъ располагаться у нея не безъ комфорта на цѣлые вечера и любоваться ею, щеголявшею передъ нимъ батистомъ и кружевами, казавшимися розоватыми при свѣтѣ фонаря, спускавшагося съ потолка. Ему не приходило теперь и въ голову порвать съ нею: онъ не былъ влюбленъ въ нее, не пылалъ къ ней страстью, но онъ чувствовалъ свои отношенія къ ней удобными, «правильными», и не безъ сластолюбія любовался свѣжестью этой дѣвушки, красотой ея формъ, извѣстною манерою того кокетства, которое теперь практиковалось ею и которое граничило теперь съ полною беззастѣнчивостью. Когда-то это была дѣвушка развращенная теоретически умственно; теперь это была вакханка, не способная остановиться ни передъ чѣмъ, что могъ бы потребовать мужчина. Сколькихъ она успѣла уже пересмотрѣть изъ нихъ! Ни одинъ не церемонился съ нею, ни съ однимъ не церемонилась она! Про нее и про ея обращеніе не даромъ говорили ея мимолетные знакомые, цѣлуя кончики своихъ пальцевъ. Она же

вспоминала объ этихъ людяхъ и объ ихъ обращеніи съ нею иногда съ отвращеніемъ, съ омерзѣніемъ. Только при воспоминаніи о Борисѣ она думала: «скорѣй бы онъ пришелъ опять». Во время своихъ визитовъ къ ней, онъ болталъ съ нею обо всемъ—о ея семьѣ, о жизни у Швецовой, о своей жизни, о своихъ родныхъ, о Домгофахъ. Можетъ-быть, это, главнымъ образомъ, заставляло Діодатову любить Теплова, помимо даже того, что онъ былъ ея первою любовью, помимо того, что до сихъ поръ она находила его самымъ красивымъ изъ всѣхъ мужчинъ, посѣщавшихъ ее. При немъ она не чувствовала себя продажной женщиной; при немъ у нея на время являлся призракъ семейной жизни. Она усаживалась съ Борисомъ въ гостиной, хлопотала о чаѣ, болтала о себѣ, о немъ, потомъ, когда убирали чай, она подходила къ нему, брала его за голову.

— Дорогой мой, какъ я тебя люблю! — нѣжно говорила она, заглядывая въ его глаза.

Онъ бралъ ее за талію, сажалъ къ себѣ на колѣни.

— Ты мой мужъ! Ахъ, если бы ты могъ всегда, всегда быть со мною!..

Она прислонялась щекой къ его груди. Эти минуты были ея высшимъ счастіемъ, эти ласки были ея лучшимъ наслажденіемъ, такъ какъ все другое уже въ сущности было какимъ-то хроническимъ запоемъ, оргіей, утомляло и доводило до головной боли. При посѣщеніяхъ Бориса она даже прикидывалась сама передъ собой какой-то наивной и невинной дѣвочкой, старалась продлить эти минуты игры въ мужа и жену и томно шептала:

— Погоди, дай посидѣть такъ близко, близко около тебя! Ты вѣдь меня любишь? Да? Ты мой мужъ?

Ожидая его, она даже одѣвалась иначе, даже причесывалась иначе.

— Правда, я похожа на Маргариту?—говорила она ему, стоя передъ нимъ.

— Да,—соглашался онъ.

Она не походила на Маргариту, но ея костюмъ, ея прическа были копіями съ костюма и прически оперной Маргариты: то же свѣтлое, гладкое платье, тѣ же косы, спускавшіяся ниже таліи.

Игра въ Маргариту продолжалась, конечно, не долго, и на смѣну этой поэтической дѣвушки являлась необузданная любовница, готовая пустить въ ходъ все, чтобы опьянить,

свести съ ума, довести до животнаго состоянія своего любовника.

Въ такіе вечера, говоря о Домгофахъ, Борисъ разсказалъ о сватовствѣ Шабадзіева, о переполохѣ въ семьѣ Домгофовъ, о комичныхъ сценахъ, вызванныхъ этимъ переполохомъ. Ольга Дмитріевна очень много забавлялась всѣмъ этимъ, разспрашивая, далеко ли зашло знакомство Клары и Шабадзіева, что намѣрены дѣлать далѣе Домгофы, не выгонятъ ли они Клару.

Когда Борисъ разсказывалъ, что Клара, кажется, увлеклась княземъ Шабадзіевымъ, Ольга Дмитріевна замѣтила:

— Еще бы, какой дѣвушкѣ не лестно княгиней сдѣлаться, сіятельной!

— Да онъ дуракъ!

— Такъ что-жъ! Не учителя она ищетъ, а мужемъ и дуракъ сумѣетъ быть. Съ умнымъ-то мужемъ еще натерпѣлась бы горя, дурака и за носъ водить можно...

Когда Борисъ разсказалъ объ исторіи сватовства и сценахъ, сдѣланныхъ Кларѣ за письма, Діодатова сказала съ негодованіемъ:

— Вотъ-то тиранки! Экая бѣда, что письма писала! Убыло ея, что ли, отъ этого? Тоже своего счастья искала. Сиротой-то не сладко жить! А будутъ тиранить,—дождутся, что первому встрѣчному на шею бросится. Не мало нашей сестры отъ самаго этого тиранства гибнетъ!

Но когда Борисъ говорилъ, что Клара только и отводитъ теперь душу съ mademoiselle Дюмонъ да съ нимъ, Ольга Дмитріевна задумалась и тихо прошептала:

— Очень она тебя полюбила?

Онъ засмѣялся. Съ чего она взяла? Просто нужно же ей съ кѣмъ-нибудь поговорить, найти въ комъ-нибудь сочувствіе. Слушать вѣчно одни нравоученія не сладко; ну, и обрадовалась сочувствующимъ людямъ. Вотъ и все.

— А ты? Ты тоже уже любишь ее?—спросила тѣмъ же тономъ Діодатова, точно не слыша его объясненій.

— Что съ тобой! Я и не думалъ!—воскликнулъ онъ.

Онъ не лгалъ. Онъ вовсе не любилъ Клару. Онъ только жалѣлъ ее, принималъ въ ней участіе.

— Да, да, можетъ-быть, — проговорила она.—А потомъ сблизишься и... полюбишь...

И, горячо обнимая его, она стала упрашивать:

— Не бросай меня, милый, дорогой! Что я безъ тебя! Совсѣмъ одна буду! Душу бы я тебѣ отдала!..

Въ этотъ вечеръ она, казалось, была готова сдѣлать все, чтобы только онъ не бросалъ ее, чтобы онъ чувствовалъ всю ея страстную любовь къ нему. Ей казалось, что она ужъ теряетъ его, вотъ-вотъ уйдетъ онъ и не вернется.

Утромъ горничная застала Ольгу Дмитріевну стоящею во весь ростъ передъ трюмо и внимательно всматривающеюся въ свое отраженіе.

— А вы уже и проснулись? — не безъ удивленія сказала горничная.

Діодатова, не отвѣчая на ея слова и продолжая смотрѣть на свое отраженіе въ зеркало, спросила:

— Хороша я, Дуня?

— Чего лучше! Не даромъ всѣ мужчины по васъ сохнутъ!—отвѣтила разбитная служанка.

Діодатова помолчала и вдругъ быстро отвернулась отъ трюмо.

— Подлая наша жизнь, — сказала она рѣзко. — Сохнутъ по насъ, а подвернись любому партія—насъ въ трубу выпустятъ, а какой-нибудь одеръ, кошка ободранная, законной женой навсегда станетъ...

III.

Ольга Дмитріевна чутьемъ влюбленной женщины угадала то, что должно было случиться съ Кларой.

Дѣвушка, долго старавшаяся побѣдить въ себѣ пробужденное въ ней Тепловымъ чувство, отдалась теперь вполнѣ этому чувству при первомъ словѣ участія со стороны молодого человѣка. Еще недавно она старалась въ душѣ называть его учителишкой, много воображающимъ о себѣ умникомъ, кокетничающимъ вербнымъ херувимомъ. Теперь она ловила каждое его слово, забывала все и всѣхъ, любуясь имъ. Онъ, принявъ въ ней участіе, точно позволилъ ей любить его, и она широко воспользовалась даннымъ ей правомъ, отдалась любви со всею страстностью своей натуры. Она испытывала какое-то блаженство, видя его подлѣ себя, мягкаго, привѣтливаго, простого въ обращеніи до того, какъ будто онъ былъ ея братомъ.

Тепловъ вовсе не подозрѣвалъ, что дѣлается въ ея душѣ, и радовался только тому, что въ домѣ Домгофъ исчезъ послѣдній враждебный ему элементъ. Вѣчныя пикировки съ Кларой заставляли его до этой поры быть настороже, слѣдить за собою, опасаться какихъ-нибудь сценъ. Теперь онъ былъ въ домѣ вполнѣ какъ свой, любимый всѣми, и чув-

ствовалъ себя привольно, какъ рыба въ водѣ. Мало того, во время прогулокъ, во время бесѣдъ съ Кларой гдѣ-нибудь въ саду, во время отдыха дѣтей отъ уроковъ, во время ихъ игры въ серсо или въ воланы, онъ испытывалъ хорошія ощущенія, неизвѣстныя ему до этой поры. Онъ спрашивалъ молодую дѣвушку:

— За что вы такъ долго преслѣдовали меня?

Она краснѣла и потупляла глаза:

— Мнѣ было обидно, что вы смотрите на меня не такъ, какъ на другихъ...

— Только ради этого?

Она конфузилась еще болѣе.

— Нѣтъ... Не сердитесь на меня. Я не хорошій человѣкъ. Я слишкомъ много придавала значенія богатству, положенію въ свѣтѣ людей... Когда вы появились у насъ въ домѣ и стали держать себя независимо, это укололо меня...

— Учителишка и смѣетъ поднимать голову?

— Полноте!

Онъ мягко говорилъ ей:

— А я сразу понялъ ваше ложное положеніе и не разъ жалѣлъ васъ... Слава Богу еще, что тяжелый урокъ открылъ вамъ глаза, выяснилъ вамъ, что вашъ путь далеко не весь усѣянъ цвѣтами...

— Цвѣтами!—воскликнула она.—Нѣтъ, тутъ не цвѣты, а шипы!.. Знаете ли, что мнѣ рѣшилась сказать тетка? «Пожалуйста, не вздумай посвящать нашу Александрину въ свои тайны! Она не должна знать ничего, что было». Это гадко, низко!

— Она мать, она боится за дочь,—мягко замѣтилъ Тепловъ. — Фрейлейнъ Александрина въ такомъ возрастѣ, когда ее насильно водятъ въ короткихъ платьяхъ, а она уже мечтаетъ о шлейфѣ; она могла кое-что подмѣтить, пристать къ вамъ съ разспросами; вотъ почему васъ и предупредили. Конечно, было бы тактичнѣе не дѣлать этого. Вы сами, я думаю, рады не вспоминать объ этой глупой исторіи.

— О, я бы рада была вычеркнуть ее не только изъ своей жизни, но изъ памяти всѣхъ!

— Не придавайте ей такого значенія... Кто же не ошибался въ ваши годы?..

И подъ охватившимъ его на минуту воспоминаніемъ о Діодатовой, онъ грустно закончилъ:

— И счастливы тѣ, чьи ошибки такъ дѣтски безгрѣшны, какъ ваша...

Иногда они говорили о будущемъ. Она разспрашивала, что онъ предпримет по окончаніи университета.

— Пойду куда-нибудь служить. Не знаю еще, куда, — отвѣчалъ онъ.

— Отчего вы не хотите идти къ дядѣ въ банкъ?

— Мнѣ хотѣлось бы быть присяжнымъ повѣреннымъ.

— Да вѣдь это не помѣшаетъ службѣ въ банкѣ?

И, задумавшись, она тихо говорила:

— И не увидимъ, какъ пролетитъ это время! Уѣдете тогда, можетъ-быть!..

— Что-жъ, будете вспоминать?—шутливо спрашивалъ онъ.

— Зачѣмъ вы это спрашиваете?—съ упрекомъ говорила она и прибавляла:—ахъ, какъ это скучно, что мы опять поѣдемъ за границу въ концѣ лѣта!

— Нынче не надолго ѣдете...

— Не надолго! На цѣлыхъ три недѣли! Я умру съ тоски...

Когда вечера стали длиннѣе и темнѣе, когда нерѣдко шли дожди, въ домѣ Домгофовъ начались обычныя чтенія по вечерамъ. Эти чтенія вдругъ пріобрѣли обаятельное значеніе для Клары. Ей казалось, что она слушаетъ чудную музыку—эта музыка былъ сильный, мужественный и въ то же время мягкій и ласкающій баритонъ Теплова, не попорченный ни разгуломъ, ни пьянствомъ, ни безсонными ночами, онъ вѣдь жилъ такою правильною жизнью. При описаніи несчастій и злоключеній какихъ-нибудь молодыхъ героевъ того или другого романа, Клара задумывалась о томъ, что было бы, если бы всѣ эти несчастія обрушились на Бориса—въ ея воображеніи представлялся этотъ прелестный, дорогой образъ среди нищеты, голода и холода, среди козней враговъ и гонителей.

— Клара, ты плачешь? — съ удивленіемъ спрашивала госпожа Домгофъ.

Молодая дѣвушка приходила въ себя и тихо отирала крупныя слезы.

Вечеромъ, передъ отходомъ ко сну, оставшись однѣ, Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ говорили:

— Въ ней проснулось сердце!

IV.

Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ, съ опытностью немолодыхъ женщинъ, сразу угадали, что пробудило сердце Клары. Не Раскольниковы, не Копперфильды, не Пенденисы,

не Карлы Мооры, не Вертеры. Клара знала давно этихъ героевъ съ ихъ страданіями и сомнѣніями, и сердце ея оставалось спокойно, — теперь оно вдругъ забилось, стало отзывчивымъ, сдѣлалось чуткимъ, потому что оно полюбило первою любовью. Кого? Развѣ можно было сомнѣваться? Объ тетки Клары видѣли, какъ глаза ея останавливались съ обожаніемъ на Тепловѣ, какъ ея лицо озарялось восхищеніемъ при звукахъ его голоса, какъ она ловила минуты, чтобы побыть въ его присутствіи.

— Гора у меня съ плечъ свалилась!—говорила госпожа Домгофъ Tante Мальхенъ.—Я ужъ думала, что мы ее никогда не пристроимъ: графы и милліонеры съ неба не упадутъ, а Тепловъ—я не воображала, что она способна распознать достоинства въ какомъ-нибудь «учителишкѣ».

— Но онъ, онъ?—волновалась Tante Мальхенъ.—Согласится ли онъ жениться на ней? Онъ хорошо знаетъ ея недостатки, ея требованія, ея привычки...

Госпожа Домгофъ горячо перебила ее:

— Ахъ, Богъ мой, не за голаго же мы выдадимъ ее! Его нужно пристроить, поставить на ноги. Это такъ легко. Если онъ не влюбленъ въ нее—тѣмъ лучше, это будетъ не сумасбродное супружество. Довольно и того, что они оба молоды, а будь они еще оба влюблены безъ памяти другъ въ друга, тогда отъ нихъ всякихъ безпутствъ можно бы было ждать...

И, понизивъ голосъ, госпожа Домгофъ начала высказывать свои мнѣнія насчетъ Бориса. Онъ нравственный человѣкъ, какъ красная дѣвушка. Такого мужа и нужно Кларѣ, такъ какъ она слишкомъ страстное существо. Онъ будетъ ее сдерживать, обуздывать. Ей нуженъ мужъ немного педантъ. Борисъ, несмотря на свои годы, именно такой. Надо только скорѣе все устроить, а то она сама бросится ему на шею. Отъ нея можно этого ждать. И притомъ вообще непріятно долго видѣть въ домѣ жениха и невѣсту. Всѣ они такими глупыми дѣлаются во время всѣхъ этихъ вздоховъ и изнываній отъ любви.

— Она ужъ и теперь смотритъ на него глупыми глазами съ раскрытымъ ртомъ; а что же послѣ будетъ, когда онъ станетъ отвѣчать ей на любовь...

— Но вѣдь ему нужно еще кончить университетъ,— замѣтила Tante Мальхенъ.

— Глупости! Не университетъ кончать ему нужно, а мѣсто хорошее получить. Съ образованіемъ и безъ хлѣба

можно насидѣться. Пока мы будемъ за границей, Антонъ поговоритъ съ нимъ о мѣстѣ, ощупаетъ почву.

— Ты, значитъ, сообщишь свои планы мужу?

— Еще бы! Я бы готова была сейчасъ ихъ повѣнчать. Тогда хоть буду спокойна.

Домгофъ былъ на другой же день посвященъ въ тайные планы жены. Онъ одобрилъ ихъ, хотя и замѣтилъ, что торопиться особенно нечего, что опасаться за какія-нибудь продѣлки Клары нечего, что Борисъ Михайловичъ не допуститъ никакихъ скандаловъ.

— Впрочемъ, покуда вы будете за границей, я при случаѣ намекну молодому человѣку на женитьбу,—закончилъ Домгофъ.

Самъ Домгофъ не ѣхалъ за границу, отправляя туда только свою семью на три, на четыре недѣли.

Когда семья уѣхала, Домгофъ и Борисъ остались одни въ домѣ. Они встрѣчались другъ съ другомъ за обѣдомъ, остальное время проводили порознь, пользуясь извѣстной свободой. Борисъ почти ежедневно посѣщалъ Ольгу Дмитріевну, не имѣя силъ противостоять ея просьбамъ бывать у нея почаще. Съ ней творилось что-то странное. Она точно предчувствовала близость разрыва и ловила жадно послѣднія минуты своего жалкаго счастія. Какое-то болѣзненное, лихорадочное настроеніе, охватившее ее, сказывалось такими эксцентричными и необычайными выходками и порывами, что даже Тепловъ, давно переставшій чутко присматриваться къ ней, иногда смущался и говорилъ ей: «полно», когда она обвивала руками его ноги или цѣловала его руки. Бывали минуты, когда она безъ видимой причины начинала рыдать или неожиданно произносила: «запить бы теперь и такъ и умереть».

— Что съ тобой, Оля?—спрашивалъ онъ.

— Эхъ, пропала моя голова!—говорила она, махая рукой.

Она не давала объясненій, онъ не настаивалъ на разспросахъ. А разспросить было бы о чемъ.

V.

Не говоря ни о чемъ другомъ, довольно было одного того, что онъ бывалъ у нея теперь почти ежедневно, чтобы ея положеніе сдѣлалось критическимъ: каждый день, когда Борисъ не бывалъ у нея, былъ для нея днемъ заработка; каждый день, когда Борисъ проживалъ у нея, былъ для нея днемъ расходовъ. Довольно было недѣли безъ заработка,

чтобы явилась необходимость нести въ закладъ грошевые кольца, браслеты, серьги, всю эту поддѣльную, хотя и блестящую дрянь, накупавшуюся безъ смысла и цѣли, полученную въ подарокъ отъ первыхъ встрѣчныхъ, думавшихъ не о цѣнности подарка, а о томъ, чтобы онъ бросался въ глаза при первомъ взглядѣ на него. Но эти закладыванія вещей ради отсутствія въ послѣдніе дни заработка, были не началомъ бѣдствія, а скорѣе концомъ его—перебиванье съ гроша на грошъ, запутываніе себя въ сѣтяхъ гласныхъ кассъ ссудъ началось гораздо раньше. Вечера и ночи въ маленькой квартирѣ часто оглашались пѣніемъ, смѣхомъ, щелканьемъ пробокъ изъ шампанскихъ бутылокъ, оргіями разгула и разврата; но утра и дни нерѣдко проходили здѣсь въ брани, ссорахъ, упрекахъ, слезахъ. Отецъ, мачиха, вся семья Діодатовой насѣли на нее: одни просили въ долгъ денегъ, другіе требовали прямо помощи. Отецъ не скупился на угрозы. Еще бы! онъ благородный человѣкъ. Дочь позоритъ его. Онъ будетъ жаловаться полиціи, потребуетъ, чтобы ее водворили у него. Онъ не попуститъ разврата. Приходилось откупаться отъ благороднаго человѣка. Наличныя деньги не всегда были въ запасѣ. Когда онѣ являлись, Ольга Дмитріевна тратила ихъ, накупая бездѣлушки, браслеты, брошки, серьги. Все это было не нужно, но тѣмъ не менѣе пріобрѣталось мимоходомъ, отъ бездѣлья, отъ скуки. Приходилъ отецъ и нужно было отдавать ему эти вещи: купленныя вчера за десять, за пятнадцать рублей, эти вещи закладывались сегодня за три, за четыре рубля. Уравновѣшенія доходовъ и расходовъ не было никогда, все было случайно—и добываніе денегъ, и ихъ затрата. Бывали дни, когда Ольга Дмитріевна уже не могла выѣхать на загородное гулянье, въ театръ, въ кафе-шантанъ, не имѣя денегъ, чтобы заплатить за входъ, и она отправлялась бродить по улицамъ. Это дѣло было для нея ново, жутко, но хлѣбъ былъ нуженъ. Напѣвая слегка что-то при встрѣчахъ съ мужчинами, слегка толкая локтемъ встрѣчныхъ, она пробовала обратить на себя вниманіе. Если ничто не помогало, приходилось прямо шептать прохожимъ:

— Мужчина, пойдемте...

И въ душѣ поднималось одно желаніе забыться, напиться, заснуть...

Борисъ даже не подозрѣвалъ всей этой закулисной стороны жизни Діодатовой. Иногда онъ спрашивалъ ее, не нужно ли ей денегъ, иногда просто давалъ ей деньги, но

она смущалась, говорила, что любить его не за деньги, что она сама бы все отдала ему, и часто въ эти минуты въ ней все точно переворачивалось, когда ея руки, какъ бы помимо ея воли, жадно протягивались за деньгами этого человѣка, котораго она любила не за нихъ. Но чаще всего Борисъ не предлагалъ ей денегъ, а везъ ее на свой счетъ куда-нибудь, швырялъ десятокъ рублей, когда ей уже не вѣрили въ лавкѣ, не давали въ долгъ фунта хлѣба. Не подозрѣвая ничего, онъ удивлялся, когда она говорила:

— Покончить бы съ собою!

— Съ чего это тебѣ пришло въ голову?—спрашивалъ онъ.

— Э, собакѣ собачья и смерть!.. Что-жъ жить-то?.. Вотъ похороводишься со мной еще немного, а тамъ женишься и бросишь.

Онъ молчалъ, не зная, что сказать.

— А что, испугался бы, если бы вдругъ взяла да и бросилась вотъ въ воду?—спрашивала она.

— Перестань глупости говорить!

— Нѣтъ, скажи, испугался бы? Или обрадовался бы, что развязался?—настойчиво допрашивала она.

— Я тебѣ говорю, что ты глупости выдумываешь!—отвѣчалъ онъ.

— Обрадовался бы! Знаю! Да не бойся, я насильно не стану навязываться! Плевать! Бросишь, ну, и Богъ съ тобой!

Въ ея тонѣ слышался задоръ, вызовъ.

— Ужъ тебѣ не хочется ли, чтобы я бросилъ тебя?

— А ты и радъ?

Какое-то враждебное чувство другъ къ другу на минуту поднималось въ ихъ сердцахъ, помимо воли. Они шли нѣсколько минутъ молча, точно ожидая, кто первый отойдетъ въ сторону. У обоихъ вертѣлась одна мысль: «да, пора покончить съ этими глупостями». Ей приходило это въ голову, потому что завтра хоть съ голоду умирай, не имѣя денегъ; ему думалось это, потому что его начинала утомлять необузданность этой дѣвушки и становилось непріятно при мысли, что она «слишкомъ ужъ развратилась». Потомъ ей думалось: «нѣтъ, еще хоть денекъ побыть съ нимъ»; онъ размышлялъ: «гдѣ же сыщешь лучшую-то, болѣе честную? эта хоть любитъ». У обоихъ вдругъ пробуждалось желаніе покрѣпче пожать локтемъ руку другъ другу, бросить другъ другу ласковый взглядъ. Потомъ она говорила:

— Пойдемъ, вели дать вина, веселѣе станетъ!

Они шли къ буфету, садились за отдѣльный столъ, пили...

VI.

Въ день закрытія Демидовскаго сада Борисъ отправился вечеромъ съ Ольгой Дмитріевной туда, чтобы скоротать вечеръ.

Хмурое осеннее небо грозило не то дождемъ, не то снѣгомъ и наводило уныніе. Это чувство еще сильнѣе охватило Бориса въ саду, гдѣ двигалась уже многочисленная толпа завсегдатаевъ, дѣвицъ легкаго поведенія, подозрительныхъ личностей всякаго рода. Тощія деревья сада стояли полуголыми; оставшіеся на нихъ листья свернулись отъ холода, желтѣли и засыхали; иногда при дуновеніи вѣтра они падали, шелестя, на сырую землю и шуршали подъ ногами. Уродливыя, грязныя и поломанныя статуи выдѣлялись въ вечернемъ воздухѣ какими-то бѣловатыми непригляднымн пятнами на темномъ фонѣ деревянныхъ построекъ, заборовъ, кіосковъ, буфетовъ. Разноцвѣтные фонарики освѣщали грязные столы, полусонную и полупьяную публику. На дощатыхъ подмосткахъ сцены допѣвались сиплыми, надтреснутыми голосами послѣднія пѣсни пѣвцовъ и пѣвицъ, давно надоѣвшихъ всѣмъ. По всѣмъ направленіямъ сада шмыгали лакеи въ засаленныхъ фракахъ, съ грязными салфетками въ грязныхъ рукахъ. Борисъ почти раскаивался, что онъ пришелъ сюда, въ его головѣ поднимались вопросы, какъ можно вообще ходить сюда, считать за удовольствіе хожденіе въ этомъ грязномъ притонѣ, среди этой неприглядной обстановки. Онъ не сознавалъ, что и эти мысли, и это недовольство были только слѣдствіемъ утомленія послѣ двухъ недѣль почти ежедневныхъ встрѣчъ съ Діодатовой. Она уже не имѣла для него притягательной силы, какъ любовница, и не могла удовлетворить его, какъ подруга. Онъ уже ничего не ждалъ отъ нея; ему уже не о чемъ было говорить съ ней. Она была тоже не весела, вся занятая денежными расчетами, заботами о завтрашнемъ днѣ, тревогами о платѣ за квартиру, о покупкѣ дровъ, о расплатѣ съ горничной. Проходя мимо одного изъ столиковъ, Борисъ услыхалъ громкій смѣхъ и невольно повернулъ голову. За столикомъ сидѣла одна изъ львицъ полусвѣта, окруженная какими-то почтенными по лѣтамъ, по наружности господами. Взглянувъ на эту группу, Борисъ почти моментально отвернулся и заторопилъ Діодатову.

— Пойдемъ прочь.

— Что случилось?—спросила она.

— Домгофъ!

— Гдѣ, гдѣ? Покажи его мнѣ!

— Пойдемъ, пойдемъ! Очень нужно, чтобы онъ видѣлъ, съ кѣмъ я...

Борисъ увлекъ ее въ другую сторону. Оба, чѣмъ-то недовольные, шли нѣсколько времени молча. Потомъ Діодатова спросила:

— Что же мы такъ и будемъ все топтаться. Хоть бы пива выпить!

Тепловъ молча пошелъ къ одному изъ столовъ, усѣлся, приказалъ подать вина. Діодатова высказывала свои соображенія насчетъ Домгофа. Тоже безъ жены-то, вѣрно, погуливаетъ. Какую-нибудь содержанку, должно-быть, имѣетъ. Что-жъ не кутить, когда деньги есть. Тепловъ отвѣчалъ разсѣянно, отрывисто, смотря на проходившихъ людей. Мало-по-малу, онъ почти забылъ о присутствіи Ольги Дмитріевны. Къ ней подходили двѣ-три знакомыя личности, перекидывались парой фразъ, отходили прочь. Наконецъ она быстро встала. Борисъ очнулся.

— Что ты? Домой?

— Нѣтъ!.. Сейчасъ!

Она отошла на два шага и съ кѣмъ-то заговорила. Это былъ маленькій толстый человѣкъ съ головой, ушедшей въ плечи, съ черными, сильно посѣдѣвшими волосами. Узкіе глаза въ красныхъ вѣкахъ, широкій носъ съ краснымъ оттѣнкомъ, ротъ акулы, съ вывороченными губами, доходившій чуть не до ушей, подбородокъ, словно замаранный давно небритой бородой, все отталкивало въ этомъ человѣкѣ, пробуждая какое-то брезгливое ощущеніе. Это былъ не только безобразный старикъ, это былъ вдобавокъ неряшливый человѣкъ. Діодатова говорила съ нимъ быстро, отрывисто. Онъ улыбался скверной улыбкой, выставляя напоказъ черные остатки сгнившихъ зубовъ.

— Кто это?—спросилъ Тепловъ, когда Ольга Дмитріевна вернулась.

— Фрисбергъ...

— Жидъ?

— Да.

Оба замолчали. Этотъ человѣкъ вдругъ точно всталъ между ними и заслонилъ ихъ другъ отъ друга. «И это одинъ изъ моихъ конкурентовъ»,—думалъ съ омерзѣніемъ Тепловъ. «Вотъ бы и поправились дѣла къ завтрашнему дню, если бы онъ могъ пріѣхать ко мнѣ»,—съ горечью

VI.

Въ день закрытія Демидовскаго сада Борисъ отправился вечеромъ съ Ольгой Дмитріевной туда, чтобы скоротать вечеръ.

Хмурое осеннее небо грозило не то дождемъ, не то снѣгомъ и наводило уныніе. Это чувство еще сильнѣе охватило Бориса въ саду, гдѣ двигалась уже многочисленная толпа завсегдатаевъ, дѣвицъ легкаго поведенія, подозрительныхъ личностей всякаго рода. Тощія деревья сада стояли полуголыми; оставшіеся на нихъ листья свернулись отъ холода, желтѣли и засыхали; иногда при дуновеніи вѣтра они падали, шелестя, на сырую землю и шуршали подъ ногами. Уродливыя, грязныя и поломанныя статуи выдѣлялись въ вечернемъ воздухѣ какими-то бѣловатыми неприглядными пятнами на темномъ фонѣ деревянныхъ построекъ, заборовъ, кіосковъ, буфетовъ. Разноцвѣтные фонарики освѣщали грязные столы, полусонную и полупьяную публику. На дощатыхъ подмосткахъ сцены допѣвались сиплыми, надтреснутыми голосами послѣднія пѣсни пѣвцовъ и пѣвицъ, давно надоѣвшихъ всѣмъ. По всѣмъ направленіямъ сада шмыгали лакеи въ засаленныхъ фракахъ, съ грязными салфетками въ грязныхъ рукахъ. Борисъ почти раскаивался, что онъ пришелъ сюда, въ его головѣ поднимались вопросы, какъ можно вообще ходить сюда, считать за удовольствіе хожденіе въ этомъ грязномъ притонѣ, среди этой неприглядной обстановки. Онъ не сознавалъ, что и эти мысли, и это недовольство были только слѣдствіемъ утомленія послѣ двухъ недѣль почти ежедневныхъ встрѣчъ съ Діодатовой. Она уже не имѣла для него притягательной силы, какъ любовница, и не могла удовлетворить его, какъ подруга. Онъ уже ничего не ждалъ отъ нея; ему уже не о чемъ было говорить съ ней. Она была тоже не весела, вся занятая денежными расчетами, заботами о завтрашнемъ днѣ, тревогами о платѣ за квартиру, о покупкѣ дровъ, о расплатѣ съ горничной. Проходя мимо одного изъ столиковъ, Борисъ услыхалъ громкій смѣхъ и невольно повернулъ голову. За столикомъ сидѣла одна изъ львицъ полусвѣта, окруженная какими-то почтенными по лѣтамъ, по наружности господами. Взглянувъ на эту группу, Борисъ почти моментально отвернулся и заторопилъ Діодатову.

— Пойдемъ прочь.

— Что случилось?—спросила она.

— Домгофъ!

— Гдѣ, гдѣ? Покажи его мнѣ!

— Пойдемъ, пойдемъ! Очень нужно, чтобы онъ видѣлъ, съ кѣмъ я...

Борисъ увлекъ ее въ другую сторону. Оба, чѣмъ-то недовольные, шли нѣсколько времени молча. Потомъ Діодатова спросила:

— Что же мы такъ и будемъ все топтаться. Хоть бы пива выпить!

Тепловъ молча пошелъ къ одному изъ столовъ, усѣлся, приказалъ подать вина. Діодатова высказывала свои соображенія насчетъ Домгофа. Тоже безъ жены-то, вѣрно, погуливаетъ. Какую-нибудь содержанку, должно-быть, имѣетъ. Что-жъ не кутить, когда деньги есть. Тепловъ отвѣчалъ разсѣянно, отрывисто, смотря на проходившихъ людей. Мало-по-малу, онъ почти забылъ о присутствіи Ольги Дмитріевны. Къ ней подходили двѣ-три знакомыя личности, перекидывались парой фразъ, отходили прочь. Наконецъ она быстро встала. Борисъ очнулся.

— Что ты? Домой?

— Нѣтъ!.. Сейчасъ!

Она отошла на два шага и съ кѣмъ-то заговорила. Это былъ маленькій толстый человѣкъ съ головой, ушедшей въ плечи, съ черными, сильно посѣдѣвшими волосами. Узкіе глаза въ красныхъ вѣкахъ, широкій носъ съ краснымъ оттѣнкомъ, ротъ акулы, съ вывороченными губами, доходившій чуть не до ушей, подбородокъ, словно замаранный давно небритой бородой, все отталкивало въ этомъ человѣкѣ, пробуждая какое-то брезгливое ощущеніе. Это былъ не только безобразный старикъ, это былъ вдобавокъ неряшливый человѣкъ. Діодатова говорила съ нимъ быстро, отрывисто. Онъ улыбался скверной улыбкой, выставляя напоказъ черные остатки сгнившихъ зубовъ.

— Кто это?—спросилъ Тепловъ, когда Ольга Дмитріевна вернулась.

— Фрисбергъ...

— Жидъ?

— Да.

Оба замолчали. Этотъ человѣкъ вдругъ точно всталъ между ними и заслонилъ ихъ другъ отъ друга. «И это одинъ изъ моихъ конкурентовъ»,—думалъ съ омерзѣніемъ Тепловъ. «Вотъ бы и поправились дѣла къ завтрашнему дню, если бы онъ могъ пріѣхать ко мнѣ»,—съ горечью

соображала она. Оба они разомъ протянули руки къ бутылкѣ: она была пуста. Борисъ крикнулъ слугу, спросилъ, сколько слѣдуетъ ему получить.

— Ты домой?—спросила Діодатова.

— Да, пора... къ себѣ!.. Усталъ я!—отвѣтилъ онъ.

Они поднялись, пошли къ выходу. Ольга Дмитріевна была, какъ на иголкахъ. Остаться здѣсь?—Ей было стыдно передъ Борисомъ. Выйти съ нимъ и вернуться?—У нея не было денегъ заплатить опять за входъ. Уже въ дверяхъ, переступая порогъ сада, она тихо спросила:

— Нѣтъ ли у тебя мелочи... Я не захватила... на извозчика...

Онъ пошарилъ въ карманѣ, далъ ей деньги. Онъ хотѣлъ нанять ей извозчика, она сказала, что извозчики у сада дороги, что она наймет дальше. Онъ подозрительно взглянулъ на нее. Нанялъ извозчика себѣ, простился съ ней, поѣхалъ, приказавъ ѣхать тише. Онъ невольно оборачивался, смотря на нее. Едва онъ отъѣхалъ немного, какъ она быстро повернула назадъ къ саду. Онъ видѣлъ это и сдѣлалъ гримасу. Передъ нимъ уже стоялъ не образъ Діодатовой, а образъ этого неряшливаго, уродливаго человѣка. Онъ сознавалъ, что теперь уже никогда Діодатова не сумѣетъ заслонить этого образа, вставшаго между ними..

Разрывъ былъ рѣшенъ...

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Прошло два года...

Въ одной изъ небольшихъ, но удобныхъ квартиръ дома господина Домгофа было свито уютное гнѣздышко, очевидно принадлежавшее молодой четѣ. Все здѣсь было ново, свѣтло, блестяще, какъ новенькая игрушка, съ которой еще не сошелъ лакъ, не слиняли краски. Это была квартира Клары и Бориса, съ сіяющими лицами переживавшихъ медовые мѣсяцы своего супружества и не видавшихъ конца своему счастію. Она съ страстностью дочери Востока отдалась своей любви, охватившей все ея существо, всѣ ея помыслы; онъ испытывалъ сладкое чувство человѣка, сознающаго, что его боготворятъ, не останавливаясь надъ вопросомъ, такъ ли онъ любитъ ее, какъ она его. Оба они сознавали, что имъ болѣе нечего желать, что они готовы бы прожить цѣлые вѣка именно такъ, какъ они жили теперь. Ни нужды, ни лишеній, ни раздоровъ, ни опасеній, ни угрызеній совѣсти не было у нихъ. Въ будущемъ они видѣли прибавленіе жалованья въ банкѣ, гдѣ служилъ уже Борисъ, прибавленіе семьи въ ихъ гнѣздышкѣ, гдѣ, къ ихъ голосамъ, присоединится еще дѣтскій лепетъ, прибавленіе средствъ, удобствъ, наслажденій въ жизни, которая шла по гладкой, ровной дорогѣ—безъ сучка, безъ задоринки.

Въ ихъ уголкѣ было столько свѣта, тепла, счастья и радости, что иногда изъ бель-этажа, изъ квартиры Домгофовъ, кто-нибудь забѣгалъ къ нимъ на минуту съ цѣлью «полюбоваться на нихъ», «отдохнуть у нихъ», «отвести душу

съ ними». Госпожу Домгофъ стѣсняли иногда визиты чопорныхъ баръ; Tante Мальхенъ иногда уставала отъ мелочныхъ невзгодъ и дрязгъ хозяйства; mademoiselle Дюмонъ иногда чувствовала приливы невыносимой скуки среди стариковъ и старухъ, собиравшихся «винтить» у Домгофовъ,— а у Клары и Бориса были вѣчно смѣхъ, веселье, поцѣлуи, музыка, точно черезъ порогъ ихъ гнѣздышка не смѣли переступать тревоги и непріятности жизни. Сюда можно было приходить отдохнуть.

Это былъ чудовищный эгоизмъ личнаго счастія, только-что взятаго съ боя у жизни. Въ частной жизни, какъ и въ жизни общественной, эти моменты повторяются нерѣдко. Вотъ матери вынесли ребенка, спасеннаго изъ огня во время пожара,—она схватила его, прижала къ груди, бѣжитъ съ нимъ, а позади ея огонь съ яростью пожираетъ благосостояніе ея ближнихъ, кто-то выноситъ убитаго головней человѣка, какіе-то люди рыдаютъ, сидя на обгорѣломъ скарбѣ,—ей, матери, нѣтъ дѣла до чужого горя, у нея на рукахъ ея дитя! Вотъ непріятель взялъ приступомъ городъ, кругомъ все горитъ, сотни, тысячи жертвъ лежатъ на землѣ, вездѣ слышатся вопли и стоны,—а онъ, побѣдитель, шагая черезъ трупы, не слыша стоновъ, потрясающимъ голосомъ, ликуя, кричитъ: «побѣда! побѣда!..»

Клара и Борисъ достигли всего, чего желали: испытавъ всѣ бѣдствія бѣдности, они достигли благосостоянія; трепетавшіе за будущее въ качествѣ бѣдныхъ сиротъ, они обезпечили себѣ это будущее; одинокіе въ чужомъ домѣ, они соединились вмѣстѣ въ своемъ углу. Другіе люди достигаютъ всего этого упорной борьбой, въ теченіе долгихъ лѣтъ, только подъ старость; имъ все далось легко, быстро, въ лучшіе годы жизни. Тутъ было отъ чего ликовать...

Возвращаясь съ прогулки, они подъ руку проходили мимо швейцара, распахивавшаго передъ ними дверь парадная подъѣзда, и такъ же подъ руку поднимались по лѣстницѣ, не наговорившись еще до-сыта, чувствуя еще потребность быть рука объ руку другъ съ другомъ. Въ дверяхъ швейцарской конуры приподнималась занавѣсочка, и два любопытные женскіе глаза слѣдили за ними. Когда швейцаръ подходилъ къ этой двери, жена говорила ему:

— Наши голуби еще наворковаться не могутъ!

— Чего имъ больше и дѣлать? Сыты, въ теплѣ, обуты, одѣты: ну, и воркуй, сколько хочешь,—отвѣчалъ мужъ.—

Посадилъ бы ихъ къ намъ; можетъ, на другой голосъ запѣли бы.

Жена швейцара задумывалась.

— Что говорить, что говорить, не жизнь, а рай имъ. Правда говорится: кому что на роду написано...

Имъ на роду написано было: «счастіе»...

II.

Въ раю этой жизни молодой четы не было ни одного облачка.

Мелкія семейныя непріятности, раздраженія, нерасположенія духа нерѣдко являются слѣдствіемъ дрязгъ жены съ прислугой и столкновеній мужа на службѣ. Тепловы были застрахованы и отъ этого. Служанки ихъ—горничная и кухарка—были испытанныя женщины, рекомендованныя старыми слугами Домгофовъ; ихъ не чувствовалось въ домѣ, за ними не приходилось слѣдить, имъ не было надобности давать наставленія и дѣлать выговоры. Клара за ихъ спиной могла жить, какъ она жила у тетки, не думая о томъ, какъ готовится обѣдъ, сколько нужно труда для содержанія въ чистотѣ разныхъ бездѣлушекъ въ комнатахъ, когда успѣваютъ выспаться и отдохнуть слуги, вставая раньше и ложась позже господъ. Самый складъ характера Клары способствовалъ тому, чтобы всякіе вопросы о служащихъ не поднимались вовсе: ее не занимали ни ихъ радости, ни ихъ печали; она не думала о нихъ вовсе, покуда все дѣлалось въ свое время; если бы онѣ оказались неисправными, она, вѣроятно, даже не взволновалась бы, а просто удалила бы ихъ и замѣнила бы другими, какъ замѣняютъ разбитую тарелку новою. Борисъ никогда не рисковалъ, возвращаясь со службы, услышать отъ Клары жалобы на то, что кухарка провинилась въ томъ-то, а горничная не доглядѣла того-то. Въ свою очередь Клара ни разу не видѣла мужа хмурымъ и раздражительнымъ при возвращеніи его со службы. Ему не на что было хмуриться, сердиться и раздражаться. Персоналъ банка, какъ во всѣхъ подобныхъ учрежденіяхъ, состоялъ изъ людей, стоящихъ на очень низкой ступени по развитію, по положенію въ обществѣ: не доучившіеся нигдѣ молодые люди, не способные сдать гдѣ бы то ни было экзамена, шли на службу въ банкъ, потому что тутъ не требовалось никакихъ дипломовъ. Поступивъ сюда на службу, Тепловъ сразу могъ стать выше ихъ, какъ человѣкъ съ хорошей подготовкой, какъ развитая

личность. Быть-можетъ, это обстоятельство могло бы послужить причиной къ косымъ взглядамъ, къ походамъ противъ «выскочки», къ стремленію ошибить крылья «умнику»; но Тепловъ являлся въ банкъ прямо подъ защитой одного изъ воротилъ, Домгофа, и многихъ второстепенныхъ служащихъ—родственниковъ Домгофа. Онъ попалъ въ банкъ, какъ въ дружескій кружокъ, гдѣ уже давно ждали его появленія, давно говорили:

— Когда же поступитъ къ намъ Борисъ Михайловичъ?

На первыхъ же порахъ онъ вызвалъ чуть не удивленіе въ нѣкоторыхъ изъ незнакомыхъ съ нимъ служащихъ: къ чему они привыкали чуть не въ годъ, то ему давалось въ какую-нибудь недѣлю; надъ чѣмъ они работали по нѣсколько часовъ, то онъ дѣлалъ въ нѣсколько минутъ. Онъ этимъ людямъ казался чуть не геніемъ; онъ же былъ просто образованнымъ человѣкомъ. Особеннымъ уваженіемъ проникся къ нему одинъ длинненькій, худенькій конторщикъ, съ лицомъ и прической воскового болванчика съ окна французской парикмахерской, хранившій у себя въ конторкѣ образцы разныхъ дѣловыхъ писемъ и извѣщеній, докладовъ и отношеній. Это уваженіе было вызвано прежде всего тѣмъ, что Тепловъ написалъ одно изъ такихъ дѣловыхъ писемъ, не попросивъ образца у этого конторщика.

— Какъ же вы это такъ, Борисъ Михайловичъ, безъ всякаго образца, сами написали?—недоумѣвалъ онъ, выражая удивленіе на глупенькомъ лицѣ.

— Мнѣ же сказано было, что̀ нужно было сообщить въ письмѣ,—замѣтилъ Тепловъ.

— Да, но все же, сочинять... Сочинять очень трудно! Вы, если вамъ понадобится, спросите у меня образцы. Я храню образцы всякихъ писемъ—къ частнымъ или официальнымъ лицамъ, къ дамамъ или мужчинамъ. Знаете, тутъ всегда разно надо писать.

Тепловъ разсмѣялся.

— Ну, я ужъ лучше безъ трафарета буду писать!

— Ну да, а вотъ вамъ когда-нибудь и вернутъ бумагу! Тоже напишете: «извѣщаю Васъ», а надо писать: «честь имѣю извѣстить Ваше Превосходительство».

— Я такъ и напишу,—сказалъ Тепловъ.

— Да это не всегда такъ надо!

— А когда не такъ надо, я не такъ и напишу.

— А какъ же вы узнаете, когда какъ надо писать? Безъ образцовъ не узнаете.

Тепловъ не выдержалъ и расхохотался. Этотъ простоватый человѣчекъ, носившій въ банкѣ кличку Ганьки,—его звали Геннадіемъ Ивановичемъ Паровымъ,—показался ему чуть не идіотомъ.

Присматриваясь къ другимъ сослуживцамъ, Борисъ Михайловичъ убѣдился, что этотъ франтикъ былъ еще изъ шустрыхъ; другіе были еще болѣе неразвитыми, невѣжественными, отупѣвшими. Это была масса неудачниковъ, не имѣвшихъ обезпеченнаго состоянія, выдающихся способностей, опредѣленныхъ призваній, какихъ бы то ни было талантовъ,—масса, служившая здѣсь и тянувшая свою лямку ради того, чтобы не погибнуть на мостовой. Всѣ эти люди не были связаны между собою ничѣмъ—одни были изъ мѣщанъ, другіе изъ дворянъ; у однихъ были родные чуть не дворники, другіе были дѣтьми довольно значительныхъ чиновниковъ. Общими были у нихъ только невѣжество и бездарность, лишавшія ихъ возможности сдѣлаться карьеристами. Они отсиживали въ банкѣ извѣстное количество часовъ, потомъ проводили вечера за игрой въ карты, въ попойкахъ, въ кафе-шантанахъ. Ихъ разговоры вертѣлись только на этихъ предметахъ, да смѣнялись толками о прибавкѣ жалованья, о наградахъ, о займахъ. Въ ихъ средѣ только тогда и чувствовалось оживленіе, когда рѣчь шла о развратныхъ похожденіяхъ и о денежныхъ расчетахъ. Быть первымъ въ этой средѣ, забрать ее въ руки, сдѣлаться чуть не благодѣтелемъ ея, ссужая въ долгъ, иногда, или вѣрнѣе всегда, безъ отдачи, десятокъ рублей въ мѣсяцъ, было далеко не трудно для человѣка, стоявшаго хотя немного выше этихъ личностей. Борисъ, по своему матеріальному положенію, по своимъ способностямъ, по своему образованію былъ головой выше ихъ. Вслѣдствіе этого онъ почти съ первыхъ же дней занялъ видное положеніе въ банкѣ и не имѣлъ причины жаловаться на свою судьбу.

— Лучше быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ послѣднимъ въ городѣ,—говорилъ онъ.

И точно, въ этой деревнѣ онъ былъ первымъ.

III.

— Надо Бориса Михайловича спросить, онъ все знаетъ!

Эта фраза повторялась ежедневно то въ томъ, то въ другомъ кружкѣ служащихъ въ банкѣ. Спрашивали его совѣтовъ обо всемъ: о дѣловыхъ затрудненіяхъ, о достоинствѣ той или другой книги, о политическихъ новостяхъ, объ

интимныхъ дѣлахъ. Тощенькій Ганька совѣтовался съ Тепловымъ даже, о томъ, идетъ ли къ нему галстукъ голубого цвѣта или зеленаго. Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ для этого человѣчка имѣло большое значеніе: онъ получалъ небольшое содержаніе, былъ скупъ отъ природы, мечталъ скопить капиталъ по грошамъ,—какъ же тутъ не задумываться, какой галстукъ лучше купить, чтобы потомъ не раскаиваться. Разъ Ганька сдѣлалъ себѣ рыжаго цвѣта лѣтнюю пару, и Тепловъ замѣтилъ ему:

— Что это вамъ вздумалось сдѣлать такое платье, подъ цвѣтъ вашихъ волосъ; оно не идетъ къ вамъ!

Рыженькій конторщикъ опечалился и все лѣто былъ не въ духѣ: второй пары онъ не могъ сдѣлать, а, надѣвая на себя рыжую пару платья, онъ каждый разъ вспоминалъ, что она къ нему не идетъ. При этой мысли у него болѣзненно сжималось сердце: онъ вѣчно надѣялся кому-нибудь понравиться и жениться за свою красоту на богатой; а тутъ вдругъ платье, которое ему не къ лицу! Съ этой минуты онъ ничего не покупалъ себѣ безъ совѣта Теплова.

Борисъ такъ привыкъ къ своей роли оракула, что въ какіе-нибудь полгода пріучился говорить безапелляціоннымъ тономъ всерѣшающаго судьи. Какъ бы ни были смѣшны и странны вопросы, предлагавшіеся ему, онъ выслушивалъ ихъ серьезно и отвѣчалъ на нихъ съ видомъ рѣшающаго государственныя дѣла человѣка.

— Я все жениться думаю,—говорилъ Борису Ганька.

— Что это вамъ, батенька, вздумалось, при вашихъ-то средствахъ?

— Говорятъ, это здоровѣе,—замѣтилъ серьезно конторщикъ.—Я недавно въ одной книгѣ читалъ, что холостые рано умираютъ.

— Вы и испугались? Полноте, стоитъ только вести правильную жизнь, вотъ и все.

— Вы думаете? А въ книгѣ эта самая статистика приведена...

— Ну да, это потому, что холостые ведутъ чаще всего неправильную жизнь. Но кто ведетъ правильную жизнь, тотъ можетъ и холостымъ прожить долго. Женитесь, хуже будетъ. Пойдутъ дѣти, не станетъ хватать средствъ, начнутся лишенія и заботы, тогда такъ затянетесь въ работѣ, что изведете себя.

— Да-съ, это такъ. Только вотъ эта статистика меня испугала,—со вздохомъ произнесъ Ганька.—А что вы го-

ворите о средствахъ, такъ я на бѣдной не женюсь... Я, конечно, полнотой не вышелъ, веснушки тоже вредятъ... но все же... пока свѣжъ и молодъ, всегда можно надѣяться...

— Что-жъ, давай Богъ вамъ невѣсту съ милліономъ приданаго!

Борисъ съ невозмутимой серьезностью велъ эту бесѣду съ Ганькой. Простодушный конторщикъ горячо благодарилъ его:

— Вы не можете себѣ представить, какъ я вамъ признателенъ. У меня не съ кѣмъ посовѣтоваться. Съ дѣтства одинъ росъ. А я мнительный. На меня сейчасъ все дѣйствуетъ. Прочелъ вотъ эту статистику и, вѣрите ли, всю ночь не спалъ. У меня ужъ такой характеръ. Всякая малость можетъ меланхолію нагнать. Я вотъ, когда вы сказали мнѣ, помните, весною, что эта проклятая лѣтняя пара не къ лицу мнѣ—все лѣто промучился. Право! Взгляну, бывало, на себя и чуть не заплачу. У меня такой характеръ и притомъ мнѣ во всемъ не везетъ...

Борисъ ободрялъ его, тотъ пожималъ ему руку, и Тепловъ ощущалъ что-то въ родѣ сознанія, что онъ является опорой и благодѣтелемъ ближнихъ. Онъ такъ и говорилъ сослуживцамъ:

— Вы знаете, я всегда готовъ сдѣлать для каждаго все, что могу...

IV.

Теплову казалось, что онъ переросъ всѣхъ окружающихъ людей. Онъ ни разу не останавливался надъ той мыслью, что онъ просто попалъ въ среду нравственныхъ и умственныхъ лилипутовъ. Онъ не останавливался и надъ вопросомъ: не понижается ли онъ самъ, стоя среди этихъ людей, глупыхъ, пошлыхъ, невѣжественныхъ, гдѣ ничто не подталкиваетъ его впередъ, не наводитъ на новыя мысли, не заставляетъ «подтянуться». Имъ были довольны всѣ, и потому онъ былъ тоже доволенъ собою. Приходя домой со службы, онъ разсказывалъ Кларѣ о томъ, что произошло утромъ—о мелкихъ случайностяхъ, о будничныхъ разговорахъ, о смѣшныхъ выходкахъ сослуживцевъ. Она слушала его, глядя на него съ обожаніемъ, и вставляла въ его рѣчь замѣчанія:

— Какой ты умный! Какой ты добрый! Какъ они должны себя уважать! Какъ они должны тебя любить!

Онъ уже принималъ эти похвалы, какъ нѣчто должное,

соображала она. Оба они разомъ протянули руки къ бутылкѣ: она была пуста. Борисъ крикнулъ слугу, спросилъ, сколько слѣдуетъ ему получить.

— Ты домой?—спросила Діодатова.

— Да, пора... къ себѣ!.. Усталъ я!—отвѣтилъ онъ.

Они поднялись, пошли къ выходу. Ольга Дмитріевна была, какъ на иголкахъ. Остаться здѣсь?—Ей было стыдно передъ Борисомъ. Выйти съ нимъ и вернуться?—У нея не было денегъ заплатить опять за входъ. Уже въ дверяхъ, переступая порогъ сада, она тихо спросила:

— Нѣтъ ли у тебя мелочи... Я не захватила... на извозчика...

Онъ пошарилъ въ карманѣ, далъ ей деньги. Онъ хотѣлъ нанять ей извозчика, она сказала, что извозчики у сада дороги, что она наймет дальше. Онъ подозрительно взглянулъ на нее. Нанялъ извозчика себѣ, простился съ ней, поѣхалъ, приказавъ ѣхать тише. Онъ невольно оборачивался, смотря на нее. Едва онъ отъѣхалъ немного, какъ она быстро повернула назадъ къ саду. Онъ видѣлъ это и сдѣлалъ гримасу. Передъ нимъ уже стоялъ не образъ Діодатовой, а образъ этого неряшливаго, уродливаго человѣка. Онъ сознавалъ, что теперь уже никогда Діодатова не сумѣетъ заслонить этого образа, вставшаго между ними..

Разрывъ былъ рѣшенъ...

Часть вторая.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

I.

Прошло два года...

Въ одной изъ небольшихъ, но удобныхъ квартиръ дома господина Домгофа было свито уютное гнѣздышко, очевидно принадлежавшее молодой четѣ. Все здѣсь было ново, свѣтло, блестяще, какъ новенькая игрушка, съ которой еще не сошелъ лакъ, не слиняли краски. Это была квартира Клары и Бориса, съ сіяющими лицами переживавшихъ медовые мѣсяцы своего супружества и не видавшихъ конца своему счастію. Она съ страстностью дочери Востока отдалась своей любви, охватившей все ея существо, всѣ ея помыслы; онъ испытывалъ сладкое чувство человѣка, сознающаго, что его боготворятъ, не останавливаясь надъ вопросомъ, такъ ли онъ любитъ ее, какъ она его. Оба они сознавали, что имъ болѣе нечего желать, что они готовы бы прожить цѣлые вѣка именно такъ, какъ они жили теперь. Ни нужды, ни лишеній, ни раздоровъ, ни опасеній, ни угрызеній совѣсти не было у нихъ. Въ будущемъ они видѣли прибавленіе жалованья въ банкѣ, гдѣ служилъ уже Борисъ, прибавленіе семьи въ ихъ гнѣздышкѣ, гдѣ, къ ихъ голосамъ, присоединится еще дѣтскій лепетъ, прибавленіе средствъ, удобствъ, наслажденій въ жизни, которая шла по гладкой, ровной дорогѣ—безъ сучка, безъ задоринки.

Въ ихъ уголкѣ было столько свѣта, тепла, счастья и радости, что иногда изъ бель-этажа, изъ квартиры Домгофовъ, кто-нибудь забѣгалъ къ нимъ на минуту съ цѣлью «полюбоваться на нихъ», «отдохнуть у нихъ», «отвести душу

съ ними». Госпожу Домгофъ стѣсняли иногда визиты чопорныхъ баръ; Tante Мальхенъ иногда уставала отъ мелочныхъ невзгодъ и дрязгъ хозяйства; mademoiselle Дюмонъ иногда чувствовала приливы невыносимой скуки среди стариковъ и старухъ, собиравшихся «винтить» у Домгофовъ,— а у Клары и Бориса были вѣчно смѣхъ, веселье, поцѣлуи, музыка, точно черезъ порогъ ихъ гнѣздышка не смѣли переступать тревоги и непріятности жизни. Сюда можно было приходить отдохнуть.

Это былъ чудовищный эгоизмъ личнаго счастія, только-что взятаго съ боя у жизни. Въ частной жизни, какъ и въ жизни общественной, эти моменты повторяются нерѣдко. Вотъ матери вынесли ребенка, спасеннаго изъ огня во время пожара,—она схватила его, прижала къ груди, бѣжитъ съ нимъ, а позади ея огонь съ яростью пожираетъ благосостояніе ея ближнихъ, кто-то выноситъ убитаго головней человѣка, какіе-то люди рыдаютъ, сидя на обгорѣломъ скарбѣ,—ей, матери, нѣтъ дѣла до чужого горя, у нея на рукахъ ея дитя! Вотъ непріятель взялъ приступомъ городъ, кругомъ все горитъ, сотни, тысячи жертвъ лежатъ на землѣ, вездѣ слышатся вопли и стоны,—а онъ, побѣдитель, шагая черезъ трупы, не слыша стоновъ, потрясающимъ голосомъ, ликуя, кричитъ: «побѣда! побѣда!..»

Клара и Борисъ достигли всего, чего желали: испытавъ всѣ бѣдствія бѣдности, они достигли благосостоянія; трепетавшіе за будущее въ качествѣ бѣдныхъ сиротъ, они обезпечили себѣ это будущее; одинокіе въ чужомъ домѣ, они соединились вмѣстѣ въ своемъ углу. Другіе люди достигаютъ всего этого упорной борьбой, въ теченіе долгихъ лѣтъ, только подъ старость; имъ все далось легко, быстро, въ лучшіе годы жизни. Тутъ было отъ чего ликовать...

Возвращаясь съ прогулки, они подъ руку проходили мимо швейцара, распахивавшаго передъ ними дверь парадная подъѣзда, и такъ же подъ руку поднимались по лѣстницѣ, не наговорившись еще до-сыта, чувствуя еще потребность быть рука объ руку другъ съ другомъ. Въ дверяхъ швейцарской конуры приподнималась занавѣсочка, и два любопытные женскіе глаза слѣдили за ними. Когда швейцаръ подходилъ къ этой двери, жена говорила ему:

— Наши голуби еще наворковаться не могутъ!

— Чего имъ больше и дѣлать? Сыты, въ теплѣ, обуты, одѣты: ну, и воркуй, сколько хочешь,—отвѣчалъ мужъ.—

Посадилъ бы ихъ къ намъ; можетъ, на другой голосъ запѣли бы.

Жена швейцара задумывалась.

— Что говорить, что говорить, не жизнь, а рай имъ. Правда говорится: кому что на роду написано...

Имъ на роду написано было: «счастіе»...

II.

Въ раю этой жизни молодой четы не было ни одного облачка.

Мелкія семейныя непріятности, раздраженія, нерасположенія духа нерѣдко являются слѣдствіемъ дрязгъ жены съ прислугой и столкновеній мужа на службѣ. Тепловы были застрахованы и отъ этого. Служанки ихъ—горничная и кухарка—были испытанныя женщины, рекомендованныя старыми слугами Домгофовъ; ихъ не чувствовалось въ домѣ, за ними не приходилось слѣдить, имъ не было надобности давать наставленія и дѣлать выговоры. Клара за ихъ спиной могла жить, какъ она жила у тетки, не думая о томъ, какъ готовится обѣдъ, сколько нужно труда для содержанія въ чистотѣ разныхъ бездѣлушекъ въ комнатахъ, когда успѣваютъ выспаться и отдохнуть слуги, вставая раньше и ложась позже господъ. Самый складъ характера Клары способствовалъ тому, чтобы всякіе вопросы о служащихъ не поднимались вовсе: ее не занимали ни ихъ радости, ни ихъ печали; она не думала о нихъ вовсе, покуда все дѣлалось въ свое время; если бы онѣ оказались неисправными, она, вѣроятно, даже не взволновалась бы, а просто удалила бы ихъ и замѣнила бы другими, какъ замѣняютъ разбитую тарелку новою. Борисъ никогда не рисковалъ, возвращаясь со службы, услышать отъ Клары жалобы на то, что кухарка провинилась въ томъ-то, а горничная не доглядѣла того-то. Въ свою очередь Клара ни разу не видѣла мужа хмурымъ и раздражительнымъ при возвращеніи его со службы. Ему не на что было хмуриться, сердиться и раздражаться. Персоналъ банка, какъ во всѣхъ подобныхъ учрежденіяхъ, состоялъ изъ людей, стоящихъ на очень низкой ступени по развитію, по положенію въ обществѣ: не доучившіеся нигдѣ молодые люди, не способные сдать гдѣ бы то ни было экзамена, шли на службу въ банкъ, потому что тутъ не требовалось никакихъ дипломовъ. Поступивъ сюда на службу, Тепловъ сразу могъ стать выше ихъ, какъ человѣкъ съ хорошей подготовкой, какъ развитая

личность. Быть-можетъ, это обстоятельство могло бы послужить причиной къ косымъ взглядамъ, къ походамъ противъ «выскочки», къ стремленію ошибить крылья «умнику»; но Тепловъ являлся въ банкъ прямо подъ защитой одного изъ воротилъ, Домгофа, и многихъ второстепенныхъ служащихъ—родственниковъ Домгофа. Онъ попалъ въ банкъ, какъ въ дружескій кружокъ, гдѣ уже давно ждали его появленія, давно говорили:

— Когда же поступитъ къ намъ Борисъ Михайловичъ?

На первыхъ же порахъ онъ вызвалъ чуть не удивленіе въ нѣкоторыхъ изъ незнакомыхъ съ нимъ служащихъ: къ чему они привыкали чуть не въ годъ, то ему давалось въ какую-нибудь недѣлю; надъ чѣмъ они работали по нѣсколько часовъ, то онъ дѣлалъ въ нѣсколько минутъ. Онъ этимъ людямъ казался чуть не геніемъ; онъ же былъ просто образованнымъ человѣкомъ. Особеннымъ уваженіемъ проникся къ нему одинъ длинненькій, худенькій конторщикъ, съ лицомъ и прической воскового болванчика съ окна французской парикмахерской, хранившій у себя въ конторкѣ образцы разныхъ дѣловыхъ писемъ и извѣщеній, докладовъ и отношеній. Это уваженіе было вызвано прежде всего тѣмъ, что Тепловъ написалъ одно изъ такихъ дѣловыхъ писемъ, не попросивъ образца у этого конторщика.

— Какъ же вы это такъ, Борисъ Михайловичъ, безъ всякаго образца, сами написали?—недоумѣвалъ онъ, выражая удивленіе на глупенькомъ лицѣ.

— Мнѣ же сказано было, что нужно было сообщить въ письмѣ,—замѣтилъ Тепловъ.

— Да, но все же, сочинять... Сочинять очень трудно! Вы, если вамъ понадобится, спросите у меня образцы. Я храню образцы всякихъ писемъ—къ частнымъ или офиціальнымъ лицамъ, къ дамамъ или мужчинамъ. Знаете, тутъ всегда разно надо писать.

Тепловъ разсмѣялся.

— Ну, я ужъ лучше безъ трафарета буду писать!

— Ну да, а вотъ вамъ когда-нибудь и вернутъ бумагу! Тоже напишете: «извѣщаю Васъ», а надо писать: «честь имѣю извѣстить Ваше Превосходительство».

— Я такъ и напишу,—сказалъ Тепловъ.

— Да это не всегда такъ надо!

— А когда не такъ надо, я не такъ и напишу.

— А какъ же вы узнаете, когда какъ надо писать? Безъ образцовъ не узнаете.

Тепловъ не выдержалъ и расхохотался. Этотъ простоватый человѣчекъ, носившій въ банкѣ кличку Ганьки,—его звали Геннадіемъ Ивановичемъ Паровымъ,—показался ему чуть не идіотомъ.

Присматриваясь къ другимъ сослуживцамъ, Борисъ Михайловичъ убѣдился, что этотъ франтикъ былъ еще изъ шустрыхъ; другіе были еще болѣе неразвитыми, невѣжественными, отупѣвшими. Это была масса неудачниковъ, не имѣвшихъ обезпеченнаго состоянія, выдающихся способностей, опредѣленныхъ призваній, какихъ бы то ни было талантовъ,—масса, служившая здѣсь и тянувшая свою лямку ради того, чтобы не погибнуть на мостовой. Всѣ эти люди не были связаны между собою ничѣмъ—одни были изъ мѣщанъ, другіе изъ дворянъ; у однихъ были родные чуть не дворники, другіе были дѣтьми довольно значительныхъ чиновниковъ. Общими были у нихъ только невѣжество и бездарность, лишавшія ихъ возможности сдѣлаться карьеристами. Они отсиживали въ банкѣ извѣстное количество часовъ, потомъ проводили вечера за игрой въ карты, въ попойкахъ, въ кафе-шантанахъ. Ихъ разговоры вертѣлись только на этихъ предметахъ, да смѣнялись толками о прибавкѣ жалованья, о наградахъ, о займахъ. Въ ихъ средѣ только тогда и чувствовалось оживленіе, когда рѣчь шла о развратныхъ похожденіяхъ и о денежныхъ расчетахъ. Быть первымъ въ этой средѣ, забрать ее въ руки, сдѣлаться чуть не благодѣтелемъ ея, ссужая въ долгъ, иногда, или вѣрнѣе всегда, безъ отдачи, десятокъ рублей въ мѣсяцъ, было далеко не трудно для человѣка, стоявшаго хотя немного выше этихъ личностей. Борисъ, по своему матеріальному положенію, по своимъ способностямъ, по своему образованію былъ головой выше ихъ. Вслѣдствіе этого онъ почти съ первыхъ же дней занялъ видное положеніе въ банкѣ и не имѣлъ причины жаловаться на свою судьбу.

— Лучше быть первымъ въ деревнѣ, чѣмъ послѣднимъ въ городѣ,—говорилъ онъ.

И точно, въ этой деревнѣ онъ былъ первымъ.

III.

— Надо Бориса Михайловича спросить, онъ все знаетъ!

Эта фраза повторялась ежедневно то въ томъ, то въ другомъ кружкѣ служащихъ въ банкѣ. Спрашивали его совѣтовъ обо всемъ: о дѣловыхъ затрудненіяхъ, о достоинствѣ той или другой книги, о политическихъ новостяхъ, объ

интимныхъ дѣлахъ. Тощенькій Ганька совѣтовался съ Тепловымъ даже о томъ, идетъ ли къ нему галстукъ голубого цвѣта или зеленаго. Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ для этого человѣчка имѣло большое значеніе: онъ получалъ небольшое содержаніе, былъ скупъ отъ природы, мечталъ скопить капиталъ по грошамъ,—какъ же тутъ не задумываться, какой галстукъ лучше купить, чтобы потомъ не раскаиваться. Разъ Ганька сдѣлалъ себѣ рыжаго цвѣта лѣтнюю пару, и Тепловъ замѣтилъ ему:

— Что это вамъ вздумалось сдѣлать такое платье, подъ цвѣтъ вашихъ волосъ; оно не идетъ къ вамъ!

Рыженькій конторщикъ опечалился и все лѣто былъ не въ духѣ: второй пары онъ не могъ сдѣлать, а, надѣвая на себя рыжую пару платья, онъ каждый разъ вспоминалъ, что она къ нему не идетъ. При этой мысли у него болѣзненно сжималось сердце: онъ вѣчно надѣялся кому-нибудь понравиться и жениться за свою красоту на богатой; а тутъ вдругъ платье, которое ему не къ лицу! Съ этой минуты онъ ничего не покупалъ себѣ безъ совѣта Теплова.

Борисъ такъ привыкъ къ своей роли оракула, что въ какіе-нибудь полгода пріучился говорить безапелляціоннымъ тономъ всерѣшающаго судьи. Какъ бы ни были смѣшны и странны вопросы, предлагавшіеся ему, онъ выслушивалъ ихъ серьезно и отвѣчалъ на нихъ съ видомъ рѣшающаго государственныя дѣла человѣка.

— Я все жениться думаю,—говорилъ Борису Ганька.

— Что это вамъ, батенька, вздумалось, при вашихъ-то средствахъ?

— Говорятъ, это здоровѣе,—замѣтилъ серьезно конторщикъ.—Я недавно въ одной книгѣ читалъ, что холостые рано умираютъ.

— Вы и испугались? Полноте, стоитъ только вести правильную жизнь, вотъ и все.

— Вы думаете? А въ книгѣ эта самая статистика приведена...

— Ну да, это потому, что холостые ведутъ чаще всего неправильную жизнь. Но кто ведетъ правильную жизнь, тотъ можетъ и холостымъ прожить долго. Женитесь, хуже будетъ. Пойдутъ дѣти, не станетъ хватать средствъ, начнутся лишенія и заботы, тогда такъ затянетесь въ работѣ, что изведете себя.

— Да-съ, это такъ. Только вотъ эта статистика меня испугала,—со вздохомъ произнесъ Ганька.—А что вы го-

ворите о средствахъ, такъ я на бѣдной не женюсь... Я, конечно, полнотой не вышелъ, веснушки тоже вредятъ... но все же... пока свѣжъ и молодъ, всегда можно надѣяться...

— Что-жъ, давай Богъ вамъ невѣсту съ милліономъ приданаго!

Борисъ съ невозмутимой серьезностью велъ эту бесѣду съ Ганькой. Простодушный конторщикъ горячо благодарилъ его:

— Вы не можете себѣ представить, какъ я вамъ признателенъ. У меня не съ кѣмъ посовѣтоваться. Съ дѣтства одинъ росъ. А я мнительный. На меня сейчасъ все дѣйствуетъ. Прочелъ вотъ эту статистику и, вѣрите ли, всю ночь не спалъ. У меня ужъ такой характеръ. Всякая малость можетъ меланхолію нагнать. Я вотъ, когда вы сказали мнѣ, помните, весною, что эта проклятая лѣтняя пара не къ лицу мнѣ—все лѣто промучился. Право! Взгляну, бывало, на себя и чуть не заплачу. У меня такой характеръ и притомъ мнѣ во всемъ не везетъ...

Борисъ ободрялъ его, тотъ пожималъ ему руку, и Тепловъ ощущалъ что-то въ родѣ сознанія, что онъ является опорой и благодѣтелемъ ближнихъ. Онъ такъ и говорилъ сослуживцамъ:

— Вы знаете, я всегда готовъ сдѣлать для каждаго все, что могу...

IV.

Теплову казалось, что онъ переросъ всѣхъ окружающихъ людей. Онъ ни разу не останавливался надъ той мыслью, что онъ просто попалъ въ среду нравственныхъ и умственныхъ лилипутовъ. Онъ не останавливался и надъ вопросомъ: не понижается ли онъ самъ, стоя среди этихъ людей, глупыхъ, пошлыхъ, невѣжественныхъ, гдѣ ничто не подталкиваетъ его впередъ, не наводитъ на новыя мысли, не заставляетъ «подтянуться». Имъ были довольны всѣ, и потому онъ былъ тоже доволенъ собою. Приходя домой со службы, онъ разсказывалъ Кларѣ о томъ, что произошло гдѣ-то—о мелкихъ случайностяхъ, о будничныхъ разговорахъ, о смѣшныхъ выходкахъ сослуживцевъ. Она слушала его, глядя на него съ обожаніемъ, и вставляла въ его рѣчь замѣчанія:

— Какой ты умный! Какой ты добрый! Какъ они должны тебя уважать! Какъ они должны тебя любить!

Онъ уже принималъ эти похвалы, какъ нѣчто должное,

интимныхъ дѣлахъ. Тощенькій Ганька совѣтовался съ Тепловымъ даже о томъ, идетъ ли къ нему галстукъ голубого цвѣта или зеленаго. Рѣшеніе подобныхъ вопросовъ для этого человѣчка имѣло большое значеніе: онъ получалъ небольшое содержаніе, былъ скупъ отъ природы, мечталъ скопить капиталъ по грошамъ,—какъ же тутъ не задумываться, какой галстукъ лучше купить, чтобы потомъ не раскаиваться. Разъ Ганька сдѣлалъ себѣ рыжаго цвѣта лѣтнюю пару, и Тепловъ замѣтилъ ему:

— Что это вамъ вздумалось сдѣлать такое платье, подъ цвѣтъ вашихъ волосъ; оно не идетъ къ вамъ!

Рыженькій конторщикъ опечалился и все лѣто былъ не въ духѣ: второй пары онъ не могъ сдѣлать, а, надѣвая на себя рыжую пару платья, онъ каждый разъ вспоминалъ, что она къ нему не идетъ. При этой мысли у него болѣзненно сжималось сердце: онъ вѣчно надѣялся кому-нибудь понравиться и жениться за свою красоту на богатой; а тутъ вдругъ платье, которое ему не къ лицу! Съ этой минуты онъ ничего не покупалъ себѣ безъ совѣта Теплова.

Борисъ такъ привыкъ къ своей роли оракула, что въ какіе-нибудь полгода пріучился говорить безапелляціоннымъ тономъ всерѣшающаго судьи. Какъ бы ни были смѣшны и странны вопросы, предлагавшіеся ему, онъ выслушивалъ ихъ серьезно и отвѣчалъ на нихъ съ видомъ рѣшающаго государственныя дѣла человѣка.

— Я все жениться думаю,—говорилъ Борису Ганька.

— Что это вамъ, батенька, вздумалось, при вашихъ-то средствахъ?

— Говорятъ, это здоровѣе,—замѣтилъ серьезно конторщикъ.—Я недавно въ одной книгѣ читалъ, что холостые рано умираютъ.

— Вы и испугались? Полноте, стоитъ только вести правильную жизнь, вотъ и все.

— Вы думаете? А въ книгѣ эта самая статистика приведена...

— Ну да, это потому, что холостые ведутъ чаще всего неправильную жизнь. Но кто ведетъ правильную жизнь, тотъ можетъ и холостымъ прожить долго. Женитесь, хуже будетъ. Пойдутъ дѣти, не станетъ хватать средствъ, начнутся лишенія и заботы, тогда такъ затянетесь въ работѣ, что изведете себя.

— Да-съ, это такъ. Только вотъ эта статистика меня испугала,—со вздохомъ произнесъ Ганька.—А что вы го-

ворите о средствахъ, такъ я на бѣдной не женюсь... Я, конечно, полнотой не вышелъ, веснушки тоже вредятъ... но все же... пока свѣжъ и молодъ, всегда можно надѣяться...

— Что-жъ, давай Богъ вамъ невѣсту съ милліономъ приданаго!

Борисъ съ невозмутимой серьезностью велъ эту бесѣду съ Ганькой. Простодушный конторщикъ горячо благодарилъ его:

— Вы не можете себѣ представить, какъ я вамъ признателенъ. У меня не съ кѣмъ посовѣтоваться. Съ дѣтства одинъ росъ. А я мнительный. На меня сейчасъ все дѣйствуетъ. Прочелъ вотъ эту статистику и, вѣрите ли, всю ночь не спалъ. У меня ужъ такой характеръ. Всякая малость можетъ меланхолію нагнать. Я вотъ, когда вы сказали мнѣ, помните, весною, что эта проклятая лѣтняя пара не къ лицу мнѣ—все лѣто промучился. Право! Взгляну, бывало, на себя и чуть не заплачу. У меня такой характеръ и притомъ мнѣ во всемъ не везетъ...

Борисъ ободрялъ его, тотъ пожималъ ему руку, и Тепловъ ощущалъ что-то въ родѣ сознанія, что онъ является опорой и благодѣтелемъ ближнихъ. Онъ такъ и говорилъ сослуживцамъ:

— Вы знаете, я всегда готовъ сдѣлать для каждаго все, что могу...

IV.

Теплову казалось, что онъ переросъ всѣхъ окружающихъ людей. Онъ ни разу не останавливался надъ той мыслью, что онъ просто попалъ въ среду нравственныхъ и умственныхъ лилипутовъ. Онъ не останавливался и надъ вопросомъ: не понижается ли онъ самъ, стоя среди этихъ людей, глупыхъ, пошлыхъ, невѣжественныхъ, гдѣ ничто не подталкиваетъ его впередъ, не наводитъ на новыя мысли, не заставляетъ «подтянуться». Имъ были довольны всѣ, и потому онъ былъ тоже доволенъ собою. Приходя домой со службы, онъ разсказывалъ Кларѣ о томъ, что произошло тамъ—о мелкихъ случайностяхъ, о будничныхъ разговорахъ, о смѣшныхъ выходкахъ сослуживцевъ. Она слушала его, глядя на него съ обожаніемъ, и вставляла въ его рѣчь замѣчанія:

— Какой ты умный! Какой ты добрый! Какъ они должны себя уважать! Какъ они должны тебя любить!

Онъ уже принималъ эти похвалы, какъ нѣчто должное,

занято то тѣмъ, то другимъ, и живется такъ полно, что и скучать некогда. И то сказать, если бы у нихъ были большія средства, они, вѣрно, облѣнились бы, а то волей-неволей приходится работать.

— Да что вы къ партіи опростѣлыхъ, какъ ихъ называетъ Тургеневъ, причислились, что ли?—спросилъ Борисъ съ насмѣшкой, нетерпѣливо перебивая Варю.

Ее немного удивилъ его тонъ.

— Ни къ какой партіи мы не причислялись, — отвѣтила она:—а просто приходится приноровляться къ средѣ, обстоятельствамъ и условіямъ, которыя окружаютъ насъ. Жизнь, Борисъ, величайшій тиранъ и деспотъ.

Ему показалось, что она повторяетъ слова Александра, любящаго разныя сентенціи, и это его разозлило.

— Это тебѣ Александръ сказалъ, должно-быть?—съ ироніей спросилъ онъ.

— А ты думаешь, я сама такъ-таки ни до чего и не способна додуматься? — смѣясь, сказала она.—Ахъ, Боря, Боря, какой ты смѣшной! Ты все думаешь, что я еще ребенокъ! Нѣтъ, милый, мнѣ много пришлось и видѣть, и передумать. Годы прошли не надъ однимъ тобой.

Въ это время дверь отворилась, и горничная подала самоваръ. Варя захлопотала надъ приготовленіемъ чая; легкая, граціозная, раскраснѣвшаяся, она остановила на себѣ взглядъ Бориса, и въ его головѣ мелькнула мысль, что она дѣйствительно не ребенокъ, а роскошно развившаяся дѣвушка.

— Мнѣ сейчасъ вспомнилось, какъ мы дѣтьми спорили съ тобою,—сказала она.—Помнишь? Чуть не до слезъ.

— Хуже, Варя, до драки!—отвѣчалъ онъ уже весело.

— Ну, ужъ и до драки! Вотъ выдумалъ!

— Да, право же; ты разъ чуть не расцарапала мнѣ лицо!

Она засмѣялась звонкимъ смѣхомъ.

— А помнишь, какъ ты дулся на меня по цѣлымъ днямъ?—спросила она.

— И кончалось это тѣмъ, что ты лисичкой старалась умаслить меня, — закончилъ онъ. — Ты вѣдь умѣла, когда надо, подъѣхать со своими: «Боря, ты что такой скучный?». «Боря, ты не сердись; я не буду больше». А глядишь, пройдетъ полчаса, и опять вышучиваешь меня и травишь. А тамъ опять миримся... А, право, хорошее было это время!..

Онъ всталъ и заходилъ по комнатѣ, весь охваченный воспоминаніями.

Она задумалась и сидѣла молча. Онъ подошелъ къ ней и взялъ ее за руки.

— Теперь бы не кончилось этимъ, если бы разссорились?— спросилъ онъ пытливо.

Она подняла на него влажные отъ слезъ глаза.

— Теперь ты надулся бы, такъ и не пришелъ бы, значитъ и умасливать нельзя бы было,—тихо отвѣтила она.

— Да, да, сама бы ты не пришла!—грустно сказалъ онъ.

И, перемѣняя тонъ, онъ спросилъ:

— Такъ ты такъ рѣшительно и не намѣрена бывать у меня?

— Видишь ли что, Борисъ,—нерѣшительно и мягко начала она.—Я здѣсь живу очень скромно, нанимаю комнату у знакомыхъ людей, стараюсь тратить какъ можно меньше. У тебя теперь и жена, и родня—люди богатые. Ходить къ вамъ въ моемъ черномъ мундирѣ, ходить только когда никого нѣтъ постороннихъ, отказываться отъ всякихъ собраній, спектаклей...

Она оборвала и закончила:

— Нѣтъ, Борисъ, я не пойду къ тебѣ.

— А! такъ вотъ главный мотивъ, ради котораго порываются и не поддерживаются отношенія съ близкимъ человѣкомъ! Женское тщеславіе, недостатокъ модныхъ туалетовъ, невозможность щегольнуть нарядами!

Она прервала его тихо:

— Боря, ты самъ писалъ тетѣ, что Клара прежде всего обращаетъ вниманіе на внѣшность, что бѣдный человѣкъ для нея ничто.

Онъ весь вспыхнулъ, нахмурился. Это не ускользнуло отъ ея вниманія.

— Ты, конечно, успѣлъ перевоспитать ее,—поторопилась она прибавить:—но все же... если это въ ея натурѣ, то это не легко было истребить въ ней вовсе...

Онъ вступился за Клару. Онъ оклеветалъ ее по легкомыслію въ первые дни знакомства. Онъ просто судилъ по внѣшнимъ признакамъ. Она совсѣмъ иная,—добрая, нѣжная, мягкая, любящая. Онъ съ нею такъ счастливъ, что онъ не смѣлъ и мечтать о подобномъ счастіи. Она живетъ его жизнью, смотритъ его глазами. И, внезапно оборвавъ рѣчь, онъ закончилъ:

— Впрочемъ, если ты не считаешь возможнымъ бывать у насъ—это твое дѣло. Вы, женщины, хоть сто Дарвиновъ и двѣсти Спенсеровъ прочтете,—остаетесь все тѣми же до-

черями Евы, больше всего заботящимися о тряпкахъ, о нарядахъ, о внѣшности. Стѣсняетъ тебя быть одѣтой хуже другихъ—ну, и конецъ... Но я надѣюсь, что ты позволишь мнѣ бывать у тебя...

— О, Боря, я всегда буду рада тебѣ. Я здѣсь совершенно одна среди чужихъ. Иногда бываетъ очень, очень тяжело...

Въ ея голосѣ послышалось что-то дѣтское, ея глаза наполнились слезами. Онъ невольно взялъ опять ее за руки и поцѣловалъ. Она не смутилась, не сконфузилась. Съ дѣтства она привыкла видѣть въ немъ брата; братомъ казался онъ ей и теперь...

Былъ первый часъ ночи, когда Борисъ вспомнилъ, что пора идти домой. Выходя отъ Вари, онъ сказалъ ей, что будетъ часто дѣлать къ ней нашествія. Ему такъ хотѣлось теперь какъ можно чаще видѣть ее. Отъ нея вѣяло свѣжестью молодости, порывистостью молодости, возбуждавшей, волновавшей его. Какъ въ былые годы, Варя то дразнила его, то приголубливала, безъ умысла, безъ какой-нибудь цѣли, просто потому, что она была подвижнымъ, увлекающимся, живущимъ всѣми нервами существомъ. Въ ея присутствіи онъ испытывалъ цѣлый рядъ ощущеній, то раздраженіе въ спорѣ, то сладость вспоминаній, то потребность защититься отъ насмѣшки, то тихое спокойствіе подъ вліяніемъ женственной мягкости, ласки. Онъ шелъ домой тихо, не спѣша, наслаждаясь ясною осеннею ночью, опять глядя на очертаніе берега Петербургской стороны, родныхъ мѣстъ, гдѣ пережились и радости, и огорченія ранней юности. Только дойдя до дому, онъ вдругъ остановился на мысли:

— А какъ же Клара?.. Сказать ей или не говорить?.. Зачѣмъ же лгать... Но?..

Онъ не остановился еще ни на какомъ рѣшеніи, когда швейцаръ уже распахнулъ передъ нимъ дверь парадная подъѣзда...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

I.

Борисъ ничего не сказалъ Кларѣ про Варю. Зачѣмъ, если Варя не хочетъ знакомиться? Кромѣ того, Варя пробудетъ не долго въ Петербургѣ и знакомить молодыхъ женщинъ между собою не для чего. Наконецъ, Клара не пойметъ его отношеній къ Варѣ, станетъ ревновать. Да и вообще онъ самъ посѣтитъ Варю пять-шесть разъ и, мо-

жетъ-быть, не станетъ дальше поддерживать сношеній. Когда теперь онъ еще соберется къ ней! Такъ думалъ Борисъ, а черезъ недѣлю былъ уже снова у Варн. Уходя отъ нея, онъ сказалъ, что у него много дѣла, что онъ не знаетъ, когда опять завернетъ къ ней, и черезъ недѣлю былъ опять у нея. Его тянуло къ ней. Что?—онъ самъ не могъ отдать себѣ въ этомъ отчета. Воспоминанія дѣтства? Привѣтливость молодой дѣвушки? Ея бесѣды и споры, шевелившіе мозгъ, возбуждавшіе нервы? Онъ не могъ уяснить себѣ ничего, но шелъ къ ней. Опять въ его головѣ мелькнула мысль, не познакомить ли жену съ Варей? И опять явились предлоги не знакомить. Онъ точно боялся этого знакомства, все болѣе и болѣе сознавая, что это два совершенно различныхъ характера, не имѣющіе ничего общаго...

Въ половинѣ ноября одинъ изъ директоровъ банка, Иванъ Александровичъ Антоновъ, давалъ балъ. Въ числѣ приглашенныхъ была и семья Домгофовъ, и Борисъ съ женой. Клара говорила ежедневно въ теченіе трехъ недѣль объ этомъ балѣ. Это былъ первый балъ, на которомъ она должна была явиться не дѣвушкой, а уже замужней женщиной. Борисъ зналъ всѣ подробности ея туалета, цвѣтъ платья, цвѣтъ украшеній; жена совѣщалась объ этомъ съ нимъ по цѣлымъ часамъ. Въ теченіе нѣкотораго времени только и говорилось объ этомъ. Наконецъ, насталъ желанный вечеръ. Въ десять часовъ вечера она вышла въ гостиную, готовая къ балу. Борисъ чуть не ахнулъ: Клара была удивительно хороша, и въ то же время Борису стало какъ-то не по себѣ отъ ея наряда. Свѣтло-палевое узкое, съ длиннымъ шлейфомъ платье съ гладкимъ лифомъ обтягивало ея тонкія формы слишкомъ плотно, слишкомъ откровенно, оставляя обнаженныя руки и плечи. Уборъ изъ свѣтлыхъ гранатъ и букеты изъ темныхъ гераній, похожихъ цвѣтомъ на гранаты, казалось, лежали прямо на тѣлѣ. Сложная отдѣлка изъ буффъ и кружевъ была только сзади на шлейфѣ, украшенномъ букетомъ цвѣтовъ и оттягивающемъ еще болѣе назадъ юбку.

— Хорошо?—спросила Клара, стоя передъ зеркаломъ и любуясь собой.

— Какъ тебѣ сказать... Это идетъ къ тебѣ... но... чортъ знаетъ, что за моды нынче... Ты мнѣ кажешься безъ одежды...

Она засмѣялась.

— Это послѣдняя мода! Это хорошо. Я же стройна, и

это ко мнѣ идетъ... Кто дурно сложенъ, для тѣхъ эти обтянутыя платья дѣйствительно мука...

Онъ пожалъ плечами.

— Ужъ лучше бы просто въ трико придумали одѣвать женщинъ,—проговорилъ онъ.

— Какой ты смѣшной! Нельзя же кринолинъ надѣть, когда его никто не носитъ.

— Ну, разумѣется,—отвѣтилъ онъ разсѣянно.

И прибавилъ въ раздумьи:

— Странно, въ этомъ нарядѣ ты мнѣ напоминаешь кого-то...

— Кого?

— Право, не знаю... Но мнѣ такъ и кажется, что я тебя ужъ видѣлъ...

— На модной картинкѣ!—засмѣялась она.

— Можетъ быть, можетъ быть...

И помимо его воли, въ головѣ его мелькнула мысль: «Да, Варя правду говоритъ, что ей у меня не мѣсто въ ея черномъ мундирѣ». Мысль о Варѣ почти постоянно невольно приходила ему въ голову, когда Клара говорила о нарядахъ, о развлеченіяхъ, о балахъ. Онъ даже сердился на себя за это. Съ чего онъ вѣчно приплетаетъ ее, говоря теперь съ Кларой? Было бы странно, если бы Клара походила на Варю. Варя бѣдная дѣвушка, ей придется жить трудомъ; она должна лишать себя многаго, ограничивать свои потребности, быть скромною. Клара — ребенокъ, любящій, чтобы его баловали, и слава Богу, что ее можно баловать...

На минуту онъ забылъ о балѣ и залюбовался женою; но когда онъ входилъ съ Кларою въ ярко освѣщенныя, полныя нарядными дамами и кавалерами залы, онъ какъ-то случайно уловилъ нѣсколько нахальныхъ взглядовъ молодыхъ мужчинъ, осматривавшихъ его жену, и ему опять стало не по себѣ, въ душѣ поднялось чувство досады на туалетъ жены. Ему казалось, что онъ ведетъ ее обнаженную напоказъ толпѣ. Онъ самъ не разъ бросалъ нескромные взгляды на слишкомъ декольтированныхъ дамъ, дѣлалъ вольныя замѣчанія о ихъ формахъ, подшучивалъ надъ ихъ «откровенностью». Но то были чужія жены, а это была его жена. Ему казалось почему-то, что ея нарядъ самый нескромный, хотя въ дѣйствительности всѣ женщины были одѣты не лучше. Ужъ не потому ли и окружаетъ ее такая толпа молодежи? Кажется, всѣ стремятся къ ней. Ему ка-

залось такъ, потому что его вниманіе было сосредоточено только на ней. Онъ мелькомъ сказалъ ей, что первую кадриль онъ танцуетъ съ ней, вторую тоже. Но послѣ первой кадрили къ Кларѣ подошелъ какой-то офицеръ и пригласилъ ее на вальсъ. Борисъ чуть-чуть не отвѣтилъ за нее, что она танцуетъ съ нимъ, но Клара уже клала на плечо офицера свою руку, а онъ ловко обвилъ рукою ея талію, и они понеслись, кружась, по залѣ. Въ душѣ Бориса поднялось никогда еще неизвѣданное имъ чувство. Это была не ревность, но ему было какъ будто стыдно, что чужой мужчина обнимаетъ талію его жены, пожираетъ глазами ея голыя шею, плечи, руки, грудь...

— Каковъ балъ-то задалъ нашъ Иванъ Александровичъ? И не повѣришь, что банкъ трещитъ отъ векселей его семьи,— тихо шепнулъ ему кто-то на ухо.

Онъ обернулся и увидалъ одного изъ родственниковъ Домгофа, Карла Карловича Гёрца, длиннаго и серьезнаго нѣмца.

— При чемъ же тутъ векселя его семьи? — спросилъ Борисъ, пожимая руку Гёрца.

— Извѣстно: рука руку моетъ! Плохо только все это можетъ кончиться. Вѣдь ни для кого не тайна, что отецъ нашего почтеннаго Ивана Александровича не сегодня, такъ завтра можетъ объявить себя несостоятельнымъ. Отецъ и шуринъ его давно летятъ въ пропасть.

И, принявъ болѣе серьезный видъ, разговаривающій замѣтилъ:

— Да, не доведетъ это до добра. Банку придется понести большіе убытки, да еще, можетъ-быть, и лично многимъ придется отвѣтить. Антонъ очень озабоченъ этимъ обстоятельствомъ. Всѣ вѣдь отвѣчать могутъ...

Офицеръ, танцовавшій съ Кларой, подвелъ ее къ мѣсту, но въ ту же минуту къ ней подошелъ какой-то статскій. Не слушая своего собесѣдника, Борисъ шагнулъ, чтобы остановить ее, но она уже была въ объятіяхъ новаго кавалера. Борисъ отступилъ съ злобнымъ выраженіемъ лица и замѣтилъ говорившему съ нимъ Гёрцу:

— Еще бы не дѣлать всякихъ подлостей, когда деньги нужны на эти распутныя собранія, на эти выставки голыхъ женщинъ.

Нѣмецъ сдѣлалъ серьезную мину.

— Да, нынѣшнія моды ужасны. Это все изъ Парижа идетъ, съ кокотокъ берутся примѣры. И ничего забавнаго нѣтъ тутъ. Я не вожу свою жену на эти балы. Я понимаю

собраніе въ своемъ кружкѣ, гдѣ дышится легко, гдѣ знаешь, что все будетъ такъ... такъ... anstaendig und gemuethlich... Французы этого не понимаютъ, у нихъ давно нѣтъ семьи... у русскихъ ея и не было никогда, и потому они легко...

Борисъ уже не слушалъ и стоялъ около Клары, обмахивавшейся большимъ вѣеромъ, сдѣланнымъ изъ матеріи подъ цвѣтъ платья, съ бѣлыми перьями на краю.

— Ты слишкомъ много танцуешь,—замѣтилъ онъ.

— Ахъ, мнѣ такъ весело!.. Этотъ Горевъ... вотъ тотъ офицеръ, что танцовалъ со мной... говоритъ, что я первая на балу...

— Дуракъ!—сорвалось съ языка Бориса.

Клара съ удивленіемъ подняла на него глаза.

— А ты находишь, что кто-нибудь одѣтъ эффектнѣе меня? Мой костюмъ самый оригинальный и вполнѣ къ лицу мнѣ...

Опять кто-то увлекъ ее и закружилъ по комнатѣ. Борисъ, разсѣянно слушая новые разсказы Гёрца о злоупотребленіяхъ въ банкѣ, совершаемыхъ Антоновымъ и его партіей, слѣдилъ глазами за женою, потомъ вдругъ какъ-то потерялъ ее изъ виду и не безъ тревоги сталъ осматривать залъ, отыскивая глазами Клару. Музыка смолкла, и по залѣ задвигались во всѣхъ направленіяхъ пары. Клары не было между ними. Борисъ пошелъ въ другія комнаты. Въ одной былъ устроенъ буфетъ съ фруктами, мороженымъ, конфетами, прохладительными напитками, заставленный весь цвѣтами, точно зимній садъ. Борисъ чувствовалъ, что у него пересохло въ горлѣ; онъ машинально подошелъ къ одному изъ столиковъ и взялъ стаканъ лимонаду. За его спиной, гдѣ-то среди цвѣтовъ шелъ разговоръ.

— Неужели ты не находишь сходства съ Бэкà?

— По фигурѣ, по характеру костюма — да, но она красивѣе Бэкà во сто разъ.

— Ну, носъ-то тоже такой же длинный... и ноги длинныя, какъ у мужчины... Это, впрочемъ, красиво...

— А Бэкà дѣвчонка съ темпераментомъ. Эта, я думаю, тоже маху не дастъ...

Борисъ поставилъ стаканъ, прошелъ нѣсколько шаговъ и незамѣтно заглянулъ за группу растеній, чтобы увидать, чей разговоръ онъ слышалъ. Говорили двое мужчинъ, въ одномъ изъ нихъ Борисъ узналъ Горева. Онъ закусилъ губы. Теперь онъ уже не сомнѣвался, что говорили о его женѣ. Бэкà! Да, теперь онъ самъ находилъ въ ней поразн-

тельное сходство по фигурѣ, отчасти по лицу съ этой каскадной пѣвицей разнузданныхъ площадныхъ кафе-шантановъ. Такъ вотъ почему такъ поразилъ его туалетъ жены, вотъ чей образъ вертѣлся въ его головѣ при видѣ ея. Бэка, Бэка—женщина публичныхъ подмостокъ, дѣвчонка съ темпераментомъ! Съ ней сравниваютъ его жену! Онъ шелъ, желая отыскать скорѣе Клару, не зная для чего, думая увезти ее скорѣе домой. Въ то же время онъ думалъ: «и что еще о ней говорятъ? Какіе планы строятъ? Что за предположенія дѣлаютъ?» А кругомъ него слышались отрывочныя фразы молодежи: «Вотъ такъ вырѣзала лифъ! Хоть вывѣску привѣсь съ надписью: «у меня секретовъ нѣтъ». «А что ни говори, формы соблазнительныя; ты замѣтилъ, когда идетъ—ноги такъ и вырисовываются». «Лакомый кусочекъ, нечего сказать, и глаза такъ и маслятся». Борисъ ловилъ эти фразы, и ему казалось, что все это говорится о Кларѣ. Онъ точно забылъ, что и другія женщины были одѣты такъ же неприлично, какъ она, что и онъ произносилъ подобныя фразы на другихъ балахъ. Въ одномъ уголкѣ онъ уловилъ опять разговоръ. Одинъ голосъ говорилъ: «А балъ устроенъ на славу!» Другой замѣтилъ: «А хочешь я разскажу тебѣ сказку о мошенникахъ и ворахъ? Она коротка: жили да были на свѣтѣ банковскіе дѣльцы—вотъ и все». Первый голосъ шутливо спросилъ: «это ты изъ «Разбойниковъ» Оффенбаха перефразировалъ?» Второй голосъ отвѣтилъ тѣмъ же тономъ: «нѣтъ, изъ Вольтера».

— Подлецы,—проговорилъ Борисъ.—Пришли сюда пить, ѣсть, плясать и называютъ здѣшнихъ женщинъ кокотками, мужчинъ мошенниками!..

Онъ отыскалъ Клару.

— Куда ты исчезла? Я искалъ, искалъ...

— Воланъ оборвали на шлейфѣ, пришлось подшить въ уборной, — отвѣтила она. — Я тоже тебя искала. Вообрази, кто здѣсь? Шабадзіевъ. Осмѣлился подойти ко мнѣ, пригласить на кадриль. «Вы, говоритъ, распустились. какъ роза. Я страдаю по васъ».

— Что ты мнѣ передаешь всякія мерзости, какія здѣсь услышала, на этой выставкѣ продажнаго тѣла, — перебилъ онъ ее строптиво.

Она съ удивленіемъ взглянула на него.

— Вы своими нарядами даете только право всякимъ наглецамъ сравнивать васъ съ кокотками, — сказалъ онъ. — Намъ пора ѣхать...

— Борисъ! мнѣ такъ весело,—отвѣтила она.—Еще рано. Останься!

Онъ передернулъ плечами.

Она взяла его подъ руку, почти припала головкой къ его плечу и тихо шепнула:

— Вотъ ты говорилъ, что я ревную тебя къ этой... Варѣ, а ты тоже...

Она кокетливо улыбнулась:

— Ко всѣмъ? Да?.. Милый!..

Его вдругъ опять смутило воспоминаніе о Варѣ. «Что сказала бы она, если бы она видѣла здѣсь Клару? если бы она видѣла этотъ балъ? если бы она слышала то, что слышалъ онъ?» А Клара? Она ничего не понимаетъ. Она говоритъ: ревнуешь! Да развѣ это ревность? Это стыдъ за жену въ нарядѣ кокотки, это стыдъ за жену, которую сравниваютъ съ кокоткой! Неужели у нея нѣтъ того нравственнаго цѣломудрія, которое заставляетъ женщину угадывать чутьемъ подобныя вещи?..

II.

На другой день послѣ бала Борисъ проснулся поздно, усталый, не въ духѣ, съ тяжелой головой, и поѣхалъ на службу съ Домгофомъ, не будучи въ состояніи идти пѣшкомъ. Дорогой онъ спросилъ Домгофа:

— Что мнѣ говорилъ вчера Карлъ Карловичъ о векселяхъ семьи нашего Антонова, это правда?

Домгофъ сдвинулъ брови.

— Да, это меня очень заботитъ съ нѣкотораго времени. Антоновъ дѣлаетъ невозможныя вещи. Ни для кого не тайна, что фабрика его отца идетъ отвратительно и доведетъ старика не сегодня-завтра къ несостоятельности, а между тѣмъ банкъ трещитъ отъ его векселей. Шуринъ Антонова не въ лучшемъ положеніи, а банкъ и съ нимъ имѣетъ большіе счеты. Къ несчастію, Антоновъ за послѣдніе годы забралъ въ руки власть и подкопаться подъ него теперь очень трудно.

Домгофъ озабоченно началъ разсказывать о цѣлой массѣ продѣлокъ и злоупотребленій въ банкѣ. Борисъ точно упалъ съ неба на землю: до этой минуты онъ никогда не входилъ въ сущность того, что дѣлалось въ банкѣ. Онъ служилъ, дѣлалъ свое дѣло, не интересуясь закулисной стороной учрежденія, гдѣ занималъ мѣсто. Невеселая картина, открывавшаяся передъ нимъ теперь, испугала его, такъ она была нова для него. Онъ тревожно спросилъ Домгофа:

— Значитъ, мы наканунѣ краха?

Домгофъ пожалъ плечами, иронически усмѣхаясь.

— Вовсе нѣтъ! Злоупотребленія были у насъ и, вѣроятно, будутъ всегда, теперь они только больше стали, чѣмъ были прежде. Это очень непріятно, но опасаться краха — это было бы просто смѣшно!

Онъ говорилъ о злоупотребленіяхъ, какъ говорятъ о вчерашней погодѣ, не волнуясь, не сердясь. Для него это было такимъ обыкновеннымъ дѣломъ. Онъ уже давно привыкъ къ тому, что онъ имѣетъ дѣло съ мошенниками, за которыми нужно слѣдить зорко и которымъ въ то же время нужно пожимать руки. Борисъ еще былъ новичокъ въ подобномъ положеніи, и его возмутило сдѣланное имъ открытіе. Такъ вотъ какіе люди окружаютъ его: внизу полуидіоты и невѣжды, вверху мошенники и ловкіе дѣльцы. И тѣмъ, и другимъ нужно улыбаться, пожимать руки, быть пріятелемъ, чтобы не очутиться одному среди враговъ. Пріѣхавъ въ банкъ, онъ впервые чувствовалъ себя здѣсь не по себѣ, не на своемъ мѣстѣ. Онъ раздражался отъ глупости Ганьки, онъ смотрѣлъ подозрительно на проходившихъ мимо него воротилъ банка. Онъ вдругъ возненавидѣлъ ихъ за то, что онъ связанъ съ ними навсегда цѣпью каторжника. Вздумай онъ брезгливо сторониться отъ идіотовъ, подобныхъ Ганькѣ, и они отравятъ ему каждый день мелкими, камариными уколами, отъ которыхъ съ ума сойдешь; вздумай онъ не быть любезнымъ съ воротилами банка, ласкающими его покуда, какъ разумнаго работника, и его не подвинутъ ни на шагъ впередъ, можетъ-быть, даже просто вышвырнутъ вонъ. Но что значитъ подвинуться впередъ? Покуда онъ дѣлаетъ безразличное дѣло: онъ только исполнитель, онъ только машина. Подвинуться впередъ—значитъ сдѣлаться дѣятелемъ и сообщникомъ этихъ воротилъ «съ пушкомъ на рыльцѣ», съ девизомъ «рука руку моетъ», съ заповѣдью «не зѣвай и бери, что плохо лежитъ, что плыветъ въ руки». На него напало тоскливое настроеніе, усиливавшееся еще болѣе отъ физической усталости послѣ бала.

Возвратившись домой, онъ засталъ Клару нездоровою. У нея разболѣлась голова, и она лежала.

— Усну и пройдетъ,—сказала она въ отвѣтъ на его тревожные вопросы.—Это просто мигрень.

— Не послать ли за докторомъ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ! высплюсь и конецъ!

Онъ ушелъ въ свою комнату, прилегъ на диванъ. Но ему

не спалось. Онъ всталъ, побродилъ по кабинету, прошелъ опять къ женѣ. Она спала. Онъ вышелъ изъ ея спальни, постоялъ у окна, смотря во тьму зимняго вечера. У него явилась потребность пройтись, освѣжиться. Онъ надѣлъ теплое пальто, вышелъ на улицу. Вечеръ былъ слегка морозный, темный, но ясный, съ звѣзднымъ небомъ, съ прозрачнымъ воздухомъ. Борисъ пошелъ безъ цѣли, погруженный въ думы, переходя изъ улицы въ улицу, и очутился передъ домомъ, гдѣ жила Варя. Онъ какъ бы очнулся и подумалъ, съ усиліемъ стараясь что-то вспомнить:

— Развѣ я собирался къ ней? Нѣтъ! Какъ это странно!

Онъ грустно усмѣхнулся, пожавъ плечами:

— Ноги привели къ ней!..

Онъ позвонилъ у ея дверей. Горничная отворила ихъ, онъ вошелъ въ переднюю и увидалъ въ гостиной Варю, сидѣвшую за роялемъ. Замѣтивъ Бориса, она встала и пошла къ нему навстрѣчу. Только снявъ пальто, онъ увидалъ, что пришелъ къ ней въ сѣрой домашней визиткѣ.

— Извини, Варя, я по-домашнему одѣтъ... шелъ не къ тебѣ... гулять... и завернулъ случайно...—пояснилъ онъ въ смущеніи.

Она ласково улыбнулась.

— Когда ты перестанешь церемониться?

Онъ сжалъ ея руку.

— Тошно на душѣ сегодня, потому и пришелъ именно къ тебѣ,—сказалъ онъ мягко.

— За это большое спасибо,—отвѣтила она.

Они вошли въ ея комнату.

— А я сегодня совершенно одна. Хозяева мои съ дѣтьми на именинахъ...

— То-то ты и занималась музыкой!

— О, я и при нихъ играю...

— Ну, а при мнѣ можно?

— Если это тебѣ доставитъ удовольствіе...

Онъ отвѣтилъ утвердительно. У него расходились нервы. Музыка, можетъ-быть, успокоитъ ихъ. Они перешли въ гостиную, Варя сѣла за рояль. Борисъ сѣлъ на диванъ, закуривъ папиросу, и заслушался. Варя играла очень недурно, со смысломъ. Онъ давно не слыхалъ ея игры; она сдѣлала большіе успѣхи. И то сказать: тогда она была почти ребенкомъ, теперь она взрослая дѣвушка. Окончивъ первую пьесу, она спросила шутливо Бориса:

— Не заснулъ?

— Нѣтъ.

— А я нарочно выбрала «Berceuse»... Ужъ не спѣть ли тебѣ, какъ ребенку.

— А ты поешь?

— Немного...

Она запѣла: «Auf Fluegel des Gesanges»...

Борисъ пересталъ курить, опустилъ на руки голову и точно перенесся куда-то въ другой міръ. Не туда ли на этотъ Гангъ, гдѣ цвѣтутъ лотусы, гдѣ мигаютъ южныя звѣзды, гдѣ среди вѣтвей притаились газели? Варя спѣла еще какую-то русскую пѣсню. Потомъ встала, сказавъ:

— Ну, довольно!

Онъ очнулся, всталъ. сжалъ ея руку. Они прошли опять въ ея комнату.

— Боря, что съ тобой сегодня?—тихо спросила она его, озабоченно смотря въ его глаза.—Надѣюсь, не семейныя непріятности?

— Нѣтъ, нѣтъ!

— Слава Богу!—горячо воскликнула она.—А то ужъ я испугалась.

Онъ съ удивленіемъ взглянулъ на нее.

— Почему именно этого испугалась?—спросилъ онъ.

— Это все, что у тебя есть!—сказала она просто.—Общественное твое положеніе далеко не завидно; я думаю, столько мелкихъ обидъ и непріятностей переносишь за день, что только и отдохнешь въ своемъ гнѣздѣ...

— Такъ ты думаешь, что мнѣ не легко служить?—съ любопытствомъ спросилъ онъ.

— Еще бы! Мы не разъ говорили о томъ, что въ банкѣ ты будешь чувствовать себя неловко среди дѣльцовъ, аферистовъ, даже прямо нечестныхъ людей. Это такъ понятно!

Понятно! Ей понятно, а вотъ Клара—та ни разу даже не задумалась надъ этимъ вопросомъ.

— А потомъ, когда ты мнѣ разсказывалъ о разныхъ этихъ Ганькахъ, я поняла, что тебѣ еще тяжелѣе, чѣмъ мы думали. Мы боялись, что твое положеніе будетъ непріятно отъ ежедневныхъ столкновеній съ дурными личностями, а тебѣ приходится еще имѣть дѣло и съ глупцами... Знаешь, когда ты со смѣхомъ передавалъ мнѣ комическія сцены изъ жизни этихъ Ганекъ, мнѣ было просто жутко. Вѣдь такая среда можетъ принизить, опошлить человѣка. Я понимала, что твой смѣхъ надъ нею — нервный смѣхъ, хватающій за сердце.

Она поняла даже то, чего до сегодняшняго дня не угадывалъ онъ самъ.

Онъ глубоко задумался. Она говорила. Вѣрно у него и сегодня непріятности по службѣ были? Опять какіе-нибудь негодяи или глупцы досадили? Нужно стараться не обращать на нихъ вниманія, идти по возможности въ сторонѣ отъ нихъ, создать себѣ кружокъ и интересы внѣ службы и сослуживцевъ. Иначе будетъ слишкомъ тяжело. Впрочемъ, жизнь не сладка вообще для большинства. Хорошо еще, что у него, у Бориса, есть полное домашнее счастіе.

— А если и оно не полно?—неожиданно спросилъ онъ.

У нея опустились на минуту руки, оборвался голосъ.

Но тотчасъ же она собралась съ силами, быстро заговорила:

— Не грѣши, не грѣши! Ты самъ говорилъ, что жена тебя страстно любитъ, что для нея весь міръ въ тебѣ одномъ. Чего же тебѣ еще? Мелочи какія-нибудь смутили? Черная кошка пробѣжала? Такъ развѣ это несчастіе? Развѣ это значитъ, что счастіе не полно? Вы оба молоды, у васъ могутъ еще быть острые углы, которые нужно сгладить, которые сгладятся. О, да въ самомъ этомъ сглаживаніи такъ много прелести. Знать, что ты уничтожилъ, поборолъ въ себѣ все несимпатичное любимому человѣку, видѣть, что онъ дѣлаетъ уступки тебѣ въ своихъ привычкахъ, въ своихъ недостаткахъ... о, что можетъ быть выше этого счастія въ любви!..

Она вся разгорѣлась, ея щеки покрылись густымъ румянцемъ, ея глаза блестѣли. Онъ грустно думалъ: «если бы у Клары была способность быть такой». Онъ тихо сказалъ ей:

— Добрая, ты за всѣхъ готова заступаться...

Онъ не понялъ даже, не угадалъ, что воспламениться такъ, заступаясь за незнакомую женщину, трудно, что говорить такъ страстно о прелестяхъ уступокъ и перерожденія подъ вліяніемъ любви нельзя съ чужого голоса, что въ этихъ восторженныхъ рѣчахъ слышался радостный крикъ:

— Пойми, что все это испытала я сама.

Онъ видѣлъ въ ней только милую сестру, старающуюся успокоить его; онъ жалѣлъ только о томъ, что у его Клары нѣтъ ни ея ума, ни ея чувства, ни ея сердца...

III.

Сравненіе любимаго существа съ другими—пробный камень для прочности любви. Со дня перваго свиданія съ Варей, Борисъ сравнивалъ съ нею Клару. Онъ не желалъ

этого, не старался объ этомъ, не думалъ объ этомъ: это являлось само собою, инстинктивно, безсознательно. Образъ Вари во всемъ заслонялъ передъ нимъ образъ Клары. Онъ, Борисъ, не желалъ этого, сердился на себя, но все-таки не могъ истребить это въ своемъ сознаніи.

Какъ-то онъ пришелъ изъ должности не въ духѣ и сталъ жаловаться Кларѣ, что тамъ, въ банкѣ, его окружаютъ одни дураки и мошенники.

— Милый мой, ты одинъ у меня умный и хорошій!—нѣжно сказала Клара.

Это она повторяла ему и прежде. Это успокаивало его прежде, теперь онъ разсердился.

— Да, а каково мнѣ быть среди нихъ!—воскликнулъ онъ, точно она была виновницей его положенія.

— Не обращай на нихъ вниманія,—сказала она.—Что тебѣ до нихъ за дѣло?

— Какъ, что за дѣло, когда это мои товарищи, начальники! Мнѣ весь вѣкъ придется жить съ ними!

Онъ началъ говорить, что съ каждымъ днемъ яснѣе видитъ глупость и пошлость однихъ, мошенничество и продѣлки другихъ. Обрывать первыхъ или бороться со вторыми нельзя. Надѣлаешь только враговъ. Нужно имъ улыбаться, пожимать руки, стоять на одной доскѣ съ ними. У Клары разгорѣлись глаза гнѣвомъ.

— О, какое проклятіе не имѣть денегъ!—страстно заговорила она.—Если бы мы были богаты, плюнули бы на всѣхъ, уѣхали бы и стали бы жить въ свое удовольствіе. О! чего бы я ни сдѣлала, если бы у меня были деньги! Отъ зависти всѣ лопнули бы.

Въ головѣ Бориса мелькнула мысль: «такъ вотъ въ чемъ твое счастіе». И точно ему хотѣлось глубже заглянуть въ ея мелкую душу, онъ спросилъ ее:

— И это доставило бы тебѣ удовольствіе?

— О, ты меня еще не знаешь!—воскликнула она въ волненіи.—Ты думаешь, что я не умѣю, какъ ты, презирать и ненавидѣть всѣхъ этихъ нищихъ, идіотовъ, всѣхъ этихъ разбогатѣвшихъ мошенниковъ! Нѣтъ, я тоже пережила много въ дѣтствѣ. Бывало, отецъ, пріѣдетъ изъ Петербурга, разсказываетъ, какъ здѣсь живутъ Домгофы, другіе родственники. Какъ сыръ въ маслѣ катаются; дома свои, лошади, экипажи. А мы—у насъ иногда хлѣба не было. Мама, бывало, слушаетъ разсказы отца и клянетъ родныхъ: «будь они прокляты! не могутъ удѣлить отъ своего обильнаго стола

куска хлѣба бѣдному Лазарю». Потомъ накинется на отца: «грабить не умѣешь, воровать не умѣешь; не будь я женщина, я бы тебѣ показала, какъ нужно наживать, а я женщина, бѣдная женщина и ничего не могу подѣлать». Отецъ старался оправдывать родныхъ: «у насъ, скажетъ, большая семья; всѣхъ не накормишь». Мать раскричится: «семья большая! такъ развѣ мы виноваты, что мы евреи и что у евреевъ дѣтей много?» А потомъ плачетъ, плачетъ «проклялъ насъ Господь, отвратилъ глаза отъ своего народа!..» Богатые родные не помогали, потому что насъ много было, а бѣдные... О, это волки, готовые загрызть другъ другъ изъза добычи. Отецъ ихъ ненавидѣлъ, мама ихъ очень боялась. Помню разъ, она прибѣжала домой вся въ крови и упала на стулъ, еле переводя духъ. «Что съ тобой?»—спросилъ отецъ. «Вырвали, вырвали изъ рукъ вещи, ограбили!»—зарыдала она. Она на одномъ аукціонѣ присмотрѣла вещи, она давно уже намѣтила ихъ, она разсчитала, какъ это поправитъ наши дѣла, дастъ возможность пріодѣть насъ. Намъ разсказывала, какія вещи намъ достанутся. Только объ этомъ и говорила въ теченіе нѣсколькихъ дней. И вообрази, другія женщины, такія же, какъ она, не только перебили у нея покупку, но расцарапали ей лицо, когда она вздумала протестовать и спорить. Чуть не избили ее совсѣмъ. О, съ тѣхъ поръ я возненавидѣла ихъ, этихъ собакъ, этихъ волчицъ...

Клара никогда еще не являлась передъ Борисомъ такою возбужденною. Вспоминанія унесли ее далеко отъ окружающей дѣйствительности. Она не только забыла о присутствіи Бориса, но даже забыла о томъ, что она теперь далеко не нищая, что она не нуждается ни въ чемъ. Она сидѣла съ поблѣднѣвшимъ лицомъ, по которому катились горькія слезы изъ горящихъ глазъ, и какъ бы въ полуснѣ, тихо и протяжно шептала:

— Тамъ было голубое шелковое платье; мама цѣлую недѣлю говорила, что она перешьетъ его мнѣ, что я буду одѣта, какъ полицеймейстерская дочь. И это платье, и все, все отняли онѣ...

Борису стало жутко, онъ подошелъ къ женѣ и ласково сказалъ ей:

— Полно, Клара, вѣдь у тебя же теперь есть все...

Она, всхлипывая, прошептала:

— Да, да, теперь все есть, а тогда ничего не было, ничего, все отнимали, что могло бы быть...

И вдругъ порывисто воскликнула:

— А у Домгофовъ? Ты думаешь, мнѣ сладко было, когда Александринѣ и Гретхенъ дѣлали новыя платья, а мнѣ перешивали изъ платьевъ тети наряды, у меня глаза разгорались при видѣ ихъ обновъ, а эти обноски я швыряла ночью на полъ, топтала ихъ ногами. Развѣ я хуже Александрины и Гретхенъ? Развѣ меня Богъ не такой же создалъ?

Борисъ тихо и ласково сказалъ:

— Бѣдная моя дѣвочка! Но, надѣюсь, теперь ты счастлива!

— О, да, да!

Она молча страстно прижалась къ нему. Ея краснорѣчіе вдругъ упало; она говорила горячо о ненависти, любовь ея выражалась страстными ласками и безцвѣтными фразами: «какъ я тебя люблю», «ты моя жизнь», «ты мой умный и хорошій». Борисъ, возбужденный ея горькими жалобами, весь еще проникнутый сожалѣніемъ къ ней, былъ теперь опьяненъ страстностью ея ласкъ.

IV.

Этотъ день, когда Теплову случайно удалось заглянуть въ мрачную душу жены, оставилъ въ молодомъ человѣкѣ глубокій слѣдъ. У него явилась жалость къ любимой женщинѣ, явилось раскаяніе за то, что онъ иногда обвинялъ ее въ душѣ, мысленно упрекалъ за то или другое. Еще недавно, сравнивая ее съ Варей, онъ иногда думалъ о томъ, что у Клары нѣтъ никакихъ выдающихся достинствъ и способностей. Варя была мягка въ отношеніи къ ближнимъ, она была серьезно образована, у нея былъ быстрый умъ, она даже обладала такими талантами, какъ музыка и пѣніе. Ничего этого не было у Клары. Теперь Борисъ понялъ вдругъ, что все это, можетъ-быть, и было у Клары, но все это заглохло среди нищеты, во время пребыванія въ чужомъ домѣ. Бѣдную дѣвушку плохо воспитали, лишили возможности развить природныя способности, не дали ей всего того, что нужно дать человѣку для его всесторонняго развитія. Ей и въ дѣлѣ воспитанія и развитія давали только «обноски». За это нужно было винить другихъ, а ее только сожалѣть. Онъ, подъ вліяніемъ сожалѣнія къ ней и, можетъ-быть, отчасти подъ вліяніемъ бурно высказавшейся ея страсти къ нему, вдругъ проникся къ Кларѣ бо́льшей любовью; онъ не любилъ Клару такъ сильно даже въ первые дни супружества, какъ теперь; если она переживала медовый мѣсяцъ тотчасъ послѣ брака, то онъ переживалъ этотъ мѣсяцъ те-

перь, и эта вспышка страсти поддерживалась тѣмъ сильнѣе, что Клара всегда была готова отвѣчать на порывы мужа. Въ эти дни Бориса иногда мучила мысль, что онъ обманываетъ Клару, не говоря ей о пребываніи въ Петербургѣ Вари. Это недостойно съ его стороны. Онъ долженъ или сказать женѣ о Варѣ, или перестать ходить къ послѣдней. И зачѣмъ онъ ходитъ къ ней? Что его тянетъ туда? До чего это можетъ довести? Нѣтъ, надо сказать Варѣ, что такъ нельзя долѣе встрѣчаться: или нужно не встрѣчаться вовсе, или надо чтобы Варя познакомилась съ Кларой.

Какъ-то онъ завернулъ снова къ Варѣ и сообщилъ ей осторожно свою мысль. Варя взглянула на него озабоченнымъ взглядомъ.

— Да, такъ ты думаешь, что намъ надо познакомиться,— сказала она.—Какъ это странно! Я сегодня хотѣла сказать тебѣ то же самое.

Онъ обрадовался.

— Такъ ты хочешь познакомиться съ Кларой?

Она покачала головой.

— Нѣтъ!—отвѣтила она.

Онъ вскочилъ съ мѣста и заходилъ по комнатѣ.

— А, такъ ты вотъ какъ относишься ко мнѣ! Лучше не встрѣчаться, чѣмъ идти знакомиться съ моей женой—и все изъ-за того, что она, можетъ-быть, будетъ лучше тебя одѣта, что она, можетъ-быть, случайно броситъ косой взглядъ на твое черное платье! Хороша привязанность ко мнѣ, хороша симпатія!

Варя смотрѣла на него растеряннымъ взглядомъ, не имѣя силъ высказать ему вдругъ, прямо все то, что было у нея на душѣ. Онъ продолжалъ горячиться:

— Значитъ, ты уже думала, что намъ надо не встрѣчаться? Ты вѣдь сказала, что ты хотѣла поговорить со мной объ этомъ же сегодня? Ужъ не мѣшаю ли я кому-нибудь своими посѣщеніями безъ предупрежденій?..

— Борисъ!—съ упрекомъ сказала Варя.—Мы можемъ не видѣться, но зачѣмъ же ссориться? Ты знаешь, что твои приходы не могутъ помѣшать никому...

И, тоже поднявшись съ мѣста, какъ бы собравшись съ силами, она заговорила коротко, сдержанно:

— И ты, и я, мы оба неопытны, легко смотримъ еще на отношенія. Я получила письмо отъ тети, открывшее мнѣ глаза. Она журитъ меня за то, что я позволила тебѣ ходить ко мнѣ тайкомъ отъ своей жены. Клара, не зная меня,

можетъ сдѣлать Богъ знаетъ какіе выводы. Тетя прямо пишетъ: «вы играете съ огнемъ и можете довести до семейнаго разлада своимъ поведеніемъ». Клара должна узнать меня, или мы не должны видѣться.

— Да вѣдь и я то же говорю и потому приглашаю тебя къ себѣ,—перебилъ ее Борисъ.

— Я сказала, что я не пойду,—твердо отвѣтила Варя.

И, уже волнуясь, прибавила:

— Ты увѣренъ, что я буду встрѣчена ласково и привѣтливо? Ты увѣренъ, что мнѣ не сдѣлаютъ какой-нибудь сцены съ первой встрѣчи? Ты увѣренъ, что первая наша встрѣча не поведетъ къ разрыву?

— А,—загорячился онъ:—такъ ты считаешь мою жену дурной, злой женщиной, безтактной барыней, какой-то...

Она остановила его:

— Я знаю, что твоя жена, обвѣнчавшись съ тобою, не написала ни строки даже тетѣ, а не только что мнѣ. Значитъ, мы для нея не существуемъ.

— Это моя ошибка, а не ея, это...

— Все равно, Борисъ, но это такъ было. Какъ же я приду къ ней? Приду и скажу: «я такая-то, можетъ-быть, вы обо мнѣ слышали»...

— То-есть ты хочешь, чтобы Клара пришла первая къ тебѣ,—спросилъ онъ съ какой-то горечью.

Она не отвѣтила ничего. Она сама не понимала теперь, желаетъ ли она даже этого. Нѣтъ, лучше вовсе не встрѣчаться, лучше порвать отношенія съ Борисомъ. Еще недавно ей и въ голову не приходила эта мысль. Теперь же письмо тетки открыло ей глаза. Тетка писала:

«Опрометчиво поступила ты, Варюша, позволивъ Борису посѣщать тебя безъ вѣдома жены. Вы играете съ огнемъ и можете довести до семейнаго разлада своимъ поведеніемъ. Не зная тебя, Клара легко можетъ приревновать къ тебѣ Бориса. Да, можетъ-быть, и не безъ основанія. Я знаю, что тебѣ не могло и придти это въ голову, такъ какъ для тебя теперь не существуетъ мужчинъ, ты теперь не можешь увлечься, а Борисъ—развѣ мы знаемъ, насколько прочна и глубока его любовь, насколько его бракъ былъ бракомъ по страсти, а не по расчету? Ты молода, хороша собою, умна, связана съ Борей общими воспоминаніями, слишкомъ близка къ нему, какъ подруга дѣтства,—тутъ, маточка, одинъ шагъ до любви. Ты не сердись на меня, старуху: знаю я, что ты не кокетка, не вѣтреница, что не подашь ты повода къ

ухаживаніямъ, да вѣдь любить-то не запретишь. Мое мнѣніе, Варюша, такое, что лучше огорчить Борю, запретивъ ему ходить къ тебѣ, чѣмъ поддерживать ваши теперешнія отношенія, если ужъ ты не хочешь идти къ Кларѣ первая. Ты спрашиваешь меня, права ли ты въ своемъ нежеланіи идти къ ней безъ зова, безъ приглашенія. Насчетъ этого я скажу тебѣ вотъ что: теперь такою, какою я стала, я пошла бы—не къ такимъ людямъ я ходила и друзьями ихъ своими дѣлала, и уважать себя заставляла,—а въ твои годы я, можетъ-быть, тоже не пошла бы и больше скажу, Варюша: не пошла бы, можетъ статься, и послѣ ея визита. Сердцемъ я чую, что разные вы люди, на разныхъ языкахъ говорите, и никогда вамъ другъ съ другомъ не сойтись, а въ молодости столкновенія такія только къ раздорамъ ведутъ; терпимости годы тяжелые научаютъ, да и то сказать: легко терпимымъ сдѣлаться, когда въ жилахъ не кровь течетъ, а такъ вода какая-то. Пишу я это тебѣ, а у самой на душѣ точно бремя тяжелое—и тебя мнѣ жаль, и Борю, и ее, хоть и не знаю я, что она за человѣкъ, а знаю только, что человѣкъ».

Это письмо не выходило теперь изъ головы Вари, не знавшей, чего ей желать—разрыва ли съ Борисомъ, знакомства ли съ его женой. Она и Борисъ нѣсколько минутъ ходили по комнатѣ, не нарушая молчанія. Обоимъ было тяжело. Оба вдругъ поняли, что Клара не придетъ первая, что ей въ сущности не слѣдуетъ приходить, что это поведетъ скорѣе къ полному разрыву, чѣмъ къ сближенію. Борисъ первый прервалъ тяжелое молчаніе.

— Да, я сдѣлалъ ошибку, не сказавъ Кларѣ о твоемъ пріѣздѣ сюда,—сказалъ онъ.—Но это можно поправить. Я скажу, что ты пріѣхала, что я встрѣтилъ тебя. Не знаю, захочетъ ли она посѣтить тебя первая. Васъ, женщинъ, иногда не поймешь, почему вы дѣлаете то или другое. Но, во всякомъ случаѣ, тогда мы можемъ видѣться не тайкомъ...

У Вари замеръ духъ. Ей было грустно не видѣть Бориса, и въ то же время у нея въ головѣ проносились опасенія, высказанныя теткой. Она хотѣла-было сказать Борису: «не приходи ко мнѣ», но у нея не хватило на это духу. Она рѣшила быть съ нимъ осторожнѣе, не подавать ему повода думать, что онъ можетъ найти въ ней взаимность, всячески дать ему понять, что ея сердце уже занято. Когда онъ ушелъ отъ нея, она вынула чей-то портретъ и долго смотрѣла на него:

— Милый, зачѣмъ ты сказалъ мнѣ: «не торопись, не считай меня своимъ женихомъ, не говори объ этомъ»,— проговорила она въ раздумьи.—Боишься, что ты слишкомъ старъ для меня. Да ты моложе всѣхъ молодыхъ.

Она съ любовью прижала къ губамъ портретъ.

V.

Борисъ не безъ страха думалъ о томъ, къ какому результату приведетъ его рѣшеніе сказать женѣ о пріѣздѣ Вари. Но онъ чувствовалъ, что это нужно сдѣлать. Видѣться съ Варей сдѣлалось для него насущною потребностью, и въ то же время ему почему-то становилось все стыднѣе обманывать жену. Заговорилъ онъ о Варѣ самымъ равнодушнымъ тономъ:

— Знаешь, Клара, кого я встрѣтилъ? Варю! Она давно въ Петербургѣ на курсахъ.

— Вотъ какъ! И не явилась къ намъ?—сказала Клара.

— Тебя, кажется, боится. Ужъ очень много я писалъ имъ, какая ты у меня нарядная куколка. Она вѣдь дѣвушка бѣдная, ну, вѣрно, и стѣснилась явиться къ намъ.

Клара пожала плечами.

— Вѣдь не въ рубищѣ же она ходитъ.

— Нѣтъ, но все же... Я, впрочемъ, не разспрашивалъ подробностей. Понялъ только, что она не знаетъ, насколько будетъ пріятно тебѣ знакомство съ нею...

Видя, что Клара не говоритъ ничего, онъ замѣтилъ, что, конечно, ради тетки было бы недурно изрѣдка видѣться съ Варей. Тетка ее любитъ, какъ родную дочь; старухѣ было бы пріятно, если бы ея любимицу обласкали. Впрочемъ, онъ какъ-нибудь завернетъ къ ней.

— Что-жъ, если хочешь, съѣздимъ вмѣстѣ,—сказала Клара.

Онъ чуть не вскрикнулъ отъ радости, но тотчасъ же опомнился и замѣтилъ равнодушно:

— Отлично, моя крошка, если это тебя не стѣснитъ...

Онъ подошелъ къ ней и поцѣловалъ ее.

— Я тебѣ очень благодаренъ, потому что я, какъ ты знаешь, очень много обязанъ теткѣ, и мнѣ всегда пріятно угодить ей...

И чтобы не возбуждать и тѣни подозрѣній, онъ заговорилъ о другомъ. Дня два вопросъ о Варѣ не поднимался, и Борисъ былъ, какъ на иголкахъ. Наконецъ, онъ получилъ какое-то письмо и, распечатавъ его, замѣтилъ:

— А я думалъ, что отъ тетки... Что-то давно она не писала... Ужъ не расхворалась ли...

Затѣмъ онъ сталъ читать письмо.

— А когда же мы къ ея Варѣ?—спросила Клара.

— Когда вздумаешь, милочка. Это отъ тебя зависитъ,— отвѣтилъ онъ, продолжая читать.

— Мнѣ все равно...

— Хочешь, завтра, послѣзавтра...

— Хорошо...

И опять въ его душѣ пробудился страхъ: какъ встрѣтятся молодыя женщины? не порвется ли все при первомъ свиданіи? между ними нѣтъ ничего общаго...

У него сильно билось сердце, когда онъ дернулъ за звонокъ у дверей Вари. Эти двери отворились, и на порогѣ своей комнаты появилась Варя. Увидавъ Бориса съ молодой, стройной, черноволосой дамой, Варя сразу угадала, кто былъ передъ нею. Она, подавляя свое смущеніе, протянула обѣ руки молодой женщинѣ.

— О, какая вы добрая!—сказала она привѣтливымъ голосомъ.—Какъ рада будетъ тетя, когда я напишу ей, что я видѣла жену Бориса.

— Отъ васъ зависѣло увидать меня гораздо раньше,—не безъ иронiи замѣтила Клара, входя въ комнату Вари.

Варя покачала отрицательно головой.

— О, нѣтъ; вы это знаете, потому что вы сами стояли въ такомъ положеніи, въ какомъ нахожусь я. Вы болѣе чѣмъ кто-нибудь поймете меня, поймете боязнь быть незваной и лишней въ чужомъ домѣ...

И, перемѣняя тонъ, Варя замѣтила:

— А знаете, я, кажется, узнала бы васъ, если бы встрѣтила на улицѣ, такъ вѣрно Борисъ описывалъ васъ въ своихъ письмахъ къ тетѣ. Впрочемъ, кому же лучше и описать любимую женщину, какъ не влюбленному въ нее человѣку.

Клара улыбнулась и взглянула на Бориса влюбленными глазами.

— Да, онъ меня страстно любитъ, до сихъ поръ любитъ,— сказала она, точно желая подчеркнуть свои слова.

— До сихъ поръ!—воскликнула Варя.—Вѣчно будетъ любить и долженъ любить, потому что въ этомъ все его, все ваше счастіе. Да иначе и не можетъ случиться, истинная любовь только крѣпнетъ съ годами, дѣлается прочнѣе, когда люди примѣняются другъ къ другу характерами, привычками,

убѣжденіями, находятъ новыя и новыя достоинства одинъ въ другомъ.

Клара смотрѣла на Варю такими глазами, какъ будто спрашивала: «да развѣ ты уже любила?» Варя инстинктивно угадала это и замѣтила улыбаясь:

— Когда меня взяла тетя, я привязалась къ ней, а теперь—это уже не простая привязанность, нѣтъ, я смотрю ея глазами на все, я люблю то, что она любитъ, ненавижу то...

И уже совсѣмъ весело, со смѣхомъ, она оборвала на полусловѣ:

— Нѣтъ, я ничего и никого не ненавижу, потому что именно это чувство совсѣмъ отсутствуетъ у тети.

И она начала говорить о теткѣ, о деревнѣ, о братѣ Александрѣ...

Когда за чаемъ взглянули на часы, всѣ изумились: собесѣдники проболтали до часу ночи.

— Мы къ вамъ на полчаса ѣхали, милочка,—сказала Клара, цѣлуя Варю.

— И раскаиваетесь, что просидѣли пять часовъ?—смѣясь спросила Варя.

— Нѣтъ, нѣтъ!—поспѣшила замѣтить Клара.

Спускаясь по лѣстницѣ, Клара замѣтила Борису:

— Зачѣмъ ты мнѣ не сказалъ раньше, какая она?

— То-есть какая?—спросилъ онъ.

Клара точно не вдругъ нашла, какъ объяснить свою мысль.

— Такая... что вотъ если бы ты сказалъ, что ты влюбился въ нее, я не испугалась бы.

— Это почему?—спросилъ онъ.—Развѣ она такъ некрасива или...

Клара покачала отрицательно головой.

— Она удалила бы тебя или пришла бы ко мнѣ и сказала бы: «не пускайте его ко мнѣ».

И, задумавшись на минуту, она спросила:

— Ты не знаешь, въ кого она влюблена, кого она любитъ?

— Нѣтъ, я даже не думаю,—началъ онъ.

— Ахъ, что вы, мужчины, понимаете! — воскликнула Клара.—Она любитъ, страстно любитъ кого-то...

Потомъ, припоминая мелочи разговора, она замѣтила:

— Счастливая она, ее всегда любили. Я только сегодня узнала, что у тебя за тетка.

— Я же говорилъ...

— Что ты говорилъ! Я только сегодня узнала ее вполнѣ. Вотъ, если бы у меня такая была тетка или кто-нибудь...

— А Tante Мальхенъ? Развѣ она не добра?

Клара махнула рукой.

— Нѣтъ, нѣтъ, это не то... Какъ это могутъ такіе люди быть. Ходила по тюрьмамъ, больныхъ и бѣдныхъ спасала, не спала ночей за работой для другихъ, не боялась никого, когда нужно было заступиться за кого-нибудь и въ то же время научила вотъ ее, Варю, не одной грамотѣ или шитью, а музыкѣ, пѣнію...

Она опять стала припоминать слова Вари:

— Какъ это она сказала: «знать музыку и пѣніе—это большое счастіе; устанешь за работой—сядешь за фортепіано, играешь, поешь и никуда не тянетъ, ни на балы, ни въ театры, а на душѣ становится тихо и легко!»

Она смолкла и задумалась.

— Наши и этого не понимали, не хотѣли понять,— заговорила она снова.—Думали, что бѣдную дѣвушку достаточно сдѣлать грамотной и хозяйкой... Нѣтъ, я непремѣнно стану учиться музыкѣ. Что-жъ, еще не поздно. Я молода.

Она обернулась къ Борису.

— Ты хотѣлъ бы, чтобы я выучилась играть?

— Милая, что ты спрашиваешь! Я былъ бы такъ счастливъ...

Они проѣхали опять нѣсколько минутъ молча.

— Боря, ты думаешь, она станетъ теперь ходить къ намъ?—спросила Клара.

— Отчего же нѣтъ?—сказалъ онъ.

— Можетъ-быть, я ей не понравилась... Но я... я была бы очень счастлива, если бы она бывала у насъ...

Борисъ изумился. Въ Кларѣ было что-то новое для него. Онъ не понималъ еще вполнѣ ее, не зналъ, что у нея была неудовлетворенная потребность имѣть около себя подругу, добрую, мягкую, немного няньку-подругу. Варя сразу встала съ нею именно въ такія отношенія, и ея слова о томъ, что Борисъ долженъ любить жену, что онъ будетъ всегда ее любить, пробудили въ сердцѣ Клары какія-то новыя чувства. Она страстно любила Бориса, теперь явился человѣкъ, который говорилъ ей, что и Борисъ ее такъ же любитъ, что онъ долженъ ее любить, что онъ будетъ ее любить. Кромѣ того, этотъ человѣкъ навелъ ее на многія мысли, на которыя не успѣлъ ее навести никто, даже Борисъ. Вотъ

она вдругъ поняла значеніе въ ихъ будничной семейной жизни музыки. Борисъ не разъ сожалѣлъ, что его жена не играетъ на фортепіано, но онъ не умѣлъ подсказать ей, что учиться еще не поздно; Варя, подошла къ этому вопросу просто и естественно, навела Клару на эту мысль, сказавъ между прочимъ, что она, Варя кажется, китайскому языку выучилась бы, если бы это доставило удовольствіе любимому человѣку.

«И какъ я рада, что она уже любитъ!»—мысленно закончила Клара.

Она чутьемъ влюбленной женщины угадала правду...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

I.

— Что это не идетъ наша Варя?

Эта фраза повторялась въ квартирахъ Домгофовъ и Тепловыхъ, если Варя не приходила дня три-четыре. Она сдѣлалась необходимымъ членомъ этихъ семействъ. Безъ нея имъ было точно скучно. Въ сущности они не видѣли въ ней никакихъ изъ ряду вонъ выходящихъ достоинствъ, но она была совершенно новымъ человѣкомъ въ ихъ кружкѣ и возбуждала во всѣхъ членахъ семьи Домгофа живѣйшій интересъ.

Когда она разсказывала, какъ живутъ она, тетка Теплова и его братъ Александръ, тихо, трудолюбиво, безъ пріемовъ и визитовъ, не нуждаясь въ шумныхъ собраніяхъ и развлеченіяхъ,—госпожа Домгофъ вздыхала:

— Вотъ моя вѣчная мечта—пожить такъ, не имѣя надобности умильно улыбаться людямъ, на которыхъ и смотрѣть-то не хотѣлось бы.

Когда Варя переходила къ разсказамъ о предметахъ въ родѣ молочнаго хозяйства старушки Тепловой, о трудностяхъ выдѣлки хорошаго масла,—у Tante Мальхенъ разгорались глаза и она восклицала, обращаясь къ госпожѣ Домгофъ:

— Siehst du, siehst du, wie man die Butter vorbereiten muss!

Когда она пояснила, почему она пріѣхала въ Петербургъ учиться, надѣясь получить здѣсь дипломы и обезпечить себѣ самостоятельное, если это будетъ нужно, существованіе учительницы, классной дамы, гувернантки,—mademoiselle Дюмонъ крѣпко пожимала ей руку, говоря:

— Я вамъ вполнѣ сочувствую! Это тяжелый хлѣбъ, но это свой заработанный хлѣбъ!

Когда же Варя, на разспросы окружающихъ о курсахъ, о курсисткахъ, о нравахъ студентокъ, говорила, что она очень довольна преподаваніемъ, что съ учащейся молодежью она мало знакома, пріѣхавъ сюда не знакомиться, а учиться, что нравовъ ихъ она не наблюдаетъ, хотя и думаетъ, что нравы не особенно дурны, а скорѣе хороши у тѣхъ, кто хочетъ дѣйствительно учиться, а не слыть учащимися, и прибавляла, наконецъ, что человѣкъ нравственный вездѣ и всегда можетъ остаться нравственнымъ, если захочетъ, даже въ свѣтѣ, гдѣ, конечно, нравы во сто, въ тысячу разъ хуже, чѣмъ на курсахъ,—тогда у Гретхенъ и Александрины разгорались глазки, и молоденькія дѣвушки шептали Варѣ:

— Милочка, спасибо вамъ! Мама очень предубѣждена противъ всякихъ курсовъ, но, видя васъ, слыша васъ, она измѣнитъ свое мнѣніе!

По уходѣ Вари всегда слышались похвалы ей. Эпитеты: «anstaendig», «praktisch», «gut erzogen», «gemuethlich», такъ и сыпались въ разговорахъ о ней. Клара не безъ гордости думала въ эти минуты: «А любитъ она болѣе всѣхъ меня!» И она имѣла основаніе это думать. Варѣ почти сразу удалось заглянуть въ ея душу, и сердце молодой дѣвушки сжалось болѣзненно, наполнилось сожалѣніемъ къ этой молодой и, повидимому, счастливой женщинѣ. Клара какъ-то чутьемъ угадала въ Варѣ добраго человѣка, преданную душу и, не стѣсняясь, передавала ей все, что было у нея на душѣ. Что же было въ ея душѣ? Ненависть и проклятія всему прошлому: нищетѣ въ родной семьѣ, чужимъ людямъ, окружавшимъ эту семью и грызшимся съ нею изъ-за куска хлѣба; роднымъ, не помогавшимъ этой семьѣ и взявшимъ потомъ изъ жалости ее, Клару; жизни у этихъ родныхъ, гдѣ для Гретхенъ и Александрины не жалѣли ничего, а ее, Клару, водили въ перешитыхъ платьяхъ; молодымъ людямъ, не обращавшимъ на нее вниманія, какъ на бѣдную невѣсту, и даже отказывавшимся отъ нея тогда, когда она, по ихъ же словамъ, нравилась имъ. Отъ страстности этой ненависти и этихъ проклятій Варѣ становилось жутко. Но едва ли не болѣе жутко стало ей, когда Клара съ обожаніемъ говорила ей о Борисѣ: онъ для нея все, онъ спасъ ее отъ ложнаго положенія въ семьѣ, онъ далъ ей возможность испытать сладкое чувство любви. Въ рѣчахъ молодой женщины было

столько беззавѣтной преданности, столько страсти въ отношеніи къ Борису, а Варя со страхомъ думала: «Несчастная, если бы ты знала, что онъ тебя въ сущности не любитъ, не можетъ любить». Она сразу угадала, что между Кларой и Борисомъ нѣтъ никакой духовной связи, общихъ интересовъ, одинаковости развитія, ничего, что можетъ сдѣлать прочнымъ супружескій союзъ, что спасаетъ отъ разлада въ тѣ дни, когда проходитъ простая животная страсть. Изъ разговоровъ съ Кларой Варя поняла, что Борисъ даже не говоритъ съ женой, что они только цѣлуются. Клара не знала вкусовъ Бориса — она даже не интересовалась ими. Клара не знала—сочувствуетъ ли онъ ея стремленіямъ и привычкамъ, такъ какъ и онъ не высказывалъ ей ничего объ этомъ. Варѣ не разъ хотѣлось сказать молодой женщинѣ:

— Клара, да вѣдь ты стоишь надъ пропастью!

Но она воздержалась: ей было бы тяжело развѣять свѣтлыя сновидѣнія о счастіи этой безпомощной женщины-ребенка. Она избрала другой путь,—она осторожно стала наводить Клару на новыя мысли. Зачѣмъ она, Клара, заботится такъ много о нарядахъ? Она такъ хороша и безъ нихъ, а между тѣмъ Борису, можетъ-быть, не по средствамъ тратиться на тряпки. Выѣзды на балы — развѣ этого требуетъ Борисъ? Если нѣтъ, то не лучше ли лишній часъ провести вдвоемъ съ мужемъ, сдѣлать ему еще дороже его уголокъ? Что дѣлаетъ Клара утромъ? Ничего, скучаетъ, читаетъ отъ скуки романы, ѣздитъ отъ скуки по магазинамъ? Не лучше ли учиться? Чему? Всему, что можетъ доставить удовольствіе Борису, — музыкѣ, пѣнію, какому-нибудь серьезному предмету. Нужно хоть какой-нибудь спеціальный предметъ избрать, попросить Бориса помочь въ изученіи, возбудить даже въ немъ интересъ къ этому дѣлу, вѣдь его служба не наполняетъ его души, не занимаетъ его мысли, дома у него тоже все сосредоточено только на ласкахъ, ну, а когда страсть утомитъ, надоѣстъ, когда настанетъ пресыщеніе, что тогда? Иногда Варѣ становилось крайне тяжело выяснять все это Кларѣ—маленькій и совершенно неразвитый умъ молодой женщины работалъ плохо, усвоивалъ съ трудомъ понятія, какъ бы протестовалъ противъ будившей его къ бодрствованію и дѣятельности чужой мысли. Иногда эти бесѣды утомляли Варю, какъ утомляютъ взрослыхъ слишкомъ долгія бесѣды съ дѣтьми. Объяснять, что дважды два четыре, отвѣчать на

ребяческіе «отчего» и «почему», доказывать давно доказанное—это и скучно, и тяжело. Порой Варя даже думала: «и нужно ли это? можетъ-быть, я ошибаюсь? можетъ-быть, Борису такая жена и нужна?» Тогда Варя давала себѣ отдыхъ дня на три, на четыре и оставалась дома. Но къ ней являлся Борисъ, странный, не то озабоченный, не то печальный, и нѣжно говорилъ ей:

— А я ужъ испугался, не захворала ли ты? Слава Богу, что нѣтъ!

— Я же у васъ была недавно, вотъ и теперь собиралась, — лгала она и торопливо бралась за картонку съ шляпой.

— Нѣтъ, останься. Хоть поговоримъ. Тебя и такъ совсѣмъ отняли у меня,—тихо говорилъ онъ, останавливая ее.

Она насильно старалась смѣяться.

— Точно я тамъ не говорю съ тобою! У насъ же нѣтъ секретовъ! Смѣшной ты, Боря!

Онъ опускался на маленькій диванчикъ, закрывъ лицо руками, и тоскливо говорилъ:

— Не смѣйся, Варя, ты знаешь, что мнѣ не легко живется...

Она горячо протестовала:

— Полно, не грѣши! Деньги есть, семейное счастіе есть, молодъ еще, будущее въ твоихъ рукахъ, а ты жалуешься! Стыдись! Распустилъ ты свои нервы, вотъ и все! Я на твоемъ мѣстѣ—да я не знаю, чего бы я ни надѣлала. Примись за серьезное занятіе по душѣ въ свободные часы, отдайся ему всей душой, втяни въ него и Клару, и ты...

Онъ поднималъ голову и съ горечью спрашивалъ:

— И ты убѣждена, что Клара способна на что-нибудь кромѣ поцѣлуевъ?

Тогда у Вари окончательно поднималась въ груди злость.

— А! такъ Клара ни на что не способна? Ты это теперь только увидалъ? Или и прежде видѣлъ и все-таки женился на ней? Что же, это честно? О, если бы тетя тебя слышала! Заставила бы она тебя покраснѣть!

И ходя въ волненіи по комнатѣ, возбужденная, негодующая, она продолжала говорить страстнымъ тономъ:

— Возьмутъ замужъ ребенка, ласкаютъ его, балуютъ, обращаются, какъ съ игрушкой, а потомъ жалуются, что онъ не развитъ, неспособенъ, глупъ! Ты пробовалъ ее развить, поднять до себя, ввести въ свои интересы? Нѣтъ, ты шагу для этого не сдѣлалъ, пальца о палецъ не стук-

нуль? Какъ же ты можешь жаловаться. Вонъ она теперь музыкѣ учится, цѣлые часы проводитъ за роялемъ, дѣлаетъ успѣхи. Значитъ, желаніе есть. Ну, хочется тебѣ чего-нибудь другого—натолкни ее на это, подскажи ей это, научи ее этому.

— Легко сказать,—начиналъ онъ.

Она перебивала его:

— Не возражай, не возражай, если не хочешь нажить во мнѣ врага! Я перестану тебя уважать, если ты не сумѣешь ничего сдѣлать изъ этого милаго ребенка. Это низко, недостойно, взять въ жены такую малютку и загубить ее, не умѣя воспитать изъ нея хорошей подруги жизни, хорошей матери...

У него готовы были сорваться съ языка слова:

— Да неужели ты не понимаешь, что я люблю тебя, одну тебя!

И ему самому становилось и страшно, и стыдно за себя. Передъ нимъ возставалъ образъ другой дѣвушки, уже загубленной имъ.

II.

Послѣ каждаго посѣщенія Бориса Варя въ теченіе нѣкотораго времени старалась не пропускать ни одного дня безъ того, чтобы не зайти въ домъ Домгофовъ. Но эти посѣщенія были далеко не легки: она сама все болѣе и болѣе убѣждалась, что Клара не способна къ развитію, что ея воспитаніе было слишкомъ запущено, что ея мозгъ какъ бы атрофировался и способенъ былъ воспринимать очень ограниченное число идей, понятій, взглядовъ. Тяжелѣе всего для молодой дѣвушки было то, что она начала уже подмѣчать въ супружеской жизни Тепловыхъ легкія облачка, нерѣдко омрачавшія согласіе молодыхъ супруговъ. Клара жаловалась: «Борисъ все не въ духѣ; въ должности его сердятъ; но развѣ я виновата?» Борисъ раздражительнымъ тономъ мелькомъ замѣчалъ: «Бросилъ бы все, если бы былъ свободенъ; теперь же не бросишь, когда не одинъ; съ женой голодать не приходится». Клара въ такія минуты пробовала ласками успокоить Бориса, онъ сухо и рѣзко отстранялъ ее, замѣчая нетерпѣливо: «Ахъ, Клара, отъ поцѣлуевъ легче не станетъ!» Она недоумѣвала: отъ чего же можетъ сдѣлаться легче?..

Какъ-то разъ Борисъ пришелъ къ Домгофамъ и засталъ Варю, поющую за роялемъ. Онъ остановился въ дверяхъ

залы и заслушался ею. Когда она кончила, ее стали просить спѣть еще что-нибудь; она обернулась, чтобы отвѣтить, увидала Бориса, впившагося въ нее горящими глазами, и быстро встала изъ-за рояля.

— Нѣтъ, довольно!—сказала она.

Борисъ сдвинулъ брови.

— Я, кажется, помѣшалъ?—замѣтилъ онъ съ худо скрытой досадой.

— Ты?—спросила Варя.—Чѣмъ же? Просто я устала.

Клара, слѣдившая за этой коротенькой нѣмой сценой, вдругъ поблѣднѣла и закусила губы. Во весь вечеръ она не сказала ни слова съ Варей. Это не ускользнуло отъ вниманія молодой дѣвушки. Когда она уходила, Клара простилась съ ней очень сухо и не спросила ее, какъ дѣлала обыкновенно, когда она зайдетъ. Варя вышла на улицу въ смущеніи. Ужъ не начала ли Клара ревновать? Этого только недоставало! Нѣтъ, надо какъ-нибудь все это кончить. Надо перестать ходить къ нимъ, перестать принимать Бориса. Вотъ самое лучшее. Богъ съ ними! Ихъ семейной жизни не уладишь, а себя измучаешь. Да, можетъ-быть, и они станутъ жить счастливѣе, не видя ее. Варя пришла домой и на другой день сказала горничной, что у нея теперь будетъ много занятій, что она проситъ отказывать всѣмъ, кто бы ни пришелъ. Съ этого дня она стала замыкать свои двери на ключъ. Черезъ два дня она услыхала звонокъ въ передней и знакомый голосъ, спрашивавшій о ней. Служанка отвѣтила, что барышни нѣтъ дома. Посѣтитель ушелъ. Это былъ Борисъ. Прошло около часу. Въ передней опять раздался звонокъ и послышался голосъ Клары. Служанка дала заученный отвѣтъ.

— Неправда, неправда, она никуда не выходитъ вечеромъ кромѣ насъ,—горячо заговорила Клара.

— Право, сударыня, барышни нѣтъ!—увѣряла горничная.

— Ну, такъ я напишу ей, пусти меня въ ея комнату!

— Барышня ключъ взяли съ собой!

— Лжешь, лжешь! она никогда не замыкаетъ своей комнаты!—крикнула Клара и быстро подошла къ двери.

Варя услыхала, что Клара схватилась за ручку двери и начала кричать:

— Отвори! отвори! Я знаю, что ты дома! Сейчасъ отвори!

Варя подошла къ двери, ключъ щелкнулъ, дверь распахнулась, и въ комнату быстро влетѣла Клара, блѣдная, съ сверкающими глазами, осматривая комнату.

— А, такъ ты запираешься отъ меня! Прячешься отъ меня!—крикнула она.

— Я готовлюсь къ экзаменамъ,—спокойно отвѣтила Варя, смотря недоумѣвающими глазами на Клару.

Та, не слушая ее, быстро отдернула половину ширмы и, какъ вкопанная, остановилась на мѣстѣ: за ширмой не было никого. Варя слѣдила за ней тѣмъ же недоумѣвающимъ взглядомъ, не говоря ни слова. Наконецъ, Клара повернулась къ ней лицомъ и рѣзко спросила:

— Гдѣ же онъ?

— Кто?

— Борисъ! Про кого я могу спрашивать, какъ не про него? У меня одинъ мужъ! Я не завожу любовниковъ! Не отбиваю чужихъ мужей!

Варя смотрѣла на нее съ состраданіемъ, не прерывая ее, давая ей высказаться.

— Что-жъ ты молчишь? Борисъ былъ у тебя!

— Да, былъ, но такъ какъ дверь была заперта, то онъ и ушелъ,—отвѣтила Варя.

— Какъ ушелъ? какъ ушелъ?

— Вѣдь и ты ушла бы, если бы я не побоялась, что ты выломаешь дверь,—отвѣтила Варя.

И тѣмъ же спокойнымъ тономъ, дѣлая усилие надъ собой, она сказала:

— И ты, Клара, другой разъ не ломай такъ дверей. Это же совсѣмъ неприлично. Что бы ты сказала, если бы къ тебѣ такъ вломилась я?

— Ахъ, нечего тебѣ прикидываться! Тебѣ не для чего вламываться ко мнѣ!

— А у тебя-то есть на это причины!

Варя съ сожалѣніемъ покачала головой.

— Сядь, успокойся, приди въ себя. Я увѣрена, что тебѣ уже очень стыдно за себя...

И, неторопливо подойдя къ письменному столу, Варя налила въ стаканъ воды.

— На, выпей!—сказала она Кларѣ, какъ мать ребенку.

Потомъ развязала ленты ея шляпы, сняла съ нея шляпу, положила на комодъ и сѣла возлѣ Клары на диванъ. Та уже плакала навзрыдъ по-дѣтски, безпомощно. Варя нѣсколько минутъ молчаливо гладила ея руку, не прерывая ея рыданій. Потомъ ласково сказала ей:

— Ну, полно!

— Ты... ты... должна меня презирать!—воскликнула Клара прерывающимся голосомъ.

— За что? Ревность побѣдить трудно...

— Я никогда... никогда не думала... Это вдругъ пришло... помимо воли... Помнишь тогда, ты пѣла... онъ не спускалъ съ тебя глазъ... весь разгорѣлся... потомъ ты перестала... тебя просили, но ты отказалась пѣть... Мнѣ показалось, что ты это изъ кокетства... и онъ омрачился, когда ты перестала... А я точно вдругъ прозрѣла... И сегодня, когда онъ пошелъ, я вышла тоже... узнала, куда онъ нанялъ извозчика... я пошла... съ лѣстницы уже хотѣла вернуться... Не выдержала... позвонила... А у тебя дверь затворена...

Варя взяла стаканъ и, прерывая отрывистую и безсвязную рѣчь Клары, сказала снова:

— На, выпей еще!

Клара глотала воду, какъ послушное дитя. Теперь она чувствовала себя безсильной, безпомощной, больной.

— Ты ждешь отъ меня оправданій,—начала Варя...

— Нѣтъ, нѣтъ! Ради Бога! — воскликнула Клара молящимъ тономъ и припала къ ея груди.

Варя спокойно продолжала:

— Они нужны, Клара, — если не оправданія, то объясненія. Любовь не спрашиваетъ позволеній и часто не видитъ преградъ. Это невольное чувство, подавить которое не легко. Но ты должна быть спокойна за меня. Я тебѣ не разъ намекала, что мое сердце не свободно, что для меня нѣтъ мужчинъ, на которыхъ я могла бы заглядываться. Я не называла прямо тебѣ, кого я люблю, потому что онъ, любимый мною человѣкъ, просилъ не говорить объ этомъ до поры, до времени. Мнѣ самой такъ дорого мое чувство, что я не хотѣла посвящать въ эту тайну другихъ... Но теперь я не могу скрывать этого ради твоего спокойствія. Я люблю Александра, я его невѣста.

Клара отшатнулась.

— Александра? Брата Бориса? Да онъ на десять лѣтъ старше Бориса? Онъ...

Варя усмѣхнулась.

— Онъ для меня все, Клара: мой духовный отецъ, мой лучшій другъ, мой будущій любимый мужъ...

Ея лицо теперь все освѣтилось счастіемъ. Клара взглянула на нее и бросилась ее цѣловать. Она цѣловала ея

лицо, ея руки, вполнѣ счастливая тѣмъ, что Варя любитъ, страстно любитъ не Бориса, а другого.

— О, я скажу Борису. Я скажу!—говорила она, не сознавая, что она говоритъ. — Пусть онъ знаетъ, пусть не надѣется ни на что...

Варя горько усмѣхнулась.

— Да, ты хорошо сдѣлаешь... это насъ разведетъ навсегда съ Борисомъ.

— То-есть какъ?—спросила Клара.

— Борисъ не любитъ Александра. Узнавъ, что я его невѣста, онъ станетъ мнѣ говорить про брата такія вещи, что ему уже не будетъ у меня мѣста. Я вѣдь знаю хорошо Бориса. Это непремѣнно приведетъ къ разрыву.

Клара испугалась.

— Совсѣмъ разссоритесь? Не будете видѣться?

— Мой другъ, ты будешь покойнѣе!

— Нѣтъ, нѣтъ! Какъ же ты?.. Какъ же?.. ты одна любишь меня... одна...

Она заплакала снова.

— Господи, за что же я должна лишиться единственнаго человѣка, который меня любитъ!.. Никогда, никогда не скажу я этого Борису...

— Успокойся... подумай... Теперь мы и такъ будемъ рѣдко видѣться, у меня занятія... А потомъ, лѣтомъ, скажи все Борису... Авось, онъ къ осени примирится съ этою мыслью и не станетъ меня злить, говоря объ Александрѣ...

III.

Клара искренно убѣдилась, что никогда Варя не только не полюбитъ Бориса, но даже не позволитъ ему заикнуться о своей любви къ ней. Но это была только одна сторона дѣла: Борисъ могъ любить Варю, не встрѣчая даже взаимности, а если онъ любитъ Варю, значитъ онъ пересталъ любить ее, Клару. Разъ пробудившаяся ревность не могла уже пройти безслѣдно, и Клара теперь прислушивалась къ звукамъ голоса Бориса, когда онъ говорилъ о Варѣ; она пожирала его глазами, когда онъ встрѣчался съ Варей или говорилъ съ нею. Иногда Клара не воздерживалась и замѣчала:

— Ты, кажется, нынче жить не можешь безъ Вари!.. Напрасно ты такъ ухаживаешь за Варей, она и не думаетъ о тебѣ, потому что ея сердце занято... Какое счастье, что

Варя такая честная дѣвушка, а то она могла бы вскружить тебѣ голову...

Борисъ пожималъ плечами, говорилъ:

— Что ты выдумываешь?.. Что съ тобой дѣлается?.. Ты, кажется, если бы у меня были мать или сестра, стала бы и къ нимъ ревновать...

Иногда онъ просто обрывалъ ее:

— Перестань говорить глупости!

Тогда начинались слезы.

Разъ дѣло дошло до того, что онъ вышелъ изъ терпѣнія и прикрикнулъ:

— Замолчи! Ты бы лучше поучилась у Вари серьезности и разсудительности, тогда бы дурь и не лѣзла въ голову отъ праздности. Очень весело: все утро работать рядомъ съ разными подлецами и идіотами, а дома слушать безсмысленное шипѣнье... Поневолѣ тутъ убѣжишь изъ дому. Тебѣ этого, что ли, хочется?..

Онъ всталъ изъ-за стола, отодвинувъ свой приборъ. Клара испугалась и бросилась къ нему.

— Борисъ, милый, прости!—воскликнула она.—Пойми, что я люблю тебя... Я иногда сама не понимаю, что со мною дѣлается...

— Ахъ, оставь! Ты только и умѣешь, что обниматься!—нетерпѣливо сказалъ онъ.—Одного умѣнья цѣловаться для супружескаго счастія мало...

— Прежде ты этого не говорилъ... Теперь сталъ говорить, когда она пріѣхала.

— Ну да, когда она пріѣхала!

— Проклятая!—сорвалось съ языка Клары.

— Безсовѣстная ты женщина, вотъ что!—внѣ себя воскликнулъ Борисъ, крѣпко стиснувъ руку женѣ.—Дѣвушка любитъ тебя всей душой, добра тебѣ желаетъ, а ты клянешь ее. И то сказать, кого ты не клянешь? Кому ты благодарна? Ты только себя и умѣешь любить! Стыдилась бы хоть высказывать это...

Онъ оттолкнулъ ее и вышелъ изъ комнаты.

Она разрыдалась. Она дѣйствительно и проклинала теперь Варю, и стыдилась сама этихъ проклятій, сознавая, что Варя ни въ чемъ не виновата. Ей хотѣлось, чтобы Варя была теперь далеко, далеко, и въ то же время она чувствовала, что только Варѣ она можетъ повѣрить свое горе, что только Варя приласкаетъ и ободритъ ее. Эта двойственность чувства страшно мучила ее, тѣмъ болѣе, что

неразвитый умъ не могъ подсказать ей ничего. Она не умѣла думать, а только поддавалась минутнымъ вспышкамъ, минутнымъ впечатлѣніямъ. Если бы она была въ состояніи разсуждать, она, можетъ-быть, не высказала бы своей ревности, не подливала бы масла въ огонь. Она даже не сознавала, что она первая заставила своего мужа уяснить передъ самимъ собою свое чувство къ Варѣ. До вспышки ревности жены онъ не задумывался о томъ, какое чувство онъ питаетъ къ Варѣ. Теперь онъ ясно увидалъ, что онъ любитъ, и любитъ впервые безумною любовью. И какъ это онъ раньше не уяснилъ себѣ этого? Въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ онъ жилъ только мыслью о Варѣ. Въ головѣ были вѣчно одни и тѣ же вопросы: что она дѣлаетъ? когда онъ ее увидитъ? какъ бы остаться съ нею наединѣ? зачѣмъ онъ свелъ ее съ женою и съ родными, лишивъ себя возможности [быть часто съ нею вдвоемъ? Онъ не задавалъ себѣ вопроса, что въ ней нравится ему? Ему нравилось все—ея лицо, ея голосъ, ея споры съ нимъ, ея смѣхъ, ея печаль. Ему было одинаково отрадно съ нею и тогда, когда она ободряла его, подзадоривала его самолюбіе, и тогда, когда она журила его, доходила до рѣзкихъ выговоровъ и упрековъ. Иногда, думая о ней, онъ забывалъ, что онъ женатъ, и строилъ планы, какъ бы онъ жилъ съ нею. Она вырвала бы его изъ этого банка, заставила бы приняться за другое дѣло, требующее большихъ умственныхъ способностей, превратила бы его изъ машины въ человѣка, изъ чернорабочаго въ умственнаго дѣятеля; она осмыслила бы его жизнь, создала бы ему гнѣздо, изъ котораго не потянуло бы никуда, куда стремились бы другіе, чувствуя здѣсь сердечную теплоту и умственный подъемъ; никогда бы она не допустила его до пустоты, скуки, апатіи, умственной спячки. И среди этимъ думъ передъ нимъ носился ея образъ, полный жизни, веселости, бодрости, привѣтливости. Появленіе Клары заставляло его падать съ неба на землю, и онъ готовъ былъ оттолкнуть жену, когда она повторяла ему:

— Ты мой умный и хорошій!

— А ты?—чуть не срывалось съ его языка.—Какова ты?

И онъ негодовалъ на нее, на себя, когда въ его головѣ вдругъ проходили воспоминанія слышанныхъ имъ фразъ: «Похожа на Бэка, такой же длинный носъ... Та дѣвчонка съ темпераментомъ... Эта, вѣроятно, тоже»... Да, да, темпераментъ и больше ничего. Узенькая фигурка, узенькій умъ. Кокоткой бы ей быть.... Онъ самъ стыдился этихъ

мыслей и не могъ отдѣлаться отъ нихъ. Это уже была не простая холодность; начиналась несправедливость, враждебность...

IV.

Борисъ истомился, измучился отъ происходившей въ немъ борьбы и чувствовалъ, что не нынче, такъ завтра онъ у ногъ Вари признается ей въ любви. Зачѣмъ? что изъ этого выйдетъ? Развѣ эти вопросы приходятъ въ голову, когда безумная любовь охватываетъ всего человѣка, лишаетъ его сна, заставляетъ бредить наяву. Совершенно неожиданное событіе внезапно разсѣяло этотъ бредъ, эти грезы, это безуміе и возвратило Бориса къ горькой дѣйствительности.

Извѣстные кружки Петербурга, ищущіе отъ скуки пикантныхъ новостей, были взволнованы одной изъ мошенническихъ продѣлокъ. Въ руки правосудія попалась цѣлая шайка мошенниковъ, не брезгавшихъ ничѣмъ; тутъ было все: обираніе молодыхъ кутилъ, поддѣльные векселя, шулерство, вымогательство и шантажъ. Замѣшаны въ дѣло были и старики, и молодые, и мужчины, и женщины. Объ этомъ дѣлѣ говорили много, преувеличивали его размѣры, передавали цѣлыя легенды о дѣйствующихъ лицахъ, обрадовавшись новому развлеченію, новой темѣ для разговоровъ. Борисъ слышалъ о немъ тоже не мало толковъ въ банкѣ и относился къ этимъ толкамъ съ нѣкоторымъ раздраженіемъ, замѣчая:

— Мошенники радуются, что не ихъ, а другихъ мошенковъ судить будутъ!..

Ганька, услыхавъ разъ подобное замѣчаніе Бориса, сказалъ ему:

— Да тамъ не все мошенники были, а тоже несчастные люди: вотъ тамъ одинъ Петровъ, молодой человѣкъ, судиться будетъ, такъ онъ отъ любви попалъ въ шайку, запутался въ дѣлахъ, а содержалъ дѣвочку, ну, и пошелъ для нея на все. Я его встрѣчалъ въ Зимнемъ саду...

— Охота шляться по этимъ вертепамъ!—съ пренебреженіемъ сказалъ Борисъ.—Благодарите Бога, что еще сами не впутались въ такую же исторію.

— Что-жъ, отъ любви все можетъ случиться.

— Отъ любви! отъ любви! Какъ вамъ не стыдно называть любовью эти отношенія какого-то гуляки Петрова къ какой-нибудь героинѣ Зимняго сада.

— Нѣтъ-съ, Діодатова красавица.

— Что?—почти крикнулъ Тепловъ.—Какая Діодатова? Что вы мелете?

— Эта-съ... любовница Петрова... Діодатова ее зовутъ по фамиліи... Ольга Діодатова... ее тоже графиней въ шутку звали, потому что она хвалилась, что ея отецъ графъ... Петровъ сперва самъ впутался въ это дѣло, а потомъ и ее впуталъ. Теперь и ее судить будутъ...

Ганька говорилъ безъ умолку, какъ человѣкъ, гордящійся тѣмъ, что онъ знаетъ всѣ подробности интересующаго всѣхъ дѣла. Борисъ сидѣлъ, блѣдный, какъ полотно, и ничего не понималъ. Онъ ощущалъ не жалость къ Діодатовой, но безотчетный страхъ, точно готовились судить не ее, а его.

— Вы ее не знали-съ?—спросилъ неожиданно Ганька.

Борисъ очнулся.

— Что вы глупости городите.

— Нѣтъ-съ, я потому, что она разъ спрашивала...

— Что? что?

— Спрашивала, говорю я, про Домгофа и про васъ...

— Что спрашивала? Что?

Борисъ, кажется, готовъ былъ схватить Ганьку за шиворотъ.

— Такъ, просто. «Что, говоритъ, вы у Домгофа служите?»—Да, говорю.—«А Тепловъ тамъ же служитъ?»—У насъ, говорю.—«Кланяйтесь имъ», говоритъ.—Я не посмѣлъ тогда...

— Да что вы пристали ко мнѣ съ этими разсказами!—разозлился Борисъ.—Тутъ дѣла ждутъ, а мы толкуемъ битый часъ о какой-то проституткѣ...

Онъ уткнулся въ бумаги, а въ головѣ, точно молотъ, звучали слова: «кланяйтесь имъ». Не говорила ли она еще чего-нибудь? Не знаетъ ли этотъ Ганька самой сущности дѣла? Съ чего онъ завелъ этотъ разговоръ? Работа валилась изъ рукъ Бориса. Онъ машинально отложилъ бумаги и взялъ газету. «Діодатова, молоденькая дѣвушка, очень красивая собою», читалъ онъ безсознательно. Съ чего это о ней пишутъ? Ахъ, да! вѣдь она судиться будетъ. Онъ отбросилъ газету, всталъ съ мѣста, пошелъ по банку. «Да, вѣдь это та, что графинюшкой называли, это и есть она, Діодатова»,—говорилъ кто-то въ одной изъ группъ конторщиковъ. Черти, черти, далась имъ эта Діодатова! Ужъ не знаютъ ли они правды? Ганька не разсказалъ ли чего-нибудь? Съ чего бы имъ такъ смотрѣть на него, на Бориса?

Онъ далъ себѣ слово оборвать перваго изъ нихъ, кто заговоритъ при немъ о Діодатовой. Онъ далъ себѣ слово не заглядывать въ газеты, чтобы не натолкнуться на воспоминанія о ней. Забыть ее—это самое лучшее. Тѣмъ не менѣе на слѣдующій день онъ лихорадочно искалъ въ газетахъ ея имя и при встрѣчѣ съ Ганькой спросилъ его:

— Ну, опять пишутъ гдѣ-нибудь объ этой... какъ ее?.. Діодатова, что ли!

Ганька услужливо началъ сообщать все, что вычиталъ въ листкахъ мелкой прессы.

«И зачѣмъ я разспрашиваю? Изъ-за чего волнуюсь? Мало ли съ кѣмъ приходится сталкиваться холостымъ мужчинамъ!—мысленно повторялъ Борисъ.—Скорѣй бы кончилось это дѣло! Хоть говорить о ней перестанутъ»...

Наконецъ, желанный день насталъ. Борисъ бродилъ весь этотъ день въ страшномъ волненіи и злился на газеты уже за то, что онѣ ничего не сообщили въ первый день судебнаго разбирательства о дѣлѣ. Онъ даже пожалѣлъ, что не попалъ самъ въ судъ. Сѣлъ бы гдѣ-нибудь въ тѣни, никто не замѣтилъ бы его, а все же зналъ бы все, что тамъ происходитъ. Но что же тамъ происходитъ? Вѣдь онъ ни при чемъ въ этомъ дѣлѣ? Что ему-то до всего этого?.. На слѣдующій день появились газетныя извѣстія о процессѣ. Говорилось о составѣ судей, о физіономіяхъ подсудимыхъ и свидѣтелей, о поведеніи публики. Борисъ швырнулъ газеты, точно онъ ждалъ прочесть въ нихъ что-то другое. Что?—Онъ самъ не зналъ. На третій день появилась рѣчь прокурора. Онъ громилъ подсудимыхъ, и Борисъ почти обрадовался, прочитавъ всю грязь, вылившуюся на Діодатову, на эту дѣвушку, отдающуюся за деньги сегодня одному, завтра другому, не имѣющую ничего святого, дошедшую до послѣднихъ ступеней паденія, пользовавшуюся своею красотой для вовлеченія въ свою шайку молодыхъ людей. Да, да, она именно и была всегда такою. Его только кольнуло замѣчаніе прокурора насчетъ того, что она стоила тѣхъ мужчинъ, которые сближались съ нею. Дуракъ, самъ развѣ не сходился съ этими женщинами. Развѣ безъ нихъ можно обойтись. Это горько, но это неизбѣжно. За это нельзя бросать грязью въ мужчинъ... Во всякомъ случаѣ Борису стало точно легче послѣ прокурорской рѣчи... На слѣдующій день появились рѣчи защитниковъ. Борисъ сталъ лихорадочно читать. «Она на скамьѣ подсудимыхъ, а тотъ негодяй, который соблазнилъ ее и

толкнулъ на путь разврата...»—эти слова защитника Діодатовой Борисъ читалъ и перечитывалъ съ блѣднымъ, похолодѣвшимъ лицомъ. Ему давали публично пощечину, и онъ не могъ отвѣтить на нее, не могъ зажать рта оскорбителю. Цѣлые ушаты грязи выливалъ на него защитникъ Діодатовой, а ее изображалъ жертвой, мученицей, беззавѣтно отдавшейся любимому ею человѣку, опозорившему ее, бросившему безъ куска хлѣба. Раннее дѣтство, годы плохого воспитанія и ученья, тяжелый трудъ швеи, скромная доля неустанной труженицы, помощь семьѣ, обольщеніе гнуснымъ развратникомъ, не знающимъ ничего святого, все это всплыло наружу, разукрасилось цвѣтами краснорѣчія, подняло на пьедесталъ Ольгу Дмитріевну, а у этого пьедестала былъ затоптанъ въ грязь, оплеванъ Тепловъ. «Онъ не стыдился даже брать у нея трудовые гроши»,—между прочимъ, замѣтилъ адвокатъ.

— Подлецъ, подлецъ!—шепталъ Борисъ, сжимая кулаки.

«Въ публикѣ слышались рыданія», писалось въ газетѣ.

— Идіоты!—прибавлялъ Борисъ.

«Когда былъ вынесенъ оправдательный вердиктъ Діодатовой—въ публикѣ раздались рукоплесканія»,—говорилъ далѣе отчетъ.

— Въ балаганъ пріѣхали!—замѣтилъ Борисъ.

«Въ пользу Діодатовой собрали значительную сумму денегъ; говорятъ, кто-то взялъ ее на свое попеченіе»,—продолжалъ разсказывать репортеръ.

— А, въ моду теперь войдетъ. Героиня дня! Что-жъ, поклоняйтесь проституткамъ, воровкамъ, вы стоите ихъ!—въ бѣшенствѣ шепталъ Борисъ.

Онъ словно осунулся и пожелтѣлъ за это время.

А вечеромъ это дѣло послужило темою для разговоровъ у Домгофовъ. Всѣ вкривь и вкось толковали о подсудимыхъ, о рѣчахъ прокурора и защитниковъ, о вердиктѣ присяжныхъ, о поведеніи публики. Борисъ не выдержалъ и разразился гнѣвною рѣчью противъ снисходительности присяжныхъ, противъ развратной публики, готовой покровительствовать подобнымъ женщинамъ, противъ адвокатовъ, дѣлающихъ изъ этихъ женщинъ мучениць.

— Да, но послѣ рѣчи адвоката не сладко и тому, кто довелъ эту дѣвушку до этого паденія,—замѣтилъ кто-то.

— Довелъ! довелъ!—загорячился Борисъ въ какомъ-то бѣшеномъ порывѣ.—Никто не довелъ ее, сама дошла до этого, всегда была такою! Сваливаютъ вѣчно на мужчинъ,

а посмотрѣли бы, что такое эти женщины сами по себѣ. До мозга костей была испорчена, съ колыбели была испорчена, потому и пала...

Никто не возражалъ ему, не останавливалъ его, какъ вдругъ послышался голосъ Вари, сидѣвшей въ глубокой задумчивости:

— Ты зналъ ее?

Бориса точно холодной водой облило.

— Я?.. Съ чего ты взяла?

— Я думала, что видѣлъ... ты такъ безапелляціонно обвиняешь именно ее, а не того, кто первый толкнулъ ее на этотъ путь... Такъ судить нельзя: надо знать обѣ стороны, чтобы осуждать...

И, опять задумавшись, она добавила:

— Мнѣ вотъ страннымъ образомъ знакома эта фамилія... Я все вспоминала, гдѣ я ее слышала, читала... Рѣшительно не могу вспомнить, но я ее знаю... навѣрное знаю хоть по слухамъ...

Борисъ пробормоталъ:

— Фамилья сотенъ незаконнорожденныхъ... Діодатова, значитъ: Богомъ данная...

Варя вдругъ какъ-то вздрогнула, услышавъ произнесенную Борисомъ фамилію Діодатовой; она подняла голову и широкими глазами взглянула на него. Ей внезапно съ поразительною ясностью припомнилось теперь, когда эту фамилію произнесъ именно онъ, что она въ былые дни слышала ее отъ Бориса,—слышала, что съ нимъ рядомъ живетъ швея Діодатова. Она почти со страхомъ, боясь повѣрить уже мелькавшей въ ея головѣ мысли, смотрѣла на Бориса, какъ бы спрашивая его: «да скажи же что-нибудь! опровергни мои подозрѣнія, очисти себя отъ нихъ».

Онъ почувствовалъ на себѣ этотъ пристальный, испытующій взглядъ и какъ-то невольно затихъ, низко опустивъ на грудь голову.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

I.

Дѣло Діодатовой надолго испортило настроеніе Бориса и, къ величайшей его досадѣ, оно перешло въ высшую инстанцію, суля ему въ будущемъ еще не мало тревогъ и досадъ. Впереди ожидались дни, когда газеты опять, за недостат-

комъ другого матеріала, заговорятъ объ этомъ дѣлѣ, а вслѣдъ за газетами заговорятъ о немъ и разные праздные люди, радующіеся всякому новому скандалу, чтобы разсѣять свою скуку. Волнуемый этимъ дѣломъ, Борисъ тосковалъ и о Варѣ, уѣхавшей на лѣто въ провинцію. Молодому человѣку казалось, что ему было бы легче, если бы Варя была въ Петербургѣ: онъ излилъ бы передъ нею свою душу, сознался бы ей во всемъ, нашелъ бы въ ней участіе, сочувствіе, прощеніе. Безъ нея ему некому было повѣрить своихъ душевныхъ тайнъ. Въ тревожномъ состояніи духа человѣкъ всегда находитъ новыя и новыя причины для волненій, и Борисъ былъ именно въ такомъ положеніи. Почти каждый день въ газетахъ появлялись извѣстія о крахахъ банковъ, о кражахъ, совершенныхъ кассирами, о банковскихъ безпорядкахъ и злоупотребленіяхъ въ Петербургѣ и въ провинціи. О банковскихъ дѣльцахъ говорилось во всѣхъ газетахъ, во всѣхъ сатирическихъ листкахъ то съ презрѣніемъ, то съ негодованіемъ. Лучше ли было то учрежденіе, гдѣ онъ служилъ? Могъ ли онъ сказать, что это учрежденіе стоитъ выше нареканій? Онъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ на служебной лѣстницѣ и волей-неволей ближе ознакомился съ порядками, окружавшими его. Эти порядки были неприглядны. Заправилы банка были тѣми щуками, которыя сторожатъ дремлющаго карася-акціонера. Не нынче, такъ завтра, ему, Борису, придется дѣятельно помогать этимъ щукамъ, принимать участіе въ ихъ продѣлкахъ, исполнять ихъ распоряженія, зная хорошо нечистыя цѣли этихъ распоряженій и не смѣя отвѣтить отказомъ повиноваться. Онъ, можетъ-быть, очень легко бы примирился съ своимъ положеніемъ, если бы его нервы не были разстроены, если бы онъ не ощущалъ какой-то неудовлетворенности, если бы онъ не находился въ томъ положеніи, когда человѣкъ готовъ плакаться и на зной, и на холодъ, и на дождь, и на вѣтеръ, какъ разблажившійся ребенокъ.

Это настроеніе, конечно, не могла измѣнить Клара, особенно теперь; она была въ интересномъ положеніи и сама начинала испытывать тяжелыя душевныя мýки, являвшіяся слѣдствіемъ физическихъ немощей. Головныя боли, тошнота, одышка, все это отражалось на расположеніи духа. Иногда ей приходилось лежать по цѣлымъ днямъ, иногда ей точно что-то щемило сердце и захватывало духъ, иногда она капризно жаловалась на свое состояніе, смотря на чудные лѣтніе дни. Лѣто стояло теплое, сухое. Острова сверкали

яркою изумрудною зеленью. Опоясывающія ихъ широкія ленты воды были гладки и блестящи, какъ зеркало. Въ воздухѣ пахло цвѣтущими липами, розами, левкоями. Въ комнатахъ дачи было жарко и душно, невольно хотѣлось выйти на воздухъ, прокатиться въ лодкѣ, выкупаться въ холодной водѣ. Ничѣмъ этимъ не могла пользоваться молодая женщина — докторъ предписывалъ ей полнѣйшее спокойствіе, съ сомнѣніемъ смотря на ея худенькую, узенькую, хрупкую фигурку.

Сначала жалобы Клары раздражали Бориса: онъ не понималъ, что она переживаетъ страшно мучительное время первой беременности, и думалъ, что она просто блажитъ и капризничаетъ, такъ какъ выносятъ же другія женщины бодро подобное положеніе. Но когда докторъ замѣтилъ ему однажды, что Кларѣ нужно быть очень осторожной, Борисъ сказалъ:

— Но вѣдь, докторъ, ея беременность еще въ началѣ...

— Я знаю, но ей нужно набраться силъ, не повредить какъ-нибудь себѣ,—отвѣтилъ докторъ.

И какъ бы про себя замѣтилъ:

— Есть женщины, которымъ просто не слѣдовало бы выходить замужъ.

Борисъ встревожился.

— Что вы хотите этимъ сказать, докторъ?

— Хрупкое она существо, узкія формы. Впрочемъ, вы не волнуйтесь заранѣе, а только берегите ее, старайтесь о соблюденіи всѣхъ моихъ предписаній. Барыни вѣдь въ ея положеніи обыкновенно привередничаютъ и часто дѣлаютъ глупости, отзывающіяся на нихъ потомъ.

И докторъ началъ приводить разные примѣры, разсказывать о томъ, что дѣлала та или другая изъ его паціентокъ, несмотря на его предостереженія. Борисъ почти не слушалъ его, весь охваченный тревогою за жену. До этой минуты онъ точно и не подозрѣвалъ, что она можетъ страдать; теперь онъ даже преувеличивалъ въ своемъ воображеніи эти страданія и ощущалъ въ душѣ что-то въ родѣ упрековъ себѣ за то, что онъ виновникъ этихъ страданій.

«Есть женщины, которымъ не слѣдовало бы выходить замужъ»—эти слова доктора засѣли въ его головѣ. Бѣдная малютка! развѣ она знала это? А онъ, Борисъ, вѣдь онъ тоже не зналъ этого. Что если она умретъ? Въ его душѣ пробудилась особенная нѣжность къ Кларѣ: она казалась ему умирающимъ ребенкомъ. Онъ сталъ чаще и дольше

просиживать съ нею у ея кушетки, болтая съ нею, читая ей книги, развлекая ее. Порой она тоскливо говорила, что ей хотѣлось бы теперь покататься, погулять, повеселиться. Иногда она жаловалась, что ей досаждаютъ разносчики, кричащіе около дачи, экипажи, проносящіеся мимо дома по дорогѣ «на Стрѣлку».

— Въ деревнѣ бы теперь укрыться, въ глуши,—говорила она.—Вотъ счастливая Варя, она ничего этого не слышитъ.

И, вспомнивъ о Варѣ, она разъ замѣтила:

— И какое блаженство испытываетъ она, увидавъ опять своего Александра...

Борисъ насмѣшливо улыбнулся.

— Ну, онъ-то особеннаго блаженства не можетъ доставить. Говоритъ, я думаю, теперь съ нею о великихъ міровыхъ вопросахъ скучно и назидательно...

Клара отрицательно покачала головой.

— Нѣтъ, нѣтъ... Впрочемъ, я вѣдь еще не говорила тебѣ... Варя невѣста Александра...

Борисъ широко открылъ глаза и слегка поблѣднѣлъ.

— Съ чего ты взяла,—началъ онъ.—Александръ на десятокъ лѣтъ старше меня; онъ сухой теоретикъ, фразеръ...

— Она его страстно любитъ,—сказала Клара, зорко слѣдя за Борисомъ.—Она сама сказала мнѣ это.

Онъ въ волненіи всталъ съ мѣста и заходилъ по комнатѣ ошеломленный этою новостью. У Клары уже блестѣли глаза, лицо покрылось пятнами отъ волненія.

— Это сумасшествіе! Это сумасшествіе! — говорилъ Борисъ.—Зачѣмъ ты мнѣ не сказала этого раньше? Я бы поговорилъ съ ней, постарался бы ее образумить. Какая же онъ ей пара?..

— А кто же ей пара? — спросила Клара и уже съ горечью прибавила:—Если бы она стала слушать тебя, то ей пришлось бы остаться дѣвушкой...

Онъ ничего не отвѣтилъ, занятый мыслью о судьбѣ Вари.

— Ты бы отсовѣтовалъ ей вообще выходить замужъ, — продолжала Клара, тяжело дыша: — я вѣдь могу умереть...

Онъ очнулся при этомъ напоминаніи о смерти.

— Клара, зачѣмъ ты сама портишь себѣ жизнь? — сказалъ онъ съ упрекомъ.

Она заплакала. Неужели онъ думаетъ, что она не видѣла, не понимала? Да, онъ влюбленъ въ Варю. Нечего возражать: это ясно, какъ день. Варя не любитъ его, но онъ все же влюбленъ въ нее. Но напрасно, напрасно! Если

даже умретъ она, Клара, то Варя все же не выйдетъ за него замужъ. Она честная дѣвушка и не измѣнитъ своему жениху. Встревоженный слезами жены, боясь за ея здоровье, Борисъ успокаивалъ ее, какъ умѣлъ, увѣрялъ въ своей любви, цѣлуя ея руки и лицо. Мало-по-малу, она успокоилась и, утомленная волненіемъ и слезами, задремала. Борисъ остался сидѣть у ея кушетки и задумчиво смотрѣлъ на эту худенькую, узенькую фигурку, обезображенную теперь беременностью. Въ его головѣ проносились отрывочныя фразы доктора: «есть женщины, которымъ не слѣдуетъ выходить замужъ», «хрупкое она существо, узкія формы»...

«Узкія формы — узкій умъ, — мелькнуло въ головѣ Бориса, и о чемъ онъ ни старался теперь думать—эта мысль стучала, какъ молотъ, въ его мозгу.—Не способна сдѣлаться матерью, не способна быть женою. Неужели же онъ прежде-то не могъ сообразить хоть того, что этотъ узкій умъ не способенъ ни къ какому развитію? Неужели онъ не могъ разсудить прежде, что съ такой подругой жизни тяжело прожить всю жизнь? Чѣмъ она увлекла? Ужъ не тѣмъ ли, что за ней дали кое-какія деньжонки, что его пристроили на хорошее мѣсто за женитьбу на ней? Нѣтъ, нѣтъ, просто она пробудила въ немъ жалость, онъ позволилъ ей любить его изъ сожалѣнія къ ней, онъ изъ состраданія приласкалъ ее, оскорбленную и униженную негодяемъ, и вотъ плоды... или умретъ, не выдержавъ родовъ, или будетъ весь вѣкъ несчастною женою, мучимой ревностью и... что тутъ хитрить!.. нелюбимой мужемъ!.. Да, да, онъ ее не любитъ, онъ жалѣетъ ее, онъ сочувствуетъ ея страданіямъ, онъ готовъ плакать съ нею о ней, но любить — нѣтъ, онъ не въ силахъ любить ее!..»

II.

Каменный и Елагинъ острова, утонувшіе въ зелени, прорѣзанные то тутъ, то тамъ прудами и рѣчками, окаймленные рукавами многоводной Невы, утромъ и въ полдень точно дремлютъ, отдыхая въ безлюдьи отъ сутолоки, наполняющей ихъ по вечерамъ. Тишина, особенно на Елагиномъ, въ утренніе часы, нарушается только пѣніемъ и чириканьемъ птицъ, да голосами играющихъ въ укромныхъ уголкахъ дѣтей. Десятки аллей остаются совершенно пустынными и вплоть до вечера здѣсь не встрѣтишь на пескѣ слѣда человѣческаго. Въ этихъ глухихъ уголкахъ, окаймленныхъ кустарниками, любилъ бродить Борисъ въ свободныя минуты,

отдавшись своимъ думамъ. Въ немъ шла какая-то внутренняя работа, какая-то мимовольная борьба. Пѣсня птицы, запахъ скошеннаго сѣна, мычаніе коровъ, все уносило его мысли въ деревню, и передъ нимъ возставали однѣ и тѣ же картины: Александръ и Варя идутъ рука объ руку лѣсной опушкой или межою въ полѣ, и тихо ведутъ разговоръ о счастіи, о любви, о будущей жизни, а кругомъ нихъ просторъ, тишина, безлюдье, все пространство утонуло въ зелени, надъ ними бездонное глубокое небо, надъ ними свѣтъ солнца, и въ воздухѣ звенитъ, дрожа крыльями, жаворонокъ; у нихъ, у Александра и Вари, нѣтъ ни страха, ни сомнѣній, ни угрызеній совѣсти, ни несбыточныхъ надеждъ, въ ихъ душахъ все спокойно, ясно, уравновѣшено. А у него, Бориса? Зависть, злоба, недовольство собою, все это поднялось въ душѣ, и ему хотѣлось, чтобы сдѣлалось что-то такое, что перевернуло бы вдругъ весь строй его жизни. Тогда мелькала мысль: «вотъ умретъ Клара», и ему становилось и жутко, и стыдно за самого себя, точно это была не простая мысль, а желаніе. «Но что же, если умретъ,— продолжало мелькать въ головѣ. — Развѣ тогда лучше будетъ?» И вдругъ являлось страстное желаніе убѣдить себя, что Варя не любитъ Александра, что ее нужно отговорить, что этотъ бракъ нужно разстроить. Отговорить? Какъ? Писать объ этомъ письма, которыя будетъ читать онъ, Александръ? Борисъ сжималъ кулаки, стискивалъ зубы въ безсильной злобѣ. И опять его охватывалъ стыдъ: «Клара еще жива, а я уже хочу переступить черезъ ея трупъ». Нѣтъ, нѣтъ, это низко, подло! Онъ не желаетъ ея смерти, онъ сдѣлаетъ все для ея спасенія, онъ постарается примириться со своею участью. А если она все же умретъ? Что тогда? Онъ останется одинъ, безъ любви, безъ поддержки? Онъ— слабый человѣкъ, ему нужна поддержка умной любящей женщины. Такъ-то, самъ по себѣ, одинъ, до чего онъ дошелъ? Погубилъ Діодатову, погубилъ Клару, пошелъ служить въ томъ мѣстѣ, куда не влекло его призваніе, гдѣ онъ сдѣлается или машиной, или мошенникомъ. Чтобы выбиться изъ этого омута, ему нужна опора любящей женщины, умной, твердой, развитой... Вари! Онъ и нашелъ бы эту опору, если бы не Александръ. Этотъ человѣкъ опять является причиной его несчастія. Враждебное чувство противъ брата снова поднималось въ душѣ, и оно было тѣмъ мучительнѣе, что Борисъ уже не могъ теперь, какъ онъ дѣлывалъ въ годы дѣтства, обвинять, бранить, топтать въ грязь брата...

III.

Въ концѣ августа, когда Тепловы уже перебрались на свою городскую квартиру, въ Петербургъ вернулась Варя и посѣтила Клару. Она застала молодую женщину въ постели. Увидѣвъ Варю, Клара очень обрадовалась ей въ первую минуту, но радость быстро смѣнилась чувствомъ тревоги, зависти, ревности. Варя за лѣтніе мѣсяцы еще болѣе поздоровѣла, расцвѣла; она вся сіяла счастіемъ и съ первыхъ же словъ объявила Кларѣ, что она теперь можетъ говорить всѣмъ, что она невѣста Александра; они обручились и повѣнчаются будущимъ лѣтомъ. Молодая дѣвушка говорила съ увлеченіемъ, горячо, страстно. Клара на полусловѣ прервала ея разсказъ.

— Не вѣрю я, что ты выйдешь за него замужъ, — проговорила она.—Ждать еще годъ—какая же это любовь?

— Да какъ же быть?—замѣтила Варя. —Мнѣ еще два года нужно пробыть здѣсь на курсахъ. Я даже не знаю, можно ли будетъ повѣнчаться будущимъ лѣтомъ. И объ этомъ нужно справиться. Бросать же курсы не приходится, дипломъ нуженъ непремѣнно. Безъ соблюденія этихъ формальностей...

— Ахъ, если любишь, о дипломахъ не станешь думать!— воскликнула Клара, опять перебивая ее.

Варя улыбнулась, хотѣла что-то сказать, но Клара продолжала горячо:

— Нѣтъ, это ужъ какая любовь, если свадьбу откладывать изъ-за пустяковъ, изъ-за дипломовъ можете. Можетъ быть, еще и передумаешь не разъ... Ты молода, здорова, хороша собою, еще много ухаживателей найдется...

Лицо Клары совершенно омрачилось; она стала капризнымъ тономъ обижаемаго человѣка жаловаться на свое здоровье, на свои опасенія.

— Вотъ умру, — вдругъ замѣтила она. — Борисъ будетъ свободенъ.

Варя молчала; Клара зорко всматривалась въ нее, точно ожидая, что она скажетъ.

— Вотъ онъ тогда за тебя свататься станетъ,—задыхающимся голосомъ закончила она, не дождавшись отвѣта Вари.

Варя пожала плечами.

— Скажи, зачѣмъ ты сама тревожишь себя этими мыслями?—спросила она. — Ты не умрешь, ему не придется свататься за меня, я...

— А если, а если умру, — горячо перебила Клара: — ты не пойдешь за него? Не пойдешь?

— Ахъ, перестань!—нетерпѣливо сказала Варя.—Ты же слышала, что я невѣста...

— Нѣтъ, нѣтъ, ты поклянись, что не пойдешь за Бориса...

Варю начинала раздражать эта сцена.

— У тебя страшно разстроены нервы! — проговорила она.—Тебѣ нужно...

— Нѣтъ, нѣтъ, ты не отклоняйся! Поклянись! — горячо повторяла Клара.—Поклянись! Это меня успокоитъ!

Варя передернула плечами и, не скрывая своей досады, проговорила:

— Клянусь тебѣ, что не пойду за него... Хотя, право, это такой ребяческій капризъ съ твоей стороны...

— Нѣтъ, нѣтъ, я буду спокойнѣе! Я и ему скажу, чтобъ онъ не желалъ напрасно моей смерти, чтобъ онъ не надѣялся...

И, почти не сознавая того, что она говоритъ, она продолжала:

— Вотъ ты теперь пріѣхала, я больна, и онъ станетъ бѣгать къ тебѣ, станетъ говорить о любви. Его вѣдь не удержишь, если онъ будетъ надѣяться... Я ему скажу, что все это напрасно, что ты дала мнѣ клятву, что если ты ее нарушишь—я явлюсь къ вамъ изъ гроба...

Варя съ состраданіемъ улыбнулась. Ей было и досадно, и смѣшно, и грустно. Клара подмѣтила ея улыбку и опять заволновалась.

— Ты не вѣришь развѣ въ загробную жизнь?—съ ужасомъ воскликнула она. — Ты думаешь, что мертвые ничего не знаютъ? Ты думаешь, что я не могу придти, если ты нарушишь клятву?..

Варя поднялась съ серьезнымъ, почти строгимъ выраженіемъ лица и взялась за шляпку.

— Клара, не профанируй святыхъ понятій... Если загробная жизнь есть, то, вѣрно, это не такая пошлая жизнь, какая идетъ здѣсь. Если ты вѣришь въ Бога, то ты должна вѣрить и въ то, что передъ лицомъ Его ты не станешь думать о любовныхъ похожденіяхъ Бориса...

Клара не поняла ее и продолжала настойчиво, капризно:

— Нѣтъ, нѣтъ, ты не утѣшай себя тѣмъ, что можно обмануть мертвую, что клятва, данная теперь, ничего не будетъ значить послѣ моей смерти. Ты, можетъ-быть, потому такъ легко и поклялась? Но мертвую не обманешь. Я приду. Помнишь, въ Терезѣ Ракенъ у Золя... Ты вѣдь

читала этотъ романъ... Утопленный-то любовниками мужъ покоя имъ не далъ, довелъ до самоубійства... О, покойники мстятъ!..

Варя стала прощаться съ нею. Клара вдругъ испугалась. Ея лицо измѣнилось, приняло молящее выраженіе, губы бормотали:

— Ты не сердись на меня, ради Бога! Что-жъ дѣлать, если я страдаю. Я тебя люблю, видитъ Богъ, люблю, но я не хочу, чтобъ онъ желалъ моей смерти, надѣясь на твою любовь. И послѣ смерти не хочу, чтобы вы насмѣхались надо мною, топтали меня...

Варя поспѣшила уйти. Клара смотрѣла ей вслѣдъ какими-то безумными глазами. А что если Варя возненавидитъ ее, Клару? Вдругъ она станетъ мстить? Въ отплату ей, Кларѣ, отобьетъ Бориса? Господи, что же это будетъ? Иногда бывали случаи, что изъ ненависти любовники убивали мѣшавшую имъ жену. Передъ глазами Клары прошли какія-то сцены убійствъ, отравленій, задушеній, вычитанныя въ газетахъ, въ романахъ, въ драмахъ. Ее охватила дрожь. Въ послѣднее время съ ея головой дѣлалось что-то странное — являлись какія-то галлюцинаціи, сновидѣнія наяву, легкій бредъ...

IV.

Въ день посѣщенія Вари Клара чувствовала себя очень худо. Борисъ провелъ весь вечеръ около ея постели. Докторъ подробно разспросилъ его, не было ли какихъ-нибудь непріятностей и, получивъ отрицательный отвѣтъ, прочелъ Теплову цѣлую лекцію о томъ, какъ нужно беречь беременную женщину, при чемъ привелъ нѣсколько поразительныхъ примѣровъ изъ своей практики, — примѣровъ того, какъ ради неосторожности мужей жены платились жизнью. Уходя, онъ запретилъ Борису читать женѣ вслухъ, такъ какъ ея нервы и безъ романовъ были достаточно сильно разстроены. Но за отсутствіемъ чтенія разговоръ между мужемъ и женою тянулся вяло и скучно.

— Что это изъ нашихъ никто сегодня не заглядываетъ,— замѣтилъ Борисъ.

— Сегодня они всѣ въ театрѣ, — отвѣтила Клара. — А тебѣ скучно?

— Нисколько, но тебѣ веселѣе, когда кто-нибудь посторонній есть,—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я знаю, что тебѣ скучно! — проговорила

Клара.—Ахъ, какое страшное положеніе эта беременность. Я понимаю, каково тебѣ, здоровому, смотрѣть на меня больную... сидѣть дома, у моей постели... Но все же потерпи, не оставляй меня... Ты вѣдь никуда не собираешься сегодня?

— Нѣтъ, никуда...

— Если у тебя есть дѣло, работай, читай, только не оставляй меня одну... Мнѣ легче, когда ты тутъ... Страхъ на меня какой-то нападаетъ... Вдругъ станетъ страшно, а чего боюсь—и сама не знаю...

Борисъ привѣтливо улыбнулся ей.

— Ты теперь точно разблажившійся ребенокъ, а я твоя нянька,—сказалъ онъ.

Онъ поцѣловалъ ее, усѣлся въ кресло и сталъ читать. Чтеніе не шло, въ головѣ проносились мысли: «Неужели всѣ женщины въ этомъ положеніи таковы? Нѣтъ, не можетъ быть. Это только она, Клара, такъ переживаетъ свою беременность. Узкія формы, узкій умъ». Онъ почти разсердился на себя при этой мысли и сдѣлалъ усиліе, чтобы не думать, чтобы читать. Но, стараясь углубиться въ чтеніе, онъ чувствовалъ на себѣ взглядъ жены и невольно думалъ о ней. Что за мать изъ нея выйдетъ? Какъ она будетъ воспитывать ребенка? Чему будетъ учить его? Хватитъ ли у нея терпѣнія, умѣнья, ума? Узкія формы, узкій умъ. Борисъ невольно опустилъ книгу, раздраженный собственными своими думами.

— Скучаешь ты?—сказала Клара.

— Нѣтъ, дочиталъ... Пора, кажется, и чай пить?.. Завтра мнѣ надо рано въ должность... Дѣла пропасть...

Борисъ, зѣвая и потягиваясь, пошелъ распоряжаться насчетъ чая, только бы скорѣй закончить вечеръ. За чаемъ онъ такъ много говорилъ о массѣ работы, что самъ сталъ вѣрить въ то, что онъ долженъ скорѣе лечь спать, чтобы завтра пораньше встать...

На слѣдующій день Кларѣ стало лучше, вечеромъ зашли Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ съ работой, значитъ, надолго. Борисъ обрадовался возможности вырваться изъ дома. Онъ ощущалъ потребность провѣтриться, освѣжиться.

— Ты идешь?—спросила его съ испугомъ Клара, увидѣвъ его въ сюртукѣ, а не въ домашней визиткѣ.

— Да, надо по дѣлу, — отвѣтилъ онъ и обратился къ госпожѣ Домгофъ и Tante Мальхенъ:—Вы вѣдь посидите?

Онѣ отвѣтили утвердительно.

Не уходи... Боря, я не могу безъ тебя, — сказала Клара.—Мнѣ скучно...

— Ты же не одна, голубка?—проговорилъ Борисъ.

— И какія у тебя дѣла? Куда ты пойдешь?

— Къ одному изъ сослуживцевъ...

Она чуть не сказала ему, что онъ лжетъ, что онъ пойдетъ къ Варѣ. Впрочемъ, онъ, можетъ-быть, и не знаетъ о ея пріѣздѣ? Она всматривалась въ его лицо тревожнымъ, пытливымъ взглядомъ.

— Не будь долго тамъ, скорѣе приходи, — проговорила она, дѣлая надъ собой усиліе.

— Скоро, скоро вернусь! А у тебя посидятъ...

Госпожа Домгофъ и Tante Мальхенъ въ одинъ голосъ перебили его:

— Мы не уйдемъ до вашего возвращенія!

— Да еще, можетъ-быть, и Варя заглянетъ опять?—прибавила Tante Мальхенъ.

Клара измѣнилась въ лицѣ. Борисъ быстро обернулся къ Tante Мальхенъ:

— Варя? Да развѣ она уже здѣсь?

— А вы и не знали? Она же вчера заходила и къ вамъ, и къ намъ... Поздоровѣла, такая свѣжая и розовая стала...

Борисъ перевелъ взглядъ на Клару; Клара отвернулась. Онъ сразу все понялъ, въ душѣ поднялось злое чувство противъ жены. Но онъ овладѣлъ собою и равнодушно сказалъ:

— Ну, до свиданья!

Едва затворилась за нимъ дверь, какъ Клара разразилась рѣзкими упреками.

— Зачѣмъ вы сказали ему о ней? Пусть бы не зналъ, что она здѣсь? Теперь я минуты не буду имѣть спокойной!

Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ удивились. Онѣ до этой минуты ничего не подозрѣвали. Клара, плача, начала жаловаться на свою судьбу. Борисъ ее не любитъ, онъ любитъ Варю. Теперь онъ будетъ еще сильнѣе любить Варю, такъ какъ она, Клара, больна. Онъ тяготится ею, онъ былъ бы радъ, если бы она умерла. Онъ сейчасъ же женился бы на Варѣ. Еще бы! она здорова и толста, какъ деревенская дѣвка. У него глаза горятъ, когда онъ ее видитъ. Клару онъ взялъ только потому, что ему мѣсто было нужно, деньги были нужны...

— О, о, это низко! — воскликнула Tante Мальхенъ.—

Опомнись, въ чемъ ты обвиняешь мужа! И ты еще говоришь, что любишь его!

Клара вдругъ точно очнулась отъ сна и испугалась сама того, что высказала какъ бы въ бреду. Она заплакала еще сильнѣе безпомощными слезами. Да, да, она низкая женщина, она сама не знаетъ, что говоритъ, она приписываетъ всѣмъ то, чего у нихъ и на умѣ нѣтъ. Варю считаетъ способной на обманъ, Бориса обвиняетъ въ корыстолюбіи. Лучше бы ужъ ей умереть, одинъ бы конецъ.

Ея маленькій умъ былъ совершенно сбитъ съ толку, отуманенъ, подавленъ страннымъ чувствомъ ревности. Старыя родственницы цѣлый вечеръ уговаривали ее, разъясняли ей нелѣпость ея подозрѣній и добились, наконецъ, того, что выяснили все, успокоили ее, вызвали на ея лицо улыбку...

V.

Въ двѣнадцать часовъ явился домой Борисъ...

Когда онъ вышелъ изъ дому—онъ самъ не зналъ, куда онъ пойдетъ. Ему просто хотѣлось провѣтриться. Онъ перешелъ Неву, свернулъ на набережную къ Зимнему дворцу, дошелъ до Мошкова переулка, завернулъ въ него, еще сдѣлалъ поворотъ и очутился у дома, гдѣ жила Варя. Нѣсколько минутъ онъ колебался: идти къ ней или вернуться? Что скажетъ она? Какъ сказать объ этомъ визитѣ Кларѣ? Опять обманывать? На минуту ему стало точно стыдно передъ самимъ собою. Потомъ онъ нетерпѣливо пожалъ плечами, зашагалъ по лѣстницѣ; позвонилъ.

— Барышни нѣтъ дома,—послышалось ему.

Онъ точно во снѣ сталъ спускаться съ лѣстницы, вышелъ на улицу, пошелъ безъ цѣли и вышелъ на Невскій, шагая все дальше и дальше впередъ. Въ его головѣ мелькала мысль, зачѣмъ онъ заходилъ къ Варѣ? Да, зачѣмъ? Это подло, такъ какъ это значитъ обманывать жену, больную, слабую, добиваться гибели молодой дѣвушки. Нѣтъ, онъ долженъ забыть о Варѣ! А на душѣ было страшно тяжело, пусто. На углу Конюшенной онъ увидалъ Ганьку. Молодой человѣкъ шелъ неторопливой походкой съ развальцемъ, посвистывая и помахивая тросточкой, какъ тамбуръ-мажоръ своимъ жезломъ.

— Вы куда?—окликнулъ его Тепловъ.

— Такъ... прогуливаюсь,—отвѣтилъ Ганька, торопливо пожавъ протянутую руку.—Замѣтили, какъ нынче на Нев-

скомъ—барышень совсѣмъ нѣтъ. Говорятъ, запретили имъ ходить. Это только напрасно, холостые люди все равно безъ этого сословія не могутъ обойтись.

Борисъ улыбнулся какой-то странной усмѣшкой.

— А вамъ жаль, что имъ запретили ходить здѣсь?— спросилъ онъ.

— Нѣтъ-съ, мнѣ что, я вездѣ найду, когда надо, а я только къ тому, что напрасно это совсѣмъ. Вотъ тоже жить имъ въ центрѣ города запретили. Что-жъ, одинъ расходъ на извозчиковъ теперь лишній. Говорятъ тоже, что за заставы ихъ выселятъ. Вы не слыхали? Дилижансы будто бы будутъ туда ходить отъ Гостинаго двора и съ угла Владимірской. Пустяки только это, должно-быть...

Онъ захохоталъ.

— А это занятно будетъ, когда придется садиться въ дилижансъ. То-то будетъ шутокъ и смѣху. Мальчишки, знаете, бѣгать будутъ сзади, помяните мое слово! Начнутъ кричать: «ату, ату!»

— Ахъ, вы, шутникъ! — проговорилъ Борисъ, нервно смѣясь.

И вдругъ остановилъ Ганьку.

— Хотите выпить?

— Что-съ... Я-съ...

Онъ совершенно растерялся и замялся.

— Я, Борисъ Михайловичъ, не захватилъ денегъ съ собою...

— Ахъ, вы, чудакъ, не со своей же бутылкой вы будете сидѣть, когда я васъ приглашаю,—сказалъ Борисъ, потрепавъ его по плечу.—Только куда же завернуть?

— Къ Доминику-съ?

— Грязь тамъ...

— Нѣтъ-съ, отчего же... Тамъ наши бываютъ... На бильярдѣ дуются... Ужасно я люблю смотрѣть, какъ играютъ на бильярдѣ. Тоже вотъ въ Пассажъ можно, тамъ семь бильярдовъ.

— Ну, вы только трущобы и знаете...

Они все же зашли къ Доминику...

Среди атмосферы, пропитанной запахомъ кухни, табачнаго дыма, съѣстныхъ припасовъ, пива и водки, среди сутолоки пьющихъ и закусывающихъ, слоняющихся изъ угла въ уголъ и играющихъ на бильярдахъ, громко ссорящихся и таинственно совѣщающихся, то ярко нарядныхъ, то сильно потасканныхъ посѣтителей неряшливыхъ помѣщеній Доми-

ника, Ганька совершенно ожилъ, очутившись въ своей сферѣ. Онъ тотчасъ же разыскалъ еще двухъ сослуживцевъ, и вся компанія, помѣстившись за однимъ изъ столиковъ, смежныхъ съ бильярдной комнатой, принялась пить вино. Начались холостые разговоры, шутки, смѣхъ. Послѣ третьяго стакана вина, Ганька, красный, какъ вареный ракъ, съ блестящимъ лбомъ, оросившимся, точно росою, мелкими капельками поту, вдругъ расчувствовался.

— Спасибо вамъ, Борисъ Михайловичъ, спасибо за сегодняшній вечеръ! — заговорилъ онъ тѣмъ тономъ, какимъ говорятъ обыкновенно рѣчи за обѣдами въ честь начальствующихъ лицъ. — Сегодня я понялъ, что вы намъ товарищъ. Мы всѣ смотрѣли-съ на васъ всегда немного косо. Вы-съ, конечно, образованный человѣкъ, вы положеніе другое имѣете, вамъ нельзя со всякимъ за панибрата... А теперь мы видимъ, что вы не гнушаетесь нами. Мы-съ это понимаемъ... мы-съ...

Онъ еще болѣе вспотѣлъ, запутался и полѣзъ цѣловаться съ Борисомъ.

— Я теперь все, что вы хотите, сдѣлаю для васъ. Скажите: Ганька, полѣзай въ воду за меня—полѣзу! Ей-Богу! Я сердечный человѣкъ.

Онъ захихикалъ какимъ-то подобострастнымъ тономъ, точно прося разрѣшенья на право похолопствовать, и еще разъ поцѣловалъ Бориса. Два другихъ собесѣдника послѣдовали его примѣру. Борисъ началъ оправдываться и разъяснять имъ, что они вовсе напрасно считали его задирающимъ носъ. Онъ всѣхъ ихъ любитъ и считаетъ равными себѣ. Онъ женатъ, потому онъ и не можетъ вести ихъ жизнь, но онъ всегда готовъ быть въ ихъ компаніи, заступаться за нихъ, защищать ихъ интересы. Они думаютъ, онъ не вступается за нихъ? Ошибаются. Онъ стоитъ за нихъ горой передъ правленіемъ. Конечно, онъ получилъ высшее образованіе, у него связи черезъ жену, но онъ все же привязанъ къ сослуживцамъ, къ товарищамъ... Онъ говорилъ безсознательно, подъ вліяніемъ винныхъ паровъ, громко, съ бахвальствомъ. Кто-то изъ присутствующихъ поднялъ стаканъ, крикнувъ:

— Брудершафтъ!

Выпили брудершафтъ и опять облобызались. Опять начались шутки, смѣхъ. Товарищи сами уже требовали вина и ликеровъ на счетъ Бориса...

Когда Борисъ ѣхалъ домой, провожаемый Ганькой, при-

ставшимъ къ нему, какъ пристаютъ собачонки, онъ и Ганька всю дорогу изливались въ нѣжностяхъ другъ къ другу. Борисъ громко и покровительственно говорилъ Ганькѣ:

— Я тебя за уши вытяну въ банкѣ, будешь ты у меня получать старшій окладъ.

Ганька умильно и нѣжно лепеталъ:

— Я за тебя въ огонь и въ воду, потому ты мнѣ старшій братъ, отецъ, все!..

Ганькѣ все казалось, что онъ недостаточно выказалъ свое холопство, и онъ всплакнулъ немножко:

— Несчастный я человѣкъ! Говорить я не умѣю! На сердцѣ много, а словъ нѣтъ. Иной подумаетъ: «вотъ безчувственная свинья». А я всей душой.

Борисъ его ободрялъ:

— Я понимаю... я вижу сейчасъ человѣка...

Подъѣхавъ къ дому Домгофа, они опять облобызались.

— Спасибо! спасибо! — взвизгивалъ Ганька, колотя себя въ грудь, точно это былъ пустой барабанъ.

— Милый ты, сердечный человѣкъ!—кричалъ Борисъ.

Онъ поднимался къ своей квартирѣ въ самомъ свѣтломъ настроеніи. Вино разогнало всѣ черныя мысли, отшибло сознаніе и произвело въ головѣ какой-то хаосъ глупаго, безотчетнаго довольства. Только когда горничная сказала Борису, что у нихъ сидятъ еще Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ, онъ поморщился. Тѣмъ не менѣе, онъ прошелъ въ комнату жены.

— А, вся компанія еще въ сборѣ,—сказалъ онъ шутливо, не своимъ голосомъ.—Теперь я могу смѣнить караулъ...

Клара увидала его сіяющее лицо, раскраснѣвшееся отъ вина и отъ воздуха, услышала его шутливый тонъ, и все, что говорили тетки, мгновенно исчезло изъ ея головы; она взволновалась, лицо опять покрылось пятнами, и изъ ея груди вырвалось восклицаніе:

— Ты отъ нея?..

Борисъ посмотрѣлъ на нее насмѣшливыми глазами, кривя ротъ не то въ улыбку, не то въ гримасу.

— Да, отъ нея... сидѣли съ ней въ трактирѣ и пили вино и пиво...

Онъ обернулся къ теткамъ и проговорилъ уже плохо повиновавшимся ему языкомъ:

— Увѣрьте ее хоть въ томъ, что съ Варей нельзя пьянствовать... а то... чортъ знаетъ, что ей лѣзетъ въ голову...

И вышелъ изъ комнаты.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

I.

Надъ Петербургомъ занимался мутный сентябрьскій день. Все небо было задернуто тяжелыми свинцовыми тучами. Моросилъ, какъ изъ сита, безшумный мелкій дождь. На улицахъ и въ домахъ царила еще полная тишина, точно весь городъ вымеръ. Тепловъ еще крѣпко спалъ въ своемъ кабинетѣ, когда его разбудилъ стукъ въ двери. Онъ лѣниво открылъ глаза, осмотрѣлся, не сразу понявъ, гдѣ стучатъ. Изъ-за двери послышался тихій женскій голосъ:

— Баринъ, баринъ, Борисъ Михайловичъ, вставайте!

— А что!.. Что тебѣ?—отозвался онъ, поворачиваясь на бокъ.

— Вставайте! Барынѣ худо.

Онъ сразу сорвался съ постели и, не одѣвшись, подбѣжалъ къ дверямъ.

— Что случилось?.. Какъ худо?—допрашивалъ онъ горничную, пріотворивъ дверь.

— Очень худо-съ! Доктора просятъ!—отвѣтила горничная.

— Ахъ, Господи!.. сейчасъ!.. Господи!..

Онъ засовался по комнатѣ, охваченный чувствомъ страха, потомъ что-то вспомнилъ, опять подбѣжалъ къ двери.

— Маша, Маша!—позвалъ онъ обратно горничную.— Дайте знать госпожѣ Домгофъ... Кому-нибудь тамъ... Пусть придутъ скорѣе... Я сейчасъ одѣнусь, поѣду за докторомъ... Ахъ, Господи!..

Онъ опять сталъ метаться по комнатѣ, одѣваясь неловко, торопливо, роняя вещи изъ рукъ. Минутъ черезъ десять онъ выбѣжалъ въ переднюю, натянулъ пальто и вернулся, пробѣжавъ въ спальню жены. Клара металась на постели и стонала. Ея лицо осунулось, глаза точно провалились, всѣ черты лица обострились. Увидавъ Бориса, она простонала:

— Акушерку... доктора...

Онъ хотѣлъ что-то спросить. Она не дала ему сказать ни слова и застонала опять:

— Скорѣе! скорѣе!

Онъ выбѣжалъ изъ комнаты и въ дверяхъ столкнулся съ госпожею Домгофъ, едва накинувшей утренній капотъ.

— Господи! что будетъ!—воскликнулъ онъ.

— Успокойся, вѣдь это всегда такъ бываетъ,—сказала она спокойно.—Не у тебя у первыхъ родятся дѣти!..

— Ахъ, что вы говорите! Она умираетъ!

Госпожа Домгофъ иронически усмѣхнулась.

— Я десять разъ такъ умирала!

Онъ, не слушая ее, выбѣжалъ изъ дома, на ходу застегивая пальто. Улица была пуста, у воротъ еще лежали на скамьяхъ дворники, закутавшись въ шубы и почивая безмятежнымъ сномъ праведниковъ. Борисъ почти бѣжалъ, проклиная извозчиковъ, которыхъ не найдешь, когда нужно. Гдѣ-то на поворотѣ улицы онъ увидалъ извозчика, завернувшагося въ кожу, скрываясь отъ дождя, и сладко спавшаго, уткнувшись лицомъ въ подушку сидѣнья. Тепловъ растолкалъ его, крича ему:

— Садись, садись! Вези! вези!

Извозчикъ проснулся, протеръ глаза, потянулся, очевидно, еще не вполнѣ сознавая, гдѣ онъ и зачѣмъ его будятъ.

— Куда?

— Садись, садись! Ахъ, чортъ, тутъ умираютъ, а онъ торгуется! Садись!

Извозчикъ сѣлъ на козлы, началъ подбирать вожжи и шарить позади себя, отыскивая кнутъ.

— Проворнѣй, проворнѣй! Гони въ хвостъ и гриву!

Извозчикъ задергалъ вожжами, приговаривая: «ну, ну, пошевеливайся!» Дрожки задребезжали всѣми колесами, гайками и винтами, дрожа и подпрыгивая на мостовой, точно онѣ сейчасъ должны были развалиться.

— Уфъ!—отдувался Борисъ, теперь только почувствовавшій, что онъ запыхался и усталъ.

Онъ вынулъ платокъ и сталъ отирать мокрое отъ пота и дождя лицо. Въ его головѣ была одна мысль: «скорѣе бы доѣхать, найти бы доктора дома, поспѣть бы во-время». Слово «скорѣе» не сходило съ его языка. Онъ кричалъ это извозчику, толкая его въ спину. То же повторялъ онъ доктору, то же повторялъ онъ акушеркѣ. «Скорѣе, скорѣе!» Кажется, у него не было болѣе никакихъ другихъ словъ, и его бѣсило, что люди недостаточно торопятся, не вполнѣ сознаютъ необходимость спѣшить. Казалось, никто не входилъ въ его положеніе, не сознавалъ, что нужно спѣшить. Онъ бѣсновался и посылалъ всѣхъ къ чорту. «Скорѣе, скорѣе!» кричалъ онъ новому напятому извозчику, возвращаясь домой, и ему казалось, что онъ не поспѣетъ во-время, что дома все кончилось...

Добравшись до своей квартиры, онъ быстро вбѣжалъ въ переднюю, встрѣтилъ тамъ кого-то, крикнулъ:

— Ну, что, что?

— Ничего-съ, докторъ пріѣхалъ,—отвѣтила горничная.

Онъ сбросилъ пальто на полъ, побѣжалъ въ гостиную. Тамъ была госпожа Домгофъ.

— Ну, что, что?

— Ничего, докторъ пріѣхалъ,—отвѣтила она.

Борисъ, выведенный изъ терпѣнія, вскричалъ:

— Знаю, знаю! Я спрашиваю, что Клара?

— Докторъ у нея!

Онъ безсильно опустился на стулъ.

— Господи! Господи, что будетъ!

Госпожа Домгофъ оставила на секунду вязанье, улыбнулась и сказала:

— Будетъ или мальчикъ, или дѣвочка...

Борисъ поднялъ на нее удивленные глаза, точно она сказала что-то чудовищное.

— Какъ вы можете шутить, какъ вы...

Она покачала головой и сказала своимъ обычнымъ тономъ:

— Развѣ непремѣнно всѣмъ нужно терять голову въ этихъ случаяхъ?.. Это такое обыкновенное дѣло. У меня было десять человѣкъ дѣтей, и я знаю, что это дѣлается очень просто...

Потомъ, взявшись опять за крючокъ, она проговорила:

— Ты бы снялъ шляпу, а то голова разболится.

Борисъ теперь только вспомнилъ, что онъ сидитъ въ шляпѣ.

— Но кто же тамъ? кто тамъ?—воскликнулъ онъ.—Какъ вы не поможете?..

— Тамъ довольно народу и безъ меня,—отвѣтила госпожа Домгофъ.—Я вотъ жду, когда подадутъ самоваръ...

— Ахъ, до самоваровъ ли теперь!

— А ты думаешь, что всѣ будутъ и безъ чаю, и безъ ѣды ради того, что у тебя прибавляется семейство?..

Она опять усмѣхнулась.

— Какъ посмотрю я на васъ, на нынѣшнюю молодежь, всѣ-то вы никуда не годитесь... Вамъ все бы должно идти, какъ по маслу... Поженитесь, такъ чтобы мучительныхъ родовъ не было... Дѣти будутъ, такъ чтобы они лбовъ не квасили, да не плакали... Все бы шло безъ сучка...

— Чай поданъ,—доложила горничная.

— Сейчасъ, сейчасъ!—отозвалась госпожа Домгофъ, отложивъ работу и поднимаясь съ мѣста.

II.

Госпожа Домгофъ заставила Бориса усѣсться въ столовой и пить чай. Что, онъ тоже слечь хочетъ, что ли? Это было бы мило: жена хочетъ лежать оттого, что у нея родится ребенокъ, а мужъ слягетъ оттого, что онъ во время ея родовъ не будетъ ни пить, ни ѣсть. Онъ сдѣлалъ бы отлично, если бы поѣлъ и пошелъ бы на службу. Здѣсь онъ вовсе не нуженъ.

— И вы думаете, что я буду покоенъ?—воскликнулъ Борисъ.

— Но мы будемъ покойнѣе, когда ты не будешь здѣсь охать и вздыхать,—резонно отвѣтила госпожа Домгофъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, я не могу, я съ ума сойду!

Она пожала плечами.

— Антонъ всегда уходилъ въ этихъ случаяхъ, чтобы никому не мѣшать...

Въ столовую вошелъ маленькій, пухленькій старичокъ докторъ, отирая свое круглое розовое лицо пестрымъ шелковымъ платкомъ. Борисъ бросился къ нему съ вопросами: что? какъ?

— Боли довольно сильны,—отвѣтилъ докторъ.

— А терпѣнія очень мало,—добавила госпожа Домгофъ.

— О, это у барынь нынче всегда такъ,—отвѣтилъ докторъ, вынувъ табакерку и съ наслажденіемъ нюхая табакъ.— Никакъ не хотятъ понять, что это неизбѣжно... У меня была недавно одна паціентка...

Докторъ началъ разсказывать одну исторію изъ своей практики, входя въ мелкія подробности, характеризующія нетерпѣливость и невыносливость нашихъ молодыхъ женщинъ. Онъ говорилъ степенно, медленно, поучительно.

— Вы бы пошли опять къ ней, взглянули бы,—нетерпѣливо сказалъ Борисъ, перебивая его.

Докторъ посмотрѣлъ на него недоумѣвающими глазами.

— Зачѣмъ? все будетъ въ свое время.

Потомъ онъ опять обратился къ госпожѣ Домгофъ.

— Но меня удивляетъ этотъ случай... Я не ждалъ такъ скоро. Я предполагаю, что были какія-нибудь волненія, непріятности...

Госпожа Домгофъ усмѣхнулась, пожимая презрительно плечами.

— О, если бы и не было волненій и непріятностей, то нынѣшняя молодежь ихъ создастъ сама,—замѣтила она.—

Солнце свѣтитъ—жалуются, что жарко; дождь пойдетъ—ноютъ, что выйти нельзя... Ничѣмъ не угодишь!.. И люди, и обстоятельства, и природа, все и всѣ должны плясать по ихъ дудкѣ...

— Жалкое поколѣніе. Малокровіе, нервы, худосочіе,—хмуро проговорилъ докторъ.—Недавно меня позвали къ одной пацієнткѣ... Боже мой, что за комплекція, что за строеніе!..

Онъ опять началъ разсказывать одну изъ поучительныхъ исторій. На половинѣ разсказа его прервала горничная, доложивъ, что его просятъ къ барынѣ. Борисъ вскочилъ, хотѣлъ бѣжать.

— Куда вы? Это меня, а не васъ зовутъ!—сказалъ докторъ, не спѣша поднявшись изъ-за стола.

Борисъ опять опустился на стулъ.

— Это она вчера своими глупыми выходками уходила себя,—замѣтила госпожа Домгофъ, когда докторъ вышелъ.

— Какими выходками?—спросилъ Борисъ.

— Да вотъ... ревностью... Давно это она тебя ревнуетъ къ Варѣ?..

Борисъ вдругъ вспомнилъ все происшедшее вчера. До этой минуты онъ не останавливался мыслью на событіяхъ минувшаго дня, точно этого дня и не существовало. Теперь все вчерашнее ожило передъ нимъ. Ревнивыя подозрѣнія Клары, его уходъ, его кутежъ, его возвращеніе домой подъ хмелькомъ. Онъ даже поблѣднѣлъ при мысли, что все это было, можетъ-быть, причиною внезапно ухудшившагося положенія жены.

— Я и Малькенъ весь вечеръ вразумляли ее вчера,—продолжала госпожа Домгофъ.—Это вѣдь нелѣпо ревновать къ Варѣ! Да и вообще развѣ можно требовать, чтобы мужъ ни на кого не смотрѣлъ, особенно въ такое время, когда жена больна. Все это эгоизмъ доводитъ до такихъ несчастныхъ исторій. Только о себѣ люди и думаютъ...

Борисъ уже не слушалъ ее. Онъ весь былъ охваченъ мыслью, что онъ причина болѣзни жены. Не слѣдовало уходить вчера, когда она просила остаться. Тоже, въ какомъ видѣ явился домой! Пьянствовать вздумалъ съ какими-то пошляками. И ради чего онъ ставилъ на карту жизнь жены? Ради Вари, которая не хочетъ и смотрѣть на него, которая любитъ другого? А вотъ теперь умретъ Клара, останется онъ одинъ. Гдѣ онъ найдетъ такое преданное существо? Выдумалъ тоже, что она не развита, что она узкая натура.

Ну да, узкая, узкая, но преданная ему вполнѣ... Теперь онъ весь былъ погруженъ въ эти мысли, весь былъ охваченъ раскаяніемъ передъ женою и любовью къ ней... Улучивъ свободную минутку, онъ тайкомъ пробрался въ ея спальню, несмотря на всѣ запрещенія... Она лежала, какъ мертвая, неподвижно, то стискивая зубы, то протяжно охая... Онъ въ полумракѣ съ трудомъ разглядѣлъ черты ея осунувшагося лица и пришелъ въ ужасъ: она казалась трупомъ... Она не обратила на него вниманія при его приходѣ, смотря въ одну точку, куда-то впередъ, вся охваченная физическими страданіями.

— Ты очень страдаешь?—спросилъ онъ ее тихо.

Она едва замѣтно пошевелила головой, боясь вообще двигаться, перемѣнить позу.

— Клара, Клара, ты страдаешь?—спросилъ онъ опять, добиваясь отвѣта.

— Оставь,—медленно проговорила она.

Она пошевелилась и застонала:

— Ахъ, ахъ... уведите!..

Борисъ расплакался. Ему казалось, что она гонитъ его, возненавидѣвъ его. Онъ не понималъ, что она теперь не думала ни о чемъ, ни о комъ, кромѣ себя, кромѣ своихъ физическихъ болей, что она дорожила только полнымъ покоемъ и неподвижностью, такъ какъ это умѣряло муки.

III.

Особенно ярко высказываются узкія эгоистическія натуры во время житейскихъ передрягъ и невзгодъ. При обыкновенномъ ровномъ теченіи жизни онѣ не особенно мозолятъ людямъ глаза своимъ «я», но случись бѣда, и это «я» не даетъ никому покоя, мучитъ и терзаетъ всѣхъ. Болѣзнь Клары была именно такимъ моментомъ, когда сказывались вполнѣ натура этой женщины и натура ея мужа. Молодая женщина не думала ни о чемъ, кромѣ своихъ страданій. Тепловъ тоже не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, «каково ему?» Всѣ должны были цѣлыми днями быть на ногахъ ради нихъ, всѣ должны были думать только о нихъ. У Клары даже точно исчезла любовь къ мужу: она ни разу не справилась о немъ, и когда онъ приходилъ къ ней—она сама говорила «уйди», потому что ея страданія, какъ ей казалось, усиливались въ его присутствіи. Онъ тоже не столько уже думалъ о ней, сколько о томъ, каково ему; эту фразу: «поймите, каково мнѣ»—онъ повторялъ сто разъ въ

день всѣмъ и каждому. Даже госпожа Домгофъ, бывшая матерью десять разъ въ жизни, въ концѣ-концовъ, сбилась съ толку и, кажется, пришла къ убѣжденію, что здѣсь роды являлись не обыкновеннымъ будничнымъ дѣломъ, а чѣмъ-то выходящимъ изъ ряду вонъ, и начала вмѣстѣ съ Кларой сердиться, что по улицѣ ѣздятъ извозчики, и вмѣстѣ съ Борисомъ ругать доктора за то, что онъ въ свободныя минуты разсказываетъ длинныя исторіи про своихъ паціентокъ, когда нужно думать о больной...

Тяжелое настроеніе въ домѣ все росло и росло, и когда докторъ объявилъ, что не ручается за исходъ, всѣ окончательно потеряли головы. Борисъ дошелъ до полной потери сознанія, хваталъ себя за волосы, бился головой о столъ, кричалъ, что пусть пожертвуютъ ребенкомъ, только бы спасти Клару. Докторъ, вспотѣвшій, растерявшійся, бормоталъ, что все будетъ сдѣлано, что возможно, но что на все воля Бога. Борисъ понялъ, что дѣло безнадежно, услышавъ ссылку доктора не на науку, а на Бога. Цѣлую ночь въ квартирѣ, во всѣхъ комнатахъ горѣлъ огонь, всѣ ходили на цыпочкахъ, всѣ говорили шопотомъ. Борису все казалось, что онъ слышитъ стоны и крики, онъ зарывалъ голову въ подушки, чтобы ничего не слыхать, или напрягалъ свой слухъ, чтобы услышать хоть что-нибудь. «Господи, что со мною будетъ, что будетъ!» повторялъ онъ ежеминутно и не могъ додуматься ни до чего,—хуже даже,—не могъ вовсе думать.

И вдругъ въ домѣ началась бѣготня, въ комнатѣ Клары раздавались раздирающіе душу крики, потомъ внезапно всѣ точно замерли, точно у всѣхъ перехватило дыханіе. Борисъ какъ-то инстинктивно почувствовалъ эту зловѣщую тишину, выбѣжалъ въ столовую, увидалъ доктора съ багровымъ отъ усталости лицомъ, обмахивавшагося платкомъ и пившаго большими глотками воду.

— Что? что?—крикнулъ Борисъ.

Докторъ махнулъ рукою.

— Ребенка не могли спасти,—коротко отвѣтилъ онъ.—Мы въ крайнихъ случаяхъ очень часто...

Борисъ перебилъ его:

— Она, она что?

— Надо надѣяться на Бога,—отвѣтилъ докторъ, поднимая глаза къ потолку.—Организмъ хрупкій, эти узкія формы... Случай былъ очень трудный...

Борисъ упалъ на стулъ и закрылъ лицо руками, рыдая навзрыдъ.

— Конечно, молодость можетъ взять свое,—продолжалъ докторъ раздумчиво, какъ человѣкъ, уже потерявшій всякую надежду.— У меня былъ случай... правда, только одинъ случай...

— Я хочу ее видѣть, хочу ее видѣть!—крикнулъ Борисъ, срываясь съ мѣста.

Докторъ удержалъ его.

— Вы ее убьете!.. Теперь ей нуженъ полный покой. Ни разговоровъ, ни шума, ни народа, ни движенія...

— Голубчикъ, на одну минуту, на минуту! Я вѣдь мужъ! Она у меня одна, все...

— Нельзя, нельзя!

Борисъ попробовалъ вырваться. Онъ началъ бороться, крича:

— Вы не смѣете, я ея мужъ!... Пустите!..

Докторъ на минуту измѣнилъ своей сдержанности и уже совсѣмъ сердито сказалъ:

— Такъ вы хотите ея смерти? Это Богъ знаетъ что. Садитесь!

Докторъ почти толкнулъ Бориса. Борисъ опять упалъ на стулъ, опять зарыдалъ:

— Вы поймите, каково мнѣ, каково мнѣ не видѣть ее, не знать навѣрное, что будетъ... О, какая эта пытка!

— А лучше будетъ, если вы своимъ появленіемъ убьете ее окончательно?—сказалъ докторъ, впадая снова въ свой степенный и сдержанный тонъ.—Вотъ у меня недавно одна паціентка начала почти поправляться...

У доктора было столько практики, что на всякій случай у него были свои примѣры...

Настали самые страшные дни. Изъ словъ акушерки, изъ словъ доктора можно было понять, что Клара находится между жизнью и смертью, что если она и выздоровѣетъ, то очень не скоро, что едва ли когда-нибудь она будетъ матерью, что вообще подобнымъ женщинамъ лучше никогда не выходить замужъ, что при самыхъ счастливыхъ обстоятельствахъ теперь, въ будущемъ вторая беременность убьетъ ее окончательно. Борисъ ловилъ всѣ эти намеки, всѣ эти опасенія, и его охватывалъ ужасъ. Острое горе притупилось отъ времени, почти прошло; началось какое-то томительное ожиданіе чего-то неизвѣстнаго: или вдовство, или жена-калѣка. Оба исхода страшили, подавляли. Ему черезъ нѣсколько дней позволили входить въ Кларѣ, взявъ съ него слово, что онъ не будетъ говорить, двигаться, шумѣть. Онъ видѣлъ теперь жену, просиживалъ около нея

по цѣлымъ часамъ. Это былъ какой-то остовъ человѣка съ обострившимся подбородкомъ, съ обострившимся носомъ, съ ввалившимися глазами, съ головой, лишенной волосъ, остриженныхъ на-скоро, кое-какъ. Въ этой головѣ было теперь сходство съ некрасивой головой тощаго птенца галки. Борисъ всматривался въ нее въ полутьмѣ и не находилъ ни одной дорогой, милой черты. Вообще, были ли когда-нибудь эти черты на этомъ лицѣ,—были ли на немъ черты, милыя и дорогія для него, для Бориса? Иногда ему снова вспоминались слова доктора объ узкихъ формахъ и рядомъ съ этимъ являлось представленіе объ узкомъ умѣ. Борисъ сердился на себя за это и не могъ отдѣлаться отъ этого. Иногда ему приходило на мысль, что эта женщина никогда уже не будетъ матерью и, можетъ-быть, даже женою, и въ его умѣ мелькала мысль, что это хуже смерти. Какъ быть навсегда связаннымъ съ этой женщиной, не будучи даже ея мужемъ. Такъ что же, желать ея смерти? Его охватывалъ стыдъ за самого себя, онъ старался напомнить себѣ, что онъ сидитъ у постели страдающей женщины, онъ пробовалъ настроить себя на грустный ладъ, а эти мысли не покидали его. Онъ сжималъ кулаки, стискивалъ зубы, сдвигалъ брови въ бѣшенствѣ на самого себя. Его лицо принимало страшное выраженіе злобы и точно застывало съ этимъ выраженіемъ на долгое время.

— Уйди!—слышался тихій глухой голосъ.

Борисъ не слышалъ, продолжалъ сидѣть все въ томъ же положеніи.

— Уйди!—повторялось снова.—Страшно!

Онъ приходилъ въ себя, теръ себѣ лобъ, не понимая, что было съ нимъ, почему Клара, приходившая иногда въ себя, велитъ ему уйти? Ему хотѣлось броситься передъ ней на колѣни, покрыть поцѣлуями ея руки, спросить ее нѣжно, почему она его гонитъ. Онъ не смѣлъ этого сдѣлать, такъ какъ все это было запрещено. Онъ не могъ бы этого сдѣлать, такъ какъ она уже не внушала ему ничего, кромѣ ужаса. Онъ вставалъ и тихо удалялся. Она смотрѣла ему вслѣдъ почти съ ненавистью. Ей казалось, что онъ ждетъ ея смерти, что онъ злится на нее за то, что она не умираетъ. Еще бы! Иначе съ чего бы онъ дѣлалъ такое страшное лицо? Почему онъ не приласкаетъ ее? Почему какъ только она скажетъ «уйди» — онъ спѣшитъ убѣжать! Никогда онъ ея не любилъ, за деньги и за мѣсто женился, теперь радуется близости ея смерти, женится на другой.

Ея лицо кривилось въ улыбку. Женится! Нѣтъ, на комъ хочетъ жениться, та не пойдетъ за него. Побоится. Она, Клара, не дастъ ей покоя и за гробомъ. Она еще разъ призоветъ ее и возьметъ съ нея еще разъ клятву. Эти мысли развивались то въ горячечномъ бреду быстро и ярко, то медленно и постепенно тянулись въ ослабѣвшемъ мозгу, какъ безконечная нить съ распущеннаго клубка. Любви къ мужу въ этомъ никогда не знавшемъ истинной любви, а теперь подавленномъ физическими страданіями сердцѣ, казалось, не осталось вовсе: было только одно желаніе, чтобы онъ, Борисъ, не любилъ другую...

IV.

Почти цѣлые дни Клара лежала совершенно неподвижно и безмолвно, только изрѣдка начиная метаться и говорить глухимъ, едва внятнымъ шопотомъ. Дежурившіе около ея постели люди, утомленные, измученные, ждавшіе въ глубинѣ души какого-нибудь «конца», давно уже утратили способность различать, говоритъ ли она въ полномъ сознаніи или въ бреду. Они уже потеряли способность замѣчать, какъ она медленно гаснетъ, утрачиваетъ пониманіе окружающаго, дѣлается чѣмъ-то въ родѣ живого трупа. Иногда они слышали, какъ она произносила по нѣсколько разъ одно и то же слово, такъ что, въ концѣ-концовъ, становилось жутко. Болѣе всѣхъ страдалъ Борисъ. Какъ только онъ заходилъ въ комнату жены, его встрѣчала Tante Мальхенъ или госпожа Домгофъ словами: «А, это ты, посиди здѣсь немного. Я отдохну». Онъ садился въ кресло, дежурилъ, иногда вмѣстѣ съ акушеркой, иногда одинъ. Читать въ полутьмѣ было невозможно. Приходилось сидѣть безъ дѣла, отдаваться думамъ. Полумракъ, тяжелая атмосфера, страшный видъ живого трупа, однообразный, едва внятный бредъ больной, физическая усталость, все это мутило умъ, внушало какія-то болѣзненныя думы. Ужъ лучше бы одинъ конецъ. Всѣхъ измучила. И сама такъ страдаетъ, что тяжело смотрѣть. А какъ измѣнилась! Неужели она останется такой, если выздоровѣетъ? Что за жизнь будетъ тогда? Онъ вглядывался въ нее, искалъ какихъ-то милыхъ чертъ, не находилъ ничего и, самъ не замѣчая того, принималъ выраженіе ея лица, осклабившагося, съ какой-то болѣзненной гримасой; онъ двигалъ и перебиралъ конвульсивно пальцами, какъ она. Потомъ, вдругъ очнувшись, онъ стыдился за себя, начиналъ навинчивать себя на тонъ отчаянія, хватался за го-

лову, закрывъ лицо руками, воскликалъ: «Господи, если бы я могъ ее спасти!» какъ бы боясь кого-то, какъ бы стараясь обмануть кого-то—кого? онъ и самъ не зналъ—и разыгрывалъ роль человѣка, теряющаго все. Чаще всего больная повторяла имя Вари; тогда всѣ переговаривались между собою, не позвать ли Варю, и въ то же время боялись, что появленіе Вари взволнуетъ Клару, повредитъ ей. Они все еще думали, что она понимаетъ что-нибудь, чѣмъ-нибудь интересуется, по поводу чего-нибудь волнуется. Они не могли понять, что для нея уже не существовало ни Бориса, ни Вари, никого, что ея губы чисто механически повторяли какое-нибудь слово, какъ механически раскрывались онѣ, когда до нихъ касалась ложка — съ чѣмъ? для больной было все равно. Наконецъ, послѣ долгихъ совѣщаній, рѣшились послать за Варей. Варя явилась. Tante Мальхенъ и госпожа Домгофъ, точно сконфуженныя, стали ее просить быть осторожной съ Кларой, ни за что не сердиться, не возражать. Варя сначала удивилась этимъ предостереженіямъ, потомъ сообразила, что, вѣроятно, эти старухи все знаютъ, и успокоила ихъ. У нея сжалось болѣзненно сердце при видѣ всѣхъ этихъ измучившихся, утомленныхъ людей. Но ее охватилъ почти ужасъ, когда ее ввели въ комнату больной. Она не ожидала, что найдетъ здѣсь то, что нашла. Здѣсь царствовала полутьма, воздухъ былъ пропитанъ лѣкарственнымъ запахомъ, вездѣ виднѣлись аптекарскія склянки, какіе-то пузыри и компрессы, все было въ безпорядкѣ, точно всѣмъ было не до уборки комнатъ. Варя подошла къ постели Клары и присѣла, не рѣшаясь тревожить больную. На постели лежалъ, казалось, не человѣкъ, а трупъ, отталкивающій своимъ безобразіемъ. Ни одной черты прежней красоты не сохранилось на этомъ лицѣ. Ввалившіеся большіе глаза смотрѣли безсмысленно въ пространство и, очевидно, не видѣли ничего. Губы какъ бы прилипли къ деснамъ, и изъ-за нихъ выставлялись стиснутые зубы, казавшіеся теперь слишкомъ крупными, выдающимися. Царившую въ комнатѣ тишину нарушало только безсвязное бормотанье больной, лежавшей неподвижно и шевелившей только пальцами исхудалой руки, лежавшей, какъ плеть, на одѣялѣ. Прислушиваясь къ бреду, Варя услыхала нѣсколько разъ названное свое имя,—названное тѣмъ безсмысленнымъ тономъ, какимъ иногда повторяютъ попугаи одно и то же затверженное слово. Варѣ становилось жутко. Въ головѣ начинали хаотически бродить мысли о томъ, что эта жен-

щина считала ее виновницей своего несчастья, что въ этой душѣ была только ненависть къ ней, что въ жизни такъ трудно прожить, не разбивъ чьего-нибудь счастья, не раздавивъ кого-нибудь на дорогѣ. А что будетъ дальше, если Клара выздоровѣетъ, или если Клара умретъ? По тѣлу молодой дѣвушки прошла дрожь. Но, можетъ-быть, Клара уже ничего не сознаетъ? Видитъ ли она ее, Варю? Она поднялась съ мѣста, подошла ближе къ больной, прошептала тихо: «я здѣсь». Больная оставалась все въ томъ же положеніи, теперь она могла видѣть Варю, но ея глаза смотрѣли такъ же безмысленно и неподвижно, губы же повторяли одно и то же имя. Варя попробовала взять ее за руку, рука была тяжела, и больная, повидимому, не сознавала, что кто-то взялъ ее за руку, и продолжала конвульсивно двигать пальцами, потирая большой палецъ указательнымъ. Варя осторожно оставила опять эту руку и тихо пошла къ дверямъ. Сзади ея раздавалось быстро:

— Варя! Варя! Варя!

Она невольно обернулась—больная лежала все въ томъ же положеніи. Опять какой-то непонятный страхъ охватилъ молодую дѣвушку, и она ускорила шаги. Когда она вышла изъ спальни, она была блѣдна, на ея лбу проступилъ потъ, голова кружилась, ноги подкашивались.

— Вамъ дурно?—спросила Tante Мальхенъ.

— Нѣтъ, такъ... воздухъ тамъ тяжелый,—сказала Варя.

— Да, да, это ужасно дѣйствуетъ. Мы всѣ истомились... Сами какъ помѣшанныя ходимъ... Что, она узнала васъ?

Варя пожала плечами.

— Она совсѣмъ утратила сознаніе...

Tante Мальхенъ вздохнула.

— Ужасное положеніе... между жизнью и смертью. Если бы вы знали, какъ всѣ мы измучились. Просто головы потеряли. Иногда думаешь: когда же конецъ? Это грѣшно, дурно, но мы же люди...

Въ эту минуту вернулся Борисъ; увидавъ Варю, онъ радостно бросился къ ней.

— Спасибо, спасибо, что навѣстила,—проговорилъ онъ, горячо сжимая ея руки.—Видѣла Клару? Какое несчастіе, какое несчастіе! Я не знаю, какъ у меня хватаетъ силъ все это видѣть... и не имѣть возможности помочь...

Онъ сѣлъ и закрылъ лицо руками. Варя не находила словъ, чтобы ободрить или утѣшить его. И что можно было сказать? Она сразу поняла, что здѣсь всѣ уже только тяго-

тится больной, что всѣ не ждутъ ничего, кромѣ ея смерти. И никто не смѣетъ высказать этого вслухъ, стараясь скрыть даже отъ себя эти чувства, повторяя на всѣ лады, что нужно молиться о ея концѣ ради нея самой. Tante Мальхенъ вышла изъ комнаты взглянуть на больную.

— И какое страшное чувство одиночества гнететъ меня,— заговорилъ Борисъ.—Только теперь я сознаю, что я одинъ, одинъ, что я чужой и дома, и въ должности, вездѣ... Некому открыть душу, излить горе...

Онъ началъ жаловаться. Всѣ домашніе устали, всѣ они спѣшатъ, какъ только онъ приходитъ домой, усадить его къ больной, чтобы освободиться самимъ. Еще бы! они Клару никогда не любили, имъ тяжело ухаживать за ней. Это же длится такъ долго! Ихъ винить нельзя, потому что такіе подвиги можетъ совершить только страстная любовь. А каково ему? Онъ чувствуетъ свою безпомощность. Онъ вообще не умѣетъ ходить за больными. Гдѣ же ему—онъ мужчина! Онъ утомленъ, разбитъ. Въ должности тяжело среди чуждыхъ ему людей, дома еще тяжелѣе при видѣ единственнаго существа, горячо любившаго его и теперь обреченнаго на смерть. А впереди что? Умретъ она, и тогда онъ останется совершенно одинъ, одинъ. Кому онъ нуженъ, кому онъ близокъ?

— Дорогая моя, не оставляй хоть ты меня въ это тяжелое время,—воскликнулъ онъ и взялъ за руки Варю, всматриваясь въ ея глаза.

Она вздрогнула, какъ бы очнувшись отъ думъ.

— Полно, не заглядывай впередъ,—тихо сказала она, почти не сознавая, что говоритъ, и такъ же безсознательно освободивъ свои руки изъ его рукъ.—Твоя жизнь еще впереди!

— Нѣтъ, нѣтъ, все искалѣчено, все испорчено!—воскликнулъ онъ.—О, если бы ты знала все, что я пережилъ! Я вѣчно былъ несчастнымъ неудачникомъ. Я только бодрился, обманывалъ себя и другихъ...

Варя хотѣла что-то сказать, но въ комнату вошла Tante Мальхенъ, блѣдная, подавленная, тихо, съ растеряннымъ видомъ проговорила:

— Борисъ Михайловичъ, идите... Я не знаю... кажется...

Онъ рванулся со стула.

— Что? что? Умираетъ?

Варю точно рѣзнуло по уху; въ этомъ крикѣ ей послышалась надежда, чуть не радость. Безсознательно Борисъ самъ почувствовалъ это и съ отчаяніемъ крикнулъ:

— Господи, что же это такое!

— Она, кажется, скончалась! — тихо закончила Tante Мальхенъ.

Борисъ бросился въ спальню жены и тотчасъ же оттуда пронесся страшный вопль. Tante Мальхенъ и Варя поспѣшили туда. Клара лежала неподвижно, все въ томъ же положеніи, какъ ее оставила Варя. У постели ея на коврѣ бился и хватался за волосы Борисъ. Женщины попробовали успокоить его, поднять, увести, но онъ, не слушая ихъ, продолжалъ метаться и кричать на полу, какъ женщина въ истерическомъ припадкѣ.

Это не было притворство, это не была комедія. Онъ готовъ бы былъ, кажется, пустить въ эту минуту себѣ пулю въ лобъ, чтобы доказать всѣмъ и прежде всего себѣ, своей совѣсти, что онъ былъ и остался страстно любящимъ мужемъ...

V.

Въ небольшой гостиной гнѣздышка Тепловыхъ шли по два раза панихиды...

Завѣшанныя картины, зеркала, окна, гробъ съ покойницей подъ парчевымъ покровомъ, запахъ ладана и копоть отъ восковыхъ свѣчей, удушливая атмосфера теплой комнаты, гнусливое чтеніе дьячка, дребезжащее пѣніе священника, дьякона и дьячка, старающихся попасть въ тонъ, опереживающихъ другъ друга, или старающихся догнать одинъ другого,—пѣніе нестройное, но протяжное и заунывное, все это наводило тоску, мутило голову. Слезы лились сами собою, безъ сознанія того, о чемъ плачется. И среди этой обстановки, у стѣны, Борисъ, рыдающій, какъ женщина, закрывъ лицо платкомъ, вздрагивающій, съ трепещущей въ рукахъ зажженной свѣчой. Разстроенные событіями послѣднихъ дней нервы, раскаянье передъ трупомъ жены, сознаніе потери любящаго существа, опасенія за одинокое будущее, подсказываемыя какимъ-то смутнымъ внутреннимъ голосомъ, все сказалось въ этихъ слезахъ. У него не хватало воли сдержать ихъ; онъ безсознательно вызывалъ ихъ, повторяя про себя и вслухъ умиляющія, жалкія, надрывающія душу слова о томъ, какъ любила его Клара, какъ они мечтали о ребенкѣ, какъ онъ надѣялся на прочность своего гнѣздышка. Онъ говорилъ даже то, чего не было, но что могло бы быть при болѣе согласномъ супружествѣ. Онъ былъ точно въ бреду, не стыдился своей слабости, не слушалъ утѣшеній. Подобныя мужскія слезы страшно дѣйствуютъ на женщинъ. Госпожа Домгофъ, Tante Мальхенъ, made-

moiselle Дюмонъ плакали, смотря на Бориса. Глубокое горе охватило и Варю отъ этихъ сценъ, и въ ея сердце проникла щемящая жалость къ нему, къ ея названному брату, къ другу ея дѣтства. Она совершенно забыла, что онъ любитъ ее не братскою любовью, и тихо утѣшала его, какъ мать, когда онъ падалъ головой на ея плечо, обливаясь слезами.

— Если бы тетя знала, какъ страдаетъ ея Боря,—шепталъ онъ чисто по-дѣтски: — она поплакала бы вмѣстѣ со мною, пожалѣла бы меня. Одинъ я здѣсь, одинъ, Варя!..

— Полно, Борисъ, будь мужественнѣе,— шептала Варя, глотая слезы.

— Не могу я, не могу! Голову я потерялъ!—плакалъ онъ.

Когда прошли эти три мучительные дня, когда кончилась церемонія погребенія, и Варя осталась вечеромъ одна въ своей комнаткѣ, она чувствовала себя усталою, измученною, разбитою, съ тяжелой, точно налитой свинцомъ головою, какъ будто она сама перенесла тяжелую утрату. Всѣ мысли вертѣлись около событій послѣднихъ дней. Несчастный Борисъ, какъ онъ потрясенъ! И то сказать, онъ только устроился, только началъ входить въ извѣстную колею, какъ вдругъ судьба выбила его изъ нея. Какъ онъ устроится? Опять начнется холостая, бездомная жизнь. И хоть бы дѣло было по душѣ, придающее бодрость духу, пробуждающее интересъ къ жизни. Теперь бы любящая, развитая, энергичная женщина могла его направить на новую дорогу. Теперь это еще возможно, послѣ будетъ поздно, затянется онъ въ свое нелюбимое дѣло, измельчаетъ, опошлится. Да, теперь онъ переживаетъ роковой моментъ жизни: или можетъ сдѣлаться лучшимъ, болѣе полезнымъ человѣкомъ, или на него придется окончательно махнуть рукою. Бѣдный, бѣдный Борисъ! Привыкнувъ съ дѣтства дѣлиться своими чувствами и мыслями съ старушкой Тепловой, Варя написала ей длинное, страстное письмо, наполненное почти исключительно горькими размышленіями о судьбѣ Бориса, о томъ, что онъ погибнетъ безъ поддержки.

Еще болѣе убѣдилась Варя въ этомъ, когда, черезъ два дня послѣ похоронъ Клары, Тепловъ зашелъ къ Варѣ. Онъ былъ уже не въ томъ возбужденномъ истерическомъ состояніи, какъ во время смерти Клары, какъ во время паники и похоронъ; онъ былъ теперь настроенъ на элегическій ладъ, вздыхалъ, смотрѣлъ грустными глазами, уныло жаловался на судьбу.

— Моя пѣсенка спѣта,—съ грустной задумчивостью го-

ворилъ онъ. — Въ душѣ не только нѣтъ надеждъ, но даже нѣтъ потребности, чтобы онѣ явились. Для чего тѣшить себя ребяческими мечтами, когда умъ подсказываетъ, что это мечты, мечты и только мечты!

— Полно, Борисъ! Можно ли въ твои годы такъ падать духомъ!—протестовала Варя.

— Въ мои годы! Что значатъ годы! Ты не знаешь, сколько я пережилъ, и что я переживаю...

Онъ съ горечью началъ ей разсказывать о своей сердечной жизни. Съ самаго дѣтства онъ былъ выбитъ изъ колеи и поставленъ въ ложныя отношенія къ близкимъ ему людямъ. Онъ когда-то почти возненавидѣлъ брата, приписывая ему причины обѣднѣнія семьи, необходимости покинуть родное гнѣздо, жизни среди чуждой обстановки и чужихъ людей въ гимназіи. Онъ тогда заподозрилъ тетку — этого ангела! — въ нелюбви къ нему, Борису. Въ душѣ явилось упорное желаніе выбиться на путь самому, безъ чужой помощи, на зло людямъ, которыхъ онъ считалъ чуть не своими врагами, не подозрѣвая даже, что онъ жестоко ошибается. Но ему пришлось идти ощупью, безъ указаній, безъ поддержки, безъ совѣтовъ; если бы ему и вздумали тогда дать совѣты братъ и тетка, онъ сдѣлалъ бы наперекоръ имъ, потому что онъ не вѣрилъ въ нихъ и враждовалъ въ душѣ противъ нихъ. Но у него недоставало ни практичности, ни знанія жизни, ни способностей бороться съ случайностями, которыя и вовлекли его въ цѣлый омутъ ошибокъ.

— Въ меня недавно публично бросили грязью, не называя моего имени, — сказалъ онъ. — А между тѣмъ я не былъ ни преступникомъ, ни злодѣемъ, совершивъ тотъ проступокъ, за который меня марали грязью.

Онъ съ горечью въ голосѣ разсказалъ свои отношенія къ Діодатовой, къ этой развращенной съ колыбели дочери подваловъ, къ этой животной натурѣ, способной затянуть человѣка въ тину разврата и неспособной ни понять высшихъ стремленій, ни подняться изъ грязи.

— Прости, что я говорю тебѣ объ этой грязи, но съ кѣмъ же я могу быть откровеннымъ кромѣ тебя, — закончилъ онъ.—Притомъ же ты, кажется, чутьемъ угадала то, чего не поняли другіе.

Варя сказала:

— Да.

— Я такъ и зналъ, — со вздохомъ произнесъ Борисъ, задумавшись о чемъ-то.

Потомъ онъ продолжалъ:

— Я точно изъ тюрьмы вырвался, когда я попалъ въ домъ Домгофовъ. «Свободенъ, свободенъ!» повторялъ я, и мнѣ казалось, что надо мной занялась заря новой жизни... Тебѣ трудно понять эти чувства, Варя. Это надо пережить, чтобы понять это...

Но что же ждало его у Домгофовъ? Чисто буржуазная, правильная, узкая жизнь съ задними мыслями о томъ, что онъ могъ бы сдѣлаться хорошимъ банковскимъ дѣльцомъ, выгоднымъ женихомъ для Клары. Онъ и не подозрѣвалъ, что его вытягивали на этотъ путь, что его отвлекали отъ болѣе широкой дѣятельности. Онъ поддался этому складу жизни, такъ какъ былъ измученъ предшествующею жизнью. Онъ видѣлъ здѣсь только хорошія стороны, упуская изъ виду оборотную сторону медали. Можетъ-быть, онъ отрезвился бы потомъ. Можетъ-быть, всѣ попытки Домгофовъ остались бы тщетными, если-бъ съ Кларой не случилось несчастія—ее глубоко оскорбилъ князь Шабадзіевъ, и Борисъ явился ея опорой, заступникомъ, защитникомъ. Она отдала ему за это свое сердце, свою душу. Онъ не могъ противустоять этой любви, этому обожанію; онъ изъ жалости снизошелъ до этой дѣвушки, женился на ней, думая, что онъ ее перевоспитаетъ, подниметъ до себя. Женитьба заставила его взять предложенное ему мѣсто, хотя онъ не чувствовалъ призванія къ банковской дѣятельности.

— Я все еще считалъ себя призваннымъ для чего-нибудь болѣе полезнаго, болѣе высокаго, — съ горечью замѣтилъ онъ. — Настолько-то ума осталось во мнѣ, чтобы понять, что никому не будетъ ни тепло, ни холодно отъ того, какъ я напишу ту или другую бумагу о закладѣ или выкупѣ, покупкѣ или продажѣ бумагъ. Учитель, профессоръ, докторъ, литераторъ, люди умственнаго труда, представители широкой общественной дѣятельности могутъ хоть обманывать себя, представляя себѣ, что они вліяютъ на людей, на общество, на событія. Я даже этого утѣшенія не имѣю и знаю, что я и какой-нибудь Ганька, я и какой-нибудь писарь одно и то же,—руки, машины—и больше ничего...

Варя почти обрадовалась, что онъ думалъ то же о себѣ, что думала о немъ она. Она горячо начала говорить ему, что именно теперь ему легко перейти на новый путь.

— Легко!—съ усмѣшкой отвѣтилъ онъ.—Легко, когда я

уже втянулся въ эту колею, когда потрачено уже много энергіи, когда...

Онъ махнулъ рукой.

— Нѣтъ, не для чего и не для кого мѣнять дорогу. Доживу кое-какъ вѣкъ и такъ...

И, горько усмѣхаясь, онъ прибавилъ:

— Я ужъ теперь, Варя, не тотъ самонадѣянный Борисъ, который протестовалъ противъ всякихъ опоръ и поддержекъ. Я теперь знаю себя: мнѣ нужны руководители, поддержки, няньки...

Такіе разговоры стали повторяться, не приводя ни къ какимъ результатамъ. Потомъ какъ-то самъ собою разговоръ обрывался среди тоскливаго молчанія. Борисъ уходилъ отъ Вари грустный, подавленный, крѣпко пожавъ ей руку, поблагодаривъ за ея участіе къ нему. Онъ медленно возвращался въ свою пустую квартиру, входилъ въ шляпѣ въ переднюю, на минуту, зажигая свѣчу, останавливался передъ виѣвшимъ здѣсь зеркаломъ и смотрѣлъ на себя: блѣдный, похудѣвшій, весь въ черномъ, съ красивымъ бантомъ изъ крепа на рукѣ, съ крепомъ на высокой шляпѣ, онъ былъ интересенъ. Потомъ онъ отворачивался отъ зеркала съ тяжелымъ вздохомъ.

— Александръ... какъ онъ смотритъ теперь? Вѣдь онъ уже далеко не юноша,—задумчиво шепталъ онъ.

И онъ дѣлалъ усилія, чтобы представить себѣ физіономію и фигуру брата — этого возлюбленнаго жениха Вари. Память не повиновалась, и Борисъ создавалъ въ воображеніи какой-то некрасивый образъ почти старика.

— И все же она его любитъ!—заканчивалъ онъ и опять со вздохомъ шелъ въ свой кабинетъ.

Въ его головѣ вертѣлась фраза Жадова: «брошусь на холодную постель». Остраго горя уже не было, начиналась рисовка горемъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ И ПОСЛѢДНЯЯ.

I.

Вѣнки не успѣвали увядать на могилѣ Клары, какъ Борисъ смѣнялъ ихъ уже новыми. Но если бы онъ заглянулъ въ себя поглубже, онъ увидалъ бы, что отъ печали о женѣ осталась въ душѣ едва замѣтная тѣнь. Въ сущности, онъ думалъ теперь только о себѣ, о своемъ положеніи, о ну-

стотѣ въ квартирѣ, о необходимости избѣжать скуки жизни одинокаго вдовца. Объ этой скукѣ, объ этомъ одиночествѣ онъ говорилъ всѣмъ и каждому, точно внѣ этого разговора ни у кого не было никакихъ интересовъ. Это было не слѣдствіе рисовки своимъ горемъ, а слѣдствіе преобладающей черты характера — того эгоизма, который и въ горѣ, и въ радости заставлялъ Бориса думать только о себѣ. Люди, мало говорящіе сами о себѣ, почти не возбуждаютъ къ себѣ участія ближнихъ; эти ближніе проходятъ мимо нихъ, не справляясь, страдаютъ ли они, или нѣтъ; напротивъ того, человѣкъ, вѣчно толкующій о себѣ, о своихъ горестяхъ и невзгодахъ, заинтересовываетъ собою окружающихъ, находитъ сочувствующихъ; съ нимъ няньчатся всѣ, очень часто даже не замѣчая того, что въ сущности онъ счастливѣе тысячъ и тысячъ молчаливыхъ страдальцевъ, счастливѣе даже тѣхъ, кто жалѣетъ его и няньчится съ нимъ. Человѣчество всегда таково: чтобы тронуть его сердце, нужно кричать отъ боли; кто не кричитъ, на того валятъ все, какъ на лошадь, того готовы бить, какъ бьютъ ее, благо она безмолвно выноситъ все... Няньчились окружающіе и съ Борисомъ. Семья Домгофовъ уговаривала его развлекаться, не сидѣть одиноко, ѣздить въ театръ, и Борисъ, съ выраженіемъ неохоты, съ тяжелыми вздохами, развлекался. Ганька, узнавъ о постигшемъ Теплова несчастіи, сталъ смотрѣть ему въ глаза, какъ ласковая собачонка, понимающая печаль своего господина, и тоже предлагалъ Борису развлекаться, разсѣиваться, на что Борисъ съ скучающимъ видомъ замѣчалъ:

— Что-жъ, вези, пожалуй, въ какой-нибудь кабакъ!

И они отправлялись куда-нибудь въ оперетку, потомъ ѣхали въ ресторанъ, слушали каскадное пѣніе, пили много вина за ужиномъ, и, когда возвращались домой, Тепловъ говорилъ:

— Ну, вотъ и убитъ еще одинъ вечеръ, а легче не стало!..

Несмотря на то, что легче не становилось, Борисъ уже самъ началъ говорить Ганькѣ:

— Поѣдемъ куда-нибудь, а то хоть повѣситься отъ скуки готовъ...

И они опять ѣхали убивать вечеръ. Ганька выбивался изъ силъ, чтобы развлечь, развеселить, разсмѣшить Бориса, играя роль шута передъ Тепловымъ. Эта простая и добрая Богомъ обиженная душа гордилась тѣмъ, что самъ Борисъ

Михайловичъ снизошелъ до дружбы съ нею. Правда, Борисъ возилъ Ганьку на свой счетъ, но, къ чести Ганьки, этотъ добрый малый ни на минуту не задумывался о выгодахъ своего положенія. Борисъ понималъ эту безкорыстную преданность и послѣ многихъ стакановъ вина приходилъ въ умиленіе и говорилъ Ганькѣ:

— Я тебя только въ горѣ понялъ! У тебя душа—золото. Ты мнѣ помогъ пережить это время...

Ганька бросался обнимать Бориса. Потомъ умиленіе Бориса стало распространяться и на другихъ сослуживцевъ, принимавшихъ участіе въ горѣ и развлеченіяхъ Теплова.

— Вообще у насъ все простой и добрый народъ! Пороха они не выдумывали, а сердца золотыя. И что выдумывать порохъ — онъ и безъ нихъ выдуманъ, а сердце — сердце главное...

Каждый разъ, когда Борисъ былъ навеселѣ, онъ толковалъ о ненужности изобрѣтать порохъ и о необходимости имѣть сердце. Онъ не отдавалъ себѣ отчета, почему и какъ онъ сводилъ всѣ разговоры къ этой мысли, но тѣмъ не менѣе не могъ отъ нея отдѣлаться.

Поѣздки въ оперетку, за городъ, на пикники, въ рестораны принимали характеръ хронической болѣзни. И что же дѣлать иначе? Утро проходило въ работѣ; затѣмъ Тепловъ шелъ обѣдать въ ресторанъ; ресторанный обѣдъ не могъ обойтись безъ рюмки водки, безъ бутылки пива; изъ ресторана приходилось идти въ пустую квартиру, имѣя въ перспективѣ одиночество на цѣлый вечеръ или поѣздку куда-нибудь къ пріятелямъ, гдѣ ждали карты, вино, кутежъ. Чувствуя усталость, Тепловъ порой давалъ себѣ слово провести вечеръ дома; но какой-нибудь часъ, проведенный въ пустой квартирѣ, казался цѣлой вѣчностью; тутъ бралась книга—серьезная нагоняла скуку, утомляла отвыкшую отъ подобнаго занятія голову, — романъ казался или бездарнымъ, пустымъ, глупымъ, или злилъ моралью, тенденціею, стремленіемъ показать общественные пороки и указать на пустоту современной общественной жизни. Книга отбрасывалась, начиналось куренье папиросъ до одурѣнья съ отрывками думъ: гдѣ-то теперь тотъ или другой пріятель, куда это тройка пронеслась по улицѣ, какъ славно бы въ морозъ прокатиться за городъ... И отъ чего отказывался за часъ, за два, то дѣлалось теперь: начиналось торопливое одѣванье, приготовленье къ поѣздкѣ куда бы то ни было, лишь бы не быть одному дома.

Одинъ изъ такихъ кутежей превратился въ оргію, и Борисъ самъ не зналъ, какъ онъ вернулся домой. На другой день, проснувшись довольно поздно, онъ осмотрѣлся, гдѣ онъ, не зная навѣрное, довезли ли его до дома. Первою его мыслью было воспоминаніе о вчерашней попойкѣ. Его голова была тяжела и точно стянута обручемъ; въ груди была изжога, а во рту ощущались горечь и кислота. Онъ вспомнилъ, что наканунѣ съ нимъ сдѣлалось дурно, поднялась тошнота. Онъ впервые былъ въ такомъ состояніи и какъ будто испугался за послѣдствія.

— Съ чего это я?—проговорилъ онъ хмуро.

И чтобы отдѣлаться отъ воспоминаній, сталъ быстро одѣваться, насвистывая что-то. Его вниманіе остановилось на пятнахъ, покрывавшихъ его англійскій сюртукъ и брюки. По лицу скользнула гримаса отвращенія и брезгливости.

— Хорошую жизнь начинаю вести,—мелькнуло въ головѣ.

И тотчасъ же онъ нетерпѣливо, почти со злостью перебилъ себя:

— Да что я, въ самомъ дѣлѣ, красная дѣвушка, что ли? Кутнуть съ пріятелями нельзя. Чортъ знаетъ о чемъ сокрушаюсь.

Онъ опять началъ насвистывать, шумно умываясь надъ рукомойникомъ. Въ головѣ же опять мелькали мимовольныя мысли:

— Съ пріятелями! хороши пріятели!

Онъ окончательно обозлился на самого себя.

— Да, хороши! Недалекій, забитый, униженный народъ, но люди съ сердцемъ и душою, не пустые фразеры, живущіе однимъ разсудкомъ, черствой и холодной логикой!.. И всегда буду съ ними, буду ихъ защитникомъ, помощникомъ... По крайней мѣрѣ, найду преданныхъ друзей...

Въ его головѣ мелькнуло воспоминаніе о словахъ Ганьки, что тотъ готовъ въ огонь и въ воду за Бориса.

— Точно собачонка,—пробормоталъ Тепловъ.

II.

Когда Борисъ говорилъ о людяхъ, не выдумавшихъ пороха, но имѣющихъ сердце, когда онъ думалъ о простыхъ и не хитрыхъ пріятеляхъ, живущихъ сердцемъ, а не однимъ разсудкомъ и черствой холодной логикой, въ его душѣ поднималась злоба противъ кого-то. Уже нѣсколько мѣсяцевъ этотъ кто-то выслушивалъ его сѣтованія и жалобы, давалъ ему благіе совѣты, старался пробудить въ немъ рѣшимость

идти на новую дорогу, — но и только. Борисъ ждалъ не того, онъ хотѣлъ, чтобы этотъ кто-то просто бросился ему на шею съ словами страстной любви. Этотъ кто-то — была Варя. Каждый разъ, приходя къ ней, онъ впадалъ въ тонъ жалующагося, несчастнаго человѣка, не имѣющаго никакихъ надеждъ впереди; каждый разъ она старалась пробудить въ немъ энергію, мужество, то горячо споря съ нимъ, то строптиво упрекая его за малодушіе, каждый разъ онъ готовъ былъ упасть передъ нею на колѣни и признаться ей въ любви, но она какъ-то быстро и ловко, хотя почти безсознательно ускальзывала отъ этого объясненія. Она знала, что онъ влюбленъ въ нее, она знала, что нужно быть всегда настороже, чтобъ дѣло не дошло до признанія. Но она не могла дать себѣ яснаго отчета въ томъ, насколько дѣйствительно могла бы поднять Бориса ея любовь, и ей казалось, что стоитъ ей, Варѣ, сказать ему: «я твоя», чтобы онъ пошелъ на новый путь болѣе плодотворной дѣятельности, болѣе осмысленнаго существованія. Когда ей приходили въ голову эти мысли, она вздрагивала, и въ ея душѣ поднималось болѣзненное чувство. Около нея стоитъ страстно влюбленный въ нее человѣкъ — племянникъ, почти сынъ ея второй матери, это братъ любимаго ею человѣка, это другъ ея дѣтства. Онъ, умный, способный, воспріимчивый, стоитъ на краю пропасти — ей стоитъ сказать только слово, и онъ спасенъ. Что же она не говоритъ этого слова? Да развѣ она можетъ? Она любитъ Александра; Александръ любитъ ее. Сказать Борису: «я твоя», значитъ, разбить свое счастіе и счастіе Александра. А такъ что будетъ? Она и Александръ будутъ наслаждаться счастіемъ, а онъ, Борисъ, затянется въ тину, въ омутъ, пропадетъ безъ пользы для общества. Ей вспоминался одинъ случай изъ жизни тетки. Разъ они страшно нуждались, а къ нимъ пришла за помощью бѣдная женщина, у которой умеръ мужъ; тетка отдала ей послѣднія деньги и по уходѣ ея замѣтила: «мы кое-какъ перебьемся, а ей хоть въ воду безъ денегъ». «Да, и мы съ Александромъ перебились бы порознь, а Борисъ — ему хоть въ воду безъ посторонней поддержки»... Но это говорилъ разсудокъ, на эти мысли наводили разстроенные жалобами и нытьемъ Бориса нервы, а сердце и чувство, охваченныя страстною любовью къ Александру, протестовали противъ доводовъ ума, и впервые въ сознаніи молодой дѣвушки было что-то такое, что подсказывало ей, что если бы весь міръ долженъ былъ погибнуть, то и тогда она не от-

казалась бы добровольно отъ своего счастья быть женою Александра. При этой мысли ея щеки покрывались румянцемъ, ей было стыдно за себя, она задавала себѣ вопросъ: «ну, а если бы точно спасеніе не одного, а нѣсколькихъ человѣкъ зависѣло отъ этой жертвы — неужели я не принесла бы ее?»

— Господи, что со мной дѣлается! — воскликала она. — Ну да, я не могу, не могу поступиться своимъ счастіемъ, счастіемъ Александра, хотя бы... хотя бы Борисъ долженъ былъ погибнуть...

И стараясь успокоить себя, она начинала думать о томъ, что она все преувеличиваетъ, что Борисъ, въ сущности, въ концѣ-концовъ, успокоится, освоится съ своимъ положеніемъ. Правда, онъ втянется въ пустую, пошлую жизнь. Но вѣдь этого ужъ не передѣлать; его жаль будетъ со стороны, какъ человѣка, зарывшаго въ землю свои способности и не приносящаго пользы обществу, самъ же онъ не будетъ чувствовать этого, привыкнетъ къ этой жизни, находя въ ней удовольствіе. Тысячи коптителей неба живутъ такъ и считаютъ себя счастливыми; другая жизнь требуетъ и жертвъ, и подвиговъ, и лишеній, эта же доставляетъ только наслажденія. Такихъ людей можно жалѣть, но они-то вполнѣ счастливы съ своей точки зрѣнія, они даже смѣются надъ тѣми, которые живутъ иначе. Но, разсуждая такъ, она встрѣчалась съ Борисомъ, онъ снова нылъ и жаловался, и ей становилось стыдно за себя. Она опять повторяла: «Бѣдный, бѣдный Борисъ!» не сознавая, что подъ его жалобами скрывается одно желаніе переломить ее, растрогать ее, поставить на своемъ. Упорный, какъ всегда, онъ видѣлъ теперь желанный призъ въ ея любви, не думая вовсе о томъ, какою жизнью онъ начнетъ жить съ нею. Можно сказать даже болѣе: эта какая-то иная жизнь представлялась ему одною пустою фразою; съ этимъ понятіемъ у него въ представленіи не соединялось никакого опредѣленнаго образа. Мечтая о Варѣ, онъ представлялъ себѣ просто красавицу-жену, съ которой не скучно говорить, съ которой можно даже горячо спорить, при которой едва ли возможно будетъ скучать. Въ ней молодая жизнь била ключомъ, полная надеждъ, веселья, порывовъ, свѣта. Онъ хотѣлъ обладать ею, настойчиво рисуя въ своихъ грезахъ ея образъ, и въ этомъ не было ни цѣломудрія, ни чистоты, не идеализма: онъ представлялъ себѣ ея тѣло, не думая о ея душѣ. И что такое для него ея душа? это воскъ, изъ котораго можно

вылѣпить все, что угодно. Какіе могутъ быть у дѣвушки твердые взгляды и убѣжденія? Все это красивыя слова и только. Бояться этихъ словъ нечего, когда ихъ произноситъ такая молоденькая рѣзвушка. Потомъ она сама будетъ смѣяться надъ всѣми этими «общими мѣстами». Лишь бы полюбила, а изъ влюбленной женщины веревки можно вить. Да она и полюбитъ. Вѣдь не можетъ же, въ самомъ дѣлѣ, она любить Александра, почти старика.

— Любила бы, не ждала бы спокойно окончанія курса, — повторялъ онъ слова Клары.

III.

Борисъ не на шутку испугался, послѣ попойки, что онъ захвораетъ, и преувеличивалъ свое легкое нездоровье, какъ человѣкъ, не привыкшій переносить ничего: ни нравственныхъ, ни физическихъ страданій. Къ легкой простудѣ присоединилось еще чувство гадливости, при воспоминаніи о нѣкоторыхъ подробностяхъ кутежа наканунѣ. Онъ ощущалъ теперь почти то же, что ощущалъ на другой день послѣ прогулки съ Діодатовой на Крестовскій: какъ тогда его болѣе всего смущала неприглядность обстановки, а не мысль о загубленной дѣвушкѣ, такъ теперь его смущало не то, что онъ безпутно провелъ вечеръ, а то, что его товарищи дошли до грязной разнузданности пьяныхъ людей. Совѣсть свою онъ попрежнему успокоивалъ мыслью, что всѣ такъ живутъ; брезгливости онъ не могъ побѣдить ничѣмъ. Охваченный весь самымъ отвратительнымъ настроеніемъ, онъ направился къ Варѣ. Въ его душѣ созрѣло рѣшеніе объясниться съ ней въ этотъ день, взять ее, такъ сказать, съ бою. «Да, это надо кончить, надо завоевать ее». Семейная жизнь спасаетъ отъ многаго. И онъ размечтался объ этой семейной жизни съ хорошенькой и умной женой, думая только о себѣ, и о себѣ...

Когда онъ вошелъ къ ней, ему сразу бросились въ глаза ея блѣдность, ея красныя отъ слезъ вѣки. Что съ ней? — спрашивалъ онъ себя мысленно. Она постаралась оправиться, но ей не удалось скрыть слѣдовъ смущенія. Она только-что получила взволновавшій ее отвѣтъ тетки на ея письмо. Старушка Теплова писала:

«Получила я, дорогая Варюша, твое письмо о несчастіи, постигшемъ Бориса, и совсѣмъ оно меня разстроило. И не столько то разстроило меня, что случилось, сколько то, что еще можетъ случиться. Ты вполнѣ права, Варюша, что эта

смерть отзовется на жизни Бориса самымъ роковымъ образомъ, и хуже всего то, что помочь тутъ ничѣмъ нельзя. Горько мнѣ думать о томъ, что ждетъ нашего бѣднаго мальчика. Ты пишешь, что его могла бы спасти отъ пустой и безполезной жизни любящая умная женщина. Правда, маточка, правда, только этихъ умныхъ и любящихъ женщинъ на каждомъ шагу не встрѣтишь, а и встрѣтишь, то еще вопросъ — полюбитъ ли такая женщина Борю. Очень ужъ втянулся онъ въ пустую жизнь, какъ я вижу изъ твоихъ писемъ, и умной, хорошей женщинѣ трудно найти въ немъ что-нибудь могущее пробудить горячую любовь. Вѣдь это мы только его и черненькимъ можемъ любить, потому что онъ нашъ Боря. А для другихъ онъ что? Безъ любви же тутъ ничего не подѣлать, потому что пересоздать человѣка не легко, много самоотверженія, много терпѣнія нужно. Грустно мнѣ, маточка, что именно тебѣ приходится переживать съ нимъ, видѣть его горе, слышать его жалобы и, въ сущности, не имѣть возможности помочь ему, спасти его. Береги, голубчикъ мой, себя, не волнуйся такъ, не тревожься, хоть я и знаю, что не легко видѣть горе близкаго человѣка. Я вѣдь вѣрю, что Боря дѣйствительно страдаетъ. Не все же хорошее въ немъ замерло. Это только нашъ Саша не вѣритъ этому, ну, да оно и понятно: прочитавъ письмо твое, онъ прежде всего не о Борѣ подумалъ, а о тебѣ. Къ Борѣ онъ даже несправедливъ, говоритъ: «интересничаетъ, такъ какъ этимъ путемъ свѣтованій легче всего прельщать женщинъ». Я разсердилась даже, говорю: «какъ тебѣ не стыдно такъ думать о Борисѣ». А онъ мнѣ въ отвѣтъ: «да неужели вы еще его не узнали, не поняли вполнѣ! ему нужно сладко пить и ѣсть, какъ сыру въ маслѣ кататься, вотъ и все». И потомъ махнулъ рукою, да говоритъ: «а впрочемъ, можетъ-быть, такъ и нужно жить, если хочешь быть покоенъ, съ такимъ-то и жена будетъ счастлива — громкихъ фразъ онъ ей не запретитъ говорить, а отъ лишеній и самопожертвованій избавитъ». И такъ меня огорчили слова Саши о Борѣ, что я даже попрекнула его. «Вотъ, говорю, толкуешь о снисхожденіи къ людямъ, а брата Богъ знаетъ въ какомъ свѣтѣ представляешь себѣ. Человѣкъ никакихъ подлостей въ жизни не сдѣлалъ, вполнѣ честно живетъ, а ты на него нападаешь. Не всѣмъ же подвижниками быть. Ну, живетъ труженикомъ, надо и за то сказать спасибо, что честнымъ остается, подлостей не дѣлаетъ». Разворчалась я, а Саша только рукой махнулъ и вотъ два дня ходитъ, какъ ночь, мрачный.

Должно-быть, самъ сердится на себя за свою несправедливость къ брату. И зачѣмъ я ему твое письмо показала, это его твой тревожный тонъ такъ взбудоражилъ. Кажется, все бы онъ отдалъ, маточка, чтобы отстранить отъ тебя всякія печали и тревоги. Господи, хоть бы скорѣе твое ученье кончилось. Саша самъ позволилъ тебѣ ѣхать учиться и даже самъ навелъ тебя на эту мысль, но вѣдь я-то знаю, каково ему безъ тебя, Варюша. Каждый день разлуки для него годъ жизни».

Варя расплакалась надъ этимъ письмомъ и поняла то, чего не поняла старушка Теплова.

— Милый, дорогой, ты боишься потерять меня!—шептала она сквозь слезы. — Да развѣ я могу, развѣ я могу измѣнить тебѣ!

И когда къ ней вошелъ Борисъ, она вдругъ почувствовала, что этотъ человѣкъ ей чужой. Онъ спросилъ ее:

— Ты плакала?

— Да, — отвѣтила Варя: — взгрустнулось о домѣ.

Онъ вздохнулъ.

— Счастливая, у тебя есть домъ, а я... Вотъ ты уѣдешь, я совсѣмъ одинъ останусь... И теперь, въ сущности, одинъ... но все же легче, покуда ты здѣсь... покуда хоть на минуту можно отдохнуть умомъ и сердцемъ... А тамъ начнется пустая, безсодержательная жизнь...

Варя пожала плечами.

— Кто же мѣшаетъ сдѣлать жизнь не пустою и не безсодержательною?

— Ахъ, что ты говоришь! Все это пустыя слова! Жить разумною, полезною жизнью легко тогда, когда есть личное счастье, когда есть тотъ уголокъ, гдѣ найдешь и поддержку, и поощреніе, и участіе. А когда домъ пустъ, когда нѣтъ надеждъ на личное счастіе, ну, и бѣжишь изъ этого дома въ пріятельскіе кружки, на кутежи, на попойки... Вонъ вчера, я не помню, какъ пріѣхалъ домой, хотѣлось забыться отъ этой пустоты, отъ этого одиночества...

— Странный способъ спасенія!—сказала Варя, пожимая плечами. — Этакъ только можно пропить умъ и...

Борисъ вспылилъ.

— А что же прикажешь дѣлать? Умныя книжки читать въ своемъ углу, что ли? Ученые трактаты штудировать, зная, что они ни на что не пригодятся? Или читать тенденціозные романы, сознавая, что никакими этими поученіями не измѣнить жизни, что все это одни слова, слова и

слова... Я вѣдь уже не мальчикъ, который можетъ тѣшиться сказками...

Она не возражала; это раздражало его еще болѣе.

— Да и читать-то нечего нынче. Въ наукѣ перетряхается все старое, Дарвина и Бокля переполаскиваютъ въ сотой водѣ, съ эволюціями и альтруизмомъ носятся, доказываютъ въ сущности, что, какъ ни повернись, все клинъ выходитъ, что и теперешній порядокъ гадокъ, да и всякіе другіе придуманные теоретически порядки не лучше будутъ, что если и все пойдетъ хорошо, то... вверхъ ногами все перевернется черезъ 21.000 лѣтъ, — добавилъ онъ саркастическимъ тономъ... — Нѣтъ, да хранитъ меня Богъ отъ этихъ мудрецовъ, разсуждающихъ серьезно, что дѣлается съ землей черезъ каждыя 21.000 лѣтъ. Нужно быть юношей, наивной институткой, чтобы вѣрить теперь во что-нибудь твердо и горячо, ну, а безъ вѣры все это только скуку нагоняетъ. Но если такова наука, то беллетристика еще хуже — или грязь натуралистовъ, или глупости тенденціозныхъ писателей. Одни только сало выставляютъ напоказъ, другіе плачутся надъ участью эксплуатируемаго мужика или громятъ всѣхъ, кто сытъ, обутъ и одѣтъ, обличаютъ чуть ли не за то, что люди ѣдятъ...

Варя тихо замѣтила:

— Да, если такъ смотрѣть, то только и остается, что закутиться до бѣлой горячки или пустить пулю въ лобъ...

Борисъ остановился передъ нею.

— Да, да, только это и остается. А каково это сознавать, когда мучительно хочется жить, быть счастливымъ, когда знаешь, что счастіе возможно!

Варя точно замерла и молчала. Онъ дрогнувшимъ голосомъ проговорилъ:

— Варя, милая, если бы ты знала, какъ я изстрадался...

Онъ взялъ ее за обѣ руки.

— Неужели ты не поняла, не угадала до сихъ поръ, что я люблю, безумно люблю тебя...

Она поднялась съ мѣста встревоженная, волнующаяся. Онъ силой удержалъ ея руки.

— Выслушай, не прерывай меня, не отталкивай! Я знаю, что ты хочешь сказать! Ты хочешь сказать, что ты любишь Александра! Да! Онъ вѣдь всегда стоитъ на моемъ пути! Но ты сама не понимаешь своихъ чувствъ. Александръ тебѣ чуть не въ отцы годится, если не по лѣтамъ, то по тому, что онъ пережилъ. Скитанья въ народѣ, тюрьма, ссылка, все

это не могло пройти безслѣдно — онъ сдѣлался теоретикомъ, мечтателемъ, фантазеромъ. Онъ готовъ замучить человѣка только за то, что тотъ не по теоріямъ, не по книжкамъ живетъ. Онъ любитъ не человѣка, а книжку. И ты ему не нужна, потому что онъ даже неспособенъ любить ничего, кромѣ идеи. О, если бы онъ былъ способенъ страстно любить, не отпустилъ бы онъ тебя сюда на цѣлые годы! Любовь не можетъ подчиняться теоріямъ, разсудку, расчетамъ. Ты молода и тебѣ нужна не такая любовь.

Она хотѣла протестовать — онъ не далъ ей говорить. Порывистый, возбужденный, страстный, онъ говорилъ, не слушая возраженій, не давая имъ мѣста.

— А знаешь ли ты, какъ я любилъ и люблю тебя? Знаешь ли ты, что я готовъ идти на все, чтобы ты была моею? Я живу только мыслью о тебѣ, въ тебѣ я вижу все свое спасенье. Да, безъ тебя жизнь не имѣетъ для меня смысла, съ тобою она будетъ полна содержанія. Я знаю, что я перерожусь, что для меня все получитъ новое значеніе, что уснувшее во мнѣ самолюбіе проснется, что я буду стараться сдѣлаться лучшимъ человѣкомъ, чтобы заслужить твой привѣтъ, твое одобреніе. Варя, Варя, будь моею...

Онъ хотѣлъ привлечь ее къ себѣ; она отшатнулась.

— Оставь, Борисъ! — тихо сказала она. — Двоихъ любить нельзя...

Онъ, не помня себя, заговорилъ:

— А, такъ ты не хочешь! Ты перешла бы, если бы это было нужно, черезъ мой трупъ, ради воображаемой любви къ Александру! Ты вѣришь въ его фразы, но не вѣришь въ меня; ты боишься сдѣлать его нечастнымъ, а я — что тебѣ за дѣло, если я погибну!

Варя, взволнованная и блѣдная, но старавшаяся овладѣть собой, отвѣтила:

— Къ несчастію, ты правъ, Борисъ! Если я видѣла бы тебя на краю пропасти, я и тогда не сказала бы тебѣ: «я твоя», потому что я люблю другого.

Эти слова привели Бориса въ бѣшенство.

— А, такъ вотъ каковы вы, проповѣдники любви къ ближнему, пожертвованія собою для ближняго! Вы все готовы отдать ему, только не то, что вамъ самимъ нужно, что вамъ самимъ дорого. Какое же право имѣете вы требовать жертвъ на пользу ближнихъ, отъ насъ, сытыхъ мѣщанъ? У насъ только и есть, что наше потомъ купленное довольство, ну, мы и не дѣлимся имъ съ ближними, не

отдаемъ его никому. Мы въ своемъ правѣ, какъ и вы, сказать молящему насъ о спасеніи ближнему: «погибай, а мы все же не поступимся своимъ сокровищемъ!»

На минуту лицо Вари вспыхнуло, и она хотѣла что-то сказать, но сдержалась и только замѣтила:

— Ты самъ не знаешь, что говоришь!

Онъ, не слушая ее, продолжалъ уже саркастическимъ, злымъ тономъ:

— Но ты горько заплатишь въ будущемъ за сегодняшній день. Ты молода, тебѣ недостаточно жить однѣми громкими фразами, однѣми грезами о пользѣ ближнихъ. Ты идешь за Александра, потому что тебѣ прожужжали уши о немъ. Тетка сдѣлала все, чтобы онъ сталъ твоимъ идоломъ. Что же, иди за него, губи себя! Когда ты не найдешь въ семейной жизни ничего, кромѣ громкихъ фразъ, когда ты разочаруешься въ своей муравьиной дѣятельности на пользу другимъ, когда ты поймешь, что это—пустая игра въ слова, когда въ сердцѣ проснется жажда личнаго счастья, страстной любви, ты раскаешься за сегодняшній день! О, ты узнаешь Александра, какъ я узналъ его. Это эгоистъ, въ сравненіи съ которымъ мы—дѣти! Когда ему захотѣлось удовлетворить свои сумасбродныя фантазіи, онъ поставилъ ради нихъ на карту благосостояніе всей семьи и разорилъ ее, не сдѣлавъ ничего для общества. Когда его посадили въ тюрьму, онъ не вспомнилъ, что помощь тетки нужнѣе была его маленькому брату, безпомощному ребенку, чѣмъ ему, и не сказалъ теткѣ: «ваше мѣсто не при мнѣ, а при немъ». Ему было бы тяжело одному въ ссылкѣ, и онъ позволилъ теткѣ и тебѣ ѣхать за нимъ, хотя здѣсь всѣмъ намъ было бы лучше, здѣсь вы были нужнѣе для меня. Потомъ онъ увидалъ, что ты пышно расцвѣла, и онъ, почти старикъ, обольстилъ...

Варя, не въ силахъ болѣе переносить его словъ, разрыдалась безпомощными слезами оскорбленной женщины. Борисъ испугался, остановился, протянулъ къ ней руки.

— Варя, Варя,—тихо произнесъ онъ.

— О, какъ это низко! какъ низко!—всхлипывая, проговорила она.—Уйди! Уйди!

Онъ пробовалъ оправдаться, просить прощенія, она только твердила:

— Уйди! Уйди!

У нея не было ни силъ, ни желанія защищать и оправдывать любимаго человѣка; ей казалось это ненужнымъ; ея

душу наполняла только обида за этого человѣка. Борисъ долженъ былъ взяться за шляпу.

Его лицо покрылось смертельною блѣдностью; онъ только теперь понялъ, что онъ погубилъ окончательно свое дѣло...

Когда ушелъ Борисъ, когда высохли на глазахъ Вари слезы, на душѣ молодой дѣвушки стало, мало-по-малу, легко и свѣтло. Казалось, она вырвалась на свѣжій воздухъ изъ удушливой атмосферы. Только теперь она вспомнила всѣ ощущенія, чувства, мысли, пережитыя ею за время вдовства Бориса. Ей стало почти жутко. Ей показалось, что она была близка къ тому, чтобы сказать ему: «я твоя». Да, вѣдь приходила же ей въ голову мысль о томъ, честно ли отказать Борису, зная, что онъ погибнетъ. Разстроенные имъ нервы, чисто женская жалость къ плачущему человѣку, умъ, создавшій извѣстныя правила и теряющійся, когда представляются исключенія изъ этихъ правилъ, все это могло сдѣлать свое дѣло. На минуту ей показалось, что ее спасло отъ ложнаго шага только письмо тетки. Но она, волнуясь, заторопилась опровергнуть это предположеніе передъ самой собою.

— Нѣтъ, нѣтъ, меня спасла любовь къ Александру!— проговорила она.—Никогда, никогда я не вышла бы за Бориса ради его спасенія...

И по ея лицу скользнула улыбка при промелькнувшей въ головѣ мысли. Спасеніе! Какъ сталъ бы онъ самъ смѣяться надъ нею, если бы ему сказать, что она хотѣла идти за него ради его спасенія. Спасеніе—отъ чего? Отъ привольнаго житья, отъ безмятежнаго спокойствія, отъ возможности стоять передъ толпою олимпійцемъ, котораго не трогаютъ ни ея вопли, ни ея надежды, ни ея попытки спастись. Развѣ отъ этого проситъ кто-нибудь серьезно спасти его? Это тотъ призъ на житейской аренѣ, изъ-за котораго бьются всѣ, и тѣ, которые бьются не изъ-за этого, являются чѣмъ-то въ родѣ юродивыхъ, поврежденныхъ, во всякомъ случаѣ «недалекихъ» людей... Да, Борисъ много бы смѣялся надъ нею, когда она стала бы его женою...

IV.

Борисъ не застрѣлился, не запилъ, не захворалъ послѣ отказа Вари и перенесъ его гораздо спокойнѣе, чѣмъ онъ ожидалъ самъ. Упрямое желаніе обладать этой дѣвушкой руководило имъ гораздо больше, чѣмъ болѣе глубокое и болѣе чистое увлеченіе ею. Отказъ вызвалъ не безумное горе, не

щемящую тоску, а злобное чувство противъ этой дѣвушки и, мало-по-малу, безсознательно это чувство перенеслось на всѣхъ «начитанныхъ фантазерокъ», на «педагоговъ въ юбкахъ», на «эмансипированныхъ дѣвицъ». Этими эпитетами онъ надѣлялъ теперь Варю и всякихъ учащихся дѣвушекъ, сдѣлавшихся на нѣкоторое время мишенью для его болѣе или менѣе злыхъ и остроумныхъ выходокъ. Рѣзкое озлобленье, впрочемъ, длилось не долго, и осталось только презрительное отношеніе свысока ко всѣмъ этимъ личностямъ, которыя, по его выраженію, «куска хлѣба не съѣдятъ безъ мысли, что они служатъ человѣчеству и спасаютъ ближнихъ».

Впрочемъ, долго останавливаться на этихъ чувствахъ ему не пришлось: въ банкѣ въ это время случились событія, заставившія его много поработать. Давно ожидаемое объявленіе несостоятельности отца и шурина Ивана Александровича Антонова сдѣлалось совершившимся фактомъ и тяжело отозвалось на банкѣ. Всѣ споспѣшники Антонова струсили, и Домгофъ внезапно увидалъ себя во главѣ цѣлой партіи недовольныхъ, примкнувшихъ къ нему въ минуту паники. Онъ сразу сообразилъ выгоды своего положенія и необходимость распутать дѣло келейно, безъ огласки, спрятать концы неблаговидныхъ сдѣлокъ, выгородить виноватыхъ и, такимъ образомъ, во-первыхъ, явиться благодѣтелемъ цѣлой массы нужныхъ лицъ, а во-вторыхъ, сразу встать на степень перваго воротилы въ банкѣ, не подорвавъ въ то же время ни на минуту его кредита. Всѣ усилія были употреблены на то, чтобы дѣло не получило огласки. По цѣлымъ днямъ Домгофъ и примкнувшіе къ нему люди совѣщались между собою, спрашивая въ то же время мнѣнія Бориса, какъ признаннаго ловкаго дѣльца и вполнѣ «своего» человѣка, который не вынесетъ сора изъ избы. Иногда приходилось работать по двѣнадцати часовъ въ день, придумывая комбинаціи и сдѣлки для покрытія оказавшихся прорѣхъ, для починки дыръ. Дѣло было далеко не легкое и каждый неосторожный шагъ могъ все испортить. Борисъ показалъ себя не только смѣтливымъ, но и упорнымъ работникомъ. Только порою, уставъ отъ работы, онъ ѣхалъ куда-нибудь кутнуть съ пріятелями на скорую руку, чтобы подбодрить себя, встряхнуться.

— Да, Ганька,—говорилъ онъ въ этихъ случаяхъ:—поработали бы другіе съ мое, такъ увидалъ бы я, что они запѣли бы!

— Скажи, голубчикъ, правда это, что проскальзываетъ

въ газетахъ, будто у насъ крахъ будетъ?—спросилъ разъ у него Ганька.

Борисъ обозлился.

— Какъ, развѣ въ газетахъ писали что-нибудь?

— Да, вчера была статейка!

— Пачкуны поганые! Врутъ, что въ голову взбредетъ, благо имъ за строчки платятъ! Всѣмъ бы я имъ запретилъ писать, только кредитъ солидныхъ учрежденій подрываютъ.

— А я ужъ, признаюсь, трусить началъ! Тоже лопнетъ банкъ—хоть по-міру иди!

— Ахъ, ты, трусъ! Да мнѣ, хоть десять банковъ лопни, все равно! Сейчасъ съ руками возьмутъ меня вездѣ...

— Да, тебѣ хорошо!

— Ну, а буду я при мѣстѣ, не будешь и ты безъ мѣста!

Ганька разсыпался въ благодарности.

— Но желалъ бы я узнать, не изъ нашихъ ли кто сообщаетъ эти свѣдѣнія?—раздумчиво говорилъ Борисъ.—Я бы ему показалъ, что значитъ писать! Ты разузнай какъ-нибудь подъ рукой. Мы ему покажемъ, какъ у насъ двери отворяются. Тутъ ночей не спишь, чтобы спасти солидное учрежденіе, чтобы комаръ носа не подточилъ, а они слухи распускаютъ... Мерзавцы!.. Я это еще выведу на свѣжую воду...

И уже совсѣмъ серьезнымъ тономъ онъ продолжалъ:

— Эта наша язва—обличенія и слухи. Ко всему подрываютъ довѣріе, подо все подкапываются. Какая-нибудь сволочь, ничего не смыслящая, ни до чего не добившаяся ради своей неспособности и потому озлобившаяся якобы на несправедливости, лѣзетъ въ печать съ темными инсинуаціями и доносами, сѣетъ недовольство, волнуетъ общество. Вотъ тутъ и изволь работать, проводить свои идеи, осуществлять свои планы. А общество всегда—стадо барановъ, оно готово все принимать на вѣру: явится одинъ Юханцевъ—оно готово вопіять объ уничтоженіи банковъ; попалась Гулакъ-Артемовская—оно кричитъ: «вотъ черезъ кого у насъ всѣ протекціи оказываются»; обвинили мать Митрофанію—оно кричитъ, что всѣ монахини и всѣ благотворительницы мошенницы.

Борисъ сильно пристрастился къ этимъ разговорамъ съ Ганькой, встрѣчая не противорѣчія и возраженія, а умиленіе и благоговѣніе. Онъ росъ въ своихъ собственныхъ глазахъ послѣ этихъ бесѣдъ, сознавая, что онъ умнѣе и развитѣе окружающихъ его. Ганька только багровѣлъ отъ

удовольствія, слушалъ эти рѣчи: онъ хорошо не понималъ ихъ смысла, но хорошо понималъ то, что самъ Борисъ Михайловичъ съ нимъ разговариваетъ, какъ съ пріятелемъ, какъ равный. А вѣдь теперь Борисъ Михайловичъ съ самими членами правленія свой человѣкъ. Не шутка! Иногда, возвращаясь домой, Ганька даже впадалъ въ фантастическія мечтанія. Что, если Бориса Михайловича сдѣлаютъ директоромъ банка или... вѣдь, пожалуй, онъ до министра финансовъ дойдетъ. Каково тогда,—онъ, Ганька, будетъ «на ты» съ министромъ! И Ганька проникался еще бо́льшей собачьей преданностью къ Борису, къ будущему министру финансовъ, не брезгающему имъ, Ганькой.

Антонъ Ѳедоровичъ Домгофъ не заходилъ такъ далеко, думая о будущности Бориса; но онъ видѣлъ необходимость привязать его неразрывными узами къ себѣ, къ своей семьѣ, чтобы Борисъ былъ вполнѣ его правою рукою. Впервые Домгофъ пожалѣлъ, что умерла Клара—все же связующее звено было. Онъ говорилъ объ этомъ не разъ съ женою и съ Tante Мальхенъ, посматривая на Гретхенъ и Александрину. Которая изъ нихъ болѣе нравится Борису? Кажется, онъ съ младшей любезнѣе? Не пустить ли на рекогносцировку mademoiselle Дюмонъ? Она разомъ все оборудуетъ. Француженки на эти дѣла мастерицы.

— Неужели вы такъ и думаете остаться вдовцомъ?—говорила mademoiselle Дюмонъ Борису.—Въ ваши годы это невозможно.

— Что дѣлать,—вздыхалъ Борисъ.—Я еще не могу забыть Клару... И притомъ въ мои годы дѣлаешься разборчивѣе... На бѣдной я уже не могу жениться; богатую не скоро найдешь. И какую найдешь: неотесанную купеческую дочку, съ которой языкъ проглотишь, или эмансипированную барышню, которая рога приставитъ... Нынче, право, съ каждымъ годомъ все труднѣе найти подходящую невѣсту: недаромъ же женскій вопросъ кутерьму произвелъ.

И, мечтая о женитьбѣ, онъ задумчиво говорилъ:

— Я теперь, кажется, могъ бы полюбить только наивную дѣвочку, очень, очень юную, еще не испорченную свѣтомъ. Мнѣ нужна жена, которая щебетала бы, какъ птичка, говоря о любви, о юности, о чистотѣ...

Mademoiselle Дюмонъ замѣтила:

— Въ родѣ Гретхенъ?

Борисъ вздохнулъ.

— И вы думаете, ее отдали бы за меня? У меня еще ничего нѣтъ, кромѣ жалованья...

— О, васъ такъ любятъ въ семьѣ!

Борисъ взглянулъ на нее пытливо, спрашивая мысленно: «отъ себя это ты сватаешь, или по инструкціи?» и прибавилъ:

— Я еще молодъ, но горькій опытъ сдѣлалъ меня осторожнымъ. Я никогда не рискну идти на отказъ.

— Вамъ не откажутъ,—сказала mademoiselle Дюмонъ.

Борисъ сдѣлалъ видъ, что онъ не понялъ.

— Это говорите вы, по своей добротѣ, а у нихъ, у богатыхъ людей, на первомъ планѣ не доброта, а расчетъ... Притомъ Гретхенъ совсѣмъ ребенокъ..

Но слова mademoiselle Дюмонъ не пропали даромъ. Борисъ сталъ заглядываться на Гретхенъ, смотрѣвшую совсѣмъ ребенкомъ; ему улыбалась мысль взять въ жены это дитя, почти несформировавшееся и притомъ такое богатое дитя.

Онъ былъ почти увѣренъ, что это дѣло уладится, что оно затѣяно самими Домгофами; тѣмъ не менѣе онъ напустилъ на себя грустное настроеніе, а грустное настроеніе всегда служило предлогомъ покутить. Впрочемъ, теперь уже все дѣлалось предлогомъ для кутежа: усталость и бездѣлье, скука и веселье, радость и горе. На одномъ изъ такихъ кутежей, но уже не съ Ганькой, а съ воротилами общества и съ Домгофомъ во главѣ, Борисъ случайно столкнулся съ «извѣстностью дня» изъ міра полусвѣта. Этихъ извѣстностей Борисъ встрѣчалъ не мало, встрѣчалъ чуть не каждый день, не придавая имъ особеннаго значенія. Но теперь онъ былъ сильно взволнованъ неожиданностью. Эта извѣстность, стоявшая теперь передъ нимъ, была Діодатова.

Послѣ процесса Діодатова быстро пошла въ ходъ. Адвокатъ и прокуроръ постарались настолько раздѣть ее передъ публикою, что у цѣлыхъ десятковъ людей разгорѣлись глаза на лакомый кусокъ, на женщину изъ романа. Теперь она была на содержаніи у какого-то старика-банкира. Борисъ не сразу узналъ ее въ ломающейся, важничающей, роскошно-одѣтой кокоткѣ. Когда онъ узналъ, что это она, онъ на минуту сконфузился и смѣшался. Она, напротивъ того, развязно и почти радостно подошла къ нему и протянула руки.

— Вотъ-то неожиданная встрѣча!—воскликнула она.

— А вы знакомы?—удивился кто-то изъ компаніи.

— Еще бы! И еще въ какіе годы были знакомы!—ска-

зала она.—Я рада, что вижу васъ, что могу поболтать съ вами.

И, усѣвшись въ сторонѣ съ Борисомъ, она быстро начала говорить объ отцѣ, о мачихѣ, о сестрахъ и братьяхъ. Послѣ многихъ мѣсяцевъ и даже лѣтъ, она могла говорить съ мужчиной объ этихъ вещахъ. Съ другими вовсе не приходилось говорить, а нужно было пить, ѣсть, пѣть, плясать, сальничать. Ея лицо разгорѣлось отъ волненія, потому что вопросы, о которыхъ она говорила, были дѣйствительно близки ей. Она увлеклась и кончила тѣмъ, что сказала Борису:

— Нѣтъ, вы пріѣзжайте ко мнѣ! Я не все вамъ разсказала. Ахъ, если бы вы знали, какъ сладко вспомнить старину! Они вотъ не понимаютъ, что я пережила и переживаю, когда братъ или сестра зайдутъ. Что имъ?

Борисъ, не безъ сластолюбивыхъ ощущеній любовавшійся ею, тоже тихо замѣтилъ:

— А вы не сердитесь на меня?

— За что это?

— Какъ же, вонъ вашъ адвокатъ меня чуть не злодѣемъ назвалъ.

— Дуракъ! Завидно было, что не онъ былъ на вашемъ мѣстѣ! Ахъ, все это глупости. Не вы, такъ другой, все равно то же вышло бы!

И вдругъ, перемѣняя тонъ на интимный, она сказала:

— А это дѣло мнѣ помогло! Я вѣдь совсѣмъ запуталась было; совсѣмъ зарѣзъ былъ; ну, а потомъ одинъ генералъ, а затѣмъ старикашка этотъ—вонъ тотъ, большеротый,—приняли участіе, и продохнула.

— Вы съ нимъ живете? — указалъ Борисъ глазами на старика-банкира.

— То-есть деньги онъ даетъ. Такъ, съ дуру. Ему не любовница нужна, а гробъ нуженъ. Ну, да мнѣ что! Я теперь остепенилась, разсчетливѣе стала, коплю деньги. Нѣтъ, шалишь, меня теперь на кривой не объѣхать. Надо и о будущемъ думать. Можетъ-быть, еще пригодятся деньги-то!

— Деньги всегда пригодятся,—съ улыбкой сказалъ Борисъ.

— Да, да... Я когда-нибудь замужъ выйду, если найду подходящую партію... Надоѣло такъ жить...

И, принимая видъ честной женщины, она добавила:

— Все это въ молодости тѣшитъ, сумасбродства эти, а потомъ устанешь, надоѣстъ все, нужно же и семью имѣть. Я и теперь воспитываю сынишку сестры. У меня совсѣмъ

какъ семейный домъ, няня, ключница. Вотъ пріѣзжайте, увидите!

Къ концу вечера, послѣ ужина, она опять шепнула Борису, переходя уже по-старому на *ты*:

— Пріѣзжай же!

— Старину вспомнить?—спросилъ онъ.

Она вздохнула:

— Ахъ, я никого кромѣ тебя никогда не любила!.. Когда же?... Сегодня?.. Пріѣзжай... благо ужъ настроились...

Борисъ далъ ей слово заѣхать. Когда онъ возвращался домой съ Домгофомъ, послѣдній замѣтилъ ему:

— Женить васъ надо, а то васъ эти барыни похитятъ...

— Жените! За чѣмъ же дѣло стало?—сказалъ Борисъ.

— А невѣсту нашли?

— Нашелъ, да боюсь, что откажутъ.

— А вы не бойтесь!

— Вы это серьезно говорите?

— Еще бы!

Борисъ протянулъ руку.

— Я васъ ловлю на словѣ!

Домгофъ пожалъ его руку. Онъ былъ очень радъ, что дѣло улажено. Борисъ былъ тоже вполнѣ доволенъ. Онъ довезъ до дома Домгофа, хотѣлъ проѣхать къ себѣ. Къ себѣ въ пустую квартиру? Отчего бы не заѣхать, въ самомъ дѣлѣ, къ Діодатовой? Вѣдь она же звала сегодня. Онъ приказалъ извозчику везти себя въ Большую Морскую. Удивительно сохранилась эта Ольга Дмитріевна. Съ ней можно покуролесить пару дней. Кстати, потомъ придется остепениться. Отъ молодой жены къ этимъ дамамъ не зачѣмъ ѣздить. Особенно, когда жена будетъ такой цвѣтокъ, какъ Гретхенъ. Совсѣмъ дитя, даже странно какъ-то, что это дитя вдругъ сдѣлается женою...

И онъ прокуролесилъ съ Діодатовой цѣлую недѣлю, приготовляясь къ жизни съ женою-ребенкомъ.

Оглавленіе

XII ТОМА.

	стр.
Блага жизни. Романъ	3
Господинъ Пророкъ. Романъ	265
На разныхъ берегахъ. Романъ	417

Книга 33.

Сборникъ „Нивы“ за 1905 г.

Шеллеръ-Михайловъ

Полное собраніе сочиненій

Томъ XII.

Изданіе
А. Ф. Маркса
С.-Петербургъ

Изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., ул. Гоголя, № 22.

Домъ и хозяйство.

Руководство къ раціональному веденію домашняго хозяйства въ городѣ и деревнѣ.

Сочиненіе **Маріи Ределинъ.**

8-е изд. Со 161 иллюстр. Въ двухъ томахъ, около 900 стр. въ 8 д. л.

Книга г-жи Ределинъ представляетъ настоящую энциклопедію домохозяйства, вполнѣ пригодную для руководства хозяевъ и хозяекъ, притомъ написанную въ соотвѣтствіи съ данными современной науки и перомъ, искусившимся въ литературной работѣ.

ПЕРВЫЙ ТОМЪ „Дома и Хозяйства" даетъ прежде всего общія основанія внѣшняго домоустройства, напр., устройства комнатъ (спальни, дѣтской, столовой), кухни, кладовой, ледника и проч., и подробныя, весьма цѣнныя указанія объ уходѣ за садомъ, огородомъ, цвѣтникомъ, комнатными растеніями, домашнею птицею, лошадью, коровою; затѣмъ слѣдуетъ масса важныхъ практическихъ указаній о пріемахъ внутренняго домохозяйства, напримъ.: о покупкѣ различныхъ съѣстныхъ припасовъ, товаровъ, о сохраненіи припасовъ, о фальсификаціи, о питаніи, о веденіи книгъ въ счетной части, объ отопленіи, объ уходѣ за здоровыми и больными, о гигіенѣ, о средствахъ поддержанія порядка и чистоты въ домѣ и проч. Алфавитный указатель 1-го тома заключаетъ въ себѣ болѣе 1800 названій.

ВТОРОЙ ТОМЪ ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ ОТЛИЧНУЮ ПОВАРЕННУЮ КНИГУ, СОДЕРЖАЩУЮ ВЪ СЕБѢ 1100 КУХОННЫХЪ РЕЦЕПТОВЪ, при чемъ г-жа Ределинъ не упускаетъ изъ виду и требованій такъ-называемой „раціональной кухни". Сообщаются такіе рецепты постныхъ кушаній и дается цѣлый рядъ указаній относительно заготовки изъ нихъ плодовъ и овощей, приготовленія вареній, наливокъ и другихъ напитковъ, изготовленія печеній, конфетъ и проч. Алфавитный указатель 2-го тома содержитъ свыше 1600 названій.

Цѣна за оба тома 4 р., съ перес. 4 р. 50 к.; а въ двухъ хорош. коленкор. переплетахъ 4 р. 80 к., съ пересылк. 5 р. 50 к. Цѣна каждаго тома отдѣльно 2 р., съ перес. 2 р. 30 к.; въ переплетѣ 2 р. 40 к., съ перес. 2 р. 80 к.

ПОЛНЫЙ ТОМЪ „НИВЫ" за 1904 ГОДЪ.

Въ нумерахъ „Нивы" 1904 г. читатель найдетъ обширный литературный матеріалъ (болѣе 2.000 столбцовъ текста), состоящій изъ беллетристическихъ произведеній, популярно-научныхъ статей, біографій выдающихся дѣятелей и проч. Искусство нашло себѣ отраженіе на страницахъ „Нивы" въ видѣ множества оригинальныхъ рисунковъ и художественно-исполненныхъ гравюръ—копій съ картинъ извѣстнѣйшихъ художниковъ: кромѣ того, помѣщено множество снимковъ, иллюстрирующихъ текущія событія, въ особенности—**русско-японскую войну.**

Къ тому „НИВЫ" 1904 г. приложено:

1) первыя 20 книгъ. **ПОЛНАГО СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА.**

2) **ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ** въ 16 книгахъ. **ГЕНРИХА ГЕЙНЕ**

3) **ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ** въ 4-хъ книгахъ. **И. Ф. ГОРБУНОВА**

4) 12 кн. „ЕЖЕМѢС. ЛИТЕРАТУРНЫХЪ И ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ", въ которыхъ помѣщены произведенія выдающихся современныхъ авторовъ: романы, повѣсти, разсказы, популярно-научныя, историческія и критическія статьи и проч. съ иллюстраціями.

ЦѢНА тому „НИВЫ" за 1904 г. со всѣми приложеніями безъ перес. 7 руб., съ перес. (въ Европ. Россію)—8 руб. Для Аз. Россіи пересылка по почтѣ—за 35 фунтовъ или по жел. дорогѣ. За ящикъ для упавковки 75 коп.

Желающіе имѣть изданіе въ коленкор. переплетахъ благоволятъ сверхъ того прибавлять за переплетъ тома „НИВЫ"—1 р. 25 к., за 6 перепл. на 16 книгъ соч. Гейне—2 р. 40 к., за 7 перепл. на 20 книгъ соч. Шеллера—2 р. 80 к., за 2 перепл. на 4 книги соч. Горбунова—80 к. и за 3 перепл. на 12 вып. „Литерат. и популярно-научн. приложеній"—1 руб.

Книга 34.

Сборникъ „Нивы“ за 1905 г.

Шеллеръ-Михайловъ

Полное собраніе сочиненій

Томъ XII.

Изданіе А. Ф. Маркса
С.-Петербургъ

Изданія А. Ф. МАРКСА, СПБ., ул. Гоголя, № 22.

Учебный Географическій Атласъ,

составленный проф. **Э. Ю. Петри**

и состоящій изъ 48 главныхъ картъ, 142 дополнительныхъ картъ и чертежей на 47 таблицахъ.

Новое 4-ое, исправленное и дополненное, изданіе. СПБ. 1904 г.

Несмотря на огромный успѣхъ, которымъ пользуется атласъ Э. Ю. Петри, за время менѣе пяти лѣтъ разошедшійся въ трехъ изданіяхъ, одобренный и рекомендованный разными вѣдомствами, удостоенный многихъ лестныхъ отзывовъ и наградъ и введенный въ большей части учебныхъ заведеній, — мы въ настоящемъ, четвертомъ по числу, изданіи, принявъ во вниманіе мнѣнія, высказанныя Ученымъ Комитетомъ М. Н. П. и многими компетентными лицами, сдѣлали цѣлый рядъ значительныхъ измѣненій и улучшеній. Такъ, карты Сѣверной и Южной Америки, Африки, Австраліи и Австро-Венгріи дополнены политическими картами; карты сѣверныхъ и южныхъ полярныхъ странъ исправлены и пополнены на основаніи новѣйшихъ географическихъ открытій; на картахъ Сѣв. Америки, Соедин. Штатовъ и Южной Америки приняты во вниманіе послѣднія политическія событія и обозначены границы новой панамской республики; на картахъ Asia, средне-азіатскихъ нашихъ владѣній и Сибири названія согласованы съ новѣйшимъ ихъ начертаніемъ; всѣ карты Европейской Россіи пересмотрѣны и пополнены обозначеніемъ высотъ и глубинъ. Вообще, приняты во вниманіе всѣ результаты новѣйшихъ научныхъ изслѣдованій и происшедшія политическія перемѣны.

Къ атласу приложены: оглавленіе, „краткія указанія для учащихся“ и „методологическое введеніе“, въ которомъ обстоятельно изложены тѣ основанія, которыми руководствовался составитель атласа, имѣвшій въ виду полноту и разносторонность содержанія на ряду съ ясностью и краткостью карты и сколь возможно лучшимъ освѣщеніемъ наиболѣе выдающихся для описываемыхъ мѣстностей особенностей.

УЧЕБНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Э. Ю. ПЕТРИ

въ I, II и III изданіяхъ (нынѣ исправленныхъ и дополненныхъ) былъ:

I. ДОПУЩЕНЪ Ученымъ Комитетомъ М. Н. П. — въ качествѣ учебн. пособія для среднихъ учебныхъ заведеній.

II. РЕКОМЕНДОВАНЪ Учебнымъ Комит. Вѣд. Учрежд. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ—какъ пособіе при преподаваніи географіи въ средн. учебн. заведеніяхъ Вѣд. Учрежд. ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ.

III. РЕКОМЕНДОВАНЪ Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній — какъ полезное пособіе для преподаванія географіи въ кадетскихъ корпусахъ.

IV. ОДОБРЕНЪ Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ—для пріобрѣтенія въ библіотеки второклассныхъ и учительскихъ церковно-приходскихъ школъ.

ЦѢНА АТЛАСА: 1) брошюрованнаго экз.—2 р., съ перес. 2 р. 50 к.; 2) въ папкѣ съ коленкоровыми корешкомъ и углами—2 р. 35 к., съ перес. 2 р. 90 к.; 3) въ прочномъ коленкоровомъ переплетѣ съ кожан. корешк. и металлич. углами — 2 р. 60 к., съ перес.—3 р. 30 к.

ВСЕОБЩІЙ ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ и СТАТИСТИЧЕСКІЙ

КАРМАННЫЙ АТЛАСЪ,

проф. А. Л. ГИКМАНА и А. Ф. МАРКСА,

состоящій изъ 64 табл. съ картами и діаграммами и изъ 74 стр. объяснительнаго текста, in 8°. СПБ. 1903.

Новое 2-е, значительно дополненное, изданіе.

Предлагаемый атласъ представляетъ собою полезную и необходимую для каждаго справочную книгу, имѣющую вмѣстѣ съ тѣмъ широкое образовательное значеніе и содержащую въ простой, наглядной формѣ тѣ разнообразнѣйшія данныя, — географическія, политическія, общественныя, — на которыя приходится наталкиваться и въ жизни, и въ печати. Графическія таблицы атласа наглядно и ясно указываютъ сразу, путемъ разныхъ красокъ и разной величины линій, квадратовъ и круговъ,—размѣры искомыхъ данныхъ и ихъ соотношенія, объяснительный же текстъ, какъ нельзя лучше, содѣйствуетъ систематическому усвоенію содержанія картъ и діаграммъ.

1) М-омъ Нар. Просв. допущенъ для пріобрѣтенія въ ученич. библіотеки, старшаго возраста, средн. учебн. завед., мужск. и женскихъ, въ библіотеки учит. институт. и семинарій; въ ученич. и учит. библіотеки всѣхъ низшихъ училищъ и въ безплатн. народн. читальни и библіотеки. 2) Учебн. Комитетомъ М. Ф. допущенъ въ качествѣ учебнаго пособія въ коммерч. учебн. заведенія.

ЦѢНА атласа въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 руб., съ перес. 2 р. 30 к.

Книга 35.

Сборникъ „Нивы“ за 1905 г.

Шеллеръ-Михайловъ

Полное собраніе сочиненій

Томъ XII.

Изданіе А. Ф. Маркса
С.-Петербургъ

Контора „Нивы“ считаетъ долгомъ обратить вниманіе гг. подписчиковъ на то на изготовленныхъ нашею переплетною крышкахъ къ соч. Салтыкова-Щедрина и Шелл Михайлова вытиснена надпись: **„Рисунокъ утвержденъ правительствомъ“**, и что наше готовленія являются только переплеты съ указанной надписью **и только того рисунка торый изображенъ на помѣщенныхъ здѣсь снимкахъ.** Съ своей стороны, **Контора су преслѣдовать законнымъ порядкомъ всякую поддѣлку.**

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ

КРЫШКИ НА ПРИЛОЖЕНІЯ „Нивы“ 1905 г.,

изготовленныя изъ лучшаго англійскаго коленкора, красивыми тисненіями золотомъ и краскою по рис художниковъ **Е. П. Самокишъ Судковской** и **В. А. Табур**

3 КРЫШКИ на 10 первыхъ книгъ собр. сочиненій

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

(по одной крышкѣ на каждыя 3—4 книги).
Цѣна 3 крышкамъ 75 к., съ перес. въ Европ. Россіи 1

16 КРЫШЕКЪ на приложеніе къ „Ни 1904—1905 гг.—50 кни полн. собр. сочиненій

А. К. ШЕЛЛЕРА-МИХАЙЛОВА

(по одной крышкѣ на каждыя 2—4 книги).
Цѣна всѣмъ 16 крышкамъ—4 руб., съ перес. въ Евр Россіи 4 р. 75 к.

Для лицъ, уже пріобрѣвшихъ 7 крышекъ на перв 20 книгъ соч. Шеллера, приложенныя къ „Нивѣ“ 1904 г., **цѣна 9 крышкамъ на остальныя 30 книгъ (21—** **полн. собр. соч. Шеллера—2 р. 25 к., съ перес. въ Евр Россіи 2 р. 75 к.** При выпискѣ этихъ 9 крышекъ просимъ непремѣнно обозначать, **КАКОЙ ЦВѢТА** должны быть крышки для соотвѣтствія съ цвѣтомъ раньше пріобрѣтенныхъ 7 крышек

Имѣются также въ продажѣ:

1 КРЫШКА НА журналъ „НИВА“ 1905 г.

Цѣна этому перепл. на полн. томъ журн. за весь годъ—**75 к.**, съ перес. въ Европ. Россіи **1 р.**

3 КРЫШКИ НА 12 КНИГЪ „Литературныхъ Приложеній“ за 1905 г.

(по 1 крышкѣ на 4 книги). **Цѣна** 3 крышк **75 к.**, съ перес. въ Европ. Россіи 1 р.

Выписывающіе **одновременно** крышки на соч. Салтыкова-Щедрина, Шеллера-Михайлова, на „Ниву“ и „Литер. прилож.“ платятъ за совмѣстную перес. въ Европ. Россіи лишь 1 р.

КРЫШКИ КА „НИВУ“ И ПРИЛОЖЕНІЯ прошлыхъ лѣтъ:

Соч. Гейне
Соч. Чехова
Соч. Гоголя
Соч. Григоровича
Соч. Боборыкина

Цѣна 6 крышкамъ для полнаго собр. сочиненій каждаго изъ означенныхъ 5 авторовъ **1 р. 50 к.**, съ перес. въ Европ. Россіи **2 руб.**

Соч. Данилевскаго
Соч. Гончарова
Соч. Тургенева

Цѣна 7 крышк. для полн. собр. соч. каждаго изъ означенныхъ 3-хъ авторовъ **1 р. 75 к.**, съ перес. въ Евр. Рос. **2 р. 25 к.**

Соч. Лѣскова
Соч. Достоевскаго

Цѣна 12 крышк. для полн. собр. соч. кажд. изъ этихъ 2-хъ авт. **3 р.**, съ перес. въ Евр. Рос. **3 р. 50 к.**

Соч. Жуковскаго — Ц. 3 крышк. на полн. собр. соч. **75 к.**, съ пер. въ Евр. Рос. **1 р.**

Соч. Горбунова — Ц. 2 крышк. на полн. собр. соч. **50 к.**, съ пер. въ Евр. Рос. **75 к.**

Цѣна 1 крышки на полный томъ журн. „Нива“ за каждый изъ прошлыхъ годовъ—75 к. съ перес. въ Европ. Россіи—**1 руб. Цѣна одному комплекту крышекъ на 12 книгъ Ежем. Литер. Приложеній** за каждый изъ прошлыхъ годовъ—**75 коп.**, съ перес. въ Европ. Россіи—**1 р.**

Требованія адресовать въ **Контору журнала „НИВА“, СПБ., ул. Гоголя, 22**

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUL 14 '53 H